

МОН ФЕЙХТВАНГЕР

МОН
ФЕЙХТВАНГЕР

4.

4.

ЛИОН
ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Редколлегия:

А. С. ДМИТРИЕВ
Д. В. ЗАТОНСКИЙ
Н. С. ЛИТВИНЕЦ
Н. С. ПАВЛОВА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1989

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ**

ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА

Роман

ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА

Роман

Перевод с немецкого



МОСКВА
« ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА »
1989

ББК 84.4Г

Ф36

LION FEUCHTWANGER

1884—1958

Комментарии
Н. НОВИКОВОЙ

Ф 4703010100-160 подписное
028(01)-89

ISBN 5-280-00812-5 (Т. 4)
ISBN 5-280-00307-7

© Оформление, комментарии.
Издательство «Художественная
литература», 1989 г.

ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА

Роман

Перевод
В. СТАНЕВИЧ

DER JÜDISCHE KRIEG

Roman

1932

Книга первая

РИМ

Шесть мостов вели через Тибр. Если оставаться на правом берегу, то можно было быть спокойным: здесь на улицах полно мужчин, по одним бородам которых вы уже видели, что это евреи; всюду попадались еврейские и арамейские надписи, а если вы к тому же немного знали греческий—то этого вполне хватало. Но как только вы переходили один из мостов и отваживались ступить на левый берег Тибра, вы попадали в большой буйный город Рим, вы—чужестранец, безнадежно одинокий.

И все же у Эмилиева моста Иосиф отпустил мальчика Корнелия, своего старательного проводника; он хотел наконец убедиться, справится ли один, проверить свою сообразительность и приспособляемость. Мальчик Корнелий охотно проводил бы чужеземца и дальше. Иосиф смотрел, как нерешительно он шагает обратно по мосту, и тогда, улыбаясь с шутилой приветливостью, он, еврей Иосиф, поднял руку с вытянутой ладонью и приветствовал мальчика римским жестом, и еврейский мальчик Корнелий, тоже улыбаясь, ответил ему тоже римским жестом, несмотря на запрет отца. Затем Корнелий свернул налево, за высокий дом, вот он скрылся из виду, теперь Иосиф—один, и теперь он убедится, чего стоит его латынь.

Пока что он знает: здесь перед ним Бычий рынок; вон, справа, Большой цирк, а где-то там, на Палатине, и за ним, где кишит такое множество людей, император строит для себя новый дом; тут вот, влево, Этруская улица ведет к Форуму, а Палатин и Форум—это сердце мира.

Он много читал о Риме, но сейчас от этого мало толку. Пожар, случившийся три месяца тому назад, сильно изменил город. Он разрушил как раз все четыре центральных городских квартала, свыше трехсот общественных зданий, до шестисот дворцов и особняков, несколько тысяч доходных домов. Просто удивительно, сколько эти римляне за такой короткий срок успели понастроить заново! Он не любит римлян, он ненавидит их, но он

вынужден отдать им должное: организационный талант у них есть, есть своя техника. «Техника»,—мысленно произносит он иностранное слово, повторяет его несколько раз на иностранном языке. Ну, он не дурак, он кое-что выведает у римлян об этой их технике.

Иосиф решительно пускается в путь. С любопытством и волнением вдыхает он воздух этих чужих домов и людей, во власти которых и вознести его, и оставить в ничтожестве. Дома, в Иерусалиме, месяц тишири очень жарок, даже последняя его неделя; но здесь, в Риме, он называется сентябрем, и, во всяком случае, сегодня дышится свежо и приятно. Легкий ветер развеивает его волосы; они чуть длинны—в Риме носят короче. Ему бы следовало быть в шляпе, ибо, в противовес римлянам, еврею в его положении подобает выходить только с покрытой головой. Да пустяки—здесь, в Риме, большинство евреев ходит с непокрытой головой, совершенно так же, как римляне, по крайней мере, по ту сторону мостов. Если даже он будет ходить без шляпы, нерадивым евреем он от этого не станет.

Вот перед ним Большой цирк. Здесь все в развалинах, отсюда и начался пожар. Однако каменный остов здания остался нетронутым. Гигантская штука этот цирк! Нужно целых десять минут, чтобы пройти его в длину. Стадионы в Иерусалиме и в Кесарии тоже ведь не маленькие, но рядом с этим сооружением они кажутся игрушечными.

Внутри цирка идет напластование—камень и дерево, работы уже начались. Бродят любопытные, дети, праздношатающиеся. Его одежда еще не вполне соответствует требованиям столицы; и все же, когда он проходит вот так, не спеша, молодой, стройный, статный, с жадными до всего глазами, он кажется элегантным, щедрым, настоящим аристократом. Вокруг него толпятся, ему предлагают амулеты, дорожные сувениры, слепки с обелиска, который высится, торжественный и чуждый, в середине бегового поля. Профессиональный гид предлагает показать ему все достопримечательности, императорскую ложу, модель новой постройки. Но Иосиф с напускной рассеянностью отклоняет его услуги. Он бродит один между каменных скамей, словно был здесь, на бегах, завсегдатаем.

Внизу, очевидно, скамьи высшей аристократии, сената. Ничто не мешает ему сесть на одно из этих мест, которых так домогаются люди. А тут хорошо, на солнце. Он принимает небрежную позу, подпирает голову рукой, устремляет невидящий взгляд на обелиск.

Лучшего момента для осуществления своих намерений, чем сейчас, в эти месяцы после пожара, ему не найти. Люди в благоприятном настроении, восприимчивы. Та

энергия, с какой император принялся отстраивать город, действует на всех оживляюще. Все зашевелилось, всюду бодрость, деловитость, воздух свеж и ясен, он совсем иной, чем тяжелая, душная атмосфера Иерусалима, где никак не удавалось пробиться.

И вот сейчас, в Большом цирке, на сенатской скамье, в приятном солнечном свете этих ленивых дневных часов, среди шума заново отстраивающегося Рима, Иосиф еще раз страстно, и все же трезво, взвешивает свои шансы. Ему двадцать шесть лет, у него все данные для блестящей карьеры: аристократическое происхождение, разностороннее образование, политический талант, бешеное честолюбие. Нет, он не желает кинуться в Иерусалиме, он благодарен отцу за то, что тот в него верит и добился его отправки в Рим.

Правда, успех его миссии весьма сомнителен. С юридической точки зрения, Иерусалимский Великий совет не имел ни оснований, ни полномочий посылать по данному делу в Рим особого представителя. И Иосифу пришлось откапывать аргументы во всех закоулках своего мозга, чтобы эти господа в Иерусалиме наконец сдались.

Итак, три члена Великого совета, которых губернатор Антоний Феликс вот уже два года назад отправил в Рим в императорский трибунал как бесспорных бунтовщиков, несправедливо приговорены к принудительным работам. Правда, эти трое господ находились в Кесарии, когда иудеи во время предвыборных беспорядков сорвали императорские значки с дома губернатора и переломали их; но сами они в мятеже не участвовали. Выбрать как раз этих трех высокопоставленных старцев, людей совершенно неповинных, было со стороны губернатора произволом, возмутительным злоупотреблением властью, оскорблением всего еврейского народа. Иосиф видел в этом тот долгожданный случай, который даст ему возможность выдвинуться. Он собрал новые доказательства невиновности трех старцев и надеялся добиться при дворе или их полной реабилитации, или хотя бы смягчения их участи.

Римские евреи, как он уже успел заметить, вероятно, не будут особенно усердствовать, помогая ему выполнить его миссию. Фабрикант мебели Гай Барцаарон, председатель Агрипповой общины, у которого он живет и которому привез от отца рекомендательные письма, намеками, хитро, доброжелательно и осторожно разъяснил ему ситуацию. Ста тысячам евреев, находящимся в Риме, живется неплохо. Они в мире с прочим населением. И они смотрят с тревогой на то, что в Иерусалиме националистическая антиримская партия «Мстителей Израиля» начинает приобретать все большее влияние. Они вовсе не намерены рисковать своим положением, вмешиваясь в

постоянные трения этих господ с Римом и императорской администрацией. Нет, Иосифу придется всего добиваться самому.

Перед ним идет напластование: камень, дерево, кирпич, колонны, мрамор всех цветов. Стройка растет почти на глазах. Когда он через полчаса или через час уйдет отсюда, она уже успеет вырасти, не намного—может быть, на одну тысячную своих окончательных размеров, но мера, точно намеченная на этот час, будет выполнена. Однако и он достиг кое-чего за это время. Его стремление вперед стало горячее, пламеннее, неодолимее. Каждый звук, доносящийся со стройки, каждый удар молотка или скрип пилы словно обтесывает, обстругивает и выпиливает его самого, хотя он и сидит с непринужденным видом на солнышке, такой же праздношатающийся, как и остальные. Немало придется ему поработать, прежде чем удастся вызволить трех невинных из темницы, но он этого добьется.

Он уже не кажется себе таким маленьким и ничтожным, как в день приезда. Уже не испытывает такого почтения перед мясистыми замкнутыми лицами римских жителей. Он увидел, что римляне меньше его ростом. Он ходит среди них, высокий, стройный, и римские женщины смотрят ему вслед не меньше, чем женщины в Иерусалиме и в Кесарии. Наверно, Ирина, дочь Гая, председателя общины, вошла в комнату,—хотя и мешала отцу,—только потому, что там находился Иосиф. У него ладное тело, у него быстрый, гибкий ум. Когда ему исполнился двадцать один год, университет при Иерусалимском храме удостоил его высокой ученой степени доктора; он овладел всей разветвленной и сложной наукой юридического и теологического толкования Библии. И разве он даже не прожил два года отшельником в пустыне у ессыя Бана, чтобы научиться чистому созерцанию, погружению в себя и интуиции? Все есть у него, недостает лишь первой ступеньки на пути к успеху—благоприятного случая. Но этот случай придет, он должен прийти.

Молодой ученый и политический деятель Иосиф бен Маттафий сжал губы. «Подождите, вы, господа из Великого совета, и вы, гордецы из Каменного зала! Вы меня унижали, вы не давали мне ходу. Если бы к той сумме, которую вы согласились выдать мне из вашего фонда, мой отец не приложил еще своих денег, я не смог бы сюда приехать. Но теперь я здесь, в Риме, и я—ваш делегат. И уж я это использую, будьте уверены. Я еще покажу себя, господа ученые!»

Люди на трибунах что-то крикнули друг другу, поднялись с мест, все стали смотреть в одну сторону. С Палатина что-то спускалось, поблескивая,—большая тол-

па, глашатаи, пажи, свита, носилки. Поднялся и Иосиф, чтобы лучше видеть. Тотчас рядом с ним опять очутился гид, и на этот раз Иосиф принял его услуги. Оказалось — не император, даже не начальник стражи: просто сенатор или какой-то знатный господин, который пожелал, чтобы архитектор Целер показал ему новостройку.

Вокруг теснились любопытные, но полиция и слуги архитектора и его спутников сдерживали их напор. Ловкому гиду удалось пробиться вместе с Иосифом в первый ряд. Да, он сразу узнал по ливреям лакеев, пажей и скороходов, что это сенатор Марулл, пожелавший осмотреть цирк. Даже Иосиф знал понаслышке, что это за фигура; в Иерусалиме, как и повсюду в провинциях, об этом Марулле ходили чудовищные сплетни как об одном из первых придворных кутил, который руководил императором во всем, что касалось самых утонченных наслаждений. Впрочем, шел слух, что он — автор многих народных комедий, например, дерзких обзоров, исполняемых прославленным комиком Деметрием Либанием. Жадно разглядывал Иосиф знаменитого вельможу, который, небрежно раскинувшись в носилках, слушал объяснения архитектора и время от времени подносил к глазу смарагд, служивший ему лорнетом.

Иосиф обратил внимание на другого господина: с ним обходились с особой почтительностью. Но можно ли было назвать его господином? Он вышел из своих носилок; одетый бедно и неряшливо, он, шаркая, бродил среди нагроможденных вокруг строительных материалов, толстоватый, с кое-как обритой мясистой головой и тяжелым взглядом сонных глаз под выступающим лбом. Рассеянно слушал он объяснения архитектора; то поднимет кусок мрамора, повертит его в жирных пальцах, поднесет к самым глазам, понюхает, опять отбросит; то возьмет у каменщика из рук инструмент, ощупает. Наконец он уселся на какую-то глыбу и принялся, кряхтя, затягивать развязавшиеся ремни обуви, сердито отстранив подбежавшего лакея. Да, гид знал и его: это Клавдий Регин.

— Издатель? — спросил Иосиф.

Возможно, что он и книгами торгует, но гиду об этом неизвестно. Он знает его как придворного ювелира. Во всяком случае, человек весьма влиятельный, крупный финансист, хотя одевается почти нищенски и нисколько не заботится о численности и пышности своей свиты. И это очень странно: ведь он родился рабом от отца-сицилийца и матери-еврейки, а эти выходцы из низов обычно любят пускать пыль в глаза. Уж можно сказать: для своих сорока двух лет этот Клавдий Регин сделал баснословную карьеру. При нынешнем предприимчивом императоре возникло множество коммерческих дел, крупных дел, и

Клавдий Регин имеет в каждом свою долю. На его судах доставляется большая часть хлеба из Египта и Ливии, его зернохранилища в ПUTEОЛАХ и ОСТИИ считаются достопримечательностями.

Сенатор Марулл и придворный ювелир Клавдий Регин разговаривали громко и без стеснения, так что первому ряду любопытных, в котором стоял и Иосиф, было слышно каждое слово. Иосиф ожидал, что эти двое людей, имена которых в литературных кругах всего мира произносились с почтением,—ибо Клавдий Регин считался первым издателем Рима,—обменяются значительными мыслями об эстетической ценности нового сооружения. Он жадно прислушивался. Правда, уследить за их быстрой латинской речью ему было трудно, но он все же понял, что разговор идет вовсе не о вопросах эстетических или философских: они говорили о ценах, курсах, о делах. Отчетливо долетал из носилок высокий гнусавый голос сенатора, который спрашивал, весело поддразнивая собеседника, и притом так громко, что его слышали даже стоявшие в отдалении:

— А что, Клавдий Регин, на стройке цирка вы тоже зарабатываете?

Ювелир,—он сидел в солнечных лучах, на каменной глыбе, положив руки на толстые колени,—ответил так же беззаботно:

— К сожалению, нет, сенатор Марулл. Я полагал, что при поставках для цирка наш архитектор взял в долю вас.

Иосиф мог бы услышать еще больше из беседы обоих господ, но ему мешали недостаточное знакомство с языком и отсутствие специальных познаний. Гид, и сам не вполне осведомленный, пытался ему помочь. По-видимому, Клавдий Регин, так же как и сенатор Марулл, в малозастроенных кварталах окраин заблаговременно скупил по дешевой цене огромные земельные участки; теперь, после пожара, император расчищал центр города для общественных зданий, и доходные дома были оттеснены к окраинам; поэтому трудно было даже точно определить, какую ценность приобрели эти окраинные участки.

— А разве членам сената не запрещено заниматься коммерцией? — вдруг спросил Иосиф гида. Тот растерянно взглянул на своего клиента. Некоторые из стоявших вокруг слышали, они рассмеялись; другие их поддержали, вопрос провинциала передавался дальше, и вдруг поднялся оглушительный хохот, хохотал весь огромный цирк.

Сенатор Марулл осведомился о причине. Вокруг Иосифа образовалось пустое пространство, он очутился лицом к лицу с обоими знатными господами.

— Вы чем-то недовольны, молодой человек? — спросил толстяк агрессивным, но не лишенным шутливости тоном; он сидел на каменной глыбе, вытянув руки вдоль массивных ляжек, словно статуя египетского царя. Ясно светило солнце, не очень жаркое, дул легкий ветерок, вокруг царило хорошее настроение. Многочисленная свита с удовольствием слушала беседу двух знатных римлян с провинциалом.

Иосиф держался скромно, но отнюдь не смущенно.

— Я в Риме всего три дня, — сказал он с некоторым трудом по-гречески. — Разве уж так смешно, что я не сразу разобрался в квартирном вопросе большого города?

— А вы откуда? — спросил не покидавший носилок сенатор.

— Из Египта? — спросил Клавдий Регин.

— Я из Иерусалима, — отвечал Иосиф и назвал свое полное имя: — Иосиф бен Маттафий, священник первой череды.

— Для Иерусалима недурно, — заметил сенатор, и трудно было понять, говорит он серьезно или шутит.

Архитектор Целер выказывал нетерпение, ему хотелось объяснить господам свои проекты, блестящие проекты, остроумные и смелые, и он не мог допустить, чтобы неотесанный провинциал помешал ему. Но финансист Клавдий Регин был любопытен от природы, он удобно сидел на теплом камне и спрашивал молодого еврея. Иосиф охотно отвечал. Ему хотелось рассказать что-нибудь возможно более новое и интересное, придать себе и своему народу значительность. Бывает ли и здесь, в Риме, спрашивал он, чтобы здания заболевали проказой? Нет, отвечали ему, не бывает. А в Иудее, рассказывал Иосиф, это случается. Тогда на стенах появляются маленькие красноватые или зеленоватые углубления. Порой дело доходит до того, что дом приходится ломать. Иногда помогает священник, но церемония эта очень сложна. Священник приказывает выломать заболевшие камни, затем берет двух птиц, кусок кедрового дерева, червленую шерсть и исоп. Кровью одной из птиц он должен окропить дом семь раз, а другую птицу выпустить на свободу в открытом поле, за городом и тем умиливать божество. Тогда считается, что благодаря этой жертве дом очищен. Стоявшие вокруг слушали его рассказ с интересом, большинство — без всякой насмешки, ибо их влекло к необычному и они любили все жуткое.

Ювелир Клавдий Регин серьезно рассматривал своими сонными глазами пылкого худощавого юношу.

— Вы здесь по делам, доктор Иосиф, — спросил он, — или просто хотите посмотреть, как отстраивается наш город?

— Я здесь по делам,—ответил Иосиф.— Мне нужно освободить трех невинных. У нас это считается неотложным делом.

— Я только боюсь,—заметил, позевывая, сенатор,— что мы в настоящее время настолько заняты строительством, что у нас не хватит времени разбираться в подробностях дела о трёх невинных.

Архитектор сказал с нетерпением:

— Балюстраду в императорской ложе я сделаю вот из этого серпентина с зелеными и черными прожилками. Мне прислали из Спарты особенно хорошую глыбу.

— По дороге сюда я видел новостройки в Александрии,—сказал Иосиф, он не хотел, чтобы его вытеснили из разговора.— Там улицы широкие, светлые, прямые.

Архитектор пренебрежительно ответил:

— Отстраивать Александрию может каждый каменщик. У них просторно, ровная местность...

— Успокойтесь, учитель,—сказал своим высоким, жирным голосом Клавдий Регин.— Что Рим—это совсем другое, чем Александрия, ясно и слепому.

— Разрешите мне объяснить молодому человеку,—сказал, улыбаясь, сенатор Марулл. Он вдохновился, ему хотелось показать себя, как любил это делать император Нерон и многие знатные придворные. Он велел раздвинуть пошире занавески носилок, чтобы все могли его видеть—худое холеное лицо, senatorскую пурпурную полосу на одежде. Он осмотрел провинциала сквозь смарагд своего лорнета.— Да, молодой человек,—сказал он гнусавым, насмешливым голосом,—мы еще только строимся, мы еще не готовы. Но и сейчас уже не нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы представить себе, каким мы станем городом еще до конца этого года.— Он слегка выпрямился, вытянул ногу, обутую в красный башмак на высокой подошве,—привилегия высшей знати,—и заговорил, чуть пародируя манеру рыночного зазывалы: — Могу утверждать без преувеличения: кто не видел золотого Рима, тот не может сказать, что он действительно жил на свете. В какой бы точке Рима вы, господин мой, ни находились, вы всегда в центре, ибо у нас нет границы: мы поглощаем все новые и новые пригороды. Вы услышите здесь сотни наречий. Вы можете здесь изучать особенности всех народов. Здесь больше греков, чем в Афинах, больше африканцев, чем в Карфагене. Вы, и не совершая кругосветного путешествия, можете найти у нас продукты всего мира. Вы найдете здесь товары из Индии и Аравии в таком обилии, что сочтете нынешние земли навсегда опустошенными и решите, что населяющим их племенам, для удовлетворения

спроса на собственную продукцию, придется ездить в Рим. Что вы желаете, господин мой? Испанскую шерсть, китайский шелк, альпийский сыр, арабские духи, целебные снадобья из Судана? Вы получите премию, если чего-нибудь не найдете. Или вы хотите узнать последние новости? На Форуме и на Марсовом поле в точности известно, когда в Верхнем Египте падает курс на зерно, когда какой-нибудь генерал на Рейне произнес глупую речь, когда наш посол при дворе парфянского царя чихнул слишком громко и тем привлек излишнее внимание. Ни один ученый не может работать без наших библиотек. У нас столько же статуй, сколько жителей. Мы платим самую высокую цену и за порок, и за добродетель. Все, что только может изобрести ваша фантазия, вы у нас найдете; но вы найдете у нас многое и сверх того, что ваша фантазия может изобрести.

Сенатор высунулся из носилок; его слушал широкий круг любопытных. Он выдержал до конца иронический тон, имитируя адвоката или рыночного зазывалу, но его слова звучали тепло, и все чувствовали, что эта хвала Риму больше чем пародия. Люди с восторгом слушали, как славословят город, их город, с его благословенными добродетелями и благословенными пороками, город богатейших и беднейших, самый живой город в мире. И, словно любимому актеру в театре, рукоплескали они сенатору, когда он кончил. Однако сенатор Марулл уже не слушал их, забыл он и об Иосифе. Он откинулся в глубь носилок, кивком подозвал архитектора, попросил объяснить ему модель нового цирка. Не сказал Иосифу больше ни слова и ювелир Клавдий Регин. Но когда поток толпы уносил Иосифа, он подмигнул ему насмешливо и ободряюще, и это подмигивание придало его мясистому лицу особое выражение хитрости.

Задумчиво, не замечая окружающего, наталкиваясь на прохожих, пробирался Иосиф сквозь сутолоку города. Он не все понял в латинской речи сенатора, но она согрела и его сердце, окрылила и его мысли. Он поднялся на Капитолий; жадно вбирал в себя вид храмов, улиц, памятников, дворцов. Из возводимого вот там Золотого дома римский император правил миром, на Капитолии сенат и римский народ выносили решения, изменявшие мир, а там, в архивах, отлитый из бронзы, хранился строй мира таким, каким его построил Рим. «Roma» означает силу. Иосиф несколько раз произнес это слово: «Roma»,—потом перевел на еврейский: «Гевура»,—теперь оно звучало гораздо менее страшно; потом перевел на арамейский: «Коха»,—и тогда оно потеряло всю свою грозность. Нет, он, Иосиф, сын Маттафия из Иерусалима, священник первой череды, не боялся Рима.

Он окинул взглядом улицы, становившиеся все оживленнее: наступали вечерние часы с их усиленным движением. Крик, суета, толкотня. Он впитывал в себя зрелище города, но реальнее, чем этот реальный Рим, видел он свой родной город, Каменный зал в храме, где заседал Великий совет, и реальнее, чем шум Форума, слышал он резкий вой гигантского гидравлического гудка, который на восходе и на закате солнца возвещал всему Иерусалиму и окрестностям, вплоть до Иерихона, что сейчас происходит всесожжение на алтаре Ягве. Иосиф улыбнулся. Только тот, кто родился в Риме, может стать сенатором. Этот сановник Марулл надменно взирает на людей с высоты своих носилок,—рукой не достать,—ноги его обуты в красные башмаки на высокой подошве, с черными ремнями,—обувь четырехсот римских сенаторов. Но он, Иосиф, предпочитает быть рожденным в Иерусалиме, хотя у него даже нет кольца всадника. Римляне посмеивались над ним, но в глубине души он сам смеялся над ними. Всему, что они могут дать, эти люди Запада,—их технике, их логике,—можно научиться. А чему не научишься—это восточной силе видения, святости Востока. Народ и бог, человек и бог на Востоке едины. Но это незримый бог: его нельзя увидеть, вере в него нельзя научиться. Человек либо имеет его, либо не имеет. Он, Иосиф, носил в себе это ненаучимое. А в том, что он постигнет и остальное—технику и логику Запада,—не было сомнений.

Он стал спускаться с Капитолия. На его смуглобледном худом лице удлинненные горячие глаза сверкали. Римляне знали, что среди людей Востока многие одержимы своим богом. Прохожие смотрели ему вслед, кто—чуть насмешливо, кто—с завистью, но большинству, и прежде всего женщинам, он нравился, когда проходил мимо них, полный грез и честолюбия.

Гаю Барцаарону, председателю Агрипповой общины, у которого жил Иосиф, принадлежала в Риме одна из наиболее процветающих фабрик художественной мебели. Его главные склады помещались по ту сторону Тибра, в самом городе, лавка для покупателей попроще—в Субуре и два роскошных магазина на Марсовом поле под аркадами; в будние дни и собственный поместительный дом Гая в еврейском квартале, вблизи ворот Трех улиц, был набит изделиями его производства. Но сегодня, в канун субботы, от всего этого не оставалось и следа. Весь дом и прежде всего просторная столовая казались Иосифу преобразенными. Обычно столовая была открыта со стороны двора; сейчас она отделялась от него тяжелым занавесом, и Иосиф был приятно тронут, узнав обычай своей родины—Иерусалима. Он знал: пока занавес опу-

щен, каждый был в этой столовой желанным гостем. Но когда занавес поднимут и в комнату вольется свежий воздух, начнется трапеза, и кто придет тогда — придет слишком поздно. Освещена сегодня столовая была тоже не по-римски, а по обычаю Иудеи: с потолка спускались серебряные лампы, обвитые гирляндами фиалок. На буфете, на столовой посуде, на кубках, солонках, на флаконах с маслом, уксусом и пряностями сверкала эмблема Израиля — виноградная кисть. А среди утвари — и это тронуло сердце Иосифа больше всего — стояли обернутые соломой ящики-утеплители: в праздник субботы запрещалось стряпать, поэтому кушанья были приготовлены заранее, и их запах наполнял комнату.

Несмотря на то, что окружающее напоминало ему родину, Иосиф был недоволен. Он втайне рассчитывал, что ему как священнику первой очереди и носителю высокого звания иерусалимского доктора наук предложат место на одной из трех застольных кушеток. Но этому самоуверенному римскому жителю, как видно, вскружило голову то, что после пожара дела его мебельной фабрики идут так успешно, — он и не подумал предложить Иосифу одно из почетных мест. Наоборот: гостю предстояло сидеть с женщинами и менее почетными гостями за общим большим столом.

Непонятно, почему все еще стоят? Почему не поднимают занавес и не приступают к еде? Гай уже давно возложил руки на головы детей, благословляя их древним изречением: мальчиков — «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии!», девочку — «Бог да уподобит тебя Рахили и Лии!». Все охвачены нетерпением, проголодались. Чего еще ждут?

Но вот со двора, скрытого занавесом, раздался знакомый голос, из складок вынырнул жирный господин, которого Иосиф уже видел: финансист Клавдий Регин. Шутливо приветствует он на римский лад хозяина и древнего старика, отца хозяина — Аарона; он бросает и менее почтенным лицам несколько благосклонных слов, и Иосиф вдруг преисполняется гордостью: пришедший узнал его, подмигивает ему тусклыми сонными глазами, говорит высоким, жирным голосом, и все слышат:

— Здравствуй! Мир тебе, Иосиф бен Маттафий, священник первой очереди!

И тотчас поднимают занавес, Клавдий Регин без церемоний занимает среднее ложе — самое почетное место, Гай — второе, старый Аарон — третье. Затем Гай над кубком, полным иудейского вина, вина из Эшкола, произносит освятительную молитву кануна субботы, он благословляет вино, и большой кубок переходит от уст к устам; он благословляет хлеб, разламывает его, раздает, все

говорят «аминь» и только тогда наконец принимаются за еду.

Иосиф сидит между тучной хозяйкой дома и ее хорошенькой шестнадцатилетней дочкой Ириной, которая не сводит с него кротких глаз. За большим столом еще множество людей: мальчик Корнелий и другой сын Гая—подросток, затем два робких, незаметных студента-теолога, которые мечтают сегодня вечером наесться досыта, и прежде всего—некий молодой человек со смугло-желтым, резко очерченным лицом; он сидит против Иосифа и беззастенчиво разглядывает его. Выясняется, что молодой человек тоже родом из Иудеи, правда, из полугреческого города Тивериады, что его зовут Юстом—Юстом из Тивериады—и что своим положением в обществе и своими интересами он до странности похож на Иосифа. Как и Иосиф, он изучал теологию, юриспруденцию и литературу. Но его главное занятие—политика; он живет здесь в качестве агента подвластного Риму царя Агриппы, и если род его по знатности и уступает роду Иосифа, то он с детства знает греческий и латынь; к тому же он в Риме уже три года. Оба молодых человека принимают друг к другу с любопытством, вежливо, но с недоверием.

А там, на застольных ложах, идет громкая, непринужденная беседа. Обе пышные синагоги в самом городе сгорели, но три больших молитвенных дома здесь, на правом берегу Тибра, остались целы и невредимы. Конечно, гибель двух домов божьих—испытание и великое горе, но все же председателей общин на правом берегу Тибра это втайне немножко радовало. Пять еврейских общин Рима имели каждая своего председателя; между ними шло яростное соперничество, и прежде всего между чрезвычайно аристократической Велийской синагогой на том берегу и многолюдной, однако неразборчивой общиной Гая. Отец Гая, древний старец Аарон, беззубо бранился по адресу надменных глупцов с того берега. Разве, по старинным правилам и обычаям, не следует строить синагоги на самом возвышенном месте, как построен Иерусалимский храм на горе, над городом? Но, конечно, Юлиану Альфу, председателю Велийской общины, нужно было, чтобы его синагога находилась рядом с Палатином, даже если из-за этого и пришлось поставить ее гораздо ниже. То, что дома божьи сгорели,—кара господня. И прежде всего кара за то, что евреи с того берега покупают соль у римлян, а ведь каждому известно, что римская соль, красоты ради, бывает смазана свиным салом. Так бранил древний старец всех и вся. Судя по обрывкам слов, которые Иосифу удавалось уловить в его бессвязном злобном бормотании, старец поносил теперь

тех, кто, ради моды и успеха в делах, перекраивал свои еврейские имена на латинский и греческий лад. Его сын Гай, которого первоначально звали Хаим, улыбался добродушно и снисходительно; детям все же не следовало бы этого слышать. Однако Клавдий Регин рассмеялся, похлопал старика по плечу, заявил, что его с рождения зовут Регином, так как он родился рабом и ему дал имя его господин. Но его настоящее имя Мелех: Мелехом называла его иногда и мать, и если старик хочет, то пусть тоже зовет его Мелехом,— он решительно ничего не имеет против.

Смугло-желтый Юст из Тивериады тем временем добрался к Иосифу. Иосиф чувствовал, что тот непрерывно за ним наблюдает, у него было такое ощущение, что этот Юст в душе над ним издевается, над его речами, его произношением, иерусалимской манерой есть, над тем, например, как он подносит ко рту душистую зубочистку из сандалового дерева, держа ее между большим и средним пальцами. Вот Юст опять задает ему 'вопрос таким высокомерным тоном, присущим жителям мирового города:

— Вы, вероятно, здесь по делам политическим, доктор и господин Иосиф бен Маттафий?

И тут Иосиф больше не в силах сдерживаться,— он должен дать почувствовать насмешливому молодому римлянину, что его послали сюда по делу действительно большому и важному,— и рассказывает о своих трех невинных. Он горячится, его тон, пожалуй, слишком патетичен для ушей этого скептического римского общества; все же в обеих частях комнаты воцаряется тишина: на застольных ложах и за большим столом все слушают красноречивого юношу, увлеченного своими словами и своей миссией. Иосиф отлично замечает, как мечтательно поглядывает на него Ирина, как злится его коллега Юст, как благосклонно улыбается сам Клавдий Регин. Это его окрыляет, его пафос растет, вера в свое призвание разгорается, речь ширится; но тут старик сердито останавливает его: в субботу-де запрещено говорить о делах. Иосиф тут же смолкает, покорный, испуганный. Но в глубине души он доволен: он чувствует, что его слова произвели впечатление.

Наконец трапеза окончена. Гай читает длинную застольную молитву, все расходятся, остаются только почтенные мужи. Теперь Гай приглашает также Иосифа и Юста возлечь на ложах. На стол ставят сложный прибор для смешивания напитков. После ухода сердитого старика оставшиеся снимают предписанные обычаем головные уборы, обмахиваются.

И вот четверо мужчин возлежат вокруг стола, перед

ними вино, конфеты, фрукты; они сыты, довольны, расположены побеседовать. Комната освещена приятным желтоватым светом, занавес поднят, с темного двора веет желанной прохладой. Двое старших болтают с Иосифом об Иудее, расспрашивают его. К сожалению, Гай побывал только раз в Иудее, юношей, уже давно; на праздник пасхи и он, среди сотен тысяч паломников, принес в храм своего жертвенного агнца. Немало он с тех пор перевидал: триумфальные шествия, пышные празднества на арене Большого цирка, но вид золотисто-белого храма в Иерусалиме и охваченных энтузиазмом громадных толп, наполнявших гигантское здание, останется для него на всю жизнь самым незабываемым зрелищем. Все они здесь, в Риме, верны своей древней родине. Разве у них нет в Иерусалиме собственной синагоги для паломников? Разве они не посылают податей и даров в храм? Разве не копят деньги для того, чтобы их тела были отвезены в Иудею и погребены в древней земле? Но господа в Иерусалиме делают все, чтобы человеку опротивела эта его древняя родина.

— Почему, чтоб вам пусто было, вы никак не можете ужиться с римской администрацией? Ведь с императорскими чиновниками вполне можно сговориться, они — люди терпимые, уж сколько раз мы убеждались в этом. Так нет же, вы там, в Иудее, непременно хотите все делать по-своему; вам кажется, что вы всегда правы, у вас это в крови, и в один прекрасный день вы доиграетесь. Стручками питаться будете,—добавил он по-арамейски, хоть и улыбаясь, но все же очень серьезно.

Ювелир Клавдий Регин с усмешкой отмечает, что Иосиф, согласно строгому иерусалимскому этикету, выпивает свой кубок не сразу, но в три приема. Клавдий Регин отлично осведомлен о положении дел в Иудее, он был там всего два года назад. Не римские чиновники виноваты, что Иудея никак не может успокоиться, и не иерусалимские заправилы, но единственно только ничтожные агитаторы, эти «Мстители Израиля». Лишь потому, что они не видят иного способа сделать политическую карьеру, они подстрекают население к обреченному на провал вооруженному восстанию. Никогда евреям не жилось так хорошо, как при нынешнем благословенном императоре Нероне. Они пользуются влиянием во всех областях жизни, и оно все росло бы, если бы у них хватило ума не слишком его подчеркивать.

— Что важнее: иметь власть или показывать, что имеешь власть?— закончил он и прополоскал рот подогретым вином.

Иосиф решил, что пора замолвить слово в защиту «Мстителей Израиля». Евреям, живущим в Риме, сказал

он, не следует забывать, что в Иерусалиме людьми управляет не только трезвый разум, но и сердце. Ведь там повсюду натыкаешься на знаки римского владычества. Гай Барцаарон с теплотой вспомнил о пасхе, о том, как она празднуется в храме. Но если бы он видел, сколь грубо и цинично ведет себя в этом храме, например, римская полиция, которая присутствует там на пасху для охраны порядка, то понял бы, что даже спокойный человек не может не вскипеть. Нелегко праздновать освобождение из египетского плена, когда при каждом слове чувствуешь на своем затылке римский кулак. Быть сдержанным здесь, в Риме, немудрено, вероятно, и он смог бы, но это невыразимо трудно в стране, избранной богом, где пребывает бог, в стране Израиля.

— Бог уже не в стране Израиля: теперь бог в Италии,—произнес резкий голос. Все посмотрели на желтолицего, который сказал эти слова. Он держал кубок в руке, ни на кого не смотрел: его слова были предназначены только для него самого. В них не звучало также ни пренебрежения, ни насмешки,—он просто констатировал факт и смолк.

И все молчали. Нечего было ответить. Даже Иосиф почувствовал против воли, что в этом есть правда. «Бог теперь в Италии». Он перевел про себя эти слова на арамейский язык. Они поразили его.

— Тут вы, пожалуй, правы, молодой человек,—сказал через минуту Клавдий Регин.—Вы должны знать,—обратился он к Иосифу,—что я не только еврей, я—сын сицилийского раба и еврейки, по желанию моего господина меня не обрезали, и я, откровенно признаться, до сих пор ему за это благодарен. Я—человек деловой, всегда стараюсь избежать невыгодных сторон какого-нибудь положения, и наоборот: я пользуюсь его выгодами где только могу. Ваш бог Ягве мне больше нравится, чем его конкуренты. Мои симпатии на стороне евреев.

Знаменитый финансист благодушно разлегся на ложе, в руке он держал кубок с подогретым вином, его хитрые заспанные глаза были устремлены в темноту двора. На среднем пальце блестело кольцо с огромной матовой жемчужиной. Иосиф не мог отвести от нее глаз.

— Да, доктор Иосиф,—сказал Гай Барцаарон,—это прекраснейшая жемчужина четырех морей.

— Я ношу ее только по субботам,—отозвался Клавдий Регин.

Если пропустить этот вечер, размышлял Иосиф, если не использовать сытого благодушия и послеобеденной сентиментальности этого могущественного человека, то, значит, он, Иосиф, кретин и никогда не сможет довести дело трех невинных до благополучного разрешения.

— Так как вы принадлежите к лагерю сочувствующих, господин Клавдий Регин,—обратился он к финансисту скромно и все же настойчиво,—не захотите ли вы проявить участие к судьбе трех невинных из Кесарии?

Ювелир порывисто поставил кубок на стол.

— Кесария,—произнес он, и взгляд его обычно сонных глаз стал колючим, а высокий голос—угрожающим.—Прекрасный город, с великолепным портом, большой вывоз, исключительный рыбный рынок. Огромные возможности. Вы сами будете виноваты, если их у вас вырвут из рук. Вы, с вашими идиотскими претензиями. Точно становится, когда я слышу об этих ваших «Мстителях Израиля».

Иосиф, испуганный внезапной резкостью всегда спокойного ювелира, возразил с удвоенной скромностью, что освобождение трех невинных—вопрос чисто этический, вопрос гуманности и с политикой не связан.

— Мы не хотим воздействовать ни политическими, ни юридическими аргументами,—сказал он.—Мы знаем, что при дворе можно добиться чего-нибудь только благодаря личным связям,—и посмотрел на Клавдия Регина покорным, просящим взглядом.

— А эти ваши трое невинных, по крайней мере, хоть действительно невинны?—спросил тот наконец, подмигнув. Иосиф принялся тотчас страстно уверять, что в момент начала беспорядков они находились совсем на другом конце города. Но Клавдий прервал его, заявив, что это его не интересует. А он хочет знать, к какой политической партии эти трое принадлежат.

— В Голубом зале они выступали?—спросил он. В Голубом зале собирались «Мстители Израиля».

— Да,—вынужден был признать Иосиф.

— Вот видите,—сказал Клавдий Регин, и дело было для него, по-видимому, решено.

Юст из Тивериады смотрел на красивое, пылкое, алчущее лицо Иосифа. Иосиф явно потерпел неудачу, и Юст радовался ей. Он наблюдал за своим молодым коллегой, который и отталкивал и привлекал его. Юст, как и Иосиф, жаждал стать известным писателем с большим политическим весом. У них были те же возможности, тот же путь, те же цели. Надменный Рим созрел для более древней культуры Востока, как он созрел сто пятьдесят лет назад для греческой культуры. Содействовать тому, чтобы эта культура подтачивала его изнутри, работать над этим—вот что влекло Юста, казалось высокой миссией. Чувствуя это, он три года назад приехал в Рим, как приехал теперь Иосиф. Но ему, Юсту, было и труднее и легче. Его воля была более цельной, способности ярче. Но он был чрезмерно строг в выборе

средств, щепетилен. Он знал теперь слишком хорошо, как делают в столице литературу и политику, ему претили компромиссы, дешевые эффекты. Этот Иосиф, видимо, не столь разборчив. Он не отступает перед самыми грубыми приемами, он хочет возвыситься во что бы то ни стало, он актерствует, льстит, соглашается, словом, из кожи лезет, так что знатоку любо-дорого смотреть. Национальное чувство у Юста одухотвореннее, чем у Иосифа; очевидно, предстоят столкновения. Жестокое будет между ними состязание; сохранить честность не всегда окажется легко, но он не нарушит ее. Он предоставит противнику все шансы, на которые тот имеет право.

— Я посоветовал бы вам, Иосиф бен Маттафий,— сказал он,— обратиться к актеру Деметрию Либанию.

И снова все посмотрели на желтолицего молодого человека. Как эта мысль никому не пришла в голову? Деметрий Либаний, самый популярный комик столицы, баловень и любимец двора, иудей, по всякому поводу подчеркивающий свое иудейство,—да, это именно тот человек, который нужен Иосифу. Императрица охотно приглашала его, он бывал на ее еженедельных приемах. Остальные поддерживали: да, Деметрий Либаний— вот к кому Иосифу следует обратиться.

Вскоре собеседники разошлись. Иосиф поднялся в свою комнату. Он скоро заснул, очень довольный. Юст из Тивериады отправился домой один, с трудом пробираясь в ночной темноте. Он улыбался. Председатель общины, Гай Барцаарон, даже не счел нужным дать ему факельщика.

Рано утром Иосиф, в сопровождении раба из челяди Гая Барцаарона, пришел к Тибурским воротам, где его ждал наемный экипаж для загородных поездок. Экипаж был маленький, двухколесный, довольно тесный и неудобный. Шел дождь. Ворчливый возница уверял, что они проедут не меньше трех часов. Иосифу было холодно. Раб, которого Гай приставил к нему прежде всего в качестве переводчика, оказался неразговорчивым и скоро задремал. Иосиф плотнее завернулся в плащ. В Иудее сейчас еще тепло. И все-таки лучше, что он здесь. На этот раз будет удача— он верит в свое счастье.

Здесьние евреи непременно связывают его трех невинных с политикой «Мстителей Израиля», с делом в Кесарии. Разумеется, важно для всей страны— ограбят ли иудеев, лишив их господства в Кесарии, или нет, но он не желает, чтобы этот вопрос связывали с вопросом об его трех невинных. Он находит это циничным. Ему важен

только этический принцип. Помогать узникам — одно из основных моральных требований иудейского учения.

Если уж быть честным до конца, то, видимо, эти трое невинных не совсем случайно оказались в Кесарии как раз во время выборов. Со своей точки зрения, тогдашний губернатор Антоний Феликс, вероятно, имел основания их забрать. Однако ему, Иосифу, совершенно незачем углубляться в побуждения губернатора, который, к счастью, теперь уже отозван. Для Иосифа эти трое невиновны. Узникам надо помогать.

Экипаж встряхивает. Адски плохая дорога. Вот они уже подъезжают к кирпичному заводу. Серо-желтый пустырь, повсюду столбы и частоколы, а за ними опять столбы и частоколы. У ворот их встречают любопытствующие, праздные, подозрительные взгляды караульных, довольных развлечением. Переводчик вступает с ними в переговоры, показывает пропуск. Иосиф стоит рядом, ему неловко.

Унылой, тоскливой дорогой их ведут к управляющему. Вокруг — глухое, монотонное пение: за работой полагается петь — таков приказ. У надсмотрщиков — кнуты и дубинки, они с удивлением смотрят на приезжих.

Управляющий неприятно изумлен. Обычно, когда бывают посетители, его предупреждают заранее. Он предчувствует ревизию, осложнения, не понимает или не хочет понимать Иосифовой латыни, сам говорит по-гречески весьма слабо. Чтобы понять друг друга, все время приходится обращаться к помощи раба. Затем появляется кто-то из подчиненных, шепчется с управляющим, и обращение управляющего сразу меняется. Он откровенно объясняет почему: со здоровьем этих трех заключенных дело обстоит не совсем благополучно, и он опасался, не отправлены ли они на работу, но сейчас выяснилось, что с ними поступили гуманно, их оставили в камере. Он рад, что вышло так удачно, оживляется, теперь он понимает латынь Иосифа несравненно лучше, улучшается и его собственный греческий язык, он становится словоохотливым.

Вот их «дело». Сначала их отправили в Сардинию, в копи, но они там не выдержали. Обычно приговоренные к принудительным работам используются для постройки дорог, очистки клоак, для работы на ступальных мельницах и на водокачках общественных бань. Работа на кирпичном заводе считается самой легкой. Управляющие фабриками неохотно берут заключенных евреев: и пища не по ним, и работать не желают в субботу. Сам он — и он может похвастаться этим — относится к трем старикам особенно гуманно. Но, к сожалению, даже гуманность должна иметь свои границы. В связи с ростом строитель-

ства именно к государственным кирпичным заводам предъявляются невероятно высокие требования. Тут каждый вынужден приналечь. Требуемое количество кирпича должно быть выработано во что бы то ни стало.

— И, как вы понимаете, господин мой, аппетиты римских архитекторов отнюдь не отличаются умеренностью. Пятнадцать рабочих часов — теперь официальный минимум.

За неделю из восьмисот или тысячи его заключенных подымают в среднем четверо. Он рад, что эти трое до сих пор не попали в их число.

Затем управляющий передает Иосифа другому служащему. И опять под глухое, монотонное пение они идут мимо надсмотрщиков с кнутами и дубинками, среди глины и жара, среди рабочих, согнувшихся в три погибели, стоящих на коленях, задыхающихся под тяжестями. В памяти Иосифа встают строки из Священного писания — о фараоне, угнетавшем Израиль в земле Египетской: «Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиною и кирпичами. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли их тяжкими работами, и построили они фараону города Пифом и Раамсес». Для чего же празднуют пасху с таким ликованием и блеском, если здесь сыны Израиля все еще таскают кирпичи, из которых их враги строят города? Глина тяжело налипала на его обувь, набивалась между пальцев. А вокруг все то же несмолкающее, монотонное, глухое пение.

Наконец перед ними камеры. Солдат зовет начальника тюрьмы. Иосиф ждет в коридоре, читает надпись на дверях — изречение современного писателя, знаменитого Сенеки: «Они рабы? Но они и люди. Они рабы? Но они и домоладцы. Они рабы? Но и младшие друзья». Тут же лежит маленькая книжка: руководство писателя Колумеллы, специалиста по управлению крупными предприятиями. Иосиф читает: «Следует ежедневно производить переключку заключенных. Следует также ежедневно проверять, целы ли кандалы и крепки ли стены камер. Наиболее целесообразно оборудовать камеры на пятнадцать заключенных».

Его ведут к его трем подзащитным. Камера — в земле; узкие окна расположены очень высоко, чтобы до них нельзя было достать рукой. Плотно придвинутые одна к другой, стоят пятнадцать коек, покрытых соломой, но даже сейчас, когда здесь только пять человек — Иосиф, сторож и трое заключенных, — в камере невыносимо тесно.

Три старика сидят рядом, скрючившись. Они полунагие, одежда висит на них лохмотьями; их кожа свинцового

цвета. На щиколотках — кольца для кандалов, на лбах — клеймо: выжжена буква «Е». Головы их наголо обриты, и потому особенно нелепо торчат огромные бороды, свалывшиеся, патлатые, желто-белые. Иосиф знает их имена: Натан, Гади и Иегуда. Гади и Иегуду он видел редко и мимоходом, поэтому нет ничего удивительного, что он их не узнал; но Натан бен Барух, доктор теологии, член Великого совета, был его учителем, в течение четырех лет он проводил с ним ежедневно несколько часов, его-то Иосиф уж должен бы признать. Однако он не признал его. Натан был тогда довольно полный, среднего роста; а сейчас перед ним сидят два скелета среднего роста и один — очень большого. И ему никак не удастся угадать, который из двух скелетов среднего роста — его учитель Натан.

Он приветствует трех заключенных. Странно звучит в этой жалкой яме его с трудом сдерживаемый голос здорового человека:

— Мир вам, господа.

Старики поднимают головы, и теперь он по густым бровям наконец узнает своего старого учителя. Иосиф вспоминает, как боялся этих буйных глаз под густыми бровями и как сердился на них, ибо этот человек мучил его; когда он, будучи девяти-десятилетним мальчиком, не мог уследить за его хитроумными толкованиями, учитель унижал его насмешкой, едко и обдуманно оскорблял самолюбие. Тогда Иосиф — и как часто — желал этому хмурому, ворчливому человеку всяких бед; теперь же, когда на нем останавливается мертвый взгляд этих ввалившихся, потухших глаз, на сердце словно давит камень и сострадание сжимает горло.

Иосифу приходится говорить долго и бережно, пока его слова не начинают преодолевать тупую усталость этих стариков и доходить до их сознания. Наконец они отвечают, покашливая, заикаясь. Они погибли. Ведь если их и не могли заставить преступить запреты Ягве, то им все же не давали исполнять его заповедей. Поэтому они утратили и ту и эту жизнь. Поэтому все равно, будут ли их избивать дубинками, пока они не упадут на глинистую землю, или пригвоздят к кресту, согласно нечестивому способу римлян убивать людей, — чем скорее конец, тем он желаннее, господь дал, господь и взял, да будет благословенно имя господне.

В тесной полутемной камере воздух сперт, сыр и холоден, через узкие оконные отверстия в нее попадает дождь, нависла густая вонь, издалека доносится глухое пение. Иосифу становится стыдно, что у него здоровое тело и крепкая одежда, что он молод, деятелен, что он через час может уйти отсюда, прочь из этого царства

глины и ужаса. А эти трое не могут думать ни о чем, выходящем за тесный круг этой жуткой повседневности. Нет смысла говорить им о его миссии, о шагах, которые предпринимаются для их освобождения, о политике, о более благоприятной для них конъюнктуре при дворе. Самым горьким для них остается то, что они не могут соблюдать обрядов очищения, строгих правил ритуальных омовений. У них было много самых разных надсмотрщиков и сторожей: одни жестче — те отнимали у них молитвенные ремешки, чтобы старики не повесились на них; другие мягче — и не отнимали, но все равно, все они — необрезанные богохульники и прокляты богом. Трем старикам было все равно — лучше кормят заключенных или хуже, ведь они отказывались есть мясо животных, убитых не по закону. Таким образом, им оставалось только питаться отбросами фруктов и овощей. Они обсуждали между собой, нельзя ли им брать свои мясные порции и выменивать на хлеб и плоды у других заключенных. Они яростно спорили, и доктор Гади доказывал с помощью многих аргументов, что это дозволено. Но в конце концов и он согласился с остальными, что такой обмен разрешается только при непосредственной угрозе для жизни. А кто может сказать, на этот или только на будущий месяц им предназначено господом умереть — да будет благословенно имя его! Значит, он тем самым и запрещен. Если они не очень устали и оступели, они неизменно затевают споры и приводят богословские аргументы относительно того, что дозволено, что не дозволено, и тогда они вспоминают Каменный зал в Иерусалимском храме. Иосифу казалось, что такие споры бывали порой весьма бурными и кончались бешеными ссорами, но это было, видимо, единственное, что еще связывало их с жизнью. Нет, невозможно говорить с ними хоть сколько-нибудь разумно. Когда он рассказывал им о симпатиях императрицы к иудеям, они возражали, что еще вопрос, разрешено ли вообще молиться здесь, в грязи, под землей; кроме того, они никогда не знали, который день недели, и поэтому опасались осквернить субботу наложением молитвенных ремешков, а будний день — неналожением.

Иосиф понял, что дело безнадежно. Он просто слушал их, и, когда один из стариков привел какое-то место из Писания, Иосиф принял участие в споре и процитировал другое, где говорилось обратное; тогда они вдруг оживились, начали спорить и извлекать доказательства из своих бессильных гортаней, и он спорил вместе с ними, и для них этот день стал великим днем. Но долго они выдержать не могли и скоро опять погрузились в тупое оцепенение.

Иосиф смотрел, как они сидят сгорбившись в тусклом свете темницы. А ведь эти три жалких и тощих старика, грязные, униженные, были когда-то большими людьми в Израиле, их имена блистали среди имен законодателей из Каменного зала. Помогать узникам! Нет, дело не в том, будут евреи господствовать в Кесарии или нет: все это презренная суeta. Помочь этим трем— вот в чем дело. Вид их потряс его, разжег в нем весь его пламень. Он был полон благочестивым состраданием, и его сердце чуть не разрывалось. Иосифа волновало и трогало, как упрямо держатся они в несчастье за свой закон, как они вцепились в него, и только закон дает им силу, поддерживает в них жизнь. Вспомнилось время, когда он сам пребывал в пустыне, терпя святые лишения, у ессеев, у своего учителя Бана, и как тогда, в лучшие минуты, к нему приходило познание не через рассудок, но через погружение в себя, через внутреннее видение, через бога.

Освободить узников. Он сжал губы с твердым решением погасить всякую мысль о себе ради этих трех несчастных. Сквозь жалкое пение заключенных он услышал великие древние слова заповеди. Нет, он здесь не ради суетного себялюбия— его послал сюда Ягве. Возвращаясь обратно под серым дождем, он не чувствовал ни дождя, ни глины, налипшей на обувь. Освободить узников.

В Иудее человеку с такими политическими убеждениями, как у Иосифа, было бы невозможно отправиться на бега или в театр. Один-единственный раз был он на представлении в Кесарии— тайком и снедаемый нечистой совестью. Но разве это представление по сравнению с тем, что он увидел сегодня в Театре Марцелла! У него голова закружилась от танцев, буффонад, балета, от большой патетической пантомимы, от пышности и постоянной смены зрелищ на огромной сцене, которая в течение многих часов ни на минуту не оставалась пустой. Юст, сидевший рядом с ним, отмахнулся от всего одним пренебрежительным жестом. Он признавал лишь сатирическое обозрение, которое пользовалось заслуженным признанием у народа, и терпел все остальное, чтобы только сохранить за собой место до выступления комика Деметрия Либания.

Да, этот комик Деметрий Либаний, несмотря на все его неприятные черты, оставался художником с подлинно человеческим обликом. Он родился рабом в императорском дворце, затем был отпущен императором Клавдием на волю, заработал своей игрой неслыханное состояние и

звание «первого актера эпохи». Император Нерон, которому он преподавал ораторское и драматическое искусство, любил его. Нелегкий человек этот Либаний, одновременно и гордый и подавленный своим еврейством. Даже просьбы и приказания императора не могли его заставить выступать в субботу или в большие еврейские праздники. Все вновь и вновь дебатировал он с богословами еврейских университетов вопрос о том, действительно ли отвержен богом за свою игру на театре. С ним делались истерики, когда ему случалось выступать в женском платье и тем нарушать заповедь: мужчина не должен носить женской одежды.

Одиннадцать тысяч зрителей в Театре Марцелла, утомленные многочасовой разнообразной программой первого отделения, с шумом и ревом требовали комедии. Дирекция медлила, так как, видимо, ждали императора или императрицу, в ложе которых все уже было подготовлено. Однако публика прождала пять часов, в театре она привыкла отстаивать свои права даже перед двором; и вот она кричала, грозила — приходилось начинать.

Занавес повернулся и, опускаясь, открыл сцену: комедия с участием Деметрия Либания началась. Она называлась «Пожар»; говорили, что ее автор — сенатор Марулл. Главным героем — его играл Деметрий Либаний — был Исидор, раб из египетского города Птолемаиды, превосходивший умом не только всех остальных рабов, но и своего господина. Он играл почти без реквизита, без маски, без дорогих одежд, без котурнов; это был просто раб Исидор из Египта, сонливый, печальный, насмешливый парень, который всегда выходит сухим из воды, который всегда оказывается прав. Своему неповоротливому неудачнику хозяину он помогает выпутываться из бесчисленных затруднений, он добивается для него положения и денег, он спит с его женой. Однажды, когда хозяин дает ему пощечину, Исидор объявляет грустно и решительно, что должен, к сожалению, его покинуть и что не вернется до тех пор, пока хозяин не расклеит во всех общественных местах объявления с просьбой извинить его. Хозяин заковывает раба Исидора в кандалы, дает знать полиции, но Исидору, конечно, удастся улизнуть, и, к бурному восторгу зрителей, он все вновь и вновь водит полицию за нос. К сожалению, в самый захватывающий момент, когда, казалось бы, Исидора уж непременно должны поймать, представление было прервано, ибо в эту минуту появилась императрица. Все встали, приветствуя одиннадцатитысячеголосым приветом изящную белокурую даму, которая поблагодарила, подняв руку ладонью к публике. Впрочем, ее появление вызвало двойную сенсацию, так как ее сопровождала настоятельница весталок, а до сих

пор было не принято, чтобы затворницы-аристократки посещали народные комедии в Театре Марцелла.

Пьесу пришлось начать сызнова. Иосиф был этим очень доволен: неслыханно дерзкое правдоподобие игры было для него потрясающе ново, и во второй раз он понимал лучше. Он не сводил горящих глаз с актера Либания, с его вызывающих и печальных губ, с его выразительных жестов, со всего его подвижного, выразительного тела. Наконец дело дошло до куплетов, до знаменитых куплетов из музыкальной комедии «Пожар», которые Иосиф за то короткое время, что был в Риме, уже слышал сотни раз: их пели, орали, мурлыкали, насвистывали. Актер стоял у рампы, окруженный одиннадцатью клоунами, ударные инструменты звенели, трубы урчали, флейты пищали, а он пел куплет:

Кто здесь хозяин?

Кто платит за масло?

Кто платит за женщин?

И кто, кто платит за сирийские духи?

Зрители вскочили, они подхватили песенку Либания; даже янтарно-желтая императрица в своей ложе шевелила губами, а торжественная настоятельница весело смеялась. Но теперь раб Исидор наконец попался, пути к отступлению не было, его плотно окружили полицейские; он уверял их, что он не раб Исидор, но как это доказать? Танцем. Да. И вот он стал танцевать. На ноге Исидора еще была цепь. Танцуя, ему приходилось скрывать цепь, это было невообразимо трудно, это было одновременно и смешно и потрясающе: человек, танцующий ради спасения своей жизни, ради свободы. Иосиф был захвачен, вся публика была захвачена. Как нога актера тянула за собой цепь, так каждое его движение тянуло за собой головы зрителей. Иосиф был до мозга костей аристократом, он, не задумываясь, требовал от рабов самых унижительных услуг. Большинство находившихся в театре людей тоже над этим не задумывалось: не раз на примере десятков тысяч казненных рабов эти люди доказывали, что отнюдь не намерены уничтожить различие между господами и рабами. Но сейчас, когда перед ними танцевал с цепью на ноге раб, выдававший себя за хозяина, все они были на его стороне и против его хозяина, и все они — и римляне и их императрица — рукоплескали смелому парню, когда он, еще раз надув полицейских, тихонько и насмешливо снова затянул:

Кто здесь хозяин?

Кто платит за масло?

А теперь пьеса стала уже совсем дерзкой. Хозяин Исидора действительно повсюду расклеил извинения, он

помирился со своим рабом. Но тем временем он успел наделать глупостей: поругался с квартирантами, и они перестали ему платить. Однако выселить их, по известным причинам, он все же не решился — его дорогие дома были обесценены. Никто не мог выручить его из беды, кроме хитрого Исидора, и Исидор выручил. Он выручил его, прибегнув к тому же приему, к которому, по мнению народа, прибегли в аналогичном случае император и кое-кто из знати: взял да и поджег тот квартал, где находились обесцененные дома. В изображении Деметрия Либания это получилось дерзко и великолепно; каждая фраза звучала намеком на тех, кто спекулировал земельными участками, и на тех, кто наживался на новостройках. Он никого не пощадил: ни архитекторов Целера и Севера, ни знаменитого старого политика и писателя Сенеку с его теоретическим прославлением бедности и фактической жизнью богача, ни финансиста Клавдия Регина, который носит на среднем пальце великолепную жемчужину, но, к сожалению, не имеет денег, чтобы купить себе приличные ремни для башмаков, ни даже самого императора. Каждое слово попадало не в бровь, а в глаз, публика ликовала, надрывалась от смеха, и, когда, в заключение, актер пригласил зрителей разграбить горевший на сцене дом, они пришли в такое неистовство, какого Иосиф никогда не видел. С помощью сложных машин горящий дом был повернут к зрителям так, что они увидели его изнутри, с его соблазнительной обстановкой. Тысячи людей хлынули на сцену, набросились на мебель, посуду, кушанья. Орали, топтали друг друга, давили, и по всему театру, по широкой площади перед ним, по гигантским стройным колоннадам и по всему огромному Марсову полю разносилось пенье и визг: «Кто здесь хозяин? Кто платит за масло?»

Когда Иосиф, по ходатайству Юста, получил приглашение на ужин к Деметрию Либанию, ему стало страшно. По природе он был человек смелый. Ему приходилось представляться и первосвященнику, и царю Агриппе, и римскому губернатору, и это его отнюдь не смущало. Но к актеру Либанию он испытывал более глубокое почтение. Его игра захватила Иосифа. Он восхищался и дивился. Каким образом один человек, еврей Деметрий Либаний, мог заставить тысячи людей, знатных и простых, римлян и чужестранцев, думать и чувствовать, как он?

Иосиф застал актера лежащим на кушетке, в удобном зеленом халате; лениво протянул он гостью унизанную кольцами руку. Иосиф, смущенный и удивленный, увидел,

как мал ростом этот человек, заполнявший собой весь гигантский Театр Марцелла.

Это была трапеза в тесном кругу: молодой Антоний Марулл, сын сенатора, еще какой-то едва оперившийся аристократ, затем еврей из совета Велійской синагоги, некий доктор Лициний, очень манерный и сразу же Иосифу не понравившийся.

Иосиф, попав в первый раз в богатый римский дом, неожиданно хорошо ориентировался в непривычной обстановке. Назначение разной посуды, соусы к рыбе, пряные приправы, овощи—во всем этом можно было запутаться. Однако, наблюдая за несимпатичным доктором Лицинием, возлежавшим как раз против него, он скоро уловил самое необходимое и уже через полчаса тем же надменным и элегантным поворотом головы отказывался от того, чего не хотел, и легким движением мизинца приказывал подать себе то, что его привлекало.

Актёр Либаний ел мало. Он жаловался на диету, на которую его обрекала проклятая профессия, ах, и в отношении женщин тоже, и сообщил скабрёзные подробности с том, как некоторые антрепренеры вынуждали своих артистов-рабов к насильственному воздержанию с помощью особого прикрепленного к телу хитроумного механизма. Но за хорошие деньги знатым дамам удавалось смягчить этих антрепренеров, и они изредка снимали на ночь этот механизм с бедных актёров. Сейчас же вслед за этим он стал издеваться над некоторыми из своих коллег, приверженцами другого стиля, над нелепостью традиций, над масками, котурнами. Он вскочил, начал пародировать актёра Стратокла, прошествовал через комнату так, что его зелёный халат раздувался вокруг него; он был в сандалиях без каблуков, но все ясно чувствовали и котурны, и напышенность всего облика.

Иосиф набрался смелости и скромно выразил свое восхищение тем, как тонко и все же прозрачно Деметрий Либаний во время спектакля намекал на богача Регина. Актёр поднял глаза:

— Значит, это место вам понравилось? Очень рад. Оно не произвело того впечатления, на которое я рассчитывал.

Тогда Иосиф с жаром, но опять-таки скромно, рассказал, как сильно потрясла его вообще вся пьеса. Он видел миллионы рабов, но только теперь впервые почувствовал и понял, что такое раб. Актёр протянул Иосифу унизанную кольцами руку. Для него большая поддержка, сказал он, что человек, приехавший именно из Иудеи, так захвачен его игрой; Иосифу пришлось подробно описывать, как на него подействовала каждая деталь. Актёр задумчиво слушал его и медленно ел какой-то особый, питательный салат.

— Вы вот приехали из Иудеи, доктор Иосиф,— перешел он в конце концов на другое.— О, мои любезные евреи,— продолжал он жалобно и покорно.— Они травят меня где только могут. В синагоге меня проклинаят только за то, что я не пренебрегаю даром, данным мне господом богом, и пугают мною детей. Иногда я просто из себя выхожу, так меня злит эта ограниченность. А когда у них какое-нибудь дело в императорском дворце, они бегут ко мне и готовы мне все уши прожужжать своими просьбами. Тогда Деметрий Либаний для них хорош.

— Господи,— сказал молодой Антоний Марулл,— да евреи всегда брюзжат, это же всем известно.

— Я попрошу,— вдруг закричал актер и встал, выпрямившись, рассерженный,— я попрошу вас в моем доме евреев не оскорблять. Я—еврей.

Антоний Марулл покраснел, сделал попытку улыбнуться, но это ему не удалось; он пробормотал какие-то извинения. Однако Деметрий Либаний его не слушал.

— Иудея,— проговорил он,— страна Израиля, Иерусалим. Я никогда там не был, я никогда не видел храма. Но когда-нибудь я все-таки туда поеду и принесу своего агнца на алтарь.— Как одержимый смотрел он перед собой тоскующими серо-голубыми глазами на бледном, чуть отеком лице.

— Я могу больше того, что вы видели,— обратился он уже прямо к Иосифу с значительным и таинственным видом.— У меня есть одна идея. Если она мне удастся, тогда... тогда я действительно заслужу звание «первого актера эпохи». Я знаю точно, как надо сделать. Это только вопрос мужества. Молитесь, доктор и господин Иосиф бен Маттафий, чтобы я нашел в себе это мужество.

Антоний Марулл доверчивым и вкрадчивым жестом обнял актера за шею.

— Расскажи нам свою идею, милый Деметрий,— попросил он.— Ты уже третий раз говоришь нам о ней.

Но Деметрий Либаний оставался непроницаемым.

— И императрица настаивает,— сказал он,— чтобы я наконец выступил со своей идеей. Думаю, она многое дала бы мне за то, чтобы я эту идею осуществил.— И он улыбнулся бездонно-дерзкой улыбкой.— Но я не намерен этого делать,— закончил актер.— Расскажите мне об Иудее,— снова обратился он к Иосифу.

Иосиф стал рассказывать о празднике пасхи, о празднике кущей; о службе в храме в день очищения, когда первосвященник один-единственный раз в году называет Ягве его настоящим именем и весь народ, слыша это великое и грозное имя, падает ниц перед невидимым богом

и сто пятьдесят тысяч лбов касаются храмовых плит. Актер слушал, закрыв глаза.

— Да, настанет день, когда и я услышу это имя,— сказал он.— Год за годом откладываю я поездку в Иерусалим; пора расцвета длится у актера недолго. И силы нужно беречь. Но настанет день, когда я все-таки взойду на корабль. А когда состарюсь, я куплю себе дом и маленькое именье под Иерусалимом.

Пока актер говорил, Иосиф напряженно и быстро соображал: сейчас присутствующие еще способны воспринимать, и они в подходящем настроении.

— Можно мне рассказать вам еще одну историю об Иудее, господин Деметрий?— просящим тоном обратился он к актеру.

И поведал о своих трех невинных. Он вспоминал при этом кирпичный завод, сырое холодное подземелье, трех старцев, подобных скелетам, и то, как он не узнал своего старого учителя Натана. Актер оперся лбом на руку и слушал, не открывая глаз. Иосиф говорил, и речь его была яркой и окрыленной.

Когда он кончил, все молчали. Наконец доктор Лициний из Велійской синагоги сказал:

— Очень интересно!

Но актер гневно накинулся на него; он хотел быть взволнованным, хотел верить.

Лициний стал оправдываться. Где же доказательства, что эти трое действительно невиновны? Конечно, доктор и господин Иосиф бен Маттафий в этом искренне убеждены, но почему показания его свидетелей должны быть достовернее, чем показания свидетелей губернатора Антония Феликса, правдивость которых признал римский императорский суд? Иосиф смотрел на актера доверчиво и серьезно, он скромно ответил:

— Взгляните на этих трех людей, они на Тибурском кирпичном заводе. Поговорите с ними. Если вы и после этого будете убеждены в их виновности, я не скажу больше ни слова.

Актер шагал взад и вперед, его взгляд прояснился, вся его вялость исчезла.

— Это прекрасное предложение!— воскликнул он.— Я рад, доктор Иосиф, что вы пришли ко мне. Мы поедем в Тибур. Я хочу видеть этих трех невинных. Я помогу вам, доктор и господин Иосиф бен Маттафий.— Он стоял перед Иосифом, ростом он был ниже Иосифа, но казался гораздо выше.— А вы знаете,— сказал он загадочно,— ведь эта поездка лежит на пути к моей идее!

Он был оживлен, деятелен, сам приготовил смесь из напитков, сказал каждому что-нибудь приятное. Пили много. Позднее кто-то предложил сыграть. Играть стали

четырьмя костями из слоновового бивня. Вдруг Деметрия Либания осенило. У него же где-то должны быть спрятаны оставшиеся еще с детства игральные кости из Иудеи, странные, с осью, верхняя часть которой служила ручкой, так что их можно было вертеть, словно волчки. Да, Иосиф знал такие игральные кости. Их стали искать, нашли. Они были грубые, примитивные, смешно вертелись. Все играли с удовольствием. Невысокие ставки казались Иосифу огромными. Он вздохнул с облегчением, когда выиграл первые три круга.

Костей было четыре. На каждой—четыре буквы: гимель, хэ, нун, шин. Шин была самая плохая буква, нун—самая лучшая. Правоверные евреи гнушались этой игрой—они утверждали, что буква шин символизирует древнее изображение бога Сатурна, буква нун—древнее изображение богини Нога-Истар, которую римляне называют Венерой. После каждого тура кости собирали в кучу, и каждый игрок мог выбрать себе любую. Во время игры Иосифу очень часто выпадала счастливая буква нун. Своим острым зрением он скоро установил, что причиной его везения была одна определенная кость, дававшая каждый раз, когда он ее кидал, букву нун, и происходило это, видимо, оттого, что у кости был чуть отбит уголок.

Заметив это, Иосиф похолодел. Если заметят и другие, что буква нун выпадает ему столько раз благодаря кости с отбитым уголком,—конец успехам сегодняшнего вечера, конец благосклонности великого человека. Он стал очень осторожен, сократил свой выигрыш. Того, что у него оставалось, ему хватит, чтобы жить в Риме, не стесняя себя.

— С моей стороны будет большой нескромностью, господин Деметрий,—спросил он, когда игра была кончена,—если я попрошу вас подарить мне на память эти кости?

Актер рассмеялся. Неуклюже нацарапал он на одной из них начальную букву своего имени.

— Когда мы поедem к вашим узникам?—спросил он Иосифа.

— Хотите дней через пять?—нерешительно предложил Иосиф.

— Послезавтра,—решил актер.

На кирпичном заводе Деметрию Либанию устроили торжественную встречу. Бряцая оружием, отряд военной охраны оказал первому актеру эпохи те почести, какие полагалось оказывать только самым высокопоставленным лицам. Надзиратели, сторожа теснились у ворот и, приветствуя его, поднимали правую руку с вытянутой ладонью. Со всех сторон раздавалось:

— Привет тебе, Деметрий Либаний!

Небо сияло; глина, согбенные узники казались менее безутешными; всюду сквозь монотонное пение просачивался знаменитый куплет: «Кто здесь хозяин? Кто платит за масло?» Смущенный, шел рядом с актером Иосиф; пожалуй, еще сильнее, чем восторг многих тысяч зрителей в театре, взволновало его то почитание, каким окружали Деметрия Либания даже здесь, в этой обители скорби.

Однако в подземном сыром и холодном застенке тотчас же исчезли те праздничные румяна, которыми был сегодня приукрашен кирпичный завод. Высоко расположенные узкие окна, вонь, монотонное пение... Три старика сидели скрючившись, как в прошлый раз, высохшие, с неизбежным железным кольцом цепи вокруг щиколотки, с выжженными «Е» на лбу, с патлатыми, торчащими бородами, такими нелепыми при наполовину обритых головах.

Иосиф попытался заставить их заговорить. С той же бережной любовью, что и в прошлый раз, извлекал он из них слова горя и безнадежной покорности.

Актер, слегка взволнованный, глотал слезы. Он не отрывал взгляда от старцев, когда те, истощенные, сломленные, с трудом двигая кадыками и давясь, выборматывали свои убогие жалобы. Жадно ловил его слух их хриплое, прерывистое лопотанье. Он охотно стал бы ходить взад и вперед, но это было невозможно в столь тесном помещении, поэтому он стоял на одном месте, оцепеневший, потрясенный. Его стремительное воображение рисовало ему, на какую высоту были некогда вознесены эти люди, облаченные в белые одежды, торжественно возвещавшие из Каменного зала храма законы Израиля. Слезы набежали ему на глаза, он не вытирал их, и они заструились по его слегка отекившим щекам. Деметрий замер в странной неподвижности; потом, стиснув зубы, очень медленно поднял покрытую кольцами руку и разордал на себе одежду, как это делали евреи в знак великой скорби. Затем присел рядом с тремя несчастными, прижался вплотную к их смердящим лохмотьям, так что вонючее дыхание обдавало ему лицо и их грязные бороды щекотали ему кожу. И он заговорил с ними по-арамейски; он запинаясь, он словно извлекал этот полузабытый язык издалека, у него не было практики. Но это были слова, которые они понимали, более созвучные их настроению и состоянию, чем слова Иосифа,—слова участия к их маленьким, жалким будням, очень человеческие,—они заплакали, и они благословили его, когда он уходил.

На обратном пути Деметрий Либаний долго молчал, затем высказал вслух свои мысли. Что великий пафос единожды обрушившегося удара, страдания горевшего

Геракла, поверженного Агамемнона в сравнении с ползущим, медленно пожирающим тело и душу несчастьем этих трех? Какой бесконечный, горький путь прошли эти некогда великие люди Сиона, передававшие потомству факел учения, ныне же отупевшие и разбитые, ставшие какими-то сгустками небытия!

По возвращении в город, к Тибурским воротам, актер, прощаясь с Иосифом, прибавил:

— Знаете, что самое страшное? Не их слова, а эта странная манера раскачиваться взад и вперед верхней частью туловища, и так равномерно. Это делают только люди, которые постоянно сидят на земле и проводят много времени в темноте. Слова могут лгать, но такие движения до ужаса правдивы. Я должен это обдумать. Этим можно воспользоваться и создать сильное впечатление.

В ту ночь Иосиф не ложился; он сидел в своей комнате и писал докладную записку о трех невинных. Масло в его лампе кончилось, и фитиль догорел: он вставил новый, долил масло и продолжал писать. Он писал очень мало о деле в Кесарии, гораздо больше — о бедственном положении трех старцев и очень много — о справедливости. Справедливость, писал он, с древнейших времен считается у иудеев первой добродетелью. Иудеи могут вынести нужду и угнетение, но не выносят несправедливость; они прославляют каждого, даже своего угнетателя, когда он восстанавливает право. «Пусть право течет, как быстрая река,— говорит один из пророков,— и справедливость, как неиссякающий ручей». «Золотое время наступит тогда,— говорит другой,— когда право будет обитать даже в пустыне». Иосиф пламенел. Он в собственном пламени раскалял мудрость древних. Он сидел и писал. Со стороны ворот доносился гром ломовых повозок, которым запрещалось ездить днем по улицам; он не обращал на них внимания: он писал и тщательно отделывал свой труд.

Спустя три дня гонец Деметрия Либания принес Иосифу письмо, в котором актер сухо и кратко предлагал ему быть готовым послезавтра, в десять часов, чтобы вместе с ним засвидетельствовать свое почтение императрице.

Императрица. У Иосифа захватило дыхание. Кругом, на всех улицах, стояли ее бюсты, которым воздавались божеские почести. Что он ей скажет? Как ему найти слова для этой чужой женщины, чья жизнь и чьи мысли столь недостижимо вознесены над остальными людьми, слова, которые бы проникли ей в душу? Но, спрашивая себя об этом, он уже знал, что нужные слова найдет, ибо она была женщиной, а в нем жило затаенное легкое

презрение ко всем женщинам, и он знал, что именно этим ее и покорит.

Он перечел свою рукопись. Прочел самому себе вслух, громким голосом, сильно жестикулируя, как прочел бы в Иерусалиме. Он написал ее по-арамейски и теперь с трудом перевел на греческий. Его греческий текст полон неловких оборотов, ошибок — Иосиф знает это. Может быть, неприлично преподносить императрице дурно обработанный, полуграмотный перевод? Или, быть может, именно его ошибки и подкупят ее своей наивностью?

Он не говорит ни с кем о предстоящей аудиенции. Он бежит по улицам. Встречая знакомых, он сворачивает, мчится к парикмахеру, покупает себе новые духи, с высот надежды падает в бездну глубочайшего уныния.

На бюстах у императрицы низкий, ясный, изящный лоб, удлинённые глаза, не слишком маленький рот. Даже враги признают, что она красива, и многие утверждают, что каждый, кто ее видит впервые, теряет голову. Как устоит он перед ней — он, незаметный провинциал? Ему нужен человек, с которым он все это обсудил бы. Он бежит домой. Говорит с девушкой Ириной, закладывает ее, лучезарную, высокочтимую, сохранить тайну, — он должен сообщить ей нечто ужасно важное; затем он не выдерживает: рассказывает, как представляет себе встречу с императрицей, что он ей скажет. Он репетирует перед Ириной слова, движения.

На другой день его торжественно несут в парадных носилках Деметрия Либания в императорский дворец. Впереди — глашатаи, скороходы, большая свита. Когда проносят носилки, люди останавливаются, приветствуют актера. Иосиф видит на улицах бюсты императрицы, белые и раскрашенные. Янтарно-желтые волосы, бледное точеное лицо, очень красные губы. «Поппея», — думает он. «Поппея» — значит «куколка». «Поппея» — значит «бе-бе». Он вспоминает еврейское слово «яники». Так звали когда-то и его. Должно быть, не так уж трудно будет убедить императрицу.

Судя по рассказам, Иосиф ожидал, что императрица примет его, по примеру восточных принцесс, среди роскошных диванов и подушек, окруженная опахальщиками, прислужницами и благовониями, облаченная в изысканнейшие одежды. Вместо этого она просто сидела в удобном кресле, была одета чрезвычайно скромно, почти как матрона, в длинной стóле, — правда, стóла была из материи, считавшейся в Иудее нечестивой, легкой, как дуновение, — из полупрозрачной косской ткани. И накрашена была императрица чуть-чуть, и причесана гладко, на пробор, волосы свернуты в узел, — ничего похожего на те высокие, осыпанные драгоценностями сооружения, какие

обычно воздвигают из своих волос дамы высшего общества. Грациозная, словно совсем юная девушка, сидела императрица в своем кресле, удлинненным красным ртом улыбалась вошедшим, протянула им белую детскую руку. Да, она по праву звалась Поппеей, бебе, яники, но она могла действительно свести с ума, и Иосиф забыл, что он должен говорить ей.

Она сказала:

— Прошу вас, господа.

И так как актер сел, сел и Иосиф, и наступило короткое молчание. Волосы императрицы действительно были янтарно-желтые, как называл их в своих стихах император, но брови и ресницы ее зеленых глаз были темные. У Иосифа промелькнула мгновенная мысль: «Она же совсем другая, чем на своих бюстах: она — дитя, но дитя, которое спокойно отдаст приказ убить человека. Что можно сказать такому ребенку? Кроме того, ходит слух, что она дьявольски умна».

Императрица смотрела на него неотступно, без смущения, и Иосиф с большим трудом, даже слегка потея, сохранял на своем лице выражение подчеркнутой покорности. Чуть-чуть, едва уловимо скривились ее губы, и тут она вдруг перестала быть похожей на дитя и, напротив, казалась теперь чрезвычайно опытной и насмешливой.

— Вы прямо из Иудеи? — спросила она Иосифа; она говорила по-гречески, очень звонким, слегка надменным голосом. — Расскажите, — попросила она, — что думают в Иерусалиме об Армении? — Это было действительно неожиданно, ибо если римская политика на Востоке и зависела от решения вопроса об Армении, то все же Иосиф почитал проблему своей Иудеи слишком важной, чтобы рассматривать ее не самостоятельно, а в связи с какой-то варварской Арменией. Поэтому в Иерусалиме совсем не думали об Армении, во всяком случае, он не думал об этом и не нашелся сразу, что ответить.

— Евреям в Армении живет хорошо, — сказал он наконец после некоторого молчания, довольно некстати.

— Вот как? — отозвалась императрица, улыбаясь с явной иронией. Она продолжала задавать вопросы в том же роде, ее забавлял этот молодой человек с удлинненными горячими глазами, который, по-видимому, даже не представляет себе, как остро стоит вопрос о его родине.

— Спасибо, — сказала она, когда Иосиф с большим трудом закончил обстоятельный рассказ о стратегическом положении на парфянской границе, — теперь я гораздо лучше информирована. — Она улыбнулась Деметрию Либанию, удовлетворенная: где он выкопал эту курьезную восточную редкость? — Я почти готова поверить, — бросила она актеру, удивленная и благодарная, — что он

действительно выступил на защиту своих трех невинных просто по доброте сердечной...—И благосклонно, очень вежливо обратилась к Иосифу:—Пожалуйста, расскажите о ваших подзащитных.—Она непринужденно сидела перед ним в кресле; ее шея была матовой белизны, бедра и плечи просвечивали сквозь тонкую ткань строгого платья.

Иосиф извлек свою докладную записку. Но как только он начал читать по-гречески, императрица сказала:

— Что это вы вздумали? Говорите по-арамейски.

— А вы все поймете?—наивно спросил Иосиф.

— Кто вам сказал, что я хочу все понять?—возразила императрица.

Иосиф пожал плечами скорее высокомерно, чем обиженно, затем стремительно заговорил по-арамейски, как он первоначально подготовил свою речь, а цитаты из Писания, не смущаясь, приводил по-еврейски. Но он не мог сосредоточиться и чувствовал, что говорит без подъема; он смотрел, не сводя глаз, на императрицу, сначала смиренно, потом немного застенчиво, потом с интересом, под конец даже дерзко. Он не знал, слушает ли она и тем более понимает ли его. Когда он кончил, почти тотчас же вслед за его последним словом она спросила:

— Вы знаете Клею, жену моего губернатора в Иудее?

Особенно поразило Иосифа слово *моего*. Как это прозвучало: «Моего губернатора в Иудее»! Он представлял себе, что такие слова должны быть точно высечены из камня, а тут перед ним сидело дитя и говорило, улыбаясь: «Мой губернатор в Иудее»,—и это звучало убедительно, это соответствовало истине: Гессий Флор был ее губернатором в Иудее. Все же Иосиф не хотел допустить, чтобы это ему импонировало.

— Жены губернатора я не знаю.—И дерзко добавил:—Смею ждать ответа на свое сообщение?

— Я приняла ваше сообщение к сведению,—ответила императрица. Но кто мог отгадать, что это означало?

Актер решил, что пора вмешаться.

— У доктора Иосифа нет времени вести светскую жизнь,—помог он Иосифу.—Он занимается литературой.

— О!—сказала Поппея и стала очень серьезной и задумчивой.—Еврейская литература! Я мало ее знаю. То, что я знаю, прекрасно, но очень трудно.

Иосиф насторожился, взял себя в руки. Он должен, должен смягчить сердце этой дамы, сидевшей перед ним так спокойно и насмешливо. Он стал рассказывать о том, что его единственное желание—это раскрыть перед римлянами сокровищницу мощной еврейской литературы.

— Вы привозите с Востока жемчуга, пряности, золото и редких зверей,—заявил он.—Но его лучшее сокровище—его книги—оставляете без внимания.

Поппея спросила, как он думает раскрыть римлянам еврейскую литературу.

— Откройте же мне что-нибудь,— сказала она и внимательно посмотрела на него зелеными глазами.

Иосиф опустил веки, как это делали у него на родине рассказчики сказок, и начал. Он взял первое, что ему пришло на ум, и рассказал о Соломоне, царе Израиля, о его мудрости, его силе, его постройках, его храме, его женах, об его идолопоклонстве, о том, как царица из Эфиопии посетила его, и как он разрешил спор двух женщин из-за ребенка, и как он написал две замечательные книги: одну—о мудрости, под названием «Проповедник», и одну—о любви, под названием «Песнь песней». Иосиф пытался процитировать несколько строф из «Песни песней» на какой-то смеси арамейского и греческого. Это было нелегко. Теперь его глаза уже не были закрыты, и он переводил не столько словами, сколько старался дать ей почувствовать пламенные стихи с помощью жестов, вздохов и движений всего тела. Императрица чуть подалась вперед. Ее локти лежали на ручках кресла, рот был полуоткрыт.

— Это прекрасные песни!— сказала она, когда Иосиф остановился, тяжело дыша от напряжения. И обратилась к актеру:— Ваш друг—славный мальчик,— сказала она.

Деметрий Либаний, как бы несколько отодвинутый на второй план, воспользовался ее словами, чтобы снова занять первое место. Сокровища еврейской литературы неисчерпаемы, заметил он. И он нередко пользуется ими, чтобы освежить свое искусство.

— Вы были изумительно вульгарны, Деметрий,—с восхищением сказала императрица,—в последний раз, когда играли раба Исидора. Я так смеялась...

Лицо Деметрия Либания чуть скривилось. Императрица прекрасно знала, что слышать подобную похвалу именно от нее он вовсе не желал. Дерзкий и неотесанный юноша из Иерусалима не принес ему счастья. Вся эта аудиенция была ложным шагом, не следовало ее затевать.

— Вы еще обязаны сказать мне одну вещь, Деметрий,—продолжала императрица.—Вы все твердите о какой-то большой революционной идее, с которой носитесь. Может быть, вы ее наконец откроете мне? По правде говоря, я что-то в нее уже не верю.

Актер сидел мрачный и раздраженный.

— У меня больше нет оснований умалчивать о своей идее,—сказал он наконец вызывающе.—Она связана с тем, о чем мы все время говорим.—Он сделал короткую выразительную паузу, затем бросил очень легко:—Я хочу сыграть еврея Апеллу.

Иосиф испугался. Еврей Апелла—это был тот образ еврея, каким его создал злой народный юмор римлян,—крайне противный персонаж, суеверный, вонючий, отвратительный, шутовской; великий поэт Гораций пятьдесят лет назад ввел этот тип в литературу. И теперь Деметрий Либаний хочет?.. Иосиф испугался.

Но он испугался еще больше, взглянув на императрицу. Ее матово-бледное лицо покраснело. В этой изменчивости и многогранности было что-то восхитительное и страшное.

Актер наслаждался произведенным впечатлением.

— На наших сценах,—пояснил он,—играли греков и римлян, египтян и варваров, но еврея еще никогда.

— Да,—сказала тихо и с усилием императрица.—Это хорошая и опасная идея.

Все трое сидели молча, задумавшись.

— Слишком опасная,—промолвил наконец актер, печально, уже раскаиваясь.—Боюсь, что не смогу ее осуществить. Мне не следовало открывать ее. Как хорошо было бы сыграть еврея Апеллу—не того смешного дурака, каким его делает народ, а настоящего, со всей его скорбью и комизмом, с его постами и невидимым богом. Вероятно, я единственный человек на свете, который мог бы это сделать. Это было бы замечательно! Но это слишком опасно. Вы, ваше величество, кое-что в нас, евреях, понимаете, но много ли еще таких людей в Риме? Будут смеяться, только смеяться, и все мои старания вызовут лишь злобный смех. А это было бы плохо для всех евреев.—И после паузы добавил:—Да и опасно для меня самого перед моим невидимым богом.

Иосиф сидел оцепенев. Все это—вещи странные и сомнительные, и он тоже в них впутался. Он на себе испытал, с какой невероятной силой действует подобное театральное представление. Его пылкая фантазия уже рисовала ему актера Деметрия Либания на сцене; он вливает жуткую жизнь в образ еврея Апеллы, танцует, прыгает, молится, говорит тысячами голосов своего выразительного тела. Всеми миру известно, как изменчивы настроения римской публики. Никто не мог предвидеть, какие последствия, до самой парфянской границы, вызовет такое представление.

Императрица поднялась. Своеобразным движением скрестила она руки на затылке под узлом волос, так что завернулись рукава, и принялась ходить взад и вперед по всему покою, шлейф ее строгого платья волочился вслед. Мужчины вскочили, как только поднялась императрица.

— Молчите, молчите!..—бросила она актеру; Поппея загорелась его идеей.—Не трусьте же, если у вас наконец возникла действительно хорошая мысль.—Она остано-

лась рядом с актером, почти нежно обняла его за плечи.— Римский театр скучен,— пожаловалась она.— Или грубость и пошлость, или сплошные мертвые традиции. Сыграйте мне еврея Аpellу, милый Деметрий,— попросила она.— Уговорите его, молодой человек,— обратилась она к Иосифу.— Поверьте мне, всем нам будет чему поучиться, если он сыграет еврея Аpellу.

Иосиф стоял молча, в мучительной неуверенности. Румянец вспыхивал и гас на его смугло-бледном лице. Уговаривать ли ему Деметрия? Он знал, что актер всем существом своим жаждет показать свое еврейство во всей его наготу перед этим великим Римом. Достаточно одного его слова—и камень покатится. Но куда он покатится— не знает никто.

— Вы скучны!— сказала императрица недовольным тоном. Она снова села. Мужчины еще стояли. Хотя актер привык управлять своим телом, но теперь стоял в некрасивой, беспомощной позе.— Ну, говорите же, говорите!— убеждала императрица Иосифа.

— Бог теперь в Италии,— сказал Иосиф.

Актер поднял глаза; было ясно, что эти многозначительные слова попали в цель, что они отмели сложный клубок сомнений. На императрицу эти слова тоже произвели впечатление.

— Превосходно сказано!— Она захлопала в ладоши.— Вы умница!— прибавила она и записала имя Иосифа.

Иосиф почувствовал себя и ошарашенным, и удрученным. Он не знал, что подсказало ему эти слова. Неужели он их сам нашел? Говорил ли он их когда-нибудь раньше? Во всяком случае, это были нужные слова в нужную минуту. И совершенно все равно, он ли их придумал или кто другой. Все дело в том, в какой момент слова сказаны. Мысль: «Бог теперь в Италии» — только сейчас обрела жизнь, в этот миг ее великого воздействия.

Но возымела ли она действие? Актер все еще стоял в нерешительности или, по крайней мере, прикидывался нерешительным.

— Скажите же «да», Деметрий,— настаивала императрица.— Если вы заставите его согласиться,— обратилась она к Иосифу,— ваши трое невинных получают свободу.

В горячих глазах Иосифа вспыхнуло яркое пламя. Он низко склонился перед императрицей, бережно поднял ее белую руку, поцеловал долгим поцелуем.

— Когда же вы сыграете мне еврея?— спросила тем временем императрица актера.

— Я еще ничего не обещал,— быстро и испуганно возразил Деметрий.

— Дайте ему письменную гарантию насчет наших подзащитных,— попросил Иосиф.

Императрица признательно улыбнулась ему в ответ на эти «ему» и «наших». Она вызвала своего секретаря.

— «Если актер Деметрий Либаний,— диктовала она,— сыграет еврея Апеллу, то я исходатайствую освобождение трем еврейским заключенным, находящимся на Тибурском кирпичном заводе».

Она велела подать ей дощечку. Поставила внизу свою букву «П», протянула дощечку Иосифу, посмотрела на него ясными зелеными насмешливыми глазами. И на ее взгляд он ответил взглядом — смиренным, но таким настойчивым и долгим, что насмешка медленно погасла в ее глазах, и их ясность затуманилась.

После аудиенции Иосиф чувствовал себя на седьмом небе. Другие оказывали почести бюсту императрицы, великой, богоподобной женщине, которая с улыбкой приказала убить свою могущественную противницу — императрицу-мать и с той же улыбкой поставила на колени сенат и римский народ. Он же говорил с этой знатнейшей дамой мира, как разговаривал с любой девушкой в повседневной жизни... Иильди, яники... Достаточно было ему посмотреть ей в глаза долгим взглядом, и она уже обещала ему освобождение трех старцев, которого, при всей своей мудрости и политическом опыте, не мог добиться Иерусалимский Великий совет.

Открыленный, бродил он по улицам правого берега Тибра, среди евреев. Люди почтительно смотрели ему вслед. За ним раздавался шепот: «Это доктор Иосиф бен Маттафий, из Иерусалима, священник первой череды, любимец императрицы».

Девушка Ирина положила к его ногам, словно коврик, свое почитание. Прошло то время, когда в канун субботы Иосифу приходилось сидеть среди менее чтимых гостей. Теперь Гай Барцаарон чувствовал себя польщенным, когда Иосиф занимал почетное место на застольном ложе. Больше того: хитрый старик перестал быть сдержанно-замкнутым и открыл Иосифу кой-какие затруднения, которые тщательно таил от остальных.

Дела его мебельной фабрики шли, как и раньше, прекрасно. Но все сильнее ему начинала угрожать некая опасность, которую он предчувствовал уже много лет. У римлян все больше входила в моду обстановка с украшениями в виде зверей — ножки от столов, рельефы, всевозможные детали. А ведь в Писании сказано: «Не сотвори себе кумира», — и иудеям запрещалось создавать изображения живых существ. Поэтому Гай Барцаарон до сих пор избегал выделять мебель с украшениями в виде животных. Однако конкуренты беззастенчиво пользова-

лись этим; они заявили, что его продукция устарела, и его мучила потеря стольких клиентов. Отказ от подобных украшений обходился ему теперь, после пожара, в сотни тысяч. Гай Барцаарон искал выхода, обходов. Подчеркивал, что не сам же пользуется своей мебелью, а только продает ее. Добился экспертизы ряда теологов. Уважаемые ученые в Иерусалиме, Александрии и Вавилоне объявили выработку таких украшений в данном случае грехом простительным или даже делом дозволенным. И все-таки Гай Барцаарон колебался. Он никому не говорил об этих отзывах. Ибо отлично знал: пренебреги он, опираясь на них, сомнениями правоверных, его положение в общине будет сильно поколеблено. А его отец, древний старец Аарон, может даже из-за такого либерализма, упаси боже, умереть от скорби. Вот почему этот столь самоуверенный на вид человек был полон колебаний и тревог.

Иосиф не слишком строго придерживался обрядов. Но «не сотвори себе кумира» — это более чем закон: это одна из основных истин иудаизма. «Слово» и «кумир» исключали друг друга. Иосиф был писателем до мозга костей. Он поклонялся незримому слову. Нет на свете ничего могущественней слова; безобразное, оно действует сильнее всякого образа. Только тот может действительно обладать словом божьим, святым, незримым, кто не осквернил его чувственными представлениями, кто отказывается в самых глубинах души от пустой суетности воплощенного образа. Он слушал разглагольствования Гая Барцаарона с замкнутым выражением лица, холодно. Но как раз это и привлекало старика. Да, Иосиф чувствовал, что Гай охотно взял бы его в зятья.

Тем временем постепенно просачивались слухи, что освобождение трех невинных связано с выполнением какого-то условия. Когда евреи узнали, что это за условие, их радость исчезла. Как? Актер Деметрий Либаний будет играть еврея Апеллу, да еще, пожалуй, в Помпеевом театре, перед сорока тысячами зрителей? Еврей Апелла! Евреев знобило, когда они слышали то злобно-насмешливое прозвище, в которое Рим вложил все свое отвращение к пришельцам, живущим на правом берегу Тибра. Во время еврейских погромов при императорах Тиберии и Клавдии это прозвище сыграло немалую роль, оно знаменовало грабеж и резню. Разве дремлющая сейчас вражда не могла ежеминутно проснуться? Разве не глупо и не кощунственно будить ее? Существует немало печальных примеров того, на что способна римская публика в театре, когда она захвачена аффектом. Какая чудовищная дерзость со стороны Деметрия Либания — вызвать на подмостки видение еврея Апеллы!

И снова, с удвоенной яростью, обрушились правовернейшие из еврейских ученых на актера Либания. Грех уже одно то, что он выходит на сцену, облакаясь в одежду и плоть другого человека! Разве господь бог, благословенно имя его, не дал каждому собственный облик и собственную плоть? Разве поэтому не восстает против бога тот, кто пытается заменить их другими? Но изображать еврея, одного из произошедших от семени Авраамова, избранных, выставять его на потеху необрезанным — это смертный грех, недопустимая дерзость, это навлечет несчастье на головы всех. И они требовали опалы и изгнания Деметрия Либания.

Либералы-ученые горячо защищали актера. Разве то, что он хотел сделать, делалось не ради блага трех невинных? Разве это не единственное средство их спасения? Разве помогать узникам не одно из высших велений Библии? Кто посмел бы сказать актеру: не делай этого, пусть они сгниют на кирпичном заводе, как сгнили тысячи их предков в каменоломнях Египта?

Происходили бурные споры. На семинарах студентов-теологов одни библейские цитаты хитроумно противопоставлялись другим библейским цитатам. Этот интересный вопрос был поставлен на обсуждение каждой еврейской высшей школы, о нем спорили в Иерусалиме, в Александрии, среди известных ученых Вавилона, на далеком Востоке. Случай, казалось, был прямо создан для того, чтобы юристы и теологи упражняли на нем свое хитроумие.

А сам актер Либаний открывал всем и каждому происходивший в нем конфликт между его религиозной и артистической совестью. В душе он давно решил сыграть еврея Апеллу, чего бы это ни стоило. И знал также совершенно точно, как он его сыграет. Уже его либреттисты, и прежде всего тонкий, остроумный сенатор Марулл, придумали яркий сценарий, выигрышные ситуации. Странному автоматическому и покорному раскачиванию трех невинных в темнице актер был обязан целым рядом особенно удачных, жутко-гротескных находок. Он поставил себе целью дать смелое сочетание трагического и смешного. В дешевых кабаках деловых кварталов, в кварталах, где находились склады, бараки, он осторожно исполнял отдельные сцены, проверяя впечатление. Затем снова тревожился, что ему, вероятно, все же этой пьесы сыграть не удастся, запрещает совесть. Довольный, наблюдал он, как постепенно весь Рим начал волноваться: будет актер Деметрий Либаний играть еврея Апеллу или не будет? Где бы ни появлялись его носилки, слышались радостные крики, люди аплодировали и кричали: «Привет тебе, Деметрий Либаний! Сыграй нам еврея Апеллу!»

Он говорил и императрице о том, в какое трудное, сомнительное предприятие ему приходится пускаться и как тяжелы его раздумья. А императрица смеялась, смеясь, смотрела на колеблющегося. Начальнику Тибурского кирпичного завода был послан приказ держать еврейских заключенных в хороших условиях, а то как бы они за это время не умерли. Поппея ждала заключения от министерства просьб и жалоб. Конечно, освобождение трех старцев—это, в сущности, пустяки, но политика Рима на Востоке сложна, а Поппея была в достаточной мере римлянкой, чтобы сейчас же отказаться от амнистии, если бы это вызвало малейшие политические сомнения. Нужно будет, и она с улыбкой кассирует свое обещание.

Но пока ей нравилось вновь и вновь подталкивать актера к исполнению его намерения. Она рассказывала ему, что оппозиционная высшая аристократия в сенате уже противодействует амнистии. Он должен поэтому решиться—нехорошо бесцельно умножать страдания этих трех несчастных. Она улыбалась:

— Когда же вы нам сыграете еврея Апеллу, Деметрий?

Министр Филипп Талассий, начальник Восточного отдела императорской канцелярии, второй раз вызывает массажиста, чтобы тот растер ему руки и ноги. Еще ранняя осень, солнце только что село, никто еще не зябнет, но министр никак не может согреться. Он лежит, этот маленький старичок с хищным носом, на кушетке, обложенный подушками и одеялами, перед ним две грелки с углями: одна—для рук, другая—для ног. Стоя по ту сторону кушетки, раб-массажист с боязливым усердием растирает пергаментную сморщенную кожу, на которой, синяя, выступают жилы. Министр бранится, грозит. Массажист старается осторожно скользить по шрамам на плечах старца; эти шрамы, он знает, остались от ударов бича, которые министр Талассий получил, когда был еще рабом в Смирне. Врачи испробовали сотни средств, чтобы свести шрамы, они оперировали его, знаменитый специалист Скрибоний Ларг применял все свои мази, но старые шрамы не поддавались.

Сегодня скверный день, черный день, вся челядь в доме министра Талассия это уже почувствовала на собственной шкуре. Секретарь знает, что послужило причиной дурного настроения министра. Оно овладело им после того, как секретарь передал ему письмо из министерства просьб и жалоб, всего маленький формальный запрос. Господа из министерства, и прежде всего хитрый толстяк

Юний Фракиец, охотно обошли бы министра Талассия, они не любят его. Но при теперешнем императоре Восточный отдел стал центральным пунктом всей государственной политики, а известно, какой неимоверный скандал устраивает каждый раз Филипп Талассий, когда его не слушают в каком-нибудь деле, имеющем хотя бы отдаленное отношение к его ведомству. Поэтому ни один вопрос в кабинете императрицы не разрешался без заключения Талассия.

Само по себе дело это пустяковое. Речь идет о каких-то старых евреях, в связи с еврейскими беспорядками в Кесарии несколько лет назад приговоренных к принудительным работам. На императрицу, как видно, опять нашла блажь,—уже в который раз!—и она желает амнистировать преступников. Ее величество вообще питает подозрительную слабость к евреям. «Шлюха проклятая,—думает министр и сердито толкает массажиста локтем.—Наверное, сама произошла от блуда с каким-нибудь евреем, несмотря на свою старую аристократическую фамилию. Эти надменные римские аристократы спокон веков заражены всякими пороками и развращены до мозга костей».

Конечно, против каприза императрицы особенно не пойдешь, можно выдвинуть только самые общие доводы: положение на Востоке, дескать, требует непоколебимой решительности даже в делах как будто и незначительных, и тому подобное.

Маленький крючконосый господин сердится. Он прогоняет массажиста—этот идиот все равно ничем ему не поможет. Министр перевертывается на бок, подтягивает острые коленки до самой груди, думает напряженно, желчно.

Вечно эти евреи! Везде становятся они поперек дороги.

После успехов фельдмаршала Корбулона у парфянской границы политика на Востоке развивается очень удачно. Император ужален честолюбием, он мечтает стать новым Александром, расширить сферу римского влияния до Инда. Великие таинственные походы на далекий Восток, о которых Рим мечтает уже целое столетие, казавшиеся еще поколение назад наивными мальчишескими фантазиями, стали теперь предметом серьезных обсуждений. Авторитетные военные разработали планы; министерство финансов после тщательнейшей проверки заявило, что средства могут быть предоставлены.

В этом смелом проекте нового Александрова похода есть только одно уязвимое место: это провинция Иудея. Она лежит как раз на пути движения войск; и нельзя начинать великого дела, пока столь сомнительная точка не

будет прибрана к рукам и укреплена. Другие члены кабинета его величества улыбаются, когда министр Талассий об этом заговаривает, они считают его юдофобство просто манией. Но он, Филипп Талассий, знает евреев по своему азиатскому прошлому! Он знает, что с ними невозможно жить в мире, это фанатичный, суеверный, до сумасшествия высокомерный народ, и они не успокоятся до тех пор, пока их окончательно не укротят, пока не сровняют с землей их дерзкую столицу. Все вновь и вновь попадают губернаторы на удочку их миролюбивых обещаний, и все вновь оказывается, что эти обещания — ложь. Никогда эта маленькая нелепая провинция не могла лояльно подчиниться господству римлян, как подчинялось ему столько других, более обширных и мощных стран. Их бог не ладит с другими богами. В сущности, со смерти последнего царя, правившего в Иерусалиме, Иудея все время находится в состоянии войны, и смута в ней не утихнет, война будет продолжаться; Александров поход окажется невозможным, пока Иерусалим не разрушат.

Министр Талассий знает, что его соображения правильны, но он знает также, что не только в них причина того, что каждый раз, когда он слышит о евреях, у него начинается изжога и колики под ложечкой. Он вспоминает свое прошлое: то время, когда в виде приложения к драгоценному канделябру он попал в руки хозяина, культурного знатного грека; с каким трудом он выдвинулся благодаря своей памяти и красноречию, так что хозяин дал ему образование; как он участвовал в конкурсе тех, кого должны были принять на службу к цезарю, и как начальник императорской канцелярии Гай экзаменовал его, а еврейский переводчик Феодор Заккаи издевался над его арамейским языком, почему его, Талассия, едва не отвергли. А сделал он всего-навсего крошечную ошибку, можно было даже спорить, ошибка ли это. Но еврей не спорил, он просто поправил его. «Наблион», — сказал Талассий, а еврей поправил: «Набла» или, может быть, «небель», но ни в коем случае не «наблион», — и при этом так гнусно, оскорбительно улыбался. И что было бы с ним, Талассием, если после стольких лет труда и расходов его бы в Риме не приняли? Что бы с ним сделал хозяин? Велел бы засечь до смерти. Вспоминая улыбку того еврея, министр холодел от страха и ярости.

И все же это была не только личная обида: верное политическое чутье настраивало его против евреев. Мир был римским, в мире царило равновесие благодаря единой греко-римской системе. И только евреи мutilи, не желали признавать неопределимое благо этой мощной, объединяющей народы организации. Великий торговый путь в Индию, предназначенный вести греческую культуру на

самый далекий Восток, не мог быть открыт, пока этот надменный, упрямый народ не будет окончательно растоптан.

К сожалению, при дворе слепы к тому, чем угрожает Иудея. В императорском дворце веет ветер, дьявольски благоприятный для евреев. Его коллега толстяк Юний Фракиец, министр юстиции, покровительствует им. Они засели даже в финансовом управлении. Только за последние три года в списки всадников было внесено двадцать два еврея. Они проникали на сцену, в литературу. Разве не ощущается почти физически, как они своими нелепыми суеверными книгами разлагают империю? Клавдий Регин выбрасывает теперь на рынок этот бред целыми партиями. Мысленно произнося имя Регина, старик министр подтягивает колени еще выше. К хитрости этого человека, как он ему ни противен, министр все же чувствует почтение. Дело в том, что у этого Регина в ларце есть жемчужина — огромный нежно-розовый экземпляр, без единого порока. Талассий бы охотно купил у него эту жемчужину. Ему кажется, что, носи он ее на пальце, кожа станет менее сухой. Может быть, жемчужина повлияла бы благоприятно и на шрамы на его плечах; но несносный еврей богат, деньги его не привлекают, он жемчужину не продаст.

Министр Талассий раздумывает о том и о сем. Волнения в Кесарии, Регин и его кольцо. Не обратиться ли к сенату? Можно привести пример парфянской войны. А все-таки правильнее «наблион».

И вдруг он порывисто перевертывается на спину, вытягивается, смотрит покрасневшими сухими глазами в потолок. Желудочные боли прошли, исчез и озноб. У него возникла идея, превосходная идея. Нет, он не будет заниматься пустяками. Какой толк, если даже эти три пса на кирпичном заводе издохнут? Пусть господа евреи получают своих любимцев. Пусть их замаринуют с чесноком или хранят в своих ящиках-утеплителях. Он придумал кое-что получше. За освобождение трех старикашек он предъявит евреям такой счет, какого не придумать и господам из министерства финансов. Эдикт, эдикт о Кесарии. Он пристегнет амнистию к делу Кесарии. Завтра он снова предложит императору эдикт о Кесарии. Семь месяцев ждет он подписи; придравшись к этому случаю, он ее получит. Нельзя давать евреям все, чего они захотят. Нельзя им отдать трех преступников да еще город Кесарию в придачу. Или то, или другое. Так как этого желает императрица, то ее драгоценные мученики будут освобождены. Но от притязаний на Кесарию евреям придется отказаться навсегда.

Он вызывает секретаря, требует свою докладную записку о Кесарии. Насколько он помнит, она написана

кратко и резко. Так любит император: он не хочет подолгу возиться с политикой, его интересуют другие вещи. Впрочем, соображает император хорошо — у него быстрый, острый ум. Только бы добиться, чтобы он действительно прочел докладную записку, и тогда его подпись под эдиктом гарантирована. Ведь историю с тремя приговоренными к принудительным работам и нельзя ликвидировать без того, чтобы весь этот вопрос о Кесарии не был в конце концов разрешен. Да, на этот раз императору придется согласиться. Какая удачная мысль пришла в голову Пoppее — потребовать освобождения трех заключенных!

Приходит секретарь, приносит ему докладную записку. Талассий пробегает ее глазами. Да, он изложил дело ясно и убедительно.

Свободное население Кесарии состоит на сорок процентов из евреев и на шестьдесят — из греков и римлян. Однако в городском самоуправлении евреи имеют большинство. Они богаты, а закон о выборах дает право голоса на основе имущественного ценза. Построенное по этому принципу избирательное право в общем оправдало себя в провинциях Сирии и Иудее. Почему бы тем, кто дает общинам большую часть налогов, и не распоряжаться этими средствами? Но в Кесарии избирательный закон является большой тяжестью для большинства населения. Ибо евреи, заседающие в магистрате, вносят в расходование общественных сумм неслыханный произвол. Они тратят их не на потребности жителей, а посылают несуразно большие взносы в Иерусалим, на храм и религиозные нужды. Поэтому не удивительно, что при выборах дело всегда доходит до кровавых столкновений. С горечью вспоминают греки и римляне Кесарии о том, что, когда в царствование Ирода был основан этот город, они были первыми его обитателями, они построили гавань, доходами от которой Кесария теперь кормится. Кроме того, там резиденция римского губернатора, и притеснения, которым подвергаются со стороны евреев римляне и греки, особенно недопустимы в главном городе провинции. С самолюбием евреев, право же, достаточно посчитались, предоставив им полную автономию в Иерусалиме. Идти и дальше навстречу этому вечно недовольному народу недопустимо. История города Кесарии, происхождение и религия большинства ее жителей, ее основа и мощь не имеют ничего общего с еврейством. И город Кесария, от которого зависят покой и безопасность всей провинции, будет горестно удивлен, если наиболее лояльная, верноподданная часть его населения не получит в конце концов заслуженных ею избирательных прав.

В своей продуманной и хитрой докладной записке министр Филипп Талассий отнюдь не умолчал и об аргументах евреев. Он указывал на то, что в случае изменения избирательного закона греко-римское население получит право распоряжаться всеми еврейскими городскими налогами, а это практически означало бы широко проведенное отчуждение средств у еврейских капиталистов. Очень ловко доказывал он, однако, насколько это зло ничтожно в сравнении с той чудовищной несправедливостью, при которой главный город Иудеи, провинции, столь важной для всей восточной политики в целом, ныне действующим избирательным законом фактически отдавался в руки небольшой кучке еврейских богачей.

Министр перечел свою докладную записку еще раз. Тщательно проверил рукопись: его аргументы неопровержимы. Он твердо решил, он улыбается. Да, он отдаст меньшее — этих трех заключенных, чтобы зато отнять у евреев большее — прекрасный портовый город Кесарию.

Он позвал слуг, стал браниться. Велел унести грелки, одеяла, подушки. Эти дураки хотят, чтобы он задохнулся от жары? Он забегал взад и вперед на своих высохших ногах, костлявые руки ожили. Министр настойчиво потребовал на завтра утром аудиенции у императора. Теперь его путь был ему ясен, задуманное наверняка должно удался.

Ведь он не спешил, он мог бесстрастно насладиться своей местью. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как еврейский переводчик Феодор Заккаи улыбался. «Наблион», вот именно, и навеки «наблион». Он может подождать, пока эдикт, вырывающий у евреев присвоенную ими власть, будет подписан, но и тогда вовсе незачем его сразу же опубликовывать. Пусть документ еще спокойно полежит несколько месяцев, даже год, пока не выяснится вопрос о сроках великого Александрова похода.

Да, именно в такой форме предложит он завтра императору решить дело о Кесарии, и совершенно ясно, что в такой форме он его продвинет. Он улыбается. Еще до ужина диктует он ответ министерству просьб и жалоб в связи с запросом из кабинета императрицы относительно амнистирования евреев, приговоренных к принудительным работам на Тибурском кирпичном заводе. Как удивится толстяк Юний Фракиец, когда увидит, что министр Талассий ничего не имеет против их освобождения, решительно ничего.

За ужином гости министра с удивлением отмечают, что этот сварливый старик, хозяин дома, может быть даже веселым.

Иосиф все больше нравился Деметрию Либанию. Актер был уже не так молод, его образ жизни и его искусство отнимали немало сил, и ему казалось, что он может снова зажечься от огня, пылавшего в этом юноше из Иерусалима. И разве не встреча с Иосифом послужила толчком к тому, что он наконец выступил со своей великой и опасной идеей—сыграть еврея Апеллу? Он все чаще приглашал к себе Иосифа. Иосиф отвык от провинциальных манер, быстро усвоил своим живым умом подвижную и гибкую жизненную мудрость столицы, стал светским человеком. От многочисленных литераторов, с которыми его познакомил актер, он перенял технику, даже жаргон их ремесла. Он беседовал о политике и философии с людьми, занимавшими видное положение, вступал в любовные связи с женщинами, нравившимися ему,—с рабынями и аристократками.

Итак, Иосиф жил, окруженный уважением и удовольствиями. И все-таки, когда он оставался один, ему порой становилось не по себе. Он знал, конечно, что освобождение трех заключенных не может совершиться в одну минуту. Но проходили недели, месяцы, а он все еще ждал и ждал, как ждал когда-то в Иудее. И это ожидание изводило его: приходилось насиловать себя, чтобы не выйти из роли уповающего.

Клавдий Регин предложил Иосифу прислать свою докладную записку, которая произвела на императрицу столь сильное впечатление. Иосиф отослал рукопись и с волнением ждал отзыва знаменитого издателя. Но тот молчал. Иосиф ждал четыре долгих недели; Регин молчал. Может быть, он дал прочесть его рукопись Юсту? Сердце Иосифа сжималось, когда он вспоминал о своем бесстрашном, умном коллеге.

Наконец Регин пригласил его к обеду. Единственным гостем, кроме Иосифа, был Юст из Тивериады. Иосиф собрал все свои силы, он предчувствовал неприятные объяснения. Долго ждать ему не пришлось. Уже после первого блюда хозяин дома заявил, что он прочел Иосифову докладную записку. Форма ее говорит о бесспорном литературном таланте, но содержание, аргументация слабы. По предложению царя Агриппы Юст ведь тоже высказался о деле трех заключенных. Было бы очень любезно со стороны Юста, если бы он поделился своей точкой зрения. У Иосифа задрожали колени. Мнение целого Рима показалось ему вдруг ничтожным перед мнением его коллеги, Юста из Тивериады.

Юст не заставил себя просить. К делу трех стариков нельзя подходить вне связи с вопросом о Кесарии. А вопрос о Кесарии нельзя рассматривать вне связи с политикой Рима на Востоке в ее целом. С тех пор как на

Востоке управляет генерал-фельдмаршал Корбулон, Рим если и шел на уступки, то лишь формально, по сути же — никогда. При всем уважении к литературному таланту Иосифа он не думает, чтобы на императорскую канцелярию докладная записка оказала решающее влияние, скорее — данные и выкладки финансового ведомства или генерального штаба. В докладной записке, которую он, Юст, подал по предложению царя Агриппы в Восточный отдел канцелярии, он осветил главным образом юридическую сторону вопроса о Кесарии. Он сослался на город Александрию, где Рим не поддержал происксов антисемитов. Но он опасается, что министр Талассий, и без того юдофоб, да еще, вероятно, подмазанный кесарийскими греками, может, невзирая на все юридические аргументы, все же удовлетворить претензии нееврейского населения. И с точки зрения общей направленности римской политики на Востоке он, к сожалению, имеет для этого все основания.

Юст приподнялся на своем ложе; он аргументировал логично, остро, убедительно. Иосиф слушал лежа, закинув руки за голову. Вдруг он выпрямился, перегнулся к Юсту через стол, сказал враждебно:

— Это неправда, что дело тибурских мучеников — вопрос политический. Это вопрос справедливости, человечности. И я здесь — только чтобы добиться справедливости. Справедливость! Я зываю к ней с тех пор, как я в Италии. Моей жаждой справедливости я убедил императрицу.

Регин повертывал мясистую голову от одного к другому. Видел смугло-бледное худощавое лицо Иосифа, смугло-желтое худощавое лицо Юста.

— А знаете ли вы, господа, — и его высокий, жирный голос прозвучал взволнованно, — что вы очень друг на друга похожи?

Они были поражены. Каждый сравнивал себя с другим: ювелир был прав. И они ненавидели друг друга.

— Могу вам, впрочем, сказать по секрету, — продолжал Регин, — что вы спорите о деле, которое уже решено. Да, — продолжал он, глядя в упор на их растерянные лица, — вопрос о Кесарии решен... Может быть, пройдет некоторое время, пока эдикт будет обнародован, но он подписан и отправлен сирийскому генерал-губернатору. Вы правы, доктор Юст. Вопрос о Кесарии решен не в пользу евреев.

Оба молодых человека уставились на Клавдия Регина, сонно смотревшего перед собой. Они были так потрясены, что забыли и друг о друге, и о своем споре.

— Это худший выпад против Иудеи за все последнее столетие, — сказал Иосиф.

— Я боюсь, что из-за этого эдикта еще прольется кровь многих людей,—сказал Юст.

Они смолкли, выпили вина.

— Смотрите, доктор Иосиф,—сказал Регин,—чтобы ваши евреи не наделали глупостей.

— Здесь, в Риме, конечно, легко давать советы,—ответил Иосиф, и его голос был полон искренней горечи. Он сидел сгорбившись, усталый, словно опустевший. Новость, сообщенная этим противным жирным человеком, до того переполняла его сердце печалью, что в нем даже не оставалось места для унижительного ощущения, насколько смехотворна сейчас его миссия. Конечно, его соперник оказался прав, он все предвидел. А то, что нафантазировал по этому поводу Иосиф, оказалось дымом и его успех — ничем.

Клавдий Регин заговорил:

— Впрочем, я теперь же, до того как будет обнародован эдикт, опубликую вашу докладную записку, доктор Юст. Вы должны с ней ознакомиться,—обратился он с непривычной живостью к Иосифу,—это просто маленький шедевр.

И он попросил Юста прочесть главу. Иосиф, несмотря на свою подавленность, прислушался и был захвачен. Да, в сравнении с этими ясными, стройными фразами его убогая патетическая болтовня ничего не стоила.

Он сдался. Он покорился. Решил вернуться в Иерусалим, занять скромную должность при храме. Иосиф плохо спал в эту ночь и весь следующий день ходил подавленный. Ел мало и без удовольствия, не был у Луциллы, с которой сговорился на этот день. Зачем он приехал в Рим? Лучше бы он сидел сейчас в Иерусалиме, ничего не ведая о тех злых и угрожающих кознях, которые замышлялись здесь против Иудеи! Он хорошо знал город Кесарию, ее гавань, ее торговые склады, верфи, синагоги, магазины, публичные дома. Даже здания, возведенные там римлянами, хоть евреи этими зданиями и гнушались,—дворец губернатора, колоссальные статуи богини-покровительницы Рима и первого императора,—все же они приумножали славу Иудеи, пока город управлялся евреями. Но если управление перейдет в руки греков и римлян, то город станет римским, и тогда все приобретет обратный смысл, и евреев всей Иудеи и даже Иерусалима в их собственной стране станут только терпеть. Когда Иосиф об этом думал, ему казалось, что земля ускользает у него из-под ног. Скорбь и гнев настолько овладели его сердцем и всем его существом, что он чуть не заболел.

Но когда Деметрий Либаний с торжественной решительностью сообщил ему, что теперь он наконец сыграет еврея Апеллу ради того, чтобы три тибурских мученика

получили свободу, Иосиф снова просиял первой неомраченной радостью своего успеха. Римские евреи отнеслись к решению Деметрия Либания спокойнее, чем можно было ожидать, судя по их первоначальному волнению; но была зима, и актеру предстояло выступать сначала не перед широкой публикой, а в маленьком дворцовом театрике, находившемся в императорских садах. Собственно говоря, теперь бранился только один человек — древний старец Аарон; он упорно бормотал свои проклятия кощунственной затее актера и всему нынешнему поколению богохульников.

Пьеса «Еврей Апелла» была первой народной музыкальной комедией, исполняемой в собственном театре цезаря. Театр вмещал всего около тысячи человек, и в обществе завидовали тем немногим, кто получил приглашение на премьеру. Присутствовали все министры — и тощий Талассий, и толстый добродушный Юний Фракиец, министр просьб и жалоб, и начальник личной охраны и стражи Тигеллин. Затем до всего любопытная, жизнерадостная верховная весталка. Не забыли, само собой разумеется, и о Клавдии Регине. Из евреев присутствовали немногие: элегантный Юлиан Альф, председатель Великой общины, и его сын; Иосифу с трудом удалось получить пропуск для Гая Барцаарона и его дочери Ирины.

Занавес свертывается, опускаясь. На сцене стоит еврей Апелла, человек средних лет, с длинной острой бородой, уже начинающей седеть. Он живет в провинциальном городке Иудеи, его дом мал: он сам, жена, его многочисленные дети помещаются все в одной комнате. Половину его скудного заработка у него отнимают знатные господа в Иерусалиме; половину остатка забирают римляне в Кесарии. Когда смерть уносит его жену, он уходит из дома. Он берет с собой мезузу, чтобы прибить ее к дверям своего будущего дома, он берет с собой свои молитвенные ремешки, свой ящик-утеплитель для субботних кушаний, свои субботние светильники, всех своих многочисленных детей и своего невидимого бога. Он идет на Восток, в Парфянскую страну. Там он строит себе домик, прибывает у входа мезузу, надевает на голову и на руку ремешки, становится на молитву, лицом к западу, где Иерусалим и храм, и молится. Он питается плохо, впроголодь, но он доволен малым и даже ухитряется посылать кое-что в Иерусалим, на храм. Но тут появляются одиннадцать клоунов, это — парфяне, они издеваются над ним. Они отнимают у него мезузу и молитвенные ремешки, они смотрят, что там внутри, находят исписанный пергамент и смеются над смешными богами этого человека. Они хотят заставить его поклоняться их богам,

светлому Ормузду и темному Ариману. И так как он отказывается, они начинают дергать его за бороду и за волосы и рвут до тех пор, пока он не падает на колени, и это очень смешно. Он не признает их видимых богов, а они не признают его невидимого! Но на всякий случай они отнимают у него для алтарей своих богов ту горсточку денег, которые он скопил, и убивают троих из его семи детей. Он хоронит своих трех детей, он ходит между тремя маленькими могилками, затем садится и поет старинную песнь: «На реках вавилонских, там сидели мы и плакали»; он как-то странно раскачивается, и в этих движениях есть что-то нелепое и скорбное. Потом он умывает руки и снова уходит, на этот раз на юг, в Египет. Он бросает построенный им домик, но берет с собой мезузу, молитвенные ремешки, ящик-утеплитель, подсвечники, оставшихся детей и своего невидимого бога. Он строит себе новый домик, он берет себе новую жену, годы приходят и уходят, он опять копит деньги, и взамен троих убитых детей он родит еще четверых. Теперь он; когда молится, становится лицом к северу, где Иерусалим и храм, и он не забывает каждый год посылать свою дань в страну Израиля. Но и на юге враги не оставляют его в покое. Снова приходят одиннадцать клоунов, на этот раз они — египтяне, и требуют, чтобы он поклонялся их богам: Исиде, Осирису, Тельцу, Овну и Соколу. Но тут появляется римский губернатор и приказывает им оставить его в покое. Одиннадцать клоунов очень смешны, когда они, разочарованные, уходят. Но сам еврей Апелла, в своей радости победителя, еще смешнее. Он снова странно раскачивается худым телом; на этот раз он пляшет перед богом, пляшет перед полкой со священными книгами. Неуклюже задирает он ноги до поседевшей бороды, лохмотья его одежды развеваются, высохшей грязной рукой бьет он в бубен. Он раскачивается, все его кости возносят хвалу невидимому богу. Так танцует он перед книжной полкой, как некогда Давид плясал перед ковчегом. Римские знатные господа в зрительном зале смеются; очень громко, отчетливо сквозь всеобщий хохот доносится дребезжащий смех министра Талассия. Но многим становится не по себе, а несколько присутствующих здесь евреев смотрят растерянno, почти испуганно на подпрыгивающего, пляшущего, качающегося человека. Они вспоминают о левитах, как свято те стоят с серебряными трубами на высоких ступенях храма, и о первосвященнике, с каким величием и достоинством предстает он перед богом в блеске священных одежд и драгоценных камней. А не святотатство ли то, что проделывает там, на сцене, этот актер? Однако в конце концов даже римский губернатор уже не в силах защитить еврея Апеллу.

Египтян слишком много, из одиннадцати клоунов стало одиннадцатью одиннадцать, и они нашептывают на ухо императору ядовитые обвинения, и они смешно танцуют, и они колют, и жалят, и стреляют в него маленькими смертоносными стрелами, и снова убивают они трех детей и, кроме того, жену. В конце концов еврей Аpellа снова уходит—с мезузой и ремешками, с утеплителем и подсвечниками, с детьми и своим невидимым богом, и на этот раз он приходит в Рим. Но теперь пьеса становится особенно дерзкой и рискованной. Клоуны не решаются вредить ему физически, они держатся на краю сцены. Однако они все же влезают, подпрыгивая, словно обезьяны, на крышу его дома, они проникают и внутрь, они смотрят, что в мезузе и утеплителе. Они пародируют его, когда он становится на молитву, обратившись на этот раз к востоку, где Иерусалим и храм. Теперь на одиннадцати клоунах надеты очень дерзкие маски, маски-портреты, и можно без особого труда узнать и министра Талассия, и знаменитого юриста из сената—Кассия Лонгина, и философа Сенеку, и других влиятельных юдофобов. Однако на этот раз они ничем не могут повредить еврею Аpellе, он под защитой императора и императрицы. Но клоуны стерегут минуту, когда он оплошает. И он действительно оплошал. Он женится на местной уроженке, на вольноотпущеннице. Тогда они действуют через эту женщину—вливая ей в сердце весь яд своей насмешки. Поют особенно злые куплеты насчет обрезанного, его чеснока, его вони, его поста, его утеплителя. Доходят до того, что жена высмеивает Аpellу при детях за то, что он обрезан. Тогда он прогоняет ее и остается один со своими детьми и со своим невидимым богом, под защитой одного только римского императора. Покорно, в дикой тоске, поет он, покачиваясь, свою старую песню: «На реках вавилонских, там сидели мы и плакали»; издали, совсем тихо, его пародируют одиннадцать клоунов.

Зрители переглядываются; они хорошенько не знают, делать ли им веселые или печальные лица. Все косятся на императорскую ложу. А императрица заявляет своим звонким детским голоском, и он разносится по всему театру, что, пожалуй, ни одна из современных пьес не заинтересовала ее так, как эта. Она говорит комплименты сенатору Марулле, а он с притворной скромностью отрицает свое авторство. Император сдержан; его преподаватель литературы Сенека столько проповедовал ему о традициях театра, что он пока не может разобраться в этой новой драматургической технике. Император молод, белокур, его интеллигентное лицо слегка припухло; озабоченно и несколько рассеянно рассматривает он публику, которая не имеет права уйти, пока он не уйдет. Находящи-

еся в зрительном зале евреи стоят растерянные: Клавдий Регин затягивает, кряхтя, ремни своих сандалий и, когда его спрашивают, сипит в ответ что-то нечленораздельное. Иосиф не знает, негодовать ли ему или восхищаться. Его глазам больно от беспощадного света той жизненной правды, которую показал на сцене еврей Апелла. Он полон тревоги и восхищения оттого, что кто-то так бесстрашно сочетал все комические черты этого еврея с трагизмом его судьбы. В сущности, таковы чувства большинства зрителей. Публика озабочена и недовольна, евреи даже встревожены. Искренне доволен только министр Талассий.

Император вызывает его и министра юстиции Юния Фракийца к себе в ложу и говорит задумчиво, что с нетерпением ждет, как отнесутся евреи к некоему решению. Императрица перед уходом сообщает Иосифу, что завтра же его трое невинных будут освобождены.

На другой день, едва взошло солнце, три мученика были выпущены на свободу. В дачном поселке Тибур, в загородном доме Юлиана Альфа, председателя Велійской общины, их под присмотром врача выкупали, накормили, переодели в роскошные одежды. Затем их посадили в роскошный дорожный экипаж Юлиана Альфа. Всюду, по пути из Тибура в Рим, стояли группы иудеев, и, когда экипаж проезжал мимо них—впереди скороходы, сзади целая свита,—они произносили слова благословения, предписанные после спасения от великой опасности, и встречали трех старцев криками: «Благословенны грядущие! Мир вам, господа ученые!»

Но у Тибурских ворот происходила невероятная давка. Здесь, на месте, оцепленном полицией и войсками, мучеников ожидали председатели пяти иудейских общин, государственный секретарь Полибий из министерства просьб и жалоб, один из церемониймейстеров императрицы, но прежде всего—писатель Иосиф бен Маттафий, делегат Иерусалимского Великого совета, и актер Деметрий Либаний. Актер вызывал, конечно, и здесь всеобщее внимание; но все без исключения римские аристократы и евреи указывали друг другу на стройного молодого человека с худым лицом фанатика, смелым профилем и горячими глазами: это доктор Иосиф бен Маттафий, добившийся амнистии трех старцев. Для Иосифа это были великие минуты. Молодой, серьезный, взволнованный и гордый, он производил впечатление даже рядом с актером.

Наконец показался экипаж. Трех освобожденных вынесли из него на руках. Старцы были очень слабы, они

странно раскачивались взад и вперед, как автоматы. Невидящим взором смотрели они на тысячи лиц, на праздничные белые одежды, тупо слушали речи, в которых их прославляли. Люди растроганно показывали друг другу их полуобритые головы с выжженными «Е», следы кандалов на щиколотках. Многие плакали. Актер же Деметрий Либаний опустился на колени, склонил голову в уличную пыль и поцеловал ноги старцев, пострадавших за Ягве и землю Израиля. В нем привыкли видеть комика, народ смеялся, где бы он ни показывался, но теперь, когда он лежал в пыли перед тремя старцами, целовал им ноги и плакал, никто не находил его смешным.

В первую же субботу в синагоге Агрипповой общины шло торжественное служение. Старейший из трех освобожденных прочел первые стихи предназначенного для этого служения отрывка из Библии; с трудом, словно из глубины гортани, извлекал он слова; просторный молитвенный дом был набит людьми вплоть до последнего уголка, и вдоль всей улицы люди стояли плотной стеной, безмолвные, потрясенные. Иосифу же предложили после чтения взять на себя возношение торы. Стройный и серьезный, стоял он на возвышении; обеими руками высоко поднял тору, повернулся кругом так, чтобы все могли ее видеть, горячими глазами посмотрел поверх неисчислимых лиц. И римские евреи, не отрываясь, смотрели на пылкого юношу, вознесшего перед ними священный свиток.

В ту зиму трех мучеников много чествовали. Они постепенно поправлялись, их тощие тела наливались жизнью, бритые головы обрастали скудной растительностью; от лекарств, прописанных Скрибонием Ларгом, зажили следы цепей на их щиколотках. Одна община передавала их другой, один влиятельный еврейский аристократ — другому. Они принимали эти почести довольно равнодушно, как естественную дань.

По мере того как к ним возвращались силы, возвращалась и способность говорить. Оказалось, что мученики — сварливые, суетливые, придирчивые старички. Все казалось им недостаточно благочестивым и соответствующим предписаниям. Они спорили между собой и со всеми, они расхаживали среди евреев, точно здесь был Иерусалим и все эти евреи им подчинены, они приказывали и запрещали, пока наконец Юлиан Альф очень деликатно, но твердо не указал им на то, что его синагога им не подведомственна. Тогда они проклинали его и хотели подвергнуть великому отлучению и объявить ему всеобщий бойкот. Так что в конце концов все были рады, когда вновь открылось судоходство и троих старцев отвезли в Путеолы и посадили на корабль, отплывавший в Иудею.

Миссия Иосифа в Риме была выполнена. Но он все-таки не уезжал. Перед его глазами отчетливо стояла та цель, ради которой он сюда приехал: завоевать этот город. И все яснее понимал он, что для него существует единственный путь — литература. Его влекла к себе одна величественная тема из истории его страны. В древних книгах, повествовавших о его народе, Иосифа издавна волновало больше всего одно повествование: освободительная борьба Маккавеев против греков. Только теперь понимал он, почему его тянуло именно сюда. Рим созрел для того, чтобы воспринять мудрость и тайну Востока. Задача Иосифа — поведать миру об этом эпизоде из истории древнего Израиля, полном героизма и пафоса, поведать так, чтобы все увидели: страна Израиля действительно избранная страна, в ней обитает бог.

Он никому не говорил о своих планах. Вел жизнь молодого человека из общества. Но все, что видел, слышал, переживал, все связывал он с предполагаемым исследованием. Надо было показать возможность понимания и Востока и Запада. Надо было заключить историю Маккавеев с их верой и чудесами в суровые рамки ясной формы, как того требовала школа новейших прозаиков. Читая старые книги, он приобщался к мучениям людей прошлого, принявшим их, чтобы не осквернить заповедей Ягве, а на Форуме, под коллоннадою Ливии, на Марсовом поле, в общественных банях, в театре он приобщался к остроте жизни и к «технике» города Рима, который так завораживал своих обитателей, что все бранили его и все любили.

В полной мере ощутил Иосиф соблазн великого города, когда представилась возможность остаться в нем навсегда. Случилось так, что Гай Барцаарон собрался выдать замуж свою дочь Ирину. По желанию матери он наметил в зятя молодого доктора Лициния из Велийской синагоги, но в глубине души не желал этого брака, да и глаза девушки Ирины были устремлены на худошавое фанатичное лицо Иосифа все с тем же мечтательным восторгом, что и в первый день встречи. Со свадьбой медлили; достаточно было Иосифу сказать слово — и он мог бы навсегда обосноваться в Риме на положении зятя богатого фабриканта. Это казалось соблазнительным, обещало спокойную, беззаботную жизнь, уважение и достаток. Но это означало также и застой, отказ от самого себя. Разве подобная цель не слишком ничтожна?

Иосиф с удвоенным жаром набросился на книги. Подготавливал с безмерной тщательностью свою «Историю Маккавеев». Не гнушался зубрить, как школьник, латинскую и греческую грамматику. Набивал себе руку на

обработке труднейших деталей. Он занимался этой сложной и кропотливой работой всю весну, пока наконец не почувствовал себя созревшим, чтобы приступить к самому изложению.

Но тут произошло событие, потрясшее все его существо.

В начале лета, совершенно неожиданно и очень молодой, умерла императрица Пoppея. Она всегда желала умереть молодой, в расцвете сил, она часто говорила о смерти, и вот ее желание исполнилось. Даже после смерти подтвердила она еще раз свою любовь к Востоку, ибо в завещании указала, чтобы ее тело было не сожжено, а набальзамировано по восточному обычаю.

Из своей печали и своей любви император сделал пышное зрелище. Бесконечная траурная процессия двигалась по городским улицам: оркестры, плакальщица, хоры декламаторов. Затем вереница предков, в ряду которых последней стала теперь императрица. Для этого шествия были извлечены из священных шкафов восковые маски предков. Их надели актеры, облаченные в пышные должностные одежды покойных консулов, президентов, министров; при каждом из покойников были свои ликторы, шедшие впереди с дубинками и связками прутьев. Затем процессия мертвецов повторялась: ее повторяли — но уже как гротеск — танцоры и актеры, пародировавшие тех, кто шел впереди. Среди них была и умершая императрица. Деметрий Либаний настоял на том, чтобы оказать своей покровительнице этот последний тягостный акт дружеского внимания, и евреи, когда мимо них проходило подпрыгивавшее, порхавшее, мучительно смешное подобие их могущественной защитницы, выли от смеха и горя. Затем следовали слуги умершей — бесконечная вереница ее чиновников, рабов, вольноотпущенников, за ними — офицеры лейб-гвардии и, наконец, сама покойница, ее несли четыре сенатора; она сидела в кресле, как и при жизни, одетая в одну из тех строгих, но нечестивых прозрачных одежд, которые так любила, искусно набальзамированная еврейскими врачами, окруженная облаком курений. За ней — император с закрытой головой, в простой черной одежде, без знаков его сана. А за ним — сенат и население Рима.

На Форуме, перед ораторской трибуной, шествие остановилось. Предки сошли со своих колесниц и расселись в креслах из слоновой кости, а император произнес надгробную речь. Иосиф видел Пoppею — она сидела в кресле так же, как сидела тогда перед ним — блондинка, с янтарно-желтыми волосами, чуть насмешливая. Император кончил речь, и Рим в последний раз приветствовал свою императрицу.

Десятки тысяч людей стояли, подняв руку с вытянутой ладонью; предки тоже встали со своих мест и подняли руку с вытянутой ладонью; так простояли все целую минуту, приветствуя ее, и только умершая сидела.

Все это время Иосиф избегал своего коллегу Юста. Теперь он отыскиал его в толпе. Молодые люди медленно брели под колоннадами Марсова поля. Юст считал, что теперь, после смерти Поппеи, господин Талассий и его сотоварищи уже не замедлят опубликовать эдикт. Иосиф только пожал плечами. Молча шагали они среди элегантной толпы гуляющих. Затем, как раз перед роскошным магазином Гая Барцаарона, Юст остановился и сказал:

— Если теперь у кесарийских евреев вырвут их права, это ни одному человеку не покажется странным. Евреи в данном случае видимо неправы. Когда их жалобы хоть сколько-нибудь обоснованы, Рим прислушивается к ним и идет навстречу. Разве ваших трех невинных не помиловали? Рим великодушен, Рим обращается с Иудеей очень мягко — мягче, чем с другими провинциями.

Иосиф побледнел. Неужели этот человек прав? И его успех — освобождение трех старцев — для еврейской политики в целом оказался вредным, так как Рим, проявив мягкость в деле второстепенного значения, получил тем самым возможность лицемерно подсластить суровость своего решения в главном? Невидящим взглядом рассматривал он мебель, выставленную для продажи перед магазином Гая Барцаарона.

Он ничего не ответил, вскоре попрощался. Иосиф буквально заболел от того, что ему сказал Юст. Это не смело быть правдой. Случалось, что и в нем говорило честолюбие — с кем этого не бывает? Но в отношении трех невинных он действовал от чистого сердца, не ради личного мелкого успеха ухудшил он положение своего народа.

С новым, озлобленным рвением принялся он опять за свой труд. Обрек себя на пост, на аскезу, поклялся не прикасаться ни к одной женщине, пока его исследование не будет закончено. Работал. Закрывал глаза, чтобы яснее увидеть предмет своей книги, открывал, чтобы увидеть этот предмет в правильном освещении. Рассказывал миру удивительную историю освободительной войны своего народа. Он страдал вместе с изображаемыми им мучениками, побеждал вместе с ними; освящал вместе с Иудой Маккавеем Иерусалимский храм. Кротко и величественно окутывало его облако веры. Веру, освобождение, торжество, все те возвышенные переживания, которые ему внушали древние книги, все это влил он в свою

собственную. Пока он писал — он был избранным воином Ягве.

О Кесарии он забыл.

Затем Иосиф снова начал вести прежнюю жизнь, стал бывать в обществе, сближался с женщинами, смотрел на людей свысока. Иосиф прочел свою книгу о Маккавеях в избранном кругу молодых литераторов. Его поздравляли. Он послал ее издателю Клавдию Регину. Тот заявил сейчас же, что берется ее опубликовать.

Однако в том же издательстве Клавдия Регина вышел одновременно и труд Юста «Об идее иудаизма». Иосиф счел коварством то, что ни Регин, ни Юст ему не сказали об этом заранее. По поводу книги Юста он мямлил, что она слишком трезва, что в ней нет подъема. Но в душе собственный труд показался ему пошлым и напыщенным в сравнении с новыми убедительными, логическими построениями его соперника. Он сравнил портрет Юста, нарисованный в начале книги, со своим портретом. Он перечел маленькую книжечку Юста дважды, трижды. Его собственное сочинительство показалось ему ребяческим, безнадежным.

Однако не только девушка Ирина, ставшая теперь женой доктора Лициния, и не только доброжелательные читатели с правого берега Тибра, но и литераторы, и молодые снобы обсуждали в фешенебельных банях левого берега книгу Иосифа о Маккавеях и находили, что она хороша. Известность Иосифа росла, этот еврейский военно-исторический трактат воспринимался как интересное и плодотворное возрождение героического эпоса. Молодые писатели восхищались им, у него уже появились подражатели, его стали считать главою новой школы. Семьи крупных аристократов приглашали его к себе почитать из его книги.

На правом берегу Тибра по его книге учились дети. Произведения же Юста из Тивериады никто не знал, никто не читал. Заведующий издательством Клавдия Регина рассказывал Иосифу, что продано всего сто девяносто экземпляров книги Юста, а книги Иосифа — четыре тысячи двести и что спрос из всех провинций, особенно же с Востока, все время растет. Сам Юст, верно, уехал из Рима; по крайней мере, в эти месяцы своего литературного успеха Иосиф нигде не встречал его.

Зима прошла, и ранняя весна была ознаменована внушительной демонстрацией римской мощи, давно подготовляемым торжеством Рима над Востоком, гордой прелюдией к новому Александру походу. Соседнее Парфянское государство на Востоке, где царем был Вологез — единственная, кроме Рима, великая держава из тогда

известных миру, устав от войны, наконец уступила Риму Армении, эту столь спорную территорию. Император торжественно и собственноручно запер храм Януса — в знак того, что на земле мир. Затем отпраздновал пышной церемонией первую победу над подлежащим завоеванию Востоком. Армянский царь Тиридат должен был самолично предстать перед ним, чтобы, как ленный государь, принять из его рук корону. Восточный властитель с огромной свитой на конях, с пышными подарками, с золотом и миррой ехал в течение многих месяцев на запад, чтобы воздать почести римскому императору. По всему Востоку распространялись легенды о трех восточных царях, пустившихся в путь, чтобы поклониться взойшедшей на западе звезде. Впрочем, римское министерство финансов было весьма озабочено, как оплатить все эти расходы, которые были, разумеется, произведены за счет императорской кассы.

Когда наконец поезд царя Тиридата вступил в Италию, сенату и римскому народу было в особом воззвании предложено присутствовать при том, как Восток будет воздавать почести императору. На всех улицах толпились любопытные. Отряды императорской гвардии стояли шпалерами. Восточный царь шел между ними в своей национальной одежде, на голове тиара, короткая персидская сабля за поясом; но оружие, наглухо забитое в ножны, было обезврежено. Так он пересек Форум, поднялся на эстраду, на которой восседал римский император, склонил голову к земле. Император же, сняв с него тиару, возложил вместо нее диадему. Тогда войска ударили копьями в щиты и, словно единый огромный декламационный хор, воскликнули дружно, как их учили в течение многих дней:

— Привет тебе, цезарь, властитель, император, бог!

Трибуна на Священной улице, проходившей через Форум, была занята почетными гостями из провинций; и среди них был Иосиф. Глубоко взволнованный, видел он унижение Тиридата. Борьба между Востоком и Западом началась еще в глубокой древности. Когда-то персы оттеснили Запад далеко вспять, затем Александр на века отбросил назад Восток. За последние десятилетия, с тех пор как сто лет назад парфяне уничтожили большое римское войско, Восток начал как будто опять выдвигаться на первый план.

Во всяком случае, он чувствовал свое внутреннее превосходство, и в сердцах евреев зажглась новая надежда, что на Востоке появится освободитель и, согласно предсказаниям древних пророчеств, сделает Иерусалим столицей мира. А теперь Иосиф видел собственными глазами, как Тиридат, брат могущественного восточного

владыки, распростерся в пыли перед Римом. Парфянское царство лежало далеко отсюда, военные походы против него были сопряжены с исключительными трудностями; там еще жили внуки тех, кто разбил знаменитого римского генерала Красса и уничтожил людей и коней его войска. И все же парфяне пошли на этот жалкий компромисс. И он, этот парфянский принц, согласился, чтобы ему забили саблю в ножны. Так ему, по крайней мере, удастся сохранить известную автономию и хоть пожалованную диадему. Если уж могущественный парфянин мог удовольствоваться этим, то разве не безумие, когда люди в маленькой Иудее начинают воображать, будто они могут тягаться с мощным Римом? Иудея легко достижима, она окружена латинизированными провинциями, и Рим уже больше столетия насаждает в них свое управление и военную технику. То, что болтают «Мстители Израиля» в Голубом иерусалимском зале,—чистый вздор. Иудея должна включиться в целостный строй мира, как и другие страны; бог теперь в Италии, мир стал римским.

И вдруг рядом с ним очутился Юст.

— Царь Тиридат сильно проигрывает рядом с вашими Маккавеями, доктор Иосиф,—сказал он.

Иосиф взглянул на Юста: лицо его коллеги было желто, скептично, и Юст казался намного старше Иосифа, хотя на самом деле они были почти ровесники. Что он—издевается над Иосифом? К чему эти слова?

— Я, во всяком случае, придерживаюсь того мнения,—отозвался Иосиф,—что сабля, забитая в ножны, менее симпатична, чем вынутая из ножен.

— Но во многих случаях—первое разумнее, а иной раз и героичнее,—возразил Юст.—Нет, серьезно,—продолжал он,—жаль, что такой талантливый человек, как вы, превращается в такого вредителя.

— Я вредитель?—возмутился Иосиф. Кровь бросилась ему в голову оттого, что другой так точно и беспощадно сформулировал смутные упреки, нередко мучившие его по ночам.—Моя книга о Маккавеях,—продолжал он,—показала Риму, что мы, иудеи, все-таки продолжаем быть иудеями, а не становимся римлянами. Разве это вредительство?

— И теперь император, пожалуй, снимет свою подпись с эдикта о Кесарии, а?—спросил Юст мягко.

— Эдикт ведь еще не обнародован,—ответил Иосиф, сдерживая злость. «Есть люди,— процитировал он,—которые знают даже то, что Юпитер шепнул на ухо Юноне».

— Боюсь,—заметил Юст,—что, когда Рим покончит с парфянами, опубликования долго ждать не придется.

Они сидели на трибуне, внизу проходила кавалерия в парадной форме, но солдаты сидели в седлах вольно, толпа рукоплескала, офицеры надменно смотрели прямо перед собой, ни направо, ни налево.

— Вам не следовало самому себе морочить голову,— сказал Юст почти презрительно.— Я знаю,— он сделал отстраняющее движение— вы дали классическое изображение наших освободительных войн, вы— иудейский Тит Ливий. Но видите ли, когда наши живые греки теперь читают о мертвом Леониде, это остается для них безвредным, чисто академическим удовольствием. А когда наши «Мстители Израиля» в Иерусалиме читают историю Иуды Маккавея, у них начинают сверкать глаза и их руки ищут оружия. Разве вы считаете, что так нужно?

В это время внизу проехал человек, опоясанный забитой в ножны саблей. Все находившиеся на трибуне встали. Народ приветствовал его неистовыми кликами.

— Кесария,— сказал Юст,— у нас отнята окончательно, и вы это дело римлянам до известной степени облегчили. Вы намерены дать им еще ряд предложений, чтобы превратить и Иерусалим в римский город?

— Что может сделать в наши дни еврейский писатель? Я не хочу, чтобы Рим поглотил Иудею,— ответил Иосиф.

— Еврейский писатель,— возразил Юст,— должен прежде всего понять, что теперь нельзя изменить мир ни железом, ни золотом.

— Железо и золото тоже становятся частью духа, когда ими пользуются для духовных целей,— возразил Иосиф.

— Красивая фраза для ваших книг, господин Ливий, ничего более дельного вы сказать не в состоянии,— сыронизировал Юст.

— А что же делать Иудее, если она не хочет погибнуть?— спросил, в свою очередь, Иосиф.— Маккавеи победили потому, что были готовы умереть за свои убеждения и свое знание.

— Я не вижу в этом смысла,— возразил Юст,— умирать за какое-то знание. Умирать за убеждения— дело воина. Миссия писателя— передавать их другим. Не думаю,— продолжал он,— чтобы невидимый бог Иерусалима стоил теперь так же дешево, как бог ваших Маккавеев. И я не думаю, что если кто за него умрет, то это уж так много. Бог требует большего. Страшно трудно построить невидимую обитель для этого невидимого бога, и уж, во всяком случае, это не так просто, как вы себе представляете, доктор Иосиф. Ваша книга, может быть, и

перенесет какую-то частицу римского духа в Иудею, но уж наверное ничего — от духа Иудеи в Рим.

Разговор с Юстом задел Иосифа больше, чем он ожидал. Тщетно твердил он себе, что в Юсте говорит только зависть, так как книги Иосифа имели успех, а Юстовы — нет. Обвинения Юста засели в нем, точно заноза, он никак не мог вырвать их из своего сердца. Он перечел свою книгу о Маккавеях, старался вызвать все великие чувства тех одиноких ночей, когда она была написана. Напрасно. Он должен Юста одолеть. Без этого он жить дальше не может.

Иосиф решил отнестись к делу Кесарии как к предзнаменованию. Рим вот уже год угрожает ей нелепым эдиктом. Только его подписание подтвердило бы правоту Юста. Хорошо. Если дело действительно решится не в пользу евреев, тогда он смирится, тогда он готов признать свою неправоту, тогда его книга о Маккавеях не выражает подлинного духа Иудеи. Юст — великий человек, а он — ничтожный, мелкий честолюбец.

Ряд долгих дней проходит в мучительном ожидании. Наконец Иосиф уже не в силах выносить тревоги. Он достает игральные кости. Если они лягут благоприятно, значит, дело решится в пользу евреев. Он бросает их. Кости легли неблагоприятно. Он бросает вторично. Опять неудача. Он бросает в третий раз. На этот раз — удача. Он пугается. Совершенно бессознательно выбрал он перекошенную игральную кость.

И, как всегда, ему хочется назад, в Иудею. За эти полтора года пребывания в Риме он многое забыл, он уже не видит ее; он должен вернуться, чтобы набраться сил в Иудее.

Поспешно готовится он к отъезду. Добрая половина еврейского населения стоит у ворот Трех улиц, откуда отъезжает экипаж, который должен отвезти его на корабль, отплывающий из Остии. Трое провожают его и дальше: это Ирина, жена доктора Лициния, актер Деметрий Либаний, писатель Юст из Тивериады.

По пути Деметрий говорит о том, что и он некогда уедет в Сион, и уже навсегда. Нет, особенно долго ждать теперь не придется. Едва ли он еще будет играть больше, чем семь-восемь лет. Тогда наконец он увидит Иерусалим. Актер грезит о храме: вот он, сияя, царит над городом, со своими гигантскими террасами и белыми с золотом залами. Он грезит о матово поблескивающей завесе, закрывающей святая святых, об этой ткани, равной которой по красоте нет в мире. Он знает каждую деталь святыни, вероятно, даже лучше, чем многие, видевшие ее воочию, — так часто заставлял он рассказывать о ней.

Они прибыли в Остийскую гавань. Солнечные часы показывают восьмой час. Иосиф высчитывает по-детски, с трудом, обстоятельно: прошел год семь месяцев двенадцать дней и четыре часа, как он покинул Иудею. Его вдруг охватывает почти физическая тоска по Иерусалиму — ему хотелось бы дуть вместе с ветром в паруса корабля, чтобы тот шел быстрее.

Трое его друзей стоят на набережной. Серьезна и тиха Ирина, насмешлив и грустен Юст; но Деметрий Либаний поднимает торжественным жестом руку с открытой ладонью, наклонив вперед верхнюю часть тела. Это больше чем прощальное приветствие Иосифу — это приветствие всей их далекой, горячо желанной стране.

Исчезают люди, исчезают Остия, Рим, Италия. Иосиф в открытом море. Он едет в Иудею.

На том же корабле тайно едет курьер, который везет губернатору Иудеи приказ возвестить городу Кесарии императорское решение об избирательном законе.

Книга вторая

ГАЛИЛЕЯ

13 мая в девять часов утра губернатор Гессий Флор принял представителей городского самоуправления Кесарии и сообщил им решение императора относительно избирательного закона, согласно которому евреи теряли власть над официальной столицей страны. В десять часов правительственный глашатай возвестил эдикт с ораторской трибуны на большом форуме. В мастерской братьев Закинф уже приступили к отливке текста из бронзы, чтобы навеки сохранить его таким образом в архивах города.

Греко-римское население бурно ликовало. Гигантские статуи при входе в гавань, колонны с изображениями богини — покровительницы Рима и основателя монархии, бюсты правящего императора на углах улиц были украшены венками. По городу проходили оркестры, хоры декламаторов, в гавани бесплатно выдавалось вино, рабы получали отпуска.

Но в еврейских кварталах обычно столь шумные дома стояли белые и пустые, лавки были закрыты, над жаркими улицами навис тоскливый страх погрома.

На следующий день, в субботу, евреи, придя в главную синагогу, увидели у входа начальника греческого отряда со своими солдатами, приносившего в жертву птиц. Такие жертвы приносились обычно прокаженными, а в Передней Азии излюбленное издевательство над евреями состояло в том, что им приписывали происхождение от египетских прокаженных. Служители синагоги предложили грекам поискать для своего жертвоприношения другое место. Греки нагло отказались, заявив, что миновали времена, когда кесарийские евреи могли орать на них. Еврейские служители обратились к полиции. Полиция заявила, что должна сначала получить соответствующие инструкции. Наиболее вспыльчивые из евреев, не пожелавшие оставаться дольше зрителями дерзкой проделки греков, попытались силой отнять у них жертвенный сосуд. Блеснули кинжалы, ножи. Наконец, когда уже были убиты и

раненные, вмешались римские войска. Они задержали нескольких евреев как зачинщиков беспорядков внутри страны, у греков они конфисковали жертвенный сосуд. После этого те из евреев, кто мог, бежали из Кесарии, забрав свою движимость. Священные свитки с Писанием были спрятаны в безопасное место.

События в Кесарии, эдикт и его последствия послужили причиной того, что партизанская война против римского протектората, которую Иудея вела вот уже целое столетие, вспыхнула по всей стране с новым яростным озлоблением. До сих пор, по крайней мере в Иерусалиме, обеим партиям порядка, аристократической — «Неизменно справедливых» и буржуазной — «Подлинно правоверных», удавалось удерживать население от насилий над римлянами; теперь, после эдикта о Кесарии, перевес получила третья партия, «Мстителей Израиля».

Все большее число участников партии «Подлинно правоверных» переходило теперь к ним; даже сам начальник храмового управления, господин доктор Элеазар бен Симон, открыто перешел к «Мстителям Израиля». Повсюду пестрели их знаки: слово «Маккавей» и начальные буквы иудейского изречения — «Кто сравнится с тобою, господи?», служившего также девизом повстанцев. В Галилее откуда-то вдруг вынырнул агитатор Нахум, сын казненного римлянами вождя патриотов, Иуды. Почти целых десять лет о нем ничего не было слышно, его уже считали погибшим, а тут он неожиданно появился в городах и деревнях северной провинции, и повсюду стекались толпы, чтобы послушать его.

— Чего еще вы ждете? — с пылкостью фанатика убеждал он хмурых, озлобленных слушателей. — Одно присутствие необрезанных уже оскверняет нашу страну. Их войска дерзко попирают плиты храма, их трубы врываются отвратительным ревом в священную музыку. Вы избраны служить Ягве, вы не можете поклоняться цезарю, свиноеду. Вспомните о великих ревнителях божиих, о Пинхасе, об Илии, об Иуде Маккавее. Неужели вас недостаточно грабят собственные эксплуататоры? Неужели вы еще дадите чужеземцам отнять у вас благословение, предназначенное вам Ягве, чтобы они устраивали бои гладиаторов и травили вас дикими зверями? Не заражайтесь трусостью «Подлинно правоверных». Не покоряйтесь жажде наживы «Неизменно справедливых», которые лизут руку поработителей, потому что те охраняют их денежный мешок. Времена исполнились. Царствие божие близко. В нем бедняк стоит столько же, сколько и пузатый богач. Мессия родился, он только ждет, чтобы вы зашевелились, тогда он объявится. Убивайте трусов из Великого совета в Иерусалиме! Убивайте римлян!

Вооруженные союзы «Мстителей Израиля», которые были как будто начисто уничтожены, снова возродились по всей стране. В Иерусалиме дело дошло до бурных демонстраций. На дорогах страны римляне, появлявшиеся без военной охраны, подвергались нападениям, их забирали в плен в качестве заложников. И так как императорское финансовое управление ввело в это же время довольно суровые налоги, молодежь, приверженцы «Мстителей Израиля», стала ходить по улицам с сумой для сбора подаяний и приставала к прохожим:

— Подайте милостыню бедному неудачнику — губернатору!

Тогда Гессий Флор решил применить крутые меры и потребовал, чтобы ему выдали зачинщиков. Местные чиновники заявили, что они не смогут этого добиться. Губернатор отдал приказ войскам обыскать дом за домом весь Верхний рынок и прилегающие улицы, где, по его подозрениям, находился штаб «Мстителей Израиля». Обыски переходили в грабежи. Евреи пытались защищаться, с крыш некоторых домов открыли стрельбу. Убитые были не только среди евреев, но и среди римлян. Губернатор приказал судить бунтовщиков военным судом. Озлобленные солдаты тащили на суд и правых и виновных; простого доноса, что человек принадлежит к «Мстителям Израиля», было достаточно. Смертные приговоры так и сыпались. По закону римских граждан можно было казнить только мечом. Гессий Флор приказывал подвергать евреев позорной казни, пригвождая их к кресту, даже если у них было звание всадника и золотое кольцо этого второго сословия римской знати.

Когда же приговор должен был состояться над двумя членами Великого совета, перед офицерами, заседавшими в военном суде, появилась, сопровождаемая безмолвной, потрясенной толпой, сама принцесса Береника, сестра Агриппы, носившего титул царя. Исцеленная от тяжелой болезни, она, выполняя особенно строгий обет, остригла волосы, не носила никаких украшений. Это была красивая женщина, в Иерусалиме ее очень любили, охотно принимали и при римском дворе. Своей походкой она прославилась во всем мире. Ни одной женщине, от германской границы до Судана, от Англии до Инда, нельзя было сделать большего комплимента, чем сказать, что у нее походка, как у принцессы Береники. И вот теперь эта знатная дама шла смиренной поступью, подобно тем, кто просит защиты, босая, в черной одежде, стянутой тонким шнурком, поникнув стриженной головой. Она склонилась перед председателем суда и просила о помиловании обоих священников. Офицеры были вежливы, галантно шутили. Но так как принцесса продолжала просить, они стали

холодны и сухи, а под конец даже грубы, и униженной Беренике пришлось удалиться.

За эти пять дней, с 21 по 26 мая, в Иерусалиме было убито свыше трех тысяч человек, из них около тысячи женщин и детей.

Город кипел глухим возмущением. До сих пор ряды «Мстителей Израиля» пополнялись главным образом крестьянами и пролетариями, теперь в них вступало все больше зажиточных горожан. Повсюду люди шептали и даже кричали открыто, что вот послезавтра, нет, даже завтра страна восстанет против власти римлян. Местное правительство, Коллегия первосвященника и Великий совет взирали с тревогой на то, какой оборот принимает дело. Все высшие слои населения жаждали соглашения с Римом, боялись войны. «Неизменно справедливые» — по большей части аристократы и богатые люди, занимавшие главные государственные должности, — опасались, что война с Римом неизбежно перейдет в революцию против их собственного владычества, ибо они всегда жестоко и высокомерно отвергали скромные требования крестьян-арендаторов, ремесленников и пролетариев. Партия же «Подлинно правоверных», состоявшая из ученых при Иерусалимском храме, богословов и демократов, опиравшихся на широкие народные массы, считала, что восстановление былой свободы Иудейского государства надо предоставить богу, и убеждала население не предпринимать никаких насильственных действий против римлян, пока те не покушаются на их веру и на шестьсот тринадцать заветов Моисея.

Вожди обеих партий настоятельно просили царя Агриппу, находившегося тогда в Египте, взять на себя посредничество между повстанцами и римским правительством. Правда, римляне оставили этому царю только область за Иорданом и некоторые галилейские города, в Иерусалиме же свели его власть к верховному надзору над храмом. Но он все же сохранил титул царя, считался первым иудеем среди иудеев, пользовался всеобщей любовью. В ответ на просьбы еврейского правительства он спешно отбыл в Иерусалим, решив, что будет сам говорить с массами.

Десятки тысяч пришли послушать его на большую площадь перед дворцом Маккавеев. Люди стояли плечом к плечу, за ними тянулась старая городская стена и лежала узкая долина, перетянутая полоской моста, а позади нее высился белый с золотом западный зал храма. Собравшиеся приветствовали царя хмуро, тревожно, с некоторым недоверием. Тогда между двумя рядами склоняющихся перед ней офицеров опять появилась принцесса Береника, она была снова в черном, но уже не в одежде просящей о

защите, а в платье из тяжелой парчи. Под короткими волосами — удлиненное, породистое лицо казалось особенно смелым. Все смолкли, когда она вышла из дворцовых ворот. Так смолкают в день новолуния молящиеся, ожидая молодого месяца: он был скрыт облаками и невидим, а теперь он выходит, и они радуются. Медленно спустилась принцесса по лестнице к брату, тяжело вздувалась парча вокруг ног тихо идущей. И когда она затем подняла обе руки с вытянутыми ладонями, приветствуя народ, он пламенно и бурно ответил ей:

— Привет тебе, Береника, принцесса, грядущая во имя господне.

Затем царь начал свою речь. Убедительно доказывал он, насколько безнадежна всякая попытка восстать против римского протектората. Он, этот элегантный господин, вздергивал плечи и вновь опускал их, выражая всем телом бессмысленность подобного начинания; разве все народы, населяющие землю, не стоят теперь на почве фактов? Греки, пожелавшие некогда самоутвердиться вопреки целой Азии, македоняне — их Александр посеял первые великие семена мировой империи, — разве теперь не достаточно было бы двух тысяч римских солдат, чтобы оккупировать обе страны? В Галлии жило до трехсот пяти различных племен, имелись превосходные естественные крепости, она сама производила все нужное ей сырье: и с помощью всего тысячи двухсот человек, — столько же, сколько в стране городов, — разве не была подавлена в ней малейшая мысль о восстании? Двух легионов хватило на то, чтобы утвердить римский строй в огромном богатом Египте с его древней культурой. А в отношении германцев, нравом более свирепых, чем дикие звери, Рим обошелся четырьмя легионами, и теперь можно путешествовать по эту сторону Рейна и Дуная так же спокойно, как и по Италии.

— Неужели вы, — царь озабоченно покачал головой, — не способны понять собственную слабость и оценить силы Рима? Скажите же мне, где ваш флот, ваша артиллерия, где источники ваших финансов? Мир стал римским. Где же вы раздобудете союзников и помощь? Может быть, в необитаемой пустыне?

Царь Агриппа убеждал своих евреев, словно они — неразумные дети. Если разобраться, то налоги, которых требует Рим, не так уж высоки.

— Подумайте только, ведь с одной Александрии Рим получает за один месяц больше налогов, чем со всей Иудеи за целый год. И он же дает взамен этих налогов очень многое. Разве он не проложил превосходные дороги, не построил водопроводы новейшей системы, не дал вам быстро работающее, дисциплинированное управле-

ние? — Широким настойчивым жестом убеждал он собравшихся. — Корабль еще находится в гавани. Будьте же благоразумны. Не пускайтесь навстречу ужасной непогоде и верной гибели.

Речь царя произвела впечатление. Многие закричали, что они не против Рима, они только против губернатора, против Гессия Флора. Но здесь ловко вмешались «Мстители Израиля». Молодой элегантный доктор Элеазар в убедительных выражениях потребовал, чтобы Агриппа первый подписал ультиматум Риму с предложением немедленно отозвать губернатора. Агриппа попытался уклониться, вилял, тянул. Элеазар стал торопить его с ответом, царь отказался. Все больше голосов кричали: «Подпись! Ультиматум! Долой Гессия Флора!» Настроение круто изменилось. Люди заявляли, что царь и губернатор — заодно, все они только грабят народ. Несколько парней с решительным видом напирала уже на царя. И он едва успел под защитой своей свиты укрыться во дворце. На следующий день он уехал из города весьма озлобленный и направился в свои безопасные заиорданские провинции.

После этого поражения феодальных властителей и правительства радикалы всеми способами старались обострить конфликт. С основания монархии, вот уже сто лет, император и римский совет еженедельно посылали жертву для Ягве и его храма. Теперь доктор Элеазар, в качестве начальника храмового управления, отдал дежурным священникам приказ больше не принимать этих жертвоприношений. Тщетно убеждали его и первосвященник, и его коллегия не провоцировать Рим такой неслыханной дерзостью. Доктор Элеазар с насмешкой отослал обратно жертву императора.

Для иудеев-ремесленников, для рабочих и крестьян это послужило сигналом к открытому восстанию против римлян и собственных феодальных властителей. Римский гарнизон был слаб. Вскоре «Мстители Израиля» овладели всеми важными стратегическими пунктами города. Они подожгли финансовое управление и под ликующие крики толпы уничтожили налоговые списки и закладные; разгромили и разграбили дома многих нелюбимых аристократов; заперли римские войска во дворце Маккавеев. С большой храбростью удерживали римляне этот последний, сильно укрепленный опорный пункт. Все же их положение было безнадежно, и, когда евреи обещали им, при условии сдачи оружия, свободный выход, они с радостью приняли их предложение. Обе партии подтвердили клятвой и честным словом свое обещание отпустить их. Но как только осажденные отдали оружие, «Мстители Израиля» ринулись на беззащитных и начали их убивать. Римляне не оказывали сопротивления и не просили пощады, но они

кричали: «Клятва! Условие!» Сначала они кричали эти слова хором, затем кричало все меньше голосов, все слабее становился хор, наконец, остался только один голос, кричавший: «Клятва! Условие!» Но вот умолк и он. Это произошло в субботу, 7 сентября, 20 элула по еврейскому счислению.

Едва хмель бунта прошел, как городом овладела глубокая подавленность. И, словно подтверждая дурные предчувствия его обитателей, стали очень скоро приходить вести, что во многих городах со смешанным населением греки нападают на евреев. В одной Кесарии в ту черную субботу было перебито двадцать тысяч евреев; остальных губернатор погнал в доки и объявил рабами. В ответ на это в городах, где большинство населения составляли евреи, они предали разрушению греческие кварталы. Уже в течение ряда столетий греки и евреи, жившие вместе в городах на побережье, в Самарии и у границ Галилеи, питали друг к другу ненависть и презрение. Евреи гордились своим невидимым богом Ягве, они были убеждены, что только для них придет мессия, и расхаживали с надменным видом, уверенные в своей избранности. А греки издевались над их фанатическими идеями, над их вонючими суевериями, над смешными варварскими обычаями, и каждый старался причинить соседу как можно больше зла. Издавна происходили между ними кровавые распри. Теперь убийства, грабежи и пожары перебрались далеко за пределы Иудеи, и страна была полна непогребенных трупов.

Когда дело зашло так далеко, начальник Гессия Флора Цестий Галл, сирийский генерал-губернатор, решил наконец прибрать Иудею к рукам. Это был старый скептик, убежденный в том, что человек реже и меньше сожалеет о несодеянном, чем о содеянном. Но после того, как события приняли подобный оборот, нельзя было проявлять ложной слабости: Иерусалим следовало хорошенько проучить.

Цестий Галл мобилизовал весь Двенадцатый легион и еще восемь полков сирийской пехоты. Потребовал также от вассальных государств значительного контингента войск. Один только еврейский царь Агриппа, старавшийся доказать Риму свою верность, выставил две тысячи человек кавалерии да еще три стрелковых полка и встал самолично во главе своих войск. Цестий Галл обстоятельно, до малейшей детали, разработал всю программу карательной экспедиции. Не забыл он также подготовить сигнальные костры, чтобы сообщить о победе. Когда он войдет в Иерусалим судьей и мстителем, Рим должен узнать об этом в тот же день.

Бурным натиском ворвался он с севера в мятежную

страну. Занял, следуя программе, прекрасный город колена Завулонова, разграбил его, сжег дотла. Занял, следуя программе, прибрежный город Яффу, разграбил его, сжег дотла. Его путь был отмечен разграбленными, сожженными городами, убитыми людьми; наконец 27 сентября он дошел, следуя программе, до Иерусалима.

Однако тут произошла задержка. Он рассчитал, что 9 октября овладеет фортом Антония, 10-го — возьмет храм. Наступало уже 14-е, а форт Антония все еще держался. «Мстители Израиля» не остановились перед тем, чтобы вооружить многочисленных паломников, приехавших на праздник кущей, и город был переполнен добровольческими отрядами. Наступало 27 октября, Цестий Галл стоял уже целый месяц перед Иерусалимом, а сигнальщики у заботливо оборудованных сигнальных постов все еще тщетно ждали, уже опасаясь, что, когда потребуется, их приспособления не будут действовать и их покарают. Цестий вызвал новые подкрепления, с большими жертвами подвел катапульты к самым стенам, подготовил к 2 ноября решительный штурм, намереваясь применить такие методы, при которых он, по всем человеческим расчетам, не мог не утаться.

Иудеи держались храбро. Но что значила храбрость отдельных людей перед обдуманной организацией римлян? Какое значение могло, например, иметь трогательное выступление трех освобожденных старцев, которые 1 ноября, накануне атаки, вышли одни за стены, чтобы поджечь римскую артиллерию? Среди бела дня появились они вдруг перед римскими сторожевыми постами, три дряхлых иудея со значком «Мстителей Израиля», с повязкой, на которой был начертан лозунг маккавеев, заглавные буквы еврейских слов: «Кто сравнится с тобою, господи?» Сначала римляне решили, что это парламентары и они должны передать что-то от осажденных, но они не были парламентарями: своими дрожащими старческими руками они стали пускать в машины горящие стрелы. Это было явным безумием, и римляне — да и как можно было иначе поступить с такими безумцами! — удивляясь, добродушно шутя, почти с состраданием прикончили их. В тот же день выяснилось, что это именно те три члена Великого совета, Гади, Иегуда и Натан, которые были некогда приговорены императорским судом к принудительным работам и затем с большой мягкостью амнистированы. Римляне все вновь ссылались на эту амнистию как на яркий пример своего доброжелательства и старались с ее помощью доказать, что причиной возникших волнений послужила не суровость римлян, а ослиное упрямство евреев; «Неизменно справедливые» и «Подлинно правоверные» тоже немало использовали эту амнистию

в своих речах, приводя ее как подтверждение великодушия римлян. Так что трем мученикам наконец надоело расхаживать по городу в виде живой иллюстрации великодушия их заклятого врага. Их сердце принадлежало «Мстителям Израиля». Поэтому, из педагогического фанатизма, они решились на увлекающий других благочестивый и героический подвиг.

Правда, вожди маккавеев прекрасно понимали, что одним настроением достигнешь немногого, если имеешь дело с осадными машинами римлян. И вот, решив не сдавать города и все же не надеясь удержать его, смотрели они на приготовления к последнему штурму, намеченному на следующий день.

Однако штурма не последовало. Ночью Цестий Галл отдал приказ свертывать палатки и начать отступление. Он казался больным и расстроенным. Что же случилось? Никто этого не знал. Все осаждали полковника Павлина, адъютанта Цестия Галла. Тот пожимал плечами. Генералы качали головой, Цестий не привел никакой причины для столь неожиданного приказа, а дисциплина не позволяла задавать вопросы. Армия снялась с места, начала отступать.

Сначала потрясенные, не веря, потом с облегчением, потом с беспредельным ликованием наблюдали евреи за уходом осаждавшего войска. Неуверенно, все еще опасаясь, что это тактический маневр, но затем все с большей энергией начали они преследование. Нелегким оказалось для римлян это отступление. От Иерусалима за ними шли по пятам повстанцы. В северной области, которую отступавшим надо было пересечь, некий Симон бар Гиора, галилейский вождь, организовал беспощадную партизанскую войну. Этот Симон бар Гиора, сделав быстрое обходное движение, засел с главной массой своих отрядов в ущелье Бет-Хорон. Имя этого ущелья звучало сладостной музыкой для уха еврейских партизан. Здесь господь остановил солнце, чтобы генерал Йошуа смог добыть Израилю победу; здесь Иуда Маккавей одержал верх над греками. Удался и маневр Симона бар Гиоры: римляне потерпели такое поражение, какого они не знали со времен своего поражения в Азии в эпоху Парфянской войны. У евреев число убитых еще не дошло до тысячи, а римляне уже потеряли пять тысяч шестьсот восемьдесят человек пехоты и триста восемьдесят кавалеристов. Среди убитых был и генерал Гессий Флор. Артиллерия, военные материалы, золотой орел легиона и богатая военная казна в придачу — все досталось евреям.

Это произошло 3 ноября по римскому счислению, 8 диоса — по греческому и 10 мархешвана по еврейскому, в двенадцатый год царствования Нерона.

Торжественно стояли со своими музыкальными инструментами левиты на ступенях храма, за ними, в самом храме, священники всех двадцати четырех черед. После удивительной победы над Цестием Галлом первосвященник Анан, хотя он и возглавлял партию «Неизменно справедливых», должен был совершить благодарственное служение; и вот они служили великий галлель. События последних дней выплеснули на улицы города множество иностранцев; растерявшись, глазели они на строгую роскошь храма. Словно морской прибой, гремели голоса, разносясь по гигантским золотисто-белым залам:

— Настал день господень. Будем радоваться и веселиться!

И все вновь и вновь, со всеми ста двадцатью тремя предписанными вариантами:

— Хвалите имя господне!

Иосиф стоял впереди всех в своем белом иерейском облачении, с голубым, затканым цветами поясом вокруг талии. Захваченный, как и остальные, раскачивал он, следуя предписанному ритму, верхнюю часть тела. Никто не ощущал глужбе, чем он, как чудесна эта победа, одержанная необученными партизанами над римскими легионами — этими шедеврами техники и точности, которые, состоя из многих тысяч людей, все же продвигались вперед, как один человек, управляемый *единым* мозгом. Бет-Хорон, Иошуа, чудо. Блестящее подтверждение того, что для покорения теперешнего Иерусалима одного разума недостаточно. Подлинно великие дела творятся не разумом, они непосредственное внушение божие. Тысячи людей, стоящие перед ступенями лестницы, взволнованы тем, как пламенно этот молодой пылкий священник поет вместе со всеми благодарственные гимны.

Однако, несмотря на все свое благочестивое воодушевление, он не может удержаться от размышлений о последствиях, вытекающих лично для него из этой непредвиденной победы маккавейских отрядов.

Иерусалим еще не имел времени отблагодарить его за успех в деле трех невинных. Едва прошла одна неделя после его возвращения, как уже начались беспорядки. Все же после своего успеха в Риме он стал популярным; умеренное правительство уже не могло теперь обращаться столь бесцеремонно с молодым аристократом; хотя его постоянно видели в Голубом зале среди «Мстителей Израиля», ему все же дали место и титул тайного секретаря при храме. Но это пустяк. Теперь, после великой победы, его шансы сразу высоко поднялись. Власть должна быть поделена заново. Голос народа заставит правительство включить в свой состав и некоторых маккавеев. Не позже чем завтра или послезавтра

состоится собрание трех законодательных корпусов. При новом распределении мест его обойти не посмеют.

— Хвалите имя господне! — пел он со всеми. — Хвалите имя господне!

Иосиф понимал, почему правительство до сих пор всячески старалось избежать войны с Римом. Даже вчера, после великой победы, многие вполне благоразумные люди все же поспешили покинуть город вслед за генерал-губернатором Цестием Галлом, чтобы доказать ему, не смотря на его поражение, что они не имеют никакого касательства к предательскому нападению бунтовщиков на армию императора. Старый богач Ханан, владелец огромных товарных складов на Масличной горе, ускользнул из города; государственный секретарь Завулон покинул свой дом и тоже уехал; священники Софония и Ирод бежали в Заиорданье, в область царя Агриппы. Многие ессеи, сейчас же после победы над Гессием, вернулись в пустыню, а сектанты, называющие себя христианами, просто сбежали. Иосифа мало влекло к себе и пресное благочестие одних, и безрадостная премудрость других.

Святое служение кончилось. Иосиф стал пробираться сквозь толпы, заполнявшие гигантский двор храма. У большинства были повязки, а на них знак «Мстителей Израиля» — слово «маккавей». Тесной кучей стояли люди перед отбитыми у врага военными машинами, ощупывали их, — пробивающие стены тараны, легкие катапульты, тяжелые камнеметы, которые могли посылать свои огромные снаряды на очень далекое расстояние. Повсюду в приятном ноябрьском солнце, вокруг римской добычи, идет веселая, добродушная суетня. Одежда, оружие, палатки, лошади, вьючные животные, утварь, украшения, сувениры всякого рода, связки розог и топоры ликторов... С любопытством, здорадствуя, показывают зрители друг другу ремни, которые каждый римский солдат носил при себе для связывания пленных. Банкиры храма заняты разменом иностранных денег, оказавшихся при убитых.

Иосиф очутился возле горячо и взволнованно спорящей группы: солдаты, граждане, священники. Речь идет о золотом орле с портретом императора, о боевом знаке Двенадцатого легиона, также доставшемся в добычу. Партизанские офицеры требуют, чтобы орел был прибит к наружной стене храма, рядом с трофеями Иуды Маккавея и Ирода, на самом видном месте, возвещая о победе городу и всей стране. Но «Подлинно правоверные» не соглашаются; изображения животных, под каким бы то ни было предлогом, законом запрещены. Был наконец указан средний путь: пожертвовать орла в сокровищницу

храма, отдать его в распоряжение доктора Элеазара, начальника храмового управления, который и сам ведь принадлежит к «Мстителям Израиля». Но нет, на это не соглашались офицеры. Люди, переносившие орла, стояли в нерешительности—они тоже предпочли бы, чтобы трофеи не исчезли в храмовой сокровищнице. Они положили на землю толстое древко с орлом. Грозный военный значок казался вблизи неуклюжим и аляповатым; грубым и некрасивым было и изображение императора в медальоне над ним, отнюдь не внушающее страха. Люди бурно спорили о том, как быть. И вот дух сошел на Иосифа, громко прозвучал его молодой голос, покрывая шум спора, требуя повиновения. Не нужно ни на стену, ни в сокровищницу: орла нужно разрушить, изрубить в куски. Он должен исчезнуть. Такое предложение пришлось всем по сердцу. Правда, выполнить его было нелегко. Орел оказался очень крепким; прошел целый час, пока его изрубили и люди разошлись, причем каждый уносил свой кусочек золота. Иосиф, герой, освободивший трех невинных из Кесарии, завоевал себе новые симпатии.

Иосиф устал, но он не может сейчас же отправиться домой, его влечет дальше, он идет по территории храма. Кто это там, перед кем с такой готовностью расступаются людские толпы? Молодой офицер невысокого роста; над короткой холеной бородкой выступает энергичный прямой нос, поблескивают узкие карие глаза. Это Симон бар Гиора, галилейский вождь повстанцев, победитель. Перед ним ведут белоснежное животное без единого пятна, очевидно—благодарственная жертва. Но Иосиф, неприятно изумленный, замечает, что Симон бар Гиора не снял оружие. Разве он хочет, имея при себе железо, идти к алтарю, которого железо никогда не касалось, ни во время построения, ни позже? Этого он делать не должен. Иосиф преграждает ему дорогу.

— Меня зовут Иосиф бен Маттафий,—говорит он.

Молодой офицер знает, кто это, здоровается почтительно, сердечно.

— Вы идете совершать жертвоприношение?—спрашивает Иосиф.

Симон подтверждает. Он улыбается, не теряя серьезности, от него веет глубоким удовлетворением и уверенностью. Однако Иосиф продолжает спрашивать:

— При оружии?

Симон краснеет.

— Вы правы,—соглашается он и велит людям, ведущим животное, подождать, сейчас он снимет оружие. Затем еще раз обращается к Иосифу. Сердечно, великодушно, так, что все слышат, он говорит:—Вы, доктор Иосиф, положили почин. Когда вы извлекли из римской

темницы трех невинных, я почувствовал, что невозможное возможно. С нами бог, доктор Иосиф!—Он кланяется ему, приложив руку ко лбу, в его глазах сияет благочестие, смелость, счастье.

Иосиф шел вдоль полого поднимавшихся улиц Нового города, через базары торговцев готовым платьем, через рынок Кузнецов, через улицу Горшечников. И снова отметил с удовлетворением, что в Новом городе все больше развивается торговля, промышленность, жизнь. Здесь Иосифу принадлежали земельные участки, которые владелец стекольной фабрики, Нахум бен Нахум, охотно купил бы у него. Иосиф уже было решил уступить их. Теперь, после великой победы, он раздумал. Стеклодув Нахум ждет ответа. Иосиф сейчас зайдет к нему и откажется. Он построит себе дом здесь, в Новом городе.

Стеклодув Нахум бен Нахум сидел перед своей мастерской на подушках, скрестив ноги. У него в головах, над входом, висела эмблема Израиля—гроздь винограда из цветного стекла. Он встал, чтобы поздороваться с Иосифом, и предложил ему сесть. Иосиф опустил на подушки с некоторым усилием, он отвык от такой позы.

Нахум бен Нахум был статный плотный человек лет пятидесяти. Прекрасные живые глаза, которыми славились жители Иерусалима, свежее лицо, обрамленное густой четырехугольной черной бородой, где лишь изредка поблескивали седые нити. Нахуму очень хотелось узнать, как решил Иосиф, но он не подал и виду, а завел неторопливый разговор о политике. Может быть, хорошо, чтоб и молодые люди взялись наконец за кормило правления. После этой победы, одержанной «Мстителем», господам правителям из Зала совета следовало бы с ними объединиться. Он говорил оживленно, но твердо и с достоинством.

Иосиф внимательно слушал. Узнать, как смотрит на вещи Нахум бен Нахум после великой победы при Бет-Хороне, было интересно. Его мнение отражало мнение большинства иерусалимских горожан. Всего неделю назад все они были еще против «Мстителей Израиля»; теперь они об этом забыли, теперь они убеждены, что давно следовало допустить маккавеев к власти.

Из дома вышел доктор Ниттай, дальний родственник Иосифа со стороны матери, пожилой, ворчливый. Ниттай находился также в родстве с владельцем стекольного завода, и тот взял его в дело. Правда, доктор Ниттай ничего в деле не смыслит; но каждая фирма считалась более почтенной, если она принимала к себе ученого и уделяла ему часть доходов, «давала ему на зуб», как

выражались по этому поводу с набожностью и легким презрением. Итак, доктор Ниттай, раздражительный и молчаливый, жил в доме стеклодува. Он считал великим благодеянием уже одно то, что разрешает владельцу фабрики вести дело под фирмой «Доктор Ниттай и Нахум» и содержать себя. Если он не был занят дискуссиями в университете при храме, то сидел перед домом на солнце, раскачиваясь, держа перед собой свиток с Писанием, повторяя нараспев доказательства и возражения в пользу или против тех или иных толкований. И никто тогда не смел ему мешать; ибо нарушающий изучение Священного писания, чтобы сказать: «Взгляни, как прекрасно это дерево»,—как бы истребляет нечто.

На этот раз, однако, он не был занят изучением, и поэтому Нахум спросил его, не стоит ли и он за то, чтобы включить «Мстителей Израиля» в правительство? Доктор Ниттай нахмурился.

— Не делайте себе из веры лопату,—сказал он сердито,—и не старайтесь копать ею. Писание существует не для того, чтобы вычитывать из него политику.

Завод и магазин Нахума торговали вовсю. Благодаря богатой военной добыче город был наводнен деньгами, и люди охотно покупали знаменитое нахумовское стекло. Нахум с достоинством приветствовал покупателей, предлагал им остуженные на снегу напитки, конфеты. Великая, блистательная победа, не правда ли? Коммерческие дела идут превосходно, хвала богу. Если так будет продолжаться, то скоро можно будет обзавестись такими же большими складами, как склады братьев Ханан под кедрами Масличной горы. «Тот, кто питается трудами рук своих, стоит выше, чем человек богобоязненный»,—не совсем кстати процитировал он. Однако достиг цели: доктор Ниттай рассердился.

Старик мог бы привести немало противоположных цитат, но он оставил их при себе; ибо когда он начинал волноваться, его вавилонский акцент становился особенно заметен, и Иосиф со всей почтительностью вышучивал его.

— Вы, вавилоняне, разрушили храм,—говорил он обычно, а доктор Ниттай не выносил никакого поддразнивания.

Итак, он не участвовал в разговоре, он не занимался изучением Библии, он просто сидел, греясь на солнце, и о чем-то грезил, глядя перед собой. С тех пор как он перекочевал со своей родины, из вавилонского города Неардеи в Иерусалим, восьмой чередой священников, чередой Авии, к которой принадлежал и он, нередко выпадал жребий совершать служение в храме. Ему много раз приходилось приносить к алтарю отдельные части жер-

твенного животного. Но его высшая мечта, состоявшая в том, чтобы однажды высыпать на алтарь священный ладан из золотой чаши, еще ни разу не была осуществлена. Когда раздавался вой Магрефы, стозвучного гидравлического гудка, извещавшего о том, что вот сейчас совершается жертвенное воскурение, его охватывала глубокая зависть к священнику, на долю которого выпала эта благословенная задача. Он обладал всеми данными для этого, у него не было ни одного из ста сорока семи телесных изъянов, делающих священника непригодным для служения. Однако он уже не молод. Даст ли ему Ягве вытянуть жребий и совершить жертвенное воскурение?

Тем временем Иосиф сказал фабриканту о том, что решил не продавать участков. Нахум принял эту весть без малейших признаков гнева.

— Ваше решение да принесет нам обоим счастье, доктор и господин мой,—сказал он вежливо.

Пришел молодой Эфраим, четырнадцатилетний мальчик, младший сын Нахума. Он носил перевязь с начальными буквами девиза маккавеев. Это был красивый румяный подросток, но сейчас пламя жизни пылало в нем особенно ярко. Он видел Симона бар Гиору, героя. Удлиненные глаза на горячем смуглом лице Эфраима сияли воодушевлением. Может быть, нехорошо, что сегодня мальчик убежал из мастерской. Но не мог же он пропустить великое служение в храме. И был вознагражден: он видел Симона бар Гиору.

Иосиф уже собирался уходить, когда появился и старший сын Нахума, Алексей. Он был статен и плотен, как отец, с такой же густой четырехугольной бородой и румяным лицом; но глаза казались тусклее; он часто покачивал головой, часто поглаживал бороду огрубевшими пальцами, потрескавшимися от постоянных прикосновений к горячим массам. В нем не было такого спокойствия, как в отце, он всегда казался чем-то занятым, озабоченным. Увидев Иосифа, он оживился. Нет, теперь Иосифу нельзя уйти. Пусть Иосиф поможет ему убедить отца, еще, быть может, не поздно, покинуть Иерусалим.

— Вы знаете Рим, вы были там,—убеждал его Алексей.—Скажите сами, разве то, что делают сейчас маккавеи, не приведет к катастрофе? У меня прекрасные связи, друзья-коммерсанты в Неардее, в Антиохии, в Батне. Клянусь жизнью моих детей—в любом городе за границей я в три года так поставлю дело, что оно не уступит здешнему. Уговорите отца уйти из этого опасного места.

Мальчик Эфраим накинулся на брата, его прекрасные глаза стали черными от гнева.

— Ты недостойн того, чтобы жить в такую эпоху! Все на меня смотрят косо, оттого что у меня такой брат.

Иди-ка лучше к тем, кто жрет свинину! Ягве изверг тебя из уст своих!

Нахум останавливал мальчика, но нерешительно. Он и сам неохотно слушал речи своего сына Алексия. Правда, ему не раз становилось жутко, когда буйствовали «Мстители Израиля», и он, подобно другим «Подлинно правоверным», отказывался иметь с ними дело; но теперь почти весь Иерусалим признал маккавеев, и нельзя говорить такие вещи, какие говорил Алексей.

— Не слушайте моего сына Алексия, доктор Иосиф,— сказал Нахум.— Он хороший сын, но все у него должно быть не так, как у людей. Вечно голова набита всякими нелепыми идеями.

Иосиф знал, что именно этим нелепым идеям Алексия завод Нахума обязан своим процветанием. Нахум бен Нахум вел дела своей мастерской по старинке, как их вели отец и дед. Выделывал одно и то же, продавал одно и то же. Ограничивался иерусалимским рынком. Ходил на биржу, на «Киппу», заключал через нотариусов торжественные и обстоятельные сделки и следил за тем, чтобы они хранились в городском архиве. Отважиться на большее казалось ему дурным. Когда в Иерусалиме появилась вторая фабрика стекла, Нахум со своими простыми приемами не смог бы устоять против конкуренции. Тогда вмешался Алексей. До сих пор в мастерских Нахума работа выполнялась по большей части вручную, Алексей же модернизировал производство, и теперь применялась только длинная стеклодувная трубка, из которой рабочие выдували красивые округлые сосуды, так же как бог вдует в человеческое тело дыхание жизни. Кроме того, Алексей увеличил примесь истолченного в порошок кварца в стекольной массе, открыл крайне рентабельный филиал в Верхнем городе, где продавалось только роскошное стекло. Посылал товар на большие торговые рынки в Газу, Кесарию и на ежегодную ярмарку в Батну в Месопотамии. Алексею, которому едва минуло тридцать лет, пришлось вводить все эти новшества, непрерывно борясь с отцом.

Вот и сегодня Нахум изливал свое негодование на сына и на его сверхосторожные, предостерегающие речи. После такой пощечины римляне уже никогда не придут в Иерусалим. А если придут—их отбросят за море. Во всяком случае, он, Нахум бен Нахум, оптовый торговец, ни за что не покинет своего стекольного завода и не уйдет из Иерусалима.

— Стекло сначала вылепляли руками, потом его выдували из трубки, и Ягве благословлял это производство. Веками были мы стеклодувами в Иерусалиме и стеклодувами в Иерусалиме останемся.

Отец и сын сидели на подушках, внешне спокойные, но оба были взволнованы, и оба порывисто гладили свои четырехугольные черные бороды. Мальчик Эфраим гневно смотрел на брата; было ясно, что только почтение перед отцом удерживает его от того, чтобы не обрушиться на Алексия. Иосиф переводил взгляд с одного на другого. Алексей сидел спокойно, он вполне владел собой, даже улыбался, но Иосиф отлично видел, как грустно ему и горько. Наверное, Алексей прав, но его осторожность казалась скучной и презренной перед стойкостью отца и надеждами мальчика.

И снова Алексей начал звать к разуму Нахума:

— Если римляне перестанут впускать в город наши транспорты песка с реки Бела, нам останется только прикрыть завод. Вы, конечно, другое дело, доктор Иосиф, вы политический деятель, вам надо оставаться в Иерусалиме. Но мы, простые купцы...

— Крупные коммерсанты,—мягко поправил его Нахум и погладил бороду.

— ...Так не лучше ли нам как можно скорее убраться из Иерусалима?

Однако Нахум не хотел об этом и слышать. Он резко переменял тему.

— Наша семья,—заявил он Иосифу,—во всем крепка. Когда умер дед,—память о праведном да будет благословенна,—у него еще оставалось двадцать восемь зубов, а когда умер отец,—память о праведном да будет благословенна,—у него было тридцать. Мне сейчас за пятьдесят, и у меня целы все тридцать два зуба, а мои волосы почти не поседели и не падают.

Когда Иосиф хотел удалиться, Нахум предложил ему пойти вместе с ним в мастерскую и выбрать себе подарок. Ибо еще продолжается праздник победы при Бет-Хороне, а без подарка нет и праздника.

Печь дышала нестерпимым жаром, в мастерской стоял плотный дым. Нахум непременно хотел навязать Иосифу роскошную вещь—большой, прекрасной формы кубок в виде яйца, наружная поверхность которого была филигранной работы: казалось, весь он одет стеклянной сеткой. Нахум запел старую песенку:

— «Если только раз, если только нынче, есть роскошный кубок у меня, пусть он завтра разобьется...»

Однако Иосиф, как того требовали приличия, отказался от драгоценного подарка и удовольствовался предметом более скромным.

Мальчик Эфраим не мог удержаться, чтобы в дыму и зное мастерской не затеять новый бешеный политический спор с братом.

— Ты был на великом галлеле?—накинулся он на

Алексия.— Конечно, нет. Ягве покарал тебя слепотой. Но теперь меня уж не отговорят: я вступаю в гражданскую оборону.

Алексий насмешливо скривил рот. На слова пылкого мальчика он отвечал только молчанием да смущенной улыбкой. Как охотно уехал бы он с женой и двумя маленькими детьми из Иерусалима! Но он был глубоко привязан к своей семье, к своему прекрасному сумасбродному отцу Нахуму бен Нахуму и к своему прекрасному сумасбродному брату Эфраиму. Один он в семье обладал здравым смыслом. И он должен остаться, чтобы оберегать их от худшего.

Наконец Иосиф ушел. Дверь с большой стеклянной виноградной кистью закрылась за ним, и после жары и дыма он радостно вдохнул приятный свежий воздух. Алексий проводил его часть дороги.

— Вы видите,— сказал он,— как всех охватывает безрассудство. Еще неделю тому назад мой отец был против маккавеев. Хотя вы-то сохраните благоразумие, доктор Иосиф. У вас есть пристрастия. Отрешитесь от некоторых из них и сохраните трезвость рассудка. Вы— наша надежда. От души желал бы, чтобы завтра в Зале совета вас призвали в правительство.

А Иосиф тайне думал: «Он хочет, чтобы я был таким же бесстрастным, как он сам». Алексий же, прощаясь, сумрачно проговорил:

— Хотел бы я, чтобы эта победа нам не была дана.

За полчаса до начала собрания Иосиф вошел в зал. Но оказалось, что почти все члены законодательных корпораций уже здесь. Господа из Коллегии первосвященника— в официальных голубых одеждах, участники Великого совета— в белых с голубым праздничных облачениях, члены Верховного суда— в белом с красным. Странно выделялся среди всех этих людей вооруженный Симон бар Гиора с группой своих офицеров.

Едва Иосиф вошел, как к нему бросился его друг Амрам. Будучи до того фанатичным приверженцем партии «Неизменно справедливых», он в последнее время примкнул к «Мстителям Израиля». С тех пор как Иосиф добился освобождения трех мучеников, Амрам был предан ему с удвоенной страстностью.

То, что он сообщил, доставило Иосифу огромное удовлетворение. Галилейские партизаны перехватили римского курьера и отняли у него, по-видимому, весьма важное письмо. Симон бар Гиора показал письмо доктору Амраму, которого очень ценил. В этом письме полковник Павлин, адъютант Цестия, наспех и откровенно рассказы-

вал кому-то из своих друзей о поражении Двенадцатого легиона. Не было, писал он, решительно никаких разумных оснований для пресловутого приказа об отступлении. Просто у его начальника сдали нервы. И причиной этой истерики, этого странного горького каприза судьбы послужил такой вздор, как самоубийство трех сумасшедших тибурских стариков. Его начальник всю жизнь верил только в разум. Нелепая и героическая смерть этой тройки его глубоко потрясла. Выставлять регулярные войска против города, состоявшего из фанатиков и сумасшедших, показалось ему лишенным смысла. Он перестал бороться. Он отступил.

Иосиф прочел письмо, ему стало жарко под жреческой шапочкой, хоть и стоял свежий ноябрьский день. Это письмо явилось огромным, замечательным подтверждением его правды. Не раз охватывало его сомнение в целесообразности завоеванной им амнистии. И когда римляне, когда даже «Неизменно справедливые» то и дело приводили эту амнистию трех старцев как доказательство мягкости римской администрации, ему начинало казаться, что Юст, со своей голой математикой, действительно прав. Но теперь становилось ясно, что дело Иосифа все же привело к добру. «Да, доктор и господин Юст из Тивериады, мое поведение было, может быть, неразумно, но разве последствия блестяще не оправдали его?»

Первосвященник Анан открыл заседание. Сегодня ему предстояла нелегкая задача. Он стоял во главе «Неизменно справедливых», руководил крылом крайних правых аристократов, которые находились под защитой римского оружия и потому безжалостно и высокомерно отказывали ремесленникам, крестьянам и пролетариям в каком бы то ни было облегчении их участи. Его отец и три брата занимали, один за другим, пост первосвященника, эту высшую должность в храме и в государстве. Спокойный, хладнокровный и справедливый, он казался наиболее подходящим человеком для сношений с римлянами: и вот его соглашательская политика потерпела позорное поражение. Иудея стоит на пороге войны—и разве война уже не началась? Что же теперь скажет и сделает первосвященник Анан? Спокойно, как всегда, стоял он в одеянии гиацинтового цвета; ему не пришлось напрягать свой глубокий голос—едва он заговорил, наступила тишина. Он был поистине храбрым человеком. Он сказал, словно ничего не произошло:

— Я очень удивлен, что вижу здесь, в Зале совета, господина Симона бар Гиору. Мне кажется, солдат решает все только на поле битвы. Как следует поступать в дальнейшем с этим храмом и со страной Израиля, зависит пока еще от Коллегии первосвященника, от Великого

совета и Верховного суда. Поэтому предлагаю господину Симону бар Гиоре и его офицерам удалиться.

Со всех сторон раздались протестующие крики. Партизанский вождь осмотрелся вокруг, словно не понимая. Анан продолжал все тем же негромким, глубоким голосом:

— Но так как господин Симон бар Гиора оказался здесь, то я хочу все-таки спросить его: кому из властей сдал он отнятые у римлян сокровища?

Деловитость этого вопроса подействовала отрезвляюще. Офицер, густо покраснев, задорно ответил:

— Сокровища у начальника храмового управления.

Все головы повернулись к молодому элегантному доктору Элеазару, безучастно смотревшему перед собой. Затем с коротким поклоном Симон бар Гиора удалился.

Едва он вышел, как доктор Элеазар перестал сдерживаться: никто в народе не поймет, как мог первосвященник так высокомерно удалиться с заседания героя Бет-Хорона! «Мстители Израиля» больше не желают терпеть бесплодный рационализм этих господ. Разве они, расчетливые и маловерные, упорно не твердили, что невозможно бороться с римскими войсками? Хорошо, а где теперь Двенадцатый легион? Бог стал на сторону тех, кто не хочет больше ждать; он совершил чудо.

— У Рима двадцать шесть легионов!—крикнул один из молодых аристократов.—Вы что, думаете, бог сотворит еще двадцать пять чудес?

— Смотрите, чтобы ваших слов не услышали за этими стенами,—пригрозил ему Элеазар.—Народ больше не склонен выслушивать столь плоские остроты. Момент требует перераспределения власти. Вы будете сметены, все те, кто не принадлежит к «Мстителям Израиля», если во вновь образованном правительстве национальной самообороны не предложите Симону бар Гиоре место и голос.

— Я не намерен предлагать господину Симону место в правительстве,—сказал первосвященник Анан.—Кто-нибудь из господ имел это в виду?—Медленно обводил он присутствующих спокойным взглядом серых глаз, узкое продолговатое лицо под голубой с золотом первосвященнической повязкой казалось безучастным. Все молчали.—Как вы полагаете, на что нужно употребить те средства, которые вам передал господин Симон?—спросил Анан начальника храмового управления.

— Эти средства предназначены исключительно для нужд национальной самообороны,—ответил доктор Элеазар.

— И больше ни для каких правительственных нужд?—спросил Анан.

— Я не знаю иных правительственных нужд,— возразил доктор Элеазар.

— Смелые действия вашего друга,— сказал первосвященник,— вызвали к жизни обстоятельства, вследствие которых нам показалось уместным передать некоторые из наших полномочий храмовому управлению. Но вы сами поймете, что мы нашей компетенции с вами делить не можем, если вы смотрите на наши задачи так узко.

— Народ требует, чтобы было создано правительство национальной самообороны,— упрямо продолжал молодой Элеазар.

— Такое правительство и будет создано,— отозвался первосвященник,— но боюсь, что доктору Элеазару бен Симону придется отказаться от участия в нем. В трудные времена в Израиле существовали такие правительства, где не сидело ни одного финансиста и ни одного солдата, только священники и государственные деятели. И это были не самые плохие правительства в Израиле.— Он обратился к собранию:— Закон предоставляет доктору Элеазару бен Симону право самостоятельно решать вопрос о денежных имуществах храмового управления. Касса правительства пуста, денежная наличность доктора Элеазара благодаря добыче, взятой при Бет-Хороне, увеличилась, по крайней мере, на десять миллионов сестерциев. Желаете ли вы, господа, чтобы мы включили доктора Элеазара в состав правительства?

Многие встали, сердито протестуя, и угрожающе потребовали, чтобы он снял свое предложение.

— Мне нечего брать назад и нечего добавлять,— прозвучал негромко глубокий голос первосвященника.— Деньги в наши трудные времена— вещь весьма важная, участие же пылкого доктора Элеазара в правительстве я считаю только тормозом. Все «за» и «против» ясны. Перехожу к голосованию.

— Голосовать незачем,— заявил серый от волнения доктор Элеазар.— Я сам уклоняюсь от участия в таком правительстве.— Он встал и, не прощаясь, покинул безмолвствующее собрание.

— У нас нет ни денег, ни солдат,— задумчиво сказал доктор Яннай, управляющий финансами Великого совета.

— Но за нас,— сказал первосвященник,— бог, право и разум.

Установили программу действий правительства на ближайшие недели. Коллегия первосвященника, Великий совет и Верховный суд, тщательно изучив создавшееся положение, вынесли следующую резолюцию: они не находятся в состоянии войны с Римом. Мятежные действия совершены отдельными лицами, власти за них не ответственны. Иудейское центральное правительство в

Иерусалиме должно, при данных условиях, объявить мобилизацию. Но оно исключает из нее область, непосредственно подчиненную Риму, Самарию и прибрежную полосу. Правительство строжайше запрещает всякое действие, которое может быть истолковано как нападение. Его программа: вооруженный мир.

Бороться против спокойствия и хладнокровия этих стариков было трудно. Тут же стало ясно, что, несмотря на победу при Бет-Хороне, «Неизменно справедливые» и «Подлинно правоверные» останутся у власти. А Иосиф пришел на это заседание с такими надеждами! Он знал, что, если страна будет поделена, кое-что достанется и ему, и теперь он уже наверное окажется среди сытых и все же прожорливых богачей и сможет урвать себе кусок. Право на это ему давала хотя бы его неистовая жажда. Но во время обсуждения программы действий из него ушла всякая надежда, как вино из дырявых мехов. Мозг его опустел. Когда он сюда пришел, то был уверен, что скажет этим людям что-то столь значительное, после чего они непременно предоставят ему руководящую роль. Теперь же он понял, что и этот день, и этот великий случай пройдут мимо, он останется внизу, как и был, только алчущим честолюбцем.

Для осуществления программы вооруженного мира правительство решило назначить над каждым из семи округов по два комиссара с диктаторскими полномочиями. Иосиф уныло сидел на своем месте, в одном из задних рядов. Какое ему до всего этого дело? Ведь предложить его никто не догадается.

Иерусалим — город и окрестности — был уже отдан, за ним последовали Идумея, Тампа, Гофна. Теперь решался вопрос о северной пограничной области, о богатой крестьянской провинции Галилее. Здесь у «Мстителей Израиля» было больше всего приверженцев. Отсюда началось освободительное движение, и здесь находились наиболее сильные союзы обороны. Было предложено послать в эту провинцию старого доктора Янная, дельного, рассудительного человека, лучшего финансиста Великого совета. Вдруг Иосифа словно рвануло из его пустоты. Эта восхитительная страна, с ее богатствами, с ее медлительными, задумчивыми людьми! Эта удивительная, трудная, загадочная провинция!.. И ее хотят отдать старику Яннаю? Он, конечно, превосходный теоретик, заслуженный специалист по политической экономии, но все же он не для Галилеи. Иосифу хотелось крикнуть: «Нет!» — он привстал, наклонился вперед; соседи посмотрели на него, но он ничего не сказал, — ведь все было бы напрасно, — он только тяжело вздохнул, как вздыхает тот, кто мог бы многое сказать, но оставляет это при себе.

Сидевшие близко от него улыгнулись неумению этого молодчика владеть собой. Еще один человек видел его негодующий порыв, его отчаяние. И этот человек не улыбался. Он сидел далеко впереди. Случайно заметил он резкое движение Иосифа, ибо обычно держал желтые морщинистые веки опущенными. Это был верховный судья Иоханан бен Заккаи, маленький человечек, очень старый, увядший, ректор храмового университета. Когда после единодушных выборов комиссара Янная присутствующие нерешительно смолкли, ожидая, чтобы кто-нибудь назвал второе имя, ректор поднялся. Неожиданно ярко и живо светились его глаза на сморщенном личике, иссеченном тысячью морщин. Он сказал:

— Я предлагаю вторым комиссаром для Галилеи доктора Иосифа бен Маттафия.

Иосиф, на которого теперь все смотрели, сидел, словно скованный странной неподвижностью. За этот день он десятки раз пережил в своем воображении надежду и отказ, вкусил до дна исполнение и разочарование; то, что называли его имя, теперь уже не взволновало его. Он сидел опустошенный, словно речь шла о ком-то постороннем.

Других это предложение изумило. По каким мотивам кроткий, высохший от старости Иоханан бен Заккаи, уважаемый законодатель, назвал этого молодого человека? Ведь Иосиф до сих пор не зарекомендовал себя ни на каком ответственном посту; наоборот, с того времени, как он одержал ничтожную победу в деле трех невинных и завоевал симпатии масс, он явно кокетничал своим сочувствием Голубому залу. Может быть, судья считал полезным дать старику Яннаю молодого товарища, популярного и среди «Мстителей Израиля»? Да, вероятно, так оно и есть. Предложение заслуживало внимания. Пыл этих маккавеев, как только они достигают почета и власти, быстро угасает. Доктор Иосиф будет в Галилее покладистее, чем в Риме и Иерусалиме, а трезвой мудрости старого теоретика финансов Янная небольшая примесь юношеской пылкости Иосифа не повредит.

Тем временем Иосиф очнулся от своего оцепенения. Кажется, кто-то назвал его имя? Кто-то? Иоханан бен Заккаи, верховный судья. Ребенком Иосиф не раз ощущал с робостью, как на его голову ложится легкая благословляющая рука этого кроткого человека. Будучи в Риме, он узнал, что даже там старик слыл одним из мудрейших людей на земле. Иоханан достиг этого без всяких усилий, одним воздействием своей личности. Подобный склад характера, тихого и нечестолюбивого, был Иосифу чужд, вызывал почти жуткое чувство тревоги и угнетал; Иосиф охотнее всего сошел бы с пути Иоханана. И вот именно Иоханан предложил теперь Иосифа.

Молодой человек был глубоко взволнован, когда собрание приняло предложение судьи. Люди, избравшие Иосифа, были мудры и добры. Он тоже будет добрым и мудрым. Он отправится в Галилею не в качестве одного из «Мстителей Израиля» и без честолюбивых вожделений... Он будет тих и смиренен, будет ждать, чтобы дух истины осенил его.

Вместе со стариком Яннаем подошел он к первосвященнику, чтобы проститься. Холодный и ясный, как всегда, стоит перед ним Анан. Его директивы вполне определены: Галилея находится под наибольшей угрозой. Необходимо во что бы то ни стало поддержать в этой провинции спокойствие.

— В сомнительных случаях лучше ничего не предпринимать, чем идти на риск. Дождитесь указаний из Иерусалима. Всегда ориентируйтесь на Иерусалим. У Галилеи сильные отряды гражданской обороны. Перед вами, господа, задача держать эти отряды в распоряжении Иерусалима.— Лично Иосифу он сказал еще, рассматривая его без особого благоволения: — Мы вам доверили ответственную должность. Надеюсь, мы не ошиблись.

Иосиф выслушал указания первосвященника вежливо, почти смиренно. Однако их восприняло только его ухо. Разумеется, пока он в Иерусалиме, нужно подчиняться первосвященнику. Но как только он перейдет границу Галилеи, он отвечает только перед одним человеком — перед самим собой.

Вечером Анан сказал Иоханану бен Заккаи:

— Надеюсь, мы поступили не слишком опрометчиво, послав этого Иосифа бен Маттафия в Галилею? Им движет только честолюбие.

— Возможно,— отозвался Иоханан бен Заккаи,— что есть люди надежнее его. Вероятно, многие годы будет казаться, что он действует лишь ради себя. Но пока он жив, я буду верить, что он в конце концов все же действует ради нас.

Новый комиссар Иосиф бен Маттафий исколесил свою провинцию вдоль и поперек. В том году период дождей изобиловал влагой. Ягве был милостив, водоемы наполнялись, на горах Верхней Галилеи лежал снег, горные ручьи весело шумели, сбегая вниз. В долинах крестьяне сидели на корточках, нюхали землю, вынюхивали по ней погоду. Да, богатая страна, плодородная, очень разнообразная, со своими долинами, холмами, горами, с Генисаретским озером, рекой Иорданом, морским побережьем и двумя сотнями городов. Как истинный сад божий, лежала она, овеванная волшебным светлым воздухом. Иосиф вздохнул

полной грудью. Он все же достиг своей цели, поднялся очень высоко; как чудесно быть начальником этой провинции! Человек, приехавший сюда с такими полномочиями, как он, должен широко и навеки прославиться — иначе он просто бездарность.

Однако спустя всего несколько дней его начало томить глубокое недовольство, и оно росло с каждым днем. Он изучал дела, архивные документы, вызывал к себе деревенских старшин, беседовал с бургомистрами, священниками, со старейшинами синагог и школ. Он пытался вести организационную деятельность, давал указания; его вежливо выслушивали, его указания выполнялись, но он ясно ощущал, что это делается без веры, его мероприятия не приводили ни к каким результатам. Те же явления выглядели в Иерусалиме иначе, чем в Галилее. Когда в Иерусалим поступали все новые жалобы на то, что страна изнемогает под бременем налогов, там люди пожимали плечами, приводили цифры, посмеивались над галилейскими трудностями, словно это было просто всем надоевшее нытье, и под защитой римского оружия продолжали взимать те же налоги. Теперь Иосиф, сжав губы, сравнивает галилейскую действительность с иерусалимскими цифрами. Теперь он, нахмурившись, видит: жалобы галилейских крестьян, рыбаков, ремесленников, портовых и фабричных рабочих не пустое нытье. Они живут в стране обетованной, но ее виноградники зреют не для них. Ее тук идет в Кесарию римлянам, а масло — знатым господам в Иерусалиме. Вот налоги с земли: третья часть урожая зерна, половина вина и масла, четвертая часть плодов. Затем десятина в пользу храма, ежегодный подушный храмовый налог, паломнический налог. Затем аукционный сбор, соляной налог, дорожный и мостовой сбор. Тут налог, там налог, везде налог.

Правда, финансы — дело его коллеги Янная. Но Иосиф не может винить галилеян за то, что они не доверяют ученым из Зала совета, которые, пользуясь хитрыми и запутанными толкованиями Библии, отнимают у них лучшее, и не доверяют ему, представителю этих ученых. В Риме и в Иерусалиме он насмотрелся на то, как недовольных успокаивают маленькими поблажками, кроткими и серьезными речами, торжественными ответами и дешевыми почестями. Но здесь эти приемы не помогут.

Жители Иерусалима высокомерно кривят губы, когда речь заходит о галилеянах: это, мол, деревенщина, провинциалы, необразованные, с неотесанными манерами. Но Иосифу пришлось в первые же недели отказаться от подобного дешевого высокомерия. Правда, здешние люди слабы насчет следования заповедям, ученое толкование

Библии мало их трогает, но вместе с тем они по-своему строги и фанатичны. Они отнюдь не желают мириться с существующим положением вещей. Они говорят: следовало бы изменить самые основы государства и жизни, только тогда могут исполниться слова Писания. Все обитатели этой страны знают наизусть Книгу Пророка Исайи. Пастухи говорят о вечном мире, портовые рабочие—о царстве божием на земле; недавно один ткач поправил его, когда он привел не дословно цитату из Иезекииля. По своему внешнему облику это медлительные тяжеловесные люди, спокойные и миролюбивые, но в душе они вовсе не миролюбивы—они бунтовщики, всего ожидающие, ко всему готовые. Иосиф чувствует вполне определенно: эти люди ему подходят. Их смутная буйная вера—более крепкая основа для человека больших масштабов, чем сухая ученость и лощеный скепсис Иерусалима.

Он прилагает все старания к тому, чтобы жители Галилеи поняли его. Он хочет быть здесь не ради Иерусалима, а ради них. Его сотоварищ, комиссар доктор Яннай, в его действия не вмешивается, никогда ни в чем не чинит ему препятствий. Его интересуют только финансы; засел с огромной кучей актов в Сепфорисе, в просторной и спокойной галилейской столице, и реорганизует эти финансы, бодро, упорно и обстоятельно. Все остальное он предоставляет своему более молодому коллеге. Но хотя Иосиф и может поступать, как ему вздумается, дело не движется. Он отбрасывает все высокомерие своей учености, всю свою гордость аристократа и священника: он разговаривает с рыбаками, портовыми рабочими, крестьянами, ремесленниками как с равными. Люди приветливы, почтительны, но за их словами и манерой держаться он чувствует их внутреннюю замкнутость.

У Галилеи другие вожди. Иосиф не хочет этого признать, он не хочет иметь с ними никакого дела, но ему хорошо известны их имена. Это вожди союзов обороны, которых Иерусалим не признает, вожди крестьян—Иоанн Гисхальский и некий Запита из Тивериады. Иосиф видит, как сияют глаза людей, когда называют их имена. Ему хотелось бы встретиться с этими двумя вождями, услышать, что они говорят, узнать, как они начинали. Но он чувствует свою неопытность, неспособность, бессилие. У него есть его должность, его высокий титул, может быть, даже власть, но сила—сила у тех.

Он работает до изнеможения. Все мучительнее гложет его желание покорить именно Галилею. Но страна замыкается от него. Вот уже пять недель, как он здесь, а достиг не больше, чем в первый день.

В один из зимних вечеров Иосиф бродит по улицам маленького городка Капернаума, одного из центров «Мстителей Израиля». На бедном, запущенном доме вывешен флаг — знак того, что хозяином трактира получено новое вино. На собраниях совета, на заседаниях комиссии, в синагогах, в школах Иосиф насмотрелся на своих галилеян. Сейчас он посмотрит, каковы они за вином; и он входит.

Низкая комната, скудно и примитивно отапливаемая простой жаровней, в которой горит кизяк. В вонючем, дыму сидит с десяток мужчин. Когда появляется хорошо одетый господин, они рассматривают его сдержанно, но не враждебно. Подходит хозяин, спрашивает, что ему угодно заказать, сообщает, что вот как удачно господин попал сегодня: проходил купец с караваном, велел наготовить целую кучу яств, осталось еще немного птицы, тушенной в молоке. Есть мясо с молоком строжайше запрещено, но деревенское население Галилеи считает, что птица — не мясо, и не отступает от обычая варить и тушить ее в молоке. Когда Иосиф вежливо отказывается от столь лакомого блюда, раздаются добродушные шутки. Его спрашивают, кто он, у кого ночует, по его слову узнают в нем иерусалимского жителя. Иосиф отвечает приветливо, но довольно неопределенно. Ему неясно, узнали его или нет.

Хозяин подсаживается к нему, словоохотливо начинает рассказывать. Его имя Феофил, но теперь его зовут Гиора, «чужой», потому что он из сочувствующих и имеет намерение перейти в иудейскую веру. В Галилее население очень смешанное и есть много сочувствующих неевреев, которых влечет к себе невидимый бог Ягве. И этому Феофилу Гиоре богословы, как предписывает закон, советуют не переходить в иудейскую веру; ибо, пока он язычник, он не лишается права на спасение, даже если и не выполняет все шестьсот тринадцать заветов. Но если он возьмет на себя обязательство, то при неисполнении закона его душа окажется под угрозой гибели, а закон труден и суров. Феофил Гиора еще не обрезан, слова учеников произвели на него впечатление; но как раз эта суровость и привлекает его.

Остальные — кряжистые, мешковатые люди, они слегка возбуждены присутствием знатного человека из Иерусалима и опять начинают медленно, обстоятельно и нескладно обсуждать свою главную заботу — жестокий гнет правительства. Столяру Халафте пришлось продать свой последний виноградник. Раздобыл коз по ту сторону Иордана — римляне наложили на них очень высокие пошлины, хотел перетащить коз контрабандой, его накрыли. Неправильно они делают, эти сборщики пошлин! Горе

тому, кто предъявит товар, горе и тому, кто его не предъявит. Теперь они обложили столяра десятикратно, потому что это—второй раз, и ему пришлось продать виноградник. У ткача Азарии надзиратель магдальского рынка отобрал третий станок, так как Азария не уплатил ремесленного сбора. Все эти люди, жившие в такой богатой стране, ходили оборванные, сильно нуждались. В Галилее разводили много птицы, козье молоко стоило дешево, но они жадно причмокивали, когда хозяин Гиора рассказывал про свое жаркое, тушенное в молоке. Такое кушанье они ели только по большим праздникам. Люди, надрываясь, работают не ради собственного брюха, а чтобы набить пузо Кесарии и Иерусалима. Трудное время.

Исполнились ли времена и сроки? Агитатор Иуда уже возвестил об этом здесь, в Галилее, и основал партию «Мстителей Израиля», но римляне его распяли. Теперь по всей стране ходит его сын, Нахум, и возвещает то же самое. Объявился в Галилее и пророк Теуда, он совершал чудеса, был затем вызван в Иерусалим и заявил, что разделит надвое иорданские воды. Но римляне его распяли, и господа из Великого совета дали на то свое согласие.

Маслодел Терадион высказал предположение, что, может быть, этот пророк Теуда в самом деле шарлатан. Столяр Халафта медленно и удрученно покачал головой. Шарлатан? Шарлатан! Может быть, река и в самом деле не расступилась бы по велению человека. Но даже в таком случае он не шарлатан. Тогда он предтеча. Ибо, когда же, как не теперь, настала пора исполниться срокам, раз Гог и Магог снова собрались напасть на Израиль, как написано у Иезекииля и в Таргуме Ионатана?

Ткач Азария хитро заметил: тот Теуда наверняка не мог быть настоящим мессией, ибо, как ткач узнал от надежных людей, Теуда—египтянин, а египтянин не может же быть мессией.

Вино оказалось хорошим, его было вдоволь. Люди забыли о господине из Иерусалима и, окутанные вонючим дымом, поднимавшимся из жаровни, беседовали медленно, пылко и убежденно о мессии, который должен прийти сегодня, может быть—завтра, но непременно в этом году. Конечно, мессия может быть и египтянином, настаивал тупо и упрямо столяр Халафта. Разве не написано о железной метле, которая выметет всякую гниль из Израиля и из всего мира? И разве спаситель—не эта железная метла? Но если так, то зачем Ягве посылать иудея, чтобы он поразил иудеев? Не предпочтет ли он послать необрезанного? Почему же мессии и не быть необрезанным?

Тут мелочной торговец Тарфон занял на своем гортанном, неясном, тяжело звучащем диалекте:

— Ах и ой, конечно же, мессия будет иудеем. Разве доктор Доса бен Натан не учит, что он соберет все рассеянные племена, и что тогда, ой и ах, он будет лежать убитый, непогребенный на улицах Иерусалима, и что его имя будет Мессия бен Иосиф? А как может нееврей называться Мессия бен Иосиф?

Но тут снова вмешался хозяин Феофил Гиора и поддержал столяра Халафту. Его обижало, как это нееврей не может быть мессией. Мрачно и упрямо продолжал он настаивать: только нееврей может быть мессией. Ибо разве в Писании не сказано, что он совет небеса, как свиток, и что сначала будет наказание и великое избиение и пожар в преступном граде?

Несколько человек поддержали его, другие стали возражать. Все они были взбудоражены. Неторопливо, хмуро ныли и возмущались они, спорили друг с другом, горячо обсуждали загадочные, противоречивые пророчества. Они были тверды в своей вере в спасителя, эти галилеяне. Но только каждый представлял его по-своему и каждый защищал именно свой образ, видел его ясно, был уверен, что прав именно он, а другие неправы, и каждый спешил найти подтверждение своего образа в Писании.

Иосиф напряженно слушал. Его глаза и нос были весьма чувствительны, но на этот раз он не замечал едкого, противного, вонючего дыма. Он смотрел на людей, с трудом ворочавших свои доводы под толстыми черепами. Было прямо-таки видно, как они их откапывают, с усилием переплавляют в слова. Когда-то, когда он жил у отшельника Бана в пустыне, провозвестия пророков вставали перед ним, великие и непоколебимые, он вдыхал их вместе с окружающим воздухом. Но в Иерусалиме провозвестия потускнели, и из всего Писания те места, где говорилось о мессии, стали казаться ему наиболее смутными и непонятными. Ученые из Зала совета не любили, когда эти предсказания применялись к современности; многие склонялись к мнению великого законоучителя Гиллеля, что мессия уже давно пришел в лице царя Хизкии, они вычеркивали из восемнадцати молений то, где говорилось о пришествии спасителя, и когда Иосиф спрашивал себя, то должен был признаться, что уже много лет надежда на это пришествие не живет ни в его мыслях, ни в его поступках; а теперь, в этот вечер, в темном, дымном трактире, ожидание спасителя вновь стало для него чем-то осязаемым, стало счастьем и тоскою, краеугольным камнем всей жизни. Жадно, с раскрытым сердцем слушал он речи этих людей, и

верования бесхитростных ткачей, лавочников, столяров, маслоделов казались ему куда ценнее остроумных комментариев иерусалимских законников. Принесет ли спаситель меч или оливковую ветвь? Они отлично понимали, что люди эти все больше горячатся, волнуемые разногласиями в их бурной вере, и что, несмотря на их благочестие, спор между ними становится все более угрожающим.

Наконец дошло до того, что столяр Халафта хотел наброситься с кулаками на лавочника Тарфона. Вдруг один из более молодых сказал торопливо и тревожно:

— Бросьте, постойте, слушайте: он видит.

Тогда все посмотрели на место рядом с жаровней. Там сидел горбун, тощий, костлявый и, по-видимому, близорукый. До того он почти не открывал рта. А теперь, мигая, с трудом вперялся в облака дыма, шурился, словно хотел рассмотреть что-то на границе своей зоркости, снова таращил глаза и моргал. Люди пристали к нему:

— Ты видишь, Акиба? Скажи нам, что ты видишь!

Все еще напряженно вглядываясь в сумрачный воздух, башмачник Акиба голосом, охрипшим от вина и дыма, сказал просто, с ярко выраженным галилейским выговором:

— Да, я вижу его.

— Как он выглядит?—спросили они.

— Он не велик ростом,—сообщил видящий,—но широк в плечах.

— Что он, иудей?—спросили они.

— Не думаю,—отвечал он.—У него нет бороды. Но кто узнает по лицу человека, иудей ли он?

— Он вооружен?

— Меча я не вижу,—отозвался Акиба,—но, кажется, он в доспехах.

— Что он говорит?—спросил Иосиф.

— Он шевелит губами,—отозвался Акиба,—но я не слышу, что он говорит. Кажется, он смеется,—добавил он значительно.

— Как он может смеяться, если он мессия?—недовольно спросил столяр Халафта. Видящий возразил:

— Он смеется, и все же он страшен.

Затем он провел рукой по глазам и заявил, что теперь больше ничего не видит. Он устал и был голоден, ворчал, пил много вина, потребовал себе также птицы в молоке. Хозяин рассказал Иосифу про башмачника Акибу. Он очень беден, но все-таки каждый год совершает паломничество в Иерусалим и приносит своего агнца в храм. Во внутренние дворы его не пускают, так как он калека. Но он привязан к храму всем сердцем и всеми помышлениями и знает о внутренних дворах больше, чем многие, побы-

вавшие в них. Может быть, именно потому, что ему нельзя видеть храм, Ягве и дал ему другое зрение.

Люди еще долго сидели в трактире, но о спасителе они больше не говорили. Они говорили о том, насколько возросла численность маккавеев, об их организованности и вооружении. Решительный день скоро наступит. Акиба, снова повеселевший, убеждал необрезанного хозяина, что, когда этот день настанет, ему тоже придется в него поверить. Затем они вновь обратились к господину из Иерусалима и стали поддразнивать его с присущей им неуклюжестью, но не зло; Иосиф не обижался и шутил вместе с ними. Под конец они потребовали, чтобы он считал себя их гостем и поел птицы в молоке. Больше всего настаивал Акиба, ясновидящий. Упрямо повторял он, хныча:

— Ешьте же, вы должны есть.

В Риме Иосиф мало заботился о соблюдении обычаев, но в Иерусалиме он строго придерживался запретов и заповедей. Здесь была Галилея. С минуту он подумал. Потом стал есть.

Иосиф избрал своей штаб-квартирой Магдалу, живописное большое селение на берегу Генисаретского озера. Когда он катается по озеру, он видит на юге белый и пышный город, красивейший город страны, но этот город не в его округе, он подчинен царю Агриппе. Он называется Тивериадой. И в нем сидит Юст, которого царь назначил туда наместником. Городом управлять нелегко, больше трети его жителей римляне и греки, избалованные царем, но доктор Юст—тут ничего не скажешь—умеет поддерживать порядок. Когда Иосиф прибыл в Галилею, тот вежливо отдал ему визит. Но о политике Юст не обмолвился ни словом. Он, видимо, считает полномочия, данные иерусалимскому представителю, ограниченными. Иосиф, в самой глубине души, задет, его охватывает мучительное желание, чтобы Юст это понял.

Высоко над Тивериадой сверкает большой, величественный дворец царя Агриппы, теперешняя резиденция Юста. Вдоль набережных тянутся нарядные виллы и магазины. Но в Тивериаде есть и много бедняков—рыбаки и лодочники, грузчики и фабричные рабочие. Богачи в Тивериаде—это греки и римляне, а пролетарии—это евреи. Работать надо много, налоги высоки, а в городе еще острее, чем деревне, бедняк ощущает, чего он лишен. В Тивериаде много недовольных. Во всех трактирах можно услышать речи бунтовщиков против римлян и царя Агриппы, который с ними заодно. Оратором и вождем этих недовольных является тот самый Запита,

секретарь товарищества рыбаков. Он ссылается на слова Исайи: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю!»

Юст всеми силами старается сдерживать движение, но его власть ограничена тивериадской городской территорией, и он не может помешать тому, чтобы союз обороны, возглавляемый Запитой, создал себе опорные пункты в остальных частях Галилеи и чтобы к нему стекалось все больше людей из этих районов.

Иосиф видит не без удовольствия, как приверженцы Запиты становятся все сильнее и как его банды все растут, даже на территории, непосредственно подчиненной иерусалимскому правительству. Люди Запиты требуют от областей, подвластных Иосифу, чтобы они делали взносы для национального дела, устраивают в случае отказа карательные экспедиции, весьма смахивающие на разбой и грабеж. Полиция Иосифа вмешивается редко, его суды мягко обходятся с виновными.

Иосифа охватывает бурная радость, когда к нему приходит Запита. Галилея начинает доверять Иосифу, Галилея приходит к нему. Теперь — он чувствует это — уже недалек тот час, когда он выманит Юста из его надменной замкнутости. Но он мудро скрывает свою радость. Он разглядывает Запиту. Это сильный человек, чрезмерно высокий, одно его плечо выше другого. У него трясущаяся раздвоенная борода, маленькие горящие фанатизмом глазки. Иосиф разговаривает с ним, договаривается, они понимают друг друга с полуслова. Столковаться с Запитой легче, чем с Юстом. Они ничего не записывают, но, когда Запита уходит, оба знают, что между ними заключено соглашение более действительное, чем обстоятельный договор. Те из людей Запиты, кто уже не чувствует себя в безопасности в Тивериаде, спокойно могут бежать на территорию Иосифа; тут к ним отнесутся снисходительно. А Иосиф пусть не тратит столько сил на выжимание денег для военных нужд из скряги Янна: то, в чем ему откажет Янна, он получит от Запиты.

Уговор выполняется. Теперь Иосиф наконец довел Юста до того, что тот заговорил о политике. В письме, обращенном к иерусалимским правителям, Юст настойчиво требует, чтобы они больше не саботировали его усилий покончить с бандами в Галилее. Старик Янна задает Иосифу несколько пренеприятных вопросов. Но Иосиф прикидывается изумленным — у Юста, должно быть, галлюцинации! Оставшись один, он удовлетворенно улыбается. Он рад борьбе.

Решено устроить встречу Иосифа с Юстом. Рядом со старым Яннаем едет Иосиф верхом на Стреле, своей красивой арабской кобыле, по вылизанным улицам Тиве-

риады, и население с любопытством глазеет на всадников. Иосиф знает, что верхом он особенно хорош. С бесстрастным, слегка высокомерным видом смотрит он прямо перед собой. Всадники въезжают на холм, где стоит дворец царя Агриппы. Белая и великолепная, высится перед входом колоссальная статуя императора Тиберия, по имени которого назван город. Четыре аркады перед входом тоже полны статуй. Иосифа это раздражает. Он не сторонник старых обычаев, но сердце его полно невидимым богом Ягве, и он возмущен до глубины души, видя в стране Ягве запретные изображения. Создание образов остается исключительным правом бога-творца. Людям он разрешил давать этим образам имена, но стремление творить их самому—гордыня и кощунство. Все эти кумиры вокруг дворца позорят невидимого бога. Та легкая, виноватая тревога, с которой Иосиф ехал к Юсту, исчезла: теперь он полон высокого волнения, он чувствует свое превосходство над Юстом. Юст—представитель умеренной, трезвой политики; он, Иосиф, является к нему как солдат Ягве.

Юст, будучи противником всякой торжественности, старается лишить это свидание его служебной официальности. Все трое, завтракая, возлежат друг против друга. Юст сначала говорит по-гречески, затем вежливо переходит на арамейский, хотя этот язык для него, видимо, труднее. Постепенно разговор соскальзывает на политические темы. Доктор Яннай учтив и жизнерадостен, как всегда. Иосиф защищает свою тактику; он говорит резче, чем хотел бы. Именно для того, чтобы удержать военную партию от необдуманных агрессивных действий, ей следует пойти навстречу.

— Вы хотите сказать, что мир нужно активизировать?—спросил Юст с неприятной насмешливостью.—Я не могу не заявить автору книги о Маккавеях, что в политических приемах Маккавеев, какова бы ни была их цель, многое кажется мне еще и теперь неуместным.

— Разве самые неприятные из нынешних маккавеев не сидят именно здесь, у вас в Тивериаде?—добродушно спросил доктор Яннай.

— К сожалению,—чистосердечно сознался Юст,—я не имею власти арестовать моего Запиту. Скорее вы, господа, могли бы это сделать. Но, как я вам уже писал, именно мягкость ваших судов и разводит у меня «Мстителей Израиля» в таком обилии.

— Арестовать их ведь и для нас не так просто,—оправдывается доктор Яннай.—Они же, в конце концов, не просто разбойники.

Тут вмешался Иосиф.

— Эти люди ссылаются на Исаяю,—добавил он резко

и вызывающе.—Они верят, что времена исполнились и что мессия придет очень скоро.

— Исайя учил,—возразил негромко, но раздраженно Юст,—остановитесь перед властью. Остановитесь и доверяйте, говорил Исайя.

Иосифа цитата уколола. Этот Юст, кажется, хочет поставить его на место?

— Очаг волнений—в вашей Тивериаде,—сказал он резко.

— Очаг волнений в вашей Магдале, доктор Иосиф,—любезно возразил Юст.—Я ничего не могу поделать, когда ваши судьи оправдывают моих воров. Но если вы, доктор Иосиф, и дальше будете пополнять ваши военные фонды из добычи этих воров,—теперь его тон был подчеркнуто вежлив,—я не поручусь, что мой государь в один прекрасный день не вернет ее силой.

Доктор Яннай так и привскочил:

— Разве в вашей кассе есть деньги Запиты, доктор Иосиф?

Иосифа охватило бешенство. Наверно, у этого проклятого Юста великолепно организованный сыск: посылки денег бывали тщательно замаскированы. Он отвечает уклончиво. Правда, он получал деньги на галилейскую оборону и из Тивериады, но не мог допустить мысли, что они из добычи Запитовых банд.

— Поверьте мне, они оттуда,—предупредительно пояснил Юст.—Я вынужден вас очень просить таким образом больше не поддерживать черни. Я считаю несовместимым с моим служебным долгом, если позволю вам и впредь возбуждать мою Тивериаду к вооруженному восстанию.

Он все еще говорил очень вежливо; его волнение было заметно только по тому, что он невольно опять перешел на греческий. Но старик Яннай вдруг забыл всю свою учтивость. Он вскочил и, жестикулируя, наступал на Иосифа:

— Вы получали деньги от Запиты?—кричал он.—Вы получали деньги от Запиты?—И, не дожидаясь ответа, обернулся к Юсту.—Если деньги из Тивериады поступали, то эти суммы будут вам возвращены,—пообещал он.

Едва выехав из города, оба комиссара расстались.

— Обращаю ваше внимание на то,—сказал Яннай ледяным тоном,—что вы посланы в Магдалу не как один из «Мстителей Израиля», а как иерусалимский комиссар. И я попрошу вас воздержаться от ваших экстравагантностей и соблазнительных авантур!—крикнул он.

Иосиф, бледный от ярости, ничего не мог возразить. Он видел ясно, что переоценил свою силу. У этого доктора Янная хороший нюх, он чувствует, что стоит прочно, а

что — нет. И если он рискнул отчитать его, как школьника, то, вероятно, Иосифово положение дьявольски шатко. Ему следовало выждать, повременить еще с этой борьбой против Юста. При первой возможности Иерусалим отзовет его, и Юст будет улыбаться; он опять спрячется за свою подлую улыбку, которую Иосиф так хорошо знает.

Нет, не будет он улыбаться! Уж Иосиф найдет способ погасить эту улыбку. Разве Юст понимает Галилею? А Иосиф теперь чувствует себя достаточно опытным. Он уже не испытывает перед галилейскими вождами ни страха, ни смущения. Запита к нему пришел сам, другого, Иоанна Гисхальского, он позовет. И тогда станет ясно, что не Иерусалиму принадлежит подлинная власть в стране, а триумvirату: Иосифу, Иоанну и Запите. Пусть партизан называют разбойничьими бандами, чернью, как угодно. Он совсем не собирается порывать связь с Запитой. Наоборот, он сольет в единый союз все вооруженные организации, находящиеся на территории иерусалимского правительства и за ее пределами, признаны они или нет. И не как иерусалимский комиссар, а как партийный вождь «Мстителей Израиля».

Иоанн Гисхальский, начальник хорошо вооруженных галилейских крестьянских отрядов, явно обрадовался, когда Иосиф пригласил его к себе. Возле его родного города, маленького горного местечка Гисхалы, по которому он и назывался, — в списках он значился под именем Иоанна бен Леви, — ему принадлежало не очень рентабельное имение, производившее главным образом масло и финики. Иоанн был широкоплеч, медлителен, добродушен, очень хитер, — человек, прямо созданный для галилеян. Во время похода Цестия он организовал в Верхней Галилее коварную и упорную партизанскую войну против римлян. Он много времени проводил в пути, знал в стране каждый закоулок. Когда Иоанн наконец пришел к нему, Иосиф даже удивился, как это он не связался с ним раньше. Невысокий, но гибкий и сильный, сидел перед ним Иоанн, лицо широкое, загорелое, короткие усы, вздернутый нос, серые лукавые глаза. При всей своей хитрости — добродушный, открытый человек.

Он сейчас же выдвинул вполне определенное предложение. Царь Агриппа по всей стране собрал хлеб в скирды, без сомнения — для римлян. Иоанн намеревался реквизировать этот хлеб для своих союзов обороны, — крайняя мера, на которую он испрашивал согласия Иосифа. Под влиянием толстосумов и аристократов, жаловался он, Иерусалим отрекается от своей связи с его союзами обороны. Иосиф ему кажется иным, чем эти пронырливые господа из храма.

— Вы, доктор Иосиф, принадлежите сердцем к «Мстителям Израиля». Это чувствуется за три мили. Вам я хотел бы подчинить мои союзы обороны,— заявил он чистосердечно и вручил Иосифу точные списки организаций. В них значилось восемнадцать тысяч человек. Иосиф дал согласие на реквизицию хлеба.

Он не боялся той бури, которую вызовет подобная реквизиция. Если он бесстрашно использует выгоды своего положения, если реально захватит власть в Галилее, то, может быть, Иерусалим и не осмелится его отозвать. А если даже и отзовет, то ведь от него будет зависеть — подчиниться этому приказу или нет. И с почти веселой тревогой ждал он дальнейших событий.

Разговором с Иосифом остался доволен и Иоанн Гисхальский. Это был мужественный человек, не лишенный юмора. Вся Галилея знала, что именно он забрал хлеб царя Агриппы. А он прикинулся невинным, ничего не ведающим. То, что произошло,— произошло по приказу иерусалимского комиссара. Совершенно открыто уехал он на вражескую территорию, в Тивериаду, чтобы полечить свой ревматизм в тамошних горячих источниках. Иоанн знал, что, если Юст что-нибудь предпримет против него — его люди пойдут штурмом на Тивериаду. А Юст смеялся. Какими гибельными по своим последствиям ни казались ему поступки этого крестьянского вождя, его манера держать себя ему нравилась.

Однако в Иерусалим и в Сепфорис он послал возмущенную ноту. Разъяренный, задыхаясь от гнева, явился старик Яннай к Иосифу. Хлеб, конечно, должен быть возвращен немедленно. Иосиф принял его очень вежливо. К сожалению, хлеб вернуть нельзя, он перепродан дальше. И Яннаю пришлось уйти ни с чем от вежливо пожимающего плечами Иосифа. Одно маленькое утешение ему все же осталось: значительную часть выручки Иосиф отправил в Иерусалим.

Излюбленным агитационным приемом «Мстителей Израиля» в городе Тивериаде была борьба против безбожия правящего сословия, против его склонности ассимилироваться с греками и римлянами. Когда Запита в следующий раз пришел к Иосифу, тот заявил ему, что и в нем эти статуи, столь вызывающе расставленные перед царским дворцом, пробуждают глубочайшую скорбь. Мрачный, озабоченный вождь вздернул одно плечо еще выше, поднял свои небольшие глазки, снова опустил их, нервно подергал один из кончиков своей раздвоенной бороды. Иосиф хотел вызвать его на дальнейший разговор. Он процитировал пророка:

— «В стране — телец, Ягве отвергает его. Он создан человеческой рукой и не может быть богом».

Иосиф ждал, что Запита продолжит знаменитую цитату: «Поэтому телец должен быть уничтожен...» Но Запита только улыбнулся; он опустил первую часть цитаты и очень тихо, больше про себя, чем для Иосифа, произнес следующие слова:

— «Вы сеете ветер и пожнете бурю». — Затем деловито констатировал: — Мы постоянно протестуем против этого преступного бесчинства. Мы были бы благодарны иерусалимскому комиссару, если бы он подал соответствующее ходатайство в Тивериаду.

Запита не казался таким простодушным, как Иоанн Гисхальский, но на его осторожные намеки можно было положиться. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Не советуясь с доктором Яннаем, Иосиф просил Юста о втором свидании.

На этот раз Иосиф прибыл в Тивериаду с одним слугой, без всякой пышности. Юст приветствовал его, подняв, по римскому обычаю, руку с вытянутой ладонью, но тотчас снова опустил ее, улыбаясь, и, как бы исправляя свою ошибку, произнес еврейское приветствие: «Мир». Затем оба уселись друг против друга, без свидетелей; каждый знал о другом немало, они были искренни в своей вражде. Со времени своего объяснения в Риме оба они кое-чего достигли, получили власть над людьми и судьбами, стали старше, их черты — суровее, но они все еще были похожи друг на друга, смугло-бледный Иосиф и желто-бледный Юст.

— При нашей недавней встрече вы цитировали пророка Исайю, — сказал Иосиф.

— Да, — сказал Юст, — Исайя учил, что маленькая Иудея не должна вступать в борьбу с теми, кто обладает мировым могуществом.

— Он учил этому, — сказал Иосиф, — а в конце своей жизни он скрылся в дупле кедра и был распилен пополам.

— Лучше распилить одного человека, чем целую страну, — сказал Юст. — Чего вы, собственно говоря, хотите, доктор Иосиф? Я стараюсь отыскать разумную связь между вашими мероприятиями. Но или я слишком глуп, чтобы их понять, или все они сводятся к одной цели: Иудея объявляет Риму войну под водительством нового Маккавея, Иосифа бен Маттафия.

Иосиф сделал усилие и сдержался. К сожалению, он еще в Риме знал об этой навязчивой идее Юста, который считает его одним из подстрекателей к войне. Это не так. Он войны не хочет. Но он ее и не боится. Вообще же, став даже на точку зрения самого Юста, он находит его методы неправильными. Если то и дело твердить о

мире — это так же неизбежно приведет к войне, как если твердить о войне. Нужно мудро идти на уступки военной партии и тем самым отнять у нее всякий повод к разжиганию страстей.

— А мы здесь, в Тивериаде, по-вашему, этого не делаем? — спросил Юст.

— Нет, — возразил Иосиф, — вы в Тивериаде этого не делаете.

— Слушаю вас, — вежливо сказал Юст.

— Вы в Тивериаде, — продолжал Иосиф, — живете, например, в царском дворце, полном изображений людей и животных, а это вызывает постоянное раздражение всей провинции, служит постоянным подстрекательством к войне.

Юст взглянул на него, затем по его лицу разлилась широкая улыбка.

— Вы приехали, чтобы мне это сообщить? — спросил он.

В Иосифе вспыхнула вся его ненависть к кощунственным изображениям.

— Да, — сказал он.

Тогда Юст попросил его последовать за ним. Он повел Иосифа по дворцу. Дворец заслужил свою славу, это было самое красивое здание во всей Галилее. Юст провел его через залы, дворы, галереи, сады. Да, повсюду их встречали изображения, они как бы срослись с этим зданием. Царь Агриппа, его предшественник и предшественник его предшественника приложили немало усилий, денег и вкуса на то, чтобы собрать и объединить здесь прекрасные вещи со всех концов света; часть их составляли старинные и прославленные произведения искусства. В одном из дворов, выложенном кусками коричневого камня, Юст остановился перед маленьким рельефом египетской работы, древним, обветренным, — он изображал ветку и на ней — птицу. Вещь была очень строгая, старинная, даже суховатая, но, несмотря на то, что птичка еще сидела на ветке, в ней уже чувствовалась блаженная легкость полета, для которого она поднимала крылья. Юст постоял перед птицей, отдавшись созерцанию. Затем, словно пробудившись, сказал с нежностью:

— Я должен удалить эту вещь? — И, показывая кругом, продолжал: — И это? И это? Тогда потеряет смысл все здание.

— Тогда снесите здание, — заявил Иосиф, и в его голосе прозвучала такая безмерная ненависть, что Юст не прибавил ни слова.

На следующий же день Иосиф пригласил к себе предводителя банд Запиту. Запита спросил, добился ли он чего-нибудь от начальников Тивериады. Нет, ответил

Иосиф, их сердца окаменели. Но, к сожалению, власть Иосифа кончается на границе города. Запита нервно дергал один из кончиков своей бороды. На этот раз он выговорил вслух те слова, которые в прошлый раз проглотил:

— Телец Самарии должен быть уничтожен.

Иосиф ответил, что, если тивериадцы уберут с глаз долой такой соблазн, он, Иосиф, поймет этих людей.

— И даст убежище?—спросил Запита.

— Может быть, и убежище,—сказал Иосиф.

Запита ушел и оставил Иосифа в состоянии странной двойственности. Этот Запита, несмотря на свое кривое плечо, здоровенный малый, в случае чего он едва ли будет особенно церемониться. Если он и его люди ворвутся во дворец, они, вероятно, удалят не только статуи. Прекрасное здание, потолки из кедрового дерева и золота, повсюду драгоценнейшие вещи. Оно бесспорно принадлежит царю Агриппе и бесспорно находится под защитой римлян. С некоторых пор в стране наступило успокоение, и в Иерусалиме надеются, что с Римом удастся столкнуться. Башмачник Акиба в прокопченном капернаумском трактире видел мессию: мессия был без меча. Некоторые люди в Риме только и ждут, чтобы иерусалимское правительство предприняло какие-нибудь действия, которые могли бы рассматриваться как нападение. Сказанные им сейчас слова могут столкнуть с места тяжелый камень, который до сих пор руки многих людей с трудом удерживали от падения.

В следующую ночь дворец царя Агриппы был атакован. Это было обширное здание очень прочной стройки, и сровнять его с землей оказалось нелегко. Да это и не вполне удалось. Все произошло при слабом лунном свете и, как ни странно, в безмолвии. Множество людей деловито набросилось на камни, упрямо било по ним, вырывало их руками, топтало. Растаптывали и цветочные клумбы в саду. С особенной мрачной яростью разрушали они фонтаны. Деловито бегали туда и сюда, тащили драгоценные ковры и ткани, золотые инкрустации потолков, изысканные настольные доски,—и все это происходило в безмолвии. Юст скоро понял, что для успешного вмешательства его войска слишком слабы, и запретил всякое сопротивление. Однако «Мстители Израиля» уже успели прикончить около ста солдат и городских жителей—греков, которые, когда начался штурм, хотели было воспрепятствовать грабежу. Само здание горело потом еще чуть не целый день.

После взятия Тивериадского дворца вся Галилея замерла. В Магдале администрация испуганно требовала от Иосифа директив. Иосиф упорно молчал. Затем вдруг на

другой же день после пожара с большой поспешностью уехал в Тивериаду, чтобы передать Юсту соболезнование иерусалимского правительства по поводу постигшего его несчастья и предложить свою помощь. Он нашел Юста среди развалин; тупо и неустанно ходил Юст взад и вперед. Он не потребовал войск от своего царя, ничего не предпринял против Запиты и его людей. Этот обычно столь деятельный человек опустил руки в бессилии и отчаянии. И теперь, увидев Иосифа, он не стал издеваться над ним, не отпустил ни одной колкости. Бледный, голосом, хриплым от волнения и горя, он сказал ему:

— Вы даже не знаете, что вы натворили. Не возвращение храмовой жертвы было ужасно, не нападение на Гессия и даже не эдикт о Кесарии. Самое ужасное — вот это, ибо это бесспорно означает войну. — От гнева и печали в его глазах стояли слезы. — Честолюбие ослепило вас, — сказал он Иосифу.

Значительную часть добычи, взятой во дворце, Запита предоставил Иосифу. Золото, драгоценное дерево, обломки статуй. Иосиф невольно стал искать среди них ветку с птицей их коричневого камня, но не нашел, наверное, она была сделана из плохого материала и слишком хрупка.

Вести, пришедшие из Тивериады, были для господ в Иерусалиме словно удар обухом по голове. Через посредство миролюбиво настроенного полковника Павлина уже почти удалось добиться от императорского правительства согласия на мир. Если только Иудея будет соблюдать спокойствие, заявил Рим, он удовольствуется выдачей кое-кого из вождей: Симона бар Гиоры, доктора Элеазара. В Иерусалиме были рады отделаться от подстрекателей. Теперь, из-за нелепой истории в Тивериаде, все рухнуло.

«Мстители Израиля», уже припертые к стене, снова вздохнули свободнее. Место их собраний — Голубой зал — стал центром Иудеи. Они добились того, что доктор Элеазар был призван в правительство. Прежде чем принять предложенный пост, этот молодой элегантный господин долго заставил себя просить, надменно наслаждаясь унижением других. Непокорного галилейского губернатора, который поступил так открыто против указаний своего правительства, не мог оставить на его месте даже Голубой зал. Доктор Яннай лично сделал доклад Великому совету и озлобленно требовал отставки и наказания преступника Иосифа бен Маттафия. «Мстители Израиля» не осмелились защищать его; при голосовании они воздержались. Среди членов правительства нашелся только

один, выступивший в защиту Иосифа, а именно кроткий старик ученый Иоханан бен Заккаи. Он сказал:

— Не осуждайте никого, пока он не дошел до конца.

Старик, отец Иосифа, костлявый сангвиник Маттафий, настолько же впал теперь в отчаяние, насколько был счастлив при назначении Иосифа в Галилею. Он настойчиво убеждал сына приехать в Иерусалим еще до того, как декрет об отозвании дойдет до Галилеи, явиться самому, оправдаться. Если Иосиф останется в Галилее, то это приведет всех к верной гибели. Сердце его, отца, скорбит смертельно. Он не хочет лечь в могилу, пока не увидит еще раз своего сына Иосифа.

Иосиф, получив это письмо, улыбнулся. Отец его — старик, Иосиф очень его любил, но тот воспринимал все слишком боязливо и мрачно. Сердце Иосифа было полно надежд. Да и в Галилее все это выглядело иначе, чем в Иерусалиме. Галилея, со времени низвержения кумиров в Тивериаде, радостно приветствует Иосифа; вся страна знает, что без его согласия этого никогда бы не случилось. Он разрушил стену, стоявшую между ним и галилейским народом, теперь он для страны действительно стал вторым Иудой Маккавеем, как его называл в насмешку Юст. Вооруженные союзы послушны Иосифу. Не он зависит от Иерусалима, а Иерусалим от него. Он может теперь просто разорвать иерусалимский декрет об отозвании.

В ту ночь ему приснился дурной сон. По всем улицам шли римские легионы, он видел, как они катились, словно морские валы, медленно, неуклонно, в строгом порядке, рядами по шесть человек, многие тысячи, но все — как одно существо. Это надвигалась на него сама война, это была «техника», чудовище, мощная машина слепой меткости, защищаться против которой бессмысленно. Он видел однообразную поступь легионов, он видел ее совершенно ясно, но не слышал, и это было самое страшное. Он застонал. То шагала единая гигантская нога в чудовищном солдатском сапоге, вверх, вниз, вверх, вниз, от нее нельзя было спастись, через пять минут, через три — она наступит и раздавит. Иосиф сидел верхом на своей Стреле. Запита, Иоанн Гисхальский — все смотрели на него мрачно и требовательно и ждали, чтобы он выхватил меч из ножен. Он схватился за меч, но меч не вынимался, он был забит в ножны. Иосиф застонал, Юст из Тивериады ослабил, Запита в диком бешенстве дергал один из кончиков своей бороды, столяр Халафта поднял мощные кулаки. Иосиф дергал меч, это длилось целую вечность, он дергал и дергал, но так и не мог вытащить. Башмачник Акиба хныкал: «Есть, вы должны есть», — а нога в гигантском сапоге — вверх, вниз — все приближалась.

Но когда Иосиф проснулся, было лучезарное зимнее утро, и ужасное, долгое, как вечность, ожидание солдатского сапога исчезло. Все, что случилось, случилось к лучшему. Не Иерусалим—сам бог поставил его на это место. Бог хочет войны.

С бешеным рвением принялся он за подготовку этой священной войны. Как могло случиться, что в Риме он ел за одним столом с иноверцами, спал с ними в одной постели? Теперь ему, как и другим, было противно вдыхать испарения их кожи, они заражали страну. Возможно, что римляне—хорошие хозяева, что хороши их дороги, их водопроводы, но святая земля Иудея становится прокаженной, если в ней жить не по-иудейски. Им овладела та одержимость, под влиянием которой он писал свою книгу о Маккавеях. Да, он написал ее в предчувствии своей будущей судьбы. Его силы росли, он неутомимо работал, день и ночь. Наказывал чиновников, копил запасы, дисциплинировал союзы обороны, укреплял крепости. Он проезжал по городам Галилеи, среди ее широких спокойных ландшафтов, через горы и долины, по берегам рек, через приозерную и приморскую области, мимо виноградников, оливковых и фиговых рощ. Он ехал на своем коне Стреле, молодой, полный сил, словно излучая пламенную бодрость и уверенность; впереди него развевалось знамя с начальными буквами девиза Маккавеев: «Кто сравнится с тобою, господи?»—и весь его облик, его слово, его знамя воспламеняли галилейскую молодежь.

Многие, слыша речи Иосифа, эти огненные, уверенные слова, призывающие к уничтожению Эдома, вырывавшиеся из него, словно пламя и камни из горы, объявили, что в Израиле появился новый пророк. «Марин, марин, господин наш, господин наш!»—в страстной преданности кричали они, завидев его, и целовали его руки и плащ.

Он поехал в Мерон, находившийся в Верхней Галилее. Это был маленький городок, известный только своими оливковыми деревьями, университетом и древними гробницами. Здесь покоились законоучители прошлого, строгий Шаммай и кроткий Гиллель. Обитатели Мерона слыли людьми особенно пламенной веры. Утверждали, что из гробниц учителей к ним притекает глубокая божественная мудрость. Может быть, Иосиф поехал в Мерон именно поэтому. Он говорил в старой синагоге; люди слушали его,—по большей части ученые и студенты,—они были здесь тише, чем где-либо, внимательно слушая, они раскачивались и дышали взволнованно. И вдруг, когда после длинной напряженной фразы Иосиф умолк, среди наступившего молчания бледный, взволнованный, совсем молодой человек судорожно прошептал:

— Это он.

— Кто же я? — гневно спросил Иосиф.

И молодой человек с собачьей преданностью в шальных глазах продолжал повторять:

— Это ты, да, это ты.

Выяснилось, что жители города считают молодого человека пророком Ягве и что за неделю перед тем они оставили на всю ночь двери своих домов открытыми, так как он предсказал, что в эту ночь к ним придет мессия.

Когда Иосиф это услышал, его охватил озноб. Он стал громко браниться и резко оборвал молодого человека. Даже в самых глубоких тайниках своего существа он отверг, как кощунство, мысль о том, что может быть мессией. Но все глубже становилась вера в божественность своего посланничества. Те, кто называл его самого спасителем, были детьми и глупцами. Однако он действительно призван подготовить царство спасителя.

И все-таки жители Мерона остались при убеждении, что они видели мессию. Они залили медью следы от копыт его коня Стрелы, и это место стало для них священнее, чем могилы законоучителей. Иосиф сердился, смеялся и бранил глупцов. Но он чувствовал себя все теснее связанным с тем, кто должен прийти, и все более страстно, почти с вожделием жаждал увидеть его во плоти.

Когда из Иерусалима прибыла комиссия, вручившая ему приказ об отозвании, он заявил, улыбаясь, что, вероятно, произошла ошибка и что, пока он не получит точных инструкций из Иерусалима, он вынужден, чтобы обереечь страну от волнений, взять под стражу приехавших. Представители Иерусалима спросили, кто уполномочил его возвестить войну с Римом. Он ответил, что его миссия возложена на него богом. Прибывшие процитировали заповедь: «Кто дерзнет сказать слово от имени моего, а я не повелел ему говорить, тот да умрет». Полный снисходительного высокомерия, Иосиф, продолжая улыбаться, пожал плечами; надо подождать, пока выяснится, кто говорит от имени господня и кто нет. Он сиял, он был уверен в себе и в своем боге.

Он объединил свое ополчение с отрядами Иоанна Гисхальского и пошел на Тивериаду. Юст сдал город, не оказав сопротивления. И вот они снова сидели друг против друга; но на этот раз место старого Янная занимал сильный, добродушный и хитрый Иоанн Гисхальский.

— Отправляйтесь спокойно к своему царю Агриппе, — сказал он Юсту, — вы благоразумный господин, но для освободительной войны вы слишком благоразумны. Здесь нужно иметь веру и слух, чтобы услышать внутренний зов.

— Вы можете, доктор Юст, взять с собой все деньги и ценности, принадлежащие царю,—приветливо сказал Иосиф.—Я попрошу вас оставить здесь только правительственные акты. Вы можете уйти беспрепятственно.

— Я ничего не имею против вас, господин Иоанн,—сказал Юст,—и в ваш внутренний зов я верю, но считаю ваше дело погибшим, совершенно независимо от его разумности или неразумности, погибшим уже по одному тому, что вашим вождем является этот человек.—Он не смотрел на Иосифа, но его голос был полон презрения.

— Кажется, наш доктор Иосиф,—улыбаясь, ответил Иоанн Гисхальский,—вам не по вкусу? Но он блестящий организатор, великолепный оратор, прирожденный вождь.

— Ваш доктор Иосиф — негодяй,—заявил Юст из Тиериады.

Иосиф ничего не ответил. Этот человек, потерпевший поражение, озлоблен, несправедлив, не стоит с ним спорить, опровергать его.

Эту галилейскую зиму Иосиф провел в счастье и славе. Иерусалим не осмеливался бороться с ним, даже молча допустил, чтобы он несколько недель спустя снова именовал себя комиссаром центрального правительства. Без труда охранял он свои границы от римлян, даже расширял их за счет римских областей, изъяс из-под власти царя Агриппы западный берег Генисаретского озера, занял и укрепил прибрежные города. Он сделал войну организованной. Святой воздух этой страны навевал на него неожиданные, великие идеи.

Рим молчал; из Рима не приходило никаких вестей. Полковник Павлин прервал всякое общение со своими иерусалимскими друзьями. Эта первая победа досталась евреям очень легко. Римляне довольствовались Самарией и городами побережья, где они чувствовали себя твердо, ибо опирались на греческое население. Войска царя Агриппы также избегали всяких стычек. В стране было тихо.

Те, кто имел только подвижность и не являлся приверженцем «Мстителей Израиля», старались перебраться со своим имуществом в безопасные римские области. Во время такого бегства одна женщина, жена некоего Птолемея, интенданта царя Агриппы, была захвачена солдатами Иосифа. Это случилось неподалеку от деревни Дабариты. У дамы был с собой большой багаж, ценные вещи, некоторые из них, видимо, принадлежали царю: богатая добыча,—захватившие ее радовались, что получают свою долю. Они были жестоко разочарованы. Иосиф приказал доставить вещи, вместе с вежливым письмом, на римскую территорию, в верные руки полковника Павлина.

Он поступал так уже не в первый раз, и его люди

роптали. Они пожаловались Иоанну Гисхальскому. Между Иоанном, Иосифом и Запитой произошло бурное объяснение. Иосиф указывал на то, что во время прежних войн римляне и греки не раз подавали пример такого рыцарства. Но Иоанн пришел в бешенство. Его серые, налившиеся кровью глаза злобно сверкали, усы взъерошились, весь он был как гора, пришедшая в движение. Он кричал:

— Да вы что, с ума сошли, господин мой? Вы думаете, здесь олимпийские игры? И вы осмеливаетесь тут лепетать про всякие рыцарские чувства, когда мы идем против римлян? Это вам война, а не спортивные состязания. Здесь речь идет не о венке из дубовых листьев. Здесь шесть миллионов человек, которые больше не в силах дышать зачумленным римским воздухом, они задыхаются. Понимаете вы, господин?

Иосиф не рассердился на бешеную озлобленность этого человека, он был поражен, чувствовал себя незаслуженно обиженным. Он взглянул на Запиту. Тот хмуро слушал; он ничего не сказал, однако было ясно: Иоанн только выразил то, что чувствовал и он.

Но, в общем, эти трое людей были слишком благоразумны и не могли ставить свою цель в зависимость от случайных раздоров. Они использовали зиму, чтобы возможно лучше укрепить Галилею.

В стране все еще было тихо, но эта тишина становилась гнетущей. Уверенность в удаче не покидала Иосифа. Все же иногда, сквозь радостную уверенность, ему слышались слова Юста, полные ненависти. Несмотря на то что он до краев заполнял работой свои дни, ему слышались все чаще, сквозь донесения его чиновников и офицеров, сквозь гром народных собраний, эти слова, отчетливые, тихие, едкие: «Ваш доктор Иосиф — негодяй», — и он сохранял эти слова в сердце своем, их интонацию, их презрение, их покорность, их скверное арамейское произношение.

Посередине мира находилась страна Израиль, Иерусалим находился посередине страны, храм — посередине Иерусалима, святая святых — посередине храма, пуп земли. До времен царя Давида Ягве странствовал, то он был в палатке, то в чьей-нибудь хижине. Царь Давид решил построить ему дом. Он купил гумно Аравны, издревле святую гору Сион. Однако он заложил лишь фундамент: построить самый храм ему не было дано, ибо он во многих битвах пролил слишком много крови. Только сын его Соломон удостоился завершить святое дело. Семь лет строил он храм. И за это время ни один из рабочих не умер, ни один даже не заболел, ни один инструмент не

поломался. Так как для священного здания нельзя было употреблять железо, то бог послал царю чудесного червя-камнеедца, называвшегося Шамир, червь расщеплял камни. Нередко они сами ложились на свои места, без участия человека. Яростно и свято сиял жертвенный алтарь, рядом с ним сосуд для омовения священников, медное море, покоившееся на двенадцати быках. В преддверии вздымались к небу два странных дерева из бронзы, называвшихся Яхин и Боаз. Внутри стены были обшиты кедром, пол выложен кипарисовыми досками, так что остов здания и камни оказались совершенно скрытыми. У каждой стены стояло пять золотых подсвечников и столы для хлебов предложения. А в святая святых, скрытые занавесом от всех, высились гигантские крылатые люди, херувимы, высеченные из дерева дикой оливы, с недвижным взглядом жутких птичьих голов. Распростертыми огромными позолоченными крыльями осеняли они ковчег Ягве, сопровождавший евреев через пустыню. Больше четырехсот лет простоял этот дом, пока царь Навуходоносор не разрушил его и не перетащил священную утварь в Вавилон.

Вернувшись из вавилонского плена, евреи построили новый храм. Но в сравнении с первым он казался убогим. Пока не появился великий царь по имени Ирод и не начал, на восемнадцатом году своего царствования, отстраивать храм заново. С помощью многих тысяч рабочих он расширил холм, на котором стояло здание, подвел под него фундамент в виде тройной террасы и вложил в дело строительства так много искусства и труда, что храм стал считаться бесспорно прекраснейшим зданием Азии, а многие почитали его и лучшим в мире. Мир—это глазное яблоко, говорили в Иерусалиме, белок его—море, роговая оболочка—земля, зрачок—Иерусалим; отражение же, появляющееся в зрачке,—это Иерусалимский храм.

Ни кисть художника, ни резец скульптора не стремились украсить его; производимое им впечатление зависело исключительно от гармонии его громадных пропорций и от благородства материалов. Со всех сторон его окружили огромные двойные залы, они служили защитой от дождя и от солнечного зноя, в них толпился народ. Самым красивым из этих залов был выложенный плитами зал заседаний Великого совета. Здесь же находилась и синагога, множество лавок, помещения для продажи жертвенных животных, для священников и неосвященных благоволий, большая бойня; дальше шли банки менял.

Каменная ограда отделяла священные помещения храма от прочих. Повсюду виднелись грозные надписи по-гречески и по-латыни, гласившие, что неумудею запрещается идти дальше под страхом смерти. Все ограничен-

нее становился круг тех, кто имел право идти дальше. Священные дворы были закрыты для больных, а также для калек и тех, кто пробыл долгое время возле трупов. Женщинам доступ разрешался только в единственный большой зал; но и в него они не смели входить во время менструаций. Внутренние дворы предназначались лишь для священников, и притом лишь для тех из них, кто не имел ни одного телесного порока.

Белый и золотой висел над городом храм на своих террасах; издали он казался покрытым снегом холмом. Его крыши оцетинились острыми золотыми шипами, чтобы птицы не оскверняли его своим пометом. Дворы и залы были искусно выложены мозаикой. Повсюду террасы, ворота, колонны, большей частью из мрамора, многие из них, покрытые золотом и серебром или благороднейшим металлом — коринфской бронзой, которая образовалась во время коринфского пожара из сплавившихся драгоценных металлов. Над вратами, ведущими в священный зал, Ирод велел прибить эмблему Израиля, виноградную гроздь. Пышно выделялась она, вся из золота, каждая виноградина — в рост человека.

Художественные произведения, украшавшие внутренность храма, пользовались мировой известностью. Семисвечник, чьи огни символизировали семь планет: Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Затем стол с двенадцатью хлебами предложения — они символизировали знаки зодиака и годовой кругооборот. Сосуд с тринадцатью видами курений, добытых в море, в необитаемой пустыне и в населенных землях, в знак того, что все от бога и для бога.

А в самых недрах, в укомном месте, под землей, лежали сокровища храма, государственная казна, значительная часть золота и драгоценностей всего мира. Хранилось здесь также и облачение первосвященника, священный нагрудник, драгоценные камни, золотой обруч с именем Ягве на нем. Долго спорили между собой Рим и Иерусалим по поводу этого облачения, пока наконец его не укрыла в своих недрах сокровищница храма, и немало крови было пролито при этом споре.

В центре храма, опять-таки за пурпурным занавесом, — святая святых. Там было темно и пусто, и только из пустого пола вдыхался необтесанный камень — обломок скалы Шетия. Здесь, как утверждали евреи, обитает Ягве. Никто не смел сюда входить. Только один раз в году, в день примирения Ягве со своим народом, первосвященник входил в святая святых. В тот день евреи всего земного круга постились, залы и дворы храма были набиты людьми. Они ждали, когда первосвященник назовет Ягве по имени. Ибо Ягве нельзя было называть по имени, уже

одна попытка сделать это должна была караться смертью. И только в один этот день первосвященник называл бога по имени. Немногим удавалось услышать его имя, когда оно исходило из уст первосвященника, но всем казалось, что они слышат его, и сотни тысяч коленей обрушивались на плиты храма.

Немало ходило в мире слухов и сплетен о том, что скрыто за завесой святая святых. Иудеи заявляли, что Ягве невидим, поэтому не существует и его изображения. Но мир не хотел верить, что в святая святых попросту пусто. Если какому-то богу приносятся жертвы, то там есть какой-то бог, зримый через свое изображение. Наверное, там находился и бог Ягве, и эти жадные евреи только скрывают его, чтобы другие народы у них его не украли и не присвоили себе. Враги евреев, и прежде всего насмешливые и просвещенные греки, уверяли, что на самом деле в святая святых поклоняются ослиной голове. Однако насмешки не действовали. И трезвые, умные римляне, и мрачные, невежественные варвары — все умолкали и задумывались, когда речь заходила о иудейском боге, и то жуткое и невидимое, что находилось в святая святых, продолжало оставаться невидимым и страшным.

Для евреев всего мира их храм был истинной родиной, неиссякаемым источником сил. Где бы они ни находились — на Эбро или на Инде, у Британского моря или в верховьях Нила, — они во время молитвы всегда обращали лицо в сторону Иерусалима, туда, где стоял храм. Все они с радостью отчисляли в пользу храма проценты со своих доходов, все они к нему паломничали или собирались однажды на пасху непременно принести и своего агнца в храм. Удавалось ли им какое-нибудь начинание — они благодарили невидимого в храме, оказывались ли они беспомощными или в беде — они искали у него поддержки. Только поблизости от храма земля была чиста, и сюда отправляли жившие за границей своих умерших, с тем чтобы они вернулись на родину хотя бы после смерти. Как ни рассеяны были евреи по земле, здесь была их *единая* отчизна.

Когда в Рим пришло известие о взятии Тивериадского дворца, император совершал артистическое турне по Греции. На время своего отсутствия он передал дела государственного управления министру двора, Клавдию Гелию. Гелий тотчас же созвал кабинет. И вот они собрались вместе, эти тридцать семь человек, занимавших ответственные посты при дворе. Весть о том, что мятеж в Иудее вспыхнул снова, глубоко их взволновала. Десять лет назад эта депеша была бы несущественным

известием из несущественной провинции. Теперь она задела правительство за самое больное место, она угрожала его важнейшему проекту—новому Александру походу.

Именно они, эти тридцать семь человек, подвели под смелый проект твердую базу. Они создали в Южной Аравии опорные пункты для морского пути в Индию, добыли денежные средства для военного похода на Эфиопию и еще более дерзкого—к воротам Каспия. Согласно военному плану маршалов Корбулона и Тиберия Александра, войска уже двинулись в путь. Двадцать второй легион, а также все войска, без которых могли обойтись в Германии, Англии, Далмации, шли на Восток. Пятнадцатый легион направлялся в Египет. А теперь этот мятеж, вспыхивающий все вновь и вновь как раз на пути следования войск, опрокидывал весь их грандиозный план. Ах, как охотно поверили бы министры обещаниям местных властей, что Иудея скоро сама собой успокоится. Но теперь становилось ясно, что это не так и что для подавления восстания потребуется немало людей и немало драгоценного времени.

Большинство министров были не римляне, а пылкие греки; они жаждали, чтобы их Греция, их Восток стал базой империи. Они кипели от ярости, эти советники и полководцы нового Александра, оттого что их великолепный поход будет задержан или даже провалится навсегда из-за дурацких беспорядков.

Внешне они, однако, сохраняли спокойный и торжественный вид. Многие из них были сыновьями и внуками рабов, и именно поэтому теперь, когда они находились у власти, они вели себя с железным достоинством римских сенаторов былых времен.

Клавдий Гелий разъяснил полученные из Иудеи печальные вести и их значение для великого восточного похода. Клавдий Гелий тоже родился рабом. У него безупречная фигура, мрачная и великолепная, правильное лицо, полное энергии. На лице императорское кольцо с печатью. Другой на его месте непременно сопровождал бы императора в Грецию—ведь опасно оставлять его на такой долгий срок во власти чуждых влияний. Но Клавдий Гелий предпочел остаться в Риме. Можно сказать почти наверное, что какое-нибудь из его мероприятий императору не понравится. Быть может, Клавдий Гелий умрет молодым, нюхая золотые пластинки или вскрыв себе вены. Но это не слишком дорогая цена за то, чтобы править миром.

Он говорит спокойно, скупое, без прикрас. К восстанию отнеслись слишком легко, тем труднее будет теперь с ним справиться.

— Все мы заблуждались,—честно признает он.— За одним исключением. И я прошу этого человека, который не заблуждался, высказать свое мнение.

Хотя присутствующие терпеть не могут тощего крючконосого Филиппа Талассия, все же они смотрят сейчас с уважением на главу Восточного отдела. Он предупреждал с самого начала, что нельзя убаюкивать себя хитрыми и слащавыми примирительными речами иерусалимского правительства. Он казался тогда немного смешным со своим вечным страхом перед евреями и старческой ненавистью к ним. Теперь стало ясно, что око ненависти оказалось зорче, чем терпимый скептицизм остальных.

Министр Филипп Талассий ничем не обнаружил своего удовлетворения. Он сидел перед ними, как и всегда, маленький, кривобокий, незначительный. Но его раширало огромное счастье; ему казалось, что даже шрам из времен его рабства стал менее заметен. Теперь, после этого предреширенного дружественными богами ограбления Тивериадского дворца, после нового безмерно наглого нарушения всех обещаний, пришло время расплаты. Даже при снисходительной каре уже нельзя будет избежать казни нескольких тысяч бунтовщиков и взимания нескольких миллионов контрибуции. Этого не смогут теперь не признать и остальные. Министр Филипп Талассий сказал:

— Иерусалим должен быть разрушен.

Голос его не зазвучал громче и не дрогнул. Но это была величайшая минута его жизни, и, когда бы ни пришла смерть, он может теперь умереть спокойно. В душе он ликовал: «наблион», и несмотря на переводчика Заккаи, все-таки — «наблион»! Он грезил о том, как войска нападут на этот дерзкий Иерусалим, как они будут вытаскивать обитателей за бороды и убивать их, как сожгут дома, снесут стены, сровняют с землей гордый храм. Но ничего не отразилось в его голосе, когда он, даже несколько ворчливо, как нечто само собой разумеющееся, констатировал:

— Иерусалим должен быть разрушен.

Наступило молчание, и в тишине пронесся вздох. Клавдий Гелий повернул к Регину свое прекрасное смуглое лицо и спросил, не хочет ли что-нибудь сказать директор императорских жемчужных промыслов. Клавдий Регин ничего не хотел сказать. Эти галилеяне действовали слишком глупо. Теперь остается только одно: ввести войска.

Клавдий Гелий резюмировал. Следовательно, если все присутствующие согласны, он передаст императору просьбу как можно скорее объявить поход против Иудеи. До сих пор можно было вешать на копые курьера, отправляв-

шегося в Грецию, лавровый венок, означавший, что все благополучно; теперь же, чтобы показать его величеству, как серьезно смотрят в Риме на положение дел, надо прикрепить к копыю курьера перо — символ несчастья.

По настоянию Клавдия Гелия сенат велел открыть храм Януса в знак того, что в стране война. Сенатор Марулл не без иронии выразил Клавдию Гелию свое сожаление, что ему не пришлось совершить эту церемонию по более блестящему поводу. Мир продержался год. И теперь город Рим был изумлен, когда тяжелые ворота храма с треском распахнулись, открывая изображение бога — двуликого, двусмысленного: начало известно, но никто не знает конца. Многих охватила жуть, когда они узнали, что их всеблагой и величайший Юпитер Капитолийский начал войну против страшного, безликого бога на Востоке.

В кварталах, населенных ремесленниками, причину того, что император наконец решился на крутые меры, приписывали евреям. Везде ухитряются они втереться, уже все деловые кварталы полны ими, и люди радовались возможности выразить под видом патриотизма свою ненависть к их конкуренции. В трактирах посетители рассказывали друг другу старые, полузабытые истории о том, будто евреи поклоняются в своем святой святыне ослиной голове и на пасху приносят в жертву этому святому ослу греческих детей. Стены синагог были исцарапаны непристойными и угрожающими надписями. В банях Флоры обрезанных высекли и выбросили вон. В харчевне на одной из улиц Субуры от нескольких евреев стали требовать, чтобы они ели свинину; сопротивлявшимся раздирали рот, запихивали в него отвратительную, запрещенную пищу. Около ворот Трех улиц была разгромлена палатка с кошерными рыбными соусами, бутылки были разбиты, их содержимым вымазали евреям головы и бороды. Впрочем, полиция вскоре положила конец безобразиям.

Сенаторы, дипломаты, представители высшей финансовой аристократии были крайне озабочены. Приходилось создавать бесчисленные новые должности, распределять их, в воздухе стоял запах добычи. Старые, отслужившие генералы оживились. Они всюду шныряли, сверкая глазами, подстерегали друг друга. На Форуме гулко раздавался возбужденный смех, под колоннадами Ливии и Марсова поля, в банях царило оживление. У каждого были свои кандидаты, свои личные интересы; даже настоятельница весталок каждый день отправлялась в носилках на Палатин, чтобы высказать министрам свои пожелания.

На биржах Делоса и Рима цены на золото, на дорогие ткани, на рабов упали: в Иудее предстояло захватить богатую добычу. А цена на хлеб поднялась: действующей армии должно понадобится куда больше провианта. Дела судовых компаний поправились, на верфях Равенны, Путеол, Остии шла лихорадочная работа. Из домов господ Клавдия Регина и Юния Фракийца во дворец сенатора Маруллы носились взад и вперед курьеры. Эти господа были искренне огорчены войной с Иудеей. Но так как сделки все равно заключались, то ради чего давать наживаться другим?

Среди евреев царили печаль и смятение. Из Иерусалима поступали точные сведения, была также известна и роль Иосифа. Неужели этот человек, который с ними жил, одевался, как они, говорил, как они, и знал, что такое Рим,—неужели этот доктор Иосиф бен Маттафий мог встать во главе подобной безнадежной авантюры? Больше всего Клавдий Регин негодовал на членов Великого совета: как могли они послать этого мелкого писаку комиссаром в Галилею? Таким людям дают перебеситься в литературе, а не в серьезной политике. Многие известные римские евреи поспешили заявить правительству о своем отвращении к галилейским фанатикам и преступникам. Правительство дало этим отмежевавшимся господам успокоительные обещания. Пять миллионов евреев, живших вне Иудеи и рассеянных по всему государству, были лояльными подданными, платили жирные налоги. И правительство вовсе не собиралось их беспокоить.

Тяжело подействовали вести из Галилеи на актера Деметрия Либания. Он был опечален и вместе с тем в приподнятом настроении. Он пригласил к себе нескольких близких друзей-евреев и, тщательно заперев двери, декламировал им некоторые главы из книги о Маккавеях. Он чувствовал всегда, какой внутренний огонь горит в этом молодом докторе Иосифе. Но никто лучше него не знал также и то, насколько нелепа и безнадежна всякая борьба с Римом. Впрочем, до сих пор он был в Риме единственным, кто мог серьезно пострадать от беспорядков в Иудее. Ибо на улицах Рима вновь зазвучала, как призыв к травле евреев, позорная кличка «Апелла». Уже требовали от Деметрия, чтобы он наконец выступил в этой роли публично. Если он уклонится, его будут поносить с той же страстностью, с какой до сих пор прославляли.

Большинство римских евреев было потрясено, растерянно, в отчаянии. Они читали в книгах пророков: «Я слышу вопли рожающей, ужасный крик лежащей в муках. Это дочь Сиона, она кричит, и стонет, и ломает руки. Горе мне, я должна погибнуть от душителей». Они

читали, и их сердца переполнялись страхом. Двери домов закрылись, был объявлен пост, во всех синагогах звучали молитвы. Никто из римлян не мешал богослужению.

Очень немногие из римских евреев видели в восстании Иудеи благо, исполнение древних пророчеств о спасителе. К их числу относилась и Ирина, жена доктора Лициния. Она молча слушала мужа, когда тот высказывал свое отвращение к этим сумасшедшим преступникам, но в глубине души она ликовала. Значит, она не отдала своего чувства недостойному, она всегда была уверена, что Иосиф — большой человек во Израиле, один из пророков, солдат Ягве.

Курьер с возвещающим беду пером на копье догнал императора в столице провинции Греции, в веселом, теперь шумящем празднествами Коринфе.

Никогда еще за всю свою жизнь молодой властитель мира не чувствовал себя таким счастливым. Греция, эта культурнейшая страна мира, восторженно приветствовала его, искренне очарованная его искусством, его любезностью, его общительностью. И ведь все это путешествие в Грецию — только введение к гораздо большему. Теперь он присоединит к своей половине мира еще и другую, более благородную и мудрую. Завершит дело самого великого из людей, когда-либо живших на земле, сделает обе половины мира богатыми и счастливыми под знаком своего императорского имени.

Сегодня он увенчал это греческое путешествие славным начинанием. Золотой лопаткой провел он первую бороздку для канала, который разрежет Коринфский перешеек. Завтра он ознаменует закладку этого сооружения торжественным представлением. Он сам написал заключительные стихи, в которых бог приближается мощными шагами к орлу и повелевает ему распластать крылья для великого полета.

В этот день, едва император успел вернуться с закладки канала во дворец, прибыл курьер с вестями из Иудеи. Император пробежал глазами письмо и бросил его на стол, так что оно наполовину закрыло собой рукопись стихов. Взгляд императора упал на строки:

Тот, кто повелевает океаном,
И солнцем правит по воле своей.

Император выпятил нижнюю губу, встал. Это зависть богов. Они не хотят даровать ему второй Александров поход. Тому, «кто повелевает океаном и солнцем правит по воле своей». Заключительные стихи имеют смысл только как пролог к Александрову походу. Теперь они потеряли всякий смысл.

Хорошо Гессию Флору, иудейскому губернатору! Он убит! Цестия Галла император, конечно, подвергнет опале и отзовет. Для этой дерзкой Иудеи такой мямля не годится.

Император размышляет. Кого же ему послать в Иудею? Иерусалим—самая сильная крепость на всем Востоке, народ там, он знает это от Поппеи, фанатичный, упрямый. Войну надо вести беспощадно. Тянуться долго она не должна. Откладывать Александров поход больше чем на год он, во всяком случае, не позволит. Для Иудеи нужен человек суровый и точный. И без воображения. Этот человек должен быть таким, чтобы данную ему власть он направил против Иерусалима, а не обратил ее в конце концов против императора.

Но где найти такого человека? Ему называют имена. Очень немного. А на проверку выходит еще меньше. Наконец, остается одно: Муциан.

Император недовольно шурится. Даже сенатора Муциана приходится использовать с осторожностью. Император отлично помнит его. Маленький человечек, высохший от излишеств, очень холеное лицо в резких морщинах. Так как он слегка хромает, то ходит с палкой; но обычно он держит ее в одной руке за спиной. И это действует императору на нервы. И постоянного подергивания его лица император тоже не переносит. Правда, у Муциана ясный, острый ум, с восставшею провинцией он справится скоро. Но этот беспредельно честолубивый человек, уже однажды павший и снова возвысившийся, если ему теперь, на пороге старости, дать власть, может легко соблазниться и допустить опасные эксперименты.

Император озабоченно вздыхает, снова садится и берется за рукопись. Рассерженно черкает ее. «...И солнцем правит...» Как раз лучшие стихи приходится выбрасывать. Теперь он уже не сможет доверить конец актеру, он сам должен сыграть бога. Нет, не следует давать этому Муциану слишком большой власти, никого не следует искушать. Уже поздняя ночь. Он не в состоянии сосредоточиться, чтобы заделать брешь, получившуюся из-за вычеркнутых строк. Он отодвигает рукопись. В халате проскальзывает он в комнату своей подруги, Кальвии. Раздраженный, с залитым потом, отекающим лицом, садится он, слегка вздыхая, у ее постели. Еще раз взвешивает все «за» и «против». Однако многое говорит и в пользу Муциана. Так пошли его, предлагает Кальвия. А многое говорит не в пользу Муциана. Так не посылай его. Может быть, все-таки найдется кто-нибудь другой. Император больше не хочет об этом думать. Он уже достаточно перебирал в уме все доводы; теперь это стало делом озарения, делом счастья, его счастья. Теперь

он всецело займется только представлением. Завтра, после празднества, он решит.

В Риме нетерпеливо ждут его решения.

Оно было принято раньше, чем окончилось представление. Пока император сидел в своей уборной, в тяжелой маске бога и котурнах, ожидая выхода, его озарило. Да, он назначит Муциана: но не его одного — он назначит еще одного человека, для контроля. Он уже знает кого. Тут все вертится один старик генерал, который вечно зарится на самые высокие должности, а потом, едва оказавшись на высоте, сейчас же снова катится вниз; в результате его постоянных неудач он уже стал немного смешон. Его имя Веспасиан. Он скорее похож на провинциального коммерсанта, чем на генерала; но он зарекомендовал себя в английском походе и считается превосходным стратегом. Правда, Нерона он уже успел рассердить. Он всегда с трудом скрывает, как трудно ему выслушивать декламацию императора, и недавно, три дня назад, он просто-напросто заснул; да, в то время как император читал прекрасные строки из «Данай» о колеблемой ветром листве, Веспасиан совершенно явственно захрапел. Император сначала решил было его наказать, но потом ему стало даже жалко этого типа, которому боги отказали в органах для восприятия высшего. И Нерон до сих пор ничего по отношению к нему не предпринял. Просто его перестали пускать ко двору. Сегодня и вчера император видел его на пути своего следования, вдали, подавленного, готового услужить. Да, это человек, который ему нужен. Этому едва ли придут в голову особенно дерзкие мысли. Его-то он и пошлет в Иудею. Во-первых, его рожа надолго исчезнет, и во-вторых, этот хитрый коренастый увалень будет неотступно следить за элегантным Муцианом. Император разделит между ними полномочия: он назначит Муциана генерал-губернатором в Сирию, а Веспасиана — фельдмаршалом в Иудею. Первый не будет иметь отношения к войне, а второй — к политике, и каждый будет шпионить за другим.

Несмотря на тяжелую, жаркую маску бога, император улыбается. Действительно, блестящий выход, просто озарение. Он появляется на сцене, он произносит звонкие стихи бога. Роль значительно укоротилась, но ему кажется, что никогда еще он не декламировал с таким совершенством. Эти аплодисменты он заслужил.

После празднества генерал Тит Флавий Веспасиан вернулся в загородный дом, который он снял у купца Лахета на время своего пребывания в Коринфе. Он сбросил плащ и парадное платье, выбрал слугу за то,

что он недостаточно осторожно сложил одежду, которую генерал заботливо берег, надел чистое, слегка поношенное домашнее платье, под него — толстое белье, ибо стояла довольно свежая ранняя весна, а генералу было как-никак пятьдесят восемь и он опять чувствовал приступ ревматизма.

Недовольный, с резко обозначившимися морщинами широкого лба, с нахмуренным круглым крестьянским лицом, громко и сердито сопя и поджав губы, топтался он взад и вперед по комнате. Этот праздник прошел для него весьма не празднично. К кому бы он ни обратился, его всюду встречали ледяным молчанием, едва отвечали на поклоны, а камергер Гортин, этот прилизанный сукин кот, на его вопрос, можно ли надеяться в ближайшие дни на аудиенцию у его величества, ответил на своем наглом провинциальном греческом жаргоне, что ему-де не к цезарю ходить, а собственное дерьмо жрать.

Если хорошенько подумать, то действительно, ничего другого не остается. И надо же было, чтобы три дня назад произошел этот нелепый случай! Теперь это дорого стоящее греческое путешествие потеряло всякий смысл. Причем история с чтением императора — еще полбеда. Ну, заснул, допустим. Но он не храпел, это гнусная клевета сукина сына камергера. У него просто от природы шумное дыхание.

Старик генерал стал размахивать руками, чтобы согреться. К императору его уже, наверное, никогда не допустят. Сегодня в театре он убедился в этом воочию. Пусть радуется, что ему, старому храпуну, не пришьют процесса об оскорблении величества. Лучше всего потихоньку вернуться в свое итальянское поместье.

Дожить свою жизнь на покое, в конце концов, не так уж плохо. Сам по себе он никогда бы не потащил свои старые кости вслед за императором в это греческое путешествие, чтобы попытать счастье еще один-единственный и последний раз. Он поехал только потому, что уж очень приставала госпожа Кенида, его подруга. Никогда не давали ему пожить в мире, просто, покрестьянски. Все вновь подзуживали, чтобы он взобрался на высоту, и вот — он опять благополучно свалился.

Началось это еще в его юности, и виной — проклятые мужицкие суеверия его матери. При его рождении старый священный Марсов дуб дал новый, невероятно пышный побег, и прижимистая мамаша приняла это за верное предзнаменование удачи: ее сын, так предопределено судьбой, достигнет большего, чем откупщики податей, провинциальные банкиры и кадровые офицеры, из среды которых он происходит. Ему еще с ранних лет нравилась деревенская расчетливость, он охотнее всего остался бы

на всю жизнь в имении родителей, используя с чисто крестьянской практичностью его доходы. Но решительная мать настаивала на своем до тех пор, пока не внушила и ему неистребимую веру в его великое будущее и не принудила против воли вступить на военно-политическое поприще.

Старый генерал, вспоминая обо всех промахах, которые принесла с собой карьера, начинал сопеть и крепче сжимал большой рот. Три раза подряд он проваливался. Наконец кое-как дополз до столичного градоправителя. Два месяца все шло отлично. Полицейский надзор при спортивных учреждениях и в театрах был поставлен прекрасно, подвоз продуктов и рынки хорошо организованы, улицы Рима содержались образцово. Но на этом он и наварлся. Именно тогда, когда императору Клавдию захотелось показать город иноземным послам и взбрело в голову, по несчастному капризу, выбрать для этого один из немногих плохо содержавшихся переулков, вся торжественная процессия застряла в грязи. Император немедленно приказал в виде примерного наказания сверху донизу вымазать грязью и конским навозом парадную одежду градоправителя Веспасиана, находившегося в его свите.

Когда генерал Веспасиан доходил до этого случая, его хитрое мужицкое лицо кривилось, он улыбался. И все-таки дело обошлось тогда благополучно. С набитыми грязью рукавами он должен был производить жалкое и смешное впечатление, и, вероятно, этот жалкий и смешной вид его запечатлелся в памяти императора как нечто приятное. Во всяком случае, он, Веспасиан, в дальнейшем никакой немилости не замечал — скорее обратное. Особенно сильным чувством собственного достоинства Веспасиан никогда не отличался, но отныне, выступая в высшей коллегии империи — в сенате, он совершенно сознательно, но с невинным видом, вносил свои предложения в тоне такого шутовского подбострастия, что даже эта корпорация, не имеющая ни стыда, ни совести, не знала, плакать ей или смеяться. Во всяком случае, его предложения принимались.

И когда сегодня, после стольких лет, он стал проверять, что им сделано и что упущено, он не смог упрекнуть себя в непоследовательности. Он женился на Домитилле, отставной подруге всадника Капеллы, и благодаря ловким ходам и связям этого весьма хитроумного господина вступил в деловые отношения с министром Нарциссом, фаворитом императора Клавдия. Вот этот человек пришелся ему по сердцу. С ним можно было отлично сговориться. Он требовал комиссионных, но давал дельному человеку и подработать. Хорошие это были времена,

когда Нарцисс послал Веспасиана генералом в беспокойную Англию. Тамошние враги были не придворными снобами, побеждавшими человека темными интригами, а настоящие дикари, в них можно было стрелять и рубиться; завоевывать надо было вполне осязаемые вещи: землю, побережья, леса, острова,—и они были завоеваны. В те времена он находился как будто всего ближе к исполнению напрогноченного священным дубом. Когда он возвратился, он получил триумф и на два месяца—высшую почетную должность в государстве.

Генерал подышал на пальцы, чтобы их согреть, потер руки. Конечно, после этих двух месяцев, когда он так вознесся, он упал особенно низко. Такова уж была его судьба. Новый император, новые министры: он попал в немилость. К тому же умерла его мать, и теперь, когда энергия ее веры больше не подстегивала его, он надеялся окончить свои дни в деятельной тишине. Спокойно сел он на землю, не испытывая никакой зависти к своему брату Сабину, поднявшемуся очень высоко и так на этой высоте и державшемуся.

Но тут в его жизнь вошла госпожа Кенида. Она была из низов, дочь раба и рабыни. Императрица-мать Антония дала способной девушке образование и сделала ее своим секретарем. Кенида понимала, что нужно от жизни Веспасиану, понимала его стиль. Как и он—она ни во что не ставила торжественность и собственное достоинство, как и он—любила грубые шутки и по-солдатски откровенную хитрость, как и он—соображала быстро и трезво, как и он—злилась на его напыщенного брата Сабина и смеялась над ним. Но он должен был вскоре признать, вздыхая и радуясь, что в нее перешла вера его матери в его высокое предназначение, и притом—гораздо более глубокая, чем у него самого. Кенида подзуживала его до тех пор, пока он, кряхтя и бранясь, еще раз не сменил мирную деревенскую жизнь на шумную суету Рима. В этот раз он напаясничал себе управление провинцией Африкой. Должность, прибавившая к злым страницам его судьбы, которых было и без того немало, самую злую. Дело в том, что эта богатая провинция, ее массы—не менее, чем аристократические снобы,—желали иметь представительного губернатора, а не какого-то неотесанного мужика. Его мероприятия саботировались. Где бы он ни показывался, начинались скандалы. В городе Гадрумете его закидали гнилой репой. Он обиделся на репу не больше, чем когда-то, при императоре Клавдии, на конский навоз, но демонстрация эта, к сожалению, имела весьма осязаемые практические последствия: его отозвали. Тяжелый удар, так как он вложил все свое состояние в разные сомнительные дела, из которых губернатор

провинции смог бы выжать немало, частное же лицо — ничего. В результате он остался только при своем финансовом таланте. Вернувшись в имение, которым он владел вместе с Сабин, он был вынужден занять под залог земли у своего высокомерного брата огромную сумму, чтобы погасить хотя бы наиболее срочные обязательства... За весь год этому весельчаку представился только один случай для смеха. Провинция Африка поставила ему иронический памятник с надписью: честному губернатору. Он и теперь еще улыбался, когда вспоминал об этом единственном положительном результате его деятельности в Африке.

С тех пор все пошло вкривь и вкось. Он открыл экспедиционную контору и, поддерживаемый энергичной Кенидой, занялся посредничеством по добыванию должностей и благородных званий. Однако снова попался на сомнительной операции и снова избежал сурового наказания только благодаря вмешательству своего неприятного брата. Теперь ему пятьдесят восемь лет, никто и не вспоминал о том, что он все же некогда проехал по Форуму на триумфальной колеснице и был консулом. Где бы он ни появлялся, люди начинали ухмыляться и говорили про гнилую репу. Его так и звали: экспедитор. Его брат Сабин, теперь начальник римской полиции, при упоминании о брате морщился и заявлял кислым тоном:

— Замолчите. Когда говорят об этом экспедиторе, начинает вонять конским навозом.

Теперь, после случая в Греции, все для него кончено, и навсегда. В конце концов, неплохо, что он сможет дожить хотя бы жалкий остаток своей жизни как ему заблагорассудится. Завтра же он отправится в обратное путешествие. Но сначала здесь, в Коринфе, он сведет счеты с купцом Лахетом, сдавшим ему помещение. Лахет ведет себя так, словно оказывает опозоренному генералу милость, терпя его за огромные деньги в своем доме. И Веспасиан рад, что может с истинно римской грубостью проучить утонченного нарядного грека, который обжужливал его в чем только мог. Разделавшись с Лахетом, он с удовольствием уедет обратно в Италию, будет жить полгода в своем имении около Коссы, полгода в имении возле Нурсии, разводить мулов и оливки, будет тянуть с соседями вино и острить, а вечером развлекаться с Кенидой или с одной из служанок. А затем, лет через пять или через десять, когда будут сжигать его труп, Кенида прольет немало искренних слез. Сабин будет радоваться, что наконец отделался от компрометантного брата, а остальные гости, ухмыляясь, будут перешептываться насчет конского навоза и гнилой репы, и окажется, что пышный молодой побег на дубе старался напрасно.

Тит Флавий Веспасиан, бывший командир одного из римских легионов в Англии, бывший римский консул, бывший африканский губернатор, смещенный, впавший в немилость при дворе, человек, задолжавший миллион сто тысяч сестерциев и получивший от камергера Гортина совет жрать собственное дерьмо, свел свой баланс. Он доволен. Сейчас он пойдет в порт и пощупает этих жуликов-греков насчет стоимости обратного пути. Потом даст Кениде под задницу и скажет: «Ну, старая лохань, теперь конец! Теперь меня из-за печки уже не выманишь, как бы ты ни задирала ногу». Да, в глубине души он рад. И, весело крикнув, он набросил плащ.

В прихожей он встретил купца Лахета—тот был почему-то растерян, необычайно вежлив, услужливо кланялся. За ним с торжественным, официальным лицом важно следовал императорский курьер, на его жезле висел возвещающий счастье лавр.

Курьер выставил вперед жезл в знак привета. Сказал:

— Письмо от его величества консулу Веспасиану.

Веспасиан давно уже не слышал своего потускневшего титула; изумленный, взял он запечатанное письмо, еще раз взглянул на жезл. Да, лавр, а не перо: это не могло касаться его несчастного сна во время чтения императора. Совсем не торжественно сломал он печать в присутствии любопытствующего Лахета и курьера. Его тонкие губы разомкнулись, все его круглое, широкое мужицкое лицо покрылось морщинами, ослабилось. Он грубо хлопнул курьера по плечу, крикнул:

— Лахет, старый мошенник, дайте парню три драхмы на чай! Впрочем, стойте, довольно и двух.—И побежал, размахивая письмом, в верхний этаж, шлепнул подругу по заднице, заорал:—Кенида, старая лохань, все-таки наша взяла!

Кенида и он обычно понимали без слов и с совершенной точностью, что каждый из них думает и чувствует. Однако теперь оба затараторили. Схватили друг друга за плечи, засмеялись друг другу в лицо, расцеловались, забегали по комнате то порознь, то опять вместе. Пусть их слышит кто угодно, они беззаботно изливают свою душу.

Гром Юпитера! Все-таки он приехал сюда не даром! Усмирение мятежной провинции Иудеи—дело сподручное, как раз по Веспасиановым способностям. А такими утопиями, как Александров поход, пусть занимаются гениальные стратеги вроде Корбулона и Тиберия Александра. Он, Веспасиан, затыкал уши, когда речь заходила о столь ненадежных империалистических проектах. Но если имеется в виду такая славная штука, как этот поход в

Иудею, тут сердце старого генерала не может не взыграть. Теперь пусть-ка господа маршалы подождут, а он будет кататься как сыр в масле. Эти благословенные евреи! Браво им, еще раз браво! Давно следовало им взбунтоваться.

Он невероятно доволен. Кенида приказывает купцу Лахету приготовить любимые Веспасиановы кушанья, как бы дорого они ни стоили. А к вечеру пусть раздобудет особенно аппетитную, не слишком худую девчонку, чтобы Веспасиан мог с ней поразвлечься. Но, кажется, Веспасиану уже не до удовольствий, он принялся за работу. Он уже не старый крестьянин, но генерал, полководец, который трезво приступает к решению своей задачи. Сирийские полки по-свински разложились; он покажет этим парням, что такое римская дисциплина. Наверное, правительство пожелает навязать ему Пятнадцатый легион, который сейчас переброшен в Египет. Или Двадцать второй—он уже все равно на марше из-за этого нелепого Александрова похода. Но Веспасиан не даст себя одурачить. С военной канцелярией придется торговаться из-за каждого человека. Но он не постесняется, если нужно, стукнуть по столу и выложить этим господам всю правду. «Господа,—скажет он,—мы будем воевать не с примитивными дикарями, вроде германцев, а с народом, насквозь организованным по-военному».

Он сегодня же начнет во дворце предварительные переговоры. Ухмыляясь, всовывает он свои старые кости в парадную одежду, хотя всего три часа назад думал, что она ему уже никогда не пригодится.

В доме, где остановился император, Веспасиана принимает камергер Гортин. Он приветствует его официальным приветствием, вытянув руку с открытой ладонью. Короткий сухой разговор. Да, господин генерал может видеть его величество примерно через час. А префекта стражи? Господин префект сейчас явится в его распоряжение. И, проходя мимо камергера Гортина на совещание с префектом, Веспасиан бросает на ходу, небрежно, со вкусом:

— Что, молодой человек, кто теперь жрет собственное дерьмо?

Зима прошла слишком быстро, удачная зима для Иосифа.

Он работал лихорадочно. Он презирал технику римлян, но не брезговал подражать ей. В Риме он обдуманно перенимал опыт, у него были идеи. Он вырвал из своего сердца все мелочное, стремясь к одному: подготовить оборону. Его вера росла. Вавилон, Египет, царство Селевкидов—разве не были они когда-то такими же мощными

государствами, как и Рим? И все-таки Иудея против них устояла. Что сильнейшая армия перед дуновением уст божьих? Оно развеет ее, как мякину, и, как пустые орехи, сбросит в море ее тараны.

В городах, в залах синагог, в помещениях, предназначенных для больших людских масс, на ипподромах Тивериады и Сепфориса и даже просто под открытым набом собирал Иосиф вокруг себя народные толпы. «Марин, марин, господин наш!» — приветствовали они его.

А он, худощавый и тонкий, стоял на фоне величественного ландшафта, подняв лицо с горячими глазами, простирая к небу руки, и вырывал из груди мощные загадочные слова, полные упования. Эта страна, освященная Ягве, теперь осквернена римлянами, как проказой, и пожираема червями. Римлян нужно растоптать, уничтожить, вытравить. На что надеются они, ведя себя с такой наглостью? У них есть войско, есть их жалкая «техника». Их можно совершенно точно исчислить, их легионы: в каждом десять тысяч человек, десять когорт, шестьдесят рот, к ним шестьдесят пять орудий. А у Израиля есть бог Ягве. Он безлик, его нельзя измерить. Но от его дыхания рассыпаются в прах осадные машины и легионы истаивают в ветре. У Рима есть мощь. Но эта мощь уже проходит, ибо Рим поднял дерзкую руку на Ягве и его избранника, которого Ягве так долго дарил своим благоволением, против его первенца, его наследника — Израиля. Рим миновал, царство же мессии впереди, оно восходит. Мессия придет сегодня-завтра; может быть, он уже пришел. Разве не чудовищно, что вас, с кем Ягве заключил союз, в этой его стране только терпят, а свинюх в ней хозяева? Пусть они везут свои легионы на кораблях через море и ведут их на вас через пустыню. Верьте и боритесь: у них — отряды и машины, у вас — Ягве и его воинство.

Зима прошла: над виноградниками, на горах, над оливковыми деревьями на плоскогорьях, над тузовыми рощами Галилеи засияла изумительная весна. Воздух генисаретского побережья возле города Магдалы, где все еще находилась штаб-квартира Иосифа, был насыщен цветением и благоуханием. Людям дышалось радостно и легко. В эти сияющие весенние дни пришли римляне.

Сначала появились отряды разведчиков с севера и со стороны прибрежных городов — они теперь уже не уклонялись от перестрелки с передовыми отрядами Иосифа, — а затем хлынули, как морские валы, целых три легиона, с конями и повозками, с большим контингентом солдат из зависимых государств. Впереди — легковооруженные ро-

ты стрелков, разведчики. Затем первые отряды тяжеловооруженных воинов. Затем саперы, чтобы устранять препятствия с дорог, выравнивать кочки, сносить кустарник на пути движения войск. Затем свита фельдмаршала, генеральный штаб, гвардия полководца и, наконец,— он сам. За ним—кавалерия и артиллерия, мощные осадные машины, вызывавшие изумление тараны, камнеметы и катапульты, потом боевые знамена—орлы, которым выдавались божеские почести. И, наконец, основная масса войск, шагавших рядами по шесть человек. Все это завершалось бесконечным обозом, продовольственными колоннами, юристами, казначеями. А в самом хвосте— целый корпус штатских—дипломаты, банкиры, бесчисленные коммерсанты, преимущественно ювелиры и маклеры по скупке рабов, оценщики для продажи военной добычи, личные курьеры при дипломатах и крупнейших римских оптовиках, женщины.

Когда надвинулись римляне, в стране стало очень тихо. Многие добровольцы дезертировали. Медленно, неуклонно шло войско вперед. Веспасиан планомерно очищал Галилею: страну, побережье и море.

Усмирить западное побережье Генисаретского озера следовало, собственно, царю Агриппе, ибо эта полоса земли с городами Тивериадой и Магдалой принадлежала ему. Но элегантный царь отличался ленивым добродушием, ему претило совершать самому те акты насилия, которые, по необходимости, сопутствовали усмирению восставших. Поэтому Веспасиан исполнил просьбу дружественного, деятельно преданного Риму государя, возложив карательную экспедицию на собственные войска. Тивериада покорилась, не оказав никакого сопротивления. Хорошо укрепленный город Магдала сделал попытку защищаться. Но его жители не могли устоять против римской артиллерии; измена изнутри довершила остальное. Когда римляне вошли в город, многие повстанцы бежали на огромное Генисаретское озеро. Они заняли весь маленький рыбацкий флот, так что римлянам пришлось преследовать их на плотках. Это была трагическая пародия на морской бой, во время которого со стороны римлян было много смеха, со стороны евреев—много убитых. Римляне топили легкие челноки, и началась интересная охота неуклюжих плотов за утопающими. Солдаты следили с любопытством, как всюду барахтаются в воде потерпевшие крушение, они держали пари: предпочтет тот или иной утонуть или быть уничтоженным римлянами и следовало ли их убивать стрелами или ждать, пока они не уцепятся за край плота, и тогда уж отрубать им руки? Чудесное озеро, прославившееся игрой своих красок, было в этот день окрашено только в красный

цвет; его берега, известные своими благовонными ароматами, потом в течение многих недель воняли трупами, его прекрасная вода была испорчена, а его рыба стала в последующие месяцы необыкновенно жирной и римлянам очень нравилась. Наоборот, евреи, даже царь Агриппа, много лет потом не ели рыбы из Генисаретского озера. И позднее среди евреев стали распевать песню, начинавшуюся словами: «Все красно от крови озеро Магдалы, весь усеян трупами берег Магдалы». Точный подсчет, наконец, показал, то в этой битве на озере погибло четыре тысячи двести евреев. Это дало капитану Сульпицию четыре тысячи двести сестерциев. Ибо он держал пари, что число убитых превысит четыре тысячи. Если бы их оказалось меньше, ему пришлось бы заплатить четыре тысячи сестерциев и еще столько же, на сколько убитых не хватало до четырех тысяч.

Два дня спустя Веспасиан созвал военный совет. Относительно большинства городских жителей можно было выяснить вполне точно, кто вел себя миролюбиво, а кто — нет. Но как поступить с теми многочисленными взятыми в плен беглецами, которые ринулись в хорошо укрепленный город из других местностей Галилеи? Их оказалось около тридцати восьми тысяч. Расследовать, в какой мере каждый из них является бунтовщиком, — слишком большая возня. Просто отпустить их — для этого они все же слишком подозрительны. Держать их долго в плену — сложно. Вместе с тем они сдались римлянам без сопротивления, на милость победителей, и Веспасиан считал, что просто прикончить их все же нечестно.

Однако господа, заседавшие в военном совете, пришли, после некоторых колебаний, к единодушному мнению, что в отношении евреев все дозволено и что если нельзя сочетать полезное с приличным, то первое следует предпочесть второму. После некоторых колебаний на эту же точку зрения стал и Веспасиан. Двусмысленными, малопонятными греческими фразами выразил он пленным свое согласие пощадить их, однако предоставил для отступления только дорогу на Тивериаду. Пленные охотно поверили в то, во что им хотелось верить, и ушли по указанной дороге. Но римляне заняли тивериадскую дорогу и не позволяли никому сворачивать с нее на проселки. Когда все тридцать восемь тысяч дошли до города, их направили в Большой цирк. В тревоге сидели они на земле и ждали, что скажет им римский полководец. Вскоре появился и Веспасиан. Он приказал отделить больных и тех, кто был старше пятидесяти пяти лет. Многие старались замешаться в толпу этих избранных, думая, что остальным придется идти на родину пешком, а их доставят на лошадях. Они жестоко ошиблись. Когда отбор был

сделан, Веспасиан велел их зарубить; ни на что другое они не годились. Из числа остальных он отобрал шесть тысяч самых крепких и с вежливым письмом отправил их императору в Грецию для работ по рытью Коринфского канала. Остальных он велел продать с аукциона в рабство в пользу армии. Несколько тысяч человек подарил Агриппе.

За время беспорядков в рабство уже было продано с аукциона до ста девяти тысяч евреев, и цена на рабов стала падать; в западных провинциях она упала в среднем с двух тысяч сестерциев до тысячи трехсот за штуку.

Стоя на сторожевой башне маленькой неприступной крепости Иотапаты, Иосиф смотрел, как надвигается Десятый легион. Уже военные топографы измеряли площадь для лагеря. Иосиф знал их, эти римские лагеря. Знал, как легионы, упражняясь в течение столетий, научились разбивать такие лагеря там, где они делали стоянку хотя бы на день. Знал, что через два часа после начала работ все будет готово. Тысяча двести палаток на легион, между ними — улицы, вокруг — валы, ворота и башни, — настоящий хорошо укрепленный городок.

Готовый к бою, мрачно насупившись, смотрел Иосиф, как римляне медленно надвигаются широким полукругом: сначала они заняли окрестные горы, затем осторожно спустились в ущелья и долины. Наконец, сомкнули круг.

Теперь, кроме Иотапаты, в руках евреев осталось всего два галилейских укрепления: гора Фавор и Гисхала, где командовал Иоанн. Если римляне возьмут эти три пункта, дорога в Иерусалим будет открыта. Вожди решили удерживать эти укрепления возможно дольше. Самим же в последнюю минуту пробиваться к столице; там масса ополченцев, но мало вождей и организаторов.

Когда Иосиф увидел, что и Десятый легион стоит теперь перед его крепостью, он почувствовал какую-то угрюмую радость. Генерал Веспасиан — это не истеричный Цестий Галл, у него не один, а три легиона, и притом полноценных — Пятый, Десятый и Пятнадцатый, и едва ли Иосифу удастся овладеть одним из трех золотых орлов, которые несут эти легионы. Но и у его крепости Иотапаты крепкие стены и башни, она расположена высоко и, к счастью, на крутизне; у него огромные запасы продовольствия; его люди, и прежде всего отряды Запиты, — в хорошей форме. Маршалу Веспасиану придется-таки потрудиться, прежде чем он разрушит стены этой крепости и утащит священные свитки из молитвенного дома.

Веспасиан не пошел на приступ. Его войско залегло неподвижно, как колода, такое же крепкое. Вероятно, он

решил ждать, пока Иосиф сам, отчаявшись, не вылезет из своей норы или его войска не начнут слабеть от истощения.

Тайными путями до Иосифа дошло письмо из Иерусалима. Столица, писал его отец Маттафий, не пошлет ему подкрепления. Правда, доктор Элезар бен Симон настойчиво требовал, чтобы подкрепление послали. Но в Иерусалиме есть люди, которые не прочь, чтобы Иотапата пала, при условии, если с нею погибнет и Иосиф. Пусть он сдаст крепость, без помощи извне ему больше двух недель все равно не продержаться. Но Иосиф упрямо думал. Сейчас май. Если Иотапата продержится до июля, для римлян будет уже поздно начинать поход на Иерусалим. Неужели они этого не понимают там, в Зале совета? Тогда именно он-то и спасет ослепленный Иерусалим, даже против его желания. Иосиф ответил отцу, что не четырнадцать дней, а семижды семь будет он отстаивать Иотапату. Семижды семь — эти слова прозвучали в нем словно помимо его воли. С такой же сомнамбулической уверенностью, вероятно, вещали некогда и пророки о своих откровениях. Но письмо Иосифа не дошло до его отца. Римляне перехватили его, и господа из генерального штаба не преминули поиздеваться над самоуверенным еврейским вождем: что Иотапата продержится так долго, было исключено.

Наступила вторая неделя, а римляне все еще не начинали атаки. Город был хорошо снабжен продовольствием, но воды в цистернах становилось все меньше. Иосифу пришлось строго регулировать ее выдачу. Лето стояло жаркое, и осажденные день ото дня страдали от жажды все сильнее. В поисках воды многие тайными подземными ходами выбирались из города, ибо в этом горном массиве была прорыта целая система извилистых и запутанных подземных ходов. Но подобные попытки являлись безумным предприятием. Кто попадал в руки римлянам, того они казнили распятием на кресте.

Казнями распоряжался капитан Лукиан. По природе это был человек добродушный, но он очень страдал от жары и бывал поэтому нередко в дурном настроении. В такие минуты он приказывал привязывать казнимых к кресту, что влекло за собой более медленную и мучительную смерть. Когда же он был в лучшем настроении, то разрешал профосам прибывать распятым руки, и быстро начинавшееся воспаление ран вызывало более скорую смерть.

Вечер за вечером поднимались в горы печальные процессии; приговоренные несли на шее брусья своих крестов, их распятые руки уже были привязаны к этим брусьям. Ночь освежала висевшие тела, однако ночи были

короткие, и как только вставало солнце, появлялись мухи и другие насекомые, слетались птицы и сбегались бездомные псы, ожидая поживы. Висевшие на крестах произносили предсмертное исповедание веры: «Слушай, Израиль, Ягве бог наш, Ягве один!» Они повторяли эти слова, пока их губы могли шевелиться, они передавали их от креста к кресту. Скоро еврейская формула стала широко известна и в римском лагере — желанный повод для всякого рода острот. Военные врачи вели статистику: через столько-то времени наступает смерть у прибитого к кресту, через столько-то времени — у привязанного. Они просили давать им для наблюдения очень крепких и очень слабых пленных и определяли, в какой мере летняя жара способствует ускорению смертельного исхода. На всех вершинах стояли кресты, и из вечера в вечер висевшие на них сменялись другими. Римляне не могли давать каждому особый крест, хотя местность кругом и изобиловала лесом — этот лес нужно было экономить.

Они использовали его, возводя искусные деревянные валы и коридоры. Они срубили все окрестные леса для этих валов. Работали под защитой хитроумных конструкций из шкур животных и сырой кожи, которые обезвреживали огненные снаряды осажденных. Люди в Иотапате завидовали римлянам, которые могли тратить воду на такие вещи. Они делали вылазки, и им не раз удавалось поджигать сооружения врага. Но разрушенное быстро восстанавливалось, валы и ходы подползали все ближе.

Вечер за вечером наблюдал за ними Иосиф со сторожевых башен. Когда окопы достигнут определенной точки на севере, тогда Иотапата погибнет, даже если бы Иерусалим и прислал на помощь войска. Иосиф медленно обводил взглядом окрестности. Всюду на горных вершинах стояли кресты, кресты окаймляли горные дороги. Головы казненных были наклонены вперед, вбок, губы отвисали. Иосиф смотрел, машинально пытался сосчитать кресты. Его губы пересохли и потрескались, небо одеревенело, веки воспалились; он брал себе ту же порцию воды, что и остальные.

20 июня — 18 сивана по еврейскому счислению — римские окопы достигли угрожающей точки на севере. Иосиф назначил на следующий день богослужение. Он заставил собравшихся прочесть молитву покаяния. Закутанные в плащи, с пурпурно-голубыми молитвенными кистями, стояли люди, неистово били себя в грудь, пламенно зывали:

— О Адонай! Грешил я, преступал я, кощунствовал перед лицом твоим!

Иосиф стоял впереди, как священник первой череды, и с той же горячностью, что и остальные, каялся господу:

«О Адонай! Грешил я, преступал я». И он чувствовал себя грязным, низким и раздавленным. Когда он собрался произнести третий стих покаяния, он вдруг выпрямился, ибо почувствовал направленный на него из задних рядов злобный и упорный взгляд чьих-то маленьких одержимых глаз, и он увидел рот, который не произносил вместе с другими: «Преступал я, грешил я»,—но резко и гневно выговаривал: «Грешил ты, преступал ты...» Это был рот Запиты. И когда Иосиф в конце службы произносил вместе с другими священниками благословение, когда он стоял перед собравшимися, воздев руки с раздвинутыми пальцами, и головы склонились ниц, ибо над благословляющим священником парит дух божий,—снова те же дерзкие глаза злобно и упорно устремились на него, и лицо Запиты как бы говорило с явной насмешкой: «Замкни уста свои, Иосиф бен Маттафий. Уж лучше мы сдохнем без твоего благословения, Иосиф бен Маттафий».

Иосиф был полон великого изумления. Он не уклонялся ни от одной опасности, он подвергал себя жажде и лишениям наравне с последним из своих солдат, его мероприятия оказывались правильными и действенными, бог был явно с ним; наконец, он противостоял врагу дольше, чем считалось возможным. Чего же хотел Запита? Но Иосиф не сердился на него. Человек этот был явно ослеплен; то, что он говорил,—клевета.

В нападение на северный вал, которое Иосиф предпринял на следующий день, евреи внесли яростный фанатизм. Лучше было умереть в бою, чем на кресте, и эта мрачная тоска евреев по смерти в бою помогла, несмотря на густой град снарядов, все же достичь намеченного пункта. Они перебили защитников вала, подожгли сооружения и машины. Римляне отступили. Отступили не только в этом месте, но и на юге, где их потеснили очень слабо. Вскоре осажденные узнали и причину: Веспасиан, римский фельд-маршал, был ранен. Иотапата ликовала. Иосиф приказал выдать двойную порцию воды. Шла пятая неделя. Если ему удастся дотянуть до седьмой, будет уже середина лета. Иерусалим на этот год будет спасен.

Прошла почти целая неделя, пока римляне снова укрепили северный пункт. Тем временем их осадные машины с трех сторон окружили стены города. Это были громадные бревна, напоминавшие корабельные мачты, на их переднем конце находился слиток железа в форме бараньей головы. Мачты были подвешены канатами к бревну, лежавшему горизонтально на мощных столбах. Группа артиллеристов оттягивала мачту назад, затем снова отпускала. Никакая, даже самая толстая стена, не могла долго противостоять ударам этой машины.

Только теперь, после того как таран поработал некото-

рое время, Веспасиан нашел, что крепость готова для решительной атаки. Штурм начался рано утром. Небо потемнело от снарядов, зловеще и упорно ревели трубы легионов, из всех метательных орудий вылетали одновременно огромные каменные ядра, осадные машины издавали глухое жужжание, подхваченное горным эхом. На валах работали три бронированные башни вышиной около семнадцати метров, в них находились метальщики копий, стрелки из лука, пращники, а также легкие метательные машины. Осажденные были беззащитны перед этими бронированными чудовищами. Под их охраной из окопов выползло какое-то подобие жутких гигантских черепах, состоявших каждая из ста отборных римских солдат, сдвинувших поднятые над головой щиты подобно черепахам, так что они были неуязвимыми для любых снарядов. Бронированные башни работали в полной согласованности с этими черепахами, направляли свои выстрелы в те места стен, которые избирали черепахи, так что защитникам приходилось их покидать. Нападавшие уже достигли стены одновременно в пяти пунктах, перебросили подъемные мосты. Но в ту минуту, когда римляне, чтобы не попасть в своих же людей, не могли стрелять, осажденные стали лить на осаждавших кипящее масло, которое проникало под железо доспехов, а на осадные мосты — скользкий отвар из греческого сена, так что римляне скатывались вниз.

Наступила ночь, однако штурм не ослабевал. Всю ночь напролет глухо гудели удары тарана, равномерно работали бронированные башни, метательные машины. При попадании снарядов люди мешком валились со стен. Стоял крик, скрежет, стоны. Ночь была настолько насыщена грозным шумом битвы, что иудейские военачальники приказали своим солдатам, стоявшим на стенах, залепить уши воском. Сам Иосиф внимал этому грому с почти злобным удовлетворением. Сорок шестой день осады, а Иосиф должен продержаться в городе семью семь дней. Затем наступит пятидесятый день, и воцарится тишина. Может быть, это будет тишина смерти. Испытывая блаженство среди бешеного грохота, как всегда, предвкушал он тишину этого пятидесятого дня, вспоминал слова Откровения: сначала буря и гром, но лишь в тишине приходит господь.

В ту ночь одному из защитников удалось сбросить со стены на таран глыбу такой величины и тяжести, что железная голова машины отлетела. Еврей спрыгнул со стены прямо в гущу врагов, поднял эту голову, понес ее обратно среди роя выстрелов, снова взобрался на стену и, раненный в пяти местах, скорчившись, свалился со стены, к своим. Человек этот был Запита.

Иосиф склонился над умирающим. Запита не должен умереть непримиренный, унося в своем сердце клевету. Вокруг стояло десять человек. Они подсказывали ему: «Слушай, Израиль, един и вечен наш бог Ягве»,— чтобы умирающий ушел в смерть, исповедуя свою веру. Запита с мукой дергал одну из прядей своей раздвоенной бороды. Губы его шевелились, но Иосиф видел, что произносят они не слова исповедания. Иосиф наклонился к нему еще ниже. Маленькие неистовые глазки умирающего страдальчески и злобно подмигивали, он силился что-то сказать. Иосиф приблизил ухо вплотную к его сухим губам; понять их шепот он не мог, но было очевидно, что Запита хочет сказать что-то презрительное. Иосиф был поражен и огорчен тем, что этот ослепленный человек так и умрет. Быстро решившись, он зашептал ему тихо и страстно:

— Слушайте, Запита, я не дам римлянам подойти этим летом к Иерусалиму. Я продержусь в городе еще три дня. И я не буду пробиваться к Иерусалиму, как мы уговорились. Я останусь в городе до утра четвертого дня.

А мужчины восклицали ритмическим хором, чтобы их возгласы дошли до слуха умирающего: «Слушай, Израиль!» Иосиф смотрел на Запиту настойчиво, почти умоляюще. Запита должен был признать свою неправоту, умереть примиренным. Но его налитые кровью глаза закатились, отвалилась челюсть: Иосиф дал свое обещание мертвецу.

С этого дня Иосиф почти совсем лишил себя сна. Он появлялся на стенах повсюду. Лицо его горело, веки болели, нёбо распухло, уши оглохли от шума осадных машин, голос стал хриплым и грубым. Но он не щадил себя, не берег себя. Так продержался он три дня, пока не наступила полночь сорок девятого дня. Тут он впал в каменный сон.

На рассвете первого июля, на пятидесятый день осады, римляне взяли крепость Иотапату.

Не прошло и двух часов с тех пор, как Иосиф лег, а его уже разбудили и крикнули:

— Они здесь!

Он с трудом пришел в себя, начал торопливо собирать все, что попадалось под руку,—мясо, хлеб, затканый цветами иерейский пояс, приказ о назначении его комиссаром, игральные кости, подаренные ему некогда в Риме актером Деметрием Либанием. Спотыкаясь, вышел он на улицу в утренние сумерки. Некоторые из окружавших его потащили Иосифа с собой, вниз, в подземный ход, ведущий к заброшенной цистерне, которая, расширяясь, образовала довольно просторную пещеру.

Их собралось в пещере свыше десяти человек, среди них тяжелораненый; продовольствие у них было, но всего одно маленькое ведерко воды. Весь день в них жила надежда на спасение, а ночью выяснилось, что о бегстве не может быть и речи. Подземный ход разветвлялся, извивался и приводил в конце концов все в ту же пещеру; был у него один только выход — в город, где сторожили римляне.

На второй день умер раненый. На третий день вышла вся вода. На четвертый люди, истощенные долгой осадой, заболели и посходили с ума от жажды. Когда настал пятый день, Иосиф бен Маттафий лежал в углу пещеры; он положил под голову иерейский пояс, натянул одежду на лицо и ждал, когда придут римляне и убьют его. Все внутри у него горело; он старался глотнуть, хотя знал, как это мучительно и невозможно; его пульс трепетал, по всему телу бегали мурашки. Закрытые веки точно натирали ему воспаленные глаза, в темноте плясали точки и круги, внезапно увеличивались, съеживались, искрились, сливались. Ускорить смерть, покончить с собой казалось сладостным и манящим; но оставалась одна надежда: может быть, удастся сначала выпить воды. Может быть, если придут римляне, они дадут ему сначала напиться, а уже потом повесят на крест. В Иерусалиме есть союз дам-благотворительниц, которые дают идущим на распятие напиток, состоящий из вина и мирры. Это была бы хорошая смерть. Он откидывает с головы одежду и улыбается пересохшими губами.

Совсем близко перед собой видит он цистерну, полную-полную воды. Так как римляне уже здесь, то воду незачем экономить. Как это он раньше не догадался! Он видит себя идущим к цистерне. Многие идут туда же. Но он проходит среди кричащих евреев и римлян, которые ошупью бредут по улице, ведь он — полководец, и люди перед ним расступаются, — все прямо к цистерне идет он, безошибочно, жадно. Пить! Возле цистерны больше нет стражи. Но стоит кто-то один и хочет помешать ему напиться. «Отойдите, пожалуйста, Запита. Я вас убью, если вы помешаете мне напиться. Разве я был трусом? Разве я берег свою жизнь среди мечей, падающего железа, огня, валящихся со стен людей? Пожалуйста, не поднимайте так нелепо вашей здоровой рукой эту голову тарана. Я знаю наверное, что вы умерли. Вы презренный, пошлый лгун, Запита, будь вы хоть сто раз мертвы. Вы должны отойти».

Мучительные и напрасные попытки глотнуть раздирают вспухший зев. Иосиф возвращается к действительности. Он снова натягивает на лицо одежду. Скорее бы все это миновало! Когда он находился в пустыне, у ессея

Бана, и вел жизнь аскета, он был окружен видениями; но теперь он хочет, чтобы в сознании была ясность, порядок. Он совсем не собирается подохнуть только оттого, что несколько дней не пил. Правда, когда человек несколько дней не пьет, он умирает—это общеизвестный факт. Но он не умрет. Другие—да, они в конце концов умрут от жажды. Но он сам—это невозможно. Ему еще так много надо сделать, он слишком многое упустил. Где те женщины, которыми он еще не владел, вино, которого он еще не пробовал, великолепие земли, которого он еще не видел, книги, которых он еще не написал? Почему, собственно, он тогда не овладел Поппеей? Ее платье было из флера, прозрачного, как воздух, даже волосы просвечивали. Наверное, они были тоже янтарно-желтые. Сколько женщин он упустил! Он видит икры, груди, лица.

Но это вовсе не лица, это груди плодов, какими торгуют на рынке, округлые сочные плоды, фиги, яблоки, гигантский виноград. Ему хочется вонзить в них зубы, разжевывать их, смаковать; но как только он пытается их схватить, у каждого оказывается то же гнусное смугло-желтое лицо, которое он так хорошо знает. «Нет, проклятый пес, я не умру, этого удовольствия я вам не доставлю. И вообще вы, вы—мрачный педант, вы обезьяна разума, со всеми вашими законами, всей вашей симметрией и вашей системой. Вы хотите рассуждать об Иудее? А что вы понимаете в ней? Вы разве боролись? Хоть раз участвовали в бою? У вас в жилах ведь не кровь. Вы подлец. И если Иудея изрубит ваш проклятый дворец с идолами, она будет права, десять раз права, и я буду рубить вместе с ней.

...Я не фантазер, господин Юст, я очень хочу пить, но я знаю совершенно отчетливо: это пошлость, сидя в Риме, издеваться над последователями маккавеев. Это плоско и мерзко, Юст из Тивериады, вы ничтожество».

В его голове гул множества голосов: «Марин, марин!» И тонкий, настойчиво-покорный голос все время, вмешиваясь, повторяет: «Вот он».

Нет, никогда он не давал этому голосу властвовать над собой, никогда не превозносился, всегда отстранял от себя соблазн. Это искушитель, он пользуется сейчас его слабостью и снова вызывает тот голос. Да, конечно, это только дерзкие происки искушителя, который хочет, чтобы Ягве отвратил от него лицо свое.

С великим трудом поднялся он на колени, упал ниц, с мукой прочел покаяние в грехах, с мукой. Проговорил торжественно, гордо:

— О Адонай, не согрешил я, не преступал я. Ты должен напоить меня, я прославил имя твое. Я хочу воды.

Не дай рабу твоему умереть от жажды, ибо я хорошо служил тебе, и ты должен дать мне воды.

Вдруг в пещере раздался голос, скрипучий, знакомый Иосифу голос римского офицера. Остальные стали расталкивать Иосифа. Да, раздавался вполне реальный голос, это было ясно. Голос говорил по-гречески, что, дескать, известно: галилейский полководец находится в этой пещере, и если засевшие в ней сдадутся, их пощадят.

— Дайте мне пить,—сказал Иосиф.

— Даю вам час на размышление,—возразил голос,—потом мы выкурим вас отсюда.

Блаженная улыбка разлилась по лицу Иосифа. Он победил. Он перехитрил и мертвого Запиту, и дерзкого живого Юста, который не хотел подпустить его к плодам. Теперь он все-таки напьется и будет жить.

Однако среди товарищей Иосифа оказались такие, которые и слышать не хотели о сдаче. Они помнили магдальские события и считали, что римляне, захватив их, в лучшем случае, может быть, и пощадят Иосифа, сохранив его для триумфального шествия, но остальных пригвоздят к кресту или продадут в рабство. Они решили бороться. Почти обезумев от жажды, они воспротивились решению Иосифа. Они скорее убьют его, чем допустят, чтобы он сдался римлянам.

А Иосиф жаждал только одного: пить. Пощадят ли их римляне на самом деле или нет—это потом. Пить они им, во всяком случае, дадут, а эти дураки отказываются. Они же безумцы, бешеные псы. Просто смешно, если он, после стольких мук, сам покончит с собой, не напившись. Из всех закоулков своего истощенного мозга собирал он силы, чтобы отстоять свое решение, чтобы пить, чтобы жить.

Долго убеждал он их, но тщетно. Он был один в силах сделать хриплым, огрубевшим голосом последнее предложение: пусть хоть каждый не сам себя убьет, а другого; это меньший грех. С этим они согласились, приняли его предложение, и это было спасением. Они решили кинуть жребий, кто и кого должен убить, и стали бросать кости, которые Иосифу подарил по его просьбе Деметрий Либаний. Они просили друг у друга прощения и умирали с исповеданием веры на устах. Когда Иосиф остался наедине с последним из них, он просто вылез из пещеры и ушел к римлянам. Его товарищ застыл в бессильной позе, потом пополз за ним следом.

Иосифа принял полковник Павлин. Он поднял руку с вытянутой ладонью, весело приветствуя его, словно спортсмен побежденного противника. Иосиф не ответил. Он упал и сказал:

— Воды.

Они принесли ему воды, и он,—это было самым благочестивым делом его жизни,—он удержался и сначала произнес благословение:

— Благословен, ты, Ягве, боже наш, все создавший чрез слово свое,—и лишь после этого стал пить.

Блаженно подставил он губы влажной струе, и она потекла в рот, в гортань, потребовал еще воды, еще и, сожалея о том, что нужно прервать это наслаждение и передохнуть, пил снова. Улыбался широкой улыбкой, нелепой, во все лицо, и пил. Кругом стояли солдаты, добродушно ухмылялись, смотрели.

Иосифу дали немного привести себя в порядок, накормили и повели, закованного в кандалы, к фельдмаршалу. Пришлось идти через весь лагерь. Всюду теснились солдаты, всем хотелось поглядеть на вождя врагов. Многие добродушно зубоскалили: так вот тот человек, который в течение семи недель причинял им столько хлопот. Дельный парень. Иные, озлобленные смертью товарищей, посылали ему вслед угрозы, бешено бранились. Другие острили над тем, что он такой молодой, худой и тонкий:

— Ну, еврейчик, когда ты будешь висеть на кресте, мухам да птицам нечем будет и поживиться.

Иосиф, изможденный, со свалившимися волосами и грязным пухом на щеках, медленно брел сквозь весь этот шум; угрозы и остроты не затрагивали его, и многие опускали глаза под взглядом его печальных воспаленных глаз. А когда кто-то на него плюнул, он не сказал обидчику ни слова, только попросил сопровождавшую его охрану стереть плевок, ведь он закован в кандалы, а являться в таком виде к фельдмаршалу не подобает.

Однако дорога через лагерь показалась ему долгой. Палатки, палатки, любопытные солдаты. Затем лагерный алтарь, а перед ним насильнические орлы трех легионов — неуклюжие, золотые, враждебные. Затем опять палатки, палатки. Ослабевшему было очень трудно держаться прямо, но Иосиф взял себя в руки и шел, выпрямившись, весь долгий путь позора.

Когда Иосиф наконец достиг палатки вождя, он увидел здесь, кроме Павлина, еще только одного молодого человека с генеральским значком; невысокий, но широкоплечий и крепкий, круглое открытое лицо, резко выдающийся треугольником, короткий подбородок. Иосиф сразу же узнал Тита, сына фельдмаршала. Молодой генерал шагнул ему навстречу.

— Мне очень жаль,—сказал он великодушно, любезно,—что вам не повезло. Вы дрались превосходно. Мы вас, евреев, недооценивали, вы превосходные бойцы.— Он

заметил, как Иосиф изнурен, предложил ему сесть.— Жаркое у вас лето,—сказал он.— Но в палатке у нас прохладно.

В это время из-за разделявшего палатку занавеса вышел сам Веспасиан в удобной просторной одежде; с ним была представительная решительная дама. Иосиф встал, попытался приветствовать их по римскому обычаю. Но маршал добродушно покачал головой.

— Не трудитесь. Вы чертовски молоды, еврейчик. Сколько же вам лет?

— Тридцать,—отвечал Иосиф.

— Видишь, Кенида,—усмехнулся Веспасиан,—чего можно достичь уже в тридцать лет.

Кенида недоброжелательно рассматривала Иосифа.

— Этот еврей не очень-то мне нравится,—заявила она откровенно.

— Она вас терпеть не может,—пояснил Веспасиан,—уж очень она испугалась, когда вы хватили меня по ноге каменным ядром. Впрочем, это была ложная тревога, уже ничего не заметно.

Но когда он подошел к Иосифу, тот увидел, что Веспасиан все еще слегка хромает.

— Дайте-ка вас пощупать,—сказал тот и принялся ощупывать его, как раба.— Худ, худ,—констатировал он, сопя.— Наверное, вам пришлось много кой-чего выдержать. А могло бы достаться и дешевле. Вообще у вас, по-видимому, весьма бурное прошлое, молодой человек. Мне рассказывали. Эта история с тремя якобы невинными, которая потом так расстроила нервы нашему Цестию Галлу. Да, много кой-чего.

Он был доволен. Он думал о том, что без трех старцев этого молодчика губернатор Цестий едва ли был бы отозван и сам бы он тогда здесь не находился.

— А как вы думаете, молодой человек,—спросил он игриво,—идти мне теперь же на Иерусалим? Мне хочется посмотреть великое субботнее служение в вашем храме. Но вы с вашей Иотапатою очень задержали меня! Уж скоро осень. И если в Иерусалиме такие же упрямцы, как вы, начнется прескучная канитель.

Это было брошено на ходу, шутя. Но Иосиф видел внимательный взгляд светлых глаз на широком морщинистом, крестьянском лице, он слышал шумное дыхание и внезапно понял, словно озаренный молниеносной интуицией: этот римлянин в тайниках своей души вовсе не *хочет* идти на Иерусалим, ему не нужна быстрая победа над Иудеей, и, глядя на него, видно, что он не легко отдает однажды добытое. Он желает *сохранить при себе* свое войско, свои три замечательных, сработавшихся легиона. Если поход будет окончен, у него их просто

отберут, и тогда конец его командованию. Иосиф видел ясно: генерал Веспасиан *не хочет* идти в этом году на Иерусалим.

Это познание дало ему новый импульс. Пережитое им в пещере еще жило в его душе. Он чувствовал, что только теперь ему придется по-настоящему бороться за свою жизнь, и знание того, что Веспасиан *не хочет* идти на Иерусалим, дает ему в этой борьбе небывалое преимущество. Он произнес тихо, но с большой твердостью:

— Я говорю вам, генерал Веспасиан, в этом году вы не пойдете на Иерусалим. Вероятно, не пойдете и в будущем.—И, напряженно глядя перед собой, медленно, с трудом извлекая из себя слова, добавил:—Вы предназначены для большего.

Все были поражены неожиданностью его слов: этот еврейский офицер, так безупречно сражавшийся, избрал странный способ выражаться. Веспасиан сощурился, внимательно посмотрел на своего пленника.

— Скажи пожалуйста!—протянул он насмешливо.—Выходит, пророки еще не перевелись в Иудее!

Но насмешка в его старческом, скрипучем голосе была едва слышна, в нем было скорее поощрение, доброжелательство. Много странного в этой Иудее. В Генисаретском озере жила рыба, которая кричала; все, что ни сажали на содомских полях, чернело и рассыпалось прахом; Мертвое море держало на своей поверхности любого человека—умел он плавать или не умел. Все здесь было необычайнее, чем где-либо. Почему бы и этому молодому еврею, хотя он хороший дипломат и солдат, не быть немного юродивым и жрецом?

Тем временем мысль Иосифа лихорадочно работала. В присутствии этого римлянина, в чьих руках была жизнь пленника, из глубин подсознания этого пленника вставали слова давно заглохшие, слова простодушных тяжелодумов из капернаумской харчевни. Он лихорадочно напрягался,—ведь речь шла о его жизни,—и то, что те лишь смутно предчувствовали, вдруг встало перед ним в мгновенном озарении и с необычайной ясностью.

— В Иудее мало пророков,—возразил он,—и их речения темны. Они возвестили нам, что мессия должен выйти из Иудеи. Мы их неверно поняли и начали войну. Теперь, когда я стою перед вами, консул Веспасиан, в этой вашей палатке, я понимаю подлинный смысл их слов.—Он поклонился с большим почтением, но голос его продолжал звучать смиренно и скромно.—Мессия должен выйти из Иудеи, но он не еврей. Это вы, консул Веспасиан.

Все находившиеся в палатке опешили от этой дерзкой, авантюристической лжи. О мессии слышали и они, весь Восток был полон слухами. Мессия был тем полубогом, о

котором грезил эта часть света, тем, кто восстанет, чтобы отомстить Риму за порабощение Востока. Загадочное существо, таинственное, сверхземное, немного нелепое, как все порождения восточного суеверия, но все же влекущее и грозное.

Рот Кениды приоткрылся, она встала. Ее Веспасиан — мессия? Она вспомнила про побег на священном дубе. Об этом обстоятельстве еврей едва ли мог знать. Она смотрела на Иосифа в упор, недоверчиво, растерянно. То, что он сказал, было нечто великое и радостное, созвучное ее надеждам; но этот человек с Востока продолжал ей казаться жутким.

Молодой генерал Тит, фанатик точности, любил закреплять людские высказывания; стенографировать разговоры стало для него механической привычкой. Записывал он и этот разговор. Но сейчас он удивленно поднял глаза. Он огорчился бы, если бы этот молодой храбрый солдат вдруг оказался шарлатаном. Нет, не похоже. Может быть, несмотря на свою простую и естественную манеру, он одержимый, подобно многим людям Востока? Может быть, долгий голод и жажда свели его с ума?

Веспасиан смотрел своими мужицкими глазами, светлыми и хитрыми, в почтительные глаза Иосифа. Тот выдерживал его взгляд долго, долго. Пот лил с него, хотя в палатке было отнюдь не жарко, оковы теснили, одежда раздражала кожу. Но он выдержал взгляд Веспасиана. Он знал — эта минута решающая. Быть может, римлянин просто отвернется, рассерженный или скандализированный, и велит отправить его на крест или на невольничий корабль, везущий рабов для египетских каменоломен. Но, может быть, римлянин ему и поверит. Он *должен* ему поверить. И пока Иосиф ждал ответа, он торопливо про себя молился: «Боже, сделай так, чтобы римлянин мне поверил. Если ты не хочешь этого сделать ради меня, так сделай ради храма твоего. Ведь если римлянин поверит, если он в этом году действительно уже не пойдет на Иерусалим, то, может быть, твой город и твой храм еще удастся спасти. Ты должен, господи, сделать, чтобы римлянин поверил. Ты должен, ты должен». Так стоял он, молясь, трепеща за свою жизнь, выдерживая взгляд фельдмаршала, ожидая в невероятном напряжении его ответа.

А римлянин сказал только:

— Ну, ну, ну, полегче, молодой человек.

Иосиф облегченно вздохнул. Веспасиан не отвернулся, он не приказал его увести. Иосиф выиграл. Тихо, стремительно, полный уверенности, он настойчиво продолжал:

— Прошу вас, верьте мне. Только потому, что я должен был вам это сказать, не пробивался я к Иерусали-

му, как предполагалось по нашему плану, а остался до конца в Иотапате.

— Глупости,—проворчал Веспасиан.—Никогда бы вам не пробиться к Иерусалиму.

— Я получал письма из Иерусалима и посылал письма,—вставил Иосиф,—значит, я смог бы и сам туда пробраться.

Тит со своего места у стола заметил с улыбкой:

— Мы перехватывали ваши письма, доктор Иосиф.

Тут скромно вмешался Павлин:

— В одном из перехваченных писем было написано: «Я продержусь в крепости Иотапата семижды семь дней». Мы над этим посмеялись. Но евреи продержались в крепости семь недель.

Всех охватило раздумье. Веспасиан, ухмыляясь, смотрел на Кениду.

— Что ж, Кенида...—сказал он,—в сущности, ведь этот молодчик и его трое невинных—причина того, что бог Марс, перед самым финалом, все же не оскандалился со своим дубовым побегом.

Маршал—человек просвещенный. Но почему бы ему, если это не нарушает его планов, и не поверить в предзнаменования? Конечно, люди не раз ошибались, толкуя такие предзнаменования, но существуют, с другой стороны, крайне убедительные рассказы о потрясающей прозорливости некоторых ясновидцев. Что касается лишнего образа еврейского бога, обитающего в своем загадочном святилище святих Иерусалимского храма, то почему, если от имени этого бога человеку сообщаются вещи, столь созвучные его собственным планам, непременно пропускать их мимо ушей? Веспасиан до сих пор и сам хорошенько не знал, хочет ли он идти на Иерусалим или нет. Правительство настаивает на том, чтобы поход был закончен этим же летом. Но, действительно, не только ему лично, а и в интересах государства будет жаль, если восточная армия, которую он теперь так хорошо вымуштровал, снова будет раздроблена и попадет в сомнительные руки. В сущности, этот парень с его упрямой Иотапатой оказал ему большую услугу, и бог, говорящий его устами, неплохой советчик.

Иосиф же расцвел, словно высохшее поле под дождем. Бог был милостив к нему: ясно, что полководец поверил. А почему бы и нет? Этот стоящий перед ним человек был действительно тем, о ком возведено, что он выйдет из Иудеи, чтобы править миром. Разве в Писании не сказано: «Ливан попадет в руки могущественного»? И еврейское слово «адир» —могущественный—не значило ли то же самое, что цезарь, император? Разве можно найти более подходящее, исчерпывающее определение для этого ши-

рокопличего, хитрого, спокойного человека? Иосиф склонил голову перед римлянином, склонил низко, приложив руку ко лбу. Обетование о мессии и древнее загадочное пророчество о том, что Ягве поразит Израиль, чтобы освободить его,—одно целое, и этот римлянин пришел, чтобы исполнить пророчество. Подобно оливке, дающей свое масло лишь тогда, когда ее жмут, Израиль дает лучшее только тогда, когда его угнетают, и того, кто его жмет и давит, зовут Веспасианом. Да, Иосиф нашел последний, заключительный аргумент. Его охватила глубокая уверенность, он чувствовал в себе силу защищать свое утверждение перед самыми хитроумными казуистами храмового университета. Иотапатская пещера была местом судорог и позора, но подобно тому, как человеческий плод выходит из крови и грязи, так и из нее родился хороший плод. Казалось, даже поры его кожи дышат надеждой и упованием.

Однако Кенида ходила вокруг пленника, чем-то недовольная.

— Это в нем страх перед крестом говорит,—бурчала она.—Я бы отправила его в Рим или Коринф. Пусть его судит император.

— Не отсылайте меня в Рим,—молил Иосиф.—Только вам одному надлежит решить мою судьбу и судьбу всех нас.

Он был опустошен усталостью, но это была счастливая усталость, он больше не страшился. Да, в глубине души он уже чувствовал свое превосходство над римлянином. Пусть он стоит перед Веспасианом, говорит смелые льстивые слова, склоняется перед ним, но он уже взял верх над этим человеком. Сам того не сознавая, Веспасиан являлся карающим бичом в руке божьей; он же, Иосиф, сознательное и благочестивое орудие божье. То предчувствие, которое охватило его, когда он впервые смотрел на Рим с Капитолия, все же странным образом исполнилось: он стал причастен к судьбам Рима. Веспасиан—человек, избранный богом, а Иосиф—человек, который должен его направлять согласно воле божьей.

Маршал сказал, и в его скрипучем голосе прозвучала легкая угроза:

— Но смотри берегись, еврей! А ты стенографируй как следует, сын мой. Может быть, нам когда-нибудь захочется этого господина поймать на слове. Вы можете мне также сказать,—обратился он к Иосифу,—когда осуществится мое мессианское торжество?

— Этого я не знаю,—отозвался Иосиф. И затем с внезапным порывом продолжал:—Держите меня до тех пор в цепях. Казните меня, если этого долго не произойдет. Но оно произойдет скоро. Я был верным слугой

«Мстителей Израиля», пока верил, что бог — в Иерусалиме и эти люди — его посланники. Я буду вам верным слугой, консул Веспасиан, теперь, когда я знаю, что бог в Италии и его посланец — вы.

Веспасиан сказал:

— Я беру вас из военной добычи лично к себе на службу. — И когда Иосиф хотел что-то ответить: — Подождите радоваться. Ваш священнический пояс вы можете на себе оставить, но на вас останутся также и цепи, пока не выяснится, много ли правды в вашем предсказании.

Императору и сенату маршал написал, что на этот год придется только закрепить достигнутое.

Поставленные Гессием сигнальщики все еще ждали на своих постах известий о падении Иерусалима. Веспасиан снял посты.

Книга третья

КЕСАРИЯ

✱

Иосифа, находившегося среди наиболее приближенных к Веспасиану людей, содержали просто, но не плохо. Фельдмаршал советовался с ним в вопросах, касавшихся еврейских обычаев и личных обстоятельств отдельных евреев, охотно допускал его к себе. Но он давал Иосифу понять, что его словам ни на минуту не верит до конца, частенько проверял их, иногда дразнил его и унижал довольно чувствительно. Иосиф переносил насмешки и унижения с вкрадчивой покорностью и старался всячески быть полезным. Он редактировал приказы маршала еврейскому населению, участвовал в качестве эксперта при спорах римских чиновников с местными властями и скоро стал необходимым.

Несмотря на то что Иосиф ради них лез из кожи, галилейские евреи считали его трусом и перебежчиком. А в Иерусалиме его, вероятно, ненавидели смертельной ненавистью. Правда, слухи из столицы доходили в занятую римлянами область очень глухо, но одно было известно достоверно: маккавеи стали там неограниченными хозяевами, они ввели режим террора и добились того, что Иосиф был подвергнут «великому отлучению». Под звуки труб было возведено: «Да будет проклят, испепелен, изгнан Иосиф бен Маттафий, бывший священник первой череды. Никто да не общается с ним. Никто да не спасет его из огня, из воды, от обвала и от всего, что может его уничтожить. Пусть каждый отказывается от его помощи. Пусть его книги считаются книгами лжепророка, его дети — ублюдками. Пусть каждый вспоминает его, когда произносится двенадцатое из восемнадцати молений — моление о проклятии, и если он кому встретится, пусть каждый отойдет от него на семь шагов, как от прокаженного».

Особенно красноречиво выразила свое отвращение к Иосифу Меронская община в Верхней Галилее, хотя она и находилась в занятой римлянами области и такое отношение было небезопасно. Именно здесь, в Мероне, чей-то голос некогда воскликнул: «Это он», — и меронцы залили

медью следы Иосифового коня Стрелы и объявили это место священным. Теперь же они сделали главной проезжей дорогой окольную, оттого что некогда, встречая Иосифа, засыпали главную дорогу цветами и листьями. С торжественной церемонией засеяли они травой то место, где была раньше главная дорога, дабы на пути, по которому ступал предатель, выросла трава и память о нем заглохла.

Узнав об этом, Иосиф сжал губы, сощурился. Оскорбление только укрепило в нем чувство собственного достоинства. Вместе со свитой Веспасиана прибыл он в Тивериаду. Здесь он некогда совершил деяние, предопределившее его судьбу, по этим улицам проезжал он гордый и пламенный, на своем коне Стреле, герой, вождь своего народа. Он принудил себя быть суровым. Он с гордостью носил свои цепи по улицам Тивериады, не обращая внимания на людей, плевавших при встрече с ним и обходивших его широким кругом с ненавистью и отвращением. Он не стыдился своей судьбы, превратившей его из диктатора Галилеи в римского раба, которого презрительно травят.

Но перед одним человеком его напускная гордость не могла устоять: перед Юстом и его немимым презрением. Когда Иосиф входил в комнату, Юст прерывал разговор на полуслове, с мукой отворачивал смугло-желтое лицо. Иосифу хотелось оправдаться. Этот человек, знавший так глубоко человеческое сердце, должен был его понять. Но Юст не допускал, чтобы Иосиф заговорил с ним.

Царь Агриппа принялся за восстановление своего разрушенного дворца. Иосиф узнал, что Юст бродит целыми днями по обширной территории новостройки. Все вновь и вновь поднимался Иосиф на холм, на котором возводился новый дворец, ища случая объясниться с Юстом. Наконец он застал его одного. Был ясный день в начале зимы. Юст сидел на каком-то выступе. Когда Иосиф заговорил, он поднял голову. Но тотчас натянул на голову плащ, словно ему было холодно, и Иосиф не знал, слышит он его или нет. Он стал убеждать Юста, просил, заклинал, старался все объяснить. Разве пламенное заблуждение не лучше худосочной правды? Разве не надо было пройти через опыт маккавеев, прежде чем их отвергнуть?

Юст молчал. Когда Иосиф кончил, он поднялся, поспешно, довольно неловко. Безмолвно, среди резкого запаха извести и свежего дерева, прошел он мимо просящего, удалился. Униженный и озлобленный, смотрел Иосиф, как тот, с некоторой усталостью и трудом, перелезает через большие камни, выбираясь со стройки первой попавшейся дорогой.

В городе Тивериаде нашлось немало людей, которые терпеть не могли Юста. В те военные времена разум не пользовался популярностью ни у местного греко-римского населения, ни у евреев. Юст же был разумен. Пока он был комиссаром города, он со страстным благоразумием старался поддерживать мир, служил посредником между евреями и неевреями. Но неудачно. Евреи находили в нем слишком много греческого, греки — слишком много еврейского. Греки ставили ему в вину недостаточно сильное противодействие Запите и то, что он допустил разрушение дворца. Они знали, что царь Агриппа очень уважает своего секретаря, и, когда город был вновь занят римлянами, молчали. Но теперь, ободренные присутствием римского маршала, они стали подавать жалобы, обвиняя еврея Юста в галилейском мятеже и в том, что этот мятеж принял такие размеры.

Царь Агриппа, вдвойне старавшийся в это смутное время доказать Риму свою преданность, не посмел встать на защиту своего чиновника. С другой стороны, полковник Лонгин, верховный судья Веспасиановой армии, придерживался того правила, что лучше казнить невинного, чем отпустить виновного. Поэтому обстоятельства складывались для Юста весьма неблагоприятно. Сам же Юст, полный высокомерия, озлобленности и презрения к людям, защищался вяло. Пусть царь покинет его. Он знает, кто виноват во всем, что произошло в Галилее. Что бы этот пустой и тщеславный субъект ни делал, все оборачивалось ему на пользу. Пусть его теперь ласкают римляне. Это суета. Все существо Юста до последней клетки было проникнуто горьким фатализмом.

Из внимания к царю Агриппе полковник Лонгин отнесся к делу весьма добросовестно. Он вызвал Иосифа в качестве свидетеля. Когда судьба Юста оказалась в руках Иосифа, тот почувствовал, что его терзают противоречивые желания. Юст заглянул в те тайники его сердца, где было всего грязнее,—и теперь от Иосифа зависело, чтобы этот человек исчез навсегда. Для всего и всех находил Юст исчерпывающее объяснение и извинение. Но для Иосифа — нет. Для Иосифа у него нашлось только молчание и презрение. Иосиф отбросил немалую долю своей гордости, научился терпению, ходил в цепях, но презрение проникает даже сквозь панцирь черепахи. Было так просто заставить обидчика исчезнуть навеки. Иосифу не пришлось бы даже лгать: достаточно, если его показания будут не теплы и не холодны.

Он говорил горячо и дал благоприятные для Юста показания. Убежденно и в достаточной мере обоснованно доказывал он, что никто с такой последовательностью не

стоял за мир и за римлян, как этот доктор Юст. И те, кто его обвиняет,— лжецы или дураки.

Полковник Лонгин передал показания Иосифа фельд-маршалу. Веспасиан засопел. Он внимательно наблюдал за пленником и чувал, что Иосиф и Юст сводят личные счеты. Но до сих пор он ни разу не смог уличить своего умного еврея в ложных показаниях. А вообще этот доктор Юст—типичный литератор и философ и потому не опасен. Маршал прекратил расследование, передал Юста в распоряжение его начальника, царя Агриппы.

Царь Агриппа держался со своим испытанным секретарем вежливо и виновато. Юст отлично видел, насколько он для Агриппы неудобен. Он усмехнулся, он знал людей. И предложил отправиться в Иерусалим, отстаивать там права Агриппы, и в течение зимы, так как военные действия приостановлены, поработать в пользу мира. Теперь, когда в Иерусалиме безраздельно властвовали «Мстители Израиля», подобное предприятие было не только безнадежно, но и опасно. Никто не ждал, что секретарь вернется оттуда живым.

Юст отправился с фальшивыми документами. Иосиф стоял у дороги, когда он уезжал. Юст проехал мимо него, все так же не глядя, молча.

В Кесарии, во время большой летней ярмарки, Иосиф встретился со стеклодувом Алексием из Иерусалима, сыном Нахума. Иосиф ждал, что Алексий, подобно большинству евреев, обойдет его стороною. Однако Алексий прямо направился к нему, поздоровался. Ни цепи Иосифа, ни великое изгнание не помешали Алексию заговорить с ним.

Алексий пошел рядом, как обычно, статный и плотный, но его глаза были еще печальнее и озабоченнее. Ускользнуть из Иерусалима ему удалось только с опасностью для жизни, ибо маккавеи с оружием в руках препятствовали людям уходить из города и отдаваться в руки римлян. Да, теперь в Иерусалиме царили безумие и насилие. Разделавшись почти со всеми умеренными, «Мстители Израиля» начали грызться между собой. Симон бар Гиора взял верх над Элеазаром, Элеазар—над Иоанном Гисхальским, Иоанн—опять над Симоном, а объединились они все только против одного: против разума. Если все это трезво учесть, то риск поездки в Кесарию перевесит возможные выгоды. Ибо он, Алексий, имеет твердое намерение вернуться в Иерусалим. Он решил продолжать жить там, несмотря на то что город задыхается от безумия и ненависти маккавеев. Конечно, с его стороны это глупость. Но он любит отца и братьев, он не может жить без них, не хочет бросать их на произвол

судьбы. Однако за последние дни он был уже не в силах выносить атмосферу этого взбесившегося города. Он почувствовал, что ему необходимо подышать свежим воздухом, убедиться собственными глазами, что мир еще не весь сошел с ума.

По сути дела, Алексей, стоя сейчас здесь с Иосифом и разговаривая с ним, нарушает запрет, и если об этом узнают в Иерусалиме, то маккавеи заставят его жестоко поплатиться. Ведь на Иосифе, конечно, тоже лежит немалая ответственность за то, что случилось в Галилее. Он мог бы многое предотвратить. Но кое-что он исправил. По крайней мере, он, Алексей, считает огромной заслугой, победой разума то, что Иосиф не умер вместе с остальными в Иотапате, а, смирившись, склонил голову перед римлянами. «Живой пес лучше мертвого льва», — процитировал он.

Правда, в Иерусалиме смотрят на это иначе, продолжал он с горечью и рассказал Иосифу, как там было встречено падение крепости Иотапаты. Сначала поступило сообщение, что при взятии крепости Иосиф тоже погиб. Весь город принял участие в траурном чествовании памяти героя, благодаря которому крепость продержалась так невероятно долго. Алексей подробно описал, как в доме старого Маттафия, в присутствии первосвященника и членов Великого совета, была торжественно опрокинута кровать, на которой некогда спал Иосиф. И как затем отец Алексия, Нахум бен Нахум, в разодранных одеждах и с посыпанной пеплом головой, отнес по поручению граждан старому Маттафию в предписанной законом ивовой корзине поминальное блюдо чечевицы. И как весь Иерусалим присутствовал при том, когда старик Маттафий в первый раз прочел каддиш, молитву об усопших, прибавляя те три слова, которые разрешено произносить только тогда, когда в Израиле умирает великий человек.

— А потом? — спросил Иосиф.

Алексий улыбнулся своей фатальной улыбкой. Ну, разумеется, потом, когда стало известно, что Иосиф жив и отдался на милость победителя, поворот в настроении Иерусалима оказался тем сильнее. Кару отлучением предложил именно друг детства Иосифа, доктор Амрам, и лишь очень немногие из членов Великого совета осмелились высказаться против; среди них, конечно, был и Иоханан бен Заккай. Когда со ступеней, ведущих в святая святых, изрекли проклятие Иосифу и отлучение, в залах храма набралось народу не меньше, чем на праздник пасхи.

— Не принимайте этого близко к сердцу, — сказал Алексей Иосифу, улыбнулся сердечной улыбкой, и из чащи его квадратной черной бороды сверкнули здоровые

зубы, белые, крупные.—Тот, кто станет на сторону разума, обречен страдать.

Он простился с Иосифом. Статный, плотный, с озабоченным румяным лицом, зашагал он среди лавок. Потом Иосиф видел, как он купил толченого кварца и нежно провел по тонкой кварцевой пыли; он был, видимо, давно лишен этого драгоценного материала, необходимого для его любимого искусства.

Иосиф часто вспоминал об этом разговоре, и притом с двойственным чувством. Еще живя в Иерусалиме, он считал, что Алексей в своих суждениях разумнее своего отца, но сам он, Иосиф, был сердцем скорее с упрямым Нахумом и против мудрого Алексея. Теперь все против него самого, и только мудрый Алексей на его стороне. Эта цепь, к которой он, как ему казалось, привык, сейчас давила, сдирала кожу. Разумеется, Проповедник прав, говоря, что живой пес лучше мертвого льва. Но иногда он жалел о том, что не погиб в Иотапате вместе с остальными.

Генерал-губернатор Сирии, Марк Лициний Красс Муциан, взволнованно ходил по обширным залам своего Антиохийского дворца. Он был убежден, что на этот раз Веспасиан не найдет никаких отговорок, чтобы отложить поход. После того как террор «Мстителей Израиля» уничтожил в Иерусалиме всех умеренных, «Мстители Израиля» сцепились между собой. В Иерусалиме — гражданская война, сомневаться в полученных вестях не приходится. Нелепо упускать такой удачный момент; Веспасиану следует двинуться на город, взять его, кончить войну. С жгучим нетерпением ждал Муциан сообщений от военного совета, который должен был теперь, в конце зимы, дать директивы для весенней кампании. И вот оно лежало перед ним, это сообщение. Огромное большинство членов совета и даже сын Веспасиана, молодой генерал Тит, были того мнения, что нужно идти на Иерусалим немедленно. Но этот экспедитор, этот бессовестный, корявый навозник придумал новую штучку. Вражда-де евреев между собой, доказывал он, сделает город в очень скором времени зрелым для того, чтобы взять его с гораздо меньшими жертвами, чем сейчас. Идти на Иерусалим в данный момент — значило бы пролить даром кровь доблестных римских легионеров, тогда как эту кровь можно сберечь. Он — за то, чтобы выждать и сначала занять никем не оккупированный юг. Он хитер, этот Веспасиан. Как ни скуп, а на отговорки тороват. И так скоро он своего командования не сдаст.

Заложив палку за спину, вытянув шею и повернув вбок костлявую голову, охваченный яростью, щуплый

Муциан бегал взад и вперед. Он уже не молод, ему перевалило за пятьдесят; позади — жизнь, проведенная в блистательных и нераскаянных пороках, богатая исследованиями неиссякаемых чудес природы, — жизнь, полная власти и срывов, богатства и банкротств. И вот теперь, когда он еще в полной силе, он стал хозяином этой глубоко волнующей, древней Азии, и ярость клокотала в нем оттого, что лукавый молодой император заставил его делить столь лакомый кусок именно с этим отвратительным мужиком. Уже почти целый год терпит он мошенника-экспедитора рядом с собой, на положении равного. Но теперь — хватит. Намерения маршала, так же как и намерения императора, он, конечно, видит насквозь. Но этот тип больше не будет стоять у него поперек дороги. Веспасиан должен убраться из его Азии, должен, должен. Пора наконец покончить с этой идиотской иудейской войной.

Поспешно и гневно продиктовал Муциан целую пачку писем — императору, министрам, расположенным к нему сенаторам. Совершенно непонятно, почему фельдмаршал и теперь, к началу лета, после стольких приготовлений, когда противник ослаблен внутренними раздорами, все еще не считает город Иерусалим созревшим для штурма. Муциан не хочет вдаваться в горестные размышления о том, насколько подобное затягивание войны подрывает планы Александра похода. Несомненно одно: если эта стратегия затягивания еще продлится, то престиж императора, сената и армии будет поставлен на карту на всем Востоке.

Момент, когда письма Муциана прибыли в Рим, был для его намерений весьма неблагоприятным. Из западных провинций только что пришли донесения о гораздо более важных и тягостных неудачах. Губернатор в Лионе, некий Виндекс, восстал, и на его стороне были, по-видимому, симпатии всей Галлии и Испании. Депеши приносили тревожные вести. Доклад Муциана встретил искреннее и полное сочувствие только у одного человека, а именно у министра Талассия. Старик считал личным оскорблением со стороны Веспасиана, что генерал так медлит с разрушением Иерусалима. И он ответил Муциану: он понимает его и вполне с ним согласен.

Получив этот ответ, генерал-губернатор решил переговорить с экспедитором лично и поехал в его штаб, в Кесарию.

Маршал принял его, ухмыляясь, видимо довольный. Втроем возлежали они за столом — Веспасиан, Тит, Муциан, ведя искреннюю беседу. Постепенно, за десертом, перешли на политику. Муциан подчеркнул, что отнюдь не намерен вмешиваться в чужие дела; Рим и римские

министры — вот кто настаивает на скорейшем окончании похода. Он лично прекрасно понимает мотивы маршала, но, с другой стороны, желание Рима представляется ему настолько важным, что он готов отдать несколько полков из собственных сирийских легионов, только бы Веспасиан двинулся на Иерусалим. Молодой генерал Тит, жаждавший наконец выказать себя солдатом, горячо присоединился к Муциану:

— Сделай это, отец, сделай! Мои офицеры горят желанием, все войско горит желанием взять Иерусалим.

Веспасиан отметил с удовольствием, как на умном лице Муциана, опустошенном пороками, страстью к наживе и честолюбием, появилось выражение живой симпатии к его сыну, причем здесь было и искреннее сочувствие и нетерпение. Маршал улыбался. Несмотря на всю привязанность к Титу, он не открыл ему своих истинных мотивов. В глубине души он был уверен, что юноша догадывается о них не хуже, чем этот хитрый Муциан или его еврей Иосиф; но он был рад, что Тит высказался с такой горячностью. Тем легче будет ему самому прикрывать свои личные доводы объективными.

Позднее, когда он остался с Муцианом наедине, тот извлек письмо министра Талассия. Веспасиан почувствовал прямо-таки уважение к такой настойчивости. Он отвратителен, но умен; с ним можно говорить откровенно. Поэтому Веспасиан сделал отрицательный жест:

— Оставьте, генерал. Я вижу, вы хотите сообщить мнение какого-нибудь влиятельного римского пакоstickника, уверяющего вас, что Рим погибнет, если я сию же минуту не пойду на Иерусалим. — Он придвинулся к Муциану, сопя, задышал ему в лицо, так что Муциану понадобилась вся его выдержка, чтобы не отодвинуться, и добродушно заявил: — Знаете, уважаемый, если даже вы покажете еще десять таких писем, я и не подумаю это сделать. — Он выпрямился, кряхтя, погладил свою подагрическую руку, пододвинулся к гостю совсем вплотную, доверчиво сказал: — Послушайте-ка, Муциан, мы с вами прошли огонь, и воду, и медные трубы, нам незачем друг другу втирать очки. Мне противно становится, когда я смотрю на вас и вижу ваше деревянное лицо и вашу палку за спиной, а вас с души воротит, когда вы слышите мое сопение и запах моей кожи. Ведь верно?

Муциан любезно ответил:

— Пожалуйста, продолжайте.

И Веспасиан продолжал:

— Но, к сожалению, мы с вами впряжены в одну повозку — дьявольски хитрая идея его величества. Итак, не следует ли нам тоже быть хитрыми? Дромадер и буйвол плохая пара, когда они в одной упряжке, греков и

евреев можно с успехом натравить друг на друга. Ну, а если мы с вами... если объединятся два старых стреляных воробья, что вы на этот счет думаете?

Муциан судорожно и нервно заморгал.

— Я внимательно слежу за ходом ваших мыслей, консул Веспасиан,—сказал он.

— У вас есть вести с Запада?—в упор спросил Веспасиан, и его светлые глаза приковались к собеседнику.

— Вы хотите сказать—из Галлии?—ответил вопросом Муциан.

— Я вижу, что вы в курсе,—усмехнулся Веспасиан.— Вам, право, незачем показывать мне письмо вашего римского интригана. У Рима сейчас другие заботы.

— А что вы можете сделать с вашими тремя легионами?—смущенно сказал Муциан. Он отложил палку и маленькой холеной рукой вытер пот с верхней губы.

— Верно,—добродушно согласился Веспасиан.— Поэтому я и предлагаю вам соглашение. Ваши четыре сирийских легиона—шваль, но вместе с моими тремя хорошими—это все-таки составит семь. Давайте держать наши семь легионов вместе, пока не выяснится ситуация на Западе.—И так как Муциан молчал, он продолжал убеждать его весьма разумно:—Пока она не выяснится, вы же от меня не отделаетесь. Так будьте благоразумнее.

— Спасибо вам за ваши откровенные и убедительные разъяснения,—отозвался Муциан.

Считалось, что в течение ближайших недель Муциана удерживают в Иудее его научные интересы, ибо он работал над большим исследованием, посвященным географии и этнографии Римской империи, а Иудея полна достопримечательностей. Молодой Тит сопровождал генерал-губернатора во время его экскурсий, был крайне предупредителен, нередко стенографировал рассказы старожитов. Тут был и Иерихонский источник, воды которого в древности убивали не только плоды земли и деревьев, но и плод в чреве женщины и вообще несли смерть и уничтожение всему живому, пока некий пророк Елисей страхом божьим и священнической мудростью не очистил его, и теперь этот источник действует как раз в обратном смысле. Осматривал Муциан и Асфальтовое озеро, или Мертвое море, в котором не тонут даже самые тяжелые предметы,—оно сейчас же выталкивает их обратно, если даже силой окунуть их в воду. Муциан потребовал, чтобы ему это продемонстрировали; он приказал бросать в воду не умеющих плавать людей со связанными на спине руками и с интересом следил за тем, как их носило по поверхности моря. Затем ездил на обширные содомские поля, искал следы небесного огня, видел в озере призрач-

ные очертания пяти затонувших городов, срывал плоды, цветом и формой походившие на съедобные, но рассыпавшиеся прахом и пылью, едва их срывали.

Будучи крайне любознательным, он обо всем расспрашивал, все записывал и приказывал записывать. Однажды он нашел в соборной рукописи записи, сделанные его рукой, хотя прекрасно знал, что не делал их. Выяснилось, что их автор — Тит. Да, этот молодой человек обладал способностью так быстро и глубоко вживаться в почерк других людей, что эти люди не могли потом отличить подделки от написанного ими самими. Муциан задумчиво попросил Тита написать несколько строк почерком его отца. Тот это сделал, и оказалось, что действительно невозможно отличить подражание от подлинника.

Но самым замечательным, что видел и пережил Муциан в эти иудейские недели, это была встреча с военнопленным ученым и генералом Иосифом бен Маттафием. В первые же дни своего пребывания в Кесарии губернатор обратил внимание на пленного еврея, который скромно ходил по улицам Кесарии, закованный в цепи, и вместе с тем бросался всем в глаза. Веспасиан отвечал на его вопросы с непонятной неохотой. Но все же не мог помешать любопытному Муциану подолгу беседовать со священником Иосифом. Муциан делал это часто; он вскоре заметил, что Веспасиан обращается к пленному как к своего рода оракулу, чьими высказываниями в сомнительных случаях руководствовался, конечно, ничем не выдавая самому пленному его роли. Муциана это заинтересовало, ибо он считал маршала ничтожным рационалистом. Он говорил с Иосифом обо всем на свете и не уставал удивляться тому, как своеобразно видоизменила восточная мудрость греческое мировоззрение этого еврея. Муциан знал жрецов всевозможных религий: Митры и Ома, жрецов-варваров британской Сулис и германской Росмерты; этот священник Ягве, как ни мало отличался внешне от римлян, привлекал его больше других.

Вместе с тем он по возможности старался выяснить свои отношения с маршалом. Веспасиан оказался прав: пока дела на Западе и в Риме не уладятся, интересы двух восточных начальников — сирийского губернатора и верховного главнокомандующего в Иудее — полностью совпадают. Веспасиан, со своей грубой прямоотой, установил точно, до каких границ должна дойти на практике эта общность интересов. Ни один не должен без согласия другого предпринимать какие-либо важные политические или военные действия; но в своих официальных донесениях Риму они будут по-прежнему интриговать друг против друга, правда, теперь уже сговорившись.

Скуповатый Веспасиан побаивался, как бы расточи-

тельный и жадный губернатор не потребовал от него при отъезде слишком дорогого подарка. А Муциан потребовал только военнопленного еврея Иосифа. Маршал, сначала удивленный такой скромностью, хотел было согласиться. Затем передумал: нет, он своего еврея не отдаст.

— Вы ведь знаете,—добродушно улыбнулся он Муциану,—экспедитор скуп.

Однако губернатору удалось, по крайней мере, добиться того, что маршал согласился отпустить с ним Тита погостить в Антиохию. Маршал тотчас понял, в чем дело: Тит должен служить своего рода залогом того, что Веспасиан будет выполнять их соглашение. Но это его не оскорбляло. Он дал Муциану свиту, сопровождавшую его до корабля, уходящего в Антиохию. Прощаясь, Муциан сказал обычным вежливым тоном:

— Ваш сын Тит, консул Веспасиан, унаследовал только все ваши положительные качества и ни одного отрицательного.

Веспасиан, засопев, ответил:

— А у вас, ваше превосходительство, к сожалению, нет никакого Тита.

В кесарийских доках Веспасиан осматривал военнопленных, которых предстояло продать с аукциона. Капитан Фронтон, начальник складов, приказал наспех заготовить список пленных. Их было около трех тысяч. У каждого на шее висела дощечка, где были записаны его номер, равно как и возраст, вес, болезни, а также индивидуальные способности, если они имелись. Торговцы расхаживали перед ними, заставляя пленных вставать, поднимать руки, открывали им рот, ощупывали, торговались: плохой товар, завтра аукцион будет неважный.

Веспасиан взял с собой нескольких офицеров, Кениду, а также своего еврея Иосифа, которого он использовал как переводчика, чтобы разговаривать с пленными. Он хотел получить десять рабов из военной добычи и намеревался отобрать их сам, прежде чем весь товар поступит на рынок. Кенида подыскивала парикмахершу и красивого мальчика, чтобы прислуживать за столом. Практичный Веспасиан хотел, наоборот, выбрать парочку крепких парней, чтобы отправить их батраками в свои италийские поместья.

Он был в хорошем настроении, острил по поводу рабов-евреев:

— Они чертовски капризны со всеми их субботами, праздниками, дозволенной и недозволенной пищей и всей этой чепухой. Разрешить им выполнять их религиозные предписания — и приходится молчать, когда они полжизни

бездельничают; не позволишь — они начинают упорствовать. В сущности, они годны только на то, чтобы их перепродать другим евреям. Я задавал себе вопрос, — вдруг обратился он к Иосифу, — не перепродать ли мне и вас вашим землякам? Правда, они предложили гроши — как видно, у них избыток пророков.

Иосиф улыбнулся тихо и смиренно. Но в душе он вовсе не улыбался. Из отрывков разговоров он понял, что госпожа Кенида, которая его терпеть не могла, пыталась, за спиной Веспасиана, перепродать его генерал-губернатору Муциану. Вежливый, интересующийся литературой Муциан, наверное, не позволил бы себе таких грубых шуток над ним, как маршал. Но Иосиф чувствовал себя у этого маршала в долгу. Господь приковал Иосифа именно к нему, здесь таится его счастливая судьба, и, когда Веспасиан пошутил относительно перепродажи, он улыбнулся натянутой, кривой улыбкой.

Они натолкнулись на группу женщин. Женщинам только что дали есть; с жадностью и все же с какой-то странной тупостью глотали они чечевичный суп, жевали сладкие стручки. Это был первый по-настоящему жаркий день, кругом стояла духота и вонь. Пожилым женщинам, годным лишь для работы, оставили их платья, более молодые были обнажены. Среди них находилась и совсем молоденькая девушка, стройная, но не худая. Она не притронулась к пище и сидела, скрестив ноги, съежившись, обхватив руками щиколотки, наклонившись вперед, чтобы скрыть свою наготу. Так сидела она, очень робкая, и ее большие глаза пристально смотрели на мужчин затравленным, укоризненным взглядом.

Веспасиан обратил внимание на эту девушку. Он пробрался к ней сквозь толпу женщин, тяжело сопя от жары. Схватил сидевшую девушку за плечи, выпрямил ей спину. Испуганная, оробевшая, она подняла на него глаза.

— Вставай, — резко приказал капитан Фронтон.

— Пусть сидит, — отозвался Веспасиан. Он наклонился, поднял деревянную дощечку, висевшую у нее на груди, прочел вслух: — «Мара, дочь Лакиша, служителя при кесарийском театре, четырнадцать лет, девственница». — Так вот, — сказал он с кряхтением, снова выпрямляясь.

— Ты встанешь, сука? — зашипел надзиратель. Видимо, она от страха не понимала, чего от нее требуют.

— По-моему, ты должна встать, Мара, — мягко сказал Иосиф.

— Оставьте ее, — бросил вполголоса Веспасиан.

— Может быть, пойдем дальше? — спросила Кенида. — Или ты хочешь ее взять? Не знаю, годится ли она в

коровницы.—Госпожа Кенида ничего не имела против того, чтобы Веспасиан развлекался, но она любила сама выбирать предмет этих развлечений. Девушка встала. Нежно и четко означилось ее овальное личико на фоне длинных, очень черных волос, полногубый рот с большими зубами несколько выдавался вперед. Беспомощная, нагая, юная, жалкая, стояла она, поворачивая голову то вправо, то влево.

— Спросите ее, не обучена ли она какому-нибудь искусству?—обратился Веспасиан к Иосифу.

— Этот знатный господин спрашивает, не владеешь ли ты каким-нибудь искусством,—обратился Иосиф к девушке ласково и бережно.

Мара дышала бурно, прерывисто, проникновенно посмотрела она на Иосифа удивленными глазами. Вдруг приложила руки ко лбу и низко поклонилась, но не ответила.

— Не пойти ли нам дальше?—спросила Кенида.

— Мне кажется, тебе следует ответить нам, Мара,—мягко убеждал девушку Иосиф.—Этот знатный господин спрашивает, не владеешь ли ты каким-нибудь искусством,—повторил он терпеливо.

— Я знаю наизусть очень много молитв,—сказала Мара. Она говорила робко, ее голос звучал странно глухо, приятно.

— Что она говорит?—осведомился Веспасиан.

— Она умеет молиться,—пояснил Иосиф.

Остальные рассмеялись. Веспасиан не смеялся.

— Так, так,—пробормотал он.

— Разрешите прислать вам девушку?—осведомился капитан Фронтон.

Веспасиан колебался.

— Нет,—отозвался он наконец,—мне нужны рабочие для имений.

Вечером Веспасиан спросил Иосифа:

— Ваши женщины много молятся?

— Наши женщины воспитываются не для молитв,—пояснил Иосиф.—Они обязаны соблюдать запреты, но не повеления. У нас есть триста шестьдесят пять повелений, по числу дней в году, и двести сорок восемь запретов, по числу костей в человеке.

— Ну, этого хватит за глаза,—заметил Веспасиан.

— А ты думаешь, она действительно девственница?—спросил он немного спустя.

— За нецеломудренность наш закон наказывает женщину смертью,—сказал Иосиф.

— Закон!—пожал плечами Веспасиан.—Девушка-то, может быть, и заботилась о соблюдении вашего закона, доктор Иосиф,—пояснил он свою мысль,—но мои солда-

ты — едва ли. Должен сказать, я буду очень удивлен, если окажется, что она и в данном случае не нарушила дисциплины. Вся беда в ее больших коровьих глазах. В таких глазах может таиться что угодно. Вероятно, там ничего и не таится, как всегда в вашей стране. Все — только патетическая декорация, а приглядишься поближе — и нет ничего. Ну, как насчет вашего предсказания, господин пророк? — спросил он с неожиданной злостью. — Если бы я вас отправил в Рим, вас, вероятно, давно бы осудили и вы рылись бы где-нибудь в сардинских копиях, вместо того чтобы любезничать здесь с хорошенькими евреечками?

Но Иосифа мало трогали шутки маршала. Он уже давно заметил, что не один он не свободен в своих действиях.

— Генерал-губернатор Муциан, — возразил он с грубоватой вежливостью, — уплатил бы стоимость, по крайней мере, двух десятков горнорабочих, если бы вы меня уступили ему. Не думаю, чтобы мне плохо жилось в Антиохии.

— Что-то я тебя распустил, еврей, и ты обнаглел, — сказал Веспасиан.

Иосиф переменял тон.

— Моя жизнь была бы разбита, — сказал он горячо, смиренно и убежденно, — если бы вы меня отправили. Верьте мне, консул Веспасиан: вы спаситель, и Ягве послал меня к вам, чтобы повторять вам все это вновь и вновь. Вы спаситель, — повторил он упрямо, страстно и настойчиво.

Лицо Веспасиана было насмешливо, слегка недоверчиво. Против его воли пламенные заверения этого человека проникали в его старую кровь. Его сердило, что он все вновь и вновь выжимает из еврея эти пророчества. Он слишком свыкся с таинственным, уверенным голосом, слишком тесно связал себя с этим евреем.

— Если твой бог не поторопится, — поддразнивал он Иосифа, — то мессия, когда он наконец придет, будет иметь довольно дряхлый вид.

Иосиф, сам не зная, откуда черпает эту уверенность, ответил спокойно и непоколебимо:

— Если до середины лета не произойдет ничего, что в корне изменит ваше положение, консул Веспасиан, тогда продайте меня, пожалуйста, в Антиохию.

Веспасиан с наслаждением впитывал в себя Иосифовы слова. Но он не желал этого показывать и переменял тему.

— Ваш царь Давид клал себе в постель горячих молодых девушек. Он был не дурак полакомиться. Думаю, что и все вы не прочь полакомиться. Как у вас

обстоит дело? Вы, наверное, можете кое-что порассказать на этот счет?

— У нас говорят,— пояснил Иосиф,— что если мужчина поспал с женщиной, то семь новолуний бог не говорит из него. Пока я писал свою книгу о Маккавеях, я не прикасался к женщине, пока я был начальником Галилеи, я не прикоснулся ни к одной.

— Но это вам мало помогло,— заметил Веспасиан.

На следующий день маршал велел приобрести для него на аукционе девушку Мару, дочь Лакиша. Ее привели к нему в тот же вечер. На ней еще был тот венок, который надевался при продаже с аукциона, но, по приказу капитана Фронтонa, ее выкупали, умастили благовониями и одели в одежды из прозрачного флера. Веспасиан осматрел ее с головы до ног светлыми суровыми глазами.

— Идиоты,— выругался он,— жирнолобые! Они наряжали ее, как испанскую шлюху. За это я бы не отдал и ста сестерциев.

Девушка не понимала, что говорит этот старик. На нее обрушилось столько неожиданного, что она теперь стояла перед ним безмолвно и робко. Иосиф заговорил с ней на ее родном арамейском языке, мягко, бережно; она нерешительно отвечала своим низким голосом. Веспасиан терпеливо слушал чуждый, гортанный говор. Наконец Иосиф объяснил ему:

— Она стыдится, потому что нага. У нас нагота — тяжкий грех. Женщина не должна показываться нагой, даже если врач скажет, что это спасет ей жизнь.

— Идиотство! — констатировал Веспасиан.

Иосиф продолжал:

— Мара просит князя, чтобы он приказал дать ей платье из цельного четырехугольного куска и чтобы он приказал дать ей сетку для волос и надушенные сандалии для ног.

— По мне, она и так хорошо пахнет,— заявил Веспасиан.— Да ладно. Пусть получает.

Он отослал ее — пусть сегодня не возвращается.

— Я могу ведь и подождать,— интимным тоном объяснил он Иосифу.— Ждать я научился. Я охотно откладываю хорошие вещи, прежде чем ими насладиться. И в еде и в постели, во всем. Мне тоже пришлось ждать, пока я не получил этого места.— Он, кряхтя, потер подагрическую руку, заговорил еще откровеннее: — Как ты считаешь — в этой еврейской девушке что-то есть? Она робка, она глупа, разговаривать с ней я тоже не могу. Непробужденность, конечно, очень мила, но здесь, черт побери,

можно достать и более красивых женщин. Кто его знает, почему находишь прелесть именно вот в таком зверьке.

Но и Иосифа очаровала девушка Мара. Он знал их, этих галилейских женщин: они медлительны, застенчивы, печальны, но когда они расцветают, то в них открываются богатые и щедрые чувства.

— Она говорит,—обратился он с необычайной прямо-той к римлянину,—что питалась одними стручками. И это, вероятно, правда. У нее, у этой Мары, дочери Лакиша, не будет особых оснований произносить благо-словение, когда она получит свое новое четырехугольное платье.

Веспасиан рассердился:

— Сентиментальничаете, еврей мой? Вы начинаете меня раздражать. Слишком много о себе воображаете. Если хочешь взять девочку к себе в постель, вы требуете таких приготовлений, точно это военный поход. Я тебе вот что скажу, мой пророк: научи ее немного по-латыни, поговори с ней завтра утром. Но смотри не пытайся познакомиться до меня, чтобы не пострадал твой пророческий дар.

На другой день Мару привели к Иосифу. На ней было обычное четырехугольное платье из цельного куска, темно-коричневое, с красными полосами. У маршала оказался верный нюх. Чистый овал ее лица, низкий блистательный лоб, удлиненные глаза, пышный выпуклый рот—все это при скромной одежде стало гораздо очевиднее, чем при нарядной наготе.

Иосиф бережно расспрашивал ее. Ее отец, вся семья—погибли. Оттого, думала девушка Мара, что отец провел жизнь в грехах, и даже она, казалось ей, несет наказание за его грехи. Лакиш бен Симон служил при кесарийском театре. До поступления на это место он советовался с несколькими священниками и учеными, и они ему, правда колеблясь, все же разрешили зарабатывать свой хлеб таким способом. Но другие стали им благочестиво возмущаться. Мара верила этим благочестивым людям—она слышала речи маккавеев; работа ее отца греховна, она сама—отверженная. И вот ей пришлось стоять нагой перед необрезанным, римляне забавлялись ее наготой. Почему Ягве не дал ей умереть раньше? Тихо жаловалась она своим низким голосом, ее пышный рот произносил смиренные слова, юная, сладостная, созревшая, сидела она перед Иосифом. «Цветущий вертоград»,—подумал он. И вдруг ощутил в себе мощное желание, его колени ослабели, как тогда, когда он лежал в иотапатской пещере. Он смотрел на девушку, она не отводила от него своих удлиненных настойчивых глаз, ее рот слегка рас-

крылся, до него донеслось ее свежее дыхание. Иосиф очень сильно желал ее. А она продолжала:

— Что же мне делать, доктор и господин мой? Для меня большое утешение, большая милость, что бог даровал мне слышать ваш голос.— И она улыбнулась.

Эта улыбка вдруг вызвала в Иосифе бешеную, беспредельную ярость против римлянина. Он рванул свои окофы—смирился, рванул—смирился. И он должен содействовать тому, чтобы эта вот девушка досталась ненасытному римлянину, зверю!

Вдруг Мара встала. Продолжая улыбаться, легконогая, в плетеных, надушенных сандалиях, заходила она взад и вперед.

— В субботу я всегда надевала надушенные сандалии. Если в субботу нарядно оденешься, это хорошо, и бог это человеку засчитывает. Правильно я сделала, что потребовала от этого римлянина надушенные сандалии?

Иосиф сказал:

— Послушай, Мара, дочь Лакиша, девственница, моя девушка.— И он осторожно попытался ей объяснить, что оба они посланы богом к этому римлянину с одинаковой целью. Он говорил с ней о девушке Эсфири, посланной богом к царю Артаксерксу, чтобы спасти ее народ, и о девушке Ирине, предстоявшей перед царем Птолемеем.— Твоя задача, Мара, понравиться римлянину.

Но Маре было страшно. Этот богохульник, необрезанный, который будет наказан в долине Гинном, этот старик... Ей стало гадко, жутко. Иосиф с яростью в сердце и на себя, и на того, другого, убеждал ее нежно и бережно, подготавливал это лакомство для римлянина.

На другое утро Веспасиан рассказал грубо и откровенно, что у них было с Марой. Немножко стыда и страха даже не мешает, но эта девушка тряслась всем телом, она была почти в обмороке, а потом долго лежала застывшая и неподвижная. Он уже старик, у него ревматизм, она слишком для него утомительна.

— Потом она, видимо, напичкана суевериями: когда я ее трогаю, ей кажется, что ее пожирают демоны или что-нибудь в этом роде. Тебе это лучше знать, еврей мой. Послушай, укроти ты мне ее. Хочешь? Впрочем, как сказать по-арамейски: будь нежна, моя девочка, не будь глупа, моя голубка, ну, поласковее?— Когда Иосиф снова увидел Мару, она действительно казалась окаменевшей. Слова машинально выходили из ее уст, она напоминала раскрашенный труп. Иосиф хотел к ней приблизиться, но она отпрянула и закричала, словно прокаженная, в беспомощном ужасе:

— Нечистая! Нечистая!

Еще не наступила середина лета, а из Рима пришли важные вести. Восстание на Западе удалось, сенат низложил императора, и Нерон, пятый Август, не без достоинства покончил с собой, предоставив окружающим созерцать это величественное зрелище. Теперь хозяевами мира стали командующие армиями. Веспасиан ухмылялся. Он был лишен патетики, но все же воспрянул духом. Хорошо, что он последовал внутреннему голосу и не спешил закончить поход. Теперь у него три сильных легиона, а с Муциановыми—семь. Он ухватил Кениду за плечи, сказал:

— Нерон мертв. Мой еврей не дурак, Кенида!

Они глядели друг на друга, их грузные тела раскачивались взад и вперед, тихонько, равномерно, оба они улыбались.

Когда до Иосифа дошла весть о смерти Нерона, он встал с места, очень медленно выпрямился. Он еще молод, ему всего тридцать один год, и он испытал больше превратностей судьбы, чем обычно выпадает на долю человеку его возраста. И вот он стоял, дышал, трогал свою грудь, слегка приоткрыв рот. Он поверил тому, что Ягве в нем, он играл в весьма опасную игру, и он ее не проиграл. С трудом надел он закованной рукой свою жреческую шапочку, произнес благодарственную молитву: «Благословен ты, Ягве, господи наш, что дал нам дожить и пережить этот день». Затем тяжело, медленно поднял правую ногу, левую, стал плясать, как плясали перед народом его великие люди в храме, в веселый праздник водочерпания. Он притопнул, цепь зазвенела, он скакнул, прыгнул, притопнул, попытался ударить в ладоши, хлопнуть себя по бедрам. В его палатку вошла девушка Мара и остановилась, пораженная, испуганная. Он не остановился, он продолжал плясать, бесновался, кричал:

— Смейся надо мной, Мара, дочь Лакиша, смейся, как смеялась над плясуном Давидом его враг, жена его Мелхола! Не бойся! Это не сатана, архиплясун, это царь Давид пляшет перед ковчегом Завета.

Так праздновал доктор и господин Иосиф бен Маттафий, священник первой череды, то, что бог не посрамил его пророчества.

Вечером Веспасиан сказал Иосифу:

— Вы можете теперь снять цепь, доктор Иосиф.

Иосиф ответил:

— Если разрешите, консул Веспасиан, я пока ее не сниму. Я хочу ее носить, пока ее не разрубит император Веспасиан.

Веспасиан осклабился.

— Вы смелый человек, мой еврей,—сказал он.

Иосиф, возвращаясь домой, беззвучно насвистывал сквозь зубы. Он делал это очень редко, только когда бывал в особенно хорошем настроении. Он насвистывал куплеты раба Исидора: «Кто здесь хозяин? Кто платит за масло?»

Из Антиохии в Кесарию, из Кесарии в Антиохию носились курьеры. Спешные вести приходили из Италии, из Египта. Сенат и гвардия провозгласили императором генерала Гальбу, подагричного, сварливого, дряхлого старика. На престоле он долго не просидит. Кому быть новым императором, решат армии—Рейнская, Дунайская, Восточная. Египетский генерал-губернатор Тиберий Александр предложил обоим начальникам Азии вступить с ним в более тесный союз. Даже угрюмый брат Веспасиана, начальник полиции Сабин, оживился, заявил о себе, делал таинственные предложения.

Дела было много, и Веспасиану—не до того, чтобы учиться для девушки Мары арамейскому языку. Гром Юпитеров! Пусть эта шлюха наконец научится быть нежной по-латыни. Но Мара не научилась. Напротив: едва удалось помешать ей заколоть себя стрелой, державшей волосы.

Такое непонимание сердило маршала. Он чувствовал себя как-то втайне обязанным иудейскому богу, он не хотел из-за девушки ссориться с еврейским богом. Иосифу он в этом случае не доверял, поэтому попытался вызнать через другого посредника, что именно ее так огорчает. Он был изумлен, когда узнал, в чем дело: это маленькое ничтожество было полно такого же наивного высокомерия, как и его еврей. На лице Веспасиана появилась широкая, немного ехидная усмешка. Он знал, каким путем облегчить положение: свое, девушки и Иосифа.

— Вы, еврей,—заявил он Иосифу в тот же день в присутствии Кениды,—действительно набиты дерзкими варварскими суевериями. Представьте, доктор Иосиф, эта маленькая Мара твердо уверена, что она стала нечистой оттого, что я взял ее к себе в постель. Вам это понятно?

— Да,—ответил Иосиф.

— Тогда вы хитрее меня,—заявил Веспасиан.— Существует средство сделать ее опять чистой?

— Нет,—ответил Иосиф.

Веспасиан отпил доброго эшкольского вина, затем заявил благодушно:

— Но она знает средство. Она уверяет, что, если на ней женится еврей, она снова станет чистой.

— Детская болтовня,—заметил Иосиф.

— Это такой же предрассудок, как и первый,— примирительно возразил Веспасиан.

— Вы едва ли найдете еврея, который бы на ней женился,— отозвался Иосиф.— Законы запрещают подобный брак.

— Я найду его,—добродушно заявил Веспасиан.

Иосиф посмотрел на него вопросительно.

— Тебя, мой еврей,—усмехнулся римлянин.

Иосиф побледнел. Веспасиан благодушно осадил его:

— Вы невоспитанны, мой пророк. Могли бы, по крайней мере, сказать «большое спасибо».

— Я священник первой череды,—сказал Иосиф хриплым, словно угасшим голосом.

— Чертовски привередливый народ эти евреи,— обратился Веспасиан к Кениде.— Чего бы кто-нибудь из нас ни коснулся, это сейчас же теряет для них вкус. А ведь и император Нерон, и я сам женились на отставных любовницах—так, что ли, Кенида, старая лохань?

— Я происхожу от Хасмонеев,—сказал Иосиф очень тихо,—мой род восходит к царю Давиду. Если я женюсь на этой женщине, то потеряю навсегда свои права священника, и дети, родившиеся от такого союза, будут незаконными и бесправными. Я—священник первой череды,—повторил он тихо, настойчиво.

— Ты—куча дерьма,—отрезал Веспасиан.—Если у тебя будет ребенок, я посмотрю на него через десять лет. Тогда выясним, твой это сын или мой.

— Вы женитесь на ней?—осведомилась заинтересованная Кенида.

Иосиф молчал.

— Да или нет?—отрывисто спросил Веспасиан.

— Я не скажу ни «да», ни «нет»,—отозвался Иосиф,—бог, предназначивший маршала стать императором, внушил маршалу и это желание. Я склоняюсь перед богом.— Он низко поклонился.

Иосиф плохо спал эти ночи. Его цепь изводила его. Как высоко вознесло его осуществление его пророчества, так унизила теперь дерзкая шутка римлянина. Он вспомнил поучения ессея Бана в пустыне. Плотское желание изгоняет дух божий; само собой разумелось, что он должен был воздерживаться от женщин, пока его пророчество не исполнится. Девушка Мара была приятна его сердцу и его плоти, теперь он платится за это. Если он женится на ней, ставшей вследствие своего плена и связи с римлянином блудницей, тогда бог отвергнет его и он заслужит публичное бичевание. Иосиф хорошо знал правила—здесь не могло быть ни исключений, ни обходов, ни колебаний. «Виноградная лоза не должна обвиваться вокруг терновника»—вот основное. И к положению—

«проклят скотоложествующий» комментарий ученых добавляет, что священник, вступивший в сношения с блудницей, не лучше того, кто скотоложествует.

Но Иосиф покорно проглотил весь этот яд. Крупная игра требует и большого риска. Он связан с этим римлянином, он примет позор.

А Веспасиан не пожалел ни времени, ни стараний, чтобы вполне насладиться своей проделкой. Он просил подробно ознакомить его с разработанным и сложным брачным правом иудеев, а также с церемониалами помолвки и свадьбы, которые в Галилее были иными, чем в Иудее. Он следил за тем, чтобы все совершалось строго по ритуалу.

А ритуал требовал, чтобы вместо умершего отца невесты переговоры с женихом о покупной цене невесты вел ее опекун. Веспасиан объявил себя опекуном. Существовал обычай, по которому жених платил двести зузов, если невеста — девушка, и сто — если она вдова. Веспасиан велел написать в документах, что сумма выкупа за Мару, дочь Лакиша, должна быть в сто пятьдесят зузов, и настоял на том, чтобы Иосиф дал личную долговую расписку на эту сумму. Он созвал, в качестве свидетелей бракосочетания, студентов и докторов из Тивериады, Магдалы, Сепфориса и других почетных граждан оккупированной области. Многие отказались участвовать в такой мерзости. Фельдмаршал оштрафовал их, а их общины обложил контрибуцией.

Глашатаи пригласили все население участвовать в празднестве. Из Тивериады были выписаны для невесты самые роскошные носилки, как это было принято при бракосочетаниях знати. И когда Мара, в этих обвитых миртами носилках, покинула его дом, Веспасиан произнес вместо отца:

— Дай бог, чтобы ты больше сюда не вернулась.

Затем ее пронесли через весь город знатнейшие галилейские иудеи, тоже украшенные миртами. Впереди шли девушки с факелами, затем студенты, размахивавшие алебастровыми сосудами с благовониями. На дорогу лили вино и масло, сыпали орехи, жареные колосья. Кругом пели: «Тебе не нужны ни румяна, ни пудра, ты и так прекрасна, как серна». На всех улицах танцевали; шестидесятилетняя матрона вынуждена была так же прыгать под волюнку, как и шестилетняя девочка, и даже старикам богословам пришлось плясать с миртовыми ветками в руках, потому что Веспасиан хотел обвенчать свою пару, соблюдая все древние традиции.

Так провели Иосифа через весь город Кесарию; это был длинный путь, не менее мучительный, чем путь через весь римский лагерь, когда его впервые вели к Веспаси-

ану. Наконец он очутился рядом с Марой под брачным балдахином, под хуппой. Балдахин был из белого, затканного золотом полотна, с потолка спускались виноградные грозди, финики, оливки. Свидетелями бракосочетания были Веспасиан с несколькими офицерами, а также представители галилейской знати. Они слышали, как Иосиф отчетливо и озлобленно произнес формулу, которая в его устах становилась преступной: «Заявляю, что ты доверена мне по закону Моисея и Израиля». И земля не разверзлась, когда священник повторил эти запретные для Иосифа слова. Плоды на потолке балдахина чуть покачивались. Кругом пели: «Запертый сад—сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». А девушка Мара, бесстыдная и прелестная, устремила свои удлинненные настойчивые глаза на бледное лицо Иосифа и произнесла ответный стих: «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Веспасиан потребовал, чтобы ему все переводили, и, довольный, ухмылялся.

— Об одном я хотел бы попросить тебя, мой милый,—сказал он Иосифу,—чтобы ты не слишком спешил уходить из сада.

Принцесса Береника, дочь первого и сестра второго царя Агриппы, оторвалась от своих размышлений в пустыне, возвратилась в Иудею. Страстно отдающаяся каждому чувству, она почти физически переживала оккупацию галилейских городов и бежала в южную пустыню. Ее лихорадило, она с отвращением отвергала пищу и питье, умерщвляла свою плоть, дала своим волосам свалиться, носила власяницу, царапавшую ей тело, подвергала себя ночному холоду и дневному зною. Так жила она недели, месяцы, в одиночестве, в неисцелимой подавленности; никто не видал ее, кроме отшельников—братьев и сестер ессеев.

Когда, однако, слухи о страшных событиях в Риме, о смерти Нерона и волнениях при Гальбе непонятным образом дошли в пустыню, принцесса с той же страстью, с какой она бросилась в бездонное море покаяния, теперь отдалась политике. Всю жизнь она бросалась из одной крайности в другую: то она погружалась в Святое писание, бурно и требовательно ища бога, то вдруг устремляла все силы своего смелого и гибкого ума, все свое внимание на волнения в войсках империи и провинций.

Уже в дороге она начала действовать, писать, рассылать и получать бесчисленные письма, депеши. Еще задолго до приезда в Иудею она уже представляла себе

вполне ясно, каковы те нити, которые тянулись с Востока на Запад, и каково распределение власти в государстве, выработала ряд планов, заняла определенную позицию. Приходилось сопоставлять и учитывать многие факторы: Рейнскую армию, Дунайскую армию, войско на Востоке; сенат, римских и провинциальных денежных тузов, степень власти и характеры губернаторов Англии, Галлии, Испании, Африки, руководящих чиновников в Греции, на побережье Черного моря, личность жадного, сварливого, дряхлого императора, бесчисленных тайных и явных кандидатов на престол. Но чем больше беспорядка в мире, тем лучше. Первый результат этой вредной неразберихи тот, что Иерусалим и храм до сих пор целы и невредимы. Может быть, удастся опять передвинуть центр тяжести управления миром на Восток, и править миром будут не из Рима, а из Иерусалима.

Принцесса взвешивает, высчитывает, ищет той точки, где она может вмешаться. На Востоке, на ее Востоке, власть в руках трех людей: повелителя Египта Тиберия Александра, повелителя Сирии Муциана, фельдмаршала Иудеи Веспасиана. И вот она теперь явилась в его штаб, чтобы посмотреть на этого маршала. Она очень предубеждена против него. Недаром его прозвали экспедитором, навозником, говорят, он мстителен, хитер, мужик, грубый и неловкий; с ее страной, Иудеей, он, во всяком случае, учинил жестокую и кровавую расправу. Когда она о нем думает, ее удлинённый крупный рот кривится от отвращения. К сожалению, о нем приходится очень часто вспоминать, он теперь чрезвычайно на виду, ему повезло. Весь Восток полон разговоров о божественных знамениях и провозвестиях, указывающих на него.

Веспасиан колеблется неприлично долго, прежде чем дать аудиенцию принцессе. Он тоже предубежден против нее. И он наслышался об этой претенциозной особе, об изменчивости ее настроений, об ее слишком пылких романах, об ее отнюдь не сестринских отношениях с братом. Снобизм и причуды этой восточной принцессы претят ему. Но было бы глупо без нужды создавать себе врага. Она очень связана с Римом, слывет красавицей, чудовищно богата. Даже ее неистовая страсть к строительству—они с братом наставили дворцов по всему Востоку—почти не отозвалась на ее состоянии.

Строго и торжественно оделась Береника для приема у Веспасиана. Ее крупная благородная голова с еще загоревшим от солнца лицом царственно выступает над одеждой, спадающей многочисленными складками. Короткие непокорные волосы лишены всяких украшений, парчовые рукава прикрывают прекрасные, огрубевшие в пустыне руки.

После немногих предварительных слов она сразу же переходит к делу:

— Я очень вам благодарна, консул Веспасиан, что вы так долго щадили Иерусалим.— У нее глубокий, мягкий и певучий голос, но в нем все время чувствуется какая-то легкая нервная дрожь, поэтому он звучит чуть надтреснуто, словно подернут легкой волнующей хрипотой.

Жесткими светлыми глазами холодно рассматривает Веспасиан эту женщину с головы до ног. Потом заявляет, сопя, очень сдержанно:

— Откровенно говоря, я щадил не ваш Иерусалим, а своих солдат. Если ваши соплеменники будут вести себя так же и впредь, я надеюсь, что возьму город без больших жертв.

Береника вежливо отвечает:

— Пожалуйста, продолжайте, консул Веспасиан, ваш сабинский диалект очень приятен для слуха.— Сама она говорит по-латыни свободно, без всякого акцента.

— Да,— соглашается Веспасиан добродушно,— я старый крестьянин. Это имеет свои преимущества, но и свои невыгоды. Я разумею— для вас.

Принцесса Береника встала; чуть изгибаясь, своей прославленной походкой подошла она к фельдмаршалу совсем близко.

— Почему, собственно, вы такой колючий? Вам, наверное, обо мне наговорили всякий вздор? Не следовало верить. Я—иудейка, внучка Ирода и Хасмонеев. Это довольно трудное положение, при том что ваши легионы заняли страну.

— Мне понятно, принцесса Береника,— отозвался Веспасиан,— что вы мечтаете быть участницей всяких восхитительных острых и запутанных ситуаций, поскольку в Риме сидит старик—император, не назначивший себе преемника. И было бы очень жаль, если бы я оказался вынужденным смотреть на вас как на врага.

— Мой брат Агриппа находится в Риме, чтобы воздать почести императору Гальбе.

— Мой сын Тит поехал туда за тем же.

— Знаю,— ответила Береника хладнокровно.— Ваш сын воздает почести императору, несмотря на то что из перехваченных писем вы узнали о намерении этого императора сместить вас с помощью ловких людей.

— Когда очень дряхлый старик,— отвечал Веспасиан еще хладнокровнее,— сидит на очень шатком престоле, то он слегка размахивает руками, чтобы сохранить равновесие. Это естественно. Когда мы с вами будем такими же стариками, мы, вероятно, будем вести себя так же. Куда вы, собственно, клоните, принцесса Береника?

— А куда вы клоните, консул Веспасиан?

— Вы, жители Востока, всегда стараетесь сначала вывести у другого цену...

Оживленное, изменчивое лицо принцессы вдруг засветилось огромной, смелой уверенностью.

— Я хочу,—сказала она своим глубоким волнующим голосом,—чтобы древний, священный Восток принял подобающее ему участие в господстве над миром.

— Для моих сабинских мужицких мозгов это слишком неопределенно. Но боюсь, что каждый из нас хочет противоположного. Я, со своей стороны, хочу, чтобы прекратилась торжественная чепуха, проникающая в империю с Востока. Я вижу, что восточные планы императора Нерона и его ориентализованный образ мышления вовлекли империю в миллиардные долги. По-моему, ваш древний священный Восток обошелся нам дороговато.

— Если император Гальба умрет,—спросила Береника в упор,—разве Восточная армия не попытается оказать влияние на выбор нового императора?

— Я на стороне закона и права,—заявил Веспасиан.

— Как и мы все,—отозвалась Береника.—Но понимание права и закона иной раз у людей не совпадает.

— Я был бы вам действительно крайне благодарен, принцесса, если бы вы сказали определеннее, чего вы, собственно, хотите.

Береника собрала все свои силы, ее лицо стало неподвижным. С тихой, страстной искренностью она сказала:

— Я хочу, чтобы храм Ягве не был разрушен.

Веспасиан был послан сюда с полномочиями усмирить Иудею всеми способами, какие он найдет нужными. На мгновение ему захотелось ответить: «Сохранение владычества над миром, к сожалению, не всегда совместимо с бережным отношением к архитектуре. Но он увидел ее неподвижное, напряженное лицо и уклончиво прохрипел:

— Мы не варвары.

Она не ответила. Медленно, полная скорбного недоверия, погрузила она взгляд своих удлинненных выразительных глаз в его глаза, и ему стало не по себе. Разве ему не абсолютно безразлично, сочтет его эта еврейка варваром или не сочтет? Как ни странно, но, оказывается, не безразлично. Он испытывал перед ней ту же смутную неловкость, какую испытывал иной раз в присутствии своего еврея Иосифа. Он попытался отделаться от этого смущения:

— Нечего было играть на моем честолубии. Я для этого уже недостаточно молод.

Береника нашла, что экспедитор грубый, тяжелый человек. Чертовски себе на уме, несмотря на свою мнимую прямоту. Она перевела разговор.

— Покажите мне портрет вашего сына Тита,— попросила она.

Он послал скорохода, чтобы принести портрет. Она стала рассматривать его с интересом и сказала многое, что должно было быть приятно отцовскому сердцу. Но Веспасиан был стар и знал людей, он отлично понимал, что портрет ей совсем не понравился. Они расстались дружелюбно: однако и римлянин, и еврейка убедились, что они друг друга терпеть не могут.

Когда Иосиф бен Маттафий, выполняя желание Береники, пришел к ней, она вытянула отстраняющим жестом руку, воскликнула:

— Не приближайтесь! Стойте там! Между вами и мной должно быть семь шагов.

Иосиф побледнел, она вела себя так, словно он — прокаженный. Береника заговорила:

— Я прочла вашу книгу дважды.

Иосиф ответил:

— Кто не стал бы писать с охотой и воодушевлением о таких предках, как наши?

Береника порывисто отбросила рукой короткие непокорные волосы. Верно, этот человек был с ней в родстве.

— Я сожалею, кузен Иосиф,— сказала она,— что мы с вами родственники.— Она говорила совершенно спокойно, в ее голосе была только едва слышная вибрирующая хрипота.— Я не понимаю, как вы могли остаться жить, когда Иотапата пала. С тех пор в Иудее нет человека, который не испытывал бы омерзения, услышав имя Иосифа бен Маттафия.

Иосиф вспомнил, как Юст заявил: «Ваш доктор Иосиф — негодяй». Но женские речи не могли его оскорбить.

— Обо мне, наверное, рассказывают очень много плохого,— сказал он,— но едва ли кто-нибудь может назвать меня трусом. Подумайте, прошу вас, о том, что умереть иногда вовсе не самое трудное. Умереть было легко и очень соблазнительно. Нужна была решимость, чтобы продолжать жить. И нужно было мужество. Я остался жить, ибо знал, что я орудие Ягве.

Удлиненный рот Береники скривился, все ее лицо выразило насмешку и презрение.

— На Востоке ходят слухи,— сказала она,— будто один еврейский пророк возвестил, что мессия — римлянин. Вы этот пророк?

— Я знаю,— тихо отозвался Иосиф,— что Веспасиан именно тот человек, о котором говорится в Писании.

Береника наклонилась вперед над положенным ею

расстоянием в семь шагов. Их разделяло пространство всей комнаты, где стояла жаровня с углями, так как был холодный зимний день. Она рассматривала этого человека; он все еще носил цепь, но казался холеным.

— Дайте-ка мне хорошенько разглядеть его, этого пророка,—издевалась она,—добровольно проглотившего блевотину римлянина, когда тот ему приказал. Меня стошнило от презрения, когда я узнала, что ученых из Сепфориса вынудили присутствовать на вашей свадьбе.

— Да,—тихо сказал Иосиф,—я проглотил и это.

Вдруг он стал маленьким, подавленным. Еще больше, чем женитьба на этой девушке, его угнетало и унижало другое обстоятельство: тогда, стоя под балдахинном, он дал обет не прикасаться к Маре. Но потом она пришла к нему, села на постель, у нее была гладкая кожа, она была молодая, горячая, полная ожидания. Он взял ее, он не мог не взять, как не мог не пить тогда, выйдя из пещеры. С тех пор девушка Мара всегда была подле него. Ее большие глаза смотрели на него с одинаковой преданностью — и когда он брал ее, и когда потом, полный злобы и презрения, прогонял прочь. Береника больше чем права. Он не только проглотил этот римский отброс, он находил в нем вкус.

Иосиф облегченно вздохнул, так как Береника на этой теме больше не задерживалась. Она заговорила о политике, возмущалась маршалом:

— Я не хочу, чтобы этот мужик усаживался посередине мира. Не хочу!

Ее мягкий голос был горяч и страстен. Иосиф сдержанно молчал. Но он был полон иронии над ее бессилием, она прекрасно это видела.

— Идите, кузен Иосиф,—сказала она с издевкой,—скажите ему об этом. Предайте меня. Может быть, вы получите еще более роскошную награду, чем рабыню Мару.

Так стояли они друг против друга на расстоянии семи шагов, эти два представителя иудейского народа, оба молодые, оба красивые, оба движимые горячим стремлением достичь своих целей. Глаза в глаза, стояли они, полные насмешки друг над другом, и все же, в сокровеннейшем, друг другу родные.

— Если я скажу маршалу, что вы его враг, кузина Береника,—отпарировал Иосиф ее насмешку,—он рассмеется.

— Ну что же, посмешите его, вашего римского хозяина,—сказала Береника.—Вероятно, он для этого вас и держит. Я же, кузен Иосиф, побыв с вами, должна особенно тщательно вымыть руки и совершить предписанные омовения.

На обратном пути Иосиф улыбался. Он предпочитал, чтобы такая женщина, как Береника, его бранила, чем отнеслась к нему безразлично.

В штабе римлян появился, принятый римскими чиновниками крайне почтительно, древний старик иудей, очень маленький, очень уважаемый Иоханан бен Заккаи, ректор храмового университета, верховный судья Иудеи, иерусалимский богослов. Увядшим голосом рассказывал он кесарийским иудеям об ужасах, происходящих в иудейской столице. Почти все вожди умеренных были перебиты, в том числе первосвященник Анан, большинство аристократов, а также многие из «Подлинно правоверных». Теперь маккавеи набросились друг на друга с огнем и мечом... Даже в преддверие храма ворвались они с оружием в руках, и люди, желавшие принести к алтарю свою жертву, были сражены их стрелами. Среди рассказа старик время от времени по-старинному подчеркивал свое повествование словами: «Глаза мои видели это». Ему самому удалось с опасностью для жизни бежать из Иерусалима. Он велел сказать, что он умер, и его ученики вынесли его в гробу за пределы иерусалимских стен.

Он просил о беседе с фельдмаршалом, и Веспасиан тотчас пригласил его к себе. И вот древний, пожелтевший старик богослов стоял перед римлянином: на иссеченном морщинами, обрамленном выцветшей бородкой лице голубые глаза казались удивительно молодыми. Он сказал:

— Я пришел, консул Веспасиан, чтобы поговорить с вами о мире и покорности. У меня нет никакой власти. Власть в Иерусалиме принадлежит «Мстителям Израиля», однако закон еще не умер, и я принес с собой печать верховного судьи. Это немного. Но никто лучше Рима не знает, что обширное государство, в конце концов, не распадется только в том случае, если оно будет опираться на право, закон и печать; поэтому, может быть, я принес не так уж мало.

Веспасиан ответил:

— Я рад говорить с человеком, имя которого в Иудее слывет наиболее почтенным. Но я послан нести меч. Решать вопросы о мире могут только император в Риме и сенат.

Иоханан бен Заккаи покачал старой маленькой головкой. Лукаво, тихо, с восточной назидательной певучестью он продолжал:

— Многие называют себя царями. Но есть только один, которому я хотел бы отдать печать и документы. Разве Ливан покорен Гальбой? Только тот, кто покорит Ливан, всемогущ, только он — адир. А Ливан Гальбой не покорен.

Веспасиан посмотрел на старика с недоверием.

— Вы виделись с моим военнопленным Иосифом бен Маттафием?

Иоханан бен Заккаи, слегка удивившись, ответил, что нет, не виделся. Виновато и смущенно Веспасиан сказал:

— Простите, вы с ним действительно не виделись.— Он сел, согнувшись так, чтобы не смотреть на старика сверху вниз.— Пожалуйста, сообщите мне, что вы хотите дать и что—получить?

Иоханан протянул свои поблекшие руки, предложил:

— Я даю вам печать и письмо о том, что Иерусалимский Великий совет и ученые подчиняются римскому сенату и народу. Вас же прошу об одном: оставьте мне маленький городок, где бы я мог основать университет, и дайте мне свободу преподавания.

— Чтобы вы мне опять состряпали самые угрожающие рецепты борьбы против Рима?—ухмыльнулся Веспасиан.

Иоханан бен Заккаи как будто стал еще меньше и ничтожнее.

— Что вы хотите? Я посажу крошечный росток от мощного иерусалимского дерева. Дайте мне, ну, скажем, городок Ямнию, в нем будет совсем маленький университет...—Он уговаривал римлянина, показывал жестами всю ничтожность его университета:—Ах, он будет так мал, этот университет в Ямнии.—И он сжимал и разжимал крошечную ручку.

Веспасиан возразил:

— Хорошо, я передам Риму ваше предложение.

— Не передавайте,—просил Иоханан,—я хотел бы иметь дело только с вами, консул Веспасиан.—И упрямо повторил:—Вы—адир.

Веспасиан поднялся, широко, по-мужицки расставив ноги, стоял он.

— Я все-таки не понимаю, почему вам дался именно я. Вы старый, мудрый и, кажется, относительно честный господин. Не объясните ли мне, в чем здесь дело? Разве легко вам перенести мысль, что в вашей стране, предназначенной вашим богом Ягве для вас, евреев, адиром должен быть именно я? Мне говорят, что вы больше всех народов опасаетесь соприкосновения с другими.

Иоханан закрыл глаза.

— Когда ангелы господя,—наставительно начал он,—захотели после гибели египтян в Красном море запеть песнь радости, Ягве сказал: «Мои творения тонут, а вы хотите петь песнь радости?»

Маршал подошел к крошечному ученому богослову совсем близко, легким доверчивым жестом коснулся его плеча, хитро спросил:

— Но это же не противоречит тому, что настоящими, полноценными людьми вы нас все-таки не считаете?

Иоханан, все еще не открывая глаз, возразил тихо, как бы издалека:

— На праздник кущей мы семьдесят быков приносим в жертву за неевреев.

Веспасиан сказал необычайно вежливо:

— Если вы не очень устали, доктор и господин Иоханан, то я хотел бы получить еще одно объяснение.

— Охотно отвечу вам, консул Веспасиан,—отозвался старик.

Веспасиан оперся руками о стол. Перегнувшись через него, он спросил с тревогой:

— Что, у неевреев существует бессмертная душа?

Иоханан ответил:

— Есть шестьсот тринадцать заповедей, которые мы, иудеи, обязаны выполнять. Нееврей обязан выполнять только семь. Если он их выполняет, то святой дух нисходит и на него.

— Какие же это семь заповедей?—спросил римлянин.

Морщинистые брови Иоханана поднялись, его голубые глаза, ясные и очень молодые, смотрели прямо в серые глаза Веспасиана.

— Одна повелевающая и шесть—запрещающих,—сказал он.—Человек должен творить справедливость, не отрицать бога, не поклоняться идолам, не убивать, не красть, не распутничать и не мучить животных.

Веспасиан немного подумал и сказал с сожалением:

— Ну, значит, у меня мало шансов, что на меня низойдет святой дух.

Доктор Иоханан заметил льстиво:

— Вы разве считаете опасным для Рима, если мы будем учить таким вещам в моем маленьком университете?

Добродушно, немного хвастливо Веспасиан сказал:

— Опасно или нет, большой или маленький—почему, собственно, я должен идти вам навстречу?

Старик сделал хитрое лицо, поднял крошечную ручку, сделал какой-то жест, пояснил, опять напевно скандируя:

— Пока вы не адир, у вас нет оснований завоевывать Иерусалим, ибо вам могут понадобиться ваши войска, чтобы стать адиром. Но когда вас изберут, вам, может быть, некогда будет завоевывать Иерусалим. Но, может быть, именно тогда для вас будет иметь известный смысл привести в Рим если не покоренный Иерусалим, то хотя бы какое-то правовое обоснование вашей власти, а оно, может быть, стоит того маленького одолжения, о котором я прошу.

Старик умолк, он казался измученным. Веспасиан слушал его речь с большим вниманием.

— Будь ваши коллеги так же хитры, как вы,— закончил он, улыбаясь,—то я, вероятно, никогда бы не смог стать вашим адиром.

Существовали грехи, по отношению к которым верховный судья, несмотря на свою мягкость, не допускал снисхождения, и у Иосифа забилося сердце, когда его пригласили к старику. Но Иоханан не стал соблюдать семи шагов расстояния. Иосиф низко склонился перед ним, приложив руку ко лбу, и старик благословил своего любимого ученика.

Иосиф сказал:

— Я придал словам пророка двойной смысл, я виновен в суесловии. Отсюда родилось много зла.

Старик сказал:

— Иерусалим и храм еще до вашего проступка созрели для падения. Врата храма распахиваются, стоит подуть на них. Вы слишком горды даже в своей вине. Я хочу поговорить с вами, доктор Иосиф, ученик мой,— продолжал он.— В Иерусалиме полагают, что у вас неверное сердце, и вас предавали отлучению. Но я верю в вас и хочу с вами говорить.

Эти слова подкрепили Иосифа, словно роса, упавшая на поле в нужное время года, и он раскрыл свое сердце.

— Иудейское царство погибло,—повторил Иоханан,— но не царство объединяет нас. Создавались и другие царства, они рушились, возникнут новые, которые тоже рухнут. Царство—это не самое важное.

— А что же самое важное, отец мой?

— Не народ и не государство создают общность. Смысл нашей общности—не царство, смысл нашей общности—закон. Пока существуют законы и учение, наша связь нерушима, она крепче, чем если бы шла от государства. Закон жив, пока есть голос, возвещающий его. Пока звучит голос Иакова, руки Исава бессильны.

Иосиф сказал нерешительно:

— А у меня есть этот голос, отец мой?

— Люди считают,—возразил Иоханан,—что вы предали свое иудейство, Иосиф бен Маттафий. Но если соль и растворяется в воде, то она все же в ней есть, и, когда вода испаряется, соль остается.

Слова, сказанные стариком, и ободрили Иосифа, и смирили его, так что он долгое время не мог говорить. Затем он тихо, робко напомнил своему учителю:

— Вы не поделитесь со мной вашими планами, отец мой?

— Да,—отозвался Иоханан.—Теперь я могу тебе ска-

зять. Мы отдаем храм. Мы воздвигнем вместо видимого дома божия—невидимый, мы окружим веющее дыхание божье стенами слов вместо гранитных стен. Что такое дыхание божье? Закон и учение. Нас нельзя рассеять, пока у нас есть язык для слов или бумага для закона. Поэтому-то я и просил у римлянина город Ямнию, чтобы там основать университет. И я думаю, что он мне его отдаст.

— Ваш план, отец мой, нуждается в труде многих поколений.

— Нам спешить некуда,—возразил старик.

— Но разве римляне не будут препятствовать?—спросил Иосиф.

— Конечно, они попытаются: власть всегда недоверчива к духу. Но дух эластичен. Нет таких заповор, сквозь которые он бы не проник. Пусть они разрушат наш храм и наше государство: на место храма и государства мы возведем учение и закон. Они запретят нам слово—мы будем объясняться знаками. Они запретят нам письмо—мы придумаем шифр. Они преградят нам прямой путь—но бог не умалится, если верующие в него будут вынуждены пробираться к нему хитрыми окольными путями.—Старик прикрыл глаза, открыл их, сказал:—Нам не дано завершить это дело, но мы не имеем права от него отречься. Вот для чего мы избраны.

— А мессия?—спросил Иосиф с последней надеждой.

Старику становилось все труднее говорить, но он собрал последние силы,—необходимо было передать свое знание любимому ученику Иосифу. Иоханан знаком предложил Иосифу наклониться к нему, своим увядшим ртом он прошептал в молодое ухо:

— Вопрос, придет ли когда-нибудь мессия. Но верить в это нужно. Никогда не следует рассчитывать на то, что он придет, но всегда надо верить, что он придет.

Идя от него, Иосиф чувствовал подавленность. Значит, вера этого великого старца не была чем-то лучезарным, помогавшим ему, а чем-то тягостным, лукавым, всегда соединенным с ересью, всегда борющимся с ересью, была бременем. Как ни отличались они друг от друга, все же Иоханан бен Заккаи не так уж далек от Юста из Тивериады. И Иосифу стало тяжело.

Иоханан бен Заккаи слышал много дурного о женитьбе Иосифа. Он вызвал к себе Мару, дочь Лакиша, и говорил с ней. Он услышал аромат, исходивший от ее сандалий. Она сказала:

— Когда я молюсь, то всегда надеваю эти сандалии. Я хочу стоять перед богом в благовонии.

Она знала наизусть много молитв; записывать молитвы не разрешалось, они должны идти из сердца, и их нужно носить в сердце. Она доверчиво говорила ему:

— Я слышала, что от земли до неба — пятьсот лет и от одного неба до другого тоже пятьсот лет, толща каждого неба — пятьсот лет. И все-таки я в синагоге становлюсь за колонной и шепчу, и мне кажется, что я шепчу на ухо Ягве. Разве это грех и дерзость, доктор и господин мой, если я верю, что Ягве так близко от меня, как ухо от губ?

Иоханан бен Заккаи прислушивался с интересом к мыслям, живущим за этим низким детским лбом, и серьезно дискутировал с ней, словно с ученым из Зала совета. Когда она уходила, он положил кроткую поблекшую руку на ее голову и благословил ее древним благословением: «Ягве да уподобит тебя Рахили и Лии».

Он узнал, что Иосиф намерен развестись с Марой, как только ему больше не надо будет опасаться гнева Веспасиана. Развестись было нетрудно. В Писании сказано ясно и просто: «Если кто возьмет жену и не найдет она благоволения своего мужа, так как он открыл в ней нечто постыдное, то он напишет ей разводное письмо и отпустит ее из дома своего».

Иоханан сказал:

— Есть две вещи, которых ухо не слышит уже за милю, но чей отзвук все же разносится от одного конца земли до другого: это когда падает срубленное дерево, которое еще приносит плоды, и когда вздыхает отосланная своим мужем женщина, которая его любит.

Иосиф сказал упрямо:

— Разве я не нашел в ней нечто постыдное?

Иоханан сказал:

— Вы не нашли в ней постыдного: постыдное было в ней до того, как вы взяли ее. Проверьте себя, доктор Иосиф. Если вы дадите этой женщине разводное письмо, я свидетелем не буду.

Отношения Веспасиана с императором Гальбой были вовсе не так просты, как он изобразил их принцессе Беренике. Тит поехал в Рим не только чтобы воздать почести, но прежде всего чтобы получить высокие государственные посты, которых он еще ни разу не занимал. И не только это: он метил выше. Брат Веспасиана, жесткий, сварливый Сабин, намекнул, будто бездетный старик император, желая связать себя с Восточной армией, может быть, усыновит Веспасианова сына. Письмо Сабина временно положило конец сложным переговорам между Веспасианом и Муцианом. Каждый из них только и делал, что великодушно заверял другого, будто и не

помышляет о завоевании власти, если один из них в состоянии этого достичь, то пусть им будет не сам он, а другой. На деле же оба прекрасно знали, что каждый из них чувствует себя недостаточно сильным для борьбы с соперником, и потому письмо Сабина указало им желанный выход.

Однако еще в середине зимы пришли известия, положившие конец всем этим планам. Опираясь на римскую гвардию и сенат, власть захватил человек, которого Восток не принял в расчет: это был Отон, первый муж Поппеи. Старого императора убили, молодой император был храбр, талантлив, уважаем и пользовался симпатиями народа. Намерен ли Тит продолжать свое путешествие, чтобы поклониться новому владыке, или он вернется,— не знал никто. Во всяком случае, здесь, на Востоке, пока не считали целесообразным возражать против молодого императора, да и кто должен быть избранником Востока? Старого Гальбу ликвидировали слишком поспешно, никто не успел сговориться; и Веспасиан и Муциан привели войска к присяге новому императору Отону.

Однако в прочность нового владыки никто не верил. Отон мог опереться на итальянские войска, но у него не было никакого контакта с армиями провинций. Престол молодого императора отличался не большей устойчивостью, чем престол старика.

Каждый день получала принцесса Береника подробные вести из Рима. После лишений в пустыне она с тем большим пылом окунулась в политику. Переписывалась с императорскими министрами, сенаторами, с восточными губернаторами и генералами. Восток вторично не должен оказаться перед свершившимся фактом. Теперь же, этой весной, он должен быть приведен в боевую готовность, чтобы завладеть столицей. Он не смеет быть расщепленным, он должен покориться единому господину, и им должен быть Муциан. Необходимо прежде всего заручиться определенным согласием Муциана, если его хотят выставить как претендента в противовес маршалу.

Пышно, с огромной свитой, отбыла Береника в Антиохию. Принялась осторожно обхаживать Муциана. С опытностью знатока старик оценил все преимущества иудейской принцессы, ее красоту, ум, вкус, богатство, пламенное увлечение политикой. Эти двое преданных музам людей очень скоро поняли друг друга. Но Беренике все же не удалось добиться от него желанного решения. С большой готовностью открыл ей этот щуплый человечек свою душу. Да, он честолюбив. И он не трус, но он немного устал. Завоевание Рима и Востока—предприятие чертовски щекотливое. Он для этого не подходит. Он умеет вести дело с дипломатами, сенаторами, наместника-

ми провинций, руководителями хозяйства. Но сейчас, к сожалению, все решают военные, а вступать в соглашение с этими выскочками-фельдфебелями ему противно. Он устремил свой умный, печальный и ненасытный взгляд на принцессу.

— Желание выжечь этим Полифемам глаза теряет постепенно свою привлекательность. Опасность и успех не соответствуют друг другу. Сейчас ситуация такова, что Веспасиан, пожалуй, действительно самый подходящий человек. В нем есть та грубость и жестокость, которые необходимы в наше время для того, чтобы стать популярным. Согласен, он мне не менее противен, чем вам, принцесса Береника. Но он настолько воплощает собой дух времени, что становится почти симпатичным. Делайте его императором, принцесса, и дайте мне спокойно дописать мой естественноисторический очерк Римской империи.

Но Береника не сдавалась. Она боролась не только словами, она щедро сыпала деньгами, чтобы создать настроение в пользу своего кандидата. Все нетерпеливее убеждала Муциана, подстегивала его самолюбие, льстила. Он в душе такой живой человек, что не имеет права жеманничать, лениться. Муциан возразил, улыбаясь:

— Если бы такая дама, как вы, ваше высочество, стояла действительно за меня, то я, быть может, презрев все сомнения, и рискнул бы на эту смелую игру. Но ведь вы вовсе не за меня, вы только против Веспасиана.

Береника покраснела, стала возражать, говорила долго и красноречиво, стараясь переубедить его. Он вежливо слушал, делал вид, что соглашается. Но хотя он продолжал беседу с прежней доверчивостью и даже некоторой теплотой, она видела, как он пишет тростью на песке слова, греческие слова: они, наверное, предназначались не ей, все же она расшифровала их смысл: «Одному боги даруют талант, другому — удачу». Она прочла, и в ее речах зазвучала усталость.

Когда Иосиф бен Маттафий появился в Антиохии, Береника уже поняла, что ее поездка к Муциану не даст никаких результатов. Она сразу почуяла и не ошиблась, что Веспасиан подослал Иосифа, желая свести на нет всю ее работу.

Иосиф взялся за дело довольно ловко. Он снова сблизился с Муцианом. Муциан был рад, что слышит опять страстный, горячий и проникновенный голос иудейского пророка. Он целыми часами расспрашивал о нравах, обычаях и древностях его народа. В связи с этим они коснулись и иудейских царей, и Иосиф рассказал Муциану о Сауле и Давиде.

— Саул был первым царем Израиля,—сказал Иосиф,—но у нас очень немногие носят имя Саул и очень многие—Самуил. Мы ставим Самуила выше Саула.

— Почему?—спросил Муциан.

— Отдающий власть—выше сохраняющего ее. Воздвигающий царя—больше самого царя.

Муциан улыбнулся:

— Вы гордецы.

— Может быть, мы и гордецы,—охотно согласился Иосиф.—Но разве не кажется и вам, что власть, которая остается на заднем плане и правит издали, тоньше, духовнее, прельстительнее той, которая чванится на глазах у всех?

Муциан не ответил ни «да», ни «нет». Иосиф же продолжал, и его слова были полны знаний, купленных ценой горького опыта.

— Власть делает глупым. Я никогда не был глупее, чем когда имел власть. Самуил выше Саула.

— А мне,—отозвался, улыбаясь, Муциан,—во всем вашем рассказе симпатичнее всего Давид. Жалко,—вздыхнул он,—что проект насчет Тита рухнул.

Очень скоро после приезда Иосифа в Антиохию Береника распрощалась с Муцианом. Она отказалась от своих надежд. Она выехала навстречу брату, которого ждали на днях в Галилею. До сих пор он находился в Риме. Считая, что теперь Отон останется императором всего несколько недель, он хотел заблаговременно и незаметно убраться из Рима, чтобы не связывать себя обязательствами с новым избранником. Узнав, что она скоро снова увидится с братом, о котором горячо тосковала, Береника облегченно вздохнула; эта радость смягчила горечь ее неудач.

— Сладостная принцесса,—сказал ей на прощанье Муциан,—теперь, когда я должен вас потерять, не понимаю, почему ради вас я все же не стал претендентом на престол.

— Мне тоже непонятно,—отвечала Береника.

Она встретила брата в Тивериаде. Стройка дворца была закончена. Еще прекраснее, чем прежний, сиял он над городом и озером. Некоторые залы без окон были сделаны из каппадокийского камня, до того прозрачного, что в них было светло даже при закрытых дверях. Все здание казалось легким, воздушным, ничего лишнего, по теперешней римской моде. Из столовой архитекторы сделали настоящий шедевр. Купол был настолько высок, что взгляд, напрягаясь, едва достигал его сводов из слоновой кости; эти своды были подвижными, так что

возлежавших за трапезой можно было осыпать цветами или обрызгивать душистой водой.

Брат и сестра осматривали дом, они шли, держась за руки, встреча наполняла их глубокой радостью. Весна началась, дни уже стали длиннее; эти двое красивых людей шли по стройным залам, им дышалось легко; как знатоки, наслаждались они воздушными линиями здания, его изысканностью. Агриппа рассказывал с тихой иронией о новых виденных в Риме дворцах, о их нелепо огромных размерах, о нагромождении безвкусной роскоши. Отон ассигновал пятьдесят миллионов на достройку Неронова Золотого дома, но сам едва ли доживет до конца стройки. Береника скривила губы:

— Они умеют только хватать, эти римские варвары. Если им удастся врезать какой-нибудь очень редкий мрамор в другой, такой же редкий, и наляпать как можно больше золота, это им кажется верхом строительного искусства. У них нет никаких талантов, кроме таланта к власти.

— Во всяком случае, талант очень выгодный,— заметил Агриппа.

Береника остановилась.

— Неужели мне действительно придется терпеть этого Веспасиана? — пожаловалась она. — Неужели ты от меня потребуешь такой жертвы? Он неуклюж и груб, он сопит, как запыхавшийся пес...

Нахмурившись, Агриппа стал рассказывать:

— Когда я был у него теперь в Кесарии, он угощал меня рыбой и все время подчеркивал, что она-де из Генисаретского озера. А когда я не захотел есть этих трупных рыб, он начал жестоко меня высмеивать. Я хотел ответить ему, но сдержался и промолчал.

— Он возмущает меня до глубины души! — негодовала Береника. — Когда я слышу его вульгарные остроты, мне кажется, я попала в рой комаров. И мы еще должны способствовать тому, чтобы такой человек стал императором!

Агриппа принялся уговаривать ее:

— Император, которого поставит Запад, все нам здесь переломает. Маршал умен и знает меру. Он возьмет то, что ему может пригодиться, остальное оставит нам. — Агриппа пожал плечами. — Императором делает армия, а армия готова присягнуть Веспасиану. Будь умницей, сестра, — попросил он.

Молодой генерал Тит получил известие об убийстве Гальбы еще в Коринфе, до приезда в Рим. Ехать дальше было бессмысленно. Он был уверен, что Гальба успеет

усыновить его, и преждевременная ликвидация императора явилась для него тяжелым ударом. Он не хотел воздавать почести Отону, на месте которого так мечтал видеть себя. Он остался в Коринфе, провел в этом легкомысленном городе четырнадцать бешеных дней, полных женщинами, мальчиками и всякого рода излишествами. Затем он все же вырвался оттуда и, несмотря на дождливое время года, вернулся в Кесарию.

На корабле его преследовали и жгли бурные воспоминания о честолюбивых мечтах его бабушки. Генерал Тит был молод, но уже испытал немало превратностей. Возвышения и падения его отца, его переход из консулов в экспедиторы, от пышностей почетной должности к гнетущей бедности,—отзывались и на судьбе Тита. Он воспитывался вместе с принцем Британником, с этим молодым лучезарным претендентом на престол, возлежал с ним за одним столом, ел то же кушанье, которым император Нерон отравил принца, и тоже заболел. Он видел блеск Палатина и унылый городской дом отца, познал тихую жизнь в деревне и полные приключений военные походы на германской и английской границе. Он любил отца, его будничную мудрость, его точность, его трезвое здравомыслие; но он часто и ненавидел его за мужиковатость, за медлительность, за отсутствие чувства собственного достоинства. Тит мог долгие недели и месяцы выносить лишения и нужду, затем им вдруг овладевала жажда роскоши и излишеств. Ему нравилась спокойная гордость римской знати старого закала и волновала пышность древних родов восточных царей. При содействии дяди Сабина он женился очень рано на сухопарой строгой девушке знатного рода, Марции Фурнилле; она родила дочь, но от этого не стала ему милее; одиноко и уныло жила она в Риме, он не виделся с ней, не писал ей.

Старик Веспасиан принял сына, ухмыляясь, с веселым соболезнаванием:

— У нас с тобой, верно, одна линия, сын мой Тит: вверх—вниз. В следующий раз надо встать пораньше да вести дела поумнее. Спаситель придет из Иудеи. Ты молод, мой сын, ты не должен хулить моего еврея.

Агриппа и его сестра пригласили гостей на праздник по случаю освящения их нового дворца в Тивериаде. Маршалу принцесса была несимпатична, он послал сына.

Тит исполнил его поручение не без удовольствия. Он любил Иудею. Народ в этой стране был древний и мудрый, и, несмотря на те глупости, которые он вытворял, в нем жил инстинкт потустороннего, вечного. Странный, невидимый бог Ягве влек и тревожил молодого

римлянина, импонировал ему и царь Агриппа, его элегантность, его меланхолический ум. Тит охотно отправился в Тивериаду.

Ему очень понравился Агриппа и его дом, но в принцессе он разочаровался. Он был ей представлен перед тем, как гости пошли к столу. Тит привык быстро устанавливать контакт с женщинами; она выслушала его первые фразы с равнодушно-вежливым видом, и только. Она показалась ему холодной и надменной, ее низкий, чуть хриплый голос смутил его. За столом он мало обращал внимания на Беренику, но тем более интересовался остальным обществом. Тит был веселым, занятым собеседником, его слушали тепло и внимательно. Он совсем забыл о принцессе и за все время трапезы едва обменялся с ней несколькими словами.

Но вот трапеза кончилась. Береника поднялась; она была одета по своему вкусу — в платье, сшитое, согласно местному обычаю, из цельного куска ткани — драгоценной, спадавшей тяжелыми складками парчи. Она кивнула Титу с равнодушной приветливостью и стала медленно подниматься по лестнице, легко опираясь на плечо брата. Тит машинально посмотрел ей вслед. Он только что затеял шутливо-упрямый спор о военной технике. Вдруг он остановился на полуслове, взгляд его жадных, неутомимых глаз стал острым, впился, вонзился, оцепенел, устремленный вслед уходившей. Мелкозубый рот на широко лице глуповато приоткрылся. Колени задрожали. Невежливо покинул он своих собеседников, поспешил за братом и сестрой.

Какая походка у этой женщины! Нет, она не шла, к ней применимо было только *одно* слово, греческое, гомеровское: она шествовала. Смешно, конечно, применять это торжественное гомеровское слово к повседневности, но для определения походки этой женщины иного не существовало.

— Вы торопитесь? — спросила она своим низким голосом.

До сих пор этот чуть хриплый голос удивлял его, почти отталкивал; теперь он взволновал Тита, показался полным загадочных соблазнов. Он ответил что-то насчет того, что военный человек должен спешить, — не очень метко, — обычно он находил более удачные ответы. Он вел себя по-мальчишески, с неловкой услужливостью. Береника отлично заметила произведенное ею впечатление, он показался ей приятным каким-то своим угловатым изяществом.

Они болтали о физиогномике, графологии. Как на Востоке, так и на Западе эти науки в большой моде. Береника хотела бы взглянуть на почерк Тита. Тит

вытаскивает обрамленную золотом навощенную табличку, задорно улыбается, пишет. Береника удивлена: да ведь это же в каждой черточке — почерк его отца! Тит сознается — он пошутил: по существу, у него уже нет собственно почерка, он слишком часто залезал в почерки других. Но пусть она теперь покажет ему свой почерк. Она перечитывает написанное им. Это стих из современного эпоса: «Орлы и сердца легионов расправляют крылья для полета». Она становится серьезной, колеблется, затем стирает его строки, пишет: «Полет орлов не может закрыть невидимого в святая святых». Молодой генерал рассматривает ее почерк; он по-школьному правильный, немного детский. Он размышляет и, не стирая его, пишет под ним: «Тит хотел бы видеть невидимого в святая святых». Он передает ей дощечку и стиль. Она пишет: «Иерусалимский храм не должен быть разрушен». Уже на маленькой пластинке осталось очень мало места. Тит пишет: «Иерусалимский храм не будет разрушен».

Он хочет спрятать дощечку. Береника просит отдать ей. Она кладет ему руку на плечо, спрашивает, когда же все-таки кончится эта ужасная война. Самое ужасное — это раздирающее сердце безнадежное ожидание. Скорый конец — милостивый конец. Хоть бы Тит уж взял Иерусалим. Тит колеблется, польщенный.

— Это зависит не от меня.

Береника — и как мог он счесть ее холодной и надменной! — говорит умоляюще и убежденно:

— Нет, это все-таки зависит от вас.

После ухода Тита Агриппа дружески расспрашивает сестру о впечатлении:

— У него мягкий, неприятный рот, ты не находишь?

Береника отвечает с улыбкой:

— В этом юноше много неприятного. Он очень напоминает отца. Но ведь уже бывали случаи, когда еврейские женщины отлично справлялись с варварами. Например, Эсфирь с Артаксерксом. Или Ирина с седьмым Птолемеем.

Агриппа возразил, и Береника очень хорошо почувствовала в его шутке тайное предостережение:

— А наша прабабка Мариам, например, за такую игру поплатилась головой.

Береника встала, пошла.

— Не тревожься, милый брат, — сказала она; ее голос был все так же тих, но уверен и полон торжества, — этот юноша Тит не отрубит мне головы.

Как только Тит вернулся в Кесарию, он начал настаивать, чтобы отец наконец начал осаду Иерусалима. Он был необычно резок. Уверял, что больше этого выносить

не в состоянии. Ему стыдно перед офицерами. Такое бесконечное промедление может быть истолковано только как слабость. Римской престиж на Востоке поколеблен. Осторожность Веспасиана граничит с трусостью. Госпожа Кенида слушала важно и неодобрительно.

— Чего вы, собственно, хотите, Тит? Вы действительно настолько глупы или только прикидываетесь?

Тит раздраженно возразил, что госпоже Кениде столь печальной двойственности, увы, не припишешь! Нельзя от нее требовать, чтобы она понимала достоинство солдата. Веспасиан надвинулся на Тита всем телом:

— А от тебя, мой мальчик, я требую, чтобы ты немедленно извинился перед Кенидой.

Кенида осталась невозмутимой.

— Он прав, у меня действительно мало чувства собственного достоинства. У молодежи оно всегда популярнее, чем разум. Но все же он должен понять, что только кретин способен отдать свое войско при таком положении вещей.

Веспасиан спросил:

— Это тебя в Тивериаде так настроили, мой мальчик? Один идет на смену другому. Мне всего шестьдесят. С десяток годков придется тебе все-таки потерпеть.

Когда Тит ушел, Кенида обрушилась на всю эту тивериадскую сволочь. Конечно, за Титом стоят евреи. Этот тихоня Агриппа, спесивая пава Береника, грязный, жуткий Иосиф. Лучше бы Веспасиан отстранил весь этот восточный сброд и прямо, по-римски, договорился с Муцианом. Маршал внимательно слушал ее. Затем сказал:

— Ты умница, решительная женщина, моя старая лохань! Но Востока ты не понимаешь. На этом Востоке я без денег и ловкости моих евреев ничего не добьюсь. На этом Востоке самые извилистые пути скорее всего приводят к цели.

Пришла весть, что Северная армия провозгласила императором своего вождя, Вителлия. Отон был свергнут, сенат и римский народ признали Вителлия новым императором. С тревогой взирал Рим на Восток, и новый владыка, кутила и флегматик, вздрагивал всякий раз, когда упоминалось имя восточного вождя. Но Веспасиан делал вид, будто ничего не замечает. Спокойно, решительно привел он свои легионы к присяге новому императору, и неуверенно и недовольно последовали его примеру в Египте—губернатор Тиберий Александр, в Сирии—губернатор Муциан. Со всех сторон люди нажимали на Веспасиана. Но он прикидывался непонимающим и в каждом слове был лоялен.

Западному императору пришлось, чтобы укрепить свою власть, ввести в Рим мощные войсковые соединения,

четыре Нижнерейнских, оба Майнцских легиона и сорок шесть вспомогательных полков. Веспасиан шурился, прицеливался. Он был хорошим стратегом, и он знал, что со ста тысячами деморализованных солдат в таком городе, как Рим, хорошего ждать нечего. Эти солдаты, провозгласившие Вителлия императором, ждали награды. Денег было мало, да и Веспасиан, учитывая настроение армии, отлично понимал, что одними деньгами ее не удовлетворишь. Солдаты только что отбыли утомительную службу в Германии, теперь они прибыли в Рим и рассчитывали на более высокое жалованье и более короткие сроки службы в столичной гвардии. Добившись власти, Вителлий еще сможет перевести двадцать тысяч человек в римский гарнизон, ну, а куда он денет остальных? В Восточной армии ходили все более упорные слухи, что Вителлий хочет отправить этих солдат, в благодарность за их помощь, на теплый, прекрасный Восток. Когда Восточная армия была приведена к присяге, то обязательные в этом случае приветственные клики в честь нового властителя прозвучали весьма жидко; а теперь войска уже не скрывали своего озлобления. Устраивали сходки, бранились, заявляли, что тем, кто попробует отправить их в суровую Германию или в проклятую Англию, не поздоровится. Представители власти на Востоке слушали их с удовольствием. Когда офицеры расспрашивали, что же в этих слухах о перегруппировке армии правда, они молчали, многозначительно пожимали плечами. Из Рима приходили все более тревожные вести. Финансы были в безнадежном состоянии, хозяйство разваливалось; по всей Италии, даже в столице, начались грабежи; новый, плохо организованный двор был ленив, расточителен; империи грозила гибель. Негодование на Востоке росло. Тиберий Александр и царь Агриппа разжигали это негодование деньгами и слухами. Теперь все обширные земли от Нила до Евфрата были полны разговорами о пророчествах относительно Веспасиана; удивительное предсказание, сделанное при свидетелях пленным еврейским генералом Иосифом бен Маттафием римскому маршалу, было у всех на устах: «Спаситель придет из Иудеи». Когда Иосиф, все еще закованный в цепи, проходил по улицам Кесарии, вокруг него возникал почтительный, тихий гул голосов.

Волшебно ясен и ярок был воздух в начале этого лета на побережье Иудейского моря. Веспасиан смотрел ясными серыми глазами в даль сияющего озера, прислушивался, ждал. В эти дни он стал молчаливее, его суровое лицо сделалось еще более суровым, властным, негибкое тело выпрямилось, весь он как будто вырос. Он изучал депеши

из Рима. По всей империи идет брожение, финансы расшатаны, войско разложилось, безопасности граждан — конец. Спаситель придет из Иудеи. Но Веспасиан сжимал узкие губы, держал себя в руках. События должны созреть, пусть они сами приблизятся к нему.

Кенида ходила вокруг этого коренастого человека, разглядывала его. Никогда еще не было у него тайн от нее; теперь он стал скрытным, непонятным. Она растерялась, и она очень любила его.

Она написала Муциану нескладное, по-хозяйски озабоченное письмо. Ведь вся Италия ждет, чтобы Восточная армия встала на спасение родины. А Веспасиан ничего не делает, не говорит ни слова, ничего не предпринимает. Находишься они в Италии, она, наверно, запротестовала бы против такой странной флегматичности; но в этой проклятой непонятной Иудее теряешь все точки опоры. Она настоятельно просит Муциана как римлянка римлянина, чтобы он, с присущим ему умом и энергией, растормошил Веспасиана.

Это письмо было написано в конце мая. А в начале июня Муциан приехал в Кесарию. Он тоже сразу заметил, насколько изменился маршал. С завистливым и тайным уважением видел он, как рос этот человек по мере приближения великих событий. Не без восхищения шутил он по поводу его тяжеловесности, крепости, коренастости.

— Вы философствуете, мой друг, — сказал он. — Но я убедительно прошу вас, не философствуйте слишком долго. — И он ткнул палкой в незримого противника.

Его тянуло нарушить трезвое спокойствие маршала, неожиданным ходом сбить его с позиций. Давняя зависть грызла Муциана. Но теперь было слишком поздно. Теперь армия сделала ставку на другого, и ему приходилось только маршировать в тени этого другого. Он это понял, сдержался, стал помогать другому. Позаботился о том, чтобы слухи относительно замены сирийских и иудейских войск западными усилились. Уже называли определенные сроки. Легионы должны были выступить якобы в начале июля.

В середине июня к Веспасиану явился Агриппа. Он опять побывал в Александрии, у своего друга и родственника Тиберия Александра. По его словам, весь Восток недоволен Вителлием. Потрясенные грозными вестями из Рима, Египет и обе Азии ждут в бурной и тоскливой тревоге, чтобы осененный милостью божьей спаситель наконец взялся за дело. Веспасиан не отозвался, смотрел на Агриппу, спокойно молчал; тогда Агриппа продолжал с непривычной энергией: есть люди, наделенные крепкой волей, готовые выполнить веление божье. Насколько ему

известно, египетский генерал-губернатор Тиберий Александр собирается 1 июля привести свои войска к присяге Веспасиану.

Веспасиан старался держать себя в руках, но все же засопел ужасно громко и взволнованно. Он прошелся несколько раз по комнате; затем заговорил, и слова его были скорее словами благодарности, чем угрозы:

— Послушайте, царь Агриппа, а ведь я должен был бы в таком случае отнестись к вашему родственнику Тиберию Александру как к изменнику.—Он подошел к Агриппе вплотную, положил ему обе руки на плечи, обдал его лицо своим шумным дыханием, сказал с непривычной сердечностью:—Мне очень жаль, царь Агриппа, что я смеялся над вами, когда вы не захотели есть рыбу из Генисаретского озера.

Агриппа сказал:

— Пожалуйста, рассчитывайте на нас, император Веспасиан, наши сердца и все наши средства—в вашем распоряжении.

Июнь шел к концу. Повсюду на Востоке распространились слухи, будто император Отон непосредственно перед тем, как лишить себя жизни, написал Веспасиану письмо, заклиная стать его преемником, спасти империю. Однажды Веспасиан действительно нашел в прибывшей почте это письмо. Ныне мертвый Отон обращался к полководцу Восточной армии, вдохновенно и настойчиво убеждая отомстить за него негодяю Вителлию, восстановить порядок, не дать Риму погибнуть. Веспасиан внимательно прочел послание. Он сказал своему сыну Титу, что Тит действительно великий художник, его мастерства надо просто опасаться. Он боится, что, проснувшись однажды утром, найдет документ, в котором назначает императором Тита.

Настала четвертая неделя июня. Напряжение становилось невыносимым. Кенида, Тит, Муциан, Агриппа, Береника вконец изнервничались и бурно требовали от Веспасиана, чтобы он решился. Но сдвинуть с места этого тяжеловесного человека им не удалось. Он отвечал уклончиво, ухмылялся, острил, выжидал.

В ночь с 27 на 28 июня Веспасиан, в большой тайне от всех, вызвал к себе Иоханана бен Заккай.

— Вы человек очень ученый,—сказал он.—Прошу вас, просветите меня и дальше относительно сущности вашего народа и его веры. Есть ли у вас какой-нибудь основной закон, золотое правило, к которому можно свести все эти ваши до жути многочисленные законы?

Ученый богослов покивал головой, закрыл глаза, сообщил:

— Сто лет назад жили среди нас двое очень знаменитых ученых, Шаммай и Гиллель. Однажды к Шаммаю пришел неиудей и сказал, что желает перейти в нашу веру, если Шаммай успеет сообщить ему самую суть этой веры, пока он будет в силах стоять на одной ноге. Доктор Шаммай рассердился и прогнал его. Тогда неиудей пошел к Гиллелю. Доктор Гиллель снизошел к его просьбе. Он сказал: «Не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе». Это все.

Веспасиан глубоко задумался. Он сказал:

— Хорошее правило, но едва ли можно с его помощью держать в порядке большое государство. Раз у вас есть такие правила, лучше бы вы занимались писанием хороших книг, а политику предоставили нам.

— Вы, консул Веспасиан, высказываете,—согласился иудей,—точку зрения, на которой всегда стоял ваш слуга, Иоханан бен Заккаи.

— Я полагаю, доктор и господин мой,—продолжал римлянин,—что вы лучший человек в этой стране. Мне важно, чтобы вы поняли мои побуждения. Поверьте мне, я сравнительно редко бываю негодяем—только когда это безусловно необходимо. Разрешите мне сказать вам, что я против вашей страны решительно ничего не имею. Но хороший крестьянин обносит свои владения забором. Нам нужно иметь забор вокруг империи. Иудея—это наш забор от арабов и парфян. К сожалению, когда вас предоставляют самим себе, вы шаткая ограда. Поэтому нам приходится самим стать на ваше место. Вот и все. А что вы делаете помимо этого, нас не интересует. Оставьте нас в покое, и мы вас оставим в покое.

Несмотря на увядшее, морщинистое лицо, глаза Иоханана были светлы и молоды.

— Неприятно только одно,—сказал он,—что ваш забор проходит как раз по нашей земле. Забор-то очень широкий, и от нашей страны мало что остается. Но пусть, стройте ваш забор. Только одно: нам тоже нужен забор. Другой забор—забор вокруг закона. То, о чем я вас просил, консул Веспасиан, и есть этот забор. В сравнении с вашим он, конечно, скромен и незначителен: несколько ученых и маленький университет. Мы не будем мешать вашим солдатам, а вы дадите нам университет в Ямнии. Вот такой университетик,—добавил он настойчиво и показал своими крошечными ручками размеры этого университета.

— Кажется, ваше предложение не лишено смысла,—медленно произнес Веспасиан. Он поднялся, он вдруг резко изменился. Верным чутьем Иоханан тотчас понял

значение этой перемены. До сих пор старый покладистый сабинский крестьянин беседовал со старым покладистым иерусалимским богословом: теперь это Рим говорил с Иудеей.

— Будьте готовы, — сказал маршал, — принять от меня послезавтра документы с согласием на ваше требование. И затем будьте так добры, доктор и господин мой, передать мне в совершенно точной формулировке заявление о верноподданстве вместе с печатью Великого совета.

На второй день после этого Веспасиан созвал на кесарийском форуме торжественное собрание. Присутствовали представители оккупированной римлянами области и делегации от всех полков. Все были уверены, что наконец-то последует столь ожидаемое войсками провозглашение Веспасиана императором. Вместо этого на ораторской трибуне форума появился маршал вместе с Иохананом бен Заккай. Один из высших чиновников-юристов заявил, а глашатай повторил его слова звучным голосом, что восставшая провинция признала свою неправоту и покаянно возвращается под протекторат сената и римского народа. В знак этого верховный богослов, Иоханан бен Заккай, передает маршалу документы и печать Высшего иерусалимского храмового управления. Иудейскую войну, ведение которой империя возложила на полководца Тита Флавия Веспасиана, следует тем самым считать оконченной. Оставшееся еще не завершенным усмирение Иерусалима — дело полицейских властей. Солдаты переглядывались, удивленные, разочарованные. А они-то надеялись, что провозгласят своего маршала императором, их судьба будет обеспечена, а может быть, они получат и награду. Вместо этого им предлагали быть свидетелями при совершении юридического акта. Будучи римлянами, они знали, что документы и юридическая форма — вещь важная, однако смысла этого сообщения они все же не видели. Только очень немногие — Муциан, Кенида, Агриппа — поняли, к чему все это клонится. Они понимали, что столь деловому человеку, как Веспасиан, было важно, прежде чем вернуться в Рим императором, получить от противника документы и печать в знак того, что свою задачу он выполнил.

Итак, лица солдат вытянулись, они стали громко роптать. Однако Веспасиан хорошо вымуштровал свои войска, и, когда им пришлось теперь торжественно приветствовать заключение мира, они придали своим лицам даже радостное выражение, как предписывалось в таких случаях военным уставом. Итак, армия продефилировала перед малорослым иерусалимским богословом. Последовали военные значки и знамена. Римские легионы приветствовали его, подняв руку с вытянутой ладонью.

Разве Иосифу не пришлось уже когда-то видеть нечто подобное? Так чествовали в Риме перед Нероном одного восточного царя, но его сабля была забита в ножны. Теперь римская армия чествовала еврейскую божественную мудрость, но лишь после того, как сломала меч Иудеи. Иосиф смотрел на зрелище из уголка большой площади, он стоял совсем позади, среди простонародья и рабов, они толкали, теснили его, кричали. Он смотрел прямо перед собой, не двигаясь.

А древний старичок все еще стоял на трибуне; потом, когда он, видимо, устал, ему принесли кресло. Все вновь и вновь подносил он руку ко лбу, кланялся, благодарил, кивал увядшей головкой, чуть улыбаясь.

По окончании церемонии армия была взбешена. Муциан и Агриппа не сомневались в том, что Веспасиан нарочно разжег негодование войска. Они накинулись на него, доказывая, что плод уже перезрел и маршал должен наконец провозгласить себя императором. Когда он и на этот раз прикинулся наивным и нерешительным, они послали к нему Иосифа бен Маттафия.

Стояла прохладная приятная ночь, с моря дул свежий ветер, но Иосиф был полон горячего, трепетного волнения. Ведь дело шло о том, чтобы его римлянин стал императором,—а он, Иосиф, немало этому способствовал. Он не сомневался, что ему удастся довести колеблющегося маршала до определенного решения. Конечно, его колебания не что иное, как обдуманная оттяжка. Подобно тому, как бегуны надевают свинцовую обувь за десять дней до состязания, чтобы натренировать ноги, так же претендент на престол как будто затруднял себе путь к нему промедлением и притворной уклончивостью, чтобы в конце концов тем скорее достигнуть цели. Поэтому Иосиф так убедительно распространялся перед Веспасианом относительно своей преданности, своих надежд и знания его судьбы, что тот не мог поступить иначе, как склониться перед судьбой и богом, сказать «да».

Но оказалось, что Веспасиан мог поступить иначе. Этот человек был действительно высокомерен и тверд, словно скала. Ни малейшего шага не желал он делать сам; он хотел, чтобы до последней минуты его подталкивали и везли.

— Вы глупец, мой еврей,—сказал он.—Ваши восточные царьки могут лепить себе короны из крови и дерьма; мне это не подходит. Я римский крестьянин, я об этом и не думаю. У нас императоров делает армия, сенат и народ—не произвол. Император Вителлий утвержден законом. Я не бунтовщик. Я за порядок и закон.

Иосиф стиснул зубы. Он говорил со всей силой убеждения, но его слова отскакивали от упряма, как от стены. Веспасиан действительно хотел невозможного, хотел сочетать законное с противозаконным. Продолжать уговаривать Веспасиана бессмысленно, оставалось только покориться.

Иосиф не мог решиться уйти, а Веспасиан не отсылал его. Пять долгих минут просидели они, безмолвствуя, в ночи. Иосиф — опустошенный и смирившийся, Веспасиан — уверенный, спокойно дышащий.

Вдруг маршал возобновил разговор — вполголоса, но взвешивая каждое слово:

— Вы можете передать вашему другу Муциану, что я уступлю только крайнему насилию.

Иосиф поднял глаза, посмотрел на него, облегченно вздохнул. Проверил еще раз.

— Но насилию вы уступили бы?

Веспасиан пожал плечами.

— Убить себя я дам, конечно, неохотно. Шестьдесят лет для такого здорового мужика, как я, — это не годы.

Иосиф поспешно простился. Веспасиан знал: еврей сейчас же пойдет к Муциану, а сам он будет завтра поставлен, к сожалению, перед приятной необходимостью сделаться императором. Он человек осторожный и строжайше запретил и Кениде, и самому себе заранее предвкушать достижение цели, пока эта цель действительно не будет достигнута. Теперь он наслаждался. Воздух шумно вырывался из его ноздрей. У него еще не было времени обстоятельно все обдумать; его ноги в тяжелых солдатских сапогах топали по холодному каменному полу комнаты.

— Тит Флавий Веспасиан, император, владыка, бог. — Он ухмыльнулся, затем осклабился, вновь сделал серьезное лицо. — Ну, вот, — сказал он.

Он бормотал вперемешку латинские и восточные названия: цезарь, адир, император, мессия. В сущности, смешно, что первым его провозгласил еврей. Это немножко раздражало Веспасиана: он чувствовал себя связанным с этим человеком крепче, чем желал бы.

Ему захотелось разбудить Кениду, сказать этой женщине, так долго делившей с ним его успехи и неудачи: «Да, теперь скоро». Но это желание исчезло через мгновение. Нет, он сейчас должен быть один, он не хочет видеть никого.

Нет, кое-кого хочет. Совсем чужого, который о нем ничего не знал и о котором он ничего не знал. Опять расправились морщины на его лице, широко, злом, счастливым. Среди ночи послал он в дом к Иосифу и

приказал прийти к нему жене Иосифа, Маре, дочери Лакиша из Кесарии.

Иосиф только что вернулся домой после разговора с Муцианом, очень гордый сознанием своего участия в том, что завтра его римлянин наконец станет императором. Тем ниже упал он теперь. Как мучительно, что римлянин так унизил его, человека, который внушил ему эту великую идею. Этот наглый необрезанный никогда не даст ему подняться из грязи его брака. Он повторял про себя все те насмешливые прозвища, которые надавали маршалу: дерьмовый экспедитор, навозник. Прибавил самую непристойную ругань по-арамейски, по-гречески, все, что приходило в голову.

Мара, не менее испуганная, чем он, кротко спросила:

— Иосиф, господин мой, я должна умереть?

— Дурочка,—отозвался Иосиф.

Она сидела перед ним смертельно бледная, жалкая, в прозрачной сорочке. Она сказала:

— Месячные, которые должны были прийти три недели назад, не пришли. Иосиф, муж мой, данный мне Ягве, послушай: Ягве благословил чрево мое.—И так как он молчал, прибавила совсем тихо, покорно, с надеждой:— Ты не хочешь держать меня у себя?

— Иди,—сказал он.

Она упала навзничь. Через некоторое время она поднялась, дотащила до двери. Он же, когда она хотела идти, в чем была, добавил грубо, властно:

— Надень свои лучшие одежды.

Она подчинилась робко, нерешительно. Он осмотрел ее и увидел, что на ней простая обувь.

— И надушенные сандалии,—приказал он.

Веспасиан был весьма доволен ее пребыванием и наслаждался ею в полной мере. Он знал, что завтра, завтра его объявят императором, и тогда он навсегда покинет Восток и вернется туда, где ему надлежит быть, в свой Рим, чтобы навести в нем строгость и порядок. В глубине души он презирал его, этот Восток, но вместе с тем любил какой-то странной, снисходительной любовью. Во всяком случае, Иудея пришла к нему по вкусу—эта странная, приносящая счастье, изнасилованная страна послужила полезной скамеечкой для его ног, страна оказалась как бы созданной для подчинения и использования, и даже эта Мара, дочь Лакиша, именно потому, что она была так тиха и полна презрительной кротости, пришла к нему по вкусу. Он смягчил свой скрипучий голос, положил ее озаренную месяцем голову на свою волосатую грудь, перебирал подагрическими руками ее волосы, ласково твердил ей те немногие арамейские слова, которые знал:

— Будь нежной, моя девочка. Не будь глупенькой, моя голубка.

Он повторил это несколько раз, по возможности мягко, но все же в этом было что-то равнодушное и презрительное. Он сопел. Он был приятно утомлен. Велел ей вымыться и одеться, позвал камердинера, приказал увести ее, а через минуту он уже забыл о ней и спал удовлетворенный, в ожидании грядущего дня.

Ночь была очень короткой, и уже светало, когда Мара вернулась к Иосифу. Она шла с трудом, ощущая тяжесть каждой кости, ее лицо было стерто, дрябло, будто сделано из сырой плохой материи. Она сняла платье; медленно, с трудом сдергивала его; сдернула, стала разрывать обстоятельно, с трудом, на мелкие клочья. Потом взялась за сандалии, за свои любимые надушенные сандалии, рвала их ногтями, зубами, и все это медленно, молча. Иосиф ненавидел ее за то, что она не жаловалась, что не возмутилась против него. В нем жила только одна мысль: «Прочь от нее, уйти от нее! Мне не подняться, пока я буду дышать одним воздухом с ней».

Когда Веспасиан вышел из спальни, караульные встретили его почестями и приветствиями, которыми встречали только императора. Веспасиан осклабился:

— С ума сошли, ребята?

Но уже появился дежурный офицер и другие офицеры, и все они повторили приветствие. Веспасиан сделал вид, что сердится. Однако тут пришли несколько полковников и генералов с Муцианом во главе. Все здание вдруг оказалось полно солдат, солдаты наводнили площадь, все вновь и все громче повторяли они приветствие императору, а городом овладевало бурное воодушевление. Тем временем Муциан в настойчивой и особенно убедительной речи потребовал от маршала, чтобы он не дал родине погибнуть в дерьме. Остальные поддерживали его бурными кликами, они наступали все смелее, наконец выхватили даже мечи, и так как они, дескать, все равно уже стали бунтовщиками, то грозились его убить, если он не станет во главе их. Веспасиан ответил своим излюбленным выражением:

— Ну, ну, ну, полегче, ребята. Если вы так уж настаиваете, я не откажусь.

Одиннадцать солдат, стоявших в карауле и приветствовавших его не так, как положено, он наказал тридцатью палочными ударами и дал награду в семьсот сестерциев. Если они желали, то могли откупиться от тридцати ударов тремя сотнями сестерциев. Пятерых солдат, получивших и удары и сестерции, он произвел в фельдфебели.

Иосифу он сказал:

— Я думаю, еврей, что теперь вы можете снять вашу цепь.

Иосиф без особого чувства благодарности поднес руку ко лбу, его смугло-бледное лицо выражало явное недовольство, резкий протест.

— Вы ждали большего? — иронически заметил Веспасиан. И так как Иосиф молчал, он грубо прибавил: — Изреките же наконец! Я ведь не пророк. — Он уже давно угадал, чего желает Иосиф, но ему хотелось, чтобы тот сам об этом попросил. Но здесь вмешался добродушный Тит:

— Доктор Иосиф, вероятно, ждет, чтобы ему разрубили цепь. — Так освобождали людей, которые были задержаны неправильно.

— Ну, хорошо, — пожал плечами Веспасиан. Он позволил, чтобы снятию цепи был придан характер пышной церемонии.

Иосиф, теперь уже свободный человек, низко склонился, спросил:

— Могу я отныне носить родовое имя императора?

— Если это вам что-нибудь даст, — заметил Веспасиан, — я не возражаю.

И Иосиф бен Маттафий, священник первой очереди при Иерусалимском храме, стал с того времени именоваться Иосифом Флавием.

Книга четвертая

АЛЕКСАНДРИЯ

Длинным узким прямоугольником тянулась вдоль моря столица Востока—Александрия Египетская, после Рима—самый большой город в известных тогда частях света и, уж конечно, самый современный. Она имела двадцать пять километров в окружности. Семь больших проспектов пересекали ее в длину, двенадцать— в ширину, дома были высокие и просторные и все снабжены проточной водой.

Расположенная как бы на стыке трех частей света, на перекрестке между Востоком и Западом, у дороги в Индию, Александрия постепенно сделалась первым торговым городом в мире. На всем протяжении девятисот километров азиатского и африканского побережья между Яффой и Паретонием это была единственная гавань, защищенная от непогоды. Сюда свозили золотую пыль, слоновую кость, черепаху, аравийские корни, жемчуг из Персидского моря, драгоценные камни из Индии, китайский шелк. Промышленность, оборудованная по последнему слову техники, поставляла свои знаменитые полотна даже в Англию, вырабатывала драгоценные ковры и гобелены, изготовляла для арабских и индусских племен национальные костюмы. Выделывала тонкое стекло, знаменитые благовония. Снабжала весь мир бумагой, начиная от тончайших сортов дамской почтовой до грубейшей оберточной.

Александрия была трудолюбивым городом. Здесь работали даже слепые, и даже обессилевшие старики находили себе дело. Это была плодотворная работа, и город не утаивал ее плодов. И если по узким улицам Рима и крутым иерусалимским улицам езда в течение дневных часов запрещалась, то в Александрии широкие бульвары были полны шумом от десятка тысяч экипажей, и по обеим главным улицам тянулась непрерывная вереница роскошных выездов. Среди обширных парков высилась гигантской громадой резиденция древних царей, гордая библиотека, музей, мавзолей со стеклянным гробом и

останками Александра Великого. Приезжему нужно было несколько недель, чтобы осмотреть многочисленные достопримечательности. Тут были: еще сохранившееся святилище Сераписа, театр, ипподром, остров Фарос, увенчанный знаменитым белым маяком, гигантские промышленные и приморские кварталы, базилика, биржа, устанавливавшая цены на мировом рынке, а также квартал увеселений, который вел к роскошным пляжам курорта Каноп.

Жизнь в Александрии была легкая и зажиточная. В бесчисленных харчевнях и пивных варилось знаменитое местное ячменное пиво. Во все дни, разрешенные законом, в театрах, во дворце спорта и на арене давались представления. В своих городских дворцах, на виллах в Элевсине и Канопе и на роскошных яхтах богачи устраивали обдуманно утонченные празднества. Берег канала длиной в двадцать километров, соединявшего Александрию с Канопом, был усеян ресторанами. Александрийцы катались на лодках вверх и вниз по каналу; благодаря особому оборудованию каюты легко занавешивались, у берега, в тени египетского ракитника, повсюду на причале стояли такие лодки. Считалось, что именно здесь, в Канопе,—Елисейские поля Гомера; во всех провинциях жители грезили о канопских излишествах, копили на поездку в Александрию.

Однако богатства города служили и более благородным наслаждениям. Музей был богаче, чем художественные собрания Рима и Афин, величайшая в мире библиотека имела штат в девятьсот постоянных переписчиков. Александрийские учебные заведения были лучше римских школ. И если в сфере военной науки, а также, быть может, юриспруденции и политической экономии столица империи и стояла на первом месте, то во всех остальных научных дисциплинах Александрийская академия занимала, несомненно, ведущее место. Римские семьи из правящих кругов предпочитали врачей, изучавших анатомию по методу александрийской школы. Даже казнили в этом городе, под влиянием его медиков, более гуманно: приговоренный подвергался укусу специально содержавшейся для этого ехидны, яд которой действовал очень быстро.

Несмотря на весь свой модернизм, александрийцы были привержены старым традициям. Они тщательно поддерживали молву об особой святости и действенности своих святынь и храмов, культивировали перешедшую к ним от предков древнеегипетскую магию, цеплялись за свои ставшие пережитками обычаи. Как и в глубокой древности, они поклонялись священным животным — быку, соколу, кошке. Когда один римский солдат преднамеренно убил кошку, ничто не могло спасти его от казни.

Так, без устали бросаясь от труда к наслаждению и от наслаждения к труду, жили эти миллион двести тысяч человек: непрестанно жаждущие нового и благоговейно преданные пережиткам былого, очень неуравновешенные, мгновенно переходящие от высшего благоволения к бешеной ненависти, жадные до денег и одаренные, полные живого, ядовитого остроумия, безудержно дерзкие, служители муз, политики каждой частицей своего организма. Со всех концов света стеклись они в этот город, но быстро забыли свою родину и почувствовали себя александрийцами. Александрия была одновременно городом и восточным и западным, городом глубокомысленной философии и веселого искусства, расчетливой торговли, яростного труда, кипящего наслаждения, древнейших традиций и современных форм жизни. Александрийцы безмерно гордились своим городом, и их мало тревожило то, что этот беспредельный чванный патриотизм повсюду вызывает раздражение.

Среди этого человеческого коллектива жила кучка людей еще более древняя, еще более богатая, еще более образованная и высокомерная, чем остальные: это были иудеи. Они имели за собой богатое историческое прошлое. Они поселились здесь семьсот лет назад, с тех пор как храбрые иудейские наемные войска выиграли для царя Псамметиха его великую битву. Позднее Александр Македонский и Птолеми высылали их сюда сотнями тысяч. Теперь их число в Александрии доходило почти до полумиллиона. Обособленность их культа, богатство и высокомерие вызывали все вновь и вновь жестокие погромы. Всего три года назад, когда в Иудее разразилось восстание, в Александрии произошла дикая резня, во время которой погибло до пятидесяти тысяч евреев. В части города, называемой Дельта, где главным образом и жили евреи, до сих пор еще оставались опустошенными целые районы. Многих разрушений евреи не восстанавливали нарочно, и также не стирали они со стен своих синагог забрызгавшей их тогда крови. Они даже гордились такими нападениями, это служило доказательством их силы. Ибо в действительности Египтом правили они, так же как некогда правил страной при своем фараоне Иосиф, сын Иакова. Фельдмаршал Тиберий Александр, египетский генерал-губернатор, был по происхождению еврей, и люди, руководившие страной, чиновники, владельцы текстильных фабрик, откупщики податей, торговцы оружием, банкиры, хлебные тузы, судовладельцы, фабриканты папируса, врачи, преподаватели академии были евреями.

Главная александрийская синагога являлась одним из мировых чудес архитектурного искусства; она вмещала

более ста тысяч человек и считалась наравне с Иерусалимским храмом одним из величайших зданий в мире. В ней стояло семьдесят одно кресло из чистого золота для верховного наставника и председателей общинных советов. Ни один, даже самый мощный, человеческий голос не мог покрыть всего пространства этого гигантского здания, и приходилось сигнализировать флажками, когда толпе надлежало отвечать священнику «аминь».

Высокомерно, сверху вниз, взирали александрийские иудеи на своих римских сородичей, на этих западных иудеев, которые жили по большей части в бедности и никак не могли вырваться из тисков пролетарского существования. Они, александрийские иудеи, мудро и гармонично согласовали свое иудейство с формами жизни и мировоззрением греческого Востока. Уже сто пятьдесят лет назад перевели они Библию на греческий язык и нашли, что их Библия отлично сочетается с греческим миром.

И несмотря на это, а также на то, что у них был в Леонтополе собственный храм, центром для них оставалась гора Сион. Они любили Иудею, они взирали с глубоким состраданием на то, как из-за политической неумелости Иерусалима еврейскому государству стал грозить распад. У них была одна главная забота — сохранить хотя бы храм. Они, подобно всем остальным иудеям, делали взносы на храм и паломничали в Иерусалим, у них были там свои гостиницы, синагоги, кладбища. Многие части храма были возведены их щедротами; врата, колонны, залы. Без Иерусалимского храма жизнь казалась невыносимой и александрийским евреям.

Здесь они расхаживали с высоко поднятой головой и не подавали вида, насколько события в Иудее их волнуют. Дела были в цветущем состоянии, новый император относился к ним хорошо. Красуясь в роскошных экипажах, проезжали они по главной магистрали, по-княжески сидели на высоких стульях внутри базилики и биржи, давали пышные празднества в Канопе и на острове Фаросе. Но, оставаясь между своими, эти надменные люди мрачнели. Они тяжело вздыхали, опускали гордые плечи.

Когда Иосиф, находившийся в свите нового императора, сошел с корабля, александрийские евреи приняли его сердечно и почтительно. Они, видимо, знали совершенно точно о том участии, которое Иосиф принимал в провозглашении Веспасиана императором, они даже переоценивали это участие. Его молодость, его сдержанная внутренняя сила, строгая красота его худощавого страстного

лица — все это потрясало людей. И, как некогда в Галилее, жители еврейских кварталов Александрии кричали и теперь, завидев его: «Марин, марин, господин наш!»

После мрачного фанатизма Иудеи, после суровости лагерной жизни римлян он теперь с наслаждением дышал вольной ясностью мирового города. Свою прежнюю смутную и дикую жизнь, свою жену Мару он оставил в Галилее. Не интриги текущей политики, не грубые задачи военной организации — его областью было духовное. С гордостью носил он на поясе золотой письменный прибор, поднесенный ему как почетный дар молодым генералом Титом, когда они уезжали из Иудеи.

Пышно проезжал Иосиф по главной улице бок о бок с великим наставником Феодором бар Даниилом. Он показывался в библиотеке, в банях, в роскошных ресторанах Канопы. Еврея с золотым письменным прибором скоро узнали повсюду. В аудиториях преподаватели и студенты не раз вставали при его появлении. Фабриканты, купцы гордились, когда он осматривал их фабрики, магазины, амбары; ученые чувствовали себя польщенными, когда он присутствовал на их лекциях. Он вел жизнь вельможи. Мужчины внимали ему, женщины бросались ему на шею.

Да, он не ошибся в своем предсказании. Веспасиан действительно оказался мессией. Правда, освобождение через этого мессию совершалось несколько иначе, чем он предполагал: медленно, трезво, буднично. Оно состояло в том, что этот человек разбил скорлупу иудаизма, так что ее содержание растеклось по всей земле, эллинизм и иудаизм смешались и слились. В жизнь Иосифа и в его представление о мире все более проникал ясный и скептический дух восточных греков. Иосиф уже не понимал, как мог когда-то испытывать отвращение ко всему нееврейскому. Герои греческих мифов и библейские пророки вовсе не исключали друг друга, между небом Ягве и Олимпом Гомера не было противоречия. И Иосиф начинал ненавидеть те границы, которые раньше знаменовали для него исключительность, избранность. На самом деле задача заключалась в том, чтобы перелить свое хорошее в других, а чужое хорошее впитать в себя.

Он оказался первым, предвосхитившим подобное мировоззрение. Это был человек нового типа: уже не еврей, не грек, не римлянин: просто гражданин вселенной.

Город Александрия являлся издавна штаб-квартирой врагов иудейского народа. Здесь Апион, Аполлоний Молон, Лисимах, египетский верховный жрец Манефон учили, что евреи происходят от прокаженных, что они в своем святая святых поклоняются ослиной голове, они

откармливают в своем храме молодых греков и убивают их на праздник пасхи, пьют их кровь и ежегодно заключают при этом тайный еврейский союз против всех остальных народов. Тридцать лет назад два директора высшей спортивной школы, Дионисий и Лампон, с искусством профессионалов организовали антиеврейское движение. Белый башмак высшей школы спорта постепенно стал символом, и теперь антисемиты всего Египта назывались «белобашмачниками».

С появлением еврея Иосифа белобашмачникам прибавилась еще одна забота. Когда он с надменным видом разъезжал по городу и принимал почести, он казался им воплощением еврейского зазнайства. В своих клубах, на своих сборищах они распевали куплеты, порой не лишённые остроумия, о еврейском герое и борце за свободу, перебежавшем к римлянам, о ловком маккавее, который повсюду втирался и держал нос по ветру.

И вот однажды, когда Иосиф собирался войти в Агрипповы бани, ему пришлось пройти в вестибюле мимо группы молодых людей — белобашмачников. Едва завидев его, они принялись напевать, отвратительно гнусая, пискливыми гортанными голосами: «Марин, марин!» — явно пародируя восторженные приветствия, которыми евреи встречали Иосифа.

Смугло-бледное лицо Иосифа побледнело еще больше. Но он шел, выпрямившись, не поворачивая головы ни вправо, ни влево. Белобашмачники, увидев, что он на них не обращает внимания, удвоили свои выкрики. Одни орал:

— Не подходите к нему слишком близко, а то он вас заразит!

Другие:

— Как вам понравилась наша свинина, господин Маккавей?

Со всех сторон раздавался крик, визг:

— Иосиф Маккавей! Обрезанный Ливий!

Иосиф видел перед собой стену издевающихся, горящих ненавистью лиц.

— Вам что угодно? — спросил он очень спокойно ближайшее к нему лицо, смугло-оливковое.

Спрошенный отвечал с преувеличенно дерзкой покорностью:

— Я хотел только узнать, господин Маккавей, ваш отец был тоже прокаженным?

Иосиф посмотрел ему в глаза, не сказал ничего. Другой белобашмачник спросил, указывая на золотой письменный прибор, висевший у Иосифа на поясе:

— Не унес ли это с собой один из ваших почтенных предков, когда его выгнали из Египта?

Иосиф все еще молчал. Вдруг, неожиданно быстрым движением, он вытащил из-за пояса тяжелый письменный прибор и ударил им вопрошавшего по голове. Тот упал. Кругом стояла беззвучная тишина. Надменно, даже не взглянув на поверженного, прошел Иосиф во внутреннее помещение бань. Белобашмачники устремились было за ним, их удержали банщики и посетители.

Потерпевший, некий Херей из знатной семьи, был серьезно ранен. Против Иосифа было начато судебное следствие, но скоро прекращено. Император сказал Иосифу:

— Все это очень хорошо, мой мальчик. Но письменный прибор мы вам подарили все-таки не для этого.

Александрийские иудеи ежегодно торжественно праздновали на острове Фаросе окончание греческой Библии. Перевод Священного писания на греческий язык был начат три столетия назад по инициативе второго Птолемея и директора его библиотеки, Деметрия Фалерского. Семьдесят два еврейских ученых, владеющих с одинаковым совершенством древнееврейским и греческим языками, выполнили это нелегкое дело, благодаря которому до египетских евреев, уже не понимавших основного текста, все же могло дойти слово божие. Все семьдесят два ученых работали в уединении, каждый — строго обособленно, и все-таки, в конце концов, текст каждого буквально совпал с текстом остальных. И вот это чудо, с помощью которого Ягве показал, что он одобряет дружбу и совместную жизнь евреев с греками, и праздновали ежегодно александрийские иудеи.

Все знатнейшие мужчины и женщины Александрии, даже неевреи, отправлялись в этот день на остров Фарос. Отсутствовали только белобашмачники. В празднестве участвовали также император, принц Тит, знатнейшие аристократы Рима и всех провинций, привлеченные сюда пребыванием двора в Александрии.

На долю Иосифа выпала задача выразить благодарность иноплеменникам, приглашенным на праздник. Он говорил весело, но содержательно, с волнением подчеркнув роль объединяющей народы Библии и объединяющего народы всемирного города Александрии.

Чтобы хорошо говорить, ему необходимо было видеть лица своих слушателей, и, обычно проверяя впечатление от своих слов, он избирал в толпе наугад какое-нибудь лицо. На этот раз взгляд его упал на чье-то мясистое и все же строгое, очень римское лицо. Но лицо это замкнулось и оставалось во все время его речи неподвижным. Брезгливо и словно не видя, смотрело это римское

лицо сквозь него, поверх него, и притом с таким тупым высокомерием, что Иосиф чуть не потерял нить своих мыслей.

Окончив свою речь, Иосиф осведомился, кто этот господин. Оказалось, что это Гай Фабулл, придворный живописец императора Нерона, и что его кисти принадлежат фрески в Золотом доме. Иосиф внимательно рассмотрел человека, слушавшего его речь с таким невежливым равнодушием. На грузном, толстом, почти бесформенном теле сидела энергичная, суровая голова. Гай Фабулл был особенно тщательно одет, держался чопорно и с достоинством, что при его тучности производило несколько комическое впечатление.

Будучи в Риме, Иосиф наслышался о причудах Гая Фабулла. Во внешнем облике этого художника, убежденного эллиниста, служителя легкого и жизнерадостного искусства, была какая-то подчеркнутая торжественность. Он писал только в парадной одежде, держался чрезвычайно надменно, не разговаривал со своими рабами, объясняясь с ними только знаками и кивками. Несмотря на прославленность и изысканность его искусства,—не было ни одного самого маленького провинциального городка, в котором не оказалось бы картины или фрески, написанной в его манере,—ему все же не удалось проникнуть в знатнейшие римские дома. В конце концов он женился на эллинизированной египтянке и тем навсегда закрыл себе доступ в среду высшей аристократии.

Иосиф удивился, что Фабулл вообще находится здесь: ему сказали, будто художник — один из яростных приверженцев белобашмачников. Иосиф испытывал отвращение ко всякого рода живописи — она ничего ему не говорила. Заповедь «Не сотвори себе кумира» пустила в его душе глубокие корни. Писателей и в Риме ценили очень высоко, художников же считали как бы принадлежащими к низшей касте; и с тем более презрительной неприязнью рассматривал Иосиф тщеславного художника.

К Иосифу обратился император. В поднесенном ему особенно роскошном экземпляре греческой Библии он зорким взглядом отыскал некоторые эротические места и теперь скрипучим голосом попросил у Иосифа объяснений.

— Да вы успели обрасти жирком, еврей мой,—сказал он удивленно. Затем повернулся к Фабуллу, стоявшему поблизости:—Вы бы видели моего еврея в Галилее, мастер. Вот где он был великолепен: косматый, тощий, изможденный. Прямо пророка с него рисуй.

Фабулл слушал неподвижный, безгливый; Иосиф вежливо улыбался.

— Я здесь,—продолжал Веспасиан,—взял себе врача

Гекатея. Он заставляет меня раз в неделю поститься. Это действует на меня отлично. Как вы думаете, Фабулл? Если мы этого парня заставим недельку попоститься, напишете вы мне его тогда?

Фабулл стоял неподвижно, его лицо скривилось легкой гримасой. Иосиф сказал мягко:

— Меня радует, ваше величество, что вы сегодня уже в состоянии так добродушно шутить, вспоминая Иотапату.

Император рассмеялся:

— При перемене погоды все еще дает себя знать моя нога, на которую ваши солдаты бухнули каменное ядро.— Он указал на даму, стоявшую рядом с художником:— Ваша дочь, Фабулл?

— Да,—ответил художник сухо, сдержанно,—моя дочь Дорион.

Все взгляды обратились к девушке. Дорион была довольно высокого роста, стройная и хрупкая, золотисто-смуглая кожа, узкое тонкое лицо, покатым высоким лоб, глаза цвета морской воды. Выступающие надбровные дуги, тупой, слегка широковатый нос, легкий и чистый профиль; и на этом нежном надменном лице резко выступал большой дерзкий рот.

— Хорошенькая девушка,—сказал император и добавил, прощаясь:—Так вот, обдумайте-ка, Фабулл, будете ли вы писать моего еврея.

Затем он отбыл. Остальные продолжали еще стоять некоторое время немой и растерянной группой. Фабулл явился на праздник только из внимания к новому режиму. Он с трудом уговорил Дорион его сопровождать. Теперь он раскаивался, что приехал. Он вовсе не намерен писать портрет этого ленивого тщеславного еврейского литератора. Иосиф, со своей стороны, отнюдь не хотел, чтобы его писал этот наглый, тупоумный художник. Однако он не мог отрицать, что Дорион производит впечатление... «Хорошенькая девушка»,—сказал император. Это пошло и к тому же неверно... Как она стояла там, нежная до хрупкости, непринужденно и все же строго, и только ее большой рот улыбался едва уловимой, торжествующей и циничной улыбкой. Иосиф неприязненно любовался ее несколько дикой прелестью.

— Так вот,—повторила Дорион слегка насмешливо любимое выражение императора,—может быть, пойдем и мы, отец?

У нее был высокий, звонкий и дерзкий голос. Иосиф открыл рот, чтобы заговорить с ней, но, несмотря на его обычную находчивость, не смог найти нужных слов. В эту минуту он почувствовал, как что-то потерялось о его ноги. Опустил глаза—оказалось, большая коричневато-рыжая кошка. Кошки—священные животные, они были в Египте

в большом почете, а римляне и евреи не любили их. Иосиф попытался ее отогнать. Но она не уходила, мешала ему. Он наклонился, схватил ее. Вдруг его поразил голос девушки:

— Оставьте кошку!—Голос был резкий, неприятный. Но какая в нем появилась вдруг неожиданная мягкость, когда она обратилась к кошке:—Пойди сюда, мой зверек! Мое милое маленькое божество! Он ничего не понимает, этот мужчина. Он тебя напугал?—И она стала гладить кошку. Некрасивое животное замурлыкало.

— Простите,—сказал Иосиф,—я не хотел обидеть вашу кошку. Это полезные животные в те годы, когда много мышей.

Дорион отлично улавливает в его голосе насмешку. Ее мать и няня были египтянками. Кошка—божество, в ней еще осталось нечто от львиноголовой богини Бастет, от силы и мощи древних времен. Еврей хотел унижить ее божество, но он слишком ничтожен, чтобы она возражала ему. Не следовало приходить на этот праздник. Как художник ее отец несравненен, ни одно правительство, ни один император без него не обойдется; он мог бы с успехом и не оказывать этого внимания новому правительству. Дорион молчала; она стояла недвижимо, держа на руках кошку; это была красивая картинка: нарядная девушка, играющая с кошкой. Отдаваясь приятно щекощущему чувству от многочисленных устремленных на нее взглядов, она размышляла. «Хорошенькая девушка»,—сказал император... Отцу предложено писать этого еврея... Какая грубая, глупая шутка... Император неуклюж, типичный римлянин... Жаль, что у отца не хватило присутствия духа, чтобы защититься от таких шуток. Он ничего не может им противопоставить, кроме своей несколько брезгливой чопорности. Этот еврей, со своей подобострастной иронией, удачнее вышел из положения. Она прекрасно видела, что, несмотря на дерзкое замечание относительно кошки, она Иосифу понравилась. Если она сейчас скажет всего несколько слов, он, наверное, произнесет в ответ целый ряд примирительных и лстивых фраз. Но она решает промолчать. Если он заговорит опять, тогда она, быть может, соизволит ответить. А не заговорит—она уйдет, и это будет ее последняя встреча с ним.

Иосиф, со своей стороны, тоже думал: эта девушка Дорион насмешлива и высокомерна. Если он с ней затеет разговор, то дело пойдет дальше, начнутся неприятности. Самое лучшее—оставить ее вместе с этой глупой, безобразной кошкой. Как странно выделяется бронзовый цвет ее рук на фоне бронзово-бурой шерсти кошки! У нее необычайно тонкие длинные пальцы: кажется, что она

сошла с одной из тех старых угловатых картин — этой мазней здесь все пестрит.

— Вы не находите, что это будет уже чересчур, если я еще похудею, чтобы позировать вашему отцу? — спрашивает он и уже раскаивается, что не ушел сразу.

— По-моему, маленький пост — не слишком большая плата за бессмертие, — отвечает Дорион своим звонким, детским голосом.

— Я считаю, — возражает Иосиф, — что если и буду жить дальше, то в своих книгах.

Дорион рассердилась на этот ответ. Вот она опять, эта знаменитая еврейская самоуверенность. Она искала слов, чтобы уколоть его; но она еще не успела их найти, когда Фабулл сказал сухо, по-латыни:

— Пойдем, дочь моя. Не от нас и не от него зависит, буду я его писать или нет. Если император прикажет, то я буду писать даже пятачок протухшей свиньи.

Иосиф смотрел им вслед, пока они не исчезли в крытой колоннаде в начале плотины, соединявшей остров с сушей. Разговор кончился не в его пользу, но он не жалел о том, что заговорил.

В эти дни Иосиф написал псалом, известный впоследствии как «Псалом гражданина вселенной»¹.

О Ягве! Расширь мое зренье и слух,
Чтобы видеть и слышать дали твоей вселенной.
О Ягве! Расширь мое сердце,
Чтобы постичь вселенной твоей многосложность.
О Ягве! Расширь мне гортань,
Чтоб исповедать величие твоей вселенной!

Внимайте, народы! Слушайте, о племена!
Не смейте копить — сказал Ягве — духа, на вас излитого,
Расточайте себя по гласу господню,
Ибо я изблюю того, кто скуп
И кто запирает сердце свое и богатство,
От него отвращу свой лик.

Сорвись с якоря своего — говорит Ягве, —
Не терплю тех, кто в гавани илом зарос.
Мерзки мне те, кто гниет среди смрада безделья.
Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей,
И ноги для бега,
Чтобы он не стоял как дерево на своих корнях.

Ибо дерево имеет одну только пищу,
Человек же питается всем,
Что создано мною под небесами.
Дерево знает всегда лишь подобие свое,
Но у человека есть глаза, чтобы вбирать в себя чуждое ему.
И у него есть кожа, чтобы осязать и вкушать иное.
Славьте бога и расточайте себя над землями,

¹ Перевод Юлиана Анисимова.

Славьте бога и не щадите себя над морями.
Раб тот, кто к одной стране привязал себя!
Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я:
Имя его — вселенная.

Так Иосиф из гражданина Иудеи сделался гражданином вселенной и из священника Иосифа бен Маттафия — писателем Иосифом Флавием.

В Александрии тоже существовали приверженцы «Мстителей Израиля». Несмотря на связанную с этим опасность, люди осмеливались показываться даже на улицах с запретной повязкой, носившей заглавные буквы девиза маккавеев: «Кто сравнится с тобою, господи». Когда прибыл сюда Иосиф, маккавеи старались всеми способами показать ему, предавшему их дело, свое презрение. После его столкновения с белобашмачником Хереем они несколько приутихли. Но теперь, после «Псалма гражданина вселенной», они с удвоенной яростью обрушивались на этого двуличного, неоднократно запятнавшего себя человека.

Вначале Иосиф смеялся, но вскоре заметил, что агитация «Мстителей Израиля» передалась и умеренным и его стали сторониться даже члены Большого Общинного совета. Конечно, александрийские вожди держались в душе тех же взглядов, что и он, но большинству общины «Псалом гражданина вселенной» казался чудовищным кощунством, и не прошло еще двух недель со дня его опубликования, как в главной синагоге дело дошло до скандала.

Если какой-нибудь александрийский еврей находил, что верховный наставник и его помощники отстаивают в серьезном деле неправильную точку зрения, то старинный обычай давал ему право апеллировать ко всей общине, и именно в субботу, над развернутым свитком Писания. Субботнее служение и чтение Писания следовало прервать до тех пор, пока община не находила по поводу данной жалобы единого решения. Но прибегать к этому обжалованию было опасно; в случае если община не признавала жалобу правильной, жалобщика приговаривали на три года к великому отлучению. Вследствие такой строгости подобной мерой пользовались крайне редко: за последние двадцать лет это случилось всего трижды.

И вот когда Иосиф в первый раз после опубликования своих стихов показался в главной синагоге, это случилось в четвертый раз. В ту субботу надлежало читать отрывок, начинавшийся словами: «И явился ему господь у дубравы Мамре». Едва свиток был возложен на возвышение, с которого должен был быть прочитан, едва со свитка

сняли его драгоценный футляр и развернули его, вожди маккавеев с кучкой приверженцев бросились к кафедре и потребовали прекратить чтение. Они заявили жалобу на Иосифа бен Маттафия. Правда, юристы общины с помощью всякой казуистики доказывали, что иерусалимское отлучение для Александрии недействительно,—огромное большинство александрийских евреев придерживалось другой точки зрения. Этот человек, по имени Иосиф бен Маттафий, виновен в бедствиях, обрушившихся и на Галилею и на Иерусалим, он вдвойне предатель. Достаточно его позорного, рабского брака с наложницей Веспасиана, чтобы исключить его из общины. При бурном одобрении присутствующих оратор потребовал, чтобы Иосифа удалили из помещения синагоги.

Иосиф стоял неподвижно, сжав губы. Эти сто тысяч человек, находившихся сейчас в синагоге,—те же самые люди, которые всего несколько недель тому назад приветствовали его возгласами: «Марин, марин!» Неужели осталось так немного людей, которые готовы вступить за него? Он взглянул на великого наставника Феодора бар Даниила и на семьдесят членов совета, сидевших в золотых креслах. Они сидели белее своих молитвенных одежд и не открывали рта. Нет, эти не могли защитить его, да они его и не защищали. Не послужило ему защитой и то, что он друг императора. Его с позором выгнали из синагоги.

Многие, видя, как он выходит, униженный, подумали: «Это потому, что в мире есть некое колесо. Оно, подобно водочерпальному колесу, поднимает и опускает ведра, и пустое наполняется, а полное—выливается, и теперь черед вот этого человека, ибо вчера еще он был горд, а сегодня покрыт позором».

Сам Иосиф, казалось, отнесся к этой истории не слишком серьезно. Он продолжал вести, как и раньше, блистательную жизнь—среди женщин, писателей и актеров, был высокочтимым гостем в кругах канопской золотой молодежи. Принц Тит еще более явно, чем прежде, выделял его и показывался почти всегда в его обществе.

Но когда Иосиф оставался один, ночами, он чувствовал себя больным от стыда и горечи. Его мысли обращались против него самого. Он нечист, он покрыт проказой и внутри и снаружи. Никакой Тит не может соскоблить с него этих струпов. Этот стыд был вполне осязаем, каждый мог его видеть. У этого стыда было имя. Имя это—Мара. Он должен засыпать источник своих бедствий, и засыпать его навеки.

Через несколько недель, ни с кем не посоветовавшись, он отправился к верховному судье общины, доктору Василиду. Со времени своего изгнания из синагоги Иосиф не показывался ни у одного из представителей еврейской знати. Верховный судья почувствовал неловкость. Он не находил слов, ерзал, пробормотал несколько несвязных фраз. Но Иосиф извлек разорванную жреческую шапочку, как предписывал в подобных случаях обычай, положил ее перед верховным судьей, разодрал одежду и сказал:

— Доктор и господин мой Василид, я ваш слуга и подчиненный, Иосиф бен Маттафий, бывший священник первой череды при Иерусалимском храме. Я впал в грех дурного влечения. Я женился на женщине, хотя женитьба на ней была мне запрещена, на военнопленной, она блудила с римлянами. Меня следует вырвать, как плевел.

Когда Иосиф произнес эти слова, доктор Василид, верховный судья общины, побледнел; их смысл ему слишком хорошо известен. Прошло некоторое время, прежде чем он ответил предписанной формулой:

— Это наказание, грешник, не в руке человека, оно в руке господней.

Иосиф продолжал и спросил сообразно с формулой:

— Существует ли средство, доктор и господин мой Василид, с помощью которого грешник сможет отвести наказание от себя и своего рода?

И верховный судья ответил:

— Если грешник примет на себя сорок ударов, Ягве смилостивится. Но об этом наказании грешник должен просить.

Иосиф сказал:

— Прошу, доктор и господин мой, о наказании сорока ударами.

Когда стало известно, что Иосиф хочет принять бичевание, это вызвало в городе Александрии большой шум; бичеванием наказывали не часто, обычно только рабов. Маккавеи изумились и умолкли; многие из тех, кто громче всех кричал при изгнании Иосифа из синагоги, теперь втайне пожалели об этом. Белобашмачники же измазали все стены домов карикатурами на бичуемого Иосифа, а в харчевнях распевали о нем куплеты.

Иудейские чиновники не объявили о дне экзекуции. Все-таки в назначенный день весь двор Августовой синагоги был полон людьми, а окрестные улицы бурлили любопытными. Смугло-бледный, исхудавший, с горящими глазами, смотревшими прямо перед собой, шел Иосиф к верховному судье. Он приложил руку ко лбу, сказал так громко, что его слышали в самых далеких закоулках:

— Доктор и господин судья, я впал в грех дурного влечения. Прошу о наказании сорока ударами.

Верховный судья ответил:

— Итак, передаю тебя, грешник, судебному исполнителю.

Палач Анания бар Акашья кивнул своим двум помощникам, и они сорвали с Иосифа одежду. Подошел врач, освидетельствовал его, способен ли он выдержать бичевание и не будет ли под бичом испускать мочу и кал, ибо это считалось бесчестьем, а в законе сказано: «Твой брат да не будет посрамлен пред глазами твоими». Иосифа осматривал старший врач общины, Юлиан. Он тщательно осмотрел его, особенно сердце и легкие. Многие из присутствующих ожидали, что врач не найдет Иосифа способным выдержать все бичевание, а самое большое — несколько ударов. В глубине души на такое заключение надеялся и сам Иосиф. Но врач вымыл руки и заявил:

— Грешник выдержит сорок ударов.

Палач приказал Иосифу стать на колени. Помощники привязали его руки к столбу, так что колени находились на некотором расстоянии от столба, и все видели, как натянулась гладкая бледная кожа на его спине. Затем они привязали к его груди тяжелый камень, оттянувший вниз верхнюю часть тела. Палач Анания бар Акашья схватил бич. И в то время, как сердце Иосифа, казалось, на глазах у всех бьется о ребра, палач обстоятельно прикрепил к рукоятке широкий ремень из бычьей кожи, проверил его, немного отпустил, натянул, опять отпустил. Кончик ремня должен был достигать живота наказуемого. Так предписывал закон.

Верховный судья начал читать оба стиха из Писания, относящихся к бичеванию: «И должно происходить так: если виновный заслуживает побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. Сорок ударов можно дать ему, а не больше, иначе, если дадут ему много ударов свыше этого, брат твой будет посрамлен пред глазами твоими». Палач тринадцать раз полоснул Иосифа по спине. Второй судья отсчитывал удары, потом помощники облили наказуемого водой. Затем третий судья сказал: «Бей», — и палач ударил тринадцать раз по груди. Помощники опять облили наказуемого. Напоследок палач нанес ему еще тринадцать ударов по спине. Было очень тихо. Люди слышали резкие звуки ударов, слышали сдавленное, свистящее дыхание Иосифа, видели, как трепещет его сердце. Иосиф лежал связанный и задыхался под ударами бича. Они были короткие и острые, а боль — как бесконечное взволнованное море; она накатывала высокими валами, уносила

Иосифа, отступала, Иосиф всплывал, она приходила опять и обрушивалась на него. Иосиф хрипел, захлебывался, вдыхал запах крови. Все это происходило из-за Мары, дочери Лакиша, он желал ее, он ненавидел ее, теперь ее надо вытравить из его крови. Он молился: «Из бездны взываю к тебе, господи». Он считал удары, но сбился со счета; это были уже сотни ударов, и они продолжались бесконечно. Закон требовал, чтобы было не сорок ударов, а тридцать девять; ибо написано: «числом до», что значило «приблизительно», и потому давалось только тридцать девять. О, как мягок закон богословов! Как жестоко Писание! Если они сейчас не перестанут, он умрет. Ему казалось, что Иоханан бен Заккай запретит им продолжать. Иоханан находился в Иудее, в Иерусалиме или в Ямнии; но все-таки он окажется здесь, он разверзнет уста. Важно только выдержать до тех пор. Земля и столб перед ним заволакиваются туманом, но Иосиф пытается овладеть собой. Ему приказано видеть все отчетливо, различать землю и столб, пока не придет Иоханан. Но Иоханан бен Заккай не пришел, и Иосиф в конце концов все же перестал видеть и потерял сознание. Да, на двадцать четвертом ударе с ним сделался обморок; и он безжизненно повис на веревках. Но после того как его облили водой, он снова пришел в себя, и врач сказал:

— Выдержит.

И судья сказал:

— Продолжайте.

Среди зрителей была и принцесса Береника. Здесь не оказалось ни трибун, ни отгороженных мест. Но еще накануне ночью она послала своего самого сильного каппадокийского раба занять для нее место. И вот, зажата множеством людей, стояла она во втором ряду, полураскрыв удлинённый рот, тяжело дыша, упорно устремив глаза на бичуемого. Во дворе царила беззвучная тишина. Слышен был только голос верховного судьи, читавшего стихи из Писания,—крайне медленно, всего три раза, и издалека, с улиц, доносились крики толпы. Очень внимательно смотрела Береника, как этот высокомерный Иосиф принимает удары, чтобы освободиться от шлюхи, которой вынужден был дать свое имя. Да, Береника чувствует, что с Иосифом ее связывает кровное родство. Этот человек не гонится за маленькими грешками и мелкими добродетелями. Так смириться, чтобы вознестись тем выше,—это она понимала. Находясь в пустыне, она сама вкусила сладострастие подобных унижений. Ее лицо побледнело, смотреть было нелегко, но она продолжала смотреть. Она беззвучно шевелила губами, механически считала удары. Она была рада, когда

упал последний; но она могла бы смотреть и дольше. Во рту у нее пересохло.

Иосифа, окровавленного и потерявшего сознание, отнесли в дом общины. Его обмыли, под присмотром врача Юлиана натерли мазями, влили в рот питье из вина и мирры. Когда он пришел в себя, он сказал:

— Дайте палачу двести сестерциев.

Тем временем Мара, дочь Лакиша, ходила счастливая, радуясь ребенку, которого должна была родить, оберегая его с тысячью предосторожностей. Крайне трудолюбивая, она теперь никогда не вертела ручную мельницу, чтобы ребенок не был пьяницей. Не ела незрелых фиг, чтобы он не родился с гноящимися глазами, не пила пива, чтобы не испортить ему цвет лица, не ела горчицы, чтобы он не стал кутилой. Наоборот, она ела яйца, чтобы глаза у ребенка стали больше, краснорыбицу, чтобы люди относились к нему благожелательно, лимонные цукаты, чтобы его кожа приятно пахла. Пугливо сторонилась она всякого безобразия, чтобы нечаянно на него не взглянуть, усердно старалась смотреть на красивые лица. С трудом добыла волшебный орлиный камень, он от природы полый внутри, но в нем заключен второй камень — подобие беременной женщины: она хотя и отверста, но ребенка не выронит.

Когда наступило время родов, Мару устроили на родильном стуле — особой плетеной подставке, на которой она могла полулежать, и привязали к подставке курицу, чтобы ее трепыхание ускорило роды. Роды были трудные, спустя много дней Мара при воспоминании о них все еще ощущала резкий холод в бедрах. Повивальная бабка произносила заклинания, считала, называла ее по имени, считала. Наконец появился ребенок, это был мальчик, сине-черный, грязный, его кожа была покрыта кровью и слизью, но он кричал, и кричал так, что крик отдавался от стен. Это был хороший знак, и то, что ребенок родился в субботу, тоже хороший знак. Несмотря на субботу, ему сделали ванну из теплой воды и в воду налили вина, драгоценного эшкольского вина. Осторожно вытянули ребенку тельце, смазали мягкий затылок кашицей из незрелого винограда, чтобы предохранить от насекомых. Тело умастили теплым маслом, присыпали порошком истолченной мирры, завернули в тонкое полотно; Мара сэкономила на своих платьях, чтобы добыть лучшее полотно для ребенка.

— Яник, Яники, Йильди, мое дитя, моя детка, мой бебе,—говорила Мара и с гордостью велела на другой день посадить кедр, так как родился мальчик.

Все девять месяцев своей беременности обдумывала

она, как назвать мальчика. Но теперь, в эту неделю перед обрезанием, когда надо было решать, она долго колебалась. Наконец она выбрала. Мара призвала писца и продиктовала ему следующее письмо:

«Мара, дочь Лакиша, приветствует своего господина, Иосифа, сына Маттафия, священника первой череды, друга императора.

О Иосиф, господин мой, Ягве увидел, что не угодила тебе служанка твоя, и он благословил мое чрево и удостоил меня родить тебе сына. Он родился в субботу и весит семь литр шестьдесят пять зузов, и его крик отдавался от стен. Я назвала его Симоном, что значит «сын услышания», ибо Ягве услышал меня, когда я была тебе неугодна. Иосиф, господин мой, приветствую тебя, стань великим в лучах императорской милости, и лик господень да светит тебе.

И не ешь пальмовой капусты, ибо от этого у тебя делается давление в груди».

В один из этих дней, еще до получения письма, Иосиф стоял в переднем зале Александрийской общины, бледный и худой, осунувшийся после бичевания, но все же он держался прямо. Рядом с ним стояли в качестве свидетелей верховный наставник Феодор бар Даниил и председатель Августовой общины — Никодим. Председательствовал сам верховный судья Василид, три богослова были судьями. Главный секретарь общины писал под диктовку верховного судьи; он писал, как того требовал закон, на пергаменте из телячьей кожи, писал гусиным пером и густо-черными чернилами и старался, чтобы документ состоял точно из двенадцати строк, согласно числовому смыслу еврейского слова «гет», означавшего разводное письмо.

Гусиное перо скрипело по пергаменту, а Иосиф слышал в своем сердце шорох, более громкий, чем этот скрип. Это был тот резкий шорох, с каким Мара, дочь Лакиша, разрывала на себе платье и сандалии, молча, обстоятельно, в то раннее утро, когда она вернулась от римлянина Веспасиана. Иосиф думал, что забыл этот шорох, но теперь он слышал его опять, очень громкий, громче, чем скрип пера. Но он запретил уху слышать, а сердцу — чувствовать.

Секретарь же писал вот что: «В семнадцатый день месяца кислев, в 3830 году от сотворения мира, в городе Александрии у Египетского моря.

Я, Иосиф бен Маттафий, по прозванию Иосиф Флавий, еврей, находящийся ныне в городе Александрии, у Египетского моря, согласился свободно и без принуждения тебя,

мою законную жену Мару, дочь Лакиша, находящуюся ныне в городе Кесарии у Еврейского моря, отпустить, освободить и дать тебе развод. Ты была до сих пор моей женой. Отныне будь свободна, разведена, тебе разрешается впредь располагать собой, и впредь нет на тебе запрета ни для кого.

Этим ты получаешь от меня извещение о свободе и разводное письмо, по закону Моисея и Израиля».

Документ этот был передан особому лицу, с письменным поручением доставить его Маре, дочери Лакиша, и отдать в присутствии председателя Кесарийской общины, а также девяти других взрослых евреев.

Мара была вызвана к председателю в самый день прибытия курьера. Она не подозревала о причине вызова. В присутствии председателя общины курьер передал ей письмо. Она не умела читать; она попросила, чтобы ей прочли его. Ей прочли, она не поняла; ей прочли еще раз, объяснили. Она упала в обморок. Секретарь общины, надорвав письмо в знак того, что оно передано и прочитано, как того требовал закон, приобщил его к делам и выдал курьеру соответствующую расписку.

Мара вернулась домой. Она поняла, что не обрела благоволения у Иосифа. Если жена не обретет благоволения мужа, он имеет право отослать ее. Ни одна ее мысль не обратилась против Иосифа.

Отныне она с боязливой заботливостью посвятила свои дни маленькому Симону, Иосифову первенцу. Тщательно избегала она всего, что могло повредить ее молоку, не ела соленой рыбы, лука, некоторых овощей. Теперь она не звала своего сына Симоном, она звала его сначала бар Меир, то есть сын сияющего, затем бар Адир,—сын могущественного, затем бар Нифли—сын облака. Но председатель общины вызвал ее вторично и запретил так называть сына, ибо облако, могущественный и сияющий—это имена мессии. Она поднесла руку к низкому лбу, склонилась, обещала покориться. Но когда она оставалась одна, ночами, и ее никто не слышал, она продолжала звать маленького Симона этими именами.

Преданно берегла она вещи, к которым когда-то прикасался Иосиф, платки, которыми он утирался, тарелку, на которой он ел. Она хотела вырастить сына достойным отца. Мара предвидела, что ее ждут большие трудности. Ибо сын, рожденный от брака священника с военнопленной, считался незаконным, он был исключен из общины. Но все-таки она должна была найти выход. По субботам, по праздникам она показывала маленькому Симону отцовские реликвии, платки, тарелку, рассказывала ему о величии отца, убеждала его стать таким же знатым и ученым, как отец.

После того как Иосиф передал соответствующему чиновнику в Александрии удостоверение о разводе, он был торжественно вызван в главную синагогу, чтобы читать Святое писание, и — в соответствии с его духовным саном — первым. После долгого времени опять он был в жреческой шапочке и голубом, затканном цветами поясе священника первой очереди. Он поднялся на возвышение, стал перед развернутой торой, от которой его всего несколько недель тому назад отторгнули. В беззвучной тишине над стотысячной толпой произнес он слова: «Благословен ты, Ягве, боже наш, давший нам истинное учение и насадивший в нас жизнь вечную». Затем прочел громким голосом отрывок из Писания, который полагалось читать в эту субботу.

В середине зимы, около нового года, Веспасиан убедился, что теперь империя у него в руках. Работа солдата была закончена, начиналось самое трудное: работа администратора. То, что пока делалось в Риме его именем, было плохо и неразумно. С холодной жадностью выжимал Муциан из Италии все деньги, какие только мог, а младший сын императора — Домициан, которого Веспасиан терпеть не мог, этот «фрукт» и лодырь, действовал в качестве наместника императора, карал и миловал по своему усмотрению. Веспасиан написал Муциану, чтобы он давал стране не слишком много слабительного, ибо один от поноса уже умер. «Фрукту» он написал, не будет ли тот так добр на будущий год сдать должность. Затем выписал из Рима в Александрию трех человек: древнего старца, министра финансов Этруска, придворного ювелира и директора императорских жемчужных промыслов Клавдия Регина, и управляющего сабинскими именьями.

Трое экспертов обменялись цифровыми данными, проверили их. Империалистическая политика Нерона на Востоке и беспорядки после его смерти уничтожили огромные ценности; сумма государственного долга, подсчитанная этими тремя людьми, была очень велика. Регин взял на себя неблагоприятную задачу назвать императору эту сумму.

Веспасиан и финансист еще никогда не встречались. Теперь они сидели друг против друга в удобных креслах. Регин щурился, он казался сонным; заложил одну жирную ногу на другую, развязавшиеся ремни сандалий болтались. Он сделал ставку на этого Веспасиана очень давно, когда с ним можно было устраивать еще очень скромные дела. Регин завязал отношения с госпожой Кенидой, и, когда начались большие поставки на Восточ-

ную и Европейскую армии, платил ей довольно крупные комиссионные. Веспасиан знал, что этот человек вел себя при расчетах вполне прилично. Светлыми суровыми глазами смотрел он на мясистое, обрюзгшее, печальное лицо Регина. Оба собеседника обнюхивали друг друга, оказалось, что они пахнут приятно.

Регин назвал императору цифру в сорок миллиардов. Веспасиан не пришел в ужас. Он только засопел чуть громче, но голос его был спокоен, когда он ответил:

— Сорок миллиардов? Вы смелый человек. А не перехватили вы через край?

Но Клавдий Регин жирным голосом спокойно настаивал: сорок миллиардов. Нужно уметь смотреть цифрам в глаза.

— Я и смотрю им в глаза,—отозвался, шумно засопев, император.

Они обсудили необходимые деловые мероприятия. Можно было получить огромные суммы, если конфисковать имущество тех, кто уже после провозглашения Веспасиана оставался верен прежнему императору. Это было как раз в тот день, в который Веспасиан, по предписанию врача Гекатея, обычно постился, и в такие дни он особенно охотно занимался делами.

— Вы еврей?—спросил он тут же.

— Наполовину,—отозвался Регин,—но с каждым годом становлюсь все больше похож на еврея.

— Я знаю способ,—Веспасиан прищурился,—отделаться сразу от половины долга.

— Интересно!—ответствовал Клавдий Регин.

— Если бы я приказал,—размышлял вслух Веспасиан,—чтобы здесь в главной синагоге поставили мою статую...

— То евреи взбунтовались бы,—досказал Клавдий Регин.

— Правильно,—согласился император.—И тогда я мог бы отнять у них их деньги.

— Правильно,—согласился Клавдий Регин.—Это дало бы примерно двадцать миллиардов.

— Вы хорошо считаете,—похвалил император.

— Тогда вы покрыли бы половину долга,—заметил Клавдий Регин.—Но второй половины вам уже не удалось бы покрыть никогда, ибо хозяйство и кредиты, и не только на Востоке, были бы навсегда подорваны.

— Боюсь, что вы правы,—вздыхнул Веспасиан.—Но согласитесь, идея соблазнительная.

— Допускаю,—улыбнулся Клавдий Регин.

— Жаль, что мы оба для этого слишком благоразумны.

Регин терпеть не мог александрийских иудеев. Они казались ему слишком чванными, слишком элегантными. Раздражало его и то, что они смотрят на римских иудеев, как на бедных родственников, которые их компрометируют. Однако предложение императора казалось ему чрезвычайно радикальным. Он потом придумает, как пощипать александрийских евреев,—не настолько, чтобы их обескровить, но чтобы они его все-таки помнили.

Пока он предложил императору другого рода налог—его еще никто на Востоке вводить не отваживался, и он бил по всем: налог на соленую рыбу и рыбные консервы. Он не скрывал опасных сторон этого налога. Морды у александрийцев как у меч-рыбы, и императору придется от них выслушать немало. Но Веспасиан не боялся куплетов.

Когда был объявлен налог на соленую рыбу, симпатия александрийцев к императору сразу сменилась неприязнью. Они неистово ругались из-за вздорожания этого излюбленного продукта питания и во время одного выезда императора его забросали гнилой рыбой. Император звонко хохотал. Дерьмо, лошадиный навоз, репа, теперь гнилая рыба! Его забавляло, что он, даже став императором, не мог отделаться от подобных вещей. Он назначил следствие, и зачинщикам пришлось доставить в управление государственных имуществ столько же золотых рыб, сколько было найдено гнилых в его экипаже.

С Иосифом Веспасиан редко виделся в эти дни. Он вырос вместе со своим саном, отдалился от своего еврея, стал чужим, западным, стал римлянином. Случайно, при встрече, он сказал ему:

— Я слышал, вы принесли себя в жертву какому-то суеверию и приняли сорок ударов. Как хорошо,—вздыхнул он,—если бы я мог сорока ударами погасить мои сорок миллиардов!

Иосиф и Тит возлежали в открытой столовой канопской виллы, в которой принц проводил обычно большую часть времени. Они были одни. Стояла мягкая зима; несмотря на то что близился вечер, можно было еще оставаться в открытой столовой. Море лежало неподвижно, кипарисы не шевелились. Через комнату медленно прошествовал, подбирая остатки еды, любимый павлин принца. Со своего ложа, через широкое отверстие в стене, Иосиф видел внизу террасу и сад.

— Вы хотите самшитовую заросль пересадить в виде буквы, принц?—спросил он и кивнул головой в сторону работавших внизу садовников.

Тит жевал конфету. Он был в хорошем, благодушном настроении, его широкое мальчишеское лицо улыбалось.

— Да, мой еврей,—отозвался он,—я велел пересадить заросль в виде буквы «Б». Я пересаживаю также самшиты и кипарисы на моей александрийской вилле.

— Тоже в форме буквы «Б»?—улыбнулся Иосиф.

— Ты хитер, пророк мой,—сказал Тит.

Он придвинулся; Иосиф сидел, Тит лежал, закинув руки за голову, и смотрел на него снизу вверх.

— Она находит,—начал он доверчиво,—что я похож на отца. Она не любит моего отца. Я это могу понять, но я чувствую, что все больше теряю с ним сходство. Мне с отцом нелегко,—пожаловался он.—Это великий человек, он знает людей, а кто, узнав людей, не стал бы смеяться над ними? Но он смеется что-то уж слишком часто. На днях за столом, когда генерал Приск вздумал уверять, что вовсе не так толст, отец велел ему обнажить задницу. Надо было видеть, как принцесса устремила взгляд в пространство. Она сидела неподвижно, ничего не видя, не слыша. Мы так не умеем,—вздыхнул он.—Мы в таких случаях или смущаемся, или грубим. Как сделать, чтобы такая нелепая выходка не затрагивала?

— Это нетрудно,—отозвался Иосиф, продолжая смотреть на садовников, возившихся с деревьями.—Нужно триста лет непрерывно править государством, тогда это придет само собой.

Тит сказал:

— Ты очень гордишься своей кузиной, и у тебя есть основания. Я знаю женщин всех стран света, и, по сути, все они одинаковы, и, если у тебя есть сноровка, ты всегда доведешь их до желанной точки. А вот ее я никак до этой точки не доведу. Ты слышал когда-нибудь, чтобы мужчина моих лет и в моем положении робел? Несколько дней назад я сказал ей: «Собственно говоря, вас следовало бы объявить военнопленной, так как вы сердцем с «Мстителями Израиля». Она просто ответила: «Да». Я должен был бы пойти дальше и сказать: «Итак, раз ты являешься военнопленной, то я беру тебя, как часть моей личной добычи». Всякой женщине я бы это сказал и взял бы ее.—Его мальчишеское капризное лицо стало даже озабоченным.

Сидевший рядом с ним Иосиф посмотрел вниз, на принца. Лицо Иосифа стало жестче, и на этом лице, когда за ним не наблюдали, появлялось выражение угрожающего своею мрачностью высокомерия. Теперь он познал смирение и унижение, познал сладострастие, боль, смерть, успех, взлет, срыв, свободную волю, насилие. Он выстрадал это знание, заплатил за него недешево. Иосиф был

привязан к принцу. Он скоро обнаружил в нем и ум и чувство, был многим ему обязан. Но теперь, несмотря на всю свою доброжелательность, он смотрел на него сверху вниз, с высоты своего дорого доставшегося ему опыта. Он, Иосиф, умел справляться с женщинами, для него Береника никогда не была загадкой, и, окажись он на месте принца, он давно бы довел с ней дело до конца. Все же хорошо, что дело обстоит именно так, а не иначе, и когда принц по-мальчишески доверчиво, немного смущенно попросил Иосифа дать ему совет, как вести себя с Береникой, чтобы добиться успеха, и замолвить за него словечко, то Иосиф согласился только после некоторого раздумья и сделал вид, будто это очень трудная задача.

Но она не была трудной. Со времени его бичевания Береника очень изменилась. Вместо прежних неустойчивых отношений, когда обоими овладевала то ненависть, то симпатия, между ними установилась теперь спокойная дружба, основанная на внутреннем родстве и общности целей.

Перед Иосифом Береника ничего из себя не строила, охотно открывала ему свою жизнь. О, она долго не ломалась, если мужчина ей нравился. Спала она со многими, кое-что испытала. Но такая связь никогда не бывала продолжительной. Только двух мужчин она не может вычеркнуть из своей жизни: один — Тиберий Александр, с которым она в родстве. Он уже не молод, не моложе императора. Но какая изумительная тонкость, какая любезность и вкрадчивость, несмотря на всю его суровость и решительность. Такая же твердость, как у императора, и ничего мужицкого, неуклюжего. Он — настоящий солдат, держит свои легионы в величайшей строгости, и вместе с тем он владеет всеми формами утонченной любезности и вкуса. Второй — ее брат. Египтяне поступают мудро, когда требуют от своих царей, чтобы братья женились на сестрах. Разве Агриппа не самый умный в мире мужчина, не самый знатный, благородный и мягкий, как крепкое, старое вино? При одном воспоминании о нем уже становишься мудрой и доброй, а нежность к нему обогащает. Иосиф не раз видел, как смягчается ее смелое лицо, когда она говорит о брате, и как ее удлинненные глаза темнеют. Он улыбается, он не завидует. Есть женщины, чьи лица так же меняются, когда они говорят об Иосифе.

Осторожно переводит он разговор на Тита. Она сразу же спрашивает:

— У вас предчувствие, доктор Иосиф? Быть может, Тит дьявольски умен, но, когда дело касается меня, он становится неловок и заражает даже такого дипломата,

как вы, своей неловкостью. Он неуклюж, мой Тит, настоящее большущее дитя, его действительно не назовешь иначе, чем Яник. Он придумал для этого слова особый стенографический знак, так часто я повторяю его. Ведь он записывает почти все, что я говорю. Надеется услышать от меня слова, на которых мог бы меня потом поймать. Он римлянин, хороший юрист. Скажите, он в самом деле добродушен? Большую часть дня он бывает добродушен. Затем вдруг, из одного любопытства, начинает производить эксперименты, при которых на карту ставятся тысячи жизней, целые города. Тогда его глаза делаются холодными и неприятными, и я не осмеливаюсь ему перечить.

— Он мне очень нравится, я с ним дружен,—серьезно ответил Иосиф.

— Я часто начинаю бояться за храм,—заметила Береника.—Если действительно господь вложил в Тита влечение ко мне, скажите сами, Иосиф, может ли это иметь иную цель, чем спасение города Ягве? Я стала очень скромна. Я уже не помышляю о том, чтобы мир управлялся из Иерусалима. Но сберечь город нужно. Дом Ягве не должен быть растоптан.—И тихо, тревожно, повернув ладони наружу простым и величественным жестом, она спросила:—Разве и это слишком много?

Лицо Иосифа омрачилось. Ему вспомнился Деметрий Либаний, вспомнился Юст. Но вспомнился и Тит, лежавший рядом с ним и смотревший на него снизу вверх молодыми дружелюбными мальчишескими глазами. Нет, не может этот приветливый юноша, с его уважением к священной старине, поднять руку на храм.

— Нет, Тит не подвергнет Иерусалим злему эксперименту,—сказал он очень твердо.

— Вы очень доверчивы,—отозвалась Береника,—я нет. И я не уверена, что он не выскользнул бы из моих рук, осмелюсь я сказать хоть слово против его экспериментов. Он смотрит мне вслед, когда я иду, он находит, что черты лица у меня тоньше, чем у других, но кто этого не находит?—Она подошла к Иосифу совсем близко, положила ему на плечо свою руку, белую, холеную, на которой не осталось и следа от порезов и царапин, полученных в пустыне.—Мы знаем жизнь, кузен Иосиф. Мы знаем, что страсти в человеке всегда живут, что они могущественны и что мудрец может многого достигнуть, если он сумеет использовать человеческие страсти. Я благодарю бога за то, что он вложил в римлянина это влечение ко мне. Но, поверьте, если я с ним сегодня пересплю, то он, когда на него опять найдет желание экспериментировать, перестанет прислушиваться к моим словам.—Береника села, она улыбнулась, и Иосиф

понял, что она заранее предвидит свой путь.—Я буду его держать в строгости,—закончила она холодно, расчетливо.—Никогда не подпущу его слишком близко.

— Вы умная женщина,—не мог не признать Иосиф.

— Я не хочу, чтобы храм был разрушен,—сказала Береника.

— Так что же мне сказать моему другу Титу?—размышлял вслух Иосиф.

— Слушайте меня внимательно, кузен Иосиф,—сказала Береника.—Я жду предзнаменования. Вы знаете селение Текоа возле Вифлеема? После моего рождения отец насадил там рощу пиний. Хотя сейчас, во время гражданской войны, кругом происходили жестокие бои, роща не пострадала. Слушайте внимательно. Если роща еще будет цела к тому времени, когда римляне войдут в Иерусалим, пусть Тит сделает мне свадебную кровать из моих пиний.

Иосиф напряженно думал. Должно ли это послужить знамением для ее отношений с Титом или для судьбы всей страны? Хочет ли она поставить свое сближение с Титом в зависимость от участи страны или хочет застраховать себя от жестокого любопытства этого человека? Передавать ли эти слова Титу? И чего она, собственно говоря, хочет?

Он собрался спросить ее. Но на продолговатом смелом лице принцессы уже лежало выражение высокомерной замкнутости, час откровенности миновал, Иосиф понял, что спрашивать теперь бесполезно.

Однажды утром, когда Иосиф присутствовал на раннем приеме в императорском дворце, он увидел выставленный в спальне портрет госпожи Кениды, написанный, по желанию Веспасиана, втайне от всех, художником Фабуллом. Портрет предназначался для главного кабинета императорского управления государственными имуществами. Сначала Веспасиан, пожелал, чтобы рядом с госпожой Кенидой был изображен, в роли покровителя, бог Меркурий, богиня Фортуна с рогом изобилия в придачу и, может быть, еще три парки, прядущие золотые нити. Но художник Фабулл заявил, что он с этим не справится, и написал Кениду в очень реалистической манере, сидящей за письменным столом и проверяющей какие-то счета. Широкое энергичное лицо, суровый, пристальный взгляд внимательных карих глаз. Она сидела неподвижно, но казалась до жути живой; император шутил, что на ночь портрет придется привязать, а то как бы Кенида не удрала. Так же должна она склоняться над письменным столом его

главного кассира, неотступно и зорко следя за тем, чтобы не было никаких упущений и прорывов. Император очень жалел, что на картине не изображен Меркурий, но все же портрет ему нравился. Кенида тоже была довольна; одно только сердило ее — что художник не удостоил ее более пышной прически, чем в действительности.

Каждому, кто вглядывался в портрет попристальнее, становилось ясно, что он сделан рукой мастера, но не друга. Эта госпожа Кенида была необычайно деловая женщина, способная охватить и привести в порядок финансы всей страны, горячо привязанная к Веспасиану и к римскому народу. А художник Фабулл изобразил ее расчетливой и скаредной домохозяйкой. И разве на картине ее прямолинейность и представительность не переходили в грузную неуклюжесть? Как видно, художник Фабулл, почитатель старых сенаторов, вписал в картину и свою ненависть к выскочкам из мещан.

Из обширной приемной огромная открытая дверь вела в спальню императора. Здесь, согласно обычаю, его одевали на глазах у всех. И здесь, рядом с нарисованной Кенидой, сидела живая. Ее друг, человек, в которого она верила, когда он был еще в ничтожестве, стал теперь императором, и она сидела рядом с ним. Портрет передавал ее сущность, и он ей нравился. Ожидающие медленно продвигались из приемной в спальню, толпились перед портретом, следовали мимо него бесконечной вереницей; каждый находил несколько слов, чтобы искусно выразить свое удивление и преклонение. Кенида вела им строгий учет, а Веспасиан улыбался.

Иосиф же при виде портрета испытал неприятное чувство. Он боялся Кениды и отлично видел, что в портрет вписаны черты, способные только поддерживать и оправдывать его враждебность. Но и тут ему показалось грехом против всего живого попытка воссоздать существо, уже созданное невидимым богом. Ведь Ягве дал этой женщине ее неуклюжесть, вложил в нее холодную расчетливость; художник Фабулл выказал недопустимую дерзость, сочтя себя вправе самовольно придать их изображению. Иосиф поглядел на художника с неприязнью. Фабулл стоял рядом с императором. Его мясистое, строгое, чисто римское лицо смотрело куда-то поверх присутствующих; так стоял он, безучастный, брезгливый, в то же время впивая в себя льстивые похвалы гостей.

Тут же находилась и девушка Дорион. Капризно изогнутые губы ее крупного, выпуклого рта улыбались, вокруг нежного надменного лица лежало легкое сияние. У отца свои причуды, никто этого не знает лучше, чем она,

но портрет госпожи Кениды — шедевр, он полон мастерства и умения, и она запечатлена навеки именно такой, какой художник ее увидел и хотел запечатлеть; ее неуклюжесть, ее неудержимая жадность теперь выставлены напоказ, выявлены навсегда. Дорион страстно любила картины, она разбиралась в их технике до тонкостей. Может быть, отец и создал более сильные вещи, но это — его лучший портрет; здесь он развернул все свои возможности, и эти возможности оказались безграничными.

Приемная была битком набита. Дорион стояла, прислонившись к колонне, высокая, тонкая, хрупкая, откинув точеную желто-смуглую голову; она тихо дышала своим тупым носиком, мелкие зубы были обнажены; она наслаждалась впечатлением, которое производил портрет, наслаждалась глуповатой растерянностью зрителей не меньше, чем их восхищением. Увидев Иосифа, она обрадовалась. Он был далеко, но, бросив быстрый взгляд в его сторону, она поняла, что и он ее заметил, и она знала, что он постарается пробраться к ней.

Она не встречала молодого еврея с самого праздника на острове Фаросе. Когда ей рассказали о его бичевании, она отпустила несколько злых и метких остроумий, но втайне ей почудилось, будто она взлетела очень высоко на качелях и качели вот-вот перевернутся; она была твердо уверена в том, что этот дерзкий, красивый и одаренный человек только для того принял бичевание, чтобы открыть себе доступ к ней.

Взволнованная ожиданием, смотрела она, как к ней приближается Иосиф. Но когда он поздоровался, она сделала вид, что не может сразу припомнить, кто это. Ах да, молодой еврей, которого должен был, по желанию императора, писать ее отец. Теперь условия, поставленные императором, как будто выполнены; она слышала, что Иосиф добровольно подвергал себя за это время всевозможным суровым испытаниям. Во всяком случае, лицо его сильно похудело, и теперь, по-видимому, нужно очень немного, чтобы найти в нем то сходство с пророком, о котором говорил император. Медленно, с раздражающим любопытством осмотрела она его с головы до ног и звонким голосом спросила, очень ли еще заметны шрамы, оставшиеся от бичевания.

Иосиф взглянул на ее тонкие смуглые руки, взглянул на портрет Кениды, затем снова на Дорион, как будто сравнивая, и сказал:

— Вы и госпожа Кенида здесь, в Александрии, единственные женщины, которые меня терпеть не могут.

Дорион, как он и рассчитывал, рассердилась на это сопоставление.

— Я думаю,— продолжал он,— что мой портрет не будет написан. Ваш отец любит меня не больше, чем протухший свиной пяточок, а вы, Дорион, считаете, что мне необходимы пост и бичевание, чтобы стать достойной моделью для него. Но, боюсь, потомкам придется знакомиться со мной только по моим книгам, а не по произведению Фабулла.

Произнося эти колкие слова, он смягчил голос, и они прозвучали почти как ласка. И для Дорион эта интонация была важнее, чем слова.

— Да, вы правы,— отозвалась она,— отец вас не любит. Но вам следовало бы постараться преодолеть его антипатию. Поверьте мне, это стоит сделать: такой человек, как вы, доктор Иосиф, принявший сорок ударов, не должен бы ставить художнику Фабуллу в строку каждое резкое слово.— Ее голос уже не был пронижительным, он звучал так же мягко, как в ту минуту, когда она ласкала кошку.

В толкотне Иосиф стоял к ней совсем близко, почти касаясь ее. Он говорил вполголоса, словно не желая, чтобы его слышали остальные, очень искренне. Лицо его стало серьезным.

— Может быть, ваш отец и великий человек, Дорион,— сказал он,— но мы, иудеи, ненавидим его искусство. Это не предубеждение, у нас есть на то веские причины.

Насмешливо посмотрела она на него глазами цвета морской воды и ответила так же тихо и мягко:

— Вам не следует быть таким трусливым, доктор Иосиф. Все это происходит только от вашей трусости. Вы прекрасно знаете, что лучшее средство проникнуть в суть вещей— это искусство. Но вы не решаетесь приблизиться к искусству. Вот и все.

Иосиф сострадательно улыбнулся с высоты своей убежденности.

— Мы проникли к невидимому, скрытому за видимым. Мы только потому не верим в видимое, что оно слишком дешево.

Но Дорион принялась искренне и горячо убеждать его, и от усердия ее голос зазвучал опять высоко и резко.

— Искусство одновременно и видимое и невидимое. Действительность только неумело подражает искусству, она лишь несовершенная, искаженная имитация его. Верьте мне, великий художник предписывает действительности ее законы. Сознательно или нет, но мой отец делал это не раз.— Ее большая детская голова была совсем близко от него, она таинственно зашептала ему на ухо: — Вы помните смерть сенаторши Друзиллы? Ее закололи через левое

плечо прямо в сердце. Неизвестно, кто нанес удар... За год до того отец рисовал ее портрет. Он положил пятно на ее обнаженное плечо, что-то вроде шрама: по техническим основаниям там нужно было пятно. И как раз в это место нанесен удар...

Они стояли в высоком светлом зале, вокруг них болтали нарядные мужчины и дамы, был обыкновенный вторник, но молодых людей окутывал какой-то таинственный туман; улыбаясь, выскользнула Дорион из этого тумана.

— Собственно говоря,— заявила она светским любезным тоном,— такие вещи должны бы сблизить пророка Иосифа с художником Фабуллом.

Но именно потому, что аргументы девушки задели Иосифа за живое, он продолжал отстаивать превосходство слова над образом. И превосходство вдохновенного богом древнееврейского слова — в особенности. Девушка Дорион скривила губы, усмехнулась, громко рассмеялась звонким, злым, дребезжащим смехом. То, что ей известно из еврейских книг, заявила она, никуда не годится и полно нелепых суеверий. Ей читали отрывки из книги о Маккавеях. Очень жаль, но все это только пустые красивые слова. Если бы сам Иосиф оказался таким же пустым, как его книга, не стоило бы и хлопотать о его портрете. Иосиф же последнее время изо всех сил отрекался от своей книги. Но сейчас суждение Дорион показалось ему пошлым и неумным, оно раздосадовало его. Он переменял тему и любезно осведомился об ее богах, о некоторых священных животных; продолжают ли они усердно вылизывать тарелки и воровать молоко. Она ответила резко, почти грубо; из всех бесед, которые велись в этой зале, их разговор был, вероятно, самым невежливым.

Так как принц Тит заказал Фабуллу портрет Береники, то девушка Дорион попала в кружок золотой молодежи, собиравшейся на канопской вилле. Теперь она встречалась с Иосифом почти ежедневно. Он видел, как обращаются с ней другие — очень вежливо, очень галантно, но, в сущности, презрительно, именно так, как обычно обращались александрийские молодые люди с хорошенькими женщинами. В других случаях и он поступал так же, но по отношению к ней ему не удавалось взять такой тон. Это раздражало его. Необдуманно предался он своей страсти. То он едко высмеивал девушку в присутствии других, то в их же присутствии беспрдельно ей поклонялся. С безошибочным инстинктом умного ребенка угадывала она его характер, его жажду блистать, его тщеславие, отсут-

ствие собственного достоинства. Она знала, что такое собственное достоинство. Видела, как мучается ее отец оттого, что аристократия не признает его, видела, как римляне свысока относятся к египтянам. Ее мать-египтянка и ее няня внушили ей, что в ней течет древняя святая кровь, что предки ее спят под островерхими высокими горами с треугольными гранями. А разве евреи не самые презренные из всех людей, смешные, как обезьяны, немногим лучше нечистых животных? И вот она никак не может отделаться от этого еврея, именно отсутствие собственного достоинства и привлекает в нем, эта безудержная отдача себя тому, что его в данную минуту захватывает, постоянно сменяющиеся порывы, беззастенчивость, с какой он обнаруживает свои чувства. Она ласкала кошку Иммутфру:

— Он туп в сравнении с тобой. У него нет сердца. Он не знает, что такое ты, и что такое картины, и что такое страна Кемет. Иммутфру, мой маленький божок, вонзись в меня когтями, чтобы вытекла моя кровь,—у меня, верно, плохая кровь, потому что меня тянет к нему, и я смешна, потому что меня к нему тянет.

Кошка сидела у нее на коленях, смотрела на нее круглыми горящими глазами.

Однажды, во время резкого спора с Иосифом в присутствии посторонних, она бросила ему, полная ненависти и торжества:

— Почему же вы, если считаете меня такой дурной, подвергли себя бичеванию, чтобы для меня освободиться?

Он растерялся. Хотел ее высмеять, но тотчас овладел собой, промолчал.

Когда он остался один, его охватила буря противоречивых чувств. Может быть, перст судьбы и ее знак в том, что египтянка именно так истолковала его бичевание? Он поступил правильно, не опровергнув этого толкования; по отношению к женщине, которую желаешь, такого рода безмолвная ложь допустима. Но было ли это ложью? Он всегда желал Дорион, и разве он когда-нибудь считал возможным, что она будет спать с ним без всяких жертв и церемоний? Сделать ее своей женой очень соблазнительно. Эта девушка для него, священника, запретный плод, даже если бы она приняла иудейскую религию. И зачем было подвергать себя бичеванию, если он собирался сейчас же снова преступить закон? Маккавеи поднимут крик, хуже того—они будут смеяться. Пусть смеются. Будет сладко, будет радостно принести жертву ради египтянки. Грех женитьбы на блевотине римлянина был отвратителен, грязен. А этот грех сверкал великолепными красками. Но это был очень большой грех. «Не сочетайся

с дочерьми иноземцев»,—говорит Писание, и Пинхас, увидев, что один из членов израилевой общины блудит с мадианитянкой, взял копье, последовал за мужчиной в ее логово и проколол обоим—и мужчине и женщине—живот. Да, это очень большой грех. С другой стороны, его тезка, Иосиф, женился на дочери египетского жреца, Моисей взял в жены мадианитянку. Соломон—египтянку. Слабым людям—и маленькие масштабы, ибо им грозит опасность залежаться у иноземных женщин и принять их богов. Он, Иосиф, принадлежит к числу тех, кто достаточно силен, чтобы воспринять в себя чуждые влияния, но в них не потерять себя. Оторвись от своего якоря, говорит Ягве. Иосиф вдруг понял смысл загадочного изречения: нужно любить бога двояко—и дурным влечением, и хорошим.

При следующей встрече с Дорион он заговорил о помолвке и женитьбе как о давнишнем, не раз обсуждавшемся проекте. Она только смеялась своим высоким дребезжащим смехом. Но он делал вид, что не слышит, он был одержим своим планом, полон молитвенного благоговения к своему греху. Уже обсуждал он детали, срок, формальности ее перехода в иудаизм. Разве не было случаев, когда женщины даже из высшего римского и александрийского общества переходили в иудаизм? Все это, конечно, довольно сложно, но не будет тянуться особенно долго. Она даже не рассмеялась, она взглянула на него, словно он сошел с ума.

Однако, может быть, именно безумие этого проекта и привлекло ее? Она представила себе лицо отца, которого любила и почитала. Она вспомнила о предках матери, которые спали, набальзамированные, под островерхими горами. Но этот еврей, с его фанатизмом помешанного, стирал все возражения. Для него не существовало затруднений, все доводы разума превращались в дым. Сияя счастьем, с пылающим взором, рассказывал он Титу и гостям на канопской вилле о своей помолвке с Дорион.

Дорион смеялась. Дорион говорила: он сошел с ума. Но Иосифу не было до этого дела. Разве не всегда все большое и значительное сначала казалось людям безумием? И постепенно, под влиянием его пылкости, его упрямой настойчивости, она сдалась. Спорила, когда другие называли этот проект безумным. Выдвигала доводы Иосифа. Уже идея не казалась ей абсурдной. Она уже слушала внимательно, когда Иосиф обсуждал детали, торговалась с ним из-за этих деталей.

Переход в иудейскую веру был нетруден. От женщин не требовалось соблюдение многочисленных законов, они должны были лишь не нарушать запретов. Иосиф был

готов пойти и на дальнейшие уступки. Готов был удовлетвориться ее обещанием не преступать семи заповедей, предназначенных для неевреев. Она смеялась, упорствовала. Что? Она должна отречься от своих богов? От Иммутфру, от ее маленького кошачьего божества? Иосиф убеждал ее. Говорил себе, что если хочешь что-нибудь размягчить, то нужно сначала дать ему хорошенько затвердеть, и если хочешь что-нибудь сжать, то нужно дать ему сначала хорошенько расшириться. Он был упорен, терпелив. Не уставая вел все те же разговоры.

Но, оставаясь с Титом, он давал себе волю, жаловался на упрямство девушки. Тит сочувствовал ему. Ни учение иудаизма, ни его обычаи не вызывали в нем антипатии: народ, создавший таких женщин, как Береника, имел право на уважение. Но требовать от человека, родившегося в другой религии, чтобы он отрекся от видимых богов своих предков и принял невидимого еврейского бога,— не значит ли это требовать слишком многого? Принц порывлся в своих стенографических записях, где у него были занесены особенно неясные догматы и вероучения еврейских мудрецов. Нет, трудно допустить, чтобы Дорион признала такие суеверия.

Они втроем возлежали в столовой—Иосиф, принц, Дорион, горячо и серьезно обсуждали вопрос о том, что можно требовать от прозелита и чего нельзя. Маленький бог Иммутфру лежал на плече у Дорион, таращил свои горящие глаза, закрывал их, зевал. Упразднить Иммутфру—нет, Тит тоже находил, что это слишком. После долгих споров Иосиф наконец согласился на то, чтобы дело ограничилось официальным заявлением Дорион в присутствии соответствующих должностных лиц общины о ее переходе в иудейскую веру.

Но теперь шел вопрос о требованиях со стороны египтянки. Она лежала на ложе, стройная, гибкая, нежная до хрупкости, под тупым носом выступал крупный рот. Она улыбалась, она говорила небрежно, звонко, вежливо, но от своих требований не отступала. Она думала об отце, как он всю жизнь боролся за то, чтобы быть признанным в обществе, и она требовала по-ребячьи, спокойно, звонким и настойчивым голосом, чтобы Иосиф добыл себе права римского гражданства.

Иосиф, поддерживаемый Титом, доказывал, какое это трудное и длительное предприятие. Она пожала плечами.

— Это невозможно!—воскликнул он, наконец рассердившись.

Она пожала плечами, она стала бледнеть, как всегда, очень медленно,—сначала бледность появилась вокруг

губ, затем покрыла все лицо. И она продолжала настаивать на своем:

— Я хочу быть женой римского гражданина.— Она увидела, как потемнели глаза Иосифа, и тонким, высоким голосом сформулировала свое требование: — Я прошу вас, доктор Иосиф, добиться в течение десяти дней римского гражданства. Тогда я готова заявить при ваших должностных лицах о переходе в вашу веру. Если же через десять дней вы не станете римским гражданином, я считаю, что нам лучше не встречаться.

Иосиф видел ее длинные, смуглые руки, перебиравшие рыжеватую шерсть Иммутфру, видел скошенный детский лоб, легкий, чистый профиль. Он был очень обозлен и очень сильно желал ее. Он знал совершенно точно: да, так и будет. Если он не добьется за эти десять дней римского гражданства, то этой смугло-золотистой девушки, с небрежной гибкой грацией возлежавшей перед ним, он уже никогда не увидит.

Вмешался Тит. Он находил, что требования Дорион чрезмерны, но ведь немалого требовал и Иосиф! Он деловито взвешивал шансы Иосифа, он смотрел на все это дело как на спортивное состязание, как на своего рода пари. Не исключено, что император, благоволивший к Иосифу, дарует ему и римское гражданство. Конечно, это обойдется недешево. Вероятно, размер налога установит госпожа Кенида, а она, как известно, дешевить не любит. Десять дней — короткий срок.

— Ты должен крепко взяться за это,— сказал он.— Затяни пояс, долой свинец! — улыбаясь подстегнул он Иосифа возгласом, которым подбадривают бегунов на спортивной арене.

Дорион слушала этот обмен мнений. Она переводила глаза цвета морской воды с одного на другого.

— Пусть это станет ему не легче, чем мне,— сказала она.— Прошу вас, принц, быть беспристрастным и не действовать ни за, ни против него.

Иосиф отправился к Клавдию Регину. Если вообще можно было добиться в десять дней римского гражданства, то это способен был осуществить только Клавдий Регин.

В Александрии Клавдий Регин казался еще тише, еще незаметнее, еще неряшливее. Немногие знают, какую он играет роль. Но Иосиф знает. Ему известно, например, что благодаря Регину члены еврейской общины относятся теперь к западным евреям совсем иначе, чем прежде. Ему известно, что в тех случаях, когда никто уже ничего не может сделать, Регин всегда придумает какой-нибудь

ловкий ход. Так, он совсем простыми способами добился того, что Веспасиан, после введения налога на соленую рыбу ставший в Александрии весьма непопулярным, вдруг снова сделался народным любимцем: он заставил императора творить чудеса. На Востоке чудеса вообще вызывают симпатию к совершающему их, но только после появления этого человека с Запада было пущено в ход испытанное средство. Иосиф сам был свидетелем того, как император возложением руки исцелил известного всему городу хромого и вернул зрение слепому. Теперь Иосиф с неприятным чувством еще больше убедился в особых способностях Регина.

Жирный, неопрятный, щурясь и посматривая на него сбоку сонными глазами, слушал издатель, как Иосиф довольно натянуто и смущенно объяснял, что ему необходимо получить римское гражданство. Когда Иосиф кончил, Регин некоторое время молчал. Затем неодобрительно заявил, что у Иосифа всегда удивительно дорого стоящие желания. Деньги, взимаемые за представление римского гражданства, составляют один из основных источников дохода от провинций. Хотя бы только для того, чтобы не обесценить римское гражданство, с ним нужно обращаться бережливо и брать по высокому тарифу. Иосиф упрямо возражал:

— Мне нужно добыть римское гражданство очень скоро.

— В какой срок?—спросил Регин.

— В десять дней,—ответил Иосиф.

Регин сидел, лениво развалиясь в кресле, его жирные руки свисали.

— Мне нужно римское гражданство потому, что я хочу жениться,—сказал Иосиф упрямо.

— На ком?—спросил Регин.

— На Дорион Фабулле, дочери художника,—сказал Иосиф.

Регин неодобрительно покачал головой.

— Египтянка. И сейчас же жениться. И сейчас же право гражданства.

Иосиф сидел с надменным, замкнутым лицом.

— Сначала вы написали «Псалом гражданина вселенной»,—рассуждал Регин вслух,—это было хорошо. Затем вы весьма решительными мерами вернули себе иерейский пояс. Это было еще лучше. Теперь вы хотите его опять сбросить. У вас бурный характер, молодой человек,—констатировал он.

— Я хочу иметь эту женщину,—сказал Иосиф.

— Вам всегда хочется все иметь,—упрекнул его своим жирным голосом Регин.—И всегда вам подавай все вместе: Иудею и весь мир, книги и крепости, закон и

наслаждение. Я вежливо напоминаю вам о том, что нужно иметь большую платежеспособность, чтобы платить за все.

— Я хочу эту женщину,—повторил Иосиф упрямо, твердо и тупо. Он стал убеждать его:—Помогите мне, Клавдий Регин. Добудьте мне римское гражданство. Кой-чем и вы мне обязаны. Разве для нас всех, а для вас в особенности, не благо, что императором стал этот человек? Разве и я не приложил к этому руку? Разве я оказался лжепророком, когда называл его адиром?

Регин посмотрел на свои ладони, перевернул их, опять на них посмотрел.

— Это благо для всех нас,—сказал он,—верно. Другой император, может быть, больше слушал бы министра Талассия, чем старого Этруска и меня. Но уверены ли вы,—и он вдруг вперился в Иосифа необычайно пронизывающим взглядом,—что, если именно он стал императором, Иерусалим уцелеет?

— Я в этом уверен,—сказал Иосиф.

— А я нет,—устало возразил Клавдий Регин.—Если бы я верил, я бы не помог вам жениться на этой даме и снять иерейский пояс.

Иосиф почувствовал озноб.

— Император не варвар,—защищался он.

— Император—политик,—возразил Клавдий Регин.—Возможно, вы и правы,—продолжал он,—и это действительно благо для всех, что он стал императором. Возможно, что он действительно готов спасти Иерусалим, но...—Он сделал Иосифу знак пододвинуться поближе, понизил свой жирный голос, зашептал хитро, таинственно:—Я хочу сказать вам кое-что совсем по секрету: в сущности, все равно, кто император! Из десяти политических решений, которые должен принять человек, на каком бы месте он ни находился, девять будут ему всегда предписаны обстоятельствами. И чем выше его пост, тем ограниченнее его свобода выбора. Это—как пирамида, ее вершиной является император, и вся пирамида вращается; но вращает ее не он—ее вращают снизу. Кажется, будто император действует добровольно. На самом деле его поступки предписываются ему пятьюдесятью миллионами его подданных. Любой император должен был бы поступить в девяти случаях из десяти так же, как и Веспасиан.

Иосиф слушал его с недовольством. Сердито спросил:

— Хотите мне помочь получить римское гражданство?

Регин отодвинулся, несколько разочарованный.

— Жаль, что вы не способны на серьезный мужской разговор,— заметил он.— Мне очень недостает вашего коллеги, Юста из Тивериады.

В общем, он дал свое согласие подготовить императора к ходатайству Иосифа.

После того как положение Веспасиана видимо упрочилось и приближалось время его отъезда в Италию, он все более замыкался перед Востоком. Это был великий римский крестьянин, который решил из Рима насаждать в мире римский порядок. Его почва называлась Италией, его совесть—Кенидой. Он радовался возвращению. Он чувствовал себя сильным, твердо стоял на ногах. От Рима недалеко до его сабинских поместий. Скоро он услышит запах доброй сабинской земли, будет осматривать свои поля, свои виноградники и оливковые рощи.

Больше чем когда-либо заботился император о порядке и в своей частной жизни. Педантически выполнял он план, намеченный на каждый день. По предписанию врача Гекатея постился каждый понедельник. Три раза в неделю, сейчас же после обеда, к нему приводили девушку, каждый раз другую. В часы, следовавшие за этим, он бывал обычно в хорошем настроении. Госпожа Кенида требовала за аудиенции, которые она устраивала именно в эти часы, немалые комиссионные.

Однажды в пятницу, именно в такой час, Иосиф получил, по ходатайству Регина, аудиенцию у Веспасиана. Видеть своего еврея было для Веспасиана забавой, он любил всякие эксперименты из области акклиматизации. Теперь, например, он попробует разводить в своих сабинских поместьях африканские породы фламинго и фазанов, азиатские лимоны и сливы. Почему бы ему не дать своему еврею римское гражданство. Но попотеть ради этого парню все-таки придется.

— У вас большие претензии, Иосиф Флавий,— задумчиво упрекнул он его.— Вы, евреи, сами держитесь чрезвычайно обособленно. Если бы, например, я пожелал принести жертву в вашем храме или хотя бы здесь, в Александрии, читать в вашей синагоге Священное писание, вы бы чинили мне всякие затруднения. Я должен был бы по меньшей мере подвергнуться обрезанию и, гром и Геракл, не знаю чему еще! А от меня вы требуете—раз, два, три—дать вам римское гражданство. Вы находите, что ваши заслуги перед государством действительно настолько велики?

— Я думаю,— скромно ответил Иосиф,— это заслуга: заявить первым, что вы тот человек, который спасет государство.

— А вы не слишком много блудите с женщинами,

еврей мой? — усмехнулся император. — Кстати, что делает маленькая?.. Я забыл ее имя... — Он стал припоминать арамейские слова: — Будь ласкова, моя голубка, будь нежна, моя девочка. Ну, вы знаете... У нее есть ребенок?

— Да, — сказал Иосиф.

— Мальчик?

— Да, — сказал Иосиф.

— Сорок ударов, — усмехнулся император. — Вы, евреи, действительно разборчивы. Дешево вы не отдаете. — Он сидел в удобной позе, рассматривал своего еврея, почтительно стоявшего перед ним. — В сущности, вы не имеете права, — сказал он, — ссылаться на ваши прежние заслуги. Говорят, вы сильно распутничаете. Следовательно, вы, по вашей же теории, должны были потерять весь свой пророческий дар.

Иосиф промолчал.

— Посмотрим, — продолжал Веспасиан и, довольный, засопел, — осталось ли еще что-нибудь от ваших способностей пророка. Ну-ка, предскажите, дам я вам римское гражданство или нет.

Иосиф колебался очень недолго, затем поклонился:

— Я пользуюсь только разумом, но не даром пророчества, предполагаю, что мудрый и добрый владыка не имеет оснований не дать мне римское гражданство.

— Ты ускользаешь от ответа, еврейский вьюн, — настаивал император.

Иосиф видел, что этого ответа недостаточно. Нужно было найти лучший. Он судорожно стал искать, нашел.

— Теперь, — сказал он, — когда все увидели, кто спаситель, моя прежняя миссия закончена. Передо мной новая задача. — Император поднял голову. Вперяясь в него горячими настойчивыми глазами, Иосиф продолжал отважно, не колеблясь: — На меня возложено закрепить навеки не будущее, а прошлое. — И решительно закончил: — Я хочу написать книгу о деяниях Веспасиана в Иудее.

Веспасиан удивленно посмотрел на просителя жестким светлым взглядом. Придвинулся вплотную, задышал в лицо.

— Гм, неплохая идея, мой мальчик. Правда, своего Гомера я представлял себе несколько иначе.

Иосиф продолжал держать руку у лба обратной стороной ладони, сказал смиренно, но уверенно:

— Это будет неплохая книга. — Он видел, что высказанная им мысль привлекла императора. И он страстно продолжал, рванув на груди одежду, повторял, как заклинание: — Дайте мне римское гражданство. Это будет боль-

шой, безмерной милостью, за которую я, стоя на коленях моего сердца, буду петь вашему величеству благодарственные песни до самой смерти.—И, распахивая свою душу до дна, с буйным и смиренным доверием он стал умолять:—Я должен иметь эту женщину. Мне ничего не будет удаваться, если я не получу ее. Я не могу приступить к работе. Я не могу жить.

Император рассмеялся. Не без благоволения ответил:

—Высоко метите, еврей мой. У вас широкий размах, я уже замечал это. Бунтовщик, солдат, писатель, агитатор, священник, кающийся грешник, блудник, пророк: все, что вы делаете, вы доводите до конца. Кстати, скажите, как там? Вы посылаете девочке в Галилею достаточно денег? Пожалуйста, не скупитесь. Я не хочу, чтобы мой сын голодал.

Все смирение Иосифа исчезло. Вызывающе и глупо он ответил:

—Я не скуп.

Веспасиан прищурился. Иосиф боялся, что вот-вот он разразится гневом, но не сдавался. Однако император уже успел овладеть собой.

—Ты не скуп, мой мальчик? Это ошибка,—отечески пожурил он его.—Ошибка, которая сейчас же отомстит за себя. Но я-то скуп. Я собирался взять с тебя за право гражданства сто тысяч сестерциев. Теперь ты, кроме них, пошлешь еще пятьдесят тысяч девочке.

—Столько денег я достать не могу,—сказал Иосиф упавшим голосом.

Веспасиан пришел ему на помощь.

—Вы же хотели написать книгу! Многообещающую книгу. Возьмите под залог этой книги,—посоветовал он.

Иосиф стоял обескураженный. Веспасиан дал ему легкий шлепок, усмехнулся:

—Не унывай, еврей. Через шесть-семь лет мы выпьем мальчика из Кесарии в Рим и посмотрим на него. Если он похож на меня, ты получишь свои пятьдесят тысяч обратно.

Иосиф никогда особенно не заботился о деньгах. Правда, его земли в новой части Иерусалима были конфискованы маккавеями; но когда римляне подавят беспорядки, ему эти земли вернут. А пока он жил на жалованье, которое получал как переводчик и чиновник императорского секретариата. Часть этого жалованья он пересылал Маре. Так как он почти постоянно гостил у Тита, то мог в Александрии жить широко и не испытывать

особой стесненности. Но набрать из своих средств сто пятьдесят тысяч сестерциев, которые от него требовал император,—об этом нечего было и думать.

Ему, быть может, удалось бы занять эти деньги у богатых членов еврейской общины, но он боялся сплетен, бешеной и патетической ругани маккавеев, легкого, пошлого остроумничанья белобашмачников. Его живое воображение уже рисовало ему карикатуры на стенах домов, в которых будут загрязнены его отношения с Дорион. Нет, следовало найти другой выход.

После ночи, проведенной в горестных размышлениях, он решил пойти к Клавдию Регину. Издатель покачал головой.

— Я не могу допустить,—упорно пилил он Иосифа,—чтобы ваше сердце еще верило в то, что храм уцелеет. Вы бы тогда не сбросили так легко ваш иерейский пояс.

Иосиф возразил:

— Мое сердце верит в нерушимость храма, и мое сердце жаждет египтянки.

— Я был шесть раз в Иудее,—сказал Регин.—Я был шесть раз в храме, разумеется, только во дворе для неевреев, и стоял перед воротами, за которые необрезанный ступить не может. Я не еврей: но я бы охотно оказался в седьмой раз перед этими воротами.

— Вы и окажетесь,—сказал Иосиф.

— Я-то может быть,—зловеще хихикнул Регин,—но будут ли тогда еще целы врата?

— Дадите вы мне сто пятьдесят тысяч сестерциев?—спросил Иосиф.

Регин смерил его с головы до ног своим неприятным, мутным взглядом.

— Поедемте вместе за город,—предложил он,—там я подумаю.

Иосиф и Регин поехали за город. Регин отпустил экипаж, они пошли дальше пешком. Сначала Иосиф не знал, где они находятся. Затем перед ним выступило какое-то строение, небольшое, белое, с треугольным фронтоном. Иосиф никогда здесь не был, но знал по изображениям, что это гробница пророка Иеремии. Резко-белая, нагая, тревожная, стояла она среди пустынного песочного поля в белых лучах солнца. По утрам гробницу обычно посещало множество паломников, приходивших поклониться праху великого пророка, который предсказал разрушение первого храма и так душераздирающе его оплакивал. Но теперь время шло к вечеру, и мужчины были одни. Регин шел прямо к гробнице, и Иосиф в тревоге ступал за ним по песку. За двадцать шагов до гробницы Иосиф остановился: как священник, он не мог подойти ближе к мертвому. Регин же пошел дальше и,

достигнув гробницы, сел на землю в позе скорбящего. Иосиф продолжал стоять в двадцати шагах от него и ждал, что сделает или скажет его спутник. Но Регин молчал; этот грузный человек продолжал сидеть в неудобной позе, среди песка и белой пыли, слегка раскачиваясь своим дряблым телом. Иосиф постепенно догадался, что Регин скорбит об Иерусалиме и храме. Подобно тому как погребенный здесь пророк более шестисот лет тому назад, когда храм еще сиял и Иудея предавалась гордыне, уже предсказывал поражение и повелел читать отрывок из Писания, полный безмерной скорби по разрушенному городу, стоявшему тогда еще в полном блеске,— так же сидел теперь на песке этот великий финансист,— бесконечно печальный и ничтожный, в немой скорби о городе и храме. Солнце зашло, становилось холодно, но Регин продолжал сидеть. Иосиф стоял и ждал. Он сжал губы, он переступал с ноги на ногу, он зяб, но он стоял и ждал. Со стороны этого человека было дерзостью вынуждать его присутствовать при том, как он скорбит. Повидимому, это являлось и обвинением, Иосиф же обвинения не принимал. Но он стоял здесь из-за денег и вынужден был молчать. Однако его мысли постепенно отвлеклись от Регина и от денег, и, против воли, в его сердце встали жалобы, мольбы и проклятия погребенного здесь пророка, эти столь известные, постоянно цитируемые, неистовейшие, мучительнейшие слова, в каких человек когда-либо изливал свою скорбь. Мороз становился все сильнее, мысли Иосифа все горше, мороз и горькие мысли язвили, жгли и опустошали его до дна. Когда Регин наконец встал, Иосифу казалось, что теперь ему придется волочить каждую свою косточку отдельно. Регин все еще молчал. Иосиф плелся за ним, как пес, он чувствовал свое ничтожество, ему казалось, что Регин презирает его, да и сам он презирал себя, как еще ни разу в жизни. И когда они вернулись к экипажу и Регин своим обычным жирным голосом пригласил его сесть рядом с ним, Иосиф отказался и пошел обратно длинной пыльной дорогой один, с горечью, с мукой.

На другой день Регин пригласил его к себе. Издатель был, как обычно, грубовато-обходителен.

— Вы давно ничего не писали,— сказал он.— Я слышал от императора, что вы задумали книгу о войне в Иудее. Вот мое предложение, Иосиф Флавий. Отдайте эту книгу мне.

Иосиф выпрямился. То, что сказал Регин, являлось обычной формой издательского предложения, и, как ни противен был ему этот человек, Иосиф все же ценил его мнение и гордился подобным предложением. Счастье оставалось с ним. Бог оставался с ним. Всех сердил он:

Иоханана бен Заккаи, императора, Клавдия Регина. Но когда доходило до дела, оказывалось, что все они верят в него и готовы ему содействовать.

— Я напишу эту книгу,— сказал он,— благодарю вас.

— Деньги в вашем распоряжении,— отозвался жирным и несколько раздраженным голосом Клавдий Регин.

Дорион, убедившись в том, что Иосиф намерен выполнить ее условия, стала, со своей стороны, настаивать на решении выйти за него замуж, каким бы смешным и нелепым этот брак ни казался. С непоколебимой энергией принялась она за необходимые приготовления. Прежде всего — и это было самое трудное — сообщила она о своем решении отцу. Она сказала о нем довольно небрежным, глуповатым тоном, словно сама над собой смеялась. Какую-то четверть секунды художник Фабулл не мог понять, что она говорит. Потом понял. На его строгом лице до жути округлились глаза; но он продолжал сидеть и так сжал рот, что губы казались ниткой. Дорион знала его, она знала, что он не будет ни браниться, ни проклинать ее, но она ждала от него какого-нибудь жестокого, насмешливого замечания. А он вот сидит перед ней молча, с поджатым ртом, и это показывало, что дело обстоит хуже, чем она предполагала. Она вышла из дому очень быстро, точно спасаясь бегством, схватила только кошку Иммутфру, направилась к Иосифу.

Безмолвно и высокомерно подчинилась она всем формальностям брака и перехода в другое вероисповедание. Ограничилась тем, что, когда требовалось, произносила своим звонким детским голосом «да» и «нет». Император, видно, был не прочь отпраздновать свадьбу своего еврея с египтянкой так же торжественно, как некогда брак с Марой. Тит тоже с удовольствием устроил бы ему пышную свадьбу. Но Иосиф отказался. Бесшумно и незаметно уединились они в маленьком хорошеньком домике в Канопе, предоставленном им Титом на время его пребывания в Александрии. Они поднялись в верхний этаж. Он был устроен наподобие палатки, и в этой палатке они и лежали, когда в первый раз легли вместе. Иосиф отчетливо ощущал, что, лежа с этой женщиной, совершает грех. «Не сочетайся с ними». Но грех был легок и сладостен. Кожа Дорион благоухала, как сандаловое дерево, ее дыхание было как галилейский воздух весной. Однако Иосиф почему-то вдруг забыл, как ее зовут. Он лежал, закрыв глаза, и все не мог вспомнить. С трудом приподнял он веки. Она лежала рядом, длинная, стройная, желто-смуглая, и сквозь опущенные ресницы светились ее глаза цвета морской воды. Он любил ее

глаза, ее груди, ее лоно, ее дыхание, вылетавшее из полуоткрытого рта, любил ее всю, но он никак не мог вспомнить ее имени. Одеяло было легкое, ночь свежа, ее кожа шелковиста и прохладна. Он погладил ее очень тихо, его руки стали в Александрии гладкими и белыми, и так как он не знал ее имени, то нашептывал ее телу ласкающие слова по-еврейски, по-гречески, по-арамейски: моя любимая, моя пастушка, моя невеста, Яники.

Снизу доносилось тихое гортанное пение египетских слуг, очень монотонное, несколько нот, все тех же. Ибо эти люди не нуждались в долгом сне, они нередко проводили сидя целые ночи и не уставали повторять свои несколько песенок. Они пели: «О, мой возлюбленный, сладостно идти к пруду и перед тобой купаться. Позволь мне показать тебе красу мою, мою сорочку из тончайшего царского полотна, когда она влажна и прилегает к телу».

Иосиф лежал молча, рядом с ним лежала женщина, и он думал: «Египтяне заставляли нас строить для них города, город Пифом и город Раамсес. Египтяне заставляли нас замуровывать в стены наших первенцев живыми. Но затем дочь фараона вытащила Моисея из реки Нила, и когда мы покидали Египет, младенцы выпрыгнули из стен и оказались живыми». И он гладил кожу египтянки.

Дорион целовала шрамы у него на спине и на груди. Он был мужчиной, полным сил, но его кожа была нежна, точно кожа девушки. Можно залечить шрамы, и они станут незаметны; многим удается залечить такие раны по рецепту Скрибония Ларга. Но она не хочет, чтобы он сводил шрамы. Не смеет, никогда. Он получил их из-за нее. Эти сладостные шрамы—в ее глазах—заслуга, они должны остаться.

Молодые никого не впускали к себе, ни одного слуги, весь день. Они не мыли своей кожи, чтобы один не утратил запах другого, они ничего не ели, чтобы один не утратил вкус другого. Они любили друг друга; ничего не существовало на свете, кроме них. Все, что было вне их тел, того не было вовсе.

На следующую ночь, под утро, они лежали без сна, и все было уже по-другому. Иосиф испытывал как бы отлив чувства. Дорион защищала ненавистные картины своего отца и свое лижущее тарелки и крадущее молоко божество и казалась совсем чужой. Мара—отброс, Мара—блевотина римлянина, но она никогда не была чужою. Она родила ему сына—правда, незаконного. Но когда он обнимал Мару, он обнимал трепетавшее сердце. А что обнимал он, обнимая эту египтянку?

Дорион лежала, полуоткрыв выпуклый жадный рот; между ровными зубами легко проходило свежее дыхание. Снизу тихо доносилось монотонное гортанное пение египетских слуг. Теперь они пели: «Когда я целую любимую и ее губы открыты, то сердце радуется и без вина». Время от времени Дорион машинально подпевала им. Чем только ни пожертвовала она для этого человека, этого еврея, и—благодарение богам—это очень хорошо. Она дала себя купить, согласно очень смешному и очень презренному еврейскому праву, и—благодарение богам—это очень хорошо. Она отреклась от отца, величайшего художника эпохи, ради мужчины, который бесчувствен и слеп и не в состоянии отличить картину от доски, и—благодарение богам—это очень хорошо. Она присягнула нелепому иерусалимскому демону, в святилище которого поклоняются ослиной голове или—что, быть может, еще хуже—ничему, а если бы она потребовала, чтобы этот мужчина принес жертву ее любимому маленькому божеству Иммутфру, то он просто рассмеялся бы, и все-таки—благодарение богам—это очень хорошо.

Иосиф смотрел на нее, нагую, лежавшую в позе маленькой девочки, на ее смугло-желтое лицо, утомленное излишествами любви. Она была бледна, она была холодна, ее глаза были цвета морской воды, и она была очень чужая.

Настал сияющий полдень. Они проспали несколько часов, отдохнули, они посмотрели друг на друга, понравились друг другу, и они были очень голодны. Они сытно позавтракали грубыми кушаньями, приготовленными слугами по их собственному вкусу,—мучную и чечевичную похлебку, паштет из подозрительного скобленного мяса, и к этому—пиво. Они были довольны, они были в согласии с собой и со своей судьбой.

Вечером они перерыли весь дом. Среди вещей Иосифа Дорион нашла две странные игральные кости с древнееврейскими буквами. Когда она показала их Иосифу, он задумался. Он сказал, что эти амулеты приносят счастье, но теперь, когда он имеет Дорион, они ему не нужны. В душе же он решил больше не играть фальшивыми костями. По правде сказать, он еще раз вел нечистую игру, когда добивался Дорион: разве он не внушил ей, что ради нее подверг себя бичеванию? У нее на глазах, улыбаясь, зашвырнул он кости в море.

Веспасиан следил за сыном весьма внимательно. Госпожа Кенида тоже не спускала с него глаз. Немало рук и языков трудилось над тем, чтобы поставить молодого на

место старика. Молодой смел и благоразумен, его войска ему преданны. И потом, его непрерывно терзает эта истерическая иудейская принцесса, которая, с присущим ей фанатизмом, надеется добиться для Иудеи гораздо большего от молодого, отчаянно влюбленного принца, чем от холодного Веспасиана. Император все это отлично видит. Он считает правильным называть вещи своими именами. Он нередко подтрунивает над юношей, прикидывая, долго ли тому еще придется ждать. Дело не раз доходило до бурных объяснений. Тит, ссылаясь на те широкие полномочия, которые предоставлены в Риме его брату, этому «фрукту» Домициану, настаивал на том, чтобы и ему дали здесь, на Востоке, более широкие права. Они говорили друг с другом развязно, грубовато. Скрипуче, насмешливо, по-отечески предостерегал Веспасиан сына от иудейки. Антоний, тот хоть Рим завоевал, перед тем как изблудился с египтянкой и впал в ничтожество; Тит же завоевал до сих пор только несколько горных гнезд в Галилее и поэтому еще не вправе залеживаться у восточных дам. Тит отбивался, заявляя, что его склонность к восточным дамам не случайна, это у него в крови. Он напомнил отцу про Мару. Веспасиан ужасно обрадовался. Верно, Марой звали эту стерву. Теперь он вспомнил. Он совсем забыл ее имя, и его еврей Иосиф, этот пес, когда недавно о ней зашла речь, заставил его напрасно барахтаться, вспоминая.

Впрочем, он полагается на разумность сына. Тит не так глуп, чтобы сейчас, при сомнительных шансах на успех, домогаться той власти, которая через несколько лет сама упадет к его ногам, как созревший плод. Он любит сына, он хочет упрочить династию, он решил добыть сыну славу. Сам Веспасиан преодолел в Иудее самое трудное. Титу он предоставит выполнить наиболее блистательную часть задачи.

Но и на сей раз он снова подверг окружающих томительному ожиданию, пока не сообщил им свое решение.

Александрийская зима шла на убыль. С ее окончанием следовало возобновить операции в Иудее, иначе возникала угроза опасных рецидивов. Намерен ли сам император закончить поход или поручит кому-нибудь другому? Почему он медлит?

В это время император вызвал к себе Иосифа. Сначала Веспасиан стал, по обыкновению, его дразнить:

— Вы, как видно, счастливы в браке, мой еврей,— сказал он.— У вас вид весьма изможденный, и мне кажется, вы похудели не от экстаза и внутренних прозрений.— Он продолжал в том же дразнящем тоне, но Иосиф почувствовал за ним какой-то серьезный вопрос.— И

все-таки вам придется еще раз прибегнуть к вашему внутреннему голосу. При условии, что вы все еще верны своему плану описать события в Иудее. Дело в том, что в ближайшие месяцы положение выяснится. Но окончательную ликвидацию вашего бунта я предоставляю моему сыну Титу. Вы должны решить, поедете ли вы через некоторое время со мной в Рим или отправитесь теперь же с Титом под стены Иерусалима.

Сердце Иосифа бурно забилося. Это решение, которого все ждали с такой томительной тревогой, старик сообщил ему первому. Вместе с тем он почувствовал с мучительной остротой, как трудна дилемма, перед которой его поставил император. Неужели ему придется идти в Иудею и присутствовать при том, что он уже предчувствовал у гробницы Иеремии? Неужели он должен видеть собственными глазами горестную гибель своего города? Этот человек, сидящий перед ним, опять так дьявольски жестоко прищурился. Он знает, как тяжел такой выбор, он испытывает Иосифа, он ждет.

С первой же встречи Иосифа словно приковали к этому римлянину незримыми цепями. Если Иосиф поедет в Рим, цепи окрепнут, император будет его слушаться, Иосиф достигнет высокого положения, многого добьется. Другие цепи приковывают его к египтянке. Гладка и смугла ее кожа, тонки и смуглы ее руки, его плоть жаждет их. Он ревнует, когда она своими тонкими смуглыми руками гладит кошку Иммутфру. Настанет день, когда он будет не в силах сдержаться и уничтожит ее бога Иммутфру не из ненависти к идолопоклонству, а из ревности. Он должен уехать от египтянки. Он начнет опускаться, если будет лежать с ней. Уже его внутреннее око почти ослепло, сердце огрубело и не способно осязать дух. Ему надо уйти и от этого человека: оставаясь с ним, он все больше и больше будет жаждать власти. А от власти человек тупеет и смолкает его внутренний голос.

Сладостна власть. Ноги ступают словно сами собой, когда обладаешь властью. Земля кажется легкой, и дышишь глубоко и ровно. Гладка и смугла кожа Дорион. Ее тело стройно и гибко, как у девочки, и грех с ней легок и сладостен. Если он поедет в Рим, то дни его будут приятны, ибо с ним останется император, а его ночи будут сладостны, ибо с ним останется Дорион. Но если он уедет в Рим, то не увидит гибели города, и его страна и дом божий погибнут, это останется неописанным, исчезнет навеки, и никто из потомков не увидит их гибели.

Его вдруг переполняет нестерпимая тоска по Иудее. Сумасшедшее желание присутствовать, целиком запол-

нить взоры и сердце зрелищем того, как бело-золотое великолепие храма будет сровнено с землей, как будут волочить за волосы священников и сорвут с них голубую святость их одежд, как золотая виноградная лоза над внутренними воротами будет валяться разбитая, в луже крови, слизи и кала. И весь его народ, вместе с его храмом, сгорит и низвергнется среди дыма и крови убитых, как огненная жертва господу.

Сквозь преследующие его видения он слышит скрипучий голос императора:

— Я жду вашего решения, Иосиф Флавий.

Иосиф подносит руку ко лбу, делает глубокий поклон, по иудейскому обычаю. Отвечает:

— Если император позволит, я хотел бы видеть собственными глазами завершение похода, начатого императором.

Император улыбается язвительно, покорно и злобно; он вдруг кажется очень старым. Он привязан к своему еврею, он сделал еврею немало добра. Теперь этот еврей предпочел ему Тита. Что ж, его сын Тит молод, а Веспасиан проживет еще, пожалуй, лет десять, может быть, и пять, ну, самое большее пятнадцать.

Тихо и уединенно жила Дорион в маленькой канопской вилле, предоставленной в их распоряжение Титом. Стояла чудесная зима, тело и душа Дорион наслаждались свежестью воздуха. Бог Иммутфру вполне ладил с ее соколом, и ручной павлин величественно выступал по маленьким комнаткам. Дорион была счастлива. Раньше ей нужно было видеть вокруг себя множество людей; честолюбие отца заражало и ее, ей необходимо было блистать, щебетать, вызывать восхищение. Теперь же ей стали в тягость даже редкие посещения Тита, и все ее честолюбие сводилось к одному имени — Иосиф.

Как он прекрасен! Как горячи и оживленны его глаза, как нежны и сильны его руки, какое у него бурное и сладостное дыхание, и потом — он умнейший из людей. Она рассказывала о нем своим животным. Тонким голоском, звучавшим едва ли музыкальнее, чем голос ее павлина, пела она им старинные любовные песни, которым научилась от своей няни. «О, погладь мои бедра, возлюбленный мой! Любовью к тебе полна каждая пядь моего тела, словно благовонное масло, сливается она с моей кожей». Она просила Иосифа повторять ей все вновь строфы Песни Песней, и когда выучила их наизусть, то захотела, чтобы он произнес их по-еврейски, и, счастливая, лепетала их вслед за ним неловкими устами. Дни, хоть и были они очень коротки, казались ей слишком

долгими, и ночи, хоть и были они очень длинными,—слишком короткими.

«Трудно будет,—думал Иосиф,—сообщить ей, что я возвращаюсь домой, а ее оставляю здесь. Этот разрыв будет очень тяжел и для меня, но я хочу, не колеблясь, закончить все сейчас же».

Когда он ей сказал, она сначала не поняла. А когда поняла, то начала бледнеть, очень медленно, как ей было свойственно, сначала вокруг рта, потом бледность залила щеки и лоб. Затем она упала ничком, легко, странно медленно, беззвучно.

Когда она очнулась, он сидел возле нее и бережно уговаривал. Она посмотрела на него, взгляд ее глаз цвета морской воды был испуганный и растерянный. Потом она некрасиво выпятила губы и излила на него все ругательства, какие только знала, самые дикие—египетские, греческие, латинские, арамейские. Сын вонючего раба и прокаженной шлюхи. Созданный из навоза всего света, все восемь ветров смели в кучу отбросы земли, чтобы он из них вырос. Иосиф смотрел на нее. Она была сейчас очень некрасива, взбешенная, извергающая дребезжащим голосом свою злобу. Но он понимал ее, он был полон жалости к себе и к ней, и он очень любил ее. Затем она бросилась в другую крайность, начала ласкать его, лицо потеряло свою напряженность, стало мягким, беспомощным. Шепотом повторяла она ему все те страстные слова, которые он дарил ей, просящая, ласковая, полная преданности и отчаяния.

Иосиф молчал. Очень легко гладил ее руку, обессиленно лежавшую рядом с ним. Затем осторожно, издалека, попытался ей объяснить.

Нет, он не хочет ее потерять. Он знает, как сурово его требование, чтобы она, такая живая, сидела здесь и ждала его, но он любит ее и не хочет потерять ее и требует того же от нее. Нет, он не трус, и не флюгер, и не бесчувственное бревно, как она его обзывала, он вполне способен оценить, какая она драгоценность—на вид, на вкус, на ощупь, заполнить ею всего себя. Любить ее. Он ведь пробудет в отсутствии недолго, самое большее—год.

— Нет, это навсегда,—прервала она его.

И его отъезд, продолжал он серьезно, настойчиво, игнорируя ее замечание, важен столько же для него, сколько и для нее. В ее глазах появилось ожидание, надежда и легкое недоверие. Продолжая ее гладить, очень осторожно поведал он ей свой план, слегка искажая его для нее. Он верит в силу слова, своего слова. Его слово обретет способность добиться того же, к чему и она внутренне стремится. Да, его книга даст и ей положение

среди господствующих, даст то, чего ее отец тщетно добивался всю жизнь. Она протестовала страстно, но уже слегка смягченная. Тихо, фанатично шептал он ей на ухо, в уста, в грудь: империя будет начинаться на Востоке, Востоку предназначено господствовать. Но до сих пор Восток приступал к этому слишком неуклюже, грубо, материалистично. Господство и власть—это не одно и то же. Миром будет руководить Восток, но не снаружи, а изнутри, через слово, через дух. И его книга станет важной вехой на этом пути.

— Дорион, моя девочка, моя сладкая, моя пастушка, разве не видишь ты, что нас роднит нечто еще более глубокое? Твоего отца мучает, что римляне видят в нем только какое-то редкостное животное, вроде королевского фазана или белого слона. Я, твой муж, получу золотое кольцо всадника. Ты, египтянка, презираемая римлянами, и я, иудей, к которому Рим относится недоверчиво, с боязнью и со смутным уважением,—мы вдвоем завоюем Рим.

Дорион слушала, она слушала его слова и ухом и сердцем, она впитывала их в себя. Слушала, как ребенок, отерла слезы, только изредка чуть всхлипывала, но она верила Иосифу,—ведь он такой умный,—и его слова сладостно проникали в нее. Ее отец всю жизнь только писал картины—конечно, это великое дело; но этот человек поднял свой народ, он участвовал в сражениях и доказал даже победителю, что тот в нем нуждается. Ее муж—красивый, сильный, умный муж, его царство—от Иерусалима до Рима, мир для него—вино, которое он зачерпывает своей чашей; все, что он делает, правильно.

Иосиф гладит ее, целует. Она вкушает его дыхание, его руки, его кожу, и, после того как он слился с ней, она окончательно убеждена. Она счастливо вздыхает, прижимается к нему, свертывается в клубочек, поджав колени, словно дитя в чреве матери, она засыпает.

Иосиф бодрствует. Он не думал, что удастся так легко ее уговорить. Ему не так-то легко. Осторожно снимает он с себя ее руки. Она слегка ворчит, но не просыпается.

Он бодрствует и думает о своей книге. Его книга стоит перед ним, великая, грозная, как бремя, как задача, и все-таки дающая счастье. Фраза Веспасиана о Гомере задела его за живое. Он не станет ни Гомером Веспасиана, ни Гомером Тита. Он воспоеет свой народ, великую войну своего народа.

И если действительно придут горе и гибель, он будет устами этого горя и гибели; но он уже не верит в горе и разрушение, он верит в радость и нерушимость. Он сам

добьется мира между Римом и Иудеей, достойного мира, почетного, полного разума и счастья. Слово победит. И слово требует, чтобы он ехал в Иудею. Иосиф посмотрел на спящую Дорион. Он улыбнулся, нежно погладил ее кожу. Он любил Дорион, но сейчас был от нее очень далек.

Разговор, во время которого Веспасиан сообщил Титу о своем решении поручить ему завершение иудейского похода, был прост и сердечен. Веспасиан обнял сына за плечи, стал ходить с ним по комнате, заговорил доверчиво, как добрый отец семейства. Он предоставил ему широкие полномочия, они распространялись на весь Восток. Кроме того, он давал для Иудеи четыре легиона вместо трех, которыми в свое время ему пришлось довольствоваться самому. Тит, охваченный благодарной радостью, разоткровенничался. Право же, он вовсе не стремится преждевременно занять престол. Он свободен от честолюбивых вождедений «фрукта», он сердцем — римлянин. Другое дело — когда-нибудь позднее, после счастливой старости Веспасиана, унаследовать организованное и упорядоченное государство — да, вот твердая почва, на которой он считает нужным стоять, и он не идиот, чтобы променять ее на топкое болото. Благосклонно слушал его Веспасиан, он верил ему. Он посмотрел своему мальчику в лицо. Это лицо, смугло-бронзовое от иудейского лета, теперь немного побелело от александрийской зимы, но Тит все еще должен нравиться войскам и массам. Неплохой лоб, короткий подбородок, твердый, солдатский, только щеки слишком мягкие. И порой в глазах мальчика вспыхивает что-то дикое и странное, и оно отца тревожит. У матери мальчика Домитиллы бывали такие глаза; она тогда вытворяла идиотские и истерические штуки, и, вероятно, из-за них-то всадник Капелла, от которого она перешла к Веспасиану, и постарался от нее избавиться. Но мальчик неглуп, и с остатками иудейского восстания справится, тем более что Веспасиан дает ему исключительно умного начальника генерального штаба — Тиберия Александра. Гром и Геракл! Все было бы хорошо, если бы Тит больше интересовался восточными мужчинами, чем женщинами.

Осторожно, пользуясь этими минутами откровенности, Веспасиан вновь поднимает давний наболевший вопрос: Береника.

— Я могу понять, — начинает он дружеским тоном этот чисто мужской разговор, — что для постели у этой еврейской дамы есть прелести, которых нет у греческих или римских женщин.

Тит вздергивает брови,—теперь он действительно похож на младенца,—он хочет что-то возразить, слова отца задевают его, но не может же он сказать ему, что до сих пор еще не спит с этой еврейкой: тогда отец обрушит на него целый водопад насмешек. Поэтому Тит поджимает губы и молчит.

— Я допускаю,—продолжает старик,—что эти восточные люди получили от своих богов кое-какие способности, которых у нас нет. Но, поверь мне, они несущественны, эти способности.—Он кладет руку на плечо сына, ласково убеждает его:—Видишь ли, боги Востока стары и слабы. Например, невидимый бог евреев хоть и дал своим последователям хорошие книги, но, как мне говорили совершенно точно, способен бороться лишь на воде. Он ничего не мог сделать с египетским фараоном, только сомкнул над ним воды, и в самом начале своего владычества справился с людьми, только наслав на них великий потоп. На суше же он слаб. Наши боги, сынок, молоды. Они не требуют такой чувствительной совести, как восточные; они менее утонченны, они довольствуются парой быков или свиней и твердым словом мужа. Советую тебе, не слишком сближайся с евреями. Иногда, конечно, очень полезно помнить о том, что на свете есть еще кое-что, кроме Палатина и Форума. И невречно, если тебе иной раз еврейские пророки и еврейские женщины пощекочут душу и тело. Но поверь мне, сын мой, что римский строевой устав и «Руководство для политического деятеля» императора Августа—это вещи, которые пригодятся тебе в жизни больше, чем все священные книги Востока.

Тит слушал молча. Многое из того, что говорил старик, было верно. Но в его воображении вставала принцесса Береника, подымающаяся по ступеням террасы, и, в сравнении с ее походкой, вся римская государственная мудрость рассыпалась прахом. Когда она говорила: «Подождите, мой Тит, пока мы будем в Иудее и я почувствую под ногами иудейскую землю. Только тогда станет ясно, что мне дозволено делать и что нет»,—когда она говорила эти слова своим глухим, волнующим, чуть хриплым голосом, в ничто превращались в сравнении с ними и римская воля победителя, и воля императора. Можно было иметь власть надо всем миром, перебрасывать легионы с одного конца света на другой—царственный сан этой женщины, перешедший к ней от многих поколений, был гораздо законнее и подлинно царственнее, чем подобное твердое и пошлое господство. Его отец—старик. В основе того, что он говорил, таился страх. Страх, что римлянин окажется не на высоте внутренних достижений Востока, его более утонченной

логики, его более глубокой морали. Но переварил же Рим и греческую мудрость, и греческое чувство. Он был теперь достаточно образован, чтобы без риска принять в себя иудейское чувство и иудейскую мудрость. Во всяком случае, он, Тит, ощущал себя достаточно сильным, чтобы сочетать в себе и то и другое: восточную загадочность и глубину и по-римски прямую, ясную власть.

Весть о том, что завершение иудейского похода поручено Титу и что император в скором времени возвращается в Рим, взволновала город Александрию. Белобашмачники облегченно вздохнули. Они были рады отделаться и от императора, и от его строгого губернатора Тиберия Александра, и они были довольны, что наконец за дерзкую Иудею возьмутся четыре образцовых легиона. Давняя кличка еврея Апеллы возродилась. Где бы ни появлялись евреи, им вслед раздавалось: Апелла, Апелла! Но потом эта кличка была вытеснена другим словом, более коротким и острым, быстро распространившимся по городу, по всему Востоку, по всему миру. Его изобрел белобашмачник Херей, тот самый молодой человек, которого Иосиф когда-то сбил с ног своим письменным прибором. Оно состояло из начальных букв следующего изречения: Hierosolyma est perdita—Иерусалим погиб. «Хеп, хеп!»—слышалось теперь повсюду, где бы ни показались евреи. Особенно усердствовали дети, крича «хеп, хеп». Слово это соединили с прежним, и по всему городу стоял крик и визг: «Хеп, Апелла, хеп, Апелла, Апелла, хеп!»

Иосифа эти крики не затрагивали. Он, Береника, Агриппа и маршал Тиберий Александр, иудеи по происхождению, воплощали в себе надежду иудеев, и, где бы Иосиф ни появлялся, его приветствовали словами: «Марин, марин». Он был полон упований и надежд. Он знал Тита. И казалось невозможным, чтобы маршал Тиберий Александр, отец которого посылал храму лучшие дары, допустил, чтобы храм был разрушен. Поход будет коротким и суровым. Затем Иерусалим сдастся, и страна, очищенная от «Мстителей Израиля», заново расцветет. Он видит себя в роли одного из крупнейших деятелей, то ли в управлении римскими провинциями, то ли в иерусалимском правительстве.

Правда, задача, стоящая непосредственно перед ним, необычайно трудна. Он хочет быть честным посредником между иудеями и римлянами. Обе стороны будут относиться к нему с недоверием. Если римляне потерпят неудачу, ответственность за нее взвалит на него; если

худо придется иудеям, виновным окажется тоже он. Но он, как всегда, не допустит в себе озлобления, и сердце и глаза его будут беззлобно отверсты. О Ягве! Расширь мое сердце, чтоб постичь многосложность твоей вселенной! О Ягве! Расширь мне гортань, чтоб исповедать величие твоей вселенной! Он будет смотреть, будет чувствовать, и эта война, ее бессмысленность, ее ужас и величие оживут через него для потомства.

Египетская зима миновала, разлив Нила кончился. Ливни, делавшие болотистую местность на пути к Пелузию труднопроходимой, прекратились; войско можно было отправить из Никополя вверх по Нилу и затем повести старой дорогой через пустыню в Иудею.

Гордо расхаживали вожди александрийских евреев, как всегда сдержанные, со спокойными лицами; но в душе они были полны тревоги. Они сами приняли участие в мобилизации, они хорошо подрабатывали на обмундировании и снабжении армии продовольствием. Они были также полны мрачной злобы на иудейских мятежников и от души сочувствовали тому, что Рим наконец занес ногу, чтобы окончательно растоптать восстание. Но как легко могла эта нога опуститься не только на восставших, но и на город и даже на храм! Иерусалим был самой твердой твердыней мира, повстанцы в своем ослеплении готовы на безрассудную смерть, и если город приходится брать силой, то где кончается эта сила и кто прикажет ей остановиться?

По отношению к александрийским евреям Рим держался корректно и доброжелательно. Война ведется против бунтовщиков в провинции Иудее, не против евреев империи. Но если правительство делало это различие, то массы его не делали. Город Александрия был вынужден выделить для похода большую часть своего гарнизона. Евреи не подавали и вида, но они весьма опасались такого же погрома, как четыре года назад.

Тем усерднее старались они показать императору и его сыну свою лояльность. Хотя многие члены общины этого не одобряли, все же великий наставник Феодор бар Даниил на прощание устроил принцу Титу банкет. Присутствовали император, Агриппа, Береника, начальник Титова штаба Тиберий Александр. Были приглашены также Иосиф и Дорион. Они были серьезны, бледны какой-то светящейся бледностью, очень сдержанны, и все смотрели на них.

И вот эти сто человек возлежали за трапезой, иудеи и римляне, в честь того, что завтра армия, состоящая теперь из четырех легионов, Пятого, Десятого, Двенадца-

того и Пятнадцатого, выступит из Сирии и из Египта, чтобы окружить дерзкую столицу Иудеи и навсегда ее смирить. «Твое назначение, римлянин, править миром, щадить покоренных, смирять бунтовщиков»,— так пел поэт, когда основатель монархии покорил державу, и вот они решили осуществить его слово, римляне и иудеи, осуществить его с помощью меча и Писания.

Празднество продолжалось недолго. На короткую речь великого наставника отвечал Тит. Он был в парадной форме полководца, он уже не казался юношей, глаза были жестки, холодны и ясны, и все увидели, до чего он похож на отца. Он говорил о римском солдате, о его дисциплинированности, его мягкости, его суровости, его традициях.

— Другие мыслили глубже,— сказал он,— другие чувствовали красивее: нам боги дали в дар способность делать нужное в нужную минуту. У грека есть его статуи, у иудея—его книги, у нас есть наш лагерь. Он крепок и подвижен, он создается каждый день заново, это маленький город. Он—защита покорного, подчиняющегося закону, и угроза бунтовщику, закона не признающему. Я обещаю вам, отец, я обещаю Риму и всему миру, что в моем лагере будет присутствовать Рим, старый Рим, суровый—там, где это нужно, милостивый—где это можно. Предстоящая война будет нелегкой, но это будет хорошая война, по римскому способу.

Молодой генерал говорил не пустые слова, в них был смысл и сущность его пола, это говорила сама мужественность, добродетель мужа, сделавшая обитателей маленького поселка на тибрских высотах властителями Лациума, Италии, всего мира.

Император слушал, довольный, поддакивал сыну; медленно, машинально поглаживал он подагрическую ногу. Нет, еврейка не получит его мальчика. И он взглянул с тайной довольной усмешкой на Беренику. Она слушала, подперев рукой смуглое смелое лицо, неподвижная. Она была полна печали. Этот человек о ней совершенно забыл, вытравил из последнего тайника своего сердца. Он теперь солдат, и только; он научился колоть, стрелять, убивать, растаптывать. Трудно будет удержать его руку, если уж он занесет ее.

Пока принц говорил, в сияющем огнями зале было очень тихо. Здесь присутствовал и художник Фабулл. Портрет принцессы Береники был закончен. Но принц не хотел его брать с собой, и это говорило о высоком мастерстве художника; ибо портрет, по словам принца, до того живой, что, находясь у него, он будет все время его волновать, а ему нужно вести армию в поход, и такое

волнение ни к чему. Художник Фабулл постарел, его профиль стал еще строже, тело потеряло свою массивность. Как обычно, смотрел он перед собой отсутствующим взглядом, но этот отсутствующий взгляд был обманчив. Человек, ставший за несколько недель стариком, видел прекрасно. Он видел сотни римлян, уходивших, чтобы покарать прокаженных рабов, и видел иудеев, караемых, лизавших руку своим хозяевам. Живописец Фабулл был скуп на слова, слово являлось чуждой для него областью, но он был подлинным художником, он понимал без слов то, что таится за этими лицами, как бы они ни замыкались. Он видел маршала Тиберия Александра, холодного и элегантного, достигшего в полной мере того, ради чего он, Фабулл, всю жизнь напрасно бился, и он видел, что этот жестокий, умный и могущественный человек несчастлив. Нет, счастливым не мог себя назвать ни один из этих евреев — ни царь Агриппа, ни Клавдий Регин, ни великий наставник. Только римляне были счастливы и в согласии с самими собой и своими судьбами. В них не было глубины, мудрость и красота не их проблемы. Их путь прям и прост. Он очень суров, этот путь, и очень долог, но у них крепкие ноги и смелые сердца: они пройдут до конца свой путь. И находящиеся в этой зале евреи, египтяне и греки правы, чувствуя их как хозяев.

Он видел также лицо человека, к которому сбегала его дочь, лицо этого нищего, этого пса, этого отброса, которому она себя выбросила. Но как ни странно — у него не лицо нищего; это лицо мужчины, долго боровшегося против власти, лицо человека, много издевавшегося, подчинившегося и наконец эту власть признавшего, но с тысячью хитрых недомолвок, лицо воина, который понял, но не сдался. Художник Фабулл ничего не смыслит в литературе, ничего не хочет знать о ней, ненавидит ее, озлоблен на то, что Рим признает литераторов, но не художников. И все же художник Фабулл кое-что смыслит в человеческих лицах. Он видит, как Иосиф слушает речь Тита, и знает, что вот этот человек, любовник его дочери, этот нищий, этот пес отправится с Титом и будет смотреть, как гибнет его город, и опишет его гибель. Все это он видит в лице Иосифа. И вскоре после окончания речи Тита он подходит к Иосифу, довольно нерешительно, не так уверенно и важно, как обычно. Дорион смотрит на него испуганно, ожидая, что сейчас произойдет. Но ничего не происходит. Художник Фабулл говорит Иосифу, и его голос звучит не так уверенно, как всегда:

— Желаю вам, Иосиф Флавий, успешно написать вашу книгу о войне.

На другой день Иосиф садится в Никополе на большой корабль, который повезет его вверх по Нилу. Гавань полна солдат, ящиков, сундуков, багажа. Допущены только немногие штатские, так как прощание, по приказу верховного командования, должно было состояться в Александрии. Только один человек настоял на том, чтобы проводить Иосифа до Никополя. Клавдий Регин.

— Раскройте глаза и сердце как можно шире, молодой человек,— говорит он, когда Иосиф поднимается на корабль,— чтобы ваша книга удалась. Сто пятьдесят тысяч сестерциев — это неслыханный аванс.

Перед самой посадкой на корабль Тит отдал приказ восстановить снятые Веспасианом посты огневой сигнализации, которая должна была возвестить Риму падение Иерусалима.

Книга пятая

ИЕРУСАЛИМ

Начиная с 1 нисана на дорогах Иудеи появились паломники, которые направлялись в Иерусалим, чтобы заколоть пасхального агнца на алтаре Ягве и есть пасху в святом городе. Шла гражданская война, на дорогах было полно разбойников и солдат, но эти непостижимые люди не хотели отказаться от своего паломничества. Они прибывали—мужчины старше тринадцати лет—то поодиночке, то длинными вереницами. Большинство пришло пешком, в обуви, с дорожным посохом, с перекинутыми через плечо мехами для воды и роговым футляром для дорожных припасов. Многие ехали на ослах, на лошадях, на верблюдах, богатые—в повозках или в носилках. Очень богатые привезли с собой жен и детей.

Они двигались со стороны Вавилона, по большой, широкой царской дороге. Они двигались по многочисленным ухабистым проселкам с юга. По трем большим благоустроенным дорогам для войск, проложенным римлянами. Ворча, проходили они мимо колонн бога Меркурия, воздвигнутых вдоль этих дорог, ворча, уплачивали высокие дорожные и мостовые пошлины. Но их лица тут же прояснялись, и они весело следовали дальше, как того требовал закон. Вечером они мыли ноги, умащали свои тела, произносили благословение, радовались, что увидят храм и святой город, и предвкушали пасхального агнца, мужского пола, годовалого, беспорочного.

Но за паломниками следовали римляне. Целых четыре легиона в полной боевой готовности, затем отряды союзников, всего около ста тысяч человек. 23 апреля, то есть 10 нисана по еврейскому счислению, выступили они из Кесарии, 25-го стали лагерем в Габатсауле, ближайшем большом селении перед Иерусалимом.

Солдаты, маршировавшие рядами по шесть человек, заняли дорогу во всю ширину и оттеснили паломников на проселки. Вообще же они паломников не трогали. Хватали только того, на ком была крамольная повязка со словом

«Маккавей». Паломников бросало в дрожь, когда они видели, как легионы гигантским червем подползают к городу. Может быть, того или другого на миг охватывала нерешительность, но никто не повернул обратно — наоборот, они, эти непостижимые люди, ускоряли шаг. Отвратив взоры, пугливо стремились они вперед; под конец это стало похоже на бегство. И когда 14 нисана, в канун праздника, в день пасхальной вечери, последние паломники достигли города, ворота закрылись, ибо за ними, на высотах, уже показался римский передовой отряд.

То, что в Иерусалиме не стало тогда слишком тесно от паломников, считается одним из десяти чудес, которыми Ягве отметил свой народ Израиль. Ибо в тот год, зажатый своими стенами, отрезанный от окрестных деревень, обычно дававших паломникам приют, город был набит людьми до отказа. Но теснота не смущала вновь прибывших. Они наводняли гигантские залы и дворы храма, восхищались достопримечательностями Иерусалима. Они были при деньгах, они толкались на базарах. Дружелюбно задевали друг друга, предупредительно уступали друг другу место, добродушно торговались с продавцами, передавали подарки знакомым. В месяце нисане Ягве спас евреев от руки египтян. Они смотрели на приближавшихся римлян с удивлением и любопытством, но без страха. Они чувствовали под ногами священную почву. Они были в безопасности, они были счастливы.

Принц и его свита смотрели с вершины холма. У их ног, налитый солнцем, иссеченный глубокими ущельями улиц, лежал город.

Тит, увидев наконец впервые этот знаменитый строптивый Иерусалим, вполне оценил его красоту. Город смотрел на него снизу вверх со всех своих крутых холмов, белый, дерзкий. За ним развertyвался ландшафт, широкий, пустынный, множество голых вершин, рощи кедров и пиний, долины с пашнями, террасы с оливковыми деревьями, виноградники, поблескивающее вдали Мертвое море. А лежащий на переднем плане город кишит людьми, едва оставляя место для глубоких ущелий улиц, заполняет каждую пядь земли жилищами. И, подобно тому как тихий ландшафт вливается в кишачий людьми город, так кишачий людьми город, в свою очередь, вливается там, напротив, в серебро и золото — в прямоугольник храма, бесконечно хрупкие контуры которого, несмотря на всю его огромность, словно парят в воздухе. Даже высочайшие точки Иерусалима — форт Антония и кровля храма — лежат гораздо ниже того места, на котором сейчас находится Тит, и все же ему чудится, что и он и его конь словно приросли к земле, тогда как город и храм, легкие и

недосягаемые, плывут в воздухе. Принц видит красоту Иерусалима. Но одновременно, с зоркостью солдата, он видит и его неприступность. С трех сторон — ущелья. Вокруг всего города гигантская стена. И если взять ее, то у пригорода есть еще вторая стена, и своя стена есть у Верхнего города; храм — на высоком крутом холме, Верхний город — на своем, и это опять-таки две самостоятельные крепости. Только с севера, там, где сейчас находится Тит, волнистая мягкая линия холмов подступает к самому городу и храму. Но там стены и форты наиболее укреплены. Неодолимые, дерзко смотрят они на него снизу вверх. Его охватывает все более бурное желание сокрушить эти просторные упрямые дворцы, огнем и железом проложить себе дорогу через толстые стены и проникнуть в тело надменного города.

Принц делает легкое беспокойное движение головой. Он чувствует на себе взгляд Тиберия Александра. Тит знает, что маршал — первый солдат эпохи, вернейшая опора дома Флавиев. Он восхищается этим человеком; его смелое лицо, его пружинящая плавная походка напоминают ему Беренику. Но в его присутствии он чувствует себя мальчишкой, вежливое превосходство маршала угнетает его.

Несмотря на возраст, Тиберий Александр молодцевато сидит на своем арабском вороном коне. Его удлиненное лицо с острым носом неподвижно, оно обращено к городу. Какие там закоулки! Просто непостижимо, как эти люди во время праздничных паломничеств теснятся вплотную друг к другу, словно соленая рыба. Он был много лет губернатором в Иерусалиме и знает, насколько трудно будет прокормить продолжительное время эти сотни тысяч. Неужели вожди — господа Симон бар Гиора и Иоанн Гисхальский — намерены быстро от него отделаться? Уж не надеются ли они прогнать его сто тысяч человек с помощью своих двадцати четырех тысяч? Он представляет себе свою артиллерию, стенобитные машины Десятого легиона, прежде всего «Свирепого Юлия», этот замечательный новейший таран. Старый, многоопытный солдат смотрит на город почти с состраданием.

А там, в стенах города, эти безумцы все еще воюют друг с другом. Они ненавидят друг друга больше, чем римлян. Во время своей нелепой гражданской войны они сожгли гигантские запасы хлеба; Иоанн, борясь против Симона, ввел свою артиллерию даже во внутренние залы храма. Словно приветствуя знакомя, скользит тихий, слегка усталый взгляд маршала по четырехугольному контуру храма. Его собственный отец заказал в дар храму металлическую обшивку новых внутренних дверей: золото, серебро, коринфская бронза, превышающие стоимо-

стью налоги с целой провинции. И все-таки этот же отец его, верховный наставник александрийских евреев, допустил, чтобы он, Тиберий Александр, будучи еще мальчиком, порвал с иудейством. И теперь он благодарен за это своему мудрому отцу. Выключать себя из уравновешенной, глубоко содержательной греческой культуры — преступная глупость.

С едва заметной насмешливой улыбкой устремляет он взгляд на секретаря и переводчика принца; Иосиф взволнованно смотрит вниз, на город. Этот Иосиф хочет, чтобы уцелело и то и другое — иудаизм и эллинизм. Но так не бывает, милый мой. Иерусалим и Рим, Исайя и Эпикур — этого вы не получите. Будьте добры выбрать то или другое.

Рядом с ним — царь Агриппа; на красивом, чуть жирном лице застыла всегдашняя вежливая улыбка. Он охотнее прибыл бы сюда как паломник, чем во главе пяти тысяч всадников. Он не видел Иерусалима четыре года, с тех пор как этот нелепый народ выгнал царя после его знаменитой речи, призывавшей к миру. И теперь этот страстный строитель с огромной любовью и глубоким сожалением смотрит на Иерусалим, белый, деловито вползающий на свои холмы. Он сам здесь много строил. Когда, после завершения храма, восемнадцать тысяч рабочих остались без хлеба, он заставил их вымостить заново весь город. Теперь маккавеи принудили часть этих рабочих стать солдатами. Одного из них, некоего Фанния, они, в насмешку над аристократами, даже сделали первосвященником. А как они расправились с его домами, с дворцом Ирода, со старым дворцом Маккавеев? При таком зрелище тяжело сохранять спокойствие лица и духа.

Вокруг них работали солдаты. В молчание этих господ, неподвижно стоящих в легком ветерке на вершине холма, врывается звяканье лопат и топоров. Солдаты устраивают лагерь, выравнивают почву для осады, копают землю, относят ее вниз. Окрестности Иерусалима — сплошной сад. Они срубают оливковые и фруктовые деревья, виноградные лозы. Они сносят виллы на Масличной горе, склады братьев Ханан. Они все тут сровняли с землей. «Solo adaequare» — значит сровнять с землей, таков технический термин. Это первое, что необходимо для начала осады, это элементарное правило, его прежде всего внушают каждому, изучающему военное искусство. Иудейский царь сидит на своей лошади в красивой небрежной позе, лицо у него немного утомленное, как всегда — спокойное. Сейчас ему сорок два года. Он спокойно принимал жизнь, хотя мир полон глупости и варварства. Сегодня ему это трудно.

Иосиф — единственный, кто не в силах владеть собой. Так смотрел он некогда из Иотапаты на сжимавшие свое роковое кольцо легионы. Он знает: сопротивляться безнадежно. Умом — он на стороне тех, в среде которых теперь находится. Но сердцем — он с иудеями; ему тяжело слышать стук лопат, топоров, молотков, с помощью которых солдаты опустошают лучезарные окрестности города.

Из района храма доносится чудовищное гуденье. Лошади начинают беспокоиться.

— Что это? — спрашивает принц.

— Это Магрефа, стозвучный гидравлический гудок, — поясняет Иосиф. — Его слышно до самого Иерихона.

— У вашего бога Ягве очень громкий голос, — констатирует Тит.

Затем он наконец прерывает долгое, тягостное молчание.

— Как вы думаете, господа, — спрашивает он резким, почти лязгающим голосом, это скорее приказание, чем вопрос, — сколько нам понадобится времени? Я считаю, если дело пойдет успешно, то три недели, если нет — два месяца. Во всяком случае, я хотел бы к празднику «октябрьского коня» быть уже в Риме.

До сих пор три полководца-диктатора вели между собой борьбу из-за Иерусалима. Симон бар Гиора главенствовал над Верхним городом, Иоанн Гисхальский — над Нижним городом и Южным храмовым районом, доктор Элеазар бен Симон — над внутренней частью этого района, над самим храмом и фортом Антония. Когда в этом году, в канун пасхи, паломники устремились толпами вверх, к храму, чтобы заколоть для Ягве своего агнца, Элеазар не осмелился запретить им доступ во внутренние дворы. Однако к толпе паломников незаметно пристало множество солдат Иоанна Гисхальского, и они, достигнув внутренних залов храма, перед гигантским жертвенным алтарем сбросили с себя одежду паломников, оказались в полном вооружении, перебили Элеазаровых офицеров, а самого взяли в плен. Иоанн Гисхальский, овладев таким способом всей территорией храма, предложил Симону бар Гиоре отныне биться совместно против врага, стоящего под стенами города, и пригласил его съесть с ним пасхального агнца в его штабе, находившемся во дворце княгини Граптэ. Симон согласился.

И вот под вечер Иоанн, хитрый и довольный, стоял перед распахнутыми воротами во дворе дома княгини, поджидая своего прежнего врага и теперешнего союзника. Симон, миновав Иоаннов караул, воздавший ему почести,

поднялся по ступенькам крыльца. Он и его свита были вооружены. Это на миг раздосадовало Иоанна, который был без оружия, но он тотчас же овладел собой. Почтительно, как того требовал обычай, отступил он на три шага, низко склонился и сказал:

— Сердечно благодарю вас, Симон, за то, что вы пришли.

Они вошли в дом. Дворец княгини Граптэ, занорданской принцессы, некогда роскошно обставленный, имел теперь заброшенный вид, превратился в казарму. Бряца оружием, шел Симон бар Гиора рядом с Иоанном через пустые комнаты, изучал своего спутника узкими темными глазами. Этот человек причинил ему столько зла—он захватил в плен его жену, чтобы выжать из него уступки, они грызлись друг с другом, как дикие звери, он ненавидит его, и все-таки он чувствует почтение перед хитростью другого. Может быть, Ягве и не простит этому Иоанну, что перед его алтарем из неотесанных камней, которых железо не должно касаться, Иоанн приказал из-под паломнической одежды извлечь мечи; однако это было дерзко, хитро, смело. Хмурый, но исполненный уважения, шагал он рядом с Иоанном.

Агнца жарили прямо на огне, как предписывал закон, целиком, голени и внутренности положили снаружи. Они прочитали предписанные молитвы, рассказы об исходе из Египта, они с аппетитом ели агнца, они ели его, как предписывал закон, с пресным хлебом и горькими травами, в память о горькой участи евреев в Египте. Говоря по правде, все эти казни, которые Ягве наслал на Египет, немножко смешны, если сравнить их с казнями, постигшими их самих, а римское войско, конечно, страшнее египетского. Но это не имело значения. Они сидели теперь вместе, в одной комнате, кое-как примирившиеся. И вино было хорошее, эшкольское вино, оно согрело их озлобленные сердца. Правда, лицо Симона бар Гиоры оставалось серьезным, но остальные развеселились.

После трапезы они подвинулись друг к другу, выпили вместе последний из предписанных четырех кубков вина. Затем оба вождя отослали женщин и приближенных и остались одни.

— Не отдадите ли вы мне и моим людям часть вашего оружия?—начал через некоторое время Симон бар Гиора серьезный разговор, недоверчиво, скорее требуя, чем прося. Иоанн посмотрел на него. Оба были измучены, истрепаны, озлоблены бесконечными усилиями, страданиями и огорчениями. «Как можно быть таким молодым и таким сердитым?—думал Иоанн.—Ведь нет и трех лет, как от этого человека исходило сияние, словно от самого храма».

— Вы можете получить все мое оружие,—сказал он искренне, почти с нежностью.—Я хочу бороться не с Симоном бар Гиорой, я хочу бороться с римлянами.

— Спасибо,—отозвался Симон, и в его узких карих глазах появился отблеск былой неистовой надежды.—Мы провели хороший пасхальный вечер, во время которого Ягве обратил ко мне вашу душу. Мы будем отстаивать Иерусалим, римляне будут разбиты.—Стройный и прямой, сидел он перед коренастым Иоанном, и теперь было видно, что он еще очень молод.

Узловатая крестьянская рука Иоанна Гисхальского играла большим кубком для вина. Он был пуст, а выпивать больше четырех кубков не разрешалось.

— Мы не отстоим Иерусалим, Симон, брат мой,—сказал Иоанн.—Не римляне будут разбиты, а мы. Но хорошо, что есть люди с такой верой, как ваша.—И он взглянул на него дружелюбно, сердечно.

— А я знаю,—страстно заявил Симон,—что Ягве дарует нам победу. И вы тоже в это верите, Иоанн. Для чего же иначе затеяли бы вы войну?

Иоанн задумчиво посмотрел на боевую повязку с начальными буквами девиза маккавеев.

— Не хочу спорить с вами, брат мой Симон,—сказал он мягко,—и говорить о том, почему моя вера в Иерусалиме не так крепка, как была в Галилее.

Симон сделал над собой усилие.

— Не вспоминайте о крови и пламени, разделивших нас,—ответил он.—Виноваты были не вы и не я. Виноваты ученые и аристократы.

— Ну,—фамильярно подтолкнул его Иоанн,—им-то вы задали перцу. Как сирийские канатные плясуны, прыгали они, эти господа ученые в длинной одежде. А старик первосвященник Анан, державшийся в Великом совете с таким видом, словно он—сам разгневанный Ягве, лежал потом мертвый, голый и грязный и не был уже усладой для глаз. Вторично он из Зала совета вас уже не выбросит.

— Ну,—сказал Симон, и даже по его измученному лицу промелькнула улыбка,—вы, Иоанн, тоже были не из кротких. Вспомните, как вы ликвидировали последних отпрысков первосвященников-аристократов, а затем объявили первосвященником строительного рабочего Фанния и заставили глупого неуклюжего парня проделать всю церемонию облачения и прочее,—этого ведь тоже не приведешь как пример благочестивой жизни.

Иоанн ухмылялся.

— Не говорите ничего дурного про моего первосвященника Фанния, брат мой Симон,—сказал он.—Соображает он туговато, допускаю, но он хороший

человек, и он — рабочий, а не аристократ. Он — наш. В конце концов, так уж решила судьба.

— А вы ей слегка не помогали в этом решении? — спросил Симон.

— Мы с тобой из одной местности, — рассмеялся Иоанн. — Твоя Кесария и моя Гисхала — недалеко друг от друга. Поди сюда, брат мой Симон, земляк мой, поцелуй меня.

Одно мгновение Симон колебался. Затем он раскрыл объятия, и они поцеловались.

Время близилось к полночи, и они сделали обход, проверяя сторожевые посты и укрепления. Нередко они спотыкались о спящих паломников, ибо в домах не хватало места, и паломники лежали во всех подворотнях, на всех улицах, иной раз — в примитивной палатке, иной раз — просто укрывшись плащом. Ночь была свежа, воняло людьми, дымом, деревом, жареным мясом, повсюду виднелись следы гражданской войны, враг стоял под стенами города, иерусалимские улицы служили не слишком мягким ложем. Но паломники спали крепко. Эта ночь была под защитой Ягве, и как некогда египтян, так и теперь Ягве свергнет в море римлян — людей, коней, колесницы. Симон и Иоанн старались ступать как можно осторожнее и тщательно обходили спящих.

Каждым из них руководило профессиональное любопытство: какие меры защиты принял другой. Они нашли повсюду дисциплину и порядок, окрики часовых раздавались тогда, когда полагалось.

Надвигалось утро. Из-за стен донеслись сигналы римлян. Затем со стороны храма оглушительно загремело: это открывались врата в святилище, мощно завывала Магрфа, возвещая начало служения в храме, и эти звуки заглушали сигналы римлян.

Легионы окопались, их обстреляли со стен, они ответили. Каждый раз, когда приближались, жужжа, тяжелые снаряды римлян, караульные кричали по-арамейски: «Снаряд!» — и солдаты, смеясь, прятались за прикрытиями.

Симон и Иоанн с башни Псефина наблюдали за начавшимся сражением.

— Боевой будет день, брат мой Иоанн, — сказал Симон.

— Боевой будет день, брат мой Симон, — сказал Иоанн.

Летели римские снаряды, белые, жужжащие, их было видно издалека.

— Снаряд! — кричали солдаты, смеясь, и бросались на землю.

Но за ними последовали снаряды, которых уже не было видно, так как римляне их выкрасили. Они смели со

стен кучку защитников города, и теперь уже никто не смеялся.

11 мая стеклодув Алексей вышел из своего дома на улице Торговцев мазями, где он жил и где находилась его контора, и отправился к своему отцу Нахуму, в Новый город. В эту ночь, несмотря на отчаянное сопротивление, римлянам удалось подтащить к стенам свои стенобитные машины, и весь Новый город сотряснулся от глухих ударов «Свирипого Юлия», крупнейшего римского тарана. Сейчас Алексею предстояло уговорить отца, чтобы он со своими людьми и ценнейшим имуществом бежал из находящегося под угрозой района к нему, Алексею, в Верхний город.

На подушке, скрестив ноги, сидел Нахум бен Нахум в дверях своей лавки, под большой виноградной кистью. В лавке находилось несколько покупателей, они торговались из-за женского головного убора — настоящего произведения искусства из золоченого стекла, изображавшего Иерусалим. В стороне, равнодушный к торгу, доктор Ниттай, покачиваясь, мурлыкал все тот же напев какого-то поучения. Нахум бен Нахум ни единым словом не убеждал покупателей. Они наконец ушли, ничего не решив. Нахум обратился к сыну:

— Они еще вернутся, покупка состоится. Самое большее через неделю акт о покупке будет уже лежать за сургучной печатью в архиве.

Четырехугольная борода Нахума была, как всегда, выхолена, щеки румяны, слова полны уверенности. Но Алексей все же уловил в нем затаенный страх. Если отец и притворялся, что его дела идут как обычно, то теперь, слыша удары «Свирипого Юлия», он все же вынужден был признать, что весь Новый город, его дом и его фабрика находятся под угрозой. Через несколько недель, может быть даже через несколько дней, на том месте, где они сейчас спокойно сидят и болтают, окажутся римляне. Отец должен это признать и перебраться к нему, на гору. Ведь достаточно сделать несколько шагов и взойти вон на ту стену, чтобы увидеть, как работают римские машины.

Тем временем Нахум бен Нахум спокойно продолжал свою оптимистическую болтовню. Да это же безумие и преступление, если он поддастся настояниям сына и перед праздником пасхи покинет город! Такого сезона, как сейчас, еще не бывало. Разве не благословение, что паломники пока не могут выбраться из города? Им только и остается, что слоняться целыми днями по лавкам да базарам. Счастье, что он не дал сыну заморочить ему голову своими речами.

Алексий не прерывал отца. Затем спокойно и неторопливо продолжал настаивать:

— Теперь евреи в форте Фасаила сами опасаются, что им внешней стены не удержать. На улицах, где живут кузнецы и торговцы одеждой, уже множество лавок позакрывали. И все люди оттуда ушли в Верхний город. Будь же благоразумен, вели загасить печь, перебирайся ко мне на гору.

К ним подошел мальчик Эфраим. Негодуя, обрушился он на брата.

— Мы отстоим Новый город!—кипел он.—О тебе стоило бы заявить в форт Фасаила. Ты хуже Желтолицего.

«Желтолицый» был пророк, который и сейчас еще высмеивал маккавеев, призывал к переговорам с врагом и к сдаче. Алексей улыбнулся своей фатальной улыбкой.

— Я хотел бы,—сказал он,—иметь такую же силу и дар слова, как у Желтолицего.

Нахум бен Нахум, кивая головой, погладил младшего сына по густым, очень черным волосам. Но вместе с тем взвешивал в сердце своем речи старшего, семижды мудро-го. Удары «Свирепого Юлия» доносились действительно с пугающей равномерностью. Правдой было и то, что многие обитатели Нового города спасались в безопасный Верхний город. Нахум видел это собственными глазами, и знаменательно, что «Мстители Израиля», теперешние хозяева города, не препятствуют этому бегству. Ибо, по мнению стеклодува Нахума бен Нахума, «Мстители Израиля» очень строги. Но этого он не высказывал вслух. У маккавеев тонкий слух, и Нахуму бен Нахуму не раз приходилось быть свидетелем того, как его знакомых, уважаемых граждан, за необдуманные суждения сажали в форт Фасаила или даже отводили к стене, чтобы казнить.

Нахум обернулся к доктору Ниттаю:

— Мой сын Алексей советует перебраться к нему в Верхний город. Мой сын Эфраим уверяет, что Новый город удержится. Как нам поступить, доктор и господин мой?

Тощий доктор Ниттай устремил на него узкие неистовые глаза:

— Весь мир—сеть и капкан,—заявил он.—Безопасно только в храме.

В этот день стеклодув Нахум бен Нахум не принял никакого решения. Но на следующий надел свою рабочую одежду—он не носил ее уже в течение многих лет, ограничиваясь переговорами с покупателями у себя же в конторе. Теперь он извлек эту одежду, надел ее и присел перед печью. Его сыновья и подмастерья стояли вокруг него. Следуя старинным приемам, давно изгнанным из производства его сыном Алексием, он взял на лопатку немного текущей жидкой массы расплавленного песка с реки Бела, защебил эту массу двузубцем, вылепил рукой

прекрасный округлый кубок. Затем отдал приказ загасить огромную печь, топившуюся без перерыва столько десятилетий. Он смотрел, как она погасала, и произносил молитву, которая читалась при получении известия о чьей-нибудь смерти: «Благословен ты, Ягве, судия праведный». Затем с женой, сыновьями, подмастерьями, рабами, со своими конями, ослиами и всем имуществом отправился в Верхний город, в дом своего сына Алексия.

— Кто подвергает себя опасности,—сказал он,—тот от нее же погибнет. Кто ждет слишком долго, от того отвращается рука господня. Если ты вступишь нас, то мы проживем в твоём доме, пока римляне не уйдут.

Глаза стеклодува Алексия утратили свое печальное, озабоченное выражение. Впервые после многих лет он порозовел и стал очень похож на отца. Он почтительно отступил на три шага, поднес руку ко лбу, сказал, низко кланяясь:

— Решения моего отца—мои решения. Скромный дом мой будет осчастливлен, если в него войдет мой отец.

Три дня спустя римляне взяли внешнюю стену. Они разграбили Новый город, опустошили лавки и мастерские портных, кузнецов, металлостов, горшечников, фабрику стеклодува Нахума. Они сровняли весь район с землей, чтобы повести валы и машины ко второй стене.

Стеклодув Нахум бен Нахум поглаживал свою густую четырехугольную черную бороду, в которой теперь появилось несколько седых нитей, качал головой и говорил:

— Вот римляне уйдут, и мы построим еще большую печь.

Но когда он оставался один, его прекрасные глаза затуманивались, он казался глубоко озабоченным и становился очень похожим на своего сына Алексия. «Ах и ой!—думал он.—За последние сто лет Нахумова фабрика стекла была лучшей в Израиле. Эту бороду, которую Ягве сделал такой длинной и прекрасной, богословы разрешили мне укоротить, чтобы она не попадала в пылающую массу. Доктор Ниттай жил Нахумовой фабрикой. А где теперь Нахумова фабрика? Может быть, маккавеи—смелые и богобоязненные люди. Но не будет благословения Ягве такому делу, при котором фабрика Нахума должна погибнуть. Надо было пойти на соглашение. Мой сын Алексей это всегда говорил. И теперь еще следовало бы попытаться. Но, к сожалению, этого нельзя сказать вслух, иначе тебя отправят в форт Фасаила».

В это время цены на пищевые продукты в Иерусалиме уже поднялись очень высоко. Тем не менее Алексей покупал все продукты, которые ему только удавалось раздобыть. Его отец Нахум качал головой. Его брат

Эфраим яростно упрекал его за пессимизм. Алексей продолжал покупать все продукты, какие попадались. Часть этих запасов он припрятал и зарыл.

30 мая римляне взяли штурмом вторую стену. Эта победа стоила им огромных потерь людьми и боеприпасами, ибо Симон бар Гиора защищал стену с большим мастерством и упорством. Целую неделю пришлось римлянам день и ночь не выпускать из рук оружия.

Тит дал измученным людям передохнуть. Он уплатил войскам причитавшееся им жалованье, устроил парад и торжественное вручение знаков отличия заслуженным офицерам и солдатам.

С тех пор как Тит выступил из Кесарии, он не разрешал себе видеть Беренику. Даже не поставил в своей палатке ее чудесный портрет, написанный Фабуллом, так как боялся, что этот портрет может отвлечь его от обязанностей воина. Теперь он разрешил и себе некоторое послабление и отдых и попросил через курьера, чтобы она посетила его.

Но едва он сделал шаг ей навстречу, как тут же почувствовал, что допустил ошибку. Только вдали от этой женщины чувствовал он себя настоящим солдатом, спокойно, уверенно. Как только он увидел ее, все его мысли разбежались. Ее лицо, аромат, ее походка, легкая хрипота ее низкого голоса вывели его из равновесия.

Утром 3 июня, стоя рядом с принцессой Береникой, принимал он парад. Вне досягаемости для выстрелов, но на глазах у осажденных проходили войска. Легионы шли по шесть человек в ряд, в полном вооружении, обнажив мечи. Всадники вели под уздцы разубранных коней. Значки легионов блестели на солнце, всюду сверкало серебро и золото. А осажденные смотрели с иерусалимских стен на это зрелище. Вся северная стена, кровля храмовой колоннады и храма были усеяны людьми, сидевшими на самом солнцепеке и созерцавшими мощь, многочисленность и блеск своих врагов.

После того как войска перед ним продефилировали, Тит роздал знаки отличия. Командование очень скупилось на эти флажки, копыя, золотые и серебряные цепи. Из ста тысяч человек, составлявших осаждающую армию, награждено было меньше сотни. Особенно бросался в глаза один из награжденных — младший офицер, капитан Педан, центурион первого манипула первой когорты Пятого легиона, крупный пятидесятилетний человек с голым багровым лицом, белокурый, чуть седеющий. Над его дерзким носом с широкими ноздрями неприятно поблескивал один живой голубой глаз и один мертвый, искусственный. Капитан Педан уже имел высшее отличие, которое

мог получить солдат, а именно—венок из травы, им награждал не полководец, а армия, и только того, чья осмотрительность и смелость спасли все войско. Этому капитану Педану сплели венок из трав с Армянского плоскогорья—местности, где он, под начальством маршала Корбулона, с помощью хитрости и хладнокровия вывел свой корпус из окружения превосходящих парфянских сил. Педан, с его дерзостью, с его вульгарной и складной речью, был любимцем армии.

Почетная цепь, которую ему теперь вручил Тит,—это был пустяк. Первый центурион Пятого легиона плавно произнес предписанную благодарственную формулу. Затем добавил своим пискливым, далеко слышным голосом:

— Один вопрос, начальник. Не появились ли у вас уши? Если мы здесь скоро не покончим, то вы непременно их заполучите. Если вы хотите доставить Педану удовольствие, начальник, возьмите обратно вашу цепь и позвольте ему быть первым, кто бросит зажженный факел в проклятую нору, в которой эти пакостные евреи прячут своего бога.

Тит почувствовал, как насторожилась Береника, ожидая его ответа. С некоторой принужденностью он ответил:

— Как мы поступим с храмом—это зависит от моего отца-императора. Разумеется, я первый буду рад, если вы получите еще одно отличие.

Он сердился на то, что ему пришел в голову только такой, ни к чему не обязывающий ответ.

Иосиф тоже получил знак отличия—пластинку, чтобы носить на груди на панцире.

— Примите, Иосиф Флавий,—сказал Тит,—в знак благодарности от полководца и армии.

Не зная, как быть, Иосиф уставился на большую серебряную пластинку, которую ему протягивал принц. Тит, наверно, считал, что осчастливит Иосифа, включив его, иудея, в число немногих награжденных. Но он так мало старался понять его, что избрал для награды голову Медузы, считавшейся не только презренным изображением человеческого образа, но и символом идолопоклонства. Нет, взаимное понимание между римлянами и иудеями невозможно. Принцу, относившемуся к нему благожелательно, наверно, и в голову не пришло, что такая пластинка явится для иудея скорей оскорблением, чем наградой. Иосиф был глубоко опечален и смущен. Все же он взял себя в руки.

— Это я,—ответил он почтительной формулой,—должен благодарить фельдмаршала и армию, постараюсь оказаться достойным отличия.

И он принял пластинку. Величественно, с непроницаемым смелым лицом стояла Береника. Голова к голове, в

яростных солнечных лучах, молча смотрели со стен евреи.

Тем временем принцем овладевала все более сильная досада. Зачем ему понадобился этот парад? Ведь Береника знала не хуже его, что такое римские войска. И проводить с таким чванством перед ней всю армию — это бестактность, варварство. Вон сидят евреи на своих стенах, на крышах, тысячи осажденных, смотрят, молчат. Если бы они хоть кричали, насмехались. Но их молчание служит признаком еще более глубокого неприятия. Да и Береника за все время, что армия маршировала мимо нее, не проронила ни слова. Молчание евреев расстроило Тита.

И вдруг сквозь его подавленность и досаду блеснула мысль: он предпримет новую серьезную попытку договориться. И, как предисловие к такой попытке, его парад приобретет смысл и значение. Начальник подобной армии может предложить противнику соглашение, не боясь, что в этом усмотрят признак слабости.

Правда, такое решение для него не легко. Его отец все еще считал операцию в Иудее не военным походом, но чисто полицейской мерой. Он, Тит, стоит на другой точке зрения. И он, и его армия видят перед собой как награду и завершение их трудов триумф в Риме, лучезарное, почетное зрелище. Если же поход закончится мирным соглашением, триумфа они не получают. И все-таки он здесь не ради себя. Рим ведет дальновидную политику. И Тит начнет мирные переговоры.

Когда Тит остановился на этом решении, его лицо посветлело. Теперь и его парад вдруг приобретает смысл; смысл имело также присутствие этой женщины. Взгляд и голос принца становятся по-юношески ясными, уверенными. Его радуют солдаты; его радует эта женщина.

Встреча римлян с иудеями состоялась вблизи башни Псефина, в пределах досягаемости еврейских снарядов. На эту встречу делегатов смотрели со всех валов римляне, с городских стен — иудеи. Римляне поручили вести переговоры Иосифу, иудеи — доктору Амраму, другу юности Иосифа. Старательно сохраняли иудеи между собой и Иосифом расстояние в семь шагов; когда он говорил, их лица делались непроницаемыми. Ни разу не обратились они непосредственно к нему, только к сопровождавшим его римлянам.

Делегаты расположились на голой, залитой солнцем земле. Иосиф был без оружия. Со всей присущей ему пылкостью готовился он к тому, чтоб убедить осажденных в необходимости поступить благоразумно. День за днем давали они ему почувствовать свою ненависть. Как часто римские солдаты приносили ему свинцовые пули и другие снаряды осаждаемых с нацарапанной на них

надписью: «Попади в Иосифа». Его отец, его брат томились в темницах форта Фасаила, их подвергали жесточайшим пыткам. Но для него это не имело значения. Он изгнал из сердца всякую горечь. Он постился, молил Ягве дать его речам силу.

Когда он начал говорить, то не мог усидеть на земле. Он вскочил; худой, стоял он в солнечных лучах, глаза его горели еще жарче от поста и от желания убедить. Он видел перед собой замкнутое, растерянное лицо доктора Амрама. Со времен Иотапаты Иосиф ничего не слышал об Амраме, кроме того, что именно Амрам потребовал его отлучения. Избрание парламентаром Иосифова школьного товарища, страстно когда-то любившего его, а теперь так же горячо его ненавидевшего, не сулило ничего хорошего. Как всегда, предложения Иосифа необычайно мягки. Разум требует их принятия. Настойчиво, с железной, неопровержимой логикой убеждал Иосиф еврейских делегатов. Римляне, пояснил он им, обязываются восстановить по всей стране прежнее положение вещей. Они гарантируют жизнь всем находящимся в городе гражданским лицам, гарантируют автономии храмового служения. Их единственное требование — чтобы гарнизон отдался на милость победителя. Иосиф убеждал доктора Амрама нараспев, пользуясь формулами юридически-богословского диспута, привычными для них со времен их студенчества. Он спрашивал по пунктам:

— Что потеряете вы, отдав город? Что выиграете вы, не сделав этого? Если вы сдадите город, то уцелеет гражданское население, храм, служение Ягве. Если же город придется брать с оружием в руках, то все погибло — армия, население, храм. Вы скажете, пожалуй, что войско не более виновато, чем вы, оно только выполняло вашу волю. Возможно. Но разве вы не посылаете козла в пустыню, возложив на него грехи всех? Пошлите войско к римлянам, пусть несколько человек расплатятся за всех.

Горячо уговаривая, приблизился Иосиф к доктору Амраму. Но тот отступил, продолжая сохранять семь шагов расстояния.

Затем, когда Иосиф кончил, доктор Амрам холодно изложил римлянам условия иудеев. Он, вероятно, охотнее говорил бы по-арамейски, но не желал обращаться к Иосифу и поэтому заговорил по-латыни. Он требовал свободного роспуска гарнизона, оказания почестей их вождям, Симону бар Гиоре и Иоанну Гисхальскому, требовал гарантий того, что римское войско никогда больше не появится под стенами Иерусалима. Требования эти были невероятно дерзки, это был явный саботаж переговоров.

Медленно, с трудом подбирая латинские слова, хотя и

маскируя это стремлением к особой точности, изложил свой вызывающе дерзкий вздор этот человек с одичавшим лицом. Иосиф слушал, сидя на земле, устав от скорби за свое бессилие. Со стен смотрели бесчисленные лица. Одно из них, тупое, фанатичное, с идиотским взглядом, особенно мучило Иосифа, парализовало его, оно было словно частью стены—с таким же успехом можно было обращаться к стене. Кроме того, ему казалось, что он где-то уже видел это лицо. Такими же были лица, некогда с тупым восхищением взиравшие на него в Галилее. Быть может, молодой человек—один из тех, кто тогда приветствовал его возгласами: «Марин, марин!»

Полковник Павлин еще попытался сказать какие-то дружелюбные разумные слова.

— Мы не можем разойтись так, господа,—просил он.—Предложите нам другие условия, которые были бы приемлемы.

Доктор Амрам шепотом посовещался со своими двумя спутниками. Затем, все еще на своей тяжеловесной латыни, он вежливо, но очень громко заявил:

— Хорошо, мы можем предложить другие условия. Выдайте нам тех, кого мы считаем виновными, и мы примем ваши условия.

— А кто эти люди?—недоверчиво спросил полковник Павлин.

— Это,—отвечал доктор Амрам,—человек по имени Агриппа, бывший царь иудейский, женщина Береника, бывшая принцесса иудейская, и Иосиф Флавий, бывший священник первой череды.

— Жаль,—отозвался полковник Павлин, и римляне уже повернулись, чтобы идти.

В это мгновение с городской стены долетел визгливый крик: «Попади в Иосифа!» И одновременно с ним уже полетела стрела. Иосиф успел увидеть, как стрелки на стене рванули назад. Затем Иосиф упал. Стрелял тот самый молодой человек с тупым фанатичным лицом. Стрела попала Иосифу в предплечье. Его сразило скорее волнение, чем выстрел.

Принц Тит был чрезвычайно раздосадован плачевным исходом мирных переговоров. Эта женщина виновата в том, что он решился на такой нелепый шаг. Она лишает его ясности мысли, она сбила его с намеченного пути. Он должен воспользоваться этим случаем и довести дело с Береникой до конца.

Какое она поставила ему условие? «Если к тому времени, когда римляне войдут в Иерусалим, роща в Текоа будет еще зеленеть, пусть Тит делает тогда из

дерева моих пиний свадебную кровать». Условие выполнено. Что он возьмет Иерусалим, в этом не может быть теперь никакого сомнения. Он приказал капитану Валенту, коменданту Текоа, срубить в роще три пинии. Кровать может быть готова сегодня вечером. Сегодня он поужинает с Береникой наедине. Ждать дольше он не желает. И он послал людей за кроватью.

Оказалось, что кровати нет. Рощи пиний уже не существует, приказ принца не мог быть выполнен. Тит разбушевался. Разве он совершенно ясно не повелел беречь рощу? Да, Валент приказ получил, но, когда не стало хватать дерева для окопов и валов, маршал Тиберий Александр отдал обратное распоряжение. Капитан Валент колебался, переспрашивал. Он может предъявить письменное распоряжение маршала срубить рощу, вопреки первому приказу.

В чертах принца, когда он это услышал, произошла грозная перемена. Вместо ясного сурового лица солдата выступило лицо потерявшего разум, беснующегося подростка. Он вызвал к себе Тиберия Александра, рычал, шипел. Чем безудержнее бушевал он, тем холоднее становился маршал. Он вежливо заявил, что существует строжайший указ, подписанный и принцем, об обязательной доставке в лагерь всего дерева, какое только удастся добыть. Нужды войны важнее нужд отдельного человека. Во всех походах, которыми он когда-либо руководил, он всегда держался того же правила и не допускал исключений. Принц не знал, что возразить. Этот человек прав, но он ему противен, да и сам он себе противен. Жестокая боль охватила тисками его лоб и затылок. Все вокруг померкло. Он любит Беренику. Он должен довести дело до конца. И он его доведет.

Береника шла через иерусалимский лагерь, прекрасная и спокойная, как всегда. Но под внешним спокойствием кипела буря. Она считала дни, проведенные в Кесарии без Тита. Она не хочет сознаться, но ей доставало его. С тех пор как он во главе армии, он уже не добродушный юноша с мальчишеским лицом — он мужчина, он полководец, весь отдавшийся своей задаче. Она твердит себе, что находится здесь с ним ради Иерусалима, но она знает, что это ложь.

И, вызванная Титом, она радостно отправилась в лагерь. Но когда она увидела окрестности Иерусалима, ее Иерусалима, радость угасла. Роскошная местность была словно изъедена саранчой, плодовые рощи, оливковые деревья, виноградники, загородные дома, богатые склады на Масличной горе — все было уничтожено, до ужаса оголено, вытоптано, превращено в пустыню. Когда она во время парада стояла на трибуне рядом с главнокоманду-

ющим римскими войсками, ей чудилось, будто десятки тысяч людей с городских стен и кровель храма смотрят только на нее, обвиняют ее.

Она познала многие превратности судьбы, она не сентиментальна, она привыкла к запаху солдат и военного лагеря. Но пребывание здесь, под Иерусалимом, оказалось тяжелее, чем она ожидала. Упорядоченное благосостояние лагеря и нужда там, в этом городе, задыхающемся от избытка людей, солдатская деловитость принца, любезная суровость Тиберия Александра, голая, опозоренная земля вокруг Иерусалима—все мучило ее. Она, как и принц, желала конца. Ей уже много раз хотелось спросить: «А как роща в Текоа? Цела ли роща в Текоа?» Но она не знала, хочется ли ей, чтобы ответили «да» или «нет».

В тот вечер она пришла к Титу усталая и раздраженная. Он был мрачен, горяч и зол. Она—печальна и опустошена. Воля и силы покинули ее. Она сопротивлялась слабо. Он взял ее грубо, его глаза, его руки—весь он был неистов и груб.

После того как он взял ее, Береника лежала словно разбитая, с пересохшим ртом, с неподвижным, тусклым взглядом, в разорванном платье. Она чувствовала себя старой и печальной.

Принц смотрел на нее, скривив рот, лицо его казалось лицом беспомощного злого ребенка. Наконец-то он добился своего. А стоило ли? Нет, не стоило. Никакого наслаждения он не получил. Что угодно, только не наслаждение. Он жалел, зачем это сделал. Он злился на себя, ненавидел ее.

— Впрочем, если ты действительно считаешь,—сказал он ядовито,—что роща еще цела или что эта кровать сделана из ее деревьев, то ты обманулась. Они найдут для дерева лучшее применение. Твой собственный двоюродный брат приказал срубить рощу.

Береника медленно поднялась, не взглянула на него, не упрекнула. Он мужчина, солдат, и он, в сущности, хороший юноша. Виноват этот лагерь, виновата война. Все они развратятся в этой войне, станут животными и варварами. По ту и по эту сторону стен совершены все ужасы, какие можно только придумать, опозорены и земля, и Ягве, и храм. Какая-то звериная травля, как в праздники на арене, и уже не знаешь, кто зверь и кто человек. Теперь Тит взял ее помимо ее воли, он обманул ее, потом насмеялся, хотя и любит ее. Но здесь—лагерь, здесь война. Это дикая, вонючая мужская клоака, и ей, Беренике, поделом: не надо было приходить сюда.

Она встала, разбитая, с усилием выпрямилась, одернула платье, встряхнула его, стряхивая с себя нечистоты

этого лагеря. Потом ушла. У нее не нашлось для Тита ни упрека, ни привета. Но походка ее, даже в эту минуту беспредельной усталости и унижения, оставалась все же походкой Береники.

Тит усталился ей вслед, обессиленный, опустошенный. Он ведь решил вытравить эту женщину из своей крови. Он не хотел, чтобы она сорвала ему поход, его задание. Он хотел, чтобы эта женщина наконец отошла в прошлое. Затем—взять Иерусалим, и уж тогда, наступив ногой на побежденный город, решить, начинать ли ему с ней все сызнова. Отличный план, но, к сожалению, все пошло кривь и вкось. Выяснилось, что силой от нее ничего не добьешься. Из своей крови он ее отнюдь не изгнал. Он взял ее, но это ни к чему не привело—он мог бы с таким же успехом взять любую женщину. Она дальше от него, чем когда-либо. Он напрягает свою мысль, свою память: ничего он о ней не знает. Не знает ее запаха, не знает, как она растворяется, не знает ее наслаждения, ее угасания. Она так и осталась за шестью замками, за семью покрывалами. Эти евреи сверхъестественно умны. У них есть для этого акта очень глубокомысленное и ядовитое выражение; они не говорят: жить друг с другом; они не говорят: слиться, соединиться. Они говорят: мужчина познал женщину. Нет, не познал он этой проклятой Береники. И никогда не познает, пока она ему сама не отдастся.

А тем временем Береника спешно шла по улицам лагеря. Ей не удалось найти своих носилок, и она шла пешком. Добралась до палатки. Отдала наспех, пугливо несколько приказаний. Покинула лагерь, бежала в Кесарию, покинула Кесарию, бежала в заиорданскую область, к брату.

18 июня Тит созвал военный совет. Попытки римлян взять третью стену были отбиты. С невероятными усилиями подвели они к этой стене и к форту Антония четыре вала, чтобы установить бронированные башни, орудия, тараны, стенобитные машины. Но евреи вырыли под этими сооружениями минные штольни. Столбы штолен были, с помощью смолы и асфальта, подожжены и обрушились, а с ними—насыпи и орудия римлян. Сооружения, воздвигнутые с таким трудом и риском, погибли.

На военном совете царило нервное и озлобленное настроение. Более молодые начальники требовали во что бы то ни стало решительной атаки. Это был прямой, хоть и крутой, путь к триумфу, о котором все мечтали. Пожилые офицеры не соглашались. Идти на приступ отлично оборудованной крепости, которую защищают

двадцать пять тысяч иступленных солдат, не имея бронированных башен и таранов,—не шутка, и даже в случае удачи это будет стоить огромных потерь. Нет, хоть это и очень нудно—остается только одно: строить новые дамбы и валы.

Наступило сердитое молчание. Принц слушал говоривших грустно, внимательно, не вмешиваясь. Он спросил маршала о его мнении.

— Если нам будет казаться, что время до общего штурма тянется слишком долго,—отозвался Тиберий Александр,—то почему бы нам не сделать его слишком долгим и для противника?

С любопытством, не понимая, смотрели остальные на его тонкие губы.

— Мы получили вполне достоверные сведения,—продолжал он тихим, вежливым голосом,—да и видим собственными глазами, что в осажденном городе голод все растет, и он является нашим союзником. Я предлагаю вам, ваше высочество, и вам, господа, решительнее использовать этого союзника, чем мы делали до сих пор. Я предлагаю усилить блокаду. Я предлагаю возвести вокруг города блокадную стену, чтобы даже мышь не могла проскользнуть ни в город, ни из города. Это—первое. Затем—дальше. Мы до сих пор каждый день гордо публиковали списки тех, кто, несмотря на все меры, предпринимаемые осажденными, все же перебегает к нам. Мы обращались с этими господами очень хорошо. Думаю, что это больше делает честь нашему сердцу, чем здравому смыслу. Я не вижу, зачем нам снимать с господ в Иерусалиме заботу о пропитании такой значительной части населения. Как можем мы проверить, действительно ли эти перебежчики—мирные граждане или они сражались против нас с оружием в руках? Предлагаю вам, ваше высочество, и вам, господа, отныне считать всех перебежчиков военнопленными, бунтовщиками и все дерево, которое мы можем добыть, употребить на кресты для распятия этих бунтовщиков. Надеюсь, что подобная мера побудит еще не перешедших к нам оставаться за своими стенами. Уже большая часть осажденных садится за пустые столы. И я надеюсь, что скоро все, даже войска их, окажутся за пустыми столами.—Маршал говорил тихо, очень любезно.—Чем суровее мы будем вести себя в ближайшие недели, тем больше гуманности сможем проявить в следующие. Я предлагаю вам, ваше высочество, и вам, господа, приказать капитану Лукиану, начальнику профосов, не допускать никакой мягкости при распятии бунтовщиков.

Маршал говорил, ничего не подчеркивая, словно вел обычную застольную беседу. Но пока он говорил, стояла

глубокая тишина. Принц был солдатом. И все-таки он изумленно смотрел на еврея, предлагавшего столь легким тоном такие суровые меры в отношении своих соплеменников. Никто в совете не возражал против предложений Тиберия Александра. Было постановлено строить блокадную стену и всех перебежчиков предавать распятию.

Со стен форта Фасаила вожди Симон бар Гиора и Иоанн Гисхальский наблюдали, как росла блокадная стена. Иоанн полагал, что она тянется на семь километров, и показывал Симону тринадцать пунктов, где, по-видимому, закладывали башни.

— Препаршивый прием, брат мой Симон, не правда ли? — спросил он, зловеще осклабившись. — Этого вполне можно было ожидать от старого лисовина, но молодой — он так хвастает мужественностью и военными добродетелями своего войска — мог бы избрать способы поблагороднее. Ну что ж! Теперь мы будем жрать стручки и даже того хуже.

Блокадная стена была закончена, а дороги и вершины холмов вокруг Иерусалима обросли крестами. Профосы выказывали большую изобретательность в придумывании новых положений для казнимых. Они прибывали распинаемых так, что ноги оказывались наверху, или привязывали их попереk креста, изошрялись, вывихивая им руки и ноги. Из-за мероприятий римлян число перебежчиков сначала сократилось. Но затем голод и террор в Иерусалиме стали расти. Многие понимали, что они погибли. Что разумнее? Остаться в городе, все время имея перед глазами совершаемые маккавеями преступления против бога и людей, и умереть с голоду или перейти к римлянам и быть распятыми ими? Гибель ждала и в городе, и за его стенами. Когда камень падает на кувшин, горе кувшину. Когда кувшин падает на камень — горе кувшину. Всегда, всегда горе кувшину.

Число тех, кто предпочитал смерть на кресте смерти в Иерусалиме, все росло. Редкий день проходил без того, чтобы римляне не приводили в лагерь несколько сотен перебежчиков. Скоро уже не хватало места для крестов и не хватало крестов для человеческих тел.

Стеклодуд Нахум бен Нахум проводил большую часть времени, лежа на крыше дома на улице Торговцев мазями. Там же лежали жена Алексия и его двое детей, так как под открытым небом голод ощущался не так остро. Когда они стягивали одежду или пояс очень туго, тоже становилось легче, но ненадолго.

Нахум бен Нахум сильно похудел, его густая борода уже не была ни выхоленной, ни четырехугольной, и в ней

появилось много седых нитей. Порой его мучила царившая в доме тишина, так как истощенным людям не хотелось разговаривать. Тогда Нахум переходил узкий мост, который вел от Верхнего города к храму, и навещал своего родственника, доктора Ниттая. На священников восьмой череды—череды Авии, сейчас как раз пал жребий совершать служение, и доктор Ниттай жил и спал в храме. Его неистовые глаза ввалились, обычное напевное бормотание с трудом вырывалось из обессиленных уст. Удивительно еще, как этот высохший человек мог держаться прямо, но он держался. Да, он был даже менее скуп на слова, чем обычно, он не боялся за свой вавилонский акцент: он был счастлив. Весь мир—сеть и западня, безопасно только в храме. Возносился душой и стеклодув Нахум; он видел, что, несмотря на окружающее несчастье, служение в храме шло, как всегда, с тысячью тех же пышных и обстоятельных церемоний, с утренним и вечерним жертвоприношением. Весь город погибал, но дом и стол Ягве был так же пышен, как века назад.

Из храма стеклодув Нахум нередко шел на биржу, на «Киппу». Там собирались граждане, по старой привычке, несмотря на голод. Правда, теперь торговались уже не из-за караванов с пряностями или судов с лесом, а из-за ничтожных горсточек пищевых продуктов. Из-за одного-двух фунтов прогорклой муки, щепотки сушеной саранчи, бочоночка рыбного соуса. К началу июня вес хлеба приравнялся к весу стекла, затем к весу меди, затем серебра. 23 июня за четверик пшеницы, то есть за восемь и три четверти литры, платили сорок мин, а еще до наступления июля—уже целый талант.

Правда, эту торговлю приходилось производить втайне, ибо военные власти давно реквизировали все пищевые продукты для армии. Солдаты обшаривали дома вплоть до последних закоулков. Щекоча жителей своими кинжалами и саблями, они под грубые шутки вымогали у них последние унции съедобного.

Нахум благословлял своего сына Алексия. Что бы с ним случилось без него! Он кормил всех жителей дома на улице Торговцев мазями, и отец его получал наибольшую долю. Нахум не знал, где Алексей держит свои запасы, и не желал этого знать. Однажды Алексей вернулся домой расстроенный, из глубокой раны текла кровь. Вероятно, на него напали рышущие повсюду солдаты, когда он извлекал какие-нибудь запасы из своего тайника.

Охваченный до самых глубин своего существа страхом и горем, сидел стеклодув Нахум возле ложа своего старшего сына. Тот лежал без сознания, слабый и бледный. Ах и ой! Почему он раньше не послушался сына? Его сын Алексей—один из умнейших людей на

свете, и он, его собственный отец, не осмеливался признать себя его единомышленником только потому, что верхушка правящих страной сменилась. Но теперь и он уже не будет молчать. Когда его сын Алексей выздоровеет, он пойдет с ним к Желтолицему. Ибо, несмотря на весь террор, из запутанной системы подземных ходов и пещер под Иерусалимом выныривали все новые пророки, проповедуя мир и покорность, и снова исчезали в этом подземном царстве, раньше чем маккавеи успевали их схватить. Нахум был убежден, что его сын хорошо знаком с вождем этих пророков. С тем самым темным и загадочным человеком, которого все называли просто Желтолицем.

Нахум был полон такой злобы против маккавеев, что почти не чувствовал голода; страшное волнение вытеснило голод. Его ярость обрушилась прежде всего на сына Эфраима. Правда, юноша Эфраим делится с отцом и семьей пищевыми продуктами из своего обильного солдатского пайка, но в глубине души Нахум опасался, что именно Эфраим натравил солдат на след Алексия. Это подозрение, а также скорбь и сознание собственного бессилия сводили с ума стеклодува Нахума.

Алексий выздоровел. Но голод становился все свирепее, скудная пища была однообразной, лето — жарким. Умер младший сынишка Алексия, двухлетний, а через несколько дней и старший, четырехлетний. Младшего еще удалось похоронить как положено. Но когда умер четырехлетний, то умерших было уже слишком много, а люди так обессилели, что пришлось просто сбрасывать тела в окружавшие город ущелья. Нахум, его сыновья и невестка принесли тельце мальчика к Юго-восточным воротам, чтобы капитан Маной бар Лазарь, который ведал погребением умерших, велел его сбросить в пропасть. Нахум хотел сказать надгробное слово, но так как он очень ослабел, то у него в голове все спуталось, и вместо того, чтобы говорить о маленьком Яннае бар Алексии, он сказал, что капитан Маной уже похоронил сорок семь тысяч двести три трупа и тем самым заработал сорок семь тысяч двести три сестерция, на что может купить на бирже почти два четверика пшеницы.

Алексий сидел на земле и семь дней предавался скорби. Он качал головой, поглаживал грязную бороду, — недешево заплатил он за любовь к отцу и к брату.

Когда он после этого в первый раз тащился через город, он был удивлен. Он думал, что нужда уже не может стать сильнее, но она все же стала сильнее. Раньше Иерусалим славился своей чистотой, теперь надо всем городом нависла ужасающая вонь. В некоторых городских кварталах трупы складывали в общественные здания, и

когда здания были полны, их запирали. Но еще страшнее вонь была великая тишина, царившая в этом некогда столь оживленном городе, ибо теперь даже самые деятельные люди потеряли охоту говорить. Молчаливый и вонючий, кишевший густыми роями насекомых, лежал в солнечных лучах белый город.

На крышах, на улицах валялись истощенные люди, их глаза были сухи, рты разинуты. Одни болезненно распухли, другие обратились в скелеты. Шаги проходящих солдат уже не могли побудить их сдвинуться с места. Они валялись повсюду, эти голодающие, уставясь на храм, который словно висел в голубом воздухе, весь белый и золотой, и ожидали смерти. Алексей видел, как одна женщина, вместе с собаками, рылась среди отбросов, ища чего-нибудь съедобного. Он знал ее; это была старая Ханна, вдова первосвященника Анана. Прежде, когда она шла по улице, перед ней расстилали ковры, ибо ее ноги были слишком аристократичны, чтобы ступать по дорожной пыли.

Затем наступил день, когда Алексей, мудрейший из людей, сидел понурившись, уже не зная, что предпринять. Он нашел свою подземную кладовую опустошенной — другие открыли его тайник и воспользовались оставшимися запасами.

Когда Нахум с трудом вытянул из своего сына эту горестную новость, он долго сидел и размышлял. Похоронить мертвого считалось заслугой, и великой заслугой перед Ягве было похоронить самого себя, если этого не мог сделать никто иной. Нахум бен Нахум решился на это. Когда по человеку было видно, что проживет он самое большее два-три дня, стража выпускала его за ворота. Пропустят и его, бен Нахума. Он положил руку на темя сына Алексея, смотревшего мутным взглядом на свою угасающую жену, и благословил его. Затем взял свою лопату, счетную книгу, ключ от старой стеклодувной мастерской, захватил также немного миртового хвороста и священных курений и потащился к Южным воротам.

Перед Южными воротами находилась огромная погребальная пещера. По истечении года, когда труп обычно истлевал до костей, эти кости складывались в очень маленькие каменные гробы, и их ставили рядами друг над другом вдоль стен в таких пещерах. Правда, на погребальной пещере у Южных ворот тоже сказалась осада — пещера была разрушена и уже не имела достойного вида, просто груда разбитых каменных плит и костей. Но все же она продолжала оставаться иудейским кладбищем.

И вот Нахум присел на желтовато-белую, озаренную солнцем землю этого кладбища. Вокруг него лежали другие умирающие от голода, смотрели на храм. По

временам они бормотали: «Слушай, Израиль, един и вечен бог наш Ягве!» Иногда они вспоминали о солдатах, о тех, в храме, у которых были хлеб и рыбные консервы, о солдатах в римском лагере, у которых были жиры и мясо, и тогда гнев изгонял из них голод, но, увы, на короткое, очень короткое время.

Нахум чувствовал огромную усталость, но эта усталость не была неприятной. Жаркое солнце согревало его. Вначале, когда он был еще учеником и обжигался об горячую массу, бывало ужасно больно. Теперь его кожа привыкла. Алексей не прав, заменив целиком ручной труд стеклодувной трубкой. И вообще его сын Алексей слишком высокого мнения о себе. Из-за его самоуверенности у него умерли дети и жена, украдены его запасы. Что сказано в Книге Иова? «Имение, которое он глотал, изблюет его. И будет отнят хлеб у дома его». Кто же из них Иов—он или его сын Алексей? Это очень трудно решить. Правда, с ним лопата, но разве он скребет ею свои струпья? Он не скребет их, значит, Иов—это его сын Алексей.

Воздать почесть умершему—заслуга, особенно если ты сам уже мертвец. Но сначала Нахум должен посмотреть в свою счетную книгу, в порядке ли последние записи: пусть с ним в могиле будет хорошая счетная книга. Он слышал рассказы о некоей Марии бат Эцбен. Солдаты-маккавеи, привлеченные запахом жареного, ворвались в дом этой Марии и действительно нашли там жареное мясо. Это был ребенок Марии, и она хотела с солдатами сторговаться: так как ребенка родила она, то половина мяса должна остаться ей, половину она отдает солдатам. Вот это практичная женщина. Правда, такую сделку следовало непременно заключить в письменной форме и отдать на хранение в ратушу. Но теперь это сделать трудно. Чиновники там никогда не бывают. Они говорят, что голодны, но так нельзя—просто не приходится только потому, что голоден. Впрочем, некоторые от голода умерли,—день смерти лучше дня рождения,—и это их до известной степени извиняет.

«И вот мой сын Алексей, семь пядей во лбу, умнейший из людей, несмотря на весь свой ум, сидит голодный». Нахума вдруг охватывает бесконечная жалость к Алексею. Конечно, он—Иов. Борода Алексея гораздо больше поседела, чем его собственная, хоть он и моложе. Правда, его борода, Нахума, теперь тоже утратила свою четырехугольную форму, и если бы на него взглянула беременная женщина, ее дитя не было бы от этого красивее.

Все же он сердится за то, что ему, Нахуму бен Нахуму, стеклодуву, крупному коммерсанту, не оказывают должных почестей, что он один составляет весь свой

траурный кортеж,—это, конечно, со стороны Ягве большое испытание, и он понимает Иова, и теперь ему совершенно ясно: Иов—это не сын его Алексей, он сам—Иов. «Гробу скажу: ты отец мой; червю: ты мать моя и сестра моя». А теперь пойдем, моя лопата, копай, моя лопата.

Он поднимается с большим усилием, слегка покряхтывая. Ему очень трудно—чтобы копать, нужно видеть. А тут эти отвратительные мухи, они сидят на его лице и все перед ним застилают. Очень медленно скользит его взгляд по желтовато-серой земле, по костям, по остаткам каменных гробов, и вдруг, совсем близко, он видит что-то переливающееся, опалового цвета; удивительно, как он раньше не заметил,—это же кусок муррийского стекла. Настоящее? Если не настоящее, то нужен какой-то особенно искусный способ, чтобы подделывать такое стекло. Где известен подобный искусный способ? Где делают они такое стекло? В Тире? В Кармании? Он должен знать, где делают такое художественное стекло и как его делают. Его сын Алексей, наверное, знает. Недаром же он самый умный человек на свете. Нахум спросит своего сына Алексия.

Он подползает к осколку, он берет в руки кусок стекла, бережно прячет в карман у пояса. Быть может, это осколок флакона от духов, который положили в могилу умершему. Стекло, нет, не настоящее, но изумительная подделка, только специалист может ее отличить. Он уже не думает о том, чтобы лечь в могилу, в нем живет только одно желание—спросить своего сына Алексия об этом волшебном стекле. Он встает, он действительно выпрямляется, делает шаг правой, левой ногой, он слегка волочит ноги, спотыкается о кости и камни, но он идет. Возвращается к воротам, до них минут восемь пути, ему не понадобилось много времени—не проходит и часу, как он уже у ворот. Еврейские сторожа оказываются в хорошем настроении, они открывают сторожевое окошечко, они спрашивают: «Нашел что-нибудь пожрать, эй ты, мертвец? Тогда поделись с нами». Он гордо показывает им свой кусочек стекла. Они смеются, они пропускают его; и он возвращается на улицу Торговцев мазями, в дом своего сына Алексия.

Римляне подводили к городу четыре новых вала. Солдаты, не занятые на этой работе, несли уставную лагерную службу, занимались военными учениями, слонялись без цели, смотрели на белый, тихий, зловонный город, ждали.

Офицеры, борясь с удручающей скукой, устраивали охоты на зверей, которые собирались в большом количе-

стве вокруг города, привлеченные запахом мертвечины. Попадались очень интересные породы, их не видели в этой местности уже много поколений. С Ливана спустились волки, из Иорданской области пришли львы, из Галаада и Васана — пантеры. Лисы жирели, не прибегая для этого к особым хитростям, хорошо жилось и гиенам, и стаям завывающих шакалов. На крестах, окаймлявших все дороги, густо сидело воронье, на горах выжидали стервятники.

Стрелки из лука иногда развлекались тем, что стреляли по сидевшим на территории кладбища умиравшим от голода евреям. Другие солдаты отправлялись поодиночке или кучками к стенам, где, вне досягаемости для снарядов, но достаточно близко, чтобы их видели, показывали людям, сидевшим на стенах, свои обильные пайки, жрали, давились, кричали «Хеп, хеп! Hierosolyma est perdita!»

От начала осады прошло уже семь недель. Евреи праздновали свой праздник пятидесятницы, жалкий праздник, а ничто еще не изменилось. Прошел весь июль, ничто не изменилось. Иногда евреи делали вылазки, пытались атаковать новые валы, но безуспешно. И все-таки этот поход действовал римским legionерам на нервы сильнее, чем более опасные и суровые походы. При виде безмолвного и зловонного города осаждавшими постепенно овладевала бессильная ярость. Если евреям удастся уничтожить четыре новых вала, то строить новые укрепления будет уже невозможно: дерево приходит к концу. Тогда оставалось только ждать, пока те, там, внутри, не умрут с голода. Злобно поглядывали солдаты на храм, все такой же нетронутый, белый и золотой. Они не называли его «храм», ибо были полны страха, ярости и отвращения, они называли его только «вон то» или «то самое». Неужели им придется вечно сидеть перед этой белой таинственной и страшной твердыней? Римский лагерь был полон мрачной, отчаянной тревоги. Никакой другой город в мире не смог бы выдержать так долго междоусобицу, голод, войну. Неужели этих изголодавшихся нищих так и не удастся образумить? Надо было спешить с возвращением в Рим к октябрьским жертвоприношениям. Все, начиная с начальников легионов и кончая последним рядовым союзных войск, дошли до предела в своем гневе на этого бога Ягве, не дававшего римскому военному искусству восторжествовать над фанатизмом еврейских варваров.

В один из последних дней июля Тит пригласил Иосифа вместе с ним совершить обход. Тит — без знаков своего сана, Иосиф — без оружия молчаливо шагали среди огромного безмолвия. Равномерно раздавался окрик часовых,

равномерно произносили они пароль: «Рим впереди». Окрестности Иерусалима были теперь на двадцать километров в окружности пусты и голы, над ними исполнилось слово Писания: «Гнев Ягве излился на это место, на людей, на скот, и деревья, и поля, и плоды земли».

Они достигли ущелья, в которое жители города обычно сбрасывали тела умерших. Оттуда шла резкая вонь, едкая, удушливая; тела лежали огромной грудой, в отвратительном бесстыдстве гниения. Тит остановился. Послушно остановился и Иосиф. Тит сбоку смотрел на своего спутника, терпеливо стоявшего среди ужасных испарений. Принц сегодня опять получил достоверные сведения о том, что Иосиф занимается шпионажем, действует в тайной согласованности с осажденными. Тит не поверил ни одному слову. Он отлично знал, в каком трудном положении оказался Иосиф, которого считали изменником и евреи, и римские солдаты. Он был искренне расположен к Иосифу, считал его честным человеком. Но бывали часы, когда он казался ему таким же чуждым и жутким, как и его солдатам. И здесь, стоя над этим ущельем с трупами, он искал на лице Иосифа каких-нибудь следов отвращения и печали. Но это лицо оставалось непроницаемым, и от него на принца повеяло чем-то холодным и непонятным; как мог еврей все это переносить?

Иосиф же испытывал мучительное желание быть там, где ужасы осады выступали с особенным безобразием. Он ведь и послан сюда, чтобы служить оком, которое видит весь этот ужас. Волноваться легко. Но заставить себя стоять на месте и созерцать — гораздо труднее. Нередко им овладевала мучительная режущая боль — оттого что он здесь, вне городских стен, и безрассудное желание смешаться с толпой там, в городе. Им-то хорошо! Иметь право сражаться, иметь право страдать вместе с миллионом других людей — это хорошо.

Он получил из города письмо, дошедшее неведомым путем, без подписи. «Вы мешаете. Вы должны исчезнуть». Он знает, что письмо от Юста. Опять этот Юст оказался прав по отношению к нему. Все попытки к примирению безнадежны, его личность мешает всяким переговорам.

Это очень тяжелое лето для Иосифа, лето под стенами Иерусалима. Заживающая рана на правой руке не опасна, но она болит и писать невозможно. Иногда Тит спрашивает его в шутку, не поддиктует ли он ему: Тит лучший стенограф во всем лагере. Но, может быть, даже хорошо, что Иосиф сейчас не в состоянии писать. Пусть не будет ни мастерства, ни красноречия, ни чувства. Пусть все его тело станет только оком, больше ничем.

И вот он стоит рядом с Титом среди унылой местности, бывшей некогда одним из самых прекрасных уголков земли, его родиной. Теперь здесь пусто и голо, словно до сотворения мира. А на последней городской стене, уже поколебленной, еще держатся его соплеменники,— изможденные, одичавшие, они уверены в своей гибели и ненавидят его, как никого и никогда. Они назначили цену за его голову, чудовищную, высшую, которую они знают,— целый четверик пшеницы. Молча стоит Иосиф, глядя перед собой. За ним, перед ним, рядом с ним— кресты, на которых висят люди его племени, у его ног— ущелье, где гниют люди его племени, вся опустошенная местность полна зверья, ожидающего добычи.

Тит заговорил. Он говорил тихо, но в этой пустыне отдается каждый звук.

— Ты считаешь жестокостью, мой Иосиф, что я заставляю тебя быть здесь?

Иосиф еще тише, чем принц, отвечает. Медленно, взвешивая каждое слово:

— Я сам этого захотел, принц Тит.

Тит кладет ему руку на плечо.

— Ты держишься молодцом, мой Иосиф. Могу я исполнить какое-нибудь из твоих желаний?

Иосиф, по-прежнему не глядя на него и тем же тоном, отвечает:

— Не разрушайте храм, принц Тит.

— Я этого желаю не меньше, чем ты,— сказал Тит.— Но мне хотелось бы сделать что-нибудь для тебя лично.

Иосиф наконец обернулся к принцу. Он видел его лицо, заинтересованное, испытующее, не лишенное доброты.

— Дайте мне,— проговорил он медленно, веско,— когда город будет взят, кое-что из добычи...— Он умолк.

— Что же дать тебе, еврей мой?— спросил Тит.

— Дайте мне,— попросил Иосиф,— семь свитков Писания и семь человек.

Они стояли, оба одинаковые, рослые, на фоне унылого ландшафта. Тит улыбнулся:

— Ты получишь семьдесят свитков, мой Иосиф, и семьдесят человек.

Священники из череды, совершающей служение, собирались ежедневно в Зале совета, чтобы бросить жребий, кому совершать отдельные частности жертвоприношения. Утром 5 августа, 17 таммуза по еврейскому счислению, среди собравшихся появились вожди армии— Симон бар Гиора и Иоанн из Гисхалы, оба при оружии, в сопровождении секретаря Амрама и большой толпы вооруженных

солдат. Начальник храмового служения, руководивший жеребьевкой, спросил с тревогой, стараясь сохранить самообладание:

— Чего вы хотите?

— Можете сегодня не бросать жребия, доктор и господин мой,—сказал Иоанн Гисхальский.—Вам и впредь не придется бросать жребий. Вы все, господа, священники, левиты, служители, можете разойтись по домам. Служение в храме прекращено.

Священники стояли перепуганные. От голода их лица стали дряблыми, белыми, как их одежды, они очень ослабели. Многих из них, подобно доктору Ниттаю, поддерживало только уважение к службе. Они слишком обессилели, чтобы кричать, и в ответ на заявление Иоанна раздалось только какое-то постанывание и поклохтывание.

— Сколько еще осталось жертвенных агнцев в ягнятнике?—грубо спросил Симон бар Гиора.

— Шесть,—с трудно дававшейся ему твердостью ответил начальник храмового служения.

— Вы ошибаетесь, доктор и господин мой,—мягко поправил его секретарь Амрам, и в вежливой злорадной улыбке обнажились его зубы.—Их девять.

— Выдайте этих девять агнцев,—сказал почти добродушно Иоанн Гисхальский.—В этом городе Ягве—уже давно единственный, кто ест мясо. Агнцы не будут сожжены. Ягве достаточно нанюхался сладкого запаха на своем алтаре. Те, кто за святыню борется, должны и питаться святыней. Выдайте девять агнцев, господа.

Начальник храмового служения чуть не подавился, ища ответа. Но он не успел открыть рта, так как выступил доктор Ниттай. Он устремил пылающий взгляд высохших исступленных глаз на Иоанна Гисхальского.

— Всюду сеть и западня,—проклохтал он со своим жестким вавилонским акцентом,—безопасно только в храме. Вы хотите теперь и в нем расставить ваши западни? Вы будете посрамлены.

— Там увидим, доктор и господин мой,—ответил хладнокровно Иоанн Гисхальский.—Может быть, вы заметили, что форт Антония пал? Война подползла к храму. Храм уже не обитель Ягве, он—крепость Ягве.

Но доктор Ниттай продолжал сердито клохтаться:

— Вы хотите ограбить алтарь Ягве? Кто украдет у Ягве его хлеб и мясо, тот украдет у всего Израиля его опору.

— Молчите,—мрачно приказал Симон.—Служба в храме прекращена.

Но секретарь Амрам подошел к доктору Ниттаю,

положил ему руку на плечо и сказал примирительно, оскалив желтые зубы:

— Успокойтесь, коллега. Как это место у Иеремии? «Так говорит Ягве: всесожжения ваши совершайте, как и обычные жертвы ваши, и ешьте мясо; ибо я не заповедовал отцам вашим и не требовал сожжений и жертв, когда вывел их из земли Египетской».

Иоанн Гисхальский обвел круглыми серыми глазами ряды растерянных слушателей. Увидел упрямый высохший череп доктора Ниттая. Успокоительно, любезно он сказал:

— Если вы хотите, господа, и впредь совершать службы, петь, играть на ваших инструментах, произносить благословляющие молитвы, это у вас не отнимается. Но весь оставшийся хлеб, вино, масло и мясо реквизированы.

Пришел первосвященник Фанний, его известили. Когда Иоанн Гисхальский организовал в городе и храме выборы на высочайшую должность и жребий пал на Фанния, этот туповатый, малограмотный человек принял веление божие с тягостным смущением. Он сознавал свое ничтожество, он ничему не учился, ни тайному знанию, ни даже простейшим смыслом Священного писания,—он учился только делать цемент, таскать камни и класть их друг на друга. Теперь Ягве надел на него святое облачение, восемь частей которого очищают от восьми тягчайших грехов. Как ни беден он умом и ученостью, святость в нем есть. Но нести бремя святости тяжело. Вот теперь эти солдаты приказывают приостановить храмовое служение. Этого нельзя допустить. А что он может сделать? Все смотрят на него, ожидая его слов. О, если бы он надел свое облачение, Ягве, наверное, вложил бы в его уста нужные слова. Теперь он кажется себе нагим, он переминается с ноги на ногу, беспомощный. Наконец он начинает.

— Вы не можете,—обращается он к Иоанну Гисхальскому,—накормить девятью ягнятами всю армию. А мы можем благодаря им совершать служение еще в течение четырех священных дней.

Священники находят, что устами Фанния говорит благочестивая и скромная народная мудрость, и тотчас начальник храмового служения поддерживает его.

— Если эти люди еще живы,—говорит он, указывая на священников вокруг себя,—то лишь благодаря их воле совершать служение Ягве согласно Писанию.

На это Симон бар Гиора сказал только:

— Врата храма достаточно налюбовались, как вы набиваете себе брюхо жертвами Ягве!

И его вооруженные солдаты ворвались в ягнятник. Они взяли ягнят. Они ворвались в зал, где хранилось

вино, и взяли вино и масло. Они проникли в святилище. Никогда, с самого построения храма, сюда не входил никто, кроме священников. А теперь солдаты, смущенно ухмыляясь, неуклюже обшаривали прохладный, строгий, сумеречный покой. Здесь стоял семисвечник, бочонок с курениями, стол с двенадцатью золотыми хлебами и двенадцатью хлебами из муки. Золото никого не интересовало, но Симон указал на душистые пшеничные хлебы. «Берите!» — приказал он; он говорил особенно грубо, чтобы скрыть свою неуверенность. Солдаты подошли к столу с хлебами предложения осторожно, на цыпочках. Затем быстрыми движениями схватили хлебы. Они несли их так бережно, словно это были младенцы, с которыми надо было обращаться осторожно.

Вслед за солдатами, неуклюже шагая, шел первосвященник Фанний, глубоко несчастный, больной от сомнений, не зная, что предпринять. Боязливо уставился он на завесу, закрывавшую свята святых, жилище Ягве, в которое только он имел право входить в день очищения. Однако ни Симон, ни Иоанн к завесе не прикоснулись, они повернули обратно. Первосвященник Фанний почувствовал, что с него свалилась огромная тяжесть.

Покинув священные запретные залы, солдаты облегченно вздохнули. Они были целы и невредимы, никакой огонь с неба не сошел на них. Они несли хлебы. Это были изысканные белые хлебы, но всего только хлебы, и если к ним прикоснуться, ничего не случится.

Симон и Иоанн пригласили в тот день на вечерю членов своего штаба, а также секретаря Амрама. Уже в течение многих недель не ели они мяса и теперь жадно вдыхали запах жареного. Было также подано много благородного вина, вина из Эшкола, а на столе лежал хлеб, много хлеба,—его хватило бы не только для еды, как говорили, смеясь, приглашенные, но и для того, чтобы брать мясо с тарелки. Они перед тем выкупались, умастились елеем из храма, подстригли и причесали волосы и бороды. Удивленно смотрели они друг на друга — в каких статных, элегантных людей превратились эти одичавшие существа.

— Ложитесь поудобнее и ешьте,—пригласил их Иоанн Гисхальский.—Мы это себе разрешаем, вероятно, в последний раз, и мы это заслужили.

Солдаты вымыли им руки, Симон бар Гиора благословил хлеб и преломил его, трапеза была обильной, они уделили от нее и солдатам.

Оба вождя были в добром, кротком настроении. Они вспоминали свою родную Галилею.

— Мне вспоминаются стручковые деревья в твоём

городе Геразе, брат мой Симон,—сказал Иоанн.— Прекрасный город.

— А я вспоминаю о финиках и оливках в твоём городе Гисхале, брат мой Иоанн,—сказал Симон.— Ты пришел в Иерусалим с севера, я—с юга. Нам следовало сразу объединиться.

— Да,—улыбнулся Иоанн,—мы были дураками. Как петухи. Работник несет их за ноги во двор, чтобы зарезать, а они, вися и раскачиваясь, продолжают колотить друг друга клювами.

— Дай мне грудинку, что у тебя на тарелке, брат мой Иоанн,—сказал Симон,—а я тебе дам заднюю ногу. Она жирнее и сочнее. Я очень тебя люблю и восхищаюсь тобой, брат мой Иоанн.

— Благодарю тебя, брат мой Симон,—сказал Иоанн.— Я и не подозревал, какой ты красивый и статный. Я вижу это только сейчас, когда приближается смерть.

Они поменялись мясом и поменялись вином. Иоанн запел песню, прославлявшую Симона,—как он сжег римские машины и артиллерию, а Симон запел песню, прославлявшую Иоанна,—как за первой стеной форта Антония он возвел вторую.

— Если бы наше везенье равнялось нашей храбрости,—улыбнулся Иоанн,—римлян бы здесь давно уже не было.

Они пели застольные и непристойные песни и песни о красоте Галилеи. Они вспоминали о городах Сепфорисе и Тивериаде и о городе Магдале, с его восьмьюдесятью ткацкими мастерскими, разрушенными римлянами. «Красно от крови озеро Магдалы,—пели они,—покрыт весь берег трупами Магдалы». Они написали свои имена на боевых повязках с начальными буквами девиза маккавеев и поменялись повязками.

Снаружи равномерно доносились глухие удары в главную стену. Это работал «Свирепый Юлий», знаменитый таран Десятого легиона.

— Пускай работает,—смеялись офицеры,—завтра мы его сожжем.—Они возлежали, ели, шутили, пили. Хорошая была трапеза, последняя.

Ночь шла своим путем. Они стали задумчивы, в большом зале царило буйное, мрачное веселье. Они вспоминали мертвых.

— У нас нет ни чечевицы, ни яиц,—сказал Иоанн Гисхальский,—но десять кубков скорби мы выпьем и ложа мы опрокинем.

— Мертвых очень много,—сказал Симон бар Гиора,—и их память заслуживает лучшей трапезы. Я имею в виду умерших офицеров.

Было восемьдесят семь офицеров, изучивших римское военное искусство, из них семьдесят два человека пали.

— Их память да будет благословенна.

И они выпили.

— Я вспоминаю первосвященника Анана,— сказал Иоанн Гисхальский.— То, что он сделал для укрепления стен, было хорошо.

— Он был негодяй,— резко отозвался Симон бар Гиора,— мы должны были его уничтожить.

— Мы должны были его уничтожить,— примирительно согласился Иоанн,— но он был хороший человек. Память его да будет благословенна.

И они выпили.

— Я вспоминаю о другом покойнике,— едко сказал секретарь Амрам,— он был другом моей юности, и он оказался псом. Он изучал в одной комнате со мной тайны учения. Его имя Иосиф бен Маттафий. Да не будет мира его памяти.

Ему пришла в голову мысль, сулившая особенно приятное развлечение. Он перемигнулся с Симоном и Иоанном, и они приказали привести доктора и господина Маттафия, отца Иосифа, заключенного в темницу форта Фасаила.

Дряхлый высохший старик провел ряд долгих, ужасных дней в вонючем темном подземелье. Он был безмерно истощен, но он взял себя в руки. Он боялся этих диких солдафонов. Они столько убили, что еще чудо, как это они его оставили в живых, им не следовало перечить. Он поднес дрожащую руку ко лбу, поклонился.

— Чего вы хотите, господа,— пролепетал он,— от старого, беззащитного человека?— И заморгал, ослепленный светом, невольно вдыхая запах кушаний.

— Дело плохо, доктор и господин Маттафий,— сказал Иоанн.— На том месте, где мы сейчас находимся, скоро будут римляне. Как нам поступить с вами, старичок, мы еще не решили. Оставить ли вас римлянам или теперь же убить?

Старец стоял согнувшись, молча, дрожа.

— Послушайте,— начал секретарь Амрам,— как вам, может быть, известно, пищевых продуктов в городе почти нет. У нас больше нет мяса, мы сидим на стручках. То, что вы здесь видите, это кости последних девяти ягнят, предназначенных для жертвенного алтаря Ягве. Мы их съели. Что вы устались на нас? Было очень вкусно. Вы видите какой-нибудь «мене-текел» на стене? Я—нет. В начале войны с нами был и ваш сын. Затем он отошел. Поэтому, в конце войны, вам следует быть с нами. Мы люди вежливые, и мы приглашаем вас принять участие в нашей последней трапезе. Как видите, костей осталось

еще немало. Мы предоставляем вам также хлеб, которым мы брали с тарелок мясо.

— Ваш сын оказался подлецом,—сказал Иоанн Гисхальский, и его хитрые серые глаза стали гневными,—отбросом. Вы породили кусок дерьма, доктор и господин Маттафий, священник первой череды. Есть кости и хлеб подобает нашим солдатам, а не вам. Но мы поддерживаем предложение доктора Амрама и теперь приглашаем вас.

Симон бар Гиора был менее вежлив. Он угрожающе посмотрел на старца мрачными узкими глазами и приказал:

— Есть!

Старец весь дрожал. Он безмерно гордился успехами сына. Сам он не умел выдвинуться. Он понимал, увы, прекрасно понимал, почему Иосиф потом перешел к римлянам. Но эти люди не понимали, они смертельно возненавидели его сына. И вот теперь ему приказывают есть. Может быть, это испытание, и если он начнет есть, они будут торжествовать, и издеваться, и убьют его за то, что он попытался этим кощунством сохранить остаток своей жизни. После грязи и вони темного узилища он почти терял рассудок от голода и истощения. Он видел кости—это были сочные кости, полные мозга, кости годовалых отборных ягнят, наверно, можно разжевать такую кость и съесть целиком. И еще хлеб, восхитительно благоухавший и, кроме того, пропитанный соком и мясной подливкой. Старик приказал себе не двигаться, однако ноги не послушались его. Его влекло вперед, он пошел, против воли, грязными руками схватил кости. Откусил, стал глотать, сок капал на его свалывшуюся белую бороду. Он не благословил пищи—это было бы, вероятно, двойным кощунством. Он знал, что мясо—с алтаря Ягве и хлеб—со стола его и что он совершает удесятельный грех. На веки веков лишал он себя и своих потомков спасения. Но все же он присел на пол, забрал кости в обе руки, рвал их своими старыми, испорченными зубами, прокусывал, жевал, пережевывал, был счастлив.

Остальные смотрели на него.

— Взгляните,—сказал доктор Амрам,—как он жрет ради спасения своей души.

— Вот каковы люди, которые довели нас до теперешнего положения, брат мой Иоанн,—сказал Симон.

— Вот каковы люди, за которых мы умираем, брат мой Симон,—сказал Иоанн.

Больше они не сказали ничего. Молча смотрели они, как доктор и господин Маттафий сидел на полу зала, в свете факелов, и жрал.

На другой день, 6 августа, доктор Ниттай разбудил назначенных на этот день священников восьмой череды, череды Авии. Руководить храмовым служением, вместо растерявшегося начальника, взял на себя доктор Ниттай, и священники повиновались. Они последовали за ним в зал, и доктор Ниттай произнес:

— Подойдите и киньте жребий, кому закалывать жертву, кому спускать кровь, кому нести к алтарю жертвенные части, кому муку, кому вино.

Они стали метать жребий. Затем доктор Ниттай сказал:

— Выйди тот, на кого пал жребий, и посмотри, не настало ли время закалывать жертву.

Когда настало время, дозорный прокричал:

— Наступает день. На востоке становится светло.

— Светло ли уже до Хеврона? — спросил Ниттай.

И дозорный ответил:

— Да.

Тогда доктор Ниттай приказал:

— Пойдите принесите ягненка из ягнятника.

И те, кому выпал жребий, пошли в ягнятник. Невзирая на то, что там не было ни одного ягненка, они взяли ягненка, которого не было, они напоили его, как предписывал закон, из золотого кубка.

Другие отправились тем временем с двумя гигантскими золотыми ключами к святилищу и открыли большие ворота. В то мгновение, когда мощный шум открывавшихся ворот достиг его слуха, тот, кому надлежало это сделать, заколол в другом зале жертву, которой не было. Затем они положили животное, которого не было, на мраморный стол, сняли с него кожу и разрубили его, тоже согласно закону, понесли вдевятером отдельные части к ограде алтаря. Затем кинули жребий, кому нести жертвенные части на самый алтарь. Пришли низшие служители и переодели избранных. Затем они возжгли на жертвеннике огонь и стали бросать в него курение, черпали из золотой чаши золотыми ложками. И они взяли стозвучный гидравлический гудок и заставили его зазвучать всеми головами сразу. Когда раздавался этот мощный вой, покрывавший в Иерусалиме каждый звук, все знали, что сейчас совершается жертвоприношение, и простирались ниц.

Тому, на кого пал жребий, подали вино. Доктор Ниттай взошел на один из выступов алтаря и стоял в ожидании, с платком в руке. Те, кому надлежало, бросили части жертвы в огонь. Как только священник наклонился, чтобы вылить вино, доктор Ниттай подал условный знак, махнул платком. И пока поднимался столб дыма, левиты, стоявшие на ступенях святилища, запели псалом, и свя-

щенники у ограды алтаря стали благословлять распростертый народ.

Так 6 августа совершили жертвоприношение избранные священники восьмой череды, череды Авии, выполняя со всей предписанной пышностью и строгостью многочисленные детали богослужения. Эти изнуренные люди, готовые сегодня или завтра умереть, не видели, что пуст и ягнятник, и алтарь господень. В них жила вера доктора Ниттая. Эта вера заставляла их видеть перед собою агнца. Они принесли его в жертву, и это жертвоприношение было смыслом и вершиной их жизни. Только ради этого набирали они с таким трудом воздух в легкие и выталкивали его, только это еще отделяло их от смерти.

Когда Титу доложили о том, что евреи отняли у своего бога последних ягнят и сожрали их, он был страшно поражен. Это были ужасные, безумные, отверженные богами люди. Почему непостижимый народ, не имевший иной защиты, кроме Ягве, обокрал алтарь Ягве?

Осажденные были доведены до крайности, и какое искушение штурмовать истощенный город именно сейчас! После долгой, изнурительной осады армия жаждала этого. Штурм являлся также кратчайшим и вернейшим путем к триумфу. Веспасиан не имел теперь никаких оснований отстаивать ту версию, что поход в Иудею — лишь полицейская мера. Он сидит в Риме достаточно крепко, и не беда, если даже не он лично закончит поход. Начни сейчас Тит штурмовать Иерусалим, Рим не сможет отказать ему в триумфе.

Принц плохо провел ночь, его мучили сомнения. Триумф — вещь хорошая. Но разве не поклялся он Беренике, не поклялся самому себе, что не обрушит на храм свой гнев против восставших? Он убедился на опыте с Береникой, как мало проку в насилии. Если он пощадит храм, если подождет, пока Иерусалим сам отдастся ему в руки, разве он тогда не искупит содеянного в отношении этой женщины?

Он поручил Иосифу предпринять еще раз, в последний раз, попытку договориться. Он выдвинул ряд предложений, по своей мягкости далеко превосходящих прежние.

Сердце Иосифа забилося безумной надеждой. Он низко склонился перед Титом, по еврейскому обычаю приложив руки ко лбу. То, что предлагал римлянин, — это был царский дар, протянутый мощной рукой, у которой, право же, не было никакой нужды дарить, которая могла всего добиться силой. Иосиф должен заставить людей в городе это признать. Все же, вопреки всему, обретает смысл его пребывание здесь, под Иерусалимом, вместе с римлянами, а не внутри городских стен, где был Юст.

В назначенный час он приблизился к стенам один, в скромной одежде, без оружия, без знаков иерейского сана. Так стоял он между осажденными и осаждающими, ничтожный человек на голой земле, перед гигантской стеной, и эта стена впереди него была густо усеяна евреями, а блокадная стена за ним была густо усеяна римлянами. Стояла жара, вонь, тягостная тишина, так что он слышал лишь биение своей крови. Он чувствовал устремленный ему в спину холодный, насмешливый взгляд Тиберия Александра, видел перед собой горящие ненавистью глаза Симона бар Гиоры, дикий взор друга своей юности Амрама, полный презрения взгляд Иоанна. Несмотря на жаркое солнце, по всему его телу пробежал озноб.

Он заговорил. Сначала его слова казались ему пустыми и чуждыми, но затем он воодушевился и заговорил просто, горячо и искренне, как еще никогда не говорил за всю свою жизнь. В случае сдачи — излагал он условия — римляне, правда, будут считать военнопленными всех носящих оружие, но никого не лишат жизни. Римляне, продолжал он, сегодня же пропустят жертвенных животных для храма, при том, разумеется, условия, что будет, как раньше, принята и принесена на алтарь Ягве жертва от имени римского императора, народа и сената.

Хмуру, полные скорби, глядели люди на стенах, как приближается Иосиф. Теперь даже многие из маккавеев смотрели жадно, вопрошающе на Симона и Иоанна. Предложение Тита было действительно великодушным и человечным, и они в душе надеялись, что вожди его примут.

Но те об этом и не помышляли. Если они сдадутся, то какая жизнь ждет их? Сначала их продемонстрируют на триумфе, затем сошлют в качестве рабов на какие-нибудь горные разработки, и даже если римляне отпустят их, разве они смогут после всего, что произошло, остаться жить среди евреев? Поскольку начатая ими война не удалась, они станут среди своих навеки презренными. Но, помимо этих возражений, для отказа имелась и более существенная причина. Вожди зашли слишком далеко, из-за них римляне сровняли страну с землей, а храм превратили в кладбище и в кровавую крепость, они пожрали ягнят Ягве, и теперь нужно идти до конца.

Заранее, даже не зная, что предложат римляне, они заготовили свой ответ. Когда Иосиф кончил, они не стали ни плевать, ни отрясать прах со своих башмаков, они не собирались дать ему многословную отповедь, полную гнева и презрения. Нет, они просто открыли маленькую дверцу рядом с воротами, из нее вышла, визжа и хрюкая, свинья. Дело в том, что они однажды угнали у римлян

несколько свиней и одну из них теперь выпустили на Иосифа.

Иосиф побледнел. Свинья приближалась к нему, хрюкая и сопя, и люди на стенах начали смеяться. А затем по-латыни хором (нелегко, наверное, далось это измученным людям, и они, должно быть, долго упражнялись) они закричали: «Выросла уже у тебя крайняя плоть, Иосиф Флавий?» Они смеялись, и римляне тоже не могли удержаться от смеха. Эти проклятые евреи отмочили все-таки здорово смешную шутку! Иосиф же стоял один на один со свиньей между двумя лагерями, перед ошети-нившимся копыями храмом, и над ним громко издевались и евреи и римляне.

В эти минуты, долгие, как годы, Иосиф искупил все высокомерие своей жизни. «Ваш доктор Иосиф — негодяй», — некогда заявил человек с желтым лицом; в Мероне они засеяли травой дорогу, по которой он приехал; они держались за семь шагов от него, словно он прокаженный; под звуки труб его приговорили к изгнанию; в Александрии он лежал связанный и его бичевали. Но что все это перед такими минутами? Он пришел к ним от чистого сердца, он хотел спасти город, мужчин, женщин, детей и дом Ягве. Но они выслали к нему свинью. Он знал, что надо уходить, но медлил. Стена приковывала его к себе. Он должен был собрать всю свою волю, чтобы сдвинуться с места. Медленно стал он пятиться, все еще не спуская взгляда со стен. Его сковал великий холод: казалось, все облетело в нем, боль и гордость. Он не принадлежал ни к иудеям, ни к римлянам, земля была пустынна и нага, как до сотворения мира, он был один, и на его долю остались только смех и издевательства.

Когда иудеи выпустили на Иосифа свинью, Тит не смеялся. «Собственно говоря, — думал он, — я могу быть доволен. Я пересилил себя. Я хотел исправить все, что эти сумасшедшие натворили по отношению к своему богу. Теперь я в лучших отношениях с Ягве, чем мои враги». Но это настроение владело им недолго. Он посмотрел вдаль, на храм, белый и золотой. И вдруг его охватила грозная жажда растоптать «вон то», тревожащее, смущающее. Они сами опозорили храм, он окончательно смешает его с дерьмом, «то самое», насмешливое и надмирное, с его пресловутой чистотой. В его сознании проносятся бурей, так, как он их слышал, ритмические крики солдат: «Хеп, хеп!» — и с каждым криком разбивается чей-то череп и обваливается стена дома.

И он сейчас же испугался. Он не хочет этих мыслей. Не хочет иметь никакого дела с этим Ягве. Он предоставляет это господам по ту сторону стен.

Его охватывает глухая печаль, бешеная тоска по еврейке. Он чувствует бессильный гнев перед фанатизмом евреев, перед их ослеплением. Береника—одна из них, такая же непостижимая, никогда не будет он действительно обладать ею.

Он пошел к Иосифу. Тот лежал на кровати, измученный, покрытый холодным потом, несмотря на жаркий летний день, Иосиф хотел встать.

— Лежи, лежи,—попросил Тит.—Но скажи мне, может быть, меня ослепляет гнев на этих людей? Объясни хоть ты мне, мой еврей, чего они хотят? Ведь своей цели они уже достичь не могут, почему же они предпочитают умереть, чем жить? Они могут сберечь дом, ради которого борются, почему же они хотят, чтобы он сгорел? Ты понимаешь это, еврей мой?

— Я понимаю,—сказал Иосиф с бесконечной усталостью, и на лице его было то же скорбное выражение, что и у людей, стоявших на стене.

— Ты наш враг, мой еврей?—спросил Тит очень мягко.

— Нет, принц,—ответил Иосиф.

— Ты с теми, кто по ту сторону стены?—спросил Тит.

Иосиф погрузился в себя и скорбно молчал.

— Ты с теми, кто по ту сторону стены?—повторил Тит настойчивее.

— Да, принц,—сказал Иосиф.

Тит посмотрел на него без ненависти, но никогда эти два человека не были более чуждыми друг другу, чем в эту минуту. Выходя, Тит все еще смотрел на еврея, полный горестных размышлений.

Вернувшись в свой тихий красивый тивериадский дом высоко над озером, Береника попыталась рассказать брату то, что произошло в лагере. Когда она приехала, расстроенная и потрясенная, Агриппа не спросил ее ни о чем. Теперь она была тем откровеннее. Презирает ли она Тита за его грубость? Нет. Самое худшее—именно то, что она больше не находит в себе ненависти к его варварству. Сквозь задорное, рассерженное мальчишеское лицо, которое у него было в последний раз, проступали мужественные черты солдата, знающего свою цель. Напрасно издевалась она в присутствии брата, и даже перед самой собой, над его суровым педантизмом, над его нелепым стенографированием. В своем военном лагере, на фоне истоптанных пустынных окрестностей Иерусалима, Тит был мужчиной, настоящим мужчиной.

Агриппа отлично понимал то, что мучительно пыталась ему объяснить сестра. Разве эта несчастная война не издергала нервы и ему? Он отдал римлянам свое войско, но тотчас вернулся в свое Заиорданское царство и хотел знать возможно меньше о событиях в лагере. Его прекрасный Тивериадский дворец, его картины, книги, статуи — все это было теперь для него отравлено.

— Тебе легче, сестра, — сказал он с грустной улыбкой на красивом, несколько жирном лице. — Люби сердцем Иудею, ее страну и ее дух и спи со своим римлянином: для тебя проблема будет разрешена. Люби его, Никион, твоего Тита. Я завидую ему, но не могу тебя отговаривать. А что делать мне, Никион! Я понимаю и тех и других, и евреев и римлян. Но как могу я совместить их? Если бы я мог быть таким, как те, в Иерусалиме, если бы я мог быть таким, как римляне! Я вижу фанатизм одних и варварство других, но я не могу решиться, не могу выбрать.

Береника, живя в тиши Тивериады, с тревогой прислушивалась ко всем вестям, приходившим из лагеря. Сначала ее взор все еще видел ту пустыню, в которую превратились сияющие окрестности города, ее ноздри обоняли вонь лагеря, в ушах стояло завывание зверья, ждавшего падали. Но постепенно эти воспоминания утратили свою отвратительность, бешенство войны стало заражать и ее. Война — это кровь и огонь, это величественное зрелище, война пахла чудесно, война — это дикие и вдохновенные мужские лица, жаждущие быстрой, блаженной смерти. Все больше тосковала она среди задумчивой красоты Тивериады по величественному, патетическому гомону лагеря. Почему принц молчит? Почему не пишет ей? Разве ее тело не понравилось ему? Весь свой гнев и стыд она обращала на самое себя, не на него.

Когда пришло известие о том, что судьба храма должна решиться не сегодня завтра и этим вопросом уже занят кабинет императора, она больше не могла сдержаться. У нее было теперь достаточно причин возвратиться в лагерь.

Когда она известила принца о своем приезде, в нем поднялась огромная волна торжества. С тех пор как эта женщина от него бежала, он провел два тяжелых месяца в жарком, вонючем летнем воздухе, с трудом укрощая свои нервы, подстерегая падение города. Тит пытался побороть тревогу усиленной работой, он придвинул поле битвы к самому храму, и там, где некогда находился форт Антония, теперь стоит его палатка, разделенная на три части: кабинет, спальня, столовая. Он уже не запрещал себе иметь здесь портрет Береники. Жутко живой, как и все работы Фабулла, стоит он в его кабинете. Часто смотрит

Тит в удлинённые золотисто-карие глаза этой женщины. Как могла ему прийти в голову чудовищная мысль взять ее, точно испанскую шлюху? Это чужая ему женщина, да, очень величественная и очень чужая. И он жаждет ее, как в день первой встречи.

Он брал записи ее слов, которые ему удалось застенографировать, сопоставлял их, взвешивал, долго простаивал перед портретом, созерцая его, полный сомнений. Пытался овладеть собой, ничего не предпринимая, ждал.

Теперь она явилась сама. Он поехал верхом далеко за лагерь, чтобы встретить ее. Береника была мягка, не упрекала, в ней сквозило что-то девичье. Голая земля вокруг Иерусалима, множество распятых, хищные птицы, одичавшие, свирепые лица солдат — весь этот ландшафт смерти не пугал ее. Ибо через этот Аид твердой поступью шел принц, мужчина, и, когда она очутилась рядом с ним, в нее вошло огромное спокойствие.

Они возлежали вместе за вечерней трапезой. Он рассказывал ей о своих парнишках, о своих солдатах. Эти евреи адски осложняют положение. Они фанатичны, бешены, словно подстреленные кабаны. Рискуют жизнью из-за мешка пшеницы. Выдумывают все новые жестокие фокусы. Так, например, они засыпали сухим деревом и смолой крышу помещения, соединяющего форт Антония с территорией храма, заманили на нее римлян и поджарили их, как рыбу. Но и с его ребятами шутки плохи. Принц рассказывал все это таким тоном, словно речь шла не о поражении или победе, а о спортивном состязании. Он себя не щадит и, когда надо, бросается прямо в свалку; два раза был ранен; под ним закололи лошадь; а офицеры его уговаривают, что он, дескать, полководец и должен предоставить заурядный боевой труд рядовому воину.

Тит рассказывал непринужденно, он был в хорошем настроении, не спрашивал себя, слушает она или нет. Вдруг он заметил, как она на него смотрит. Это уже не были глаза на портрете. Их пристальность, их затуманенность были ему в женщинах знакомы. Тихо, продолжая говорить, властным и все же нежным движением обхватил он Беренику обеими руками. Она скользнула в его объятия, а он не договорил начатой фразы, среди прерванного рассказа они опустили на ложе и слились.

Долго лежала она потом неподвижно, закрыв глаза, улыбаясь. Тит прижимал свое широкое, крестьянское лицо, ставшее теперь свежим и юношеским, к ее груди, зарывался в ее тело.

— Я знаю, — сказал он, смягчая до ласки свой суровый голос командующего, — я знаю, ты приехала не из-за меня, но я хочу верить, что из-за меня. Сладостная, великолепная, царица, любимая. Ты, вероятно, приехала

ради своего храма. Благословен будь твой храм, раз ты из-за него приехала. Я твердо решил, что он не будет разрушен. И если, сладостная, мне придется ради этого пожертвовать еще десятью тысячами человек, он уцелеет. Это твой храм. Он—твоя оправа, и десять тысяч человек—недорогая цена. Я отстрою заново и дом твоих предков. Ты должна взойти по его ступеням, Никион, твоей походкой, которая наполняет меня блаженством, а за тобой должен выситься твой храм.

Береника лежала, закрыв глаза, улыбаясь. Она впивала его слова. Произнесла совсем тихо:

— Муж, воин, дитя, Яник, Яники. Я приехала из-за тебя, Яники...

21 августа, 1 аба по еврейскому счислению, «Свирепый Юлий» начал работать над разрушением внешней стены, окружавшей территорию храма. Шесть дней работал он без перерыва, затем на подмогу прибыли другие машины. 27 августа работали все машины одновременно. Но безуспешно. Римляне попытались произвести прямую атаку, подставили лестницы, послали к лестницам две когорты, построенные черепахой. Евреи столкнули вниз эти лестницы, густо усеянные людьми. Нескольким legionерам, в том числе несшему боевой значок, удалось даже взобраться на стену, но здесь они были убиты, и евреи овладели значком.

Тит велел подложить к воротам огонь. Внешние колоннады, успокаивал он и себя и Беренику, еще не храм. Итак, огонь был подложен к воротам, плавившееся серебро открывало пламени доступ к деревянным стропилам. Огонь бушевал весь день и всю последующую ночь. Затем были уничтожены северный и западный валы на территории храма. Войско оказалось перед высоким зданием самого храма.

28 августа, 8 аба по еврейскому счислению, пока римские пожарные команды работали над тем, чтобы среди пепла, золы, углей и обломков проложить дорогу к храму, Тит созвал военный совет. Следовало решить, как быть с самим храмом.

В военном совете участвовали маршал Тиберий Александр, генералы, командующие четырьмя легионами: Цереалий—от Пятого, Лепид—от Десятого, Литерн—от Двенадцатого, Фригий—от Пятнадцатого и Марк Антоний Юлиан, губернатор Иудеи. В качестве секретаря Тит привлек Иосифа.

Тит предложил прежде всего заслушать письмо императора. Береника получила правильные сведения—император созвал совещание кабинета, чтобы узнать

мнение его членов относительно того, как быть с храмом. Некоторые министры считали, что этот очаг мятежа, это средоточие и символ непокорной иудейской национальной гордости, следует стереть с лица земли. Только таким способом можно лишить евреев раз и навсегда их главного центра. Другие полагали, что война ведется против людей, а не против неодушевленных предметов, и культурный престиж Рима требует, чтобы столь великолепное здание было пощажено. Сам император, так кончалось письмо, решил посоветовать, чтобы храм, по возможности, сохранили.

Члены военного совета выслушали письмо с серьезными, непроницаемыми лицами. Они понимали, что это решает вопрос о триумфе. Штурм храма означал славное окончание похода, и тогда никто уже не сможет врать насчет карательной экспедиции, тогда сенат должен будет согласиться на триумф. Соблазнительно рисовался их воображению блеск и шум такого триумфального шествия, оно являлось высшей точкой в жизни всех, кто должен был участвовать в этом шествии как победитель. Но об этом нельзя было говорить: говорить об интересах армии здесь можно было не больше, чем в императорском государственном совете.

Они очень хорошо представляли себе, как прошло это заседание. Толстый Юний Фракиец, наверное, высказался в немногих спокойных словах за сохранение храма; произнес, наверное, несколько туманных примирительных фраз и жирный Клавдий Регин. Тем решительнее настаивал, конечно, на разрушении храма министр Талассий. В результате родился компромисс, это «по возможности», это письмо, возлагавшее всю ответственность за события на армию. Отныне армия может взять на себя эту ответственность. Армия хочет получить триумф, настроение войск, жаждавших растоптать сапогами «то самое», передалось и многим начальникам. «Хеп, хеп» подзадоривало и их. «Храм по возможности сохранить». Сказать это в Риме было легко. Но где начинается «возможность» и где она прекращается?

Первым заговорил маршал Тиберий Александр. Он знает, остальные желают получить свой римский триумф; он же хочет разумного усмирения страны. Он говорил кратко и, как всегда, любезно. Разумеется, сохранение храма будет стоить жертв, но десять тысяч солдат заменимы, а храм неповторим, и заменить его нельзя. Сто тысяч человек могут справиться с какими-то пятнадцатью тысячами, засевшими за его стенами. Храм сохранить можно.

Генерал Фригий, командующий Пятнадцатым легионом, при сочувственных восклицаниях генерала Литерна,

стал возражать. Конечно, ценою десяти тысяч римских легионеров сохранить храм для мира и империи можно. Но он не думает, чтобы император, друг солдат, желал бы настолько расширить границы возможного. Уже и так из-за недостойных военных приемов противника многие тысячи римлян погибли мучительной смертью, изрубленные, зажаренные. Нельзя прибавлять к этому новые тысячи. Солдаты жаждут сжечь храм, вытащить из него его золото. Отказ от этой доступной им мести вызовет в армии справедливое недовольство.

В то время как генерал Литерн высказывал свое шумное одобрение, Тиберий Александр продолжал, как всегда, любезно улыбаться. Этот Фригий как раз тот тип офицера, который ему ненавистен,— тупой, кичащийся грубой силой. Людям, подобным генералу, подавай их триумф, и больше ничего: таким людям никогда не понять ценности здания, созданного духом столетий. Такие люди пройдут по нему своими солдатскими сапогами, пройдут к своему триумфу прямым, а не в обход. Но вот заговорил Марк Антоний Юлиан, губернатор провинции Иудеи. Он — чиновник, он беспокоится только о своем ведомстве и о будущем управлении провинцией. За большее он не желает нести ответственность. Нет сомнения, доказывал он, что армия теперь, даже пощадив храм, подавит восстание. Но это решает вопрос лишь на короткий срок, не на постоянные времена. Никто более искренне не восхищается художественной ценностью храма, чем он, но если иудеи уж превратили храм в крепость, он останется крепостью и после победы над восставшими. А разве римляне когда-нибудь оставляли нетронутой хоть одну крепость повстанцев в покоренных областях? Храм нужно уничтожить, иначе, как только часть войск будет отозвана, иудеи сейчас же начнут готовиться к новому мятежу. Если храм пощадить, то этот беспокойный и высокомерный народ неизбежно воспримет такой жест не как проявление мягкости, а как признак слабости. И он, как губернатор Иудеи и лицо, ответственное перед Римом за покой и порядок в этой столь трудно управляемой области, вынужден настоятельно просить, чтобы храм сровняли с землей. Пощадить его невозможно.

Тит все это слушал; по временам он начинал стенографировать — почти машинально. Он отлично понимал желание солдат и генералитета. Разве сам он не жаждет триумфа?

Но все же иудейский Ягве — опасный противник. Самое упорство, с каким этот народ его защищает, доказывает, что при всей его комичности это божество нельзя назвать ни мелким, ни презренным. «По возможности».

Он тихонько вздыхает. Если бы Веспасиан выразил свою волю определеннее!

Все участники совета высказались. Выяснилось, что три голоса за сохранение храма, три — за разрушение. Напряженно ждали они, что решит принц. Даже столь выдержанный Тиберий Александр не мог скрыть легкое нервное подергивание.

Иосиф судорожно царапал стилем по столу. Он жадно ловил каждое слово, записывал не все, но полагался на свою превосходную память. Основания, приводившиеся солдатами, были достаточно вески. А за ними стояло нечто еще более веское: желание получить в Риме триумф. Тит обещал ему, Беренике, самому себе — сохранить храм. Но Тит — солдат. И высшая цель солдата — получить в Риме триумф. Устоит ли принц перед соблазном? Пренебрежет ли он триумфом, чтобы сохранить Ягве его дом?

Тит обдумывает. Но не доводы и возражения. «Этот Ягве, — думает он, — очень хитрый бог. Наверное, это он вложил в меня мешающее мне чувство к еврейке. Она мне отдалась, я позвал ее, и, наверное, это Ягве делает так, что я не перестаю жаждать ее. Как ухмыльнется мой отец, когда узнает, что я сжег храм. «Ну, Кенида, старая лохань, — скажет он, — не смог он его оставить. Пусть получает свой триумф».

Прошло четверть минуты в молчании.

— Я присоединяюсь к мнению тех, — сказал Тит, — кто считает, что храм можно сохранить. Полагаю, что римские легионы сумеют подчиниться дисциплине, даже если приказ им и не по вкусу. Благодарю вас, господа.

Согласно старому военному обычаю, перед палаткой Тита собрались полковые оркестры, чтобы трубить зорю. Тит стоял у входа в палатку. Принимать фанфары — атрибут высшей власти полководца — было для него всегда особым удовольствием. Музыканты, до двухсот человек, заняли свои места. Сигнал. И тогда началось — нескладно, но мощно: дребезг литавр, свист и вой рогов и флейт, гудение труб, визг и верещанье кавалерийских рожков. И Тит радовался пестрой, веселой толпе инструментов и ее почетному шуму.

Затем оркестры ушли. И последовало наиболее важное: передача пароля и приказа на завтра. Это совершалось торжественно и обстоятельно. Каждый из четырех легионов по очереди посылал своего первого центуриона получить от фельдмаршала приказ и пароль и с той же торжественностью и обстоятельностью передать их дальше.

Тит был неприятно удивлен, когда в этот вечер, 28 августа, за приказом явился капитан Педан, первый центурион Пятого легиона. Предстояло отдать один из ответственных за долгое время приказов, и Тит его менял трижды. Он протянул Педану дощечку. Капитан Педан взял ее широкими, короткими, грязными руками. Он прочел: «Пароль — «Погибни, Иудея». Приказ: за 29 августа работы по тушению пожара и уборке северной и северо-западной стороны храма должны быть во что бы то ни стало закончены, чтобы к раннему утру 30 августа место оказалось подготовленным для атаки. Если противник будет препятствовать производству работ по тушению и уборке, его следует энергично отбросить, однако сохраняя постройку, поскольку таковые входят в состав самого храма».

Капитан Педан прочел приказ громким голосом, как предписывалось уставом. Первый центурион Пятого легиона был сметлив, его единственный глаз и хитрый мозг поняли суть приказа уже давно, гораздо раньше, чем пискливый голос последовал за глазом. Итак, не спеша произносил он вслух прочитанное. Мясистый, с голым розовым лицом, массивными плечами и мощной шеей, стоял он перед полководцем. Медленно выговаривал его большой рот слова приказа. Слова: «тогда противника следует энергично отбросить» — он произнес очень явно, сделал на них упор, а заключительную фразу: «однако сохраняя постройку» — капитан не то чтобы произнес быстрее, но она прозвучала небрежнее, как нечто второстепенное. Во время чтения его оба глаза, живой и мертвый, смотрели больше на полководца, чем на дощечку, вопросительно, неуверенно, словно он читал не то, что было написано. И опять, под взглядом этих глаз, Тит ощутил к этому шумному, неуклюжему человеку ту же не раз испытанную антипатию и тот же нестерпимый соблазн, ту же бешеную жажду, как и после речей генералов, понести пожар дальше, закинуть огонь и туда, в «то самое». Наступило короткое молчание. Капитан все смотрел на Тита недоверчиво, выжидательно. Да, он, несомненно, ждал. «Ты совершенно прав, мой Педан, но другие тоже правы. Делайте, что хотите. Один всегда норовит свалить ответственность на другого. Все хотят это сделать, но никто не хочет быть виновником. Ты мужчина, мой Педан: так сделай ты». Вероятно, таковы были ощущения Тита, когда капитан Педан стоял перед ним в ожидании. Эти ощущения не стали мыслью и тем более словом. Тит остерегался этого. Он ничего не обнаружил, только едва уловимо улыбнулся. Но первый центурион Пятого легиона заметил улыбку. Он что-то сказал? Титу почудилось, будто сказал. Что-то вроде

«хеп, хеп». Но это было, конечно, невозможно. Капитан Педан взял дощечку, всунул ее, как того требовал устав, в футляр, приветствовал командующего, подняв руку с вытянутой ладонью. Тит сказал:

— Спасибо.

Капитан Педан удалился, и словно ничего и не было.

В ту ночь Тит спал с Береникой. Его сон был тревожен, и Береника слышала, как он говорил: «Дай мне дощечку».

Тем временем капитан Педан вернулся в свою палатку. Он очень хорошо помнил текст приказа и все-таки еще раз вытащил дощечку, перечел написанное. Осклабился еще шире: капитан был доволен. Разумеется, здешняя жара, отвратительные комары, которым тело этого белокурого розового человека пришлось особенно по вкусу, раздражающая скука осады,— все это препротивно, и носитель травяного венка, любимец армии, мог бы себя этому и не подвергать. В прошлом году, когда военные действия были здесь приостановлены, он ушел с отрядом Муциана в Италию, чтобы там принять участие в походе против Вителлия. Он мог там остаться, поступить в гвардию, дослужиться до полковника, до генерала. Теперь, держа в руках дощечку, он не жалел, что в качестве первого центуриона вернулся к своему Пятому легиону, под этот вшивый Иерусалим, и участвует в этой проклятой осаде.

Педан был солдатом. Он служил с малых лет. Ему нравилось распутничать, есть много и грубо, пьянствовать, орать похабные песни. Он научился колоть, стрелять, фехтовать, был, несмотря на свой жир, сильным и ловким. Он жил в полном мире с самим собой. Частенько разглядывал он свое отражение не только в драгоценном золотом зеркале, которое неизменно возил с собой во время военных походов, но также и в воде, мимо которой проходил, или в своем щите. Его лицо ему нравилось. Когда он лишился глаза, то искусственный глаз он заказал лучшему специалисту, который делал глаза статуям. Теперь его лицо казалось ему особенно красивым, и он не жалел о потерянном глазе. Он любил опасность. Любил и добычу. Его доля добычи, награды за особые заслуги и удачные лагерные спекуляции позволили ему скопить значительное состояние, хранившееся в Вероне у надежного банкира и быстро растущее благодаря большим процентам. Когда-нибудь, беззубым стариком, он вернется в Верону и, как носитель травяного венка и любимец армии, будет играть там видную роль, заставит город плясать под свою дудку.

Пока ему, правда, предстоит нечто лучшее. Например, этот чудесный приказ. Очень приятный приказ, истинную

суть которого понимает только он, и только он знает, как его выполнить. Ради одного этого курьезного приказа стоило вернуться из пышной Италии в Пятый легион. Ибо первый центурион Пятого, обычно весьма равнодушный к людям и рубивший противника только ради спорта, без всякого интереса к его личности, этот капитан Педан яростно ненавидел одно: евреев.

Всё в этих людях — их язык, их обычаи, их вера, их дыхание, самый воздух, окружавший их, — раздражало его. Другие народы Востока — тоже ленивые, вонючие варвары с безвкусицей старомодными обычаями. Но представьте, эти евреи до того любят бездельничать, что их никакими способами, даже смертью, не заставишь что-нибудь делать в их седьмой день. В их стране есть даже река такая — «Субботняя», которая на седьмой день останавливает свое течение. А в начале войны — он видел это собственными глазами — на седьмой день евреи дали себя перерезать, не защищаясь, просто из принципиальной, предписываемой им законом лени. Идиоты. Они верят, будто души, выполняющие их дерьмовые законы, будут законсервированы их богом навеки. И это делает наглецов нечувствительными к тому, что других людей влечет или пугает. Они считают себя лучше других, точно они римские легионеры. Евреи ненавидят и презирают всех, кроме себя. Совершают обрезание только для того, чтобы иметь отличительный признак. Они совсем другие, несносные, упрямые, точно козлы. Когда их распинают, они кричат: «Яа, Яа, Яа — наш бог». Из-за этого «Яа» он сначала решил, что их бог — осел, и некоторые уверяют, что в своем святая святых евреи действительно поклоняются ослу. Но это неправда: вернее, эти безумцы и преступники поклоняются какому-то богу, которого нельзя ни видеть, ни осязать, такому же бессовестному, как они сами, который существует только в уме. Педан не раз доставлял себе особое удовольствие и щекотал распятого, пробуя, нельзя ли угрозами и обещаниями пробудить в нем здравый смысл. Но нет, нет. Они в самом деле верят в своего невидимого бога, они кричат: «Яа, Яа», — и умирают. Капитан Педан — яростный, беспощадный враг подобной бессмыслицы. Он хочет вырвать ее с корнем. Жизнь потеряла бы всякую цену, если бы хоть часть, хоть крошечная частичка того, о чем они кричат, оказалась правдой. Но это не правда, не должно быть правдой.

Насмешливо скривив рот, раскачиваясь, идет капитан Педан в свою палатку. Если действительно существует что-нибудь похожее на этого бога Ягве, то должен же он защитить свой дом? Но он его не защитит, об этом первый центурион Пятого легиона уж позаботится. Только ради этой цели стоит он нынешним летом среди жары и вони

перед вшивым Иерусалимом. Бога Ягве он проучит. Он ему докажет, что его вообще не существует, что «то самое», дом его,—всего-навсего пустая раковина улитки.

Капитан Педан снова видит перед собой лицо принца, когда он, капитан, читал текст приказа. «Однако сохраняя постройки, поскольку они входят в состав самого храма». Но что значит «сохраняя»? Что значит «в состав самого храма»? «Противник должен быть энергично отброшен». Это ясно. Это нечто, чем можно руководствоваться.

«Хеп, хеп»,—повторяет про себя капитан Педан. Сегодня вечером он в исключительно хорошем настроении. Он пьет, рассказывает непристойности, он полон мрачного юмора, так что даже начальники, которым он стоит поперек дороги, не могут не признать: этот человек по праву — любимец армии.

На другой день Педан со своими людьми приступил к работам «по тушению пожара и уборке». Они отгребали тлеющие развалины, наклонялись, отгребали,—нужно, чтобы до ворот шла прямая дорога. Эти окованные золотом ворота были невелики; влево, наискось от них, на высоте двойного человеческого роста, находилось маленькое оконце в золотой рамке. Но, кроме этого оконца, ровные стены вперялись в вас своей белизной, гигантские, непоколебимые, их однообразие прерывалось только несколькими маленькими окнами, пробитыми на очень большой высоте.

Работа по уборке была грязная, жаркая, трудная. Евреи не шевелились, ни одно лицо не показывалось в отверстиях окон, ворота оставались запертыми. Педан сердился. Теперь вот приходится ему и его людям убирать за евреями их дерьмо. Люди работали потные, сердитые. Педан отдал приказ петь. Он первый запел своим пискливым голосом грубую песню Пятого легиона:

На что наш Пятый легион?
Легионер все может:
Войну вести, белье стирать,
Престол свалить и суп сварить,
Возить навоз, царя хранить,
Детей кормить, коль есть нужда.
Должны солдаты все уметь.
И Пятый все умеет¹.

Когда они пели песню в третий раз, появился противник.

Ворота оказались уж не так малы, во всяком случае, они были достаточно велики, чтобы в невообразимо короткое время извергнуть невообразимое множество

¹ Перевод Юлиана Анисимова.

иудеев. Римские воины сменили лопаты на щиты и мечи. Было дьявольски тесно, и тому, кого затискивали в дымящиеся развалины, было трудно помочь.

— Маккавей!—кричали осажденные.

— Погибни, Иудея!—кричали римляне.

Началась настоящая рукопашная схватка. Иудеи не обращали внимания на то, что и многие из них попадали в тлеющие развалины. Иудеи словно роились вокруг римского боевого знака. Вот упал знаменосец, второй схватил древко, его тоже прикончили.

— Маккавей!—кричали осажденные, они овладели знаком и, торжествуя, унесли его за стены.

Римляне получили подкрепление. При второй вылазке иудеям не удалось проникнуть так далеко, как в первый раз, но маленькие ворота извергали все новые и новые толпы. Педан проклинал, колотил своих людей тростью из виноградной лозы. Они отбросили иудеев, некоторые из солдат Педана вместе с отступившими ворвались в ворота. Ворота закрылись. Те, кто проник внутрь, погибли. Но противник был энергично отброшен.

Педан ослабился. Противник отброшен с недостаточной энергией. Педан приказал построиться черепахой. Люди удивились. Стены стояли перед ними такие гигантские, высокие, машины не были пущены в ход, за спиной не работала артиллерия. Чего хочет их начальник? Неужели они должны разламывать стены голыми руками? Но они сомкнули щиты над головой, повинуясь приказу, двинулись вперед. Педан почему-то приказал им идти не на ворота, но вбок от них, влево, где находилось обрамленное золотом оконце.

Неуклонно они шли вперед, они теперь достигли стены, передние уже вцепились в стену. И тогда произошло нечто, чего первая когорта Пятого, ко всему привыкшая, еще не видела. Капитан Педан, в своих тяжелых доспехах, подтянулся и встал на щиты последнего звена; по трещащим щитам затопал он, неуклюже расставляя ноги. Он не упал, свидетель Геркулес, он сохранял равновесие; в одной руке он держал горящую головешку,—и вот он швырнул ее, швырнул в обрамленное золотом оконце и крикнул: «Давай еще!»—и солдаты выхватили из каких-то тлеющих развалин и передали ему еще одну головешку и еще одну. Люди, стоявшие под щитами, потея, томясь, ждали, не зная, что происходит над их головами, слышали только, как их начальник кричит: «Давай еще!» и «Хеп, хеп!» Но они тоже, как и подававшие головешки, напряженно ожидали, что теперь произойдет. Их первый, их капитан Педан, любимец армии, уж конечно, знает, что делает, и, конечно, что-нибудь да произойдет.

И капитан Педан действительно знал, что делает. Он изучил план храма, он знал, что в этом помещении с оконцем сохранялись запасы дров, приносимые евреями на праздник кущей: иерусалимские граждане и паломники — каждый тащил по одному полону. Противник должен быть энергично отброшен. Он велел подавать себе наверх головешки, он бросал их, крича: «Хеп, хеп!» и «Давай еще!» — и они слышали, как его подбитые гвоздями башмаки царапают щиты, они терпели, крепко упершись, согнувшись, и стонали от нетерпения.

И вот наконец из-за стен донеслись крики, затем показался дым, все больше, все гуще, и тогда Педан приказал: «Подать лестницу». Лестница была слишком коротка, он велел поставить ее на черепаху. Он полез наверх, лестница отчаянно качалась, но люди под щитами стояли твердо, и через оконце капитан Педан пролез внутрь. Он прыгнул прямо в дым и крик, рванул запоры на воротах, в щели между створками показалось его закопченное, ослабленное лицо. И подобно тому, как еще недавно ворота извергали в невообразимо короткое время невообразимое множество людей, так же проглатывали они теперь в одно мгновение людей Педана, то по пятидесяти, то по сто.

Здание храма было все выложено изнутри кедровыми балками, лето стояло жаркое, дерево высохло. Дым уже исчез, появилось пламя. И не успел еще никто понять, что произошло, как в римском лагере раздались неистовые крики. «Хеп, хеп!» — кричали солдаты, и: «Бросай разжигу!», и: «Щиты вперед!» Они не стали ждать приказов, их охватило неистовство. Маленькие ворота проглатывали их сотнями, теперь они распахнули и другие ворота. Иудейские пожарные отряды были перебиты, легионы двигались вперед, по двое в звене, наискось сомкнув плечи, сдвинув щиты, и косили людей направо и налево.

Большая часть иудейских отрядов засела в фортах и башнях Верхнего города, в самом храме находилось всего около тысячи человек. И они, когда римляне подожгли здание храма, подняли неистовый крик и пытались затушить огонь. Сначала огонь был слаб, но он был упорен, неотступен. Вскоре оказалось, что невозможно одновременно бороться против напавших римлян и тушить пожар. Иоанн и Симон бар Гиора, спешно вызванные из Верхнего города, поняли, что защищать храм от огня и от римлян не удастся. Они отдали приказ главным силам стянуться в Верхний город. Пусть маленькие отряды, прикрывая отступление, отстаивают по очереди все ворота в храм.

Оставленные для этого оборонительные отряды были обречены на гибель, это знали все, но никто не колебался, заявляя о своем желании сражаться в них. В добровольцы записался и мальчик Эфраим, его приняли. Когда Эфраим уже собирался уйти, Иоанн Гисхальский возложил на него руку и сказал:

— Ты достоин. Передай нашу веру другим, сын мой.

Так возлагали руки на своих учеников учителя-богословы, даруя им право и способность передавать учение дальше.

Римляне быстро справились с небольшим отрядом, защищавшим ворота храмового здания. Они добрались до лестницы и спустились во двор, в котором стоял алтарь для сжигания жертв, с его гигантской оградой и мощными выступами, сделанный, словно навеки, из неотесанных глыб, ибо железо не должно было касаться его. Сейчас кучка иудейских солдат, человек в пятьдесят, установила на нем снарядометатель.

— Маккавей! — кричали они.

— Хеп, хеп! Погибни, Иудея! — кричали римляне и атаковали алтарь.

Снарядометатель встретил их железом и камнями, но они продвигались вперед по обоим флангам алтаря, и вот они окружили его, и вот они взяли ограду. Это были люди из Пятого легиона, люди Педана. Стоял чудовищный шум, но сквозь него постепенно пробивался голос, дерзкий, пискливый, он пел грубую песню Пятого легиона. Несколько человек подхватили, и вот уже пели все, восклицаний «Маккавей!» уже не было слышно, доносились только песни:

На что наш Пятый легион?
Легионер все может:
Войну вести, белье стирать,
Наш Пятый все умеет.

И вот римляне овладели и другими наружными воротами в этой части стены, открыли их, и теперь атакующие хлынули внутрь со всех сторон. Рядами по два человека, выставив щиты, повернув лица боком, плечо к плечу, шагают они в такт, растаптывают, косят. Надвигаются с двух сторон, окружают все, что попадает на пути, гонят к огромному алтарю. На правом выступе алтаря, откуда начальник богослужения обычно подавал священникам и левитам знак к жертвоприношению, стоит теперь капитан Педан, а вокруг него топают грубая песня Пятого легиона. Он тоже поет, он размахивает мечом и порой для разнообразия бьет тростью из виноградной лозы. Людей гонят вверх по алтарю, они кричат: «Слушай, Израиль!» — а на выступе стоит капитан Педан и кричит: «Хеп!» —

заносит палку из виноградной лозы и с треском обрушивает ее на головы евреев. Мечи косят, кровь течет ручьем по ограде, и вокруг алтаря вырастают горы трупов.

Тит как раз ненадолго прилег. Он вскочил, он увидел самопроизвольное мощное движение легионов. И затем он увидел дым и пламя. Он выбежал из палатки как был, без знаков своего сана, без доспехов. Ринулся прямо в гущу буйной, радостной давки. Многие узнали его, но отнеслись к его появлению просто. Они закричали ему торопливо, радостно:

— Пойдем с нами, приятель! Бежим вместе, бросай с нами, бросай головешки! Хеп, хеп!

Он хотел удержать их, пресечь бесчинства. Но действительно ли он этого хотел? «Хеп, хеп!» — кричал он вместе с другими против воли и: «Бросай головешки, приятель!»

Стража, стоящая перед палаткой принца, заметила, как он убежал. Встревоженные офицеры, гвардейцы ринулись через толчею, стремясь к нему пробиться. Наконец, когда толпа уже пронесла его через ворота во внутренность храма, они догнали его. Он успел овладеть собой. Неужели это он кричал вместе с толпой «хеп»? Теперь он закричал:

— Тушите, воды!

— Тушите, воды! — кричали офицеры. Они бросались в гущу бесчинствовавших солдат.

— Тушите, воды! — Центурионы обрушили свои палки из виноградной лозы на озверевших римлян.

Но бессмысленна была надежда отрезвить разбушевавшиеся легионы. Бешеная ярость, хмель убийства овладели всеми, всей армией. Они ждали так бесконечно долго, в течение всех этих жарких, изнурительных месяцев, когда наконец растопчут подбитым гвоздями башмаком «то самое». Теперь они жаждали отомстить за свои страдания, и все ринулись сюда — римские легионы вперемешку с сирийскими, арабскими союзными войсками. Все боялись опоздать, торопились, не хотели допустить, чтобы один опередил другого. Дорога, которую они намеревались проложить, не была готова. Они мчались по рдевшему пеплу, топтали друг друга, толкали друг друга на дымившиеся обломки. Перелезали через целые горы трупов.

Когда Тит увидел, что с разбушевавшимися солдатами не справиться, он прошел со своими офицерами во внутренний зал, отделенный от горячей части храма толстой стеной. Высокие и прохладные, чуждые жару пламени и дикой свалке, вздымались за этой стеной священные своды зала. Здесь стоял семисвечник, стол

предложения, алтарь для жертвенных курений. Медленно шел Тит вперед, нерешительно приближался к занавесу, за которым была тайна, святая святых. После Помпея сюда не ступал ни один римлянин. Что там? Может быть, все же какая-нибудь нечисть, ослиная голова, чудовище, полуживотное, получеловек? Тит протягивает широкую короткую руку к занавесу. За ним—полные любопытства, напряженные лица его офицеров и прежде всего—широкое, розовое лицо капитана Педана. Что скрывает занавес? Принц отбрасывает его. Перед ним небольшое сумеречное помещение. Тит входит. Пахнет землей и очень старым деревом. На возвышении—голый неотесанный камень и огромная, гнетущая пустота вокруг, больше ничего.

— Ну, вот,—пожимая плечами, пищит капитан Педан.—Сумасшедшие!

Вернувшись в более светлый четырехугольник преддверия, принц облегченно вздыхает. Он видит благородную скромность зала, его удивительные пропорции, у стен—священную утварь, величественную и строгую.

— Мы должны спасти вот это, господа,—говорит он негромко, но настойчиво.—Мы не можем дать ему погибнуть,—требует он.

Капитан Педан ослабилсЯ. Уже у ворот замелькали огненные языки. Римляне подожгли все двери. Спасать слишком поздно.

Поспешно выволакивали солдаты священную утварь. Она тяжела, из массивного золота. Десять человек задыхаются под бременем светильника, валятся наземь. Светильник сотрясает пол, убивает одного из несущих. Солдаты, подгоняемые возгласами принца и палкой центуриона, снова сгибаются под тяжестью, выволакивают утварь из горящего, готового обрушиться святилища. Они вынесли двенадцать золотых хлебов предложения, священные дары, серебряные трубы священников, сложили великолепный вавилонский занавес, на котором выткан небосвод. Принц стоял на ступенях храма, спиной к пожару, и смотрел, как семисвечник и стол предложения, уносимые в римский лагерь, покачивались вверх и вниз над телами, головами, щитами, словно корабли на взволнованном море.

А в это время легионеры бесчинствовали в святилище, пьяные от крови и победы. Они грабили все, что попадало под руку, срывали золотую и серебряную обшивку с ворот, со стен. Рискую сломать себе шею, взбирались они на наружные стены, чтобы достать прибитые к ним трофеи, боевые знаки и оружие древних сирийских царей,

боевые знаки Двенадцатого легиона, отнятые четыре года назад у Цестия Галла. Они грабили гардеробные, хранилище для пряностей, зал для инструментов. Нагруженные редкой, драгоценной утварью, поспешно топали они по гигантскому залу. Это был венец похода. Во имя того, чтобы разгромить и разграбить этот дом невидимого бога, десятки тысяч людей умирали, переносили тяжелые испытания и ужасы. Зато теперь они решили насладиться в полной мере. Они кричали, толкали друг друга, подурачки хохотали. Пускаясь в пляс, тяжело громыхали они подкованными сапогами по полу, мрамор и мозаика которого были покрыты трупами и окровавленными боевыми перевязями с начальными буквами девиза маккавеев.

В темных переходах, ведущих вниз, к подземным сокровищницам, людские массы застревали. Засовы у этих кладовых были очень крепки, но нетерпеливые не захотели ждать, пока их откроют ломами и инструментами,—они подложили огонь к металлической обшивке дверей. Однако внутри загорелось раньше, чем открылись двери, и теперь из сокровищниц широкой рекой непрерывно вытекали расплавившиеся металлы. Текли дары римских и парфянских владык, сбережения галилейских бедняков, сокровища богачей Иерусалима и приморских городов, сотни тысяч золотых, серебряных и медных монет, отлитых «Мстителями Израиля» с эмблемами маккавеев и датами первого, второго, третьего года Освобождения.

Треща, рвались длинные занавесы, их пылающие лохмотья летали по воздуху. С грохотом рушились балки храмового здания, за ними валялись обломки стен. И вдруг раздался звук, более мощный, чем треск пламени, чем грохот падающих балок, чем дикое пение солдат и вопли умирающих,—звук резкий, воющий, визжащий, ужасно и отвратительно умноженный окрестными горами. Это была стозвучная Магрефа. Чудище пытались уволочь, но затем бросили, как ненужную вещь, и теперь огненный ветер проносился через нее и заставлял звучать.

Казалось, этот звук будил Верхний город, который, после того как иудейские солдаты разрушили ведущие к нему мосты, стоял отрезанный на своем холме. Изголодавшиеся, измученные люди в Верхнем городе видели дым и первые языки пламени, затем постепенное смыкание огненного кольца, пока, наконец, весь белый холм с храмом наверху не стал пылать с самого подножья. Они выжали из своих ослабевших иссохших гортаней только слабые стоны. Но когда раздался огромный вопль Магрефы, в их телах также пробудились последние остатки жизни, и стенания сотен тысяч людей, находившихся в Верхнем городе, слились в единый вопль, нестерпимый,

непрерывный, на одной ноте,—горы подхватили этот вопль и ответили воплем.

Впрочем, в этот день многие перешли из Верхнего города в храм. Их позвал доктор Ниттай. У него было видение, и он слышал голос. Он прошел через Верхний город, истощенный, но спокойный, убеждал массы— пусть идут наверх, в храм, там сегодня им предстанет Ягве как спаситель и освободитель. И голос одержимого старика звучал так убежденно и властно, что все, кто еще волочил ноги, послушались его. И это были тысячи людей. Только немногим из верующих удалось спастись с отступающими войсками: ибо мосты Верхнего города были узки, войска, воспользовавшись ими для перехода, разрушили их за собой; а сверху, от храма, спускалось пламя и римляне. Верующим оставалось только бегство в самые нижние части храма, в большую колоннаду южной стороны, расположенную на краю пропасти.

Римляне, вытесняя евреев из внутренней части храма, дошли теперь до этих нижних помещений. Они спустились по ступеням, увидели всех этих столпившихся в зале мужчин, женщин, детей, аристократов и бедняков, целую грудку живого мяса. Хотя цены на рабов, вследствие избытка пленных, и упали особенно низко, эти тысячи людей, скопившиеся здесь, все же представляли известную ценность. В крайнем случае их можно было продать дюжинами устроителям праздничных игр. Но солдаты не желали сейчас считаться ни с какими коммерческими соображениями. Они стремились только получить свое солдатское удовольствие, оно досталось им дорогой ценой. Солдаты Пятого легиона заперли помещение. Перед собой евреи видели римлян, за спиной была пропасть. Подошли офицеры, полковники, генерал Десятого легиона Лепид. Они отдали приказ ждать, пока доложат командующему. Но солдаты из Пятого легиона отнюдь не намерены были ждать. Ведь они только что вернули боевые значки, отнятые четыре года назад у Двенадцатого легиона, и теперь они позволят генералу Десятого испортить им все удовольствие? Они даже не возмутились, они только добродушно засмеялись. Да и сами господа начальники едва ли верят в то, что армия позволит отнять у нее эту грудку живого мяса. Искусно построились они в четыре ряда перед колоннадами, затем подожгли кедровые балки крыши. Это было действительно ужасно занятно, когда те, в зале, заплясали, и первых, хотевших выбежать, солдаты тут же прикончили. Как они карабкались куда-то, прыгали в пропасть, как они колебались, избрать ли смерть от меча, или в огне, или в пропасти. С интересом наблюдали солдаты, с какой нерешительностью запертые в зале евреи избирали ту или

иную смерть. С удовлетворением узнавали легионы издавна знакомый им предсмертный вопль: «Слушай, Израиль, Ягве един!» Они часто слышали эти слова, но не из стольких уст одновременно. «Ягве, Ягве!» И они передразнивали, крича: «Яа, Яа, Яа»,— как ослы.

Среди запертых в этом зале были двое господ из Великого совета, которых полковник Павлин знал лично: Меир бар Белгас и Иосиф бар Далай. Павлин предложил обоим приблизиться, сдаться ему. Он обещал пощадить их. Но они остались, пока колоннада не обрушилась,— они хотели погибнуть с остальными, это — жертва всесожжения Ягве.

Священники, на которых пал жребий, выполнили все детали служения, словно вокруг не происходило ничего необычного. Они облачились, вычистили алтарь, священные сосуды, как делали ежедневно. Уже показались первые языки пламени, уже появились первые римляне — священники проходили через сутолоку, словно ничего не видя.

Сначала римляне не трогали священников в белых одеждах с голубыми иерейскими поясами. Затем прикончили их, как и остальных. Они констатировали с некоторым удовлетворением, что человек с голубым иерейским поясом, слугитель этого Ягве, если ему в тело загнать железо, умирает совершенно так же, как и всякий другой.

Иоанн Гисхальский, покидая со своим отрядом храм, предложил первосвященнику Фаннию взять его с собой. Но Фанний отклонил это предложение. Если бы только он мог постичь, чего Ягве от него хочет! Это очень трудно, потому что Ягве дал ему только ограниченный ум. Как хорошо, если бы ему было дозволено остаться строительным рабочим. А теперь он бродит в потемках, беспомощно хныча, его тусклые карие глаза ищут, у кого бы спросить совета; пугливо прислушивается он, не раздастся ли внутри него голос Ягве, но он ничего не слышит. И все это только потому, что Фанний, уступая казначеям, велел спрятать в недоступном убежище свое восьмичастное, очищающее от грехов облачение. Будь на нем сейчас его облачение и священные драгоценности великого служения — языки пламени легли бы к его ногам, как послушные псы, и римляне упали бы мертвыми.

Вместе с другими священниками он попал в руки римлян. Солдаты собирались их прикончить. Они просили пощады, кричали, что среди них — первосвященник. Солдаты привели их к Титу.

Тит торопится, его требуют к Южным воротам. В его свите генерал Литерн. Принц видит, как напряженно, с

едва заметной улыбкой следит за ним генерал. Этот Литерн не в состоянии был понять тогда, на заседании военного совета, как мог Тит отстаивать сохранение храма; наверно, он считает его эстетствующим слюнтяем. Значит, этот чурбан—первосвященник?

— Сберегите его,—говорит принц,—я хочу показать его во время триумфа.

Затем он видит остальных священников, двадцать изможденных жалких тел, болтающихся в белых, слишком широких одеждах. Его лицо становится злым, хитрым, ребячливым. Он отворачивается. Уже собираясь уходить, он бросает священникам через плечо:

— Может быть, господа, я и даровал бы вам жизнь ради вашего храма. Но так как ваш бог явно не склонен сохранить свой храм, вам подобает, как священникам, вместе с этим храмом погибнуть. Разве я не прав, господа?

Он ушел, и профосы схватили священников.

Доктор Ниттай, подобно другим священнослужителям, проводил верующих в храм и серьезно и спокойно приступил к служению. Когда прорвалось пламя, на его старом ворчливом лице показалась улыбка. Он знал: сегодня явится знамение. Когда здание храма загорелось, он не бежал, подобно другим, через дворы,—наоборот, он и восемь окружавших его священников поднялись по храмовой лестнице. Идти вверх было хорошо; они находились пока еще в здании, подвластном рукам человеческого, но сейчас они будут наверху, под небом, близко к Ягве.

И вот они очутились на кровле, на высочайшей точке храма, а под ними были пламя и римляне. К ним доносились крики умирающих, грубое пение легионов, а из Верхнего города—неистовый вой. Тогда дух сошел на них и голод вызвал перед ними видения. Раскачиваясь в такт, стали они монотонно, нараспев, как предписано, декламировать воинственные и победные песни из Священного писания. Вырывали золотые острия, приделанные на кровле храма для защиты от птиц, швыряли их в римлян. Они смеялись, они стояли над пламенем, а над ними был Ягве, они чувствовали его дыхание. Когда настал час давать народу благословение, они подняли руки, раздвинули пальцы, как полагалось, и прокричали сквозь треск огня слова благословения, а за ними—исповедание веры, и на сердце у них было легко и свято.

Когда они кончили, Ниттай взял тяжелые ключи от больших храмовых врат, поднял их, чтобы все стоявшие вокруг него их видели, и воскликнул:

— О Ягве, ты не нашел нас достойными управлять домом твоим! О Ягве, возьми же обратно ключи!—И он

подбросил ключи вверх. И он воскликнул: — Видите, видите вы руку?

И все видели, как с неба протянулась рука и подхватила ключи.

Затем балки затрещали, крыша обрушилась, и они нашли, что умирают милостивой смертью.

Педан бросил головню перед самым полднем. А в пять часов уже пылал весь холм. Первый постовой огневой сигнализации, поставленной по приказу Тита, увидел пожар и с наступлением сумерек подал сигнал: храм пал. И вспыхнул следующий сигнальный костер, и следующий, и в течение часа об этом узнала вся Иудея, вся Сирия.

В Ямнии Иоханан бен Заккаи узнал: храм пал. Маленький древний старичок разорвал на себе одежды и посыпал пеплом голову. Но в ту же ночь он созвал совещание.

— До сего дня,— заявил он,— Великий Иерусалимский совет имел власть толковать слово божие, определять, когда начинается год и когда рождается молодой месяц, что правильно и что неправильно, что свято, что нет, имел власть вязать и разрешать. С нынешнего дня это право переходит к совету в Ямнии.

— Наша первая задача — установить, где границы Священного писания. Храма больше нет. Единственное царство, которым мы владеем,— это Писание. Его книги — наши провинции, его изречения — наши города и села. До сих пор слово Ягве было перемешано со словами человеческими. Теперь же следует определить до последней йоты, что принадлежит к Писанию, что — нет.

Наша вторая задача — сохранить комментарий ученых в веках. До сих пор на передаче комментария иным путем, чем из уст в уста, лежало проклятие. Мы снимаем это проклятие. Мы занесем шестьсот тринадцать заветов на хороший пергамент, там, где они начинаются и где кончаются, мы их обведем оградой и подведем под них фундамент, чтобы Израиль мог опираться на них вовек.

Мы, семьдесят один человек, это все, что осталось от царства Ягве. Очистите сердца ваши, чтобы стать нам царством более нерушимым, чем Рим.

Они сказали «аминь». Они постановили в ту же ночь, что двадцать четыре книги святы. Четырнадцать, почитаемые многими за святые, исключаются. Собравшиеся жестоко спорили друг с другом, но они строго себя проверяли, чтобы их устами говорила не собственная тщеславная ученость, но только возвещалось слово Ягве так, как оно было им передано. Сон не шел к ним, они чувствовали себя одержимыми Ягве, предприняв этот

пересмотр, результаты которого должны были стать обязательными для всех веков.

Они расстались, когда солнце уже взошло. Только теперь почувствовали они, до какой степени устали, но, несмотря на скорбь о разрушенной святыне, эта усталость не была мрачной.

После ухода остальных ученик Иоханана бен Заккаи Арах напомнил учителю:

— Вы еще не продиктовали мне изречение на сегодня, доктор и господин мой.

Верховный богослов подумал, затем продиктовал:

— Если тебя позовут к столу владыки, то приставь нож к горлу прежде, чем возжаждать его лакомых кусков, ибо они весьма обманчивы.

Арах посмотрел на усталое, измученное лицо своего учителя и понял, что тот тревожится за своего любимца Иосифа бен Маттафия, что он в глубине души за него боится.

Гибель храма свершилась 29 августа 823 года после основания города Рима, 9 аба 3830 года по еврейскому летосчислению. И 9-го же аба был разрушен Навуходонсором первый храм. Второй храм простоял шестьсот тридцать девять лет один месяц и семнадцать дней. За все это время каждый вечер и каждое утро неизменно приносилось всесожжение Ягве, многие тысячи священников совершали служение, как оно предписано Третьей Книгой Моисея и изъяснено до мельчайших подробностей многими поколениями богословов.

Храм горел еще два дня и две ночи. На третий день от многочисленных ворот остались только двое. Прямо посреди развалин на мощных глыбах алтаря-жертвенника, против одиноко и бесцельно торчащих Западных ворот, водрузили теперь римляне своих орлов и принесли им победную жертву. Если на поле битвы оставалось больше шести тысяч вражеских трупов, то армия обычно провозглашала своего полководца императором. И вот Тит с высоты алтаря принимал теперь почести от своих войск.

С маршальским жезлом в руке, в красной мантии главнокомандующего, на фоне большого орла, стоял он там, где обычно поднимался дымовой столб Ягве, стоял, как идол из плоти и крови, вместо невидимого бога. Мимо проходили легионы, они ударяли щитами о щиты, они кричали:

— Да здравствует император Тит!

Часами наполняли слух Тита это бряцание и приветственные клики его солдат.

Он жаждал этого часа с тех самых пор, как в Александрии отец поручил ему завершение похода. Теперь он оставался холоден. Береника исчезла: она бежала от вида горящего святилища, бежала от него, Тита, нарушившего свое слово. Но разве он его нарушил? Он отдал совершенно ясный приказ—храм беречь. Это боги решили иначе, вероятно, сам^у еврейский бог, рассерженный кощунствами и упрямствами своего народа. Нет, не он, Тит, виноват в гибели святилища. Он решил расследовать события, чтобы его невиновность стала очевидна всему миру.

Некоторые пленные иудеи показали, что пожар начался с дровяного склада. Они пытались тушить его. Но римские солдаты бросали в дрова все новые головешки. Это могли сделать только «отряды по тушению пожара и уборке». Тит предал Педана и его людей военному суду, на котором председательствовал сам.

Незадолго до заседания суда у него произошел разговор с Тиберием Александром.

— Вы ненавидите меня,—спросил он маршала,— за то, что храм этого Ягве сожжен?

— Разве вы сожгли его, цезарь Тит?—спросил с обычной любезностью маршал.

— Не знаю,—сказал Тит.

Допрашивали обвиняемых:

— Бросала первая когорта головешки в здание храма?

— Мы не знаем этого, цезарь Тит,—заявили солдаты, громко, чистосердечно, с товарищеским доверием. Никто не видел, чтобы капитан Педан бросал головешки.

— Возможно,—заявил Педан,—что мы защищались от евреев и головешками. «Противника следует отражать энергично»,—сказано в приказе. «Энергично»—под этим можно разуместь и огонь, если под руку попадается головешка.

— Имели вы намерение сохранить храм?—был ему задан вопрос.

Педан пожал плечами. Он был старый и честный солдат—и честно и тупо смотрел на своих судей.

— Стена была такая толстая, каменная,—заявил он,—никакой машиной бы ее не расшатать. Внутри—каменные полы, каменные лестницы. Кто же мог думать, что камень загорится? Видно, такова была воля богов.

— Видели вы предварительно план храма?—спросили его.—Знали вы, что оконце ведет в дровяной склад?

Капитан Педан не спешил с ответом. Его живой глаз подмигнул принцу, судье, затем снова принцу. Он хитро улыбнулся, он подчеркивал свою договоренность с Титом, все видели это. Затем он обратился уже непосредственно

к принцу; пискливым, дерзким и беззаботным голосом он сказал:

— Нет, цезарь Тит, я не знал, что за оконцем дрова.

Тиберию Александру было совершенно ясно, что этот капитан Педан лжет, и также ясно, что он считает себя в полном праве лгать, что он убежден, будто выполнил немой приказ принца. И принц и капитан хоть и кажутся разными, но маршал отлично видит, что, по сути, они одно и то же: варвары. Принц поклялся себе и другим сохранить храм—вероятно, он честно собирался исполнить свою клятву, но втайне, совершенно так же, как и Педан, жаждал разгромить «то самое», наступить на него сапогом.

Остальные—капитаны, унтер-офицеры, солдаты—остались при своем: они ничего не видели. Никто не мог объяснить даже приблизительно, каким образом возник пожар. На все вопросы они чистосердечно повторяли:

— Цезарь Тит, мы не знаем.

Во время заседания суда Тит был заметно рассеян. Дерзкий, сообщнический взгляд подмигнувшего ему наглого Педана все в нем перевернул. Если раньше его смутно угнетала мысль о том, не косвенный ли он соучастник этого грубого солдафона, то теперь он решительно отстранил от себя эту мысль. Разве он не отдал совершенно ясного приказа? Разве не заботился всегда о железной дисциплине? Он тревожно ждал, как выскажутся его генералы, и решил отказать любимцу армии в помиловании, если они приговорят его к смерти.

Но о таком наказании никто из господ, по-видимому, и не помышлял. Они высказывались неопределенно. Может быть, следует того или другого из офицеров перевести в дисциплинарный батальон?

— А Педан?—воскликнул, прервав их, Тит, в бурном негодовании, срывающимся голосом.

Наступило неловкое молчание. Наказать Педана, носителя травяного венка,—на этот риск никто не хотел идти. Цереалий, генерал Пятого легиона, уже собирался сказать что-то в этом роде, когда слово взял маршал Тиберий Александр. Того, что, по-видимому, совершено Педаном, или, во всяком случае, допущено им, хотела вся армия, заявил он. Не один человек виноват в позорном деянии, навсегда запятнавшем имя римлянина. Своим тихим, вежливым голосом он предложил вызвать всех солдат и офицеров, принимавших участие в работах по очистке и тушению пожара, и каждого десятого казнить.

Именно потому, что нельзя было не признать справедливости сказанного маршалом, члены совета горячо и единодушно запротестовали. Какая дерзость, что этот

человек хочет излить свою месть за иудеев на римских легионеров! Дело замяли.

В конце концов ничего не последовало. Просто—в вялом приказе первая когорта Пятого легиона получила от военного руководства выговор за то, что не воспрепятствовала пожару.

Тит был сильно раздосадован результатом следствия. Оправдаться перед Береникой уже невозможно. Он боялся спросить, куда она удалилась. Страшился, что на нее нашло одно из ее буйных настроений, уже три раза гнавших ее в пустыню, чтобы, пренебрегая плотью, внимать голосу ее бога.

Затем до него дошел слух, что она в селении Текоа. Туда было всего несколько часов пути. Но эта весть его не обрадовала. Чего искала она в этом полуразрушенном гнезде? Пожелала иметь перед глазами пеньки ее рощи как постоянное напоминание о том, что он не исполнил даже этой ее маленькой просьбы?

Широкое лицо Тита стало скорбным, его острый, треугольный подбородок выступил еще резче, он был теперь похож на злого деревенского мальчишку. Что ему делать? Ему нечем оправдать себя перед ней. Заявить грубо и лихо о военном праве, показать себя по отношению к ней господином, римлянином? Он достигнет не большего, чем в ту ночь, когда взял ее силой.

Он заставил себя не думать об этой женщине. У него хватит работы, чтобы отвлечь свои мысли. Старый город, Верхний город еще не взяты. Там толстые, мощные стены, их нельзя штурмовать сразу, без подготовки, нужно опять пустить в ход машины, минировать ворота. Он назначил себе определенный срок. Как только он возьмет Верхний город, он к ней явится.

Тит прежде всего приказал всю завоеванную территорию сровнять с землей. Разбросать камни, свалить стены. Он вошел во вкус разрушения. Дома знати, стоявшие на краю храмовых ущелий, пролетарский квартал Офла, старые крепкие здания Нижнего города были разгромлены. Ратуша и архив, уже подожженные в начале гражданской войны, подверглись вторичному разрушению. Закладные и купчие, акты продажи, отлитые из бронзы государственные договоры, занесенные на пергамент выводы долгих и страстных споров на бирже погибли навсегда. Вся территория храма и прилежащие городские районы были отданы солдатам на разграбление. В течение многих недель продолжали они рыться в золе и находить золото и драгоценности. Они ныряли и в подземные ходы под храмовым холмом, что было небезопасно: многие из

них заблудились и так и не вышли на поверхность земли, многие погибли в бою с беглецами, прятавшимися в этом подземном царстве. Но рисковать стоило, так как подземелья оказались настоящим золотым дном. Римляне извлекали из шахт все новые драгоценности; не избежали общей участи и припрятанные в тайниках храмовые сокровища, а среди них — знаменитое восьмичастное одеяние, о котором так мучительно тосковал первосвященник Фанний. Драгоценные камни, благородные металлы, редкие ткани лежали грудami на римских складах, торговцам было немало дела, цена на золото понизилась по всему Востоку на двадцать семь процентов.

В Нижнем городе у евреев была святыня — мавзолей царя Давида и Соломона. Восемьдесят лет назад Ирод однажды открыл гробницу, тайком, ночью, привлеченный слухами о ее несметных сокровищах. Но когда он захотел проникнуть внутрь, где покоились останки царей, ему навстречу забило пламя, от его факела воспламенились подземные газы. Тит не боялся. Он проникал со свитой в каждый закоулок. В гробнице лежали тела обоих царей, в золотых доспехах, с диадемами на черепах, с их щиколоток скатились гигантские кольца. Им дали с собой лампы, чашки, тарелки, ковши, а также храмовые счетные книги, чтобы они могли доказать Ягве свой благочестивый образ жизни. Маршал Тиберий Александр развернул эти книги, стал рассматривать выпцветшие письма. Тит снял объемистую диадему с одного из черепов, короткими широкими руками надел на собственную голову, повернулся к свите.

— Диадема не идет вам, цезарь Тит, — сухо заявил маршал.

С жадным вниманием наблюдал Иосиф пожар храма, словно естествоиспытатель — явление природы. Он принуждал себя к черствости, он хотел быть только оком, он хотел видеть все течение событий, начало, середину, конец. Он доходил все вновь и вновь до самого огня, сотни раз пересекал пылающее здание, страшно усталый и в то же время возбужденный. Он смотрел, слушал, нюхал, воспринимал; его чуткая, точная память отмечала все.

25 сентября, спустя месяц после падения храма и пять месяцев после начала осады, пал Верхний город. Пока когорты бросали жребий об отдельных кварталах, которые нужно было поделить для грабежа, улицу за улицей, Иосиф отправился прежде всего в форт Фасаила, где еврейские вожди держали своих пленных. Он надеялся выволить из темницы отца и брата. Но форт был пуст, в

нем оказались лишь мертвые, скончавшиеся от голода. Тех, кого он искал, там не было; может быть, когда ворвались римляне, маккавеи прикончили своих пленных. Может быть, часть из них скрылась в подземелья.

Иосиф углубился в город; он шел среди пожаров и резни с бесстрашной, судорожной деловитостью летописца. Весь этот долгий жаркий день бродил он вверх и вниз по гористым улочкам, по лестницам, проходам, от дворца Ирода к Садовым воротам, к Верхнему рынку, к Ессейским воротам и опять к дворцу Ирода. По этим улицам и закоулкам ходил он тридцать лет, ребенком, юношей, зрелым мужем. Он знал здесь каждый камень. Но он подавил в себе боль, хотел быть лишь оком и орудием письма.

Он ходил без оружия, только золотой письменный прибор висел почему-то у пояса. Было небезопасно расхаживать вот так в побежденном, гибнущем Иерусалиме, особенно — если человек имел сходство с евреем. Он мог бы защитить себя, носи он данный ему Титом знак отличия, пластинку с головой медузы. Но он не в силах был себя заставить.

В третий раз отправился он на улицу Рыбаков, к дому своего брата. Дом был пуст, вся подвижность из него унесена. Теперь солдаты устремились в соседний дом. Его они тоже успели разграбить дочиста и теперь собирались поджечь. Иосиф заглянул через открытые ворота во двор. Там, среди шума и грабежа, стоял старик в молитвенном плаще, с молитвенными ремешками на голове и на руке, с плотно сдвинутыми ногами. Иосиф подошел к нему. Раскачиваясь верхней частью корпуса, старик громко читал молитву, ибо был час восемнадцати молений. Он молился горячо, молилось все его тело, как предписывал закон, и, когда он дошел до четырнадцатого моления, он прочел его старинный текст, принятый во времена вавилонского плена: «Да узреть очам нашим, как ты возвращаешься в Иерусалим, сжалившись, как когда-то». Это были полузабытые слова, их помнили только богословы, слова стали историей, вот уже шестьсот пятьдесят лет, как их не произносил ни один молящийся. Старик же, в первый день, когда эти слова вновь обрели смысл, молился ими, доверчиво, с упованием, ни в чем не сомневаясь. И молитва старика подействовала на Иосифа сильнее, чем все ужасы этого дня. Иосиф почувствовал, как сквозь искусственную черствость наблюдателя в нем вдруг возникла разрывающая сердце скорбь о гибели его города.

Солдаты, занятые горящим домом, до сих пор не интересовались стариком. Теперь они с любопытством окружили его, стали передразнивать: «Яа, Яа», — схватили его, сорвали с него плащ, потребовали, чтобы он повторял

за ними: «Ягве осел, и я слуга осла». Они дергали его за бороду, толкали. Тогда вмешался Иосиф. Властно приказал он, чтобы солдаты оставили старика в покое. Но они и не подумали. Кто он, что приказывает им? Он — личный секретарь командующего, заявил Иосиф, и действует с его согласия. Разве ему не было дано разрешение выпросить свободу семидесяти пленным? Ну, так может каждый сказать, заявили солдаты. Они переговаривались, разъяренные, размахивали оружием. Не еврей ли он сам, с этой своей еврейской латынью, да еще без доспехов? Они выпили вина, им хотелось видеть кровь. Со стороны Иосифа было безумием вмешиваться, поскольку он не мог предъявить письменного приказа. Из Иотапаты и из скольких еще опасностей выбрался он цел и невредим, а теперь вот умрет здесь нелепой смертью, жертвой ошибки пьяных солдат. Вдруг его осенило.

— Посмотрите на меня,—потребовал он от солдат.— Если я действительно находился среди осажденных, разве я не был бы хунее?

Это показалось им убедительным, они отпустили его.

Иосиф пришел к принцу. Принц был в дурном настроении. Срок, который он поставил себе, истек. Иерусалим пал; завтра, самое позднее — послезавтра он поедет верхом в Текоа. Предстоящее с этой женщиной объяснение не из приятных.

Иосиф скромно попросил о письменном разрешении, чтоб получить для своих семидесяти человек обещанную принцем свободу. Неохотно написал Тит разрешение. Пока он писал, он бросил Иосифу через плечо:

— Почему вы, собственно, никогда не просили у меня позволения вызвать сюда вашу Дорион?

Иосиф помолчал, удивленный.

— Я боялся,—ответил он затем,— что Дорион помешает мне так пережить наш поход, принц Тит, чтобы я мог его потом описать.

Тит ворчливо сказал:

— Вы, евреи, ужасно последовательны.

Эти слова обидели Иосифа. Он собирался просить больше, чем о семидесяти человеках; но, увидев настроение принца, раздумал. Сейчас главное — чтобы Тит подарил ему большее число человеческих жизней. Осторожно, очень смиренно он попросил:

— Пишите не семьдесят, цезарь Тит, пишите сто.

— И не подумаю,—отозвался принц. Он злобно посмотрел на Иосифа, его голос прозвучал так же вульгарно, как и голос его отца.— Сегодня я не дал бы тебе и семидесяти,—добавил он.

В другое время Иосиф никогда бы не решился настаивать на своей просьбе. Но его словно что-то толкало. Он

должен настаивать. Он будет навеки отвержен, если не настоит.

— Подарите мне семьдесят семь, цезарь Тит,— попросил он.

— Молчи!—сказал Тит.—Я охотно отнял бы у тебя и эти семьдесят.

Иосиф взял дощечку, поблагодарил, приказал дать ему солдат, вернулся в город.

С дарящей жизнь дощечкой у пояса шел он по улицам. Они были полны убийством. Кого спасти? Встретить в числе живых отца, брата—на это мало надежды. У Иосифа были в Иерусалиме друзья, среди них женщины, с которыми он охотно встречался, но он знал, что не ради них тогда, над пропастью с трупами, смягчил Ягве сердце Тита. И не ради них Иосиф с такой дерзкой настойчивостью приставал к Титу. Это хорошо, это заслуга—спасать людей от смерти, но что такое какие-то несчастные семьдесят человек в сравнении с умирающими здесь сотнями тысяч? Он еще не хочет верить, он из всех сил отгоняет его, но перед внутренними очами Иосифа встает одно лицо.

Вот оно, его он ищет.

Он ищет. Он должен найти. У него нет времени, он не смеет отказываться. Их сотни тысяч, а он должен среди них отыскать одного. Дело не в каких-то неизвестных семидесяти, дело в одном, вполне определенном. Кругом царит убийство, а у него за поясом дарующая жизнь дощечка, и в груди—трепетное сердце. И он должен проходить мимо остальных, должен найти одно это, определенное лицо. Но если видишь, как уничтожают людей и у тебя есть средство сказать «живи», тогда трудно пройти мимо, благоразумно дожидаясь определенного лица, молча. И Иосиф не проходил молча, он говорил «живи», он показывал на одного,—потому что ему было так страшно умирать, и на другого, потому что он был так молод, и на третьего, потому что его лицо ему понравилось. И он говорил «живи», говорил пятый, десятый, двадцатый раз. Затем снова собирал все силы разума,—у него же есть определенная задача,—принуждал себя проходить мимо людей, которые умирали, когда он проходил, но долго не выдерживал и уже говорил ближайшему «живи», следующему—и многим. Лишь когда он вырвал у рычавших, неохотно подчинявшихся солдат пятидесятого, им вновь овладела мысль о его задаче, и он перестал спасать. Он не имеет права на эту дешевую жалость, иначе он окажется ни с чем, когда найдет того, кого ищет.

Он бежит от себя самого в синагогу александрийских паломников. Теперь он добудет семьдесят свитков Свя-

щенного писания, дарованных ему Титом. Грабители уже успели побывать и в синагоге. Они вытащили из ящиков священные книги, сорвали с них драгоценные затканые обложки. И вон они валялись на земле, эти благородные свитки, покрытые ценнейшими знаками, в лохмотьях, в крови, истоптанные солдатскими сапогами. Иосиф неловко наклонился, бережно поднял из навоза и крови опозоренный пергамент. В двух местах из пергамента было что-то вырезано. Иосиф обвел глазами контуры выреза, они имели форму человеческой ступни. Он понял, что солдаты не нашли ничего лучшего, как вырезать себе из свитков стельки для обуви. Механически восстановил он текст первого недостающего места: «Пришельца не притесняй и не угнетай его; ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской».

Медленно собрал Иосиф растерзанные свитки, поднял их, поднес благоговейно ко лбу, ко рту, как того требовал обычай, поцеловал. Он не мог доверить их рукам римлян. Он вышел на улицу, чтобы найти евреев, которые отнесли бы их к нему в палатку. Тут он увидел процессию, направляющуюся к Масличной горе,— очевидно, пленные, которых захватили с оружием в руках. Их бичевали, на их иссеченные затылки римляне взвалили поперечные перекладыны крестов, привязав к ним их вывернутые руки. Так тащили они сами к месту казни те кресты, на которых должны были умереть. Иосиф видел угасшие, искаженные лица. Он забыл о своей задаче. Он приказал остановиться. Предъявил начальнику охраны свою дощечку. Оставалось еще двадцать жизней, которые он мог спасти, но пленных было двадцать три человека. С двадцати—поперечные перекладыны были сняты, люди были полумертвы от бичевания, они тупо смотрели перед собой, они ничего не понимали. Вместо перекладыны они получили теперь свитки Писания и вместо Масличной горы—отправились в римский лагерь, к палатке Иосифа. Странная это была процессия, шествовавшая через город, и солдаты над ней безумно потешались: впереди Иосиф, со своим золотым прибором у пояса, положив на сгиб каждой руки по свитку, он нес их нежно, словно это были дети, а за ним—избитые, спотыкающиеся евреи, тащившие остальные свитки.

Тит проехал часть дороги до Вифлеема очень быстро, между Вифлеемом и Текоа он замедлил бег своего коня. Задача, предстоящая ему, трудна. Имя ее—Береника. Хуже всего то, что за нее нельзя драться, ничего нельзя предпринять. Можно только встать перед ней и ждать, как она решит, угодил ты ей или не угодил.

Дорога начала круто подниматься в гору. Селение Текоа стоит на скале, голое и покинутое, за ним — пустыня. Комендант поселка выстроил своих солдат для встречи полководца. Тит принимает его рапорт. Значит, это и есть тот капитан Валент, который срубил рощу. Лицо не глупое и не умное, но честное, мужественное. Он получил приказ рубить — срубил. Удивительно, что Титу никак не удастся сдержать свое слово, данное этой женщине.

Вот ее дом. Он расположен на вершине скалы, маленький, ветхий, построенный когда-то для маккавейских принцев, которых ссылали в пустыню. Да, отсюда видна пустыня. Вопреки всему, Береника ушла в пустыню.

Перед домом появляется какой-то парень, грязно одетый, без ливреи. Тит посылает его в дом сказать принцессе, что он здесь. Он не известил ее заранее о своем приезде, может быть, она даже не примет его. Он ждет — обвиняемый — своего судью. Не потому, что он сжег храм. Не дела его стоят перед судом — перед судом его сущность, то, что он есть. Его лицо, его поза — это одновременно и самообвинение, и защита. Вот стоит он, начальник над многими сотнями тысяч солдат и огромным военным имуществом, человек, имеющий неограниченные полномочия на востоке, от Александрии до границ Индии, и все-таки его дальнейшая жизнь зависит от того, скажет ему эта женщина «да» или «нет»; и он беспомощен, он может только ждать.

Ворота наверху открываются, она выходит. Собственно говоря, вполне естественно, что она принимает его как почетного гостя, — его, главнокомандующего, хозяина страны, — но для Тита облегчение уже одно то, что она стоит там, наверху, что она здесь. На ней обычное простое платье, четырехугольное, из одного куска, как носят местные уроженки, и она прекрасна, она царственна, она — женщина. Тит устался на нее, одержимый, смиренный, покорный. Ждет.

А Береника знает, что сейчас в последний раз держит свою судьбу в своих руках. Она предвидела, что настанет день, когда Тит придет к ней, но она не подготовилась; она рассчитывала, что бог, ее бог Ягве, в должную минуту подскажет ей должное. Она стоит на площадке лестницы, она видит его, его жажду, его страсть, его смирение. Он все вновь нарушал свое слово, он совершил над ней насилие и снова совершит. Пусть он полон лучших намерений, он он — варвар, он сын варваров, и это в нем сильнее его добрых намерений. Ничто больше не связывает ее, между ними все порвано, прошлое отжито. Она может, она должна решать заново. До сих пор она

могла говорить, что сошлась с Титом ради храма. Теперь у нее нет никакого предлога, Тит сжег храм. С кем будет она отныне—с иудеями или с римлянами? В последний раз дано ей решать. Куда пойти? К этому Титу? Или в Ямнию, к Иоханану бен Заккаи, хитроумно и величественно воссоздающему иудаизм, более сокровенный, духовный, гибкий и все же более устойчивый, чем раньше? Или уехать к брату и вести жизнь высокопоставленной дамы, жизнь деятельную и пустую? Или уйти в пустыню—ждать, не раздастся ли голос? Береника стоит и смотрит на этого человека. Она чувствует идущий от него запах крови, она слышит грозное «хеп, хеп», которое слышала в лагере и которое, безусловно, звучало и в сердце этого человека. Лучше бы ей вернуться в дом. За домом начинается пустыня, там хорошо. Она приказывает себе вернуться. Но она не возвращается, она стоит на месте, ее левая нога еще на пороге, правая—уже переступила его. Вот она поднимает и левую, она медленно переносит ее, она приказывает себе: назад! Но она не идет назад. Еще на одну ступеньку ниже опускает она ногу и еще на одну. Она погибла, она знает. Она берет это на себя, она хочет погибнуть. Она спускается по лестнице.

Мужчина, стоящий внизу, видит, как Береника приближается, как она сходит вниз, к нему навстречу. Вот она, изумительная, обожаемая поступь Береники, и этой поступью принцесса идет к нему. Он стремительно бросается ей навстречу, взбегаєт по лестнице. Сияет. Лицо у него совсем юное, лицо счастливого мальчика, над которым благословение всех богов. Он поднимает руку, повернув к Беренике открытую ладонь, взбегаєт выше, ликует:

— Никион!

Ночь он проводит в маленьком заброшенном домике. На другой день едет обратно в Иерусалим, осчастливленный. Он встречает Иосифа.

— Ты, кажется, хотел получить семьдесят семь пленных?—спрашивает Тит.—Ну вот, получай.

Иосиф, засунув за пояс дощечку с разрешением главнокомандующего, отправился на женский двор храма, который был приспособлен под лагерь военнопленных. Все эти дни его угнетала мысль, что он так дешево разменял свое право освобождать. Поиски, полные надежды и муки, начались теперь сызнова.

Начальником над лагерем военнопленных был все еще офицер Фронтон, он успел за это время дослужиться до полковника. Он лично берется сопровождать Иосифа. Он не любит еврея, но знает, что Иосифу поручено написать книгу об этой войне, и ему хочется быть в книге

положительной фигурой. Он объясняет Иосифу, как трудно заведовать таким огромным лагерем. Рынок рабов набит людьми до отказа. А как нужно весь этот сброд откармливать, чтобы довести их до человеческого вида! Они совсем отощали, его дорогие детки, кожа да кости, многие больны заразными болезнями. За одну эту неделю отправилось к праотцам одиннадцать тысяч. Впрочем, они сами виноваты. Наши легионеры добродушны, они склонны пошутить, они нередко предлагают пленным своей свинины. Но представьте, эти типы предпочитают сдохнуть, чем съесть свинины.

Пленных, которые были при оружии, Фронтон, конечно, не кормит,—он сейчас же их казнит. Что касается остальных, то он старается, чтобы их выкупали родственники. А от тех, кого не выкупят, он надеется в течение примерно полугода отделаться с помощью нескольких крупных аукционов. Пленных, не имеющих рыночной цены, пожилых, слабых мужчин, пожилых женщин, ничего не умеющих, он ликвидирует довольно просто, поставляя их как материал для травли дикими зверями и для военных игр.

Медленно, молчаливо шел Иосиф рядом с усердствовавшим полковником Фронтоном. На груди пленных висели таблички с их именами и краткой характеристикой; они сидели на корточках или лежали плотной кучей среди жары и вони; их глаза в течение многих недель видели смерть; они извели до дна и надежду и страх, теперь в них ничего не осталось, они были опустошены.

Часть двора, через которую проходили Иосиф и полковник, была отведена пленным, предназначенным для травли зверями и для военных игр.

— Доктор Иосиф!—окликнул Иосифа один из пленных жалобно и радостно, старик, взъерошенный, с серым лицом, патлатый.

Иосиф порылся в своей памяти, не узнал его.

— Я стеклодув Алексей,—сказал человек.

Как, этот вот человек—умный, практичный купец Алексей? Статный, плотный Алексей, сверстник Иосифа?

— Я встретился с вами в последний раз на ярмарке в Кесарии, доктор Иосиф,—напомнил он ему.—Мы говорили о том, что человек, который следует разуму, обречен на страданье.

Иосиф обратился к Фронтому:

— Мне кажется, этот никогда не был бунтовщиком.

— Мне его передала следственная комиссия,—ответил, пожав плечами, Фронтон.

— Римское судопроизводство поставлено неплохо,—скромно вмешался Алексей и с легкой улыбкой,—но здесь оно иногда применяется несколько упрощенно.

— Малый неглуп,— засмеялся Фронтон.— Но куда бы мы зашли, если бы пересматривали все решения? Это противоречило бы нашим общим установкам. Лучше допустить несправедливость, чем нарушение порядка,— таков был приказ командующего, когда он передал мне управление этим лагерем.

— Не хлопчите за меня, доктор Иосиф,— покорно сказал Алексей.— На меня уже обрушилась такая гора несчастий, что никакая дружеская помощь через нее не перелетится.

— Я прошу за этого человека,— сказал Иосиф и указал на свою дощечку.

— Как вам угодно,— вежливо отозвался полковник Фронтон.— Теперь у вас осталось еще на шесть штук,— констатировал он и сделал свою пометку на дощечке.

Иосиф приказал отвести стеклодува Алексея в свою палатку. Он окружил измученного, скорбящего человека нежной заботой. Алексей рассказал, как он при появлении римлян потащил отца в подземелье, чтобы спасти и его и себя. Старик Нахум воспротивился этому. Если он погибнет в доме на улице Торговцев мазями, то есть хоть слабая надежда на то, что кто-нибудь найдет его и похоронит. Если же он умрет в подземелье, то останется непогребенным, без земли над ним, и когда восстанет из мертвых, потеряет свое лицо. Наконец Алексею удалось, отчасти силой, отчасти убеждением, увести старика в подземелье, но их факел скоро погас, и они потеряли друг друга. Его самого спустя некоторое время выследили двое солдат. Они пощекотали его мечами, и он дал им кое-что из зарытого им. Так как он намекнул им, что у него есть еще кое-что, они оставили его пока при себе и не сдали в лагерь военнопленных. Они оказались занятыми, обходительными парнями, и, самое главное, с двумя солдатами можно было сговориться, с римской же армией, с лагерным начальством сговориться было нельзя. Они заставляли его рассказывать смешные вещи. А если его шутки солдатам не нравились, они привязывали его вниз головой за руки и за ноги к древесному стволу и раскачивали взад и вперед. Это было неприятно. Но обычно его шутки им нравились. Солдаты оказались не из худших, в общем — все трое ладили. Больше недели таскали они его за собой, заставляли проделывать перед другими солдатами всякие фокусы, острить. Еврейский акцент, с каким он говорил по-латыни, забавлял их и их товарищей. Наконец они решили, что он годится в привратники, и хотели оставить его у себя, пока не продадут как привратника. Это его устраивало. Все же лучше, чем погибнуть в египетских копиях или на сирийской арене. Но его два хозяина, спустившиеся вторично в подземелье, не возвратились, и

их товарищи по палатке отвели его в лагерь военнопленных.

— Все это случилось со мной,—размышлял вслух Алексей,—оттого, что я не следовал голосу разума. Уберись я своевременно из Иерусалима, я сохранил бы, по крайней мере, жену и детей, но я хотел иметь все, хотел сохранить и отца и брата. Меня обуяла гордыня.

Он попросил Иосифа принять от него в подарок муррийскую вазу. Да, у этого мудрого Алексея все еще имелись какие-то резервы. Ему многое удалось спасти, говорил Алексей с горечью, только самого главного он не спас. Его отец Нахум, где он? Его жена Ханна, его дети, его дорогой, пылкий, глупый брат Эфраим—где они? И то, что пережил он сам, Алексей, превосходит человеческие силы. Он будет выделывать стекло и иные прекрасные предметы. Но он не заслужил милости перед богом, он не решится снова родить в этот мир ребенка.

На следующий день Иосиф опять прошел через лагерь. Теперь в его руках осталось только шесть человеческих жизней; он не раздаст их, пока не отыщет одного, определенного человека. Но как ему отыскать этого одного—среди миллиона мертвых, пленных, несчастных? Это все равно что искать рыбу в море.

Когда Иосиф пришел в лагерь и на третий день, капитан Фронтон стал его поддразнивать. Он, дескать, рад, что Иосиф больше интересуется его товаром, чем любой торговец рабами. Иосиф не обращал внимания на его слова, он проискал и весь этот день, но тщетно.

Поздно вечером он узнал, что, в результате полицейской облавы в подземелье, оттуда доставлено восемьсот пленных, которых Фронтон сейчас же приговорил к распятию. Иосиф уже лег, он устал, измучился. Однако он опять оделся.

Была глубокая ночь, когда он достиг Масличной горы, где происходили казни. Густо стояли кресты, сотнями. Там, где раньше находились террасы с оливковыми деревьями, склады братьев Ханан, виллы, принадлежавшие первосвященническому роду Боэтус, всюду высились теперь кресты. На них висели нагие люди, исполосованные бичами, сведенные судорогами,—голова набок, отвалившаяся нижняя челюсть, свинцово-серые веки. Иосиф и его спутники осветили некоторые лица, они были чудовищно искажены. Когда свет падал на их лица, распятые начинали говорить. Некоторые произносили проклятия, большинство бормотало свое: «Слушай, Израиль». Иосиф устал до потери сознания. Его охватывало искушение сказать о первом попавшемся: «Снимите, снимите»,—не выбирая, лишь бы положить конец мучительным поискам. Дощечка, дававшая ему власть, казалось, становится все

тяжелее. Только бы прочь отсюда, только бы заснуть, дойти до семьдесят седьмого, освободиться от дощечки. И в палатку, свалиться, спать.

Тут-то он и нашел того, кого искал. У Желтолицего торчала патлами свалывшаяся борода, и лицо его уже не было желтым, скорее серым, толстый обложенный язык вывисал из разинутого рта.

— Снимите!—сказал Иосиф; он сказал это очень тихо, ему было трудно говорить, он давился, глотал слюну.

Профосы колебались. Пришлось позвать полковника Фронтон. Иосифу казалось, что, пока он здесь ожидает у ног Желтолицего, тот умрет. Он не должен умереть. Великий диалог между ним и Юстом не кончен. Юст не смел умереть, пока диалог не закончится.

Наконец пришел Фронтон, заспанный, сердитый,—за день он очень устал. Несмотря на это, он, как всегда, вежливо выслушал Иосифа. Тотчас приказал снять Желтолицего и отдать Иосифу.

— У вас осталось еще пять штук,—сказал он и сделал пометку на Иосифовой табличке.

— Снимите! Снимите!—указал Иосиф еще на пятерых ближайших.

— Теперь больше нет ни одного,—констатировал полковник.

Желтолицый был пригвожден, это был более мягкий способ, но снятие именно поэтому оказалось очень трудным. Он провисел пять часов—для сильного человека немного, но Желтолицый не был сильным человеком. Иосиф послал за врачами. От боли Желтолицый пришел в себя, вновь потерял сознание, затем боль опять вернула ему сознание. Явились врачи. Им сказали, что дело идет о жизни еврейского пророка, который снят с креста по приказу принца. Такие вещи происходили не часто. Лучшие врачи лагеря заинтересовались этим случаем. Иосиф требовал от них ответа. Они отвечали уклончиво. Раньше чем через три дня они не могут сказать, выживет Юст или нет.

Иосиф шел рядом с носилками, на которых несли Юста в лагерь. Юст его не узнал. Иосиф смертельно устал, но он чувствует глубокий покой, в сердце у него звучат слова благодарственной молитвы за избавление от большой опасности. Сон не освежил бы его, пища не утолила бы голода, книги не дали бы познания, успех—удовлетворения, если б этот человек умер или пропал без вести. Иосиф лежал бы рядом с Дорион, не испытывая счастья. Он писал бы свою книгу, не испытывая счастья. Теперь этот человек здесь, Иосиф может с ним помериться силами,—единственный, с которым стоит. «Ваш доктор

Иосиф — негодяй». Иной вкус у слова, когда его слышишь, и иной, когда произносишь. Ему следовало бы это помнить. Иосиф чувствует глубокое спокойствие, легкость, завершенность. Он спит крепко и долго, почти до полудня.

Он подходит к ложу Юста. Врачи все еще отмалчиваются. Иосиф не отходит от ложа. Весь день Желтолицый лежит без памяти. На второй день он начинает бредить, у него ужасный вид. Врачи пожимают плечами, вероятно, он не выживет. Иосиф сидит у ложа. Он не спит, не меняет одежды, на его щеках начинается кудрявиться растительность. Он спорит с Ягве. Зачем щадил его Ягве при стольких превратностях судьбы, если теперь отказывается даровать ему великое объяснение с Юстом? За ним посылает принц. Береника посылает за ним — пусть придет в Текоа. Иосиф не слышит. Он сидит у Юстова ложа, не спуская глаз с больного, повторяет про себя разговоры, происходившие между ними. Великий диалог не кончен. Юст не смеет умереть.

На четвертый день лечения врачи отнимают у больного нижнюю часть левой руки. На восьмой — объявляют спасенным.

Теперь, когда Иосиф знает, что Юст вне опасности, он уходит от его ложа, оставив известную сумму денег, и перестает им интересоваться. Как ни жаждал он признания, он вовсе не желал выступать перед Юстом в роли спасителя его жизни. Когда-нибудь великий спор с Юстом будет иметь продолжение, этого достаточно.

В эти дни Тит попросил Иосифа об одной услуге. Принц радовался тому, что им достигнуто в Текоа; но он все еще продолжал испытывать неуверенность во всем, что касалось этой еврейки. Он не решался думать о дальнейшем. Что будет, когда он покинет страну? Он поручил Иосифу выведать у Береники, не поехала ли бы она в Рим.

В Текоа в заброшенном домике встретились Иосиф и Береника, оба одинаково опустошенные. Разве ее жизнь, то, что она унизила себя до римлянина, — все это не обретало смысл только в одном: в спасении храма? Ныне храм погиб, и оба они — улитки без раковин. Но они — из одного материала, и они не стыдятся друг перед другом своей наготы. Беспощадно и трезво созерцают они свое убожество. Теперь предстоит, не имея корней, создать себе новую почву, опираясь лишь на свои способности. У него — его книга и честолюбие, у нее — честолюбие и Тит. Будущее для них обоих — Рим.

Да, разумеется, она поедет в Рим.

Ее согласие очень ободрило принца. Он чувствовал себя обязанным Иосифу.

— У вас есть земельная собственность в Новом городе, мой Иосиф?—спросил он.—Вы, наверно, должны были унаследовать недвижимость и от отца? Все иерусалимские земли я отберу для легиона, который здесь оставляю как знак оккупации. Укажите мне точные цифры ваших потерь, я возьму их из конфискованных земель.

Иосиф обрадовался этому подарку. С холодной, расчетливой деловитостью привел он в порядок свои дела в Иудее. Он покидал страну и хотел, чтобы все за ним было в порядке.

Тит целиком стер Иерусалим с лица земли, как поступили некогда победители-полководцы с городами Карфагеном и Коринфом. Он сохранил только башни Фасаила, Мариамны и Гиппика, а также часть западной стены, в доказательство того, как великолепен и как укреплен был город, побежденный его удачей.

24 октября, в день рождения своего брата Домициана, этого «фрукта», Тит устроил на кесарийской арене торжественные празднества, для которых доставил в особенном изобилии человеческий материал, состоявший из пленных евреев.

— Приди и посмотри!—сказал он Иосифу.

Иосиф пошел. Сначала через арену прошли две тысячи пятсот участников, затем две группы евреев—одни должны были изображать защищавшихся, другие—нападавших: инсценировался штурм городской стены. Они набросились друг на друга, эти бородатые жалкие люди, они уродливо подпрыгивали, когда получали неуверенный смертельный удар. Тех, кто обнаружил трусость, гнали на бой кнутами и раскаленным железом. Против тех же, кого ничем нельзя было заставить биться со своими соплеменниками, выслали тренированных бойцов-рабов. Театральные служители в масках Гадеса, бога подземного царства, подбирали убитых, пробуя факелами, не симулируют ли они смерть. Арена была полна криков: «Слушай, Израиль, Ягве един!» Некоторые умирали, по мнению зрителей, слишком скучно. Им кричали:

— Что вы, тряпки стираете, что ли? Это щекотка, а не сражение. Живей, ты, бородач, живей, старикан! Будьте любезны. пошевеливайтесь! Не умирайте же так жалостно, вы, пачкуны!

Иосиф слышал эти восклицания. Ну да, публике было сказано, что там, в Иерусалиме, евреи умирали серьезно и прилично, и теперь она разочарована, что ей не показали этого зрелища.

Нелегко было, в конце концов, избежать однообразия. На пленных выпустили африканских львов, слонов из Индии, германских зубров. Некоторые из обреченных евреев были в праздничных одеждах, других заставили

накинуть молитвенные плащи, белые, с черными каймами и голубыми кистями, и было так красиво, когда плащи краснели от крови. Многих мужчин и женщин выгнали на арену нагими, чтобы зрители могли наблюдать игру мускулов в процессе умирания. Несколько сильных, хорошо вооруженных мужчин выставили против слона. Люди, охваченные печалью и отчаянием, успели нанести животному несколько серьезных ран, пока оно, трубя и разъярившись, не растоптало их, и публика пожалела слона.

Не забыли и о юморе. Многих заставили умирать в нелепо смешных масках. У нескольких стариков одну сторону лица и головы обрили, а на другой оставили длинные волосы и белую бороду. Некоторых вынуждали бежать в одеждах из легко воспламеняющихся материй; эти одежды вспыхивали во время бега; а в двухстах метрах находился бассейн с водой, и кто успевал добежать до него, казалось, мог бы спастись. Смешно было видеть, как они задирали ноги, задыхались, бросались в воду,—даже те, кто не умел плавать. Много смеху вызвала также и лестница, приставленная к стене, которую надо было взять штурмом. Разряженные смертники должны были влезать на нее, лестница же была смазана чем-то скользким, и они падали прямо на поднятые копы.

Так в течение двух дней умирали на кесарийском стадионе иудеи, все две тысячи пятьсот, на потеху римлянам. Два дня Иосиф видел и слышал, как они умирают. Порой ему казалось, что он узнает знакомые лица, но, вероятно, это ему только казалось, так как Фронтон отобрал для этого празднества в большинстве своем безымянный народ, бедняков-крестьян и пролетариев из провинций. «И я видел это,—мог добавить впоследствии Иосиф, описывая празднество.—Мои очи видели это».

Близилося время, когда Иосифу предстояло покинуть Иудею,—и, вероятно, навсегда. Он долго колебался, повидаться ему с Марой или нет. Отказал себе в этом. Обеспечил ее приличной пенсией и предоставил право жить в одном из дарованных ему Титом поместий на Изреельской равнине.

Евреи заметили Иосифа, когда он шел на празднество. Они ненавидели и презирали его, соблюдали семь шагов расстояния. Никто не провожал его, когда он садился на корабль, отплывавший в Италию.

Исчезла из глаз Кесарийская гавань, колоссальная статуя богини—покровительницы Рима, статуя императора Августа. Затем исчез форт Стратона, затем лиловые горы Иудеи, наконец—вершина горы Кармил. Иосиф был

на пути в Рим. Из Иудеи он увозил с собой только воспоминание о том, что видел, семьдесят свитков Писания и маленький ларчик с землей, выкопанной из-под иерусалимского пепла.

В конце Аппиевой дороги, там, где находилась гробница Цецилии Метеллы, возница сделал обычную остановку, и Иосиф взглянул на широко развернувшуюся перед ним картину города. Стоял прохладный мартовский день, город был залит светом. Рим, Сила, Гевура, он разросся еще мощнее с тех пор, как Иосиф уехал в Иерусалим. То, о чем он некогда только мечтал, глядя впервые с Капитолия на Рим, было теперь так близко, что стоило только протянуть руку. Император и принц просят его слова—слова и духа о духе Востока.

Иосиф горестно сжимает губы. Увы, доктор Иоханан бен Заккаи прав. То, что ему казалось тогда концом, это только начало. Слияние восточной мудрости с западной техникой—дело чрезвычайно трудное и неблагоприятное.

Экипаж катился дальше; остановился у ворот. Иосиф не известил Дорион о своем приезде. Он любит Дорион, он не забыл ее, какой она впервые стояла перед ним с кошкой на руках, не забыл ее звонкий голосок маленькой девочки, который он так любил, не забыл, как она прижималась к нему своим длинным бронзовым телом—неистово, самозабвенно, покорно. Но между ними стоит теперь столько других образов, столько событий, в которых она не участвовала. Он подождет, он не станет будить в ней надежд, он посмотрит, проверит, живо ли еще между ними то неуловимое, что было когда-то.

Дом Дорион невелик, он имеет приятный, современный вид. Раб-привратник спрашивает Иосифа, что ему угодно. Иосиф называет себя; привратник низко перед ним склоняется, убегает. Иосиф остается в приемной один, лицо его мрачнеет. Все кругом украшено картинами, статуями, мозаикой, вероятно, принадлежащими Фабуллу. Зачем он здесь? Ему здесь нельзя жить.

Но вот появляется Дорион. Как и тогда, над ее крутой детской шеей легко и чисто выступает узкое лицо с крупным ртом. Она стоит и смотрит на него своими глазами цвета морской воды, и они постепенно темнеют. Ей хочется улыбнуться, но она совсем ослабела, у нее нет сил даже на улыбку. Так долго ждала она его, и теперь—благодарение богам—он здесь. Она боялась, что эта отвратительная Иудея его поглотит навсегда, и вот—благодарение богам—он вернулся. Она бледнеет, сначала вокруг рта, затем бледность разливается по всему лицу, она смотрит на него, и вот она уже идет к нему, издает короткий пронзительный крик и скользит вдоль его тела

вниз, ему приходится поддержать ее. Вот она, смугло-желтая кожа этой девочки, которую он любит. Она сладостна и шелковиста, но как холодна она, эта кожа, оттого что девочка его любит.

Минуты проходят, оба не произнесли еще ни слова. Она—сладость мира. Когда она скользнула вдоль его тела, смертельно побледнев, обессилев от волнения, он почувствовал слабость в коленях. «Не сочетайся...» Перед ним—его книга, голый ландшафт с ущельем мертвых, храмовый холм, пылающий от самого основания и до верхушки. На что ему эти нелепые мозаики, эти несложные приветливые картины домашней жизни? Что ему здесь нужно? Что нужно этой женщине? Он здесь совсем чужой.

— Ты здесь совсем чужой,—говорит она.

Вот ее первые слова после года разлуки. Она держит его за плечи, она вытянула руки, она смотрит ему в лицо. Она говорит: «Ты здесь совсем чужой»,—она просто констатирует это, серьезно, без жалобы. Она любит его, вот почему она знает.

Жалкие утешения, жалкая ложь не имеют смысла.

— Да,—отвечает он.— Я не могу жить здесь. Я теперь не могу жить с тобой, Дорион.

Дорион не противоречит. Она чувствует, что это уже не ее Иосиф—он иной, полный образов, которых она не знает. Но она принадлежит ему и такому, она кротка и мужественна, она завокует его и таким. Дорион не удерживает его.

— Когда ты захочешь меня—позови,—говорит она.

Иосиф уходит. Он чувствует себя в Риме очень чужим. Проталкиваясь через толпу, идет он по улицам, под колоннадами. Когда он видит знакомые лица, он отворачивается, ему ни с кем не хочется разговаривать. После некоторых колебаний он решается, идет к Клавдию Регину.

У издателя утомленный вид, все его мясистое лицо обвисло.

— Благословен твой приход,—осклабливается Регин.— Ну, мой пророк, как поживает ваша книга? Ваше пророчество сбылось, правда довольно своеобразно. Я думаю, вы могли бы теперь приняться за работу. Или вы хотите увильнуть?

— Я не увильваю,—упрямо отвечает Иосиф.— Вы не знаете, как бывало иной раз трудно. Но я от себя не увильвал.

— Я встречался с вашей женой, с прекрасной египтянкой,—сказал издатель.

— Я не буду жить с Дорион,—сказал Иосиф,—пока я пишу эту книгу.

Регин поднял голову.

— Странно,— заметил он.— Тем более что причина книги—именно эта дама.

— Повод, может быть,—уклончиво ответил Иосиф.

— Если вы хотите жить у меня, мой дом к вашим услугам,—сказал издатель.

Иосиф колебался.

— Я бы хотел жить один,—сказал он,—пока я пишу книгу.

— Кажется,—сказал Клавдий Регин,—император хочет поместить вас в доме, где он сам жил раньше. Дом-то мрачноватый, его величество всегда был бережлив, вы знаете.

Иосиф поселился в этом доме. Дом был большой, темный, заброшенный. Он жил в нем с одним-единственным рабом, не следил за своей внешностью, ел только по необходимости. Он никому не дал знать, что находится в Риме. Он бродил по улицам в часы, когда они бывали наиболее пустынные, видел приготовления к триумфу. Всюду уже возводились заграждения, трибуны. На стенах, на воротах появились гигантские портреты императора Тита, изречения, прославлявшие цезарей, высмеивавшие побежденную Иудею. Чудовищно увеличенные, тупо глядели на Иосифа рожи императора и принца, пустые, грубые, искаженные; все знакомое в них исчезло, это были лица Педана.

Однажды под колоннадами Марсова поля Иосиф столкнулся с носилками сенатора Маруллы. Иосиф хотел проскользнуть мимо, но сенатор заметил его.

— А вы сделали карьеру, молодой человек,—констатировал он.—Вы изменились. Да, человека создает судьба.—Он разглядывал его через свой увеличительный смарагд.—Помните, как я информировал вас насчет Рима, тогда, в Большом цирке? Это было пять лет тому назад. Я тогда уже понял, что вас стоит информировать. Вы правильно учли минуту и встали на сторону тех, кто прав.

Он не отпустил его, взял с собой, стал рассказывать. Он работал сейчас над шуточной пьесой, которая пойдет в Театре Марцелла в начале триумфальной недели. Герой пьесы—еврей Захария, военнопленный, приговоренный к участию в военных играх. Роль исполнит актер Деметрий Либаний. Пленный Захария умрет в единоборстве с другим пленным. Страх еврея перед смертью, его мольбы, надежда, что, вопреки всему, его помилуют, то, как он не хочет сражаться, затем все-таки сражается,—все это богатый материал для множества смешных сцен, острот, танцев, куплетов. Не решен только вопрос относительно конца. Было бы восхитительно найти двойника Либания,—теперь такой богатый выбор,—настолько похожего, что

родная мать не отличила бы его от актера, и пусть этого двойника прикончит профессиональный боец. С другой стороны, публика уже сыта по горло всеми этими распятиями и умирающими евреями. Может быть, лучше, если пленный Захария будет помилован. Его радость возвращенного к жизни — неплохая тема, и он мог бы под конец в благодарность вытащить из тайника свои сокровища и раздать их публике. Можно повернуть дело и так, что его в конце концов распинают, а потом приходит некто и снимает его с креста. «Разве не то же самое сделали вы, Иосиф Флавий?» И потом он с креста бросает в публику деньги, монеты, отчеканенные в честь победы?

Иосифу пришлось провести у сенатора весь вечер, у него и обедать. Тощий, умный хозяин интересовался множеством второстепенных деталей похода, он подробно расспрашивал Иосифа. В свою очередь, он мог тоже сообщить ряд новостей. Уже решено, что из тех представителей побежденных евреев, которые должны идти в триумфальном шествии, казнь, совершаемая обычно во время триумфа, будет приведена в исполнение только над Симоном бар Гиорой. Оба других, Иоанн Гисхальский и первосвященник Фанний, будут после триумфа проданы в рабство. Есть три покупателя: Муциан, министр Талассий и он сам. У него есть основания думать, что с его желанием посчитаются. Эта госпожа Кенида берет не дешево, но он не скряга. Кого Иосиф посоветует ему купить — главнокомандующего или первосвященника?

На другой день Иосиф пересилил себя и отправился к актеру Деметрию Либанию. Он нашел его удивительно постаревшим и издерганным.

— Ах, вот и вы, — встретил его Деметрий. — Конечно, без вас не обойдуся. Я вас, собственно, давно поджидаю.

Он был полон враждебной иронии. Иосиф постепенно понял: этот человек винил себя в гибели храма. Он привел Иосифа к Поппее, в сущности, это он добился амнистии трех старцев, а разве все зло не выросло из этой амнистии? Амнистия, эдикт о Кесарии, восстание, сожжение храма — все это звенья одной цепи. И первым звеном оказался он. От него зависело тогда, сыграть еврея Апеллу или нет. Вопрос о сохранении храма или его гибели, судьбу храма Ягве отдал в руки Деметрия, и его несчастливая рука вытянула жребий гибели.

Актер встал. Он начал декламировать великое проклятие из Пятой Книги Моисея. Правда, он никогда не видел и не слышал ни одного из тех истинных и ложных пророков, которые в последние десятилетия объявились в Иерусалиме, но в нем было что-то от жеста этих пророков, в его греческой речи — что-то от их напевности. Актер Либаний не отличался статностью, он был скорее

маленького роста, но сейчас он высился перед Иосифом, словно сумрачное дерево.

— «Утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!», а вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!», от трепета сердца твоего». — Жутко, как грозные валы, изливались мрачные проклятия из его уст, однообразно, мощно, тоскливо. — И так случилось! — констатировал он, по временам прерывая себя, покорно, но с неистовым удовлетворением отчаяния.

После этой встречи с Деметрием Либанием Иосиф просидел два дня совершенно один в своем большом мрачном доме. На третий день он по Эмилиеву мосту перешел на ту сторону Тибра, где жили евреи.

Пока длился поход, иудеи города Рима всевозможными способами показывали правительству свою лояльность. Они и сейчас лояльные подданные, бунтовщики сами виноваты, разумеется, но римские иудеи не боятся обнаружить и свою скорбь о разрушении святыни, не скрывают они также и своего отвращения к тому факту, что разрушению помогали евреи. Когда Иосиф вступает в городские районы на правом берегу, он наталкивается на безмерную ненависть. Тут все соблюдают семь шагов расстояния. Он проходит через пустое пространство, сквозь строй презрения.

Он направляется к дому Гая Барцаарона. Президент Агрипповой общины, желавший когда-то выдать за него свою дочь, останавливается перед ним на расстоянии семи шагов. Лицо этого хитрого жизнерадостного человека мрачно, искажено враждебностью. Гай Барцаарон вдруг делается страшно похожим на своего отца, древнего бормочущего Аарона. Иосиф теряет мужество перед этим замкнутым лицом.

— Извините, — говорит он и беспомощно вывертывает ладони. — Это бесполезно.

Он идет назад. Шагая между шпалерами смертельных врагов, покидает он еврейский квартал, возвращается по Эмилиеву мосту.

На другом берегу, когда он загибает за угол и евреи уже не видят его, он слышит шаги кого-то, преследующего его; он соображает, что давно уже слышит за собой эти шаги. Невольно хватается он за массивный золотой письменный прибор, чтобы защищаться. В это время за ним раздается голос, ему кричат по-арамейски:

— Не пугайтесь! Не бойтесь! Это я. — Какой-то очень молодой человек, его лицо кажется Иосифу знакомым. — Я вас уже видел, — говорит юноша, — когда вы в первый раз приезжали в Рим.

— Вы...— старается вспомнить Иосиф.

— Я Корнелий, сын Гая Барцаарона.

— Чего вы хотите?— спрашивает Иосиф.— Почему вы не соблюдаете семи шагов?

Но юноша Корнелий подходит к нему.

— Простите его,— просит он, и его голос звучит сердечно, доверчиво, смело.— Другие не понимают вас, но я понимаю. Пожалуйста, верьте мне.— Он подходит к нему вплотную, смотрит в глаза.— Я читал ваш космополитический псалом, и, когда кругом начинается путаница и непонятность, я читаю его. Здесь все узко, все зажато стенами, а ваш взгляд устремлен в широкую даль. Вы большой человек в Израиле, Иосиф Флавий, вы один из пророков.

Сердце Иосифа омыла теплая волна утешения. То, что этот юноша, ничего о нем не знавший, кроме его слов, на его стороне, было для Иосифа огромной поддержкой.

— Я рад, Корнелий,— сказал он.— Я очень рад. Я привез немного земли, вырытой из-под иерусалимского пепла, привез из Иерусалима священные свитки, я их покажу тебе. Пойдем ко мне, Корнелий.

Юноша просиял.

Тем временем Тит прибыл в Италию. На Востоке к нему был предъявлен еще целый ряд разнообразнейших требований. От имени Пятого и Пятнадцатого легионов, которые собирались отправить на Нижний Дунай, на нелюбимые солдатами стоянки, капитан Педан просил его или остаться с этими легионами, или взять их с собой в Рим. Принц сразу разгадал, что кроется за наивными, хитрыми речами старого честного вояки, а именно— предложение провозгласить Тита императором вместо старика Веспасиана. Это было соблазнительно, но крайне рискованно, и он, не колеблясь, в таких же наивных шутильных словах, отклонил предложение Педана. Но Восток продолжал чествовать его как самодержца, и Тит не мог устоять перед соблазном, при освящении быка Аписа в Мемфисе, воздеть на себя диадему Египта. Эта неосторожность могла быть неправильно истолкована, и принц поспешил письменно заверить отца, что поступил так только в качестве его заместителя. Он ничего другого не предполагал, отвечал Веспасиан тоже по почте; но весьма дружелюбно держал наготове против Востока несколько десятков тысяч человек.

Вслед за этим Тит приехал— очень скоро, очень скромно, почти без свиты. Согласно старинному обычаю, вступить в Рим он мог, если хотел получить триумф, лишь в первый день шествия. Поэтому Веспасиан выехал встретить сына на Аппиеву дорогу.

— Вот и я, отец, вот и я,—чистосердечно приветствовал его Тит.

— Тебе бы не поздоровилось, мой мальчик,—сказал скрипучим голосом Веспасиан,—если бы ты вздумал еще валандаться на Востоке.—Только после этих слов он поцеловал его.

Сейчас же после обеда, в присутствии Муциана и госпожи Кениды, произошло неизбежное объяснение между отцом и сыном.

— Вы,—начала решительная Кенида,—доставляли своему отцу не одни радости, принц Тит. Мы не без тревоги узнали о вашем короновании во время празднества быка Аписа.

— Ну, я не хочу делать из быка слона,—добродушно заметил Веспасиан,—нас здесь интересует другой вопрос: было ли действительно невозможно сохранить еврейский храм?

Они смотрели друг на друга, у обоих были жесткие узкие глаза.

— Ты разве хотел, чтобы это оказалось возможным?—после некоторой паузы ответил Тит вопросом на вопрос.

Веспасиан покачал головой.

— Если карательная экспедиция в Иерусалим,—сказал он хитро и задумчиво,—действительно была превращена в поход и должна была закончиться триумфом, разрешения на который я добился от сената для нас обоих, то, пожалуй, и невозможно.

Тит побагровел.

— Это было невозможно,—сказал он коротко.

— Значит, так и скажем,—констатировал, осклабясь, император,—это было невозможно. Иначе ты пощадил бы храм, хотя бы ради своей Береники. А теперь мы дошли и до второго вопроса, который всех нас здесь интересует. Эта Береника—бабенция, заслуживающая внимания. Что ты хотел иметь ее около себя во время скучной карательной экспедиции, я могу понять. Но разве ты должен держать ее при себе и здесь, в Риме?

Тит хотел возразить. Но Веспасиан, только чуть посапывая и упорно не спуская с Тита жестких серых глаз, не дал ему ответить:

— Видишь ли,—продолжал он добродушно, товарищеским тоном,—вот моя Кенида—самая обыкновенная особа. Не правда ли, старая лохань? Без претензий, без титула. Она добывает мне уйму денег. Много, чего мои старые глаза уже не видят, ее глаза подмечают. И все-таки Рим относится к ней хорошо, пока ему не приходится платить ей комиссионные. Она римлянка. Но эта твоя еврейка, эта принцесса, именно потому, что она

так величественна, со своей походкой и всеми этими восточными фокусами... Мы—династия еще молодая, сын мой. Я первый, а ты второй, и мы не можем разрешить себе столь экстравагантной дамы. Я говорю тебе по-хорошему, но очень серьезно. Какой-нибудь Нерон мог бы себе это позволить, он из старого рода. Если же это сделаем ты или я, они рассердятся, уверяю тебя, мой мальчик. Скажи ты, Кенида, скажите вы, старый Муциан, рассердятся они или нет?.. Слышишь, рассердятся.

— Я тебе вот что скажу, отец,—начал Тит, и в его голосе появился тот же резкий, металлический звук, что и при командовании.—Я мог бы в Александрии надеть на себя венец. Легионы хотели этого. И я был к этому близок. Принцессе достаточно было сказать слово, и я бы надел его. Принцесса этого слова не сказала.

Веспасиан встал. Титу говорили, что он очень постарел,—очевидный вздор; во всяком случае, сейчас этот сабинский крестьянин казался крепче, чем когда-либо. Он подошел к сыну вплотную, и вот они стояли друг против друга, два диких сильных зверя, готовясь к прыжку. Муциан смотрел на них крайне заинтересованный, лицо его судорожно подергивалось, сухой узкий рот улыбался возбужденной улыбкой. Кенида хотела броситься между ними. Но старший пересилил себя.

— Что ж, ты мне сообщил очень интересную вещь,—сказал он.—Но сейчас ты ведь не в Александрии, а здесь, в Риме, и тебе едва ли придет в голову свергать меня, если бы даже твоя любезная подруга этого и захотела. Так вот.—Он сел, слегка крикнув, потер подагрическую руку и продолжал, вызывая к благоразумию сына:—Держать ее как девку ты же не сможешь. Эта дама пожелает показываться с тобой, и она вправе: она—принцесса, гораздо более древнего рода, чем мы. Но римляне тебе этой женщины не простят, поверь мне. Ты что же, хочешь, чтобы тебя на театре высмеивали? Хочешь, чтобы во время триумфа о тебе и о ней распевали куплеты? Хочешь запретить? Будь благоразумным, мой мальчик. Дело не пройдет.

Тит старался сдерживать свою злость:

— Ты с самого начала ее терпеть не мог.

— Верно,—согласился старик.—Но и она меня тоже. Если б вышло по ее, мы здесь бы не сидели. Мне достаточно было бы сострить разочка два. Но я молчу. Ты отдал этой даме свою любовь. Не возражаю. Но в Риме пусть не живет, я не согласен. Внуши ей это. Глупо было привозить ее. Можете делать что вам угодно, но из Италии пусть убирается. Так и скажи ей.

— И не подумаю,— заявил Тит.— Я хочу сохранить эту женщину.

Веспасиан посмотрел на сына; он увидел в глазах Тита что-то дикое, буйное, пугавшее Веспасиана уже в матери мальчика, в Домитилле. Он положил ему руку на плечо.

— Тебе тридцать, сын мой,— предостерегающе заметил он.— Не будь мальчишкой.

— Могу я внести предложение?— вкрадчиво сказал Муциан.

Он вышел вперед, держа палку за спиной. Тит недоверчиво глядел на его губы. Должно быть, сенатор Муциан придавал себе расслабленный вид и прикидывался дряхлым лишь для того, чтобы подчеркнуть бравость Веспасиана, и император, отлично догадываясь, что это комедия, охотно ее допускал.

— Отношения между цезарем Титом и принцессой,— так начал Муциан,— вызывают раздражение. В этом его величество, бесспорно, прав. Но лишь потому, что принцесса принадлежит к мятежному народу. Мы-то знаем, что она одна из вполне лояльных наших иудейских подданных. Однако римский народный юмор не делает различия между иудеем и иудеем. Нужно было бы дать принцессе повод заявить о своей лояльности ясно и недвусмысленно. Я полагаю, для этого было бы достаточно, чтобы она смотрела на триумф из ложи.

Все обдумывали предложение Муциана. Веспасиан считал, что его хитроумный друг придумал для принцессы такую ситуацию, из которой она едва ли найдет выход. А его сын не имеет оснований отклонить предложение Муциана. Что ей делать? Если она будет присутствовать на триумфе над ее собственным народом, римляне будут над ней смеяться. Тогда Титу нельзя и помышлять о браке с ней. Кенида поняла это сразу.

— Коли женщина принадлежит мужчине,— поддержала она Муциана решительно, упрощая и банализируя его мысль,— она должна иметь мужество открыто стать на его сторону.

Все напряженно ждали, что скажет Тит. Против аргумента Кениды ему возразить было нечего. В сущности, она права, думал он. Если он празднует триумф, то может требовать, чтобы его подруга, которую он намерен сделать своей женой, смотрела на этот триумф. Объяснение с ней по данному поводу будет не из приятных. Но все же приятнее, чем разлука. Он бурчит что-то насчет того, что принцессе, конечно, нельзя этого навязывать. Остальные заявляют, что тогда и римлянам нельзя навязывать принцессу. Он обдумывает предложение со всех

сторон. У нее есть ее чувства к Востоку, ее влечение к пустыне. С другой стороны, она понимает действительность. После получасовых обсуждений Тит решает: или принцесса согласится присутствовать в императорской ложе на триумфе, или пусть покидает Италию.

Он просит к себе Беренику. Он уверен, что вопрос будет выяснен в первые же пять минут. Ожидая ее в прихожей, он решает подойти ко всему возможно легче, как будто все это само собой разумеется.

Но вот появляется Береника; она одновременно и весела и серьезна, ее крупная смелая голова доверчиво склоняется к нему, ее низкий голос говорит с ним, и задуманное кажется ему вдруг невозможным. Как ему предложить этой женщине подобную бестактность? Он подбадривает себя—только без долгих приготовлений, сразу смелый прыжок, словно глубокий вздох, перед тем как броситься в очень холодную воду.

— Триумф,—говорит он, и его голос звучит довольно непринужденно, ему не приходится даже откашливаться,—триумф наконец состоится через десять дней. Я ведь увижу тебя в ложе, Никион?—Все идет очень гладко, только он говорит, ни к кому не обращаясь, не взглянув на нее: не смотрит он на нее и сейчас.

Береника бледнеет. Хорошо, что она сидит, иначе она упала бы. Этот человек срубил рощу в Текоа, затем взял Беренику силой, затем допустил, чтобы храм был сожжен. Она не говорила «нет» и тем самым говорила всякий раз «да». И она все это проглотила, потому что не могла расстаться с ним, с его широким крестьянским лицом, с его грубостью, с его детской капризной жестокостью, с его мелкими зубами. Она дышала запахом крови, запахом гари, она отреклась от пустыни—отреклась от голоса своего бога. И вот теперь этот человек приглашает ее посмотреть из ложи на его триумф над Ягве. В сущности, он последователен, и это будет для римлян пикантной приправой к триумфу, если она, принцесса из рода Маккавеев, любовница победителя, окажется в числе зрителей. Но она не будет в числе зрителей. Выносимее было бы даже участвовать в триумфальном шествии в цепях как пленнице. Но добровольно сидеть в ложе победителя, в виде соуса к его жаркому,—нет.

— Благодарю тебя,—говорит она, ее голос негромок, но сейчас очень хрипл.—В день триумфа меня в Риме уже не будет, я уеду к брату.

Он поднимает взор, он видит, что ранил эту женщину в самое сердце.

Он этого не хотел. Он ничего не хотел из того, что совершил по отношению к ней. Всегда его толкали на это.

И теперь — опять. Отец подтолкнул его, и он не противился. Те, другие, состоят из такого легкого, воздушного вещества, а сам ты так плотен и груб, и всегда понимаешь это слишком поздно. Как мог он допустить мысль, что она согласится смотреть на этот дурацкий триумф? Да он сам не пойдет на триумф, скажется больным. Тит, запинаясь, поспешно что-то бормочет. Но он говорит в пустоту — ее уже нет, она ушла.

Его лицо искажается безумной яростью. Мелкозубый рот извергает солдатскую ругань вслед ушедшей за ее манерное восточное жеманство. Почему она не может смотреть на триумф? Разве другие государи, например германские, не смотрели на триумфы, в которых вели их закованных в цепи сыновей, братьев, внуков? Ему не следовало теряться, надо было держаться с ней как мужчине. Ведь было бы нетрудно обвинить ее в нелояльности, в каких-нибудь бунтовщических поступках, объявить ее военнопленной, провести ее самое в триумфальном шествии, в цепях, и затем, предельно унизив, поднять из грязи, быть с ней мягким, сильным, добрым, настоящим мужчиной. Тогда она наконец узнала бы свое место, гордячка.

Но, додумывая эти мысли, он уже понимал, что все это мальчишеские фантазии. Она именно не варварка, не такая, как тот германский государь, варвар Сегест, — она настоящая царица, полная древней восточной мудрости и величия. Весь его гнев обратился на него самого. Рим, триумф — ему было теперь на все наплевать! Жизнь — только на Востоке, а здесь все такое убогое, загаженное. Капитолий — дерьмо в сравнении с храмом Ягве, и он, с его легкомыслием, сжег этот храм, а женщину, трижды отдавшуюся ему, трижды отпугнул своей римской грубостью, и на этот раз — отпугнул навсегда.

На следующий день Иосиф явился приветствовать принца. Тит встретил его с той шутиливой и холодно сияющей вежливостью, которую Иосиф ненавидел. Возни, шутил Тит, с этим триумфом больше, чем с самим походом. Скорее бы уж он миновал, скорее бы вернуться в свой родной город, а то, по глупому обычаю, приходится сидеть здесь до самого триумфа. Разве не досадно? Он даже не может посмотреть выступления Деметрия Либания в Театре Марцелла. Он поручил Иосифу следить на репетициях, чтобы при изображении всего иудейского не было допущено ошибок.

— Теперь, — рассказывал Тит, — я взял организацию триумфа и всего с ним связанного в свои руки. Интересно, какое впечатление на вас произведет триумфальное ше-

ствие. Вы ведь, наверное, будете смотреть на него из Большого цирка?

Иосиф видел, что принц с тревогой ждет его ответа. Конечно, этим римлянам кажется само собой разумеющимся, чтобы он, историк похода, видел своими глазами и его завершение. Он сам, как это ни странно, еще ни разу не подумал о том, пойдет ли он смотреть триумф или нет. Как хорошо было бы сказать: «Нет, цезарь Тит, я не приду, я останусь дома». Такой ответ дал бы огромное удовлетворение; это был бы благородный жест, но бесцельный. И он сказал:

— Да, цезарь Тит, я буду смотреть на триумф в Большом цирке.

Тит вдруг стал совсем другим. Чисто внешняя, напускная вежливость свалилась с него, словно маска.

— Я надеюсь, еврей мой,—сказал он приветливо, дружески,—что тебя в Риме устроили хорошо и удобно. Я хочу,—сказал он сердечно,—чтобы жизнь здесь была тебе приятна. Я сам сделаю для этого все, что от меня зависит. Верь мне.

Иосиф, чтобы подготовиться к триумфу, пошел в Театр Марцелла посмотреть пьесу о военнопленном Захари. Деметрий Либаний был великим актером. Роль пленного Захарии он исполнял с беспредельной правдивостью и жутким комизмом. В конце концов, на него надели маленькую идиотскую маску клоуна, какие нередко надевали на приговоренных, когда они выходили на арену, чтобы комизм маски тем сильнее контрастировал с трагизмом умирания. Никто не видел, как под маской пленного Захарии задыхался актер Либаний, как колотилось его сердце, как оно слабело. Но он выдержал. Его привязали к кресту. Он закричал, как того требовала роль: «Слушай, Израиль, Ягве наш бог!» — и одиннадцать клоунов плясали вокруг него в ослиных масках и передразнивали его вопль: «Яа, Яа!» Он выдержал до конца, когда было приказано снять его с креста и когда ему пришлось бросать с креста деньги. Тут он обессилел и повис мешком. Но этого никто не заметил, все считали, что так и надо по роли, и за невообразимым ликованием толпы, ловящей монеты, на актера почти перестали обращать внимание. Иосифу тоже удалось схватить несколько монет — две серебряные и несколько медных. Их выпустили в этот день: на одной стороне был отчеканен портрет императора, на другой — женщина в цепях, сидящая под пальмой, и вокруг надпись: «Побежденная Иудея». Женщина — может быть, тут постаралась госпожа Кенида — была похожа лицом на принцессу Беренику.

На другой день издатель Клавдий Регин вызвал Иосифа к себе.

— Мне поручено,—сказал он,—вручить вам этот входной жетон в Большой цирк.— Место было на скамьях знати второго разряда.— Вы получаете большой гонорар за вашу книгу,—сказал Регин.

— Кто-нибудь должен же там быть и видеть,—резко ответил Иосиф.

Регин улыбнулся своей зловещей улыбкой.

— Разумеется,—ответил он,—и я, как ваш издатель, весьма заинтересован в том, чтобы вы там были. Вы, Иосиф Флавий, окажетесь, вероятно, единственным евреем, который будет присутствовать в числе зрителей. Бросьте...—с некоторой усталостью остановил он Иосифа, готового вскипеть.—Верю, что вам будет нелегко. Я тоже, когда буду шагать в процессии вместе с чиновниками императора, потуже стяну ремни башмаков — мне тоже будет нелегко.

Утром 8 апреля Иосиф сидел на скамье Большого цирка. Новое здание вмещало триста восемьдесят три тысячи человек, и на каменных скамьях не оставалось ни одного свободного места. Иосиф находился среди знати второго разряда, на тех самых местах, о которых он так мечтал пять лет назад. С неприступным, замкнутым видом сидел он среди оживленных зрителей, его надменное лицо издали бросалось в глаза. Окружавшей его избранной публике было известно, что император поручил ему написать историю этой войны. В городе Риме книги пользовались большим уважением. Все с любопытством рассматривали человека, от которого зависело прославить или не одобрить деяния стольких людей.

Иосиф сидел спокойно, он хорошо владел собой, но в душе у него все бурлило. Перед тем он прошел через ликующий Рим, полный шума радостного ожидания. Дома и колоннады были декорированы, все помосты, выступы, деревья, арки, крыши усеяны людьми с венками на голове. И здесь, в Большом цирке, все тоже были в венках, держали на коленях и в руках цветы, чтобы бросать их победителям. Только Иосиф имел смелость сидеть без цветов.

Впереди процессии шли члены сената, шагая с некоторым трудом в своих красных башмаках на высокой подошве. Большинство из них участвовало в процессии неохотно, с внутренним предубеждением. В глубине души они презирали этих выскочек, которых теперь вынуждены были чествовать. Экспедитор и его сын захватили империю, но и на престоле они оставались мужиками, чернью,—Иосиф видел худое скептическое лицо Маруллы, тонкие, усталые, жесткие черты Муциана. Невзирая

на парадную одежду, Муциан держал палку за спиной, его лицо подергивалось. Был один такой день, когда чаши весов стояли на одном уровне, достаточно было Иосифу сказать, может быть, одно только слово, и чаша Муциана перетянула бы, а чаша Веспасиана поднялась.

Появились министры. Высохшему, замученному болезнями Талассию было очень трудно тащиться вместе с остальными, но возможность этого шествия была подготовлена им, и старик не хотел пропустить великий день своего торжества. Затем, отдельно, немного в стороне от других, шел Клавдий Регин, серьезный, непривычно прямой. Да, ему действительно было нелегко. Насторожившись, жестким, злым и трезвым взглядом смотрел он вокруг себя и портил зрителям все удовольствие: напрасно искали они на его среднем пальце знаменитую жемчужину. Ремни его башмаков были туго затянуты.

А вот и музыка, много музыки. Сегодня все оркестры играли военные песни, чаще всего марш Пятого легиона, ставший очень быстро популярным:

Пятый все умеет...

Приближались несшие взятую в Иудее добычу, ту баснословную добычу, о которой шло столько разговоров. Люди были избалованы, пресыщены зрелищами, но, когда мимо них поплыло все это золото, серебро, слоновая кость, и не отдельные вещи, а целый поток,—всякая сдержанность исчезла. Зрители вытягивали шеи, смотрели через плечи находившихся впереди, женщины издавали короткие пронзительные вскрики удивления, желания. А мимо них бесконечной струей текло золото, серебро, благородные ткани, одежды, а потом опять золото, во всех видах: монеты, слитки, всякого рода сосуды. Затем военные доспехи, оружие, боевые повязки с начальными буквами девиза маккавеев, чистые, грязные, пропитанные кровью, в корзинах, в повозках, многие тысячи. Боевые знаки, знамена с массивными еврейскими и сиро-арамейскими буквами, некогда созданными, чтобы возносить сердца, теперь же искусно сплетенные, чтобы развлекать пресыщенных зрителей. Проплывали передвижные подмостки, на которых воспроизводились кровопролитные батальные сцены, гигантские макеты, иные в четыре этажа, так что зрители испуганно отклонялись, когда они проплывали мимо, опасаясь, что такая штука может обрушиться, убить их. Корабли, разбитые в сражениях у Яффского побережья, отнятые у противника челноки из Магдалы. И снова золото. Неудивительно, что

цена на золото падает—она теперь составляет половину его довоенной стоимости.

Но вот все стихает, идут чиновники государственного казначейства, в парадных одеждах, с лавровыми ветвями,—они сопровождают главные предметы добычи. Несомые солдатами золотые столы для хлебов предложения, гигантский семисвечник, девяносто три священных храмовых сосуда, свитки закона. Несущие высоко поднимают свитки, чтобы все видели закон Ягве, отобранный у него всеблагим, величайшим Юпитером римлян.

Затем—причудливая музыка. Инструменты из храма, кимвал Первого левита, крикливые бараныи рога, предназначенные для новогоднего праздника, серебряные трубы, возвещавшие каждый пятидесятый год, что земельная собственность снова возвращается государству. Римляне играют на этих инструментах, и эта музыка звучит как пародия, нелепая, варварская. И вдруг какого-то остряка осеняет удачная мысль: «Яа! Яа!»—кричит он, как кричат ослы. Все подхватывают этот крик под аккомпанемент священных инструментов, и оглушительный смех прокатывается по длинным рядам зрителей.

Иосиф сидит, его лицо словно из камня. Только бы выдержать. Все смотрят на тебя. Десять лет должны учиться священники, прежде чем их удостоит чести играть на этих хрупких инструментах. Пусть лицо твое будет спокойно, Иосиф, ты ведь здесь представляешь Израиль. Излей ярость гнева твоего на головы народов!

Приближается живая часть добычи, военнопленные. Из их громадной толпы были отобраны семьсот человек, на них напялили пестрые праздничные одежды, которые представляли особенно резкий контраст с их мрачными лицами и цепями. Среди них шли и священники в шапочках и голубых поясах. С интересом, с жадным любопытством разглядывают люди в цирке своих побежденных врагов. Вот они идут. Их накормили до отвала, чтобы у них не было предлога свалиться и испортить римлянам заслуженное зрелище. Но после празднества этих побежденных пошлют на принудительные работы, часть—на рудники, ступальные мельницы или очистку клоак, часть—на арену больших цирков для борьбы и травли зверями.

Люди в цирке смолкли, они только смотрят. Но вот они разразились криками, угрожающими, полными ненависти: «Хеп, хеп», «Собаки», «Сукины дети», «Вонючки», «Безбожники». Они бросают в идущих гнилую репу, дерьмо. Они плюются, хотя их плевков никак не может долететь до тех, кому он предназначен. А вот в цепях, униженные богами, идут и вожди повстанцев, некогда

внушавшие страх и ужас, Симон бар Гиора и Иоанн Гисхальский. Величайшее блаженство, счастливейший день в жизни римлянина, когда перед ним вот так проходят его враги, эти побежденные гордецы, противившиеся растущему по воле богов величию римского государства.

На Симона надели венец из терний и сухих колючек и повесили дощечку: «Симон бар Гиора, царь Иудейский». Иоанна, иудейского «главнокомандующего», одели в нелепые жестяные доспехи. Симон знал, что не успеет еще окончиться праздник, как он будет убит. Так поступили римляне с Верцингеториксом, с Югуртой и многими другими, которые были казнены у подножия Капитолия, в то время как наверху победитель приносил жертву своим богам. Как ни странно, а Симон бар Гиора уже не был тем сварливым человеком, каким его знали в последнее время его люди; в нем появилось опять какое-то сияние, исходившее от него в первый период войны. Спокойно шел он в цепях рядом с закованным Иоанном Гисхальским, и они разговаривали.

— Прекрасно небо над этой страной,—сказал Симон,—но как бледно оно в сравнении с небом нашей Галилеи. Хорошо, что надо мной голубое небо, когда я иду умирать.

— Не знаю, куда я иду,—сказал Иоанн,—но мне кажется, они меня не убьют.

— Если они не убьют тебя, мой Иоанн, это для меня большое утешение,—сказал Симон.—Ибо война еще не кончена. Как странно, что мне когда-то хотелось тебя уничтожить. Пусть сейчас мне плохо, но все же хорошо, что мы начали эту войну. Она не кончена, и идущие за нами многому научились. О брат мой Иоанн, они будут меня бичевать, они проведут меня через такое место, где гнилая репа и плевки их черни долетят до меня, и они меня предадут позорной смерти—и все-таки хорошо, что мы начали эту войну. Мне жаль только, что мой труп будет валяться неприбранный.—И так как Иоанн Гисхальский молчал, он через минуту добавил:—А знаешь, Иоанн, нам следовало минную штольню «Л» провести немного правее. Тогда их башня «Ф» обрушилась бы и им некуда было бы податься.

Иоанн Гисхальский был человек сговорчивый, но в вопросах военной тактики не любил шуток и пустой болтовни. Он знал, что был прав относительно штольни «Л». Но он останется жить, а Симон умрет, и он пересилил себя и сказал:

— Да, мой Симон, нам следовало заложить штольню правее. Те, кто придет после нас, сделают все это лучше.

— Если бы мы только вовремя объединились, мой Иоанн,—сказал Симон,—мы бы с ними справились. Я видел теперь их Тита совсем близко. Хороший юноша, но не полководец.

Иосиф смотрел, как они приближались, проходили мимо него. Они шли медленно, он успел разглядеть их, и он видел вокруг Симона сияние, окружавшее его при первой их встрече в храме. И теперь он был уже не в силах сдержать себя. Он хотел зажать в горло рвущийся наружу звук, но не смог,—звук рвался из него, это был стон, полный отчаяния, придушенный и настолько ужасный, что сосед Иосифа, только что кричавший вместе со всеми: «Собаки! Сукины дети!»—умолк на полуслове, побледнел, испуганный. Иосиф не спускал глаз с обоих пленников; он страшился, что они посмотрят на него. Он был человек дерзкий, отвечавший за свои поступки, но, если бы они взглянули на него, он умер бы от стыда и унижения. Ему сдавливало грудь, он задышался, ведь он единственный еврей, смотревший вместе с римлянами на это зрелище. Он перенес голод и нестерпимую жажду, удары бича, всевозможные унижения и бывал много раз на волосок от смерти. Но этого он не может вынести, этого никто не может вынести. Это уже нечто нечеловеческое, он наказан суровее, чем заслужил.

Оба пленника совсем близко.

Иосиф построит синагогу. Все, что у него есть, даже доходы с книги, вложит он в эту постройку. Это будет такая синагога, какой Рим еще не видел. Он отдаст для ее ковчега священные иерусалимские свитки. Но евреи не примут от него синагоги. Они принимали дары от необрезанных, но от него они не примут ничего—и будут правы.

Теперь оба вождя как раз перед ним. Они его не видят. Он встает. Они не могут услышать его среди рева толпы, но он открывает уста и напутствует их исповеданием веры. Пламенно, как никогда в жизни, вырывает он из себя слова, кричит им вслед:

— Слушай, Израиль, Ягве наш бог, Ягве един!

И вдруг, словно его услышали, в процессии пленных чьи-то голоса начинают кричать, сначала несколько, затем многие, затем все:

— Слушай, Израиль, Ягве наш бог, Ягве един!

Когда звучат первые возгласы, слушатели смеются, подражают ослиному крику: «Яа, Яа!» Но затем они стихают, и некоторые начинают сомневаться, действительно ли осел тот, к кому обращают свой вопль евреи.

Иосиф, услышав крики внизу, становится спокойнее. Сейчас этот возглас, наверно, раздастся во всех еврейских

синагогах: «Слушай, Израиль». Разве он от этого когда-нибудь отрекался? Никогда он не отрекался. Только ради того, чтобы все это познали, делал он то, что делал. Он начнет писать свою книгу, он будет писать ее в благочестии, Ягве будет с ним. Истинного смысла книги не поймут ни римляне, ни евреи. Пройдет долгое время, прежде чем люди поймут его. Но настанет день, когда его поймут.

Кто это следует за обоими иудейскими вождями, в пышном великолепии, в блеске знаменитого восьмичастного одеяния? Первосвященник Фанний, строительный рабочий. Его отсутствующий взгляд безжизнен, тупо устремлен куда-то, тосклив, одержим. Сенатор Марулл увидел его. Особой разницы действительно не будет, купит ли он себе этого Фанния или Иоанна Гисхальского. У Иоанна вид поинтеллигентнее, с ним можно будет вести интересные разговоры, но пикантнее было бы иметь привратником первосвященника.

Шли оркестры, жертвенные животные, и, наконец, появились и центральные фигуры шествия, пышное его средоточие — триумфальная колесница. Впереди — ликторы с пучками розог, увенчанных лаврами, нотариусы, несшие разрешение на триумф, затем толпа клоунов, дерзко и добродушно пародировавших известные всем черточки в характерах триумфаторов, — скупость Веспасиана, точность Тита, его страсть к стенографированию. Затем карикатуры на побежденных, изображавшиеся актерами, любимцами публики. Среди них и Деметрий Либаний, первый актер эпохи. Он превозмог болезнь и слабость, отвращение своего сердца превозмог он. На карту было поставлено его искусство, его честолюбие: император позвал его, он взял себя в руки, он явился. Деметрий изображал еврея Апеллу, он прыгал, плясал, гладил раздвоенную бороду, тащил с собой свои молитвенные ремешки, своего невидимого бога. Он долго метался между своим искусством и жаждой спасти свою душу, ибо одним приходилось жертвовать ради другого, и, наконец, выбрал искусство. Иосиф видел, как он шел истерзанный: великий актер, несчастный человек.

Дальше следовали генералы легионов, офицеры и солдаты, заслужившие особые отличия. Восторженнее всех толпа приветствовала одного из них. Те, мимо кого проходил любимец армии, их Педан, носитель травяного венка, начинали петь зазорную песенку Пятого легиона, и сердца ликовали. Да, он был плотью от их плоти, воплощенный Рим. Этому довольному, самоуверенному человеку всегда везло, уж с ним-то был Юпитер Капитолийский. Ходили смутные слухи, будто и на этот раз

римляне ему обязаны победой. Что именно он совершил — об этом по некоторым причинам точнее сказать нельзя; но это было нечто великое, как видно уже из того, что он опять получил высокое отличие. Иосиф видел безобразное, голое, одноглазое лицо. Педан шагал с лукавым видом, неспешно, решительно, шумно, самодовольно, настоящий мужчина. Нет, с этой сытой пошлостью никто не мог сравниться. Этому солдату, который никогда не сомневался, не знал разлада с самим собой, принадлежала вселенная, Юпитер создал ее для него.

Что-то засверкало, приближаясь, высокое, как башня, увенчанное лаврами, влекомое четырьмя конями, — триумфальная колесница. На ней Веспасиан. Чтобы походить на Юпитера, он намазал себе лицо охрой. Широкую непокрытую мужицкую голову украшал лавровый венок, старое приземистое тело было облечено в усеянное звездами пурпурное одеяние, которое Капитолийскому Юпитеру пришлось уступить ему на этот день.

С некоторой скукой смотрел он на ликующую толпу. Все это продлится еще, по крайней мере, часа три. Одежда оказалась претяжелой, а стоять так долго на качающейся колеснице было не слишком приятно. Он пошел на все только ради своих сыновей. Основывать династию дело нелегкое. Как душно! Летом Юпитеру, наверно, жарковато, если в апреле и то потеешь в его одежде. А что стоит этот триумф — уму непостижимо. Регин дал смету на двенадцать миллионов, а обойдется, наверное, все тринадцать — четырнадцать. Право же, деньгам можно было бы найти лучшее применение, но эти жирнолобые непременно должны получить свое зрелище, ничего не попишешь. Что храма больше не существует — очень приятно. Мальчик ловко все это обделал. Если дурное полезно, его нужно совершить, а потом угрызаться. Только так можно преуспевать в жизни и перед богами. Стоящий за ним раб, который держит над его головой тяжелый золотой венец Юпитера, кричит ему на ухо установленную формулу: «Оглядывайся и не забывай, что ты человек». Ну, ну, можно надеяться, что богом он станет еще не так скоро. Он вспоминает о статуях обожествленных до него императоров. Этот триумф на недельку ускорит его превращение в бога. Колесницу встряхивает. Кряхтя, смотрит Веспасиан на солнечные часы.

Тит, который едет на второй колеснице, то и дело поглядывает на амулет, который должен предохранить его от порчи и дурного глаза, ибо рядом с колесницей едет верхом его брат Домициан, этот «фрукт». Но зависть брата не может испортить горделивую радость этого дня.

Холодно сияя, стоит он на своей колеснице, вознесенный надо всем человеческим, солдат, достигший цели, Юпитер во плоти. Правда, когда он проезжает мимо императорской ложи, он на мгновение трезвеет. Береники нет с ним. Беренику у него отняли. Кому же хочет он показаться в этом блеске, какой все это имеет смысл без Береники? Его взгляд шарит по толпе, по скамьям знати. Увидев Иосифа, он поднимает руку, приветствует его.

Колесницы триумфаторов едут дальше, вот они остановились у подножия Капитолия. Очевидцы сообщили: Симона бар Гиору бичевали, задушили. Глашатаи прокричали об этом народу. Ликование: война кончилась. Веспасиан и его сын сошли с колесниц. Принесли в жертву свинью, козла и быка—за себя и за войско, на случай, если во время похода они не угодили какому-нибудь божеству.

Тем временем войско дефилировало через Большой цирк. Шли по две когорты от каждого легиона и вся техника: катапульты и камнеметы, «Свирепый Юлий» и другие тараны. Бурным приветствием были встречены боевые знаки, золотые орлы, особенно—орел Двенадцатого, который теперь отобрали обратно у евреев, подобно тому, как были снова отбиты у германцев орлы, захваченные ими при предателе, варваре Германе. Иосиф смотрел на войско, маршировавшее весело, мирно, полное сдержанной силы: оружие порядка в государстве. Но Иосиф знает и другой лик этого войска. Он знает, что все это—сплошные Педаны. Он слышал, как они кричали «хеп, хеп», он видел, как они, опьянев от крови, плясали в храме, мрамор которого исчез под трупами.

Шествие войск длилось долго. Многие, и прежде всего публика, сидевшая на скамьях знати, уходили, не дождавшись конца. Иосиф выдержал. Еще раз перед глазами его прошли легионы, которые на его глазах уничтожили город и храм.

Вечером того же дня, 8 апреля, к дежурному надзирателю Мамертинской тюрьмы пришли несколько иудеев. Они предъявили бумагу с печатью. Надзиратель прочел ее и повел их в тюремный подвал, так называемую холодную баню, ибо раньше здесь был водоем. В этом заброшенном, темном подземелье окончил свои дни Симон бар Гиора. Согласно обычаю, его тело должны были в ту же ночь выбросить на Эсквилинскую свалку, но евреи принесли разрешение взять тело и распорядиться им по своему усмотрению. Этого разрешения добился Клавдий Регин. Он заплатил за него своей жемчужиной, отданной госпоже Кениде.

Итак, пришедшие взяли тело еврейского главнокоман-

дующего, исполосованное, покрытое кровавой коркой, положили на носилки, прикрыли. Пронесли через город, сиявший огнями праздничной иллюминации. Они шли босиком. У Капенских ворот их поджидало еще несколько сот иудеев, среди них и Гай Барцаарон. Те тоже были босиком и разорвали на себе одежды. Сменяясь каждые пятьдесят шагов, понесли они тело по Аппиевой дороге и остановились у второго верстового камня. Там их ждал Клавдий Регин. Они спустились с телом в подземное еврейское кладбище. Положили задушенного в гроб, насыпали под сине-черную голову земли, привезенной из Иудеи, полили благовонной водой. Потом закрыли гроб доской. На ней корявыми греческими буквами было нацарапано: «Симон бар Гиора, солдат Ягве». Затем вымыли руки и покинули подземелье.

Иосиф пришел из Большого цирка домой. Он выполнил свою задачу, не пощадил себя, досмотрел иудейскую войну до самого конца. Но теперь силы покинули его. Он свалился, впал в сон, похожий на смерть.

Он был один в большом, пустом, заброшенном доме, ни одного друга возле него, никого, кроме старого раба. Иосиф проспал двадцать часов. Затем поднялся и сел в позе скорбящего.

Из императорского дворца явился курьер с возвещающим радость лавром. Когда раб отвел его к сидевшему на полу небритому человеку, в разорванной одежде, с посыпанной пеплом головой, курьер усомнился, действительно ли это то лицо, к которому его послали. Нерешительно отдал он письмо. Оно было написано рукой Веспасиана и содержало приказ императорскому секретарю дать Иосифу возможность ознакомиться со всеми документами, которые он пожелал бы использовать для своей книги. Кроме того, император награждал его золотым кольцом знати второго разряда. В первый раз курьер, пришедший с лавром, не получил чаевых. Иосиф только расписался в получении письма. Затем он снова сел на пол, как сидел.

Пришел Корнелий. Раб не осмелился ввести его к Иосифу.

Через семь дней Иосиф встал. Спросил, что произошло за это время. Узнал про юношу Корнелия. Послал за ним.

Оба они, когда Корнелий пришел вторично, почти не разговаривали. Иосиф сказал, что ему нужен хороший, толковый секретарь. Не хочет ли Корнелий помогать ему в его работе над книгой? Корнелий просиял.

В тот же день Иосиф приступил к работе.

«Вероятно, многие авторы,—диктовал он,—сделают попытку описать войну иудеев против римлян, авторы, не присутствовавшие при событиях и основывающиеся на нелепых, противоречивых слухах. Я, Иосиф, сын Маттафия из Иерусалима, священник первой череды, очевидец событий с самого их начала, решил написать историю этой войны, какой она была в действительности, современникам—для памяти, потомкам—в предостережение».

Здесь кончается первый из романов об историке Иосифе Флавии.

ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА

Роман

Перевод

Н. КАСАТКИНОЙ и И. ТАТАРИНОВОЙ

Перевод стихов

ЛЬВА ГИНЗБУРГА

**SPANISCHE BALLADE
(DIE JUDIN VON TOLEDO)**

Roman

1955

Часть первая

Король воспылал любовью к еврейке, прозванной Фермоза, Красавица, и забыл свою жену.

*Альфонсо Мудрый,
«Crónica general» (около 1270 года)*

И отправился в Толедо
Дон Альфонсо с королевой,
Со своей красивой, юной
Королевой. Но известно,
Что любовь сбивает с толку,
Ослепляет. И влюбился
Он в прекрасную еврейку
По прозванию Фермоза.
Да, звалась она Прекрасной,
И недаром. И вот с ней-то
Позабыл король Альфонсо
Королеву.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Прошло восемьдесят лет после смерти пророка Магомета, и созданное мусульманами государство стало мировой державой, протянувшейся от границ Индии через Азию и Африку вдоль южного берега Средиземного моря до Атлантического океана. На восьмидесятом году своего победного шествия мусульмане переправились через узкий западный пролив Средиземного моря в «Андалус», в Испанию, разорили государство, основанное триста лет тому назад христианами-вестготами, и в своем мощном движении вперед заволокли весь полуостров до самых Пиренеев.

Новые властители принесли с собой высокую культуру и превратили Испанию в самую прекрасную, благоустроенную и населенную страну в Европе. По планам, разработанным опытными зодчими и дальновидным строительным ведомством, создавались большие великолепные города, каких эта часть света не знала со времен римлян.

Кордова, резиденция испанского халифа, была признанной столицей западного мира.

Мусульмане возродили пришедшее в упадок сельское хозяйство и, создав мудрую систему орошения, добились небывалых урожаев. Они усовершенствовали горное дело, применив новую, высокоразвитую технику. Их ткачи славились своими драгоценными коврами и тонкими сукнами, их столяры и ваятели — искусной деревянной резьбой, их скорняки — выделкой всякого рода мехов. Их кузнецы с непревзойденным мастерством изготавливали все нужное для мирного обихода и для военных целей. Мечи, шпаги, кинжалы, выкованные их мастерами, были острее и красивее, чем у немусульманских народов, доспехи — крепче, орудия — дальнобойнее, об их тайном оружии весь христианский мир говорил с опаской. Они придумали еще и другое: грозное, смертоносное взрывчатое соединение — так называемый жидкий огонь.

Их корабли под управлением испытанных математиков и астрономов ходили быстро и уверенно, и испанские мусульмане могли вести широкую торговлю и насыщать свои рынки товарами исламской мировой державы.

Искусства и науки никогда раньше не знали такого расцвета под небом Испании. В убранстве домов, отделанных на особый, величественный лад, роскошь сочеталась с изяществом. Искусно построенная система образования с широкой сетью школ давала каждому возможность получить знания. В городе Кордове было три тысячи школ, в каждом крупном городе был свой университет, такие богатые библиотеки мир знал только в эпоху расцвета эллинской Александрии. Философы расширили пределы Корана, перевели и истолковали творения знаменитых греческих мудрецов, по-своему переосмыслив их. Пестрое, яркое искусство сказочников открыло доселе неведомые просторы фантазии. Талантливые писатели довели до совершенства богатый и звучный арабский язык, и теперь на нем можно было передать тончайшие оттенки чувства.

К покоренным мусульмане были милостивы. Для своих христиан они перевели на арабский язык Евангелие. Многочисленным евреям, бесправным при христианах-вестготах, они дали гражданские права. Да, под властью ислама испанским евреям жилось так привольно и хорошо, как не жилось никогда после крушения их собственного царства. Евреи поставляли халифам министров и врачей, основывали мануфактуры, вели широкую торговлю, посылали свои корабли во все семь морей. Не забывая своей еврейской письменности, они разрабатывали философские системы на арабском языке, переводили Аристотеля и сочетали его учение с учением их собственной Великой

Книги и с доктринами прославленной арабской мудрости. Они создали свободную, смелую критику Библии. Они возродили еврейскую поэзию.

Больше трех столетий длилось такое процветание. Затем налетела грозная буря и разметала все.

Когда мусульмане покорили полуостров, разбитые части вестготов-христиан укрылись в северной гористой части Испании, они основали в этих малодоступных местах небольшие независимые графства и из поколения в поколение продолжали вести войну с мусульманами, разбойничью войну, герилью. Долгое время они сражались одни. Но затем папа римский объявил крестовый поход, знаменитые проповедники в пламенных речах призывали верующих изгнать мусульман из земель, отнятых у последователей Христа. И тогда отовсюду стали собираться крестоносцы, пришли они и к воинственным потомкам прежних христианских властителей Испании. Почти четыре столетия ждали эти последние вестготы, и вот наконец они устремились на юг. Изнеженные, утонченные мусульмане не могли устоять против их дикого натиска. Спустя несколько десятилетий христиане отвоевали всю северную половину полуострова до реки Тахо.

Мусульмане, все сильнее теснимые христианскими войсками, обратились за помощью к своим африканским единоверцам, диким, фанатически преданным исламу воинам, в их числе и к тем, что жили в огромной южной пустыне—Сахаре. Африканские мусульмане остановили продвижение христиан. Но они изгнали также и образованных, свободомыслящих мусульманских правителей, до тех пор царствовавших в Андалусии. Им была чужда веротерпимость. Африканский халиф Юсуф захватил власть и над Андалусией. Чтоб очистить страну от неверия, он призвал представителей иудейства в свою ставку в Лусену и сказал им так: «Во имя милосердного бога. Пророк обещал вашим отцам веротерпимость в землях, подвластных правоверным, но при одном условии, которое начертано в древних книгах. Если ваш мессия не явится в течение полтысячелетия, вы—на это дали согласие ваши отцы—признаете Магомета величайшим пророком среди пророков, затмившим ваших избранников божиих. Пятьсот лет истекло. Итак, выполняйте договор, признайте пророка, перейдите в ислам! Или покиньте мою Андалусию!»

Многие евреи ушли из Андалусии, хотя им и не было разрешено брать с собой имущество; большинство ушло в северную Испанию, ибо для восстановления разоренного войной края христиане, вновь воцарившиеся там, нуждались в евреях, в их превосходной хозяйственной сметке, в их прилежании к ремеслам, в их разнообразных знаниях.

Они предоставили евреям гражданские права, отнятые у тех отцами теперешних властителей Испании, и, кроме того, даровали многие привилегии.

Но были и такие евреи, что остались в мусульманской Испании и признали Аллаха. Они рассчитывали спасти таким путем свое состояние, а позднее, при более благоприятных обстоятельствах, переселиться на чужбину и снова перейти в прежнюю веру. Но жизнь на родине была сладостна, жизнь в прекрасной стране Андалусии была сладостна, они медлили с переселением. А когда после смерти халифа Юсуфа воцарился менее суровый государь, они мало-помалу и совсем перестали думать о переселении. Правда, всем неверным по-прежнему запрещалось жить в Андалусии, но в доказательство своей приверженности к исламу достаточно было показываться время от времени в мечети и пять раз в день произносить: «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его». Отрекшиеся от веры отцов евреи могли тайно соблюдать свои обряды, и в очищенной от евреев Андалусии были скрытые еврейские молитвенные дома.

Но они, эти тайные евреи, знали: их тайна известна очень многим и, если вспыхнет новая война, ересь их станет явной. Они знали: если вспыхнет новая священная война, они погибнут. И когда они, как предписывал им их закон, ежедневно молились о сохранении мира, молитву эту творили не только их уста.

Опустившись на ступени разрушенного фонтана во внутреннем дворе, Ибрагим почувствовал, как он устал. Уже целый час он бродит по этому обветшалому дому.

А ведь ему действительно нельзя терять время. Вот уже десять дней, как он в Толедо, советники короля вправе требовать от него ответа—берет он на себя обязанности главного откупщика налогов или нет.

Купец Ибрагим из мусульманского Севильского королевства уже не раз вел дела с христианскими правителями Испании, но за такое грандиозное предприятие он еще никогда не брался. В течение многих лет финансы Кастильского королевства были в плохом состоянии, а после того, как король Альфонсо—с тех пор прошло уже пятнадцать месяцев—предпринял свой легкомысленный поход против Севильи и потерпел поражение, его казна пришла в полный упадок. Дону Альфонсо нужны были деньги, много денег, и немедленно.

Севильский купец Ибрагим был богат. У него были корабли, поместья и кредит во многих городах ислама и в торговых центрах Италии и Фландрии. Но в это кастильское предприятие, если он за него возьмется, придется

вложить весь свой капитал, и даже самый дальновидный человек не может предвидеть — преодолее ли Кастилия ту разруху, которая надвинется на нее в ближайшие годы.

Король Альфонсо, со своей стороны, предлагал взамен огромные блага. Ибрагиму отдавали на откуп налоги и пошлины, а также доходы с горных рудников, и он был уверен, что раздобудь он нужные деньги, и он выговорит себе еще более благоприятные условия — в его ведении окажутся все доходы королевства. Правда, с тех пор, как христиане отвоевали страну у мусульман, торговля и ремесла пришли в упадок; но Кастилия — самое большое из испанских государств — страна плодородная, в ее недрах скрыты большие богатства, и Ибрагим верил, что сумеет снова поднять этот край на прежнюю высоту.

Но руководить таким огромным делом издалека нельзя: придется на месте следить за его выполнением, придется покинуть мусульманскую Севилью и переселиться сюда, в христианский Толедо.

Ему сейчас уже пятьдесят пять лет. Он достиг всего, чего желал. Человеку в его возрасте и столь преуспевшему не следует даже помышлять о таком сомнительном предприятии.

Ибрагим сидел, подперев голову, на разрушенных ступенях давно иссякшего фонтана, и вдруг он ясно почувствовал: даже если бы он наперед знал, какое это неверное предприятие, он все равно переселился бы в Толедо, сюда, в этот дом.

Его манил сюда именно этот жалкий, обветшалый дом.

Давние, необычные узы связывали его с этим домом. Он, Ибрагим, крупный делец в гордой Севилье, друг и советчик эмира, еще в юности признал пророка Магомета. Но родился он не мусульманином, а евреем, и этот дом, кастильо де Кастро, принадлежал все время, пока мусульмане царили в Толедо, его отцам и дедам, роду Ибн Эзра. Но когда — тому теперь уже сто лет — король Альфонсо, шестой этого имени, отнял город у мусульман, бароны де Кастро захватили дом Ибн Эзра. Много раз бывал Ибрагим в Толедо, каждый раз с вожделением смотрел он на мрачные наружные стены замка. Теперь, когда король изгнал баронов де Кастро из Толедо и отнял у них этот дом, он, Ибрагим, может наконец войти внутрь и решить, следует ли ему вернуть себе то, что издавна принадлежало его отцам и дедам.

Зорко вглядываясь во все жадными глазами, неторопливым шагом прошел он по многим лестницам и по многим залам, покоям, коридорам, дворам. Пустое, некрасивое здание, скорее крепость, а не дворец. Снаружи, верно, здание выглядело так же и тогда, когда в нем жили отцы и деды Ибрагима — Ибн Эзры. Но внутри они, конечно,

обставили дом удобно, согласно арабскому обиходу, а дворы превратили в тенистые сады. Очень заманчиво восстановить дом отцов и сделать из неуклюжего, пришедшего в упадок кастильо де Кастро красивый, изящный кастильо Ибн Эзра.

Что за безумные планы! В Севилье он король среди купечества и желанный гость при дворе эмира наряду с поэтами, художниками, учеными из всех арабских стран. Там ему дышится так привольно, и его любимым детям — дочери Рехии и сыну Ахмету — тоже. Ведь это же грех и безумие — даже мысленно, в шутку, променять благородную, утонченную Севилью на варварский Толедо!

Нет, это не безумие и, уж конечно, не грех.

Род Ибн Эзра, самый гордый из всех иудейских родов полуострова, за последние сто лет не раз подвергался превратностям судьбы. Гонения, которые претерпели евреи после вторжения мавра в Андалусию, коснулись и Ибрагима, тогда еще мальчика, в ту пору его звали Иегуда Ибн Эзра. Семья Ибн Эзра, как и остальные евреи Севильского королевства, бежала в северную, христианскую Испанию. А он, подросток, выполняя волю семьи, остался и принял ислам; с ним дружил сын эмира Абдулла, и родители надеялись, что так им удастся спасти часть своих богатств. Когда Абдулла вступил на престол, он вернул Ибрагиму его состояние. Эмир знал, что его друг в душе привержен старой вере, и другие тоже знали, но смотрели на это сквозь пальцы. Теперь же назревала новая война христиан против правоверных, а во время священной войны эмир Абдулла не сможет защитить еретика Ибрагима. Ему придется бежать в христианскую Испанию, как бежали его отцы, нищим, бросив все нажитое. Не разумнее ли в таком случае уже сейчас, пока он богат и знатен, по доброй воле переселиться в Толедо?

Ведь если он захочет, он и здесь, в Толедо, будет пользоваться тем же почетом, что и в Севилье. Стоило ему только намекнуть, и ему сейчас же посулили должность Ибн Шошана, умершего три года назад еврея — министра финансов. Без всякого сомнения, здесь, в Толедо, он сможет получить любую должность, даже если открыто вернется к иудейской вере.

Сквозь щелку в стене подсматривал во двор управитель. Вот уже два часа, как чужеземец здесь; чего ради смотрит он на эти ветхие стены? Вот он сидит, этот неверный, словно он здесь дома, словно хочет остаться здесь навсегда. Челядь чужеземца, дожидавшаяся его в наружном дворе, рассказала, что в Севилье у него пятнадцать породистых коней и восемьдесят слуг, из них тридцать — черные. Да, неверные живут богато и широко. Но хоть прошлый раз король, наш государь, и потерпел

поражение, придет пора, и милостью Святой Девы и Сант-Яго мы их побьем, побьем неверных и заберем их сокровища.

А чужеземец все еще не уходил.

Да, севильский купец Ибрагим сидел и думал свою думу. Еще ни разу не приходилось ему принимать такое ответственное решение. Ведь тогда, когда мавры вторглись в Андалусию и он принял закон Магомета, ему шел всего тринадцатый год, он не отвечал ни перед богом, ни перед людьми, за него решила семья. Теперь он должен выбирать сам.

Севиля сияла в зените славы, великолепия, зрелости. Но, как говорит его старый друг Муса, это была уже перезрелость; солнце западного ислама перешагнуло зенит, оно склонялось к закату. Здесь, в христианской Испании, в Кастилии, подъем только начинается. Все здесь еще в первобытном состоянии. Они разрушили то, что создал ислам, и кое-как зачинили. Сельское хозяйство оскудело, землю обрабатывают по старинке, ремесла в упадке. Государство обезлюдело, а те, кто остался, привыкли к ратному делу, не к мирному труду. Он, Ибрагим, призовет сюда людей, которые умеют работать, которые умеют добыть то, что лежит без всякой пользы в земле.

Вдохнуть жизнь и дыхание в опустившуюся, разоренную Кастилию будет нелегко. Но это-то как раз и заманчиво.

Правда, потребуется немало времени, потребуются долгие, ничем не потревоженные мирные годы.

И вдруг он почувствовал: то был божий глас, его он слышал уже тогда, пятнадцать месяцев назад, когда дон Альфонсо после поражения просил эмира Севильского о перемирии. Воинственный Альфонсо шел на многие уступки — соглашался отдать некоторые области, щедро возместить военные убытки, но пойти на то, чтобы перемирие длилось восемь лет, как того требовал эмир, король никак не хотел. А он, Ибрагим, убеждал и уговаривал эмира настаивать на этом требовании и лучше постепенно уступать в другом, удовлетвориться меньшими земельными приобретениями и не столь щедрым денежным возмещением. И в конце концов он добился своего, и перемирие на восемь долгих благодетельных лет было подписано и скреплено печатью. Да, это сам бог понуждал и вразумлял его тогда: «Борись за мир! Не отступай, борись за мир!»

И тот же внутренний голос привел его сюда, в Толедо. Если начнется новая священная война — а она обязательно начнется, — задиристый дон Альфонсо почувствует большое искушение нарушить перемирие с Севильей. Но он, Ибрагим, будет тут и будет удерживать короля хитро-

стью, угрозами и доводами рассудка, и если ему не удастся отговорить короля, он все-таки оттянет войну.

А для евреев, для его евреев, это будет благословением, ибо, когда вспыхнет война, он, Ибрагим, будет заседать в королевском совете. На евреев на первых, как это и раньше бывало, обрушатся крестоносцы, но он прострет руку и защитит их.

Потому что он им брат.

Севильский купец Ибрагим не лгал, когда называл себя приверженцем ислама. Он чтит Аллаха и его пророка, он любил арабскую литературу и науку. Обычай мусульман были ему близки и привычны, он автоматически совершал пять раз в день предписанные омовения, пять раз падал ниц, лицом к Мекке, творя молитву, и, когда ему приходилось принимать серьезное решение или начинать крупное дело, он от всего сердца призывал Аллаха и произносил первую суру Корана. Но когда в субботу севильские евреи собирались в подвальных покоях его дома, в его тайной молельне, чтобы воздать хвалу богу Израиля и читать Великую Книгу, на сердце ему нисходило радостное спокойствие. Он знал—сейчас он исповедует свою заветную веру, и это исповедание самой истинной истины очищало его от полуистин всей недели.

Горьким, блаженным желанием вернуться в Толедо зажег его сердце Адонай, древний бог его отцов.

Однажды, в ту пору, когда на андалусских евреев обрушилось великое бедствие, один из семьи Ибн Эзра, его дядя Иегуда Ибн Эзра, уже оказал своему народу отсюда, из Кастилии, большую помощь. Этот Иегуда, военачальник царствовавшего тогда Альфонсо, Альфонсо VII, отстоял пограничную крепость Калатраву от мусульман и дал возможность тысячам, десяткам тысяч гонимых евреев спастись, укрывшись в ее стенах. Теперь для того же бог избрал его, бывшего купца Ибрагима.

Он возвратится сюда, в отчий дом.

Быстрая яркая фантазия нарисовала ему, каким станет этот дом. Уже снова бил фонтан, уже молча и таинственно расцветал двор, в отвыкших от людей покоях кипела жизнь, нога ступала по пушистым коврам, а не по каменному негостеприимному полу, вдоль стен гирляндами вились изречения, еврейские и арабские, стихи из Великой Книги и мусульманских поэтов, и повсюду струилась прохладная, умеряющая жару вода, и под ее ритмичное журчание текли грезы и мысли.

Вот каким станет этот дом, и он войдет в него тем, кто он действительно есть: Иегудой Ибн Эзра.

Сами собой приходили на ум божественные изречения, призванные украсить его дом, стихи из Великой Книги его отцов, которая отныне заменит ему Коран. «Потому что

горы сдвинутся и холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя и завет мира моего будет непоколебим».

Бездумная, блаженная улыбка осветила его лицо. Внутренним оком видел он гордый стих божьего завета, черными, голубыми и золотыми письменами выющийся вдоль карниза, украшая его спальню; вечером, прежде чем заснуть, он запечатлеет этот стих в своем сердце, а утром, когда проснется, обратит к нему свой взор.

Он поднялся, потянулся. Да, он переедет на жительство сюда, в Толедо, в старый, заново отделанный дом своих отцов, он вдохнет новую жизнь в бедную, нищую Кастилию, он поможет сохранить мир и даст приют гонимому Израилю.

Манрике де Лара, первый министр, изложил дону Альфонсо содержание договора с севильским купцом Ибрагимом; теперь его оставалось только подписать. Королева присутствовала при докладе. В христианской Испании супруга государя с давних пор была соправительницей мужа и пользовалась привилегией принимать участие в государственных делах.

Три документа, в которых на арабском языке были изложены соглашения, лежали на столе. Договоры были составлены обстоятельно, и дон Манрике не спеша разъяснял их пункт за пунктом.

Король слушал рассеянно. Донья Леонор и первому министру пришлось долго убеждать дону Альфонсо, прежде чем он согласился взять на королевскую службу этого неверного. Кто, как не Ибрагим, был повинен в том, что тогда, пятнадцать месяцев назад, пришлось подписать такой тяжелый мирный договор?

Ох, уж этот мирный договор! Приближенные убедили его, что договор благоприятен. Правда, ему не пришлось, как он опасался, уступить эмиру крепость Аларкос, дорогой ему город, который он отвоевал у врагов в первый поход и присоединил к своему королевству, да и контрибуция не была бессовестно высокой. Но восемь лет перемирия! Молодой, горячий король, всем сердцем солдат, не мог успокоиться: ведь восемь бесконечно долгих лет неверные будут хвалиться своей победой. И с человеком, вынудившим его подписать такой постыдный мир, он должен заключить второй чреватый последствиями договор! Должен все время терпеть его присутствие и выслушивать его сомнительные предложения! С другой стороны, ему казались убедительными доводы, которые приводили умная королева и его испытанный друг Манрике: с тех пор как умер Ибн Шошан, его добрый богатый иудей,

стало гораздо труднее вытягивать деньги из крупных торговцев и банкиров всего света, и только этот самый Ибрагим из Севильи мог помочь ему в его затруднительном денежном положении.

Рассеянно слушая Манрике, он задумчиво смотрел на донью Леонор.

Она была не частой гостьей в королевской резиденции Толедо. Донья Леонор родилась в герцогстве Аквитания, в благородном краю на юге Франции. Она привыкла к изящным придворным манерам, и нравы Толедо, хотя город уже сто лет принадлежал королям Кастилии, казались ей все еще грубыми, как в военном лагере. Она понимала, что дон Альфонсо должен почти все время проводить в своей столице, вблизи от извечного врага, но сама все же предпочитала держать двор в Бургосе, в северной Кастилии, вблизи от родины.

Альфонсо отлично знал, хотя никто ему ничего не говорил, почему донья Леонор на этот раз приехала в Толедо. Конечно же, она тут по просьбе дона Манрике. Его министр и добрый друг, должно быть, думает, что без ее помощи он не убедит короля назначить неверного своим канцлером. Но он, Альфонсо, очень быстро понял, что это неизбежно, и сам, без уговоров доньи Леонор, дал бы согласие. Однако он был доволен, что так долго противился; его радовало, что донья Леонор тут.

Как тщательно она нарядилась. А ведь дело шло всего только о докладе старого друга Манрике. Она всегда старается быть очаровательной женщиной и вместе с тем королевой. Это казалось ему немножко смешным, но в то же время нравилось. Еще почти девочкой — ей шел пятнадцатый год — покинула она двор своего отца, Генриха Английского, и стала его невестой. Но все эти годы, проведенные в его бедной, суровой Кастилии, где из-за вечной войны было не до куртуазных ухищрений, она оставалась верна духу своей родины — пристрастие к утонченно-галантным манерам.

Хотя ей было уже двадцать девять лет, она все еще выглядела совсем девочкой в своем тяжелом, роскошном наряде. Несмотря на небольшой рост, она казалась статной. Золотой обруч сдерживал ее густые светлые волосы. Высокий лоб был благородно очерчен. Несколько холодный и, пожалуй, испытующий взгляд больших и умных зеленых глаз смягчала тихая, неопределенная улыбка, придававшая ее спокойному лицу теплоту и приветливость.

Пусть ее смеется над ним его милая донья Леонор. Бог наградил его разумом, он не хуже жены и ее отца, английского короля, понимает, что в наши дни хозяйство страны не менее важно, чем военная мощь. Но ничего не поделаешь, хитроумные окольные пути, хоть они и вер-

нее, чем меч, ведут к цели, для него слишком медленны и нестерпимо скучны. Он солдат, а не математик, солдат и еще раз солдат. И это хорошо, особенно в такое время, когда господь бог повелел христианским государям неустанно воевать с неверными.

Донья Леонор тоже отдалась своим мыслям. Лицо ее любимого Альфонсо говорило ей, какие чувства борются в нем: он понимает и покоряется, но он злится и хочет сбросить с себя ярмо. Он не государственный муж; никто не знал этого лучше, чем она, дочь короля и королевы, за смелой, хитрой политикой которых уже несколько десятилетий, затаив дыхание, следил весь мир. Он очень умен, когда захочет, но его буйный нрав все время сокрушает стену разума. И вот за эту озорную необузданность она и любит его.

— Ты видишь, государь, и ты, донья Леонор, тоже,— закончил дон Манрике,— он не отказывается ни от одного из своих условий. Но зато он и предлагает гораздо больше, чем может дать кто-либо другой.

Дон Альфонсо сердито сказал:

— И кастильо он тоже забирает! Как альбороке!

Словом *альбороке* называли подарок, который, согласно правилам вежливости, было принято делать при заключении договора.

— Нет, государь,— ответил дон Манрике.— Прости, я позабыл тебе сказать: он не хочет получить кастильо в подарок. Он хочет его купить. За тысячу золотых мараведи.

Это была невероятная сумма, старые развалины не стоили и половины. Такая щедрость приличествовала знатному вельможе; но со стороны севильского купца Ибрагима это, пожалуй, даже дерзость! Альфонсо встал, принялся шагать из угла в угол.

Донья Леонор следила за ним. Этому Ибрагиму придется немало потрудиться, чтобы угодить ее Альфонсо. Ничего не поделаешь, он рыцарь, кастильский рыцарь. Какой он красивый — настоящий мужчина, и, несмотря на свои тридцать лет, еще совсем юноша! Леонор провела часть своего детства в замке Донфрон; там стояла большая деревянная статуя молодого, грозного святого Георгия, могучего охранителя замка, и смелое, решительное, худощавое лицо ее Альфонсо каждый раз напоминало ей лик святого. Все в муже нравилось ей: золотисторыжие волосы, короткая окладистая борода, выбритая вокруг губ, так что резко выступал узкий рот. Но больше всего нравились ей его серые, живые глаза, которые в минуты возбуждения светлели и вспыхивали недобрым огнем. Вот и сейчас тоже они такие.

— Он просит только об одной милости,— продолжал

дон Манрике.— Он просит о разрешении предстать пред очи твоего величества и от тебя лично получить документы и подпись. Эмир посвятил его в рыцари, и он ревниво оберегает свое достоинство,— пояснил Манрике.— Вспомни, дон Альфонсо, что у неверных купец пользуется тем же почетом, что и воин, ведь сам их пророк был купцом.

Альфонсо засмеялся, вдруг придя в хорошее настроение; когда он смеялся, лицо его по-мальчишески сияло.

— Уж не прикажешь ли ты мне разговаривать с ним по-еврейски?— весело крикнул он.

— Он хорошо владеет латынью,— деловито ответил Манрике.— Да и по-кастильски он говорит неплохо.

Дон Альфонсо опять совершенно неожиданно стал серьезным.

— Я ничего не имею против еврейского альхакима,— сказал он,— но назначить еврея моим эскривано майор... вы должны понять, что это мне претит.

Дон Манрике снова повторил то, что уже не раз излагал королю в течение последних недель:

— Мы целое столетие вынуждены были вести войну и покорять, у нас не было времени для хозяйственных забот. У мусульман это время было. Если мы хотим сравняться с ними, нам нужен изворотливый ум евреев, их красноречие, их деловые связи. Для христианских государей было счастьем, когда андалусские мусульмане изгнали своих евреев. У твоего арагонского дяди есть свой дон Хосе Ибн Эзра, а у наваррского короля свой Бен Серах.

— И у моего отца есть свой Аарон из Линкольна,— добавила донья Леонор.— Отец сажает его время от времени в тюрьму, но потом опять выпускает и награждает землями и почестями.

А дон Манрике закончил:

— Дела Кастилии шли бы лучше, если бы наш еврей Ибн Шошан не умер.

Дон Альфонсо помрачнел. Напоминание об Ибн Шошане рассердило его. Ведь он уже четыре года тому назад хотел предпринять против эмира Севильи поход, который окончился так неудачно, да только старый Ибн Шошан удерживал его. Теперь его место, по-видимому, займет этот самый Ибрагим из Севильи— так хотят донья Леонор и Манрике— и будет удерживать его, дон Альфонсо, от скоропалительных решений. Возможно, именно из-за этого, а не из-за хозяйственных дел они так настойчиво уговаривают его призвать еврея. Они считают его, Альфонсо, слишком необузданным, слишком воинственным, они не верят, что у него хватит хитрости и того жалкого терпения, которое в эту торгашескую эпоху необходимо иметь королю.

— Ко всему прочему они еще и написаны по-арабски!—сказал он сердито и развернул договоры.—Я даже не могу прочитать хорошенько то, что должен подписать.

Дон Манрике угадал его мысли: король хочет оттянуть подписание договора.

— Если ты повелишь, государь,—с готовностью ответил он,—я прикажу изготовить латинские договоры.

— Хорошо,—сказал Альфонсо.—И до среды не зови сюда твоего еврея.

Аудиенция, во время которой должна была произойти церемония подписания договора, состоялась в небольшом зале. Донья Леонор пожелала присутствовать на приеме, ей хотелось посмотреть на еврея.

Дон Манрике был при регалиях; на золотой цепи висел нагрудный знак, присвоенный *фамильярес*, тайным советникам короля,—пластина с гербом Кастилии, с тремя башнями, символом страны укрепленных замков. Донья Леонор тоже была в параде. Зато Альфонсо оделся по-домашнему, совсем не так, как того требовала церемония подписания государственного акта; он был в колете с широкими, свободными рукавами и в удобных башмаках.

Все ожидали, что Ибрагим, представ перед его величеством, преклонит, согласно обычаю, одно колено. Но пока он не подданный короля, а вельможа мусульманской мировой державы. И одет он согласно обычаю мусульманской Испании: поверх всего на нем тяжелая синяя мантия, которую носили сановные мусульмане, отправляясь в сопровождении личной свиты ко двору христианских государей. Ибрагим ограничился низким поклоном донье Леонор, дону Альфонсо и дону Манрике.

Королева заговорила первой.

— Да будет мир с тобой, Ибрагим из Севильи,—сказала она по-арабски. Образованные люди полуострова даже в христианских королевствах, кроме латыни, знали и арабский.

Долг вежливости требовал, чтобы и Альфонсо обратился к гостю на арабском языке. Так он и собирался. Но заносчивость купца, не пожелавшего преклонить колено, побудила его обратиться к нему по-латыни.

— *Salve, domine Ibrahim*¹,—сердито буркнул он слова приветствия.

Дон Манрике в нескольких общих фразах пояснил, с какой целью приглашен купец Ибрагим. Донья Леонор, знатная дама до кончиков ногтей, со спокойной, церемон-

¹ Приветствую тебя, господин Ибрагим (лат.).

ной улыбкой рассматривала меж тем гостя. Он казался выше своего роста, так как носил башмаки на высоких каблуках и, несмотря на непринужденность манер, держался очень прямо. Матовое, смуглое лицо, обрамленное короткой окладистой бородой, спокойные миндалевидные глаза, умные, чуть высокомерные. На плечи накинута ловко сшитая синяя мантия знатного чужестранца. Донья Леонор с завистью рассматривала дорогую ткань; в христианских королевствах трудно достать такой товар. Но когда этот еврей будет у них на службе, он, конечно, раздобудет ей такую же ткань и те чудодейственные благовония, о которых она много слышала.

Король сидел на скамье, своего рода походной кровати; он сидел, вернее, полулежал, в подчеркнуто небрежной позе.

— Я надеюсь,—сказал он после того, как Манрике кончил свою речь,—что ты в срок доставишь двадцать тысяч золотых мараведи, которые обязуешься выплатить как задаток.

— Двадцать тысяч золотых мараведи большие деньги,—ответил Ибрагим,—а пять месяцев малое время. Но деньги будут у тебя в срок, государь, если, конечно, полномочия, которые предоставляются мне договором, не останутся на пергаменте.

— Твои сомнения понятны, Ибрагим из Севильи,—сказал король.—Обусловленные тобою полномочия просто неслыханны. Мои вельможи объяснили мне, что ты хочешь наложить руку на все, что даровано мне божьей милостью,—на подати, на доходы казны, на мои пошлины, на мои железные рудники и соляные копи. Мне сдается, ты ненасытный человек, Ибрагим из Севильи.

Купец ответил спокойно:

— Насытить меня нелегко, ибо я должен насытить тебя, государь. А ты—изголодался. Я уплачу вперед двадцать тысяч золотых мараведи. Но еще вопрос, какие деньги, из которых мне причитаются небольшие проценты, я смогу выручить. Твои гранды и рикос-омбрес своевольные и грубые господа. Не посетуй на купца, государыня,—обратился он с глубоким поклоном к донье Леонор и заговорил по-арабски,—если при тебе, луноликой, я говорю о таких низменных и скучных делах.

Но дон Альфонсо не сдавался:

— Я считал бы вполне достаточным, если бы ты удовольствовался званием альхакима, как мой еврей Ибн Шошан. Добрый был еврей, и я очень сожалею о нем.

— Для меня большая честь, государь,—ответил Ибрагим,—что ты доверяешь мне наследие этого умного и удачливого человека. Но если ты хочешь, чтобы я служил тебе, как я сам того горячо желаю, мне нельзя удоволь-

ствовать полномочиями, которые были даны благородному Ибн Шошану,—да уготовает Аллах ему все радости рая!

Но король продолжал свою речь, словно не слышал возражений Ибрагима, и теперь он перешел на родной язык, на вульгарную латынь, на кастильский:

— Но твое требование быть моим хранителем печати я считаю, мягко говоря, неприличным.

— Я не соберу тебе подати, государь, если буду только твоим альхакимом,—спокойно ответил купец, медленно, с трудом выговаривая кастильские слова.—Я должен был обусловить, чтоб ты сделал меня своим эскривано. Если я не буду распоряжаться твоей печатью, гранды не послушаются меня.

— Ты говоришь смиренным голосом и слова выбираешь смиренные, как это и подобает,—ответил дон Альфонсо.—Но ты меня не обманешь. Ты выдвигаешь очень дерзкое требование, я бы сказал, что ты,—и он употребил весьма крепкое слово вульгарной латыни,—нагл.

Манрике поспешил объяснить:

— Король находит, что ты знаешь себе цену.

— Да, именно это хотел сказать король,—приветливо и на очень хорошем латинском языке подтвердила своим звонким голосом донья Леонор.

Купец опять низко склонился сперва перед доньей Леонор, затем перед Альфонсо.

— Я знаю себе цену,—сказал он,—и знаю цену королевским налогам. Не поймите меня превратно ни ты, государыня, ни ты, великий и гордый король, ни ты, благородный дон Манрике. Бог благословил прекрасную землю Кастилии многими сокровищами и безграничными возможностями. Но войны, которые пришлось вести тебе, государь, и твоим предкам, не оставляли вам досуга, чтобы использовать это божье благословение. Теперь, государь, ты решил даровать своей стране восемь мирных лет. Сколько богатств можно извлечь за эти восемь лет из недр твоих гор, из плодородных земель, из рек! Я знаю людей, которые могут обучить твоих подданных, как сделать поля урожайнее и умножить стада. Я вижу железо в недрах твоих гор, неиссякаемые залежи бесценного железа! Я вижу медь, ляпис-лазурь, ртуть, серебро, и я найду умелые руки, достану искусных рудокопов, кузнецов, литейщиков. Я призову сведущих людей из стран ислама, и тогда, государь, твои оружейные мастерские не уступят мастерским Севильи и Кордовы. А потом, у нас есть такой материал, о котором вы в ваших северных краях едва ли слышали,—его называют бумага, и писать на нем сподручнее, чем на пергаменте, и если только знать секрет его изготовления, он обойдется в

пятнадцать раз дешевле, нежели пергамент, а на берегах твоего Тахо есть все, что требуется для изготовления этого материала. И тогда, о государь и государыня, наука, философия и поэзия станут в ваших землях еще глубже и богаче.

Он говорил вдохновенно, с убеждением, он переводил свои блестящие, вкрадчивые глаза с короля на донью Леонор, а они с интересом, даже с легким волнением внимали красноречивому еврею. Дона Альфонсо слова Ибрагима немножко смешили, он не доверял им: добро приобретается не трудом и потом, оно завоевывается мечом. Но у дона Альфонсо было богатое воображение, он видел процветание и сокровища, которые обещал ему Ибрагим. Широкая радостная улыбка озарила его лицо, он опять стал совсем молодым, и донья Леонор почувствовала, какой он для нее желанный.

И дон Альфонсо заговорил и признал:

— Ты складно говоришь, Ибрагим из Севильи, и, может статься, выполнишь часть того, что обещаешь. Сдается мне, что ты умный, сведущий в делах человек.

Но, словно раскисаясь, что поддался на такие торгашеские речи и одобрил их, он вдруг сразу изменил тон, сказал, поддразнивая, с издевкой:

— Я слышал, ты дорого заплатил за мой кастильо, бывший кастильо де Кастро. Верно, у тебя большая семья, раз тебе понадобился такой огромный дом?

— У меня есть сын и дочь,—ответил купец.—Но я люблю, чтобы со мной жили друзья, чтобы было с кем посоветоваться и побеседовать. Кроме того, многие обращаются ко мне за помощью, а богу угодно, чтобы мы призвали нуждающихся в крове.

— Не дешево стоит тебе быть верным слугой твоего бога,—сказал король.—Я предпочел бы даром отдать тебе в пожизненное владение кастильо в качестве альбороке.

— Этот дом не всегда назывался кастильо де Кастро,—вежливо ответил купец.—Раньше он назывался каср Ибн Эзра, и потому мне так хочется приобрести его. Твои советчики, государь, я полагаю, сообщили тебе, что хоть у меня и арабское имя, но принадлежу я к роду Ибн Эзра, а мы, Ибн Эзра, не любим жить в домах, которые принадлежат не нам. Не дерзость побудила меня, государь,—продолжал он, и теперь его голос звучал доверчиво, почтительно и дружелюбно,—испросить у тебя другое альбороке.

Донья Леонор с удивлением спросила:

— Другое альбороке?

— Господин эскривано майор попросил разрешения ежедневно брать для своего стола ягненка из королевских

поместий,—объяснил дон Манрике.—И это разрешение было ему дано.

— Мне потому дорога эта привилегия,—сказал Ибрагим, обращаясь к королю,—что твой дед, августейший император Альфонсо, оказал ту же милость моему дяде. Когда я перееду в Толедо и поступлю к тебе на службу, я открыто, перед лицом всего света вернусь к вере своих отцов, откажусь от имени Ибрагим и снова стану зваться Иегуда Ибн Эзра, как тот мой дядя, что удержал для твоего деда крепость Калатраву. Да будет мне разрешено, государь и государыня, сказать безрассудно откровенное слово. Если бы я мог вернуться к вере отцов в Севилье, я не оставил бы своей прекрасной родины.

— Нас радует, что ты оценил нашу терпимость,—сказала донья Леонор. А дон Альфонсо спросил без всяких обиняков:

— А ты не думаешь, что тебе встретятся трудности, когда ты захочешь покинуть Севилью?

— Когда я ликвидирую там свои дела,—ответил Иегуда,—я, разумеется, понесу убытки. Других трудностей я не боюсь. По великой своей милости бог не отвратил от меня сердце эмира. Он человек высокого и свободного ума, и если бы это зависело только от него, я мог бы открыто исповедовать веру моих отцов и в Севилье. Эмир поймет мои побуждения и не станет чинить мне препятствия.

Альфонсо рассматривал купца, стоявшего перед ним в вежливо-почтительной позе и говорившего с такой дерзкой откровенностью. Он казался королю умным как бес, но не менее опасным. Если он изменяет своему другу эмиру, сохранит ли он верность ему, чужому, христианину? Иегуда, словно угадав его мысли, сказал почти весело:

— Раз я покину Севилью, вернуться туда мне уже, разумеется, будет невозможно. Ты видишь, государь, я в твоих руках и вынужден быть тебе верным слугой.

Дон Альфонсо коротко, почти грубо буркнул:

— Ну, давай на подпись.

Прежде он ставил свое имя по-латыни: *Alfonsus rex Gastiliae*¹, или *Ego rex*², последнее время он все чаще писал на языке своего народа, на вульгарной латыни, на романском, на кастильском.

— Ты, надеюсь, удовлетворишься, если я поставлю только *Jo el rey*?³—насмешливо спросил он.

Иегуда шутливо ответил:

¹ Альфонсо, король Кастилии (лат.).

² Я, король (лат.).

³ Я, король (исп., стариинное написание).

— Я удовлетворюсь, государь, даже если ты поставишь только свои инициалы, сделаешь один росчерк пера.

Дон Манрике подал дону Альфонсо перо. Король подписал все три документа, быстро, с упрямым, замкнутым лицом, словно решившись на неприятный, но неизбежный шаг. Иегуда следил за ним. Он был доволен достигнутым, с радостным нетерпением ожидал предстоящего. Он был благодарен судьбе, своему богу Аллаху и своему богу Адонаю. Он чувствовал, как умирает в нем мусульманин, и неожиданно в памяти его всплыла благодарственная молитва, которую его еще ребенком учили повторять каждый раз, когда он познавал нечто новое: «Слава тебе, Адонай, боже наш, давший мне дожить до сего дня, прожить и пережить его».

Затем он тоже подписал документы и подал их королю почтительно, но с чуть приметным лукавым ожиданием. И верно, Альфонсо очень удивился, когда посмотрел на подпись, он поднял брови и наморщил лоб — буквы были непривычные.

— Что это значит? — воскликнул он. — Это же не арабский язык!

— Государь, я позволил себе, — вежливо заметил Иегуда, — поставить свою подпись по-еврейски. — И он почтительно пояснил: — Мой дядя, которому твой августейший дед соизволил даровать княжеский титул, всегда подписывался только по-еврейски: «Иегуда Ибн Эзра га-наси, князь».

Альфонсо пожал плечами и повернулся к донье Леонор; он явно считал аудиенцию оконченной.

Меж тем Иегуда сказал:

— Прошу еще об одной милости — о перчатке.

Перчатка символизировала важное поручение, которое рыцарь давал рыцарю; после удачно выполненного поручения перчатка возвращалась владельцу.

Альфонсо счел, что за этот час скушал достаточно дерзостей, и уже хотел резко ответить, но удержался, заметив предостерегающий взгляд доньи Леонор. Он сказал:

— Ну хорошо, будь по-твоему.

И теперь Иегуда опустил на одно колено. И Альфонсо дал ему перчатку.

Но затем, словно стыдясь содеянного и желая свести свою связь с евреем к тому, чем она была в действительности, к торговому договору, сказал:

— Так, а теперь поскорей раздобудь мне обещанные двадцать тысяч мараведи.

Но донья Леонор испытующе, с чуть приметным озорством в больших зеленых глазах посмотрела на Иегуду и сказала своим звонким голосом:

— Мы рады, что узнали тебя, дон эскривано.

Раньше чем покинуть город Толедо и уехать в Севилью для завершения всех своих тамошних дел, Иегуда посетил дона Эфраима бар Абба, старейшину еврейской общины — альхамы.

Дон Эфраим был сухонький старичок лет шестидесяти, невзрачный с виду и скромно одетый; глядя на него, никто бы не предположил, что у него в руках такая власть. Ибо старейшина толедской еврейской общины был своего рода монархом. Еврейская община, альхама, пользовалась собственной юрисдикцией, никакие власти не могли вмешиваться в ее дела, она была подвластна только своему *пárнасу* дону Эфраиму и еще королю.

Дон Эфраим, тщедушный и зябкий, сидел в комнате, заставленной мебелью, заваленной книгами. Несмотря на теплую погоду, он сидел перед жаровней, закутавшись в шубу. Дон Эфраим был хорошо осведомлен о событиях в королевском замке и уже знал, что гость из Севильи согласился стать откупщиком налогов и преемником альхакима Ибн Шошана, хотя назначение купца Ибрагима должно было стать известным только после его окончательного переезда в Толедо. Дону Эфраиму тоже предлагали откуп налогов и должность Ибн Шошана, но ему это дело показалось слишком неверным, а пост альхакима слишком блестящим и, значит, опасным. Он был посвящен в историю жизни купца Ибрагима, он знал, что тот тайно исповедует иудейство, и понимал внутренние и внешние причины, побудившие его переселиться в Кастилию. Эфраим не раз вел крупные дела вместе с Ибрагимом, не раз и против Ибрагима, и ему было не по душе, что теперь этот сомнительный сын рода Ибн Эзра избрал для своих операций Толедо.

Дон Эфраим сидел, потирая ладонь одной руки пальцами другой, и ждал, что ему скажет гость. Дон Иегуда вел разговор по-еврейски. На изысканном еврейском языке он сейчас же сообщил Эфраиму, что взял на откуп все доходы королевской казны в Толедо и в Кастилии.

— Ты, как я слышал, отказался от предложения стать откупщиком налогов, — сказал он приветливо.

— Да, — ответил дон Эфраим, — я взвесил, подсчитал и отказался. Я отказался также от предложения унаследовать должность нашего альхакима Ибн Шошана — да будет благословенна память праведника! Эта должность кажется мне слишком блестящей для скромного человека.

— Я согласился, — просто сказал дон Иегуда.

Дон Эфраим встал и отвесил глубокий поклон.

— Твой слуга желает тебе счастья, дон альхаким, — сказал он, и так как Иегуда только молча улыбнулся, он продолжал: — Или тебя можно уже назвать дон альхаким майор?

— Его величество король,—сказал дон Иегуда, с трудом сдерживая свою радость,—соизволил оказать мне великую честь, сделав одним из своих фамильярес. Да, дон Эфраим, я буду одним из четырех тайных советников, буду заседать в курии. Буду управлять делами короля, нашего государя, в качестве его эскривано майор.

Дон Эфраим слушал его со смешанным чувством восхищения и антипатии, радости и недовольства. Он думал: «Как дорого, верно, заплатил за такие почести этот безумец и азартный игрок!» — и еще: «Куда приведет его, глуща, подобное честолюбие?» — и: «Да хранит нас всемогущий и да не даст этому человеку навлечь бедствия на народ Израилев!»

Дон Эфраим был очень состоятелен. О невероятном богатстве купца Ибрагима из Севильи ходило много рассказов, но дон Эфраим втайне считал, что сам он едва ли беднее этого вероотступника и гордеца. Он, Эфраим, скрывает свое богатство и старается не привлекать к себе внимания. А Ибрагим из Севильи, как истый Ибн Эзра, любит, чтобы говорили о его пышной жизни. Да, много дел может натворить в Толедо этот одаренный, ненадежный и опасный человек, когда, бросив вызов богу, дерзко подымется на такую недосыгаемую высоту.

Эфраим осторожно заметил:

— Альхама жила очень согласно с Ибн Шошаном.

— Ты боишься, дон Эфраим?—приветливо спросил дон Иегуда.—Не бойся! Я далек от мысли вмешиваться в дела толедской общины, а тем более притеснять ее. Я ведь сам стану одним из ее сынов. Для того чтобы сказать тебе это, я и пришел сюда. Ты знаешь, в душе я всегда считал веру сынов Агари лишь наполовину истинным ростком нашей древней веры. Как только я займу здесь мой пост, я сейчас же вернусь в лоно Авраамово и перед лицом всего мира назовусь именем моих отцов и дедов: Иегудой Ибн Эзра.

Дон Эфраим постарался изобразить на своем лице радостное удивление, но тревога его еще возросла. И он сам, и его альхама не должны привлекать к себе внимание. В такое время, когда угрожает новый крестовый поход, который, несомненно, приведет к новым гонениям на евреев, вдвойне необходимо помнить мудрое правило и жить притаившись. А тут этот Ибрагим из Севильи привлечет своим переходом в иудейство внимание всего света на толедских евреев! Испокон веков все Ибн Эзры любили похвальбу. Хвастались, как ярмарочные фигляры. До сих пор они хоть довольствовались Сарагосой, Логроньо, Тулузой: в его, Эфраима, городе, в Толедо, их не было. А теперь этот вот навязался ему на шею, самый гордый и опасный из всех!

Набожный и очень умный, Эфраим не хотел быть несправедливым. Ибн Эзры с их пышностью и честолюбием были чужды его душе, но их род—это он всегда признавал—самый славный род *Сефарда*, испанского Израиля, из их семьи вышли ученые, поэты, воины, купцы, дипломаты, имена которых известны во всем мусульманском и христианском мире,—краса и гордость иудейства. А главное, в години бедствий они великодушно помогали своему народу, они выкупили тысячи евреев из языческой неволи и тысячам предоставили убежище здесь в Сефарде и в Провансе. И тот Ибн Эзра, который сидит сейчас перед ним, богато одарен богом. В трудное время стал он первым купцом в Севилье, но как бы этот человек с его честолюбием и преступно дерзкой заносчивостью не принес Израилю бедствия вместо благословения!

Все это обдумал дон Эфраим за те несколько секунд, что прошли после слов дон Иегуды. Сейчас же вслед за тем он почтительно сказал:

— Для нас большая честь, что ты приходишь к нам. Бог послал толедской альхаме в нужное время нужного человека, чтоб управлять ею. Позволь мне возложить на твои плечи еще одно бремя и передать тебе мои обязанности.

Про себя он подумал: «О всемогущий боже, не карай слишком жестоко народ Израиля. Ты обратил сердце этого *мешумада*, этого вероотступника, и теперь он возвращается к нам. Не допусти, чтобы и здесь, в твоём Толедо, он чванился своей роскошью и возносился, и не допусти, чтобы он умножил зависть и ненависть других народов к Израилю!»

Дон Иегуда меж тем ответил:

— Нет, дон Эфраим. Никто лучше тебя не может править альхамой. Но для меня будет большой честью, если вы призовете меня в одну из суббот для чтения недельной главы из торы, как это делают все добрые евреи. И позволь мне уже сегодня немного облегчить судьбу ваших бедняков. Позволь мне передать тебе свою небольшую лепту—скажем, пятьсот золотых мараведи.

Никогда еще толедская община не получала столь щедрого дара, и такая дерзкая, глупая, показная, греховная заносчивость испугала и возмутила дон Эфраима. Нет, если этот человек будет поражать Толедо своим великолепием, он, Эфраим, не сможет дольше оставаться парнасом альхамы.

— Подумай хорошенько, дон Иегуда,—попросил он.—Альхама не должна и не захочет удовольствоваться Эфраимом, когда в Толедо будет Иегуда Ибн Эзра.

— Не смейся надо мной,—спокойно ответил Иегуда.—Никто лучше тебя не знает, что альхама не захочет, чтоб

ею управлял человек, который сорок лет исповедовал веру сынов Агари и пять раз на день молился Аллаху. Ты сам не захочешь, чтобы старейшиной толедской общины был мешумад. Признайся, что это так.

И снова Эфраим почувствовал неприязнь и восхищение. Он сам ни словом не обмолвился о пятне, которое лежало на Иегуде. А этот человек говорит о нем с бесстыдной откровенностью, даже с гордостью, с проклятой гордостью всех Ибн Эзра.

— Не приличествует мне судить тебя,—сказал он.

— Подумай и о том, господин мой и учитель Эфраим,—сказал дон Иегуда и посмотрел ему прямо в лицо,—что сыны Агари после того первого страшного унижения никогда не обижали меня. Мало того, они омывали тело мое теплой розовой водой и питали меня туком своей страны. Устои их жизни полюбились мне, и хоть сердце мое и возмущается, но многие их обычаи приросли ко мне, как вторая кожа. Может статься, что я, если мне надо будет принять важное решение, от всего сердца призову по старой привычке Аллаха и произнесу первые стихи Корана. Признайся, дон Эфраим, если бы это дошло до твоего слуха, разве у тебя не явилось бы искушение отлучить меня, предать анафеме?

Дону Эфраиму было обидно, что Иегуда опять угадал его мысли. Несомненно, этот человек, несмотря на свое возвышенное решение, богохульник и вольнодумец, и на мгновение Эфраиму действительно показалось соблазнительным возгласить с *альмеморы*, места в синагоге, откуда читаются все извещения, возгласить под звуки *шофара*, бараньего рога, что Иегуда отлучен. Но это были пустые мечты; с таким же успехом мог бы он отлучить от синагоги великого халифа или короля, государя Кастилии.

— Ни один род не сделал так много для Израиля, как семья Ибн Эзра,—вежливо уклонился он от ответа.—Всем известно, что твой отец предназначил тебя быть отщепенцем еще раньше, чем тебе исполнилось тринадцать лет.

— Ты читал послание, в котором наш господин и учитель Моисей бен Маймун защищает тех, кто по принуждению признал пророка Магомета?—спросил Иегуда.

— Я простой человек и не вмешиваюсь в споры раввинов,—опять уклонился от ответа Эфраим.

— Верь мне, дон Эфраим,—тепло сказал Иегуда,—не было дня, чтоб я не вспоминал Писания. В подвальных покоях моего севильского дома я устроил синагогу, и в большие праздники мы собирались там, десять мужей, и молились, как то предписано законом. И когда я перееду

сюда, я все равно позабочусь, чтобы моя синагога в Севилье продолжала существовать. Эмир Абдулла великодушен и друг мне: он закроет глаза.

— Когда ты намерен переселиться в Толедо?— осведомился дон Эфраим.

— Думаю, через три месяца,— ответил Иегуда.

— Хоть дом мой и скромн, могу я просить тебя быть моим гостем?— спросил Эфраим.

— Благодарю тебя,— ответил Иегуда.— Я уже позаботился о пристанище. Я приобрел у короля, нашего государя, кастильо де Кастро. Я перестрою его для меня, моих детей, моих друзей и слуг.

Дон Эфраим не мог скрыть глубокий испуг.

— Бароны де Кастро самые мстительные из всех рикос-омбрес,— предостерег он.— Когда король отобрал у них дом, они разразились страшными угрозами. Они сочтут величайшим надругательством, если там будет жить иудей. Подумай над этим, дон Иегуда. Бароны де Кастро очень могущественны, у них много приверженцев. Они воздвигнут полкоролевства на тебя... и на весь народ Израилев.

— Благодарю тебя за предостережение, дон Эфраим,— сказал Иегуда.— Всемогуший даровал мне бесстрашное сердце.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ибн Омар, управитель и секретарь дона Иегуды, снабженный королевской грамотой, прибыл в Толедо. С ним приехали мусульманские зодчие, художники и мастера. В кастильо де Кастро закипела работа. Быстрота и расточительность, с которой шла перестройка, вызвали много толков в городе. Затем из Севильи прибыла всякая челядь, а вслед за ней появилось множество повозок с обстановкой и утварью да еще тридцать мулов и двенадцать лошадей. Все новые, самые разнообразные слухи возникали о чужеземце, прибытия которого ожидали в Толедо.

И вот он прибыл. С дочерью Ракель, сыном Аласаром и близким другом— лекарем Мусой Ибн Даудом.

Иегуда любил своих детей и беспокоился, как свыкнутся они, выросшие в изнеженной Севилье, с суровой жизнью в Толедо.

Деятельному четырнадцатилетнему Аласару, конечно, понравится грубый, рыцарский быт; но как будет чувствовать себя Рехия, его любимица Ракель?

Ласково, с нежной заботой смотрел он на едущую рядом с ним дочь. Как это было в обычае, она переоде-

лась для путешествия в мужскую одежду. Ее можно было принять за юношу, в седле она сидела немножко нескладно, угловато, по-детски, но смело. Пышные черные волосы с трудом умещались под шапочкой. Большими серо-голубыми глазами внимательно вглядывалась она в людей и дома города, который отныне должен был стать ее родиной.

Иегуда знал: она приложит все старания, чтобы Толедо стал ей родиной. Вернувшись домой, он сейчас же объяснил дочери, что гонит его из Севильи. Он говорил с ней, семнадцатилетней девушкой, так откровенно, словно она была одного с ним возраста и столь же опытна, как и он. Он чувствовал—его Ракель, хоть временами она бывала очень ребячлива, сердцем понимает его. Она его дочь, она—это стало особенно ясно из их разговора—подлинная Ибн Эзра, смелая, умная, откликающаяся на все новое, с открытым сердцем и богатой фантазией.

Но будет ли ей по себе здесь, у этих христиан и воинов? Что, если она затоскует в холодном, суровом Толедо по своей Севилье? Там ее все любили. Не только ее сверстницы-подруги, но и приближенные эмира, сведущие, умные дипломаты, поэты, художники радовались непосредственным, неожиданным вопросам и замечаниям этой девушки, еще почти девочки.

Как бы то ни было, теперь они в Толедо, а в Толедо—кастильо де Кастро, и отныне замок принадлежит им и станет зваться кастильо Ибн Эзра.

Иегуда был приятно удивлен, увидя, что сделали в такой короткий срок из негостеприимного дома его испытанные помощники. Каменный пол, на котором прежде гулко отдавался каждый шаг, был устлан мягкими, пушистыми коврами. Вдоль стен шли диваны с удобными валиками и подушками. Красные и лазорево-золотые фризы окаймляли стены покоев; арабские и еврейские надписи, свивавшиеся в причудливые орнаменты, привлекали взор. Умело продуманная система труб питала небольшие фонтаны, дававшие прохладу. Обширный покой был отведен под книги Иегуды: по столам лежали книги, открытые на страницах, украшенных пестрыми, искусно исполненными инициалами и заставками.

А вот и патио, тот двор, где он тогда принял свое великое решение, вот фонтан, на краю которого он тогда сидел. Как раз так он себе все и воображал: поднимаются и падают струи, безмолвно и равномерно; под густой, темной листвой деревьев безмолвие еще ощутимей, но сквозь листву сверкают насыщенно-желтые апельсины и матово-желтые лимоны. Деревья искусно подрезаны, пестрые цветы на клумбах умело подобраны, и повсюду тихо струится вода.

Донья Ракель вместе с остальными осматривала новый дом, широко открыв глаза, внимательно, молча, но в душе она была довольна. Потом она пошла в те два покоя, что были отведены ей. Сняла тесное, неудобное мужское платье. Захотела смыть пот и дорожную пыль.

Около ее опочивальни находилась ванная. В выложенном кафелем полу был глубокий бассейн, снабженный трубами для теплой и холодной воды. Донья Ракель купалась, а ее кормилица Саад и приставленная к ней девушка Фатима прислуживали ей. Она наслаждалась теплой водой и рассеянно слушала болтовню кормилицы и служанки.

Потом перестала слушать и отдалась потоку своих мыслей.

Все здесь как в Севилье, даже ванна, в которой она лежит, такая же. Вот только она уже не Рехия, она донья Ракель.

В пути ее отвлекали все новые впечатления, и она так и не осознала до конца, что это значит. Теперь, уже на месте, отдохнувшая, спокойно лежа в ванне, она вдруг со всей силой ощутила перемену. Будь она еще в Севилье, она побежала бы к своей подруге Лейле и все бы ей рассказала. Лейла — глупышка, она ничего не понимает и не может помочь, но она ее подруга. Здесь у нее нет подруг, здесь все чужие и всё чужое. Здесь нет мечети Асхар; крик муэдзина с минарета мечети, призывающий к омовению и молитве, звучал резко, как всякий крик, но она привыкла к нему с детства. И здесь нет *хатиба*, чтобы объяснить ей темное место из Корана; здесь мало с кем может она болтать на своем милом, привычном арабском языке; ей придется говорить на грубом смешном наречье, и окружать ее будут люди с грубыми голосами и манерами, с суровыми мыслями — кастильцы, христиане, варвары.

Она была счастлива в светлой, чудесной Севилье. Ее отец принадлежал к первым вельможам государства, и все ее любили уже по одному тому, что она дочь такого отца. Что ждет ее здесь? Поймут ли эти христиане, какой большой человек ее отец? И понравятся ли им она сама, ее нрав и манеры? Что, если христианам она покажется такой же чуждой и смешной, какими ей кажутся они?

А потом еще и то, другое, большое и новое: теперь она для всего света еврейка.

Она выросла в мусульманской вере. Но когда она была еще совсем маленькой, вскоре после смерти матери — ей было лет пять, не больше, — отец отвел ее в сторону и шепотом серьезно сказал, что она принадлежит к роду Ибн Эзра, и что это должно стать для нее самым заветным, великим и тайным, и что об этом нельзя

говорить никому. Потом, когда она подросла, отец признался, что он хоть мусульманин, но в то же время иудей, и говорил с ней о вероучении и обычаях евреев. Но он не приказывал ей исполнять иудейские обряды. И когда она его просто спросила, во что ей верить и чему следовать, он ласково ответил, что принуждать ее не хочет; пусть сама решает, когда вырастет, возьмет ли она на себя великий, но небезопасный подвиг тайно исповедовать иудейство.

То, что отец предоставил выбор ей самой, преисполнило ее гордостью.

Однажды она не смогла удержаться и против собственной воли призналась своей подружке Лейле, что она принадлежит к роду Ибн Эзра. Но Лейла, как это ни странно, ответила: «Я знаю»,—и, помолчав, прибавила: «Бедная ты моя».

Ракель никогда больше не говорила с Лейлой о своей тайне. Но когда они виделись в последний раз, Лейла, заливаясь слезами, пролепетала: «Я наперед знала, что так случится».

Откровенное глупое сожаление Лейлы еще тогда побудило Ракель ближе узнать, кто же такие эти евреи, к которым принадлежат отец и она. Мусульмане называли их «народом Великой Книги», значит, прежде всего надо было прочитать эту книгу.

Она попросила Мусу Ибн Дауда, дядю Мусу, который жил в доме ее отца и был очень ученым и знал много языков, заниматься с ней еврейским. Наука давалась ей легко, и скоро она могла уже читать Великую Книгу.

С самого раннего детства ее влекло к дяде Мусе, но только в часы занятий она как следует узнала его. Этот ближайший друг их семьи, длинный, худой человек, был старше ее отца; иногда он казался совсем древним, а потом опять удивительно молодым. Костлявое лицо с мясистым крючковатым носом освещали большие, прекрасные глаза, взгляд которых проникал человеку в душу. Он много пережил; отец говорил, что за свои огромные знания и свободу духа он заплатил великим страданием. Но Муса не говорил об этом. Зато он рассказывал иногда девочке Ракель о далеких землях и необычных людях, и эти рассказы были куда занимательнее сказок и историй, которые Ракель любила читать и слушать, потому что ее друг и дядя, Муса, сидел тут, рядом с ней, и он сам все это видел и пережил.

Муса был мусульманином и строго соблюдал все обряды. Но в вере он был слаб и не скрывал, что сомневается во всем, кроме науки. Раз, когда он читал с ней пророка Исая, он сказал:

— Это был великий поэт, пожалуй, более великий, чем пророк Магомет и пророк христиан.

Такие речи смущали. Дозволено ли ей, доброй мусульманке, читать Великую Книгу евреев? Как и все мусульмане, она ежедневно произносила первую суру Корана, а там в последнем, седьмом стихе верные просят Аллаха отвести их от пути тех, на кого он гневается. Ее друг, хатиб из мечети Асхар, объяснил ей, что под прогневившими Аллаха подразумеваются евреи: наслав на них бедствия, Аллах ясно показал, что они лишены его милости. А что, если чтение Великой Книги приведет ее на ложный путь? Она собралась с духом и спросила Мусу. Он посмотрел на нее долгим и ласковым взглядом и сказал, что на них, на Ибн Эзров, Аллах, совершенно очевидно, не прогневался.

Это показалось Ракели убедительным. Всякому должно быть ясно, что Аллах милостив к ее отцу. Он дал ему не только мудрость и доброе сердце, он одарил его всякими благами и высокими почестями.

Ракель любила отца. В нем для нее были воплощены все герои тех ярких, причудливых сказок и историй, которые она слушала с таким удовольствием,—добрые правители, умные визири, мудрые лекари, придворные и волшебники, а также все пылающие любовью юноши, перед которыми не могут устоять женщины. И, кроме того, отец носил в сердце своем великую опасную тайну—он был из рода Ибн Эзра.

Глубоко в душу запали ей те непонятные, сказанные шепотом слова, в которых отец открыл ей, ребенку, что он принадлежит к роду Ибн Эзра. Но потом другие, более значительные слова заслонили прежние. По возвращении из своего далекого путешествия в северный Сефард, в христианскую Испанию, отец, оставшись с ней наедине, шепотом, как и в тот раз, поведал ей, какие опасности грозят здесь, в Севилье, тайным евреям, если на полуострове вспыхнет священная война; а потом в тоне сказочника, пожалуй даже шутливо, он добавил: «А теперь, верные Аллаху, начинается история о третьем брате, который, расставшись со спокойным сиянием дня, углубился в тускло-золотистый сумрак пещеры». Понятливая Ракель сейчас же подхватила и задала вопрос в тоне слушателей сказки: «И что же случилось с третьим братом?»—«Чтоб узнать это, я углублюсь в сумрак пещеры»,—ответил отец и, пока говорил, не спускал с нее любовного испытующего взгляда. Он подождал, пока она разберется в том, что он ей поведал; потом опять заговорил: «Когда ты была ребенком, дочка, я сказал тебе, что наступит день и тебе придется сделать выбор. День наступил. Я не убеждаю тебя следовать за мной и не

отговариваю. Здесь много мужчин, молодых, умных, образованных, превосходных, которые с радостью возьмут тебя в жены. Если ты хочешь, я выдам тебя за одного из них, и приданое, которое ты принесешь, не посрамит нас. Подумай хорошенько, и через неделю я спрошу, что ты решила». Но она не колеблясь ответила: «Не окажешь ли ты мне милость, отец, и не спросишь ли свою дочь уже сейчас?» — «Хорошо, я спрашиваю тебя сейчас», — ответил отец, и она сказала: «Что решил мой отец, не может быть плохо, и как решил он, так решаю и я».

Она почувствовала большую нежность, когда поняла, как тесно связана с ним, и его лицо тоже осветилось радостью.

Потом он рассказал ей о многотрудной жизни еврейского народа. Испокон веков жили они в опасности, и теперь тоже им угрожают и мусульмане и христиане, и это — великое испытание, посланное богом своему народу, народу-избраннику. А среди этого возлюбленного богом, веками испытанного народа был избран один род: Ибн Эзра. И вот бог призвал его, одного из рода Ибн Эзра. Он услышал глас божий и ответил: «Вот я!» И если до сего дня он жил где-то с краю еврейского мира, то теперь он должен собраться и переселиться в самую гущу еврейства.

То, что отец дал ей заглянуть ему в душу, что он доверился ей так же, как она доверилась ему, окончательно спаяло их воедино.

И вот, приехав на место их предназначения, отдыхая в ванне, она снова мысленно слышала все его слова. Правда, эти слова прерывались безутешным плачем ее подружки Лейлы. Но Лейла глупая девочка, она ничего не знает и не понимает, и Ракель была благодарна судьбе, сделавшей ее Ибн Эзра, и она была счастлива и полна ожидания.

Она очнулась от грез и снова услышала болтовню своей милой, глупой старухи кормилицы Саад и хлопотливой Фатимы. Обе бегали то туда, то сюда, из ванной комнаты в опочивальню и обратно, и никак не могли освоиться в новых покоях. Это рассмешило Ракель, ей захотелось подурочиться, как в детстве.

Она поднялась. Провела взглядом по своему телу до ступней ног. Значит, эта обнаженная, смуглая девочка, покрытая брызгами, уже не Рехия, это донья Ракель Ибн Эзра. И, громко смеясь, она спросила старуху:

— Что, я теперь уже не та? Ты видишь, что я не та? Ну, скажи скорей! — И так как старуха не сразу поняла, она стала приставать к ней, смеясь и требуя ответа. — Ведь теперь я кастилька, толедка, еврейка!

Озадаченная кормилица визгливо затараторила:

— Не грехи, Рехия, зеница ока моего, доченька моя. Ты правоверная, ты ведь веруешь в Аллаха и его пророка.

Ракель, задумчиво улыбаясь, сказала:

— Клянусь бородой пророка, кормилица: я не знаю, верую ли я в пророка Магомета здесь, в Толедо.

Старуха отшатнулась в испуге.

— Да хранит Аллах твой язык, Рехия, дочь моя,— сказала она.— Этим шутить негоже.

Но Ракель не унималась:

— Изволь сейчас же назвать меня Ракель! Изволь сейчас же назвать меня Ракель!—И она крикнула:— Ракель! Ракель! Повтори!

И со всего размаху опустилась в воду, обдав старуху брызгами.

Дон Альфонсо принял Иегуду сейчас же, как только тот явился во дворец.

— Ну как, в чем ты успел, мой эскривано?—спросил он с холодной любезностью.

Иегуда дал подробный отчет. Его *репозитарии*, законоведы, заняты пересмотром и уточнением списка налогов и податей; через несколько недель у него будут точные цифры. В Кастилию приглашены из мусульманских земель, а также из Прованса, Италии, даже из Англии сто тридцать сведущих людей, они наладят сельское хозяйство, горное дело, ремесла, улучшат сеть дорог. Иегуда приводил отдельные подробности, цифры; он говорил свободно, по памяти.

Король, казалось, слушал рассеянno. Однако, когда Иегуда кончил, он заметил:

— Разве у нас не было речи о новом большом конном заводе? В твоём докладе я о нём ничего не слышу. Кроме того, ты обещал мне золотых дел мастеров, чтобы можно было чеканить свою золотую монету. Для этого ты что-нибудь предпринял?

В своей обширной докладной записке Иегуда единственный раз обмолвился об улучшении коннозаводства, один-единственный раз—о монетном дворе. Его поразила хорошая память дон Альфонсо.

— С божьей и с твоей, государь, помощью,—ответил он,—может быть, и удастся наверстать за сто месяцев упущенное за сто лет. То, что сделано за эти три месяца, кажется мне неплохим началом.

— Кое-что сделано,—согласился король.—Но я не мастер дожидаться. Я тебе откровенно говорю, дон Иегуда, мне сдается, что ты принесешь мне больше вреда, чем пользы. Раньше мои бароны хоть и неохотно и с оговорками, а все же вносили свою лепту на военные

нужды, и это, как мне говорят, составляло главный доход казны. Теперь, когда ты стал моим эскривано, они ссылаются на долгие годы нудного мира и ничего не вносят.

Иегуду рассердило, что король как должное принял все, что удалось сделать, да еще выдумывает какие-то упрёки. Он жалел, что донья Леонор возвратилась в Бургос; при этой любезной даме, все освещающей своим присутствием, разговор принял бы более приятный оборот. Но он подавил недовольство и ответил с почтительной иронией:

— В этом отношении твои гранды похожи на твоих непривилегированных подданных. Как только дело коснется платежей, все они стараются найти отговорку. Но соображения, которые приводят твои бароны, шатки, и мои законоведы без труда могут их опровергнуть убедительными доводами. Вскоре я буду тебя смиренно просить подписать увещательное послание к твоим рикосомбрес, опирающимся на эти доводы.

Хотя наглость и спесь грандов и возмущали короля, все же его злило, что еврей неуважительно о них отзывается. Его злило, что еврей ему нужен. Он не сдавался:

— Ты навязал мне эти чертовы восемь лет перемирия. Вот теперь мне и приходится изворачиваться и прибегать к разным торгашеским уловкам и отпискам.

Иегуда сдержался.

— Твои советники,—ответил он,—согласились тогда, что долгий мир выгоден не только эмиру Севильи, но и тебе. Земледелие и промыслы в запустении. Твои бароны угнетают горожан и землепашцев. Тебе нужно несколько мирных лет, чтоб изменить это.

— Да,—с горечью сказал Альфонсо,—мне придется смотреть, как другие воюют с неверными, а ты в это время будешь действовать и делать дела.

— Не о делах речь, государь,—все так же терпеливо постарался втолковать своему повелителю Иегуда.—Твои гранды стали заносчивы, потому что ты не мог обойтись без них во время войны; сейчас им надо внушить, что ты король.

Альфонсо подошел вплотную к Иегуде и посмотрел ему прямо в лицо своими серыми, вдруг посветлевшими глазами.

— Какие обходные пути придумал ты, мой хитрый дон эскривано,—спросил он,—чтобы взять твои деньги сторицею с моих баронов?

Иегуда не отступил.

— Я располагаю большим кредитом, государь,—сказал он,—а значит, располагаю и временем. Поэтому я

могу одолжить твоему величеству большие суммы и не боюсь, если мне придется долго ждать, пока они будут возмещены. На этих соображениях и построены мои расчеты: мы потребуем с твоих грандов, чтоб они в принципе признали твое право взимать налоги, но скорой уплаты мы не потребуем. Мы будем все снова и снова отодвигать платежи. Зато мы потребуем с них ответных уступок, которые будут им не дорого стоить. Мы потребуем, чтобы они предоставили своим городам и селам *фуэрос*, привилегии, которые дадут этим поселениям известную независимость. Мы добьемся, что все больше и больше городов и сел будут подвластны только тебе и не будут подчинены твоим баронам. Горожане охотнее и в более точные сроки, чем твои гранды, будут платить подати, и подати более высокие. В трудолюбии крестьян и в приверженности к ремеслам и торговле горожан твоя сила, государь. Увеличь их права — и сила твоих строптивых грандов уменьшится.

Альфонсо был слишком умен и не мог не согласиться, что только таким путем можно сломить упорство его бессовестных баронов. В других христианских королевствах Испании — в Арагоне, Наварре, Леоне — тоже пытались оказывать поддержку горожанам и землепашцам против грандов. Только делалось это очень робко. Короли сами принадлежали к грандам, не к простолюдинам, они были рыцарями и даже себе самим не хотели признаться, что объединяются с чернью против грандов, и никто еще не посмел откровенно, без обиняков предложить такое дону Альфонсо. А чужеземец, понятия не имеющий, что такое рыцарь и дворянин, посмел. Он высказал в здравых словах то здоровое, что надо было сделать. Альфонсо был ему благодарен и ненавидел его.

— Ах ты великий хитрец, — с насмешкой сказал он, — неужели ты серьезно думаешь, что предписаниями и болтовней можно заставить Нуньесов или Ареносов отказаться от городов и сел? Мои бароны — рыцари, а не торгаши и не законники.

Иегуда снова проглотил обиду.

— Твои господа рыцари, — ответил он, — научатся понимать, что право, закон и договор столь же сильны и действительны, как их замки и мечи. Я уверен, что с твоей доброй помощью, государь, я смогу их этому научить.

Король не хотел поддаваться впечатлению, которое оказывали на него спокойствие и уверенность дона Иегуды. Он упрямо настаивал:

— В конце концов они, может быть, и предоставят свободу торговли какому-нибудь паршивому городишке, но податей мне они платить не станут, это я наперед

говоря. И они правы. Во время мира они не обязаны платить налоги. Когда они поставили меня королем, я дал на том клятву и скрепил ее подписью и печатью. Jo el rey. А теперь по твоей милости многие годы не будет войны. Вот на что они ссылаются и на чем крепко стоят.

— Прости, государь, что я защищаю короля против короля,—с невозмутимым спокойствием сказал дон Иегуда.—Твои бароны не правы, их довод несостоятелен. Войны—я надеюсь на это всей душой—не будет восемь лет, но потом, если ты сам не станешь другим, опять будет война. А оказывать тебе военную помощь гранды обязаны. Мне, как твоему эскривано, надлежит заблаговременно позаботиться о твоей войне, то есть уже сейчас начать накапливать для нее деньги. Было бы неразумно думать, что можно спешно наскрести нужные суммы, когда уже начнется война. Мы установим только небольшой ежегодный сбор, и пока только с твоих городов. Им мы предоставим некоторые льготы, и они охотно окажут военную помощь. Твои бароны не захотят быть менее рыцарственными и отказать тебе в том, в чем не отказывают горожане.

Дон Иегуда подождал, пока Альфонсо обдумает его слова. Затем снова заговорил, уверенный в победе:

— Кроме того, государь, проявив сам поистине рыцарское великодушие, ты принудишь твоих грандов согласиться на небольшой дополнительный взнос.

— Что ты там еще придумал?—недоверчиво спросил дон Альфонсо.

— С того несчастливого похода в руках севильского эмира все еще осталось очень много пленников,—пояснил Иегуда.—Твои бароны нехотя выполняют обязательство выкупать пленников.

Дон Альфонсо покраснел. Закон и обычай требовали, чтобы вассал выручал своего виллана, барон—своего вассала, если те попадали в плен, будучи у них на службе. Бароны признавали, что это их долг, но на этот раз выполняли его особенно неохотно. Они обвиняли короля в печальном исходе сражения, вызванном излишней поспешностью. Дон Альфонсо с радостью заявил бы: «Я беру на себя выкуп всех пленников, скареды вы!» Только сумма нужна огромная, он не может себе позволить такой красивый жест.

Но тут Иегуда Ибн Эзра сказал:

— Осмелюсь предложить тебе, государь, дать выкуп за пленников из средств твоей казны. А от грандов, которые поймут, что это им выгодно, мы потребуем взамен только одно: признать в принципе, что они обязаны уже сейчас платить военные налоги.

— А казна выдержит?—вскользь спросил дон Альфонсо.

— Это уж моя забота, государь,—так же вскользь сказал Иегуда.

Лицо дон Альфонсо просияло.

— Замечательный план,—признал он. Он подошел вплотную к своему эскривано и дотронулся до его нагрудной пластины.—Ты знаешь свое дело, дон Иегуда,—признал он.

Но сейчас же чувство радостной благодарности омрачилось сознанием, что он принимает все новые и новые одолжения от умного и неприятного ему торгаша.

— Жалко, что мы не можем таким же образом пристыдить баронов де Кастро и их друзей,—сердито сказал он и прибавил: —С баронами де Кастро ты втравил меня в скверную историю.

Такое искажение фактов возмутило Иегуду. Вражда между королем и баронами де Кастро началась еще с детских лет, она обострилась, когда дон Альфонсо отнял у них их толедский замок. А теперь король хотел взвалить всю ответственность за эту вражду на него.

— Я знаю,—ответил он,—бароны де Кастро ставят тебе в вину, что обрезанный пес оскверняет их замок. Но тебе, государь, небезынтересно также, что они уже много лет носят тебя.

Дон Альфонсо проглотил это, ничего не возразив.

— Ну хорошо,—сказал он, пожимая плечами,—попробуй пустить в ход свои уловочки и ужимочки. Но мои гранды народ неуступчивый, в этом ты скоро убедишься, и с де Кастро нам еще будет немало хлопот.

— Что ты одобрил мой план, государь,—это большая милость,—ответил Иегуда.

Он опустился на одно колено и поцеловал королю руку—крепкую мужскую руку, усеянную крошечными рыжими волосками, но протянута эта рука была вяло и неохотно.

На следующий день в кастильо Ибн Эзра явился дон Манрике де Лара, первый министр короля, чтоб засвидетельствовать свое почтение новому эскривано; министра сопровождал его сын Гарсеран, близкий друг короля.

Дон Манрике, вероятно хорошо осведомленный о вчерашней аудиенции, сказал:

— Меня поразило, что ты предложил королю взаймы такую огромную сумму для выкупа пленников.—И он шутливо предостерег: —Смотри, не опасно ли иметь своим должником могущественного короля?

Дон Иегуда отвечал односложно. Обида на короля за его высокомерие и недоверчивость еще не прошла. Иегуда, правда, знал, что здесь, на варварском севере, уважа-

ют только война, о людях же, которые заботятся о благосостоянии страны, говорят с глупым пренебрежением, но он не думал, что ему так трудно будет к этому привыкнуть.

Дон Манрике угадал его мысли и, словно желая оправдать грубость короля, заметил, что нельзя обижаться на молодого задорного государя, когда он предпочитает разрубать трудности мечом, а не разрешать их переговорами. Ведь дон Альфонсо с малолетства жил в военном лагере, он чувствует себя дома скорее на поле брани, чем за столом, где ведутся переговоры. Но, перебил сам себя дон Манрике, он пришел не для того, чтобы говорить о делах, а для того, чтоб приветствовать дона Иегуду в Толедо, и он попросил показать ему и его сыну дом, о чудесах которого наслышан весь город.

Иегуда охотно исполнил его желание. Они прошли мимо безмолвно склонявшихся перед ними слуг по устланым коврами покоем, по переходам и лестницам. Дон Манрике хвалил со знанием дела, дон Гарсеран — с наивным восхищением.

В саду они встретились с детьми дона Иегуды.

— Дон Манрике де Лара, первый советник короля, нашего государя, — представил Иегуда, — и его достойный сын, рыцарь дон Гарсеран.

Ракель с детским любопытством глядела на гостей. Без всякого смущения приняла она участие в разговоре. Но ее латинский язык, хотя она занималась очень прилежно, еще хромал, и, смеясь над собственными ошибками, попросила она гостей перейти на арабский. Завязался оживленный разговор. И отец и сын хвалили остроумие и прелесть доньи Ракель в галантных выражениях, которые на арабском звучали особенно церемонно. Донья Ракель смеялась, гости смеялись тоже.

Четырнадцатилетний, совсем не застенчивый Аласар расспрашивал дона Гарсерана про лошадей и рыцарское искусство. Молодой гранд не мог не поддаться обаянию непосредственного, живого мальчика и охотно отвечал на его вопросы. Дон Манрике по-дружески посоветовал Иегуде отдать сына в пажи в какую-нибудь родовитую семью. Дон Иегуда ответил, что сам уже думал о том же; он промолчал о своей тайной надежде, что мальчика возьмет в услужение король.

Остальные гранды, и прежде всего друзья семьи де Лара, не отстали от дона Манрике и почтили нового эскривано майор своим посещением.

Особенно охотно приходили молодые господа. Им нравилось общество доньи Ракель. Девушки из дворянских семей появлялись только на больших придворных или церковных праздниках, они никогда не выходили

одни, с ними можно было вести только общие, пустые разговоры. Беседы с дочерью министра-еврея вносили приятное разнообразие; она хотя и не охранялась так строго, все же была в известной мере дама. Они говорили ей длинные преувеличенные комплименты, как того требовало куртуазное обхождение. Ракель приветливо выслушивала и в душе смеялась над их влюбленной болтовней. Но порой она догадывалась, что за галантностью кроется грубость и желание; и тогда она робела и замыкалась.

Знакомство с христианскими рыцарями было ей приятно уже потому, что, разговаривая с ними, она упражнялась в здешнем языке: в официальной латыни, принятой при дворе и в обществе, и в вульгарной будничной латыни — в кастильском.

Новые знакомые предлагали свои услуги, когда ей хотелось посмотреть город.

Она сидела в носилках, по одну сторону ехал верхом дон Гарсеран де Лара или дон Эстебан Ильян, по другую — ее брат дон Аласар. Кормилица Саад сопровождала ее, тоже в носилках. Скороходы расчищали путь, черные слуги замыкали шествие. Так следовали они по городу Толедо.

За те сто лет, что город находился в руках христиан, он утратил великолепие и роскошь времен ислама, он был меньше Севильи, но все же в городе и за его стенами жило значительно больше ста тысяч человек, верно, около двухсот тысяч; значит, Толедо был больше других городов христианской Испании, а также больше Парижа и гораздо больше Лондона.

В эту воинственную эпоху все крупные города были крепостями, даже веселая Севилья. В Толедо же каждый квартал был еще отдельно обнесен стенами с башнями, а многие дома дворян тоже представляли собой крепости. Укреплены были все ворота, укреплены все церкви и мосты, ведущие от подножия мрачной большой крепостной горы через реку Тахо в окрестности. А внутри городских стен на тесном пространстве дома жались друг к другу, ползли вверх по склону, ползли вниз по склону; ступенчатые улицы, темные и узкие, часто очень крутые, казались донье Ракель опасными ущельями — повсюду выступы, закоулки, стены и опять тяжелые, окованные железом огромные ворота.

Большие прочные здания стояли почти неизменными еще со времен ислама и только кое-как поддерживались. Донья Ракель про себя думала, что дома были гораздо красивее, когда о них заботились мусульмане. Зато ей очень нравилась пестрая суетливая толпа, с утра дотемна заполнявшая город, особенно главную площадь Сокодовер, по-видимому в старину бывшую рыночной. Шумели

люди, ржали лошади, кричали ослы, все перли друг на друга, толкались, сбивались в кучу, образовывали заторы, на улицах валялся мусор. Но Ракель почти не жалела о прекрасном порядке, царившем в Севилье,— так нравилась ей кипучая толедская жизнь.

Она обратила внимание, как робки и сдержанны здесь мусульманские женщины. Все они ходили под густой чадрой. В Севилье женщины из простонародья во время работы или когда шли на рынок откидывали мешавшую им чадру, а в домах просвещенных вельмож только замужние дамы носили вуаль — очень тонкую, дорогую, скорее украшение, а не покров. Здесь же, несомненно, для того чтобы скрыться от взоров неверных, все мусульманские женщины носили длинную густую чадру, носили постоянно.

Молодые гранды, гордившиеся своим городом, рассказывали донье Ракель историю Толедо. В четвертый день творения бог создал солнце и поставил его прямо над Толедо, поэтому их город старше остальной земли. Город древен, тому есть много доказательств. Им владели еще карфагеняне, затем шестьсот лет — римляне, триста лет — готы-христиане, четыреста лет — арабы. Теперь уже сто лет, со времени славного короля Альфонсо, им опять владеют христиане и будут владеть до Страшного суда.

Эпоху величия и расцвета, рассказывали молодые гранды, город пережил во время господства христианских, вестготских властителей, потомками коих являются они, рыцари. В ту пору Толедо был самым богатым, самым великолепным городом на свете. Король Афанагильд дал в приданое своей дочери Брунгильде сокровища стоимостью в три тысячи раз тысячу золотых мараведи. У короля Реккареда был стол иудейского царя Соломона, выточенный из гигантского цельного изумруда и вделанный в золото, а еще у короля Реккареда было волшебное зеркало, в которое можно увидеть весь мир. Все это похитили, разорили и уничтожили мусульмане, неверные собаки, варвары.

Особенно гордились молодые рыцари своими церквями.

С робким любопытством смотрела Ракель на эти тяжелые здания, настоящие крепости. Ракель представляла себе, какие они, верно, были красивые, когда в них еще помещались мечети, когда их окружали деревья, фонтаны, колоннады, медресе. Теперь все было голо и мрачно.

Во дворе церкви св. Леокадии она нашла колодец, край которого был красиво выложен камнем с арабской надписью. Гордясь тем, что знает старинные куфические письма, Ракель водила пальцем от буквы к букве, вырезанным в камне и уже наполовину стертым, и читала:

«Во имя всемилосердного бога, халиф Абдар Рахман, победитель,— да продлит бог его дни!— повелел соорудить этот колодец в мечети города Толейтола — да хранит его бог — в семнадцатую неделю 323 года». Значит, прошло уже двести пятьдесят лет.

— Это было очень давно,— сказал дон Эстебан Ильян, сопровождавший ее, и засмеялся.

Молодые гранды не раз предлагали показать ей церковь внутри. В Севилье много говорили об этих «церквах» — прекрасных старых мечетях, превращенных северными варварами в мерзостные капища идолопоклонников. Ракель очень тянуло посмотреть такую церковь, но в то же время она чувствовала какой-то страх и каждый раз находила вежливый предлог для отказа. В конце концов она преодолела свою робость и в сопровождении дона Гарсерана и дона Эстебана вошла в церковь св. Мартина.

В полумраке горели свечи. Стоял запах ладана. А вот и то издревле запретное, что она хотела увидеть и чего боялась: изображения, идольские изображения. Западные магометане, правда, свободно толковали тот или иной запрет пророка, смотрели сквозь пальцы, когда правоверные пили вино и женщины не закрывали лица, но они крепко держались предписания пророка — не создавать изображения Аллаха, а также всего живущего — человека или зверя; разрешалось только чуть наметить форму растения или плода. А здесь всюду стояли люди, сделанные из камня или дерева, другие люди и звери, плоские и цветные, были нарисованы на деревянных досках. Так вот они, идолы, противные Аллаху и его пророку!

Тот, кому бог по великой милости своей дал разум, чувство и нравственные устои, будь он еврей или мусульманин, должен гнушаться таких изображений. И действительно, они отвратительны, необычно застывшие и все же живые, странно неправдоподобные, полумертвые трупы, словно уснувшая рыба на рынке. Эти варвары в своей гордыне хотят уподобиться Аллаху, они создают людей по образу и подобию его и преклоняют, глупцы, колени перед каменными и деревянными истуканами, ими же созданными, и дают им нюхать ладан. Но в день Страшного суда Аллах призовет тех, кто творил этих идолов, и повелит им вдунуть в истуканов жизнь, а если они не смогут, навеки ввергнет их в геенну огненную.

И все же Ракель влекло к ним. Ее пьянила мысль, что таким образом можно удержать человека, преходящую плоть, мимолетное выражение лица, движение, которое исчезает, едва возникнув. Сознание, что это доступно смертному человеку, наполняло ее гордостью и одновременно ужасом.

Сопровождавшие ее гранды с глубоким благоговением

и усердием объясняли ей изображения. Вот деревянный человек в плаще и с гусем. Это — святой Мартин, которому посвящена здешняя церковь. Он был воином и сражался против вражьих полчищ, вооруженный только крестом. Раз, когда было очень холодно, он отдал свой плащ бедняку, и с неба ему на плечи упал новый плащ. В другой раз, когда император не встал при виде его, загорелся трон, и императору волей-неволей пришлось почтить святого. Все это можно видеть — это нарисовано на досках. У доньи Ракель кружилась голова — не иначе как этот человек был дервишем.

На другой картине изображена была мусульманская девушка с корзиной, полной роз, а перед девушкой в смущении стоял мавр царственного вида и в царском одеянии. Дон Гарсеран со скрытой язвительностью рассказал, что это принцесса Касильда и ее отец, король Толедо — Аль Менон. Касильда, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях ее отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у нее в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила: «Розы». В гнев поднял он крышку — и что же? Хлеб превратился в розы. Это не удивило Ракель. О том же говорили и арабские сказки.

— А-а, понимаю, — сказала она, — Касильда была колдунья.

Дон Гарсеран строго поправил ее:

— Она была святая.

Дон Эстебан Ильян поведал ей, что в эфес его шпаги вделана косточка святого Ильдефонсо и эта реликвия дважды спасала ему жизнь в бою. «Сколько колдунов у этих христиан», — подумала донья Ракель и весело рассказала об одном очень верном средстве: надо, чтобы в день битвы паломник, воротившийся из Мекки, лучше всего — дервиш, плюнул тебе в утреннее питье.

— Многие наши воины прибегают к этому средству, — заявила она.

Все новое, что Ракель видела, слышала и переживала в Толедо, поразительно быстро заслонило мусульманское прошлое. Ей уже трудно было точно представить себе лицо своей подруги Лейлы или пронзительный, будоражащий крик муэдзина из мечети Асхар, призывающего верных к молитве. Но она старалась ничего не забывать, читала по-арабски и упражнялась в изящной, но трудной арабской каллиграфии. И хотя она чувствовала себя еврейкой, она продолжала соблюдать мусульманские обряды, совершала предписанные омовения и читала молитвы. Отец не препятствовал ей.

Постоянное присутствие кормилицы Саад напоминало ей прошлое. Вечером, когда кормилица помогала ей раздеваться, они болтали о том, что видели, и сравнивали здешнюю жизнь с севильской.

— Не очень-то дружи с неверными, моя козочка,— увещевала кормилица.— Они все срамники, Рехия, и будут гореть в аду, они это знают, вот и заносятся перед другими здесь, на земле. А султанша их самая заносчивая. Эта неверная живет почти все время далеко от гарема своего мужа, султана Альфонсо, в северном городе, о котором рассказывают, будто он такой же холодный и гордый, как она.

Да, неверные заносчивы, в этом кормилица права. Донья Ракель еще ни разу не видела короля. И даже ее отец—а ведь он один из его советников—видит его не часто.

От своего управителя и секретаря Ибн-Омара, наладившего хорошую осведомительную службу, дон Иегуда узнал, как враждебно относятся к нему кастильские гранды. С тех пор как умер хитроумный Ибн Шошан, они расширили свои привилегии, а после поражения дона Альфонсо присвоили себе новые права и преимущества. Их возмущало, что опять появился иудей, на этот раз еще более хитрый и алчный, чем прежний, который хочет отобрать все, что они завоевали. Они ругались, злословили, строили козни. Иегуда с невозмутимым лицом выслушал доклад. Он приказал Ибн Омару распространить слух, будто новый эскривано защищает угнетенный народ против грабителей-баронов и хочет повысить благосостояние горожан и землепашцев.

Возглавлял недовольных доном Иегудой архиепископ Толедский, воинственный дон Мартин де Кардона, близкий друг короля. С тех пор как христиане снова отвоевали Кастилию, церковь вела ожесточенную борьбу против еврейских общин. Евреи не вносили, как прочее население, церковную десятину, они выплачивали подати непосредственно королю. Не помогли ни папские эдикты, ни постановления коллегии кардиналов. Архиепископ Мартин был в ярости, ибо предвидел, что с назначением хитрого Ибн Эзры евреи станут еще упорнее в своем наглом стремлении не подчиняться требованиям церкви. Он не гнушался никакими средствами в борьбе против нового эскривано.

Тем более странно было, что вскоре после переезда Иегуды к нему, в кастильо Ибн Эзра, явился, и при этом с явно дружественными намерениями, секретарь архиепископа, каноник дон Родриго, духовник короля.

Скромный, вежливый дон Родриго был большим любителем книг. Он говорил, читал и писал по-латыни и по-арабски, читал и по-еврейски. Ему нравилось беседовать с Иегудой, но еще больше с ученым другом Иегуды — Мусой Ибн Даудом.

Покои Мусы были удобно обставлены. Старику дважды пришлось жить в нужде и в изгнании, и он доказал, что может безропотно сносить нищету. Именно поэтому он очень ценил удобства. Не без некоторой добродушной гордости показал он канонику множество труб тщательно разработанной системы отопления и войлочный настил на стенах, который смачивался при помощи хитро придуманного искусного устройства и обеспечивал приятную прохладу в жаркие дни. Многочисленные книги, принадлежащие Мусе, были удобно размещены, его любимый большой налой — хорошо освещен. Красивая полукруглая галерея, выходившая в сад, казалось, звала к спокойному созерцанию.

Жадный до знаний каноник не мог наглядеться на библиотеку Иегуды и Мусы. Его восхищало разнообразие книг по всем отраслям знания, их изящная каллиграфия, инициалы и пестрые заставки, мастерски сделанные, разукрашенные футляры для свитков, нарядные и в то же время прочные переплеты книг. Но особенно поразил его материал, на котором было написано большинство книг, тот материал, о котором христианский мир знал только понаслышке: бумага.

Увы, им, ученым христианского государства, приходится писать на пергаменте, на коже животных, что требует значительно больше труда, да и материал это очень дорогой и редкий. Писцам часто приходится пользоваться уже исписанным пергаментом, чтобы изложить свои мысли, приходится с большим трудом счищать и сцарапывать то, что с большим трудом было написано их предшественниками, и кто может поручиться, что сегодняшней писец с самыми благими намерениями не уничтожит возвышенную мудрость своего предшественника, чтобы сохранить для потомства собственные, возможно очень наивные, мысли.

Дон Иегуда объяснил канонику, как изготавливается бумага. На мельницах перемалывают беловатый растительный материал, называемый хлопком, в кашу, которая затем вычерпывается и высушивается; все в целом обходится совсем недорого. Лучшая, крупнозернистая бумага изготавливается в Хативе и называется хатви. Дон Родриго с нежностью подержал в руках написанную на хатви книгу, наивно удивляясь, что такое огромное духовное богатство вмещается в таком малом объеме и весе. Иегуда рассказал, что начал готовить устройство бу-

мажных мануфактур и в Толедо — воды здесь достаточно, почва для нужных растений подходящая. Дон Родриго был в восторге. Иегуда обещал уже сейчас достать ему бумаги.

Затем дон Родриго и старый Муса сидели одни в круглой галерее и вели неспешную беседу. Дон Родриго говорил, что и в христианских странах слышаны об учености Мусы, особенно об историческом труде, над которым он работает, слышаны также и о том, что он претерпел великие преследования. Муса поблагодарил, вежливо склонив голову. Худой и длинный, он удобно сидел в мягких подушках, слегка нагнувшись вперед, большие кроткие глаза светились спокойствием и мудростью. Он не был многословен, но во всем, что он говорил, чувствовались обширные знания, богатый опыт, глубокая мысль. Его слова звучали по-новому, увлекательно, иногда, правда, возбуждали тревогу.

Многое могло тревожить в кастильо Ибн Эзра. В числе надписей, сверкавших на фризе, встречались и еврейские. Их было не легко прочесть среди замысловатых завитушек орнамента. Но каноник, гордясь своим знанием еврейского языка, разобрал, что они взяты из Священного писания, из книги Екклесиаста, или Проповедника. Да, подтвердил Муса, это так, и он взял указку и показал канонику, как сплетались в фразы слова, то теряясь среди запутанных арабесок, то снова появляясь, показал, прочитал и перевел на латинский язык. Стих гласил: «Участь сынов человеческих и участь животных — одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одна душа у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвращается в прах. Кто знает: душа сынов человеческих восходит ли вверх и душа животных сходит ли вниз, в землю?» Дон Родриго следил глазами за еврейскими письменами на стене, видел и слышал, что Муса переводит правильно. Но ведь эти слова, которые он помнил по переводу святого Иеронима, звучали как будто иначе? В устах мудрого и кроткого Мусы даже слово божие как будто слегка отдает запахом серы?

Как бы там ни было, но человек, пекущийся о библиотеке кастильо Ибн Эзра, притягивал каноника, пожалуй, еще сильнее, чем сама превосходная библиотека. Когда он глядел на спокойно сидевшего в подушках Мусу, ему казалось, что время не властно над ним, так же как и над мудростью. Иной раз пятидесятилетнему дону Родриго казалось, что Муса одного с ним возраста, иной раз — что он древен, как мир. Блеск спокойных, чуть насмешливых глаз и привораживал и смущал его, и все же с этим человеком ему говорилось легче, чем с большинством не мудрствующих лукаво христиан.

Он рассказывал Мусе про академию, которой руководил. Разумеется, его скромная школа не может равняться с мусульманскими, но все же через нее Запад узнаёт арабскую, а также и языческую мудрость древних.

— Поверь мне, высокочудрый Муса,—горячо говорил он,—сердце мое вместибельно. Я даже заказал перевод Корана на латинский. Кроме того, у меня в академии занимаются и неверные—евреи и мусульмане. Если ты позволишь, я приведу к тебе кого-нибудь из своих учеников, чтоб он тоже удостоился беседы с тобой.

— Да, высокочтимый дон Родриго, приведи мне твоих учеников,—приветливо ответил Муса.—Но посоветуй им быть осторожными. И сам будь осторожен!—И он указал на изречение, украшавшее стену,—странно, опять оно было взято из Священного писания, на этот раз из Пятой Книги Моисеевой: «Проклят, кто слепого сбивает с пути!»

Когда дон Родриго распрощался наконец с хозяином дома, гораздо позже, чем предполагал—а он действительно просидел неприлично долго,—он шутливо сказал:

— Мне следовало бы сердиться на тебя, дон Иегуда. По твоей вине я чуть не преступил десятой заповеди. Я, правда, не пожелал ни твоего дома, ни твоего осла, ни твоих слуг и служанок, но боюсь, что я пожелал твои книги.

Старейшина общины, дон Эфраим, пришел к Иегуде, чтобы поговорить с ним о делах альхамы.

— Как и следовало ожидать,—начал он,—твоя слава и блеск принесли благословение общине, но вместе с тем и новые бедствия. Твое высокое положение разожгло зависть нашего ненавистника архиепископа, этого нечестивца, этого Исава. Дон Мартин извлек на свет божий запыленный пергамент—постановление коллегии кардиналов, согласно которому они уже шесть лет назад требовали, чтобы не только сыны Эдома, но и дети Авраамовы выплачивали десятину церкви. Тогда благородный альхаким Ибн Шошан—да будет благословенна его память!—отразил нападение тонзурованных. Но теперь нечестивец решил, что пришел его час. Его послание к альхаме полно угроз.

Дон Иегуда знал, что в требовании десятины дело было не только в деньгах. Победа церкви ставила под угрозу основную привилегию евреев—тогда они уже не будут непосредственно подчинены королю, тогда между ними и королем протиснется архиепископ. И дон Иегуда в душе должен был признать: дон Эфраим опасается не зря—на этот раз архиепископ, пожалуй, может добиться своего. Дон Мартин—близкий друг короля, уж конечно,

он нашептывает ему, что надо искупить грех назначения на такую высокую должность еврея Ибн Эзры, принудив еврейскую общину выплачивать десятину церкви.

Но вслух Иегуда не высказал своих сомнений.

— На этот раз нечестивцу, так же как и раньше, не удастся его замысел,— сказал он.— Кроме того, ведь все налоги в моем ведении. Дозволь мне ответить на послание архиепископа.

Это совсем не входило в планы дон Эфраима, он не хотел уступать ни одного из своих дел Иегуде.

— Да не помыслию я возложить на твои плечи новые бремена, господин мой и учитель Иегуда. Но я хотел бы смиренно поговорить с тобой от имени альхамы о другом. Роскошь твоего дома, изобилие, которым благословил тебя господь, милость короля, которую господь обратил на тебя, для всех завистников израильского народа как сучок в глазу и вечная заноза в черном сердце архиепископа. Поэтому я снова внушил альхаме как можно меньше привлекать к себе внимание и не раздражать злодеев богатством. Будь милостив, не раздражай и ты их, дон Иегуда.

— Я понимаю твои опасения, господин мой и учитель дон Эфраим,— ответил Иегуда,— но не разделяю их. Мой опыт учит, что сила внушает страх. Если я проявлю слабость или скарედность, архиепископ осмелеет и ополчится на меня и на вас.

В ближайшую субботу дон Иегуда пошел в синагогу.

Он был поражен, какой бедной и голой выглядит внутри даже эта главная святыня испанского еврейства. Дон Эфраим и здесь не допускал роскоши. Правда, когда открывался ковчег, где хранится тора, кивот завета, оттуда сияли и блестели священные эмблемы, которыми были украшены свитки Писания, дорогие тканые покровы, золотые, сверкающие драгоценными камнями пластины и венцы.

Дон Иегуда был позван читать недельную главу Библии. Там говорилось, как языческий пророк Валаам хотел призвать проклятие на народ Израилев. Но богу угодно было, чтобы он благословил избранный народ, и языческий пророк возгласил: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные деревья, насажденные Иеговой, как кедры при водах... ты пожираешь народы язычников, твоих врагов, ты сокрушаешь кости твоих преследователей».

Иегуда читал стихи монотонно, нараспев, по древнему чину, он читал с трудом, его акцент, верно, казался некоторым странным, даже чуточку смешным. Но никто не смеялся. Нет, толедские евреи, и мужчины и женщи-

ны, почтительно слушали, волнение дона Иегуды захватило и их. Этот человек, по воле судьбы еще в отрочестве ставший мешумадом, сам, своей охотой, со смирением в сердце вернулся в лоно Авраамово, и, получив власть, он поможет, чтобы благословение божие, о котором он читал, исполнилось и на них.

Теперь, когда Ракель могла открыто исповедовать иудейскую веру, ей стало труднее, чем раньше, чувствовать себя еврейкой. Она часто читала Великую Книгу, она часами сидела, задумавшись, отдаваясь страстным грезам о деяниях отцов, царей и пророков. То сильное, возвышенное, глубоко благочестивое, о чем там говорилось, и то слабое, мелкое, глубоко порочное, о чем не было утаено, оживало в ее воображении, и она была горда и счастлива, что родилась от таких праотцев.

Но среди живых евреев, окружавших ее здесь, в Толедо, она не чувствовала себя своей, хотя твердо, честно решила, что принадлежит к ним.

Чтобы лучше узнать свой народ, она часто ходила в еврейский город, в *иудерию*.

Туда ее обычно сопровождал дон Вениамин бар Абба, молодой родственник старейшины альхамы. Его привел в кастильо Ибн Эзра каноник дон Родриго; Вениамин был его питомцем, ученым переводчиком при академии.

Он отличался острым умом и обладал глубокими знаниями, хотя ему шел всего двадцать третий год; в нем было что-то мальчишеское, лукавое, озорное, что привлекало донью Ракель. Скоро между ними установились хорошие, товарищеские отношения. Они охотно потешались над тем, что другим вряд ли показалось бы смешным, и многие вопросы, которые донья Ракель не задавала бы отцу и даже дяде Мусе, она задавала своему другу Вениамину.

Он тоже чистосердечно рассказывал ей о своем самом сокровенном. Например, о том, что ему совсем не по душе его родственник, дон Эфраим, парнас; для него он слишком хитер, и не будь он, Вениамин, так беден, он не выдержал бы в доме Эфраима и одного дня. У доньи Ракель никогда еще не было бедного друга. Она смотрела на него с удивлением и любопытством.

Вениамин исполнял еврейские обряды, но только чтобы угодить дону Эфраиму, сам он не придавал им значения. Зато он восхищался арабской мудростью и охотно говорил о великих древних умолкших народах, особенно о греках — об ионийцах, как он их называл; одного из этих ионийцев, некоего Аристотеля, он считал равным учителю Моисею. При всем том он гордился, что

принадлежит к евреям, ибо они — библейский народ, через тысячелетия пронесший неизменной Библию.

Вениамин был спутником доньи Ракель по иудерии, еврейскому городу. В самом Толедо жило свыше двадцати тысяч евреев и еще пять тысяч вне стен города, и хотя никакой закон им этого не предписывал, большинство селилось в своем собственном квартале, также огражденном стенами с крепкими воротами.

Евреи с незапамятных времен осели в Толедо, рассказывал Вениамин; само название города произошло от еврейского слова *толедот* — ряд поколений. Первые евреи, пришедшие сюда, были посланы царем Соломоном, чтобы собрать дань с варваров. Почти все время жилось здесь евреям неплохо. Но при христианах-вестготах им пришлось претерпеть страшное гонение. Яростнее других преследовал их некий Юлиан, свой, выходец из их же народа, переметнувшийся к христианам и возведенный ими в архиепископы. Он издавал все более суровые указы против своих бывших братьев, а под конец добился закона, по которому тот, кто не примет крещения, будет продан в рабство. Тогда евреи призвали из-за моря мавров и помогли им покорить страну. Мавры поставили в городах еврейские гарнизоны под началом еврейских полководцев.

— Представь себе, донья Ракель, — говорил Вениамин, — что получилось: гонимые вдруг стали господами, а бывшие гонители — рабами.

Вдохновенно говорил Вениамин о книгах, созданных во время господства ислама сефардскими евреями — поэтами и учеными. Он читал ей наизусть пылкие стихи Соломона Ибн Габироля и Иегуды Галеви. Он рассказывал о трудах Авраама бар Хия по математике, астрономии, философии.

— Все, что создано великого здесь, в стране Сефард, в чем бы оно ни проявилось — в мысли человека или в камне, создано при помощи евреев, — убежденно сказал он.

Однажды Ракель поведала ему о смущении, в которое повергли ее идолы в церкви св. Мартина. Он слушал. Нерешительно мялся. Затем с лукавой улыбкой вытащил книжицу и тайком показал ей. В книжке — он назвал ее своей записной книжкой — были рисунки, изображения людей. Иногда они были злыми и насмешливыми, порой человеческие лица превращались в звериные морды. Донья Ракель была поражена, испугана, заинтересована. Какое неслыханное богохульство!

В книжке дона Вениамина были не только отвлеченные рисунки человека вообще, вроде тех идольских изображений, что донья Ракель видела в церкви, в его рисунках можно было узнать определенных людей. Мало того, он

задумал стать равным богу, он дерзновенно, по собственной воле изменял их; он искажал их душу. И земля не разверзнется и не поглотит нечестивца? А вдруг и сама она, Ракель,—соучастница нечестивого деяния, раз она глядит на эти рисунки? Но она не могла совладать с собой и глядела. Вот изображение животного, как будто лисы, но это совсем не лиса, с хитрой мордочки смотрят кроткие глаза дон Эфраима. И Ракель, несмотря на все свои сомнения и страхи, рассмеялась.

Ближе всего был ей Вениамин, когда он рассказывал разные истории, чудесные случаи, приключившиеся с великими иудейскими мужами в Толедо.

Вот хотя бы историю рабби Ханана бен Рабуа. Он соорудил замечательные водяные часы. Они состояли из двух водоемов, двух цистерн, устроенных с таким искусным расчетом, что одна медленно наполнялась водой, по мере того как прибавлялась луна, а другая опустошалась, и наоборот, по мере того как луна шла на ущерб, так что по ним можно было прочитать день месяца и даже час дня. Завистники обвинили рабби Ханана в колдовстве. «Знание всегда кажется подозрительным»,—заявил не по годам рассудительный дон Вениамин. И алькальд заключил рабби Ханана в темницу. Цистерны меж тем уже не наполнялись водой, как полагается. Тогда подумали, что рабби испортил, до того как его заключили в темницу, искусно изготовленные водяные часы, над которыми он трудился трижды семь лет, и решили заставить его починить часы. Но он испортил их окончательно. Тогда его сожгли.

— Башня, в которой он сидел, стоит и поныне,—закончил дон Вениамин.—И цистерны ты еще можешь увидеть в Уэрта-дель-Рей, в запущенном увеселительном замке Галиана.

Вечером Ракель рассказала кормилице Саад про бедного многоискусного ученого рабби Ханана, который умер за свое искусство и науку, замученный злыми людьми. Она образно рассказывала о водяных часах, и о темнице, и о сожжении раввина. А кормилица Саад сказала:

— Здесь, в Толедо, люди злые. Хорошо бы, Рехия, козочка моя, вернуться в Севилью, да хранит ее Аллах!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Братья Фернан и Гутьере де Кастро не ограничились пустыми угрозами против того, кто посадил в их кастилью обрезанного. Они вторглись с оружием в руках во владения дон Альфонсо, раз даже вошли в город Куэнку. Они нападали на горожан, находящихся в пути, и

уводили их как пленников в свои замки. Они отнимали у кастильских крестьян скот. Захватив добычу, они уходили к себе в Альбаррасин—в неприступные горы.

Дон Альфонсо рвал и метал. С тех пор как он себя помнил, он ненавидел всех де Кастро. В трехлетнем возрасте он стал королем, и один из семьи де Кастро правил от его имени, он строго и плохо обращался с мальчиком, и Альфонсо возликовал, когда наконец Манрике де Лара свалил баронов де Кастро. Но де Кастро были по-прежнему могущественны в своем графстве, и среди грандов Кастилии у них насчитывалось много приверженцев.

Последние наглые насилия братьев де Кастро довели Альфонсо до бешенства. Так продолжаться не может. Он вторгнется в их замки и разорит их, он обреет обоих братьев наголо и заточит в монастырь; нет, он отрубит им головы.

Втайне он знал, что такой набег неизбежно приведет к опасной ссоре с его дядей, королем Арагонским.

Дело в том, что уже с давних пор Арагон, так же как и Кастилия, претендовал на сюзеренные права над графством де Кастро, над гористым Альбаррасином, расположенным между Кастилией и Арагоном. Однако после смерти последнего владетельного графа его сыновья, Фернан и Гутьере де Кастро, отказались признать над собой чье-либо главенство. Если теперь он, Альфонсо, вторгнется в их страну, они обратятся за помощью к Арагону, и его дядя Альфонсо-Раймундес, король Арагона, не упустит случая принять их к себе в вассалы и взять под свою защиту против него, Альфонсо. А это означает войну с Арагоном.

Но Альфонсо отгонял эти опасения еще до того, как они успевали оформиться в мысли. Он выступит против графов де Кастро! Он призовет Иегуду. Пусть достает ему нужные деньги!

Весело шел Иегуда в королевский замок. Он не знал, зачем понадобился дону Альфонсо, которого давно не видел, и радовался, что может ему доложить о своих успехах; больше того: у него в руках было вещественное доказательство одного из этих успехов, доказательство совсем небольшое по размерам, но оно, несомненно, обрадует и развеселит дону Альфонсо.

Он стоял перед королем и докладывал. Несколько рикос-омбрес, чтобы быть точным—девять, затянувшие уплату податей, подписали и скрепили печатью свое заявление о том, что в случае дальнейшей просрочки они отказываются в пользу короля от своих притязаний на определенные города. Дальше Иегуда доложил, что налажено одиннадцать новых образцовых хозяйств, что непо-

далеку от Талаверы приступлено к пробному разведению шелковичных червей, открыты новые большие мануфактуры здесь, в Толедо, а также в Бургосе, Авиле, Сеговии, Вальядолиде.

А затем он преподнес свой большой сюрприз.

— Государь, ты выражал недовольство по поводу того, что я не призвал в страну золотых дел мастеров и чеканщиков монеты,—сказал он.—Дозволь мне сегодня почтительно передать тебе первое изделие твоих мастеров.

И с гордой улыбкой передал он дону Альфонсо то, что принес с собой.

Король взял, посмотрел и просиял. До сих пор в христианских государствах полуострова были в обращении только арабские золотые монеты. Сейчас он держал в руке первую золотую монету христианской Испании, кастильскую монету. Блестя, выделялся красновато-желтый его, короля, профиль, и сразу можно было узнать, что это именно он, а вокруг шла латинская надпись: «Альфонсус, милостию божией король Кастилии». На другой стороне монеты был изображен покровитель Испании апостол Иаков, Сант-Яго, верхом на коне с поднятым мечом, такой, каким он не раз являлся в небесах христианским воинствам, помогая им крушить неверных.

Жадно, с детской радостью рассматривал и щупал дон Альфонсо прекрасную монету. Итак, отныне его лицо, вычеканенное на добром, полноценном золоте, узнают во всех христианских странах и в странах ислама, и всем оно будет напоминать, что у Кастилии надежные хранители — Сант-Яго и он, дон Альфонсо.

— Это ты замечательно сделал, дон Иегуда,—похвалил он, и его светлое лицо и светлые глаза сияли такой радостью, что Иегуда забыл, как несправедлив был к нему этот человек.

Но затем изображение воинственного Сант-Яго напомнило королю о его намерениях и о том, ради чего он призвал своего эскривано; весело, без всякого перехода, он сказал:

— Раз у нас есть деньги, я могу выступить против братьев де Кастро. Как ты думаешь, хватит нам на поход шести тысяч золотых мараведи?

Радость дона Иегуды сразу померкла, он объяснил, что бароны де Кастро, конечно, обратятся за помощью к королю Арагона и что король Альфонсо-Раймундес признает их своими вассалами.

— Твой августейший дядя нападет на тебя,—настойчиво убеждал Иегуда.—У него наготове значительные силы, которые он собрал для похода в Прованс, и

казна его полна. Вот увидишь, дон Альфонсо, ты окажешься вовлеченным в войну с Арагоном при крайне неблагоприятных для тебя обстоятельствах.

Дон Альфонсо и слышать ничего не хотел.

— А ну тебя с твоими пустыми отговорками! — прервал он Иегуду. — Против де Кастро хватит двух сотен хороших копий, я постиг искусство быстрых нападений, все сведется к стремительному набегу, и только. Если я завладею Альбаррасином или хотя бы только Санта-Марией, мой слабодушный дядя ограничится тем, что будет грозить мне из Арагона и не выступит. Раздобудь мне шесть тысяч золотых мараведи, дон Иегуда! — настаивал он.

Иегуда знал: то, в чем король хотел убедить его и себя, — напрасные надежды. Дон Альфонсо-Раймундес, при всем своем миролюбии, пойдет войной на дону Альфонсо, если у него будет для этого удобный повод.

Дело в том, что дон Альфонсо-Раймундес питал глубокую неприязнь к своему племяннику Альфонсо, и не без основания. Кастилия, ссылаясь на стародавние грамоты, притязала на сюзеренные права над Арагоном. Эти сюзеренные права были вопросом чистого престижа. Так, например, очень могущественный английский король, будучи властелином многих франкских земель, признавал своим сюзереном короля Франции, хотя тот владел значительно меньшей частью Франции, чем он сам. В сущности, старому арагонскому королю Альфонсо-Раймундесу было довольно безразлично, будет ли у него немножко больше или немножко меньше престижа. Но в своем неистовом племяннике он видел воплощение пустого, отжившего рыцарского идеала, и его бесило, что многие, даже его собственный сын, держались за такое далекое от реальной жизни рыцарство и благоговели перед доном Альфонсо, как перед героем. Поэтому он заявил, что требование дону Альфонсо признать его сюзеренные права потеряло всякий смысл. Между тем Альфонсо при каждом удобном случае возобновлял свои притязания и хвалился, что наступит день, когда дерзкий арагонец преклонит перед ним колени, как перед своим законным сюзереном.

Значит, если Альфонсо действительно предпримет поход, Арагон обязательно вступит в войну, и дон Иегуда обдумывал, как бы это поосторожнее втолковать королю. Но Альфонсо предвидел все возражения Иегуды, он не хотел их знать и опередил своего эскривано.

— В сущности, во всем виноват ты, — гневно крикнул он, — нечего было лезть в дом баронов де Кастро!

За эти трудные месяцы дон Иегуда приобрел второе лицо — маску вежливого смирения. Но он не мог совла-

дать со своим голосом: в минуты волнения он заикался и шепелявил. Так было и теперь, когда он ответил:

— Поход против де Кастро, государь, обойдется не в шесть тысяч золотых мараведи, а в двести тысяч. Благоволи поверить мне—Арагон ни в коем случае не допустит, чтобы ты выступил против де Кастро.

Он решил привести королю последний неопровержимый довод.

— Тебе известно, что альхакимом при арагонском дворе мой родич дон Хосе Ибн Эзра. Он посвящен в планы короля. Уже не раз твой августейший дядя хотел оказать вооруженную поддержку баронам де Кастро. Мы с братом вступили в переписку и советовались друг с другом, и дону Хосе удалось удержать своего короля. Однако он предостерегал меня. Арагон связан с баронами де Кастро обязательством вступить за них в случае твоего нападения.

Гладкий лоб дона Альфонсо прорезала глубокая морщина.

— Я вижу, ты и твой любезный братец усердно ведете переговоры за моей спиной,—сказал он.

— Я бы уже давно сообщил тебе о предостережении дона Хосе,—возразил Иегуда,—но ты не соизволил допустить меня пред свое лицо.

Король широкими шагами ходил из угла в угол. Дон Иегуда продолжал ему втолковывать:

— Я понимаю, что тебе, государь, не терпится наказывать дерзких баронов. И мне—не прогневайся на мои смиренные слова—тоже не терпится. Но будь милостив, соизволь подождать еще немного. Если спокойно взвесить, нанесенный братьями де Кастро ущерб не так уж велик.

— Мои подданные томятся у них в подземельях!—крикнул Альфонсо.

— Прикажи, и я выкуплю пленников,—предложил Иегуда.— Это мелкий люд. Весь вопрос в двух-трех сотнях мараведи.

— Замолчи!—накинулся на него Альфонсо.— Король не выкупает своих подданных у вассала! Но тебе этого не понять, торгаш!

Иегуда побледнел. Спор шел именно о том, являются ли бароны де Кастро вассалами дона Альфонсо. Но что поделаешь, эти гордецы считают грабеж и убийство единственным приличествующим им способом примирять споры. Охотнее всего он сказал бы: «Начинай свой поход, дурень ты рыцарь. Шесть тысяч золотых мараведи я тебе, так и быть, выброшу!» Но если дело дойдет до войны с Арагоном, всем его планам конец. Он должен воспрепятствовать этому походу.

— А если,— начал он,— мы найдем способ освободить пленников, не нанося ущерба твоему королевскому достоинству? Если мы добьемся, чтобы бароны де Кастро выдали пленников Арагону? Дозволь мне начать переговоры. Может быть, если тебе угодно будет дать согласие, я сам отправлюсь в Сарагосу, чтобы посоветоваться с доном Хосе. Прошу тебя, государь, обещай мне одно: ты не начнешь военных действий против де Кастро, пока не согласишься еще раз поговорить об этом со мной.

— Ты много на себя берешь!— проворчал Альфонсо.

Но он понял все безрассудство своих намерений. К сожалению, еврей прав.

Он взял золотую монету, внимательно осмотрел ее, взвесил на ладони. Просветлел.

— Я ничего не обещаю,— сказал он.— Но я подумаю над тем, что ты сказал.

Иегуда понял, что большего ему не добиться. Он простился и уехал в Арагон.

Каноник Родриго и в отсутствие Иегуды часто заходил в кастилью Ибн Эзра. Ему нравилось общество старого Мусы.

Они сидели в небольшой галерее, глядели в безмолвный сад, слушали тихий, всегда равномерный, всегда изменчивый говор водных струй и вели неспешные беседы. Вдоль карниза тянулся красно-лазоревого, блестящий золотом фриз с мудрыми изречениями. Кудрявые буквы нового арабского письма, вплетенные одна в другую, обвитые цветочным орнаментом, переходящие в арабески, пестрой своей сетью, словно ковром, покрывали стены. Среди причудливых завитков выделялись староарабские, куфические, геометрические письмена и массивные еврейские, складывались в изречения, терялись, переходили в другие, снова появлялись, странно волнующие, смущающие.

Родриго отыскивал в зарослях орнамента и арабесок еврейское изречение, которое еще в тот раз, когда он пришел сюда впервые, перевел ему Муса: «Участь сынов человеческих и участь животных — одна... и одна душа у всех... Кто знает: душа сынов человеческих восходит ли вверх и душа животных сходит ли вниз, в землю?» Уже в тот раз каноника тревожило, что этот стих в чтении Мусы звучит иначе, чем в привычном ему латинском переводе. Теперь он наконец решился обсудить это с Мусой. Но тот приветливо предостерег его:

— Не следует заниматься такими опасными рассуждениями, мой высокочтимый друг. Тебе известно, что, когда Иероним переводил Библию, он был вдохновлен святым

духом, значит, слова, которыми бог обменялся с Моисеем, на латинском языке не менее божественны, чем еврейские. Не стремись к слишком большой мудрости, высокочтимый дон Родриго. Пес сомнения спит чутко. Он может проснуться и обляять твое убеждение, и тогда ты погиб. И так уже многие твои собратья из других христианских стран называют наш Толедо городом черной магии, а наши кудрявые арабские и еврейские письма представляются им сатанинскими каракулями. Смотри, как бы не объявили тебя еретиком, если ты будешь так любопытствовать.

И все же дон Родриго не мог отвести свои кроткие глаза от смущающих надписей. Но еще больше, чем надписи, тревожил каноника человек, по желанию которого они были выбраны. Старый Муса—это дон Родриго понял очень скоро—был безбожником до мозга костей. Он не верил даже в своего Аллаха и Магомета, и все же этот язычник был добрым, терпимым, кротким. А сверх всего и прежде всего—настоящим ученым. Он, Родриго, изучил все, что могла дать христианская наука, тривиум и квадриум—грамматику, диалектику и риторику, арифметику, музыку, геометрию и астрономию и, кроме того, все дозволенные арабские знания и всю христианскую премудрость; но Муса знал гораздо больше, он знал все, над всем размышлял, и одним из прекраснейших даров божиих была беседа с этим безбожником.

— Еретиком—меня?—с ласковой грустью ответил дон Родриго на предостережение старого ученого.— Боюсь, что еретик *ты*, мой милый, мудрый Муса. И боюсь, что не только еретик, но настоящий язычник, не верящий даже в истины собственной веры.

— Ты этого боишься?—спросил старый, уродливый мудрец и устремил пронизательный взгляд своих умных глаз на кроткое лицо дона Родриго.

— Я боюсь этого потому, что я тебе друг, и потому, что мне будет жаль, если ты будешь гореть в геенне огненной,—ответил тот.

— А разве я не буду гореть в геенне огненной уже по одному тому, что я мусульманин?—осведомился Муса.

— Не обязательно, милый Муса,—наставительно сказал Родриго.—И уж во всяком случае, не на таком жарком огне.

Помолчав немного, Муса задумчиво высказал предсудительную мысль:

— Я не делаю особого различия между тремя пророками, в этом ты, пожалуй, прав. Я одинаково чту Моисея, Христа и Магомета.

— Мне такое даже слушать негоже,—сказал каноник

и немножко отодвинулся.— Я должен был бы принять против тебя меры.

Муса вежливо заметил:

— В таком случае считай, что я ничего не сказал.

Во время таких бесед Муса иногда вставал, подходил к своему налюю и, разговаривая, чертил круги и арабески. Родриго с завистью и укоризной смотрел, как он зря расходует драгоценную бумагу.

Каноник охотно читал Мусе отрывки из своей хроники, чтобы получить от него дополнительные или более точные сведения. В его хронике много говорилось об умерших святых. Они часто побивали неверных, сражаясь в воздухе на стороне христиан; и реликвии, взятые в бой, тоже не раз приносили победу христианам. Муса заметил, что эти святые останки не раз также были свидетелями поражения христиан; но высказал он свою мысль спокойно и деловито и счел вполне понятным, что Родриго об этом не упоминает. Вообще же он вникал в то, что читал ему каноник, и укреплял в нем веру в значительность его труда.

Когда же Муса читал дону Родриго свое собственное сочинение «Историю ислама в Испании», бедному счастливцу дону Родриго казалось безнадежно примитивным то, что писал он сам. Его бросало в жар и в холод, когда он слушал этот своеобразный, смелый исторический труд. «Государства,— говорилось там,— установлены не богом, их порождают естественные силы жизни. Объединяться в общество необходимо людям для сохранения рода человеческого и культуры, государственная власть необходима, чтобы люди не уничтожили друг друга, ибо они от природы злы. Сила, связующая государство в единое целое,— это внутренняя волевая, историческая и кровная связь. Государствам, народам, культурам, как и всему созданному, отведен от природы определенный срок жизни; как и отдельные существа, они проходят через пять возрастов: возникновение, восход, расцвет, закат, уничтожение. Цивилизация неизбежно переходит в изнеженность, свобода в скептицизм, и государства, народности, культуры сменяют друг друга согласно строгим, извечным, раз навсегда установленным законам, все постоянно непостоянно, как летучие пески пустыни».

— Если я тебя верно понял, мой друг Муса,— заметил как-то в связи с таким чтением дон Родриго,— ты вообще не веришь в бога, ты веришь только в кадар, в судьбу.

— Бог есть судьба,— возразил Муса.— Это сумма знаний, вытекающая и из Великой Книги евреев, и из Корана.

Он поднял глаза, а за ним и Родриго проследил взглядом за выющимся по фризу стихом, в котором

Соломон возвещает: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать... время сетовать и время плясать... время любить и время ненавидеть; время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится?» Убедившись, что каноник прочел эти слова, Муса продолжал:

— А в восемьдесят первой суре Корана, где сказано о конце мира, пророк говорит: «То, что я возвещаю,— предостережение миру для тех, которые хотят идти путем правым. Но вы не можете этого хотеть, если этого не хочет бог всемогущий». Видишь, мой высокочтимый друг, и Соломон и Магомет приходят к одному: бог и судьба одно и то же, или, на языке философии: бог сумма всех случайностей.

Такие слова приводили дон Родриго в смятение, и он решал не посещать больше кастильо Ибн Эзра. Но проходило два дня, и он снова сидел в галерее под смущающими дух надписями. Иногда он даже приводил с собой учеников, чаще всего молодого Вениамина.

Случалось, в полукруглую галерею приходила и донья Ракель и слушала под тихий плеск водомета неспешную беседу ученых мужей.

Однажды, вспомнив благодаря присутствию Вениамина о рабби Ханане бен Рабуа, она спросила каноника, что тот знает об ученом и о его машине для измерения времени; у нее из головы не выходил рассказ дон Вениамина о том, как преследовали ученого раввина, и как ему пришлось разрушить то, что он создал, и как его потом пытали и сожгли. Дон Родриго не хотел верить, что ученых подвергали за их знания мучениям, он не включил в свою хронику историю раввина Ханана.

— Я осматривал цистерны в Галиане,— сказал он,— это самые обычные цистерны; не думаю, чтобы они когда-то служили для измерения времени. Да я и вообще не верю, что рабби Ханана пытали и замучили. Документальных данных я не нашел.

Молодой дон Вениамин, обидевшись, что каноник не придает веры его рассказу о рабби Ханане, горячо, хоть и почтительно, возразил:

— Но выдающимся ученым он был, с этим ты не можешь не согласиться, высокочтимый дон Родриго. Он не только изготовил прекрасную астролябию, он также перевел труды Галена на арабский и латинский языки и таким образом сохранил медицинскую науку древних греков для нашего времени.

Дон Родриго промолчал, но зато стал рассказывать о великих целителях поры раннего христианства. Так, во

времена Галена жили святые Косьма и Дамиан, между прочим, арабы по происхождению, которые врачевали не менее чудесно, чем он. Завистники донесли, что они христиане. Их приговорили к смерти и бросили в море: явились ангелы и спасли их. Их бросили в огонь: огонь не жег их. Их хотели побить камнями: камни повернули вспять и побили гонителей. И после смерти они совершали чудесные исцеления. Так, у одного человека была гангрена бедра. Он помолился перед образом обоих святых. Затем впал в глубокий сон, и ему привиделось, что святые отрезали ему больную ногу и заменили ногой мертвого араба. И действительно, когда он проснулся, у него была новая, здоровая нога, а мертвый араб тоже нашелся, тот, чью ногу святые приделали больному.

— Конечно, они были великими волшебниками,— признала донья Ракель.

А Муса сказал:

— Великие мусульманские врачи исцеляли при жизни. Кроме того, я знаю многих христиан, которые в случае серьезных заболеваний охотно обращаются за советом к еврейским или мусульманским врачам.

Дон Родриго, на этот раз настроенный менее миролюбиво, чем обычно, ответил:

— Мы, христиане, учим, что смирение — добродетель.

— Согласен, учить вы учите, мой высокочтимый друг,— приветливо подтвердил Муса.

Дон Родриго рассмеялся.

— Не обижайся,— сказал он,— доведись мне захворать, я почту себя счастливым, если ты будешь меня лечить, о мудрый Муса.

Дон Вениамин втихомолку рисовал что-то в своей записной книжке. Он показал донье Ракель, что он набросал: на дереве сидел ворон, и у ворона было лицо Мусы. Это был, несомненно, портрет, а значит, двойной грех. Но портрет веселый, дружелюбный, и Ракели понравился и рисунок, и тот, кто его сделал.

Король ничего не предпринимал против братьев де Кастро, и сторонники их осмелели. Как в свое время жители Бургоса защищали национального героя Сиды Кампеадора от Альфонсо Шестого, так и теперь мятежные бароны защищали братьев де Кастро от Восьмого: «Какие бы это были прекрасные вассалы, будь у них хороший король!» Когда король требовал недоимки, Нуньесы и Аренасы смеялись: «Милости просим, дон Альфонсо, приходи и выручай свои деньги, так же как ты выручаешь своих подданных из замков баронов де Кастро».

Дон Альфонсо рвал и метал. Если он не хочет, чтоб все его бароны восстали, он не может дольше терпеть самоуправства братьев де Кастро.

Король созвал своих ближних грандов на совет. Пришли дон Манрике де Лара с сыном Гарсераном, архиепископ дон Мартиң де Кардона с каноником доном Родриго; эскривано майор дон Иегуда был еще в Арагоне.

Перед друзьями дон Альфонсо дал волю своей бесильной злобе. Де Кастро наносят ему оскорбление за оскорблением, а его эскривано ведет переговоры со скользким королем Альфонсо-Раймундесом и хочет разрешить рыцарский спор на совете торгашей. А ведь виноват в этой чертовой ссоре он, еврей,—чего он влез в дом де Кастро?

— Кажется, так бы его оттуда и выставил,—упрямо закончил дон Альфонсо.

Дон Манрике постарался его успокоить.

— Будь справедлив, государь. Еврей заслужил свой кастильо. Он выполнил больше, чем обещал. Гранды платят налоги в мирное время. Семнадцать городов, раньше принадлежавших грандам, ныне подвластны тебе. Сколько-то твоих подданных, правда, взяты в плен баронами де Кастро, зато освобождено из севильского плена много сотен твоих рыцарей и солдат.

Архиепископ дон Мартин, круглолицый, краснощекий, с проседью, грубоватый и веселый, заспорил. Вид у него был воинственный—скорее рыцарь, чем духовный пастырь. Одевание, указывающее на его сан, не скрывало лат; здесь, в Толедо, в такой близости от мусульман, это все равно что в непрестанном крестовом походе, считал он.

— Ты не пожалел похвал для твоего еврея, благородный дон Манрике,—сказал он своим зычным голосом.— Не спорю, этот новый Ибн Эзра умудрился выжать из страны сотни тысяч золотых мараведи и при этом некоторую толику уделил и королю, нашему государю, но зато он нанес тем больший ущерб святой церкви. Не закрывайте глаза на это, господа! Толедские евреи были наглыми уже во времена готов, наших отцов, а после того, как ты, государь, изволил так вознести Иегуду, бесстыдство альхамы стало нетерпимо. Их старейшина Эфраим бар Абба не только отказывается платить причитающуюся мне десятину,—при этом он, к сожалению, может ссылаться на тебя, государь,—мало того, он дерзает с вызывающей наглостью возглашать в синагоге пророчество Иакова: «Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресл его». А ведь я доказал ему на основании творений отцов церкви, что это самое пророчество Иакова имело силу только до прихода мессии и потеряло всякую цену после появления Спасителя. Но только нам, христианам,

дано проникнуть в сокровенный внутренний смысл Писания. Евреи подобны неразумным скотам и цепляются за букву.

— Может быть, не следует так строго судить толедскую альхаму,— мягко высказал свое мнение каноник.— Когда во время оно слепцы и грешники—высокомерные иерусалимские евреи—поставили господя нашего Иисуса Христа перед судилищем, толедская еврейская община отправила к первосвященнику Каиафе послов и предостерегла его, чтобы он не распинал Спасителя. Это удостоверено древними книгами.

Архиепископ кинул на дона Родриго немилостивый взгляд, но подавил возражение. Между ним и его секретарем необычная связь. Архиепископ был набожен и не лукавил сам с собой, он сознавал, что боевой темперамент иногда побуждает его к словам и делам, не приличествующим примасу Испании, преемнику святых Евгения и Ильдефонсо, и, дабы искупить грехи, в которые его мог ввергнуть воинственный нрав, он сам наложил на себя послушание: постоянное присутствие кроткого, как ягненок, дона Родриго на тот случай, если на Страшном суде ему поставят в вину, что подчас воин преобладал в нем над пастырем.

Итак, вместо того чтоб возразить дону Родриго, он обратился к королю:

— В свое время, когда ты, подчиняясь необходимости и твоим советникам, призвал еврея, я тебя предостерегал, дон Альфонсо, и предсказывал: настанет день, и ты пожалеешь об этом. Святейший собор не без основания запретил христианским королям приближать к себе неверных.

Дон Манрике возразил:

— Короли Англии и Наварры, а также короли Леона, Португалии и Арагона тоже сохранили своих министров-иудеев вопреки постановлению Латеранского собора. Они удовлетворялись тем, что выразили святому отцу свое сожаление. Так же поступил и король, наш государь. Кроме того, он мог сослаться на пример своих августейших отцов и дедов. У Альфонсо Шестого было два министра-еврея, у Седьмого, испанского императора,— пять. Я не представляю себе, чтобы Кастилия могла выстроить столько церквей для своих святых и столько крепостей против мусульман без помощи евреев.

— Дозволь мне, досточтимый отец,— заметил каноник,— напомнить тебе еще нашего друга, достопочтенного епископа Вальядолидского. Он тоже никак не мог получить причитающейся ему подати и вынужден был поручить это дело нашему Иегуде.

На этот раз дон Мартин не мог сдержать гнев в груди.

— Ты преисполнен добродетелей, дон Родриго,— проворчал он,— ты почти святой, и потому я терплю тебя. Но позволь со всем смирением сказать тебе: иногда твои кротость и долготерпение просто бессовестны.

Король не слушал их препирательств. Он думал о своем и наконец высказал то, что его занимало:

— Уже не раз задавал я себе вопрос, почему бог дает неверным такую силу, а нам отказывает в ней. Я думаю так: они прокляты им на веки веков, вот потому-то он в своей великой милости наделил их на краткое время земной их жизни умом, красноречием и даром приумножать сокровища.

Все несколько смущенно молчали. Их удивляло то, что король так чистосердечно высказывает свои заветные мысли, делать ему это, собственно, не подобало. Но король имеет право с королевской беззаботностью высказывать то, что лежит у него на сердце.

Молодой дон Гарсеран вернулся к предмету обсуждения.

— Вот что ты мог бы сделать, государь,— предложил он.— Если уж ты не выступаешь против семьи де Кастро, то поставь войско на их границу. Введи гарнизон в город Куэнку.

— Совет хорош,— громогласно одобрил архиепископ.— Поставь гарнизон в Куэнку, и не маленький, чтобы братьям де Кастро не повадно было нападать на твоих подданных.

Дон Альфонсо уже и сам думал об этом. Но ему было приятно, что эту меру предложили другие.

— Да, так я и сделаю,— заявил он.— Против этого даже наш еврей не может ничего возразить,— с мрачной веселостью добавил он.

Дон Манрике считал, что достаточно трех отрядов для защиты Куэнки от баронов де Кастро. Дон Альфонсо возразил, что разбойничьи набеги де Кастро могут пробудить аппетит эмира Валенсии и он тоже позарится на город; лучше уж он пошлет в Куэнку побольше солдат, хотя бы двести копий. Архиепископ, за которым установилась слава знатока военного дела, напомнил, что какое-то количество солдат всегда должно находиться вне крепости, чтоб охранять крестьянские дворы и сопровождать отправляющихся в дорогу горожан.

— Пошли триста копий, дон Альфонсо,— предложил он.

Дон Альфонсо послал пятьсот копий.

Командование отрядом он поручил своему другу дону Эстебану Ильяну, молодому, веселому и смелому. Перед тем как дону Эстебану отправиться в Куэнку, король попросил его:

— Не допусти до новых оскорблений, дон Эстебан! Не потерпи ни малейшей обиды! Пусть даже вилланы братьев де Кастро украдут на нашей земле какую-нибудь несчастную курицу, не спускай им! Ворвись вслед за ними в их Санта-Марию и отними курицу! Даже если это будет стоить десятка солдат!

Он дал ему перчатку — знак рыцарского поручения. Дон Эстебан поцеловал королю руку и сказал:

— Тебе не придется на меня жаловаться, дон Альфонсо.

В небольшой городок Куэнку и в окрестные деревни вошли солдаты. Они не спускали глаз с плохо обозреваемой границы гористой страны Альбаррасин. Но никто из людей де Кастро не появлялся. Прошла неделя, прошла другая. Солдаты дона Эстебана ворчали на скучную службу, жители Куэнки ругались на тяжелый солдатский постой.

А Иегуда тем временем сидел в Сарагосе и совещался со своим родичем доном Хосе Ибн Эзра — образованным скептиком, обходительным, приятным, склонным к полноте человеком. Он дал Иегуде понять, что угадал его побуждения. Ему и самому хотелось сохранить мир, и он охотно пошел навстречу своему родичу. Иегуда добивался, чтобы Арагон выкупил кастильцев, взятых в плен баронами де Кастро, и вернул их дону Альфонсо, а тот взамен откажется от притязаний на город Дароку. Предложение Иегуды представлялось дону Хосе приемлемым, и он думал, что сумеет прельстить им своего повелителя. Конечно, торопиться нельзя. Король Альфонсо-Раймундес сейчас в военном лагере, все его помыслы направлены на благополучное окончание войны с графом Тулузским, и дону Хосе придется подождать подходящей минуты, чтобы побеспокоить короля столь незначительными делами. Недели через две он поедет к дону Альфонсо-Раймундесу в лагерь. А пока дону Иегуде придется потерпеть. Потом он и сам может туда явиться.

Иегуда с пользой провел эти две недели. Он поехал в Перпиньян и довел до благополучного конца одно запутанное дело. Он поехал в Тулузу, где навестил родственника, Мейра Ибн Эзра, еврейского балыи этого города. Затем он поехал в лагерь к королю Альфонсо-Раймундесу. Дон Хосе честно помогал ему, и король милостиво его выслушал. Но король был медлительным, основательным человеком, и прошла еще целая неделя, прежде чем он решился дать свое согласие.

Иегуда вздохнул с облегчением. Самое трудное из глупых препятствий, мешавших делу мира, устранено. Он послал гонца к дону Альфонсо с известием, что желанный

договор подписан и скреплен печатью и он, Иегуда, скоро сам будет в Толедо.

Но не успел еще гонец прибыть в Толедо, как дон Альфонсо получил из Куэнки от своего друга Эстебана Ильяна длинное, сбивчивое послание

Случилось непредвиденное. Вооруженные слуги баронов де Кастро захватили на кастильской земле стадо баранов. Преследуя их, солдаты дона Эстебана вторглись во владения де Кастро. Там они натолкнулись на группу рыцарей и оруженосцев. Началась перебранка, дело дошло до стычки, во время которой был убит рыцарь, на беду оказавшийся одним из братьев де Кастро, графом Фернаном. Не могу скрыть, писал дон Эстебан, что Фернан де Кастро, пораженный кастильской стрелой, был не в боевых доспехах, он выехал на охоту, и на перчатке у него сидел его любимый сокол. Почему кастильский лучник необдуманно пустил стрелу, сейчас невозможно установить; во всяком случае, он, Эстебан, тут же велел повесить виновного.

Дон Альфонсо прочел, и сердце у него упало. Худшего конца нельзя было придумать. Простолюдин, виллан, предательски убил по его, дона Альфонсо, приказу родовитого дворянина, да к тому же еще безоружного. Теперь он, кастильский король, опозорен в глазах всей Испании.

Другой брат де Кастро, Гутьере, имеет законное рыцарское право мстить за брата. Он обратится за помощью к Арагону, и у короля Альфонсо-Раймундеса, победителя Прованса, будет желанный повод пойти войной на ненавистного племянника. Извольте радоваться, дурацкая война с Арагоном, которой он не желал, против которой все его предостерегали, теперь неизбежна.

Альфонсо было стыдно перед Иегудой. Стыдно перед своими советниками. Перед всем христианским миром. А ведь он поступил так, как поступил бы на его месте всякий рыцарь. Его королевский долг требовал оградить свой добрый город Куэнку и послать туда войско. И за приказ, данный храброму дону Эстебану Ильяну, тоже никто не может его осудить. Дон Эстебан—его друг и добрый рыцарь, и, кроме того, в его меч вделана косточка святого Ильдефонсо. Ах, святая реликвия не отвела сатаны! Ведь все это дьявольские козни, проделки сатаны, и никто не виноват, что так случилось,—ни он сам, ни дон Эстебан, ни Фернан де Кастро и ни еврей. Но весь христианский мир обвинит его, дона Альфонсо.

Да, Иегуда не принес ему счастья. А теперь, когда он, Альфонсо, так нуждается в его совете, его нет!

И хорошо, что нет. Он, Альфонсо, не мог бы его теперь видеть. Он не вынес бы его укоризненных, рассудительных речей. Ему нужен человек, который бы

понял его до конца, понял, что он не виноват, что его постигло неслыханное несчастье, ему нужен очень близкий человек, свой.

Не дожидаясь Иегуды, в сопровождении небольшой свиты Альфонсо поехал в Бургос, к своей королеве, к донье Леонор.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Донья Леонор радостно встретила короля. Она сразу поняла его, ему даже не пришлось объяснять, как все случилось. Она чувствовала так же, как он. Всею причиной злой рок, ее Альфонсо ни в чем не виноват.

При этом мысль о предстоящей войне с Арагоном угнетала ее гораздо сильнее, чем короля. Она мечтала объединить обе страны, а война разрушала все ее надежды. Но она скрyla свое огорчение, была, как обычно, спокойна. В ее обществе, в разговоре с ней Альфонсо, как и ожидал, почерпнул бодрость и утешение.

Вообще говоря, он предпочитал Бургосу Толедо. В Толедо он еще мальчиком совершил свой первый подвиг, оттуда он завоевал свое королевство; кроме того, Толедо находится в непосредственной близости от подлинного, извечного врага — от мусульман, а его, короля и солдата, место там, где близок враг. Но на этот раз он радовался пребыванию в старом, искони христианском Бургосе, и воспоминания, которыми был насыщен город, вливали в него силы и уверенность. От кастильи города Бургоса получила свое наименование его Кастилия, отсюда его предок Фернан Гонсалес завоевал графству Кастилии независимость, расширил его, укрепил. И здесь, в Бургосе, его прадед, Альфонсо Шестой, показал, что король не отступит даже перед самым славным мужем Испании. Тот Альфонсо изгнал из города любимого героя Испании, отважного Сиды Кампеадора, потому что был недоволен, как тот вел войну; король Кастилии не прощает послушания, не прощает даже Сиду, что уж там говорить о каком-то де Кастро.

Но Сид Кампеадор умер, короли давно уже простили благороднейшего испанского рыцаря и воина, и город Бургос гордился воспоминаниями, связанными с этим героем. С мрачным удовольствием постоял король перед сундуком, повешенным в церкви монастыря Уэльга. Этот сундук, будто бы доверху полный сокровищ, Сид дал в залог двум еврейским банкирам; оказалось, что в сундуке был только песок, — герой считал, что ему должны верить на слово. Сундук Сиды был наглядным примером того, как следует поступать рыцарю с торгашами-евреями.

Дон Альфонсо-Раймундес Арагонский не спешил с войной, он вообще не любил торопиться. Но для дон Альфонсо ожидание было мучительно, и он поделился с доньей Леонор своей мыслью напасть первым.

Тогда донья Леонор не стала больше молчать. Без всякой утайки высказала она королю, что страна еще не простила ему севильского поражения. Новая война вызовет недовольство, даже если ее начнет Арагон. При таких обстоятельствах напасть первому,— иначе говоря, оказаться неправым,—это: безумие. Дон Альфонсо терпеливо выслушал горькие слова королевы.

И вот наконец Иегуда приехал в Бургос. Услышав еще в Сарагосе о смерти графа Фернана, он сразу понял, чем это грозит. Он очень расстроился и в своем отчаянии приписывал всю вину себе. Расчет его оказался неправильным. Надо было остаться в Толедо и удержать короля. На этот раз интуиция изменила ему.

Но все же деятельный дон Иегуда не потерял надежды предотвратить войну. Без промедления отправился он в Толедо. Узнал, что Альфонсо в Бургосе. Повернул обратно, поспекал в Бургос.

Явился к дону Альфонсо. Тот под разными предложениями отказался его принять. Но зато за ним послала донья Леонор.

При виде этой умной женщины Иегуда ощутил прилив энергии.

— Если ты, государыня, позволишь, я поеду в Сарагосу и попробую уговорить короля,—предложил он.— Только что, когда я был у него в лагере, он милостиво склонил ко мне свой слух.

— С тех пор многое изменилось,—сказала донья Леонор.

Дон Иегуда осмотрительно заметил:

— Конечно, явиться с пустыми руками нельзя.

— А что бы ты мог ему предложить?—спросила Леонор.

— Нельзя ли уговорить дон Альфонсо отказаться от спорных сюзеренных прав,—еще осторожнее предложил Иегуда.

— Сюзеренные права Кастилии неоспоримы,—холодно ответила донья Леонор.— Уж лучше война!—заявила она и посмотрела сверху вниз на Иегуду таким далеким, презрительным взглядом, что он понял: она и король сделаны из одного теста. Она тоже ни за что на свете не откажется от этого пустого рыцарского титула и от своих смешных притязаний. Она тоже считает торгашеством разумное обсуждение и взвешивание всех обстоятельств.

Дон Альфонсо, соблаговоливший наконец допустить пред свои очи Иегуду, сказал с насмешкой:

— Ну вот, эскривано, ты усердно потрудился в Сарагосе и Тулузе, обмозговывая разные хитрые договоры. Теперь ты убедился, чего они стоят. Ты не принес мне счастья, дон Иегуда. Будь хоть чем-нибудь полезен и достань мне денег. Я боюсь, что нам понадобится много денег.

Дон Альфонсо пригласил на совет рыцарей. Он знал военное ремесло и решил показать свое искусство Арагону. Он ясно видел, что все преимущества на стороне противника, но твердо верил в свою звезду. Как рыцарь и христианин, он вручал свою судьбу всемогущему богу, который не мог допустить, чтоб погиб кастильский король Альфонсо.

И господь вознаградил дону Альфонсо за его веру. Дон Альфонсо-Раймундес Арагонский внезапно скончался в возрасте пятидесяти семи лет, в расцвете сил, празднуя победу над Провансом. Господь поразил его в сердце и прибрал к себе, так что он не успел навредить своему племяннику.

В положении дону Альфонсо вдруг произошла счастливая перемена. Наследник арагонского престола, семнадцатилетний инфант дон Педро, не был похож на отца. Дон Альфонсо-Раймундес мудрой политикой расширил пределы своего королевства и хитростью приобрел права и земли в Провансе—военную силу он применял, только когда был уверен в победе; он не гнушался смиряться перед своими грандами, если таким образом мог вытряхнуть из них деньги или услуги. Юноша дон Педро считал, что вести такую изворотливую политику—значит кривить душой, что это недостойно рыцаря; в своем кастильском кузене он, как и многие, видел идеал христианского рыцаря. Можно было не опасаться, что он пойдет войной на Кастилию.

— Сам господь бог за меня!—торжествующе говорил дон Альфонсо своей королеве, а Иегуде хвастливо заявлял: — Ну, что, видишь!

Донья Леонор радовалась вместе с ним, со спокойной улыбкой глядя на его необузданное ликование. Ее сердцу всегда был мил крепкий союз Кастилии с Арагоном, и хотя она ни в коем случае не желала поступаться правами Кастилии на суверенитет, она все же стремилась всеми силами помешать тому, чтобы эти притязания повели к новым раздорам.

Она унаследовала политическую мудрость своих родителей и понимала, что Кастилии одной никогда не стать такой сильной державой, как Священная Римская импе-

рия, Англия, Франция. Раньше Кастилия и Арагон были объединены и монарх, венчанный обеими коронами, с полным правом мог называть себя императором Испании. Спор королей Альфонсо-Раймундеса и Альфонсо угнетал ее все эти годы. Донья Леонор очень хотела положить конец этому спору и снова связать крепкими узами обе страны. Для этого была полная возможность. Донья Леонор не подарила королю престолонаследника, зато она родила трех инфант; таким образом, тот, кто женится на старшей, на тринадцатилетней Беренгеле, может надеяться унаследовать Кастильское королевство. Желание обручить инфанту с наследником арагонского престола было понятно—тогда бразды правления обеих стран опять соединились бы в руках одного властелина, и только глубокая взаимная антипатия обоих королей мешала до сих пор этому браку. И вот теперь это препятствие отпало, ничто не мешает обручению инфанты и молодого Педро, а его, всегда восхищавшегося королем Альфонсо, нетрудно будет убедить признать сюзеренные права тестя, престол которого он все равно унаследует.

Дон Альфонсо выслушал вежливо, хоть и с некоторым нетерпением планы королевны.

— Правильно и умно придумала, умница моя Леонор,—сказал он.—Но время терпит. Мальчишка еще не посвящен в рыцари. Дядя Альфонсо-Раймундес не мог себя заставить обратиться ко мне за этой услугой. Я думаю, давай-ка пригласим раньше дону Педро сюда, чтобы я вручил ему меч и посвятил его в рыцари. Остальное сделает само собой.

После этого решения королевская чета с помпой отбыла в Сарагосу на торжественные похороны дон Альфонсо-Раймундеса.

Молодой король дон Педро, как и следовало ожидать, выказывал Альфонсо Кастильскому почтительное обожание. И пылко восхищался доньей Леонор. Она была той прекрасной дамой, которую воспевали поэты, недоступной красавицей, которая милостиво принимает поклонение рыцаря, пылающего к ней чистой любовью.

Донья Леонор послушалась совета дон Альфонсо не торопиться. Только в общих, неопределенных словах намекнула она, что они с доном Альфонсо подумывают о более тесном союзе с арагонским кузеном. Но держалась она при этом доверчиво, по-приятельски и в то же время слегка по-матерински, и молодой статный принц сразу понял и покраснел до корней волос. Не только мысль породниться со старшим, испытанным рыцарем манила его, ему уже мерещилась в будущем королевская корона объединенных испанских стран. Он поцеловал донье Леонор руку и ответил:

— Нет поэта, прекрасная дама, который мог бы воспеть мое счастье.

Вообще же о государственных делах не говорилось и об отношениях между Кастилией и Арагоном тоже. Зато много говорилось о посвящении дона Педро в рыцари. Ему исполнилось семнадцать лет, как раз самое время, и лучше, чтобы посвящение состоялось до коронавания. Альфонсо пригласил принца для этой церемонии к себе в Бургос. Там он сам посвятит его в рыцари со всей пышностью, как и приличествует двум наиболее могущественным владыкам Испании.

Дон Педро с радостью принял приглашение.

В Бургосе шли большие приготовления. Дон Альфонсо послал туда весь свой придворный штат. Донья Леонор сказала, что надо пригласить и детей эскриваю; король поморщился, но согласился.

Когда герольд принес в кастильо приглашение всем троим Ибн Эзрам, Иегуда в душе возликовал. В сопровождении пышной свиты отправился он со своими в Бургос.

Дон Гарсеран и молодой придворный кавалер из свиты доньи Леонор охотно вызвались показать донье Ракель и ее брату этот древний город. Подросток Аласар, восхищавшийся всем, что касалось рыцарства, с жадностью осматривал реликвии, связанные с Сидом Кампеадором,— его могилу, доспехи, боевое снаряжение его коня.

Еще больше воодушевляли мальчика приготовления к ристалищам. Уже были вывешены гербовые щиты рыцарей, собравшихся принять участие в большом турнире. Было объявлено также о состязании в стрельбе из арбалета. Аласар, гордившийся своим великолепным арабским арбалетом, сейчас же решил принять участие в состязании. С детским восхищением смотрел он также на быков, предназначенных для боя и стоявших в загоне.

Пир в честь дона Педро был устроен в королевском замке, в том кастильо, от которого страна Кастилия получила свое наименование. Это было старое здание строгой архитектуры. Пол устлали коврами, лестницы усыпали розами, стены завесили гобеленами с изображениями охотничьих и военных сцен. Донья Леонор выписала их из Франции, со своей родины. Но, несмотря на все старания, суровый замок приобрел только легкий налет веселости.

В залах расставили длинные столы и маленькие столики, и во дворе замка тоже. Арагонский принц прибыл со своим альхакимом, доном Хосе Ибн Эзра, и того, так же как и Иегуду Ибн Эзра, посадили за стол во дворе. Это было не самое почетное место, но при таких торжествах

размещение за столом по чинам было очень сложным делом.

Город Бургос славился своим суровым климатом; даже и сейчас, в июне, во дворе замка было неуютно и холодно. Жаровни с углем давали мало тепла, и в течение всего пира неприветливая погода напоминала обоим еврейским вельможам, что сидеть внутри замка куда приятнее. Но они скрывали обиду даже друг от друга и оживленно беседовали о благоприятных последствиях, к которым, несомненно, приведут добрососедские отношения между Кастилией и Арагоном: товарообмен станет легче, в экономике наступит оживление.

Во время разговора Иегуда поглядывал на дочь, сидевшую напротив. Его умница, верно, заметила, что можно было бы найти ей кавалера получше, чем тот арагонский дворянин из мелкопоместных, которого посадили за стол рядом с ней, но она как будто не скучает и с ним. Аласар, сидевший вместе с другими подростками за жизнерадостным столом молодежи, тоже весело болтал.

После стола все собрались в замке. Вдоль стен были сооружены возвышения. На них, за невысокими балюстрадами, разместились дамы, кавалеры разговаривали с ними, стоя внизу. Донья Ракель сидела во втором ряду, часто ее не было видно за сидевшими впереди. Дон Гарсеран обратил на нее внимание короля. Другие приближенные тоже говорили дону Альфонсо о поразительно умной дочери еврея, его любопытство было возбуждено. Когда дон Гарсеран показал королю донью Ракель, они стояли довольно далеко от нее, но, хотя король окинул еврейку только беглым взглядом, он хорошо рассмотрел ее своими зоркими глазами. Худое, матово-смуглое лицо с большими глазами в строгом обрамлении ширококрылого убора казалось совсем детским, глубокий вырез лифа, опущенного мехом, открывал девичью грудь и нежную шею.

— Да,— сказал Альфонсо,— недурна.

Донья Леонор, хорошая хозяйка, заметила, что дону Иегуде не оказывают того почтения, какое приличествовало его сану. Через пажа она попросила его подойти, задала несколько обычных учтивых вопросов,— как он провел время, всем ли доволен,— и пожелала, чтоб он представил ей своих детей.

Донья Ракель с откровенным любопытством посмотрела в лицо королеве, и донью Леонор немножко рассердилось, что еврейка совсем не смутилась перед своей королевой. Да и кружева на ее корсаже и зеленое атласное платье были слишком дороги для молоденькой девушки. Но донья Леонор была хозяйкой, она строго соблюдала правила вежливости, она держалась приветливо, больше

того, она намекнула дону Альфонсо, чтобы он сказал несколько ласковых слов детям своего сановника.

Подросток Аласар густо покраснел, когда король заговорил с ним. В доне Альфонсо он видел зеркало героической добродетели. Глядя на короля с наивным обожанием, он спросил, примет ли дон Альфонсо сам участие в рыцарских играх, и сказал, что он, Аласар, собирается принять участие в состязании арбалетчиков.

— Мой арбалет изготовил собственноручно Ибн Ихад, прославленный севильский мастер,—с гордостью поведдал он.—Ты увидишь, государь, твоим рыцарям придется нелегко.

Дона Альфонсо забавлял мальчик, в котором он видел истого сына своего честолюбивого эскривано.

Разговор с доньей Ракель прошел не так гладко. Они обменялись несколькими ничего не значащими латинскими фразами. Ракель смотрела на короля своими большими серо-голубыми глазами спокойно и пытливо, и ему, как и королеве, не понравилось, что она нисколько не смущается. Не зная, о чем говорить, он спросил:

— Ты понимаешь, что поют мои жонглеры?

Жонглеры, королевские музыканты, пели по-кастильски.

Донья Ракель ответила честно и прямо:

— Многое я понимаю. Но не все в их вульгарной латыни мне ясно.

«Вульгарной латынью» обычно называли народный язык, и, по всей вероятности, чужеземка не хотела сказать ничего обидного. Но Альфонсо не позволял порочить свой родной язык, он осадил ее:

— Мы называем этот язык кастильским. Сотни тысяч честных людей, почти все мои подданные, говорят на этом языке.

Не успел он это сказать, как уже подумал, что слова его излишне суровы и по-учительски педантичны, и он переменял тему:

— Страна Кастилия названа по имени этого кастильо. Отсюда, из этой крепости, ее завоевал граф Фернан Гонсалес. Нравится тебе мой замок?

И так как донья Ракель подыскивала слова для ответа, он прибавил, на этот раз по-арабски:

— Он очень стар и полон воспоминаний.

Донья Ракель, привыкшая высказывать все, что думает, ответила:

— Теперь мне понятно, почему он тебе нравится, государь.

Ответ пришелся не по вкусу дону Альфонсо. Неужто она считает, что его прославленный замок может нравиться-

ся только тем, кого связывают с ним воспоминания? Он хотел придумать колкий ответ. Но, в конце концов, донья Ракель его гостя, а обучать куртуазии дочь еврея ему не пристало. Он заговорил о другом.

Подростка-еврея дона Аласара, хоть он и был сыном эскривано, допустили до состязания в стрельбе из арбалета только после вмешательства дона Манрике. Он взял второй приз. Прямодушие и бурная радость мальчика, его ликование, когда он получил приз, огорчение, что приз второй, а не первый, его гордость своим арбалетом, равного которому действительно не было в Бургосе,— все это невольно завоевало ему симпатии других участников турнира.

Король поздравил его. Аласар был обрадован, но его явно мучила какая-то мысль. Он колебался. Потом решительно протянул королю свой арбалет и сказал:

— Возьми его, государь, если он тебе нравится. Я дарю его тебе.

Альфонсо был изумлен. Мальчик другой, не такой, как его отец, его не прельщают деньги и вещи; он, безусловно, обладает одной из основных рыцарских добродетелей — щедростью.

— Ты молодец, дон Аласар,— похвалил он его.

Мальчик доверчиво разговаривался.

— Знай, государь, победить в состязании было мне не так уж трудно. Я упражняюсь в стрельбе из арбалета с пятилетнего возраста. Плохого стрелка мусульмане не принимают в рыцарский орден.

— Этого действительно требуют?— спросил дон Альфонсо.

— Конечно, государь,— ответил Аласар и быстро перечислил по-арабски заученные им наизусть десять добродетелей мусульманского рыцаря:— Рыцарь должен быть добрым, смелым, учтивым и вежливым в обхождении, обладать поэтическим даром, даром красноречия, физической силой и здоровьем, способностью к верховой езде, к метанию копья, к фехтованию, к стрельбе из арбалета.

Дон Альфонсо подумал, что в таком случае он сам, мало опытный в поэзии и красноречии, вряд ли был бы принят в один из мусульманских рыцарских орденов.

На третий день был назначен бой быков. В нем принимали участие только самые знатные гранды. Прелатам, с тех пор как Евсевий, епископ Тарагонский, был тяжело ранен быком, участие в бою было запрещено, что очень огорчало архиепископа дона Мартина, который охотно показал бы свою удаль в этом виде рыцарского искусства.

Дон Альфонсо и королева, окруженные самыми знатными вельможами, смотрели с трибуны на игрища; король

был в хорошем настроении; душу его веселило зрелище боя людей и быков.

На другой трибуне и на балконах соседних домов сидели разряженные дамы, среди них и донья Ракель. Она опять сидела позади, наполовину загороженная, но зоркий взгляд дона Альфонсо отыскал ее, и он заметил, что ее глаза не всегда следили за боем, иногда она переводила свой взор на него. Он вспомнил, как она, молоденькая девчонка и уже почти такая же дерзкая, как отец, сказала ему прямо в лицо, что ей не нравится его замок. И вдруг на него напала охота самому принять участие в играх. Нельзя же разочаровывать милого мальчика, подарившего ему свой арбалет, да и доверие своего молодого родственника, который восхищается им, тоже надо оправдать. Конечно, он должен раздражить быка и выдержать с ним бой.

Дон Манрике заклинал его не рисковать зря своей священной особой. Донья Леонор умоляла отказаться от безумного намерения. Дон Родриго просил вспомнить, что, начиная с Альфонсо Шестого, испанские короли не принимали участие в бое быков. Архиепископ Мартин указывал на то, что он сам тоже обуздывает свое желание. Но дон Альфонсо отшучивался и с юношеским задором не слушал никаких доводов.

Он скинул королевскую мантию, его уже облачили в кольчугу. Затрубили трубы, и герольд возгласил: «Со следующим быком сразится дон Альфонсо, милостию божией король Толедо и Кастилии».

Он был очень хорош, когда появился на арене верхом на коне, не в тяжелых латах, а в одной гибкой кольчуге, с открытой шеей и лицом, в железном шлеме на рыжих кудрях. Он был прекрасным наездником, лошадь слушалась его малейшего движения. Но, несмотря на все его искусство, первые три удара были неудачны, и в третий раз опасность казалась даже так велика, что все вскрикнули. Но он быстро совладал с собой и с конем. «В твою честь, донья Леонор!» — громко крикнул он, и четвертый удар удался.

Вечером, принимая ванну, донья Ракель рассказывала кормилице Саад:

— Он, этот Альфонсо, очень смелый, и все было точь-в-точь как в сказке о купце Ахмеде, мореплавателе, когда тот вошел в опочивальню к чудищу. Мне бои быков не по душе, хорошо, что у нас в Севилье они отменены. Но для христиан это, может быть, как раз то, что нужно; просто дух захватывало смотреть, как их король помчался на разъяренного быка. Перед последним ударом он пошевелил губами, я это ясно видела. Купец Ахмед, раньше чем войти в опочивальню чудища, прочитал

первую суру; верно, и король прошептал молитву. Ему это тоже помогло. Он был прекрасен, как утренняя заря; и до чего же он обрадовался, когда бык упал замертво! Альфонсо герой. Но он не настоящий рыцарь. Ему недостает основных рыцарских добродетелей. Он не красноречив и не понимает поэзии. Иначе ему не нравился бы его древний, мрачный замок.

Дон Альфонсо и донья Леонор не считали возможным омрачать веселье праздничных дней улаживанием спорных вопросов, и поэтому о помолвке и вассальной присяге не было речи.

Неделя празднеств подходила к концу. Наступал знаменательный день, день «удара мечом», день, в который дону Педро предстояло принять удар мечом, посвящающий в рыцари.

Утром молодой принц подвергся церемонии очистительного омовения. Два священнослужителя облачили его. Одевание было алое, как кровь, которую рыцарь обязан проливать, защищая церковь и установленный богом порядок; башмаки были коричневые, как земля, в которую всем предстоит сойти; пояс был белый, как чистая совесть, хранить которую он давал обет.

Звонили все колокола, когда принц шествовал по усыпанным розами улицам в церковь Сант-Яго. Там его ждал дон Альфонсо, окруженный кастильскими и арагонскими грандами и знатными дамами. Оруженосцы надели на голову взволнованному дону Педро шлем, облекли его в кольчугу, вручили треугольный щит—теперь у него были доспехи для самозащиты. Они опоясали его мечом—теперь у него были доспехи для нападения. Две благородные девицы надели ему золотые шпоры—теперь он мог выехать на бой за правду и добродетель.

И вот дон Педро опустился на колени, и архиепископ дон Мартин зычным голосом прочел молитву: «Отче наш, иже еси на небесех, ты повелел обнажать на земле меч, карающий злых, и призвал христианских рыцарей защищать правых, не даждь сему рабу твоему обнажать меч свой против невиноватых, но даждь ему защищать правых и установленный тобою порядок».

Дону Альфонсо припомнилось, как посвящали в рыцари его самого еще совсем юным, после кровавого боя со смутьянами на улицах Толедо. Было это в толедском соборе, перед статуей Сант-Яго; святой сам посвятил его в рыцари. Правда, может быть, как утверждали малoverы, ударил его мечом не святой, а его статуя при помощи искусного автоматического механизма. А может быть, все же, как уверял архиепископ, ради такой торжественной

минуты статуя превратилась в святого. Почему бы Сантьяго не явиться и не посвятить самолично в рыцари царственного кастильского отрока?

С презрительным сочувствием взирал дон Альфонсо на своего молодого родственника, смиренно преклонившего перед ним колено. Сколько подвигов уже насчитывал он, Альфонсо, в его годы! Восставшие рикос-омбрес требовали от него, не имея на то права, клятвенных заверений. Но он, милостию божией король Кастилии и Толедо, грозно прикрикнул на них еще срывающимся, мальчишеским голосом: «Нет, не бывать этому! На колени, негодные гранды!» И они угрожали ему войной и выставили против него войско, большое войско, и он не шутики шутил, а по-настоящему бился с самыми настоящими врагами. А его молодой родственник, преклонивший тут пред ним колено, просто жалкий арагонский король, он глупый молокосос и не станет упираться, когда наглые гранды потребуют от него унижительной присяги, к которой арагонские бароны принудили своих, с позволения сказать, королей: «Мы, у которых больше силы, чем у тебя, избираем тебя своим королем при условии, что ты не посягнешь на наши права и вольности, и между тобой и нами мы ставим посредника, облеченного большей властью, чем ты. Если нет, то нет. Si no, no!» С его, дон Альфонсо, стороны большая милость, что он отдает такому «королю» свою инфанту, а в дальнейшем и трон, и требует он взамен очень малого: признать, пока он, Альфонсо, жив, его сюзеренные права в Испании.

Теперь дон Педро с глубоким благочестием произнес рыцарский обет: «Обещаю никогда не обнажать меча против невиноватого и всегда защищать им право и святой порядок, установленные богом». И он склонил голову в ожидании удара, которым надлежит и смирить и возвысить посвящаемого и на веки веков закрепить его рыцарский обет.

И удар последовал. Обнаженным клинком дон Альфонсо ударил его плащом по спине, не очень сильно, но все же достаточно крепко, чтобы почувствовать сквозь кольчугу боль.

Дон Педро невольно передернул плечами. Поднял голову, хотел встать. Но дон Альфонсо удержал его.

— Нет, кузен, еще не время!—сказал он.—Мы свяжем посвящение в рыцари с ленной присягой. Подать мне знамя!—приказал он. В ожидании знамени он снял перчатку с правой руки. Затем, взяв кастильский стяг в левую, произнес:—По желанию твоему, брат мой дон Педро Арагонский, я принимаю тебя в свои верные вассалы и клятвенно обещаю тебя защищать, если ты меня призовешь. Да будет так, и да поможет мне бог.

Он говорил негромко, но его мужественный голос был явственно слышен в церкви.

Молодой дон Педро, все еще во власти пережитых волнений, во власти смиряющей и возвышающей дух церемонии посвящения в рыцари, сам не понимал, что происходит. Донья Леонор поманила его возможностью брака с инфантой и наследования кастильского престола. Или, может быть, не только поманила, а обещала? Для чего же тогда эта вторая клятва, клятва вассала? А что, если он, повторив эти слова, уже связал себя обязательством? Но смеет ли он вообще сомневаться и не доверять? Ведь только что он дал обет рыцарского послушания — и при первом же испытании уже хочет нарушить его?

Он, молодой рыцарь, стоит, преклонив колено, перед старшим, и тот властным громким голосом требует:

— А ты, дон Педро, обещай служить мне верой и правдой в страхе божием, когда у меня будет нужда в тебе и когда я тебя позову, и целуй мне на том руку! — И Альфонсо протянул коленопреклоненному юноше руку.

В заполненной людьми церкви стояла просто физически ощутимая тишина. Как громом пораженные, молчали арагонские бароны. Уже в течение более чем одного поколения Арагон не признавал тягостной вассальной зависимости. Почему их молодой властелин пошел на оскорбительную присягу? Может быть, помолвка уже решена и обе стороны обменялись грамотами?

Дон Педро все еще стоял на коленях, а дон Альфонсо все так же протягивал руку. Стоявшие сзади поднимались на цыпочки, дабы видеть, что происходит.

И вот свершилось. Молодой арагонский король поцеловал правую руку человека, державшего в левой кастильское знамя. И тот дал ему перчатку, и араговец взял ее.

Немного погодя, выйдя из сумерек церкви на свет, на волю, дон Педро, окруженный угрюмо молчавшими арагонскими придворными, очнулся от своих грез и мечтаний и осознал, что случилось, что он сделал.

Но разве он это сделал? Нет, Альфонсо напал на него врасплох, нагло завлек его в западню. Он, этот боготворимый им человек, он, зеркало всего рыцарства, воспользовался святым обрядом посвящения для мошеннической проделки!

За церковной церемонией должно было последовать народное гулянье. Уже выстроилась почетная свита кастильских баронов. Но дон Педро приказал своим:

— Мы едем домой, господа, и без промедления! Вернувшись к себе в столицу, мы решим, что нам делать!

И, громко звеня мечом, молодой король вместе со своей свитой покинул город Бургос, не подарив кастильцев ни взглядом, ни словом.

На этот раз даже королеве изменило ее ровное настроение. Теперь не бывать союзу, который она лелеяла в сердце. Нет, не геройским духом, а мальчишеской заносчивостью вызвано было желание силой добиться того, чего легко можно было добиться уговорами и убеждением.

Но гнев ее длился не долго. Не тот Альфонсо человек, чтобы вести длительные переговоры. Он создан летать, а не ползать. Даже на ее отца, великого короля и мудрого правителя, находили такие приступы бешенства; он не сдержался, и его гневные слова побудили рыцарей убить архиепископа Кентерберийского, хотя это могло быть чревато пагубными последствиями.

Дон Манрике и дон Иегуда попросили об аудиенции. Она приняла их.

Иегуда был взбешен. Король опять уничтожил своей глупой солдатской выходкой то, что он, Иегуда, наладил с таким трудом и терпением. Дон Манрике тоже возмущался. Но донья Леонор холодно, с королевским достоинством прекратила все жалобы на дона Альфонсо. Во всем виноват молодой дон Педро, он слишком поспешно, нарушив все правила куртуазии, покинул Бургос, и только поэтому не удалось уладить явное недоразумение.

Дон Манрике согласился, что было бы учтивее остаться в Бургосе. Но что поделаешь, этот неучтивый юнец — король Арагона. Теперь он, конечно, примет в вассалы Гутьере де Кастро, и война, которую милостью неба удалось отворотить от Кастилии, ныне неминуема.

Иегуда политично заметил:

— Может быть, все же попробовать уладить недоразумение?

И так как донья Леонор молчала, он прибавил:

— Только ты, государыня, можешь разубедить юного арагонского короля, доказав ему, что он ошибся и что гнев его неоснователен.

Донья Леонор подумала.

— Поможете мне сочинить к нему послание? — спросила она.

Дон Иегуда сказал еще осторожнее:

— Боюсь, что послания недостаточно.

Донья Леонор удивленно подняла брови.

— Что же, мне самой ехать в Сарагосу? — спросила она.

Дон Манрике пришел Иегуде на помощь.

— Другой возможности нет, — заметил он.

Донья Леонор молчала, надменная и замкнутая. Дон Иегуда начал опасаться, что гордость возьмет перевес над рассудком. Но, помолчав, она обещала:

— Я подумаю, что я могу сделать, не поступившись честью Кастилии.

Дону Альфонсо она ничего не сказала, ничем его не попрекнула, она ждала, пока он сам заговорит. И правда, вскоре он стал жаловаться:

— Не пойму, что со всеми случилось. Обращаются со мной, как с больным. В конце концов, я, что ли, виноват, что этот сопляк сбежал! Значит, отец недостаточно хорошо его воспитал.

— Может быть, не стоит обращать внимание на его неучтивость, он это по молодости лет,—примирительно заметила донья Леонор.

— Ты, как всегда, добра, донья Леонор,—сказал он.

— Пожалуй, и я тут немножко виновата,—опять заговорила она.—Мне следовало раньше поговорить с ним о ленной присяге. Что, если мне попробовать исправить свою ошибку? Что, если мне поехать в Сарагосу и выяснить это недоразумение?

Альфонсо удивленно поднял брови.

— Не слишком ли много чести для такого вертопраха?—спросил он.

— Как-никак он король Арагона,—ответила Леонор,—и мы думали отдать за него нашу инфанту.

Альфонсо почувствовал небольшую досаду и очень большое облегчение. Как хорошо, что у него есть Леонор. Скромно, без громких слов пытается она уладить то, что произошло. Он сказал:

— Как раз такая королева, как ты, нужна в наше время, когда нельзя действовать напрямик и надо хитрить. Я был и есть рыцарь. У меня нет терпения. Тебе часто нелегко со мной.

Но сильнее, чем слова, о радости и благодарности говорило сияющее лицо короля, осветившееся широкой юношеской улыбкой.

Раньше чем отправиться в Арагон, донья Леонор держала совет с Иегудой и доном Манрике де Лара. Порешили на том, что Кастилия выведет свой гарнизон из Куэнки и обязуется в течение двух лет не посылать войск на границу графства де Кастро; Арагон со своей стороны должен воспрепятствовать дальнейшим враждебным действиям барона де Кастро. Если Гутьере де Кастро признает себя вассалом Арагона, Кастилия не будет возражать, но от своих притязаний не откажется. Вопрос же о суверенитете Кастилии над Арагоном остается открытым, и церемония, имевшая место в Бургосе, ничего тут не меняет, ибо обязательство оказывать помощь и защиту, взятое на себя Кастилией, юридически вступает в силу только с того момента, когда Арагон уплатит положенные за свою защиту сто золотых мараведи, а

Кастилия обещает воздержаться от требования их уплаты.

В Сарагосе молодой король оказал донье Леонор в высшей степени куртуазный прием, однако не скрыл, как обидело и разочаровало его то, что произошло в Бургосе. Она не стала оправдывать дона Альфонсо, но рассказала, как он терзается долгим перемирием с Севильей, на которое его склонили чересчур осторожные министры. Он лелеет мечту искупить поражение под Севильей и одержать во славу христианства новые победы над неверными. При счастливом союзе с Арагоном, который казался уже совсем близким, это было бы значительно легче, и в своем рыцарском нетерпении Альфонсо поторопился. Она понимает обоих монархов, и дона Альфонсо, и дона Педро. Она смотрела ему в глаза открытым, сердечным, материнским, женским взглядом.

В беседе с такой доброй, такой очаровательной дамой дон Педро с трудом сохранял холодное достоинство, как то приличествует оскорбленному рыцарю. Он сказал:

— Ты смягчаешь нанесенное мне оскорбление, прекрасная дама. За это я тебе благодарен. Пусть твои советники договорятся с моими.

Прощаясь с доном Педро, донья Леонор, как и в тот раз, в ласковых, любезных словах выразила надежду на более тесный союз царствующих домов Кастилии и Арагона.

— Я почитаю тебя, прекрасная дама,— ответил он.— И когда ты в первый раз подарила меня милостивой улыбкой, сердце мое расцвело от радости. Но сейчас наступила суровая зима, и все замерзло.— И он заставил себя прибавить:— В угоду тебе, прекрасная дама, я прикажу моим советникам принять предложения Кастилии. Я не пойду войной на дона Альфонсо. Но союз наш он разбил. Я не хочу вступать с ним в родство и не хочу вместе с ним идти на войну.

Донья Леонор возвратилась в Бургос. Дон Альфонсо согласился, что она добилась многого: война отвращена.

— Ты умница, Леонор,— похвалил он.— Ты моя королева и жена.

И в эту ночь дон Альфонсо любил жену, родившую ему трех дочерей, как в ту первую ночь, когда познал ее.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Почти полтысячелетия процарствовали мусульмане в Иерусалиме, наконец Готфрид Бульонский отвоёвывал город обратно и основал там христианское «Иерусалимское королевство». Но господство христиан длилось

только восемьдесят восемь лет; а затем последователи Магомета снова овладели городом.

На этот раз мусульман вел на Иерусалим Юсуф, названный Саладином, «Спасением Веры», султан Сирии и Египта, а битва, в которой он одержал решительную победу, была дана в окрестностях горы Хаттин, на запад от Тивериады. Свидетелем этой битвы был мусульманский историк по имени Имад ад-Дин. Он был в дружбе с Мусой Ибн Даудом и описал ему это событие в подробном письме.

«Вражеские латники,—писал он,—неуязвимы, пока они в седле, потому что они закованы с ног до головы в железную броню. Но стоит упасть лошади—и всадник погиб. В начале битвы они были подобны львам; когда она кончилась—это были отбившиеся от стада бараны.

Ни один из неверных не ушел. Их было сорок пять тысяч: в живых не осталось и пятнадцати тысяч, а тех, что остались, взяли в плен. Все попали к нам в руки: король иерусалимский со всеми своими графами и вельможами. Веревок от палаток не хватало. Я видел человек тридцать—сорок, связанных одной веревкой, я видел более ста человек под охраной одного. Я видел это собственными счастливыми глазами. До тридцати тысяч было убито, но все же пленников было такое множество, что наши продавали пленного рыцаря за пару сандалий. Уже целое столетие не отдавали так дешево пленников.

Какими гордыми и величественными были эти христианские рыцари несколько часов назад. А теперь графы и бароны стали добычей охотника, рыцари—снедью льва, надменных вольных людей связали, заковали в кандалы. Велик Аллах! Они называли правду ложью, Коран—обманом; и вот теперь они сидели, опустив головы, полуголые, поверженные в прах рукою истины.

Они, слепые безумцы, взяли с собой в битву свою самую большую святыню—крест, на котором умер их пророк Христос. И крест тоже теперь в наших руках.

Когда битва кончилась, я поднялся на гору Хаттин, чтоб взглянуть вокруг. А эта гора Хаттин—та самая, на которой их пророк Христос произнес свою знаменитую проповедь. Я окинул взором поле битвы. И воочию убедился, что может сделать народ, на котором почиет благословение Аллаха, с народом, над которым тяготеет его проклятие. Я видел отрубленные головы, искромсанные тела, отсеченные руки и ноги; повсюду умирающие и мертвые в крови и во прахе. И я вспомнил слова Корана: «Скажут неверные: я прах».

И много еще таких слов написал историк Имад ад-Дин, окрыленный всем виденным, и закончил он так:

«О сладостный, сладостный запах победы!»

Муса читал письмо и огорчался. Со стены глядело начертанное куфическими письменами древнее изречение и предостерегало: «Унция мира больше стоит, чем тонна победы». За это изречение многие добрые мусульмане во время священной войны были объявлены еретиками и поплатились жизнью. И все же многие мудрые люди приводили это изречение, и его друг Имад, тот, что написал ему письмо, тоже охотно его цитировал; раз даже Имада чуть не убил за это изречение какой-то фанатик дервиш. А теперь он написал такое письмо!

Да, все так, как стоит в Великой Книге: *иецерга-ра*, злое начало сильно в человеке от юности. Люди хотят гнать и разить, крушить и убивать, и даже такой мудрый человек, как его друг Имад, «опьянен вином победы».

Ах, близко, близко то время, когда многие будут опьяняться вином войны. Теперь, когда Иерусалим опять в руках мусульман, христианский первосвященник не преминет призвать к священной войне, и поле битвы, подобное тому, что с такой страшной наглядностью описал Имад, будет далеко не единственным.

И так оно и случилось.

Весть о падении Иерусалима, которым меньше чем девяносто лет назад с такими невероятными жертвами овладели крестоносцы, повергла в невыносимую скорбь весь христианский мир. Повсюду верующие предавались посту и молитве. Князья церкви отказались от роскоши, чтоб их суровое воздержание служило примером для остальных. Даже кардиналы дали обет не садиться на коня, пока землю, по которой ходил Спаситель, попирают ноги язычников; уж лучше они будут питаться милостыней, странствуя по христианским владениям и проповедуя покаяние и месть.

Святой отец призывал к новому крестовому походу, дабы освободить Иерусалим—пуп земли, второй рай. Каждому, кто возьмет крест, он обещал воздаяние и на том и на этом свете, он провозгласил на семь лет *treuga dei*—прекращение войн.

Он сам подал великодушный пример и прекратил длительную распрю с властителем Германии, с римским императором Фридрихом. Он послал легата, архиепископа Тирского, к королям Франкскому и Английскому и заклинал их положить конец спорам. В прочувствованных посланиях он увещевал королей Португалии, Леона, Кастилии, Наварры и Арагона предать забвению все раздоры и, братски объединившись, принять участие в крестовом походе: выступить против нечестивых агарян у себя на полуострове и против антихриста—халифа Якуба Альмансура в Африке.

Когда архиепископ сообщил дону Альфонсо о папской энциклике, король собрал коронный совет — свою курию. Дон Иегуда, сославшись на нездоровье, благоразумно воздержался и не пришел.

Архиепископ в горячих словах указал на то, что у них в Испании крестовые походы начались более чем на полтысячелетие раньше, чем в прочих странах. Сейчас же вслед за тем, как мусульманская чума поразила страну, готы-христиане, отцы теперешних правителей, начали сопротивление.

— Нам надлежит продолжить великую, святую традицию! — вдохновенно воскликнул он. — *Deus vult* — так хочет бог! — закончил он боевым кличем крестоносцев.

Как охотно последовали бы гранды этому кличу. Все, даже миролюбивый дон Родриго, горели одним желанием. Но они знали, что как раз для них препятствия неодолимы. Они сидели в угрюмом молчании.

— Я помню, — сказал наконец старый дон Манрике, — как мы вторглись в Андалусию и дошли до самого моря, я был при взятии королем, нашим государем, города Куэнки и крепости Аларкос. Самое горячее мое желание — чтобы мне было дозволено, до того как я сойду в могилу, еще раз сразиться с неверными. Но у нас есть договор с Севильей о перемирии, он подписан именем короля, нашего государя, и скреплен его гербовой печатью.

— Эта жалкая бумажонка теперь недействительна, — гневно возразил архиепископ, — и никто не может порицать короля, нашего государя, если он передаст ее палачу для сожжения. Ты не связан этим договором, государь! — обратился он к Альфонсо. — *Juramentum contra utilitatem ecclesiasticam prestitum non tenet* — клятва во вред церкви недействительна. Так сказано в сборнике декреталий Грациана.

— Это так, — подтвердил каноник и почтительно склонил голову. — Но неверные не хотят с этим считаться. Они настаивают на том, что договоры должно соблюдать. Султан Саладин щадил большинство своих пленников, но когда маркграф Шатильонский сослался на свое право нарушить перемирие, ибо его клятва была недействительна перед церковью и богом, султан — вспомните, господа! — приказал его казнить. А халиф западных неверных думает и действует совершенно так же, как Саладин. Если мы нарушим перемирие с Севильей, он переправится через море и придет из своей Африки, а солдат у него столько, сколько песка в пустыне, и тогда не помогут ни доблесть, ни отвага. Поэтому, если король, наш государь, опираясь на церковное право, объявит договор недействительным, это пойдет не на пользу церкви, а во вред ей.

Дон Мартин сердито посмотрел на своего секретаря: всегда-то этот крючкотвор что-нибудь придумает! А дон Родриго, не смущаясь, продолжал:

— Бог, читающий в сердцах, знает, как горячо все мы стремимся отомстить за поругание святого города. Но бог дал нам разум, чтобы мы слишком поспешным рвением не умножили бедствий христианского мира.

Дон Альфонсо что-то обдумывал, сердито насупясь.

— Мавры придут на помощь Севилье, это правда,— сказал он наконец.— Но и я тоже буду не один. Крестonosцы, которые высадутся здесь, на побережье, помогут, когда я ударю на мусульман. Они и прежде помогали нам.

— Крестonosцы будут прибывать отдельными кучками,— заметил Манрике,— они не смогут противостоять дисциплинированной, хорошо организованной армии халифа.

И так как король не слушал уговоров, дону Манрике пришлось объяснить ему истинную причину вынужденного бездействия Кастилии. Он посмотрел ему в лицо и сказал медленно и очень явственно:

— Видишь на победу, государь, возможны только в том случае, если ты обеспечишь себе помощь твоего арагонского брата, и помощь подлинную, идущую от чистого сердца. Надо, чтобы дон Педро добровольно стал под твое начало. Без единоначалия христианское войско нашего полуострова не сможет противостоять халифу.

В душе дон Альфонсо знал, что это так. Он ничего не ответил. Он отпустил коронный совет.

Когда он остался один, его охватила неукротимая ярость. Ему уж скоро тридцать три года, он прожил целый человеческий век, и за все это время ему не было дано свершить действительно великое деяние. Александр в его возрасте покорил мир. Теперь наконец представляется настоящий, единственный случай—крестовый поход, а они своими неопровержимыми, хитроумными доводами хотят воспрепятствовать ему завоевать славу и стать новым Сидом Кампеадором.

Но он не позволит, чтобы ему мешали. И если этот арагонский юнец и сопляк откажется стать под его знамена, он предпримет поход и без него. Сам бог предназначил его быть вождем западной части света, и он не позволит вырвать у себя из рук это священное право. Не нуждается он ни в каком Арагоне, он и так раздобудет себе помощь. Только на несколько месяцев потребуются ему крестonosцы, которые придут в его владения, а потом пусть отправляются в Святую землю. Если у него, кроме своего войска, будет еще двадцать тысяч солдат, он завоюет всю Андалусию до самого юга и вторгнется в

Африку до того, как халиф успеет собрать войско. И тогда Якуб Альмансур подумает и подумает, раньше чем обнажить свою восточную границу.

Но ему нужны деньги, деньги на поход, который продлится не менее полугода, деньги, чтобы оплатить тех, кто будет ему помогать.

Он обратился к Иегуде.

Услышав о призыве к крестовому походу, Иегуда почувствовал тягостное волнение и в то же время подъем. Вот и наступила великая война, которой все боялись, границы между исламом и христианским миром снова небезопасны, на него, Иегуду, возложена небом трудная задача. Ведь эскривано кастильского короля больше, чем кто другой, может способствовать сохранению мира на полуострове.

И опять он не мог не подивиться мудрости своего друга Мусы. Всю жизнь Муса убеждал его: успокойся, не хлопочи, не взвешивай, покорись судьбе, ибо перед ней все расчеты—суета сует. Но он, Иегуда, не мог успокоиться, не мог не взвешивать, не рассчитывать, не хлопотать. Когда король чуть не вызвал войну с Арагоном, он, Иегуда, придумывал всякие хитрости, усердствовал, проехал через всю страну на север и обратно на юг и опять на север, и хлопотал, и улаживал, и то же делал он и второй раз, и когда все его расчеты оказались напрасными, он в своем отчаянии возроптал на господа бога. Но судьбе, мудрой и лукавой, как и его друг Муса, было угодно, чтобы то, что он считал величайшим злом, породило великое благо. Как раз ссора с Арагоном, которую он усердно пытался уладить, теперь удерживала дона Альфонсо от войны. Не его, Иегуды, умные расчеты и рассуждения, но дерзкий, необдуманый шаг дона Альфонсо принес счастье и мир полуострову.

Из Севильи приехал книгопродавец и издатель Хакам. Он был самым крупным книгопродавцем западного мира, на него работали сорок писцов, в его прекрасной лавке было отведено особое место для книг по каждой отрасли науки. Он передал дону Иегуде подарок от эмира Абдуллы—оригинальную рукопись «Жизнеописания» Ибн Сины. Ибн Сина, умерший полтора года тому назад, слыл величайшим мыслителем мусульманского мира. Христианские ученые, которым он был известен под именем Авиценны, тоже очень почитали его. Из-за манускрипта, привезенного книгопродавцем Хакамом, в свое время было пролито много крови. Один кордовский халиф, чтоб получить рукопись, убил ее владельца и истребил весь его род. Иегуда не мог прийти в себя, так обрадовал его драгоценный подарок эмира, он тут же побежал к Мусе; нежно и взволнованно рассматривали оба письма, в

которых этот мудрейший из смертных сохранил для потомства свою жизнь.

Вместе с подарком эмир поручил издателю Хакаму устно передать его другу Иегуде следующее: халиф Якуб Альмансур уже начал подготовку к войне и при первом же известии о нападении на Севилью переправится во главе войска на полуостров; для этой цели он даже возвратился с востока в Марокеш. Эмир Абдулла убежден, что его другу Ибрагиму так же дорого сохранить мир, как и ему самому, поэтому было бы неплохо предостеречь королей неверных.

Обо всем этом думал Иегуда, стоя перед доном Альфонсо.

— Вот наконец и ты, мой эскривано,—с язвительной вежливостью приветствовал его король.—Ну как, недужный, поправился? Жаль, что ты не мог принять участие в моем коронном совете.

— Я все равно высказал бы то же мнение, что и остальные твои приближенные гранды. В качестве твоего эскривано я должен еще рьянее, чем они, ратовать за нейтралитет. Подумай хорошенько, государь. Если ты возьмешь сейчас крест, то за тобой последуют многие, которых ты не хотел бы иметь в своих ратниках. Очень многие твои вилланы вступят в войска и воспользуются преимуществами, которые полагаются крестоносцам. Они сбросят со своих плеч бремя тяжелого каждодневного труда и будут кормиться на твой счет, вместо того чтобы кормить тебя и твоих баронов. Это вредно отзовется на хозяйстве страны.

— На хозяйстве!—иронически усмехнулся Альфонсо.—Да пойми ты, расчетливый трус, что значит хозяйство, когда надо защищать честь господ бога и кастильского короля!

Дон Иегуда не сдавался, хотя и знал, как опасен в гнев дон Альфонсо.

— Почтительнейше прошу тебя, государь, не истолкуй моих слов превратно. Я не собираюсь отговаривать тебя от войны. Напротив, я советую тебе подготовить войну. Да, я прошу тебя уже сейчас начать взимать военные налоги, те добавочные налоги, о которых пишет папа. Я работаю над меморандумом, в котором доказываю, что ты вправе повысить эти налоги, хоть и не ведешь еще войны.

Он дал королю время обдумать его предложение, а затем продолжал:

— Пока ты не участвуешь в войне, в твою казну будут поступать и другие доходы. Торговля со странами мусульманского Востока прекратилась. Крупные судовладельцы и купцы христианского мира, венецианцы, пизанцы,

фландрские торговцы ничего больше не ввозят с Востока. Товары наиболее богатой половины земного шара теперь могут поступать только через твоих купцов, государь. Если кто, как и прежде, захочет получать от мусульман зерно, скот, породистых коней—ему придется обращаться к тебе, государь. Если кто, как и прежде, захочет получать искусные изделия, созданные усердными мусульманскими кузнецами,—замечательные доспехи, великолепную металлическую утварь, если христиане, как и прежде, захотят получать из стран ислама шелк, меха, слоновую кость, золотой песок, кораллы и жемчуг, разнообразные травы, краски и стекло, им придется обратиться к посредничеству твоих подданных. Подумай об этом, государь. Казна других монархов оскудеет за эту войну, твоя казна приумножится. А когда остальные обессилеют, тогда ударь ты, кастильский король, и нанеси последний решающий удар.

Еврей говорил убедительно. Слова его были заманчивы. Но они только сильнее раззадорили короля.

— Достань мне денег!—приказал он Иегуде.—На первое время двести тысяч! Я хочу ударить сейчас, сейчас, сейчас! Достань мне денег под любой залог!

Побледневший Иегуда ответил:

— Не могу, государь. И никто другой не может.

Гнев дона Альфонсо на себя самого и на злую судьбу, похищавшую у него славу, обратился на Иегуду.

— Ты виноват в моем позоре,—бушевал он.—Ты придумал это постыдное перемирие и другие еврейские хитрости. Ты изменник! Ты стараешься для Севильи и для твоих обрезанных друзей, ты боишься, что я на них нападу и верну себе утраченную славу. Ты изменник!

Еще заметнее побледневший Иегуда молчал.

— Ступай!—крикнул ему король.—Ступай с глаз долой!

Специальный налог, о котором Иегуда говорил королю, был так называемой саладиновой десятиной. Дело в том, что папа предписал подданным тех христианских стран, которые не принимают участия в великом крестовом походе против султана Саладина, вносить свою лепту хотя бы деньгами, а лепта эта должна была составлять одну десятую их доходов и движимого имущества.

Эскривано кастильского короля был рад папскому указу. Он и его юристы, его законоведы, решили, что саладинову десятину надо взимать и во владениях короля Альфонсо. Ибо хотя богу угодно, чтобы король, наш государь, пока оставался нейтрален, но нейтралитет этот временный, и поэтому король обязан готовиться к священ-

ной войне. Так в пространном меморандуме изложил дело Иегуда.

Дон Манрике передал королю меморандум. Альфонсо прочел.

— Хитро придумано,— сказал он тихо и мрачно,— хитер, собака, хитер, собака торгаш. Он, собака, если бы захотел, мог бы раздобыть мне денег. А почему он сам не пришел?— спросил король.

Дон Манрике ответил:

— Я полагаю, он не хочет снова подвергать себя твоему гневу.

— Подумаешь, какой чувствительный,— насмешливо заметил Альфонсо.

— Ты, верно, слишком резко с ним обошелся, государь,— возразил дон Манрике.

Король был достаточно умен, он понял, что еврей имел все основания обидеться, и рассердился сам на себя. Но весь христианский мир шел на священную войну, а его, Альфонсо, злой рок обрекал на бездействие. Так может же он возмущаться и срывать свой гнев даже на тех, кто не виноват! Такой умный человек, как еврей, должен бы это понять.

Он искал предлога опять повидать Иегуду. Уже давно лелеял он мысль отстроить крепость Аларкос, которую сам присоединил к королевству. Судя по всему, что говорит его эскривано Ибн Эзра, теперь на это есть деньги. Он послал за Иегудой.

Тот еще не позабыл обиды и почувствовал злобное удовлетворение, когда Альфонсо призвал его. Значит, король быстро смекнул, что без него не обойтись. Но Иегуда знал себе цену, он не хотел опять подвергаться оскорблениям. Он почтительнейше просил извинить его— ему нездоровится.

Король преодолел вспышку гнева и приказал через дона Манрике доставить ему деньги для Аларкоса, много денег, четыре тысячи золотых мараведи. Эскривано сейчас же без всяких возражений предоставил требуемую сумму и в верноподданническом писании поздравил короля с решением доказать постройкой крепости всему свету, что он готовится к войне. Король не знал, что и думать о своем еврее.

Дону Альфонсо очень хотелось поехать в Бургос и посоветоваться с королевой. Уже давно надо было побывать там. Донья Леонор понесла, вероятно, с той ночи, которую он проспал с ней после ее удачной поездки в Сарагосу. Но в Бургосе сейчас было много неподходящих гостей. Город лежал на пути у всех войск—на большой дороге, которая вела к Сант-Яго-де-Компостелла, к величайшей святыне в Европе. По этой дороге обычно-то

проходило достаточно пилигримов, а теперь их было еще больше, потому что все рыцари, отправляясь на Восток, спешили заручиться благословением святого. Все они ехали через Бургос, все они шли на поклон к донье Леонор, и когда дон Альфонсо представлял себе встречу с ними, у него щемило сердце: они идут сражаться, а он отсиживается дома!

Но предаваться тоске и скуке у себя в замке он не мог. Он придумывал всякие дела. Ездил то туда, то сюда: отправился в Калатраву, к орденским рыцарям, чтоб произвести смотр своему отборному войску; поехал в Аларкос проверить, как строятся укрепления. Рассуждал с друзьями о войне и строил честолюбивые планы.

А когда не мог придумать других дел, занимался охотой.

Однажды, возвращаясь в очень знойный день с охоты, он решил отдохнуть со своими друзьями Гарсераном де Лара и Эстебаном Ильяном в поместье Уэртадель-Рей.

Уэртадель-Рей, обширное тенистое имение на берегу извилистой реки Тахо, было обнесено обвалившейся каменной стеной. Одинокое высились ворота, встречавшие гостя обычным арабским приветом: «Алафия — мир входящему», — вырезанным старинными пестрыми письменами. За оградой — кусты, небольшая рощица, разбиты всякие грядки; но там, где прежде искусные садовники выращивали редкие цветы, теперь были посажены полезные растения, овощи: капуста, репа. Стоящий в саду загородный дворец, изящный, легкий павильон, был необитаем, а у реки рассыхались лодка и купальня.

Король с приближенными сидели под деревом напротив дворца. Здание было совсем чуждое, все пропитанное мусульманским духом. Тут, в прохладе, на берегу реки, откуда открывался чудесный вид на город, с незапамятных времен стоял дом. Римляне выстроили здесь виллу, готы — загородный замок, и было достоверно известно, что дворец, который сейчас находился в полном запустении, был возведен по приказу короля мавров Галафре для его дочери, инфанты Галианы, и по сие время еще его называли Паласио-де-Галиана.

В этот день даже тут было жарко, над рекой и садом стояла душная тишина; король и его друзья чуть роняли слова.

— Оказывается, Уэрта больше, чем я думал, — сказал дон Альфонсо.

И вдруг у него мелькнула новая мысль. Его отцам и ему самому приходилось больше разрушать, на строительство нового у них оставалось мало времени, но любовь к

созиданию они всосали с молоком матери. Его жена Леонор строила церкви, монастыри, больницы, он сам — церкви, замки, крепости. Почему бы ему не построить дворец для себя и своей семьи? Восстановить Галиану и сделать ее удобной для жилья, вероятно, не так уж трудно; а жить здесь в летнее время отлично; может быть, в жару и донья Леонор придет сюда.

— Как вы полагаете, господа? — спросил он. — Восстановим Галиану? — И весело прибавил: — Давайте осмотрим развалины!

Они пошли к дому. Навстречу им поспешил управитель Белардо, взволнованный и почтительный. Он обратил их внимание на огород и с готовностью рассказал, сколько пользы извлек из никому не нужного сада. В доме он указывал на разные повреждения и многословно объяснял, каким здесь все, верно, было великолепным, — мозаичные полы, богато украшенные стены и потолки. Но в половодье Тахо каждый раз разливается и вода проникает в дом. У него, у Белардо, сердце болит глядеть на разрушение дворца, но один человек бессилён что-либо сделать. Он не раз обращался к господам королевским советникам, говорил, что дом надо восстановить, а на реке выстроить плотину, но его не хотят слушать — денег, мол, на это нет.

— Болтун прав, — сказал по-латыни Эстебан дону Альфонсо. — Дворец действительно был необыкновенно красив. Старый обрезанный король постарался для дочери.

Шпory на сапогах грандов, тяжело ступавших по выщербленным мозаичным полам, громко звенели, голоса гулко отдавались в пустых покоях.

Дон Альфонсо молча осматривал дом. «Нет, нельзя ждать, пока Галиана совсем разрушится», — думал он.

— Денег и труда придется затратить немало, дон Альфонсо, — заметил дон Гарсеран. — Но я думаю, из Галианы можно сделать прекрасный дворец. Если бы ты видел, что сделал твой еврей из старого, уродливого кастильо де Кастро.

Дону Альфонсо вдруг вспомнилось, как удивил дочку еврея своей старомодной простотой его бургосский замок и как откровенно она ему это высказала прямо в лицо. А дон Эстебан подхватил слова дона Гарсерана и посоветовал:

— Если ты серьезно задумал восстановить Галиану, осмотри раньше дом твоего еврея.

«Я действительно слишком грубо обошелся с евреем, — подумал Альфонсо. — Дон Манрике тоже так полагает. Хорошо, я это исправлю и погляжу его дом».

— Тут вы, может быть, и правы, — буркнул он в ответ.

Как и предсказывал Иегуда, Кастилия расцвела за то время, что остальной христианский мир вел священную войну. Караваны и корабли доставляли товары с Востока в мусульманские страны Испании, оттуда они шли в Кастилию, а оттуда дальше, во все христианские земли.

Когда был объявлен крестовый поход, бароны ругали и поносили Иегуду: еврей-де помешал им принять участие в священной войне, еврея надо прогнать. Но скоро стало ясно, какую огромную пользу приносит стране нейтралитет; брюзжание замолкло, страх перед евреем и тайное уважение к нему возросли. Все большее число дворян заискивало перед ним. Уже один представитель рода де Гусман и один представитель рода де Лара, правда бедный родственник всемогущего дона Манрике, просили еврея эскривано взять их сыновей к себе в пажи.

Когда Иегуда мимоходом похвастался Мусе, как хорошо идут дела и Кастилии и его собственные, ученый, признававший заслуги друга, поглядел на него с насмешкой, сожалением и любопытством. «Он должен хлопотать,—подумал он.—Он должен одновременно вести тысячу дел, ему не по себе, если он не расшевелит людей, не всколыхнет всех, не задаст новой работы писцам в королевских канцеляриях, не пошлет новых кораблей во все семь морей, новых караванов в новые земли. Он хочет себя убедить, что делает это ради дела мира и ради своего народа, и так оно и есть, но прежде всего он делает это потому, что любит деятельность и власть».

— Что изменится, если у тебя будет еще больше власти?—сказал он.—Что изменится, если у тебя будет двести пятьдесят тысяч, а не двести тысяч золотых мараведи? Ведь все равно ты даже не знаешь,—может быть, пока ты сидишь здесь и пьешь это пряное вино, в четырех неделях пути отсюда самум разметал по пустыне твои караваны или море поглотило твои корабли.

— Я не боюсь самума и моря,—ответил Иегуда.—Я боюсь другого.—И он не стал таиться перед другом, он открыл ему свои сокровенные опасения.—Я боюсь,—сказал он,—необузданных вспышек и прихотей дона Альфонсо, этого рыцаря и короля. Он опять незаслуженно оскорбил меня. И теперь, когда он пошлет за мной, я скажусь больным, и он не увидит лица моего. Правда, и это я отлично понимаю, я веду опасную игру, не желая идти на уступки.

Муса подошел к своему налою и принялся чертить круги и арабески.

— Ты, Иегуда, не идешь на уступки ради дела мира или из гордыни?—спросил он через плечо.

— Да, я человек гордый,—ответил Иегуда.—Но мне сдается, что на этот раз моя гордыня—добродетель и

хороший расчет. Необузданность и рассудок поразительно сочетаются в доне Альфонсо, и никто не может предвидеть, что он в конце концов сделает.

Иегуда не шел к королю, а тот ограничивался тем, что посылал ему короткие властные распоряжения. Беспокойство Иегуды росло. Он был готов к тому, что неистовый дон Альфонсо не сегодня-завтра выгонит его из кастильо и из королевства, а может быть, даже прикажет схватить и бросить в подземелье своего замка. В другие минуты он надеялся, что Альфонсо попытается помириться с ним и перед всем светом выкажет ему благоволение. Ждать было горько. Как-то его сын Аласар с искренним огорчением спросил:

— Дон Альфонсо ни разу не справлялся обо мне? Почему не идет он к тебе в гости?

И с болью в сердце Иегуда был вынужден ответить:

— Тут, в Кастилии, это не принято, мой сын.

Какая гора свалилась у него с плеч, когда посол из королевского замка возвестил, что дон Альфонсо придет к нему в гости!

Король пришел с Гарсераном, Эстебаном и небольшой свитой. Он старался скрыть легкое смущение под снисходительно-приветливой напускной веселостью.

Дом показался ему чуждым, почти враждебным, таким же, как и его хозяин. При этом он отлично заметил, что на свой лад этот дом — образец совершенства. Благодаря какому-то таинственному чувству меры при большом разнообразии достигалось впечатление полной гармонии. На всем лежала печать богатства, не был позабыт ни один уголок, не была упущена ни одна мелочь. Слуг не было видно — и, однако, они являлись по первому зову. Шум заглушался коврами, тишина в доме казалась еще тише от журчания воды. И такое чудо стоит среди его шумного Толедо! Такое чудо свершилось с его кастильо де Кастро! Альфонсо чувствовал себя здесь чужим, непрошеным гостем.

Он посмотрел на книги и свитки, арабские, еврейские, латинские.

— Ты успеваешь читать все это? — спросил он.

— Многое я читаю, — ответил Иегуда.

В галерее для гостей он представил королю Мусу Ибн Дауда как самого ученого врача среди верующих всех трех религий. Муса поклонился дону Альфонсо и без всякого подобострастия посмотрел ему прямо в лицо. Дон Альфонсо захотел, чтобы ему перевели какое-нибудь мудрое изречение из тех, что золотисто-пестрой гирляндой вились вдоль стен. И Муса перевел то, что уже переводил дону Родриго: «...участь сынов человеческих и участь животных — одна... Кто знает: душа сынов челове-

ческих восходит ли наверх и душа животных сходит ли вниз, в землю?»

Дон Альфонсо задумался.

— Это еретическая мудрость,— строго сказал он.

— Она взята из Библии,— любезно вразумил его Му-са.— Это слова, взятые из книги проповедника Соломона, царя Соломона.

— Я нахожу, что это совсем не царская мудрость,— прервал его дон Альфонсо.— Король не сходит вниз в землю, как животное.— Он оборвал разговор, затем сказал Иегуде:— Покажи мне оружейную залу.

— Государь, если позволишь, оружейную залу тебе покажет мой сын Аласар,— попросил Иегуда,— и этот день он сочтет лучшим днем своей жизни.

Дон Альфонсо с удовольствием вспомнил славного подростка.

— У тебя смышленный, рыцарский сын, дон Иегуда,— сказал он.— Если тебе угодно, я хотел бы повидать и твою дочь,— прибавил он.

Он приветливо, со знанием дела поговорил с мальчиком о доспехах, конях и мулах.

Потом все пошли в сад, и, как нарочно, там оказалась и донья Ракель.

Это была та же Ракель, что и тогда, в Бургосе, та же, что так неучтиво ответила на его вопрос, и все же не та. На ней было платье чуть иноземного покроя, и сама она была сейчас хозяйкой дома, принимающей чужого знатного гостя. Если в Бургосе она нарушала общий тон, была там совсем не к месту, то здесь все—искусно разбитый сад, водометы, необычные растения—служило ей подходящей рамкой, а он, Альфонсо, казался чужим, был здесь не к месту.

Он поклонился по всем правилам куртуазного обхождения, снял перчатку, взял ее руку и поцеловал.

— Я рад, что опять вижу тебя, благородная дама. Тогда, в Бургосе, я не мог довести разговор с тобой до конца,— громко сказал он, так что все слышали.

Тут, в саду, собралось более обширное общество: к королю и его приближенным присоединились Аласар и пажы Иегуды. Во время медленной прогулки по саду Альфонсо и Ракель немного отстали от других.

— Теперь, когда я увидел этот дом,— заговорил он, и на этот раз по-кастильски,— я понимаю, что тебе, благородная дама, не понравился мой бургосский кастильо.

Она покраснела, ее смущало, что она обидела его, ей льстило, что ему запомнились ее слова, она молчала, едва уловимая неопределенная улыбка чуть тронула ее изогнутые губы.

— Ты понимаешь, когда я говорю на вульгарной латыни?— продолжал он.

Она покраснела сильнее: он запомнил каждое ее слово.

— За это время я гораздо лучше выучила кастильский язык, государь,— ответила она.

Он сказал:

— Я бы охотно поговорил с тобой по-арабски, госпожа, но в моих устах этот язык будет звучать грубо и нескладно и оскорбит твой слух.

— Не утруждай себя, говори по-кастильски, государь, раз это твой родной язык,— откровенно сказала донья Ракель.

Ее слова рассердили дона Альфонсо. Ей следовало бы сказать: «Мне этот язык приятен»,—или что-нибудь в таком же роде, как требовали правила куртуазии, а она вместо того непочтительно выпаливает все, что взбредет в голову, и порочит его родной кастильский язык.

— Моя Кастилия, верно, все еще для вас чужая страна,— сказал он грубо,— и только здесь ты чувствуешь себя дома.

— Нет,— ответила Ракель.— Кастильские кавалеры внимательны к нам и стараются сделать так, чтоб Кастилия стала для нас родной.

Теперь дону Альфонсо надо было бы сказать несколько обычных любезных слов, что-нибудь вроде: «Нетрудно быть внимательным к такой даме, как ты». Но ему вдруг опротивела вымученная, надуманная модная болтовня. Да и донья Ракель, должно быть, галантая болтовня кажется смешной. Вообще, как надо с ней разговаривать? Она не принадлежит к тем дамам, которые любят выпренно любезные, ничего не говорящие комплименты, и еще меньше к тем женщинам, которым нравится вольное солдатское обращение. Он привык, что у каждого есть свое определенное место и что он, Альфонсо, твердо знает, с кем имеет дело. Но куда отнести донью Ракель и как себя с ней держать, он не знал. Все, что было связано с его евреем, сейчас же теряло определенность и становилось неясным. Зачем ему эта донья Ракель? Чего он от нее хочет? Может быть, он хочет—и мысленно он произнес очень грубое слово на своей вульгарной латыни—переспать с ней? Он и сам не знал.

На исповеди он мог с чистой совестью говорить, что, кроме своей доньи Леонор, не любил ни одной женщины. К рыцарской любви, к любовному служению у него вкуса не было. Незамужние дочери дворян вне дома появлялись редко и только в большом обществе, и поэтому куртуазный кодекс предписывал влюбляться в замужних дам и посвящать им высокопарные, замороженные любовные стихи. Такое ухаживание ни к чему не вело. Вот так и

получалось, что он спал с обозными девками да взятыми в плен мусульманскими женщинами; с ними можно было и говорить и вести себя как бог на душу положит. Раз у него что-то было с женой одного наваррского рыцаря, но в этой любовной интриге было мало радости, и он почувствовал облегчение, когда дама вернулась на родину. Короткая связь с доньей Бланкой, фрейлиной королевы, была мучительна, и в конце концов донья Бланка не то по доброй воле, не то по принуждению приняла постриг. Нет, счастлив он был только со своей Леонор.

Хотя дон Альфонсо и не облек эти свои думы в определенные слова, все же он ясно их почувствовал, и его рассердило, что он вел такой разговор с дочерью еврея. Ведь она ему не нравится, нет в ней ни капли скромности, не похожа она на благородную даму, она слишком бойка и позволяет себе судить обо всем, хотя, в сущности, она еще девчонка. Ничем она не похожа на холодных, величественных златокудых христианских дам, нет, рыцарь не сложит в ее честь стихов, да она и не поняла бы их.

Он не хотел продолжать разговор с ней, не хотел дольше оставаться в этом доме. Тихий сад с его монотонным плеском водных струй, с душным сладким ароматом цветущих апельсиновых деревьев раздражал его. Хватит разыгрывать из себя дурака и любезничать с этой еврейкой, ну ее совсем!

Но он услышал свой собственный голос:

— За городскими воротами у меня есть имение, его называют Галиана. Замок очень старый, его построил для себя король-мусульманин, и о нем ходит много рассказов.

Донья Ракель встрепенулась. Она раньше что-то слышала про Галиану. Уж не там ли стояли водяные часы рабби Ханана?

— Я хочу восстановить дворец,— продолжал дон Альфонсо,— и так, чтобы новый не уступал старому. Твои советы, благородная дама, были бы мне очень желательны.

Донья Ракель посмотрела на него с удивлением, почти гневно. Никогда мусульманский рыцарь не осмелился бы так неловко и грубо пригласить к себе даму. Но тут же она решила, что христианские рыцари совсем другое дело: правила куртуазии обязывают их произносить выпренные фразы, за которыми ничего не кроется. Она посмотрела исподтишка на лицо дона Альфонсо и испугалась. Лицо было напряженное, жадное. Нет, его слова продиктованы не правилами куртуазии.

Она была испугана, оскорблена и замкнулась в себе. Стала только учтивой хозяйкой дома. Вежливо ответила, на этот раз по-арабски:

— Отец будет, конечно, очень рад помочь тебе своими советами, государь.

Лоб дон Альфонсо сразу прорезала глубокая складка. Что он наделал! Он заслужил такой отпор, он должен был его ждать. С самого начала ему следовало быть осторожным: девушка была дочерью проклятого богом народа. Этот заколдованный сад, весь этот заколдованный, окаймленный дом внушил ему такие речи. Он встряхнулся, пошел быстрее, через несколько шагов они нагнали остальных.

Подросток Аласар сразу обратился к нему. Он сейчас рассказывал про шлем с забралом, все части которого подвижны, так что можно по желанию поднимать и опускать железную пластину, защищающую глаза, нос, рот, а пажы короля не верят.

— Я же сам видел такие доспехи,—горячился он.— Их кует кордовский оружейник Абдулла, и отец обещал подарить мне такое вооружение, как только я буду посвящен в рыцари. У тебя же ведь есть такие доспехи, государь?

Дон Альфонсо ответил, что слышал про них.

— Но у меня их нет,—сухо заключил он.

— Так отец тебе обязательно достанет!—пылко воскликнул Аласар.—Тебе они очень понравятся,—уверял он.—Повели отцу выписать их для тебя.

Лицо Альфонсо проросветлело. Не виноват же мальчик, что у него такая дерзкая и обидчивая сестра.

— Видишь, дон Иегуда,—сказал он,—мы с твоим сыном понимаем друг друга. Не отдашь ли ты мне его в пажы?

Донья Ракель казалась взволнованной. И остальные тоже с трудом скрывали свое удивление. Аласар, почти заикаясь от радости, пролепетал:

— Это правда, дон Альфонсо? Ты милостиво берешь меня к себе в услужение?

А дон Иегуда, желание которого так неожиданно осуществилось, низко склонился перед королем и сказал:

— Это большая милость, твое величество!

— Король, наш государь, кажется, милостиво беседовал с тобой, дочь моя?—спросил в тот же вечер Иегуда.

Донья Ракель откровенно ответила:

— По-моему, король был *слишком* милостив. Я боюсь его.—И она пояснила.—Он хочет восстановить свой загородный дом Галиану и предложил мне помочь ему в этом деле советами. Ведь правда, это необычное предложение, отец?

— Необычное,—согласился Иегуда.

И действительно, несколько дней спустя Иегуда и

донья Ракель были приглашены участвовать в поездке короля в Галиану. На этот раз дон Альфонсо пригласил большое общество, и во время прогулки по саду он почти не говорил с доньей Ракель. Зато он предлагал много вопросов грубоватому, болтливому управителю Белардо, веселившему гостей своими ответами.

После осмотра поместья был сервирован обед на берегу Тахо. К концу обеда король, сидевший на пне, произнес выспреннюю речь, сам потешаясь над ее торжественностью.

— Около ста лет царствуем мы здесь, в Толедо, мы сделали его нашей столицей, отстроили, укрепили, оградил от нападений неверных. Но, радея о чести, вере и ратных подвигах, мы не имели досуга заняться другими делами, возможно и суетными, но королю подобающими,—мы пренебрегали красотой и великолепием. Наши друзья с юга, хотя бы дон эскривано и его дочь, глядящие на наши города и дома со стороны, нашли наш замок в Бургосе голым и неудобным. И вот в минуту досуга нам заблагорассудилось отстроить наш запущенный Паласио-де-Галиана и сделать его еще красивее, чем он был прежде, дабы весь свет видел, что мы уже не нищие, что мы тоже можем, ежели есть охота, строить роскошные дворцы.

Это была длинная и гордая речь, такие речи дон Альфонсо произносил разве только на торжественных заседаниях, и гости, сидевшие за не убранными еще столами, были поражены.

— Как ты полагаешь, мой эскривано?—уже не торжественным тоном обратился король к Иегуде.—Ты ведь сведущ в таких делах.

— Твой загородный дом Галиана,—осмотрительно начал дон Иегуда,—расположен в прекрасном месте: тут и прохлада реки, и великолепный вид на твою славную столицу. Потратить труды на восстановление такого замка, разумеется, стоит.

— Значит, мы восстанавливаем Галиану,—не задумываясь решил король.

— Тут есть одна трудность, государь,—почтительно заметил Иегуда.—Ты богат добрыми воинами и умелыми ремесленниками. Но твои мастера и ремесленники еще недостаточно искусны и не могут отстроить этот замок так, чтобы он соответствовал твоему величию и желанию.

Король помрачнел.

— А разве ты не отстроил заново роскошный большой дом в течение очень короткого времени?

— Я выписал мусульманских зодчих и мастеров, государь,—негромко, деловитым тоном сказал дон Иегуда.

Все молчали. Христианский мир вел священную войну

против неверных. Подобаает ли христианскому королю призывать мусульманских мастеров? И согласятся ли мусульмане строить замок христианскому королю?

Дон Альфонсо посмотрел на лица окружающих. На них было написано ожидание, а не насмешка. И на лице еврейки не было насмешки. А что, если в душе она скрывает дерзкую мысль, что он, Альфонсо, не умеет строить ничего, кроме старых угрюмых крепостей? Неужели король Толедо и Кастилии не сумеет осуществить такой ничтожный замысел, как восстановление загородного дома?

— Ну что ж, в таком случае выпиши мне мусульманских строителей,— повелел он все так же решительно.— Я хочу восстановить Галиану,— нетерпеливо закончил он.

— Раз ты так приказываешь, государь,— ответил дон Иегуда,— я отдам распоряжение моему Ибн Омару выписать тебе нужных людей. Он человек расторопный.

— Отлично,— сказал король.— Последи, чтобы все шло без задержки. Едемте домой, господа!— сказал он.

К донье Ракель он не обращался ни за обедом, ни во время прогулки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дону Альфонсо все сильнее не хватало доньи Леонор, присутствие которой всегда действовало на него благотворно. Кроме того, нельзя было дольше оставлять ее одну. Она тяжело переносила беременность, роды ожидалась через шесть-семь недель. Он послал к ней гонца, что скоро сам прибудет в Бургос.

Донья Леонор не была на него в обиде за длительное отсутствие. Вместе с ним она мучилась его вынужденным бездействием. Она понимала, что он не хочет встречаться у нее при дворе с рыцарями, которые отправлялись в Святую землю, и была ему очень благодарна, что он все же приехал.

Донья Леонор проявила большую чуткость. Она признала, что Кастилия не может воевать, хоть это и было ей очень больно. Ведь она сама убедилась, как глубоко засела обида в сердце дона Педро. Она знала: даже если против ожидания и удастся заключить мало-мальски прочный союз с Арагоном, чувство горькой обиды постоянно будет толкать молодого короля на пагубные споры из-за верховного командования, заранее можно предвидеть, что поражение неизбежно.

Умными словами убеждала она короля, что для победы над собой ему потребовалось не меньше мужества, чем для самого отважного военного подвига. Все отлично

понимают, что только злосчастное стечение обстоятельств вынуждает его к бездействию.

— Ты по-прежнему первый рыцарь и герой Испании, мой Альфонсо,— сказала она,— и весь христианский мир это знает.

От таких ее слов у него становилось тепло на душе. Она его дама и королева. Как мог он так долго выдерживать в Толедо без ее ласковых слов, без ее совета и забот?

Альфонсо старался тоже получше понять ее. До сих пор он считал прихотью избалованной дамы то, что она предпочитала Бургос его столице, теперь он понял, что это чувство коренится глубоко в ее натуре. Она выросла при дворах своего отца Генриха Английского и своей матери Алиеноры Аквитанской, где процветали галантность и учтивые нравы, и к его далекому Толедо ей, конечно, было трудно привыкнуть. В Бургосе, лежащем на дороге пилигримов, отправлявшихся в Сант-Яго-де-Компостелла, было легко поддерживать связь с утонченными христианскими дворами; у доньи Леонор постоянно гостили рыцари и придворные поэты ее отца и сводной сестры принцессы Марии де Труа, воплощавшей идеал дамы христианского мира.

Дон Альфонсо смотрел теперь и на Бургос иными, более понимающими глазами. Он видел суровую, гордую красоту древнего города, который не поддавался мавританскому духу и стоял теперь величественный, высокомерный, недоступный, христианский. Какой он дурак, что хоть на минуту разлюбил его из-за болтовни глупой девчонки.

Его злило, что он повелел отстроить Галиану с прежней ее мусульманской роскошью и ничего не сказал об этом донье Леонор. Вначале он думал, что сможет ее уговорить провести летом месяц-другой в Толедо, когда будет восстановлен красивый, прохладный замок. Теперь он знал, Галиана ей не понравится. Она любит добротность, крепость, суровость, а не мягкую пышность, негу, нечто зыбкое и расплывчатое.

Эти последние недели он старался во всем угодить донье Леонор. Из-за своего положения она не могла принимать участие в кавалькадах и охоте, он тоже отказался от этого удовольствия и почти все время проводил в замке. И детям своим он уделял теперь больше внимания, чем обычно, особенно инфанте Беренгеле. Это была сильно вытянувшаяся некрасивая девочка со смелым выражением лица. Она унаследовала от матери интерес к миру и людям, а также ее честолюбие, она много читала и училась. Ее явно радовало, что отец теперь больше занимается ею, однако она была молчалива

и держалась замкнуто. Альфонсо не сдружился с дочерью.

Донья Леонор примирилась с тем, что не родит наследника. Не так уж это плохо, говорила она, улыбаясь, если она в четвертый раз разрешится от бремени дочерью. Тогда будущий супруг Беренгелы может с уверенностью рассчитывать на корону Кастилии и, значит, будет этому королевству верным союзником. Она не потеряла надежды склонить дону Педро на искренний союз и намеревалась сейчас же после родов поехать в Сарагосу и снова заняться сватовством. И в нынешнем, третьем крестовом походе великое продвижение на Восток идет очень медленно, христианское войско дошло только до Сицилии, значит, если удастся уладить отношения с Арагоном, можно надеяться, что Альфонсо еще успеет принять участие в священной войне.

А пока донья Леонор придумывала всякие дела, чтобы время ожидания не тянулось для короля так томительно долго.

Вот хотя бы рыцарский орден Калатравы. Это отборное кастильское войско подчинялось королю только во время войны; в мирное время великий магистр пользовался полной независимостью. Священная война давала дону Альфонсо хорошее основание настаивать на изменении такого порядка. Донья Леонор предложила королю поехать в Калатраву, пожертвовать Ордену деньги на постройку стен и на вооружение рыцарей и договориться о пересмотре правил и дисциплины Ордена с его великим магистром доном Нуньо Пересом, человеком монашеского образа жизни, однако весьма сведущим в военном деле.

Затем были пленники, во время битвы за святой город попавшие в неволю к султану Саладину. Папа призывал и увещевал весь христианский мир выкупить их. Но священная война поглощала огромные суммы, христианские властители медлили, обещали, а время уходило. Султан назначил выкуп в десять золотых крон за мужчину, в пять за женщину, в одну крону за ребенка—выкуп был высокий, но не чрезмерный. Донья Леонор посоветовала мужу выкупить как можно больше пленников. Таким образом он докажет всему свету, что не отстает от других в святом рвении.

Такие планы пришлись по душе дону Альфонсо. Но для их осуществления нужны были деньги.

Он призвал в Бургос Иегуду.

А дон Иегуда меж тем сидел в Толедо, в своем прекрасном кастильо Ибн Эзра. И в то время, как весь свет воевал, его Сефард наслаждался мирной жизнью, и торговля страны и его собственные дела процветали.

Но новая тяжелая дума запала ему в сердце, дума о кастильских, и в частности о толедских, евреях.

Согласно весьма недвусмысленному папскому эдикту, все те, кто не принимал участия в походе, должны были вносить саладинову десятину,—следовательно, и евреи. Архиепископ дон Мартин воспользовался этим указом и потребовал, чтобы альхама выплатила ему эту подать.

Дон Эфраим принес Иегуде послание архиепископа. Оно было написано резко, в угрожающем тоне. Иегуда прочел; он уже давно ждал этого требования со стороны дона Мартина.

— Альхама обнищает, если, кроме других налогов, должна будет выплачивать еще и саладинову десятину,—тоненьким голоском сказал дон Эфраим.

— Если вы хотите увильнуть от этой повинности, на мою помощь не рассчитывайте,—без обиняков заявил Иегуда.

На лице старейшины появилось злое, возмущенное выражение. «Иегуде наплевать на то, сколько мы платим,—с горечью подумал он.—Он загребает проценты, ростовщик! А мы хоть погибай».

Дон Иегуда угадал мысли гостя.

— Не скули из-за денег, господин мой и учитель Эфраим,—одернул он его.—Вы достаточно заработали на нейтралитете Кастилии. Я уже давно должен был бы потребовать с вас саладинову десятину. Здесь дело не в деньгах. Здесь дело гораздо более серьезное.

Чудовищная сумма, которую должна была выплатить альхама, вытеснила из головы старейшины Эфраима все другие заботы; теперь, когда Иегуда так резко вернул его к действительности, он уже не мог закрывать глаза на гораздо более лихую напасть. Саладинову десятину платили церкви, не королю. Уже когда шла речь о том, чтобы повысить налоги, взимаемые с христиан, архиепископ предъявил свои права на эти взносы, и казна вынуждена была пойти на уступки. Когда дело коснется евреев, дон Мартин будет еще решительней настаивать на этой привилегии; а если он добьется своего, независимости альхамы конец.

Дон Иегуда в откровенных и резких словах объяснил это дону Эфраиму.

— Ты не хуже меня знаешь, что поставлено на карту,—сказал он.—Нельзя, чтобы между нами и королем было втиснуто еще одно звено. Мы должны остаться независимыми, как написано в древних книгах. Мы должны сохранить самоуправление и свою юрисдикцию, как и гранды. Король должен получить право взимать саладинову десятину, я должен получить это право,—не дон Мартин. К этому я приложу все старания, но только к

этому. И если мне это удастся и если вы откупитесь только деньгами, славьте господа бога!

Дон Эфраим, на которого так напал Иегуда, в душе чувствовал, что тот прав. Мало того, его поразило, как быстро и верно Иегуда понял, в чем тут дело. Но он не хотел показать свое невольное восхищение. Слишком сильно печалился он о деньгах. Ему было не по себе, он зяб и, почесывая ногтями одной руки ладонь другой, продолжал дуться.

— Твой родич дон Хосе добился, чтобы сарагосские евреи платили только половину десятины.

— Возможно, что мой родич оборотистей меня,—сухо возразил Иегуда.—Во всяком случае, у него нет такого противника, как архиепископ дон Мартин.—Он разгорячился.—Неужели ты все еще слеп? Я буду рад, если на этот раз архиепископ не наденет на нас ярма. За это я охотно заплачу полную десятину королю, и десятина эта будет тучная, дон Эфраим, уж будь спокоен. Самоуправление альхамы стоит того.

Он сказал это с неожиданным волнением, он даже путался и заикался.

— Я знаю, что ты наш друг,—поспешил ответить дон Эфраим.—Но ты суровый друг.

На почтительный отказ дон Эфраима архиепископ не разразился вторым посланием. Вместо того он отправился в Бургос; несомненно, он хотел вырвать у короля полномочия для действий против евреев.

Иегуда боялся, что он добьется своего. Альфонсо и Леонор благочестивы, нейтралитет Кастилии камнем лежит у них на совести. Дон Мартин наверняка сошлется на не допускающий толкований папский эдикт и будет увещевать их не умножать своих грехов. Иегуда думал сам поехать в Бургос. Но мысль старого Мусы, что как раз «хлопотливостью» можно все погубить, удержала его.

Когда король призвал его в Бургос, он воспринял это как знамение неба.

Архиепископ действительно наседа на короля. Он ссылался на целый ряд указов священного престола и на писания высших церковных авторитетов. Разве не ответили евреи Пилату: «Кровь его на нас и на детях наших»,—и разве тем самым они не осудили себя? Господь бог тогда же осудил их на вечное рабство, и обязанность христианских монархов—не давать проклятому богом народу подымать выю.

— А ты, дон Альфонсо,—взывал он к королю,—в течение всего своего царствования мирволил и потакал евреям, и в наше тяжелое время, когда гроб господень снова в руках обрезанного антихриста и папский эдикт обязывает всех безоговорочно, а значит, и иудеев, вно-

сать саладинову десятину, ты колеблешься и не выполняешь его и потворствуешь неверным, что очень обидно твоим истинно верующим подданным.

Король не мог устоять против увещаний архиепископа.

— Хорошо, дон Мартин. Мои евреи тоже внесут саладинову десятину.

Дон Мартин возликовал:

— Сейчас же назначу налог!

Этого Альфонсо не хотел. Папа мог требовать, чтобы он, король, взыскал десятину и употребил ее на военные нужды; но взыскивать налоги и решать, на что именно их пустить,—его королевское право. Спор это был давний, он снова ожил еще при первом назначении саладиновой десятины, и хотя Альфонсо и очень ценил архиепископа, верного друга и истого рыцаря, все же он не желал уступать.

— Прости, дон Мартин,—сказал он,—это не твоего ведения дело.—И когда архиепископ возмутился, он успокоил его:—Ты не жаждешь денег, и я не жажду. Мы христианские рыцари. Мы захватываем добычу у недруга, но мы не спорим с другом из-за денежных дел. Пусть и на этот раз скажут свое слово юристы и репозитарии.

— Так это означает, что ты предоставляешь твоему еврею решать, как применить эдикт святого отца?—подозрительно и задорно спросил дон Мартин.

— Очень удачно, что дон Иегуда сейчас как раз едет сюда,—ответил Альфонсо.—Я, конечно, посоветуюсь и с ним.

Тут уж архиепископ не выдержал.

— Кого ты хочешь спрашивать—дважды неверного? Посланца дьявола? Ты думаешь, он даст тебе добрый совет во вред своему другу эмиру Севильскому? Кто поручится, что он уже сейчас не строит вместе с ним козней. Еще фараон сказал: «Если разразится война, евреи примкнут к нашим врагам».

Дон Альфонсо старался сохранять спокойствие.

— Этот мой эскривано сослужил мне большую службу,—сказал он.—Большую, чем все те, что были до него. В хозяйстве моего королевства теперь увеличился порядок и уменьшился гнет. Ты несправедлив к нему, дон Мартин.

Теплые слова, в которых король защищал еврея, испугали архиепископа.

— Вот и видно, что святой отец был прав, когда предостерегал христианских монархов от евреев-советчиков,—сказал он, не столько возмущенный, сколько озабоченный. Он процитировал послание папы:—«Берегитесь, князи христианские. Не приближайте мило-

ство к себе иудеев, они отблагодарят вас по пословице: *mus in pera, serpens in gremio et ignis in sinu* — как мышь в мешке, как змея за пазухой, как огниво в рукаве». — И огорченно закончил: — Ты слишком приблизил к себе этого человека, дон Альфонсо, он вполз к тебе в сердце.

Короля тронула печаль друга.

— Не думай, — сказал он, — я не хочу удержать то, что по справедливости причитается церкви. Взвешу твои и его доводы, и только если его доводы окажутся очень вескими, очень убедительными, очень бескорыстными, я послушаюсь его.

Архиепископ был мрачен и озабочен.

— Тебе, верно, мало того, что господь обрек тебя за грехи на бездействие в то время, как весь христианский мир сражается? Не прибавляй к старым грехам новых! Заклинаю тебя, не потерпи, чтобы в твоём королевстве неверные насмехались над эдиктом святого отца!

Дон Альфонсо взял его за руку.

— Благодарю тебя за предупреждение, — сказал он. — Я буду его помнить, и Иегуде не удастся заговорить мне зубы.

Все время, пока он ждал Иегуду, слова дона Мартина не выходили у него из головы. Архиепископ был прав: он слишком разбаловал своего еврея. Он обращается с ним не как с человеком, с которым поневоле приходится вести дела, а как с другом. Он пошел к нему в гости, взял к себе в пажи его сына, любезничал с его дочерью и, раззадоренный насмешками и высокомерием этой девчонки, решил восстановить мавританский загородный дворец. Сколько ни отогревай змею на груди, она все равно ужалит. А может быть, уже ужалила.

Больше он не поддастся на обольщения еврея. Иегуда ответит за то, что не востребовал со своих единоверцев саладиновой десятины. И если он ничего не приведет в свое оправдание, Альфонсо передаст евреев дону Мартину. Пусть не задирают нос эти неверные!

Но может ли он передать церкви свое право владения евреями, свое *patrimonio real*? Его предки не позволяли никому на него посягнуть.

Он просмотрел доклады о финансовом положении государства. Оно было благоприятно, более чем благоприятно. Его эскривано служит ему верой и правдой, этого отрицать нельзя. Но он, Альфонсо, сохранит в сердце своем предостережения архиепископа; он не позволит себя одурачить.

Прежде всего он потребует от еврея огромную сумму для Калатравы и на выкуп пленников. Из ответа еврея будет ясно, чьи интересы для него важнее — казны и государства или его собственные и еврейства.

Он встретил Иегуду, полный нетерпеливого ожидания. Иегуда тоже был в напряженном волнении. От разговора с королем зависело бесконечно многое; надо было действовать очень осторожно.

Прежде всего он сделал подробный доклад о состоянии хозяйства. Рассказал о значительных успехах, не позабыл и о более мелких удачах, которые, по его мнению, могли порадовать короля. Рассказал о большом конском заводе; шестьдесят породистых коней из мусульманской Андалусии и из Африки находятся на пути в Кастилию, приглашены три опытных коневода. Затем о кастильской монете; чеканят все большее количество золотых мараведи, и хотя изображение дон Альфонсо, как и всякое изображение человеческого лица, ненавистно приверженцам пророка, все же золотые монеты с лицом дон Альфонсо и с его гербом, свидетельствующим о его могуществе, распространяются и в мусульманских странах. А королеву, надо думать, порадует то, что в непродолжительном времени она сможет носить ткани, изготовленные из кастильского шелка.

Король слушал внимательно и казался довольным. Но он помнил о своем намерении не давать еврею зазнаваться.

— Это звучит очень утешительно,— заметил он, но тут же прибавил с недоброй мягкостью: — Теперь наконец и деньги есть, чтобы ударить по нашим здешним мусульманам.

Дон Иегуда был разочарован — он ожидал большей благодарности, однако он спокойно ответил:

— Мы приближаемся к этой цели скорее, чем я думал. И чем дольше ты сохранишь мир, государь, тем больше будут твои возможности собрать многочисленное и сильное войско, которое обеспечит тебе победу.

Дон Альфонсо все с той же злобно-лукавой мягкостью спросил:

— Ежели ты полагаешь, что все еще не можешь дать согласие на священную войну, то, по крайней мере, дозвожь мне получить деньги, чтобы христианский мир поверил в мою добрую волю!

— Соблаговоли, государь, ясней изложить свою мысль, ибо слуга твой непонятлив,— ответил дон Иегуда.

— Мы с доньей Леонор решили выкупить пленников Саладина,— объяснил ему Альфонсо,— выкупить очень много пленников.— И он назвал еще более высокую цифру, чем собирался: — Тысячу мужчин, тысячу женщин, тысячу детей.

Иегуда, казалось, смутился, и Альфонсо уже подумал: «Вот теперь я его поймал; теперь он покажет свое истинное лицо». Но Иегуда тут же ответил:

— Шестнадцать тысяч золотых мараведи очень большие деньги. Ни один другой государь на нашем полуострове не мог бы себе позволить выбросить на благочестивое дело без всякой для себя корысти такую огромную сумму. Ты можешь это себе позволить, государь.

Альфонсо не знал, радоваться ли ему или сердиться.

— Кроме того,—сказал он,—я хотел бы сделать дар Калатравскому ордену, и дар щедрый.

Теперь Иегуда действительно был озадачен. Но он тотчас же подумал: король хочет купить у неба прощение за то, что не участвует в священной войне, и лучше, если он сделает это таким путем, не уступив архиепископу саладинову десятину.

— О какой сумме ты думал, государь?—спросил он.

— Я хотел бы услышать твое мнение,—сказал Альфонсо.

Иегуда предложил:

— Что, если пожертвовать Калатраве ту же сумму, что и Аларкосу: четыре тысячи золотых мараведи?

— Ты смеешься, мой милый,—ласково сказал король.— Не могу же я отделаться от моих лучших рыцарей нищенской подачкой! Определи сумму пожертвования в восемь тысяч мараведи.

На этот раз дон Иегуда невольно поморщился. Но он не стал спорить и, склонившись перед королем, сказал:

— Государь, ты сейчас отдал на богоугодные дела двадцать четыре тысячи золотых мараведи. Будь уверен, бог вознаградит тебя.—И, уже справившись со своим волнением, он весело прибавил:—Я и так ждал, что господь будет к тебе милостив, и уже заранее все предусмотрел.

Король поглядел на него с удивлением.

— Рассчитывая, что ты заслужил перед господом и он благословит тебя наследником престола, я приказал моим репозиториям пересмотреть список подарков на крестины,—пояснил Иегуда.

Дело в том, что в старых книгах было записано право короля по случаю рождения первого сына требовать от каждого вассала добавочных взносов на предмет достойного воспитания престолонаследника, и суммы при этом определялись немалые.

Дон Альфонсо, так же как и донья Леонор, отказался от надежды на наследника престола, и то, что эскривано верил в его счастье, обрадовало короля. Оживившись, он сказал со смущенной улыбкой:

— Ты и в самом деле предусмотрительный человек.

И так как еврей без колебания предоставил в его распоряжение требуемую сумму, дон Альфонсо уже ре-

шил, как и собирался, поручить ему, а не дону Мартину взыскание саладиновой десятины.

Но ведь еврей обошел молчанием саладинову десятину, причитающуюся с альхамы, и не обмолвился о ней ни полсловом.

— А как обстоит дело с вашей саладиновой десятиной?— без всякого перехода спросил король.— Мне сказали, что вы хотите надуть церковь. Этого я не потерплю, тут вы просчитались.

Неожиданный запальчивый наскок вывел Иегуду из равновесия. Но он рассудил, что судьба сефардских евреев зависит сейчас от его языка, он сдержался, приказал себе действовать с холодным расчетом, не терять терпения.

— Нас оклеветали, государь,— сказал он.— Я уже давно подсчитал саладинову десятину альхамы; иначе неоткуда было бы взять те деньги, которые ты сегодня потребовал. Но твои еврейские подданные, разумеется, хотят вносить эту подать не всякому, кто ее будет домогаться или уже домогается, а только тебе, государь.

Дон Альфонсо, хотя и довольный тем, что Иегуда так легко отклонил от себя обвинение дона Мартина, все же решил его осадить:

— Не забывайся, дон Иегуда! «Всякий», о котором ты говоришь,— это архиепископ Толедский.

— В статуте, данном альхаме твоими отцами и дедами и подтвержденном тобою, государь, предусмотрено, что наша община должна вносить подати только тебе и никому другому. Если ты повелишь, десятина, разумеется, будет выплачена архиепископу Толедскому. Но тогда это будет только десятина и ни на сольдо больше, тощая десятина, ибо стричь козла, который противится, очень трудно. Если же десятина пойдет тебе, государь, это будет тучная, богатая десятина, потому что тебя, государь, толедская альхама любит и уважает.— И тихим, вкрадчивым голосом он прибавил:— Может быть, было бы лучше, если бы я затаил в сердце то, что я тебе сейчас скажу. Но я честно служу тебе и не могу умолчать об этом. Мы страдали бы и мучились угрызениями совести, если бы нам пришлось внести деньги на завоевание города, который спокон веков мы почитаем святым и который господь бог определил нам в наследие. Ты, государь, потратишь наши деньги не на войну на Востоке, а на увеличение славы и мощи твоей Кастилии, которая охраняет нас и обеспечивает нам довольство и покой. Мы знаем—ты употребишь эти деньги нам на благо. На что употребит их архиепископ—мы не знаем.

Король верил тому, что говорил еврей. Еврей, какие бы у него ни были тайные соображения, шел той же

дорогой, что и он, еврей—его друг, Альфонсо это чувствовал. Но это как раз и недопустимо. «Мышь в мешке, змея за пазухой, огниво в рукаве»,—звучали у него в ушах слова святого отца. Нельзя слишком приближать к себе еврея; это грех, это вдвойне грех сейчас, во время священной войны.

— Не отнимай у нас тех прав, которыми мы пользуемся уже сто лет,—заклинал его Иегуда.— Не отдавай твоих верных подданных в руки их врага. Ты, а не архиепископ наш властелин. Позволь мне взыскать саладинову десятину, государь!

Слова Иегуды тронули короля. Но тот, кто сказал их,—неверный, а за тем, кто предостерегал, стоит церковь.

— Я обдумаю твои доводы, дон Иегуда,—сказал король без особого восторга.

Взор Иегуды померк. Если он не убедил короля сейчас, значит, он никогда не сможет его убедить. Бог отвратил от него лицо свое. Он, Иегуда, потерял дар убеждения.

Король увидел страшное разочарование еврея. Никто не оказал ему таких услуг, как этот Ибн Эзра. Королю стало жаль, что он обидел еврея.

— Не думай, что я не ценю твоих услуг,—сказал он.—Ты отлично выполнил мое поручение, дон Иегуда.— И он ласково прибавил:—Я приглашу моих грандов присутствовать, когда ты будешь возвращать мне перчатку в знак выполненного поручения.

Донья Леонор тоже была не уверена, надо ли предоставить архиепископу право взыскивать с евреев саладинову десятину. Как королева, она не хотела отказываться от этого важного права казны. Как добрая христианка, она чувствовала, что совершает грех, извлекая выгоду из спорного нейтралитета королевства, она не хотела пренебрегать увещанием архиепископа. Тяжелая беременность усугубляла ее сомнения. Она ничего не могла посоветовать дону Альфонсо.

Он искал божьего указания. И решил подождать, пока разрешится от бремени донья Леонор. Если она родит ему сына, он увидит в этом перст божий. Тогда он возьмет саладинову десятину в королевскую казну, ибо он неправомочен уменьшать наследие сына.

А пока он, как и обещал, почтил своего эскривано. В многолюдном собрании Иегуда вернул королю перчатку рыцарского поручения, и Альфонсо взял обнаженной рукой обнаженную руку своего вассала, милостиво поблагодарил его, обнял и поцеловал в обе щеки.

Архиепископ кипел от негодования. Его пастьерское предостережение сотрясло воздух, и только,—посланец антихриста все крепче и крепче опутывает короля. Но на этот раз дон Мартин возымел твердое намерение не дать синагоге восторжествовать над церковью. Он решил не пренебрегать никакими средствами и против хитрости действовать хитростью.

Ему и в голову не приходило, уверял он короля, спорить с ним из-за денег. В доказательство этого он идет на уступку, которую ему будет очень трудно отстоять перед священным престолом. Будучи твердо уверен, что дон Альфонсо употребит саладинову десятину исключительно на вооружение, он предоставляет ему распоряжаться деньгами; за собой и за церковью он оставляет только право взыскивать эту десятину; все поступающие взносы он сейчас же передаст в королевскую казну.

По простодушно-хитрому лицу друга дон Альфонсо понял, как трудно тому идти на такую уступку. Ему самому было ясно, что здесь все дело в принципе, и он возразил:

— Я знаю, что ты хочешь мне добра. Но мне кажется, мой эскривано тоже действует из честных побуждений, когда убеждает меня не отказываться от очень важного права государя.

Дон Мартин проворчал:

— Опять тут этот неверный! Этот предатель!

— Он не предатель,—вступился Альфонсо за своего министра.— Он вытряхнет из моих евреев всю десятину до последнего сольдо. Он уже обещал мне из этой десятины огромную сумму для нашего крестового похода— двадцать четыре тысячи золотых мараведи.

Такая цифра произвела впечатление на архиепископа. Но он не хотел в этом признаться и насмешливо заметил:

— Обещать он всегда обещает.

— До сих пор он выполняет все, что обещал,—возразил дон Альфонсо.

В сердце дона Мартина звучали слова папских посланий и постановлений: евреи обречены на вечное рабство, ибо на них лежит вина за крестовые походы, они клеймены печатью Каина, они прокляты, как и он, и осуждены на вечное скитание. И что же? Дон Альфонсо, христианский монарх, славный рыцарь и герой, вместо того чтобы силой заставить их склонить наконец главу, говорит с уважением и любовью об этом дьяволе, который вполз к нему в сердце. У дона Мартина было твердое намерение действовать хитростью, обуздывать свой нрав и соблюдать христианскую кротость. Но теперь он перестал сдерживаться.

— Неужели же ты ослеплен дьяволом и не видишь, куда он тебя ведет?— вспыхнул он.— Ты говоришь, что благодаря ему твоя страна расцвела. Неужели же ты не видишь, что цветы эти ядовиты? Они возвращены грехом. Ты богатеешь от своего святотатственного бездействия. Христианские князья, чтобы освободить гроб господень, добровольно идут на лишения, опасности, смерть, а ты тем временем строишь пышный языческий загородный дворец! И отказываешь церкви в десятине, предоставленной ей святым отцом!

Альфонсо сам раскаивался в восстановлении Галианы, именно поэтому он не мог снести смелые укоры пастыря.

— Запрещаю тебе подобные речи!— оборвал его Альфонсо. С трудом заставил он себя успокоиться.— Ты почтенный князь церкви, дон Мартин,— сказал он,— добрый воин и верный друг. Если бы я не помнил этого, я должен был бы повелеть тебе целый месяц не показываться мне на глаза.

В этот же день он призвал Иегуду.

— Я не отдаю евреев церкви,— решил он.— Я оставляю их за собой. Пусть выплачивают *мне* десятину, и взыскивать ее будешь ты. И пусть это будет, как ты обещал, тучная десятина.

Несколько дней спустя донья Леонор разрешилась сыном.

Радость дона Альфонсо была беспредельна. На нем почил благословение божие. Он поступил правильно, когда, следуя внутреннему голосу, не отдал церкви ни одного из своих королевских прав. Он поступил правильно и в тот раз, когда силой принудил юношу Педро в знак своей вассальной зависимости поцеловать ему, Альфонсо, руку. Если бы он, Альфонсо, тогда этого не сделал, если бы он тогда уже обручил инфанту с молодым арагонцем, то теперь, когда ожидаемое наследство уплыло от арагонца, начались бы гораздо более злые раздоры.

В капелле своего замка счастливый отец, преклонив колена, благодарил бога за то, что у Кастилии есть наконец наследник его крови. Он, Альфонсо, вступит в великую войну всему назло и покорит во славу божью и Севилью, и Кордову, и Гранаду. Он увеличит королевство, он отодвинет его границы далеко на юг. И если ему самому не удастся отвоевать обратно весь полуостров, то по милости божией, это свершит его сын.

Дон Иегуда тоже был счастлив. Несмотря на внешнее спокойствие, он очень боялся, что королева опять родит дочь; в таком случае она в конце концов смягчила бы дона Педро, обручив с ним инфанту Беренгелу, и тогда союз с Арагоном и великая война неизбежны. Теперь эта опасность миновала.

Дон Иегуда ожидал, что радость его разделят все, и прежде всего доброжелательный, государственно мудрый дон Манрике. Но тот резко осадил его:

— Вспомни, что ты говоришь с рыцарем-христианином! Я радуюсь, что у короля, нашего государя, есть теперь наследник, но значительная часть моей радости меркнет, ибо теперь мы, возможно, так и не начнем нашу славную войну. Неужели ты думаешь, что я спокойно сойду в могилу, если не сражусь еще раз с неверными? Ты думаешь, что кастильскому рыцарю приятно глядеть, как его король отсиживается дома, когда весь христианский мир идет священной войной на неверных? Твои слова оскорбили меня, еврей.

Иегуда был посрамлен. Но он возблагодарил всемогущего, спасшего полуостров Сефард и народ Израилев, послав Кастилии инфанта.

Альфонсо устроил неслыханно пышные крестины и пригласил в Бургос весь свой придворный штат. Однако донью Ракель он не пригласил.

Зато он выказал особое внимание своему пажу дону Аласару. Он то и дело подзывал его к себе и явно выделял из числа других пажей. Раз ему пришлось в голову, как мало похож лицом свежий, красивый Аласар на сестру. Он удивился, что это пришлось ему в голову, отогнал от себя такую мысль.

По случаю крестин Иегуда послал королю и донье Леонор дорогие подарки, не забыл он и инфанту Беренгелу. Он заметил, что она разочарована и озабочена. Она, видно, не отказалась от мысли обвенчаться с доном Педро, перед ней уже вставала мечта о короне Кастилии и Арагона, о короне объединенной Испании. Теперь эта надежда рухнула.

Инфант был окрещен с большой торжественностью и наречен Фернаном Энрике.

Затем дон Иегуда возвратился в Толедо.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Уже при первом крестовом походе христианское войско прежде всего напало на неверных у себя на родине — на евреев.

Вожаки движения не хотели этого; у них была одна цель: освободить Святую землю из-под ярма неверных. Но многие примкнули к крестоносцам не только из религиозных побуждений. К пламенной вере примешивалась жажда приключений и стяжательство. Рыцари, стремление которых к подвигам сдерживалось на родине законом, рассчитывали завоевать добычу и ратную славу

в мусульманских землях. Вилланы брали крест, чтобы избавиться от гнета личной зависимости и податей. «Много всякого сброду примкнуло к крестовому воинству не для того, чтобы искупить грехи, а чтобы содеять новые»,—повествует богобоязненный летописец того времени Альберт Аквентис.

Некий Гильом ле Карпантье, проживавший в окрестностях Труа, известный спорщик и забияка, собрал толпу воинственных пилигримов и повел их к Рейну. К ним присоединялись все новые люди—франки и германцы, скоро их собралось до ста тысяч. В прирейнских странах эту темную дружину, увязавшуюся за крестоносцами, прозвали «братья паломники».

«Поднялся беспутный, необузданный, злодейский люд,—повествует еврей-летописец того времени,—франки и германцы, и пошли в святой град, дабы изгнать оттуда сынов Измаила. Каждый из безбожников нашл себе на одежду крест, и собирались они большими толпами, мужчины, женщины и дети. И один из них, Вильгельм Плотник—да будет проклято имя злодея!—подстрекал народ и говорил: «Вот мы двинулись в путь, дабы покарать сынов Измаила. Но разве здесь, среди нас, не живут те самые иудеи, отцы которых распяли господа нашего? Покараем сначала их. Если они и дальше будут упорствовать и не признавать за мессию Иисуса, вытравим с корнем семя «Иудово». И они послушались его и говорили один другому: «Поступим так, как он говорит»,—и они напали на народ Святого завета».

Прежде всего шестого ияра, в субботу, они вырезали евреев в городе Шпейере. Три дня спустя—в городе Вормсе. Затем они двинулись на Кельн. Здесь епископ Герман пытался оградить своих евреев. «Но врата милосердия были закрыты,—повествует летописец,—злодеи перебили солдат и захватили евреев. Многие, дабы избежать крещения водой, привязали к себе камни и бросились в Рейн, восклицая: «Слушай, Израиль, господь бог наш, господь един».

Подобное же творилось в Трире, подобное же творилось в Майнце.

О событиях в Майнце летописец повествует: «В третий день сивана, о котором некогда сказал наш учитель Моисей: будьте готовы к третьему дню, когда я вернусь с Синая,—в этот третий день сивана, в полдень, Эмихо из Лейнингена—да будет проклято имя злодея!—подступил к городу со всей своей ватагой, и горожане открыли ворота. И злодеи говорили один другому: «Тенерь мы отомстим за кровь распятого». Сыны Святого завета надели доспехи, чтобы защищаться; но они не смогли противостоять врагу, так как ослабели от горя и долгого

поста. Некоторое время они удерживали крепкие ворота, ведущие во внутренний двор архиепископского замка; но за многие наши прегрешения им не дано было сравняться с злодеями силой. Когда они увидели, что судьба их решена, они стали ободрять друг друга и говорили так: «Враги сейчас убьют нас, но наши души сохранятся и вступят в светлый сад Эдема. Блаженны претерпевшие смерть имени единого бога ради»,—и в заключение они сказали: «Принесем жертву богу». Когда враги ворвались во двор, они увидели мужей, сидящих неподвижно в молитвенных одеждах. Злодеи подумали, что это хитрость. Они стали бросать в них камни и метать стрелы. Мужичи в молитвенных одеждах не трогались с места. Тогда они зарубили их своими мечами. А те, что укрылись в крепости, закололи друг друга. Поистине в этот третий день сивана евреи города Майнца выдержали испытание, которому во время оно бог подверг праотца нашего Авраама. Как тот сказал: «Вот я»,—и приготовился принести в жертву богу сына своего Исаака, так и они приносили в жертву богу своих детей и ближних. Отец приносил в жертву сына, брат—сестру, жених—невесту, сосед—соседа. Когда раньше видели столько жертв в один день? Больше одиннадцати тысяч добровольно шли на заклание или закалывали сами себя во славу единого, высокого, страшного имени».

В Регенсбурге братья паломники убили семьсот девяносто четыре еврея, имена которых занесены в книги мучеников. Сто восемь согласилось принять крещение. Братья паломники загнали их в Дунай, спустили на воду большой крест, окунали евреев под него, и смеялись, и кричали: «Теперь вы христиане, и берегитесь, не впадайте опять в вашу иудейскую ересь». Они сожгли синагогу, и из пергамента еврейских свитков Священного писания вырезали стельки для башмаков.

В месяцы ияр, сиван и таммуз в Рейнской земле погибло двенадцать тысяч евреев и четыре тысячи—в Швабии и Баварии.

Большинство светских и церковных князей не оправдывало зверства братьев паломников и насильственное крещение. Германский император Генрих IV в торжественной речи осудил эту резню и позволил насильственно окрещенным возвратиться в иудейство. Он начал следствие против архиепископа Майнца за то, что тот не защитил своих евреев и обогатился их достоянием. Архиепископ должен был бежать, император наложил арест на его доходы и возместил евреям убытки.

Большая часть братьев паломников, не дойдя до Святой земли, погибла жалкой смертью. Много тысяч

перебили венгры; вожаки, Гильом ле Карпантье и Эмихо из Лейнингена, постыдно вернулись домой во главе жалкой кучки оборванцев. «Гильом,— повествует летописец,— перед походом спросил раввина города Труа, как кончится поход. Отвечал ему раввин: «Ты проживешь некоторое время в блеске, но потом вернешься сюда побежденный, с тремя конями». Гильом грозился: «Если я вернусь хоть с одним лишним конем, то убью тебя, а заодно и всех франкских евреев». Он вернулся в сопровождении трех конников, а значит, с четырьмя лошадьми, и он радовался, что убьет раввина. Но когда он въезжал в ворота, от стены оторвался камень и убил одного из его конников вместе с лошадью. И тогда Гильом отказался от своего намерения и ушел в монастырь».

Теперь, когда начался новый крестовый поход, евреи вспомнили муки, которые претерпели их отцы и которые записаны в книге «Долина плача», и преисполнились страха.

И вскоре их постигла прежняя участь. Но только на этот раз их притесняли главным образом государи.

Герцог Вратислав Богемский принудил своих еврейских подданных к крещению, а когда они захотели покинуть пределы Богемии, вероятно для того, чтобы вернуться к иудейству, он забрал их имущество в казну. Его камерарий, образованный человек, по поручению герцога обратился к переселенцам с латинской речью в гекзаметрах: «Не принесли вы сюда иерусалимских сокровищ, нищими вы пришли, нищими вон ступайте».

Горше других пришлось евреям Франкского королевства. В прошлый крестовый поход их взяли под свою защиту Людовик VII и Алиенора Аквитанская. Но царствовавший во Франции король Филипп-Август сам стал во главе тех, кто громил и грабил «проклятое племя». «Евреи вероломством и хитростью завладели большинством домов в моей столице Париже,— заявил он.— Они ограбили нас, как их праотцы ограбили египтян». Чтобы наказать евреев за этот грабеж, он приказал солдатам в одну из суббот окружить синагоги в Париже и Орлеане и не выпускать евреев, пока не будут разграблены их дома. Евреям было приказано снять субботние одежды и вернуться полуголыми в свои голые жилища. Затем он издал указ, согласно которому они должны были в трехмесячный срок покинуть пределы его государства, не унося с собой никакого имущества.

Большинство изгнанников нашло приют в соседних графствах, формально считавшихся вассальными землями

короля Франкского, на самом же деле бывших самостоятельными.

Но рука короля Филиппа-Августа настигла их и там.

Так, маркграфиня Шампанская, Бланш, пожилая дама, свободомыслящая и мягкосердечная, приняла многих переселенцев. Во франкских владениях издавна существовал обычай на страстной неделе в воспоминание о страстях господних бить по щекам на городской площади представителя иудеев—старейшину их общины или раввина. Маркграфиня разрешила своим еврейским подданным заменить эту натуральную повинность денежным взносом на церковь. Король Филипп-Август, разгневанный тем, что переселенцы нашли приют у маркграфини Бланш, потребовал от нее, как от своего вассала, чтобы она взяла обратно это постановление. Он сослался на священную войну, ей пришлось уступить.

Однако судьба избавила евреев от такого поношения, правда печальным, даже трагическим образом. Еще до наступления страстной недели крестоносец, подданный короля Филиппа-Августа, убил во владениях маркграфини в городе Брэ-сюр-Сен еврея. Графиня приговорила убийцу к смерти и назначила казнь в день еврейского праздника пурим, когда евреи вспоминают гибель своего врага Амана, побежденного царицей Эсфирью и ее приемным отцом Мардохеем. Евреи, жители города Брэ, присутствовали при казни, надо полагать, не без удовлетворения. Королю Филиппу-Августу донесли, что они связали убийце, его подданному, руки и возложили на главу его терновый венец, насмехаясь над страстями господа. Царственный злодей, как его называет летописец, потребовал тогда от маркграфини, чтобы она заключила в темницу всех евреев города Брэ. Она медлила с выполнением этого приказа. Король послал в Брэ солдат, евреев схватили и предложили им на выбор—крещение или смерть. Четверо крестились, девятнадцать детей до тринадцатилетнего возраста были отправлены в монастырь, все остальные евреи—сожжены на двадцати семи кострах. Маркграфине Бланш король Филипп-Август сказал: «Теперь твои евреи освободились от страстного заушения, благородная дама». Затем он отправился в крестовый поход.

Однако евреи всей Северной Франции не чувствовали себя больше спокойно и снарядили посланцев в более счастливые земли—в Прованс и Испанию—просить о помощи.

Наибольшую надежду они возлагали на могущественную толедскую общину. Туда они направили самого славного и благочестивого среди евреев Франкского королевства—рабби Товия бен Симона.

Как только Иегуда вернулся, рабби Товий пришел к нему.

Наш господин и учитель Товий бен Симон, прозванный *га-хасид*, благочестивый, *episcopus judaeorum francorum*, глава франкских иудеев, был начитан в Священном писании, славен и почитаем Израилем. Он был невзрачен с виду и скромен в поведении. Происхождение свое он вел от древней еврейской семьи, известной своей ученостью; около ста лет тому назад, спасаясь от братьев паломников, она переселилась из Германии в Северную Францию.

Он говорил на тягучем, нечистом диалекте немецких евреев, *ашкенази*, который звучал не так, как привычный уху дон Иегуды благородный, классический еврейский язык. Но, слушая то, что рассказывал рабби Товий, Иегуда вскоре перестал замечать его выговор. Рабби рассказывал о бесчисленных хитрых и жестоких кознях, измышляемых королем Филиппом-Августом, и о страшных кровавых событиях в Париже, Орлеане, Брэ-сюр-Сен, Немуре и городе Сансе. Он рассказывал не красноречиво; и о мелком мучительстве, которым гонители донимали евреев, он рассказывал так же подробно и многословно, как и о кровавых бойнях, и мелко казалось крупным, а крупное становилось звеном в бесконечной цепи. И снова и снова повторялся припев: «И они кричали: «Слушай, Израиль, господь бог наш, господь един»,— и их убивали».

Странно звучал в роскошном, спокойном доме рассказ невзрачного рабби о диких событиях. Рабби Товий говорил долго и настойчиво. Однако дон Иегуда слушал его с неослабным вниманием. Его живая фантазия в осязательных образах рисовала ему то, о чем говорил рабби. В нем пробудились собственные мрачные воспоминания. Тогда, полтора человеческих века тому назад, мусульмане в его родной Севилье творили те же дела, что сейчас творили христиане во Франции. И те тоже набросились на ближайших «неверных», на евреев, и поставили их перед выбором: либо перейти в мусульманскую веру, либо умереть. Иегуда доподлинно знал, что чувствуют те, на кого напали сейчас.

— Пока нам еще дали приют графы и бароны независимых земель,— сказал рабби Товий.— Но миропомазанный злодей теснит их, и долго упорствовать они не будут. В сердце их нет злобы, но нет и доброты, они не станут воевать с королем Франции ради справедливости и ради евреев. Недалеко то время, когда нам придется сняться с места, а это будет нелегко, ибо нам не удалось ничего спасти, кроме собственной шкуры и нескольких свитков торы.

Мир, роскошь и покой царили здесь, в прекрасном доме. Ласково плескались фонтаны; на стенах сияли

золотом красно-лазоревого письма возвышенных изречений. С тонких, бледных губ странно мертвенного лица рабби Товия монотонно слетали слова. А дон Иегуда видел перед собой многих, многих евреев, как они брели, едва передвигая усталые ноги, и садились отдохнуть на обочинах дорог, пугливо озираясь, не грозит ли откуда-нибудь новая опасность, и как они снова брались за длинные посохи, вырезанные где-нибудь по пути, и брели дальше.

Забота о франкских евреях занимала дона Иегуду еще в Бургосе, и в его быстром уме мелькали разные планы помощи. Но теперь, когда он слушал повесть рабби Товия, в голове его сложился новый план, план смелый и трудный. Только он мог действительно помочь. Невзрачный рабби, который не просил, не увещевал и не требовал, самым своим видом побуждал Иегуду действовать.

Когда на следующий день в кастильо Ибн Эзра пришел Эфраим бар Абба, дон Иегуда уже принял решение. Дон Эфраим, тронутый рассказом рабби Товия, хотел собрать десять тысяч золотых мараведи в фонд помощи преследуемым франкским евреям; сам он думал дать тысячу мараведи и пришел просить дона Иегуду тоже внести свою лепту.

Но тот ответил:

— Изгнанникам мало поможет, если на их насущные нужды мы дадим денег, которых им хватит на несколько месяцев или даже на год. Графы и бароны, в чьих городах они сейчас осели, не посмеют послушаться короля и выгонят их, и опять они побредут, не зная куда, и снова попадут в лапы других врагов, и в конце концов будут обречены на истребление. Им может помочь только *одно*: надо поселить их в надежном месте, откуда их не изгонят.

Парнас толедской альхамы был неприятно поражен. Если теперь, во время священной войны, страну наводнят толпы нищих евреев, это повлечет за собой дурные последствия. Архиепископ опять будет натравливать народ на иудеев, и вся страна оправдает его. Толедские евреи образованны, богаты, воспитанны, они приобрели уважение христиан; впуслав в страну сотни, может быть, даже тысячи франкских евреев, нищих, не знающих местного языка и обычаев, выделяющихся среди остальных жителей одеждой и непривычными плохими манерами, изгнанникам не поможешь, а только себя подвергнешь опасности.

Но Эфраим боялся, что подобные возражения только укрепят неразумно отважного Ибн Эзру в его намерении. Он придумал другие.

— А почувствуют ли себя здесь франкские евреи дома?—сказал он.—Это мелкий люд. Они торговали вином, осторожно пускали в оборот деньги, они знают только жалкую мелочную торговлю, мысль их работает робко, в крупных торговых делах они ничего не смыслят. Я их за это не осуждаю. На их долю выпала бедная, тяжелая жизнь, многие из них—сыновья тех, что бежали из немецкой земли или даже сами пережили преследования немцев. Я не представляю себе, как освоятся эти угрюмые, запуганные люди в нашем мире.

Дон Иегуда молчал. Парнасу казалось, что он чуть усмехается. Дон Эфраим продолжал уже настойчивее:

— Наш высокий гость—человек благочестивый, пользующийся заслуженной славой ученого. И хотя в его книгах очень глубокие и значительные мысли, многое в нем неприятно поразило меня. Я строже тебя, дон Иегуда, мыслю о нравственности и соблюдении заповедей, но наш господин и учитель Товий превращает жизнь в сплошное покаяние. Он и его приверженцы меряют не той мерой, что мы. Думаю, наши франкские братья не уживутся с нами, а мы—с ними.

Но дон Эфраим не сказал того, что ему очень хотелось напомнить дону Иегуде, мешумаду и вероотступнику: рабби Товий в самых жестоких словах осуждал ему подобных, тех, кто отпал от веры. Он не миловал даже *анусимов*, тех, кто крестился под угрозой смерти, хотя бы потом они и вернулись в иудейство. Дон Иегуда, добровольно, а не страха ради так долго служивший чужому богу, должен был бы знать, что в глазах рабби Тovia и его присных он, Иегуда, в наказание за это подлежит отлучению, чтобы душа его погибла вместе с телом. Неужели он собирается навязать альхаме и себе самому людей, которые так о нем думают?

— Конечно, это человек святой жизни, не такой, как мы,—сказал непостижимый для донa Эфраима Иегуда.—Люди, подобные нам, чужды его душе, люди, подобные мне, возможно, даже претят ему и его последователям. Но ведь и те гонимые наши братья, которых в свое время мой дядя, дон Иегуда Ибн Эзра га-наси, князь, приютил здесь, очень отличались от здешних, и было совсем неизвестно, приживутся ли они в Кастилии. Они прижились. Они благоденствуют и процветают. Я думаю, если мы очень постараемся, мы свыкнемся с нашими франкскими братьями.

Дон Эфраим, казавшийся таким тщедушным в своей широкой одежде, был глубоко озабочен, он подсчитывал, соображал.

— Я был горд, что мы можем выбросить десять тысяч золотых мараведи на франкских изгнанников. Если мы

приютим их здесь, в стране, где они не смогут заработать себе на пропитание, нам придется на многие годы, может быть навсегда, взять на себя заботу о них. Десяти тысяч золотых мараведи надолго не хватит. Нам и дальше придется выплачивать саладинову десятину. Не забудь также и капитал на выкуп пленников. Он очень истощился, а ведь сейчас к нему придется прибегать чаще, чем когда-либо. Священная война — удобный предлог для сынов Эдома и сынов Агари повсюду ввергать в темницы евреев и вымогать высокие выкупы. Писание заповедует освобождать заключенных. Мне кажется, в первую очередь надо следовать этой заповеди. Приютить тысячи франкских бедняков кажется мне не столь важным. Это, конечно, было бы проявление великого милосердия, но, прости меня за откровенность, это было бы необдуманно и безответственно.

Дон Иегуда как будто не обиделся.

— Я не начитан в Писании, — ответил он, — но в ухо и в сердце мне запало веление нашего учителя Моисея: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, возьми его и пусть живет с тобой». Впрочем, я думаю, мы можем себе позволить исполнить одну свою обязанность и не пренебречь другой. Доколе мне будет удаваться отвращать войну от кастильской земли, — и голос его звучал надменно, хотя он и говорил приветливо, — дотоле у толедской альхамы будут такие богатые прибыли, что ей не придется брать из выкупных денег для того, чтобы дать кров и пищу нескольким тысячам франкских евреев.

Страх все сильнее сжимал сердце дон Эфраима. Этот человек в своей заносчивости не хочет понять, как опасна его затея, а может быть, он и в самом деле не понимает. Эфраим не мог дольше сдерживаться, он должен был высказать свою глубоко затаенную в сердце боязнь.

— Подумал ты, брат мой и господин дон Иегуда, — сказал он, — какое сильное оружие ты даешь в руки архиепископу? Он подымет все силы ада, но не допустит твоих франкских евреев в нашу страну. Он обратится к погрязшему в грехе королю Франции. Он обратится к папе. Он будет проповедовать в церквах и натравливать на нас народ за то, что в разгар священной войны мы привлекаем в Кастилию толпы неверных и нищих. Ты взыскан милостью короля, нашего государя. Но дон Альфонсо склоняет свой слух и к архиепископу, а время, священная война, сейчас за него, не за нас. Ты, дон Иегуда, защитил от врага наши вольности и привилегии, и это останется твоей вечной заслугой. Но удастся ли тебе сделать это еще раз?

Слова Эфраима попали в цель, и перед доном Иегудой опять встали все трудности задуманного. А что, если он

переоценил свои силы? Но он скрыл возникшее сомнение, он, как и ожидал дон Эфраим, принял высокомерный вид и сухо сказал:

— Я вижу, мое предложение тебе не нравится. Давай договоримся. Ты соберешь свои десять тысяч золотых мараведи. Я добьюсь, чтобы король допустил к нам гонимых евреев и даровал им необходимые права и привилегии. Я сделаю это втихомолку, без поддержки со стороны альхамы, без просительных молебствий в синагогах, без воплей и стонов, без торжественных делегаций к королю. Предоставь всю заботу мне, и только мне.— Иегуда видел, как огорчен его гость, этого он не хотел. Он ласково прибавил:— Но если мне это удастся, если король согласится, тогда и ты не противься, обещай мне это, в душе не противься и помоги мне всей силой дарованного тебе от бога разума выполнить задуманное.— И он протянул дону Эфраиму руку.

Дон Эфраим, увлеченный против собственной воли, но все еще колеблющийся, взял его руку и сказал:

— Да будет так.

А король меж тем, живя в Бургосе, в атмосфере, окружавшей донью Леонор, позабыл о Толедо и о всем, что с ним связано. Он наслаждался покоем и уверенностью, которые царили в его бургосском замке. У него был сын и наследник. Он был глубоко удовлетворен.

Но после того, как он несколько недель и даже месяцев провел вдали от столицы, его советники наконец настояли, чтобы он возвратился в Толедо.

И не успел он покинуть стены Бургоса, как его опять охватило прежнее беспокойство, он мучительно ощутил лежащее на нем проклятие: вечно надо ждать и ждать, ему не будет дано расширить пределы своего королевства. Шестой и седьмой Альфонсо носили императорскую корону, их великие деяния воспевали певцы; о том, что свершил он, лепетали два-три жалких романса.

Когда он увидел скалу, на которой расположен Толедо, им овладело яростное нетерпение, и в первый же день он призвал своего эскривано, человека, у которого ему приходилось выторговывать право выполнить свой рыцарский долг и начать войну.

Иегуда тоже с нетерпением ожидал возвращения короля. Он хотел, как только представится возможность, доложить ему свой смелый план и добиться эдикта, разрешающего франкским евреям доступ в Кастилию. Он придумал хорошие доводы. Вся страна охвачена оживленной деятельностью, бурно растет, нужны новые руки,

нужно, как и во времена шестого и седьмого Альфонсо, призвать новых людей, переселенцев.

И вот наконец он стоял перед королем и докладывал. Он мог рассказать о новых больших успехах, об отрядно высоких поступлениях в казну, о еще трех городах, отторгнутых от упорствующих грандов и подчиненных теперь дону Альфонсо. По всей стране возникают новые, многообещающие предприятия, и в самом Толедо и в его ближайших окрестностях. И стеклянный завод, и кожевенное производство, и гончарное, и бумажная мануфактура, не говоря уже о расширении монетного двора и королевского коннозаводства.

Иегуда докладывал в кратких словах, а сам меж тем обдумывал, обратиться ли ему уже сейчас к королю со своей великой просьбой. Но дон Альфонсо молчал, и по лицу его ни о чем нельзя было догадаться.

Иегуда продолжал говорить. Почтительно осведомился, заметил ли государь на своем обратном пути огромные стада в окрестностях Авилы; теперь скотоводство упорядочено и пастбища используются разумно. Нашлось ли у дона Альфонсо на обратном пути время, чтобы осмотреть новые посадки тутовых деревьев для шелкопрядилен?

Наконец король разверз уста. Да, сказал он, он видел посадки тутовых деревьев, и стада тоже, и еще многое, что свидетельствует о рачительности его эскривано.

— Ну, и не докучай мне дольше всем этим,—сказал он угрюмо, сразу переходя к другому.—Твои заслуги узнаны и признаны. Меня сейчас интересует только одно: когда же наконец мне можно будет смыть с себя позор и вступить в священную войну?

Иегуда не ожидал, что милость короля так скоро опять обернется неприязнью. С горечью и тревогой увидел он, что разговор о переселении гонимых евреев приходится отложить. Но он не мог не возразить королю на его неразумный упрек.

— Время, когда ты сможешь вступить в войну, государь,—сказал он,—зависит не только от финансов твоей страны. Они в порядке.—И он вызывающе заявил:—Пусть другие испанские государи, а главное Арагон, согласятся вместе с тобой выставить против халифа войско, объединенное под одним началом, ты, государь, сможешь внести значительно большую долю, чем с тебя причитается. И если понадобится—завтра же. В этом можешь быть уверен.

Альфонсо наморщил лоб. Вечно этот дерзкий, насмешливый еврей кормит его всякими «если». Он ничего не ответил, принялся шагать из угла в угол.

Затем неожиданно бросил через плечо:

— Скажи, как обстоят дела с Галианой? Перестройка должна быть скоро закончена?

— Она закончена,— с гордостью ответил Иегуда,— и просто диву даешься, что сделал из этого ветхого дома мой Ибн Омар. Если тебе будет угодно, государь, то дней через десять, самое позднее через три недели, ты сможешь там жить.

— Может быть, мне и будет угодно,— не задумываясь, сказал Альфонсо.— Во всяком случае, я хочу поглядеть, что вы сделали. В четверг погляжу, а то и раньше. Я дам тебе знать. И ты тоже поедешь и будешь мне все показывать. И донью Ракель возьми с собой,— закончил он, словно невзначай.

Иегуда был потрясен до глубины души. На него напал страх, как и тогда, после необычного приглашения дон Альфонсо.

— Как повелишь, государь,— сказал он.

В условленный час Иегуда и Ракель ждали короля у ворот Уэргы-дель-Рей. Дон Альфонсо был точен. Он отвесил глубокий официальный поклон донье Ракель и приветливо поздоровался со своим эскривано.

— Ну, показывай, что вы сделали,— сказал он с несколько нарочитой веселостью.

Они медленно пошли по саду. Грядок с овощами уже не было, на их месте красовались декоративные растения, деревья, со вкусом разбитые рощицы. Небольшой лесок был оставлен в прежнем виде. От сонного пруда отвели канал, и теперь к Тахо струился ручей, через который во многих местах были перекинuty мостики. В саду росли апельсиновые деревья, а также неизвестные до сих пор в христианских странах искусно выращенные деревья с необычайно крупными лимонами. Не без гордости указал Иегуда королю на эти плоды: мусульмане называли их «адамовыми плодами», ибо ради того, чтобы отведать от этих плодов, Адам преступил заповедь господню.

По широкой, усыпанной гравием дорожке направились они к замку. И здесь с ворот глядела арабская надпись: «Алафия—мир входящему». Они осмотрели помещение внутри. Вдоль стен тянулись диваны, с небольших галереек спускались гобелены, красивые ковры устилали пол, повсюду струилась вода, обеспечивая прохладу. Мозаичные потолки и фризy еще не были закончены.

— Мы не решились без твоих указаний выбрать стихи изречения. Мы ждем твоих распоряжений, государь.

Дон Альфонсо отвечал односложно, хотя замок явно произвел на него большое впечатление. Обычно его мало занимало, как выглядит внутри та или другая крепость,

тот или другой дом. На этот раз он смотрел более понимающими глазами. Еврейка была права: его бургосский замок мрачен и угрюм, новая Галиана прекрасна и удобна. И все же бургосский замок ему больше по душе, тут, в изнеженной роскоши, ему было как-то неуютно. Он говорил требуемые вежливостью слова благодарности, мысли его блуждали где-то далеко, речь становилась все скупее. И донья Ракель говорила мало. Постепенно замолчал и дон Иегуда.

Патио походил скорее на сад, чем на двор. И тут был большой водоем с фонтаном, вокруг тянулись аркады, сад, отражаясь в матовых зеркалах, казался бесконечным. Король с недовольством и удивлением признавал, как много сделали за такой короткий срок эти люди.

— Ты не бывала здесь, благородная дама, пока шли работы? — вдруг обратился он к Ракели.

— Нет, государь, — ответила девушка.

— Это нелюбезно с твоей стороны, — заметил король, — ведь я же просил твоего совета.

— Мой отец и Ибн Омар понимают гораздо больше меня в искусстве строительства и внутреннего убранства, — возразила Ракель.

— А нравится тебе Галиана такая, как теперь? — спросил дон Альфонсо.

— Они выстроили тебе прекрасный замок, — с искренним восхищением ответила Ракель. — Совсем как волшебный дворец из наших сказок.

«Она говорит из *наших* сказок, — подумал король. — Она все еще чужая здесь и все время дает мне понять, что там, где она, чужой я».

— И все здесь так, как ты себе представляла? — спросил он. — Что-нибудь тебе, верно, все же не нравится? Ты не дашь мне никакого совета, даже самого маленького?

С легким удивлением, но не смущаясь, посмотрела Ракель на нетерпеливого короля.

— Раз ты приказываешь, государь, — ответила она, — я скажу. Мне не нравятся зеркала в галереях. Мне не нравится все снова и снова видеть свое отражение, и мне даже немножко жутко, когда я вижу тебя, и отца, и деревья, и водомет по-настоящему и одновременно в отражении.

— Хорошо, уберем зеркала, — решил король.

Водворилось несколько неловкое молчание.

Они сидели на каменной скамье. Дон Альфонсо не смотрел на Ракель, но он видел ее в зеркалах галереи. Видел и разглядывал. Он видел ее в первый раз. Она была бойкой и задумчивой, знающей и наивной, гораздо моложе, чем он, и гораздо старше. Если бы его спросили,

вспоминал ли он о ней две недели назад, в Бургосе, он с чистой совестью ответил бы — нет. И это было бы ложью. Она жила в его сердце.

Он продолжал разглядывать ее в зеркале. Худое лицо с большими серо-голубыми глазами под черными бровями, такое простодушное, детское, но за ее невысоким лбом, верно, бродят мудреные мысли. Нехорошо, что даже в Бургосе она продолжала жить в его душе. «Алафия — мир входящему», — приветствовал его новый замок, но нехорошо, что он перестроил этот замок. Дон Мартин был прав, порицая его: мусульманская роскошь не к лицу христианскому рыцарю, особенно теперь, во время крестового похода.

Дон Мартин как-то разъяснил ему, что спать с обозной девкой грех простительный, с мусульманской пленницей менее простительный, с благородной дамой еще менее простительный. Несомненно, самый тяжкий грех — это спать с еврейкой.

Донья Ракель заговорила, чтобы прервать тягостное молчание, и она постаралась говорить весело:

— Мне интересно, государь, какие стихи ты выберешь для фризов. Только стихи придадут дому настоящий смысл. И какой алфавит ты предпочтешь — арабский или латинский?

Дон Альфонсо подумал: «Ишь какая смелая, и совсем не робеет, заносчивая, гордится своим умом и вкусом. Но я ее переупрямлю. Пусть дон Мартин говорит что угодно. В конце концов я отправлюсь в крестовый поход, и все грехи мне простятся».

Он сказал:

— Я думаю, я не буду выбирать стихи, благородная дама, не буду решать, какие должны быть буквы: латинские, арабские или еврейские. — Он обратился к Иегуде. — Позволь мне быть с тобой столь же откровенным, эскривано, как была со мной донья Ракель в Бургосе. То, что вы сделали, очень красиво, художники и знатоки похвалят вас. Но мне это не нравится. Это не укор, избави бог. Напротив, я удивляюсь, как хорошо и быстро вы все сделали. И ты будешь прав, если скажешь: «Ты сам так повелел, я только повиновался». Я говорю все так, как оно есть: тогда, когда я это повелел, мне как раз так и хотелось. Но за это время я побывал в Бургосе, в моем древнем, суровом замке, в котором донья Ракель показалась так неудобно. Ну а теперь мне здесь неудобно, и, я думаю, даже если будут убраны зеркала, а со стен будут глядеть прекрасные стихи, мне все равно будет здесь неудобно.

— Я очень сожалею, государь, — сказал с деланным равнодушием дон Иегуда. — В перестройку замка вложено

много труда и много денег, и меня огорчает, что слово, брошенное невзначай моей дочерью, побудило тебя построить дом, который тебе не по душе.

«Дон Мартин слишком много брал на себя,—подумал король,—когда хотел запретить мне выстроить мавританский дворец. Не запретит он мне и переспать с еврейкой».

— Ты очень обидчив, дон Иегуда Ибн Эзра,—сказал он,—ты человек гордый, не спорь. Когда я хотел подарить тебе в качестве альбороке кастильо де Кастро, ты отклонил мой подарок. А ведь мы заключили тогда крупную сделку, а крупная сделка требует и крупного альбороке. Ты должен кое-что исправить, эскривано. Этот замок не по мне—я уже сказал, виноват в этом только я один,—он слишком удобен для солдата. Вам он нравится. Позволь мне подарить его вам.

Иегуда побледнел, еще сильнее побледнела донья Ракель.

— Я знаю,—продолжал король,—у тебя дом, лучше которого и желать нельзя. Но, может быть, здешний дом полюбится твоей дочери. Ведь Галиана в свое время была дворцом мусульманской принцессы? Здесь твоя дочь будет чувствовать себя хорошо, этот дом как раз для нее.

Слова звучали учтиво, но произносил их король с мрачным лицом, лоб прорезали глубокие морщины, светлые сияющие глаза смотрели на донью Ракель с нескрываемой враждой.

Он отвел взгляд от нее, вплотную подошел к дону Иегуде и сказал ему в лицо, негромко, но твердо, напирая на каждое слово, так чтобы Ракель слышала:

— Пойми меня, я хочу, чтобы твоя дочь жила здесь.

Дон Иегуда стоял перед королем почтительный, смиренный, но он не опустил глаза, а в глазах его был гнев, гордость, ненависть. Дону Альфонсо не было дано заглядывать глубоко в чужую душу. Но теперь, стоя лицом к лицу со своим эскривано, он почувствовал, какая буря бушует у того в сердце, и на какую-то долю секунды пожалел, что бросил вызов этому человеку.

Глубокое молчание тяжким гнетом придавило всех троих, они ощущали его почти физически. Затем Иегуда с трудом вымолвил:

— Ты оказал мне очень много милостей, государь. Не погреби меня под слишком многими милостями.

— В тот раз, когда ты отверг мое альбороке, я простил тебе. Не сердь меня во второй раз. Я хочу подарить этот замок тебе и твоей дочери. *Sic volo*,—сказал он твердо, разделяя слова, и повторил по-кастильски:—Я так хочу!—И тут же с вызывающей вежливостью обратился он к девушке:—Ты не благодаришь меня, донья Ракель?

Ракель ответила:

— Здесь стоит дон Иегуда Ибн Эзра. Он твой верный слуга и мой отец. Позволь, чтобы он ответил тебе.

Рассерженный, беспомощный, нетерпеливый, король переводил взгляд с Иегуды на донью Ракель, а с доньи Ракель на Иегуду. Как они смеют! Он, Альфонсо, стоит здесь перед ними, словно какой-то надоедливый проситель!

Но тут дон Иегуда сказал:

— Дай нам время, государь, чтоб подыскать слова для подобающего ответа и почтительнейшей благодарности.

На обратном пути Ракель сидела в носилках, Иегуда ехал рядом. Она ждала, когда отец растолкует ей то, что произошло. Как он скажет и как решит, так и будет правильно.

Еще тогда, в кастильо Ибн Эзра, ее смутило необычное приглашение короля. Приглашение не имело дальнейших последствий, и это ее успокоило; правда, и разочаровало немного. Новое приглашение дона Альфонсо наполнило ее новым ожиданием, приятно стеснило грудь. Но то, что произошло сейчас, его решительное, необузданное, властное требование она ощутила как удар. Тут уж куртуазности не было и в помине. Этот мужчина хочет обнимать ее, целовать своим дерзким, жадным, оголенным ртом, спать с ней. И он не просит, он требует: *sic volo!*

В Севилье мусульманские рыцари и поэты не раз вели с ней галантные разговоры; но как только их речи становились рискованными, Ракель робела и замыкалась в себе. И когда дамы болтали между собой об искусстве любви и наслаждений, она смущалась и слушала неохотно; даже со своей подругой Лейлой она только намеками касалась таких вопросов. Совсем иное дело, когда стихи поэтов говорили о любовной страсти, лишаящей рассудка мужчин и женщин, или когда сказочники с восторгом на лице, закрыв глаза, повествовали о том же; тогда перед мысленным взором Ракели вставали жгучие, смущающие картины.

И христианские рыцари часто говорили о любви, о «любовном служении». Но это были пустые, выпренные речи, куртуазия, а их любовные стихи были какие-то застывшие, окоченелые, ненастоящие. Иногда, правда, она старалась представить себе, как бы это выглядело, если бы один из этих облаченных в латы или в тяжелую парчу господ вдруг сбросил свое одеяние и обнял ее. И от этого представления у нее захватывало дух, но тут же все опять казалось ей смешным, и смешное поглощало щеко-чущее и смущающее.

И вот теперь — король. Она видела его голые, выбритые губы, окруженные золотисто-рыжей бородой, она видела его светлые, жестокие глаза. Она слышала, как он сказал, не повышая голоса, но так, что слова его громом отдались в ушах и сердце: я так хочу! Она была не из пугливых, однако его голос испугал ее. Но не только испугал. Его голос проникал в самое сердце. Дон Альфонсо приказывал, и это была его манера быть куртуазным, манера не мягкая и не изысканная, зато очень мужественная и, уж во всяком случае, не смешная.

И вот он приказал ей: люби меня! И она была потрясена до глубины сердца. Она была тем третьим братом, который стоял перед пещерой и не знал, покинуть ли ему безопасный дневной свет и войти в золотисто мерцающий сумрак или нет. В пещере был повелитель добрых духов, но там же была и всеуничтожающая смерть. Кого встретит там третий брат?

Отец ехал рядом со спокойным лицом. Как хорошо, что у нее есть отец. По слову короля ей во второй раз приходится изменять свою жизнь. Окончательное решение принадлежит ее отцу. Его близость, его ласковый, внимательный взор вселяли в нее уверенность.

Но дон Иегуда, хотя он и был с виду спокоен, осаждали противоречивые мысли и чувства.

Ракель, свою Ракель, свою дочь, свою нежную, как цветок, Ракель он должен отдать этому человеку!

Дон Иегуда вырос в мусульманской стране, где закон и обычай дозволяют мужчине иметь несколько жен. Наложница пользовалась многими правами, наложница знатного человека, кроме всего прочего, пользовалась еще и уважением. Но никто не мог бы и мысли допустить, что такой большой человек, как купец Ибрагим, может отдать свою дочь в наложницы кому бы то ни было, хотя бы эмиру.

Сам дон Иегуда любил только одну женщину — мать Ракели, которая погибла от несчастного случая, от глупой случайности вскоре после рождения сына Аласара. Но дон Иегуда был ненасытен, и при ее жизни у него были другие женщины, а после ее смерти их было много. Однако до Ракели и Аласара он этих женщин не допускал. Он удовлетворял свою страсть с каирскими и багдадскими танцовщицами, с кадисскими гетерами, славившимися своим искусством в любовных делах; но потом он часто испытывал пресыщение и всегда омылся в проточной воде, раньше чем предстать пред чистый лик дочери. Он не мог отдать свою Ракель в наложницы грубому рыжеволосому варвару.

Род Ибн Эзра славился тем, что больше всех других сефардских евреев потруился на благо своего народа, и

ради блага Израиля Ибн Эзры смиряли свою гордыню. Но одно дело — унизиться самому и совсем другое — унижить свою дочь.

Иегуда знал — Альфонсо не терпит возражений. Ему оставался выбор: отдать королю дочь или бежать. Бежать очень далеко, прочь из всех христианских стран; ибо там страсть дон Альфонсо всюду настигнет его и его дитя. Придется переселиться в далекую мусульманскую страну, на Восток, где евреям еще живется спокойно под защитой султана. Надо взять детей и бежать нищими, унося с собой только бремя долгов, ибо все, что он имел, было вложено во владения дон Альфонсо. Таким же нищим беглецом, каким рабби Товий пришел к нему, придет он в Каср-эш-Шама, к богатым и могущественным каирским евреям.

Но даже если он вырвет из сердца гордыню и, смирясь душой, готов будет принять разорение, бедность и изгнание — имеет ли он на это право? Если он убережет свою дочь от позорного совокупления, гнев дон Альфонсо обратится на евреев. Толедские евреи не смогут помочь своим франкским братьям, не смогут помочь себе самими. Альфонсо передаст право сбора саладиновой десятины архиепископу и отымет у альхамы ее права. И евреи скажут: «Иегуда, мешумад, нас погубил». И они скажут: «Один Ибн Эзра нас спас, этот Ибн Эзра нас погубил».

Как быть?

А Ракель ждала. Он просто физически ощущал, как рядом с ним ждет в своих носилках дочь. И мысленно он прочитал молитву от великой беды: «О Аллах, к тебе прибегаю в нужде и отчаянии. Помоги моей слабости и нерешительности. Огради меня от собственной трусости и неразумия. Огради от людского гнета».

Затем он сказал:

— Нам, дочка, предстоит трудное решение. Я должен сам все обдумать, раньше чем говорить с тобой.

Ракель ответила:

— Как тебе будет угодно, отец. — А мысленно сказала: «Если ты примешь решение уйти, это будет благое решение, и если ты примешь решение остаться, это тоже будет благое решение».

Поздно ночью Иегуда сидел один, у себя в библиотеке и при ласковом свете лампы читал Святое писание.

Читал историю о жертвоприношении Исаака. Бог позвал: «Авраам!» — и тот ответил: «Вот я!» — и приготовился принести в жертву богу своего единственного, возлюбленного сына.

Иегуда думал о том, как все дальше и дальше отходил от него его собственный сын. Аласара с непреодолимой силой влекла рыцарская жизнь в королевском замке, он отвернулся от иудейских и арабских обычаев и мудрости. Правда, другие пажи давали чувствовать ему, еврею, что он здесь не на месте; но казалось, их отпор только усиливал в нем желание стать таким же, как и они, а в явно благоволившем к нему короле он чувствовал поддержку.

Достаточно того, что этот человек отнял у него сына. Нельзя допустить, чтобы он отнял и дочь. Иегуда не мог себе представить, что его дом не будет скрашивать своим присутствием умная и веселая Ракель.

И он развернул другую книгу Писания и прочел про Иеффая, который был сыном блудницы и разбойником и которого сыны Израиля в беде своей поставили над собой начальником и судьей. И раньше чем выступить против врагов, против сынов Аммоновых, он дал обет господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, Адонай, то по возвращении моем с миром от аммонитян что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет тебе, и вознесу сие на всеожжение». И когда он победил сыновей Аммоновых, он возвратился в дом свой, и вот дочь его вышла навстречу ему с тимпанами и пляской, а кроме нее, у него не было ни сына, ни дочери. И когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя! Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего». И совершил над нею обет свой, который дал».

И перед Иегудой встало худое, бледное, померкшее лицо рабби Товия, и он услышал, как тот рассказывает своим монотонным, но проникающим в душу голосом, что во франкских общинах отец имени всевышнего ради приносил в жертву сына, жених — невесту.

От него требуют другого. Это легче и это труднее — отдать дочь сластолюбивому христианскому королю.

На следующее утро дон Иегуда пошел к своему другу Мусе и сказал ему без обиняков:

— Христианский король пожелал мою дочь, чтобы спать с ней. Он вздумал подарить ей загородный дом Галиану, который я выстроил по его повелению. Я должен бежать или отдать ему дочь. Если я убегу, он станет притеснять тех евреев, что находятся в его власти, и тогда бесчисленные евреи, которых преследуют в странах франкского короля, не смогут найти здесь приют.

Муса смотрел в лицо друга и видел, что тот в полной растерянности, ибо перед Мусой Иегуда не надевал маски. И Муса подумал: «Он прав,—если он не покорится, опасность будет угрожать не только ему и его дочери, она

будет угрожать и мне, и толедским евреям, и благочестивому и мудрому и странно чудаковатому рабби Товию, и всем тем, о ком хлопочет Товий, а их очень много. И война вспыхнет скорей, если Иегуда не будет в числе королевских советников».

И Муса подумал: «Он любит дочь, и не желает давать ей совет, который не пойдет ей на благо, и, уж во всяком случае, не желает ее принуждать. Но он хочет, чтобы она осталась и покорилась мужчине. Он убеждает себя, что стоит перед тяжелым выбором, но он уже давно выбрал, он хочет остаться, он не хочет уйти отсюда в нищету, на чужбину. Если бы он не хотел остаться, он бы сразу сказал: нам надо бежать. И я тоже хотел бы остаться, и я тоже очень неохотно во второй раз решился бы на нищету и изгнание».

Муса разделял взгляды мусульман на любовь и наслаждение. Утонченное, одухотворенное «любовное служение» христианских рыцарей и певцов представлялось ему выдумкой, фантазией; любовь у арабских поэтов была осязательной, реальной. И у них юноши умирали от любви, и у них девушки чахли в тоске по любимому; но в том, что мужчина переспит с чужой женщиной, большой беды не было. Любовь — область чувств, не духа. Любовные наслаждения безмерны, но это горячечные наслаждения, не сравнимые со светлой радостью исследования и познания.

В душе его друг Иегуда, должно быть, тоже знает, что жертва, которую требуют от Ракели, не так уж огромна. Но если он, Муса, не убедит его разумными словами, Иегуда, дабы он сам и другие любовались величием его души и его миссией, все же выберет ложный путь и уйдет из Толедо ради «счастья» дочери. Но, верно, в этом не будет для нее счастья. Ибо что ждет ее, если она не станет наложницей короля? Если все обойдется благополучно, Иегуда выдаст ее за сына какого-нибудь откупщика налогов или богатого человека. Разве не лучше, чтобы она узнала большие радости и большие горести, прожила большую жизнь, а не среднюю, бледную? Со стены арабское изречение напоминало: «Не ищи приключения, но и не убегай от него». Ракель — дочь своего отца: если бы ей пришлось выбирать между добропорядочной, бледной жизнью и неверной, опасной, сияющей, она выбрала бы опасную.

Он сказал:

— Спроси ее, Иегуда. Спроси свою дочь.

Иегуда, не веря ушам, воскликнул:

— Я должен предоставить девочке самой решать? Она умная, но что она знает о жизни? И ей предоставить решать судьбы тысяч и тысяч людей!

Муса ответил ясно и деловито:

— Спроси ее, внушает ли ей этот человек отвращение. Если нет—оставайся. Ты сам сказал: если вы с ней скроетесь, злая участь постигнет многих.

Иегуда возразил мрачно и гневно:

— И я должен заплатить за благополучие многих прелюбодеянием собственной дочери?

Муса подумал: «Вот он стоит передо мной искренне разгневанный и хочет, чтоб я разубедил его в его гневе и опроверг его нравственные доводы. В душе он решил остаться. Ему необходима деятельность, его влечет деятельность, ему не по себе, если он бездеятелен. А такой размах в работе, какой нужен ему, возможен, только если в его руках будет власть. А власть у него будет, только если он останется здесь. Может быть, даже—но в этом он себе ни за что не признается,—он считает счастьем то, что король вожделеет к его дочери, и уже мечтает, какое извлечет великое благо и процветание для Кастилии и для своих евреев и какую власть для себя из сладострастия короля». Муса смотрел на друга с горькой усмешкой.

— Как ты разбушевался,—сказал он.—Ты говоришь о прелюбодеястве. Если бы король хотел сделать из нашей Ракели блудницу, он тайно встречался бы с ней. А вместо этого он, христианский король, хочет поселить ее в Галиане, ее, еврейку, и это теперь, во время священной войны!

Слова друга затронули Иегуду. Тогда, лицом к лицу с доном Альфонсо, он воспылил к нему гневом и ненавистью за его грубость и необузданность, но в то же время почувствовал и какое-то неприязненное уважение за его гордость и исполинскую силу желания. Муса прав: такая грозная сила желания больше, чем прихоть сластолюбца.

— В этой стране не в обычае брать себе наложниц,—возразил без особого жара Иегуда.

— Ну, тогда король введет это в обычай,—ответил Муса.

— Моя дочь не будет ничьей наложницей, даже наложницей короля,—сказал Иегуда.

Муса ответил:

— Наложницы праотцев стали родоначальницами колен Израилевых. Вспомни Агарь, наложницу Авраама: она родила сына, который стал родоначальником самого могущественного народа на земле, имя ему было Измаил.—И так как Иегуда молчал, он еще раз посоветовал ему, и очень настоятельно:—Спроси свою дочь, внушает ли ей отвращение этот человек.

Иегуда поблагодарил друга и ушел.

И пошел, и позвал дочь, и сказал:

— Спроси свое сердце, дитя, и будь со мной откровенна. Если король придет к тебе в Галиану, почувствуешь ли ты к нему отвращение? Если ты скажешь: этот человек внушает мне отвращение,—тогда я возьму тебя за руку, позову твоего брата Аласара и мы уйдем и отправимся через северные горы в землю графа Тулузского, а оттуда дальше, через многие земли, во владения султана Саладина. Пусть он здесь беснуется, и пусть его гнев поразит тысячи.

Ракель чувствовала в душе смиренную гордость и неудержимое любопытство. Она была счастлива, что Аллах избрал ее среди многих, так же как и ее отца, и ее переполняло почти непереносимое чувство ожидания.

Она сказала:

— Король не внушает мне отвращения.

Иегуда предостерег ее:

— Подумай хорошенько, дочь моя. Может быть, много горя навлечешь ты на свою голову этими словами.

Донья Ракель повторила:

— Нет, отец, король не внушает мне отвращения.

Но, сказав эти слова, она потеряла сознание и упала.

Иегуда страшно перепугался. Он стал шептать ей на ухо стихи из Корана, он позвал кормилицу Саад и прислужницу Фатиму и велел уложить ее в постель, он позвал Мусу-лекаря.

Но когда пришел Муса, чтобы оказать ей помощь, она спала тихим, глубоким, явно здоровым сном.

После того как решение было принято, сомнения оставили Иегуду, и он почувствовал уверенность: теперь он осуществит все, что задумал. Лицо его сияло такой веселой отвагой, что рабби Товий смотрел на него взглядом, исполненным упрека и огорчения. Как может сын Израиля быть таким радостным в нынешнюю годину бедствий! Но Иегуда сказал ему:

— Укрепи свое сердце, господин мой и учитель, уже недолго ждать, скоро у меня будет радостная весть для наших братьев.

И донья Ракель то вся светилась радостью, то погружалась в задумчивость, замыкалась в себе, все время ожидая чего-то. Кормилица Саад приставала к своей питомице, просила поведать, что с ней творится, но та ничего не говорила, и старуха была обижена. Ракель спала хорошо все это время, но подолгу не могла заснуть, и, лежа без сна, она слышала голос своей подружки

Лейлы: «Бедная ты моя»,—и она слышала властный голос дон Альфонсо: «Я так хочу». Но Лейла глупенькая девочка, а дон Альфонсо славный рыцарь и государь.

На третий день дон Иегуда сказал:

— Теперь я доложу королю наш ответ, дочка.

— Могу я высказать одно желание, отец?—спросила Ракель.

— Говори, какое у тебя желание,—ответил дон Иегуда.

— Я хотела бы,—сказала Ракель,—чтобы, раньше чем я уйду в Галиану, там на стенах были выведены изречения, которые в нужную минуту указали бы мне правильный путь. И прошу тебя, отец, выбери сам эти изречения.

Желание Ракели тронуло Иегуду.

— Но пройдет месяц, прежде чем будет готов фриз с надписями,—заметил он.

Донья Ракель ответила с улыбкой, исполненной грустной радости:

— Именно об этом я и подумала, отец. Пожалуйста, позволь мне побыть это время еще с тобой.

Дон Иегуда обнял дочь, прижал ее лицо к своей груди, так что оно было видно ему сверху. И что же? На ее лице он прочел то напряженное и счастливое ожидание, которым был охвачен он сам.

Торжественный поезд с секретарем дон Иегуды Ибн Омаром во главе двинулся из кастильо Ибн Эзра. Слуги везли на мулах всякого рода сокровища, редкостные ковры, драгоценные вазы, мечи и кинжалы великолепной работы, благородные пряности; в караван были включены две чистокровные лошади, три кувшина, доверху наполненные золотыми мараведи. Караван пересек рыночную площадь, Сокодовер, и стал подниматься к королевскому замку. Народ глазел и говорил: это караван с подарками.

В замке дежурный камерарий доложил королю:

— Подарки прибыли.

Ничего не понимая, Альфонсо спросил:

— Какие подарки?

Почти оторопев от изумления, смотрел король, как вносили в покои сокровища. Подарки Ибн Эзры, несомненно, были ответом еврея на высказанное им желание. Ответом иносказательным, как принято у неверных. Но еврей оставался таким же загадочным, как и раньше, его иносказательный ответ был слишком тонок, дон Альфонсо не понял его.

Он призвал Ибн Эзру.

— Чего ради посылаешь ты мне всю эту раззолоченную ерунду? — напустился на Иегуду король. — Хочешь купить меня для твоих обрезанных? Хочешь, чтоб я откупился от священной войны? Или ты считаешь, что я способен на коварное предательство? Какая дьявольская наглость!

— Прости твоего слугу, дон Альфонсо, — спокойно ответил Иегуда, — но я не понимаю, чем мог тебя прогневить. Ты предложил мне, недостойному, и моей дочери богатый подарок. У нас есть обычай отвечать на подарок подарком. Я постарался выбрать все лучшее из моих богатств, все, что может порадовать твой взор.

Альфонсо нетерпеливо ответил:

— Почему ты не говоришь напрямик? Скажи так, чтобы тебя понял христианин и рыцарь: придет твоя дочь в Галиану?

Он стоял совсем рядом с евреем и прямо в лицо бросал ему свои слова. Иегуду душил стыд. «И сказать это я еще должен, — думал он, — должен подтвердить грубыми словами, что мое дитя будет лежать в его постели, пока его королева, недостижимо высокая, живет в своем далеком холодном Бургосе. Собственными устами должен я произнести слова позора и унижения, я, Иегуда Ибн Эзра. Но он, необузданный, мне за это заплатит. Заплатит добрыми делами. Хочет он того или нет!»

А дон Альфонсо не оставляли его мысли: «Я горю, я умираю. Когда же он, собака, наконец заговорит? Как он на меня смотрит! Страшно становится, когда он так на тебя смотрит».

Но вот Иегуда склонился перед королем, склонился очень низко, коснулся одной рукой земли и сказал:

— Раз на то твоя воля, моя дочь переедет жить в Галиану, государь.

Гнева дон Альфонсо как не бывало. Огромная, мальчишеская радость озарила его широкое, вдруг просветлевшее лицо.

— Как это замечательно, дон Иегуда! — воскликнул он. — Какой сегодня чудесный день!

Его радость была такой детски искренней, что Иегуда почти примирился с ним.

Он сказал:

— Моя дочь просит только об *одном*: чтобы на фризях были подходящие изречения, когда она переступит порог Галианы.

Дон Альфонсо снова почувствовал недоверие и спросил:

— Что это опять такое? Уж не выдумываете ли вы всякие хитрые предлоги, чтоб обмануть меня?

Дон Иегуда с горечью подумал о праотце Иакове, который служил за Рахиль семь лет и еще семь, а этот человек не хочет подождать и семь недель.

Он честно сказал с болью в сердце:

— Моя дочь далека от хитростей и коварства, дон Альфонсо. Прошу тебя, соблаговоли понять, что донье Ракель хочется пожить еще немного под отцовским кровом, раньше чем она вступит на новый путь. Прошу тебя, соблаговоли понять, что ей хочется найти привычные ей мудрые слова в новом, может быть, не безопасном месте.

Альфонсо спросил хриплым голосом:

— Сколько времени потребуют надписи?

Иегуда ответил:

— Меньше чем через два месяца моя дочь будет в Галиане.

Часть вторая

Без малого на семь лет заперся он с той еврейкой, не помышляя ни о себе самом, ни о своем королевстве, не заботясь ни о чем на свете.

*Альфонсо Мудрый,
«Crónica general» (около 1270 года)*

На семь лет король Альфонсо
Со своей еврейкой в замке
Заперся. Не расставался
Ни на миг. Ее любил он
Так, что бросил все заботы
О Кастильском королевстве
И себе самом.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Альфонсо открыл глаза, и сна как не бывало. Никогда и нигде не требовалось ему времени для перехода от сонных грез к действительности. Вот и сейчас он сразу же освоился с непривычным мавританским покоем, куда сквозь занавешенное узкое окошко лишь слабо пробивался утренний свет.

Голый, стройный, белотелый, рыжеволосый, лежал он в ленивой истоме на роскошной постели.

Спал он один. Ракель посреди ночи отослала его прочь; так же было и в предыдущие три раза. Она хотела просыпаться одна. С вечера и утром, прежде чем показаться ему, она долго занималась собой, купалась в розовой воде и тщательно одевалась.

Он встал; потянулся и, как был, голый, принялся шагать по небольшой, устланной коврами комнате. Он тихонько напевал про себя, но так как кругом стояла тишина и каждый звук был приглушен, он начал напевать громче, запел громче, громко, во весь голос запел воинственную песню, давая волю радости, теснившей грудь.

С тех пор как он находился в Галиане, он не видел ни одной христианской души, если не считать управителя Белардо; он не пускал к себе на глаза даже своего друга Гарсерана, а тот всякое утро являлся спросить, не пожелает ли и не прикажет ли государь чего-нибудь. Прежде каждый час был заполнен людьми и делами или хотя бы суетой и разговорами; а теперь впервые Альфонсо был не занят и один. Куда-то провалились Толедо, Бургос, священная война, вся Испания целиком, ничего не существовало, кроме него и Ракели. С изумлением отдавался он этому новому, никогда не испытанному чувству. Вот это настоящая жизнь; до сих пор он не жил, а прозябал в каком-то полусне.

Он перестал петь, расправил плечи, со вкусом зевнул, беспричинно засмеялся.

Потом он и Ракель снова были вместе. Позавтракали, он — куриным супом с мясным пирогом, она — яйцом, слезами и фруктами. Он выпил пряное вино пополам с водой, она — лимонный сок с сахаром. Он гордо и радостно озирает ее. Ракель была в широком одеянии из легкого шелка, на голову наброшено небольшое покрывало, как полагалось замужней женщине. Но сколько бы она ни куталась и ни закрывалась, все равно он знал ее всю до кончиков ног.

Они оживленно болтали. Он требовал, чтобы она все рассказывала и растолковывала; ведь многое из того, что касалось ее, было ему чуждо, а он желал знать все и понимал ее, на каком бы языке она ни говорила — на арабском, латинском или кастильском. Да и самому ему без конца приходило в голову что-то новое, что, конечно, должно быть ей любопытно, и он спешил с ней этим поделиться. Всякое слово, сказанное одним из них, было очень важно, хотя бы оно и звучало бессмысленно и ребячливо, а оставшись наедине, каждый из них вспоминал слова другого и обдумывал их, улыбаясь. Какая же это радость — по намеку понимать друг друга, несмотря на то, что они такие разные. Но ведь в самых своих заветных чувствах они единоклубны, ибо оба ощущают одно и то же — беспредельное счастье.

О, блаженство слияния друг с другом! Вот оно приближается, оно все ближе. Еще короткий миг — и оно настанет, и оба жаждут его и все же медлят, ибо желание не менее сладко, чем свершение.

При Галиане был большой парк. Внутри строгих белых стен ограды столько оставалось неоткрытых уголков, и со всем — с рощицей, с беседкой, с прудом и с самым домом были связаны удивительные события и воспоминания. Например, две полуразрушенные цистерны: эти остатки древней машины рабби Ханана для измерения времени так

и оставили нетронутыми. Ракель рассказала Альфонсо о жизни и кончине рабби Ханана, соорудившего машину, Альфонсо выслушал, не очень заинтересовался и промолчал.

Зато оба знали и часто обсуждали историю принцессы Галианы, чье имя носило поместье. Отец ее, король Толедский Галафре, построил для нее этот дворец. Молва о красоте принцессы привлекала много женихов, среди них был и Брадаманте, король соседней Гвадалахары, отличавшийся огромным ростом. И король Галафре обещал отдать дочь ему в жены. Но король франков, Карл Великий, тоже прослышал о красоте принцессы Галианы, он явился в Толедо, назвавшись вымышленным именем «Мэнет», поступил на службу к Галафре и победил его могущественнейшего врага, калифа Кордовы. Галиана влюбилась в доблестного Карла, и король Галафре из благодарности обещал теперь руку дочери ему. Но обманутый жених, великан Брадаманте, пошел на Толедо войной и вызвал Мэнета-Карла на поединок. Тот принял вызов, одолел и убил великана. Однако быстрое возвышение Карла породило множество завистников, те стали нащепывать королю Галафре, что Мэнет хочет отнять у него престол, и Галафре решил подослать к Мэнету убийц. Но принцесса Галиана предупредила своего возлюбленного, вместе с ним бежала в его город Ахен и стала христианкой и королевой.

Ракель согласна была поверить, что Галиана влюбилась в короля франков и бежала вместе с ним, но что Карл одолел великана, этому она не верила, а что Галиана стала христианкой, не верила и подавно.

— Все это дон Родриго вычитал в старинных книгах, а он человек очень ученый,— доказывал Альфонсо.

— Хорошо, спрошу дядю Мусу,— решила Ракель.

Альфонсо начал раздражаться.

— Дворец Галианы был разрушен, когда мой прадед завоевал Толедо,— сказал он.— Его не стали восстанавливать, потому что в ту пору Толедо находился у самой границы. Ныне же я крепко держу в руках Калатраву и Аларкос, и Толедо в полной безопасности. Вот отчего я спокойно мог отстроить для тебя дворец Галианы.

Ракель чуть заметно улыбнулась в ответ. Незачем ему было рассказывать, какой он герой, рыцарь и великий король; все и без того знали это.

Альфонсо требовал, чтобы Ракель растолковала ему изречения, гирляндами извивавшиеся по стенам и фризам; многократно здесь повторялись старинные куфические письма, и Ракель без труда читала их. Она рассказала Альфонсо, как научилась читать и писать. Начала с обиходного нового письма «насах» и чтения стихов Корана

и девяноста девяти имен Аллаха, потом стала изучать древнее куфическое письмо и, наконец, при помощи дяди Мусы—еврейское. Альфонсо прощал ей всю эту уйму ничемных знаний, потому что она была Ракель.

Среди изречений на стене было одно древнеарабское, которое особенно любил дядя Муса: «Пушинка мира ценнее, чем железный груз победы». Ракель прочла королю это изречение; вескими, туманными и величавыми казались эти диковинные слова в ее детских устах. Так как он не понял, она перевела их на более привычную латынь: «Унция мира больше стоит, чем тонна победы».

— Вздор,—отрезал Альфонсо,—это годится для крестьян и горожан, но никак не для рыцарей.—Боясь обидеть Ракель, он добавил примирительно:—Ну, в устах дамы это ничего.

— Я сам тоже сочинил как-то поучение,—рассказал он немного позднее,—это было, когда я брал Аларкос. Я захватил горный кряж к югу от Нар-эль-Абиад и оставил там крепкий заслон под началом некоего Диего, ленника моих баронов де Аро. Так вот, этот Диего заснул и проморгал неприятеля, который нахрапом захватил его солдат. Мне это чуть не стоило Аларкоса. Я велел привязать лентяя к одному из кольев палатки. И тут-то сочинил свое поучение. Дай-ка припомнить. «Пусть тот не спит, кто у врага стремится отобрать и жизнь и щит. Волк спящий остается без еды, а спящий человек не может победить...» Я приказал написать это огромными буквами, чтобы Диего читал мое поучение в первое утро, и во второе, и в третье. Только потом я велел выколоть его бесполезные глаза, а потом взял Аларкос.

В этот день Ракель была очень молчалива.

Самые знойные часы она обычно проводила в тишине и полумраке своей спальни, где пропитанная водой войлочная обшивка давала прохладу. А дон Альфонсо ложился в парке под деревом, поближе к садовнику Белардо, который даже и в жару трудился или делал вид, будто трудится. В первый раз Белардо хотел улизнуть, но Альфонсо окликнул его, он любил беседовать с низшими. Он говорил их языком, умел попасть им в тон, и потому они верили ему и при всем благоговении не стеснялись высказывать правду. Короля забавляло круглое, лоснящееся, плутоватое лицо Белардо и его простодушно-лукавые ухватки. Он часто подзывал садовника к себе и толковал с ним.

У Белардо был приятный голос. Альфонсо требовал, чтобы он пел—главным образом романсы. Среди прочих знал он романс о некоей даме Флоринде. Флоринда и ее прислужницы, говорилось в романсе, думая, что никто за ними не наблюдает, обнажили свои стройные ножки и

стали желтой атласной лентой измерять их толщину. Белей и прекрасней всех оказались ножки Флоринды. Но, скрывшись за оконной занавеской, созерцал девичью забаву король Родриго, и тайный огонь воспламенил его сердце. Король позвал к себе Флоринду и так сказал ей: «Флоринда, цветущая, я ослеп и зачах от любви. Исцели мой недуг, и в благодарность я отдам тебе свой скипетр и свою корону». Она будто бы сперва не отвечала и даже разобиделась. Но под конец он настоял на своем, и Флоринда, цветущая, потеряла цвет невинности. Вскоре король понес кару за свое нечестивое сластолюбие, а с ним и вся Испания. И если спросишь, кто из них двух виновнее, ответят мужчины — Флоринда, а женщины ответят — Родриго.

Так пел Белардо, а король слушал, и на минуту у него zakралось подозрение, не с дерзким ли умыслом напомнил ему садовник о судьбе Родриго, последнего готского короля. Ибо, как поется в других романсах, граф Хулиан, отец соблазненной Флоринды, вступил в союз с маврами, дабы отомстить королю Родриго, и привел мавров в Испанию, и греховная страсть короля Родриго была тому причиной, что погибла христианская держава готов.

Однако на лице садовника Белардо было глуповато-простодушное, сокрушенное выражение; он явно не замышлял дурного.

Под вечер Ракель купалась в пруду. Она звала Альфонсо поплавать вместе. Он же стеснялся раздеваться при ней и считал, что и ей неприлично раздеваться при нем. Стародавние предрассудки одолевали его. Магомет предписывал своим последователям три, а то и пять омовений в день, да и у евреев строжайшая чистоплотность была возведена в религиозный закон, а потому церковь порицала тех, кто слишком часто мылся.

Весело вскрикивая, Ракель окунала в воду одну ногу, а потом, собравшись с духом, прыгала сама и принималась плавать. Альфонсо бросался за ней следом, ему доставляло удовольствие плавать и нырять.

Накупавшись, они сидели голые на берегу и обсыхали под лучами солнца. Воздух дрожал от зноя; от цветов и померанцевых деревьев шел пряный аромат, звенели и стрекотали цикады.

— Ты знаешь историю Флоринды и Родриго? — неожиданно спросил Альфонсо.

Да, Ракель знала.

— Но что из-за их любви пошло прахом готское королевство — это пустые басни, — тоном старого мудреца заявила она. — Дядя Муса мне все растолковал. Христианское государство одряхлело, готские короли и солдаты

были чересчур изнежены, потому-то нашим и удалось так быстро, с малыми силами одолеть их.

Альфонсо поморщился оттого, что она сказала «нашим». Но толкование этого неблагонадежного старика Мусы ему понравилось.

— В кои-то веки твоѣ старый сыч Муса оказался прав,— заметил он.— Король Родриго был плохой солдат, вот его и побили. Но с тех пор мы обучились воинскому искусству,— добавил он, приосанясь,— а твоих мусульман, наоборот, изнежили ковры и стихи. Да вдобавок еще и девяносто девять имен божьих, которые они постарались тебе вдолбить. Теперь мы снесем их твердыни и башни, истребим их властителей, и города сровняем с землей и посыпем солью. Ты собственными глазами увидишь, прекрасная дама, как мы сбросим в море твоих мусульман.— Он вскочил. Нагой, задорный, веселый, стоял он на ярком солнце.

Она вся съежилась от чувства отчужденности. Удивительный человек ее Альфонсо. Как посмотришь на него сейчас, такого сильного, веселого, горделивого, мужественного,— он вполне достоин ее любви. Да и по уму он выше, чем представляется. Он великолепен, нет, просто велик, он прирожденный повелитель Кастилии, а быть может, и всей омываемой морем Андалусии. Но самое лучшее под небесами и в небесах для него недоступно. О самом главным он ничего не знает, не знает о духе. А она знает, потому что ее воспитали отец и Муса и потому что она принадлежит к тем, чье наследие — Великая Книга.

Он угадывал, что происходит в ней. Он знал, что она любит его всей душой, что в нем ей дорого все — и доблесть и переизбыток сил, пускай даже граничащий с пороком. Но лучшее в нем, его рыцарство, она понять не может, может только любить. Никто не в силах растолковать ей, что такое рыцарь и даже что такое король. «Мои псы больше смыслят в этом», — с нарочитой грубостью подумал он и на минуту пожалел, что не взял с собой в Галиану своих огромных псов. И в то же время смутно ощутил, что и в душе Ракели есть закрытые для него области, таящие в себе то арабское, то еврейское, в самой основе своей чуждое ему, что он никак не мог уразуметь, мог только уничтожить. И еще неосознанней, еще мимолетней ощутил он, что так же обстояло у него со всей Испанией. Страна принадлежала ему, он владел ею, ему даровал ее господь, он был здесь королем и любил свою страну. Но в этой Испании была большая, очень большая часть того же арабского, еврейского, что было ему покорно и все-таки недоступно.

Тут вдруг он увидел, что Ракель сидит съежившись, беззащитная, всецело отданная ему во власть, увидел

даму в беде и сразу же вспомнил свой рыцарский долг.

— Ну, не думай, что я собрался завтра же сбросить твоих мусульман в море,—поспешил он утешить ее,—а главное, я совсем не хотел тебя обидеть.

Прошло лишь несколько дней, а им уже казалось, что они провели здесь всю жизнь. Однако ни на пресыщение, ни на однообразие они не могли пожаловаться, им всегда не хватало дня, не хватало ночи, столько нового нужно было рассказать, столько представлялось новых развлечений.

Ракель-сказочница сидела у фонтана во внутреннем дворике, в патио, и струи фонтана взлетали и опадали, а Ракель все рассказывала, двадцать, сто сказок, и одна переходила в другую, как надписи на фризах. Она рассказала королю про заклинателя змей и его жену, про щедрого пса, про смерть влюбленного из племени Азра и про печального учителя. Еще рассказала про однозуба и двузуба и про вельможу, который забеременел. Она рассказала сказку о яйце птицы Рок и сказку об апельсине, который раскрылся, когда поэт хотел его съесть, и апельсин вдруг оказался большим городом, где поэта ожидало множество удивительных приключений.

Она сидела на краю фонтана, подперев голову рукой, и рассказывала, и часто закрывала глаза, чтобы лучше видеть то, о чем рассказывала. Повествовала она с чисто восточной наглядностью. Например: «Но на другое утро — доброе утро, милый король и слушатель,—вдова наша отправилась к купцу...» Или же сама перебивала себя и спрашивала: «Ну а как на месте врача поступил бы ты, милый король и слушатель?»

Он слушал и, слушая о том, сколько в мире необычайного, начинал понимать, как необычайна его собственная участь, которую до этих пор он считал вполне естественной. Нет, право же, не менее фантастично, чем ее сказки, было то, что довелось пережить ему. Подумать только! Трехлетним ребенком он стал королем, и гранды ссорились между собой, кому быть его опекуном, таскали его из одного лагеря в другой, из одного города в другой, пока он в четырнадцать лет по-отрочески срывающимся голосом не воззвал с колокольни собора Сан-Роман к толедским горожанам, чтобы они постояли за своего короля и спасли его из рук строптивых баронов. А потом он, совсем еще юношей, посватался к английской принцессе, тоже юной девочке, и сколько же ей пришлось поколесить из-за войны с Леоном, пока наконец удалось отпраздновать свадьбу. Всю свою молодость он растратил на войну и только и знал, что сражался то с неверными,

то с непокорными грандами, то с королем Арагонским, то с Леонским, то с Наваррским, то с Португальским и даже — при всем своем благочестии — со святым отцом. А потом он строил церкви, и монастыри, и крепости и под конец отстроил вот этот загородный дворец Галиану. И теперь обосновался здесь и обрел истинный смысл жизни — эту женщину и ее сказки, на которые в точности была похожа его собственная жизнь.

Ракель придумывала все новые забавы. Она показалась ему в одежде мальчика, в какой имела обыкновение путешествовать. Даже не забыла опоясаться мечом и так красовалась перед ним — нежная, прелестная и неловкая. Она подарила королю затканый золотом халат из тяжелого шелка и к нему расшитые жемчугом туфли. Он очень неохотно надел халат и решительно воспротивился, когда она потребовала, чтобы он сел наземь, скрестив ноги.

Желая загладить обиду за то, что он недостаточно оценил ее подарок, он предстал перед ней в рыцарских доспехах. Правда, доспехи были легкие, серебряные, которые он надевал в парадных случаях. Ракель была искренне восхищена его стройностью и мужественной грацией и призналась, что дрожала за него во время его поединка с быком. Однако когда она попросила, чтобы он показался ей в настоящих доспехах, в тех, которые носил в бою, он замялся, и когда она пожелала посмотреть его знаменитый меч *Fulmen Dei* — молнию господню, — он тоже ответил уклончиво.

Ракель стала расхваливать его перед кормилицей Саад. Та угрюмо промолчала. Тогда Ракель вспыхнула:

— Ты его ненавидишь, терпеть его не можешь!

— Как я могу ненавидеть то, что мило моей козочке! — запротестовала Саад, но потом призналась: — Мне обидно, что он не делает тебя своей султаншей, хоть ты и слишком хороша, чтобы стать его султаншей.

Кормилица ходила озабоченная и огорченная и однажды достала спрятанное на ее обширной груди заветное сокровище — серебряный амулет с пятью лучиками, подобными пяти пальцам. Это была «рука Фатимы», запретный, но очень действенный амулет. Кормилица стала умолять, чтобы Ракель надела его. Ракель растрогалась и взяла амулет.

Когда кормилице что-нибудь было нужно из города, ей приходилось обращаться к Белардо. Они с великим трудом понимали друг друга, и жирный нечестивец был так же противен ей, как и она ему. Но у обоих была потребность почесать язык. И вот они садились на скамью под тенистым деревом и начинали браниться. Закрытая густой чадрой кормилица гортанной арабской скороговоркой высказывала весьма нелестные суждения о короле,

нашем государе, в надежде, что Белардо не поймет ее; он же на грубом кастильском наречье хулил и оплакивал мерзкое кощунство христианского короля, который спит с еврейкой в разгар священной войны. Не понимая друг друга, оба сочувственно кивали головой.

Тем временем дон Альфонсо велел привезти своих собак, огромных псов, которые очень не нравились Ракели. А он возился с ними, во время трапез бросал им куски мяса. Это коробило Ракель, привыкшую к тишине и опрятности за едой. Он видел ее недовольство и то переставал дразнить и кормить собак, то опять принимался за старое. Иногда Альфонсо и Ракель играли в шахматы. Ракель играла хорошо, с явным интересом, долго обдумывала каждый ход. Альфонсо раздражался, просил ее ходить поскорее. Она с удивлением поднимала глаза от доски: в мусульманских странах не было принято торопить партнера. А сам он как-то заспешил, сделал необдуманый ход и собрался взять его назад. Ракель поморщилась и ласково объяснила ему правило: раз ты прикоснулся к фигуре, надо ею и ходить.

— У нас это по-другому,— возразил он и взял свой ход обратно. Она была молчалива до конца игры и старалась, чтобы он обыграл ее.

Кроме того, они удили. Катались на лодке по реке Тахо. Она просила его исправлять ее ошибки в латинском и испанском языках и со своей стороны учила его правильно говорить по-арабски. Он был способным учеником, но придавал мало значения такого рода пустякам.

В Галиане были и песочные, и солнечные, и водяные часы. Ракель даже не устаивала их взглядом. Она узнавала время только по цветам. Например, розы Шираза распускались в полдень, тюльпаны из Конии открывали свой венчик только под вечер, а жасмин—тот начинал по-настоящему благоухать лишь к полуночи.

Однако настал день, когда Гарсеран прорвался к Альфонсо и доложил:

— Мой отец здесь.

Дон Альфонсо грозно нахмурил широкий гладкий лоб.

— Не желаю я никого видеть,—крикнул он,— слышишь, не желаю!

Гарсеран помолчал немного, прежде чем ответить:

— Мой отец, твой первый министр, велел сказать, что вестей у него не меньше, чем седых волос на голове.

Альфонсо шагал из угла в угол, шлепая комнатными туфлями. Гарсеран следил за ним взглядом и по дружбе готов был его пожалеть.

— Попроси твоего отца подождать,—сердито сказал наконец король.—Так и быть, приму его.

Дон Манрике не произнес ни слова упрека, он говорил

о делах так, словно вчера лишь расстался с королем. Магистр ордена Калатравы настоятельно требует аудиенции по важному делу. Епископ Куэнкский находится в Толедо и хочет изложить королю ходатайство своего города. С такой же просьбой обращаются представители города Логроньо и выборные от Вильянуэвы. Люди волнуются, что король никого не принимает.

Альфонсо вспылал:

— Что ж, прикажешь мне сидеть и ждать, не вздумает ли кто-нибудь донимать меня наглыми просьбами? Двух месяцев не прошло, как куэнкский епископ выклянчил у меня тысячу мараведи. Не желаю я видеть его постную и жадную рожу.

Но дон Манрике пропустил замечание короля мимо ушей и продолжал:

— Вильянуэва ждет, чтобы данные ей обещания были выполнены. Льготы для Логроньо недействительны без твоей подписи. Пора кончать дело Лопе де Аро—с каких пор дано обещание решить его! Магистру нужно твое согласие для строительства Калатравы. Жители твоего города Куэнки томятся в подземельях барона де Кастро.

— А мне самому сколько пришлось протомиться? Уж ты-то это знаешь, дон Манрике,— угрюмо, но без прежней уверенности сказал Альфонсо и неожиданно заключил: — Хорошо, завтра буду в Толедо.

Он пошел к Ракели. От огорчения и досады не владея собой, он напрямик объявил:

— Завтра мне надо быть в Толедо.

Ракель побледнела как смерть.

— Завтра?— тупо переспросила она.

— Долго я там не пробуду,—поспешил он успокоить ее,—через два дня вернусь.

— Через два дня,—так же жалобно и тупо повторила она, словно это не дошло до ее сознания. Но тут же попросила: — Подожди, не уходи.—И еще, и еще раз: — Не уходи.

Он ускакал рано утром, и Ракель осталась одна.

Утро тянулось без конца, а ведь еще будет второе и третье утро, прежде чем он вернется.

Она пошла в сад, пошла на берег Тахо, вернулась домой, опять пошла в сад, смотрела на мрачный город Толедо, а роза Ширази все не распускалась и полдень не наступал. А после того, как роза раскрыла лепестки, часы стали ползти еще медленнее. Среди дня Ракель лежала в полумраке своей спальни; было очень жарко, а до вечера казалось бесконечно далеко. И она опять пошла в сад, но тюльпаны еще не раскрылись, тени почти не стали длиннее. Наконец стемнело, но это было еще мучительнее.

После нескончаемой ночи забрезжило густо-серое утро, потом оно посветлело, белесым светом просочилось сквозь занавеси. Ракель встала, не торопила служанок, которые купали, умащали и наряжали ее, сама медлила сколько возможно. Принесли завтрак, но плоды показались ей не сочными, а изысканные сласти — не сладкими. Внутренним взором она видела отсутствующего Альфонсо — он ел всегда рассеянно и жадно. Она говорила с ним, обращалась к его призрачному образу со словами любви, восторгалась его худощавым мужественным лицом, рыжевато-белокурыми волосами и некрупными острыми зубами, гладила его бедра и ноги, говорила бесстыдные слова, какие никогда не решилась бы сказать ему в глаза, и при этом краснела и смеялась.

Она рассказывала себе сказки. Там были великаны и чудовища, которые крушили все вокруг и рвались истребить ее врагов. Они выражали мысли Альфонсо, но доведенные до нелепицы. Один из этих головорезов был Альфонсо, но который — она не могла разобрать. Собственно, это был не он, а какой-то заколдованный, превращенный в страшилище Альфонсо, и он ждал, чтобы возлюбленная вернула ему настоящий облик. Что ж, она расколдует его.

Она вспомнила, как впервые заговорила с ним в Бургосе и сказала, что ей не нравится его мрачный замок. И как его султанша, донья Леонор, окинула ее милостиво-холодным оценивающим взглядом. Ей стало не по себе, но она поспешила стряхнуть неприятное ощущение.

Она написала Альфонсо письмо, не думая, что он когда-нибудь прочтет его, но у нее самой была потребность объяснить, за что она так сильно его любит. Она вложила в это письмо все силы своей души: «Ты прекрасен, ты — величайший рыцарь и герой во всей Испании; как и подобает рыцарю, ты то и дело готов пожертвовать жизнью ради бессмыслицы, и это нелепо и великолепно, и за это я люблю тебя. Мой милый, необузданный, воинственный, ты шумлив, порывист и самовластен, как крылатый хищник, и мне хочется прильнуть к тебе».

Перечитывая письмо, она кивала головой с суровым и страстным выражением. Как-то, изучая язык франков, она прочла книжечку франкских стихов. Одно из стихотворений особенно запало ей в душу. Она разыскала книжку и затвердила его на память: «Сказала дама: «Любой обет исполню для тебя, мой друг, воистину сердечный и желанный, *mon ami et mon vrai désir*». Сказал ей рыцарь: «Чем заслужил я, госпожа, твою любовь?». Сказала дама: «Тем, что ты таков, какого я желала, *mon ami et mon vrai désir*».

Ракель спустилась в сад. Садовник Белардо собирал персики, и она попросила его по севильскому обычаю оставить хоть два плода, чтобы дереву не было скучно. Белардо сейчас же перестал рвать персики, но за его покорностью она уловила недоброжелательство.

Сидя на берегу Тахо, она смотрела в сторону Толедо и грезилась. Ей представлялся Альфонсо в серебряных доспехах. Она подарит ему новые доспехи из вороненого железа, с шарнирами: они очень изящны и тем не менее служат лучшей защитой, чем кольчуга, какую носят христиане. Надо, чтобы отец заказал их у кордовского оружейного мастера Абдуллы.

И вдруг она вспомнила, что обещала отцу хоть изредка приходить к нему в канун субботы и весь праздничный день проводить с ним. Не он настаивал на этом, она сама вызвалась — и ни разу не исполнила обещания! Ее поразило, до какой степени отец стал ей далек.

В эту пятницу она непременно пойдет к нему. Нет, нельзя, тут как раз придет Альфонсо. Зато в следующую пятницу ничто ее не остановит.

В Толедо ни один из советников короля не высказал ни упрека, ни даже удивления. Однако Альфонсо чувствовал, что они порицают его. Это его не трогало. Ему было бы неприятно встретиться лишь с одним человеком — с Иегудой. Но тот не появился.

С утра до вечера Альфонсо был занят делами, приемами, совещаниями, чтением бумаг. Он говорил, спорил, взвешивал доводы за и против, решал, подписывал. Он старался видеть людей и события в ярком и резком свете действительности, но взор его то и дело заволакивали чары Галианы, и, говоря, работая, подписывая, он думал: «Что она делает сейчас? Где она — на мирадоре или в патио? И какое на ней платье? Должно быть, зеленое...»

По ночам он сгорал от страсти. Силился думать о плане крепости Калатравы и о раздорах с епископом Куэнкским. А вместо этого ему приходили на ум строки арабских стихов, которые он слышал от Ракели, и он старался восстановить все стихотворение, но, несмотря на превосходную память, не мог подобрать все рифмы, и это раздражало его. Он явственно видел, как шевелятся губы Ракели, произнося стихи, но не понимал ее, а она старалась ему помочь и раскрывала ему объятия и ждала его. Его бросало в жар, кровь стучала в висках, не давала лежать спокойно.

Наконец три дня, казавшиеся вечностью, миновали, и он снова был в Галиане, и прежний беспредельный неземной восторг, от которого дух захватывало, наполнял их обоих.

Она была покорна всем его желаниям, но ему всего было мало — и ласк, и поцелуев, и объятий, и слияний. Он жаждал ее все сильнее и неистовствовал оттого, что жажда его неутолима.

Он был одно с ней больше, чем с самим собой. Ей он поверял те по-королевски горделивые и по-детски наивные тайны, которые до тех пор никому, даже себе самому, не решался доверить; и когда ему казалось, что он открыл ей самое сокровенное, ее близость побуждала его признаваться в том, что было скрыто еще глубже.

Он любил, когда Ракель что-нибудь отвечала. Ее ответы почти всегда были неожиданны и вместе с тем понятны для него. Но не меньше любил он, когда она молчала — кто еще умел так красноречиво молчать, соглашаться, возражать, радоваться, сетовать, порицать?

И снова для них обоих не существовало времени, не существовало ни прошлого, ни будущего, одно только до краев наполненное настоящее.

Но Ракель неожиданным ударом рассекла это блаженство вне времени.

— Сегодня вечером я собираюсь ехать к отцу в Толедо, — объявила она.

Альфонсо в полном смятении смотрел на нее. Кто из них двух сошел с ума? Не могла она этого сказать! Верно, он ослышался или не понял ее. Он переспросил, запинаясь. Она повторила:

— Сегодня вечером я еду к отцу. Вернусь в воскресенье утром.

Ярость поднялась в нем.

— Ты меня не любишь! — вскипел он. — Мы еще как следует не узнали друг друга, а тебя уже тянет прочь. Это смертельная обида. Ты меня не любишь!

Пока он распалялся все сильнее, она думала: «Он страшно одинок, этот горделивый король. У него нет никого, кроме меня. У меня есть и он и отец».

Но это затаенное торжество не помогло ей против острой, чисто физической боли, которую она ощущала при мысли, что им придется быть врозь сегодня вечером и ночью и еще целый долгий день и целую долгую ночь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дон Иегуда тосковал по Ракели еще сильнее, чем думал. Временами он задыхался от ревности к Альфонсо. И тут же представлял себе, что этому ненавистному сопернику вдруг взбредет на ум вернуть ему Ракель уничтоженную, растоптанную.

Аласар тоже причинял ему немало забот. Двусмысленное положение Ракели, позорная слава сестры и отца все сильнее осложняли юноше жизнь в замке. Но он не просил совета у отца, как тот надеялся и боялся; наоборот, он замкнулся в себе, очень редко появлялся дома и в эти редкие посещения бывал молчалив и подавлен.

Наступила первая суббота после ухода Ракели.

Субботний день с давних пор, еще со времен Севильи, был торжественным днем для Иегуды. Господь подарил своему народу седьмой день, день отдохновения, дабы Израиль даже в годину бедствий чувствовал себя этот один день свободным, отмеченным среди других народов.

Деятельный Иегуда по-настоящему праздновал субботу, он забывал о делах и радовался, что его народ и сам он — избранныки божии.

Наперекор здравому смыслу он надеялся, что Ракель придет в первую же субботу. Когда она не пришла, здравый смысл взял в нем верх над разочарованием. Во вторую субботу ни здравый смысл, ни усилия воли не могли заглушить мучительную душевную боль. Он придумывал сотни причин, задержавших Ракель. Но бесплодные догадки: «Что делает мое дитя? Почему мое дитя покинуло меня?» — продолжали сверлить его мозг.

А потом в Толедо приехал Альфонсо. Иегуду очень соблазняло поглядеться с ним, да и предлог был прекрасный — неотложные дела. Но он боялся, что не совладает с собой и своей обидой, и не пошел к Альфонсо. Он ждал, что Альфонсо позовет его, ждал первый день, второй, третий и радовался, что король его не позвал, и был вне себя, когда король покинул Толедо, так и не позвав его.

Настала и третья суббота без Ракели. Значит, они — этот христианин, солдат, бездушный и бессовестный человек и его собственная, некогда достойная любви и любящая дочь — объединились, сговорились, чтобы истерзать его молчанием, вырвать у него из груди сердце. Ракель потеряна для него.

Но тут пришла от нее весть. А в канун следующей субботы явилась она сама.

Иегуде претили внешние проявления чувства. Однако он почти грубо обхватил, прижал к себе Ракель и отогнул ее голову, упиваясь ее созерцанием. Она словно отдыхала в его объятиях, закрыв глаза, и он не мог прочесть в них, каково ей пришлось. Одно было ясно: она не унижена и не жалка, это его прежняя Ракель, только еще похорошевшая.

Он попросил ее зажечь светильники, эта честь, по старинному обычаю, была предоставлена женщинам; огни

светильников озарили сгущающиеся сумерки—это был хороший праздничный вечер. Иегуда пропел субботнюю песнь Иегуды Галеви: «Приди, возлюбленный, приди, субботний день, и встретить невесту»,—и, ликуя, прочитал псалом Давида: «Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и ликуют все деревья дубравные перед лицом господа!»

Они сели за трапезу вместе с неизменным Мусой. Ракель казалась задумчивой, но счастливой. Муса, против своего обыкновения, погладил ее руку и сказал:

— Как ты прекрасна, дочь моя.

За трапезой речь шла о многом, только не о том, что занимало их мысли.

Эту ночь Ракель спала крепко и покойно. Иегуда же все еще томился сомнениями, а может быть, и ревностью. Но те муки, какие он испытывал в последнее время, исчезли.

На следующий день Ракель вдвоем с отцом сидела в патио, возле водомета; улыбаясь, они посмотрели друг на друга сперва искоса, потом прямо, и, наконец, Ракель ответила на невысказанный вопрос:

— Все хорошо, отец, я не чувствую себя несчастной.—Потом призналась:—Я счастлива.—И совсем уж искренне:—Я очень счастлива.

Иегуда обычно не затруднялся ответом; а тут он не знал, что сказать. Конечно, с его души свалился тяжкий гнет, но был ли он рад, этого он и сам не знал.

В Галиане Ракель почти совсем вернулась к мусульманству, а тут она вспомнила о своем иудействе. Над дверями кастильо Ибн Эзра, как над входом в каждый еврейский дом, были укреплены знаки иудейской веры—небольшие трубки, в которых заключены пергаментные свитки с исповеданием веры в единого сущего бога Израилева и обетом безоговорочной преданности. Ракель решила, что такая же мезуза должна быть и над входом в Галиану.

Настала ночь, а с ней и *гавдала*, разделение,—трогательная и грустная церемония, которой суббота отделяется от прочих дней недели, праздник—от будней. Зажгли свечу, наполнили кубок вином, принесли пряности в драгоценном сосуде, и Иегуда, благословив вино, отпил от него и, благословив пряности, в последний раз вдохнул их субботний аромат и, благословив огонь, погасил свечу в вине.

После этого они пожелали друг другу доброй ночи с нелегким сердцем, ибо им предстояло увидеться снова лишь через неделю. Но Ракель еще не успела заснуть, как в ней не осталось иных чувств, кроме ожидания утра, когда она возвратится в Галиану.

У каноника дона Родриго было человеколюбивое сердце, каноник дон Родриго старался соблюдать христианский долг послушания, но случилось, что между его человеколюбием и заповедью послушания возникал разлад.

Святой отец возвестил крестовый поход, и долг Испании был принять в нем участие; но когда каноник думал о том, что в мире опять разгорелась великая война и люди терзают и уничтожают друг друга, он радовался, что хотя бы его полуостров до сей поры пощажен. Однако же это была греховная радость, и когда по ночам он думал о том, что стольким истинным христианам суждено претерпеть смерть и мучения во имя Святой земли, пока он со своими испанцами благоденствует, его охватывал такой жгучий стыд, что он вставал с постели и ложился спать на голой земле.

Скорбь его о всеобщем бедствии усугублялась огорчением из-за дона Альфонсо, его духовного чада. Каноник любил Альфонсо, как младшего брата. А лучезарный рыцарь и король глубоко огорчил его. Начиная свою летопись, Родриго заранее предвкушал, что завершит ее описанием правления своего возлюбленного питомца и духовного сына; он подыскивал уже слова, какими обрисует сущность Альфонсо, восьмого этого имени: *vultu vivax*, *memoria tenax*, *intellectu sara*x, ясный ликом, крепкий памятью, сильный разумом. И вдруг его Альфонсо так неслыханно и гибельно уронил себя, погряз в тяжчайшем грехе, в одном из коренных, главных грехов, третьем по счету смертном грехе!

Его, Родриго, обязанность побудить Альфонсо к раскаянию на деле, ибо оно только и может спасти короля от духовной смерти. Однако Родриго хорошо знал человеческую душу и видел, что грешник одурманен пряным запахом греха и всякое увещание будет тщетно. Канонику оставалось только молиться за Альфонсо. Когда он предавался умерщвлению плоти, ему временами казалось, что он частично искупает вину Альфонсо. Правда, смертному не пристало дерзновенно уподобляться Спасителю и брать на себя грехи другого человека, каноник сознавал это, и все-таки в его самобичевание прокрадывалась такая утешительная ересь.

Хотя налагаемые на себя покаяния, по существу, не давали канонику ничего, кроме чувства исполненного долга, зато в эти благодатные часы он ощущал сладостную неземную легкость. Тело его как будто исчезало, все земное растворялось, и он вкушал чистое блаженство, сотканное из духа и бога.

Он уже совсем было потерял надежду спасти короля от духовной гибели, как вдруг в одну из минут такого

восторга все его сомнения рассеялись. Он почувствовал, что его молитвы услышаны. Из самых недр души поднималась уверенность, что в нужную минуту господь вложит ему в уста нужные слова.

Это вновь обретенное упование не поколебалось и после того, как архиепископ призвал его к ответу.

— До каких пор будешь ты спокойно созерцать, что твой духовный сын Альфонсо погрязает в нечестии?— накинулся на него дон Мартин и, прежде чем он успел ответить, продолжал:— Вспомни, как Финеес, сын сына Ааронова, ополчился на человека, прелюбодействовавшего с мадианитянкой.

Каноник задумчиво поднял на него взор и ответил спокойно, с едва уловимой улыбкой:

— Неужто богу угодно, чтобы я вонзил копьё в чрево королю, нашему повелителю, и донье Ракель?

— Ты понимаешь, что я говорил лишь иносказательно,—гневно возразил архиепископ.—Однако же запомни: усердия у тебя не видно.

— Я уповаю на бога,—сказал дон Родриго.—В нужную минуту он внушит мне нужные слова.

Архиепископ понял, что от дона Родриго больше ничего не добьешься. Впрочем, он уже несколько недель подумывал, не следует ли ему самому поговорить с королем о его вопиющем преступлении. Дон Мартин с великой неохотой поручил эту задачу благочестивому, до святости кроткому Родриго и теперь сердился, что в ответ на свое мягкое напоминание слышал какую-то несвязную благочестивую болтовню. Он искал предлога, чтобы сорвать накипевшую досаду на своем секретаре.

Кстати, между ними шел один давний спор. В то время как весь христианский Запад, следуя примеру римского игумена Дионисия Малого, вел свое летосчисление от рождения Христова, испанские государи начинали его на тридцать восемь лет раньше, с того года, когда император Август превратил Иберийский полуостров в единое государство. Такое различие в летосчислении вызывало путаницу при переписке с заграницей, и потому дон Родриго делал попытки датировать письма из архиепископской канцелярии по заграничному образцу. Когда архиепископ был в хорошем расположении духа, он мирился с такими еретическими новшествами своего секретаря. В гневе же он решительно пресекал их. Вот и сегодня он ни с того ни с сего заявил строгим тоном:

— С прискорбием заметил я, любезный господин и брат мой, что ты снова принялся помечать наши письма тем же годом, что папская канцелярия. Я неоднократно высказывал тебе свою волю сохранить за испанской церковью ее своеобразие. Я отнюдь не желаю отказывать-

ся от прав, которые старше, нежели права самого папы. Недаром же мой предшественник, первый епископ Толедский, был посвящен в сан апостолом Петром.

Дон Родриго понимал, почему его начальник с таким жаром возобновляет старый спор о летосчислении. Не пускаясь в распри, он примирительно заметил:

— Поверь мне, досточтимый отец, господь непременно дарует мне милость спасти душу короля, нашего государя.

Альфонсо остановился перед мезузой, свитком с заповедями иудейской веры, который Ракель повесила на косяке двери, ведущей в ее покои в Галиане.

— И ты еще многое собираешься менять здесь?— спросил он с легкой, незлобивой насмешкой.

— Разумеется,—весело ответила Ракель.—Когда дом окончен, остается только умирать,—процитировала она арабскую поговорку.

— Ну что ж, лишний амулет не помешает,—согласился Альфонсо.

Ракель ничего не ответила. Она не рассердилась на него за то, что в заповедях ее веры он увидел всего лишь амулет. Как мог он понять единого, незримого бога Израилева, когда сам преклонял колена перед изображениями трех богов? Он был только рыцарем и солдатом, и благоговейный трепет перед всевышним был ему чужд. Это она давно уже знала, но, как ни странно, это не унижало его в ее глазах. Как ни пагубно и безбожно было его рыцарство, оно согревало ей сердце.

Альфонсо, в свою очередь, старался осознать все то, о чем до тех пор у него было лишь смутное представление. Пусть его жизнь здесь, в Галиане, недостойна рыцаря, пусть это измена его королевскому долгу—он готов заплатить за свое счастье такой изменой. Быть с любимой стало смыслом его жизни. Он страдал, расставаясь с нею даже на несколько минут. Никогда не будет он в силах с ней расстаться; это он чувствовал, понимал, и это было ужасно, и в этом было блаженство.

Ракель, как и он, не знала ничего, кроме своего счастья. Она жила здесь не ради какой-то «высшей цели». Она жила здесь потому, что ей так хотелось, потому, что она была здесь счастлива. И Альфонсо, христианин, рыцарь, варвар, был ей мил таков, как он есть. Он был король и подчинялся одному-единственному закону—своему внутреннему королевскому голосу, и этот голос всегда был прав, даже когда повелевал ему ослепить часового, заснувшего на своем посту, или сровнять с землей и посыпать солью неприятельский город.

С ним и за него она гордилась тем, что раньше вызвало бы у нее насмешливую улыбку. Он рассказывал ей о свирепых готских и норманнских королях — своих предках, и она восхищалась ими вместе с ним. Он расхваливал грубость и сочность своей вульгарной латыни, своего кастильского, и она прилежно училась ему.

Он радовался, как ребенок, когда она употребляла слова и обороты его солдатского кастильского языка. В благодарность он согласился надевать восточный халат на те часы, когда Ракель, сидя у фонтана, рассказывала ему сказки. Но когда она вкрадчиво попросила его сбрить бороду, потому что ей хочется видеть его лицо без растительности, он грубо отказался.

— Так ходят только жонглеры, скоморохи, — возмущенно заявил он. Она не рассердилась, а только засмеялась. Между ними не могло быть отчуждения, они были одно, как и в первые дни.

Но вот настала пятница, и Ракель собралась к отцу. На этот раз Альфонсо не стал ее отговаривать; он только сидел, надувшись, как обиженное дитя.

Ракель покинула его с таким же тяжелым сердцем, как и в первый раз. Но уже по пути к кастилю Ибн Эзра ей страстно захотелось видеть отца, она почувствовала, как нуждается в том, чтобы он помог ей, вселил в нее новые силы. Близ него она и в самом деле становилась сильнее.

В Галиане она была лишь частицей Альфонсо, а не самой собой; она восторгалась цельной натурой Альфонсо и казалась себе хуже его из-за своей раздвоенности. А в присутствии отца она знала, что ее раздвоенность — это заслуга, это хоть и спорное, но все же счастье.

Альфонсо на этот раз не поехал в Толедо; ему не хотелось опять видеть вокруг себя молчаливо-укоризненные лица своих советников. Он предпочел претерпеть муку ожидания Ракели в Галиане.

В ее отсутствие ему было тягостно чуждое убранство дома. Мягкие ковры, цветистые завитушки и украшения, плещущие фонтаны угнетали его.

Он остановился перед вьющимся по фризу еврейским изречением. При своей превосходной памяти он точно запомнил слова, которые Ракель перевела ему. Еврейский бог обещал в них своему избранному народу вечную милость и торжество над всеми другими народами. Альфонсо страстно тосковал о Ракели и вместе с тем, глядя на дерзкую надпись, думал: неспроста я до такой степени страдаю из-за нее, так уж созданы евреи, что с соизволения божия дьявол чаще всего избирает их своим орудием. «Змея за пазухой, огниво в рукаве», — вдруг припомнилось ему. Ракель тоже помимо собственной воли ведьма, и он околдован ею.

Альфонсо вышел в сад, бросился на траву под деревом. Позвал Белардо, чтобы поболтать с ним, и напрямик спросил его:

— Что ты, собственно, думаешь о моей жизни здесь, в Галиане?

Всем своим круглым, заплывшим жиром лицом Белардо выразил глуповатое недоумение.

— Что я думаю, государь, того мне не то что сказать, даже и думать не годится,—вымолвил он наконец.

— Все равно, говори,—нетерпеливо приказал Альфонсо.

— Раз уж мне велено говорить,—ответил Белардо,—вот что я скажу: этот великий из великих грехов можно себе позволить, только когда и сам ты великий из великих.

— Говори все!—потребовал Альфонсо.

— Жалко также,—вполне освоившись, продолжал садовник,—что из-за этого всем нам, да и тебе самому, государь, придется распрощаться с нашей сердечной услугой и главным делом нашей жизни.

— Говори, не стесняйся,—ободрил его король.

— Последние месяцы мне частенько вспоминается покойный мой дед,—тараторил Белардо.—Когда на него находило такое расположение, он все рассказывал про свой великий священный поход. Вот как оно было, государь. Попросил, значит, тогдашний византийский император Алексий святого отца о помощи для Святой земли и отписал ему, какое поношение терпит там христианство, и как у священных изображений Спасителя поотбиты руки, ноги, уши и носы, и как язычники-мухаммедане только и знают, что творят злое насилие над христианскими девами, а матерям тем временем велят петь, а потом учиняют то же над матерями и требуют, чтобы дочери распевали непотребные романсы. И еще писал византийский император, что, конечно, и война эта—священная, и вдобавок еще у язычников можно пожить золотом и всякими сокровищами, да и женщины на Востоке куда соблазнительнее, чем на Западе. Все христиане расчувствовались и распалились гневом, прочитавши это письмо, и покойник дедушка вместе со всеми. Он нашел себе на грудь крест, купил поношенный кожаный колет и кожаный шлем и с милостивого дозволения вашего блаженной памяти прадедушки пустился в дальний путь. Даже и вообразить себе не могу, как у него, у старика, сил на это хватило; правда, в те поры он был помоложе. Но куда он туда доплелся, все уже успели расхватать добычу—и золото и женщин, ну и полегли, конечно, многие. Дедушке так и не довелось повоевать, и домой он вернулся ни с чем. А все-таки лучше этого у него ничего в жизни не

было, ведь он молился у того камня, на котором сидел сам Спаситель, и пил ту воду, которую пил сам Спаситель, и окунал тело в святую реку Иордан. Когда на деда находило такое расположение, он обо всем об этом рассказывал, и глаза у него тогда бывали, как у блаженного.

Белардо умолк, забывшись в воспоминаниях.

— Ну? — произнес Альфонсо.

— Ох, хорошо было бы и нашему брату сподобиться такой богоугодной забавы, — произнес Белардо с глуповато-мечтательной миной. — А что дурного случится с нами, если мы пойдем войной на окаянных мухаммедан? Коли повезет — захватим денег и женщин, коли не повезет — попадем прямехонько в рай.

— Словом, — заключил дон Альфонсо, — ты считаешь нечестивым, что я пребываю здесь в сладострастной неге?

— Избави меня господь от таких богомерзких мыслей против твоего величества, — запротестовал Белардо.

Как ни дурашливы были речи бойкого садовника, они задели Альфонсо за живое.

Значит, все считают, что он пренебрегает своим долгом рыцаря и короля, что он «изнежился», как Геркулес и Антоний из героев древности и как еврейский рыцарь Самсон со своей Далилой. В доме ему стало невмочь, он все время проводил в саду и даже спал под открытым небом, и сон его был тревожен.

Но как только Ракель возвратилась, прежние чары вновь овладели им. И мусульманские обычаи уже не отталкивали его. Жизнь в Галиане прекрасна, лучшей он никогда не знал. Он засмеялся по-юношески, изумляясь своему счастью. Веселый задор вселился в него. Пусть он изнежился, — значит, ему так нравится, значит, он на это идет, и нечего тут трубить ему в уши о грехе и раскаянии.

Такое высокое счастье, какое дарит ему Ракель, не может исходить от лукавого. Нет, наоборот, господь не оставляет его милостями, потому что он король, и это любовное блаженство — новая милость господня. Не зря же он дон Альфонсо, *Alfonsus Rex*, восьмой этого имени. Он отвечает за свои поступки. Он взял себе в любовницы Ракель по внушению свыше и по своей королевской воле.

Когда Ракель отправилась к отцу в следующую пятницу, он сказал:

— Я не желаю, чтобы ты украдкой пробиралась в мою столицу. Я не желаю, чтобы та, кого король Альфонсо избрал своей дамой, тайлась от людей.

И Ракель отправилась в Толедо в открытых носилках. А сам Альфонсо вызвал свиту к себе в Галиану и торжественно въехал на коне в город и королевский замок.

Паж Аласар обратился к королю с просьбой. Оруженосец Санчо поднял на смех его любовное служение донье Хуане, и он хочет вызвать Санчо на поединок. А посему смиренно просит короля пожаловать его в оруженосцы, чтобы он мог послать вызов.

Притязания юноши были справедливы, он дольше положенного срока беспорочно нес свою службу и был вправе ожидать, что король дарует ему это звание. Но как же сделать еврея оруженосцем?

— Ты, милый мой Аласар, наделен всеми качествами, требуемыми для рыцаря,—приветливо ответил Альфонсо после короткого раздумья.—Однако у нас в королевстве рыцари все христиане.

Юноша покраснел.

— Я знал об этом,—промолвил он,—и, прежде чем обратиться к твоему величеству за милостью, долго пытал свою совесть, взвешивал все доводы за и против. Я готов стать рыцарем-христианином.

Альфонсо поразился и растерялся. Тысячи, десятки тысяч евреев шли на смерть, чтобы только сохранить свою религию, а тут вдруг этот юноша без понуждений и даже без уговоров хочет отречься от веры предков.

— А с отцом ты беседовал?—спросил он в замешательстве.

— Нет,—решительно ответил Аласар и упрямо добавил:—Никто меня не уговаривал, и никому я не позволю меня отговаривать.

Смущение короля рассеялось. Значит, жизнь при кастильском дворе, при его дворе, открыла этому юноше глаза. И вдруг у Альфонсо возникла мысль, которую он доселе боялся додумать, мысль, что и ненаглядную его возлюбленную может озарить свет истины. Недаром она уже оценила и прочувствовала то рыцарское и воинственное в нем, что прежде было совершенно чуждо ее душе. Одна только надежда, что ему дано будет обратить Ракель в истинную веру, придает новый возвышенный смысл их связи, и страсть его перестает быть греховной. Ему стоило труда сдержать прилив бурной радости и спокойно ответить Аласару.

— Мне весьма отраднo слышать твои слова, дружок,—сказал он.—Однако же я не богослов и не знаю, чего от тебя потребуют, прежде чем допустить к таинству крещения. Я поговорю с доном Родриго.

Получив такое поощрение свыше, он решил побеседовать с патером и о своих собственных делах. Прежде чем заговорить об Аласаре, он поведал дону Родриго о своей глубокой внутренней связи с доньей Ракель.

— Не говори, досточтимый отец,—порывисто продолжал он, не давая канонику вставить слово совета или

предостережения.— Не говори мне, что моя страсть греховна. Если она и греховна, то это благой и отраднй грех, и я не каюсь в нем.— И он закончил пылко: — Я люблю эту пленительную женщину больше всего на свете, и раз господь бог попустил такую любовь, значит, он простит мне ее.

Когда Альфонсо начал говорить, дон Родриго преисполнился умиленной благодарности к господу, смягчившему сердце грешника. Однако радость его мгновенно сменилась ужасом, когда он услышал, до какой степени обезумел король.

— Ты много говоришь в надежде опередить меня, чтобы я не успел высказать тебе слова сурового и справедливого укора,— грустно промолвил он после того, как Альфонсо кончил.— Однако в душе ты знаешь все, что я обязан тебе сказать, знаешь раньше и лучше меня.

Альфонсо увидел его печальное лицо и чуть слышно спросил:

— Отец мой, неужто благодать покинула меня? Неужто я проклят навеки?

Скорбное молчание каноника снова раззадорило Альфонсо.

— Ну что ж, проклят так проклят,— беспечно заявил он.— А где пребывают деды моих дедов, те короли, которые не были еще обращены в веру Христову?— спросил он вызывающим тоном.— Я-то знаю, где они пребывают. Так пусть господь пошлет меня к ним!

Сдержав отчаяние, Родриго кротко остановил его:

— Сын мой, не вводи себя в новый грех такими кощунственными шутками. В тайниках своего сердца ты и сам ни на йоту не веришь этой еретической болтовне. Лучше будет, если мы смиренно поищем путь к спасению твоей души.

— Не огорчайся так, дорогой мой досточтимый отец и друг,— попросил король с юношеской улыбкой.— Господь милосерд и не готовит суровой кары мне, смиренному грешнику. Я знаю, что говорю. Господь послал мне знамение.

И он рассказал об Аласаре.

Каноник слушал с величайшим вниманием, и у него стало легче на душе. Он знал, как закалились в своей высокомерной лжемудрости обитатели кастильо Ибн Эзра, и сам ни разу не попытался растопить сердце кого-нибудь из их рода, а на доне Альфонсо, видно, и впрямь почиет благодать божья—ему достаточно было взять этого отрока к себе в замок, чтобы тот обратился ко всеблагому Спасителю! Такая заслуга искупает многие святотатства.

Увидев, как умилен дон Родриго, Альфонсо с приветливой доверчивостью раскрыл ему самые заветные тайники своего гордого сердца.

— Подобно священнослужителю, король наделен от бога сокровенным знанием, недоступным простому смертному. И я знаю: господь послал мне эту удивительную женщину, дабы я разбудил и спас ее душу.

Хотя каноника и огорчало самомнение Альфонсо, однако в словах его была крупица истины. Пути господни неисповедимы. Может быть, и в самом деле нечестивая страсть короля даст не пагубные, а благодатные ростки?

Как бы то ни было, а пока что перед доном Родриго стояла сложная задача. Похвальные намерения короля спасти душу доньи Ракель не освобождали каноника от обязанности воспретить ему плотскую связь с этой женщиной. Но дон Родриго заранее знал, что король не подчинится такому запрету.

— Конечно, привести донью Ракель в лоно церкви — благое дело, — сказал он, — однако этим ты от меня не откупишься, государь и сын мой.

— Что же еще прикажешь мне делать? — с ноткой нетерпения спросил Альфонсо.

Кляня себя в душе за слабость, Родриго посоветовал:

— Отдались от мира недели на две или хотя бы на неделю. Поживи это время в какой-нибудь из духовных обителей нашей страны и там держи ответ перед своей совестью и жди, пока не услышишь глас божий.

— Многого ты требуешь от меня, — заметил Альфонсо.

— Я требую от тебя меньше, чем следовало бы, — возразил дон Родриго. — Мне трудно взыскивать полной мерой со своего любимейшего сына.

Рабби Товий, живший в доме дона Эфраима, большую часть времени проводил в отведенном ему покое, постясь, творя молитву и приобщаясь к мудрости Священного писания. Понапрасну растрочен каждый миг, учило оно, который мы проводим иначе, чем приобщаясь к творцу и его откровению.

От долгих страданий, которые пришлось претерпеть рабби и его общине, он стал суровым фанатиком. Особенно тяжек был для него последний год. Когда король Филипп-Август изгнал евреев из Парижа, рабби вместе с братьями по общине бежал в Брэ-сюр-Сен. Но вскоре маркграфиня Бланш возобновила эдикт, по которому в страстную пятницу предписывалось публично бить по

щекам какого-нибудь почтенного еврея в виде возмездия за муки Христовы, и община настояла, чтобы рабби Товий поспешил скрыться, потому что для этого поношения власти, несомненно, остановили бы свой выбор на нем. Но во время его отсутствия король совершил беспрецедентный по своей жестокости набег на еврейскую общину в Брэ. Жена рабби Тovia была сожжена, дети заточены в монастырь. Здесь, в Толедо, рабби Товий говорил лишь о страданиях всего народа, но не о своих собственных: тем, кто знал о его участии, он запретил рассказывать о ней, и толедские евреи лишь постепенно узнали обо всем, что выпало на его долю.

Правда, уединившись в своем покое, рабби часто вспоминал о событиях в Брэ, и его вновь и вновь обуревали сомнения—правильно ли он поступил, что, поддавшись настояниям общины, уехал из города. Останься он, чтобы претерпеть поношение, ему была бы дарована милость вместе с женой и детьми отдать жизнь во славу господина.

Рабби Товий с давних пор считал покаяние и умерщвление плоти божьей благодатью; мученичество, самопожертвование представлялись ему достойным венцом земного бытия. Он говорил, что смертный грех творит тот, кто, узнав о приближении крестоносцев, чертит на воротах своего дома крест и нашивает крест себе на одежду. Если разбойники потребуют от вас, чтобы вы предали им на смерть мужчину или женщину на поругание, учил он,—не уступайте, хотя бы они истребили вас всех. Будь проклят тот, кто ради спасения жизни станет идолопоклонником, и он пребудет проклят навеки, даже если вернется в лоно Израилево спустя неделю.

Самый драгоценный венец—смирение, учил он, самая достойная жертва—сокрушенное сердце, самая высокая добродетель—покорность. Когда праведника открыто осмеивают и бичуют, он благодарит всевышнего за кару и в душе своей дает клятву исправиться. Он не восстает против тех, кто причинил ему зло, но прощает своих мучителей. Он неотступно помышляет о своем смертном часе. Если у него отнимают то, что ему всего дороже—жену и детей,—он смиренно склоняется перед справедливостью провидения. Если же враги велят ему отречься от его веры, он с радостным рвением жертвует жизнью. Не ропщите, глядя на благоденствие и самодовольство язычников; пути господни милосердны, хотя бы цель их была сокрыта долгие века.

Такая покорность не всегда легко давалась рабби Товию, сердце у него было гневливое. Многие евреи изливали свою ненависть к преследователям в яростных,

злых стихах, в потоках брани против «бродяг и шакалов», против их «распятых идолов», против «сточных вод крещения». И безмерна была жалоба, и воплем звучала мольба о мщении.

«Ты справедлив, господи,—взывали эти стихи,—помни о пролитой крови. Не потерпи, чтобы она осталась под пеплом, сотвори над моими врагами суд по слову твоих пророков! Пусть твоя карающая длань низвергнет моих недругов в долину Иосафата!» Эти стихотворцы бросали обвинения самому господу: «Кто же ты, господи, что не слышно голоса твоего? Как терпишь ты вновь богохульство и торжество Эдома? Язычники вторглись в твой храм, а ты безмолствуешь! Исав глумится над твоими детьми, а ты остаешься нем! Явись, восстань, возвысь голос твой, не будь немее всех немых».

Когда рабби Товий читал такие стихи, у него в душе поневоле закипал гнев. Но он тотчас же раскаивался. «Как может глина говорить горшечнику: что ты творишь?»—бранил он себя и еще ревностнее предавался самоуничтожению.

Верующие смотрели на него как на пророка. И в самом деле, когда он, уединившись в своем покое, погружался в чтение Великой Книги, на него нисходили минуты чудесного прозрения и дар претворять виденное в слова. Так, созерцал он ревнителей истинной веры, сидящих в Эдемском саду и озаренных светом Божиим, и видел святотатцев, горящих в геенне огненной, и он вопрошал их, и те, что пребывали в пятом, самом страшном круге, отвечали: «Мы ввергнуты сюда за то, что в земной жизни отреклись от Адоны и поклонялись распятому»,—и они рассказывали ему, что обречены гореть двенадцать месяцев, пока душа их не уничтожится подобно телу, и тогда ад извергнет их прах, а ветер наметет его под стопы праведников. И еще видел он себя глухой ночью в синагоге, где собрались умершие за последние семь лет; а среди них смутными призраками виднелись те, кому суждено умереть в течение будущего года. И пока он, закрыв глаза, сидел над священными книгами, его дух бродил по улицам города Парижа и по улицам города Толедо и видел знакомых ему людей, и видел, что они не отбрасывают тени, а значит, им уготована близкая и страшная кончина. Не без удовлетворения видел он, что среди этих людей без тени находится и Иегуда Ибн Эзра, мешумад, отдавший свою дочь в наложницы языческому королю.

Тем временем пришли новые дурные вести от франкских евреев. Как и предвидел рабби Товий, многие могущественные графы и сеньоры последовали примеру своего короля, ограбили живших в их владениях евреев и

потом прогнали прочь. Рабби Товий выслушал, прочитал—и отправился к парнасу Эфраиму.

Хотя последний не понимал и не одобрял нашего господина и учителя Товия, однако и он против воли поддавался чарам, исходившим от бледного седого человека, горящего внутренним огнем, и когда тот, против обыкновения, пришел к нему, Эфраим почтительно и вместе с тем нетерпеливо ждал, что же скажет ему рабби.

Но рабби Товий только объявил ему обычным негромким голосом, что намерен покинуть Толедо и возвратиться к своим евреям. Беда надвигается за бедой, и ему не верится, что можно из Толедо отвратить эти бедствия. Беглецам нельзя дольше оставаться во франкских владениях, и так как сефардская граница закрыта для них, он думает вывести их в Германию, откуда пришли их предки.

Сложные, противоречивые чувства и мысли поднялись в Эфраиме. Число взывающих о помощи все росло, и для альхамы было бы счастьем избавиться от такого рода гостей, ибо чем их становилось больше, тем это было опаснее. Но в Германии будущее беглецов было весьма туманно. Император Фридрих, должно быть, впустит их; однако по сей день евреи нигде не подвергались таким жестоким преследованиям, как в немецких землях, а сам император отправился на Восток, и одного его имени вряд ли будет достаточно, чтобы защитить их. Рабби Товий знал все это не хуже Эфраима. Но в своем неукротимом религиозном рвении он не только не страшился, а скорее жаждал мук и испытаний для своих братьев. Не следует ли ему, Эфраиму, разубедить рабби?

Пока он все это обдумывал, Товий продолжал говорить:

— Скажу тебе откровенно: меня радует, что этот самый Иегуда Ибн Эзра не спешит с обещанной помощью. Мне было тягостно думать, что помощь придет к нам от мешумада, принесшего невинность своей дочери в дар идолопоклоннику. Не нужно мне ни денег его, ни помощи. Недаром сказано: «Плату за блуд не носи в дом божий».

Оттого, что рабби Товий говорил негромким, ровным голосом, еще явственнее проступали в его словах ненависть и презрение. Дон Эфраим втайне был доволен, что его собственная неприязнь к Иегуде подтверждалась порицанием праведника, но, как человек справедливый, он выступил на защиту Ибн Эзры.

— Изо всех наших братьев в западном мире одному лишь дону Иегуде дано помочь нам,—отвечал он,—а в его доброй воле сомнений быть не может. Повремени немного, господин мой и учитель. Нетерпением и суровостью не

закрывай гонимым братьям доступ в благодатную Кастилию.

Рабби Товий сам уже раскаивался, что позволил гневу взять верх над собой. Он согласился подождать еще некоторое время.

Дон Иегуда был удручен. Его мучила мысль, как относятся толедские евреи к нему и к его дочери. Должно быть, с омерзением?

Горевал он и об Аласаре. Хотя юноша и не сказал ему о своем намерении перейти в христианство, Иегуда признавал, что для сына потерян путь к истинам еврейского учения и арабской мудрости. И в этом повинен он. Вместо того чтобы не пускать сына ко двору рыцаря и солдата Альфонсо, он сам погнал его туда.

Да, повинен! Тяжкую, тяжкую вину взвалил он на себя.

Он оправдывался своим высоким назначением. Уверял себя, что пожертвовал дочерью во славу божью. Но господь бог отринул его жертву, это становилось яснее день ото дня. Он надеялся, что благодаря близости Ракели с Альфонсо ему будет легче поселить франкских беженцев в Кастилии, а вместо этого их связь задерживала дело спасения и грозила совсем загубить его. Король избегал Иегуды, давным-давно не призывал его к себе, и Иегуда не мог даже сказать о том, что жгло ему душу.

В таком состоянии духа застал его парнас Эфраим, когда пришел к нему. Он считал своим долгом осведомить Иегуду о намерении рабби Товия.

Дон Иегуда был глубоко потрясен. Этот самый Эфраим бар Абба всегда не доверял ему, а теперь он имел право торжествовать и напрямик заявить ему, что и рабби Товий считает пустой болтовней его обещание приютить в Кастилии гонимых детей Израиля. Чем понапрасну ждать его, рабби предпочитал вывести франкских евреев в Германию. И даже не пришел сам сказать ему об этом. Праведник избегал его, как зачумленного.

— Я знаю, что рабби Товий презирает меня всей своей суровой, праведной и бесхитростной душой,— сказал он с горечью и жгучим стыдом.

— Слишком долго ты заставляешь ждать нашего господина и учителя Товия,— ответил дон Эфраим.— Не мудрено, что он хочет поискать спасения в другом месте. Я знаю, ты не лукавил, давая обещание, но боюсь, что господь не благословил это твое намерение.

Дон Иегуда вышел из себя, оттого что Эфраим так откровенно укорял его за гордыню. Но гнев сделал его находчивым.

— Чтобы добиться разрешения, мне потребовалось больше времени, чем я ожидал, и я не удивляюсь, что ты пал духом,— сказал он.— Но не забывай, как стремительно все изменилось к худшему. Когда я предложил свою помощь, речь шла о полутора, самое большее о двух тысячах гонимых. Теперь же их тысяч пять или шесть. Мне понятны твои сомнения—разве можно впускать в страну такое множество нищих?—Он умолк на мгновение, поглядел Эфраиму прямо в глаза и продолжал:— Но я как будто нашел выход. Нельзя допустить, чтобы беглецы нищими переступили границу. Надо сразу же снабдить их деньгами. Мне кажется, четырех золотых мараведи на каждого будет достаточно.

Эфраим растерянно уставился на него.

— Ты сам говоришь, что беженцев шесть тысяч человек!—тоненьким голосом закричал он.—Откуда же взять столько денег?

— Конечно, одному мне их не собрать,—приветливо ответил Иегуда.—Я могу предоставить половину всей суммы—около двенадцати тысяч золотых мараведи. А для остального мне нужна твоя помощь, господин мой и учитель Эфраим.

Эфраим сидел, весь съежившись, и казался совсем щупленьким в своих многочисленных теплых одеяниях. Дерзкие мечты и затеи Иегуды наполняли его невольным восхищением, ему льстило, что этот гордец просит его содействия. Но как он может помочь? Двенадцать тысяч мараведи! После того как альхама уже потратила огромные суммы на поддержку гонимых, откуда наскрести такие деньги? Значит, рабби Товию придется совершить благочестивое безумство и повести своих франкских беженцев в Германию навстречу гибели.

Нет, это не годится! Этого дон Эфраим не может допустить! У него тогда не будет ни минуты покоя. Он обязан помочь Ибн Эзре. Обязан выжать деньги из альхамы!

А вдруг,—греховная надежда закопошилась в душе Эфраима,—вдруг план Иегуды не выгорит? Этот фигляр, преступник и пророк воображает, будто он всего может добиться от короля-язычника, потому что отдал дочь на потребу его похоти. Плохо же он знает христиан! Видно, сомнение затуманило ему голову.

Деловито, с чуть заметной насмешкой дон Эфраим уточнил:

— Итак, если альхама обязуется восполнить требуемую сумму, ты берешься добиться права жительства для шести тысяч франкских евреев? Верно я тебя понял?

Иегуда так же деловито пояснил:

— Надо собрать такую сумму, чтобы на каждого из

франкских беженцев пришлось по четыре золотых мараведи. Я, со своей стороны, внесу двенадцать тысяч мараведи. Если альхама обеспечит остальные, то я обещаю испросить королевский указ, по которому беженцы получат право жительства в Кастилии.

— А в какой срок ты, господин мой и учитель дон Иегуда, обязуешься испросить указ? — продолжал грубо и неумолимо допрашивать дон Эфраим.

Иегуда метнул на него яростный взгляд. Ну и наглец же этот Эфраим бар Абба. Стоило Иегуде впервые в жизни потерпеть неудачу, как люди уже обнаглели. Но он тут же спохватился — альхама вправе смотреть на него как на неисправного должника; он не выполнил того, что обещал.

Однако он еще не банкрот. Ему надо собрать все силы для последней, отчаянной попытки, и тогда, быть может, господь примет его жертву и сломит злую волю короля.

Он поднялся с внезапной решимостью, кивком попросил Эфраима подождать, пошел в библиотеку, достал из ларя свиток Священного писания, развернул его, искал нужный стих и, положив на него руку, сказал тихо, но страстно:

— Здесь, в твоём присутствии, господин мой и учитель Эфраим бар Абба, торжественно клянусь: до того как минует праздник кушей, я испрошу у короля Альфонсо, восьмого этого имени, право для шести тысяч франкских евреев поселиться здесь, на земле сефардской.

Потрясенный Эфраим встал. А Иегуда с той же страстью в голосе потребовал:

— А теперь, почтенный свидетель, исполни свою обязанность и прочти слова Писания, на которых я поклялся.

И Эфраим наклонился над свитком и стал читать, повторяя вслух побелевшими губами:

— «Если клятву даешь, должен исполнить ее не мешкая; ибо господь бог твой спросит с тебя и грех падет на тебя. Что сошло с твоих губ, то ты должен исполнить и сделать так, как поклялся».

— Аминь, да будет так, — сказал Иегуда. — И если я не добьюсь того, в чем поклялся, ты должен во всеуслышание предать меня анафеме.

— Аминь, да будет так, — повторил Эфраим.

Время, положенное на размышление, Альфонсо проводил в обители для кающихся в Калатраве. Он пытался убедить себя, как предосудительно его поведение в Галиане, пытался каяться. Но он не каялся, он радовался тому, что было, и знал, что все начнет сначала. За

мирные дни монастырского уединения в нем лишь окреп тот юношеский веселый задор, который он противопоставлял сокрушению дон Родриго. Жгучая тоска по Ракели была не адским пламенем, а божьей благодатью. И теперь он не сомневался, что спасет душу любимой.

В таком состоянии духа он возвратился в Толедо. Однако в каком-то непонятном покаянном порыве, словно желая наверстать упущенное в монастыре, он заставил себя пробить весь этот день в Толедо и лишь на завтра к вечеру вернуться в Галиану.

Он накинулся на дела, радуясь, что они требуют безраздельного внимания.

Дон Педро Арагонский собрал внушительное войско, намереваясь незамедлительно вторгнуться в валенсийские мусульманские владения. Об этом дону Альфонсо сообщил архиепископ. Дон Мартин с удовлетворением узнал, что канонику удалось склонить короля к монастырскому уединению, к пребыванию наедине со всевышним, и теперь дон Альфонсо, конечно, охотно приклонит слух к духовным назиданиям. А потому архиепископ в резких словах высказал ему, какой это будет несмыслимый позор перед всем христианским миром, если ныне и Арагон вступит в священную войну и только величайший из королей полуострова по-прежнему останется безучастным.

И тут же, к великому изумлению дон Альфонсо, принялся восхвалять жонглера Хуана Веласкеса.

Обычно у церкви находились только слова осуждения для исполненного соблазна искусства народных певцов. Но Хуан Веласкес до такой степени пленил сердце дон Мартина, что тот позвал его петь и играть в архиепископском дворце. Архиепископ полагал, что и дону Альфонсо приятно будет послушать, как Хуан Веласкес на своем сочном кастильском языке воспекает деяния Ролянда и Сиды, не говоря уж об акробатической сноровке странствующего музыканта.

Дон Альфонсо велел привести жонглера. Да, дон Мартин был прав: незамысловатые и выразительные слова романсов проникли ему прямо в душу.

Нельзя, чтобы меч его ржавел в бездействии. Он заявил своему старому прямодушному советнику дону Манрике, что теперь уж непременно ринется в бой.

Дон Манрике ответил, что сам так же нетерпеливо жаждет этого, как и его государь. Но когда сеньор эскривано по его просьбе подсчитал, сколько это будет стоить, он понял, что на войну надежды плохи. Дон Иегуда пользовался арабскими цифрами, а он, Манрике, привык к римским и в арабских разбирается слабо,— кстати, и церковь не признает их. Но, к сожалению,

суммы, с которыми тут приходится иметь дело, столь велики, что без арабских цифр не обойтись.

— Лучше тебе самому, государь, обсудить с твоим эскривано, во что станет поход против халифа,— посоветовал дон Манрике.

Все это время Альфонсо испытывал и страх, и какое-то щекочущее любопытство перед встречаей с отцом Ракели. Но после того, как дон Манрике прямо назвал Иегуду, король решил пригласить его.

Послав герольда в кастилью Ибн Эзра, он отправил весточку в Галиану, коротенькую весточку, написанную по-арабски, по-латыни и на кастильском языке:

«До завтра, до завтра, до завтра».

Услышав, что король призывает его, Иегуда вздохнул с облегчением. Чем бы ни кончилась встреча, все лучше ожидания.

И вот они стояли лицом к лицу, и каждый усматривал в другом перемены. Иегуда искал и находил в чертах варвара то, что могло привлечь его Ракель, а король с чувством неловкости видел в чертах старого еврея сходство с любимой.

— Сдается мне, друг эскривано,—с несколько натянутой игривостью начал дон Альфонсо,—что благодаря твоей рачительности мы теперь ублаγοтворены так, что лучше и не надо. Я намерен наконец-то начать войну. Ты высчитал, что на это потребуется двести тысяч мараведи. Могу я получить их?

Иегуда приготовился к тому, чтобы выслушать и опровергнуть всякую нелепицу, прежде чем приступить к своему главному делу. Поэтому он спокойно ответил:

— Ты можешь их получить, государь. Но ведь в тот раз речь шла о походе против Арагона, а не против халифа.

Быть может, сам себе в этом не сознаваясь, король обрадовался возражению своего министра, однако продолжал настаивать:

— Если уж Арагон отваживается выступить в поход, неужто мне это заказано?

— Твой августейший родственник не заключал перемирия с валенсийским эмиром,—отпарировал Иегуда.

— Человеку, который навязал мне это окаянное перемирие, лучше было бы не напоминать о нем,—хмуро ответил Альфонсо.

Лицо Иегуды было по-прежнему невозмутимо.

— Что есть, то и останется, все равно, назовем ли мы свершившееся его именем или нет,—сказал он.—Кстати, я считаю маловероятным, чтобы дон Педро ввязался в войну. У моего родича дона Хосе Ибн Эзра хватает мужества говорить своему королю и неприятные истины.

Надо полагать, он напомним ему, что халиф возвращается с Востока в свою столицу и что он, по всей вероятности, направится в Андалусию, если Арагон начнет войну. В одиночку Арагон воевать не может. И Кастилия также.

Дон Альфонсо сидел, сжав губы, нахмурив лоб. Каждый раз он упирался в один и тот же довод. Нельзя затевать войну, не примирившись с арагонским вертопрахом.

— Я знаю, государь, как дорога твоему сердцу мысль о походе,—проникновенным голосом продолжал Иегуда.—Верь мне, что мы с моим родичем доном Хосе неустанно помышляем, как установить истинный мир между нашими августейшими монархами.

Король насупился еще сильнее. Не во власти каких-то Ибн Эзра добиться примирения с Арагоном. Еврею это известно не хуже, чем ему самому. Уж не смеется ли тот над ним?

Иегуда видел недовольство короля. Самое неподходящее время, чтобы просить о допущении беженцев. Но ведь он дал клятву и перед ним грозным призраком маячило всенародное проклятие, а срок приходил к концу. И кто знает, когда он опять увидится с королем? Надо говорить. Он заговорил.

Альфонсо слушал и злился. Вот когда хитрец показал свое настоящее лицо.

— Ты же только что уверял меня, что хочешь помочь мне начать священную войну,—сказал он.—А теперь требуешь, чтобы я впустил к себе в страну твоих евреев. Так вот, скажу тебе напрямик в твоё лисье лицо,—ты хочешь помешать моей войне. Ты все делаешь, чтобы ей помешать. Ты хочешь помешать мне сговориться с арагонским вертопрахом. Ты разжигаешь во мне вражду против Арагона, а твой почтенный родич разжигает вражду Арагона против меня. Вы шныряете, подзуживаете, лжете, как истые еврейские торгаши и ростовщики.

Король не повышал голоса, он говорил тихо, отчего его слова звучали еще более грозно.

«Мне все-таки не следовало говорить,—думал Иегуда,—но мне надо было заговорить. Я дал клятву небесам, ее нельзя взять назад».

— Ты несправедливо оскорбляешь меня и моего родича, государь,—храбро сказал он вслух.—Мы делаем все, что в наших силах. Правда, силы-то наши невелики.—И еще смелее добавил:—Я знаю, кто может достичь большего: королева, твоя супруга. Она умнее нас всех. Пойди к ней. Попроси ее склонить августейшего дона Педро к примирению.

Король шагал из угла в угол.

— Ты очень дерзок, сеньор эскривано,—бросил он

Иегуде; сквозь приглушенный голос явно прорывалась ярость.

А Иегуда очертя голову продолжал свою дерзкую речь:

— Но даже твоей августейшей супруге потребуется несколько месяцев, чтобы добиться примирения. Не гневайся на меня, но мне по моему низкому купеческому разумению невдомек, почему бы не воспользоваться этими месяцами и не привлечь к нам франкских беженцев. У них у всех есть головы и руки, которые могут принести большую пользу. Земли твои, государь, все еще опустошены нескончаемыми войнами. Так обеспечь же за собой этих ценных поселенцев. Прошу тебя, государь, не отмахивайся так легко от моих разумных доводов. Обдумай. Взвесь их.

Дону Альфонсо очень хотелось покончить с этим неприятным разговором. Возможно, что еврей прав, даже наверняка он прав, и король уже готов был согласиться, но тут же спохватился: смелость придают еврею не веские основания, а нечто совсем иное.

— Может, твои доводы и верны,—сердито сказал он,—но на них найдутся и не менее верные возражения, ты знаешь какие.

Иегуда попытался противоречить, но Альфонсо не дал ему слова вымолвить.

— Не желаю больше ничего об этом слышать,—яростно выкрикнул он.

Однако, увидев бледное, страдальческое лицо еврея и вспомнив, кто дочь человека с таким лицом, он торопливо добавил:

— Не обижайся, я обдумую все: не только возражения, но и твои доводы,—и с той же натянутой веселостью закончил:—И как ты меня ублаготворил, я тоже не забуду.

На этом они расстались—король весьма милостиво, еврей с притворным смирением и притворным спокойствием, оба с затаенным недоверием.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ракель все это время ломала голову, чем объяснить, что Альфонсо оставил ее одну на целую долгую неделю и даже дольше. Смутные страхи терзали ее. Она догадывалась, что тут не обошлось без вмешательства его бога.

Но вот пришло письмо, где он на трех языках своей страны радостно возвещал ей: завтра, завтра, завтра. А вот явился и он сам.

Едва они увиделись, как разлуки словно не бывало. Всю эту нескончаемую неделю они не жили, а прозябали. Теперь они снова начали жить. Вне Галианы для них не было жизни. Они придумали собственный язык, помесь латыни и арабского, со своими особыми неписаными правилами, и ни в каком ином языке не нуждались; но, пожалуй, еще лучше они понимали друг друга, когда молчали.

И тем не менее многое изменилось для них. Они ближе узнали друг друга. Альфонсо порой улавливал в Ракели то непонятное и сомнительное, что роднило ее с ее народом, который был проклят богом, и тогда он с благочестивой и коварной радостью думал о своем намерении искоренить в ней эти черты. Она же открыто показывала, как ей неприятна привязанность Альфонсо к его огромным псам. Однажды они добродушно кинулись к ней, а она с отвращением отшатнулась от их неуклюжих ласк.

Тогда Альфонсо весело и злобно рассказал ей в назидание:

— Мы, испанские монархи, любим наших животных. Мои предки, древние готские короли, не сомневались, что встретятся в раю со своими псами. Иначе рай был бы им не в рай. Очевидно, они веровали в учение твоего ненаглядного Мусы, который говорит, что душа животного попадает туда же, куда и душа человека.

Он увидел, как огорчила ее эта шутка, и тут же проявил бурное раскаяние.

— Прости, любимая! Раз тебе не нравятся мои псы, раз они тебя пугают, я отошлю их прочь.

Ей стоило большого труда отговорить его.

Временами он мучился мыслью, что надо наконец приступить к обращению ее в истинную веру. Но здесь, близ нее, он понял, что эта задача много щекотливее, чем казалось ему на расстоянии. Ведь она до сих пор не поняла даже, что такое рыцарь, что такое он сам. Значит, сперва надо ей показать рыцарство во всем его блеске.

Он вызвал в Галиану жонглера Хуана Веласкеса.

Услышав незамысловатое бречанье христианской гитары, Ракель вспомнила нежные звуки арабских арф, лютен и флейт, их мисмар, шахруд и барбут. Но тонкий слух и быстрый, ясный ум делали ее восприимчивой к тому, что жило в незамысловатых стихах и музыке жонглера. Пусть ей не всегда был понятен точный смысл его вульгарной латыни, зато ее захватывала рыцарски радостная героика его песни.

А пел Хуан Веласкес о подвигах и кончине маркграфа Роланда из Бретани, о том, как он с безнадежно малой горсткой воинов отражал в Ронсевальской долине несметные полчища язычников и как друг его Оливье посовето-

вал ему протрубить в свой могучий рог Олифант и призвать обратно войско короля Карла, великого императора. Как Роланд не послушался друга и как рыцари его свершали подвиги несказанной храбрости и полегли один за другим. И как Роланд, сам раненный, идет по полю и собирает мертвых своих паладинов, чтобы отнести их к архиепископу Турпину для последнего благословения. И как Роланд все-таки, хоть и поздно, трубит в свой чудесный рог — и горы и долины откликаются окрест. И как его ранят второй раз еще тяжелее, и он, очнувшись от долгого забытья, видит, что, кроме него, нет живых на поле, усеянном мертвыми телами. Он чувствует, что приближается смерть, от головы подступает к сердцу. Тогда он через силу торопится доползти до высокой сосны, ложится на зеленую мураву, обратив лицо к югу, к Испании, навстречу врагу, и поднимает правую перчатку ввысь, к небесам. И святой архангел Гавриил берет перчатку у него из руки.

Ракель слушала, затаив дыхание, по-детски дивясь. Потом подумала и заметила, что ей непонятно одно: почему доблестный Роланд отказался вовремя протрубить в рог; ведь тогда его рыцари остались бы целы и невредимы и одолели бы врага. Короля покорило от этого чересчур трезвого довода. Но тут Ракель попросила певца повторить стихи о кончине Роланда, глаза ее сияли при этом умилением и восторгом, и Альфонсо решил, что величие рыцарства нашло наконец отклик в ее душе.

Это упование подтвердилось, когда она преподнесла ему подарок, о котором уже говорила намеками, — арабские рыцарские доспехи.

Они были сделаны из великолепной вороненой стали и благодаря подвижности многих частей казались на диво легкими и изящными. Светлые глаза Альфонсо заблестели. Ракель помогла ему надеть доспехи. Это было мужское дело, и королю не нравилось, что она ему помогает. Но у него не хватило духа отстранить ее.

Итак, она наряжала его, отпуская шуточные замечания, но с явным воодушевлением. Он стоял перед ней рыцарственный, в иссиня-черных латах, гибкие звенья кольчуги мягко обхватывали могучую, вздымающуюся грудь, светлые глаза сверкали сквозь щели забрала. Ракель с детским восхищением захлопала в ладоши:

— Любимый мой, ты самое большое чудо из божьих чудес!

Она ходила по комнате, обходила вокруг него, приплясывая и нараспев приговаривая арабские стихи:

— О гордые герои! В руках у вас разящий меч, и стройным вы потрясаете копьем. На врагов вы налетаете,

как буря, как ураган. Какая радость воодушевлять вас песней.

Он слушал ее с улыбкой, он был в восторге. Еще ни разу она не пела ему воинственных стихов. Но теперь он добился своего. Теперь она поняла, что значит воин. Теперь он может заговорить о том высоком и священном, что свяжет их навсегда.

Не долго думая, он напрямик спросил ее, согласна ли она вместе с ним слушать мессу.

Она подняла на него взгляд. И явно не поняла. Должно быть, это одна из его сумасбродных шуток. Она нерешительно улыбнулась. Эта улыбка рассердила его. Но он взял себя в руки и пояснил с ребяческой серьезностью:

— Вот видишь ли, любимая, если ты будешь крещена, ты не только свою душу спасешь, но и меня избавишь от тяжкого греха, и тогда мы без греха и без раскаяния останемся вместе навсегда.

При этом на лице его была написана такая простодушная вера, что это невольно тронуло Ракель.

Но тут же до ее сознания дошел жестокий смысл его слов, и она ощутила жгучую обиду. Значит, он не довольствуется тем, что она отдала ему, с ненасытной воинственной тупостью он хочет отнять у нее и последнее, непреходящее достояние, завещанное ей от предков. Разве ему мало того, что она говорит, ест, купается и спит с неверным, навлекая на себя гнев божий? На ее подвижном лице ясно отразилась вся боль и вся обида.

Альфонсо сделал неумелую попытку убедить ее. Но она тихо, немногословно и решительно дала ему отпор.

Однако она знала, что он упрям в борьбе и не отстанет от нее, и хотя не сомневалась в стойкости своей веры, все же бросилась искать поддержки у своих—у отца и у Мусы.

Она рассказала отцу, что Альфонсо настойчиво убеждает ее креститься. Дон Иегуда смертельно побледнел.

— Прошу тебя, отец, не оскорбляй меня страхом,— тихо промолвила Ракель.— Не ты ли сам учил меня, что я из рода Ибн Эзра и, значит, причастна Великой Книге. Твои слова запали мне в душу.

С Мусой она говорила, не таясь. Ему она откровенно призналась, что боится предстоящей упорной борьбы.

Держа ее руку, Муса рассказал ей о пророке Магомете и его женах-еврейках. Сперва пророк пытался добром приобщить евреев к своему откровению. Так как они противились, он ополчился на них с мечом и убил многих. В один из его походов к нему в лагерь попала еврейская девушка по имени Зайнаб,—ее отец и братья были убиты мусульманскими воинами. Зайнаб признала, что нет бога, кроме Аллаха, она ластилась к пророку и льстила ему,

притворялась влюбленной в него, и он пленился ею, и спал с ней, и привез ее в свой гарем, и оказывал ей предпочтение перед другими женами. И Зайнаб спросила его, какую пищу он предпочитает, и он ответил: «Грудинку молочного барашка». Тогда она зажарила барашка для него и для его друзей, и они лакомились им; она же натерла грудинку ядовитым соком. Один из друзей поел от нее и умер. А сам Магомет хоть и выплюнул первый же кусок, но все-таки захворал. Еврейка Зайнаб сказала, что хотела предоставить пророку случай доказать, как он любим Аллахом. Ибо над любимцем Аллаха яд не имеет силы; если же это не так, то он достоин смерти. Одни говорят, что пророк простил ее, другие — что он предал ее казни.

Город Кайбар, где обитали почти одни евреи, особенно упорно сопротивлялся Магомету. Большинство мужчин из этого города пало в бою; остальных же, числом около шестисот, пророк повелел обезглавить, после того как занял город. Среди взятых в плен женщин была одна по имени Сафия; муж ее был убит, отец казнен. Сафия еще не достигла семнадцати лет и была так красива лицом, что Магомет взял ее в свой гарем, хотя ее уже познал другой мужчина. Он любил ее всем сердцем, он преклонял колено, дабы ей легче было взойти на верблюда, он осыпал ее дарами и не пресытился ею до самой своей смерти; она же пережила его на сорок пять лет.

Так рассказывал Муса.

— Значит, эти женщины отреклись от истинного бога?—спросила Рабель.

— Если бы еврейку Зайнаб и в самом деле покорило учение Магомета, вряд ли она попыталась бы отравить его,—ответил Муса.—Что же касается Сафии, то все накопленные богатства она завещала своим родственникам, которые остались иудеями.

— Ты зачастую без должного почтения говоришь о пророке. Почему же ты остаешься мусульманином?—немного погодя спросила Рабель.

— Я исповедую все три религии,—отвечал Муса,—в каждой есть зерно истины, но в каждой есть и такое, чему разум противится верить.

Он подошел к своему налою и принялся чертить круги и арабески, говоря через плечо:

— Покуда я убежден, что вера моего народа не хуже других верований, я стал бы мерзок самому себе, если бы покинул общину, в которой взращен.

Говорил он спокойно, не повышая голоса, и слова его проникали Рабели в самое сердце.

Оставшись один, Муса собрался поработать над своей «Историей ислама». Но, вспомнив сказанное им Рабели,

он сам удивился, что употребил такие суровые слова, и не мог сосредоточиться на своем труде.

Вместо этого он написал стихи:

«Так полон наш век мечами и воителями, звоном железа и шумом битвы, что и речи мудреца ныне бряцают, а не шелестят чуть слышно, точно вечерний ветерок в купах деревьев».

Дон Родриго избегал говорить о благодати, нисходившей на него, о минутах экстаза — плодах умерщвления плоти. Он предпочитал выдавать себя за ученого, за исследователя. И не кривил душой. Ибо при всем своем благочестии он был одержим тягой к беспощадному, чреватому сомнениями мышлению. Его пленяла чудесная игра ума, и для него было высокой усладой в споре с самим собой и с другими взвешивать доводы в пользу или против какого-нибудь положения. Из современных ему богословов он больше всего чтит Абеяра. Ему не давало покоя утверждение ученого, что от философии великих язычников короче путь к Евангелию, чем от Ветхого завета, и он все вновь и вновь возвращался к смелому труду Абеяра: «*Sic et non* — да и нет», где приведены взаимно противоречащие слова Священного писания; читателю же предоставлено право самому разрешать эти противоречия.

Дон Родриго знал, что ему не страшно доходить до самых крайних пределов этой опасной сферы. Недаром в его душе был заповедный приют, куда не проникали сомнения дерзновенного разума; там искал он прибежища от всяких соблазнов.

Это затаенное убеждение в несокрушимости его веры позволяло ему по-прежнему замахивать в кастильо Ибн Эзра и вступать в дружеские споры с еретиком Мусой.

Муса тоже знал, что с каноником можно без страха обсуждать самые щекотливые вопросы, и он не стеснялся говорить с ним даже о таких обстоятельствах, как любовная связь короля.

— Наш друг Иегуда надеялся, — заметил он, — что сдержанность и ласковый обычай Ракели смирят необузданную воинственность дон Альфонсо. А вместо этого она явно очарована его ратной доблестью. Боюсь, что жизнь в Галиане скорее превратит нашу Ракель в поборницу рыцарства, чем короля — в миротворца.

— Трудно требовать, чтобы в самый разгар крестового похода дон Альфонсо тяготел к славословиям мира, — возразил Родриго.

Уютно усевшись в уголке и слегка нагибаясь вперед, Муса как бы размышлял вслух:

— Уж эти мне крестовые походы! Хоть убей, а не укладывается у меня в голове, как вы можете называть своего Спасителя князем мира и его именем истово и благочестиво разжигать войну.

— А кто, как не *вы*, принес в мир священную войну, мой дорогой и высокочтимый Муса?—кратко спросил каноник.—Ведь именно Магомету принадлежит учение о джихаде. Наша *bellum sacrum*¹ была провозглашена в защиту от вашего джихада.

— Однако же пророк предписывает вести войну лишь тем, кто уверен в победе,—задумчиво промолвил Муса.

Он заметил, что этот довод огорчил его гостя, и деликатно перевел разговор.

— Судьба отыскивает удивительные лазейки, чтобы избавить наш полуостров от войны,—заметил он.—Все мы опасались, что безрассудная любовная страсть короля, нашего государя, приведет к беде. А она обернулась благом. Ибо пока наша Ракель будет удерживать короля, вряд ли он пойдет войной на халифа. Как же самовластна, как по-детски прихотлива та сила, которую я зову кадаром, а ты, достойнейший друг мой, именуешь провидением!

В ответ на этот прямой вызов каноник одернул кощунствующего старца:

— Если ты бранишь божество за слепоту и бессмысленное своеобразие, скажи на милость, зачем же ты стремишься к познанию? Какая польза от всякого знания?

— Великая польза,—с готовностью отозвался Муса,—ибо оно помогает увидеть двусмысленность происходящего и его внутреннюю противоречивость. Но мне-то дорого познание само по себе. Не отрекайся, досточтимый друг, тебе оно тоже дает радость.

Правда, после таких бесед дон Родриго корил себя за то, что ему приятно общение со старым безбожником, и давал себе слово прекратить или, уж во всяком случае, ограничить посещения кастильо Ибн Эзра.

Но тут канонику было дано указание свыше. Король, поняв, что одному ему никак не растопить лед неверия, сковавший сердце Ракели, обратился за поддержкой к дону Родриго. Не мог же он отклонить такую благочестивую просьбу, а значит, не мог и прекратить посещения дома Ибн Эзра.

И вот в полукруглой галерее снова, как прежде, собрались Муса, Ракель, каноник, а также молодой дон Вениамин. Родриго привел его с собой, чтобы скрыть главную свою цель — обращение Ракели.

¹ Священная война (лат.).

Дону Вениамину нелегко было держаться непринужденно с доньей Ракель. Все эти недели он неотступно думал о выпавшем на ее долю трудном и опасном счастье. Лишь после ее переселения в Галиану он понял, как она ему дорога, и вожделение, смешанное с горькой покорностью, придавало новую окраску и глубину его дружбе.

Он думал, что найдет большую перемену в девушке. Но перед ним сидела прежняя Ракель. Молодой человек был и разочарован и обрадован и при всех своих ученых навыках не мог собраться с мыслями. Он то и дело украдкой поглядывал на нее, рассеянно слушал то, что говорили другие, и молчал.

А дон Родриго ждал удобного повода, чтобы приступить к своей главной задаче. Он не был ярым фанатиком, ему претило лезть напролом, и теперь он ждал подходящего слова, за которое можно зацепиться. Муса сыграл ему на руку, заговорив на свою излюбленную тему, а именно, что всем народам самой судьбой уготована пора расцвета и пора увядания.

Это верно, подтвердил каноник, но лишь немногие народы соглашаются признать, что их время миновало.

— Возьмем хотя бы еврейскую нацию,— наставительно продолжал он.— Вполне понятно, что одно-два столетия после появления Спасителя евреи еще могли тешиться самообманом, будто откровения их Великой Книги остаются в силе и царство их воздвигнется вновь. Но вот уже тысяча лет, как они терпят бедствия и все не хотят признать, что пришествие Спасителя и было тем благословением, которое возвестил Исайя. Они хотят перехитрить время и упорствуют в своем заблуждении.

Каноник при этом не смотрел ни на Ракель, ни на Вениамина, он отнюдь не проповедовал, он попросту беседовал с Мусой, как философ с философом. Но Вениамин понимал, куда он метит, с каким невинно-жестоким благочестием пытается опорочить в глазах Ракели ее иудейство, и тут Вениамин стряхнул с себя мечтательное раздумье и стал красноречиво защищать веру свою и Ракели:

— Мы отнюдь не хотим перехитрить время, досточтимый отец, но мы знаем совсем другое: время не против нас, оно за нас. И ту победу, которая обещана нам нашей Книгой, мы толкуем не грубо дословно. Не мечом должны мы побеждать, по слову наших пророков, и не о таких победах мы печемся. Нас не прельщают рыцари и оруженосцы и осадные машины. Их победы преходящи. Наше же наследие—Великая Книга. Два тысячелетия изучали мы ее, она служила нам опорой в несчастье и в изгнании, так же как и в славе. Мы одни умеем верно

толковать ее. И она обещает нам победы духовные, их же не отнимут у нас ни крестовые походы, ни джихады.

— Да, *eritis sicut dii, scientes bonum et malum*¹,—с грустной усмешкой сказал дон Родриго,—вы все еще верите словам змия-искусителя. И потому, что вы щедрее других одарены разумом, вы почитаете себя всеведущими. Но именно это самомнение ослепляет вас и мешает понять то, что очевидно. Мессия явился уже давно, сроки исполнились, благословение снизошло на мир. Все это видят, не видите вы одни.

— Где же оно, царствие мессии?—с горечью возразил дон Вениамин.—Я его не вижу. Не вижу, чтобы вы перековали меч на орало и копье на серп. Не вижу, чтобы Альфонсо миловался с халифом. Наш мессия принесет миру настоящий мир. Что вы знаете о мире! Мир—*шалом*. Даже самое слово вам непонятно! Вы даже самое слово не умеете перевести на ваши убогие языки!

— Ты слишком воинственно ратуешь за мир, милый мой дон Вениамин,—попытался успокоить его Муса.

Но Вениамин его не слушал. Воодушевленный близостью доньи Ракель, он не знал удержу:

— Чего стоит ваш жалкий рах, ваша *treuga dei*, ваша жалкая *eigene*! Шалом—вот он венец, вот оно блаженство, а все, что не шалом, есть зло. Нашему царю Давиду не дано было построить храм, потому что он был всего лишь завоевателем и великим государем. Только Соломону, царю-миротворцу, даровано было построить его, потому что при нем каждый жил спокойно под своей лозой и своей смоковницей. Осквернен и недостоин господа тот алтарь, над которым занесен меч, так учит наша премудрость. Вы же чтите своего мессию, предавая огню и мечу его город Иерусалим, город мира. Мы нищи и наги, зато вы глупцы, при всем вашем великолепии и блеске оружия. Это *наша* обетованная земля, и *нам* она принадлежит. И потому, что так написано в Книге, вы воюете за нее, вы и мусульмане. Это было бы смешно, если бы не было так прискорбно.

Чем больше горячился юноша, тем миролюбивее становился каноник.

— Ты говоришь о блаженстве, сын мой,—сказал он,—и зовешь его шалом, и утверждаешь, что оно—ваше наследие. Но и нам ведомо блаженство. Мы по-иному его называем, однако не все ли равно, какое мы даем ему имя? Вы именуете его шалом, мы именуем его вера, именуем его благодать.—Тут он принудил себя побороть стыдливость и высказать то заветное, что таил в душе.—Благодать, сын мой,—это не посулы на далекое будущее,

¹ И будете вы, словно боги, ведать добро и зло (*лат.*).

она существует и ныне. Я не столь красноречив, как ты, и не могу объяснить, что такое благодать. Ее нельзя достигнуть или хотя бы узреть усилиями разума. Она — высший дар божий. Мы можем лишь молить о ней. — И с силой, с глубочайшим убеждением произнес он заключительные слова: — Я знаю, что благодать существует. Я счастлив своей верой. И я молю господа, чтобы он и других приобщил благодати.

Весь Запад вел подобные беседы о преимуществах той или другой веры. Война шла во имя этого спора, во имя возобладания христианства. И страсти разгорались во время диспутов.

В тихой галерее у Мусы каноник и дон Вениамин еще не раз возвращались к спору о вере.

Но теперь дон Вениамин старался сдерживаться; он не хотел второй раз оскорбить своего глубоко чтимого наставника Родриго резкими нападками. А донья Ракель и без того была крепка в вере; во время своего первого бурного выпада Вениамин с радостью заметил, как сочувственно она его слушает. И потому в дальнейших диспутах он довольствовался указаниями на внутреннюю осмысленность веры иудеев, чей бог не требует от верующих сделок с разумом. С чисто научным беспристрастием приводил он стихи из прекрасной книги поэта Иегуды Галеви «В защиту униженной веры» или ссылался на доводы из трудов великого мудреца Моисея бен Маймуна, ныне процветающего в Каире.

А каноник с тем же беспристрастием выставлял в ответ аргументы из трудов Августина или Абеляра. Ракель редко вступала в разговор и редко задавала вопросы, но слушала внимательно и запоминала все, что говорил Вениамин. Они с Вениамином снова очень сблизились.

Вениамин не таил от себя, что любит ее. Но ничем не выдавал своего чувства и держался как друг. В обществе этих пожилых мужчин Ракель и он чувствовали себя совсем юными добрыми приятелями.

Но Муса, оставшись как-то наедине с Родриго, спросил его, почему, собственно, он стремится разочаровать Ракель в ее вере; ведь столь почитаемый каноником Абеляр учит, что надо терпимо относиться к чужой вере, поелику она не противоречит естественным законам разума и нравственности.

— А разве я не проявляю достаточной терпимости в отношении тебя, мой уважаемый друг Муса? — спросил каноник. — Даже выразить не могу, какую глубокую радость я бы испытал, если бы твой *mens regalis*, твой царственный разум, был осенен благодатью. Но я не настолько самонадеян, чтобы допустить, что мне будет

дано наставить тебя на путь истинный. Не в моей природе с фанатическим пылом идти напрямик — ты это знаешь. Однако же, когда я смотрю в кроткое, чуткое, невинное лицо нашей Ракели, внутренний голос повелевает мне порадеть о спасении ее души. Мне ведома благая весть, и я совершил бы грех, утаив ее.

Король начал терять терпение, видя, что их с Родриго совместные усилия спасти душу Ракели остаются тщетными.

Как-то раз он остановился вместе с ней перед одним из ее еврейских изречений. С тех пор как она прочитала и перевела ему этот стих, прошло немало времени, но у него была хорошая память, и теперь он почти дословно повторил его: «Я вымощу твою дорогу драгоценными камнями и построю тебе жилища из хрусталя. Бессилен будет поднятый против тебя меч и проклят тот язык, что произнесет тебе хулу».

В его голосе звучало насмешливое недоумение, а тонкие губы кривились в злобной усмешке.

— Понять не могу, почему ты выбрала сюда именно это изречение, — сказал он. — Значит, ты тоже заведомо хочешь быть ко всему слепой? Где же ваши дороги, вымощенные драгоценными камнями? Уже больше тысячи лет вы нищи и бессильны и живете нашим милосердием. До каких же пор будете вы украшать свою жалкую наготу такими цветистыми, но, по всему видимому, пустыми обещаниями? Мне обидно, что и ты упорствуешь в этом.

В первый раз он в такой грубой форме высказал ей все, что у него накопилось. Ах, как метко могла бы она отразить этот несправедливый и злобный выпад; но ей не хотелось ссориться, и она спокойно ответила:

— Ваш великий философ Абельяр учит, что христианину подобает проявлять терпимость ко всякому разумному верованию.

— А ваша вера неразумная, — злобно выкрикнул король, — в том-то вся суть.

Ракели было больно, что любимый человек порочит самое дорогое ее достояние. Она припоминала, как Вениамин, защищая иудейскую веру, в качестве главного довода приводил именно ее разумность. Но если ученому, красноречивому Вениамину не удалось убедить кроткого Родриго, под силу ли ей внушить вспыльчивому Альфонсо правильное понимание Великой Книги?

Да вдобавок еще на его скудной латыни.

Своими большими, серо-голубыми глазами она задумчиво вглядывалась в его лицо. Да, он искренне верит в то,

что пересказывает с чужих слов. Много тысяч рыцарей и солдат послали христиане на завоевание Святой земли, но безуспешно. И все никак не могли уразуметь, что не им уготована эта земля. Вот и он, ее Альфонсо, осмеивает благие пророчества тех, кому принадлежит эта земля.

И, глядя на него, она вдруг расхохоталась — до чего слепы могут быть люди, а в особенности ее Альфонсо.

Его и так уже раздражали ее молчаливые взгляды, а этот смех окончательно вывел его из себя. Под насупленными бровями зловеще посветлели глаза.

— Перестань смеяться! — приказал он. — Не смей кощунствовать против нашей священной войны, еретичка.

Она молча покинула комнату. Через два часа он разыскивал ее по всему дому и саду, и она тоже искала его. Когда они нашли друг друга, он улыбнулся застенчиво, как мальчик, она тоже улыбнулась, и они поцеловались.

Целуя его, она говорила:

— «Когда вы гневаетесь на кого, не избегайте его близости. Пойдите к нему и поклонитесь ему и выскажите спокойно, без шипов злоречия все, все, что причиняет вам досаду в нем. И заново забудет ключ любви. И лучшим будет тот из вас двоих, кто первым придет с поклоном». Так сказано в Коране. Мы пришли оба. Значит, никто не оказался лучшим.

Иегуда уже много месяцев был свидетелем постепенного сближения своего сына с христианами, но, узнав, что над Аласаром совершен обряд крещения, он ужаснулся так, словно произошло нечто неожиданное.

Только теперь он постиг всю меру своей вины. Он недостаточно любил Аласара, любил его меньше, чем Ракель. Все свое детство Аласар провел мусульманином среди мусульман. Прежде чем мальчик осознал, что такое иудейство, сам он, отец, отослал его к исполненному соблазнов двору христианского короля. А теперь сын стал изменником, продал свою принадлежность к избранному народу за чечевичную похлебку рыцарства, погиб, пропал, навеки выкорчеван, вычеркнут из числа тех, что восстанут по трубному гласу Страшного суда.

Иегуда оплакивал сына, как покойника. Семь дней просидел на земле в разодранных одеждах.

Дон Эфраим бар Абба пришел утешить его. Парнасу становилось жутко при мысли о доне Иегуде и его жестокой судьбе. Его постигла самая страшная кара — отступничество единственного сына. Вероотступники всегда бывали самыми яркими врагами евреев, а теперь этот отрок, сын Иегуды, стал одним из их числа. Но так как

долг повелевал утешать скорбящего, дон Эфраим пересилил омерзение и ужас, он пришел, он наклонился к Иегуде и произнес, как положено:

— Слава тебе, Адонай, господь наш, судья праведный,—и прислал десять достойнейших мужей альхамы, чтобы они прочли положенные молитвы.

Иегуду угнетала не только скорбь о сыне, но и дерзновенный обет открыть франкским беглецам границы Кастилии. Срок, который он поставил себе под страхом всенародного проклятия, близился к концу. А ему все не удавалось увидеться с королем. Теперь же, отняв у него обоих детей, сперва дочь, а затем сына, тот, конечно, еще старательнее будет избегать встречи с ним.

Настали дни нового года, сумрачно-торжественные дни, назначенные для покаянного размышления.

Ракель провела праздник у отца. Он не упоминал о вероотступничестве Аласара, но она видела, как тяжело он страдает от этого. Ее глубоко потрясло крещение брата и лишь сильнее укрепило в благочестивом намерении сохранить верность богу.

Иегуда пригласил к себе в дом назначенного для этой цели члена общины, чтобы тот протрубил в бараний рог—шофар, чей предостерегающий зов надлежит услышать каждому иудею в праздник покаяния. Ибо в этот день бог обращается мыслью ко всему сотворенному им, вершит суд и решает судьбы людей. Пронзительный, скрежещущий звук рога всеял в Ракель благоговейный трепет, и при своей тяге к сверхъестественному она словно воочию видела, как незримая рука вписывает в книгу жизни и благоденствия имена праведников и стирает имена злодеев. Решение же о судьбе тех, кто не добр и не зол, а значит, о большинстве, откладывалось до праздника очищения, чтобы они за эти десять дней успели раскаяться.

Под вечер Иегуда и Ракель отправились, как того требовал обычай, к проточной воде. Пошли они за город на берег Тахо. Они бросали в воду крошки хлеба, бросали в воду свои грехи, чтобы река унесла их в море, и при этом повторяли слова пророка: «Нет второго бога, подобного тебе, который отпускал бы грех и прощал измену, который не упорствовал бы во гневе, ибо для него радость—быть милосердным. Он смиростивится над нами, он предаст забвению нашу вину, он потопит на дне морском наш грех».

Уже совсем смеркалось, когда они вернулись домой. Слуга внес светильник. Но Иегуда знаком приказал ему унести светильник, и Ракель лишь смутно видела отцовское лицо, когда Иегуда заговорил:

— Надгробные камни наших предков свидетельствуют

о том, что Ибн Эзры происходят из дома Давидова. Но сын мой и твой брат Аласар продал и предал свое царственное наследие. И моя вина есть в том страшном, что свершилось. Тяжкая вина, я казню себя за нее, и пусть милосердие господне глубоко, как море,—мой грех не снят с меня.

В первый раз отец заговорил с ней о вине, раскаянии и искуплении, и жалость душила Ракель. Вот в расплату за все грехи, продолжал Иегуда, он сам наложил на себя повинность, нелегкую повинность, и он рассказал ей о своем плане поселить франкских евреев в Кастилии.

Ракель внимательно выслушала, но ничего не ответила и не стала расспрашивать. Поэтому он, сделав над собой усилие, продолжал говорить:

— Я доложил королю, нашему государю, о своем плане, он не сказал ни да, ни нет. А я дал обет, и время не ждет.

Впервые с тех пор, как она поселилась в Галиане, заговорил он об Альфонсо, и Ракель больно поразило то, что он назвал ее любимого «королем, нашим государем». Да и от всего, что сказал отец, ее словно обдало ледяной водой—таким это было страшным и волнующим. Она почувствовала в его словах требование и воспротивилась всей душой. Нехорошо взвалить на нее то, что он сам взял на себя.

Он больше ничего не добавил, не стал настаивать. Он велел принести огонь, и непонятная, зловещая жуть развеялась. Он увидел ее лицо в мягком сиянии свечей и масляных светильников. Впервые улыбнувшись за весь этот день, он сказал:

— Поистине, ты царица из дома Давидова, дитя мое.

Утром, прежде чем вернуться в Галиану, она сказала отцу:

— Я поговорю с королем, нашим государем, о франкских евреях.

Когда Ракель объявила королю, что намерена провести новогодний праздник в кастилью Ибн Эзра, он постарался скрыть свое недовольство. Сам он пробыл все эти дни в Галиане. Ему было нестерпимо находиться в Толедо—так близко от Ракели и так беспредельно далеко. Он злился на Ракель, на Иегуду, на бога Иегуды и его праздники.

Стояли на диво ясные осенние дни, но его они не радовали. Он охотился, но ни охота, ни любимые псы не радовали его. Перед ним в грозном великолепии маячил вдаль его город Толедо, но это зрелище не радовало его. Не радовали его ни река Тахо, ни болтовня с его

верноподданным Белардо. Мыслями он все возвращался к тому, что рассказала ему Ракель о своем новогоднем празднике; верно, она сейчас молится там своему богу и кляңчит, чтобы он простил ей любовную связь с ее государем.

Она вернулась, и злую тоску как рукой сняло. Однако, хотя и она искренне обрадовалась встрече, он вскоре заметил, что Ракель точно подменили; на ее лице теперь лежала печать какого-то необычайного, вдумчивого умиротворения. Альфонсо не удержался и с ласковым ехидством спросил, свела ли она, как собиралась, счеты со своим богом. Она как будто не рассердилась на него за насмешку, а может статься, и не заметила ее, она только молча посмотрела на Альфонсо, всецело погруженная в свои думы. Ее молчание взорвало его больше, чем любое возражение. Он, Альфонсо, даже помыслить не смел об исповеди, ни один священник не дал бы ему отпущения; а вот она примирилась со своим богом. Он стал придумывать, что бы сказать ей позлее и пообиднее.

Но тут неожиданно заговорила она сама. Да, сказала она как-то удивительно строго и вместе с тем просто, сейчас наступили благословенные дни, когда воистину раскаявшийся грешник может обрести спасение. В день поминовения, в день нового года господь хоть и вносит в книгу судеб приговор, однако печать он налагает лишь десять дней спустя, в день очищения, и молитвой, добрыми делами и непритворным раскаянием можно этот приговор изменить. Внезапно решившись, она добавила:

— Если бы ты пожелал, Альфонсо, любимый, в твоей власти было бы помочь мне вымолить у господа полное прощение. Ты знаешь, какие бедствия терпит мой народ в стране франков. Почему бы тебе не открыть границы этим моим братьям?

Волна ярости захлестнула Альфонсо. Вот оно, покаяние, которое их священнослужители наложили на нее. Ей велено заставить его в самый разгар священной войны наводнить свое государство неверными, ей велено внести рознь между его народом, его богом и им самим,—а за это их Адонай очистит ее от скверны. Все они в заговоре—она, ее отец и их священнослужители. Такой гадкой, грязной сделки никто еще не осмеливался ему навязывать.

Его хотели провести, как глупейшего из глупцов, хотели, чтобы за ее любовь и за ее тело он продал душу. Но он не попадется на удочку этим обманщикам, он не позволит себя надуть, не поддастся на вымогательства, нет, он не из таких.

Неистовым усилием воли он сдержал площадную брань, так и рвавшуюся у него с губ. А вместо этого с

перекошенным от злобы лицом, звонким, повелительным голосом, словно обращаясь к соборному строю строптивых грандов, отчеканил по-латыни:

— Мне не угодно обсуждать государственные дела в Галиане. Мне не угодно обсуждать государственные дела с тобой.

И, круто повернувшись к ней спиной, удалился.

Когда он попытался ночью прийти к ней, она заявила, что по еврейскому обычаю в эту покаянную пору женщинам полагается спать одним. Тут уж гнев его вырвался наружу. Ах, он должен считаться с ее дурацкими суевериями? Или она думает этой новой уловкой выманить у него указ для своих евреев? Значит, из-за них она отказывается ему?

Вперив в нее бешеный взгляд, он угрожающе тихо произнес:

— Ты смеешь ставить мне условия, да? Чтобы я впустил твоих паршивых евреев в свою страну, а ты за это впустишь меня сегодня ночью к себе, да? Этого я не потерплю. Я хозяин здесь в доме, здесь в стране!

Она смотрела на него широко раскрытыми серыми глазами, полными жалобы, укора, ужаса, но не страха. Это окончательно взорвало его. Он набросился на нее, швырнул на ложе, схватил, как хватают врага. Она сопротивлялась, задыхаясь. Он снова насильно бросил ее на ложе и не выпуская, сам тяжело дыша, в ключья разорвал на ней одежду и молча, яростно, грубо, без наслаждения овладел ею.

В ту же ночь Ракель покинула Галиану. Она ушла в кастильо Ибн Эзра.

Альфонсо слышал, как она уходила вместе с кормилицей Саад. Дорога вверх на скалистый Толедский холм была короткая, но небезопасная в темноте. Поколебавшись, он послал за ней следом вооруженного провожатого. Тот не догнал ее.

«Так ей и надо,— злорадно подумал Альфонсо.— Сама меня до этого довела. Все к лучшему. Значит, так угодно небесам. Теперь ничто меня не удержит. Теперь уж я пойду войной на неверных. Она одна виновата, что я так долго и постыдно мешкал. Арагонский вертопрах просчитался. Провидению не угодно, чтобы я предавался сладострастию, пока он будет бить неверных».

К утру он принял решение показать великодушные и еще один день пробыть в Галиане. На случай, если она вернется. Несмотря на свой справедливый гнев, он хотел расстаться с ней по-дружески. Ведь много прекрасного пережито здесь, и нельзя, чтобы все оборвалось так нелепо и некрасиво.

Он слонялся по дому и парку, судорожно стараясь быть веселым. Далила, видите ли, желала предать его филистимлянам, но он не такой дурак, как Самсон, у него не похитишь его силу. Оказалось, что прекрасная жизнь в Галиане — попросту *эспехисмо*, мираж пустыни. Ну вот, свежий ветер развеял это наваждение, и теперь его окружает здоровая действительность.

Он остановился перед мезузой, которую Ракель велела прибить над дверьми. Это была трубка из драгоценного металла, а в застекленном отверстии угрожающе чернели слова заповедей Шаддаи. Ему очень хотелось сорвать эту языческую дребедень, но он побоялся навлечь на себя гнев ее бога и удовольствовался тем, что кулаком разбил стекло. Осколки поранили ему руку, потекла кровь, он стер ее, но кровь все текла; злобно смеясь, смотрел он на кровоточащую руку. Пусть теперь подивятся все, кто думал, что он разнежился здесь. Нет, теперь он ринется в бой. Он будет разить и крушить своим славным мечом *Fulmen Dei*. В угодном богу честном мужском бою выбьет он из души все эти глупые помыслы и очистит свою кровь от грехов, от сомнений, от гнетущей, расслабляющей языческой дури.

— Может статься, любезный, твои надежды сбудутся скорее, чем ты думаешь, — с наигранной веселостью сказал он садовнику Белардо. — Доставай-ка дедовский кожаный колет и шлем. Я дам тебе случай проветрить их.

Белардо, казалось, скорее удивился, чем обрадовался.

— Я готов служить твоему величеству всем, что у меня есть, в том числе и дедушкиным кожаным колетом. Но кому-то надо остаться здесь и орудовать лопатой. Ведь ты, государь, не захочешь, чтобы твой сад пришел в запустение?

Уклончивость садовника озадачила Альфонсо.

— Да я не завтра собираюсь выступать, — сердито буркнул он. И так как разговор происходил возле полуразвалившихся цистерн, остатков изобретенной рабби Хананом машины для измерения времени, словно невзначай приказал: — Пока что надо засыпать вот это. А то еще свалится туда кто-нибудь в темноте.

Ракель не вернулась и на следующий день. Тогда он поскакал в Толедо. В замке, по-видимому, уже знали, что он рассорился с еврейкой. Все явно повеселели и вздохнули свободнее.

Он окунулся в дела.

Все было так, как предсказывал еврей. Страна процветала, кастильская казна была полна. Впрочем, Иегуда, пожалуй, был прав и в том, что для войны против халифа денег еще доставало. Но пусть еврей не думает, что такими доводами ему и впредь удастся удержать его,

Альфонсо, от исполнения своего священного долга. Довольно евреям жиреть за счет его страны; захочет он, так может по примеру своего франкского кузена Филиппа-Августа отнять у них накопленные денежки, вот у него и будет золото, чтобы воевать с халифом.

— Мне больше не вмоготу быть *eques ad fornaset*, рыцарем-лежебокой, когда весь христианский мир воюет,— заявил он дону Манрике.— Я все рассчитал и обдумал и полагаю, что можно начинать.

— А твой эскривано, который понаторел в счете, полагает иначе,— возразил Манрике.

— Наш еврей в своих подсчетах упустил из виду одну статью — честь,— высокомерно отвечал Альфонсо.— В чести он смыслит не больше, чем я в Талмуде.

Манрике встревожился.

— В конце концов, ты сам поставил его надзирать за твоей казной,— сказал он,— значит, его обязанность беречь ее. Не поддавайся на уговоры дона Мартина, дон Альфонсо,— взмолился он,— велик соблазн военного похода, тем более что это соблазн, угодный богу. Но если у нас не хватит денег, чтобы продержаться год-два, тогда такой поход может погубить государство.

В душе Альфонсо не доверял мнению Ибн Эзры. Тот искал всяких поводов помешать священной войне, потому что впустить своих евреев в Кастилию он мог только в мирное время. Но такая наглая затея даже в голову бы не пришла этому Ибн Эзре, если бы не его, короля, нечестивая страсть, а потому Альфонсо стыдился признаться старому другу Манрике в своих подозрениях и вместо этого лишь проворчал:

— Вы тут сидите да каркаете, а кому достается от всего христианского мира? Понятно, мне.

— Тогда вступи в переговоры с Арагоном, дон Альфонсо,— сухо и обиженно посоветовал Манрике.— Столкнись с доном Педро. Заключи честный союз.

Король в досаде поспешил отпустить своего друга и советчика. Всякий раз он натывается на то же препятствие. Разумеется, Манрике прав, разумеется, начать войну можно, только выяснив отношения с Арагоном. Надо точно договориться обо всем и заключить союз, но достичь этого способен только один человек на свете — донья Леонор.

Что ж, он поедет в Бургос.

Сколько времени он не виделся с Леонор? Целую вечность. Она посылала ему короткие учтивые письма, он через большие промежутки отвечал так же коротко и учтиво. Он ясно представлял себе их встречу. Он будет разыгрывать весельчака, она будет отвечать приветливой, несколько принужденной улыбкой. Нерадостное это выйдет свидание.

Он постарается объяснить ей все происшедшее. Но где найти слова, чтобы другой человек понял, как это страшно и прекрасно, когда на тебя накатывает такая огромная волна, и швыряет в бездну, и возносит ввысь, и снова вниз, и снова ввысь?

В разговоре с Родриго он заносчиво и упрямо отстаивал свое право на Ракель и на страсть к ней, и священник при всем своем благочестии понял его. Но Леонор, сдержанная, благосклонная, истая знатная дама, не может его понять. Перед ней он потеряет дар речи, и что он ни скажет, все будет звучать, как жалкая попытка глупого мальчугана во что бы то ни стало оправдаться. Это будет самое жестокое унижение в его жизни.

Король не имеет права так унижаться ни перед кем на свете, и нет ничего на свете, что стоило бы такого унижения.

Неправда. Есть, есть такое блаженство, которое стоит любого унижения и в придачу вечных мук.

И сразу вновь всплывает Галиана в ее нечестивом ореоле. Он чувствует вновь, как прижимается к нему Ракель, чувствует ее нежное, упительное прикосновение, чувствует, как пульсирует ее кровь и бьется сердце. Он запускает пальцы в ее волосы, теребит их, пока она не скажет, смеясь: «Не надо, Альфонсо, мне больно, Альфонсо». Кто еще умеет так забавно, по-своему и так убедительно сказать «Альфонсо», что от одного этого слова и смеяться хочется, и пробирает дрожь? Он видит ее глаза цвета голубиноного крыла, видит, как они меркнут, как медленно опускаются на них тяжелые веки и поднимаются снова.

Ему вспомнились арабские стихи, которые она однажды дала ему прочесть:

«Часто слышал я свист стрел над моей головой и не дрогнул ни разу; но когда я слышу шелест ее платья, трепет проходит у меня по всему телу. Часто слышал я трубы наступающего врага, но оставался холоден телом и душой; когда же я слышу ее голос, всего меня обдаёт жаром».

Тогда эти стихи вызвали у него досаду; не смеет рыцарь доходить до такого раболепства. Но они были истинны, эти нежные и раболепные стихи, истинны, как само Евангелие. Его обдавало жаром, едва он представлял себе Ракель. Как мог он даже помыслить о том, чтобы покинуть Ракель, свою Ракель, блаженный и греховный смысл своей жизни?

Он должен вернуть себе Ракель, должен помириться с ней. А это возможно только *одним* путем. Он тяжело перевел дух. Ничего не поделаешь. Другого пути нет.

Он послал за Иегудой.

Дон Иегуда был не из трусливых, но его охватил страх, когда глубокой ночью к нему в полном смятении прибежала Ракель.

— Он оскорбил меня так, как никогда не оскорбляли женщину,— сказала она.

Иегуде не терпелось узнать, что случилось. Но он сдержался. Разбудил Мусу, попросил его приготовить сильнодействующее успокоительное питье и сказал:

— Ляг, усни, дочь моя, завтра проснешься здоровой.

Оставшись один, он лихорадочно пытался представить себе, что же такое могло произойти. Должно быть, она попросила приюта для франкских евреев. А Иегуда по опыту знал, как жестоко и вероломно умеет этот человек оскорблять, когда бывает раздражен. Ракель не стерпела обиды, она убежала, а человек этот мстителен, он сорвет свою злобу и на нем, Иегуде, и на всех евреях. И Ракель, и он сам напрасно принесли такую жертву.

Он старался успокоиться, но уснуть не мог. Нельзя допустить, чтобы все пошло прахом, надо найти лазейку для надежды. Он ломал себе голову, отыскивая, за что бы ухватиться. Этот христианский король вечно толкует о чести, но о собственном достоинстве понятия не имеет. Уже два раза, обругав и оплевав Иегуду, он вдруг понимал, что нуждается в нем, и спешил опять к нему подладиться. Ракель он любит, жить без нее не может, значит, и к ней будет опять подлаживаться, будет кланяться, чтобы она вернулась.

Это было утро пятого *тишири*. Меньше чем через три недели истекал срок, назначенный Иегудой для исполнения обета. В эту первую бессонную ночь он понял, что много у него еще будет бессонных ночей, много раз будет он падать в бездну отчаяния и выбираться из нее, цепляясь за надежды и хитроумные домыслы.

Так обстояло дело с Иегудой Ибн Эзра. А с тобой-то что, Ракель? Ты бродишь бледная, молчаливая, тщетно ждешь весточки. Ты видишь озабоченные, нежные взгляды отца, но они не греют и не утешают тебя. Ты слышишь слезливые причитания кормилицы—увы, ее ладанка, «рука Фатимы», ничему не помогла,—и все ее уговоры скользят мимо тебя. Ты воскрешаешь в памяти его лицо, осанку и повадку в те лучшие часы знойной страсти, когда сливались воедино души и тела. Но этот образ вытесняется другим, и ты видишь перед собой изуродованные похотью черты насильника. Вот, значит, каков лик рыцарства, столь пленительный для него! Но, несмотря ни на что, ты тоскуешь о нем и знаешь твердо—стоит ему только позвать, и ты пойдешь, победишь к нему.

Проходили дни. Дон Альфонсо был в Толедо, но не

посылал ни за ней, ни за Иегудой. Только дон Манрике являлся с вопросами, необходимыми для ведения государственных дел.

Наступил священнейший для евреев день — день очищения, *йом кипур*. Иегуда, удивительный, многоликий Иегуда, словно переродился в этот день. Он отбросил всякое мелочное тщеславие, признался себе, что его «высокое назначение» было лишь личиной властолюбия, и воистину стал сокрушенным, жалким, грешным человеком перед лицом Божиим; чем высокомернее был он раньше, тем униженнее стал теперь. Он бил себя в грудь и с жгучим стыдом взывал к богу:

— Я согрешил головой своей, надменно и дерзко поднимая ее. Я согрешил глазами своими, глядевшими нагло и заносчиво. Я согрешил сердцем своим, преисполненным гордыни. Я признаю, и сознаю, и каюсь. Помилуй меня, господи, дай мне искупить мой грех.

Теперь он не только разумом, но всем существом своим готов был принять любую кару.

Когда два дня спустя король призвал его к себе, он ни на что не надеялся и ничего не страшился. Добро ли, зло ли — будь благословенно, — так мысленно твердил он по дороге в замок и так думал на самом деле.

Альфонсо держался надменно и смущенно. Он долго распространялся о малозначащих делах, как-то: о препонах, чинимых баронами де Арена, и о том, что он не намерен терпеть это далее. Пускай Иегуда вдвое против прежнего сократит им срок, и если они не соизволят уплатить, он, Альфонсо, силой займет спорное селение.

— Я в точности исполню приказ твоего величества, — с поклоном ответил Иегуда.

Альфонсо лег на свою походную кровать, скрестил руки под головой и спросил:

— А как обстоит дело с моими военными планами? Ты все еще не нагреб достаточно денег?

— Договорись с Арагоном, государь, а тогда можешь выступать, — деловым тоном ответил Иегуда.

— Заладил одно и то же, — проворчал Альфонсо и, привстав, без всякого перехода, спросил:

— А что слышно о евреях, которых ты хочешь навязать мне? Постарайся говорить по-честному, не как их брат, а как мой советник. Будут у моих подданных основания упрекать меня: что, мол, делает этот король — в самый разгар священной войны впускает в страну тысячи нищих евреев?

Скорбная самоотверженная покорность Иегуды мигом сменилась буйным ликованием.

— Никто не скажет ничего подобного, государь, — ответил он, снова став прежним Иегудой, почтительным,

уверенным в себе и в своем превосходстве.—Я бы не осмелился просить тебя, чтобы ты допустил к себе в страну *нищих*. Наоборот, я думал всеподданнейше предложить тебе, чтобы через границу пускали только тех беженцев, у которых окажется в наличности, скажем, не менее четырех золотых мараведи. Новые поселенцы будут не жалкими бедняками, а людьми положительными, сведущими в торговле и ремеслах, и обогатят казну немалыми налогами.

Альфонсо только того и ждал, чтобы его уговорили, а потому спросил:

— Как по-твоему, можно это втолковать моим грандам и моему народу?

— Не знаю, как грандам, а народу, безусловно, можно. Твои кастильцы на деле почувствуют приток средств, им привольнее станет жить,—ответил Иегуда.

Король рассмеялся.

— Ты, по своему обыкновению, преувеличиваешь. Ну, да я к этому привык,—заметил он и будто вскользь бросил:—Так вели изготовить указ.—Иегуда низко поклонился, коснувшись рукой земли.

Он не успел еще выпрямиться, как король добавил:

— Бумаги пришли мне в Галиану. Я сегодня вернусь туда. Да скажи, пожалуйста, своей дочери: мне будет приятно, если она пожелает присутствовать при подписании указа.

За пять дней до назначенного им самим срока дон Иегуда сообщил парнасу Эфраиму, что король, наш государь, выразил согласие на поселение шести тысяч франкских евреев.

— Тем самым я избавляю тебя от труда предавать меня анафеме,—с лукавой и горделивой скромностью продолжал он.—Правда, от внесения двенадцати тысяч мараведи для франкских евреев я тебя избавить не могу.—И великодушно добавил:—Зато в том, что они получают доступ к нам в страну, будет большая доля твоей заслуги. Не согласишься ты оказать мне помощь, я бы этого не добился.

Дон Эфраим побелевшими губами произнес слова благословения, которые положено говорить, когда получаешь радостную весть:

— Хвала тебе, Адонай, господь бог наш, ибо ты благ и даруешь нам благое.

Тут Иегуда не сдержался и дал волю своему торжеству:

— *Naph tule elohim niphtalti*—божьи победы—мои победы!—ликующе воскликнул он.

Он ходил сияющий, окрыленный, не чувствуя под собой земли. Куда девался человек, который всего лишь две недели назад был раздавлен сознанием своего ничтожества? Гордыня его не знала пределов. Грудь его распирали смех над глупцами идолопоклонниками, что затеяли свою священную войну ради страны, которая никогда не будет принадлежать им. Истинную священную войну, войну божью, ведет он, Иегуда. Пока те сеют смерть и опустошение, он мирно расселяет шесть тысяч спасенных. Он мысленно видел уже, как работают их смышленные головы и ловкие руки, как они устраивают мастерские, возделывают виноградники, производят и выменивают полезные предметы.

Он праздновал свое торжество с верным другом Мусой. Его, ценителя лакомств и тонких вин, позвал он сотрапезником на дунуновский пир, достойный братьев Дунун, непревзойденных чревоугодников мусульманского мира. Перед Мусой он не скрывал своей радости. Видно, он и в самом деле любимое чадо божие. Если бог и посылает ему порой несчастье, то лишь затем, чтобы он лучше прочувствовал свое счастье.

— Знаю, знаю, мой друг,—с ласковой насмешкой подтвердил Муса.—Ты потомок царя Давида, и господь на ладони своей пронесит тебя над всеми житейскими бурями. Потому-то тебе незачем прислушиваться к голосу рассудка и можно «творить» и крушить напрапалую, теша свое необузданное сердце, точь-в-точь как те рыцари, к которым ты питаешь такое безграничное презрение. Разумом ты их видишь насквозь, но в делах своих руководишься их основным правилом: «Лишь бы не сидеть сложа руки, лишь бы что-нибудь делать, и лучше даже не то, что надо, чем вовсе ничего».

Они пили изысканные вина, и Иегуда, в свою очередь, поддразнивал друга:

— Ну конечно, мудрец не должен терять хладнокровие при любых обстоятельствах: он скорее согласится, чтобы его убили, чем ударит сам. Могу засвидетельствовать, что ты так и поступал. И если бы не я, ты по меньшей мере три раза был бы уже убит и не мог бы сейчас пить это вино с берегов Роны.

Они выпили.

— Я рад,—заговорил Муса,—что твой Ибн Омар хоть сегодня не будет требовать от тебя, чтобы ты вмиг составил договор с другим государством или отправил в плавание целый торговый флот. Мне ведь так редко доводится мирно наслаждаться твоей дружбой. Ты без конца превозносишь мир, а самому себе отказываешь в нем.

— Если бы я не отказывал себе в мире, другие и вовсе не знали бы его,—ответил Иегуда.

Муса кротким, улыбчивым, испытующим взглядом посмотрел на друга.

— Резво бегаешь, друг Иегуда,— промолвил он,— и не знаешь передышки. Боюсь, что ты убегаешь от своей души и она не может догнать тебя. Нередко ты, правда, добегал до цели, но не забудь, что порой тебе не хватало дыхания.— И немного погодя добавил: — Мало кто понимает, что не мы идем по жизни, а нас ведут по ней. Мне-то давно уже ясно: я не рука, бросающая игральные кости, а лишь одна из костей. Боюсь, что ты этого никогда не постигнешь. Но именно за это я тебя люблю и дружу с тобой.

Долго сидели они так — ели, беседовали, пили. А потом с наслаждением смотрели на танцовщиц, которых позвал Иегуда.

Вспоминая в последующие недели речи своего друга Мусы, Иегуда лишь посмеивался с ласковым превосходством. Все складывалось, как он задумал. Два огромных каравана с товарами, которые он наудачу приказал доставить с дальнего Востока, благополучно миновали превратности морей и войны и достигли надежной пристани.

В самый разгар священной войны был подписан хитроумный договор с наместниками султана Саладина на пользу Иегуде и Кастильскому королевству. Иегуда с глубоким изумлением убеждался, что толедская жизнь претворяла в явь те грезы, которые грезились ему когда-то у полуразрушенного фонтана. Гордость окутывала его мерцающим облаком.

Он заказал себе рисунок герба и просил короля утвердить его. Посредине была изображена *менора*, семисвечник из храма Иеговы, а кругом еврейскими письменами были начертаны имя и должность Иегуды. Он заказал себе печать с этим гербом и носил ее на груди по обычаю своих праотцев, тех мужей, о которых повествует Великая Книга.

Альхама выплачивала очень большую саладинову десятину, и такой же большой процент получал с нее Иегуда. Он решил впредь не оставлять себе этих денег. А тут как раз оказалось, что парижским евреям, когда их изгоняли, удалось спасти свиток торы, который считался древнейшим из уцелевших списков Моисеева Пятикнижия. Это был так называемый *сефер хиллали*. Иегуда купил книгу за три тысячи мараведи; никто, кроме него, не был способен пожертвовать беженцам такую огромную сумму таким красивым жестом.

И теперь он сидел вместе с Мусой перед драгоценным и ломким пергаментным свитком, сохранявшим из поколе-

ния в поколение слово божие и возвышенное, благородное творение еврейского народа.

Жадно и благоговейно созерцали они чудесную книгу и бережно прикасались к ней.

Иегуда собирался было отдать пергаментный свиток в дар альхаме, но его с первых же дней удручал невзрачный вид толедских синагог. Нет, сперва он построит подобающее хранилище для своей чудесной книги, храм, достойный этой драгоценной рукописи, достойный народа Израилева, древней толедской альхамы и его самого, Иегуды Ибн Эзра.

— А ты не думаешь, что этим еще пуще разожжешь ненависть архиепископа и баронов?—предостерег его Муса.

Иегуда только пренебрежительно усмехнулся в ответ.

— Я построю богу Израиля достойный его дом,—сказал он.

Муса все так же ласково, но, пожалуй, настойчивее, чем обычно, постарался образумить его.

— Иегуда, друг мой, не обременяй коня чересчур пышной сбруей. Смотри, как бы под конец не остаться с упряжью и чепраком, но без коня.

Иегуда дружески похлопал его по плечу и пошел дальше своим дерзновенным путем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Донья Леонор у себя в Бургосе сперва не приняла всерьез слухи о любовных похождениях Альфонсо. И даже когда оказалось, что Альфонсо по целым неделям живет в Галиане наедине с еврейкой, она постаралась убедить себя, что это — мимолетное увлечение. Правда, за пятнадцать лет супружества Альфонсо время от времени позволял себе любовные прихоти, но всегда очень скоро возвращался к ней, по-мальчишески смущенный. У нее в голове не укладывалось, что он мог не на шутку влюбиться, да еще в эту еврейку! Когда они встретились впервые, он почти не обратил на нее внимания, и самой Леонор пришлось просить его, чтобы он сказал этой девушке несколько учтивых слов. К тому же она, еврейка, слишком бойка и одевается как-то подчеркнуто своеобразно, а все это может только оттолкнуть Альфонсо.

Нет, донья Леонор не ревновала. Грозным предостережением вставала перед ней жизнь ее матери Алиеноры Аквитанской, которая мучила мужа, Генриха Английского, дикой ревностью, за что все последние годы он держит ее в заточении. Нет, Леонор не последует мате-

ринскому примеру. Увлечение еврейкой пройдет у Альфонсо так же скоро, как все его прошлые прихоти.

Шли недели, месяцы, а Альфонсо был по-прежнему влюблен в эту донью Ракель. И вдруг доводы разума и самообольщения потеряли силу. Леонор всегда считала чистым вымыслом увлекательные романы в стихах, которые посылала ей из Труа сестра и пели перед ней франкские рыцари и труверы. Она и сама порой воображала себя одной из тех прекрасных, сверкающих умом женщин, Джиневрой или Изольдой, ради которых блистательные рыцари, Ланселот или Тристан, жертвовали честью и жизнью. Но вот эти нелепые, безумные рассказы обернулись не выдумкой стихоплетов, а подлинной, окружающей ее жизнью. Оказались страшной действительностью, которой жил ее супруг, ее рыцарь, ее возлюбленный, ее Альфонсо!

Гнев закипел в ней против него, против Альфонсо, который так отблагодарил ее за любовь, за ровный и веселый нрав, подобающий знатной даме, за рождение инфанта; ее охватила безграничная ненависть к этой женщине, к еврейке, распутнице, подлым образом обольстившей, укравшей у нее мужа, который принадлежал ей по праву пятнадцатилетнего супружества, освященного церковью.

Но нельзя, подобно матери, терять над собой власть. Надо быть мудрой и помнить, что ей предстоит выдержать борьбу с умнейшим человеком в королевстве, с Ибн Эзрой, которого сама она, безумица, на свою погибель призвала сюда.

Она и повела себя мудро. Подавила гнев. Не желала слышать о происходящем, все отрицала даже перед своими приближенными. Пришел архиепископ Бургосский, искренний и верный друг, и с сокрушением заговорил о приключившейся беде. Она тотчас придала лицу самое царственное выражение и посмотрела на благочестивого гостя так холодно и недоуменно, что он умолк.

Нет, донья Леонор знать не знала про Галиану, ничего не предпринимала ни против Альфонсо, ни против его любовницы, никому не жаловалась.

Она сделала одно — резко изменила свою политику. К величайшему изумлению придворных, она внезапно заявила, что нейтралитет Кастилии — дело нечестивое и неразумное. Все видят, что у государства теперь достаточно денег для участия в священной войне. Так пора наконец выступить в поход.

Она знала: стоит Альфонсо выступить в поход, и злые чары развеются, точно дым; это было непреложно, как «Отче наш».

И она сделает так, что он выступит в поход. Она

добьется союза с Арагоном. Умная, злая усмешка тронула ее губы. Из нелепой страсти Альфонсо можно извлечь хоть какую-нибудь пользу: можно смягчить дону Педро, показав ему, что Альфонсо вообще подвержен припадкам умопомешательства, что он был невменяем, когда нанес ту злополучную обиду, а значит, ее следует простить и забыть.

Она написала дону Педро дружественное послание, где в приличествующих знатной даме, но все же нежных выражениях дала ему понять, что желает видеть его у себя. Письмо должен был доставить дон Луис, секретарь ее друга, архиепископа Бургосского.

Воображение молодого короля было поражено любовной связью дона Альфонсо. Несмотря на всю свою ненависть, он по-прежнему видел в доне Альфонсо зеркало рыцарства, и необузданная страсть кастильского короля была лишь подтверждением его рыцарских качеств. Подобно тому как Тристан и Ланселот жертвовали всем для своей дамы, Альфонсо тоже ставил на карту свою рыцарскую и королевскую честь ради женщины, к которой воспылал любовью. А то, что эта женщина была еврейкой, придавало приключению ореол особой таинственности. Много ходило фантастических историй о рыцарях, которые пленялись на Востоке мусульманскими женщинами. Дон Педро не мог без содрогания думать о царственном родственнике, отрекавшемся от христианской веры и губившем свою душу, и вместе с тем невольно восхищался его бесстрашием.

С такими противоречивыми чувствами читал он письмо доньи Леонор. Он мысленно слышал ее голос, видел перед собой милый облик благородной дамы, от души жалел эту превосходную женщину, которую узы брака приковали к страдающему помешательством, одержимому дьяволом Альфонсо. И раз эта благородная дама оказалась в беде, его долг — помочь ей.

Вдобавок и он с начала крестового похода жестоко страдал от бездействия. Он совсем уже снарядился, чтобы напасть на Валенсию, где владычествовали мусульмане, успел даже отправить к валенсийскому эмиру послов, и те, ссылаясь на старые договоры, в дерзкой форме потребовали с него дань, так что дону Хосе Ибн Эзра стоило немалых трудов вновь наладить отношения с эмиром. Министру приходилось измышлять все новые и новые хитрости, лишь бы его строптивый повелитель не нарушил этого «постыдного» мира.

Таким образом, послание доньи Леонор встретило у дона Педро живейший отклик, но он не мог переломить себя, отправиться в Бургос и первым искать примирения. В Бургосе это предвидели, и посланный доньи Леонор,

богомольный и изворотливый секретарь дон Луис, предложил удачный выход. В такое трудное время каждому христианскому монарху не худо совершить паломничество в Сант-Яго-де-Компостелла. И если по пути в святую обитель дон Педро заедет в Бургос, он доставит большую радость донье Леонор.

Педро заехал в Бургос.

Донье Леонор было приятно, что юный государь смотрит на нее с таким же рыцарским восхищением, как и раньше. Он довольно неловко заговорил о ее несчастье. Она сделала вид, что не поняла его слов, но не скрыла, как ей тяжело. Выразительно глядя на него, она сказала, что, заключив союз с Кастилией и тем самым дав испанским государствам возможность выступить в крестовый поход, он окажет услугу не только всему христианскому миру, но и лично ей, Леонор, ибо таким путем он избавит от когтей злых духов великого государя и полководца, с которым она связана тесными узами, и поможет ему обрести свою подлинную благородную сущность. Педро смущенно теребил свою перчатку и не знал, что ответить. Ей понятно, продолжала она, что дону Педро неуместно делать первые шаги к заключению союза с человеком, якобы обидевшим его. Но, быть может, удастся подвинуть Альфонсо на дела, которыми он рассеет недоверие дона Педро.

Как она и ожидала, дон Педро спросил, что это за дела. Но Леонор все обдумала заранее. Надо полагать, Альфонсо не откажется, ответила она, признать за Арагонском сюзеренные права над бароном де Кастро и, дабы загладить свою вину, уплатить ныне правящему барону Гутьере де Кастро крупную сумму в возмещение за убитого брата; может быть, Альфонсо согласится даже вернуть барону Гутьере толедский кастильо.

Ее расчет был построен на том, что Альфонсо обязательно согласится на такое возмещение, раз от этого будет зависеть возможность крестового похода. Если же он отнимет кастильо у Иегуды, заносчивый еврей не стерпит такой обиды, разрыв с семейством Ибн Эзра будет неизбежен.

Дон Педро растерялся. Такого рода уступка, конечно, многое бы загладила. Он чувствовал на себе молящий взгляд благородной женщины. И ему глубоко запал в душу ее намек, что это будет воистину рыцарским служением даме сердца, если он вырвет Альфонсо из когтей дьяволицы. Его искренне растрогала скорбная кротость нежной и печальной королевы. Он поцеловал ей руку и сказал, что обдумает ее слова с самым дружеским расположением; он не мечтает о лучшей участи, как идти воевать во имя Христа и во имя ее, доньи Леонор.

После того как Ракель возвратилась в Галиану, дон Альфонсо почувствовал, что никогда еще так ее не любил. Когда он смотрел на ее тонкое лицо, ему становилось стыдно своей грубости; ведь она была дама, дама его сердца, а он учинил ей такое бесчестие и насилие. Но в другие разы именно воспоминание о том, как он сломил ее отчаянное сопротивление, наполняло его жестоким сладострастием. В нем поднималось неистовое желание опять унижить ее, и когда она самозабвеннее, чем он, отдавалась объятиям, он испытывал злое торжество.

При этом он был ей благодарен за то, что она ни единым словом, ни малейшим жестом не напоминала о тех тягостных минутах. Едва вернувшись, она испуганно спросила его, чем он поранил руку, потому что царапины и порезы от осколков мезузы заживали очень медленно. Он ответил уклончиво и был доволен, что она не стала расспрашивать дальше; не спросила она и о том, почему засыпаны землей цистерны рабби Ханана.

На самом деле она вовсе не забыла тех минут. Но все случилось так, как она и желала и боялась: в его присутствии оскорбление уже не было оскорбительно, грубость уже не казалась грубостью. И даже порой, лежа в его объятиях, она мечтала вновь увидеть лицо дикаря, какое было у Альфонсо в те безумные мгновения.

Ее надежды изменить его, из рыцаря превратить в человека, оказались так же тщетны, как тщетно волны бьются о скалу. Да она и не жалела об этом: ей был люб и рыцарь. Его худое, костлявое, словно выточенное грубым резцом, мужественное лицо, присущее ему сочетание грации и угловатости не переставали волновать ее кровь.

Всем остальным книгам Библии она теперь предпочитала Песнь Песней и велела повесить на стене своей опочивальни взятый из нее стих:

«Ибо крепка, как смерть, любовь... стрелы ее — стрелы огненные. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее».

Она перевела этот стих Альфонсо, он выслушал очень внимательно. Попросил повторить, прочесть стих по-еврейски.

— Неплохо звучит, — заметил он, — даже очень хорошо.

С тех пор как она подарила ему арабские доспехи, он знал, что она любит и Альфонсо-воина. Но он не зря ревновал ее к отцу и старику Мусе, ибо чувствовал, что разум ее отвергает в нем все по-настоящему хорошее и героическое. С жаром и даже со страстью старался он раскрыть ей себя. Война — это божья заповедь, а воин-

ская слава для мужчины—самая высокая цель. Лишь в войне обнаруживается лучшее в отдельном человеке и в целом народе.

Ведь и у евреев были Самсон и Гедеон, Давид и Иуда Маккавей. И как может король править, не воюя? Королю нужны верные соратники, и они ждут от него заслуженной платы. Значит, ему необходимы все новые земли, чтобы раздавать им в награду за верную службу, а где же взять земли, как не у врага? На то король и поставлен от бога, чтобы брать добычу и приумножать свои владения. Он-то, Альфонсо, знает меру, он не такой алчный, как его тесть Генрих Английский или же римский император Фридрих, он не собирается завоевывать весь мир. Все, что по ту сторону Пиренеев, ему не надобно. Он желает владеть одной лишь Испанией, но ее он желает иметь всю полностью, как христианскую, так и мусульманскую.

Дерзновенным и страшным, как рок, казался он Ракели. Неотразимый и грозный соблазн исходил от этого отпрыска франкских и готских варваров, убежденного, что ему, одному ему, господь судил владеть всем полуостровом.

Он рассказывал ей о высоком и благородном ратном искусстве, которое он изучил до основания, до тонкостей. И пусть он и сейчас не стал еще ни Александром, ни Цезарем, все равно он родился полководцем. Врожденным чутьем он знал, когда пускаться в дело легкую конницу, а когда тяжелую, с первого взгляда мог определить достоинства поля битвы и, как никто другой, умел отыскать такое место для засады, откуда лучше всего врасплох застигнуть врага. И если он не всегда выходил победителем, то лишь оттого, что ему недоставало *одной-единственной* скучной добродетели, потребной для полководца,—терпения.

Выслушав его рассказы о том, сколько он выиграл кровавых битв, сколько поверг врагов, она почти всегда говорила не то, что он ожидал.

Например, она спрашивала:

— Сколько, ты сказал? Три тысячи с вражеской стороны и две тысячи с твоей?

И в ее вопросе слышался не упрек, а скорее тягостное недоумение.

А то просто уходила в себя, замыкалась в упрямом одиночестве, из которого он не мог ее вырвать. Хуже всего бывало, когда она только молча смотрела на него. Это было красноречивое молчание, язвившее больше, чем гневный укор.

Однажды ее молчание вызвало у него злобную вспышку:

— Знаешь, кто разбил стекло на твоей священной мезузе? Я. Вот этой самой рукой. И цистерны твоего рабби Ханана тоже я велел засыпать. Так и знай.

Она ничего не ответила. Тяжело дыша, он встал, прошел несколько шагов, вернулся, снова сел рядом с ней и заговорил о чем-то другом. Остановился и хотел попросить прощения. Она ласково закрыла ему рот рукой.

Хотя Альфонсо страстно ненавидел то, что было в ней чуждого, он знал, что обречен ей, обречен навеки.

«Et nunc et semper et in saecula saeculorum, amen»¹, — кощунственно пробормотал он про себя. Он сам обрек свою душу на гибель, ибо теперь ясно видел, что Ракель ему никогда не обратит в христианскую веру. Пожалуй, так и лучше. Все равно он не вырвется из заколдованного круга, в который сам заключил себя; и он, ожесточившись, упорствовал в своем грехе.

Каноник дон Родриго больше не заговаривал с ним о Галиане. Это не имело никакого смысла. Они высказали все, что может в таком вопросе один человек сказать другому. Однако, хотя Альфонсо и считал свой грех королевской привилегией, которую не смеет у него оспаривать никакой священнослужитель, его все-таки мучила молчаливая скорбь каноника, искреннего его друга, и он ломал себе голову, чем бы доказать тому свою любовь и признательность.

Не посчитавшись с архиепископом, он издал указ, по которому в его владениях взамен испанского летосчисления вводилось римское, принятое во всех прочих западных государствах.

Радость и благодарность пересилили в доне Родриго укоризненную печаль.

— Ты правильно поступил, дон Альфонсо, — признал он.

Архиепископ, не осмелившийся порицать короля за его нечестие, с особым жаром ополчился теперь против нового закона. Он упрекал Альфонсо, что тот без особой необходимости, единственно ради удобства каких-то иноземцев, отбросил одну из важнейших привилегий испанской церкви. Никто из его предков с такой легкостью не отмахнулся бы от этого ценного преимущества. Альфонсо понимал, что не в законе дело, что архиепископ горячится так из-за Галианы, и потому очень сурово одернул хулителя. И так уже он, Альфонсо, отклонил немало куда более каверзных папских притязаний, и теперь ему только приятно в таком маловажном деле ублажить святого отца. К тому же Рим и прав. Испанцы проявляют поистине

¹ И ныне, и присно, и во веки веков, аминь (лат.).

нехристианскую гордыню, ведя летосчисление от величайшего события в своей собственной истории; конечно, очень важно, что император Август даровал им права гражданства, но как-никак рождество Христово было для всего мира, а значит, и для их полуострова, еще более значительным событием.

Однако удовлетворение, доставленное скорбящему Родриго, недолго радовало короля. Загнанный внутрь грех не переставал жечь его. Как-то утром, после ранней обедни, он огорошил капеллана королевского замка вопросом:

— Объясни мне, досточтимый брат, что это, собственно, такое — грех?

Священник, человек еще не старый, был польщен удивительным вопросом дона Альфонсо.

— Дозволь мне, государь, привести суждение святого Августина, — ответил капеллан. — Грех, говорит он, это совершение таких поступков, о коих человеку известно, что они запрещены, и от коих он волен воздержаться.

— Благодарю тебя, досточтимый брат, — промолвил король.

Он долго думал над изречением великого отца церкви, потом пожал плечами и успокоился на том, что крестовым походом избавит себя от греха, если допустить, что он творит грех.

Хотя громко никто не решался поносить короля, все же кругом слышалось немало злых шепотков. Садовник Белардо рассказал Альфонсо, что дурные люди обзывают нашу госпожу донью Ракель дьяволицей и уверяют, будто она околдовала государя.

Эти шепотки только укрепляли Альфонсо в решимости защищать свою любовь к Ракели. Так, например, он настаивал, чтобы короткий путь из Галианы до кастильо Ибн Эзра она совершала в открытых носилках. Случалось, что озорники дерзко смеялись при этом ей в лицо, а другие и просто кричали:

— У-у, ведьма, дьяволица! — Но Ракель никак не была похожа на посланца преисподней; в ней почти ничто уже не напоминало мальчика, она обрела новую, мудрую, значительную красоту, и весь народ видел это. Хулителей было немного, в большинстве же своем люди не удивлялись, что король избрал себе в подруги такую необыкновенную красавицу, и даже одобряли его.

— Ах ты, красавица! — кричали они ей, и радовались, глядя на нее, и называли ее не иначе, как Фермоза, красавица, и распевали чувствительные, восторженные, задушевные романсы про взаимную любовь ее и короля.

Альфонсо не отказывал себе в удовольствии время от времени сопутствовать ей. Он ехал верхом рядом с ее

носилками, и в толпе кричали вперемежку: «Да здравствует Альфонсо благородный!», «Да здравствует красавица!»

Именно эти возгласы ясно показывали Рақели, что она *баррагана*, королевская наложница. Но она не стыдилась этого.

Альфонсо все больше осваивался с жизнью в Галиане. Он был глубоко убежден, что пользуется особым покровительством божьим и поэтому все окольные пути, на которые он сбивается по воле providения, в конце концов приведут к правой цели.

Теперь уже он без стеснения занимался в Галиане государственными делами. И его гранды в большинстве своем считали знаком королевской милости, особенным отличием, если он призывал их в Галиану. Случалось, правда, что кто-нибудь из них с неприязненным недоумением останавливался перед мезузой. Тогда Альфонсо, улыбаясь, пояснял:

— Это полезный амулет. Он хранит от дурного глаза и мешает водить меня за нос.

Но кое-кто из грандов под прозрачными предложениями уклонялся от посещения Галианы. Альфонсо про себя запоминал их имена.

В послании, написанном деловым и приветливым тоном, донья Леонор сообщила королю, что ее посетил дон Педро и она полагает, что наперекор всем препятствиям союз с Арагоном и поход против неверных вполне осуществимое дело. Она охотно сама бы приехала в Толедо и обсудила все это с Альфонсо; но болезнь инфанта Энрике не позволяет ей отлучиться из Бургоса. А потому она просит Альфонсо незамедлительно приехать к ней.

Король сразу понял, что теперь уж не избежать свидания с доньей Леонор. Однако он успокаивал себя тем, что ввиду таких важных государственных дел личные несогласия теряют свое значение и встреча с Леонор будет менее тягостна.

Он сообщил дону Иегуде, что через два дня отправится в Бургос.

Теперь он часто видался со своим эскривано, сложные отношения связывали их. Король нуждался в сметке хитроумного еврея. Он жаждал начать свою войну, но не хотел, поддавшись на уговоры, опять сделать какой-нибудь опрометчивый шаг, а потому охотно прислушивался к доводам еврея. Иегуда же знал короля лучше, чем тот знал себя сам. Он понимал, что Альфонсо не в силах вырваться из Галианы и в глубине души, сам от себя таясь, радуется, что Иегуда затягивает союз с Арагоном и

военный поход. После того как ему, Иегуде, удалось добиться от Альфонсо разрешения открыть границу франкским беженцам, он не сомневался в своей власти над этим варварским властителем и гордился, что может по своему произволу вдыхать в него жизнь и разум, как бог в Адама.

Он не удивился, услышав о предстоящем отъезде Альфонсо. От своего родича дона Хосе он знал о переговорах между королевой и Арагоном. Она была женщина умная, но Иегуда считал себя не глупее ее и приготовил встречные ходы.

Он ответил Альфонсо, что опасается, как бы ее величество, принимая желаемое за возможное, не уменьшила препятствия на пути к союзу с Арагоном. А посему пусть его величество соблаговолит взять с собой в Бургос почтенного дона Манрике и его самого, дабы они в меру своих скромных сил могли споспешествовать усилиям доньи Леонор.

Альфонсо растерялся. Ему приятнее было ехать в сопровождении своих советников. Если он въедет в Бургос с целой свитой, свидание с доньей Леонор окончательно утратит характер супружеского объяснения; кроме того, он не прочь был сопоставить ее мнение с доводами своих советников. Но как Леонор отнесется к тому, что он привезет с собой отца своей возлюбленной?

— Разве можно оставить донью Ракель одну? — нерешительно спросил он. Такая заботливость обрадовала Иегуду, и король стал ему ближе. Донья Ракель, ответил он с родственной почтительностью, может пробыть это время в кастильо Ибн Эзра. Там у нее будет мудрый собеседник — Муса Ибн Дауд; да и достопочтенный дон Родриго не откажется навещать ее.

Донья Леонор встретила короля так приветливо и непринужденно, будто он лишь вчера расстался с ней. Он обнял и поцеловал ее, как того требовала учтивость. По-отечески поздоровался с детьми. Погладил по голове бледненького, маленького инфанта, в болезнь которого не верил ни минуты. Весело и ласково обратился к хмурой принцессе Беренгеле, которая явно знала о жизни отца в Галиане и порицала его. Она держалась надменно и церемонно. Посещение дона Педро подогрело ее надежды, хотя она и понимала, что без права на кастильскую корону она будет не очень-то желанной королевой для Арагона.

Донья Леонор не преминула пригласить в Бургос и дона Педро. Но молодой король не мог побороть в себе злобу на Альфонсо — вместо себя он послал своего министра дона Хосе Ибн Эзра.

Оба Ибн Эзра встретились перед коронным советом, который должен был состояться у доньи Леонор. Неприязнь дон Хосе к чересчур самоуверенному родственнику только возросла. Он огорчился и возмущился, когда этот самый дон Иегуда принес в жертву собственную дочь, лишь бы еще больше подчинить короля своему влиянию. Сам он, как человек богобоязненный и добросердечный, исхлопотал для небольшого числа франкских евреев доступ в Арагон; но массовое их поселение в сефардских землях, которого добился дон Иегуда, он считал делом сомнительным по тем же причинам, какие высказывал и дон Эфраим, а то, что Иегуда пользовался благосклонностью короля к своей дочери как средством вершить судьбы страны и еврейского народа, представлялось ему дерзновенной и кощунственной игрой. Но их с Иегудой по-прежнему объединяло стремление уберечь от войны весь полуостров и своих подопечных евреев. Потому-то он и предупредил родича о происках доньи Леонор и поспешил встретиться с ним.

— Позволь мне, дон Хосе, еще раз, устно поблагодарить тебя за твои письма,— начал Иегуда.— Я усмотрел из них, что вы на чем-то сталкивались и нашли пути к заключению союза и единоначалию.

— Да,— сухо ответил дон Хосе,— угроза войны с мусульманами надвинулась вплотную. Твоя донья Леонор пустила в ход все возможные ухищрения, словом, поусердствовала на диво, чтобы склонить моего молодого государя к примирению.— Он бросил суровый взгляд на своего собеседника и многозначительно добавил:— Надо полагать, не одна только страсть к войне делает твою королеву такой сговорчивой и щедрой.— И тут с затаенным злорадством сообщил Иегуде то, о чем воздержался говорить в письме:— Донья Леонор хочет вернуть Гутьере де Кастро твой замок в возмещение за убийство брата.

Иегуда побледнел, несмотря на все самообладание. У него сердце оборвалось при мысли о том, что ему вновь придется покинуть дом своих предков. Но гордость тотчас подсказала ему утешение: он воздвиг себе в Толедо иную твердыню, хоть и незримую, но куда более прекрасную и неприступную, чем любое, самое великолепное сооружение из камня.

— По известным тебе, дон Хосе, причинам, мне нелегко будет отказаться от этого дома,— спокойно ответил он.— Но если моя королева пообещала его королю Арагонскому, я не буду перечить ни единым словом, дабы не помешать заключению союза.

Дон Хосе был поражен; очевидно, Иегуда не сомневался, что ему не придется отдать кастилю, иначе он не говорил бы так хладнокровно.

К Иегуде и в самом деле вернулась вся та самоуверенность, то дерзкое сознание своей силы, которое наполняло его в последние дни. Именно во время этого разговора у него возник план, как перехитрить донью Леонор. Пока все это только смутно брезжило в его сознании, но Иегуда был уверен, что в нужную минуту его затея примет вполне определенные очертания.

Сейчас он поспешил подготовить для нее почву.

— Надеюсь, что выработанные вами условия выдержат самую строгую проверку, которой нам с тобой придется их подвергнуть,—вдумчиво и озабоченно, как подобает деловому человеку, промолвил он.—Говоря откровенно, я предвижу немало трудностей.—И он перечислил ряд вопросов хозяйственного порядка, по поводу которых Арагон и Кастилия десятки лет не могли столкнуться. Тут были и спорные права на обложение налогом некоторых городов, спорные ввозные и вывозные пошлины, спорные рынки сбыта.—Если мне придется уступить тебе по всем этим пунктам, дон Хосе,—с веселым лукавством заметил он,—тогда твой Арагон не замедлит обогнать мою Кастилию.

Дон Хосе сразу же понял, куда клонит Иегуда. Таким спорным хозяйственным вопросам не было конца; с их помощью ловкому человеку ничего не стоило похоронить мысль о союзе. Отдав про себя должное изворотливости Иегуды, дон Хосе ответил ему в тон с той же двусмысленной игривой деловитостью:

— Раз уж мой король согласен позабыть оскорбление, которое вы нанесли ему, не мешало бы, чтобы и вы пошли нам навстречу в некоторых хозяйственных вопросах.

— Значит, ты будешь настаивать на всех ваших требованиях?—напрямик спросил Иегуда.

— Так мне полагается,—ответил дон Хосе и добавил с притворной решительностью:—Так я и буду.

А дон Иегуда подхватил серьезно и сокрушенно:

— Без сомнения, мой король не менее искренне, чем твой, жаждет начать войну против мусульман. Но если вы будете так несговорчивы, боюсь, что из союза ничего не выйдет.

— Я был бы очень огорчен, если бы нам не удалось столкнуться,—сказал Хосе. И оба министра переглянулись без улыбки.

Курия, на которой должен был обсуждаться вопрос о союзе с Арагоном, происходила в большой приемной зале Бургосского замка. Зала была украшена флагами Кастилии и Арагона, у входа стояла стража, на возвышении

были приготовлены кресла для дон-Альфонсо и доньи Леонор. Архиепископ не преминул пожаловать из Толедо. Все члены курии были налицо, кроме дон-Родриго.

Царственная в своем тяжелом, сверкающем парадном наряде и вместе с тем женственная, восседала на возвышении донья Леонор. Благосклонно и невозмутимо, как приличествует знатной даме, озидала она круг придворных. В душе она ликовала. Все сидевшие здесь были полны решимости вывести дон-Альфонсо из зачумленной Галианы на очистительный простор священной войны. И сам Альфонсо желал этого. Единственным противником был еврей. Со свойственной ему наглостью он навязался сопутствовать Альфонсо, но она, Леонор, приняла меры, ему не удастся воспротивиться ей.

Докладывал дон Манрике. Переговоры близки к успешному завершению, даже святой отец осведомлен об этом и уже послал своего легата, кардинала Грегорио Сант-Анджело, дабы тот положил конец распри двух королей.

— А кто сообщил папе о переговорах?—сердито спросил дон Альфонсо.—Верно, дон Педро?

— Нет, я осведомила его,—приветливо ответила донья Леонор.

Дон Манрике изложил условия будущего договора. Командование войсками обоих государств должно быть объединено. Кастильские рыцари должны быть введены в штаб арагонского войска, арагонские—в штаб кастильского.

Дон Педро обязуется прислушиваться к советам дон-Альфонсо со всем вниманием, какое подобает младшему рыцарю в отношении старшего.

— Прислушиваться?—переспросил дон Альфонсо.

— Прислушиваться,—подтвердил дон Манрике.

— Более точного определения вам не удалось добиться?—спросил Альфонсо.

— Нет,—ответила донья Леонор.

Все молчали.

— Еще какие условия предусмотрены в договоре?—спросил король.

Дон Манрике пояснил, что Арагон настаивает главным образом на трех пунктах: во-первых, Кастилия должна отказаться от сюзеренных прав на Арагон. Хотя Альфонсо уже знал об этом условии, он не мог сдержать недовольный взглас.

— Во-вторых,—продолжал Манрике,—Арагон настаивает, чтобы его вассал Гутьере де Кастро получил то возмещение, на какое он притязает.

Об этом требовании королю ничего не сказали. Он слегка приподнялся и перевел взгляд с дона Манрике на Леонор.

— Чтобы я уплатил барону де Кастро виру?— тихо и угрожающе вымолвил он.

— О вире нет и речи,—поспешил его успокоить Манрике,—это слово не упоминается.

— Умеет же этот вертопрах Педро извлечь выгоду из моего трудного положения,—с горечью заметил король.— Он хочет унижить меня и для этого прячется за барона де Кастро. А Рим спешит прислать кардинала, чтобы тот был свидетелем моего позора.

— Как можно назвать позором жертву во имя священной войны?—звонким голосом приветливо возразила донья Леонор.—Отослать кардинала ни с чем—вот это было бы позорно. Тогда весь христианский мир с полным правом мог бы стыдить дона Альфонсо за бездеятельность.

Члены совета застыли в испуге. Знамена Кастилии и Арагона поникли на своих древках. Бледный от ярости, смотрел Альфонсо на донью Леонор. Пока они были вдвоем, она ни единым словом не упрекнула его за Галиану; с холодным расчетом она дождалась коронного совета, чтобы здесь, перед его советниками, перед его ближайшими друзьями, перед знаменами его королевства прямо ему в лицо высказать все то оскорбительное, что она о нем думала, именно сейчас и здесь пустила она в ход эту хитроумную месть, как достойная дочь своей неистойвой матери.

Но донья Леонор не отвела своих больших зеленых глаз, хотя его глаза метали молнии, и даже легкая, неопределенная улыбка не сошла с ее спокойного лица. Альфонсо усилием воли подавил гнев. Не мог же он в присутствии приближенных ссориться с женой, а вдобавок он чувствовал, что все они, включая и еврея, считали его неправым.

— Какое же возмещение желает получить Кастро?—хриплым голосом спросил он.

Вместо дона Манрике ответила донья Леонор:

— Требования у него жесткие, но, по правде говоря, справедливые. Мы должны уплатить выкуп за куэнкских пленников и вернуть ему толедский кастильо.

Снова настало глубокое молчание, только слышно было, как тяжело дышит Альфонсо. Хотя это шло в разрез с приличиями, все бесцеремонно и даже жадно уставились на дона Иегуду.

Архиепископ уселся как можно дальше от еврея и не поклонился ему. Теперь он взял слово, голос его гулко отдавался в высоком покое.

— Это чувствительно задевает твою честь, государь,— сказал он,— однако священная война смоем многие унижения.

Донья Леонор благосклонно обратилась к Иегуде:

— Каков будет твой совет, сеньор эскривано?

— На мой взгляд, непокорный барон своими дерзкими требованиями посягает на королевское величие,— ответил Иегуда.— Впрочем, я малосведущ в вопросах чести, а досточтимый сеньор архиепископ утверждает, что высокая цель священной войны оправдывает такое унижение. Для меня же очень тягостно утратить усладу моего сердца, дом моих отцов, который мне удалось вернуть по милости господа бога и нашего государя, уплатив за него немалые деньги. Однако же чего стоят мои собственные честолюбивые желания и мое достоинство по сравнению с высокими целями короля, нашего государя и повелителя! Если это откроет путь к заключению союза и крестовому походу, я охотно отдам в твои руки, государь, и кастильо Ибн Эзра, и все, что мной к нему пристроено и в нем устроено, и притом за половину той цены, которую я внес в твою казну.

Он заранее подготовил эту речь, но все же слегка пришепетывал от волнения. Никто не ожидал, что Иегуда так легко отступится от такого богатого поместья. Альфонсо с изумлением смотрел на своего эскривано, даже донья Леонор трудно было сохранить подобающее знатной даме невозмутимое выражение. Какие козни скрываются за его покорностью?

Первым опомнился юный Гарсеран де Лара.

— Так, значит, послезавтра можно выступать в поход!—весело воскликнул он.

— Но ты, благородный дон Манрике, как будто говорил, что Арагон поставил еще какое-то третье условие?—скромно спросил Иегуда.

— Да,—ответил Манрике,—но оно имеет меньшее значение. Арагон требует новых уступок в давнем споре о пошлинах, рынках сбыта, отданных в залог городах и прочей малости.

Иегуда с затаенным ликованием отметил, какое сильное впечатление произвел его немедленный отказ от кастильо. Вот они сидят вокруг него, эти враги, которые во что бы то ни стало хотят добиться своей войны и превратить в прах все, что он воздвигал с такой мудростью и с помощью божьей. Но они, эти тупоголовые вояки, не добьются своей войны, а он сохранит родовой кастильо. Он успел досконально, во всех подробностях разработать свой план и был уверен в удаче, ибо счастье—это врожденное качество и ему оно даровано от бога. Он чувствовал свое превосходство и старался их раздражить, как охотник свору собак.

— Есть у тебя перечень требуемых уступок, дон Манрике?—спросил он. Манрике протянул ему бумагу. Иегуда пробежал ее глазами.

— Эти девятнадцать пунктов не так уж безобидны, как может показаться на первый взгляд,— заметил он.— Вот, к примеру, нам надо отказаться от доходов с города Логроньо. А Логроньо стал у нас средоточием всей торговли вином; чтобы поощрить эту торговлю, мы на три года освободили от налогов город Логроньо и местность Риоху.

— Если я верно понял еврея,— презрительно заметил архиепископ,— он говорит о том, что доходы казначейства поубавятся во время священной войны. Может статься, он в этом и прав. Но кто хочет завоевать землю обетованную, тому не подобает страшиться долгого пути по пустыне и горевать о котлах с мясом в земле Египетской.

Иегуда не ответил ни слова и обратился к королю:

— За последние годы, государь, твое хозяйство достигло такого же расцвета, как хозяйство Арагона. Многие из предприятий, основанных нами за это время, обещают преуспеть в будущем. Но коварное условие, придуманное советниками августейшего дона Педро, направлено к тому, чтобы доходами с этих предприятий пользовалось королевство Арагон. Опасную сделку предлагают тебе, государь. Стоит согласиться на эти девятнадцать пунктов, и через несколько лет Арагон значительно опередит Кастилию. У короля Педро весьма сметливый казначей. Мы долго еще будем во многом уступать Арагону, если ты примешь эти условия.

Никто не находил нужного ответа.

— Что ж нам, Христа предавать ради логронской торговли вином?— проворчал дон Мартин.

— Дон Педро не жаден на деньги,— подхватила донья Леонор.— Раз мы согласились на те требования, которые были ему особенно важны, он не станет торговаться из-за мелкой выгоды.

— Прости меня, государыня,— почтительно возразил дон Иегуда,— дело тут идет не о мелкой выгоде, а о главенстве на всем полуострове. Ведь не из любви к ссорам обе наши страны десятки лет оспаривали друг у друга эти права. Боюсь, что нам не так-то скоро удастся поладить с Арагоном.

Члены совета сидели как потерянные. Спорные вопросы, о которых шла речь, были до крайности туманны; может быть, Кастилию и в самом деле хотели лишить существенных преимуществ; а скорее всего оба министра-еврея строили козни против благотельной войны.

Альфонсо был не менее огорошен и смущен, чем все остальные. Его радовало, что нашлись веские причины избежать унижения, которому хотели его подвергнуть донья Леонор и вертопрах Педро. И он был счастлив, что можно еще долго не разлучаться с Ракель. Да, надо полагать, еврей прав: если он, Альфонсо, уступит вертопраху Педро всякие там пошлины и прочую ерунду, он тем самым пожертвует главенством в Испании, законным наследием своего сына. Но в тайниках души он, как и все остальные, подозревал, что Иегуда попросту хочет отнять у него возможность выступить в поход.

Раздраженный борьбой противоречивых чувств — радости и раскаяния, — он сердито рывкнул Иегуде:

— Что же, по-твоему, мы должны договариваться еще месяцы или даже годы, потому что вы с твоим родичем не можете столкнуться? — И напрямик спросил: — А что ты предлагаешь?

Иегуда, успевший продумать ответ на такой вопрос, сказал:

— Это дело сложное, и вынести правильное решение не так-то просто. Что, если бы поручить его беспристрастному, всеми одинаково почитаемому третейскому судье?

Никто не понимал, куда клонит еврей.

— Отлично! Обратимся к святому отцу, — внезапно воодушевившись, крикнул архиепископ. — Кстати, кардинал-легат уже едет к нам.

— В таких сугубо мирских делах, пожалуй, легче было бы разобраться сведущему мирянину, — смиренно возразил еврей. — Монархи могли бы попросить августейшего отца нашей государыни, чтобы он благоволил вынести приговор. Задача щекотливая, но, так как от этого зависит священная война и мир господень, король Англии вряд ли откажется взять ее на себя.

Предложение Иегуды как будто было вполне разумно. Король Генрих состоял в родстве и с Арагонской династией и с Кастильской, он хорошо знал все обстоятельства и слыл мудрейшим государственным мужем: от него можно было ожидать справедливого приговора. Но так как предложение исходило от Иегуды, все насторожились.

Донья Леонор было ясно одно: то, что еврей предложил, и его истинные хитроумные и коварные замыслы так же несходны между собой, как волнующаяся поверхность моря и от века спокойное морское дно. Она торопилась разгадать настоящие намерения Иегуды. Ее отец Генрих сам отнюдь не спешит принять участие в крестовом походе и, уж конечно, понимает, какие выгоды приносит Испании соблюдение нейтралитета. Кроме того, он не сомневается, что испанские монархи, начав войну против

неверных на своем полуострове, не преминут попросить у него военной помощи, а он не из тех, кто любит давать. Следовательно, королю Генриху незачем торопить примирение Кастилии с Арагоном. Он будет без конца думать и передумывать и в итоге вынесет такой приговор, который никого не удовлетворит. Еврей хитер—это была предательская уловка. С лихорадочной поспешностью обдумывала она, как бы расстроить его замыслы. Придется поехать в Сарагосу и уговорить дона Педро, чтобы он не поддавался нашептываниям своего еврея. Придется в конфиденциальном письме поверить отцу свои обиды и умолять его, чтобы он поскорее вынес приговор. Но, увы, английский монарх и сам не раз питал и вкушал нечестивую страсть, и уж кто-кто, а отец ее Генрих посочувствует любовным утехам и заботам ее супруга. С горечью сознавала Леонор, что ей не сравниться в лукавстве с Ибн Эзрой.

И Альфонсо своим быстрым умом разгадал умысел дона Иегуды. Как он подозревал с самого начала, так оно и вышло: еврей хочет помешать священной войне, в первую очередь из-за беженцев, которых он впустил в страну. Но он просчитался, про себя решил Альфонсо, я и не подумаю торговаться с Педро из-за всякой ерунды. Я и не подумаю обращаться к папаше Генриху, чтобы он снисходительно подмигнул мне: пусть, мол, мальчишка позабавится и понежится на ложе сладострастия. Нет, я не позволю еврею водить меня за нос. Я не стану платить за любовь Ракели подлыми сделками и проволочками.

Вот что продумал и прочувствовал Альфонсо за короткое молчание, наступившее после речи еврея.

И вдруг, ужасаясь самого себя, он услышал свои слова:

— Каково твое мнение, донья Леонор, и ваше, господа советники? На мой взгляд, наш эскривано нашел удачный выход. Пожалуй, во всем христианском мире не найти лучшего судьи в таком хитром деле, нежели мудрый и августейший отец нашей королевы. По-моему, мы должны послушаться твоего совета, дон Иегуда.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Чтобы действовать наверняка, Иегуда послал доверительное письмо советнику по финансовым делам при английском короле Генрихе, Аарону из Линкольна; в этом послании он объяснял сущность спора между обоими испанскими монархами и просил собрата о помощи.

А перед отъездом в Толедо он, как требовала учтивость, послал королеве подарки. Непозволительно дорогие

подарки—ценные ароматы, большой ларец слоновой кости с гребнями, пряжками для волос и притираниями, а к нему искусной работы шкатулку с брошами, перстнями, аграфами, самоцветными камнями и еще туфли, в которые были вделаны зеркала, чтобы дама в любую минуту могла поглядеться в них. Донью Леонор возмутила беззастенчивость наглеца, который этими драгоценными безделками думает утешить ее в подстроенном им поражении; ей хотелось отослать обратно его подарки; но до сих пор она вела себя, как подобает даме,—она и впредь останется настоящей дамой. Кроме того, подарки ей понравились. Она приняла их и написала благодарственное письмо.

Тем временем в Кастилию прибыли первые франкские беженцы-евреи; как и предвидел дон Эфраим, это послужило для архиепископа и враждебно настроенных грандов желанным поводом к возобновлению травли.

Еврей тратит саладинову десятину не на снаряжение священной войны, твердили они, а на то, чтобы разместить в стране новые оравы неверных и мошенников.

Эти подстрекательства не достигали цели. Слишком очевидны были успехи, достигнутые с помощью нового управления. Страна богатели, а с ней богатели и все ее обитатели. Возрастал приток денег и доселе невиданных товаров, появлялись новые насаждения, мастерские, лавки. Чего бы ни коснулось Иегуда, все процветало.

В ту пору к нему явился ученый из наваррского города Тудела, некий рабби Вениамин, весьма уважаемый человек. Вениамин всю свою жизнь посвятил науке, изучению и описанию земли; он только что закончил второе свое путешествие, предпринятое с научной целью: отсюда, с Запада, проехал до самой восточной окраины земли—вплоть до Китая и Тибета.

Прежде всего ему хотелось узнать, как живет еврейям после их рассеяния по всему свету, но и помимо этого он собрал всякого рода полезные сведения, повсюду встречался с людьми, стоящими у власти, включая султана Саладина и папу римского. Теперь он намеревался изложить в книге все, что почерпнул из своих странствий.

«Путешествия Вениамина»—так должна была называться книга, и многие молодые ученые из академии дона Родриго обещали перевести ее на латинский и арабский языки.

И вот этот самый Вениамин из Туделы явился засвидетельствовать свое почтение господину и учителю нашему Иегуде Ибн Эзра; он во что бы то ни стало желал познакомиться с человеком, который за годы его отсутствия так благотворно изменил облик полуострова. Иегуда принял знаменитого ученого с великими почестями. Он

показал ему хранилище ценнейших книг и свитков, показал строящуюся синагогу, водил по основанным им мануфактурам. Рабби Вениамин смотрел и слушал с вниманием знатока.

За трапезой, в присутствии Мусы, рабби Вениамин рассказывал о своих путешествиях. По просьбе Иегуды он описал жизнь евреев на Востоке. В Византийской империи и Святой земле евреи терпят великие бедствия от крестовых походов, но в Каире и в Багдаде они живут спокойно и богато. Он рассказал о *реш-галуте* — эксилархе, главе восточного иудейства. Резиденция его находится в Багдаде, и халиф признал его вождем евреев. Ему даны полномочия управлять своими единоверцами с помощью «палки и бича», он имел право взимать налоги, творить суд и осуществлять всяческую власть над евреями Вавилона, Персии, Йемена, Армении, а также над евреями Междуречья и Кавказа; до границ Тибета и Индии простирается его власть. После того как халиф возвел в этот сан ныне правящего *реш-галуту* господина и учителя нашего Даниэля бен Хасдан, он громогласно возвестил перед всем народом: «Я — преемник пророка Магомета, а Даниэль бен Хасдан друг мне и преемник царя Давида». *Реш-галута* пользуется величайшим уважением у мусульман. Когда он совершает выезд, впереди бегут скороходы и кричат: «Дорогу господину нашему, сыну Давидову!» — и весь народ падает ниц, как перед самим халифом.

Этот живописный рассказ произвел сильное впечатление на Иегуду.

— Кстати, *реш-галута* говорил о тебе, — сказал тут Вениамин. — И до Востока дошли вести, что ты отказался от высокого положения, какое занимал в Севилье, и переселился в Толедо, дабы отсюда помогать своим братьям. Вот я тринадцать лет странствовал по всему свету, а самое примечательное увидел здесь, у себя дома, — заключил он.

От этих слов рабби Вениамина, человека независимого, у которого не было надобности льстить ему, у Иегуды стало тепло на душе, особенно же обрадовало его то, что они были сказаны в присутствии его друга Мусы.

Он чувствовал себя, как настоящий *окер харим*, как человек, который может двигать горы и не боится, когда надо и не надо, показывать свое могущество. Так как король задержался в Бургосе дольше, чем предполагалось, Иегуда самовластно принял весьма рискованные решения. Назло враждебным прелатам и баронам он роздал доходные должности многим из франкских беженцев: некоего Натана из Немура, бывавшего раньше в Кастилии, он назначил правителем Суриты.

Настал пурим, праздник, в который евреи поминают, как царица Эсфирь спасала их от беды. Злодей Аман, любимец царя Артаксеркса, вознамерился истребить всех евреев в городе Сузах и во всем Персидском царстве за то, что еврей Мардохей оскорбил его тщеславие. Но племянница и питомица Мардохея, девушка Гадасса, она же Эсфирь, снискала благоволение в глазах царя, и он сделал ее своей царицей, и, наставляемая дядей своим Мардохеем, она решила помешать замыслам Амана. Хотя никто под страхом смерти не смел без зова предстать пред очи повелителя, она пришла к Артаксерксу и стала просить за свой народ. Тронутый ее красотой и мудростью, простер царь золотой скипетр к Эсфири и помиловал Эсфирь и ее народ, а злодея Амана предал в руки евреев. Они же повесили его на том самом дереве, которое он приготовил для Мардохея, и еще повесили его десяти-рых сыновей и убили всех своих врагов в ста двадцати семи странах, подвластных царю Артаксерксу.

В календаре еврейских праздников немало дней, напоминающих о больших событиях, но ни один из них правоверные евреи не отмечают таким буйным весельем, как этот памятный день. От праздничных яств ломаются столы, евреи обмениваются подарками, раздают щедрые пожертвования беднякам, устраивают представления, игрища и пляски. А главное, с торжествующими жестами и веселыми возгласами читают книгу, где рассказано об этом чудесном спасении,— Книгу Эсфирь.

И дон Иегуда, охотник до празднеств, в эти дни собирал у себя в кастильо много гостей, чтобы с ними вместе слушать красочное повествование в Книге Эсфирь, есть и пить вместе в ними, смотреть на игрища и развлекаться умными и дурашливыми речами.

Пусть те сказочные события, о которых повествует Книга Эсфирь, произошли около трех тысяч четырехсот лет по сотворении мира, а теперь шел год четыре тысячи девятьсот пятидесятый, однако из года в год десятки, сотни тысяч евреев радовались и веселились, слушая этот рассказ. Но во все времена вряд ли кто внимал ему с таким гордым торжеством, какое ныне ощущал дон Иегуда.

Испытания и победы Мардохея и Эсфири были испытаниями и победами его и его Ракели. Кому, как не ему, было понять мужество и смертный страх Эсфири, предстоящей перед царем? Кто, как он, мог прочувствовать все ликование Мардохея, когда враг его Аман принужден вывезти его на коне на городскую площадь и провозгласить перед ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И когда в конце книги царь назначает Мардохея хранителем печати, Иегуда с

торжеством ощутил у себя на груди гербовую печать и бросил самодовольный взгляд на трех франкских беженцев, которых он позвал на праздник к себе в дом.

А потом ученики *иешивы*, школы, где изучают Библию и Талмуд, в том числе и дон Вениамин бар Абба, подражали, как полагается в этот день, своим наставникам и задавали друг другу разные каверзные вопросы.

Молодой дон Вениамин утверждал, что Мардохей и Эсфирь, при всех своих заслугах, повинны в двух грехах. Во-первых, они не знали жалости.

— На праздник пасхи,—говорил он,—мы, памятуя о муках наших врагов, отливаем десять капель из кубка радости. А Мардохей и Эсфирь без колебаний повесили Амана и его десятиерых сыновей, истребили всех своих врагов, что ничуть не омрачило их торжества.

Остальные принялись горячо возражать Вениамину. Аман был такой отпетый злодей, что любой праведник мог только от души радоваться, сметая его с лица земли, вместе со всеми присными. Предание гласит, что Мардохей раньше спас его от смерти, Аман же отплатил за это черной неблагодарностью. Он был наделен такой дьявольской злобой, что невинные деревья, произрастающие на земле, оспаривали перед божьим престолом честь послужить ему виселицей. Но выбор пал на дерево, из которого был построен Ноев ковчег; оно с сотворения мира предназначалось для этой цели.

Дон Иегуда мысленно задавал себе вопрос, жесток ли он сам. Да, жесток, и он гордился этим. Он отдал бы все двадцать два судна своей флотилии за удовольствие видеть, как архиепископ болтается на ветке высокого дерева. Он отдал бы свою долю с предприятий в Провансе и Фландрии, лишь бы посмотреть, как бичуют и четвертуют барона де Кастро, назвавшего его грязным псом. Человеку так и полагается чувствовать, если только он не пророк или не мудрец вроде Мусы. Он, Иегуда, не то и не другое и не хочет быть таким.

Голос дона Вениамина отвлек его от этих раздумий и рассуждений. Тот говорил теперь о втором грехе Мардохея, о его гордыне.

— Взгляните, как высокомерно восседает он на коне, которого Аман ведет по улицам Суз,—с горячностью восклицал юноша.—И раз таков был царский приказ, почему он не падал ниц перед Аманом? Законы страны—ваши законы, учат мудрецы. И именно нежелание Мардохея покориться, его гордыня навлекла на евреев беду. Так прямо и сказано в книге. Мардохей знал людей, знал Амана и понимал, какими последствиями грозит его непокорность, почему же он не сломил свою гордыню и не избавил свой народ от опасности?

Иегуде нелегко было сохранять невозмутимое выражение. Он знал, что и его считают высокомерным, да и ни от кого из гостей не могло ускользнуть знаменательное подобие между судьбой его с доньей Ракель и Мардохея с Эсфирью. Без сомнения, его уподобляют Мардохею. И, в то время как дон Вениамин порицал Мардохея за гордыню, у Иегуды возникло обидное подозрение. Ему была дарована милость облагодетельствовать толедских евреев. Но, может быть, они тем не менее смотрят на него глазами рабби Товия—с ненавистью и омерзением? Мардохея никто не осуждал за то, что он послал приемную дочь во дворец и на ложе к языческому царю. Но Мардохей жил много столетий тому назад в отдаленном городе Сузах. Он же, Иегуда, живет теперь, и до Галианы расстояние не больше двух миль. Подозрительным взглядом всматривался он в лица гостей и подозрительнее всего поглядывал на дону Вениамина. Его он вообще сильно недолюбливал; в холодном и вдумчивом взоре юноши не было того благоговения, на какое вправе был рассчитывать такой человек, как Иегуда Ибн Эзра.

Но нет, у его гостей не было недоброжелательных мыслей. С каким жаром они опровергали дону Вениамина. Защищая Мардохея, они защищали его, Иегуду. И он с удовлетворением увидел: они не зlobствуют на него за то, что он облагодетельствовал их.

В самом деле, они нашли страстные доводы в защиту милого их сердцу Мардохея. Будь Мардохей гордецом, разве стал бы он скрывать, что царица—его племянница и приемная дочь? И разве гордец стал бы смиренно, точно нищий, сидеть у ворот царских? И Эсфирь он воспитал в духе смирения. С великим смирением, а не с ложной самоуверенностью отважилась она совершить тяжкий путь к царю, который мог стать для нее путем к смерти. В изустном предании сохранилась ее молитва: «Тебе ведомо, господи, что я не льстила на великолепия царского дворца. Нет, воистину нет. Подобно тому как женщине противны одежды, которые она носит в те дни, когда бывает нечистой, так и мне претит носить пышное царское платье и золотой венец. С тех пор как я здесь, у меня нет иных радостей, как только в тебе, господи. И ныне, господи боже мой, утешитель обремененных, помоги мне в горести моей, дай мне умилизовать языческого царя, перед которым я трепещу, как агнец перед волком».

Недоверие Иегуды рассеялось. Нет, толедские евреи не желают ему зла. Они видят в нем человека, подобного Мардохею, человека, который велик среди евреев и отличен от всех своих братьев, который желает добра своему народу и печется о благе для всего своего племени.

— Уж не возвеличился ли ты думой, любезный Иегуда?—спросил его Муса.— Не возомнил ли себя Мардохеем?

— Ты сказал,—не то в шутку, не то всерьез ответил Иегуда.

Он лег спать счастливый и утомленный.

Но ум его не переставал работать и во сне. Когда он проснулся на следующее утро, из впечатлений и ощущений минувшего дня у этого удивительного, многогранного человека вырос замысел, полезный для его дела.

Аман бросил жребий, чтобы узнать, на какой день придется избиение евреев, но жребий показал день их спасения и возвышения; день, на который пал жребий, праздник пурим, евреи называли днем Эсфири.

Люди любят метать жребий, бросать вызов счастью, допытываться, к кому милостив господь, а к кому нет. Почему бы ему, Иегуде, не сыграть на этой людской склонности? Именем короля он объявит крупную игру, выставит огромную урну с билетиками, и каждому за ничтожные деньги будет дозволено попытать счастье. Правда, каждый отдельный взнос мало что прибавит к королевской казне, зато оборот такого размаха принесет огромную выгоду.

В тот же день Иегуда занялся подсчетами для грандиозной кастильской лотереи.

После того как на коронном совете выяснилось, что переговоры с Арагоном—вопрос долгих месяцев, дону Альфонсо не терпелось вернуться в Толедо. Но он понимал, что донья Леонор разгадала его нечестную игру. Хотя она по-прежнему держала себя ровно и приветливо, он помнит и никогда не забудет, как она бросила ему прямо в лицо—весь христианский мир будет стыдить тебя. На ее ясном челе он читал откровенное презрение и не хотел бежать от него.

Итак, он проводил в Бургосе долгие мучительные дни, томился по Ракели и Галиане. Но не спешил уехать.

На третий месяц он решил, что принес достаточную жертву долгу, и стал готовиться к отъезду.

Печальное обстоятельство задержало его.

Донья Леонор в свое время написала ему правду: маленький инфант Энрике прихварывал. А тут внезапно болезнь приняла плохой оборот. Врачи признали себя бессильными.

Альфонсо впал в отчаяние и считал это несчастье божьей карой. Он вспомнил, как, желая подразнить Родриго, говорил тогда, что бог, по-видимому, доволен им, Альфонсо; за что бы он ни взялся, все, божьим соизволением, кончается благополучно. Родриго же ответил, что тем страшнее бывает наказание, постигающее

грешников на том свете, и надо почитать милостью божьей, если господь карает грешника еще в земной его жизни. Но если это и милость, то милость жестокая. Однако Альфонсо заслужил любую кару. Он слукавил на коронном совете, признал правильными хитрые, лживые доводы еврея и трусливо увильнул от священной своей обязанности — от войны. И раз господь поверг его наследника, значит, он, король, сотворил страшный грех.

И донья Леонор донимала себя суеверными упреками. Она выдала недомогание инфанта за настоящую болезнь, лишь бы отвлечь Альфонсо от еврейки и заманить в Бургос. А теперь мстительное провидение превращает ее своекорыстную ложь в правду. В бессильном отчаянии сидела она подле горящего в жару, задышающегося ребенка.

На помощь бургосским врачам из Толедо приехал старый мудрец Муса Ибн Дауд.

Дон Иегуда смертельно испугался, услышав о болезни ребенка. Если с инфантом что-нибудь случится, тогда уж донья Леонор непременно добьется обручения принцессы Беренгелы с доном Педро и никакие, самые хитроумные замыслы не помешают заключению союза, а значит — войне. Дон Иегуда немедленно потребовал, чтобы альхама заказала молебствия об исцелении инфанта; толедские евреи молились очень ревностно, они понимали, как это важно для них. Одновременно же Иегуда попросил Мусу отправиться в Бургос. Старый врач сперва воспротивился. Он хотел подождать, пока его позовет король. Но Иегуда настоял на его немедленном отъезде.

И вот он прибыл. При всей своей неприязни к старому сычу, король вздохнул с облегчением и радостно сообщил донье Леонор, что здесь теперь Муса Ибн Дауд, лучший врач на всем полуострове, и он уж непременно спасет мальчика.

Но тут вдруг ясное, спокойное лицо доньи Леонор ужасающе исказилось, она стала не похожа на себя, и вся ее ненависть прорвалась наружу.

— Мало вы с вашей еврейкой натворили бед? Вам еще и моего сына понадобилось извести? — накинулась она на него, и ее обычно мелодичный голос стал визгливым и неприятным. Она заговорила на своем родном французском языке. — Клянусь оком господним! — припомнила она излюбленную божбу своего отца. — Скорее я собственными руками убью этого человека, чем подпущу его к моему ребенку!

Альфонсо отшатнулся. Это была совсем другая Леонор, не та, которую он знал целых пятнадцать лет. Даже на коронном совете, нанося ему такое жестокое оскорбление, она постаралась сохранить обычный голос и манеры;

а сейчас впервые она дала волю той страсти, которая толкала ее родителей на самые чудовищные поступки. И он, Альфонсо, был виноват в этом, он сделал из благородной дамы и королевы бесноватую.

Инфант Энрике скончался в страшных мучениях.

Донья Леонор сидела, замкнувшись в ожесточенном молчании. Но сквозь беспредельную скорбь пробивалась горькая и злобно-радостная уверенность, что именно эта утрата привела ее к цели. После смерти инфанта наследницей кастильского престола снова становится Беренгела, и теперь ее обручение с доном Педро превращается в долг перед всем христианским миром. Теперь уж никакой еврей, ни даже сам дьявол не помешают войне. Теперь дону Альфонсо придется выступить в поход и разлучиться с еврейкой. Но в то время, как она с жестокой издевкой над собой прикидывала выгоды, за которые заплатила такой страшной ценой, ей вдруг представился Альфонсо в доспехах, готовый к бою; вот он наклоняется к ней с коня, веселый, по-рыцарски уверенный в себе. Все эти месяцы она не ощущала ничего, кроме безудержного желания наказать его, а тут вся прежняя любовь разом нахлынула на нее.

Альфонсо и сам был потрясен. Он сидел, уставясь в одну точку померкшим взглядом, лицо у него посерело, и волосы висели космами. Жестокое раскаяние терзало его. Зачем он лукавил перед самим собой, уговаривая себя, будто ему удастся обратить Ракель в христианство? Ведь он с самого начала знал, что не удастся. Эта женщина поразила его, точно тяжкий недуг, он и это знал, но не желал знать. Он на все закрывал глаза и притворялся слепым. Но теперь господь открыл ему глаза, и перед ним вспыхнул беспощадно яркий свет.

В эту ночь, пока маленький инфант покоился на катафалке в капелле замка, а вокруг курились волны ладана, горели огни свечей и жужжали молитвы священнослужителей, во время долгого ночного бдения Альфонсо и Леонор объяснились начистоту. Он без околичностей спросил ее, сколько времени ей потребуется, чтобы устроить обручение Беренгелы с доном Педро. Она ответила, что все условия можно будет подписать уже через несколько недель.

— Тогда, значит, я месяца через два могу выступить в поход,— заключил Альфонсо.— Так оно и лучше,— вырвалось у него.

Донья Леонор сидела покорная, кроткая, печальная, исполненная достоинства. Она думала о том, сколько горя пришлось им обоим претерпеть, прежде чем он выбрался

из этой тины. В памяти у нее прозвучали слова, которые ее мать написала из заточения святому отцу: «Божьим гневом королева Английская». Она вела рассудительный, бесстрастный разговор с Альфонсо, а в душе у нее звучали слова: «*In ira dei regina Castiliae*»¹.

Обычным своим звонким голосом она как бы вскользь сказала, что, перед тем как выступить в поход, ему следовало бы очиститься от всякой скверны. Он сразу же все понял. Его жгло воспоминание о том, как она унизила его перед посторонними и как еще два дня назад ее ненависть прорвалась в проклятиях и поношениях. Сейчас же и лицо и голос у нее были невозмутимы, казалось, ей жаль его и обращается к нему не гневная, карающая, а любящая женщина.

— Я отошлю ее прочь! — с жаром пообещал он.

Подъезжая к воротам Галианы и читая начертанное на них приветствие: «Алафия — мир входящему», — а затем увидев мезузу, в которой он выбил стекло, король злорадно предвкушал, как он скажет Ракели: «Я отправляюсь на войну, мы расстаемся, так угодно богу». А сказав это, он тотчас же вернется в Толедо.

Но вот она предстала перед ним, ее серо-голубые глаза светились, все лицо ее светилось, и решимости его как не бывало. Правда, он еще силился не выпускать из виду свое обещание. Да он и сдержит это обещание, он скажет ей, что им надо расстаться. Только не сейчас, не сегодня.

Он обнял ее, пообедал с ней, поболтал с ней, они вместе прошли по саду. Она, эта женщина, была совсем иная, чем в его воспоминании, много прекраснее, и как это он мог вообразить, будто в ней есть что-то от ведьмы?

Когда спустились сумерки, были забыты и смерть инфанта, и священная война. Настала ночь, и это была блаженная ночь.

Утром они позавтракали вместе, как бывало. Но тут он стал неразговорчив. Он чувствовал, что надо высказаться. Что каждая минута промедления бессмысленна, преступна.

Она непринужденно щебетала, рассказывая о мелких событиях, происшедших за это время. Дядя Муса тут без конца расписывал бургосские строения. Ему самому, объяснял он, приятнее мусульманские города и жилища; однако он не может отрицать своеобразие строгой, устремленной ввысь простоты христианских замков и городов: в них есть величие.

Альфонсо раздражало и то, что говорила Ракель, и как она об этом говорила. Она тем самым напоминала ему о

¹ Гневом божьим королева Кастилии (лат.).

Бургосе, о болезни мальчика и о бешеной вспышке доньи Леонор; да и первую их беседу припомнил он, когда Ракель так дурно отозвалась о его бургосском замке.

И опять, как в ту минуту, когда он подъезжал к Галиане, им овладело злое настроение.

— Видно, твой дядюшка не дурак,— сердито и грубо сказал он.— Мусульманская роскошь быстро надоедает. Мне вот тоже приелась Галиана. Через несколько недель я выступлю в поход. А в Галиану не вернусь больше никогда.

Она посмотрела на него так, словно не поняла его. А потом без чувств упала навзничь. От неожиданности он замер на месте. Он приготовился отклонить ее жалобы и в резких, решительных выражениях объяснить ей, что иначе нельзя. Но сейчас он казался себе не рыцарем, а грубияном. Ему случилось видеть, как умирают друзья, и, прочитав над ними «Отче наш», сражаться дальше. А перед этой лежащей без чувств женщиной он стоял как потерянный. Он взял ее на руки, гладил, бережно прижимал к себе, смачивал ей лоб водой.

Казалось, прошла вечность, прежде чем она открыла глаза. Сперва она не могла сообразить, что с ней. Потом сообразила, сказала:

— Прости мою слабость. Ведь я понимала, что это не может продолжаться вечно. Я знаю, что случилось в Бургосе, мне сказала кормилица Саад, и мне надо было об этом помнить и не заговаривать с тобой о Бургосе. Прости, что это меня подкосило. Теперь я стала особенно чувствительной, потому что я беременна.

Он уставился на нее, от растерянности открыв рот. Потом расхохотался громовым, оглушительным, счастливым смехом.

— Да это же великолепно!— воскликнул он.— Поистине я баловень счастья.

Он, топоча, приплясывая, бегал по комнате, потом схватил Ракель в объятия, неистово стиснул ее.

— Хорошо, что я не в доспехах,— сказал он,— иначе я бы изранил тебе грудь, бедняжка.

А про себя думал: «И на такую пленительную женщину я накричал, как неотесанный мужлан! И когда говорил, ведь сам знал, что говорю неправду. Разве можно ее покинуть!»

Вслух он повторил то же самое. А потом прижимал ее к себе, успокаивал, убеждал, мешая кастильский и арабский языки, страстно обвинял себя, бормотал какой-то несвязный влюбленный вздор.

Он думал: «Поистине я любимейшее дитя у господ. Он играет со мной, как отец со своим малым сыном. Дразнит меня с притворной злобой, чтобы еще щедрее

одарить потом. В тот раз он навязал мне на шею дурацкую войну и тут же поразил в сердце дядюшку Альфонсо-Раймундеса. Он отнял у меня маленького Энрике, а теперь дарует мне сына от самой любимой, единственно любимой женщины. Я считал, что это кара, а это оказалось милостью».

Он с трудом удержался, чтобы и это не сказать Ракели. У короля могут быть такие радостно-горделивые мысли, но высказывать их вслух не смеет даже король.

Он вспомнил обещание, данное донье Леонор. Оно больше не действительно. При таких обстоятельствах оно не действительно. Раз Ракель должна родить ему сына, значит, господь прощает и одобряет его. Он думал: «Король обязан прислушиваться только к своему внутреннему голосу. Богу не угодно, чтобы я сейчас уже выступал в поход. Внутренний голос меня не обманывает. И я не выступлю в поход, а буду дожидаться, пока господь укажет мне урочное время».

Он думал: «Разве можно ее покинуть! Да лучше претерпеть тысячу смертей!» Он был несказанно счастлив. И несказанно счастлива была она.

И жизнь в Галиане потекла по-прежнему.

Чрезвычайный посол, кардинал Грегорио ди Сант-Анджело, вручил королю собственноручное послание святого отца. Папа спешил напомнить своему возлюбленному сыну, королю Кастильскому, о решении Латеранского собора, по которому христианским государям воспрещалось давать евреям власть над христианами, и с отеческой строгостью требовал, чтобы он наконец-то отрешил от должности этого пресловутого Ибн Эзру. Если бы сатана, пользуясь происками министров-евреев, так писал папа, не разжигал рознь между августейшими испанскими монархами, они давно бы уже были единомышленны.

Альфонсо заподозрил, что письмо было составлено стараниями доньи Леонор или архиепископа. Но он даже не рассердился — настолько чувствовал свою независимость и превосходство. Им руководил внутренний голос, повелевавший: «Не отсылай еврея прочь. Во всяком случае, не теперь, а потом, когда-нибудь».

Он почтительнейше ответил кардиналу, что ему очень тяжело столько лет пользоваться услугами советчика, неугодного святому отцу. Однако лишь с помощью Ибн Эзры ему удастся снарядить крестовый поход против неверных. Как только он одержит победу и, значит, не будет более нуждаться в советах сметливого еврея, он, как и подобает преданному сыну, не замедлит исполнить волю святого отца.

Кардинал Грегорио, известный златоуст, произнес проповедь в соборе. Много веков тому назад, так вещал он, задолго до других христиан обитатели Иберийского полуострова подняли меч против неверных. Но сатана посеял рознь между монархами, и они обратили мечи свои друг против друга, а не против общего врага всех христиан. Ныне же всемогущий растопил их сердца, и вся Испания с неостывшим жаром готова возобновить свою давнюю борьбу против неверных. Такова воля божия!

После смерти маленького инфанта кастильцы только и мечтали, чтобы началась долгожданная война, а потому проповедь кардинала проняла их до самого нутра. Везде-сущая, возвышающаяся над мирской юдолью церковь с самого детства внедряла в них сознание, что земное бытие преходяще; теперь же здешний мир окончательно потерял для них ценность ввиду очевидной близости вечного блаженства. Ибо всякий, кто идет воевать, получает отпущение грехов; он либо воротится домой непорочным, как дитя, либо, если ему суждено пленение или смерть, его ждет верная награда на небесах. Даже те, кому довелось вкусить изобилие и покой последних счастливых лет, не печалились об утрате этих благ, а лишь старались приукрасить неизбежное, рисуя себе более возвышенные радости, которые ждут их в раю.

Мужчины, способные носить оружие, спешили избавиться от собственности; мелкие усадьбы, мастерские и тому подобное имущество можно было приобрести за дешево; зато возросло в цене все, что потребно для войны; у оружейных мастеров, торговцев кожами и торговцев ладанками отбою не было от заказов. Садовник Белардо извлек дедовский колет и шлем и смазал кожу маслом и жиром.

Архиепископ дон Мартин оживился, почуяв, что война по-настоящему недалека. Теперь у него всегда из-под духовного одеяния виднелись воинские доспехи. Он забыл свой гнев на Альфонсо и Галиану и не устал славить господу, властной рукой обратившего грешника на стезю рыцарской добродетели.

Увидев, что его помощник Родриго не разделяет общего воодушевления, он принялся ласково увещевать каноника. Тот признался, что к радости по поводу благочестивого предприятия у него, точно капля крови в кубке вина, все время примешивается мысль о множестве жертв, которых война потребует теперь и от Испании. На то люди и созданы господом, возразил дон Мартин, чтобы участвовать в бранных схватках и битвах.

— Хотя господь и даровал им власть над всеми животными, однако же волей божией им сперва надлежало завоевать эту власть,— заключил он.— Уж не думаешь

ли ты, что дикий бык без борьбы впрягся в плуг? Без сомнения, господь и ныне благоволит к тому рыцарю, который одолевает быка. Сознаюсь тебе без стыда, из всех истин, изреченных Спасителем, мне всего дороже та, которую передает Матфей: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч». — Он повторил этот стих в подлиннике. — «Allà tá-chairan!»¹ — торжествующе выкликнул он, и греческие слова Евангелия прозвучали куда звонче и воинственнее, чем привычные латинские *sed gladium*².

Это громогласное напоминание о мече до самого сердца пронзило дон Родриго, уязвленного еще и тем, что не бог весть какой ученый архиепископ из всего греческого подлинника запомнил только эти слова. Дону Родриго ничего бы не стоило противопоставить этому единственному евангельскому речению, где восхваляется война, множество других, благостно и величаво славящих мир.

Однако господу угодно было облечь сердце архиепископа в железную броню, так что он внимал лишь тому, чему ему хотелось внять. Каноник сокрушенно промолчал.

А дон Мартин продолжал его вразумлять:

— Когда настанет весна, цари выступят в поход. Так написано во второй книге пророка Самуила. Так тому и назначено быть. Прочти это место, возлюбленный брат! Прочти также о войнах властителей в Книге Судей и в Книгах Царств! Не гляди так жалостно и лучше почитай, как господь сам помогает воевать и как война объединяет верующих, объединяет государство и истребляет язычников. Правоверные иудеи древности шли на битву с воинственными возгласами и повергали врагов! У них был свой боевой клич: *хедад*. Я услышал его от тебя. Хедад — как это звучно и хорошо! Но наш *deus vult*, так хочет бог, тоже звучит неплохо, он помогает крушить направо и налево. Подхвати его, возлюбленный брат! Откинь от себя уныние и возвеселись сердцем!

Но каноник упорствовал в своем скорбном молчании, и тогда архиепископ закончил доверительным тоном:

— И не забудь, что война принесет нам и другое благо — она наконец прекратит мирное прозябание нашего отважного Альфонсо и вырвет его из этого смрадного болота.

Однако дон Родриго видел все отнюдь не в таком радужном свете, как архиепископ. Где-то в глубине души у него копошилось сомнение, действительно ли кончина

¹ Но меч (греч.).

² Но меч (лат.).

ребенка пробудила короля от греховного сна, а также затаенный страх, что Альфонсо и впредь будет лавировать между грехом и долгом.

Взяв себя в руки, он сурово приступил к своему духовному сыну.

— Ты, сын мой и государь, отправляешься в поход, но помни одно,—предостерег он,—мало крушить мечом, отпущение грехов даже и на войне будет даровано тебе, только если ты покаешься чистосердечно, и не на словах, а на деле. Выслушай меня, сын мой Альфонсо, и перестань лгать, как ты до сих пор лгал себе, мне и всем остальным людям. Ты сам знаешь, что нам не суждено спасти душу этой женщины. Усердным молениям твоих любящих уст не удалось тронуть ее сердце, да и моим словам господь не дал убедительной силы. Тебе не дозволено жить с ней. Вырви грех из своего сердца. Не иди на войну во грехе. Господь умертвил твоего сына, как он умертвил сына фараонова, когда фараон не захотел отречься от греха. Внемли предостережению. Расстанься с этой женщиной. Сейчас же. Немедленно.

Альфонсо не прерывал каноника. Он ощущал такую легкость, словно парил надо всем, и злые речи не могли разгневать его.

— Мне надо кое-что сказать тебе, отец и друг мой,—почти весело ответил он,—пожалуй, мне следовало давно сказать тебе об этом: Ракель беременна.—Он подождал, пока тот прочувствует его слова, и продолжал радостно и доверчиво:—Да, господь вновь благословил меня. Правда, он до сих пор не дал мне спасти душу Ракели, но это снова была благодетельная уловка, чтобы привести меня к цели окольными путями. Нет, я не одну душу подарю христианству,—ликующе выкрикнул он,—у меня будет дитя от Ракели, и, можешь не сомневаться, когда я окрещу младенца, мать поспешит креститься вслед за ним. Я очень счастлив, отец и друг мой дон Родриго.

Каноник был глубоко потрясен. В то время как он, сделав над собой усилие, сурово отчитывал своего возлюбленного сына, тот и сам уже узрел свет. «Помыслы мои неисповедимы для вас, и неисповедимы пути мои»,—сказал господь; и Альфонсо понял это лучше него.

— Теперь ты не станешь требовать, чтобы я расстался с ней,—говорил между тем Альфонсо, улыбаясь и сияя.—Пусть все остается по-прежнему, пока я не выступлю в поход,—вкрадчиво попросил он.—Неужто ты пожелаешь, чтобы я отослал мать моего ребенка? Господь отпустил мне уже не одну вину. И раз я пойду сражаться за него, он посмотрит сквозь пальцы, если я не слишком жестоко обойдусь с этой пленительнейшей из женщин.

Впоследствии Родриго укорял себя за свое согласие. Но, увы, он так понимал дона Альфонсо! Альфонсо любил Ракель, и недаром же Вергилий, благочестивейший из язычников, самый близкий христианству, пел о чарах любви, о том, как она завораживает чувства и душу, отнимает свободу воли и нечеловеческой властью подчиняет себе человека. А донья Ракель была достойна любви, она была прекрасна, прав был народ, называя ее Фермоза, ее красота трогала и его, Родриго, и будила в нем благоговейные чувства. Он не думал оправдывать короля даже перед самим собой. Но, быть может, господь поставил эту женщину на пути этого мужчины, дабы сильнее было искушение и лучезарное торжество.

Вспоминая разговор со своим духовным наставником, Альфонсо испытывал стыд и раскаяние. В то время как священнослужитель из отеческой любви и дружбы вел свои лживые речи, сам он постарался перещегоолять его во лжи. Он сделал вид, будто война предстоит очень скоро, и на этом основании выговорил себе право погрешить оставшийся короткий срок. А в действительности знал, что война предстоит вовсе не так скоро. Ведь и он всячески старается отсрочить ее.

Те же самые спорные вопросы, которые препятствовали заключению союза, мешали теперь договориться о приданом инфанты Беренгелы, а значит, и заключить союз. У дона Хосе в Сарагосе возникали все новые и новые вопросы, у короля Генриха Английского тоже, и стоило прояснить одно, как становилось неясным другое.

Альфонсо отлично понимал, что все эти препятствия чинит Иегуда, но разыгрывал недовольство и нетерпение, а сам хотел, чтобы Иегуда выдвигал все новые возражения, и сам подстрекал к ним. Они видели друг друга насквозь, и каждый понимал тайные желания другого, но ни один не сознавался в этом, они играли в нескончаемую и хитрую игру, между ними был безмолвный сговор, они, король и его эскривано, стали сообщниками.

При этом дон Альфонсо ревновал к еврею, потому что Ракель была привязана к отцу, а Иегуда ревновал к Альфонсо, потому что Ракель любила короля. И Иегуда, всматриваясь в лицо Ракели, радовался, находя сходство с собой, а Альфонсо, всматриваясь в лицо Ракели, досадовал, находя у нее общие черты с отцом. Но оба старательно и не без злорадства продолжали вести свою хитроумную игру. Даже с глазу на глаз оба притворялись, будто деятельно стремятся к союзу с Арагоном и обручению, и оба непрерывно сводили на нет то, о чем так усердно хлопотали.

Когда дону Мартину стало ясно, что король по-прежнему большую часть времени проводит в Галиане и с

помощью недостойных уловок продолжает оттягивать священную войну, архиепископ дал волю своему возмущению. В проповедях он теперь громил короля, который внимает советам обманщиков-евреев и подчиняет христиан усмотрению и произволу обрезанных, тем самым угнетая церковь Божию и поощряя дьяволову синагогу.

Славный своими добродетелями великий писатель древности говорил так: «*Sicut titulis primi fuere, sic et vitiis*—первые в почестях, первые и в пороках». То же самое происходит ныне в злосчастной Кастилии. И он поминал царя Соломона, которого распутные наложницы свратили в язычество.

- По всей стране священнослужители следовали примеру архиепископа. Они открыто заявляли, что еврей, как истый посланец ада, построил на саладинову десятину волшебный замок Галиану и посадил в него свою дочь, дабы она околдовала короля. Ракель они именовали не иначе, как вестницей сатаны.

Кастильцы увидели, что они обмануты. Их собственный король отнял у них все благостыни священной войны. Студенты высмеивали дон Альфонсо в сатирических песенках, называли его рыцарем-лежебокой, спрашивали, когда он подвергнется обрезанию. Вся страна была ошеломлена и возмущена.

Но при всем благочестивом негодовании многие радовались, что с войной можно повременить, и приводили старинную пословицу: «Лучше вареное яйцо в мирную пору, чем жареный бык в войну». Однако Кастилия была страна богобоязненная, а длительный мир неугоден господу, и даже те, кому такое положение было по душе, высказывали свои истинные чувства, лишь замкнувшись у себя в четырех стенах. А на улицах и в кабаках все по-прежнему дружно жаждали священной войны и уповали на то, что господь вразумит заблудшего дон Альфонсо. Вся страна участвовала в лицемерной игре короля и его еврея.

К дону Родриго пришел за советом священник из какого-то небольшого местечка. Один из его прихожан, канатных дел мастер, человек набожный и трудолюбивый, задал ему вопрос:

— За последний год господь благословил прибылью мои труды и мне удалось отложить два золотых мараведи; почему же он посылает меня воевать с неверными и губит мое дело именно теперь, когда оно так хорошо наладилось?

Каноник сразу же разгадал увертки дон Альфонсо, но, возмущаясь, он вместе с тем радовался сохранению мира; следовательно, он сам грешил не меньше, чем канатных дел мастер. Осознав это, он потерял равновесие

и дал священнику столь легкомысленный ответ, что сам Муса мог бы позавидовать его беспечному острословию. Он попросту привел случай из жизни святого Августина. Кто-то однажды спросил святого: «Чем занимался господь бог до того, как создал небо и землю?» На что Августин ответил: «Создал ад, чтобы отправлять туда людей, задающих подобные вопросы».

Весть о том, что Ракель беременна, еще пуще разожгла ярость враждебно настроенных грандов и прелатов. Народ же очень доброжелательно принял эту новость. Простые люди свыклись с мыслью, что можно еще какой-то срок пожить в мире, и были довольны, что до разрешения от бремени барраганы, королевской наложницы, войны, во всяком случае, не будет и не придется снова ломать свою мирную жизнь. Они ласково и умиленно говорили о беременной Ракели и снисходительной усмешкой выражали сочувствие человеческим слабостям дона Альфонсо. Они не возражали против того, чтобы у их рыцарственного короля был сын от красавицы еврейки, и в беременности Ракели усматривали знак благоволения божия. Не зря же господь как раз перед военным походом даровал своему помазаннику новое дитя взамен умершего сына.

Как тут не похвалить красавицу! Видно, в амулете, который она велела повесить над входом в Галиану, была большая чародейная сила. И многие старались добыть себе этот амулет — мезузу.

Прелатов и баронов приводило в ярость такое греховное тупоумие. Откуда-то пошли слухи о дурных предзнаменованиях. Говорили, что Ракель, когда вместе с королем удила рыбу в Тахо, выловила человеческий череп; об этом будто бы рассказывал садовник из Галианы.

Но и эти слухи не возымели действия и не отразились на умиленном сочувствии кастильцев к благословленной богом любовной связи короля-рыцаря и Фермозы. Наперекор всем стараниям архиепископа кличка «Вестница Сатаны» не пристала к донье Ракель, ее по-прежнему называли только Фермоза.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Чтобы осуществлять свою головоломную задачу — одновременно способствовать и препятствовать заключению союза, — дону Альфонсо приходилось подолгу бывать в Толедо, и донья Ракель часто оставалась одна. Но она догадывалась, что Альфонсо у себя в замке, сообщая с ее отцом, строит какие-то хитроумные планы для ее же блага, и в своем одиночестве не терзалась, как

бывало раньше, жгучей тоской. Она часто навещала кастильо Ибн Эзра. Придя туда, она забивалась в уголок рабочей комнаты Мусы, просила, чтобы он не обращал на нее внимания, и следила за тем, как он шагал из угла в угол, обдумывая что-то, или писал за высоким налоем, или рылся в книгах.

Каноник в это последнее время избегал встречаться с доньей Ракель, зато молодой дон Вениамин появлялся очень часто. Он был глубоко взволнован и озадачен тем, что любимая им женщина, принадлежащая к роду Ибн Эзра, царевна из дома Давидова, должна родить младенца кастильскому королю. Он боялся за любимую, предвидел, какая борьба возгорится вокруг нее и ее ребенка, и ему хотелось придать ей силы для этой борьбы.

Но, говоря о величии иудейской веры, он уже не принуждал себя, как в тот раз, в присутствии каноника, быть по-научному бесстрастным; нет, теперь он согревал собственным чувством те слова, которыми еврейские ученые и поэты старались доказать превосходство иудейского мировоззрения над языческой философией и над тем, что проповедовал Иисус из Назарета. Ведь учение великого язычника Аристотеля питает лишь ум, меж тем как мудрость иудеев удовлетворяет потребности не только разума, но и чувства, она направляет на путь истинный не только мысли, но и поступки человека. И если основатель христианства возвестил, что страдание — высшая добродетель и священнейшее назначение человека, то ни один из народов в такой степени, как народ Израиля, не претворил в действительность это учение. В назидание человечеству народ Израиля уже многие столетия носит благородный венец страдания.

Дон Вениамин вдохновенно рассказывал Ракели о человеке, который всего лишь полвека назад переложил это учение в прекрасные стихи, — о последнем великом пророке Израиля, Иегуде Галеви. Он подробно изложил ей его апологию иудейства и прочел одну из «Сионид» Иегуды: «О Сион, царственный приют! Будь у меня крылья, я полетел бы к тебе. Благоговейно и смиренно лобызал бы твой прах, ибо даже прах твой благоухает, точно бальзам. Могу ли я жить, когда псы терзают твоих мертвых львов? О лучезарная обитель господня, как чернь и рабы бесчинствуют ныне на твоём престоле!» И вот этот самый Иегуда Галеви немощным старцем с превеликим трудом совершил путь до Святой земли и у самых стен святого города Иерусалима был убит мусульманским рыцарем.

Но, дав волю душевному порыву, Вениамин уже стыдился своей восторженности и шутливым замечанием пытался перейти на обычный, будничныи тон. Или же

доставал тетрадь и просил у Ракели разрешения нарисовать ее. «Какой же ты праведник и... какой еретик!» — с улыбкой говорила она. Он сделал с нее три наброска. Она попросила, чтобы он отдал ей эти рисунки: она боялась, что тот, у кого есть ее изображение, приобретет власть над ней самой.

Как-то раз, особенно ясно ощущая их взаимную духовную близость, он признался ей в своем последнем, сокровенном убеждении.

— Мы тоскуем о Святой земле,— так начал он,— мы молимся о пришествии мессии, однако,— тут он так понизил голос, что она почти не слышала его,— однако на самом деле мы вовсе не хотим, чтобы пришел мессия. Он помешал бы нашему непосредственному общению с богом, отнял бы у нас какую-то долю божества. У других есть и государство, и родина, и бог, и они чтут все это, и все это смешано в их сознании, и бог — лишь часть того, что они чтут. У нас же, у евреев, есть только бог, и потому мы обладаем им в целостной чистоте. Мы отнюдь не нищие духом и не нуждаемся в посреднике между богом и нами — ни в Христе, ни в Магомете. Мы осмеливаемся без посредников созерцать и чтить бога. Уповать на Сион лучше, это делает жизнь богаче, чем обладать Сионом. Ожидание пришествия мессии побуждает нас делать землю достойной его, это мечта, а не действительность, и пусть оно так и будет. Зачем нам быть косными и нерадивыми обладателями добра, куда лучше стремиться к добру и бороться за него.

Хотя Ракель глубоко уважала ум и душу дона Вениамина, его слова о мессии не понравились ей. Нельзя доходить в ереси до такой крайности. Она не хотела и не могла верить, что мессии вообще не существует, что он придет не так уж скоро или даже вовсе не придет.

Об этом она знала лучше, чем он.

Относительно времени пришествия мессии было множество пророчеств. Тысячу лет, так гласили они, продлятся бедствия народа Израилева, тысячу лет проведет он в изгнании, рассеянный по всему свету. Но тысяча лет давно истекла. И враги снова ополчились против Иерусалима, и настало время, когда, по слову пророка Исайи, молодая женщина родит сына, и то будет Иммануил, мессия. Потому-то в последние десятилетия особенное почтение внушали еврейские женщины в пору беременности; ибо мудрецы учили, что каждая может оказаться избранницей и родить Иммануила.

Ее собственная необыкновенная судьба подсказывала Ракели мысль, что именно она носит во чреве мессию. Он должен быть из дома Давидова, а разве она, дочь Ибн Эзров, не царевна из дома Давидова? И разве великое и

опасное счастье быть избранницей и подругой христианского короля не свидетельствует о ее особом предназначении? Она ощупывала свой живот, прислушивалась к тому, что свершается у нее внутри, улыбалась углубленной в себя улыбкой, и в ней все крепла вера, что она вынашивает князя мира, мессию. Но она никому не говорила об этом.

Кормилица опекала ее, указывала, что ей можно есть, а чего нельзя, когда ей надо почивать и когда гулять. Ракель притворялась покорной, но почти не слушала ее. Она заметила, что раболепно-угодливый Белардо бросает ей вслед злобные взгляды, но она не боялась его злого глаза. Счастье ограждало ее от всего и вселяло в нее покой. Она звонко смеялась, вспоминая, как ее севильская подружка Лейла сказала ей: «Бедная ты моя».

Она читала псалмы, один из них особенно запал ей в душу. Не понимая смысла величавых и давно отзвучавших слов, она по-своему толковала их.

«И возжелает царь красоты твоей,—говорилось там,—ибо он господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое; вся слава дщери царя внутри; одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. Приводится с веселием и ликованием, входит в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род; посему народы будут славить тебя во веки и веки».

И Ракель гордилась не менее своего отца.

Нередко, глядя на Ракель, Альфонсо ощущал нежность, доходящую до боли. Ее личико осунулось, оно казалось ему еще более детским и вместе с тем умудренным, движения ее стали необыкновенно плавными; свободные одежды скрадывали округлившийся живот. Она явно ничего не боялась, порой ему чудилось, будто она вся лучится безудержным счастьем.

Он очень жалел, что из-за дел принужден постоянно разлучаться с ней. Как-то раз он сказал ей, что оставляет ее так часто одну не от недостатка любви. Совсем наоборот, уверял он.

По пути в королевский замок он постарался сам понять, что подразумевал под этим «наоборот». И тут ему стало совершенно ясно, что он, потворствуя своему греху, втайне непрестанно разрушает то святое дело, о котором ратует перед лицом всего света. Он отчетливо увидел, какие гадкие козни плетет вместе с Иегудой. Папа прав. Он заключил союз с сатаной, дабы чинить препоны священной войне. Он чувствовал, что губит свою душу.

Но он знал и средство спасти ее. Надо обратить Ракель в истинную веру. Хотя бы даже употребив силу. И сейчас, немедленно, до того, как она разрешится от бремени. Пусть она христианкой родит ему сына. Так ему угодно.

Однако, воротясь в Галиану, он увидел, какой хрупкой сделала ее беременность, увидел, что только уверенность в своем счастье придает ей силы, и у него не достало духу начать разговор, который мог повредить ей.

Ничего не предприняв, он безвольно отдался счастью.

Как и прежде, они по целым дням ничего не делали и были очень заняты. Ракель снова рассказывала ему сказки, а он дивился, как складно льются у нее слова, как одна сказка вытекает из другой, как она выдумывает их, и сама верит своим выдумкам, и его заставляет верить им.

Да, Ракель была красноречива, она находила нужные выражения для всего, что ее волновало.

Впрочем, не для всего. Она не умела высказать Альфонсо, как любит его, да и нигде, кроме древних песен в Великой Книге, не нашли бы для этого подходящие слова. И вот она рассказывала ему о звучных, ликующих, страстных стихах Песней Песней. Она пыталась перевести эти стихи для него на свой арабский язык, и на его вульгарную латынь, и на им одним понятную помесь этих двух языков. Только так могла она высказать ему всю свою любовь.

Она прочла ему и туманные стихи того псалма, где в чересчур пышных словах превозносится блеск и слава царя и краса его невесты. Он был несказанно удивлен, что древние иудейские цари были еще горделивее христианских королей-рыцарей.

Но вот однажды утром он, по внезапному наитию, собрался с духом и попросил ее сломать наконец последнюю преграду, разделяющую их, и перейти в истинную веру, дабы она уже христианкой родила ему сына-христианина. Ракель посмотрела на него скорее с изумлением, нежели с укором или гневом.

— Этого я не сделаю, и не заговаривай больше об этом, Альфонсо,—тихо, но решительно сказала она.

На следующий день она показала Альфонсо те три наброска, которые сделал с нее дон Вениамин. Он долго и старательно вглядывался в рисунки. Как объяснила ему Ракель, дону Вениамину потребовалось немало мужества, чтобы нарисовать ее; рисовать чье-либо изображение запрещается и законом Моисея, и законом Магомета. Дону Альфонсо не понравилось, что Ракель знает с этим доном Вениамином; надо полагать, Вениамин поддерживает в ней ее злостное упорство.

— Раз ему не дозволено рисовать, так пусть и не рисует,—сердито буркнул он,—я не терплю еретиков. Мои подданные должны подчиняться законам своей религии.

Ракель была ошеломлена. Как же он от нее требует самой тяжелой ереси—отречения от веры предков?

Альфонсо заметил ее смятение.

— На свете должны быть люди, короли и священнослужители, которые предписывают законы,—принялся он втолковывать ей,—а низшим не полагается умничать над законами. Пусть следуют им беспрекословно, вот и все.

Но когда она собралась унести рисунки, он попросил:

— Оставь мне их, пусть побудут у меня.

Когда она ушла, он снова долго всматривался в ее изображения и при этом покачивал головой. Перед ним была его Ракель и все-таки не совсем она. Он открывал в ней совершенно незнакомые ему черты. Но ведь он-то знает ее лучше, чем кто бы то ни было. Видно, красота ее неисчерпаема, а душа многолика, как облака в небе и волны на реке Тахо.

В Толедо прибыли музыканты-мусульмане. Их думали было не пускать в Кастилию, сочтя это неуместным ввиду войны, но Альфонсо легкомысленно заявил, что не мешает напоследок, перед тем как разразится настоящая война, насладиться искусством мусульманских певцов. Итак, они очутились тут, и те из толедцев, которые претендовали на просвещенность и утонченный вкус, приглашали их к себе в дом попеть и поиграть.

Альфонсо вытребовал их в Галиану. Их было четверо—двое мужчин и две девушки; мужчины, как большинство музыкантов, были слепые, потому что женщины жаждут рассеять музыкой гаремную скуку, но нельзя, чтобы мужчины смотрели на них в гареме. Музыканты принесли с собой гитару, флейту, лютню и канун—нечто вроде клавикордов. Они играли и пели медлительные, монотонные и все же волнующие мелодии. Сперва они исполнили эпические песни, и среди них знаменитую старинную—о Сиде Кампеадоре; проживавший в мусульманской Андалусии еврей Абен-Алфанке сочинил ее во славу неприятельского рыцаря. Затем они стали петь новые песни, которые были теперь в ходу в Гранаде, Кордове и Севилье. Они пели о красоте этих городов, об их садах, водоемах, об их девушках и рыцарях. Кормилица Саад не могла сдержать слезы. И Ракель тоже ощутила тоску по Севилье. Но тоска была не мучительная, она не омрачала счастья Галианы, а лишь углубляла его.

Под конец слепцы спели романсы и баллады о событиях недавнего прошлого и настоящего, но только принявшие сказочный оттенок, лишённые временных пределов,—

все это могло точно так же происходить и сейчас, и пятьсот лет назад. Между прочим спели они и романс о неверном короле-христианине; он влюбился тоже в неверную, только в еврейку, и жил с ней у себя в замке долгие дни, месяцы, годы, упорствуя в своем неверии, а она в своем, и неужто же Аллах попустит, чтобы это сошло благополучно? Слепцы пели с чувством, одна из девушек перебирала струны лютни, другая ударяла по клавишам кáнуна. Ракель слушала и улыбалась, она была уверена, что Аллах все приведет к счастливому концу. Королю стало не по себе, но он смехом разогнал неприятное чувство.

Почти все шесть тысяч франкских евреев-беженцев осели в Кастилии и понемногу свыкались с жизнью и делами страны. Веселый шум всеобщего благоденствия заглушал злобные речи прелатов и баронов.

Из-за всеобщего благоденствия и затея Иегуды, почерпнутая из Книги Эсфирь,—пресловутый «счастливый горшок», иначе говоря, лотерея,—имела баснословный успех. Купив билет за несколько сольдо, можно было выиграть десять золотых мараведи. Играли все — гранды, горожане, зависимые крестьяне. Они радовались выигрышу и считали его своей личной заслугой; а если был проигрыш — все равно они целые недели жили в счастливом ожидании и теперь надеялись на следующий раз.

Торговые дела Иегуды с иноземными государствами шли как нельзя лучше, и его имя пользовалось известностью от Лондона до Багдада.

Хотя Иегуда и себе, и всему свету представлялся окер харимом, человеком, способным двигать горы, все же иногда по ночам на него нападал страх: «Сколько времени продлится мое счастье?» Он не забыл, в какую бездну отчаяния повергло его известие о смерти инфанта. Тогда он не сомневался, что Альфонсо, не медля ни минуты, выступит в поход, а его и Ракели счастьем придет конец. Но потом ему довелось увидеть, как беременность Ракели еще крепче привязала к ней короля, и ему стало стыдно, что он усомнился в своем счастье. И тем не менее он не мог полностью избавиться от воспоминания о пережитых часах отчаяния, и, главным образом по ночам, пылкое воображение рисовало перед ним страшные картины. Рано или поздно, наперекор всем его ухищрениям, начнется война, длительная, суровая война, в ней будут и успехи и неудачи, и вину за первое же поражение припишут ему, Иегуде, и толедской альхаме. Великое бедствие постигнет кастильских евреев, и вся ярость Эдома обрушится на него и на его дочь.

Даже и ближайшее будущее представлялось ему неверным. Что будет, когда Ракель произведет на свет младенца? Временами Иегудой овладевали дерзкие, безумные мечты о том блеске, каким будет окружен его внук. И в христианском мире баррагана, королевская наложница, пользовалась большими правами, и рожденное ею дитя в правовом отношении стояло немногим ниже законных детей. Испанские короли делали из своих бастардов знатных вельмож. Перед Иегудой маячила мечта, что его внук, чего доброго, станет кастильским принцем.

Однако его трезвый рассудок не замедлил развеять дерзостную мечту и показать, какими опасностями для него и для Ракели чревато рождение этого внука. Дон Альфонсо, разумеется, пожелает, чтобы его сын был крещен; чистое безумие требовать от короля Кастилии, чтобы он растил родного сына «в ереси». И все-таки Иегуда должен решиться на это безумие.

Господь посмеялся над ним. Адонай посмеялся над ним. Господь не простил ему, что он столько времени оставался мешумадом. Господь захотел его испытать, а он не выдержал испытания и лишился сына Аласара. Теперь же господь вторично испытывает его.

Не только узколобый и непреклонный рабби Товий, но самый свободомыслящий из всех ныне здравствующих еврейских мудрецов, господин и учитель наш Моисей бен Маймун, наистрожайше требовал от евреев, чтобы они оставались тверды, невзирая ни на какие испытания, и не допускали своих детей до такого падения, как переход в христианство. В десятый раз перечитывал Иегуда «Послание о вероотступничестве». Кто под страхом смерти признает себя последователем пророка Магомета, так учил в этом послании бен Маймун, тот еще не погиб. Погибшим должен считаться тот, кто подставляет голову под воды крещения, ибо признание триединства — это ни более ни менее, как идолопоклонство, нарушение второй заповеди. И бен Маймун приводил стих из Священного писания:

«Кто дает из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. И если народ земли не обратит очей своих на человека того и не умертвит его, то я обращу лице мое на человека того и на род его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его».

Иегуда доверился надежному другу Мусе. Мусе было понятно, что Иегуда даже слышать не желает о крещении своего внука.

— Но как можешь ты воспретить королю Толедо и Кастилии, чтобы он воспитывал свое дитя в христианской вере? — спросил Муса. Иегуда нерешительно заметил, что

он и Ракель могли бы бежать до того, как младенец народится на свет. Муса отверг этот план.

— Пойми же меня,—взмолился Иегуда.—Ведь ты при всем своем бесстрастии не желаешь отступить от ислама. Ты знаешь, что я проявил слабость и не удержал сына моего Аласара и что я сам повинен в его духовном падении. Не могу я потерпеть, чтобы этот король окрестил моего внука во имя своих идолов.

— Ты все говоришь о «внуке»,—сдерживая улыбку, заметил Муса,—и тем самым проговариваешься, что ждешь только внука. А вдруг младенец окажется девочкой? И если Альфонсо вздумает воспитывать в христианской вере не сына, а дочь, ты так же будешь скорбеть душой и почитать это грехом?

— Я не отдам ему младенца,—гневно выкрикнул Иегуда,—ни при каких обстоятельствах не отдам!

Однако втихомолку согласился, что совершит не такой уж великий грех, если не станет жертвовать собой, дабы спасти душу девочки.

А пока, желая заглушить внутреннюю тревогу, он вел с королем все более дерзновенную игру. С тайным злорадством испытывал он свою власть над Альфонсо.

Синагога, которую он построил в дар альхаме, была готова. Иегуда решил торжественно освятить ее. Дон Эфраим отговаривал его; он считал, что это празднество может быть воспринято в такое время как вызов. Иегуда стоял на своем.

— Не бойся, господин мой и учитель Эфраим,—сказал он и пообещал: —Я уж сумею заткнуть рот нашим врагам, окаянными богохульникам.

И на следующий же день приступил к выполнению этого обещания. Он попросил короля почтить своим посещением новую молельню. Дон Альфонсо был ошеломлен такой наглостью. Весь полуостров осуждал его за то, что он медлит вступить в священную войну; а если он вдобавок посетит святилище еврейского бога, прелаты, без сомнения, сочтут это предумышленной дерзостью. Он обдумывал, ответить ли ему на просьбу эскривано гневным отказом или же высокомерной насмешкой. Иегуда стоял перед ним со смиренным и нагло-фамильярным видом.

— Твои предки не раз удостаивали посещением храмы своих евреев,—напомнил он.

— Но не в то время, когда христианство ведет священную войну,—возразил Альфонсо и, так как Иегуда молчал, добавил: —Это непременно вызовет раздражение.

— У тебя есть такие подданные, которые порочат все, что бы ни благоугодно было сделать твоему величеству,—ответил Иегуда.

Король пришел.

Мастер Мейр Абдели, ученик знаменитых мусульманских и греческих зодчих, выдержал здание в благородных пропорциях, с тонким умением, расчленив пространство аркадами и балконами, так что искусство византийских и мавританских мастеров органически сливалось здесь воедино. И все вело к кивоту, ибо весь дом был построен для того, чтобы хранить и обрамлять его, к святому кивоту, где находились свитки торы. Он был выкован из серебра, сиявшего матовым блеском.

Когда его открывали, перед глазами вставала тяжелая парчовая завеса, а когда откидывали ее, навстречу сверкали драгоценностями священные свитки, свитки торы. Не много их хранилось в кивоте, но среди них была та древняя рукопись Пятикнижия, знаменитая сефер хиллали, что считалась старейшей из всех сохранившихся на свете. Окутанный покровом из великолепной ткани, стоял ветхий пергаментный свиток; украшен он был золотой пластиной, осыпанной драгоценными камнями, а на его деревянных ручках было по золотому венцу.

По стенам синагоги тянулись фризy, где надписи переплетались с орнаментом и арабесками. В орнаменте без конца повторялась шишка пинии — эмблема вечного плодородия и бессмертия, а также щит с тремя башнями — то ли герб Кастилии, то ли печать дона Иегуды. Но больше всего на стенах было еврейских изречений. Тут были изречения, прославлявшие бога, народ Израилев, Кастилию, короля и Иегуду Ибн Эзра; молодые ученые и поэты с тонкой изобретательностью подобрали и расположили их. Рифмованная проза перемежалась с библейскими стихами, так что порой трудно было разобрать, кого восхваляет изречение — короля или его министра.

Например, там говорилось о фараоне, который возвысил Иосифа, и были приведены слова Священного писания:

«И сказал фараон Иосифу: без тебя никто не двинет руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской. И нарек фараон Иосифа своим ближним советником».

И вот в этот дом, возведенный Иегудой, дабы прославить господа и себя самого, пожаловал дон Альфонсо, король Толедо и Кастилии.

У входа его смиренно приветствовали парнас Эфраим и почтеннейшие мужи альхамы. Потом повели его внутрь храма. Выпрямившись, с покрытыми головами встали еврейские мужи и произнесли слова благословения, которые закон предписывает произносить перед лицом земного владыки.

«Хвала тебе, Адонай, господь бог наш, ибо вот плоть и кровь, которой ты даровал частицу твоей славы».

С волнением и гордостью выслушал эти слова дон Иегуда. С волнением и трепетом выслушал их дон Альфонсо. Смысл был ему непонятен, но звучание стало привычным, немало им подобных слышал он из уст своей ненаглядной возлюбленной.

у

По учению мусульман, растущий в материнской утробе плод принимает человеческий облик на сто тридцатый день после зачатия. Когда минул этот срок, Ракель спросила Мусу, стал ли уже плод в ее утробе настоящим человеком.

— На подобные вопросы мой великий учитель Гиппократ имел обыкновение давать такой ответ: «Это истинно или недалеко от истины»,— сказал Муса.

По мере того как приближались роды, множились советы и хлопоты тех, кто опекал Ракель. Кормилица Саад требовала, чтобы в течение всего последнего месяца опочивальню Ракели окуривали ладаном, дабы очистить ее от злых духов-джиннов, и была очень обижена, когда Муса воспротивился этому. Иегуда велел перенести в опочивальню дочери свиток торы, а на стенах развесить особые амулеты — «послания к роженице», которые должны преградить доступ в дом колдунье и соблазнительнице Лилит, первой жене Адама, и ее злокозненной свите.

Дон Альфонсо не одобрял всего этого, но, в свою очередь, по совету Белардо, велел привезти в Галиану чудотворные образа и реликвии. И, поборов легкое смущение, попросил капеллана королевского замка поминать донью Ракель в своих молитвах.

А дон Иегуда позаботился, чтобы десять мужей ежедневно читали молитвы о благополучном разрешении от бремени его дочери. Он не переступал порога Галианы с тех пор, как там жила Ракель. И теперь, в решительный час, хотя ему очень хотелось быть подле Ракели, он тоже отказывал себе в этом. Правда, он посылал к ней Мусу, и Альфонсо был доволен, что Ракель находится на попечении старика врача.

Схватки длились долго, и между Мусой и кормилицей Саад возникли разногласия относительно того, какие меры следует принять. Но вот младенец благополучно появился на свет. Кормилица тотчас же завладела им, в правое ухо крикнула ему призыв к молитве, в левое — традиционную формулу: «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его», — и успокоилась на том, что теперь младенец исповедует ислам.

Иегуда провел все эти часы ожидания в своем кастильо и сам не знал, чего ему желать и чего бояться: того ли, чтобы младенец оказался мальчиком или чтобы

он оказался девочкой. В нем снова поднялись сомнения: не отравило ли ему душу длительное исповедание ложной веры и достанет ли у него силы поступить, как должно, сделался ли он истинным иудеем или остался где-то в заповедных тайниках души мешумадом?

Моисей бен Маймун изложил символ веры иудеев в тринадцати догматах. Иегуда с пристрастием пытал себя, воистину ли всем своим существом верует он в эти догматы. В том тексте, который лежал перед ним, каждый член символа веры начинался так: «Верую безраздельной верой». Медленно повторял он про себя: «Верую безраздельной верой, что праведно поклоняться творцу, да будет благословенно его имя, и несправедно поклоняться кому бы то ни было другому. Верую безраздельной верой, что откровение учителя нашего Моисея, да будет мир с ним, есть непреложная истина и что он отец всех пророков, бывших до него и грядущих за ним». Да, он верил в это, он знал, что это так и есть, и никакие учения, будь то Христа или Магомета, не могли затмить откровение Моисея. С молитвенным рвением произнес Иегуда заключительные слова символа веры: «На помощь твою уповаю, Адонай. Уповаю, Адонай, на твою помощь. Адонай, уповаю на помощь твою». Он молился, он веровал, он готов был принять смерть за свою веру и за свое откровение.

Но как ни предавал он себя воле божьей, как ни старался сосредоточиться на молитве, мысли его непрестанно возвращались в Галиану. Он ждал, колебался, боялся, надеялся.

И вот прибыл гонец и, даже не поздоровавшись, в традиционной форме поспешил сообщить Иегуде радостную весть: «Мальчик пришел в мир, благословение снизошло на мир».

Безграничный восторг охватил Иегуду. Господь смиловился над ним, господь послал ему утешение взамен Аласара. На свет родился мальчик, новый Ибн Эзра, потомок царя Давида и его, Иегуды, внук.

Но в тот же миг тревога омрачила ликование. Потомок царя Давида—да, но и потомок герцогов Бургундских и графов Кастильских! У дон Альфонсо были такие же права, что и у него самого, и дон Альфонсо мог постоять за них всей мощью христианства, а он, Иегуда, был одинок. Но: «Я верую безраздельной верой»,—с верой повторил он, и: «Такова моя непреложная воля»,—в волевом порыве подтвердил он, и: «Не быть по воле неверного короля,—решил он.—Я настою на своем с помощью господ бога и собственного моего разума».

В Галиане тем временем донья Ракель нежно оглядывала и ощупывала своего сына. Беззвучно шептала ему

хвалы, ласкала его и называла именем мессии — Иммануил.

Альфонсо же — по велению рыцарского этикета и собственного сердца — опустился перед доньей Ракель на одно колено и поцеловал у нее, ослабевшей, обессиленной, руку.

С ужасом наблюдала за этим кормилица Саад. Ведь Ракель стала нечистой, родильница долгое время считается нечистой, а этот мужчина, этот глупец, повелитель неверных, прикасается к ней и накликает на нее, и на себя, и на младенца всех злых духов. И она поспешила положить младенца в колыбельку, срезала у него с головы несколько волосков, собираясь принести их в жертву, и поставила вокруг колыбели сахар, чтобы младенцу жилось сладко, золото, чтобы он жил богато, и хлеб, чтобы он жил долго.

Альфонсо был счастлив. Господь заранее наградил его за ратные подвиги и подарил ему взамен умершего другого сына. Он решил, что крестить его будут на третий день и нарекут именем Санчо; Санчо, долгожданный, — так звали его собственного отца. Он хотел сказать об этом Ракели, но она была слишком слаба, и он отложил этот разговор на завтра или послезавтра.

Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Он поскакал в Толедо, созвал своих советников и тех баронов, которых считал друзьями. Он сиял и расточал награды.

Дона Иегуду он тоже позвал в замок и задержал его, когда остальные попросили разрешения удалиться.

— Я назову мальчика Санчо в честь моего отца, — невозмутимо объявил он. — Крестины будут в четверг. Я знаю, ты недолюбливаешь мою Галиану; но уж как-нибудь превозмоги себя и доставь мне удовольствие: будь там моим гостем в этот день.

Теперь, когда настал решительный миг, на Иегуду снизошло спокойствие. Он предпочел бы перед объяснением с доном Альфонсо повидать Ракель. Ведь она любит этого человека, и ей будет трудно все время давать отпор его грубым настояниям. Но он знал, что она крепка в своей вере, недаром она его дочь, и у нее достанет на это сил.

— По моему разумению, государь, лучше будет, если ты повременишь с этим, — почтительно начал он. — По моему разумению, дочь моя Ракель пожелает, чтобы ее сын рос в законе Израилевом и воспитывался в нравах и обычаях рода Ибн Эзра.

Королю ни разу не пришло в голову, что Ракель или даже старик могут помыслить нечто подобное. Ему и теперь не верилось, что еврей говорит всерьез, это просто

глупая и весьма неуместная шутка. Он подошел вплотную к Иегуде и поиграл его нагрудной пластиной.

— На что это было бы похоже?—сказал он.—Я сражаюсь с мусульманами, а мой сын растет обрезанным!—Он расхохотался.

— Покорно прошу тебя, государь, не смейся,—тихо сказал Иегуда.—Или ты уже договорился с доньей Ракель?

Альфонсо нетерпеливо передернул плечами. Шутка зашла слишком далеко. Но он не хотел портить себе кровь в такой день и снова громко захохотал.

— Смиренно, второй раз прошу тебя—не смейся,—сказал Иегуда.—Если ты будешь осмеивать нас, ты можешь досмеяться до того, что мы покинем твое королевство.

Альфонсо начал раздражаться.

— Ты с ума спятил!—прикрикнул он.

А Иегуда продолжал говорить мягким, вкрадчивым голосом:

— Тебе известно, что я не был в Галиане и не говорил с моей дочерью, да и в ближайшие дни вряд ли буду говорить с ней. Но слушай меня и знай: как солнце неотвратимо склонится нынче вечером к закату, так и Ракель скорее покинет Галиану и твое королевство, чем позволит окропить голову своего сына водами крещения.—И так же тихо, но с неистовой силой заключил:—Многие из нас убивали своих детей, лишь бы не дать окрестить их в неправую веру.—Он пришепetyвал от волнения.

Альфонсо искал какого-нибудь гордого, презрительно-го ответа. Но в комнате еще звучали негромкие, исполненные ярости слова Иегуды, в комнате царила воля Иегуды, не менее сильная, чем его собственная воля. Альфонсо понял: Иегуда говорит правду. Если он окрестит сына, то утратит Ракель. Перед ним был выбор: кем пожертвовать—ею или ребенком?

В бессильной злобе он язвительно бросил Иегуде:

— А твой сын Аласар?

Иегуда ответил, смертельно побледнев:

— Ребенок не должен последовать примеру твоего оруженосца Аласара.

Король промолчал. А в голове у него мелькало: «Змея за пазухой, огниво в рукаве». Он испугался, что не совладает с собой и убьет еврея. Круто повернувшись, он вышел из комнаты.

Иегуда прождал долго. Король не возвращался. В конце концов Иегуда покинул замок.

Так как у короля больше не было тайных причин оттягивать крестовый поход, он решил отправиться в

Бургос и заключить союз, но сперва, разумеется, окрестить младенца. Только он еще колебался, ехать ли ему через неделю или через две—или самое большее через три недели.

Но тут к нему пришла весть, разом положившая конец его нерешительности: король Английский Генрих скончался у себя в укрепленном замке Шинон всего пятидесяти шести лет от роду.

Альфонсо как живого видел перед собой отца своей доньи Леонор, невысокого, приземистого, тучного человека, видел его бычью шею, широкие плечи, по-кавалерийски кривые ноги. Пышущий силой, держащий на оголенной руке сокола, который впился когтями ему в мясо,—таким запечатлелся он в памяти Альфонсо. Все, чего он вождеделел—женщин и государства,—хватал этот Генрих своими голыми, красными, могучими руками.

«Клянусь оком божьим, сын мой,—смеясь, говаривал он Альфонсо,—для государя с крепкой головой и крепкими кулаками целый мир недостаточно велик». У кого была крепкая голова и крепкие кулаки, у кого, как не у этого короля Английского, герцога Нормандского, герцога Аквитанского, графа Анжуйского, графа Пуату, графа Турского, графа Беррийского, могущественнейшего из государей Западной Европы. Альфонсо искренне скорбел о нем, когда снимал перчатку, чтобы перекреститься.

Но, надевая перчатку, он своим быстрым умом уже успел прикинуть, какие последствия кончина этого человека будет иметь для него самого и для его государства. Лишь благодаря мудрому содействию усопшего удавалось до сих пор оттягивать заключение союза и военный поход. Ричард, сын и наследник Генриха, не был государственным мужем, он был рыцарем и солдатом и только и жаждал схватиться с любым противником. Он не станет по примеру отца отыскивать предлоги, чтобы не участвовать в крестовом походе. Он сейчас же соберет войско и двинется в Святую землю, да еще будет требовать, чтобы испанские государи, его родичи, перестали наконец мешкать и немедленно пошли разить неверных на своем полуострове. Война надвинулась вплотную.

Это было по душе дону Альфонсо. Он выпрямился, улыбнулся, засмеялся.

— Ave, bellum, привет тебе, война!—громко и весело произнес он вслух в пустом зале.

Он продиктовал письмо донье Леонор. Высказал ей свою скорбь по поводу кончины ее отца. Сообщил, что незамедлительно прибудет в Бургос, и, набравшись наглости, самым невинным образом добавил, что теперь, когда запрет короля Генриха отпадает, можно без прово-

лочек подписать и скрепить печатью брачный договор Беренгелы и союз с доном Педро.

Но прежде чем уехать, ему надо было покончить еще с одним делом. Хотя он был уверен, что господь особо бережет его, он все-таки считал нужным сделать распоряжения на случай своей кончины. Он щедро обеспечит донью Ракель, а младенца Санчо, своего милого маленького бастарда, пожалует подобающими титулами и званиями.

Он призвал к себе в замок Иегуду.

— Так тебе и надо, приятель,— приветствовал он его с веселой насмешкой,— теперь конец твоим козням и проискам. Теперь я могу идти воевать!

— Толедская альхама будет молить небеса о ниспослании тебе всяческого благоденствия. И постарается предоставить тебе такое войско, которого тебе не придется стыдиться перед христианским миром,— сказал Иегуда.

— Не позднее чем через три дня я отправлюсь в Бургос,— заявил Альфонсо.— Там у меня будет очень мало времени, а на возвратном пути и того меньше. Я намерен уже сейчас сделать распоряжения на тот случай, если, вопреки вашим молитвам и вашим воинам, господь попустит меня принять христианскую кончину на ратном поле. Приготовь нужные бумаги, так чтобы мне осталось только подписать их.

— Слушаю тебя, государь,— сказал Иегуда.

— Мне угодно,— начал король,— записать на имя доньи Ракель поместья, которые приносили бы ей в год не менее трех тысяч золотых мараведи дохода. А нашему маленькому Санчо я хочу передать все права на освобожденные ныне графство и город Ольмедо вместе с графским титулом.

Иегуда сжал губы, стараясь дышать спокойно. Это был по-королевски широкий и смелый жест. Иегуда представил себе, как его внук растет графом Ольмедским, как король дарует ему еще новые звания и владения, вплоть до титула инфанта Кастильского. Перед взором Иегуды возникла безумная, сказочная мечта, что его внук, царевич из рода Ибн Эзра, станет королем Кастилии.

Мечта улетучилась. Ведь знал же он, с той минуты, как получилось известие о смерти короля Генриха, знал, что теперь-то ему предстоит самая жестокая борьба.

— Твое великодушие поистине достойно короля,— сказал он.— Но закон воспрещает делать некрещеного ленным владельцем графства.

Альфонсо ответил невозмутимо:

— Неужто ты думал, что я буду ждать с крестинами своего сына до возвращения с войны? Я назначаю крестины Санчо на завтра.

Иегуда вспомнил повеление рабби Товия: «Все вы должны принять смерть прежде, нежели отдать в жертву хотя бы одного». Он вспомнил стих из Священного писания: «Кто даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти».

— Ты говорил об этом с доньей Ракель, государь? — спросил он.

— Я собирался сегодня сказать ей об этом, — ответил Альфонсо, — но если хочешь, скажи сам.

Про себя Иегуда молился: «На помощь твою уповаю я, Адонай. Я уповаю, Адонай, на твою помощь». Вслух он сказал:

— Ты, дон Альфонсо, потомок бургундских рыцарей и готских королей, но донья Ракель — из дома Ибн Эзра и ведет свой род от царя Давида.

Альфонсо топнул ногой.

— Прекрати эту дурацкую болтовню! — выкрикнул он. — Ты не хуже меня понимаешь, что не может мой сын быть евреем.

— Христос тоже был евреем, государь, — тихо, с затаенной злобой ответил Иегуда.

Альфонсо смолчал. К чему спорить о вере с Иегудой? Лучше он самой Ракели скажет, что завтра крестины младенца. Но она еще очень слаба, и, хотя Иегуда преувеличивает ее внутреннее противодействие, крестины мальчика могут взволновать ее и, чего доброго, повредить ей.

— Пускай изготовят акты по моему указанию, — повелительно обратился он к Иегуде, — и знай: я окрещу сына прежде, чем отправлюсь в поход. Мой тебе совет — употреби весь свой разум на то, чтобы уговорить донью Ракель.

С облегчением вздохнул Иегуда. Пока что король отправляется в Бургос. Значит, выиграно какое-то время, быть может несколько недель. Мучительное это будет время. Теперь Иегуда понял, что для короля это очень важно, что он не уйдет на войну, не окрестив сына. Но так или иначе, время выиграно, и господь, даровавший ему многие милости, на сей раз тоже укажет ему выход.

Словно угадав его мысли, Альфонсо сказал:

— Только не вздумай строить здесь свои черные козни, пока я буду в Бургосе. Я не хочу тревожить Ракель, потому что она еще очень слаба. Но и ты не докучай ей уговорами, угрозами и обещаниями. Пусть мой сын остается до моего возвращения тем, что он есть: еще не христианином, но никак не евреем.

— Будь по-твоему, государь,— ответил Иегуда.

Они стояли лицом к лицу и мерили друг друга недоверчивыми, враждебными взглядами.

— Я тебе не верю, мой эскривано,— напрямик заявил Альфонсо,— поклянись мне.

— Я готов поклясться, государь,— сказал Иегуда.

— Но это должна быть грозная клятва, иначе ты не побоишься нарушить ее,— добавил дон Альфонсо.

Ему пришла коварная мысль. Он вспомнил старинную клятву, которую в пору его детства заставляли произносить евреев, это была нелепая и жестокая формула, накликавшая на них всякие беды в случае, если они нарушат слово. Позднее, по просьбе евреев и по настоянию дона Манрике, он отменил эту клятву. Он забыл точный ее смысл, помнил только, что это была гнусная, устрашающая и вместе с тем глупая клятва.

— Я знаю, есть такая грозная клятва, какой вас часто заставляли клясться в прежнее время,— принялся он объяснять Иегуде.— Пожалуй, я был чересчур милостив, избавив вас от нее, но тебя я от нее не избавлю.

Иегуда побледнел. Он слышал, какую жестокую борьбу пришлось в свое время выдержать альхаме, чтобы освободиться от этой унижительной церемонии; и денег это стоило ей немало.

Ему было нестерпимо обидно, что именно он должен подвергнуться такому унижению.

— Освободи меня от этой клятвы, государь,— попросил он.

Сопrotивление еврея наглядно показало королю, что он нашел верный способ по рукам и ногам связать хитреца.

— Ты опять думаешь увильнуть и слукавить,— прикрикнул он на Иегуду.— Либо ты поклянешься мне той клятвой, либо я сегодня же окрещу младенца.

Где-то раскопали отмененную клятву. Нелегким делом оказалось найти кого-нибудь, кто мог бы принять ее от Иегуды, кто знал бы еврейский язык и был бы человеком надежным, умеющим молчать. Альфонсо обратился к капеллану замка, к тому патеру, которого он некогда спросил: «Что это, собственно, такое — грех?»

Молодой священнослужитель, ошастливленный королевским доверием, но смущенный этой нелепой и жуткой церемонией, принял в присутствии Альфонсо присягу из уст министра.

Дон Иегуда Ибн Эзра должен был поклясться, что до возвращения государя оставит младенца дочери своей, доньи Ракель, в теперешнем его состоянии — ни верующим, ни неверным, ни христианином, ни иудеем.

В свидетели своей клятвы Иегуда должен был призвать того бога, который собственными перстами начертал на каменных скрижалях свои законы, который некогда обратил во прах Содом и Гоморру, повелел земле поглотить всех людей Кореевых, потопил фараона с воинами, конями и колесницами. И священнослужитель потребовал от него во исполнение предписания: «А теперь воззови ко господу, дабы он, если ты нарушишь клятву, наслал на тебя все казни, поразившие египтян, и все проклятия, коими господь карает презревших имя его и заповеди его».

И когда Иегуда положил руку на Священное писание, раскрытое на двадцать восьмой главе Пятой Книги Моисея, христианский священнослужитель прочитал ему все проклятия. Стих за стихом читал он их по-еврейски, и Иегуда должен был повторять их, стих за стихом, а король сладострастно и жадно следил по латинскому тексту стих за стихом.

И Иегуда призвал на свою голову все самые страшные проклятия. А король и священник сказали: аминь.

Часть третья

*Тогда порешили гранды убить
еврейку.*

*Они отправились туда, где она жи-
ла, и на возвышении в ее покое умертви-
ли ее и всех, кто был с ней.*

*Альфонсо Мудрый,
«Crónica general» (около 1270 года)*

И тогда решили гранды
Положить предел кощунству,
Недостойному монарха.
Пробрались они в тот замок,
Где жила его еврейка,
И ее на возвышенья
Умертвили. И погибли
Также все, что были с нею.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С севера по направлению к Пиренеям, через свои обширные франкские земли ехала с большой свитой старая королева Алиенора.

В тот же день, когда по Англии распространилось известие о кончине ее супруга, короля Генриха, она вышла из ворот Солсберийской башни, где была заточена, проявив ту же несломленную властность, которой никто не посмел перечить, и взяла в руки бразды правления за своего любимого сына Ричарда, ныне ставшего королем. И тот, рьяный воитель, охотно передал государственные дела в руки умной и деятельной матери, а сам вскоре после коронации сел на корабль и поплыл воевать на Восток.

Она же объехала все свое королевство, включавшее Англию и огромные франкские владения, усмирила строптивых баронов, взыскала большую дань с непокорных графов, прелатов и городов, созвала, где надо, окружные и судебные собрания, решительно наладила пришедшие в упадок дела.

Покинув северные графства и герцогства, доставшиеся ей по браку с Генрихом, она вступила в свои наследствен-

ные земли—в Пуату, Гиень, Гасконь. Услышала знакомые с детства звуки звонкого провансальского языка, вдохнула мягкий воздух родины. На Севере к раболепным приветствиям примешивалась немалая доля страха; здесь же люди, стоявшие по краям дорог, с неподдельной радостью встречали старую монархиню. Для них она была не только прославленной королевой Севера и первой дамой христианского мира, для них она была Алиенорой Аквитанской, прирожденной государыней их страны, законной наследницей ее короны.

Ей шел уже шестьдесят девятый год, и последние пятнадцать лет она провела в заточении; но она держалась прямо в седле, была тщательно одета, искусно нарумянена, волосы умело покрашены и причесаны. Быть может, ей и нелегко было проделать верхом весь долгий, трудный и рискованный путь через еще заснеженные горы и перевалы, но, хоть она и была в преклонных летах, ее не отпугивали тяготы и опасности. Она чувствовала, что пятнадцатилетнее заточение не сломило ее, а силы только прибывали от сознания, что она, еще так недавно в бессильной злобе томившаяся в Солсберийской башне, способна твердой и умелой рукой направлять и коня и государство. Светлым взглядом озирали родную страну ее голубые, холодные глаза. Она рвалась вперед, она приказывала делать длинные переходы и даже под вечер, когда всем уже было невозможно, отказывалась сменить коня на портшез или носилки.

Она направлялась в Кастилию, в Бургос, чтобы повидаться с дочерью, доньей Леонор, присутствовать на бракосочетании внучки Беренгелы и выдать замуж одну из младших внучек.

Чем дальше продвигалась она на юг, тем многочисленнее становилась ее свита. Когда кавалькада углубилась в Пиренеи, она состояла из пятисот рыцарей, двухсот дам и девиц, *preux chevaliers et dames choisies*, доблестных рыцарей и достойнейших дам, из прелатов и баронов со всех подвластных королеве земель; сопровождал ее также и отряд телохранителей, куда были отобраны самые надежные проводники, преданные наемники-брабантцы, и при них свора хорошо обученных и зорких сторожевых собак. Позади следовал обоз из тысячи с лишним повозок с поклажей, необходимой в дороге утварью и провиантом, а также с дарами для населения. Стремянные и псари вели лошадей и охотничьих собак, принадлежащих королеве и приближенным вельможам, сокольничьи несли их любимых соколов. Так извивался медлительный и пестрый поезд по горам, местами еще покрытым снегом.

На кастильской границе старую королеву ожидали Альфонсо и Леонор, дон Педро Арагонский и инфанта

Беренгела. У ворот Бургоса ей навстречу вышли знатнейшие прелаты и придворные обоих королей. Она совершила торжественный въезд в Бургос, повсюду развевались знамена, с балконов и окон свисали гобелены и ковры, звонили все колокола богатыми церквами города, улицы были устланы зелеными ветками и цветами, источавшими аромат под копытами лошадей и башмаками пешеходов.

В течение целых десятилетий ее, необузданную и блистательную Алиенору, восхваляли и поносили, как ни одну женщину в Европе, и вот теперь, когда она во всем былом великолепии совершала торжественный въезд, вновь ожили бесчисленные рассказы о ее похождениях на войне, на поприще государственном и любовном, о том, что она была вдохновительницей и душой второго крестового похода и сама ехала на коне во главе крестоносцев, воинственная и горделивая, подобно Пентесилее, предводительнице амазонок, о том, как в славном городе Антиохии ее молодой дядя король Раймонд воспылал к ней беспредельной любовью. Как он и ее супруг, король франков Людовик Седьмой, спорили из-за нее, пока супруг в конце концов силой не вырвал ее у соперника и не увез за море. Как она, не стерпев такого насилия, умолила папу расторгнуть ее брак с королем франков. Как тотчас же явился молодой граф Анжуйский, впоследствии король Генрих Английский, и стал домогаться ее руки. Как они сообща выковали могущественное государство. Как она привлекала к своему двору докторов и магистров всех семи наук и искусств, а также трубадуров, труверов и рассказчиков без числа. Как она не одному из этих певцов дарила свое благоволение и, в частности, Бернару Вентадорну, хотя он был всего лишь сыном истопника. Как и король в свой черед изменял королеве со многими, особенно же с одной, и как Алиенора умертвила эту его возлюбленную красавицу Розамунду. И как он после этого заточил Алиенору, и как сыновья поднялись против отца на ее защиту. И снова зазвучали франкские, провансальские и каталонские песни, прославлявшие ее двор, приют высокого стихотворного искусства и утонченных нравов. И запел поэт Филипп фон Тайн:

Младая королева,
Прославься на веки веков,
Влечешь ты сердца неизменно,
Подобно тому, как сирена
Безумных влечет рыбаков.

И запел Бенуа де Сент-Мор:

Высокорожденная, гордая, смелая —
Опора монархов в суровой судьбе.
Тебе рукоплещет вселенная целая,
Нет в мире владычиц, равных тебе.

И даже некий суровый германец сочинил следующие стихи:

Была бы вся земля моей,
От скал прирейнских до морей,—
Все отдал бы без гнева,
Когда бы мог прильнуть к устам
Английской королевы.

Такие песни, легенды и романсы почитателей в соединении с яростными, полными проклятий стихами и рассказами врагов превратили Алиенору Аквитанскую в сказочный образ из чуждых и дальних краев или давно прошедших веков, и даже сейчас, когда она самолично, во плоти, совершала торжественный въезд в город Бургос, окруженная рыцарями, дамами, наемниками, конями, собаками, соколами и сокровищами, многим кастильским и арагонским вельможам мерещилось, будто она окутана золотым облаком. Каким убогим и ничтожным представлялось им нынешнее их бытие по сравнению со вчерашним днем, воплощенным в этой величественной женщине. При виде ее перед ними в ярком свете вставало то, что они слышали о втором крестовом походе, который поистине был крестовым походом королевы Алиеноры. В те времена короли и рыцари не были мелкими душонками и не возлагали своих надежд на превосходство сил, за борьбой не скрывалось стяжательства и хитрого расчета, нет, тогда каждый следовал точным и благородным правилам борьбы и боролся из чистой любви к искусству боя, и бой был тем же турниром, благородной игрой на жизнь или смерть.

Сорок дней вассал был обязан служить своему сеньору и сражался сорок дней, а если на сороковой день не удавалось взять вражескую крепость, рыцарь отправлялся восвояси, пусть даже было известно, что на сорок первый она падет. Тогда не было бродячих солдат, наемных воителей из числа черни, которые не знают изысканных навыков и сражаются только ради победы. Тогда и к врагу проявляли куртуазность, хотя бы он и был привержен другому богу. Халиф, ведя осаду, учтиво посылал осажденной христианской королеве Ураке своего лейб-медика, дабы он облегчил ее недуг. А воевали только с понедельника до четверга. На пятницу, субботу и воскресенье объявлялось перемирие, чтобы каждый—мусульманин, еврей и христианин—без помехи мог отпраздновать свой день отдохновения.

Теперь снова, думали арагонские и кастильские вельможи, наступает такая же славная пора. По внушению благородной дамы Алиеноры был в свое время осуществлен второй крестовый поход, и по ее же внушению здесь, на

полуострове, будет ныне начата священная война, и им, испанским дворянам, представится случай показать себя на деле достойными преемниками рыцарей короля Артура и Карла Великого.

Молодой король дон Педро не помнил себя от счастья. Как милостив к нему господь, давая ему в королевы внучку этой прославленной монархини! Теперь он отправится в поход, как подобает христианскому рыцарю — с умилением в душе вместо злобы и мстительной обиды на дону Альфонсо.

Чарам знаменитой старой королевы подпал и оруженосец Аласар. В Толедо он не раз чувствовал у себя за спиной злобные взгляды, и когда король взял его с собой в Бургос, он боялся, что донья Леонор не простит ему столь предосудительного родства. Но она была к нему очень благосклонна и даже ласкова, король обращался с ним, как с младшим братом, а в присутствии великой королевы Алиеноры рассеялись последние его опасения. Благородные дамы нашли его достойным быть оруженосцем короля дону Альфонсо, он был принят как свой в мире христианского рыцарства.

Весь город Бургос праздновал прибытие старой королевы; тысячные толпы стекались отовсюду, чтобы принять участие в празднестве или извлечь пользу из такого скопления народа. Трактирщики раскидывали временные кабачки, торговцы предлагали ценные вина и пряности. Открытые своды и аркады, под которыми купцы раскладывали свои товары, блистали всем великолепием Фландрии, Леванта и мусульманских стран. Лошадиные барышники и оружейные мастера загребали денежки. Банкиры и менялы только и ждали, чтобы приобрести или взять в залог поместья отправляющихся на войну рыцарей. Тут же было целое скопище фокусников, торговцев ладанками, продажных девок, карманных воришек. Все это галдело, торговалось, блудило, любило, бегало по церквам и кабачкам, держало себя благочестиво, нагло, учтиво, грубо, щеголяло яркими праздничными нарядами, издавало зловоние, зачинало детей, распевало псалмы и кабацкие песни, радовалось жизни, кляло халифа и султана и восхваляло достославную королеву Алиенору.

Да и при дворе камерариям выпала нелегкая задача подобающим образом размещать и потчевать гостей, прибывших со всей Кастилии и из Арагона, чтобы присутствовать на бракосочетании дону Педро и инфанты и оказать почести старой королеве. Многие из этих прелатов, баронов, высших сановников явились со слугами, егерями, конюшими. К ним прибавились неизбежные участники подобных празднеств: искатели приключений,

бедные дворянчики, чаявшие добыть себе на турнирах славу и деньги. Не было недостатка и в трубадурах, в труверах и рассказчиках; они знали, что у доньи Леонор и у благородной дамы Алиеноры они всегда желанные гости.

Старая королева не долго отдыхала от тягот путешествия, уже на второй день она устроила прием в большой зале королевского замка. Окруженная огнями множества свечей, восседала она в креслах на возвышении, держась очень прямо, как полагается благородной даме. Правда, она несколько обрюзгла и страдала одышкой, так что временами с трудом удерживала кашель, а из-под постепенно осыпавшихся румян проступало старческое лицо; но ярко-голубые светлые глаза смотрели холодно и ясно, и она неутомимо принимала участие в общей беседе, вставляя веские, продуманные, благосклонные слова.

Старый арагонец граф Рамон Барбастро, один из участников крестового похода королевы Алиеноры, с тоской вспоминал те блистательные годы и сетовал на убожество нынешнего времени. Война утратила все свое благородство, теперь ее готовят в совете и ведут не мечом, а пером. Не доблесть рыцарей решает исход боя, а количество наемников.

И в те времена, когда они с благородным доном Рамоном были молоды, война тоже не всегда бывала великолепной, блистательной игрой, возразила ему Алиенора.

— Как подумаешь хорошенько,—продолжала она,—так и окажется, что грандиозные, дух захватывающие битвы и пиры были исключением, а правилом надо считать мелкие тяготы: нескончаемые опасные переходы по бездорожной незнакомой местности, израненные ноги, несносный жар в крови, ужасную жажду, ночи без сна из-за ядовитых мошек и причиняющих зуд блох и вшей. Но страшнее всего этого—*аседиа*, нестерпимая скука, бесконечное морское путешествие, многонедельный путь в неведомое, мучительное ожидание подкреплений, которые должны прибыть завтра или послезавтра, но не являются и через неделю.

Она увидела разочарование на лицах слушателей и с улыбкой умело подправила мрачную картину.

— Правда, тем ценнее была награда,—добавила она.—Дикий разгул сражения, празднество в завоеванном городе.

И она принялась рассказывать о пирах на Востоке, где христианская пышность сочеталась с мусульманской, а песни трубадуров сменялись плясками арабских танцовщиц. Слова легко лились из ее уст, но еще красноречивее были ее глаза. С улыбкой вспоминал старый граф о тех

двух рыцарях, что боролись тогда в Антиохии за ее благосклонность, о христианском короле Раймонде и о принце Саладине, который был племянником султана и его послом.

— Но особенно веселы эти пиры были потому, что мы справляли их между двумя битвами,— со вздохом сожаления о былом добавила старая королева.— Лишь вчера каждый из нас избег праведной смерти, а завтра, быть может, кому-то суждено принять ее.

Архиепископ дон Мартин упивался созерцанием и речами благородной дамы Алиеноры. Все долгие месяцы ожидания он был мрачен и втайне злобствовал, теперь же, когда эта Дебора, эта Иаиль смела последние преграды, стоявшие на пути к угодной богу войне, он сиял благочестивым восторгом. Он ходил окрыленный; и латы, которые он теперь постоянно носил под священническим одеянием, ничуть не стесняли его. Стараясь попасть в общий куртуазный тон, он возгласил с неуклюжей угодливостью:

— Святая земля узрела великие деяния, когда ты, достопочтенная дама, явилась туда попрасть язычников, и ныне опять для нее начинается счастливая пора, раз твой лучезарный сын держит туда путь. Предшествуя ему, слава твоего возлюбленного Ричарда примешивается к твоей собственной и вселяет ужас в мусульман. Я получил достоверные известия от моего друга епископа Тирского. Матери-аравитянки уже грозят своим детям, когда те не слушаются их: «Замолчи, пострел, не то король Ричард — Мелек Рик — придет и заберет тебя».

Алиенора не могла скрыть, какую радость доставила ей похвала ее любимцу Ричарду.

— Да, он славный воин,— подтвердила она,— истинный *miles christianus*. Но нелегко ему придется на Востоке,— продолжала королева с той откровенностью, какую только она могла позволить себе.— Я имею в виду не врага, не султана, я говорю о союзнике моего Ричарда, о нашем любезном родственнике — христианнейшем короле франков. Блеск и торжество битвы не его дело, наш добрый Филипп-Август хотел бы выиграть войну с наименьшими затратами. Говоря откровенно, он немного прижимист. Теперь вот он пытается лишить крестовое воинство общества дам и трубадуров. Но у моего Ричарда он сочувствия не встретит. Ричард любит веселье и шум, это он унаследовал от своего отца, да, пожалуй, и от матери. Какой же может быть крестовый поход без дам и трубадуров? У вас здесь, на полуострове, есть одно преимущество перед нами,— обратилась она к Альфонсо и Педро,— вам не нужно, как нам, одолеть скуку долгого морского путешествия, прежде чем встретиться с врагом,

и не надо сотни раз изворачиваться, чтобы столкнуться с вероломными греками и прочим христианским сбродом. Вы можете руками дотянуться до врага и добычи — они рядом: в Кордове, Севилье, Гранаде.

Перед мысленным взором присутствующих встали заманчивые видения чудесных городов и богатой добычи. А в голове у архиепископа дона Мартина торжествующе прозвучали названия мусульманских городов: Кордова, Севилья, Гранада, слитые со словами Евангелия: «Не мир вам несу, но меч. *Allà màchairan*».

Донья Леонор ото всей души благодарила небеса за приезд Алиеноры. Отцом она восхищалась за государственный ум, за воинский гений и немного завидовала той беспечности, с какой он потворствовал своим страстям. Но матерью она не только восхищалась, ее она искренне любила, и мысль, что эта живая, жаждущая деятельности женщина изнывает в темнице, была ей мучительна. Когда же на Альфонсо нашло пагубное любовное помрачение, она страстно желала поведать свое горе Алиеноре, как дочь — матери, королева — королеве, одна оскорбленная жена — другой оскорбленной жене, пожаловаться ей и попросить у нее совета! Правда, теперь Альфонсо вернулся к ней, воодушевленный предстоящим походом, и как будто совсем забыл еврейку. Но хотя донья Леонор искренне старалась простить мужу обман и измену, ей не верилось, что порванная между ними связь может восстановиться, слишком глубоко въелись ей в душу горький опыт, обида и разочарование, и она была счастлива поговорить с матерью о своих надеждах и опасениях.

Когда Алиенора сошла с лошади, когда Леонор поцеловала материнскую руку, когда старческие губы матери коснулись ее молодых губ, она всем существом ощутила их общность. И сразу же в ярком и резком свете перед ней предстало все давно ушедшее, люди и события из времен ее детства в Донфроне, или при пышном дворе ее матери в Пуатье, или же в монастыре Фонтевро, где жила она очень весело и получила вполне светское воспитание. Вспомнилась ей, например, ее гувернантка Агнеса де Фронзак. Леонор приставала к благородной даме, чтобы та рассказала о возлюбленной ее отца Генриха, и госпожа Агнеса наконец сдалась; а после этого юная Леонор потребовала, чтобы госпожу Агнесу прогнали, ибо она проявила недостаточное почтение к ней, принцессе Леонор. Но особенно ясно представилась ей деревянная статуя святого Георгия в замке Донфрон. Он казался очень грозным в лучах заходящего солнца, и Леонор иногда его боялась. Но еще сильнее любила его; приятно сознавать, что находишься под охраной такого внушительного святого, особенно если отец редко-редко бывает

дома. Она оживила для себя этого святого Георгия и живым пронесла сквозь годы детства и юности, и вот он стоит возле нее и зовется Альфонсо. Его хотели у нее похитить не то евреи, не то сам сатана, но она не отдала его. Еще она не вполне спокойна, враги еще строят козни, но все-таки он здесь, с ней рядом, и мать тоже здесь, и с ее помощью она навсегда избавится от еврейки.

Однако ей не сразу удалось поговорить с матерью. Суета приезда и устройства, торжественные приемы и представительство полностью заняли два первых дня. Наконец на третий день королева Алиенора неожиданно сказала посреди шумного сборища, что ей хочется побыть вдвоем с дочерью, и бесцеремонно выпроводила всех остальных.

Когда они остались наедине, она приказала донье Леонор сесть напротив нее, на свету, и пристально посмотрела в лицо дочери, погрузив спокойный взгляд своих холодных голубых глаз в зеленые вопрошающие глаза Леонор. При солнечном свете донья Леонор увидела, что мать постарела, черты стали еще резче, но вместе с тем и величественнее, это была настоящая родоначальница королевской династии. Дочь мысленно склонилась перед ней с любовью и благоговением и решила слепо слушаться ее.

Немного погодя старуха одобрительно сказала молодой:

— Ты хорошо сохранилась.

Потом сразу же заговорила о государственных и семейных делах. Она приехала сюда не только повидаться с дочерью, но главным образом для того, чтобы выдать замуж еще одну внучку-инфанту.

— Надо думать, тебя удовлетворит то положение, которое я обеспечила ей,— сказала она.— Наследник пресловутого Филиппа-Августа—славный юноша, он, по счастью, ничуть не похож на отца. Могу сказать, нелегкое было дело сторговаться с франкским королем насчет брачного договора. Он мнит себя великим монархом, спит и видит стать вторым Карлом Великим, но величия в нем нет ни на йоту, он только и умеет, что заниматься крючкотворством, а таким путем государства не сколотишь. Тем не менее он причинил мне немало хлопот, он хитер и увертлив, как еврей. В конце концов мне пришлось уступить ему графство Эврё и Вексэн, лакомый кусок моей Нормандии, да еще добавить тридцать тысяч дукатов. Все это я оплачу из собственного кармана, тебе, доченька, ничего давать не надобно, на твою долю придутся только выгоды. Ты станешь тещей будущего франкского короля, а брат твой Ричард владеет над теми странами, что расположены между Испанией, кото-

рая принадлежит тебе, и Францией, которая будет принадлежать твоей дочери. Наступит время, когда ты, если пожелаешь, сможешь держать в руках добрую половину мира.

Затаив дыхание, донья Леонор слушала, как ее мать обыденными словами излагает ей такие широкие замыслы, уходящие в такое далекое будущее. Донье Леонор было ясно, что, уступая нормандские графства, мать прежде всего стремилась обезопасить свои собственные владения от посягательств коварного Филиппа-Августа на то время, пока ее любимец Ричард будет воевать за морями. Но какие бы побуждения ни скрывались за этим брачным договором, в одном мать была права: ей, Леонор, он сулил только выгоды, ибо супружество дочери открывало перед ней заманчивый путь к власти.

До сих пор она считала себя куда более сведущей в государственных делах, чем Альфонсо, на том основании, что она упорно добивалась объединения Кастилии и Арагона. Но за Пиренеи ее честолюбивые мечты не перелетали никогда. Какими же скудными и убогими показались ей теперь ее устремления рядом с крупной политической игрой матери! Та, как пешками, играла целыми странами, от западной окраины мира вплоть до отдаленного востока—Ирландией и Шотландией, Наваррой и Сицилией и Иерусалимским королевством. Ей шахматной доской служил весь мир.

— Я присмотрелась к твоим дочкам, голубушка,— вновь заговорила Алиенора.— Обе они уродились красивыми, и старшая—только имя у нее нескладное—Урака, что ли?—да и младшая тоже. Я еще не решила, на которой остановить свой выбор. В ближайшие дни ты должна представить мне обеих на торжественной аудиенции. Придется пригласить для этого случая бовэского епископа—он как-никак представитель особы Филиппа-Августа и его сына; но это чистая формальность.

Все, что говорила мать, живо затрагивало Леонор. Но с еще большим волнением ждала она, что скажет мать об Альфонсо и его еврейке.

И вот наконец она сказала:

— Ко мне, в Солсберийскую башню, долетали разные слухи о том, что тебе пришлось вытерпеть из-за твоего Альфонсо. Все это было очень неопределенно, один слух противоречил другому, но я кое-как расставила все по местам. Недаром у меня самой немалый опыт в таких делах.

Она обеими руками взяла руку Леонор и тут впервые высказала свои истинные чувства.

— Тебе-то я могу сказать правду,—призналась она дочери.—Разумеется, я рада, что мой Генрих успокоился

под надгробной плитой с пышной надписью.—И она просмаковала эпитафию:

Я—Генрих—лежу под сей плитой.
Был прежде весь мир под моей пятой.
Постой, прохожий! Склони свой лик!
Смотри, как ничтожен, кто был велик.
Когда-то земель не хватало мне—
Трех ярдов теперь достает вполне.

— Три ярда—надежное ложе. И все-таки я желаю, чтобы земля была ему пухом. Мне жаль его. Много раз я посягала на его жизнь. Однажды мне чуть было не удалось покончить с ним. Он был прав, что заточил меня; я бы на его месте поступила точно так же. Я очень его любила. Он был единственный мужчина, которого я любила. Кроме одного, нет, кроме двух. Он был умнейший человек христианского мира. И понимал, что временами надо дать волю своим страстям. А как же прожить иначе?—с мудрой терпимостью заметила она.—Впрочем, права и моя подруга, аббатиса Констанция: по ее словам, любовь—это слизывание меда с шипов.

Донья Леонор неожиданно спросила:

— Мама, что мне делать с еврейкой?

Старая королева встрепелась.

— Подожди, доченька, пока приспееет время убрать ее с дороги,—с благодушной улыбкой посоветовала она.—Я много настрадалась оттого, что не умела ждать. Надо полагать, на войне он и так забудет ее.

— У него от нее есть ребенок, сын,—тихо и беспомощно промолвила донья Леонор.

— Ребенка я бы на твоём месте не стала трогать,—деловито решила старая королева.—Они обычно больше привязаны к своим бастардам, чем к их матерям. Возьми хотя бы моего Ричарда. Бабами он не бог весть как дорожит, а вот бастардов своих любит. У Генриха их, надо полагать, была тьма. Двоих я знаю, Вильяма и Джоффри. Джоффри честолюбив и зарится на корону. В отсутствие Ричарда мне приходится держать его на привязи. Но человек он приятный и дельный. Я сделала его епископом Йоркским.

— Я много выстрадала,—сказала Леонор.—Надеюсь, ты окажешься права, война окончательно вытравит еврейку у него из крови. Но кто может присягнуть в этом? Он клялся мне спасением души, что бросит ее, а только уехал из Бургоса—сейчас же опять побежал к ней.

— Ни один враг не причинил мне столько горя, как твой отец Генрих,—сказала Алиенора,—а ведь он любил меня, и я любила его. И сыновей своих твой отец любил, а они его ненавидели, потому что он был выше их, он

баловал их, а они принесли ему больше огорчений, чем он мне и, уж конечно, чем твой Альфонсо тебе. Он каждый раз прощал их, а они смеялись над ним и снова восставали против него. Когда мы еще жили вместе, он приказал расписать фресками три стены нашей опочивальни в Манчестере, четвертая осталась пустой. Когда я теперь побывала в Манчестере, четвертая стена тоже оказалась расписанной. На ней изображен огромный старый орел с четырьмя орлятами. Двое раздирают клювами его крылья, третий впился ему в грудь когтями, а четвертый сидит у него на шее и выклевывает ему глаза.

Она закашлялась, при дочери она не старалась сдерживать кашель, мучивший ее в последние годы. Она закрыла глаза и сразу стала старухой. Не открывая глаз, она продолжала задумчиво и удивительно монотонно, будто читала псалтырь:

— С Людовиком я прижила только дочерей и считала это несчастьем. С Генрихом я прижила и сыновей, но было ли это счастьем—не знаю. От сыновей, все равно хороших или дурных, много огорчений. Ни одна мать не захочет иметь кроткого сына, я бы, например, праведника не взяла в сыновья, но когда они уродятся героями, тогда они разят направо и налево и их тоже норовят сразить. Так уж, верно, положено, что матерям надо терять их. Двух первых я потеряла, и за третьего моего птенчика, за твоего брата Ричарда, у меня болит душа. Он любящий сын, но удержу он не знает, и я каждую ночь лежу без сна в тревоге о нем.—Она спохватилась.—Подойди поближе,—сказала она,—еще, еще ближе!—И с жестокой, звериной откровенностью шепотом приказала:—Не смей ничего делать, пока война не поглотит Альфонсо целиком. Как только он выступит в поход, займись неотложными делами. Поезжай в Толедо, прими на себя регентство. Мусульмане—упорные противники, твоему Альфонсо предстоят не только победы. В каждом несчастье есть и счастливая сторона, каждое поражение открывает благоприятные возможности. Военачальник начинает винить министра, епископ—военачальника, христианин—еврея, каждый считает каждого изменником, и твоего еврейского эскривано многие сочтут виновником неудач и изменником. Ты, понятно, будешь защищать его. Ты позаботишься, чтобы отвести от себя подозрение и в глазах Альфонсо, и в глазах всего мира. Ты постарайся сдерживать гнев народа. Но кто властен над ним? В такие дни насилие неизбежно берет верх над законом и те, на кого пало подозрение, гибнут вместе с теми, кто близок им.

Донья Леонор вливала каждое из сказанных шепотом жестоких слов.

— Ждать,— пробормотала она,— ждать.— И непонятно было, то ли она жалуется, то ли сама приказывает себе.

— Да, ждать!— сурово приказала старая королева.— Поезжай в Толедо!— приказала она.— Это славный город, там знают, как надо обходиться с врагами. Еще в давние времена толедские властители умели дожидаться подходящей ночи, когда можно снести неугодные головы. Уна poshe toledana, толедская ночь—недаром так говорят даже и у нас. Итак, жди и, главное, лучше отведи от себя подозрение.

Она закашлялась, ей трудно было говорить так тихо и с таким нажимом. Она улыбнулась и переменяла тон, холодная ярость старой фурии сменилась светскостью знатной дамы; раньше она говорила на провансальском языке, а теперь перешла на латынь.

— Почему бы тебе не посмотреть по-иному на любовную канитель твоего Альфонсо?— непринужденно начала она.— На мой взгляд, в ней есть и хорошая сторона. Конечно, твой *Alfonsus rex Castiliae*—прославленный рыцарь, подлинный *miles christianus*¹, но в любви у него, по-моему, не в обиду тебе будет сказано, маловато пыла. Так для тебя же лучше, чтобы его растормошили, пока он еще в самой мужской поре. Я не без удовольствия заметила, что в тебе-то есть огонек. И мне кажется, все пережитое не скоро даст ему затухнуть.

Дону Альфонсо было хорошо в столице своих предков, в суровом старинном замке с множеством переходов и закоулков. Ему было хорошо чувствовать свое согласие с доньей Леонор, а о том, что между ними когда-то была рознь, он совсем позабыл. Он стал прежним Альфонсо, любезным, великодушным, дышащим молодостью.

Галиана отодвинулась в туманную даль. Он сам не понимал, как мог так долго терпеть расслабляющую мирную жизнь в роскоши и неге. Теперь у него не было других мыслей, кроме предстоящей, богом благословенной войны. Как хочется искупаться в жаркий день на охоте, так стремился он к этой войне. Он рожден для войны, война—его кровное дело. А теперь его еще подхлестывала слава шурина, короля Ричарда, знаменитого Мелек Рика. Он, Альфонсо, успел прославиться даже и в мелких походах, которые до сих пор выпадали на его долю; ныне же, в настоящей большой войне, молодые, нежные побеги его славы разрастутся в мощное дерево.

Перед архиепископом он восторженно строил планы своей войны. Они с доном Мартином снова стали закадыч-

¹ Христианский воин, рыцарь (лат.).

ными друзьями. Неужто между ними когда-то были разногласия?

Он призвал на совет сведущих в ратном деле баронов Вивара и Гомаса и заразил их своим воодушевлением. И гонцы неустанно сновали между ним и Нуньо Пересом, великим магистром Калатравы, его лучшим военачальником.

Обидно было только, что он не мог все свое время отдавать военным приготовлениям, а вынужден был по целым часам выслушивать всякий вздор о хозяйстве, мастерских, горожанах, крестьянах, податях, займах, правах городов, кредитах. Оба Ибн Эзры, к несчастью, оказались правы: в деловых отношениях между Кастилией и Арагоном царила прямо-таки безнадежная путаница. Конечно, насчет приданого инфанты Беренгелы столковались очень скоро, и бракосочетанию помех не было; но соглашения, предшествующие заключению союза, никак не удавалось довести до конца.

Поэтому Альфонсо очень обрадовался приезду королевы Алиеноры. Он надеялся, что опытная в государственных делах, наделенная такой политической мудростью и деятельная монархиня не замедлит разрешить все спорные вопросы.

Правда, кой-чем ее присутствие было ему неприятно. Его раздражала ее свита—весь этот вертлявый придворный сброд. У дам он еще кое-как оправдывал такое жеманство, зато мужчины были ему в высшей степени противны; для него было непостижимо, как могут рыцари, отправляясь в крестовый поход, рядиться по последней моде, следуя всем ее ухищрениям, да вдобавок брить лицо наподобие жонглеров и канатных плясунов.

Однако он прощал королеве Алиеноре все, что ему не нравилось в ней, за ту рассудительность, с какой она устраняла препятствия на пути к союзу с Арагоном. Своим государственным умом она охватывала и разрешала как все вопросы в целом, так и отдельные мелочи. Она права, что и сейчас еще притязает считаться главой семьи.

Поэтому Альфонсо не слишком удивился, когда она его однажды спросила без обиняков:

— А ну-ка, сын мой, расскажи мне, чем тебя, собственно, пленила эта твоя красавица еврейка?

Конечно, король Кастилии смело мог пресечь такого рода любопытство даже со стороны благородной дамы Алиеноры. Однако же она была вправе задать такой вопрос. А так как Галиана стала для него прошлым, он мог откровенно, спокойно и беспристрастно рассказать о Ракели.

Но, собираясь приступить к рассказу, он с изумлением понял: ему, в сущности, не ясно, что собой представляет

Ракель; все, что он знал, было расплывчато, неопределенно, скудно и не давало полной картины. Он ведь так гордился хорошей памятью, а теперь лишь очень смутно мог припомнить свою возлюбленную.

— Она и в самом деле красивая,—наконец выговорил он.—Люди не льстят, называя ее красавицей. Она чарующе хороша и долгое время держала меня во власти своих чар,—признался он.—Но теперь с этим покончено,—продолжал он.—Abest, она перестала для меня существовать. Перестала волновать мою кровь,—заклучил он решительно и бесповоротно.

— Я надеялась, что ты более подробно опишешь мне ее,—ласково сказала Алиенора.—Любовные дела с давних пор занимали меня! Но ты явно не годишься ни в трубадуры, ни в рассказчики. Ответь мне вразумительно хотя бы на один вопрос: сыном своим ты доволен? Миленький у тебя уродился бастард?

— Да, за него я могу быть благодарен и ей и небесам. Сына она мне родила хоть куда—красивого, крепкого, рослого, хотя сама она хрупкая и скорее маленькая. Да и разумный, видно, малыш: с первого дня глазки у него были живые, смышленные.

— Удивляться тут нечему,—заметила Алиенора,—недаром мать у него еврейка. Кстати, как ты назвал своего бастарда?

— Санчо,—ответил дон Альфонсо,—и я собираюсь пожаловать ему графство Ольмедо.—Он совершенно забыл о том, что сынок у него еще некрещеный.—Как по-твоему, благородная дама и высокочтимая матушка, правильно я поступаю, жалую ему графство?—спросил он.

— А земли в этом графстве много?—осведомилась Алиенора.—Или только красивый замок да несколько сот крестьян?

— Насколько мне известно, это очень богатое графство,—ответил Альфонсо.

— А то ведь в наше время не многобашенный замок, а доходное поместье придает человеку силы,—пояснила Алиенора.—Я многие свои замки выменяла на поместья. К тому времени, когда твой бастард подрастет, замки совсем потеряют цену, а поместья будут цениться еще выше.

— Значит, ты не осуждаешь меня, благородная дама и государыня,—настаивал Альфонсо,—за то, что я хочу сделать своего сыночка графом Ольмедским?

— Раз твой бастард Санчо уродился тебе на радость, значит, надо как следует обеспечить его,—веско и решительно ответила королева Алиенора.

Через два дня старой монархии на торжественной аудиенции были представлены обе принцессы, из коих одной предстояло сделаться королевой франков.

Общество собралось большое и блестящее. На приеме присутствовали гранды и прелаты Кастилии и Арагона, а сверх того, бароны королевы Алиеноры и чрезвычайный посол короля франкского Филиппа-Августа епископ Бовэский.

Ловкие руки много недель сряду ткали, шили и расшивали платья для обеих инфант. Поэтому они предстали перед высокопоставленным и разборчивым собранием в весьма авантажном виде; это были миловидные девушки с белыми и румяными пухлыми детскими личиками, скромные и безупречно воспитанные. Они держали себя с изящной непринужденностью, чего требовал от знатной дамы хороший тон и что далось им не без труда. В душе они были очень смущены, сознавая всю значительность своей роли; ибо от этого показа зависела не только их собственная судьба, но и судьба сотен и тысяч христиан во многих странах.

Беренгела, инфанта Кастильская, королева Арагонская, занимавшая почетное место на возвышении, снисходительно взирала на сестер. Итак, одной из них предстоит стать королевой франков. Подумаешь, какая важность! Сама она, Беренгела, когда-нибудь объединит Кастилию со своим Арагоном, а может быть, и даже наверняка, ей посчастливится присоединить сюда и Леон, возможно, и Наварру, возможно даже, что ее дон Педро, если ей удастся разжечь его, отвоюет себе у неверных порядочную долю Андалусии.

А франкскому королю некуда расширять свои владения; повсюду у его границ расположился ее прославленный дядя Ричард, который владеет не только своей Англией, но и куда большей частью франкских земель, нежели сам злополучный король франков. Нет, ее сестрице, франкской королеве, нечем будет кичиться перед ней.

Дон Альфонсо радовался, глядя на своих хорошеньких дочек. Он был признателен старой королеве Алиеноре, что она открыла ему возможность породниться с франкской династией; в пору великой войны полезно упрочить связи между христианскими монархами. Он смотрел на некрасивое, но выразительное и умное лицо старшей своей дочери, Беренгелы, и с легкой усмешкой, но и не без досады видел на нем выражение неукротимой гордыни. Она держалась с ним теперь еще замкнутее, чем прежде. Она осуждала его за то, что он «изнежился»; без сомнения, она уже вошла в роль королевы Арагонской и в отце видела человека, который

преступно нерадиво управляет ее будущей собственностью.

На донье Леонор было одеяние из тяжелого красного узорчатого атласа с серебряной каймой, на которой были вытканы львы; она знала, что этот наряд ей не к лицу, но сегодня ей важнее было не затмить своих дочерей. Она гордилась ими, тем более что двум из них предстояло взойти чуть ли не на самые высокие европейские престолы. Если отнять те страны, над которыми владычествует она, ее мать, ее брат и ее дочери, от мира почти ничего не останется.

Старая королева Алиенора разглядывала своих внушек холодными светлыми глазами, от которых не укроется никакой изъян. Про себя она уже лелеяла новый замысел. Ту из двух, которую она не выдаст за франкского наследника, можно посадить на португальский престол; Англия была заинтересована в португальских гаванях. Старая королева взвешивала: которая из инфант больше подходит для Парижа, а которая для Лиссабона? Она изучала обеих девушек до невежливости обстоятельно. Задавала им бесцеремонные вопросы, приказывала подойти поближе, чтобы увидеть их походку, приказывала спеть что-нибудь, заговаривала с ними по-провансальски и по-латыни.

— Миленькие девушки,—сказала она в конце концов, обращаясь к донье Леонор, но так громко, что каждый мог ее слышать,—сердце радуется, глядя на таких принцесс. Кое-что они унаследовали от кастильских предков Альфонсо, немного больше от моих предков из Пуату и ровно ничего от Плантагенетов.—Затем она снова обратилась к инфантам и спросила старшую:—Как же тебя зовут, принцесса?

— Урака, глубокочтимая бабушка и королева,—ответила она, а вторая сказала:

— Меня, глубокочтимая королева, зовут донья Бланка.

Позднее Алиенора, Альфонсо и Леонор совещались наедине с епископом Бовэским, чрезвычайным послом короля франков.

— Которая тебе больше понравилась, досточтимый отец?—спросила Алиенора епископа.

— Каждая достойна стать королевой,—учтиво и уклончиво ответил прелат.

— Я тоже это нахожу,—сказала Алиенора,—однако вот что надо принять в соображение: франкам трудно будет произносить имя Урака. Из-за этого инфанту будут меньше любить в народе. Мне думается, лучше выдать за твоего наследного принца Людовика нашу донью Бланку.

Так и было решено.

Дня не проходило, чтобы при бургосском дворе не устраивали празднества в честь королевы Алиеноры и новобрачных. Старая королева одевалась с большим вкусом и лучше умела себя прикрасить, чем иные дамы, которые провели последние годы не в заточении, а в том кругу, где всерьез изучали и обсуждали достоинства тканей, нарядов, уборов и притираний.

В танце она выступала уверенно и грациозно, точно молодая. Как знаток, смаковала кушанья и вина. Крепко сидела в седле и не раз отличилась на охоте. И, глядя с трибуны на турнир, проявляла недюжинные познания в единоборстве. Когда же дамам предлагалось оценить творения трубадуров и труверов, ее суждения были всегда неоспоримы.

Сколько бы сил она ни расходовала на охоту, танцы, пиры и песни, ее участие в заключении союза от этого ничуть не становилось менее деятельным. Она неуклонно шла к цели. Прежде всего дону Альфонсо и дону Педро пришлось дать торжественное обещание, скрепленное подписью и печатью, что они беспрекословно подчинятся ее, Алиеноры Аквитанской, приговору; такое же обязательство она потребовала с доньи Леонор и даже, предосторожности ради, с доньи Беренгелы. Далее она призвала к себе знатнейших советников того и другого короля, сперва порознь, каждому задала ряд кратких, метких вопросов, затем устроила очную ставку тем министрам, чьи ответы и суждения не совпадали между собой, и таким образом получила нужные сведения.

После этого она собрала на коронный совет всех министров Арагона и Кастилии; недоставало лишь дона Иегуды и дона Родриго, дела управления государством удерживали их в Толедо.

— Я хочу обнародовать мое решение,— заявила Алиенора. Она взяла древний манускрипт, утверждавший за Кастилией суверенные права над Арагоном, и развернула потрескавшийся, пожелтевший пергамент, с которого свисали две большие печати; все сразу же узнали этот важный документ.

— Прежде всего,— провозгласила королева,— объявляю то, что здесь написано, недействительным. *Non valet, deletur*¹,— и решительным движением разорвала пергамент надвое.— *Deletum est*²,— подтвердила она.

Когда в свое время Иегуда предложил в третейские судьи короля Генриха, дон Альфонсо скрепя сердце попросил его вынести приговор. Зато Алиенора казалась ему посланной от бога, чтобы быть судьей в его споре. Но

¹ Не имеет силы и должен быть уничтожен (лат.).

² Уничтожен (лат.).

вот он увидел, как уничтожают драгоценный пергамент, дававший ему власть над арагонским вертопрахом, как разрывают этот знаменитый и роковой документ, во имя которого пало столько рыцарей и коней, и ему показалось, будто старческие руки рвут на части его собственную живую плоть.

Тем временем Алиенора приступила к рассмотрению тех девятнадцати спорных хозяйственных вопросов, от решения которых, по словам Иегуды, зависело, какому из двух государств быть верховным владыкой на полуострове. С точностью до одного сольдо разграничивала она права и обязанности Кастилии и Арагона. Кастилия и Арагон слушали то с удовлетворением, то с досадой.

Под конец старая монархиня объявила свое решение насчет притязаний Гутьере де Кастро. Дону Альфонсо надлежит выплатить ему две тысячи золотых мараведи во искупление своей вины,—Алиенора не постеснялась произнести эти жестокие слова. Цифра была неслыханно высока, слушатели с трудом подавили волнение.

— Однако же,—невозмутимо продолжала старая королева,—тот кастильо в Толедо, на который Кастро заявляет свои права, остается собственностью дона Альфонсо или же человека, законным путем приобретшего его. Он остается кастильо Ибн Эзра.

Как ни старалась донья Леонор сдержаться, она побледнела от досады. Зато Альфонсо, который не смел и надеяться на такое решение, теперь облегченно перевел дух; для него было бы очень неприятной повинностью именно сейчас отнять кастильо у еврея.

— Пожалуй, на этом можно кончить,—сказала старая королева,—я приказала изготовить документы по отдельным вопросам и прошу причастных к сему должностных лиц представить их на подпись своим государям. Но скрепленный мною как третейским судьей приговор придаст отныне силу закона всему, что в них постановлено.

Она отлично заметила гневное изумление доньи Леонор и, оставшись с ней наедине, сказала:

— Когда же ты наконец поумнеешь, дочка? Ревность по-прежнему затуманивает тебе разум. Пойми же, какой неслыханной глупостью с нашей стороны было бы объявлять войну еврею. И неужто тебе хотелось бы умиротворить барона де Кастро? Разве не лучше, чтобы он и впредь рвался снести голову этому выскочке?

Она подождала, чтобы ее слова поглубже проникли в сознание Леонор.

— Поставь себе за правило, дочь Кастилии,—наставительно сказала она затем,—никогда не давать просящему всего, чего он домогается. Эту премудрость внушила мне мать моего Генриха, в бозе почившая

императрица Матильда. «Кто желает от своего сокола хорошей службы,—говорила она,—пусть не кормит его, а дразнит кормом». Не худо, донья Леонор, раздражить барона де Кастро видом кастильо.

Немного погодя она добавила:

— Не обижайся на то, что я иногда круто обхожусь с тобой и браню тебя. Не думай, я знаю все, что ты сделала хорошего, сколько препятствий ты устранила, чтобы добиться брака дочери и союза с Арагоном. У тебя есть политический дар. Должно быть, мы видимся с тобой последний раз, и мне бы хотелось подогреть в тебе любовь к политике. Властолюбие—надежнейшая из страстей.—Она закрыла глаза и заговорила, высказывая самое заветное:—Нет увлекательней забавы, как помыкать людьми, возводить города, сковывать государства воедино и вновь разметывать в разные стороны. Созидать—радость и разрушать—тоже радость; в настоящей победе—большая радость, но и поражений своих я ни за что не отдам. Не говори никому: даже отлучение от церкви было мне в забаву. Когда тебя предают анафеме с Библией, свечами и колоколами и тут же гасят в алтаре свечи, завешивают образа и останавливают колокольный звон, тогда в тебе растет буйная воля вновь возжечь свечи и зазвонить в колокола, неукротимая воля, обостряющая разум. Ты прикидываешь все средства и выходы: держаться ли нынешнего папы и хитростью умаслить его? Или посадить на престол антипапу, который погасит у первого свечи и остановит звон колокола?

Донья Леонор благоговейно впитывала каждое сказанное шепотом слово. Она была признательна за то, что мать впускает ее к себе в душу, и давала себе слово оправдать такое доверие.

Алиенора открыла глаза и посмотрела на дочь в упор.

— В большом сердце всегда бывает много пустого места. И там легко может угнестись скука, меланхолия, коварный враг—аседиа. Нужна немалая толика страстности, чтобы заполнить пустые места. Погоня за властью, все новой властью,—это великий, живительный и стойкий огонь. Поверь мне, дочка, политика не меньше горячит кровь, нежели самая прекрасная ночь любви.

ГЛАВА ВТОРАЯ

При дворе в Бургосе оказался и клирик Годфруа де Ланьи, чтобы в качестве представителя принцессы Марии де Труа присутствовать на бракосочетании инфанты Беренгелы. Годфруа был ближайшим другом незадолго до того скончавшегося Кретьена де Труа,

знаменитейшего из труверов, и, где бы Годфруа ни появился, рыцари и дамы неотступно требовали, чтобы он прочитал им поэмы своего друга.

Великий поэт Кретъен де Труа написал множество прекрасных, причудливых и глубокомысленных романов в стихах. Он рассказал о сложном, сказочно-чудесном и все же назидательном житии Гвильгельма Английского, о роковых и блаженных любовных чарах, околдовавших Тристана и Изольду, о необычайных похождениях рыцаря Ивейна в таинственных замках, о странствиях и мечтаниях чистого сердцем и светлого разумом юноши Парсифаля. Но охотнее всего дамы и кавалеры слушали отрывки из рассказа Кретъена о рыцаре Ланселоте в тележке. Тщетно доказывал Годфруа, что Кретъен считал эту поэму не из удачных и даже не закончил ее; все равно «Ланселот» был самым излюбленным из его творений и рыцари и дамы требовали, чтобы Годфруа читал именно «Ланселота».

Вот что происходит в рассказе о Ланселоте в тележке: Ланселот, славнейший из христианских рыцарей, любит благородную даму Джиневру и, когда она попадает в беду, отправляется в путь, чтобы освободить ее. Он теряет коня и уже отчаивается догнать похитителя Джиневры. Но тут мимо едет тележка живодера, и хозяин ее, омерзительный карлик, с почтительными и смехотворными поклонами приглашает Ланселота сесть в тележку, но для рыцаря нет хуже позора, чем показаться в такой повозке. Ланселот колеблется два мгновения, затем садится в тележку и едет дальше под насмешки горожан. Он освобождает свою даму. Она же не позволяет ему предстать пред ее очи, а приказывает на ближайшем турнире скрыть свою силу и ловкость и позволить победить себя. Он повинуетя и принимает на себя еще немало позора, потому что такова воля его дамы. Но она не смягчается и под конец велит объявить ему причину своей немилости: он не знает, что такое истинная любовь,—прежде чем сесть в тележку, он колебался целых два мгновения.

Так как королева Алиенора и донья Леонор по большей части вместе со всем двором слушали трубадуров и труверов, учтивость требовала, чтобы и дон Альфонсо хоть изредка появлялся на этих собраниях. И вот однажды он слушал, как клирик Годфруа читал из «Ланселота».

Обычно романы в стихах нагоняли на Альфонсо скуку. Приключения вымышленных рыцарей представлялись ему бессмыслицей, их любовное воркование и стенания—притворством. Но этот рассказ невольно увлек его. Как ни безрассудно было поведение Ланселота, оно непосредственно его задевало, беспокоило, заставляло призадуматься, что-то для себя уяснить.

Лежа поздно ночью в постели, он думал все о том же.

Он лежал с закрытыми глазами, слишком утомленный, чтобы бодрствовать, слишком возбужденный, чтобы уснуть, и видел перед собой рыцаря Ланселота в тележке. Но вдруг Ланселот очутился уже не в тележке, а у него на постели.

«Что тебе здесь надобно?—сердито спросил Альфонсо.—Может, ты хочешь сказать, что мы с тобой одного поля ягоды?—Ланселот утвердительно закивал.—Нет, уж это оставь,—прикрикнул на него Альфонсо.—Я тебе не брат и не товарищ». Ланселот ничего не отвечал, только неотступно смотрел на Альфонсо, и тому было понятно, что именно он говорил своим молчанием. «Конечно же, ты мне брат и товарищ,—говорил он,—рыцарь-лежебока». Альфонсо собрался было дать внушительный ответ, привести веские военные и политические причины, столько времени мешавшие ему принять участие в крестовом походе. Но вдруг он с мучительной ясностью увидел: все это обман и ложь. Есть только одна истинная причина, по которой он не шел воевать,—ему хотелось остаться подле Ракели. Да, он *воистину* брат и товарищ Ланселоту, да, он *принял* на себя бремя позора, да, он *в самом деле* «изнежил»ся. Жгучий стыд поднялся в нем.

Но вскоре он с блаженным испугом ощутил, как огонь стыда сменился другим, таким знакомым, окаянным и желанным жаром; откуда-то явственно донеслось душное благоухание садов Галианы, кровь застучала в жилах, заструилась обжигающим током, милым сердцу, сладостным и тонким ядом вливалась ему в кровь Ракель.

Он попытался высвободиться. Тяжело дыша, с детской злобой отшвырнул голой ногой одеяло. Скоро этот Ланселот перестанет потешаться над ним. Война на пороге, и едва лишь он выйдет на поле брани, Ракель навсегда отодвинется в далекое прошлое.

— Absit! Absit!—твердил он себе. Окончательно порвать с ней! Возвратясь в Толедо, он прежде всего велит окрестить сыночка, а затем отправится к южной оконечности своего королевства, в Калатраву и Аларкос, и с ней, с доньей Ракель, будет покончено навсегда.

«Тогда у меня ничего не будет общего с тобой, жалкий ты бабий угодник,—запальчиво объявил он Ланселоту,—и вообще ты смешон в своей раболепной любви». Но Ланселот успел испариться.

Дон Альфонсо не очень жаловал трубадуров и труверов, но ему все-таки нравился один из них, некий барон из Лимузена, Бертран де Борн.

Бертран этот хоть и называл себя графом Отефора, был не очень большой сеньор, в его подчинении находилось всего несколько сот человек. Но он прославился

своими неистовыми стихами, с самой ранней юности он зачаровывал людей и вихрем врывается в их жизнь. Говорили, что в свое время, совсем еще отроком, он пользовался благосклонностью королевы Алиеноры, бывшей тогда во цвете лет. Позднее в качестве владельца двух замков он участвовал стихом и мечом в каждой междоусобице, не очень-то разбираясь, чье дело правое, а чье нет, но при этом всегда умел привлечь к себе сторонников. Нрав у него был воинственный и вспыльчивый. Не поделив с братом отцовского наследства, он начал с ним борьбу словом и оружием, хотя требования брата были весьма умеренны. Их сеньор, король Генрих, вступился за брата и помог ему отстоять свои права. Тогда Бертран стихами втравил молодого короля Генриха в борьбу с отцом, пока молодой король не пал от стрелы под стенами Бертранова замка. Но Бертран не унимался, подстрекая лимузенских баронов воевать со своим королем, старшим Генрихом, и друг с другом; он восставал против всех, и все восставали против него. В конце концов молодой король Ричард сжег замки Бертрана, а его самого взял в плен. Но вскоре они снова помирились, и теперь Бертран держал путь в Сицилию, чтобы примкнуть к крестовому воинству Ричарда.

Слава Бертрана де Борна проникла и через Пиренеи. В Испании получили известность главным образом его политические песни, сирвенты. Где бы ни начиналась распря или война, там звучали его неистовые стихи. Девиз его: «Мне миром сердца не зажечь, одно лишь право знаю — меч» — был знаком всем не хуже, чем «Отче наш».

Теперь Бертрану было уже лет под шестьдесят, но никто по-прежнему не мог соперничать с ним в рыцарственности и придворной куртуазности. Дону Альфонсо он понравился с первого взгляда, и хотя король не без труда понимал провансальский язык, он почувствовал, что необузданно воинственные песни Бертрана ничего не имеют общего с нескладными виршами испанских певцов; они были изящно отточены и остры, как кордовские клинки.

Дон Альфонсо открыто выказывал Бертрану свое расположение, посылал ему щедрые подарки и всячески поощрял его, брал в своей свите на охоту, по-дружески беседовал с ним.

У Бертрана был дар так выпукло и ярко изображать людей и события, что они оживали для слушателей.

Так, например, рассказывая о старом короле Генрихе, он словом своим живописал покойного короля, его серые, налитые кровью глаза, выступающие скулы, тяжелый подбородок с остrokонечной бородкой, необузданно алчный рот. Конечно, он, король Генрих, был герой, но герой не до конца. Ему недоставало широты, щедрости,

он был скуповат. Под конец Бертран пленником предстал перед королем, не имея иного оружия, кроме слова, но словом своим он победил победителя, и тот отпустил его на волю и заново отстроил его сгоревший замок. Но и тут показал себя скрягой. Что поделаешь—он не был настоящим королем, как ни старался показать, что он великий король. И завоевывал он не из любви к завоеваниям, а чтобы захватить и удержать. Мелкими штрихами характера и поступками он то и дело обнаруживал свою жадность и скопидомство. Так, его выдавали пальцы—они ни минуты не могли побыть в покое: либо они жадно вытягивались и сгибались, уличая его в притворном величии, либо он что-нибудь чертил и рисовал. Он много сулил—правда, и выполнял, но всегда лишь наполовину. «Да и нет»—прозвал его Бертран, и это прозвище останется за ним.

Слушая рассказы Бертрана, дон Альфонсо видел перед собой своего тестя, видел явственнее, чем когда смотрел на него собственными глазами.

— Не таков был мой молодой король Генрих,— продолжал рассказывать Бертран.— *Rassa*—величал я его, он и в самом деле был *Rassa*. Он жил полной жизнью, расточал, не жалея, все, что имел: сокровища Шинона, своих рыцарей и наемников, себя самого. Он был великолепен, истый *Rassa*, и потому со стороны старого короля было вдвойне подло так урезать его. Зачем же он сделал его королем, если не давал ему жить по-королевски? Да, верно, я его восстанавливал против отца, а когда они мирились, восстанавливал снова. Люди говорят, он из-за этого голову сложил. Я никогда не думал, что человек может испытывать такую адскую боль, какую испытал я, когда умер мой молодой король. Может статься, что мои стихи повинны в его смерти. И все-таки я не раскаиваюсь.

Он продолжал говорить тихо и страстно, должно быть, обращаясь уже к самому себе:

— Я любил многих женщин и многих терял, и мне случалось горевать, теряя ту или другую. Но по-настоящему скорбел я лишь о молодом короле. Лишь его я любил по-настоящему.—И Бертран нараспев, словно про себя, начал читать те стихи, которые сочинил на смерть молодого короля, ту жалобу, прекрасней которой никто не посвящал герою с тех пор, как Давид оплакивал Ионафана.— *Si tuit li dol e'lh plor e'lh marrimen*,— пел он,—

“
Когда собрать могли бы воедино
Со всей земли и слезы и печаль,
Утраты горечь, смертную кручину,—
Они сумели б выразить едва ль
Ту скорбь, что принесла с собой кончина
Младого повелителя британцев.

Дон Альфонсо смотрел, как страстно, словно прислушиваясь к внутреннему голосу, говорит Бертран. Над тонким, горбатым, поистине ястребиным носом буйным блеском сверкали большие серые глаза.

Поэт читал эти скорбные стихи с такой глубокой искренностью, что дону Альфонсо казалось, будто они возникают только сейчас, и король был растроган, что Бертран выворачивает перед ним всю душу. Ему захотелось ответить доверием на доверие. Бертран, этот безупречный рыцарь, обладает даром высказывать словами те невыраженные и невыразимые чувства, которые беспорядочно теснятся в груди; кто же, как не он, поймет и то смутное и темное, что томит Альфонсо.

— Ты говоришь, что по-настоящему не любил ни одной женщины?—с непривычной робостью спросил он.

Бертран удивленно взглянул на короля.

— Так уж решительно я не стал бы это утверждать,— ответил он, улыбнувшись.— Однако доля истины есть в твоих словах.

— Но ты ведь воспевал женщин прекрасными стихами,—возразил Альфонсо.

— Не отрицаю,—сказал Бертран,—мужчина должен говорить женщине приятное, этого требует учтивость, а порой и сердце. Я клялся женщинам невесть в чем. Но клятвы, которые даешь в ночь любви, теряют силу к утру. Нарушение их—грех простительный, это признал даже мой духовник. Ведь яблоком нас соблазнила как-никак женщина!

Альфонсо рассмеялся, но продолжал выпрашивать:

— И тебе всегда удавалось превозмочь любовь? Превозмочь любовь ко всем женщинам без изъятия?

Старый рыцарь заметил, как лихорадочно Альфонсо ждет ответа, понял, что он думает о своей любовной связи с еврейкой, и почувствовал почти отеческую нежность к молодому королю, который, скрываясь за такой по-детски простодушной хитростью, на самом деле просит у него утешения.

— Да, мне это удавалось,—ответил Бертран.—Что женщины!—с беспечно-пренебрежительным жестом продолжал он, весело и ласково посмотрев на Альфонсо.—Как бы они ни волновали нам кровь, душу они не затрагивают. Послушай, что я тебе скажу, Альфонсо: жизнь рыцаря—это стремительный поток, он бежит и бежит, стирая и перемалывая все непрочное, все, что не вошло в душу. И давно уже стерты те женщины, которых я воспел в стихах, они стали пустым воспоминанием, расплылись в тумане. Другое дело—добрая битва. Ее след сохраняется надолго, воспоминание о ней согревает и

придает силы. Дух мой остался молод из-за тех битв, в которых я сражался.

Он засмеялся лукаво и задорно.

— Да и тело тоже. Сейчас сам увидишь, что я хочу этим сказать,—шутливо и таинственно пообещал он.

Он подозвал своего оруженосца Папиоля, который был, пожалуй, не моложе его, но держался так же прямо, и, весело сверкнув на короля своими пылкими, глубоко посаженными глазами, приказал:

— А ну-ка, друг, Папиоль! Спой нам песню о том, кто стар и кто молод!

И Папиоль, аккомпанируя себе на маленькой арфе, пропел дерзкую и бойкую песню: «*Joves es om que lo seu be engatge*».

Молод тот, кто все добро заложит
И помчится, гордый, на турнир,
Молод тот, кто, без гроша в кармане,
Царские подарки раздает.
Кто, гоним толпою кредиторов,
Весело садится за игру,
Ставит на кон жизнь. И трижды молод,
Кто себя в любви не бережет!
Стар и дряхл, кто копит хлеб в амбаре,
Прячет под пол сладкое вино,
Кто, поев, страшится пресыщенья
И весною кутается в плащ,
Кто не смеет отложить работу
И бросает в изможденье карты,
Сладостного куша не сорвав.

Бурная жизнь как-никак потрепала Бертрана, и хотя он держался браво и вызывающе и почти всегда бряцал доспехами, однако же ему трудно было скрыть, что эти доспехи скрывают довольно хлипкое тело, а потому стареющий рыцарь со своим стареющим оруженосцем, быть может, кой у кого вызвал бы улыбку. Но Альфонсо не улыбался. Он слушал и улавливал в стихах юный и мощный порыв, вызов, брошенный быстротекущему времени, неустанный бег жизни.

— Благодарю тебя, Бертран,—восторженно воскликнул он,—вот это по-рыцарски, это искусство!

Старику Бертрану приятно было восхищение молодого короля. Посмей кто-нибудь взглядом или жестом выразить сомнение в его силе, он вызвал бы наглеца на поединок. Но Альфонсо он считал другом и братом, и ему он признался:

— Увы, даже самые дерзновенные стихи не защитят тело от одряхления. Тебе, государь, я могу сказать: это будет мой последний военный поход. Я не хочу себя обманывать: еще год, еще два—и глупое старое тело откажется мне служить, а немощный рыцарь—это посме-

пищу для детей. Я уже сговорился с настоятелем Далонской обители: если я вернусь с войны цел и невредим, то уйду в монастырь.

Король был горд тем, что Бертран раскрывает перед ним душу, и тут же по наитию решил: «Незачем этому славному рыцарю и поэту свершать свои последние ратные подвиги под водительством короля Ричарда. Я не позволю моему шурина Ричарду отнять у меня и его. Пусть Бертран сражается бок о бок со мной и воспевает мои битвы».

В Бургос приехал каноник дон Родриго.

Он был полон тоски и тревоги. Дон Альфонсо, по-видимому, не желает, чтобы его сыночек был крещен и принят в христианскую общину, и тем самым берет на душу смертный грех; неспроста он, уезжая из Толедо, уклонился от объяснений. Сам он, Родриго, тогда обрадовался этому, он испытывал постыдный страх перед объяснением и увильнул от своего долга. Лишь сейчас, спустя несколько недель, он взял себя в руки и явился к королю.

Но и здесь, в Бургосе, Альфонсо явно избегал беседы с глазу на глаз. А он снова примирился с этим.

Чтобы рассеяться от забот, раскаяния и стыда, каноник принял участие в бургосской придворной суете. С любопытством наблюдал, насколько утонченнее стали придворные нравы северян. Дамы и кавалеры ревностно изучали правила куртуазного обхождения, спорили о прихотливых законах рыцарственной любви и, как знатоки, судили об искусстве поэтов.

Однако он вскоре убедился, что этот жеманный придворный обиход—всего лишь пустая и лживая видимость. На самом деле и дам и кавалеров занимала и всецело поглощала только предстоящая война. Они ожидали ее со сладострастным и самозабвенным нетерпением.

Сокрушенно наблюдал это дон Родриго и сам корил себя за свою печаль. Ведь война, которой они жаждут, священна, их воодушевление благочестиво; долг каждого—участвовать в этой войне, и грех ее осуждать.

Но он никак не мог приобщиться к благочестивому ликованию. Слишком живы были в нем прекрасные слова в похвалу мира из пророка Исая и из Евангелия и речи его ученика, дона Вениамина, страстного поборника мира. Со скорбью и содроганием представлял он себе, сколько горя принесет война всему полуострову. Он чувствовал себя страшно одиноким посреди шумной и радостной суеты, кроважидный восторг этих холеных, просвещен-

ных людей претил ему и приводил на память рассуждения его друга Мусы о злом начале.

Всех ненавистнее был ему человек, которому бог судил быть выразителем их дикой и жестокой радости,— этот самый Бертран де Борн. На первый взгляд он мало чем отличался от других пожилых мужчин. Но дон Родриго был хорошо осведомлен о его стихах, делах и стремлениях, и, всматриваясь в лицо этого рыцаря, можно было по его буйным глазам под густыми нависшими бровями понять, что он поистине воплощение войны. Пожалуй, он мог даже показаться смешным, когда с подчеркнутой молодцеватостью шагал, скакал, выступал; но ужас, исходивший от этого человека, отбивал у каноника охоту иронизировать. Да и ничего тут не было смешного. Это был сам страшный бог Марс во всей своей жестокости. Такими, верно, предстали евангелисту Иоанну всадники в откровении Страшного суда.

При этом и сам дон Родриго невольно подпадал под обаяние яростных стихов Бертрана и как знаток вынужден был признать, что его военные песни великолепны, пленительны и грациозны при всем своем неистовстве. С грустью и гневом видел Родриго, каким высоким искусством одарил господь этого беспутного человека. И гнев его возрастал по мере того, как он убеждался, что его возлюбленный Альфонсо с ним, с Родриго, избегает говорить, а этого богопротивного, необузданного рыцаря не отпускает от себя. Ревнивец Родриго с болью наблюдал внутреннее родство этих двух людей, и надежда вернуть короля на стезю добродетели угасала с каждым днем.

Среди всех его скорбей у каноника осталась *одна-единственная* отрада: общение с клириком Годфруа. Дон Родриго высоко ценил романы Кретьена де Труа, а весь облик Годфруа, казалось, служил отображением того удивительного непритворного благочестия, которым Кретьен умел одушевлять свое повествование. Поэтому Годфруа в угоду канонику выбирал из романов Кретьена главным образом те отступления и тихие раздумья, где особенно ясно сказывалась необычайная, неповторимая способность Кретьена отрешаться от земной пошлости.

Так, однажды он перед многими слушателями прочел приключения рыцаря Ивейна с *rauvres pucelles*, с бедными девицами.

Вот однажды рыцарь Ивейн попал в жилище *des pauvres pucelles*, и вот он видит их, этих бедных девиц. Они шьют и вплетают в наряды золотые и шелковые нити; сами же они весьма жалки на вид: корсаж и платье в дырах и лохмотьях, рубахи пропотели и загрязнились, шея загрубела, лицо бледно от голода и горя.

Ивейн видит их, а они видят его и от стыда опускают головы долу и плачут. И начинают жаловаться:

Мы ткем парчу, мы плетем кружева,
А сами одеты и сыты едва.
В чем дело? Доход у нас, знать, таков:
Ни мяса не купишь, ни башмаков.
Ложимся поздно, встаем чуть свет,
Но в доме хлеба ни крошки нет.
Работа сгубила младую красу.
Кто выжмет в неделю пятнадцать су,
Себя герцогиней, богачкой мнит.
На эти деньги не будешь сыт!
Зато мы работою кормим своей
Работодателей-богачей.
Они пируют—мы спину гнем,
Не знаем покоя ни ночью, ни днем.
А коль устанешь, собьешься с ног,
Тотчас подбодрит хозяйский пинок.
Живем, как в аду, как в угрюмой келье,
Мы бедные девушки, *rauvres pucelles*.

Дону Родриго утешительно было слышать, что блистательный ореол рыцарей и дам не затмил для поэта Кретьена де Труа горести тех, что надрываются в труде где-то там, внизу. Однако остальные слушатели, все эти *greux chevaliers* и *dames choisies*, носившие наряды, изготовленные теми самыми *rauvres pucelles*, были изумлены и раздосадованы. Что за глупая причуда пришла на ум почившему труверу? Как может человек, так сладостно и благородно воспевавший рыцарственную любовь и героические деяния, до такой степени опоганить свои уста? Откуда взялись у него стихи и рифмы для каких-то ничтожных швей? Одни шьют наряды, другие их носят; одни куют мечи, другие разят ими; одни строят замки, другие живут в них—так уже повелось, так тому господь в премудрости своей рассудил быть. Если же эти ничтожные создания, *rauvres pucelles*, восстают против такого порядка, тогда господин их должен, не долго думая, перебить им руки и ноги.

И на сей раз общие чувства выразил Бертран де Борн. Северное наречье, на коем писал этот Кретьен, и без того уже казалось ему, Бертрану, несвязным лепетом, а та слащавая рифмованная трескотня, которую ему пришлось сейчас выслушать, была, на его взгляд, чистой нелепицей.

Он уж и во время чтения не мог удержаться от смеха, а когда Годфруа кончил, он прямо заявил ему:

— Удивительно, до чего вы, северяне, тяготеете к черни и ее зловонию. Хочешь знать, почтенный Годфруа, что мы здесь, на Юге, думаем на этот счет?

Дамы и кавалеры, предвкушая мужественный отпор, который Бертран, без сомнения, даст слезливой болтовне покойного Кретьена, хором закричали:

— Скажи, благородный Бертран! — И еще: — Не томи нас, скажи! — настаивали они.

И тогда:

— Спой нам сирвент о виллане, друг Папиоль, — злобно смеясь, приказал своему жонглеру Бертран.

Папиоль задорно и молодежато выступил вперед и, перебирая струны маленькой арфы, запел песню о виллане, о подлом горожанине и мужике. Он пел:

Сброд торгашей, мужицкий сброд,
Зловонный городской народ —
Восставшие из грязи
Тупые, жадные скоты!
Противны мне до тошноты
Повадки этой мрази.
Едва такой ничтожный пес
Добудет денег — кверху нос,
На все глядит без страха.
Так батогами бейте их,
Стригите их, срывайте с них
Последнюю рубаху!

Пускай крестьянин с торгашом
Зимой походят нагишом.
Друзья! Забудем жалость,
Чтоб чернь не размножалась.
Теперь закон у нас таков:
Плетьми лупите мужиков!
Плетьми — заимодавцев!
Убейте их, мерзавцев!
Мольбам их не внимайте вы!
Топите их, кидайте в рвы!
Навек свиной проклятых
Сажайте в казематы!
Бесчинства их и похвальбу
Давно пресечь пора нам!
Смерть мужикам и торгашам!
Погибель горожанам!

Слушатели приветствовали рыцаря восторженными возгласами.

Сброд там, внизу, что-то уж очень осмелел. Господа, собиравшиеся в крестовый поход, вспомнили о торгашах и банкирах, которые предлагали им за поместья куда меньше настоящей цены; и они вынуждены были соглашаться, потому что им не удалось достаточно выколотить из своих крестьян. Каждый, кто крепким словом клеймил эту мразь, выражал их заветные чувства.

Дон Родриго видел, как греховные, высокомерные стихи Бертрана еще сильнее разожгли в *preux chevaliers* нечестивый пыл. То, что в богопротивной заносчивости пропел этот фигляр, наполнило кроткого каноника жгучей скорбью. Но при всем своем благочестивом сокрушении он, как ученый, не преминул отметить, до чего угодливо

подлаживается язык к дурным наклонностям говорящего, постепенно превращая беспристрастное определение виллана как городского и сельского жителя в кличку проходимца и бездельника.

Лицо дон-Альфонсо сияло радостным возбуждением—кичливые и звонкие стихи вполне отвечали его чувствам. В этих стихах слышалась ненависть настоящего рыцаря к своре торгашей и банкиров, та ярость, которую сам он, Альфонсо, испытывал не раз, когда ему приходилось торговаться со своим Иегудой и понапрасну растрачивать драгоценное королевское время. Бертран воистину ему брат по духу.

— Послушай, благородный Бертран,—сказал он,—не хочешь ли ты идти на войну вместе со мной? Я дам тебе перчатку, и ты получишь немалую долю моей добычи.

Бертран рассмеялся своим веселым и злым смехом.

— Ты показал себя великодушным государем, щедро наградив меня за ничтожные стихи, сочиненные в твою честь,—ответил он.—Я намеревался посвятить тебе настоящий сирвент.

— Значит, ты согласен идти со мной?

— Я ленник короля Ричарда и обязался служить ему. Впрочем, я спрошу благородную даму Алиенору.

Так он и сделал.

— Опять ты собрался менять господина?—сказала Алиенора.

Старая государыня и старый рыцарь обменялись веселым взглядом, и она сказала:

— Так и быть, оставайся с Альфонсо. Я походатайствую за тебя перед Ричардом.

Алиенора не хотела уезжать из Бургоса, пока не будут разработаны подробные военные планы, точно разграничены права и обязанности обоих королей.

Не раз Альфонсо и Педро приступали к ней с просьбой отдать им несколько отрядов ее испытанных наемников—брабантцев. Но Алиенора даже слышать об этом не желала.

— У вас и своих довольно, сынки мои,—отговаривалась она,—а я разве стала бы так дорого платить наемникам, если бы действительно не нуждалась в них, чтобы держать в страхе моих непокорных баронов? Случается, я заснуть не могу, не зная, чем заплатить им.

— Почему же весь христианский мир говорит: «Где и дублины, как не в Шиноне?»—возразил Альфонсо.

— Эту глупую поговорку пустили в оборот евреи моего покойного Генриха, чтобы поднять его кредит,—отрезала Алиенора.—Я, во всяком случае, никаких денег

в Шиноне не нашла. Мне даже трудно было оплатить счет по похоронам моего Генриха. Как ни просите, голубчики, уж горстку солдат вам придется оставить старухе, чтобы она могла защитить свою шкуру.

Военные планы строили в расчете на то, что халиф Якуб Альмансур не будет вовлечен в войну. На восточной границе его владений взбунтовались вожди могущественных племен; да и здоровье его, по слухам, было ненадежно. Следовало предполагать, что он воспользуется любым мало-мальски сносным предложением и предоставит своих андалусских эмиров самим себе. Но тут было другое: халиф, как и султан Саладин, ни при каких обстоятельствах не мирился с нарушением договора, а срок злополучного перемирия дон Альфонсо с Севильей еще не истек. Следовательно, Кастилии приходилось на первых порах соблюдать нейтралитет. Зато Арагон, не связанный договорами, должен был в самое ближайшее время вторгнуться в принадлежавшую мусульманам Валенсию и вскоре попросить Кастилию о военной помощи. Если после этого война даже и перекинется на Кордову и Севилью, то, может быть, удастся убедить халифа, что злонамеренного нарушения перемирия тут не было.

Альфонсо пороптал было на то, что честь первого натиска достанется молокососу дону Педро, однако уступил разумным доводам старой королевы и дал обещание ни при каких обстоятельствах не выступать против Кордовы и Севильи, пока Арагон не запросит у него военной помощи. Дон Педро в свой черед обязался обратиться за помощью не позже, чем через полгода, а затем отдать свои значительные военные силы под начало дон Альфонсо.

Королева Алиенора на этом не успокоилась. Она опасалась, что зависть или ложно понятый рыцарский долг побудят Альфонсо или Педро пренебречь договором. Ведь что такое договор? Чернильные знаки на звериной коже. Кровь, омывающая человеческое сердце, имеет куда больше силы. Поэтому старая королева призвала к себе обоих королей с женами и, опираясь на досконально разработанный план военных операций, кратко, но внушительно указала, что надо делать Альфонсо, а что Педро и чего им делать не следует. Затем с торжественного тона перешла на добродушный и, грозя пальцем, лукаво заметила:

— Меня вы не проведете, я знаю, вы все еще взваливаете друг на друга всяческие вины. Но в такой большой и трудной войне вам эти глупости надо бросить. Когда она окончится, можете донимать друг друга, сколько вашей душе угодно. А пока не мешает вам донять неверных.

И заключила по-королевски величаво:

— Молю вас, с корнем вырвите из сердца всякую досаду, как бык с корнем вырывает траву.

Альфонсо стоял смущенный и хмурый, дону Педро тоже было не по себе. Но вдруг тишину нарушил по-детски резковатый голос Беренгелы:

— Мы тебя поняли, высокочтимая бабушка и королева. Либо оба монарха, мой родитель и мой супруг, будут полностью, без оговорок единодушны, либо язычники одолеют их. *Tertium non datur*, третьего выхода нет.

— Да, ты меня верно поняла, внученька,—сказала Алиенора.—А теперь,—обратилась она к обоим королям,—при нас, трех женщинах, поцелуйтесь по-братски и поклянитесь на Евангелии не отступать от того, что подписали и скрепили печатью.

Накануне того, как собравшимся предстояло расстаться и каждому идти своим путем, в бургосском замке было устроено прощальное празднество.

И здесь Бертран де Борн исполнил ту просьбу, которую все время умышленно пропускал мимо ушей. Он сам пропел свою песнь во славу войны, песнь о смерти на поле брани, знаменитую песнь «*Be'm platz lo gais temps de Pascoi*».

Он пел:

Люблю красавицу весну,
Люблю лугов цветной убор,
Люблю в проснувшихся лесах
Услышать звонких птичек хор.
Но мне дороже втрое,
Чем птицы, нивы и сады,
Палаток белые ряды,
Когда, готовы к бою,
Плечом к плечу, за рядом ряд
Стрелки и всадники стоят.
О, как мне весело, когда
Штурмуют вражеский редут
И в страхе люди и стада
При виде воинов бегут!

Старая королева Алиенора, которая в свое время была близка с Бертраном, весело и взволнованно слушала, как старый рыцарь пел свои буйные, жестокие и радостные стихи. Еще в ту пору, когда он зеленым юнцом напористо добивался ее взаимности, он почти в одинаковой мере веселил и волновал ее. И он остался прежним, этот несравненный Бертран, сочетавший в себе отвагу, дерзость и дар поэта. Всю свою жизнь он не знал поражений и еще ныне был явно полон решимости воевать, петь и не

сдаваться, пока смерть не хлопнет его по плечу. Так и она сама, королева Алиенора, не думает сдаваться.

Бертран пел:

О, дивная картина,
Когда, войною сметена,
Трещит и рушится стена:
Полки штурмуют бастион!
И в поле с четырех сторон
Врывается лавина.
Ручьи кровавые кипят,
Кругом бушует пламя,
И кони яростно храпят
Над мертвыми телами.
О, сколько павших! Груды тел!
Но сладостен такой удел.
Ведь лучше пасть героем,
Чем струсить перед боем!

Багровое лицо архиепископа дона Мартина побагровело еще сильнее, он пыхтел и шевелил губами, шепотом повторяя стихи за Берtrandом. Юный Аласар восторженно смотрел на певца, ловя с его уст каждое слово. Доселе Аласар лишь грезил о чудесах войны; теперь он видел, слышал, ощущал их всем своим существом. Рыцарь Берtrand высказывал то, что бурлило в груди Аласара с тех пор, как он жил в Кастилии. В речах этого человека слышался лязг мечей. Берtrand пел о том, ради чего жил он сам, Аласар.

Бертран пел:

Ни пир веселый, ни любовь
Мне так не растревожат кровь,
Как гул военной вьюги.
А lo! A lo! Руби! Коли!
Пусть падают на грудь земли
И рыцари и слуги!
Ржут кони, сбросив седоков.
«Сюда! На помощь!» — слышен зов.
Кровь обогащает зелень трав.
Со всех концов, со всех сторон
Предсмертный раздается стон.
Хрипит израненный, упав,
Заря победы — впереди!
А у поверженных в груди,
Насквозь пробив надежный щит,
Копье безжалостно торчит.

У слушателей дух захватывало от восторга. А lo! Aidatz! Руби! Сюда! На помощь! Весь старый замок гудел кровожадным вдохновением рыцаря Бертрана, сладострастием убийства.

Каноник дон Родриго лучше остальных мог оценить воодушевляющую силу звучных провансальских стихов. Но не восхищение, а ужас возбуждали они в нем.

Содрогаясь, смотрел он на лицо короля, которого любил, как родного сына. Да, *vultu vivax* — Родриго метко обрисовал дона Альфонсо, его лицо с ужасающей ясностью отражало движения души. И сейчас оно отражало неприкрытую жажду убийства, разрушения, то злое начало, о котором постоянно толковал Муса.

Дон Родриго закрыл глаза, чтобы не смотреть больше на лица этих рыцарей и дам. И тут к нему пришло ошеломляющее сознание, что лучше бы его духовному сыну Альфонсо еще месяцы и годы пребывать в греховном союзе с упорствующей в своей ереси еврейкой, нежели быть заодно с благочестиво алчущим крови воинством божьим.

Каноник хотел было вернуться в Толедо в королевской свите. Он твердо намеревался дорогой наконец-то исполнить свой долг и усовестить короля. Теперь он отказался от этого намерения.

Этой же ночью он торопливо собрался в путь и поскакал назад, в Толедо, еще более удрученный, чем приехал оттуда, преступно *infectis rebus*, не свершив должного.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как только дон Иегуда Ибн Эзра получил известие о смерти короля Генриха, для него стало ясно: в ближайшие недели, а может быть, даже в ближайшие дни, разразится та страшная война с мусульманами, для предотвращения которой он бросил Севилью и прежнюю свою жизнь. Чудовищное колесо приближается, и остановить его разгон невозможно. Халиф поведет свои полчища на Андалусию, дон Альфонсо ждут неизбежные поражения, и вину за них жители Толедо припишут не королю, а ему, Иегуде, и остальным евреям. То, чему он подростком был свидетелем в Севилье, повторится здесь. И весь гнев Эдома обрушится на те шесть тысяч франкских беженцев, которых он впустил в Кастилию. Как он торжествовал, хитростью добившись для них доступа; сам себе представлялся окер харимом, человеком, который движет горы. А теперь на долю его поселенцев выпадут такие испытания, каких они не знали бы даже в Германии. Ему казалось, что на него с презрением устремлены горящие фанатическим огнем глаза рабби Товия.

Сведения из Англии усиливали его страх. По случаю коронации Ричарда делегация от евреев, во главе с Аароном из Линкольна и Борухом из Йорка, в числе прочих вознамерилась вручить королю подарки в Вестминстерском аббатстве и просить, чтобы он подтвердил

прежние их привилегии. Однако евреев в собор не впустили, и откуда-то пошел слух, будто король отдает их жизнь и добро во власть славных лондонских горожан. Толпы черни под водительством крестоносцев разгромили жилища евреев, их самих избили, многих поволокли в церкви, чтобы насильственно окрестить, а кто сопротивлялся, тех прикончили. То же самое произошло в Норвиче, в Линне и Стамфорде, в Линкольне и Йорке. Аарон из Линкольна благополучно покинул Лондон, но вскоре погиб во время резни в Линкольне. Борух из Йорка согласился принять крещение. На следующий день король Ричард спросил его, стал ли он и в сердце своем христианином. Борух ответил на это, что подчинился ради спасения жизни, а сердцем он по-прежнему еврей.

— Как нам поступить с ним?—спросил Ричард архиепископа Кентерберийского.

— Коли он не хочет служить богу,—ворчливо отвечивал прелат,—так и быть, пусть остается слугой дьявола.

И Борух воротился евреем в Йорк, где был убит вместе со своей семьей.

«Если нечто подобное могло произойти в рассудительной Англии,—подумал Иегуда,—что же будет здесь, в Кастилии, когда после поражения народ постарается натравить на евреев?»

К Иегуде явился дон Эфраим. Сообщил, что граф де Алкалá обратился к нему с просьбой о ссуде под залог графских поместий, но он отказал наотрез.

— Граф весь в долгах,—пояснил Эфраим,—но не перестает транжирить. Война, надо полагать, окончательно разорит его, и поместья задешево достанутся кредитуру. Тем не менее я не согласился ссудить графа деньгами, ибо, извлекая выгоду из бедственного положения крестоносца, еврей усугубляет вражду к себе и всей еврейской общине. Весьма вероятно, что граф обратится теперь к тебе.

— Благодарю тебя за предупреждение и совет,—неопределенно ответил Иегуда.

Но у дон Эфраима была еще одна, более важная новость. Альхама решила предоставить королю вспомогательный отряд числом в три тысячи человек.

Иегуда был глубоко уязвлен. Значит, он настолько уже наг и беспомощен, что альхама в такие тяжкие минуты принимает решения, не спрашивая у него совета.

— Думаешь, это вас спасет?—насмешливо спросил он.—Вспомни о том, что случилось в Англии.

— Мы помним и скорбим об этом,—ответил дон Эфраим.—Именно потому мы и хотим сделать все, что в

нашей власти, дабы способствовать победе короля Альфонсо, да хранит его бог. Впрочем, мы всегда предполагали выставить вспомогательный отряд, и ты сам обещал это королю.

— Будь я на вашем месте,—возразил Иегуда,—я бы просто дал денег на оплату наемников. В крайнем случае, чтобы показать особое усердие, вы могли бы выставить двести—триста человек из своей общины. Но большинство крепких, умеющих владеть оружием мужчин лучше оставить при себе. Боюсь, что они понадобятся альхаме,—с горечью закончил он.

— Ты иначе и не можешь рассуждать,—спокойно возразил Эфраим.—Но твое положение, дон Иегуда, сильно отличается от нашего, и даже такому умному человеку, как ты, при этих обстоятельствах трудно беспристрастно советовать другим.—Увидев, что его слова больно задели Иегуду, он продолжал гораздо мягче:—Я тебе не враг, дон Иегуда. Я помню все, что ты по своему великодушию сделал для нас. Если наступят такие дни, что тебе понадобится наша помощь, верь мне, мы всегда будем наготове.

— Благодарю вас,—угрюмо и сухо ответил Иегуда.

После ухода Эфраима он принялся бродить по своему дому, пылливо и пристально вглядываясь в ценную утварь, книги, рукописи, доставал наугад одну, другую, потрогал подлинник жизнеописания Авиценны. Зашел в помещение, где трудились писцы. Взял кое-какие письма, перечитал их. В почтительнейших выражениях ему предлагали торговые договоры, просили совета; в нем явно все еще видели могущественнейшего человека на всем полуострове. Он просмотрел доклады своих законоведов, чтобы прикинуть, как велико его состояние. От военных приготовлений, от продаж и ссуд, от прибылей с выпущенных новых денег богатство его приумножилось. Он считал, проверял, считал снова. Всего у него было около трехсот пятидесяти тысяч золотых мараведи. Он вполголоса, медленно, словно не веря сам себе, по-арабски выговорил чудовищную цифру. Из большого ларца для драгоценностей вынул нагрудную пластину фамильяра и потрогал ее. Улыбаясь, покачал головой. Вот он стоит, захлебываясь от богатства, почестей, могущества, а на самом деле он—точно гроб повапленный.

Резким движением он отмахнулся от мрачных дум. Нет, дон Эфраим его не запугает.

Он дал графу Алкала ссуду под имения. Однако слова парнаса запали ему в душу. Дон Эфраим трезво оценил положение: ему, Иегуде Ибн Эзра, хуже придется, чем кому бы то ни было. Благоразумие требовало, чтобы он как можно скорее убрался прочь, бежал вместе с дочерью

и внуком на мусульманский Восток, во владения султана Саладина, милостивого к евреям.

Ракель воспротивится, захочет остаться с Альфонсо. А если даже ему удастся ее уговорить, Альфонсо пошлет за ними погоню. И разве смогут такие приметные беглецы пробиться на Восток через весь враждебный христианский мир?

Да и смеет ли он даже сделать попытку спасти себя и свою семью? Смеет ли перед лицом опасности оставить беззащитными франкских переселенцев? Правда, помочь он им не в силах; наоборот, его присутствие навлекает еще большую угрозу и на них, и на всех евреев. Но они этого не поймут. Если он убежит, они покроют позором его имя. Хорош благодетель Израиля, которому назначено свершить великое, хорош Иегуда Ибн Эзра, будут издеваться они,—удрал, как раз когда приспело время постоять за свое слово и дело. И он на все грядущие века останется трусом и предателем.

Ему вспомнилось изречение Моисея бен Маймуна: в каждом еврее есть что-то от пророка, и долг каждого — поощрять в себе это пророческое начало. В нем крепко засели лестные слова Эфраима о том, как много он по великодушию своему сделал для евреев. Нет, он не станет глушить в душе пророческое начало, он не убежит от своего назначения. Он останется в Толедо.

Он постарался самому себе дать искренний ответ, что же наперекор разуму удерживает его в том месте, где ему грозит беда. Страх перед опасностями пути? Или любовь к дочери, которая не переживет разлуки с Альфонсо? Или честолюбие и гордыня, не позволяющие ему запятнать имя Ибн Эзра? Или верность своему высокому назначению? Скорее, все это вместе переплелось в нем, и он не мог отделить одно от другого.

Из колебаний и тревог постепенно выросло решение. Ни себе, ни дочери он ничем помочь не может. Но внуку может.

Он поклялся не делать из него еврея, и он сдержит эту дикую, гнусную клятву. Но ничто не обязывает его оставлять ребенка здесь, в Толедо. Перед тем как выступить в поход, Альфонсо непременно пожелает совершить обряд крещения над мальчиком, не боясь больше огорчить этим Ракель. Значит, ему, Иегуде, надо увезти ребенка до того, как король возвратится в Толедо.

Ракель почти все время проводила в Галиане.

Она знала, что грозная и жестокая война разразится в ближайшие недели, но ей не было страшно. С тех пор как бог подарил ей ее счастье, ее Иммануила, она чувствовала себя удивительно спокойной, согретой и укрытой в руке

Адоная, или, как говорил дядя Муса, под покровом судьбы.

Она тосковала по Альфонсо, но не прежней лихорадочной, переходящей от упоения к отчаянию тоской. Теперь в ней жила глубокая уверенность, что он неизменно будет возвращаться к ней из своего рыцарского мира. Теперь его притягивает уже не безграничное наслаждение, которое они дарили друг другу, а нечто иное: он любит мать своего сына; Санчо и для него становится Иммануилом, ибо они, Ракель и Альфонсо, прочно прилепились душою друг к другу.

Часто она подолгу, не отрываясь, в блаженном самозабвении смотрела на нежное продолговатое личико своего сына, своего Иммануила, мессии. Она очень смутно представляла себе мессию, ей только чудилось нечто светлое, величавое, и о том, каким путем ее сыночек принесет миру спасение, она понятия не имела; знала лишь, что принесет. Но знание свое таила в душе; ей казалось кощунством говорить об этом. Даже дону Вениамину она ничего не сказала, хотя дружба их пускала все более глубокие корни. Но это была дружба немногословная. Он что-нибудь читал ей, или они молча бродили по дорожкам сада.

Субботний день Ракель по-прежнему проводила у отца в кастильо.

Однажды на исходе субботнего дня, когда в воздухе еще стоял запах пряностей и погашенной в кубке с вином свечи, Иегуда спросил дочь:

— Как поживает твой сын, а мой внук?

Он ни разу не видел внука и не переступал порога Галианы. Ракель знала, как ему хочется посмотреть на мальчика, но боялась вынести Иммануила из Галианы. Правда, он принадлежал ей, но она рассердила бы Альфонсо, если бы хоть на час унесла младенца без его разрешения.

Тихо, робко, но с горделивым торжеством, желая, чтобы отец спросил о ее заветном знании, и страшась его вопроса, она ответила:

— Иммануил здоров и милостью божьей растет на славу.

Собрав все силы для предстоящего тягостного разговора, Иегуда с трудом вымолвил:

— В ближайшее время твой сын, а мой внук будет очень нуждаться в милости божьей.— И так как Ракель удивленно подняла брови, он пояснил:— Будь он только сыном Альфонсо, ему ничего бы не грозило, как ничего не грозило бы, будь он только твоим сыном. Но, как сын твой и Альфонсо, он под угрозой. Как сына Альфонсо, его ждет высокий удел; это знают все и мирятся с этим.

Но многим не нравится, что твоему сыну назначен высокий удел. В бургосском замке сейчас во множестве собрались те, кому это не нравится. Нам же нечего противопоставить сильным мира сего, кроме упования на бога.

Ракель ничего не поняла из отцовских слов. Правда, отец что-то говорил о намерении Альфонсо окрестить мальчика и полагал, что Альфонсо больше не станет считаться с ее возражениями, прежде всего для того, чтобы оградить ребенка от происков недругов. На какой-то миг она даже пожелала этого. Но тут же поняла, сколь греховно такое желание; можно ли допустить, чтобы Иммануил был осквернен водами идолопоклоннического крещения? А отец не знает ее Альфонсо. Альфонсо ее любит, Альфонсо душою прилепился к ней и никогда не нанесет ей такой кровной обиды.

— Альфонсо один-единственный раз говорил мне, что хочет крестить нашего Иммануила,—жалобно сказала она.—И больше не упоминал об этом. Я уверена, что он передумал.

Иегуда не хотел ее разочаровывать и заговорил о другом:

— Дон Альфонсо велел изготовить документы, по которым твой сын становится графом Ольмедским. Вряд ли дама, родившая королю одних только дочерей, помирится с этим. Дон Альфонсо—человек смелый, чуждый недоверия и оглядки. Ему и в голову не придет, что такая высокая и близкая ему особа способна на преступление. Боюсь, что он заблуждается.

Ракель побледнела. Ей вспомнились всякие рассказы про злых, ревнивых жен, которые мучили и убивали любимых рабынь своих мужей. Куда же дальше, если прародительница Сара, благочестивая, святая женщина, из зависти и ревности прогнала в пустыню служанку Агарь с младенцем Измаилом, чтобы они умерли от жажды. Ракель молчала долго, целую минуту.

— Что же ты посоветуешь, отец?—спросила она затем.

— Мы с тобой и ребенком могли бы попытаться бежать,—ответил он,—но это опасно. На нас всякий обратит внимание, нам трудно пробраться незамеченными, а народ возбужден, у него все помыслы—о войне, и в каждом чужеземце он видит врага.

— Мне бежать от Альфонсо?—побелевшими губами выговорила Ракель.

— Да нет же,—успокоил ее Иегуда,—я ведь сказал, что это опасно. Лучше будет укрыть в надежном месте только ребенка.

Ракель воспротивилась этому всем нутром.

— Значит, я должна спрятать ребенка от Альфонсо? — спросила она.

— Твой Альфонсо сам не понимает, что не в его власти защитить мальчика, — бережно, умиротворяюще ответил Иегуда. — Мальчику ничего не грозит только в присутствии Альфонсо. А он отправляется на войну и не может взять младенца с собой. Здесь же, в Кастилии, никто не защитит его. Ты спасешь жизнь нашему Иммануилу, если на время войны расстанешься с ним. — Так как она молчала, он продолжал: — Я мог бы, не спросив тебя, устроить, чтобы ребенка увезли, а потом уж объяснить тебе, почему это было нужно. И я знаю, ты поняла бы и простила меня. Но ты из рода Ибн Эзра. Я не хочу ничего от тебя скрывать, снимать с тебя ответственность. Обдумай все как следует; а потом скажи мне: пусть будет так или пусть так не будет.

— Ты хочешь увезти мальчика из Кастилии? — с неизъяснимой мукой спросила Ракель. — Ты хочешь увезти Иммануила из Кастилии? — повторила она.

Иегуда видел ее муку, жалость сдавила ему грудь.

— Не бойся, Ракель, доченька моя, — с нежностью, пришепetyвая от волнения, сказал он, — доверься мне. Я поручу увезти ребенка ловкому и надежному человеку, самому надежному и преданному из всех, кого я знаю. Никто, кроме этого верного человека, не должен знать, где находится ребенок, нужно, чтобы никто в Толедо не мог сказать королю, где находится ребенок. Пусть он тебе грозит, требуя ответа, а ты говори одно: «Не знаю», и пусть это будет правда. — Видя, что Ракель сидит бледная, поникшая, он добавил: — Таким образом, и ребенку и тебе, моя Ракель, ничего не будет грозить. Под угрозой буду я один. Я же хочу спасти этого младенца, твоего сына, а моего внука. Когда кончится война и все успокоится в стране и успокоится сам Альфонсо, тогда мы привезем Иммануила обратно. — Не дождавшись ответа, он сказал еще: — Я не хочу, дочь моя, чтобы ты хоть как-нибудь участвовала в этом. Ты даже знать не должна, как это произойдет. Об одном молю тебя: не говори — нет. Все остальное падет на мою голову.

На одно мгновение Ракель представила себе, как же грозно должно быть то, ради чего отец готов навлечь на себя гнев Альфонсо. Она знала, что Альфонсо страшен в гневе; может статься, он в ярости своей убьет отца. И отец на все это идет, лишь бы спасти Иммануила. При этом из каких-то таинственных побуждений он отказывает себе в радости даже взглянуть на мальчика. Он человек мужественный. Свои чувства он всегда подчиняет высокому уму, дарованному ему от бога. Она на это не способна. Она даже чувствам своим не может довериться. Ведь еще

полчаса назад она была спокойна за свое счастье, ограждена от всего под покровом судьбы. А сейчас она дрожит и за ребенка, и за любимого человека. Если она не отдаст Иммануила, она, может быть, поставит под угрозу его жизнь. А если отдаст, она может утратить любовь Альфонсо. И вдруг громко, как будто кто-то здесь, сейчас произнес их, прозвучали слова ее подружки Лейлы: «Бедная ты моя».

Она попыталась собрать осколки недавнего блаженного спокойствия. Разлука с Иммануилом будет недолгой. Альфонсо поймет ее, Альфонсо душою прилепился к ней.

После нескончаемой минуты молчания она сказала:

— Пусть будет так, как ты считаешь правильным, отец.

И тут же упала без сознания. Приводя ее в чувство, отец думал:

«В тот раз, когда я уговаривал ее пойти к королю-христианину, она точно так же упала без сознания». Он несказанно жалел лежавшую без чувств дочь и завидовал ей. Ему не дозволено было спастись в бесчувствии, он должен был в полном сознании до конца прочувствовать свою беду.

Альфонсо ехал из Бургоса в Толедо. В числе прочих его сопровождали архиепископ дон Мартин, рыцарь Бертран де Борн и оруженосец Аласар.

Вся страна на их пути снаряжалась в поход. Молодые люди спешили по всем дорогам в замки своих сеньоров, повсюду по направлению к югу двигались кучки вооруженных людей. Альфонсо и его спутники окидывали их опытным глазом, обменивались молодецкими окликаками и шутками со своими будущими солдатами.

Король был весел, как жеребенок. Он радовался войне, радовался, что скоро увидит сыночка, милого бастарда Санчо, графчика Ольмедского. Он любил сыночка радостной, крепкой отцовской любовью, которую собирался доказать на деле. Сам он рос без отца; трехлетним ребенком стал королем, и никто не осмеливался как следует вразумлять мальчугана, который был королем. Он не допустит, чтобы мальчик превратился в маменькиного сынка, пусть почувствует отцовскую руку. Сейчас же по возвращении он возьмет сына в свои руки. В первый же день велит окрестить Санчо. Ракель не станет противиться. Он и ее приобщит благодати, прибегнув, если понадобится, к строгости, и она будет ему благодарна.

Приехав в Толедо, он умылся, переоделся и поскакал к Ракели.

«Алафия — мир входящему!» — приветствовала его надпись на воротах поместья. У входа в дом стояла Ракель. Пылко, с гордостью и нежностью привлек он к себе любимую. Она все забыла, ее захлестнула волна счастья оттого, что он снова здесь. Он обвил рукой ее плечи, и они вошли в дом. Тут он отпустил ее, поставил прямо перед собой, оглядел с головы до ног, смеясь от счастья.

Потом сказал:

— А теперь идем к Санчо.

Ракель ответила:

— Его нет.

Альфонсо отступил на шаг, ничего не понимая, и устался на нее, опешив от неожиданности. Спросил:

— Где же он?

Недоброе подозрение закралось ему в душу. Неужто мальчик в кастильо?

Ракель собрала все свое мужество и храбро ответила правду:

— Не знаю.

Его глаза посветлели от хорошо знакомого ей гнева.

— Не знаешь, где мой ребенок? — прорычал он тихо и яростно.

— В безопасности, — ответила Ракель. — Наш сын в безопасности, это все, что я знаю. Отец отправил его в безопасное место.

Альфонсо схватил ее за руку с такой силой, что она невольно вскрикнула. Потом схватил за плечи и стал трясти. Приблизив лицо вплотную к ее лицу, забросал ее гневными вопросами:

— Моего сына, моего, моего Санчо ты отдала отцу? А он, старый пес, нарушил клятву, и ты это потерпела? Верно, помогала ему, да?

— Не помогала и не отдавала. Но я знаю сама и тебе говорю: отец прав.

В голове у Альфонсо теснились поносительные и злопыхательские слова из папских энциклик против евреев, из подстрекательских проповедей духовенства: исчадия ада, вестники сатаны. Рука сама сжалась в кулак и поднялась для удара. И тут он увидел Ракель.

Она откинулась назад и протянула руку для защиты, но без страха. С бледного смуглого лица на него смотрели огромные серо-голубые глаза. В них было изумление, испуг, разочарование, смятение, гнев, скорбь, любовь; все то, чего не говорили, а быть может, не могли выговорить уста, с такой силой выражали глаза и вся поза, что он, взглядом постигавший мир и людей, сразу, против собственной воли, все почувствовал и понял.

Он опустил руку. Презрительно и злобно фыркнул.

— Итак, вы, евреи, украли у меня сына, — сказал

он,—этого и надо было ожидать.—Он засмеялся резким, судорожным, неприятным смехом, точно нож, вонзившимся в мозг Ракели.

Потом он круто повернулся, вышел и поскакал назад, в Толедо.

Вызвал Иегуду в замок.

— Итак, ты нарушил клятву,—деловым тоном констатировал он.

— Нет, государь, не нарушил,—возразил Иегуда,—нелегко мне было сдержать жестокую клятву, но я сдержал ее. Я не сделал своего внука евреем, да простит мне господь это прегрешение.

Ярость Альфонсо прорвалась наружу.

— Ты украл моего сына, собака! Ты держишь его заложником. Ты не желаешь, чтобы я шел воевать и бить твоих мусульман. Собака! Изменник! Я велю тебя повесить!

— Никто не держит твоего сына заложником, государь,—тихо ответил Иегуда.—Ребенок надежно укрыт от войны, от христиан и от мусульман, вот и все. Здесь, в Толедо, без твоего величества он будет под угрозой. Обдумай это спокойно, государь, и ты согласишься со мной. Сейчас мальчик в верных руках. Ракель не знает, где он. Ей это нелегко. Да и я точно не знаю, где он, и мне это тоже нелегко.—С прежним сознанием своего превосходства и со смиренной дерзостью он добавил:—Я понимаю, что тебе хочется меня повесить. Но тем самым навеки онемеют уста, которые могут, когда приспееет время, рассказать тебе о твоём сыне,—и с почтительной фамильярностью заключил:—Когда окончится война и минует опасность, я привезу мальчика обратно. В этом ты можешь быть уверен, государь. Я никогда не видел своего внука и хочу перед смертью увидеть его. Да и Ракель вряд ли перенесла бы утрату ребенка.

Сознание собственного бессилия сдавило грудь дон Альфонсо. Неразрывные путы связывают его с евреем. Еврей крепко держит его в руках.

Молча, повелительным жестом приказал он Иегуде удалиться.

Немного успокоившись, он должен был признать, что Иегуда украл у него сына не только по злобе. Ракель не солгала: очевидно, она и в самом деле не знала, куда спрятали ребенка и, без сомнения, не с легким сердцем отдала его Иегуде.

Перед ним неотступно стоял образ Ракели, безмолвно, но красноречиво выражавший гнев, скорбь, жалобу, любовь. Он старался с ребяческой злостью отмахнуться от этого образа. Как можно подробнее, ехидно смакуя их, представлял себе слова и поступки Ракели, которые

когда-либо не понравились ему. Как она оробела, когда он посадил ее перед собой на седло и пустил лошадь вскачь! К его собакам и соколам она тоже всегда относилась неприязненно. Не зря же говорят: «Нет благодати на том, кому животные не любы и кто животным не люб». Она была глуха и слепа к его рыцарским добродетелям и королевским доблестям и даже, наоборот, косо смотрела на них. Она ненавидела войну. Она была из тех слабодушных, тех трусов, что мешают храбрецам следовать по начертанному им господом пути. По самой сути своей она принадлежала к вилланам, она была еврейкой до мозга костей. Она лишила его сына крещения, божьей благодати, спасения души.

Он окунулся в дела, устроил смотр солдатам, начал переговоры с баронами, с военачальниками. Ел и пил с архиепископом и Бертраном.

Наступил вечер, ночь. Он тосковал по Ракели. Но не по ее объятиям, нет, он жаждал объясниться. Высказать ей прямо в ее чистое, невинное, лживое лицо, что он думает о ней, кто она такая. Но, томясь и терзаясь, он из ребяческого упрямства продолжал сидеть в своем замке.

Так прошел и следующий день. Но когда настала вторая ночь, он поскакал в Галиану. Бросил поводья конюху, не велел ничего говорить и пошел через сад. Похвалил себя за то, что приказал засыпать цистерны рабби Ханана. Злорадно отметил, что в мезузе по-прежнему нет стекла. Вошел в комнату Ракели. Она просияла. Он приготовил целую гневную речь по-латыни и частично по-арабски, чтобы она наверняка поняла его. Но ничего этого не сказал, а был молчалив и хмур.

Позднее, в постели, он с яростным вожделием накинулся на нее. В нем перемешались ненависть, любовь, похоть. Он хотел, чтобы она это почувствовала. Она и почувствовала, к его удовольствию.

В Толедо прибыло мусульманское посольство, чтобы вручить королю Кастилии послание от халифа. По слухам, послы явились затем, чтобы напомнить королю о договоре с Севильей. Значит, предположения, высказанные в Бургосе, были правильны: халиф не намерен вмешиваться в войну, если только дон Альфонсо открыто не нарушит перемирия с Севильей.

Дон Манрике де Лара и почти все остальные королевские советники от души радовались, что Кастилии и Арагону не придется мериться силами с полчищами самого халифа. Для дона Родриго прибытие посольства было ярким просветом среди окутавшего его душу мрака. Лишь бы только дон Альфонсо обуздал свой нрав и деликатно

обошелся с послами, тогда война ограничится схватками и стычками с кордовским и севильским эмиром, вместо того чтобы потопить в крови и слезах весь полуостров.

Королю прибытие посольства отнюдь не было желанно. В гневе и нетерпении он рвался прочь из Толедо, прочь от мира. Рвался прочь от Галианы. Рвался начать долгожданную войну. А тут являются эти обрезанные, чтобы опять затеять болтовню и переговоры. Но он сделал уже достаточно уступок в Бургосе и не намерен уболагодворять униительными заверениями еще и Якуба Альмансура. Он собиpался круто обойтись с послами или даже вовсе не принять их.

Архиепископ и Бертран подогревали его ожесточение. Зато дон Манрике вместе с каноником старались показать, какие светлые возможности открывает прибытие посланцев халифа, и всеми силами убеждали дона Альфонсо во имя блага его королевства и всего христианства пойти навстречу пожеланиям халифа и ответить на его предостережение твердым обещанием. Если же он будет упорствовать, если бросит вызов халифу, оскорбит его, вместо того чтобы умиротворить, тем самым он привлечет в Андалусию военную мощь всего западного ислама, заранее сведет на нет все военные планы и нарушит договор, соблюдать который торжественно поклялся в Бургосе. Альфонсо долго перечил, упрямился и только после настойчивых уговоров дон Манрике нехотя назначил час, когда он согласен принять послов.

Появление мусульманских вельмож во главе с принцем Абуль Асбагом, родственником халифа, было обставлено весьма пышно. Альфонсо, окруженный своими советниками и грандами, ожидал их в большом аудиенцзале, увешанном коврами и знаменами.

Во исполнение церемониала обеими сторонами были произнесены обстоятельные вступительные речи. Альфонсо, восседая на возвышении, по-королевски небрежно слушал всю эту высокопарную официальную болтовню. Он видел хмурое лицо архиепископа, насмешливое — Бертрана, озабоченное — дон Родриго. Взгляд его то и дело обращался к Иегуде, который скромно стоял в заднем ряду. Еврей виноват в том, что он, Альфонсо, прежде первый рыцарь христианского мира, теперь плачевно отстает от Ричарда Английского. Им, Мелек Риком, мусульманские матери пугают детей; а к нему, к Альфонсо, надо полагать, по проиcкам того же Иегуды, мусульмане шлют посла, чтобы пригрозить ему. Его советники жалкими доводами разума склонили его претерпеть длинные разглагольствования обрезанного. Но пусть все они, и еврей, и осторожные старички советники, не очень-то полагаются на него. Они не могут заглушить

его внутренний голос. А только этого внутреннего голоса он и намерен слушаться.

Принц Абуль Асбаг, глава посольства, выступил вперед, низко поклонился и начал излагать то, что было ему поручено. Принц был холеный, пожилой вельможа, синяя посольская мантия очень шла к нему, и арабские слова плавно и звучно лились с его уст.

Повелитель правоверных на Западе, так гласила его речь, был весьма озабочен, услышав об обширных военных приготовлениях его величества короля Кастилии. Халиф предполагает, что эти приготовления не могут быть направлены против Севильского эмира, его вассала, ибо он огражден договором о перемирии. Однако же за последнее время в христианских странах стало распространяться порочное и безрассудное учение, будто договор, противоречащий целям христианских священнослужителей, для христиан не обязателен. Христианские государи восточных стран бессовестно воспользовались этими домыслами, и султан Саладин принужден был провозгласить священную войну. Аллах увенчал праведные труды повелителя правоверных на Востоке, вернув в его власть город Иерусалим, а христианские государи за нарушение клятвы заплатились властью и жизнью.

Дон Альфонсо, сидя в небрежной, по-королевски величавой позе, слушал строгую, суровую речь посла. Его художное, словно выточенное из дерева лицо оставалось так невозмутимо, что можно было усомниться, доходит ли до него смысл арабских слов. Пожалуй, только чуть кривился узкий, длинный рот, обрамленный короткой рыжеватой бородой, и глубже врезались глубокие борозды на лбу. Но взгляд светлых глаз переходил от говорящего посла к собранию и все искал дона Родриго, и все искал дона Иегуду. «Болтай себе на здоровье, обрезанный, выговорись до конца,—думал он.—Лай, собака, лай сколько душе угодно, все равно вы со своим повелителем не посмеете укусить, вы будете отсиживаться у себя за морем, в Африке. Я решил набраться терпения, и я не выйду из себя, хотя твоя спесивая рожа так и просит пощечины. Но как только ты вернешься восвояси, я нападу на Кордову и Севилью, и сколько тогда ни лай, а кость достанется мне».

Посол продолжал говорить. Повелитель правоверных на Западе, заявил он, считает нужным только напомнить его величеству королю Кастилии, известному своим благоразумием, что он, халиф, многое может простить, но никак не нарушение договора. Его величество король Кастилии вынес достаточно горький опыт из столкновения с одним лишь севильским войском; если же он вторично нападет на Севилью, ему придется иметь дело со

всеми военными силами самого халифа. Если Кастилия разожжет огонь, ей потребуется пролить много слез, дабы загасить его.

По-прежнему внимательно слушая каждое слово, дон Альфонсо замечал все, что происходит в зале, он видел, как те оба, Родриго и Иегуда, все с большей тревогой, почти что с мольбой смотрят на него. Он видел нагрудный знак Иегуды, пластину с тремя башнями, и, удивляясь, что ему понятно каждое слово в изысканном арабском языке неверного, одновременно вспоминал золотые монеты, которые были отчеканены Иегудой ему, Альфонсо, на радость и внедрили его облик в самые дальние владения халифа. С первой же встречи был он связан с евреем, иногда на радость, иногда на горе. Но теперь эти пути ему опостытели, ему не терпится сбросить их. Он видел глаза Иегуды, выразительные, молящие глаза, они напоминали глаза Ракели. «Все равно, это тебе не поможет,— думал он,— ты больше не будешь держать меня на привязи. Я не позволю твоему принцу Абуль Асбагу измываться надо мной, я сорвусь с привязи».

Когда принц кончил, наступила глубокая тишина. Тишину нарушил звучный голос Бертрана де Борна.

— Нечестивец осмеливается дерзить?— спросил он полатыни.

Секретарь-кастилец почтительно приблизился к трону, чтобы перевести речь. Но Альфонсо отмахнулся от него.

— Переводить нет надобности,— сказал он.— Я понял все и постараюсь дать такой ответ, чтобы господину послу тоже было все понятно.

Медленно выговаривая арабские слова и со злой насмешкой представляя себе, как удивится дон Родриго, что пребывание в Галиане помогло ему усовершенствоваться в арабском языке, он начал:

— Скажи своему повелителю халифу вот что: по заключению моих ученых советников, договор мой с Севильей перестал быть действительным с тех пор, как султан надругался над гробом нашего Спасителя и вынудил святого отца провозгласить священную войну. Тем не менее я соблюдал перемирие. Ныне же дерзкие слова твоего повелителя окончательно сломали скреплявшие договор печати.— Он встал и, стоя во весь рост, молодой, полный отваги и величия, заговорил звенящим удалью голосом: — Передай халифу, пусть только переправится на своих кораблях, со своими солдатами в Андалусию! На нашем полуострове ему придется сражаться не с дикими ордами мятежников, как там у себя, на восточной окраине. Здесь ему будут противостоять умудренные опытом воины божьей рати. Deus vult!— возгласил он, и архиепископ со всеми остальными зычно подхватили его возглас.

Светлые серые глаза Альфонсо метали молнии, что обычно устрашало многих и восхищало донью Леонор.

— А теперь убирайся прочь!—громовым голосом крикнул он принцу Абуль Асбагу.—Посольские права оградят тебя только два дня. Если до тех пор ты не переберешься через границу, пеняй на себя. И благодари бога, что за твои дерзкие речи я не велю вырвать тебе язык.

Посол побледнел, но быстро овладел собой. В сдержанных, исполненных достоинства выражениях он попросил, чтобы его величество соблаговолил изложить свой ответ письменно. Иначе повелитель правоверных может решить, что Аллах затмил у него, у посла, рассудок.

— Это одолжение я могу тебе сделать,—по-мальчишески смеясь, ответил Альфонсо.

Когда собравшиеся стали расходиться, он удержал дона Иегуду и приказал ему:

— Письмо напишешь ты, на самом чистом арабском языке. Только смотри, ничего не смягчай. Все равно я поймаю тебя с поличным. Ты, верно, заметил, что я и сам теперь неплохо говорю по-арабски. А рядом с моей печатью пусть будет твоя.

Дон Родриго лежал на своей жесткой кровати, измученный и удрученный скорбью, высосавшей из его тела последние силы. Его вина в том, что Альфонсо, точно расшалившийся ребенок, вдребезги разбил все, что с таким трудом было слажено в Бургосе. Если теперь халиф всей своей неимоверной военной мощью обрушится на Испанию, он, Родриго, будет повинен в этом. Ему не следовало полагаться на Манрике, он сам в нужную минуту должен был напрячь все силы и внушить королю благоразумие.

И помешали ему только слабование и трусость. С самого начала любовной связи Альфонсо и Ракели архиепископ неоднократно упрекал его за то, что он чужд того яростного негодования, которое столь часто звучит в словах пророков и отцов церкви. Дон Мартин корил его справедливо. На его, Родриго, сердце неотразимо действовало рыцарское, юношеское, царственное обаяние Альфонсо; он был снисходителен там, где не могло быть снисхождения и прощения. А последние недели он взвалил на себя бремя еще более тяжелой вины. В тайниках души он обрадовался, что король возобновил греховную жизнь в Галиане, понадеявшись, что этим будет еще отсрочено начало войны.

С горячим рвением молился он, чтобы на него снизошел благочестивый экстаз, бывший для него когда-то

лучшим прибежищем. Он постился, предавался умерщвлению плоти. Запрещал себе ходить в кастильо Ибн Эзра; отказывал себе в беседах со своим мудрым другом Мусой. Однако господь не судил ему прощения. Благодать не осеняла его. Последняя услада была для него закрыта.

А теперь он из слабости позволил ввергнуть государство в бессмысленное кровопролитие. Ибо только из трусости не постарался он склонить короля к рассудительному ответу на обращение халифа. В беседе ему пришлось бы снова заговорить о том, что пора положить конец нечестивой любви к Ракели, а на это у него не хватало мужества.

Ни разу в жизни так жестоко не терзало каноника сознание вины. В голове у него звучали слова Абеяра: «То были дни, когда я познал, что значит — страдать; что значит — стыдиться; что значит — отчаяться».

Он поднялся весь разбитый. Попытался отвлечься. Достал свою летопись, чтобы поработать над ней. Это была целая грудa исписанного пергамента. Он наугад перчитывал один, другой лист. Увы, все, что он запечатлел здесь так усердно и любовно, казалось ему пустым и ненужным; он не видел никакого смысла в тех событиях, которые с таким трудом расставлял по своим местам. Каким в корне ложным было его описание дона Альфонсо! И как же человек, неспособный познать даже то, что находится вблизи от него, дерзает обнаруживать перст божий в великих исторических событиях!

Он достал книгу, только что присланную ему из Франции и вызвавшую там много толков. Называлась она «Древо сражений», сочинил ее Оноре Бонэ, настоятель монастыря в Селлонэ, и речь там шла о смысле войны, о ее законах и обычаях.

Родриго читал. Да, настоятель из Селлонэ был честный, благомыслящий человек, твердый в вере. Опираясь на Священное писание, он подробно обсуждал и решительно определял, дозволено ли сражаться по пятницам, в каких случаях следует прикончить врага, в каких можно ограничиться его пленением, а также какой выкуп не зазорно христианину потребовать с другого доброго христианина.

Приор Бонэ на все давал ответ. Он храбро справлялся с самыми каверзными задачами, решая их просто, прямолинейно и трезво.

Вот, например, что он отвечает на вопросы тех, кто сомневается, не наложен ли законом божьим раз и навсегда запрет на войну. «Многие простые люди, — пишет настоятель из Селлонэ, — почитают войну дурным делом, потому что во время войны по необходимости творится много зла, а господь возбраняет творить зло. А я говорю

вам, что это вздор. Война не зло, а доброе и праведное дело; ибо война ищет обратить неправое в правое и замирить немирное, это же предписывает и Священное писание. Если же на войне свершается много зла, то исходит оно не от самого существа войны, а от нерадивости главенствующего, отчего бывает, к примеру, что воин творит насилие над женщиной или поджигает церковь. Причина тому отнюдь не в существе войны, а в нерадивости главенствующего. То же, например, относится и к правосудию, по существу коего судьям надлежит править суд с толком, в меру своего разума. Если же судья вынесет неправый приговор, можем ли мы из-за этого сказать: правосудие само по себе — зло? Конечно же, нет. Зло исходит не от существа правосудия, а от неверного его применения, от дурного истолкования и от дурного судьи».

Каноник вздохнул. Для него, для настоятеля Бонэ, задача очень проста. Но Родриго, как ученый, знал, что не все так легко справились с ней. Например, в пору раннего христианства секта монтанистов объявила военную службу несовместимой с христианским учением. Каноник раскрыл сочинения монтаниста Тертуллиана: «Христианин не должен становиться солдатом,—было сказано там,—а если солдат становится христианином, ему следует покинуть военную службу». Таких примеров было немало.

Когда юношу Максимилиана хотели завербовать в солдаты, он заявил проконсулу: «Я не могу служить, я не могу причинять зло, я христианин». Храбрый, испытанный во многих битвах воин Типазий после обращения в христианство не пожелал продолжать военную службу. Он сказал своему центуриону: «Я христианин, впредь я не могу сражаться под твоим началом». Да и здесь, в Испании, центурион Марцеллий перед значками своего легиона бросил наземь меч со словами: «Я более не служу императору. Отныне я служу Иисусу Христу, царю предвечному». И церковь сопричислила Максимилиана и Марцеллия к лику святых.

Правда, позднее, при императоре Константине, Арльский собор отлучал от церкви тех, кто противился идти на военную службу.

Хитроумный, исполненный опасного соблазна Абеляр в своем «Да и нет» сопоставляет все, что говорится в Писании за и против войны, а выводы предоставляет сделать читателю. Но у кого хватит мудрости разобраться в этих противоречиях? Как можно следовать заветам Нагорной проповеди, как можно противостоять злу — и тем не менее идти воевать? Как можно возлюбить врага — и убить его? Как согласуется призыв к кресто-

му походу с учением Спасителя: «Взявшие меч мечом погибнут»?

Мысли Родриго стали путаться, страницы книг, которые он читал, становились все больше, больше, буквы расплывались. Они превратились в лицо дона Альфонсо. Да, верно, — *vultu vivax*. Едва только мусульманский принц начал свою речь, Родриго увидел, как из-за величаво-бесстрастной маски Альфонсо вспыхнуло бешеное пламя, как искры стали пробиваться сквозь маску, как под конец наружу вырвалось все пламя и превратило лицо в зверский образ необузданного властолюбца, жаждущего нанести обиды, крушить и разрушать. При одном воспоминании об этом лице каноника охватывал ужас.

Но из ужаса выросло самооправдание. Во все решительные минуты в этом человеке всегда верх берет необузданность, властность. Никто не в силах побороть ее. Господь возложил на Родриго невыполнимую задачу, повелев ему наставлять на путь истинный этого короля.

Однако он не смеет прикрашивать собственную слабость и вину подобными софизмами. Не смеет и убеждать себя, даже сейчас, что все потеряно. Ему раз и навсегда поручено вразумлять Альфонсо, а уж воля божья — даровать ли ему на этом поприще успех или нет. Он должен повидать Альфонсо сегодня же, сейчас; ибо, бросив такой вызов халифу, король, без сомнения, немедленно двинется на юг.

Дон Родриго пошел в замок.

Своего подопечного каноник застал веселым, благорастворенным. С тех пор как Альфонсо таким королевским жестом выпроводил мусульманского принца, он ощущал необычайную легкость и свободу. Он послушался своего внутреннего голоса, проволочкам пришел конец, война на пороге; его наполняла царственно-радостная уверенность.

Правда, его немного стеснял озабоченный вид ближних советников: таков вид бывал у его воспитателей, когда те порицали поведение мальчика Альфонсо, но не смели его одернуть. Вот пришел и друг Родриго, тоже явно недовольный ответом халифу.

Быть может, даже хорошо, что Родриго пришел именно сейчас. Уклониться от разговора невозможно; да и о том, что произошло в Галиане, он, Альфонсо, давно должен был поговорить с другом, заменившим ему отца, а лучшей минуты для объяснения и оправдания не найдешь, чем сейчас, когда он словно вырвался на волю.

Мигом решившись, он, без дальних вступлений и прикрас, рассказал, что произошло между ним, доньей Ракель и ее отцом, а именно: что еврей увез ребенка прежде, нежели его успели окрестить.

— Вина за это — на мне одном, — сказал он, — но,

сознаюсь тебе откровенно, отец мой и друг, она не гнетет меня. Завтра я отправляюсь в крестовый поход и вскоре возвращусь очищенным от греха. А тогда я не только велю окрестить сыночка, но и Ракель обращу на путь благодати. Я знаю, после победы у меня на это достанет сил.

Родриго боялся, что ребенок находится в Галиане близ отца, все еще лишаящего его благодати крещения. Узнав, что это не так, каноник вздохнул с облегчением. Кстати, король даже не сознает, сколь велика его вина, и Родриго вспомнил мудрые и полные соблазна слова Абеяра: «Non est peccatum nisi contra conscientiam, грешен лишь тот, кто сознает свой грех». Снова против собственной воли он вошел в положение короля и оправдал его.

Итак, рассказ Альфонсо несколько умерил сокрушение каноника по поводу творимого в Галиане нечестия, но тем пуще разожгло его гнев легкомыслие, с каким Альфонсо говорил о близкой войне. Бог одарил этого короля светлым разумом, а он прикидывается слепым, делает вид, будто не сомневается в скорой и верной победе, и не желает признать, какую чудовищную опасность навлек на страну. Каноник оборвал его с непривычной резкостью и суровостью:

— Ты сам себя обманываешь, король Альфонсо. Такая война не может смыть с тебя грех. Это не священная война. Ты с самого начала запятнал ее запальчивостью и высокомерием.

Альфонсо посмотрел на хилое тело священнослужителя; на его белые, женственные руки, которые никогда не вынимали из ножен меча и не натягивали тетивы, но, закованный в броню самодержавной веры в себя, он скорее был удивлен, чем рассержен, выслушав взволнованного Родриго.

— Дела военные и рыцарские от тебя далеки, отец мой,—приветливо ответил он и добавил с наставительно благосклонным превосходством:—Видишь ли, я не мог допустить, чтобы этот обрезанный издевался надо мной в моем собственном замке. Внутренний голос повелел мне поставить его на место.

— Внутренний голос!—негромко, но возмущенно возразил каноник; дерзкая самоуверенность короля наконец-то пробудила в нем то яростное негодование, за недостаток которого так часто корил его дон Мартин.—Внутренний голос! Всякий раз, как ты даешь волю преступному высокомерию, ты ссылаешься на свой внутренний голос! Открой глаза и посмотри, что ты наделал. Халиф сам намекнул тебе, что не собирается вмешиваться в войну. Он протянул тебе руку, а ты плюнул в нее. Из чистого тщеславия и самомнения ты накликал на свою страну африканские полчища, неисчислимы, как морской

песок. Ты накликал на свою страну четырех всадников Апокалипсиса. Ты поступил так, словно крестовый поход не что иное, как рыцарское состязание и турнир. Ты нарушил договор с Арагоном, едва успев заключить его. Ты бросил на край бездны всю Испанию.

Тощий, щуплый каноник стоял, грозно выпрямившись, кроткие глаза яростно и умоляюще смотрели на Альфонсо.

Короля смутил было его священный гнев. Но спустя мгновение он вновь, как щитом, прикрылся своей уверенностью. Ясный взор его невозмутимо встретил гневный взгляд каноника.

Он усмехнулся, засмеялся громким неприятным смехом.

— Куда же делось твое упование на господа, слуга божий? — издевательски спросил он. — Сотни лет неверные превосходили нас мощью, и тем не менее господь пядь за пядью отдавал нам нашу землю. Послушать тебя, так мы стадо баранов. А между тем у меня на юге хорошие крепости, у меня мои верные рыцари ордена Калатравы. Даже без Арагона у меня около сорока тысяч рыцарей. Ты требуешь, чтобы я уступал в отваге моим предкам? Ты требуешь, чтобы я прятался за хитрости и уловки, а не полагался на свой добрый меч?

Дерзкий, неукротимый, рыцарственный, стоял он перед каноником, и тому казалось, что из-за его лица проглядывает лик Бертрана, распевающего свои неистовые песни.

— Не кощунствуй! — одернул его каноник. — Ты не искатель приключений, ты — король Кастилии. Чего сто́ят твои крепости! Думаешь, они выдержат натиск осадных машин халифа? А твои сорок тысяч рыцарей! Помяни мое слово, большая их часть будет истреблена ордами неверных. Пожары и резня опустошат твою страну. Великое бедствие постигнет ее. И вина падет на тебя. Благодарю господа, если он оставит тебе Толедо.

Пророческое неистовство священнослужителя смутило Альфонсо. Он замолчал. А Родриго продолжал говорить:

— Твой добрый меч! Не забудь, что меч вручает королям господь бог. По-твоему, ты владыка над миром и войной. Не забывай, что война эта может быть провозглашена и дозволена только как война божия. И ты в этой войне то же, что и последний из твоих конюхов: раб божий.

Альфонсо успел подавить чувство жути. С прежним холодным и беспечным высокомерием он ответил:

— А ты, священник, не забывай, что господь отдал мне в лен Кастилию и Толедо. Господь — мой сюзерен. И я у него не раб, а вассал.

Королю не сиделось в Толедо. Озабоченные лица приближенных вельмож и гневно-благочестивые речи дон Родриго портили ему всю радость от его рыцарственного поведения с послом халифа. Он решил на следующий же день тронуться в путь на юг.

Орденские рыцари в крепостях Калатрава и Аларкос скорее поймут и одобряют его.

Последнюю ночь перед отъездом он провел в Галиане. Он был очень весел и милостив, ни в чем не упрекал Ракель. Кичливо прохаживаясь перед ней, он похвалялся своим ответом халифу.

— Я долго бездельничал, но не заплесневел, о нет! — потягиваясь и потрясая кулаками, объявил он. — Вот теперь ты увидишь, каков твой Альфонсо. Поход будет короткий и победоносный, в этом я уверен. Только не уезжай в Толедо, Ракель, дорогая моя. Оставайся здесь, в Галиане, обещай мне, что останешься. Тебе недолго придется ждать меня.

Полулежа на подушках и подперев голову рукой, Ракель смотрела и слушала, как Альфонсо бежит перед ней по комнате и разглагольствует о своих будущих деяниях.

— Впрочем, я, по всей вероятности, еще до возвращения попрошу тебя приехать ко мне в Севилью, — говорил он, — ты покажешь мне свой родной город и выберешь из моей добычи все, что тебе приглянется.

Она уронила руку, на которую опиралась, и приподнялась — ей стало больно от его речей. Сам того не понимая, он рисует перед ней картину ее родного города, сожженного и растоптанного им, и предлагает ей прогуляться по развалинам.

— Кстати, моя победа покажет тебе, чей бог настоящий, — весело продолжал он. — Только, пожалуйста, ничего не отвечай, не спорь со мной сегодня. Это праздничный день, мы должны провести его вместе, чтобы ты поделила мою радость.

Теперь она в упор смотрела на него своими большими серо-голубыми глазами; ее подвижное лицо и вся поза выражали изумление, отпор, отчужденность.

Он остановился, почувствовав, как что-то встало между ними. В молчании Ракели ему издали прозвучала обвиняющая речь каноника. Из беспощадно разящего полководца он превратился в великодушно милующего.

— Только не подумай, что твой Альфонсо будет жесток к побежденным, — принялся он успокаивать ее. — Мои новые подданные получают милостивого повелителя. Я не стану их притеснять. Пусть себе молятся своему Аллаху и своему Магомету. — Новая великодушная мысль осенила его. — А из пленных мусульманских рыцарей я

тысячу отпущу без выкупа. Я предоставлю Аласару выбрать их, это будет ему приятно. И я приглашу их со всем почетом принять участие в грандиозном турнире, который я устрою в честь победы.

Ракель невольно поддавалась его необузданному самолюбию. Уж таков он есть — полон безрассудной отваги, всеми помыслами обращен к победам, а не к опасностям, молод душой, с головы до ног рыцарь, воин, король. И она любит его. Она благодарна ему за то, что последнюю ночь перед походом он проводит с ней.

Все было как прежде. Они весело поужинали. Он, такой воздержанный, пил больше обычного. И пел, что обычно позволял себе только наедине. Пел воинственные песни и, между прочим, знаменитую песнь Бертрана: «Осада замков укрепленных — отрада сердца моего».

— Жаль, что ты не захотела познакомиться с моим другом, Бертраном, — заметил он, — это славный рыцарь, лучший из всех, кого я знаю.

После трапезы она, по своему обыкновению, удалась. Она по-прежнему не хотела раздеваться перед ним. Потом он пришел к ней, и все было так же, как в первое время, — страстное стремление, слияние, блаженство.

Позднее, усталые и счастливые, они вновь принялись болтать. Он, на сей раз тоном не приказа, а скорее просьбы, повторил:

— Останься в Галиане на время моего отсутствия. Навещай своего отца когда вздумается, но не переезжай к нему в кастильо. Живи здесь. Здесь твой дом, наш дом. *Hodie et cras et in saecula saeculorum*, — кощунственно добавил он.

Она с улыбкой, в полудреме повторила:

— Здесь мой дом, наш дом. *In saecula saeculorum*. — И при этом думала: «Если я усну, он уйдет. Жаль, что я завела такой обычай. Но утром мы вместе позавтракаем. А потом он ускачет на свою войну. И с коня еще раз нагнется ко мне, а на повороте дороги оглянется на меня». Она лежала, закрыв глаза, и ни о чем больше не думала — она заснула.

Увидев, что она спит, Альфонсо полежал некоторое время, потом встал, потянулся, зевнул. Накинул халат. Взглянул на женщину, лежавшую с закрытыми глазами и легкой улыбкой в уголках губ. Вгляделся в нее, как в нечто чуждое, дерево или животное. Недоуменно покачал головой. Ведь всего несколько минут назад она дарила его таким счастьем, какого он не знал ни с одной женщиной. А теперь у него осталось только чувство неловкости, даже смущения оттого, что он здесь, у нее в комнате, и подглядывает за ней, спящей, нагой. Всеми помыслами он был уже в Калатраве со своими рыцарями.

До того как он провел с ней эту ночь, он предполагал, что на рассвете ускачет в Толедо, наденет доспехи, не эти, а настоящие, боевые, вернется в Галиану и, закованный в латы, опоясанный своим добрым мечом *Fulmen Dei*, скажет Ракели последнее прощанье. Теперь он передумал.

На следующее утро Ракель ждала, чтобы он пришел проститься. Она была настроена радостно и полна уверенности, что все будет хорошо.

Она представляла себе, как пройдет это утро. Позавтракает он с ней в халате. Потом наденет доспехи. А потом ускачет прочь, и она испытает те великие, те блаженные минуты, о которых говорится в песнях; отправляясь в поход, возлюбленный нагнется с коня, поцелует ее и кивнет ей.

Она ждала сперва радостно, потом с легкой тревогой, потом все тревожнее.

Наконец спросила, где дон Альфонсо.

— Король, наш государь, давно уже ускакал прочь,— ответил садовник Белардо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Халиф Якуб Альмансур был уже немолод, он прихварывал и охотно дожил бы свой век в мире; к тому же он считал своим долгом напомнить королю Кастилии о договоре. Однако он был хорошо осведомлен о нраве короля и с самого начала не надеялся на успех своего посольства. Но такого глупого и дерзкого ответа он не ожидал. В наглости необрезанного он, человек глубоко верующий, усмотрел веление Аллаха еще раз перед смертью обнажить меч, покарать неверных и распространить ислам.

Он приказал снять с письма короля Альфонсо десять тысяч копий и обнародовать его во всем своем обширном государстве. Моады, арабы, кабилы—все подвластные ему народы должны узнать, как грубо оскорбил христианский король повелителя правоверных. Глашатаи читали письмо на базарах и заканчивали чтение словами Корана: «Так говорит Аллах всемогущий: я восстану на них, и воинства мои, подобных которым еще никогда не видели, обратят их в пыль и прах. Я сброшу их на дно бездны и истреблю».

Во всех западных странах ислама разгорелся религиозный фанатизм. Даже непокорные племена Триполитании позабыли свою распрю с халифом и тоже приняли участие в священной войне.

В мусульманской Андалусии, уверенной теперь в помощи халифа, царило ликование. К тому же военачальником

над всем мусульманским войском был назначен андалусец — испытанный в боях полководец Абдулла бен Сенанид.

В девятнадцатую неделю 591 года после бегства пророка Якуб Альмансур выступил из своего лагеря в Феце и присоединился к войскам, стянутым на южном побережье пролива. Его сопровождали наследник престола Сид Магомет и два других его сына, великий визирь и четыре его тайных советника, кроме того, два придворных лекаря, а также летописец Ибн Яхья.

На двадцатый день месяца *редшеда* халиф назначил переправу. Первыми переплыли через пролив арабы, за ними последовали себеты, масамуды, гомары, кабилы, за ними последовали лучники — моады; арьергард составляли полки личной охраны халифа. Милостью Аллаха переправа завершилась в течение трех дней, и огромное войско расположилось необозримым станом по всей Альхадре, от Кадиса до Тарифы.

И вот теперь, когда халиф был на андалусской земле, войска стали свидетелями небывалого зрелища. С незапамятных времен в западной части пролива, прямо перед Кадисом, из воды вздымалась исполинская колонна. Венчала ее огромная золотая статуя, сверкавшая далеко над морем и видная за много миль. Она изображала человека, простершего правую руку к проливу, в руке он держал ключ. Римляне и готы называли это сооружение «Геркулесовыми столпами», мусульмане — «Кадисским идолом», и те и другие в течение тысячелетий боялись и не трогали его — грозного и сверкающего. Теперь халиф приказал свергнуть истукана. Робко, затаив дыхание, следили десятки тысяч людей за первыми ударами. И что же? Золотой и грозный, он не оказал сопротивления. Он пал, и толпа, закричала в необузданной радости: «Велик Аллах, и Магомет пророк его!»

Халиф поехал в Севилью. Чтоб воздать честь городу, которому, несмотря на договор о перемирии, угрожал бесстыдный король неверных, Якуб Альмансур решил построить минарет для главной мечети. Проект был поручен прославленному зодчему Джабиру. Минарет должен был аллегорически изображать победу ислама над ложной верой. Халиф приказал вделать в башню все статуи и барельефы, которые еще сохранились от римских и готских времен. Золото с поверженного кадисского кумира, а также всю золотую и серебряную церковную утварь, которая будет захвачена в этой войне, халиф предназначил для минарета.

Якуб Альмансур собственноручно заложил основание. И как тогда, при падении золотого человека, ликовали неисчислимые тысячи, так и теперь, когда было

заложено основание башни, которая должна была вознестись во славу Аллаха высоко в небо в невиданной доселе красе,—так и теперь ликовали неисчислимые тысячи.

В Калатраве дон Альфонсо чувствовал себя счастливым. Здесь все торжествовали, что король утер нос наглому халифу, и необузданно радовались войне. Рыцарское начало Ордена взяло верх над его духовным началом. Рыцари славили Бертрана де Борна, их великого брата и товарища. «А loг, а loг, вперед, на бой!» — громко звучало в их мечтах.

Между доном Альфонсо и архиепископом установилась прежняя, веселая дружба. Отважного священнослужителя очень огорчало, что до сих пор он не мог высказать дону Альфонсо свое справедливое, христианское, рыцарское мнение о его блуде с еврейкой. Теперь он заявил ему с прежней откровенностью:

— Твой тесть, король Английский, умер как раз вовремя. Потому что, должен тебе сказать, мой дорогой сын и друг, дольше я бы не мог сносить твоё непотребство в Галиане. Я просил бы у святого отца отлучить тебя от церкви, пусть бы даже потом я и умер с горя. Я уже сочинял к нему письмо. Теперь это все так же далеко отошло от нас, как языческое прошлое наших предков. Просто воочию видишь, как война вытесняет остатки любовного дурмана из твоего сердца.

Он громко расхохотался; Альфонсо вторил ему, звонко, молодо, добродушно.

Лазутчики донесли о размерах мусульманского войска. По их словам, в нем было пятьсот раз по тысяче воинов. Кроме того, ходило много рассказов о страшном новом оружии, будто бы привезенном халифом, о гигантских осадных башнях, об орудиях, которые выбрасывают огромные каменные глыбы, о пагубном греческом огне. Уверенность рыцарей не была поколеблена. Они надеялись на свои неприступные крепости, на своего Сант-Яго, на своего короля.

Альфонсо задумал смелый план. Казалось, само собой понятно, что ввиду превосходных сил халифа надо ограничиться обороной крепости. Но так ли это? Почему не дать бой врагу в открытом поле? Такая затея представляется безрассудно смелой, но именно поэтому она может окончиться удачей. И ведь как раз на юг от Аларкоса лежит та местность, Долина арройос, преимущества и скрытые недостатки которой известны ему лучше, чем кому другому. А вдруг он выиграет второе сражение под Аларкосом?

Он рассказал о своем плане Бертрону и архиепископу. Дон Мартин, который обычно не задумывался над отве-

том, от удивления разинул рот. Потом он пришел в восторг.

— Древний Израиль,—сказал он,—был небольшой кучкой по сравнению с бесчисленными ордами ханаанеев, мадианитян, филистимлян, и все же он побил и уничтожил их. Верно, господь указал ему место для битвы, столь же благоприятное, как Долина арройос.

Бертран, со своей стороны, сказал весело и со знанием дела:

— В этом сражении ты потеряешь многих людей, государь, но неверные потеряют еще больше.

Молодые рыцари, когда Альфонсо поведал им о своем замысле, сначала были удивлены, даже озадачены, затем его план воодушевил их. Посвящать более пожилых военачальников в свои намерения король не стал.

Донья Леонор прожила в Бургосе дольше, чем собиралась. Отсюда было легче воздействовать на грандов Северной Кастилии и на арагонских королевских советников и торопить их с посылкой войска в помощь дону Альфонсо. Ей не терпелось, чтобы он поскорее выступил в поход. С той минуты, как она поняла, сколь сильно захватила его сластолюбивая горячка—страсть к еврейке,—ревность ее не засыпала. Только война принесет дону Альфонсо исцеление от насланного адом недуга.

Затем она узнала—Альфонсо сам радостно сообщил ей об этом,—как смело он отправил обратно к халифу наглого мусульманского принца. Первым ее чувством была безумная радость: теперь война неизбежна. Вслед за тем она поняла всю опасность, которую не может не породить смелость дона Альфонсо. «Поражение,—подумала она.—Да, это будет поражение. Может быть, не *то* поражение, но все же поражение». Это дало ей, несмотря на гнев и заботы, мрачную радость. В ее мозгу крепко засели слова матери о благодетельных последствиях поражения. Поражение умножает силу, пробуждает энергию, поражение открывает сотни новых возможностей; при мысли о поражении у нее как-то странно замирало сердце.

Она сейчас же отправилась в Толедо. «Поезжай в Толедо»,—приказала ей мать. Преступное легкомыслие, с которым Альфонсо бросил вызов мусульманскому послу, только увеличило любовь доньи Леонор. И все время к ее горячей тоске по Альфонсо примешивалось смутное, мрачное злорадство: теперь наступит поражение. Теперь с той, другой, будет покончено. *Actum est de ea*, ей теперь конец.

Не застав уже короля в Толедо, она под каким-то предлогом поехала вслед за ним на юг. Дон Педро, который, как и было предусмотрено, вторгся в Валенсийские владения, не желал отказаться от наступления на столицу Валенсии и не спешил с посылкой войска на помощь дону Альфонсо до установленного по уговору срока. Но ей удалось связать дона Педро обещанием: самое позднее через полтора месяца он поставит десять тысяч солдат, а восемьсот солдат, чтобы доказать свою готовность, даст уже сейчас. Она отправилась в Калатраву, чтобы лично сообщить королю эту отрадную весть.

Он выехал ей навстречу. Она не скрывала радости, охватившей ее при виде короля. Здесь, среди своих рыцарей, в суровой атмосфере крепости Калатравы, он был как раз тем Альфонсо, которого она любила.

Сияя, рассказала она, как ей удалось побудить строптивого дона Педро уже в ближайшие недели послать подкрепление. Альфонсо поблагодарил ее от всего сердца. Он утаил от нее, что эта весть ему совсем не по душе. Его намерение встретиться с халифом в открытом поле еще укрепилось. Если теперь станет известно, что подкрепления из Арагона надо ждать уже в ближайшем будущем, его советники и полководцы станут еще яростнее сопротивляться его замыслу.

Уже немолодой великий магистр Нуньо Перес и дон Манрике де Лара пришли к королеве. Хотя король молчал, его планы стали известны, и те из его друзей, которые отличались осмотрительностью, заволновались. Оба пожилых рыцаря разъяснили королеве, как опасна затея короля и как важно дожидаться подкрепления из Арагона. Они просили королеву уговорить дона Альфонсо отказаться от своего намерения.

Донья Леонор испугалась. Она ничего не понимала в стратегии, ничего не хотела слушать. Между ней и доном Альфонсо установилось молчаливое соглашение, она принимает участие в государственных делах, но не вмешивается в военные. Однако сейчас—это она поняла—на карту ставится существование Кастильского королевства. Она помнила, как Альфонсо напал тогда, вопреки предостережениям своих советников, на Севилью; она чувствовала, она знала, что теперешний безумно смелый замысел ему дорог. Разум говорил ей, что надо обсудить с ним все. Но как раз сейчас ей не хотелось раздражать его, не хотелось приставать с непрошеными советами. Кроме того, глубоко внутри злорадный голос нашептывал ей: поражение!

Любезно, но с королевским достоинством ответила донья Леонор озабоченным вельможам: она ничего не смыслит в вопросах стратегии, за все эти годы она ни

разу не говорила с доном Альфонсо о подобных вопросах. Она восхищается его военным гением, и ей, королеве Кастилии, не пристало смущать трусливыми сомнениями гордую отвагу и благочестивую веру в свои силы короля, ее супруга.

Два дня и две ночи провела она в крепости. Для нее было спешно приготовлено роскошное помещение, ибо не приличествовало ей спать в одном доме с Альфонсо. Обычай предписывал крестоносцам воздерживаться от общения с женщинами. Однако мало кто из рыцарей считался с этим запретом, и донья Леонор ожидала, что Альфонсо после ужина останется у нее. Но он ласково попрощался с ней на ночь, поцеловал в лоб и ушел. То же повторилось и во второй вечер.

В обратный путь донья Леонор отправилась верхом, и Альфонсо добрый час сопровождал ее.

Расставшись с ним, она погрузилась в задумчивость и односложно отзывалась на речи свиты. Вскоре она приказала подать носилки, хотя и была отличной наездницей.

Закрыв глаза, сидела она в носилках. Альфонсо весь захвачен войной, да и не в его натуре любить наспех. Не надо думать, что он пренебрег ею. И, уж конечно, не воспоминание о еврейке удержало его.

В Толедо ее мысли были заняты той, еврейкой. Там еврейка была очень близко, нельзя было не думать о ней. Какая глупая смелость жить тут же под боком, где она, как и город, как и все вокруг, в ее, Леонориной, власти. Стоит только ей протянуть руку... Раньше это было скорей ощущением, чем осознанной мыслью, а сейчас, в носилках, по дороге в Толедо, она это осознала. Сейчас, в носилках, она против собственной воли старалась вызвать в памяти образ той, еврейки: ее лицо, движения, весь облик. Мысленно представляла себе Ракель обнаженной. Сравнивала с собой. Она, Леонор, хорошо сохранилась; это признала даже благородная дама Алиенора, строгий и придирчивый судья. Уж конечно, еврейка привлекала Альфонсо не тем, что она лет на десять, на двенадцать позднее ее, Леонор, вылезла на свет божий из материнской утробы. Он околдован, во власти горячки, на него напущена злая порча. И когда Альфонсо опять станет прежним, настоящим Альфонсо после задуманной им великой битвы—все равно, принесет ли она победу или поражение,—он позабудет еврейку. Если бы она, Леонор, поддавалась на убеждения двух старых грандов и постаралась отговорить Альфонсо от его битвы, она была бы душой.

Но она не дура. Нет, она умная, молодая, красивая, она уверена в себе.

Лазутчики донесли, что мусульманское войско тремя колоннами подвигается на северо-восток. Альфонсо не мог дольше ждать, он должен был посвятить в свои планы советников и полководцев.

Он созвал военный совет. С увлечением изложил свой план. Он хочет выступить и встретить неверных в Долине арройос, изрезанной глубокими руслами высохших горных потоков. Там он дал сражение, которое принесло ему его первую большую победу и подарило крепость Аларкос. Никто в Испании не знает эту местность лучше, чем он. Смело и убежденно объяснял он, как принудит халифа занять более низкую часть полого спускающейся долины, как оттеснит крупные части вражеских сил к лесу, а затем загонит их в лес. Он не сомневается в победе. А тогда перед ними будет открыта вся Южная Андалусия: Кордова, Севилья, Гранада—и война окончится, едва начавшись.

Молодые гранды с воодушевлением одобрили его план.

Старый дон Манрике почтительно, однако настойчиво предостерегал короля. Вступать в бой в открытом поле с противником, располагающим такими превосходными силами, более чем рискованно. Если не будет одержана решительная победа, Толедо потерян. Искусный в ратном деле барон Вивар поддержал дона Манрике.

— Ты, государь,—сказал он,—много потрудился, чтобы сделать крепости Калатраву и Аларкос самыми надежными на полуострове. Под защитой их стен мы можем спокойно выждать, пока придут союзники. Мусульманское войско очень многочисленно, и его трудно прокормить. За время осады оно сильно поредеет. А тем временем подойдут арагонцы, и тогда силы халифа уже не будут так непомерно превосходить наши. Вот тут, государь, если на то будет воля божия, ударь на врага.

Морщины на челе дона Альфонсо стали еще глубже. Умом он понимал: доводы Манрике и Вивара основательны. Но томиться в бездействии за стенами крепости и ждать, пока на выручку придет этот молокосос и вертопрах, просто невыносимо. Он ни с кем не хочет делить победу.

— Мне неизвестно,—ответил он,—что осторожный полководец предпочитает не вступать в бой с противником, силы которого в три, в четыре раза превосходят его собственные. Но я не могу спокойно смотреть, как враг занимает страну. Во мне закипает кровь. Истинная война не игра в шахматы, война—это турнир, и решающий удар наносит не благоразумный рассудок, а смелое, благочестивое сердце. Истинный полководец чутьем угадывает, где дать сражение. Я дам сражение в Долине арройос.

Рыцари выказали бурный восторг.

Теперь сам магистр Ордена почтенный Нуньо Перес постарался удержать короля:

— Если войско неверных так многочисленно, как о том доносят лазутчики, то кастильцам без поддержки союзников не устоять против него. Подожди, пока придут арагонцы, государь!

Альфонсо надоело слушать поучения своих старых полководцев. Они еще трусливее Родриго.

— Я не хочу ждать, дон Нуньо,— заявил он.— Поймите меня! Я не потерплю, чтобы обрезанные осадили Аларкос, крепость, которую я присоединил к своему государству. Я справлюсь с ними и без Арагона.

Но дон Манрике не сдавался.

— Пошли хотя бы гонца к дону Педро!— настаивал он.— Если строго придерживаться буквы договора, ты обязан ждать.

— Буквоедство не в моей натуре,— вспыхнул дон Альфонсо,— и не в натуре короля Арагона. Он христианский рыцарь. Мне незачем спрашивать у него.— И, успокоившись, прибавил:— Я понимаю ваши опасения, но они не должны меня смущать. Пусть даже у халифа будет в три, в четыре раза больше людей, на нашей стороне правда и всемогущий бог. Мы дадим бой в Долине арройос!

Теперь, когда король принял твердое решение, все, даже те, кто раньше колебался, рьяно и горячо принялись за приготовления. Лагерь был разбит на выбранном доном Альфонсо месте. Палатки растянулись по отлогому склону, огражденные с тыла все более круто вздымающейся вершиной, с флангов защищенные арройосами, которые и дали название этой местности,— глубокими оврагами, проложенными бурными горными потоками, в это время года высохшими; их сплошь покрывали белые и красные олеандры.

Мусульманское войско меж тем подходило в полном порядке, короткими равномерными маршами. Когда оно приблизилось на расстояние двух дней пути, не трудно было высчитать, что решительный бой произойдет 19 июля, по мусульманскому исчислению 9 шавана.

А девятый день шавана приходился на субботу.

Это повергло в большое уныние еврейских солдат дона Альфонсо. Не без угрызений совести стали три тысячи евреев под его знамена. Они знали, на военной службе они будут вынуждены вкушать запрещенную пищу и в субботний день выполнять запрещенную работу; во времена героической древности иудейские солдаты предпочитали умирать от руки греков или римлян, но не сражаться в

субботу. Правда, уже несколько столетий назад синедрион установил торжественную формулу *мутар лах* — «да будет тебе разрешено», которой учителя альхамы освобождали иудеев-добровольцев от соблюдения законов, воспрещающих работать в субботу и есть недозволенную пищу. Однако освобождение давалось только на случай крайней нужды. Был ли сейчас именно такой случай? Вынужден ли король сражаться обязательно в субботу?

Евреи отрядили к дону Альфонсо людей во главе с доном Симеоном бар Абба, родственником Эфраима. Если солдаты-иудеи, объяснил он королю, преступят священный запрет не в случае крайней нужды, они навлекут на себя гнев божий и поставят под угрозу поражения себя и своих христианских соратников. Посланцы евреев почтительнейше спросили короля: нельзя ли выбрать для битвы другой день?

Альфонсо похлопал дона Симеона по плечу и весело сказал:

— Я знаю, что вы, евреи, храбрые воины, и охотно пошел бы вам навстречу. Но, видите ли, оттянуть битву больше чем на день я не могу. И тогда мне придется сражаться в воскресенье. Это вызвало бы недовольство ваших христианских соратников, а их гораздо больше. Придется остановиться на субботе, зато мы все будем молиться, чтобы ваш бог отпустил вам этот грех.

Благочестие евреев навело короля на размышления, и он решил посоветоваться с доном Мартином, что предпринять, дабы обеспечить себе и своему войску милость всевышнего. Архиепископ читал «Древо сражений» приора Бонэ. Там рекомендовалось в день битвы воздерживаться от пищи, ибо славный рыцарь царь Саул, перед тем как вступить в бой, грозил покарать смертью всякого, кто до захода солнца утолит голод или жажду. Архиепископ предложил христианским солдатам в день битвы воздержаться от еды, а чтобы они не ослабели, король может накануне вечером устроить им обильное пиршество. Дон Альфонсо так и распорядился.

Дон Мартин, со своей стороны, разослал гонцов, с тем чтобы утром в день битвы звонили в колокола на всем протяжении от Аларкоса до Толедо и в самом Толедо.

Вечером 18 июля король, стоя на возвышенности, с которой он собирался на следующий день руководить боем, обозревал свой и вражеский лагери. Там, где долина понижалась, расположилось станом войско халифа. Бесконечными рядами тесно стояли одна к другой палатки, и Альфонсо и его военачальники, хоть из-за леса им и не было видно, знали: вражеский лагерь загибается и уходит далеко на запад. Король долго молча смотрел, прикрыв ладонью глаза, как спускается вечер на лагерь халифа.

Рыцари отправились назад, в лагерь, и повсюду их приветствовали радостными почтительными криками. Солдаты радовались обильной еде.

Затем рыцари сели за стол в походном шатре короля. Он сиял золотом и пурпуром стягов; и внутри шатер был богато украшен коврами и шальями в честь войны, благороднейшего занятия рыцарей и королей. Настроение было приподнятое, все ели и пили в свое удовольствие; Бертран пел воинственные песни.

Но разошлись рано, чтобы выспаться и набраться сил к предстоящему дню.

В сон короля врывались сладостные образы и мысли. Он видел Ракель и подробно развивал ей свой план сражения. Доказывал, что можно так расставить полки, что победа над значительно более многочисленным войском противника будет все равно обеспечена. Объяснил, как он представляет себе дальнейший ход войны. Разбив войско халифа, он дойдет до самого моря. И тогда заключит мир. Побережье и Гранаду он оставит халифу; но Кордову и Севилью обрезанный должен будет отдать ему. Севилью он сделает графством, самым большим графством Кастилии, а титулом графа Севильского пожалует своего любимого сыночка, бастарда Санчо.

Сквозь сон он слышал негромкие окрики стражи. Внутренний голос шептал ему: завтрашний день, 19 июля, будет великим днем—он старался вспомнить, какой сейчас год, но испанское летосчисление перепуталось у него в голове с летоисчислениями других христианских стран, он не мог вспомнить год и злился, что принял сторону дона Родриго, а не своего дорогого друга дона Мартина. Но тут в его дрему ворвался перезвон колоколов и торжественное, радостное пение, колокола пели *tedeum*, славя его победу, и он крепко заснул под победный звон.

Он проснулся под колокольный звон. Как приказал архиепископ, еще до восхода солнца по всей стране—от Аларкоса до Толедо—ударили в колокола.

Как только взошло солнце, для солдат отслужили мессу. Многие приобщились святых тайн. Затем полкам были торжественно вручены реликвии, которые должны были сопровождать их в бой. Самая драгоценная, самая надежная реликвия принадлежала калатравским рыцарям—*крus de лос анхелес*—крест, который таинственным образом был доставлен Альфонсо Третьему двумя неземными пилигримами. В каждом полку рыцари и солдаты преклоняли колени и целовали свою реликвию.

В стане мусульман тоже возносились молитвы. Там священнослужители и военачальники подбадривали солдат стихами Корана: «Укрепите сердца ваши, верные! Возве-

селитесь духом! Не бойтесь никого, кроме Аллаха! Он наша опора. Он даст силу вашим ногам, да стоят они крепко. Он пошлет вам победу». И мусульманские солдаты простирались ниц, сотни тысяч мусульманских солдат, лицом к Мекке, и громко читали семь молитв первой суры Корана: «Во имя Аллаха милосердного и милостивого; хвала Аллаху, господу вселенной, милосердному, милостивому; царю дня воздаяния; ты един бог, к тебе мы прибегаем; направь нас на путь правый; на путь тех, к кому ты милостив; но не на путь тех, кто прогневил тебя и кто заблуждается».

Бой начался.

Калатравским рыцарям было дано приказание напасть первыми и прорвать центр противника. В боевом порядке, сверкая доспехами, выстроились они, восемь тысяч всадников на отборных конях. Они громко пели свою молитву перед боем, пятьдесят девятый псалом Давида: «Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? С богом мы окажем силу: он низложит врагов наших».

Они ударили в центр врага.

«Окаянные с такой яростью ринулись в бой,— повествует летописец Ибн Яхья,— что кони их налетели на мусульманские копья, а неверные были отброшены, но они снова ринулись вперед. Опять были отброшены. В третий раз поскакали в устрашающую безумную атаку. «Держитесь, друзья!—крикнул Абу Хафас, военачальник, командующий центром.—Укрепите сердца ваши, правоверные! Аллах, восседающий на высоком престоле, помогает вам». Но окаянные нападали с такой безумной яростью, что ряды отважных мусульман дрогнули. Сам военачальник Абу Хафас сражался как лев, пал в бою и заслужил венец мученика. Окаянные учинили страшное побоище, врезавшись в центр; все мусульманские воины, сражавшиеся там, были избраны Аллахом для венца мученичества и девятого шавана этого года вкусили десять тысяч райских радостей».

Альфонсо наблюдал за ходом сражения со своей возвышенности. Он видел, как пошли в атаку калатравские рыцари, как были отброшены, вторично пошли в атаку, вторично отступили и как затем сломили ряды врагов. И вот они устремились вперед, его калатравские рыцари неудержимо устремились вперед, теперь они уже скоро достигнут красного боевого шатра халифа и пришлют вестника победы; тогда Альфонсо тоже ринется в бой и окончательно сокрушит врага.

Итак, король и его приближенные смотрели, ждали и наслаждались зрелищем. Внизу, в Долине арройос, воплощалась в жизнь мечта певца Бертрана де Борна; вот они,

нападающие, сражающиеся и сраженные, вот воинственный клич «А лор, а лор!» и врывающиеся в него крики «Аллах!» и «Магомет!» и ржание раненных насмерть коней, потерявших всадников. Сердце Аласара распирало радость. Всем своим существом впитывал он смерть, славу, победу, венец мученичества, сплетшиеся в чудесный клубок. И об одном только жалел: о том, что поднятое облако пыли скрывает от глаз поле битвы. Но он видел вокруг себя безумные, разгоряченные, ликующие лица короля и его рыцарей, и его лицо было тоже ликующее, как и у них, и он вытирал слезившиеся глаза, чихал от пыли, щекотавшей в носу, и смеялся.

И вдруг случилось нечто неожиданное. Поднятая пыль стояла облаком, и различить, что происходит, стало почти невозможно. Но одно было ясно: бой приближается к их возвышенности, а значит, сражение идет в тылу у рыцарей Калатравского ордена. Всадники в тюрбанах внезапно появлялись то тут, то там, в непосредственной близости от стана кастильцев. Они напали на еврейские легионы, несшие охрану лагеря. Да, евреи вступили в бой, храбро дерутся, ясно слышен древний иудейский боевой клич: «Хедад, хедад!» — они не отступают, держатся крепко. Но их всего три тысячи, силы врага значительно больше. И на мгновение в мозгу дона Альфонсо смутно вспыхнуло предсказание дона Симеона: сражение в субботний день навлечет несчастье.

Но как же могло случиться, что мусульманские всадники прорвались настолько вперед? И в каком количестве? Где же калатравские рыцари?

Король догадывался о том, что случилось, но гнал от себя эту мысль. Войско халифа, доносили лазутчики, насчитывает пятьсот раз по тысяче воинов, но Альфонсо смеялся. И вот теперь оно надвигается, и не видно ему конца. Из завесы пыли возникают все новые и новые воины в тюрбанах, пешие и конные. Теперь Альфонсо уже не смеялся.

Произошло же следующее. Опьяненные победой калатравские рыцари врезались в самую гущу боя. Они не замечали жары и пыли, от которых спирало дыхание. Сквозь шум битвы они слышали только собственные крики и крики тех, кого разили. Как в дурмане, обезумев, охмелев от боя, яростно рубя направо и налево, продвигались они все дальше в облаке пыли, затмившем солнце.

Военачальник мусульман Абдулла бен Сенанид, андалусец, опытный в ратном деле, предвидел, что так случится. Он ждал, чтобы рыцари прорвались вперед, и оказывал им только слабое сопротивление. Но он двинул с обоих флангов моадские полки и привел в готовность страшные, дальнобойные метательные орудия. Моадские

лучники, известные своей меткостью, незаметно соединились в тылу калатравских рыцарей и отрезали их от главных сил и лагеря христиан. И теперь перед Аларкосом произошло то же, что в битве при Аль-Хиттине. Мусульманские лучники пустили стрелы в коней христианских рыцарей, а как только падала лошадь, всадник в тяжелых латах становился беспомощным. Теперь начали действовать метательные орудия халифа, и в ряды христиан полетели огромные камни.

«Началось ужасающее побоище,— повествует летописец Ибн Яхья.— Все неверные были в железных латах, и кони их тоже, и были они цветом рыцарства, но это их не спасло. Перед битвой они молились своим трем богам и клялись на своих крестах, что в этом бою не повернут вспять, пока хоть один из них останется в живых. И на благо правоверным Аллах допустил, чтобы их клятва исполнилась в точности».

Для окончательного истребления врага мусульманский военачальник, воспользовавшись огромным численным превосходством своих полков, бросил на лагерь христиан свою личную отборную андалусскую конницу, зашедшую в тыл сражающимся рыцарям.

Эту атаку на лагерь и увидел Альфонсо со своей возвышенности.

— Вот и наш черед наступил,— заявил он с мрачной радостью.

Они во весь опор поскакали к стану. Их было много, но все же недостаточно. Нахлынувшие толпы мусульман поглотили их, им пришлось повернуть обратно в гору, не достигнув лагеря. Но они отступали сомкнутым строем и не позволяли мусульманам обойти их с флангов. Все снова и снова удавалось им расчистить вокруг себя небольшое пространство и передохнуть.

Дон Альфонсо сражался в самой гуще. Он думал уже не о ходе боя, а только о том, что творилось в непосредственной близости. Он задыхался от жары и пыли, в глазах рябило от тускло мерцавшей туманной завесы. Он слушал резкий звук рогов, барабанную дробь, дикие выкрики мусульман и возгласы друзей: «Руби! На помощь! Сюда!» И все покрывал непрерывный, сливающийся в общий грохот гул битвы. Сердце дона Альфонсо кипело глухой и в то же время блаженной яростью. Он радовался, когда разил его добрый меч *Fulmen Dei*; он радовался, когда падал враг, и даже когда падал друг, он ощущал какое-то веселье.

Постепенно мусульмане оттеснили кастильцев до середины горы. Король снова приказал идти в атаку. Уцелевшие—их осталось сотен восемь, не больше—врезались в неприятельскую пехоту. Мусульманский солдат, совсем

около дона Альфонсо, нацелился в короля копьем. Но Аласар сразил его раньше, чем он успел метнуть копье. Юноша громко рассмеялся.

— Ему не повезло, государь,—крикнул он в грохот битвы. Но мгновение спустя свалился, раненный, с седла, запутался ногой в стремени, лошадь протащила его несколько шагов.

Остальные прорвались вперед, они гнали вниз по склону пехоту противника. Вокруг короля и тех, что сражались бок о бок с ним, очистилось небольшое пространство.

Дон Альфонсо сошел с коня в каком-то дурмане, все еще ослепленный яростью боя. Он нагнулся к Аласару. Поднял забрало, сам не зная зачем, снял с мальчика шлем, тоже не зная зачем, даже не зная, видит ли его Аласар. Он с огорчением подумал, что Аласар должен был выбрать тысячу рыцарей, которых он, Альфонсо, хотел отпустить на волю без выкупа. Мальчик тяжело дышал, его обычно матово-смуглое лицо покраснело и опухло и здесь, в жаре, грязи и крови, несмотря на искажившую его мучительную боль, казалось совсем юным. Альфонсо ниже наклонился над ним, смотрел на него, не видел, опять смотрел, сказал голосом, охрипшим от крика:

— Аласар, мой мальчик, мой верный друг!

Аласар с трудом поднял руку, Альфонсо не понял зачем; позднее он додумался, что Аласар хотел вернуть ему перчатку, и пожалел, что сразу не понял. Аласар пошевелил губами, Альфонсо не был уверен, что он говорит. Ему послышалось, будто мальчик сказал: «Передай моему отцу...»—но только значительно позже он вспомнил, что как будто слышал эти слова; не мог бы он также сказать, на каком языке они были произнесены.

Но пока он стоял, нагнувшись над Аласаром, в нем всплыла, впервые за этот день, да и то очень смутно, заглушенная криками и грохотом боя мысль о Ракели и одновременно мысль о доне Манрике и магистре Нуньо Пересе, которые убеждали его укрыться за стенами крепости, и мысль о гневном доне Родриго. Но он не задержался на этих мыслях, не было времени. Не было также времени заниматься дольше Аласаром; он успел только наскоро перекрестить его.

Уже шли в облаке пыли новые орды и гнали их в гору. Тупо, в мрачной ярости смотрел дон Альфонсо на бурно хлынувшие полчища. Когда же конец? Пятьсот раз по тысяче,—донесли лазутчики. И они не солгали.

— До сих пор мы имели дело с авангардом, теперь подходят главные силы,—сумрачно усмехнулся архиепископ.

о — Ну что ж,—отозвался Бертран,—тем больше матерей и жен будут лить о них слезы.

Рыцари сгрудились.

— Медленно, с боем назад!

Бертран запел одну из своих песен:

Не в теплых постелях наши отцы
Глаза навек закрывали.
Умремте же с радостью, как бойцы,
От вражеской холодной стали!

Так, шаг за шагом, сдерживая приплясывающих коней, лицом к врагу, отступали они в гору.

Куда ни глянешь, всюду кипит бой. Но когда они добрались до последнего предела, до отвесно вздымающейся крутизны, они на время отбились от врага, здесь никто не мог зайти им в тыл. Они перевели дух, огляделись, отыскиали друзей, подсчитали потери. В живых осталось не больше двухсот воинов.

— Где дон Мартин?—спросил Альфонсо.

— Он ранен,—ответил Гарсеран.—По-видимому, тяжело. Его хотят переправить по ту сторону горы, в дубовую рощу. Сейчас перетаскивают его через овраг. Ты бы тоже ушел, государь, пока неверные еще не узнали дороги через овраг,—настоятельно попросил он короля.

Дело в том, что по ту сторону горы была скрытая тропа, ведущая в дубовый лес и к переходу через северную часть оврага.

— После следующей атаки,—сказал дон Альфонсо, ибо враг, уже очень близкий, готовился к нападению. И, обращаясь к Бертрану, спросил:—Что с тобой, друг Бертран? Ты ранен?

— Так, не все пальцы целы,—ответил Бертран, стараясь говорить естественным тоном.—Вероятно, я не смогу вернуть тебе всю перчатку,—пошутил он.

И опять схватились враги.

Здесь, у подножия последней вершины, бой перешел в ожесточенное единоборство. Каждый дрался сам за себя, в беспамятстве, яростно разя направо и налево, чувство локтя было утрачено.

«И Альфонсо, окаянный,—повествует летописец Ибн Яхья,—отвел взор от побоища и увидел белый стяг повелителя правоверных — Аллах да хранит его — в непосредственной близости и увидел золотые письма на нем: «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его». Тогда на окаянного напал страх, и сердце его содрогнулось, и он бежал. И бежали все, кто был вместе с ним, и мусульмане преследовали их. Сам окаянный ушел через гору, но мусульмане перебили великое множество из его народа и не отнимали копий от бедер бегущих и мечей от их выи,

пока не напоили досыта свое оружие кровью неверных и не принудили их испить до дна чашу смерти».

Достигнув вершины, Альфонсо на один-единственный миг обернулся к Долине арройос, к избранному им полю битвы. Облако пыли затянуло долину, в пыли был он сам и все, кто с ним, пыль надела на шлемы и доспехи. Пыль затянула поле битвы густой завесой, поглощавшей яростный шум схватки — звон мечей, крики воинов, топот и ржанье коней, рев труб. В этом жарком, дымном, пыльном мареве даже зоркий глаз короля Кастилии не мог разобрать, что происходит. Однако Альфонсо знал: здесь в пыли и криках гибнет его слава, гибнет Кастилия. Но не успел подумать или хотя бы ощутить это в ясных словах — его рыцари увлекли его за собой.

А мусульмане меж тем громили лагерь кастильцев. Они захватили оружие, сокровища, доспехи, всяческие припасы, и много сотен благородных охотничьих соколов, и церковную утварь, и сверх того парадные одежды, в которые калатравские рыцари собирались облечься в день победы. «Я не могу назвать число христиан, павших от руки правоверных, — повествует летописец. — Сосчитать их не мог никто. Убитых было столько, что лишь Аллаху, создавшему и христиан, ведомо их число».

Уже сто двенадцать лет, со дня битвы при Салаке, не одерживали мусульмане на полуострове такой победы. Страх, охвативший христиан, был так велик, что даже у защитников Аларкоса дрогнуло сердце. После короткой осады они сдали самую сильную кастильскую крепость. Завоеватели, распространяя вокруг себя ужас, разрушили своими боевыми машинами стены и дома города и крепости Аларкос, сровняли их с землей и посыпали землю солью.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Незадолго до битвы при Аларкосе прибыли в Толедо первые восемьсот латников из тех арагонских войск, что дон Педро обещал в помощь кастильцам. Их предводитель велел доложить о себе королеве. Это был Гутьере де Кастро.

Да, де Кастро настойчиво просил, чтобы его первого послали в Толедо. Бароны де Кастро, говорил он в подкрепление своей просьбы, отличились при завоевании Толедо, о чем до сего дня еще свидетельствует их кастильо в этом городе, он хочет принять участие и в завоевании Кордовы и Севильи. Нерешительный дон Педро не мог отказать своему могущественному вассалу в его настойчивой просьбе. Итак, де Кастро прибыл в

Толедо с восемью сотнями отборных латников и пришел на поклон к донье Леонор.

Она была радостно и глубоко удивлена. С каким-то суеверным восхищением думала она о своей мудрой матери, которая, не присудив де Кастро его кастильо, раздражила и взманила его. Донья Леонор встретила Гутьере де Кастро, сияя приветливой улыбкой.

— Меня радует, что первым из наших арагонских друзей приехал в Толедо ты, дон Гутьере.

Одетый в латы, дон Гутьере стоял перед ней в позе, освященной обычаем,—широко расставив ноги, обеими руками опершись на рукоять меча. Коренастый барон гордился своей родословной, которую вел от тех готских князей, что сохранили независимость, уйдя в Астурийские и Кантабрийские горы, когда мусульмане захватили весь полуостров. И верно: у него, как и у многих горцев, жителей тех мест, были широченные плечи, круглая голова, горбатый нос и глубоко запавшие глаза. Он стоял перед сидящей королевой и сверху смело смотрел ей в лицо, раздумывая, что могут означать ее слова.

— Я надеюсь,—продолжала донья Леонор,—что ты удовлетворен решением, принятым королями в твоём споре с Кастилией.

Она подняла на него взгляд, оба внимательно, почти неподобающе долго, посмотрели друг другу в глаза. Наконец дон Гутьере сказал своим скрипучим голосом, взвешивая каждое слово:

— Мой брат Фернан де Кастро был славным рыцарем и героем, я любил его всей душой. Ничто не возместит мне его утрату, и, уж конечно, не возместит та вира, что была мне выплачена. Когда я взял крест, я поклялся вырвать ненависть из своего сердца, и я сдержу свою клятву и буду послушен королю Кастилии, как приказал мне мой арагонский сюзерен. Но скажу тебе откровенно, государыня, мне это нелегко. Мне обидно, что среди ближайших слуг дон Альфонсо находится человек, которому я хотел бы плюнуть в лицо и который недостойн этого моего плевка, и он чванится тем, что живет в моем родовом замке.

Донья Леонор, все еще не спуская с него своих зеленых глаз, ответила мягким, вкрадчивым голосом:

— Только по зрелом размышлении короли решили оставить ему кастильо.—И она пояснила:—Сейчас, благородный дон Гутьере, нельзя вести войну так, как вели ее во времена наших отцов. Для войны надо много денег. Чтоб раздобыть их, надо хитрить, подчас даже лукавить, а тот, о ком ты говоришь, умеет хитрить и лукавить. Поверь мне, любезный моему сердцу благородный дон Гутьере, я разделяю твои чувства, я понимаю, как тебе

обидно, что этот человек живет в твоём замке.— Она видела, каким внимательным, выжидающим взглядом смотрит он на неё. «Теперь я поманю сокола добычей»,— подумала она и медленно закончила:— Когда война разгорится, ни этот человек, ни его хитрость не будут больше нужны.

Дон Гутьере спросил, каковы её распоряжения.

— Пока было бы хорошо, если бы ты остался со своими людьми здесь, в Толедо. Я сообщу королю о том, что ты прибыл, и получу от него указания. Будь на то моя воля, я оставила бы вас здесь. Войска отозваны из города, и мне было бы спокойнее, если бы я знала, что в Толедо хорошие воины, которым я доверяю.

Дон Гутьере поклонился ниже обычного.

— Спасибо на ласковом слове, благородная дама,— сказал он.

Он простился, исполненный благоговения и отваги. Донья Леонор поистине великая королева.

Ликуя, ехал он по узким, крутым улицам Толедо, он, герой и желанный гость в городе, из которого был изгнан; и не раз за эту жаркую летнюю неделю проезжал он мимо кастиль де Кастро и глядел на него с ненавистью и надеждой.

И настал день, когда с самого раннего утра зазвонили в Толедо во все колокола,— день великой битвы. И настала ночь, и уже ночью пошли темные, смутные слухи, что битва проиграна. И опять настало утро, и с ним вместе появились испуганные беженцы с юга, их приходило все больше и больше, и жители из предместий Толедо, расположенных вне городских стен, толпами шли в переполненный город, а страшные вести все множились. Великий магистр ордена Калатравы убит, архиепископ тяжело ранен, восемь тысяч рыцарей ордена Калатравы полегли на поле брани, убито свыше десяти тысяч других рыцарей и бесчисленное множество пеших солдат.

Донья Леонор сохраняла спокойствие. Просто вздорные слухи. Не может, не должно этого быть. Такого поражения она не представляла себе.

Дон Родриго единственный из королевских советников, оставшийся в Толедо, пришел к ней, его худое лицо было искажено горем и гневом. Она постаралась сохранить спокойствие.

— Мне сообщают,— сказала она,— что король, наш государь, понес тяжелые потери при вылазке из крепости Аларкос. Пришел ли ты с более верными вестями, досточтимый отец?

— Пробудись, государыня!— гневно воскликнул дон Родриго.— Дон Альфонсо потерпел крупное поражение. Война проиграна, едва начавшись. Цвет кастильского

рыцарства погиб. Великий магистр ордена Калатравы убит, архиепископ Толедский тяжело ранен, большинство баронов и рыцарей полегло в Долине арройос. Все, что в течение столетия морем пота и крови завоевали христианские короли нашего полуострова, пошло прахом в единственный день в угоду рыцарскому капризу.

Королева побледнела. Ей вдруг стало ясно: это правда. Но перед ним она не хотела в этом признаться; она снова была неприступной королевой и холодно указала канонику его место.

— Ты забываешься, дон Родриго,— сказала она,— но я понимаю твою горе и не хочу спорить с тобой. Лучше скажи мне: что я должна, что я могу сделать?

Родриго ответил:

— Сведущие в ратном деле люди предполагают, что дон Альфонсо продержится некоторое время в Калатраве. Возьми на себя заботу, государыня, подготовить за это время Толедо к обороне. Ты умна и испытана в делах государственных. Сохрани спокойствие в городе. Он переполнен беженцами и насмерть испуганными людьми. Их обуяла жажда крушить, убивать. Они грозят крещеным арабам, они грозят евреям.

Втайне донья Леонор ожидала, что услышит подобные речи; возможно, она даже хотела их услышать. Она ответила:

— Я сделаю, что могу, чтоб сохранить в Толедо спокойствие.

Дона Эфраима, парнаса альхамы, снесли тяжелые думы. Взятие Аларкоса открывало халифу дорогу к Толедо. Город мог стать добычей мусульман, прогнавших евреев из Кордовы и Севильи. Со времен готских королей не было на евреев Сефарда такой напасти.

А что принесет ближайшее будущее? В Толедо ходили страшные слухи. Никогда не одолеть бы неверным отличное христианское воинство, если бы не предательство и козни. Еврей, друг севильского эмира, сговорился с мусульманами, выдал им военные планы христиан, численность отдельных отрядов, их расположение. Король не освободился еще из сетей еврейки, посланницы дьявола, и вот божья кара постигла его, его и всю страну.

В иудерии люди еще теснее, чем обычно, жались друг к другу. Евреи, жившие вне ее крепких стен, шли под их защиту. Над альхамой навис тягостный страх.

Дон Эфраим почтительно попросил королеву принять его. Горожане, способные носить оружие, призывались защищать стены города. Дон Эфраим просил, чтобы альхаме было разрешено оставить на защиту иудерии те

пятнадцать сотен боеспособных мужчин, которые еще были в ее распоряжении. Он говорил, что огромное число еврейских солдат, павших в битве под Аларкосом, свидетельствует о готовности толедских евреев пожертвовать жизнью за короля. Но сейчас евреям угрожают люди, подстрекаемые бессмысленными слухами, и альхаме очень нужны ее воины и их оружие.

В голове доньи Леонор быстро мелькали мысли. Вот он, единственный, желанный день; теперь надо быть осторожнее, намекнуть, но не выдать себя.

Толедский народ, ответила она, видит в печальном исходе битвы кару божию и ищет виновного. Никто не может заподозрить евреев альхамы, ибо все знают их как преданных слуг короля. Но вот о чужаках, о тех франкских евреях, которым король, наш государь, по своему бесконечному милосердию разрешил поселиться здесь, ничего не известно, и недобрым оком смотрит народ на того, кто подал королю такой плохой совет,— на эскривано дона Иегуду Ибн Эзра. Кроме того, дон Иегуда, при всех своих заслугах, горд, чтобы не сказать заносчив, а роскошь, в которой он живет во время священной войны, возбуждает гнев многих простых горожан. Такой умный человек, как старейшина альхамы, должен это понять.

Парнаса возмутило, что королева отрекается от человека, который был призван ею и принес стране благоденствие.

— Ты советуешь нам, государыня, отказаться от дона Иегуды Ибн Эзра?—осторожно спросил он.

— Да нет же,—быстро ответила донья Леонор.—Я просто стараюсь установить, против кого из евреев растет недовольство народа.

— Прости, государыня, что я докучаю тебе вопросам,—настаивал дон Эфраим,—но я не хочу в столь важном деле понять тебя превратно. Ты полагаешь, что нам надо отъединиться от дона Иегуды?

Королева ответила холодно, неприветливо:

— Мне кажется, что вам не грозит никакая серьезная опасность, а не было бы дона Иегуды, не было бы и тени опасности.—И после томительного молчания она закончила раздраженно:—Так или иначе, дон Эфраим, поставь твоих боеспособных мужей на защиту иудеи или на защиту Толедо, выбор я оставляю на твое усмотрение.

Эфраим низко поклонился и вышел.

Он пошел к Иегуде.

— Мне жаль, дон Иегуда,—начал он,—что ты все еще здесь, в кастильо Ибн Эзра. Сейчас трудно найти более ненадежное место для тебя.

«Они хотят, чтоб я покинул их пределы,—с горечью подумал Иегуда.—Они хотят отделаться от меня». И он ответил с насмешливой вежливостью:

— С тех пор как ты в первый раз заботливо предостерегал меня, я не раз думал, не покинуть ли мне вместе с дочерью и верным другом Мусой эти края. Но король, наш государь, выслал бы за мною погоню. Скажи, разве ты этого не думаешь, дон Эфраим? Я не вижу возможности благополучно пробиться через огромные владения христиан в пределы султана. Придется уж вам, тебе и альхаме, примириться с моим пребыванием в Толедо.

Эфраим сказал:

— Иудерию защищают крепкие стены и пятнадцать сотен боеспособных молодых мужей. Мне кажется, дон Иегуда, что сегодня иудерия—самое подходящее для тебя место.

Иегуда не скрыл, как он поражен, и сразу признал все великодушные этого предложения.

— Прости мне глупую насмешку,—сказал он непривычно тепло.—За свою жизнь я приобрел не много друзей, я не ожидал такого человеколюбия.—И он, обычно хорошо владевший собой, взволнованно зашагал по комнате. Затем остановился перед Эфраимом и заговорил с ним, на этот раз по-еврейски:—Но обдумал ли ты, господин мой и учитель дон Ефраим, насколько менее надежной станет иудерия, если даст мне приют?

Эфраим ответил:

— Да не помыслим мы в дни бедствия закрыть наши ворота перед человеком, сотворившим нам столько блага.

Иегуда, раздираемый противоречивыми чувствами, спросил:

— Твое приглашение относится и к донье Ракель?

Эфраим после минутного колебания ответил:

— Оно относится и к твоей дочери.—Он настаивал:— Дело идет о твоей жизни, дон Иегуда, ты умен и знаешь это не хуже меня. Может быть, мы заплатим кровью за твое спасение; ты это сказал, и я не спорю с тобой. Но мы убеждены, что эта жертва будет угодна богу. Ты по доброй воле, поставив все на карту, вернулся к нашей вере. Прошу тебя, забудь сейчас свою гордыню. Дай нам возможность воздать тебе добром за добро.

Иегуда сказал:

— Вы готовы идти на жертвы, и я чувствую соблазн принять ваше предложение. Ибо сердце мое исполнено страха, я не отрицаю. Но что-то внутри удерживает меня. Я мог бы солгать себе и вам, сказав, что не хочу подвергать вас опасности; но не в этом дело. И не в моей гордыне. Прошу тебя, верь мне. Это гораздо глубже. Видишь ли, совсем недавно король принудил меня поста-

вить мою печать рядом со своей под тем дерзким посланием к халифу. И тогда я снова понял: моя судьба навеки связана с царем Эдома. Я играл крупную игру и не хочу бежать в день расплаты.

— Обдумай еще раз,—заклинал его Эфраим.— Скрыться в гуще народа, веру которого ты принял, хотя это стоило тебе жертв, не значит убежать от Адоная. Время не терпит, дон Иегуда. Может быть, завтра ты уже не успеешь покинуть этот дом. Идем со мной. Возьми твою дочь и идем со мной.

— Ты мужественный и добрый человек, дон Эфраим,—сказал Иегуда,—и я благодарен тебе, да умножит господь твою силу. Но сейчас я не могу решиться. Я знаю, время не ждет. Но я должен слушаться только собственного сердца, сейчас я не могу уйти с тобой.

Эфраим был глубоко опечален.

— Позднее я еще раз пришлю за тобой посланца,—сказал он,—и, надеюсь, ты передумаешь и придешь к нам, ты и твоя дочь. Да склонит всемогущий твое сердце к правильному решению.

— Пока ты не ушел, господин мой и учитель Эфраим, позволь мне попросить тебя об одном,—сказал Иегуда, сделав над собой усилие.—Мой внук в надежном убежище, но я не знаю, долго ли оно будет надежным. Я даже не знаю точно, где сейчас ребенок. Единственный, кто это знает,—знакомый тебе Ибн Омар. Ты разыщешь его, когда страсти улягутся. Ибн Омар человек разумный, ему известны мои намерения и моя воля, он даст тебе во всем отчет. Царь Эдома хочет сделать своего сынка, моего внука, графом Ольмедским. Не допусти, чтоб король отыскал мальчика. Не допусти, чтоб он сделал из него мешумада. Пусть мальчик не знает, какого отца он сын. Береги его от Эдома и от веры эдомской.

— Я выполню это,—обещал дон Эфраим,—а когда придет нужное время, я скажу мальчику, что он Ибн Эзра.—Он повернулся, чтобы идти.—Храни тебя бог, Иегуда,—сказал он.—Я тебе верный друг. Если нам опять доведется поспорить, вспомни об этих минутах, и я тоже вспомню. А если нам не суждено свидеться, знай, что тысячи из твоего народа благословят твою память. Мир да будет с тобою, Иегуда.

— Да будет мир с тобою, Эфраим,—ответил Иегуда.

После ухода Эфраима Иегуда долго сидел с опустошенной душой. Он не раскаивался, что отклонил предложение, он был мужественным человеком. Но он много раз видел, как умирают, и хорошо знал, что ему грозит. Он знал: арабское слово, называющее смерть погубительни-

цей всего сущего, не пустой звук, и не стыдился, что его охватывает дрожь при мысли о черной бездне, которая ожидает его.

Для него было облегчением, что Эфраим не счел его ответ окончательным. Его одолевали все новые тревожные думы. Ведь он увлекает к гибели и дочь. Он должен спросить ее, раньше чем окончательно решать. Он подчинится ее выбору.

Ничего не смягчая, сказал он ей, что здесь, в Толедо, их на каждом шагу поджидает смерть и что Эфраим предложил им убежище в иудерии.

Ракель знала о поражении дон Альфонсо, но только теперь, из слов отца, она поняла, как огромно это несчастье. Она испытывала безумный страх за себя и отца, но еще сильнее была в ней жалость к дону Альфонсо. Как переживет поражение этот рыцарь, этот король — лучезарное воплощение победы? Она думала с ласковой усмешкой: «Не придется ему, бедному, неудачливому, показать мне мою Севилью». И перед ее мысленным взором вставало его лицо — упрямое, гневное, исполненное горькой скорби. И в то же время все внутри нее ликовало: «Теперь он скоро, очень скоро вернется в Галиану. Он обещал. И не будет на нем железной кольчуги, и слова мои проникнут к нему в самое сердце».

Не колеблясь, сразу как Иегуда окончил свою речь, она сказала:

— Мне нельзя уйти в иудерию, отец. Дон Альфонсо приказал мне ждать его в Галиане.

Иегуду больно задело, что она не думает ни о чем, кроме желания дон Альфонсо. Он сказал:

— Раз такова твоя воля, дочка, я тоже не пойду в иудерию.

Но сказал он это не так решительно, как раньше, и при этом он не спускал испытующего взгляда с ее кроткого лица. В нем еще теплилась надежда, что она возразит: «Нет, отец, я не хочу, чтоб ты умер. Я хочу, чтоб ты жил. Я повинуюсь тому, что ты решишь». Но она не сказала ничего, и он с горечью думал: «Я сам отдал ее этому человеку. Я толкнул ее в объятия этого человека. Я не смею жаловаться на то, что сейчас она не противится его желанию, пусть даже это грозит мне смертью».

И вдруг, вся просветлев, она попросила:

— Лучше ты приходи жить ко мне, отец. Приходи жить в Галиану.

Иегуда догадывался, что творится в душе дочери, все отражалось на ее подвижном лице. Она поняла, какая опасность грозит им обоим, но вопреки всему считала Галиану надежным приютом; иначе Альфонсо не велел бы ей ждать его там. Он, Иегуда, знал: это пустая мечта и

заблуждение; он знал: она навлекает опасность на него, он на нее, она бессильна помочь ему, он—ей, но какое утешение быть вместе в смертный час! И он не стал разрушать ее мечту.

Он согласился сегодня же, как стемнеет, уйти к ней в Галиану.

Он позвал с собой Мўсу. Тот счел вполне понятным, что Ракель хочет остаться в Галиане, а Иегуда—быть вместе с дочерью. Но для него лично, сказал он, пожалуй, нет смысла при существующих обстоятельствах менять место.

— Оставь меня здесь, при книгах,—попросил он.— Не годится оставлять их без охранителя. Пожалуй, было бы хорошо,—подумав, сказал он, и лицо его оживилось,—отправить две-три наиболее ценные рукописи в иудерию. Как хорошо, что сефер хиллали уже там.

После раннего ужина Иегуда и Муса сидели вместе, пили, вели беседу. Они вдыхали аромат многих лет, проведенных вместе. Они говорили о своем бедственном положении с деловитостью многоопытных людей. Они говорили с мягкой, насмешливой почтительностью о смерти.

Муса стоял за своим налом, чертил круги и арабески и говорил:

— Нет, не созвездие, под которым родился дон Альфонсо, привело его и нас к такому печальному исходу, а его природа, его рыцарство. Рыцарство и чума—самые страшные бичи, которыми бог карает свои создания.

Иегуда не мог удержаться, он должен был рассказать другу, в каких теплых словах отзывался дон Эфраим о его, Иегудиных, заслугах.

— Теперь наконец евреи поняли,—сказал он со сдержанной гордостью,—что я помогал им не ради славы, богатства и почета.

Муса добродушно прибавил:

— Я все это видел и знаю, что часто ты действовал не только из честолюбия, но также из побуждений великодушного сердца.—И он пояснил со свойственной ему приветливой назидательностью:—Действия людей, говорит Гиппократ, так же как их болезни, редко проистекают от одной причины, более того—у каждого отдельного действия есть много корней.

Иегуда с улыбкой ответил:

— Ты не щедр на похвалы, друг мой Муса.

Беседа их чуть сочилась. Обычно слова легко лились из их уст, теперь, по мере того как приближалось время расставаться, слова падали все реже. Когда Иегуда встал, друзья окончательно замолкли и только пожали друг другу руки.

Но затем Муса невольно и неловко обнял Иегуду; никогда раньше он этого не делал. А когда Иегуда ушел, он еще долго стоял все на том же месте, опустив руки, и упорно глядел в землю.

Когда Иегуда на следующее утро проснулся в Галиане, он в первое мгновение ничего не мог понять. Потом сообразил, где он и что угрожает этому дому. Однако теперь страх его прошел, душу его охватил огромный покой, он чувствовал ту покорность судьбе, которую так часто восхвалял Муса.

Он закрыл глаза и еще немного полежал совсем тихо. Из патио доносился щебет птиц, два тоненьких лучика пробрались сквозь щели в ставнях и скользнули по его лицу. Он лежал, наслаждался тишиной. До этого дня он всегда думал, что должен высчитывать и соображать и за себя и за других; и вот наконец он отдыхал и чувствовал, что такое покой, чувствовал всеми порами своего существа, нежился в нем.

Он встал, искупался, начал одеваться, не спеша, тщательно. Бесшумно обошел дом и сад. Увидел еврейские и арабские изречения на стенах. Увидел, что кто-то разбил стекло мезузы и засыпал цистерны рабби Ханана. На мгновение в нем вспыхнула дикая, злобная ревность. Но он тут же покачал головой, сам себя осуждая, и его недовольство превратилось в умудренную радость, что в эти последние дни Ракель принадлежит ему, а не тому, другому.

Он сидел на берегу прудика в усталой позе, как сидел тогда на ступенях водомета. Наслаждался тем, что ему не нужно больше думать о будущем, принимать решения. Взвешивал то, что было пережито, и в воспоминании все казалось хорошим, и радость и горе. Он вспомнил богобоязненный, фанатичный, презрительный взгляд рабби Товия и не почувствовал ни гнева, ни стыда.

Думал он и о своем сыне Аласаре. До сих пор он силой воли запрещал себе вспоминать его. Ни один мускул не дрогнул в его лице, когда он услышал, что оруженосец короля убит в бою под Аларкосом, он не стал расспрашивать, для него сын умер уже давно. Сейчас, сидя на берегу пруда в Галиане, он думал о сыне с печалью, не с ненавистью.

Пришел слуга и позвал его к дочери. За завтраком они вели приятную неспешную беседу. Ни одним словом не обмолвились об опасности. Сюда, в Галиану, не доходило смятение, охватившее Толедо. Их окружали мир и тишина. В доме и в саду царил порядок, для них были приготовлены разнообразные яства, безмолвные слуги ждали приказаний.

Не прошло и нескольких часов, а им казалось, что они уже не одну неделю прожили здесь вместе. Они гуляли по саду или наслаждались прохладой покоев, искали общества друг друга и снова расставались.

Жить им осталось еще три дня, но они этого не знали. Они видели, как солнечные часы отсчитывают минуты, как подвигается тень от стрелки, и в глубине души Иегуда знал: отсчитываются их последние минуты; но он не допускал, чтобы это сознание смущало их мудрый покой.

Ракель, со своей стороны, упорно и не раз думала о своем разговоре с отцом и знала, что им грозит. Но она не хотела этому верить. Альфонсо сказал: жди меня. Альфонсо придет. Не может быть, чтобы смерть, погубительница всего сущего, коснулась ее до того, как придет Альфонсо. Она поднималась на вышку, откуда видна была дорога, спускавшаяся из Толедо. Она ждала с горячей верой.

На второй день в Галиану с опасностью для жизни пришел посланцем от дона Эфраима дон Вениамин. В горячих словах заклинал он Иегуду и Ракель укрыться за надежными стенами иудеи. Иегуда испытывал мучительную радость от этого последнего искушения. Но Ракель сказала кротко и решительно:

— Дон Альфонсо повелел мне остаться здесь. Я останусь. Ты, мой друг дон Вениамин, поймешь меня.

Хотя ее слова ранили Вениамина в самое сердце, он понял Ракель. Она прилепилась душою к этому рыцарю, царю Эдома, мужу брани по самой своей природе. Его блеск не потускнел для нее, несмотря на беды, которые его нечестивое, зря растраченное геройство навлекло на полуостров. Она по-прежнему любила его, по-прежнему в него верила, она отказалась от предложенного иудеи убежища, потому что он властно сказал ей несколько ласковых слов. Мало того: Вениамин не мог себе представить среди обитателей иудеи донью Ракель, ту Ракель, что стояла сейчас перед ним, кроткая и гордая. Ей не было бы проходу от зависти, вражды, неприязненного восхищения, злословия, любопытства. Нет, нельзя себе представить ее среди этого мелочного злопыхательства.

Он сказал:

— Я не буду дольше убеждать тебя, донья Ракель, и тебя, дон Иегуда. Но позвольте мне остаться здесь до ночи. Потом я возвращусь в иудею без вас.

Он остался, он был ненавязчивым, деликатным гостем. Он угадывал, когда Иегуда хотел побыть с дочерью наедине, и опять появлялся в нужную минуту. Они то сидели все трое вместе, то Иегуда удалялся с доньей Ракель

в ее покой, то Вениамин гулял с ней по усыпанным гравием дорожкам сада.

Ракель была молчалива, но ее молчание казалось Вениамину красноречивее слов. Он попытался ее нарисовать. Отказался от этой мысли. Состязаться с богом, сотворившим такое совершенство, слишком самонадеянно. Кто дерзнул бы помыслить, будь он даже архиискусным мастером, передать внутреннюю гармонию доньи Ракель, глубокую созвучность тела, лица, движений? На ней раскрывалось учение Платона: «Прекрасное не выше других идей, но оно светится через глаза, самый светлый орган наших чувств, светится ярче, чем все остальные идеи через телесную оболочку». Ракель — это символ, символ того, что возвышает человека и делает его счастливым. Каждый, мимо кого она проходит, должен стать лучше. Один этот грубый рыцарь, король, не стал лучше, и потому одного его Вениамин ненавидел в этот день. Он болезненно ощущал, что Ракель все еще надеется очеловечить этого бесчеловечного человека, и за эту ее детскую, нерушимую веру Вениамин любил ее еще сильнее.

Днем Иегуда и Вениамин сидели на берегу пруда. Было очень жарко, но здесь жара была как будто менее тягостна; они опустили ноги в воду и наслаждались прохладой. И было это в предпоследний день перед смертью Иегуды.

И Иегуда попросил:

— Скажи мне, мой молодой, начитанный в Писании и сведущий в науках дон Вениамин, как думают твои учителя и как думаешь ты сам, есть ли загробная жизнь?

Дон Вениамин следил за хороводами комаров над прудом, видел, как упал в воду лист, поплыл, закрутился. Он обдумал ответ. Сказал:

— Наш господин и учитель Моисей бен Маймун учит: бессмертие дано только «познающей части» человека. Только «приобретенный разум» переживает тело, только та благороднейшая частица человеческой души, которая честно и успешно трудилась над познанием истины. Так учит Моисей бен Маймун.

Минутку он помолчал, потом прибавил:

— А в Талмуде сказано: «Ради мира можно пожертвовать даже истиной».

Наступил вечер. Вениамин медлил и не уходил. Но вот уже бледный тонкий месяц стал ярче, пора уходить!

Иегуда и Ракель проводили его до ворот.

— Мир да будет с вами,—сказал он.

На повороте полого идущей в гору дороги он обернулся. В смутном свете мерцала надпись: «Алафия — мир входящему!» Иегуды и Ракели уже не было у ворот.

Все яростнее разгорались страсти толедского народа, жаждавшего покарать виновников поражения под Аларкосом. Только немногие не поддавались дикой вспышке фанатизма, которым был насыщен воздух. Евреев, появившихся вне крепких стен иудеи, избивали, несколько человек было убито. Пострадали и крещеные арабы. Принимались строгие меры к охране населения.

Королева призвала дону Гутьере де Кастро.

Она сомневается, сказала она с вкрадчивой мягкостью, можно ли и дальше поручать охрану жителей, которым грозит опасность, кастильским солдатам. Они обозлены, так как потеряли братьев и сыновей, и не склонны защищать тех, кого народ, правда, несправедливо, считает виновниками несчастья. Поэтому арагонец скорее водворит в городе порядок.

— Окажи ты мне эту услугу, дон Гутьере! — попросила она. Она смотрела ему прямо в глаза своими зелеными глазами и теребила при этом перчатку. — Я знаю, — продолжала она, — это задача не легкая и, возможно, нельзя будет охранить всех, ведь их много тысяч, я представляю, что могут быть случаи, когда лучше пожертвовать одним ради спасения многих.

Барон де Кастро задумался. Потом со свойственной ему медлительностью ответил:

— Мне кажется, я понял тебя, государыня. Я постараюсь оправдать твоё доверие.

Он поклонился глубоко и почтительно и чуть ли не с нежностью взял перчатку.

Не успел барон де Кастро уйти, как королеве доложили о приходе каноника. Дон Родриго все еще был под властью того неукротимого негодования, которое уже раз привело его к ней. С гневом и болью убеждался он в своей беспомощности перед лицом того мрачного безумия, которое вспыхнуло в городе. Он пришел, чтобы снова увещевать королеву, чтобы побудить ее принять меры.

В настойчивых словах требовал он, чтобы она оградила невинных. Она ответила ему полным величия любезным упреком:

— Неужели, высокочтимый отец и друг, ты и вправду думаешь, что бог посадил на кастильский престол такую бездарную королеву, которая нуждается в указаниях? Что можно было сделать, сделано. Я не потребовала от альхамы ни одного человека для охраны городских стен, евреям оставлены для самозащиты их вооруженные люди. Кроме того, из разумной предосторожности я поручила охрану всех, кто находится под угрозой, арагонцам, ибо опасаясь, что тот или другой кастильский рыцарь не захочет принять быстрых и решительных мер против нарушителей порядка. Ты удовлетворен, дон Родриго?

Каноник знал, что гнев толедского населения прежде всего грозит дону Иегуде, и охотно спросил бы и о нем. Больше всего ему хотелось пойти в кастильо, и не только из дружеских чувств к Иегуде; все сильнее росло в нем желание обсудить с мудрым Мусой то страшное, что творилось вокруг. Но разве не наложил он на себя епитимью за то человеколюбие, которое в теперешнее время было ему запрещено, и не дал обещания не ходить в кастильо? И то, что он сейчас беспокоится о Иегуде, может быть, это только предлог, чтобы пойти в кастильо? Кто-кто, а многоопытный дон Иегуда сумеет защитить себя. Кроме того, совершенно невероятно, чтобы кастилец мог покуситься на жизнь и достояние члена королевского коронного совета. В присутствии доньи Леонор, смотревшей на него надменным, чуть насмешливым взглядом, ему показались особенно нелепыми его опасения по поводу эскривано. Он поблагодарил королеву за ее предусмотрительность и удалился.

Дон Гутьере де Кастро, ревностно и усердно исполняя данное ему поручение, прежде всего проверил, как обстоит дело с крещеными арабами. Они жили в своих обособленных кварталах, расположенных вокруг их трех церквей, по большей части это был мелкий люд. Вряд ли для черни представляла какой-нибудь интерес возня с ними, их скоро оставили в покое. Все же стены и ворота их кварталов были недостаточно крепки, и барон де Кастро предоставил им два небольших отряда. Затем он удостоверился в прочности стен и ворот иудерии. И то и другое было прочно, беспорядочная толпа едва ли могла бы ворваться внутрь. Все же де Кастро спросил парнаса, не дать ли ему вооруженных людей. Дон Эфраим вежливо поблагодарил и отказался.

Еврейские кварталы, расположенные вне стен иудерии, опустели, осталось несколько стариков и детей. Во многих пустых домах поселились беглецы-христиане. Дома, в которых было чем поживиться, были разграблены. В синагоге все было разбито вдребезги. На *альмеморе*, возвышении, с которого по субботам читалась тора, какой-то шутник водрузил куклу — чучело старого еврея; де Кастро расхохотался от всего сердца.

Здесь ему было мало работы, зато выполнить взятое им на себя поручение казалось ему гораздо труднее, когда он стоял перед кастильо.

Он часто стоял там. Многие стояли там часто. Проникнуть в иудерию они не могли, а марать руки о жалкую подозрительную мразь, что осталась за ее стенами, не стоило, поэтому толедских жителей все сильнее тянуло обрушить свой священный кастильский гнев на пышный, полный сказочных сокровищ дом еврея. Надо разгромить

дерзостно-вызывающий в своем великолепии кастильо Ибн Эзра. Надо поймать обманщика и предателя, засевшего там, и раздавить этого ядовитого паука вместе с его дочкой, колдуньей, околдовавшей короля. Это — угодное богу дело, истинная услада для сердца и души в нынешнее безвременье. Итак, когда бы барон де Кастро ни проходил мимо дома Иегуды, всегда там толпились люди, с завистью и вожделением глядевшие на его стены.

Медленно и неуклюже ворочались мысли в мозгу барона де Кастро. Неужели у еврея хватит наглости и сейчас жить здесь, в этом доме? Еврей, конечно, трус, но он много мнит о себе и любит чваниться, очень возможно, что он еще здесь. Дом принадлежит ему, Гутьере де Кастро, этот кастильо де Кастро, его предки отвоевали его сто лет назад у мусульман. Это и теперь его, Гутьере де Кастро, дом, так сказала и донья Леонор. Когда война разгорится, сказала она, тогда еврея вышвырнут вон. Едва ли война может разгореться сильнее, а что битва проиграна, в этом, конечно, виноват злокозненный еврей, и просто непереносимо, чтоб он и дальше нагло роскошествовал в кастильо. Всем другим евреям, многим тысячам, грозит расправа из-за этого одного негодяя и архипредателя. Не то чтоб ему, Гутьере де Кастро, было их жаль, но он взял на себя их охрану, и донья Леонор настойчиво приказывала ему лучше пожертвовать одним, чем подвергать опасности тысячи.

Проходя мимо дома, барон де Кастро, как и другие, останавливался и ждал. Все ждали, угрожающе ждали. Никто не хотел быть первым, первым поднять руку на дом всемогущего эскривано.

Все чаще проходил барон де Кастро мимо дома. Дом притягивал его. Всегда он видел ту же картину: люди стояли перед домом, глухо роптали, ждали.

Но как-то он еще издали слышал громкие, беспорядочные крики. Он ускорил шаг. И что же? Кучка смельчаков, и довольно большая, стучала в крепкие ворота. Они колотили по железу тяжелыми дубинами, и резкий звук властно прорывался сквозь крики. Но привратник не приходил. В конце концов кто-то подставил плечи, кто-то вскарабкался на них и полез на стену. Быстро под громкие ликующие крики очутился он наверху. Исчез за стеной. И тут же открылась калитка в воротах, в ней появился хохочущий, торжествующий непрошенный гость и с вежливыми ужимками, паясничая, пригласил войти остальных.

Де Кастро стоял и раздумывал. С ним было несколько его солдат, он без большого труда мог защитить ворота и удержать толпу, пока не подоспее подкрепление. Но ведь ему было приказано пожертвовать одним ради спасения

многих? Он смотрел и ничего не предпринимал, и все больше народу протискивалось сквозь узенькую калиточку внутрь.

В конце концов и он пошел за остальными. Крикуны, очутившись во внешнем дворе, приумолкли. Никого из обитателей не было видно, никого из многочисленной челяди, ни писцов, ни прочих служащих. Вошедшие смущенно пробрались вдоль стен, робко открыли вторые ворота, ведущие во внутренние покои. Они остановились ошеломленные, тупо смеясь, в изумлении глядя на окружающее их безмолвное великолепие. Пробрались дальше. Нечаянно опрокинули вазу, другую. Они разбились. Кто-то взял из ниши бокал дорогого стекла, швырнул об пол, бокал не разбился на мягком ковре. В ярости человек сорвал ковер, увидел каменный пол, грохнул бокал о камень, стекло разбилось с громким звоном.

Появился испуганный слуга, мусульманин. Он хотел что-то сказать, успокоить, урезонить толпу, может быть, он хотел сказать, что хозяина нет дома. Его не услышали в общем гвалте, не захотели услышать, ударили по лицу, пихнули — сначала робко, потом со злобой. И вмиг он уже лежал на полу весь в крови, задыхаясь. Чернь ликовала. Она бесновалась. Кромсала, колотила, крушила все, что можно было раскромсать и расколотить.

Де Кастро словно оцепенел. Это его дом. Война в разгаре, и донья Леонор сказала, что это его дом. Еврея, засевшего здесь, кажется, нет, а может быть, он притаился где-нибудь в укромном углу. Там видно будет! Наконец-то это опять его дом, дом барона де Кастро. И это очень богатый дом. Это нечестивый, языческий дом. До чего обнаглел еврей! До чего изгадил его хороший, рыцарский, христианский кастильо!

Барон де Кастро медленно, твердо ступая, гремя оружием, прошел через зал, поднялся на маленькое возвышение, остановился в открытой дверце балюстрады, отделявшей его от остального зала. Широкоплечий и коренастый, стоял он там в позе, освященной традицией: расставив ноги, опершись обеими руками на меч, твердо, прочно. Своими глубоко запавшими глазами он с наслаждением смотрел на людей, что освобождали его дом от той мерзости, которой запакостил его еврей.

Тем временем в ограду устремились новые толпы, теперь ворота были распахнуты настежь. Обширный тихий дом, его залы и небольшие покои, его дворы и спальни вдруг наполнились орущими, разъяренными людьми. Некоторые совали в карман то, что казалось им ценным. Но большинству было не до того, их обуяло желание все разбить, все разрушить. Они искали еврея, но его не было, трус скрылся. Нашли только двух перепуган-

ных слуг, на которых можно было сорвать злобу. Но зато в доме осталось еврейское добро, драгоценные богомерзкие вещи, ради которых еврей ограбил и предал страну. Все с озлоблением набросились на вещи. Кромсали, крушили, колотили, колошмафили, остервенело, испуганно, не помня себя от радости.

Их безумие захватило и барона де Кастро. В нем тоже все бушевало: «Не оставить тут камня на камне! Разорить все дотла! Истребить эту изнеженную, пышную, еврейскую, женственную, языческую роскошь!» И, не вынимая меча из ножен, он принялся крушить хрупкие очаровательные предметы и с криком «А lor! А lor!» накинудся на изречения на стенах, выламывая изящные пестрые изразцы.

К нему молча подошел худошавый человек в одежде священнослужителя, тронул за локоть; это был дон Родриго.

Обычно каноник предпочитал сделать крюк, только бы не пройти мимо кастильо: он боялся соблазна. Но сегодня он услышал громкие, дикие вопли, страх привел его сюда. Он увидел распахнутые настежь ворота, увидел, как ломилась в них с яростным криком толпа. Пошел за ней. Она расступилась перед священнослужителем, и теперь он схватил за руку человека в полном вооружении, который, хоть и был явно рыцарем, принимал участие в погроме.

Когда рыцарь обернулся и каноник увидел его испуганное, злое лицо, он сказал:

— Я дон Родриго, член коронного совета.

Барон де Кастро вызывающе усмехнулся:

— А я, досточтимый отец, дон Гутьере де Кастро, глава рода, по имени которого называется этот дом.

Дон Родриго вспомнил об охранительных мерах, принятых королевой. Смутное подозрение шевельнулось у него в душе.

— Ты позволяешь им громить и грабить?—спросил он.

— Неужели добрым кастильцам церемониться, когда они ищут предателей? Раз погиб цвет христианского рыцарства, что уж тут сокрушаться о каких-то еврейских коврах и пергаментных свитках!

Родриго спросил:

— Это тебе дан приказ охранять тех, кому грозит опасность?

Гутьере спокойно посмотрел в лицо канонику.

— Да,—ответил он,—и я с чистой совестью могу вернуть королеве перчатку. Я точно выполнил ее приказ: предоставил народу сорвать свой гнев на одном, виновном, и спас огромную массу тех, кого подозревают понапрасну.

Родриго был потрясен, не верил своим ушам:

— Ты говоришь, тебе был дан такой приказ?

— Так повелела королева,—ответил Гутьере де Кастро.

— Что с доном Иегудой? С эскривано ничего не случилось?—спросил, охваченный внезапным страхом, Родриго.

Барон де Кастро с презрением выразительно пожал плечами.

— Здесь, во всяком случае, нет,—ответил он.— Обрезанный пес, кажется, сбежал.

У Родриго отлегло от сердца. Как он думал, так и вышло: дон Иегуда укрылся в надежном месте.

Он собрался с духом.

— Ты крестоносец,—сказал он.— Как служитель церкви увещаю тебя: положи конец позорному бесчинству.

Барон де Кастро огляделся и увидел, что почти ничего не осталось в целости.

— Священнослужителю пристала кротость,—сказал он с учтивой насмешкой и приказал своим людям выпроводить из дома незваных гостей. Приказание было исполнено.

Дон Гутьере вежливо попрощался с каноником, еще раз посмотрел на содеянное и удалился, преисполненный радостной надежды снова превратить это место языческой роскоши в кастильо де Кастро.

Родриго остался в разгромленном доме. Он слышал, как уходили последние, как закрылись с глухим шумом большие ворота. Вдруг наступившая тишина мучительно отозвалась в его сердце. Он почувствовал болезненную, тяжелую усталость и сел на пол тут же, среди осколков и обломков. Просидел долго. Встал; с трудом волоча ноги, прошел по знакомым покоем. Отовсюду на него глядели дыры, трещины, обломки. Он обошел опустелый дом; не отдавая себе отчета—почему, он старался ступать как можно тише. Он подбирал с полу осколки, обломки мебели, обрывки тканей, смотрел на них, качал головой. На полу валялась книга, грязная, разодранная. Он поднял ее, попробовал расправить листы, сложить разорванные страницы, машинально прочитал название—это была «Этика» Аристотеля.

Он дошел до полукруглой галереи. Здесь так часто сживал его друг Муса, удобно откинувшись на подушки, и беседовал с ним. Что случилось теперь с Мусой? Вот здесь был налой, стоя за которым он так охотно бросал через плечо умные, кроткие, насмешливые слова. Налой был разрублен. Кто-то постарался разрубить топором крепкое,

ценное дерево. Многие цветные буквы в изречениях были разбиты и попадали на пол. Машинально прочитал он слова: «Человек не лучше скота». Заметил, что из слова *хабахемах*—«скот» выбиты буквы *бет* и *мем*, три буквы *хе* каким-то чудом уцелели.

Родриго опять присел на пол, закрыл глаза. Со двора доносилось равномерное журчание водометов.

Показалось ему или действительно в саду послышались осторожные, крадущиеся шаги? Он не ошибся. И вдруг перед ним возникло милое, уродливое, умное, хорошо знакомое лицо, слегка насмешливое, несмотря на все горе, и послышался спокойный, монотонный голос Мусы:

— Как хорошо, что после стольких шумных гостей остался только ты, мой тихий, высокочтимый друг.

От волнения счастливый Родриго не мог говорить; он взял руку друга и погладил.

— Я пришел слишком поздно,—сказал он наконец.— Да я, верно, и не сумел бы унять смутьянов. Но ты жив!—сказал он.

Муса никогда бы не подумал, что голос дона Родриго мог звучать так тепло. Родриго все еще держал Мусу за руку, они посмотрели друг на друга, улыбнулись, рассмеялись.

Потом каноник спросил о Иегуде. Когда Муса сказал ему, что тот в Галиане, у дочери, Родриго вздохнул с облегчением.

— В доме, принадлежащем королю, он в безопасности,—заметил он.— Но все же предосторожности ради я сегодня же пойду к донье Леонор и потребую, чтобы в Галиану была послана надежная стража. А теперь, друг мой Муса,—сказал он необычным для него властным тоном,—идем со мной, и пока в городе не наступит спокойствие, ты будешь жить в моем доме.

— Мне уже раньше следовало прийти к тебе,—ответил Муса,—но я думал: в нынешние времена старый еретик-мусульманин неудобный гость.

— Прости, мой мудрый друг,—возразил Родриго,—это первые неразумные слова, которые я от тебя слышу. Пойдем,—позвал он его.

Но Муса попросил немного подождать.

— Мне надо взять мою летопись и несколько книг,—объяснил он.

С торжествующе хитрой улыбкой сообщил он другу, что две самые ценные рукописи—«Жизнеописание» Авиценны и афинскую рукопись «Республики» Платона—он отправил в иудерию. Затем он шмыгнул в подвал и вернулся, радостно улыбаясь во весь рот, с рукописью своей исторической хроники под мышкой.

Те, кто бесчинствовал в кастильо, не расходились. Они были разочарованы, что не удалось заодно уничтожить предателя и ведьму. Они двинулись к иудерии и потребовали, чтобы им выдали Иегуду и Ракель, но люди, на слова которых можно было положиться, сказали, что в иудерии их нет.

Досада на то, что они ускользнули, росла. Пока они живы, они отравляют Кастилию своим дыханием; долг каждого доброго кастильца отправить их на тот свет. Бог уже возвестил им свою кару, им обоим. Ведь сын, которого еврейка родила королю, нашему государю, таинственным образом исчез — об этом рассказывал садовник из Галианы, некий Белардо. Верно, бог прибрал его в наказание за смертный грех. А кроме того, говорят, будто еврейка еще несколько месяцев тому назад выудила из Тахо череп.

Кто-то вспомнил, что тот же садовник Белардо рассказывал, будто ведьма по-прежнему живет как ни в чем не бывало у себя в Галиане; мало того, она еще и отца к себе взяла. Многие не хотели верить в такую сатанинскую наглость. А что, если пойти поглядеть, предложил кто-то. Это было и соблазнительно и страшно. Толпа колебалась. Кастильо принадлежал еврею, Галиана принадлежит королю. Пожалуй, пойти в Галиану можно, а там на месте посмотрим, — согласились некоторые. Предложение понравилось.

Первые уже стали спускаться к мосту. Они шли не спеша, к ним присоединялись все новые и новые, уже их было несколько сотен, может быть тысяча.

Медленно, распарившись от жары, перешли они главную площадь, Сокодовер. Их спрашивали, куда это они собрались, они отвечали; вокруг смеялись, шутили. У главных городских ворот стража спросила:

— Куда идете?

Они ответили:

— Идем посмотреть, где они, сами знаете кто.

И стража тоже засмеялась. С башен большого моста солдаты спросили, куда они, и когда им объяснили, они тоже засмеялись.

Итак, тысячная толпа спустилась под палящим солнцем с горы. К ней приставало все больше и больше народа, теперь их было, верно, уже около двух тысяч.

Гутьере де Кастро узнал о происходящем. С несколькими людьми поскакал следом за толпой, перегнал ее, опять пропустил вперед, опять перегнал, еще раз пропустил вперед. Медленно шевелились смутные мысли в его мозгу. «Я должен охранять королевское достояние, — думал он, — но если готова свершиться божья кара,

христианский рыцарь не должен становиться на ее пути». И еще: «Я буду действовать, как мне приказано. Не буду охранять изменника и ведьму, подвергая опасности сотни тысяч толедских евреев. Но королевское достояние охранять буду,—решил он,—это мой долг».

х

После ухода Вениамина Ракель и Иегуда продолжали ту же празднично-радостную жизнь. Они тщательно одевались, долго просиживали за столом, после захода солнца гуляли в саду, вели неспешные беседы.

Кормилица Саад с искаженным от страха лицом первая принесла весть, что идут неверные—да покарает их Аллах,—что теперь делать? Иегуда сказал:

— Молчать и покориться судьбе.

Они ушли во внутренние апартаменты, к Ракели, в небольшую комнату с возвышением, как полагалось в покое у знатной дамы. Иегуда надел свою нагрудную пластину—знак занимаемой им высокой должности. В комнате стоял сумрак, и от сырого войлока, которым были обиты стены, исходила прохлада. Здесь они сидели и ждали тех, что приближались к их дому.

Толпа подошла к белым стенам, опоясывавшим владение. Из калитки в воротах выглянул привратник, у него на камзоле был выткан королевский герб—три башни. Толпа заколебалась, не знала, что делать. Все глядели на барона де Кастро. Он подошел, как всегда, большими шагами, тяжело ступая, сказал:

— Мы хотим посмотреть. Только этого мы и хотим. Мы не нанесем ущерба тому, что принадлежит королю. Со мной моя стража, и я никому не позволю нанести ущерб достоянию его королевского величества и никому не позволю топтать клумбы в саду.

Привратник был в нерешительности. А тем временем кое-кто перелез через невысокую стену; не причинив привратнику вреда, его оттащили от ворот, де Кастро прошел в ворота, за ним его стража, за ней вся толпа.

Люди шли осторожно, дивясь на сад, на посыпанные гравием дорожки, на замок. И вдруг как из земли вырос Белардо. Он был в кожаном колете, в кожаном шлеме и с дедовской алебардой.

— Вам, благородный рыцарь, угодно видеть донью Ракель?—услужливо спросил он.—Наша госпожа в своих покоях, на возвышении. О вас, благородный рыцарь, уже доложено? Прикажете мне доложить?—не умолкал он.

— Веди нас к ней,—сказал де Кастро.

Они пошли за Белардо в дом—де Кастро, его солдаты, кое-кто из толпы, очень немногие. Вошли в комнату Ракели. И вдруг почувствовали, что знойный сад, ослепи-

тельно-белые стены, пыльная дорога, по которой они шли, пот и крики остались далеко позади,—в покое, убранном на чужеземный лад, стояли тишина, прохлада, сумрак. Вошедшие жались в дверях, отрезвев.

Возвышение, на котором сидели Иегуда и Ракель, отделялось от остального покоя низкой балюстрадой с широким проходом посередине. При их появлении Иегуда медленно поднялся; он стоял, слегка опершись одной рукой на балюстраду, и смотрел на незваных гостей равнодушно, почти насмешливо—так, по крайней мере, показалось де Кастро. Ракель не встала. Она сидела на диване и из-под вуали, наполовину прикрывавшей ее лоб, спокойно смотрела на де Кастро и его стражу. Со двора доносилось тихое журчанье фонтана, слышался отдаленный, глухой рокот толпы. Те, что остались в саду, повторяли все время одно и то же, но понять их слова было невозможно. Де Кастро понял, он знал—они кричат: «Так хочет бог!» и «Matad, matad! Убей их!»

Иегуда видел грубые лица солдат и их начальника, он видел хитрого, трусливого, угодливого, глупого садовника Белардо и даже жажду убийства, написанную у него на лице, он догадывался, что означают крики за стеной дома, он знал—ему осталось жить несколько минут. Его душил страх. Он попробовал прогнать страх силою мысли. Ко всем приходит губительница всего сущего, он сам захотел, чтобы она пришла к нему здесь и сейчас. Он покончил счеты с жизнью уже несколько дней назад. Много суетного было в том, что он делал, а хорошее он делал часто потому, что хотел возвыситься среди людей. Но ему это было позволено. Он *был* выше других людей. Иегуда видел изречения на стенах, они восхваляли мир. Он в течение долгих лет охранял мир и процветание полуострова. И даже смерть его будет во спасение многим. Жалкие убийцы скоро расскаются в содеянном; они не осмелятся погубить других, он умрет ради спасения франкских беженцев. Леденящий страх опять подавил в нем мысль. Но на лице его сохранялась все та же спокойная, слегка насмешливая маска.

И лицо доньи Ракель тоже не отражало волнения. Ей повелел остаться здесь Альфонсо, здесь распоряжается Альфонсо, что может ей сделать этот чужой человек? Она приказывала себе не бояться, быть достойной Альфонсо; он хотел, чтобы женщина, которую он любит, не боялась. И он обещал ей прийти. Она не шевельнулась. Но всем существом своим чувствовала приближение смерти, и страх сжимал ей сердце.

Вошедшие все еще жались к стене и не знали, что делать. Полминуты—целую вечность—никто не открывал рта.

И вдруг Белардо выпалил:

— Благородный рыцарь не пожелал, чтоб о нем докладывали, госпожа.

Теперь заговорил и де Кастро.

— Почему ты не встаешь, еврейка, ведь к тебе пришел рыцарь?—сказал он своим резким, скрипучим голосом.

Ракель не ответила. На него вдруг напало сомнение.

— Или ты, может быть, христианка?—спросил он.

Если так, ему не следовало сюда врывать. Но Белардо успокоил его:

— Госпожа наша донья Ракель не христианка,—сказал он.

Де Кастро покраснел. Он досадовал, что она разыграла из себя знатную даму, а он попался на эту удочку. Ракель видела, что он свирепеет, и вдруг ей показалось, будто перед ней стоит гневный Альфонсо,—да, это было лицо Альфонсо, искаженное страшным гневом. Но оно тут же расплылось, и она увидела того Альфонсо, что сражался с быком, его лучезарное, прекрасное лицо. Нет, она не опозорит Альфонсо в этот последний свой час. Когда ему расскажут, как остервенелый злодей напал на нее, ему должны будут также сказать: но Ракель не испугалась.

Она медленно встала, каким-то детским и в то же время величественным движением.

Но встала она не перед остервенелым рыцарем, а перед смертью.

Вот ты стоишь, донья Ракель Ибн Эзра, Фермоза, вестница сатаны, наложница Альфонсо Кастильского; ты из рода Давидова, ты мать Иммануила. На твое пленительное лицо легла печать мудрости, и если с него и сбежал от страха румянец, при твоей матово-смуглой коже это незаметно. Твои серо-голубые глаза стали еще больше и смотрят вдаль, кто знает, может быть, в страшную пустоту, может быть, в светлое, высокое, желанное будущее.

Де Кастро сосредоточенно думал. Все оказалось совсем не так, как он себе представлял, это был дом короля, и женщина, хоть и еврейка, была наложницей короля и родила ему бастарда.

Но вот наконец Иегуда заговорил. Он спокойно спросил по-латыни:

— Кто ты? И что тебе нужно?

Де Кастро смотрел на него, на еврея, на того, кто отнял у него дом и сам там водворился, на того, кто виноват в смерти его брата, и кто носит на груди пластину с гербом Кастилии, и кто сейчас дерзает говорить с ним

учтиво, надменно и по-латыни, словно рыцарь с рыцарем. Он гордо поднял голову и ответил, мешая арагонское и кастильское наречья:

— Я Гутьере де Кастро, и этим все сказано, еврей.

Иегуда посмотрел на него с чуть заметной насмешкой, как, бывало, смотрел в пору своего величия и блеска, и любезно сказал:

— Таким ты и представлялся мне.

Затем он отвернулся от барона де Кастро и тут же забыл о нем. Он смотрел на дочь, упивался ее созерцанием, думал о внуке, о маленьком Иммануиле. Аласара он потерял, еще несколько минут — и сам он умрет. Но мальчик Иммануил Ибн Эзра живет, недостижимый для врагов.

И Ракель тоже думала о сыне. Она не смогла переделать дону Альфонсо, но то хорошее, что было в нем, продолжало жить. Опять смутно, не в словах, всплыло перед ней представление о мессии, который победит зверя, быка, и принесет мир на землю. Она поймала взгляд отца и тоже ответила ему взглядом и сказала:

— Ты хорошо сделал, отец, что спас Иммануила. Наш Иммануил будет жить. Вся душа моя переполнена благодарностью к тебе.

Волна нежности, удовлетворения, гордости захлестнула Иегуду. Но тут же схлынула. И снова сжал его леденящий страх. Он нашел еще силы повернуться к востоку. Затем опустил голову, не противился долее и покорно ждал удара; томился и ждал.

Де Кастро не понял еврейскую речь доньи Ракель, но почувствовал: они его не боятся, они издеваются над ним, и ярость сломила последние сомнения.

— Что же, никто не хочет покончить с этой сволочью? — крикнул он. — Разве мы для того пришли, чтобы рассуждать с ними? — Он вытащил меч из ножен, но тотчас же вложил обратно. — Не хочу марать свой меч собачьей кровью, — сказал он с величайшим презрением. Он примерился и плашмя, мечом в ножнах, ударил по голове отвернувшегося от него Иегуду.

Ракель все это время знала, что они с отцом должны умереть; она это знала умом, знала плотью, ее живая фантазия собрала из сотни сказок сотни картин смерти и связала их воедино. Но в самой глубине души она не верила, что умрет. Даже когда де Кастро стоял перед ними, не верила. Только теперь почувствовала она всем своим существом, что Альфонсо не придет, чтоб спасти ее, что еще несколько мгновений — и она умрет, и ее охватил ужас, ужаснее которого нет. Жизнь в ней угасла. Осталась одна оболочка, и не было в ней ничего, кроме

страха. Рот ее открылся, но из сдавленной груди не вырвался крик.

Все, что произошло в покое с возвышением, было сделано без шума, сумрачно и удивительно глухо. Угрюмые спутники барона де Кастро, когда он подступил к еврею, невольно попятились, прижались к стене. Иегуда умирал беззвучно. Слышно было тяжелое дыхание пришедших, и плеск фонтана, и отдаленный рокот толпы у белой ограды.

И вдруг закричала кормилица Саад пронзительным, безумным криком. Тут садовник Белардо неожиданно поднял руку и в исступлении, не помня себя, ударил священной дедовской алебардой Ракель. За ним устремились и остальные, они били, кололи Ракель, кормилицу, Иегуду, били, задыхаясь, хотя те уже давно лежали неподвижно, топтали их.

— Довольно!—вдруг приказал де Кастро.

Они вышли из комнаты, не оглянувшись назад. Шатаясь, как пьяные, с тупым смехом покинули они дом. Один из солдат барона де Кастро не без труда снял мезузу, висевшую над дверью, и проткнул ее. Он еще не знал, что лучше—растоптать амулет или взять себе, чтобы он охранял его. Тронуть еще что-нибудь в доме короля никто не посмел.

Те, что не вошли в дом, ждали на ослепительном, палящем солнце. И вот де Кастро объявил:

— Кончено. Убиты. Ведьма и предатель убиты.

Вероятно, его выслушали с удовлетворением. Но они не выказали удовлетворения, они не кричали, не ликовали. Они тоже были подавлены.

— Так, теперь, значит, Фермоза убита,—бормотали они.

Пока они поднимались по знойной, пыльной дороге в Толедо, испарились окончательно и радость, и слепая злоба. Стража у ворот спросила:

— Ну, что, видели? Они там? Вы их нашли?

И они ответили:

— Да, мы их нашли. Они убиты.

— Правильно сделали,—сказала стража.

Но радость их длилась недолго, их слепая ярость тоже скоро развеялась, весь остаток дня они были задумчивы и угрюмы.

Теперь уж никто не думал обижать евреев. Добродушно подсмеивался народ над теми, кто укрылся в иудерии:

— Чего вы заперли все ворота? Нас боитесь? Все же знают, как хорошо сражались ваши под Аларкосом. Нас с вами связала общая беда.

Дон Альфонсо удерживал крепость Калатраву неожиданно долго. Он был ранен в плечо, рана была не опасная, но болезненная и часто вызывала лихорадку. Все же он объезжал и обходил сам посты, в полном вооружении лез по крутым лестницам на стены и снова спускался, сам вникал во все мелочи обороны. Рыцари заклинали его сделать попытку пробиться к столице; мусульмане уже проникли далеко на север, и дороги, ведущие в Толедо, были перерезаны. Но только в последнюю минуту, когда уже нечего было ждать, он оставил крепость, чтобы с большей частью гарнизона пробиться к Толедо.

Такое предприятие требовало осмотрительности и мужества. Из ближайших друзей при нем находился только Эстебан Ильян; архиепископ дон Мартин и Бертран де Борн, оба раненные, были отправлены в Толедо. Альфонсо не показывал вида, как тяжело переживает он поражение; был быстр, находчив, решителен. Но ночью, оставшись один с Эстебаном, бушевал и давал волю отчаянию.

— Видел, как они все разорили? Теперь я чувствую: они предали огню и мечу меня самого; это же часть меня, все равно как моя рука или нога.

Он представлял себе возвращение в Толедо. Думал о спокойном, надменном лице доньи Леонор. Сколько презрения и недовольства будет скрывать ее ясное чело, когда он, выехавший из Толедо во главе гордого воинства, теперь предстанет перед ней жалкий, покрытый позором. Он думал с беспомощной злобой о тихой, насмешливо-почтительной улыбке Иегуды. Он думал о выразительном лице Ракели. Ведь он обещал подарить ей Севилью! Где же Севилья? Она не спросит; она встретит его с нежной покорностью, ни словом не упрекнет, но со стен будут глядеть, насмешливо мерцая, ее любимые изречения о мире.

Неожиданно на него напала бессмысленная ярость. Дон Мартин был прав, Ракель действительно ведьма, она уговорила его повременить с крещением сына, она превратила в ложь его внутренний голос. Но больше он не поддастся ее колдовству. Пусть молча извивается, вертится, пусть ломает руки — он принудит Иегуду вернуть ему сына, он окрестит мальчика, и если Ракель не захочет оставаться дольше в Галиане — двери открыты, алафия — пусть уходит с миром.

Так Альфонсо мысленно разделялся с еврейкой, а дон Родриго тем временем уже был в пути, уже вез ему черную весть.

После гибели Иегуды и доньи Ракель на Родриго напала странная вялость. Все, что привязывало его к

этому миру, погибло. Кастильское королевство разваливается, добрые друзья зверски убиты, и вина за все это лежит и на нем, он слишком долго терпел, он не вернул короля на путь истины. Чувство собственного ничтожества и беспомощности угнетало его.

В душе он горько порицал дону Альфонсо, легкомыслие которого навлекло невзгоды на всю страну и на всех, кто был близок к нему. Он не хотел его видеть, не хотел иметь с ним никакого дела. Но он все еще любил этого незадачливого государя, долг и жалость побуждали его отправиться к дону Альфонсо со страшной вестью. Может быть, такое огромное несчастье покажет ему, что такое раскаяние, и Родриго не хотел оставлять его одного в минуты горя.

Дона Родриго встретил исхудавший, больной Альфонсо. Нетерпеливо оборвал его, когда он осведомился о ране. Стоял перед ним злой, мрачный, насмешливый и вызывающий.

— Ты был прав, мой мудрый отец и друг,— сказал он.— Войско мое уничтожено, королевство погибло. Да, я призвал четырех всадников Апокалипсиса на страну, все в точности, как ты мне предсказывал. Тебе хотелось это услышать? Ну что ж, признаю, ты был прав. Теперь ты доволен?

Родриго против воли почувствовал жгучую жалость к стоявшему перед ним человеку, больному, издерганному, замученному и душевно и телесно. Но он не имеет права поддаться слабости, он должен достучаться до души дона Альфонсо, строптивого, непокорного господнего вассала, все еще не понявшего, что такое вина и что такое раскаяние. Родриго сказал:

— В Толедо свершилось злое дело. Твой народ обвинил в поражении невинных, и не было никого, чтобы за них заступиться.— Король смотрел на Родриго непонимающим взглядом, и тогда тот сказал без обиняков:— Они убили донью Ракель и дону Иегуду.

То, чего не могли сделать несчастье, предательство, чего не могло сделать тяжелое поражение, сделала эта весть: дон Альфонсо закричал. Он вскрикнул коротко и дико. И потерял сознание.

Огромная волна любви к другу смыла все остальные соображения дона Родриго, он любил его, как никогда. Испуганный каноник хлопотал около короля, он послал за лекарем.

Прошло некоторое время, и Альфонсо опаматовался, он поглядел по сторонам, взял себя в руки, сказал:

— Пустяки, все из-за этой дурацкой раны.

Король с утра ничего не ел. Жадными глотками выпил он принесенный бульон и стал торопить врача, менявшего

ему повязку. Потом отослал всех, задержал только дона Родриго.

— Прости мне, отец и друг,— сказал он.— Мне стыдно, что я поддался слабости.— И сердито прибавил:— После того как я разорил королевство, какое значение может иметь для меня смерть еще одного мужчины и еще одной женщины? Все равно я расстался бы с обоими,— сказал он угрюмо. Но тут же отрекся от своих слов:— Никогда, никогда не расстался бы я с моей любимой! И ничуть мне не стыдно!— Он стонал, бился головой о стену, скрежетал зубами:— Какая невыносимая мука! Тебе, Родриго, мой друг, я могу сказать: я любил ее. Ты не можешь понять, ты не знаешь, что это, никто не знает. Я сам не знал, пока она не встала на моем пути. Я любил ее больше, чем донью Леонор, больше, чем детей, больше, чем свое королевство, больше, чем Христа, больше всего на свете. Забудь то, что я скажу, пастырь, забудь сейчас же, но я должен это высказать: я любил ее больше, чем свою бессмертную душу.

Он сжал зубы, чтобы удержать яростные слова, рвавшиеся у него из груди. Опустился в полном изнеможении. Дона Родриго поразило, как изменилось его лицо: худое, осунувшееся, с блуждающей улыбкой, с торчащими скулами, с двумя узкими полосами вместо губ. Глаза казались меньше и беспокойно блестели.

Наконец Альфонсо попытался разгладить морщины на лице. Попросил дона Родриго рассказать, что он знает. Тот знал очень немного. Толпа, тщетно искавшая Иегуду в кастильо Ибн Эзра, направилась в Галиану. Кто убил донью Ракель — неизвестно. Дону Иегуде нанес собственной рукой смертельный удар де Кастро.

— Де Кастро? — заикаясь, переспросил король.

— Де Кастро, — ответил дон Родриго. — Ему был дан приказ охранять тех, кому угрожает опасность. Ибо народ обезумел и многие могли пострадать. Ему был дан приказ лучше пожертвовать одним, чем подвергать опасности всех.

Король погрузился в долгое и мучительное раздумье.

— Кто дал де Кастро такой приказ? — спросил он хриплым голосом.

Дон Родриго ответил медленно и отчетливо:

— Донья Леонор.

Альфонсо зарычал, как раненый зверь.

— Псы и коршуны набросились на меня, словно я уже падал, — простонал он.

Дон Родриго сказал деловито, честно, с чуть заметной иронией:

— Нужно было принять меры. Убили много крещеных арабов и евреев, тех, что жили вне стен иудерии. Говорят, убили около ста человек.

— Не защищай ее! — вспыхнул Альфонсо, свирепея. — Не защищай Леонор. Не защищай никого и себя не защищай! И ты виноват, вы все виноваты. Может быть, не в такой степени, как я, но виноваты. И я покараю. Я вас накажу. Вы думаете, я бессилён, раз я проиграл сражение? Нет, пока я ещё король. Я разберусь, я учиню суд, я учиню страшную расправу!

Он вдруг замолчал, застонал, весь сжался, в нетерпении махнул рукой, чтобы Родриго оставил его одного.

Не прошло и часа, как он приказал выступать. И здесь, на последнем отрезке пути, он сам всем распоряжался с большим вниманием и осторожностью. Только когда все его войско было в стенах города, он въехал в Толедо.

Поднялся на гору в замок. Прибежали слуги, камерарии, испугались его вида, спросили, не хочет ли он переодеться, помыться, не позвать ли врача. Он сердито отстранил их, отдал строгий приказ никого не допускать к нему, даже королеву.

Сел на походную кровать, не сняв лат, потный, грязный, больной, в неудобной позе, один. Он угрюмо думал. Он не понимал, как все вышло. Как при всей своей хитрости мог попасть в Галиану Иегуда, издали чуявший опасность? И почему они не скрылись за крепкими стенами иудеи, раз они так фанатично держались за свое иудейство?

Да, умерли, убиты. И погубили их Леонор и де Кастро — Леонор своим языком, де Кастро своей рукой. А он даже не попрощался с любимой; уехал отчужденный, слепой, сердитый. И Леонор убила ее, да еще и сына, его Санчо, украла, ведь теперь он никогда не узнает, что случилось с ребенком.

Его охватила слепая ярость. Леонор возненавидела его с той самой минуты, как бог послал ему Ракель. Она втравивала его в войну, чтобы развязать себе руки, чтобы она могла убить Ракель. Все предостерегали его, отговаривали дать бой в открытом поле, а она, обычно столь щедрая на предостережения, молчала. Знала, что он будет разбит, и не удержала только ради того, чтоб погубить соперницу. Не Ракель — Леонор ведьма. Она подлинная дочь своей матери, внучка той прабабки, которую дьявол уволок из церкви прямо в ад.

Он радовался своему гневу, радовался, что ноет его рана. Он побежал по коридорам на половину Леонор, как был, в запыленных латах, немытый, не сменив повязки. Отстранил перепуганных статс-дам. Ворвался в комнату Леонор.

Она сидела на возвышении, вымытая, выхоленная,

истая знатная дама. Она встала не слишком быстро и не слишком медленно, улыбаясь, сделала несколько шагов ему навстречу. Он поднял руку, чтоб остановить ее, и, не дав ей поздороваться, сказал тихо и свирепо:

— Вот и я. Не очаровываю своим видом. И пахну не очень приятно. От меня разит войной, трудом, поражением. Все во мне противно законам куртуазии. Но и ты, как мне кажется, вела себя не по правилам, предписанным куртуазией, донья Леонор, моя королева, возлюбленная моя.—И вдруг он закричал в безумной ярости:— Проклятая, ты разбила мне жизнь! Ты не родила мне сына, а тот, которого ты родила, был чахл и еще в твоей утробе отмечен перстом божьим. А когда женщина, которую я любил, родила мне сына, ты убила ее. Ее отец, мой самый умный, самый верный советник, добрыми и мудрыми речами убеждал меня подождать, не начинать войны. А ты все время подстрекала. Ты прямо в лицо порицала меня и своими насмешками втравливала в войну. А потом ты, обычно такая красноречивая, молчала и не возражала против моего безумного плана и не удержала меня от битвы, обреченной на провал, и все это для того, чтобы убить посланную мне богом, любимую женщину. Ты погубила меня, а со мной и Кастилию. Вот ты тут, передо мной, чистая, приветливая, царственная, а внутри — чернота и фальшь. Тебя, как и твою мать, разъедает злоба, погубительница!

Донья Леонор подготовилась к взрыву гнева; но что Альфонсо будет так бесноваться, так бессмысленно выходить из себя, этого она не ожидала. Он может схватить ее своими грязными руками, голыми, без перчаток, сжать ей горло, задушить. Но то, что он так грубо, свирепо грозил и ругался — настоящий виллан! — загло ей кровь. Он был опасен, и таким она любила его.

Донья Леонор легкой походкой отступила на несколько шагов, взошла на возвышение, села, не спуская с него испытующего взгляда своих больших зеленых глаз, спокойно сказала:

— Позволь мне напомнить тебе, что мы, моя мать и я, предложили тебе договор в Бургосе, договор с твоим зятем доном Педро. Согласно этому договору ты обязался не начинать войны, пока не придет арагонское войско. Мы сделали все, чтобы удержать тебя от твоего не ко времени поспешного геройства. Моя мать уговаривала тебя, как упрямого ребенка. Никто тебя не подстрекал, кроме тебя самого. Сказать, кто виноват во всем, что случилось? Ты хотел блеснуть передо мной, перед твоими друзьями, а главное, перед твоей еврейкой! Вот почему ты, вопреки нашему договору и вопреки здравому смыслу и разуму, дерзко ответил халифу. Вот почему ты пошел в отчаянно

смелый бой. Вот почему ты толкнул в пропасть нашу страну и всю христианскую Испанию!

Дон Альфонсо стоял перед ней у возвышения. Он смотрел в ее белое лицо с высоким, ясным челом, смотрел на ее густые белокурые волосы и остро ненавидел ее за злые рассудочные мысли, которые таились за этим челом.

— Теперь я понимаю, почему Генрих заточил твою мать и не выпускал на волю, несмотря на папские увещания,—проскрежетал он тихо и горько.— Не думай, что я слабее его. Я не могу тебя убить, потому что ты женщина. Но безнаказанной ты не останешься за то, что погубила мою любимую. Я буду судить, чинить допрос за допросом, я выведу на чистую воду твои хитрые, тонко придуманные повеления и злодейские мысли, скрытые за ними, и тогда пусть весь крещеный мир укажет на тебя как на убийцу. И твои кровавые приспешники, де Кастро и остальные, тоже не уйдут от меня безнаказанными. Ты еще увидишь, возлюбленная моя, как я с ними расправлюсь. Они поедут на Сокодовер в позорной повозке. А ты, моя королева, будешь сидеть рядом со мной на трибуне и любоваться, как болтаются на веревке твои верные рыцари, твои Ланселоты.

Леонор твердо смотрела на мужа. На лбу у него проступил пот, лицо исказилось. Короткая рыжеватая борода слиплась, в нем уже не было ничего юношеского, лучезарного, теперь его не сравнишь со святым Георгием в Донфроне. Но хорошо, что прорвалась наконец та бурная энергия, что жила в нем; теперь никто не скажет, что в нем мало пыла, никто, даже ее мать.

Она сказала:

— Ты говоришь бессмысленные слова, дон Альфонсо, потому что твоя наложница умерла. Я не причастна к гибели женщины, что жила в Галиане. Ни один судья не обвинит меня, даже если он разберется во всем до мелочей—и в том, что я делала, и в том, чего не делала.

Но вдруг ей надоели величественная осанка и достойный тон. Она спустилась с возвышения, подошла к нему почти вплотную, вдохнула его терпкий запах и сказала ему прямо в лицо:

— Но тебе я скажу, скажу сейчас и никогда больше не повторю: да, это сделала я. Я доставила себе это удовольствие, свою *poche toledana*. Я прочла кровавые помыслы в голове де Кастро и не удержала его, я поманила его кастильо. И бог помог мне. Богу было угодно, чтобы они погибли. Почему твоя наложница и ее отец не укрылись за стенами иудеирии вместе с другими евреями? Бог поразил их слепотой. И я говорю тебе прямо в лицо, в твое яростное, жаждущее крови лицо: сердце мое исполнилось ликования, когда она умерла.

Альфонсо застонал, отвернулся от нее, отступил на шаг; теперь в его лице было больше муки, чем ярости.

Леонор сполна насладились своим торжеством. Она почувствовала жалость к дону Альфонсо. Пошла за ним, опять стала совсем близко.

— Не будем ссориться, дон Альфонсо,— сказала она, и голос ее звучал необычно мягко.— Ты ранен, измучен. Позволь мне поухаживать за тобой, я пошлю тебе моего Рейнеро, он сведущей твоих лекарей. И позволь мне сказать тебе еще одно: я сделала это ради себя, но также и ради тебя. Я люблю тебя, Альфонсо, ты это знаешь. Все эти годы я была вернее стен твоей крепости, я была верна тебе и тогда, когда убрала с твоего пути ее. Я не могла дольше видеть, как король Кастилии, отец моих детей, тонет в грязи. Ты можешь опозорить меня перед всем миром, ты можешь меня убить, но это правда.

Альфонсо знал—это правда, но он заставил себя не верить. Он мог понять донью Леонор, но только умом. Все в нем восставало против нее. Он не хотел ее любви; любовь злодейки была ему ненавистна.

Он отвернулся, бросился вон из комнаты.

Альфонсо был смертельно утомлен разговором, рана болела сильнее, чем раньше. Он позволил вымыть себя, перевязать рану, уложить в постель. Он спал долго, глубоко, без сновидений.

Затем поехал в Галиану.

Он ехал по узким, крутым улицам вниз, к Тахо, один, без свиты. Жители узнавали его, сторонились, испуганно смотрели в худое, окаменевшее лицо, обнажали головы и низко кланялись, многие падали на колени. Он не видел, не слышал, ехал дальше, медленно, уставившись в землю; машинально, не глядя, отвечал на поклоны.

Он подъехал к белым стенам. Было очень знойно, над Галианой стояло тяжелое, дрожащее на солнце марево, все было тихо, как заколдовано.

Садовник Белардо осторожно приблизился к королю. Робко поцеловал руку.

— Я очень несчастен, государь,— сказал он.— Я не мог заступиться за госпожу. Их было очень много, верно, больше двух тысяч, и привел их знатный рыцарь, а у меня была только священная дедовская алебарда. Что мог я сделать против такой толпы? Они кричали: «Так хочет бог!»—и тогда свершилось. Но больше они ничего не испортили. Все в порядке, государь, и в доме и в саду.

Альфонсо спросил:

— Вы похоронили ее здесь, в Галиане? Сведи меня на могилу.

Могила ничем не была отмечена. Голое место со вскопанным дерном возле цистерн рабби Ханана.

— Мы не знали, как быть, — оправдывался Белардо. — Ведь наша госпожа донья Ракель была некрещеная, я не посмел поставить крест.

Король махнул ему рукой, чтоб он ушел.

А сам тяжело опустился на землю, весь во власти жаркого, душного, мутного марева. Дерн был положен кое-как, могила казалась заброшенной, он бы и собаку так не похоронил.

Альфонсо старался вспомнить, как гулял здесь с доньей Ракель, как они голые сидели на берегу пруда, старался вызвать в памяти ее лицо, походку, голос, тело. Но вспоминал только отдельные черты; она же, Ракель, оставалась далекой, неуловимой, каким-то смутно мерцающим видением. Если ее дух где-нибудь бродит, то бродит именно здесь, но он не умеет его вызвать, верно, духи появляются, только когда сами хотят. А может быть, Бертран прав: женщина волнует кровь мужчины, не его душу.

Здесь, под ним, лежит та, что давала ему безбрежное счастье и страстное волнение, а что она теперь? Тлен и пища червей. Но странно, это оставляло его равнодушным. Что искал он здесь, на этой жалкой, небурной могиле? Он ни в чем перед ними обоими, перед теми, что лежат в ней, не виноват. Они виноваты пред ним. Виноваты за сына. Теперь он никогда не узнает, что случилось с его Санчо. Все равно как если бы мальчик был зарыт вместе с ними, как если бы зарыто было и тлело в земле его, Альфонсо, будущее. Не надо было ему приходить сюда. Во рту у него был плохой вкус, губы пересохли.

Он с трудом перебрался в тень ближайшего дерева. Растянулся под ним. Он лежал там, закрыв глаза, солнечные блики играли на его лице. И опять он старался представить себе Ракель. Но опять он видел только покровы, сама она оставалась смутной. Он видел ее в длинном одеянии, похожем на рубашку, такой, как она ждала его у себя в опочивальне. Видел ее в том зеленом платье, в котором она предстала перед ним в первый раз в Бургосе, когда насмеялась над замком его предков. Да, в тот раз, когда она заставила его построить ей Галиану, она прибегла к колдовству и черной магии, хотя сама и не была при этом. И сейчас еще она заманивает его сюда, в Галиану, а его ждут ратные и государственные дела.

Правда, у него есть одно дело, выполнить которое он может только здесь: он должен передать Иегуде слова сына. Он наморщил лоб, стараясь припомнить, что же такое сказал перед смертью Аласар. Он отчетливо слышал: «Скажи отцу...» — но что он должен был сказать, Альфонсо так и не мог припомнить.

Он заснул. Вокруг все было в дымке, все расплывалось, ничего нельзя было удержать. И вдруг перед ним появилась Ракель. Она вышла из дымки совсем как живая—это ее матово-смуглое лицо, ее серо-голубые, цвета голубиноного крыла глаза—и стала перед ним. Совсем так же она смотрела, молча, но очень красноречиво, когда не хотела его, а он взял ее силой, так смотрела, когда он кричал на нее, что она украла у него сына, и молчание ее было громче всяких укоров.

Он лежал с закрытыми глазами. Он знал, это эспехисмо—наваждение, горячечный бред; он знал, Ракель умерла. Но в мертвой Ракели было больше жаркой жизни, чем в живой. И пока она смотрела на него, не сводя глаз, ему вдруг стало ясно: душой он всегда понимал ее немое красноречие, он только нарочно ожесточал себя, замыкался и не хотел понимать ее настойчивых слов, ее правды.

Теперь он открыл свою душу для ее правды. Теперь он понял то, что Ракель тщетно старалась ему объяснить: он понял, что такое долг, что такое вина. У него в руках была огромная власть, и он злоупотребил ею; он, как мальчишка, безбожно, беспечно ею играл. Он превратил свое вино в уксус.

Образ Ракели затуманился.

— Не уходи, не уходи еще!—молил он, но удержать ее он не мог, видение развеялось.

Альфонсо был обессилен и вдруг почувствовал голод. Он с трудом поднялся, пошел в дом. Приказал принести поесть. Он сидел за столом, за которым часто завтракал с нею, сидел и ел. Машинально, жадно, как волк. Не думал ни о чем, кроме еды.

Силы вернулись к нему. Он встал. Велел позвать кормилицу Саад; он хотел, чтобы она показала ему кое-какие вещи, оставшиеся после Ракели. Наступило смущенное молчание, потом ему наконец сказали, что Саад убита. Он вздохнул. Захотел узнать подробности.

— Она ужасно кричала,—сказал Белардо.—А наша госпожа донья Ракель не испугалась. Стояла спокойно, как настоящая знатная дама.

Альфонсо обошел дом. Остановился перед тем изречением, написанным буквами древнеарабского алфавита, которые он не умел прочитать и Ракель перевела ему: «Унция мира больше стоит, чем тонна победы». Пошел дальше. Он открывал шкафы, лари. Касался платьев. Вот в этом светлом платье она была в тот раз, когда они играли в шахматы, а вот эта совсем нежная ткань, которая, кажется, вот-вот разорвется от прикосновения его пальцев, облекала ее в тот раз, когда вокруг нее прыгали собаки. Из ларя повеяло ароматом ее платьев, ее ароматом. Он захлопнул крышку. Нет, он не Ланселот.

Он нашел ее письма к нему, написанные, но не отправленные: «Ты рискуешь жизнью ради безумств, потому что так должен поступать рыцарь, это безрассудно и увлекательно, и за это я люблю тебя». Нашел рисунки, сделанные Вениамином. Он внимательно рассматривал их, заметил черты, которых не видел в живой Ракели. И все же Вениамин видел не всю Ракель, подлинную Ракель видел только он, Альфонсо, и только теперь, когда ее уже нет на земле.

Но она не ушла из мира. В нем, в Альфонсо, продолжало жить то полное знание, которое сейчас открыл ему ее немой лик. Слова дон Родриго сказали ему, что такое вина и раскаяние, но не дошли до сердца. И его внутренний голос тоже только сказал. Лишь ее немой лик врезал ему в сердце, что значат слова: долг, вина, раскаяние.

Он собрался с силами. Прочел молитву, кощунственную молитву. Он молился умершей, прося ее являться ему в решительные минуты, дабы ее молчание говорило ему, что делать и чего не делать.

Гутьере де Кастро стоял перед королем, широко расставив ноги, опершись на рукоять меча, в традиционной позе.

— Что тебе угодно, государь?—спросил он своим скрипучим голосом.

Альфонсо смотрел в его широкое, грубое лицо. Де Кастро спокойно выдерживал его взгляд. Он не боялся, это было ясно. Ярость короля улетучилась, он сам не понимал, почему с таким угрюмым сладострастием мечтал увидеть, как будет болтаться на виселице де Кастро. Он сказал:

— На тебя было возложено охранять население моей столицы Толедо. Почему ты этого не сделал?

Де Кастро ответил с холодной дерзостью:

— Народ был возбужден из-за проигранной тобой битвы, дон Альфонсо, его обуяла жажда разрушения, жажда крови. Они хотели убить виновных, а виновными они считали очень многих. Но пострадали только очень немногие, не будет и ста человек. Я мог с чистой совестью вернуть перчатку королеве, и я уверен, что угодил ей и заслужил ее благодарность.

Дон Альфонсо сказал:

— Ты отправился в Галиану вместе с толпой черни и убил моего эскривано и мать моего сына.

Он говорил твердо и ясно и вместе с тем очень спокойно. Де Кастро ответил:

— Народ требовал наказания предателя. Того же требовала и церковь. Мой долг был защитить невинных. А он был виновен.

Король ждал, что де Кастро сошлется теперь на хитрое и кровавое указание королевы и переложит на нее всю вину. Де Кастро этого не сделал. Мало того, он продолжал:

— Я тебе открыто скажу: я бы его уничтожил, даже если бы он не был предателем. Я — Гутьере де Кастро, и уже много лет, как я дал слово себе и всему испанскому рыцарству наказать обрезаемого пса, запоганившего мой кастильо.

Король сказал:

— Распря между тобой и Кастильским государством была улажена, вира за твоего брата уплачена. Договор был подписан и скреплен печатью, твои требования удовлетворены.

— Я не хочу спорить с тобой, король Кастилии, — ответил де Кастро. — Если ты считаешь, что можешь на меня жаловаться, то жалуйся моему сеньору, королю Арагона, пусть он, равный мне, созовет суд равных. Но одно я должен сказать тебе, как рыцарь рыцарю. Из-за тебя погиб мой брат, славный ратными подвигами и победами на турнирах, ты это знаешь, и ты уплатил мне виру, и я не спорил, потому что сейчас священная война. Теперь случилось, что я убил человека, который нанес мне оскорбление. Кто этот человек? Твой банкир и старый еврей — и только. Я думаю, ты не прогадаешь, если на этом мы покончим наши счета.

Король не согласился. Он приказал:

— Расскажи, как все было.

Де Кастро ответил:

— Я не осквернил свой меч поганой кровью. Я убил его ножнами.

Альфонсо с трудом, делая паузы между отдельными словами, спросил:

— А как погибла она?

— Этого я сказать не могу, — ответил де Кастро. — Мой взгляд был устремлен на еврея, когда прикончили ее. — Он говорил спокойно, слова его звучали правдиво. И грубо, откровенно, почти добродушно он прибавил: — Сейчас священная война, и я подавил ненависть и приехал сюда, чтобы сражаться под твоим началом. Примирись со случившимся, государь. Нам предстоит еще много тяжелой работы. Негоже рыцарю тратить слова из-за вырванных плевел. Позаботься о твоём городе и его стенах.

Альфонсо с удивлением заметил, что наглость барона де Кастро не вызвала в нем гнева. Де Кастро ни словом не

упомянул о двусмысленном поручении доньи Леонор, он не возлагал вины на даму, он сам держал ответ за все, что случилось. «Ишь ты. Гутьере-то, оказывается, рыцарь», — подумал Альфонсо.

Обычно неустоимый, деятельный, каноник дон Родриго нехотя занимался теперь своими обязанностями, редко читал и писал. Грустно, сиротливо сидел он где-нибудь в углу.

Муса не часто беседовал с ним. В Толедо было много раненых и больных, спокойная решительность Мусы внушала доверие, и, несмотря на злобу против мусульман, многие обращались к его прославленному искусству.

Родриго завидовал другу, которого отвлекала от мучительных дум непрестанная деятельность; его самого все сильней одолевали печальные размышления о бренности всего сущего, он был внутренне скован.

Из Италии ему прислали рукопись, которая в словах выражала его собственное отчаяние. Написана она была молодым прелатом Лотарио Конти и называлась: «О свойствах человека». Одно место произвело на него особенно сильное впечатление: «Как ничтожен ты, о человек! Как мерзостно твое тело. Посмотри на растения и деревья. Они порождают цветы, листья и плоды. Горе тебе, ты порождаешь вшей, червей и прочую нечисть. Они выделяют масло, вино, бальзам; ты выделяешь мочу, харкотину, кал. Они испаряют благоухание; ты смердишь». Родриго не мог отделаться от этих слов, они преследовали его даже во сне.

Он не жаждал уже того умиленного экстаза, в котором прежде искал прибежища в минуты отчаяния. Та ревностная, непоколебимая вера теперь казалась ему не благодатью, а дешевым самоопьянением, трусливым бегством от действительности.

Отраду приносили ему только редкие посещения доня Вениамина. Юноша, невзирая на собственное горе и на горе окружающих, упорно и терпеливо продолжал работу в академии. Каноника поражала сила воли Вениамина, его посещения прогоняли жгучую тоску.

Однажды он попросил своего ученика:

— Если это не растравит твою рану, Расскажи мне, что вы делали и о чем говорили, когда ты в последний раз был в Галиане.

Вениамин молчал. Молчал долго, дон Родриго уже думал, что он не ответит. Но затем юноша в горячих словах стал восхищаться доньей Ракель, как прекрасна была она в этот последний день. И он откровенно рассказал, что она только потому не захотела укрыться за

стенами иудеи, что король повелел ей ждать его в Галиле. В его словах звучало недовольство той страстной преданностью, с которой она верила в своего рыцаря и возлюбленного.

Каноник был потрясен. «Ты не знаешь, что такое любовь»,—сказал ему король. Но он сам этого не знал. Альфонсо «любил» Ракель бурно, сильно, неистово, но он остался замкнут в себе, он не чувствовал согласно с ней. И вот этот злосчастный человек, этот рыцарь до мозга костей бросил необдуманное слово; вероятно, едва сказав, он уже забыл о нем, и это случайное слово толкнуло донью Ракель в объятия смерти. Его легкомысленная отвага всегда приводит к беде.

Дня два-три спустя несколько смущенный Вениамин показал канонику рисунок. Он как-то видел короля вблизи, был поражен переменой в нем. Желая вникнуть в эту перемену, он нарисовал короля и теперь, робея, показал портрет канонику, с нетерпением ожидая, что тот скажет.

Тот долго его рассматривал. Перед ним было лицо человека, который много пережил и много выстрадал, но все же это было лицо рыцаря, лицо необузданного, более того, твердого и жестокого человека. Он подумал о портрете короля, нарисованном словами в его летописи, он подумал об изображении короля, вычеканенном на Иегудиных золотых монетах. Он отложил рисунок. Принялся шагать из угла в угол. Снова взял портрет и стал рассматривать. И сказал, необычно взволнованный:

— Так, значит, вот какой король Альфонсо Кастильский!

Вениамин был поражен действием, которое оказал его рисунок.

— Я не знаю, таков ли Альфонсо. В моем представлении он именно такой.—И, помолчав, прибавил:—Теперь я думаю, что лучше было бы жить, если бы миром управляли мудрецы, а не воины.

Каноник попросил его оставить ему рисунок и долго, после того как ушел Вениамин, задумчиво его разглядывал.

Его дружба с Вениамином все крепла. Он так сблизился с ним, что даже не скрыл от него собственного малодушия.

— Несмотря на молодость, ты уже не раз видел,—сказал он,—как глупость и необузданный гнев все снова и снова сметают то, что создавали столетиями знания и труд. И все-таки ты продолжаешь думать, искать, мучиться. Тебе все еще кажется, что стоит трудиться? Кому нужен твой труд?

Лицо Вениамина светилось тем веселым лукавством, от

которого прежде оно становилось таким молодым и обаятельным.

— Ты хочешь испытать меня, досточтимый отец,— сказал он,—но ты наперед знаешь мой ответ. Ну, конечно, тьма обычна, а свет—исключение. Но как раз в этой огромной тьме особенно радостен луч света. Я человек маленький, но я не был бы человеком, если бы не мог почувствовать эту радость. Я твердо верю, что свет не погаснет и разгорится. И мой долг—способствовать этому своей малой лептой.

Каноник был пристыжен твердой верой Вениамина. Он достал свою летопись, заставил себя сосредоточиться, попытался работать. Но сейчас же почувствовал, как тщетны его усилия. Он хотел наглядно показать, что во всем виден промысл божий, он ретиво и наивно изображал бессмысленное так, словно оно было осмысленным. Но он только обдумывал и излагал события, объяснять их он не объяснял.

Как он завидовал Мусе! Мусе легко работать над своей летописью. Он исходит из формулы, под которую подводит все события, и формула эта гласит: все народы рождаются и умирают, переживают молодость и старость, и подтверждение своей формулы он находит у Аллаха и его пророка Магомета. В Коране сказано: «И каждому народу положен свой срок, и когда этот срок приходит, никто не властен ни на единый час отодвинуть или приблизить его».

Ему, Родриго, не посчастливилось найти смысл и порядок в истории. Ему казалось, что истинная вера запрещает даже искать его. Разве апостол Павел не пишет в Послании к коринфянам: «Немудрое божие премудрее человеков—*Quod stultum est dei, sapientius est hominibus*»? И разве не учит Тертуллиан, что величайшее событие в истории, смерть сына божия, требует веры, ибо оно противно разуму? Итак, если пути господни неисповедимы, если человеческому зрению и человеческому разуму они представляются нецелесообразными, тогда, значит, даже само стремление говорить человеческими словами о божественном промысле—грех.

Целое столетие христианский мир воевал за Святую землю, сотни тысяч рыцарей нашли смерть в крестовых походах, а отвоевано ничтожно мало. Того, за что пролито столько крови, могли бы достигнуть в течение одной недели путем деловых переговоров трое послов. Понять это отказывался человеческий разум, и слова апостола Павла «Немудрое божие премудрее человеков» приобретали иронический смысл.

Родриго, склонившись над своей рукописью, сквозь зубы злобно сказал:

— Все суета. В том, что происходит, нет смысла. Промысла божия нет.

Он испугался собственных слов.

— Absit, absit! Прочь, прочь от меня! Да не помыслю я так! — приказывал он себе.

Но если его сомнения в промысле божием — ересь, то в признании им тщетности своих трудов он прав. Вот так он стоял за высоким налоем и что-то писал и царапал целыми днями, а часто и ночами, и хотел видеть перст божий в событиях, целесообразность которых нельзя понять. Он дерзнул оживить великих мужей испанского полуострова, отошедших в вечность: святого Ильдефонсо и святого Юлиана, готских королей и мусульманских халифов, и астурийских и кастильских графов, и императора Альфонсо, и Сиды Кампеадора. Он вообразил себя вторым пророком Иезекиилем, избранником Божиим, по слову которого они восстанут из гроба: «Я обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей и введу в вас дух — и оживете». Но останки, которые он заклинал, не соединились опять воедино. Люди в его летописи не жили; это не люди, а скелеты, которые, стуча костями, отплясывают танец мертвецов.

«Не сбивай слепого с пути», — учит Писание. А он как раз это и сделал. Его летопись сбивает слепых с пути и вводит в еще более черную тьму.

Он поднялся с громким стоном. Принес поленья, сложил в очаг, запалил. Собрал бесчисленные листы летописи и записок. Бросил в огонь, молча, крепко сжав губы. Смотрел, как они горели, лист за листом. Мешал обуглившиеся бумаги и пергамент, пока они не превратились в пепел, так что уже ничего нельзя было прочитать.

Бертран де Борн, которому рана не позволяла принимать участие в войне, стремился из Толедо на родину. Он хотел закончить жизнь монахом в Далонской обители.

Но его жестоко рассеченная кисть вспухла, опухоль пошла выше. В таком состоянии нельзя было и думать пробиться сквозь мусульманские полчища, которые проникли далеко на север и заняли все дороги.

Рана горела, мучительно ныла. Король упросил его посоветоваться с Мусой. Тот заявил, что осталось одно — отнять кисть руки. Бертран не хотел. Пробовал отделаться шуткой:

— В бою вы, мусульмане, не смогли отнять у меня руку, так теперь вы обратились за помощью к хитрости и науке!

— Не отдавай руки, господин Бертран, — хладнокровно ответил Муса. — Но тогда через неделю от тебя ничего не останется, кроме твоих стихов.

Смеясь и ругаясь, Бертран покорился.

Его крепко привязали к скамье. Перчатка, олицетворяющая возложенное на него доном Альфонсо поручение, лежала в некотором отдалении на маленьком столике, у него на виду, а около столика стоял его старый оруженосец, певец Папиоль. Муса и лекарь Рейнеро дали выпить Бертрану крепкое, притупляющее боль снадобье и, вооружившись железом и огнем, приступили к операции. А Бертран, пока они возились с ним, диктовал Папиолю стихотворение к дону Альфонсо — «Сирвент о перчатке».

Муса многое перевидал на своем веку, но такое страшное и величественное зрелище ему вряд ли доводилось видеть раньше. В комнате, где стоял смрад от жженого мяса, лежал старый рыцарь, крепко привязанный к скамье, и, то теряя сознание, то снова приходя в себя, скрежеща зубами от боли, подавляя крики, снова впадая в забытие и снова приходя в себя, диктовал свои мрачно-веселые стихи. Иногда удававшиеся ему, иногда нет.

— Повторяй за мной, Папиоль, дурья башка! — приказал Бертран. — Ты понял? Запомнишь? Мелодию слышишь? — спрашивал он.

Старый Папиоль видел, как жадно его господин ждет, что он скажет, и старался как можно явственнее выразить бурный восторг. Он с восхищением повторял стихи, смеялся до слез, не мог остановить смех, который переходил в плач и рыдания.

День спустя Альфонсо навестил Бертрана. Спросил о здоровье. Бертран хотел махнуть рукой, но кисти не было.

— Я и забыл... — усмехнулся он и сказал: — Врач думает, недели через две я настолько поправлюсь, что смогу сесть на коня и уехать. Итак, государь, я покину тебя и удалюсь в Далонскую обитель. Моему верному Папиолю тоже не под силу тяготы войны. Он настаивает, чтобы мы ушли от мирской суеты.

Альфонсо расхваливал и превозносил «Сирвент о перчатке» и обещал послать крупный вклад в монастырь.

— Я тебя все-таки попрошу об одном одолжении, — сказал он. — Спой мне сам «Сирвент о перчатке».

И Бертран запел:

Тебе перчатку отдаю.
Я долг исполнил свой.
Хоть мы разгромлены в бою,
Я горд своей судьбой
И не ропщу на бога.
Пускай потеряна рука —
Потеря эта мне легка,
Твой скипетр — мне подмога.

И ты не думай много
О том, как враг на этот раз
В недобрый час
Осилил нас.
Еще иной настанет срок!
Мне руку отсекли,
Ты потерял кусок
Возлюбленной земли,
Но час расплаты недалек!
Пускай отрублена рука —
Я дрался ей наверняка,
С врагом вступая в схватку,
Она в неистовом огне
На славу послужила мне,
Одетая в перчатку.
Теперь, вдали от дел мирских,
Хочу остаток дней моих
В монастыре прожить я.
Но средь обрядов и молитв
Гимн в честь грядущих славных битв
Еще могу сложить я!
Чтоб воинство Христово
Мои слыхало зовы,
Чтобы вокруг гремело
Врагу наперекор:
Друзья! Рубите смело!
Вперед! A lor! A lor!

Альфонсо внимательно слушал; он чувствовал размах стихов, они будоражили ему кровь. Но они не заглушали голоса рассудка, который говорил, что старый рыцарь отжил свое и немножко смешон.

Повсюду вокруг Толедо рыскали отряды мусульман, они перерезали все дороги. Но дальновидный халиф не спешил, он подготавливался к серьезной и мощной осаде. С этой целью он продвинулся далеко на север и подчинил себе большую часть Кастилии. Покорил Талаверу, покорил Македу, Эскалону, Санта-Крус, Трухильо, покорил Мадрид. Кастильцы держались стойко. Особенно мужественно оборонялись духовные князья, в боях пали епископы городов Авилы, Сеговии, Сигуэнцы. Но всякое сопротивление разбивалось о превосходные силы противника. Стойкость отпора только разжигала ярость мусульман. Они опустошили страну, вытоптали посевы, уничтожили виноградные лозы, угнали скот.

Мусульмане покорили и большую часть королевства Леон. Дошли до реки Дуэро. Разорили старую славную столицу Саламанку. Заняли много португальской земли. Захватили святой, пользующийся широкой известностью Алькобасский монастырь. Разграбили его, перебили почти всех монахов. В христианской Испании воцарились голод, мор, нищета. Еще ни разу с тех пор, как началось

отвоевывание страны у мусульман, не было на Испанию такой напасти, как после поражения под Аларкосом.

Христианские короли во всем винили Альфонсо. Леон и Наварра начали переговоры с мусульманами. Наваррский король дошел до того, что предложил халифу союз против других христианских государей. Предполагалось, что наследный принц жеётся на дочери Якуба Альмансура, сам король соглашался признать себя ленником халифа и в качестве его вассала управлять всеми землями, отторгнутыми мусульманами у христиан.

И вот, обеспечив себя с севера, халиф приступил к осаде Толедо. Со стен своего замка Альфонсо видел, как медленно, все грознее надвигаются тараны и осадные башни.

Де Кастро потребовал, чтоб его отпустили защищать свои собственные владения — маркграфство Альбаррасин. Альфонсо не удерживал его.

— А как же благодарность, государь? — спросил де Кастро.

— За что? — в свою очередь, спросил Альфонсо.

Донья Леонор все это время оставалась в Толедо. Она думала, что гнев дона Альфонсо нашел исход в той ужасной вспышке и что теперь, когда все его помыслы заняты войной, память о еврейке скоро изгладится. Правда, он избегал всякого разговора с ней и ограничивался холодной учтивостью, однако Леонор была уверена, что он к ней вернется, надо только выждать. Но теперь, когда враг осадил Толедо, ждать было нельзя. Здесь она мешает, в Бургосе она нужна.

В душе она надеялась, что Альфонсо попросит ее остаться.

Она прошла к нему. Взяла себя в руки и приложила все старания к тому, чтобы выглядеть молодой и красивой. Она знала — ее дальнейшая жизнь зависит от этой встречи.

Альфонсо, согласно требованиям куртуазного обхождения, подвел ее к креслу, сам сел напротив, вежливо и выжидательно смотрел он в ее белое, красивое лицо. Она глядела на него испытующим взглядом спокойных зеленых глаз. В нем не осталось ничего от мальчишеского задора, который так увлекал ее, теперь перед ней было жесткое лицо зрелого мужа, черты заострились, на лбу залегли глубокие морщины, — лицо мужа, который перенес много горя и вряд ли побоится причинить горе другому. Но и к этому Альфонсо она стремилась всем своим существом.

Здесь, в Толедо, начала она, она не может уже быть ему полезна. Пожалуй, ей лучше, пока это еще возможно, вернуться в Бургос, где она возьмет на себя заботы о

дочерях, подождет окончания войны. Кроме того, оттуда она может вести переговоры с колеблющимися королями Леона и Наварры.

Альфонсо многому научился. Он смотрел в ее душу, ее внутренний мир лежал перед ним, словно поле, на котором ему предстоит вести бой. Он мог бы сказать ей ее собственными словами все, что она думает и на что рассчитывает. Она, несомненно, думает, что с полным правом убрала со своей дороги соперницу, для его и для государства пользы, и он должен это понять и быть ей благодарен. Она молода, красива, он примет ее обратно на свое ложе, бог смилуется, и она еще родит ему наследника. Конечно, Леонор так думает и ждет, что он попросит ее остаться. Но она ошиблась в расчетах. Он никогда не коснется убийцы своей Ракели, даже если бы то, что она родит ему сына, было так же непреложно, как аминь в церкви.

Она сидела прямая и строгая, но все же манящая и податливая. Она ждала.

— Меня радует твое решение, донья Леонор,— ответил он с любезной улыбкой на тонких губах.— Ты окажешь мне и всему христианскому миру большую услугу, если отправишься в Бургос и со свойственным тебе и не раз испытанным умом поведешь переговоры с трусливыми королями-отступниками. Кроме того, я рад, что наши дочери будут под твоим надзором. Я охотно дам тебе сильный конвой.

Леонор выслушала, взвесила его слова. Страсть к Ракели как будто утихла. Если он все же так холодно и с насмешкой говорит с ней, то, верно, только потому, что считает это своим рыцарским долгом по отношению к умершей. Леонор чувствовала себя достаточно сильной, чтоб сразиться за него с мертвой еврейкой.

Она сказала:

— Мне передали, что ты не сделал попытки удержать барона де Кастро.

Глаза Альфонсо опасно посветлели. Как осмелела! Не к добру завела она снова этот разговор. Но он сдержался.

— Тебе правильно передали,— ответил он.— Я не думал уговаривать человека, который удирает от меня в минуту опасности.

Леонор ответила тоже равнодушным тоном:

— Мне кажется, ты слишком строг к нему, дон Альфонсо. Его маркграфству действительно угрожает эмир Валенсии. Я пообещала ему награду, а ты заставил его слишком долго ждать. Он был прав, ибо его лишили обещанного.

Альфонсо страшно побледнел, на осунувшемся лице сильнее выступили скулы. Но ему удалось сохранить маску вежливости.

— С божьей помощью,—сказал он,—я защищу Толедо и без де Кастро.

— Ты сам знаешь, что дело не в этом,—возразила Леонор.— Нам надо удержать его, чтобы он не поступил так же, как наши братья—короли Леона и Наварры, и не договорился с мусульманами. Или попросту не перешел на их сторону, как сделал Сид Кампеадор, когда твой прадед Альфонсо недостаточно щедро наградил его. Мы ущемляем его уже не первый раз, а он обидчив. Мне кажется, что толкать его в объятия мусульман нам невыгодно. Ты не собираешься отдать ему кастильо, дон Альфонсо?

И снова дон Альфонсо понял, что творится в ее душе, и на этот раз он почувствовал злобное торжество. Ракель умерла, она, Леонор, жива и стоит перед ним, холодная, царственная, и все-таки она искушает его, она хочет, чтобы он отрекся от мертвой, и тогда все пойдет по-старому. Но она ошибается, дочь благородной дамы Алиеноры ошибается. Ракель жива.

— Не можешь же ты серьезно думать, донья Леонор,—сказал он,—что я еще награжу предателя, который оставляет меня в беде. Я покупаю себе латников, но не рыцарей. Кроме того, мне кажется неразумным раздражать толедских евреев в нынешнее тяжелое время; а если бы я оказал такой почет убийце лучшего среди них, я бы вызвал их недовольство. Я уверен, что при твоём государственном уме, возлюбленная моя Леонор, ты это, конечно, поймешь.

В его звонком голосе была чуть слышна насмешка. Но эта чуть слышная насмешка лишила донью Леонор рассудка.

— Я обещала ему кастильо,—резко сказала она.— Ты хочешь сделать меня обманщицей? Ты хочешь выставить на посмешище королеву, чтобы подольститься к евреям?

Альфонсо в душе ликовал: «Слышишь, Ракель, как она беснуется? Но я не поставлю свою печать под тем, что она сделала. Я не оправдаю содеянное ею убийство. Я не отдам дом твоему убийце». Он сказал:

— На твоём месте, Леонор, я бы не поминал этого обещания.

Только теперь призналась себе Леонор, что она ничего не достигла, убрав со своего пути Ракель. Как ее мать, убив ту женщину, любовницу Генриха, только разрушила собственную жизнь, так и она безвозвратно побеждена мертвой еврейкой. Леденящим страхом повеяло на нее при мысли, что она обречена влачить бесплодную, одинокую жизнь. Перед ней расстилалась серая пустыня, о которой ей говорила мать, щемящая сердце тоска, бесконечное, ничем не заполненное время.

Она не решалась поверить такой страшной перспективе. Она смотрела на дона Альфонсо: она любит его, у нее нет никого, кроме Альфонсо. Она должна его удержать.

— Я унижаюсь, как еще не унижалась ни одна женщина из нашего рода,— сказала она с мольбой, со смирением отчаяния.— Позволь мне остаться в Толедо, Альфонсо! Не будем больше говорить о бароне де Кастро, только позволь мне остаться с тобой! Позволь мне быть вместе с тобою в такое тяжелое время!

Альфонсо заговорил, и каждое слово отчетливо и холодно падало из его уст:

— Незачем, Леонор. Я говорю тебе то, что есть: мое сердце ожесточилось после того, как ты убила ее.

Старый грустный латинский стих звучал в сердце доньи Леонор, он принадлежал одной греческой поэтессе: «Луна взошла, и Плеяда тоже, уже полночь, время уходит, а ложе мое одиноко».

Она взяла себя в руки. Выпрямилась, сказала:

— Ты говоришь, и от твоих слов я цепенею. И все же я поступила правильно, и поступила так ради тебя, и опять поступила бы так же.

На следующий день она уехала в Бургос.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Муса кротко попенял канонику, узнав, что тот сжег свою летопись. Он говорил, что закрепленная в летописи мировая история—это память человечества. В древнем мире чтили богиню истории, иудеи, христиане и мусульмане справедливо считают труд летописца угодным богу.

— Мой труд не был угоден богу,— угрюмо возразил каноник.— Моему разуму не дано было узреть в событиях истории перст божий. Я не понял происходящего; все, что я запечатлел в своей летописи,— ложь. Я не имел права продолжать свой труд, я не имел права сохранять его. Я сам слеп и не имею права сбивать с пути слепых. Тебе легко, друг мой Муса,—с горечью, печально продолжал он.— У тебя есть путеводные нити, ты еще считаешь их правильными, ты можешь со спокойной совестью продолжать свой труд.

Муса попытался его утешить:

— Ты тоже еще установишь новые законы истории, мой высокочтимый и достойный друг, и в течение нескольких лет они будут казаться тебе правильными.

Ученый старец не бывал дома целыми днями. В осажденном городе свирепствовали голод и моровая язва;

к его искусству и помощи прибегало все больше и больше больных.

Сам он, правда, сознавал, сколь ограничены его познания. Мусульманская наука врачевания, объяснял он канонику, уже давно топчется на одном месте. С тех пор как Альгацали в своей нетерпимости объявил всю науку, не почерпнутую из Корана, ересью, лекарское искусство мусульман пошло на убыль, теперь передовое место в медицине окончательно заняли евреи.

— Султан поступил правильно,— сказал он,— взяв себе в личные лекари еврея Мойсея бен Маймуна. У нас, мусульман, нет никого, кто бы мог с ним сравняться. Расцвет нашей культуры окончился. А впрочем,— заключил он,— искусству врачевания поставлен предел самой природой, и даже архиумелый лекарь не многое может. Правильно сказал Гиппократ: «Медицина часто утешает, иногда облегчает, редко исцеляет».

Архиепископу дону Мартину, во всяком случае, не мог помочь ни один врач: его рана была смертельной. Все это знали, он сам это знал. Но среди царящего вокруг разгула смерти он цепко держался за жизнь. Пробовал работать. Требовал, чтобы дон Родриго ежедневно навещал его и держал в курсе дел.

Однако у архиепископа была другая, более глубокая причина так настойчиво добиваться общества своего секретаря. Он хотел употребить оставшееся ему время жизни на покаяние и наложил на себя епитимию—терпеть частые посещения дона Родриго, который своей бесконечной кротостью раздражал архиепископа. Дон Мартин лежал, нюхал лимон и то и дело вызывал на споры своего собеседника. Например, высказывал удовлетворение по поводу того, что еврей Ибн Эзра и его дочь погибли злой смертью, ибо они ее заслужили. Как он и ожидал, каноник указывал ему, что такая радость противна духу христианства. Это давало дону Мартину повод упрекнуть дона Родриго в слишком большом милосердии, неуместном во время священной войны.

В другой раз он произносил яростную строку из воинственного песнопения Мойсея: «*Dominus vir pugnatur*, господь—бог воинств»—и с ласковым лукавством просил:

— Скажи мне, как это звучит по-еврейски, мой дорогой и многоученный брат.—И когда каноник не мог припомнить, как это звучит по-еврейски, он кротко выговаривал ему:—Такие слова, мой мягкосердечный друг, ты, конечно, не можешь припомнить. Но ведь эти слова звучат великолепно и по-латыни, не так ли?—И:—*Dominus vir pugnatur*,—со вкусом повторял он несколько раз, вызывая каноника на спор. Но у того не хватало духу

возражать своему неукротимому умирающему другу, приводя миролюбивые стихи из Писания. Он молчал.

Больше всего заботило дон Мартина, кого король назначит ему в преемники. Дело в том, что архиепископ Толедский, примас Испании, был самым могущественным человеком в Кастилии после короля. Его доходы превышали королевские, влияние его было огромно. И дон Мартин неотступно просил короля выбрать ему достойного заместителя.

— Внемли словам умирающего, сын мой,— заклинал он его.— Любезный нашему сердцу дон Родриго человек ученый и богобоязненный, можно сказать праведник, лучшего советчика в твоих делах с господом богом не найти, но для земных дел, для ратных дел он не годится, и если он будет архиепископом Толедским, он не даст тебе денег на войско, а если даст, то очень мало. Вот я и прошу тебя, любезный сын и король, не сажай на престол святого Ильдефонсо мямлю, посади истого христианского рыцаря, каким, скажу без ложной скромности, при всех моих недостатках был я.

Еще в тот же день дон Мартин пожалел, что нанес канонику удар в спину. Он послал за ним. Покаялся. Стал сетовать:

— Ах, зачем господь бог сделал меня пресвитером, а не полководцем!

Не легко было дону Родриго утешить его.

Неожиданно на долю умирающего выпала мрачная радость: в Толедо окольными путями, тайком от рыскающих повсюду мусульман, пробрался с опозданием на много недель папский гонец. Папа строго-настрого приказывал королю расстаться со своим еврейским эскривано, с злокозненным Ибн Эзрой. Как может дон Альфонсо довести до благополучного конца священную войну, раз в ближайших советниках у него неверный?

— Теперь ты видишь, любезный моему сердцу достойный брат мой,— злорадствовал дон Мартин, обращаясь к канонику.— Наши благочестивые и храбрые кастильцы, покарвав еврея, действовали в духе наместника Христова. Теперь ты не скажешь, что только по моему жестокосердию это принесло мне утеху!

Радостное волнение окончательно подорвало силы архиепископа. Началась агония, долгая и мучительная. Душою дон Мартин был на поле брани, с трудом лепетал он: «А lor, a lor!» — хрипел, бился, выбивался из сил.

Муса полагал, что из человеколюбия надо было бы дать страждущему одурманивающее питье.

— Сокращать жизнь — нечеловеколюбивый поступок,— отклонил его предложение каноник, и архиепископ промучился еще два часа.

В окрестностях Триполи опять подняли голову мятежные племена, и халифу пришлось отозвать часть войск из Испании, чтобы восстановить порядок на своей восточной границе в Африке. Он отказался от завоеваний на севере полуострова. Отступил, не завершив победы.

Дон Альфонсо вздохнул полной грудью. С каждым днем приобретал он опять свой прежний рыцарский и королевский облик. Перед каноником король давал волю своему ликованию. Теперь он искупит аларкосский позор. Соберет остатки войска. Отбросит врага. Двинется на юг, захватит Кордову и Севилью, чего бы это ни стоило!

Каноник был в ужасе. Речи короля представлялись ему преступным безумием. С тех пор как Альфонсо при вести об убийстве Ракели лишился чувств, в душе отчаявшегося было дон Родриго зародилась надежда: после таких тяжелых ударов Альфонсо укротит свой необузданно пылкий рыцарский нрав. Да, каноник принимал очень близко к сердцу такое самоукрошение короля. Если после столь тяжкого наказания Альфонсо станет другим человеком, значит, в конечном счете то злое и нехорошее, что свершилось, все же было не бесцельно. И вот Альфонсо не выдержал даже первого испытания.

Родриго не хотел сдаться без борьбы. Ведь мусульманский Юг не истощен, он процветает. Ведь войско халифа все еще намного сильнее христианского! Если Кастилия, будучи полной сил, потерпела такое тяжкое поражение, как же теперь, когда она обескровлена, может Альфонсо надеяться на успешный исход?

— Не предпринимай второй битвы под Аларкосом! — увещевал он. — Смиренно возблаговари господа за спасение. Халиф, я уверен, готов начать переговоры. Заключи мир, если условия окажутся хоть мало-мальски приемлемыми!

В глубине души Альфонсо с самого начала знал, что это единственно правильный путь. Но когда Родриго упомянул об Аларкосе, в нем разыгралась его прежняя королевская гордость. Неужели ему опустить крылья теперь, когда бог так неожиданно посылает ему попутный ветер! Неужели он должен принудить к молчанию свой внутренний голос, который побуждает его: возмись, возмись за оружие!

Весело, с прежним задором, приветливо, но с чувством своего превосходства он ответил:

— В тебе, отец мой и друг, говорит сейчас духовный пастырь и праведник, от советов которого предостерегал меня дон Мартин. Ты напомнил мне об Аларкосе. Но сейчас все складывается иначе. Халиф уходит, а старое, доброе правило полководцев гласит, что отступающего врага надо преследовать. Согласен, мусульмане все еще

сильнее нас и, чтобы напасть на них, требуется отвага. Неужели же ты хочешь воспретить мне быть отважным!

Vultu vivax. С возмущением и болью в сердце видел Родриго, как в лице Альфонсо проступают черты неукротимого Бертрана.

— Неужто ты слеп?—воскликнул он.— Неужто не уразумел еще знамения божия? Неужто хочешь во второй раз испытывать его долготерпение?

— Придется тебе примириться с тем, что король Кастилии толкует небесные знамения не так, как ты,— все с той же уверенной улыбкой ответил Альфонсо.— Я был самонадеян, когда начал бой под Аларкосом. Согласен, я заслужил наказание, и бог наказал меня. Он осудил меня на тяжкое поражение, он послал мне четырех всадников Апокалипсиса, и кара эта справедлива, я смиренно принял ее. Но затем он убил мою Ракель, и ты утверждаешь, что ее смерть тоже послана мне в наказание за Аларкос и за мою отвагу? Нет, бог так жестоко покарал меня потому, что возлюбил меня больше, чем других. Покарав, бог восхотел явить мне свою милость. И теперь он явил мне свою милость, и поэтому халиф отошел, и поэтому я одержу победу.

Дона Родриго охватил великий гнев. Этот неисправимый рыцарь закрывает глаза, чтобы оставаться слепым. Но он, Родриго, откроет ему глаза. Сейчас он обязан быть жестоким, в жестокости его—милосердие. Памятуя о том впечатлении, которое произвел на него самого рассказ Вениамина, Родриго сказал строго и торжественно:

— Смерть Ракели тоже послана тебе в наказание. Ты в своей гордыне споришь против правды. Ракель умерла из-за твоего рыцарского легкомыслия.

И он рассказал ему то, что слышал от Вениамина: Ракель и ее отец отказались укрыться в иудерии только потому, что Альфонсо велел ей ждать его в Галиане.

Словно огромная волна нахлынула на Альфонсо, он сразу вспомнил и понял. Гнев пастыря справедлив: это его вина. «Почему они не укрылись в иудерии?»—с издевкой задала ему вопрос Леонор. И тот же вопрос он сам задавал себе. Тогда он не помнил, что наказывал Ракели, позабыл, начисто позабыл. Сейчас он вспомнил, ясно и отчетливо. Дважды обмолвился он об этом, так, ненароком сболтнул. В ту последнюю ночь он много говорил, хвастался, а она серьезно отнеслась к его болтовне и похвальбам, и брошенные им вскользь слова запали ей в сердце. И это сгубило ее. А он даже не попрощался с ней, ускакал, пылая своим легкомысленным геройством, он забыл о Ракели и ринулся очертя голову в бессмысленный бой. И что же—пали его калатравские рыцари, и был

убит ее брат Аласар, и он потерял половину своего королевства, и погибли она и ее отец.

И вот он уже опять готов идти в бессмысленный бой!

Он тупо уставился в пространство. Но он видел. Видел то лицо, что возникло перед ним на заброшенной могиле в Галиане, немое, красноречивое лицо Ракели.

Голос дон Родриго вывел его из оцепенения.

— Не зазнавайся, дон Альфонсо,— говорил каноник.— Не воображай, будто господь бог возлюбил тебя больше, нежели других. Не ради тебя отвел он от Испании войско халифа. Ты только орудие в руках господя бога. Не возомни о себе, что ты центр вселенной. Ты, дон Альфонсо, еще не вся Кастилия. Ты один из тысячи тысяч кастильцев. Научись смирению.

Альфонсо смотрел в пространство с отсутствующим видом, но он слышал. Он сказал:

— Я подумаю над твоими словами, друг Родриго. Я сделаю по слову твоему.

Альфонсо дал знать халифу, что согласен начать мирные переговоры. Однако халиф был победителем, он ставил много условий еще до переговоров. Между прочим, он требовал, чтобы Альфонсо отрядил посла в Севилью; весь свет должен знать, что Альфонсо—нарушитель перемирия с Севильей и зачинщик войны—побежден и просит мира у того, на кого напал первый. Альфонсо долго и упорно не соглашался. Халиф стоял на своем. Альфонсо покорился.

Но кого послать для переговоров в Севилью? Кто обладает рассудительностью, быстрой сметкой, гибкостью и хитрым умом, кто сумеет сохранить внешнее и внутреннее достоинство в таком щекотливом и унижительном деле? Манрике слишком стар. Посылать к неверным священнослужителя Родриго не годится.

Родриго предложил доверить переговоры дону Эфраиму бар Абба, старейшине альхамы.

Альфонсо сам уже думал об этом. Эфраим не раз проявлял свой ум в весьма затруднительных делах; кроме того, он еврей, ему легче, чем грандам и рыцарям, снести унижения, которым может подвергнуться в Севилье посланец Кастилии. Но Альфонсо думал об Эфраиме с неприязнью. Он все это время избегал встречи с ним, хотя и надо было обсудить вместе некоторые дела. Из тех трех тысяч ратных людей, которых выставила альхама, большинство убиты. Не будут ли евреи злобствовать на него за это? Не будут ли они злобствовать на него за смерть их Ибн Эзры?

Когда Родриго предложил в посланцы Эфраима, король не скрыл от него своих чувств. Медленно разжигал

он в себе гнев и теперь громко высказал свои тайные помыслы.

— Все они, эти евреи, заодно,—проворчал он.— Уж конечно, Иегуда сговорился с Эфраимом. Я уверен, что они знают, где мой сын, где мой любимый Санчо. И если они не отдадут его по доброй воле, я возьму его силой. В конце концов, король я, а евреи—моя собственность. Я могу сделать с ними, что хочу, это сказал мне сам Иегуда. Я не потерплю, чтобы они перенесли свою месть на моего сына.

Родриго, испуганный этой вспышкой, не настаивал на назначении дон Эфраима.

Меж тем Альфонсо чувствовал все большее и большее искушение поговорить с Эфраимом. Однако он сам не знал, потребует ли он, чтобы тот отдал ему сына, или попросит поехать послом в Севилью. Он призвал дон Эфраима.

— Ты, конечно, слышал, дон Эфраим,—повел он речь,—что халиф хочет начать переговоры о мире.—И когда Эфраим молча наклонил голову, он вызывающе продолжал:—Тебе должно быть известно больше, чем мне, и ты уже знаешь его требования.

Дон Эфраим стоял перед ним, сухонький, старый, тщедушный. Его тревожило, что после поражения под Аларкосом и после убийства Иегуды дон Альфонсо ни разу не призывал его; очень возможно, что король, чувствуя собственную вину, сорвет досаду на евреях. Эфраим знал, что надо быть осторожным.

— Мы отслужили благодарственные молебны, когда враг снял осаду с Толедо, и просили господи и впредь не лишать тебя своей благодати.

Дон Альфонсо продолжал все так же язвительно:

— Тебе не кажется несправедливым, что господь бог и дальше не оставляет меня своей милостью? Вы, конечно, считаете меня виновным в гибели ваших воинов и в убийстве вашего Ибн Эзры.

— Мы печалуемся и молимся,—ответил дон Эфраим.

Альфонсо спросил его без всяких обиняков:

— Итак, что известно тебе об условиях мира?

— Точно нам известно так же мало, как и тебе,—ответил Эфраим.—Мы полагаем, что халиф пожелает удержать всю местность к югу от Гвадианы. Он, несомненно, потребует, чтобы ты ежегодно вносил в его казну крупную сумму и выплатил большую контрибуцию севильскому эмиру. Кроме того, он, вероятно, потребует, чтобы новый мирный договор был заключен на очень длительный срок.

Альфонсо мрачно сказал:

— Может быть, лучше не идти на такие условия и продолжать войну? Или вы считаете эти требования уместными?— задал он коварный вопрос.

Эфраим медлил с ответом. Возможно, если он выскажется за переговоры и мир, король сорвет свою бессильную злобу на альхаме и на нем, на Эфраиме. Велик был соблазн уклониться от прямого ответа, отделаться почти-тельной, ничего не говорящей фразой. Но Альфонсо примет это за согласие, он ведь только и ждет, чтобы его одобрили, и при малейшей поддержке будет продолжать свою бессмысленную войну. Но бог не сотворит второго чуда, Толедо погибнет, а вместе с ним и альхама. Покойный Иегуда, когда перед ним вставали подобные сомнения и трудности, не раз и не два советовал этому христианскому королю быть рассудительным и не нарушать мира. В течение целого столетия еврейские советники убеждали своих христианских монархов быть рассудительными.

— Если тебе, государь, угодно услышать откровенное мнение старого человека,— сказал он наконец своим слабым голосом,— то мой совет: заключай мир. Ты проиграл эту войну. Если ты будешь продолжать ее, мусульмане скорее дойдут до Пиренеев, чем ты до южного моря. Какие бы требования ни выдвинул халиф, если он удовольствуется границей к югу от Толедо, заключай мир.

Альфонсо шагал по комнате из угла в угол, глаза его опасно посветлели, на лбу залегли глубокие морщины. Еврей ведет дерзкие речи. Он, Альфонсо, прикажет схватить его и держать в самом глубоком подземелье замка до тех пор, пока старик не научится покорности и не отдаст ему Санчо. А сам соберет всех воинов и коней, которые еще уцелели, неожиданно нападет на мусульман и прорвет их ряды. Он знал, что это бессмысленные мечты, ему надо вести переговоры о мире, и посредником должен быть именно этот самый Эфраим. Но нет, нет, только не мир! Он покажет и Родриго и этому еврею, что дон Альфонсо еще жив! Но он—побежденный Альфонсо, и еврей прав, и он, Альфонсо, не безумец и не преступник, он отправит послов в Севилью и будет молить о мире. Король в нетерпении заметался по комнате, и за эту короткую минуту, за эту бесконечно долгую минуту он три раза менял свое решение.

Дон Эфраим стоял молча, в почтительной позе, в лице его не было страха, но сердце боязливо сжималось. Он следил глазами за королем. Он видел тяжелую борьбу, написанную на его лице.

Неожиданно Альфонсо подошел к нему почти вплотную, остановился, сказал сердито и вызывающе:

— Слушай! Ты так горячо ратуешь за мир, согласишься ты отправиться в качестве моего посредника в Севилью?

Эфраим ждал всего что угодно от этого непонятного человека, ждал и плохого и хорошего, но только не того, что тот ему сейчас предложил. Он не скрыл своего изумления, отступил вопреки всякому придворному этикету на несколько шагов и, как бы защищаясь, поднял дрожащую старческую руку. Но раньше, чем он успел вымолвить слово, Альфонсо попросил неожиданно мягко:

— Пожалуйста, не говори сразу «нет». Сядь и подумай!

И вот они сидели друг против друга. Эфраим потирал пальцами одной руки ладонь другой. Всю свою жизнь старался он не быть на виду. Как настойчиво он отговаривал Иегуду от блестящих постов — и вдруг теперь должен взять на себя эту миссию, на которую будут устремлены глаза всех. И что бы он ни сделал, глупые, неблагодарные толедцы будут вопить об измене, и если король назначит его послом, явятся тысячи завистников. А между тем, наладив длительный мир, он окажет стране и еврейскому народу такую услугу, равную которой вряд ли кто оказывал раньше. Он, обычно холодный и расчетливый, пришел в смятение, разволновался. Сказать «нет» было очень заманчиво, но он подумал об Иегуде и понял, что его долг сказать «да».

— Халиф не жалуется евреям, — заметил он наконец.

— Он не очень-то жалуется и христиан, — возразил Альфонсо.

— Переговоры будут длительны, а я стар и немощен. Король пересилил себя.

— Не потому, что ты стар, и не потому, что ты немощен, говоришь ты «нет», — сказал он. — Ты боишься, что я слишком несговорчив и горд. Но это не так. Я понял, что человеку, которому судьбой нанесен такой удар, нельзя медлить и торговаться. Я не буду чинить тебе препятствия, я дам тебе широкие полномочия. Я готов выплатить большую контрибуцию севильскому эмиру, а также ежегодно вносить деньги халифу. Платить ему дань, — угрюмо закончил он.

— Я думаю, твой посредник мог бы договориться по этим вопросам, — осторожно, нащупывая почву, ответил Эфраим. — Но позволь мне узнать, государь, как ты мыслишь о другом весьма важном пункте: о сроке перемирия. Я думаю, что халиф не согласится меньше чем на двенадцать лет перемирия. Подпишешь ли ты такой договор? И согласен ли ты соблюдать его?

Альфонсо опять чуть не вспылал. Уж не вообразил ли еврей, что он — его королевский духовник! И опять король

разумом обуздал свой гнев. Когда он в тот раз допустил в Севильский договор условие «in octo annos—на восемь лет», оно с самого начала значило для него не больше, чем пустые слова, начертанные на пергаменте. Но эти три слова навлекли на страну полчища халифа, они убили его калатравских рыцарей. Дон Эфраим прав, напоминая ему, что теперь, заключив мир на двенадцать лет, он действительно должен будет соблюдать его все двенадцать долгих лет.

— Я вижу, ты хорошо вник в интересы халифа,— сказал он негромко и горько.

Эфраим ждал более гневной вспышки, он вздохнул с облегчением.

— Так поступил бы всякий, кто принимает близко к сердцу общее дело.

Альфонсо молчал, думал.

— Долгий мир тебе нужнее, чем мусульманам,— убеждал его Эфраим.— Ты еще не скоро сможешь вести войну, как бы пламенно ты того ни желал. Тебе нужен срок, всей жестоко разоренной христианской Испании нужен срок, чтобы оправиться.

Альфонсо сказал:

— Двенадцать лет. Ты требуешь многого, старик.

Эфраим ответил с обидой, даже резко:

— Прошу тебя, государь, не посылай меня в Севилью

Альфонсо сказал:

— Согласен, пусть будет двенадцать лет.

Он встал, снова забегал по комнате.

— Я желаю, чтобы ты как можно скорей отправлялся в Севилью,— сказал он.— Сообщи, какие полномочия тебе нужны, и выбери сопровождающих лиц.

— Раз такова твоя воля, я приму участие в посольстве,— сказал Эфраим,— но только в качестве финансового советника или секретаря. Сдоблаговоли поставить во главу посольства одного из твоих грандов. Иначе ты уже с самого начала вызовешь недовольство мусульман.

Альфонсо ответил:

— Я включу в посольство двух моих баронов, а возможно, даже трех. Но все полномочия дам только тебе.

Эфраим низко склонился перед королем.

— С божьей помощью постараюсь привезти тебе не слишком тяжелый мирный договор,— сказал он и хотел идти.

Но дон Альфонсо не отпустил его. Он нерешительно сказал:

— Я собирался попросить твоего совета еще в одном деле. Мой покойный друг и эскривано дон Иегуда, должно быть, оставил очень богатое наследство. Я не думаю, что

у него есть родственники, которые могли бы по праву претендовать на это наследство. Или, может быть, ты знаешь таких его родичей?

Дон Эфраим снова насторожился.

— В Сарагосе проживает дон Хосе Ибн Эзра,— сказал он,— родич дон Иегуды—будь благословенна память праведника! По нашим законам он имеет право на десятую часть наследства. Мой тебе совет, государь, отдай дону Хосе его долю. Он может оказать тебе немалые услуги в трудном деле—помочь получить по счетам на дебиторов, которые у дон Иегуды были по всему свету.

Альфонсо ответил:

— Пусть будет так, как ты сказал. Я думал также отдать часть наследства толедской альхаме.

— Ты очень щедр, государь,—сказал дон Эфраим.— Знаешь ли ты, что наследство очень велико? Архиепископ Толедский и дон Иегуда были самыми богатыми людьми в стране.

Король продолжал несколько смущенно:

— Всем остальным имуществом я прикажу управлять моим казначеям, пока не отыщется прямой наследник—сын доньи Ракель. Между прочим, уже изготовлены грамоты,—сказал он, собственно без особой связи с предыдущим,—согласно которым сыну доньи Ракель дарованы все права на титул графа Ольмедского. Они изготовлены еще при жизни дон Иегуды и с его ведома.

Эфраим сухо ответил:

— Твое полное право, государь, взять в казну все, что тебе будет угодно, из наследства, оставшегося после дон Иегуды, и никто не посмеет осудить тебя.

Альфонсо настойчиво, немного хриплым, голосом сказал:

— Мой покойный друг Иегуда часто бывал с тобой; вероятно, тебе известно многое. Я не хочу настаивать и выпрашивать тебя, старик, что именно тебе известно. Но меня гнетет мысль, что мой сын живет среди вас и я не знаю его. Ты должен это понять. Неужели ты не поможешь мне?

Тон его голоса был просительный, ласковый, это и льстило Эфраиму, и настораживало его. Опасную задачу возложил на него его покойный друг-недруг.

Эфраим сказал:

— Никому, государь, не ведомо и теперь уже никто не может разведать, причастен ли дон Иегуда Ибн Эзра к исчезновению своего внука. Ежели он и был причастен, то, конечно, привлек к такому щекотливому делу только одного помощника, и помощника надежного, не болтливового.

Альфонсо почувствовал себя униженным, уничтоженным. Но против собственной воли он продолжал разговор:

— Я верю и не верю тебе. Я боюсь, что вы мне все равно не скажете, если даже вам что-нибудь известно. Меня мучает мысль, тебе я признаюсь, что мой сын вырастет среди вас, примет ваш закон. Я должен бы вас ненавидеть за это, и порой я вас ненавижу.

Эфраим сказал:

— Еще раз спрашиваю я тебя, государь, тебе действительно угодно, чтобы человек, о котором ты так думаешь, улаживал в Севилье дела твои и твоего государства?

Король сказал:

— Бывало, я питал злобу и против дона Иегуды, и все же я знал, что он мне друг. Ты стар и многоопытен, ты знаешь людей и понимаешь толк в делах. Я хочу, чтобы ты отправился моим представителем в Севилью. Я знаю, что лучше тебя мне никого не найти.

Эфраим почувствовал жалость, смешанную с удовлетворением. Он сказал:

— Возможно, наступит время, когда объявится тот или другой и назовется твоим исчезнувшим сыном. Мой совет, государь, не утруждай себя зря. Вероятно, это будет самозванец. Предоставь нам разузнать правду и ко всем прочим твоим заботам не прибавляй еще и эту. Смирись, дон Альфонсо. У тебя хорошие дочери, благородные инфанты, которые в свое время станут великими монархинями. Твои внуки сядут на испанские престолы и с божьей помощью объединят государства нашего полуострова.— И он закончил свою речь неясными словами, но король понял его.— Дон Иегуда Ибн Эзра умер, его сын и дочь умерли. Если кто из его рода и уцелел—так это его внук. А дон Иегуда отрекся от ислама и возвратился в иудейство, в веру своих отцов, и это его завешание.

Дон Альфонсо понимал все значение того, что он предоставил улаживать последствия войны, которую проиграл, Эфраиму, еврею и купцу. Он отказался от опрометчивого рыцарского геройства, расстался с Бертраном, сказал прости своему прошлому, своей юности. Он не раскаивался, но почти физически ощущал отречение, пустоту.

Путь, на который он ныне вступил, не манил уводящими в сторону таинственными тропами, не вел в туманно-голубую мерцающую даль; трезвый и прямой, он неуклонно вел к честной и явной цели. Но раз уж он, Альфонсо, вступил на этот путь, он пройдет его до конца. Он сам наложит на себя цепи; ради сладостных его сердцу

героических подвигов не поставит он под угрозу горький мир, который взял на себя.

Он не спал всю ночь. Взвешивал, отбрасывал, снова взвешивал, решался, отбрасывал.

Решился.

С чуть приметной улыбкой сказал дону Родриго, что хочет восстановить епископства в Авиле, Сеговии и Сигуэнце и епископом Сигуэнцским надумал назначить его, дона Родриго.

Неприятно удивленный, Родриго спросил:

— Хочешь отделаться от докучливого пастыря?

Альфонсо улыбнулся, на лице его появилось прежнее мальчишески очаровательное, лукавое выражение.

— На этот раз ты несправедливо заподозрил меня, досточтимый отец,—сказал он.—Я хочу не отдалить, а приблизить тебя к себе. Но, если я не ошибаюсь, по церковным законам нельзя, чтобы каноник непосредственно, без промежуточной ступени, был возведен на престол архиепископа Толедского.

Противоречивые мысли обуяли каноника. Его, дона Родриго, король хочет сделать примасом Испании! Да, он мог подать добрый совет, но о таком возвышении он, скромный человек, никогда и не мечтал; его очень удивило, что дон Мартин тогда опасался этого. Значит, отныне ему придется не только советовать и высказывать свое мнение, он должен будет распоряжаться самыми крупными денежными поступлениями, должен будет сказать свое веское слово, когда дело коснется войны или мира. Он был ошеломлен. Ему ниспосланы благодать и милость, но вместе с тем и тяжелое бремя.

Альфонсо видел, как взволнован дон Родриго, и полушутя, полусерьезно сказал:

— Правда, на несколько месяцев тебе придется уехать в Сигуэнцу, и я не буду видеться с тобой. Святой отец любит поторговаться. Не так-то скоро удастся мне убедить его, чтобы он дал тебе архиепископский паллий. Но я к этому готов и в конце концов добьюсь своего. Я хочу, чтобы ты был в королевстве первым после меня,—продолжал он с мальчишеским упрямством.—Ты принудил меня отменить испанское летосчисление, и все же я хочу, чтоб ты был примасом Испании.

Муса был потрясен новостью. Родриго уедет в Сигуэнцу! Как-то будет житья во враждебном Толедо без защиты каноника ему, мусульманину? Опять станет он бесприютным, одиноким скитальцем. Голым и неприветливым лежал перед ним последний отрезок его жизненного пути.

Однако собственная печаль не заслонила для мудрого, знающего людей Мусы то хорошее, что принесет эта перемена канонику, и он нашел слова теплого участия.

— Многочисленные обязанности на новом месте быстро положат конец твоей аседии, угрюмому раздумью последних месяцев. Ты будешь принимать решения и вершить делами, от которых зависят судьбы многих. А эта работа,—продолжал он взволнованно,—я надеюсь, побудит тебя снова взяться за твою летопись. Да, достойный мой друг,—с задумчивой улыбкой закончил он,—тот, кто творит историю, испытывает соблазн писать ее.

И действительно, как только король предложил дону Родриго архиепископство, в душе каноника шевельнулся такой соблазн. Сперва король согласился на тяжелое бремя—на осторожного советчика Эфраима, а теперь по доброй воле ставит себя в зависимость от него, Родриго, невоинственного, миролюбивого человека. Только внутренне переродившийся Альфонсо мог сам навязать себе такую двойную обузу. А это сознание породило в душе дона Родриго слабый росток новой надежды и блаженное предчувствие, что вопреки его унылому мудрствованию в том страшном, что свершилось за этот год, был свой смысл. Но он запрещал себе давать волю этим ощущениям, он не позволял им складываться в ясные мысли, он не хотел пережить новое разочарование.

— Я даже не подумаю опять взяться за свою летопись,—запальчиво ответил он Мусе.—Я уничтожил весь собранный мной материал, ты это знаешь.

— Твоя академия может в короткий срок снова собрать нужный тебе материал,—спокойно ответил Муса.—Из моих материалов многое тоже может тебе пригодиться. Я охотно подберу их для тебя. Правда, сохранить с тобой связь будет нелегко,—продолжал он с померкшим лицом.—Кто знает, в каком уголке земли придется мне искать приюта, когда я лишусь твоей защиты.

Сначала Родриго не понял. Затем он поспешил успокоить друга.

— Что это ты придумал? Само собой разумеется, ты тоже поедешь со мной в Сигуэнцу.

Муса просиял. Однако правила мусульманской вежливости предписывали ему не соглашаться сразу.

— Не сочтут ли мое пребывание в сигуэнцском епископском дворце неуместным? Обрезанный домочадец вызовет немалое осуждение твоей паствы.

— Пускай,—коротко и угрюмо ответил Родриго.

Широкая счастливая улыбка все еще освещала некрасивое лицо продолжавшего говорить Мусы.

— Позволь обратить твое внимание еще и на то, что теперь тебе особенно туго придется со мной. Ведь я не

отступлю от тебя, пока ты снова не сядешь за свою летопись.

Уже сейчас, в Толедо, Муса подзадоривал друга и все время втягивал его в длительные историко-философские споры. Он стоял перед налом, что-то царапал и бросал через плечо:

— Не случайно то, что нам, мусульманам, пришлось отказаться от Толедо, когда город был, можно сказать, уже у нас в руках. Наше время, золотое время нашего могущества, к сожалению, прошло, и внутренние раздоры, которые отозвали халифа накануне полной победы, еще не раз повторятся. Это так же непреложно, как математические законы Альхорезма. Мусульманская мировая держава, при всей ее внешней мощи, одряхла. Она не прочна.

Как Муса и ожидал, Родриго пошел на эту приманку.

— Ты решаешься сказать, что ваше время прошло! — возразил он. — Но ведь вы победили! Наше войско уничтожено, ваша граница подошла к самому Толедо, наш гордый дон Альфонсо платит вам дань. — Он разгорячился: — Господство мусульман идет на убыль! Золотое время мусульман прошло! Три раза за последнее столетие выступали мы против вас с таким войском, какого не видел еще мир. Пятьсот тысяч христианских рыцарей погибли в этих крестовых походах и тысячи тысяч прочего христианского люда, не говоря уже о моровой язве, болезнях и нищете на родине у христиан. А святой град и посейчас еще, как и сто лет назад, в ваших руках. И ты жалуешься, что ваше царство приходит в упадок!

Муса вежливо возразил:

— Ты притворяешься менее мудрым, чем ты есть на самом деле, мой высокочтимый друг. Ты втискиваешь историю нескольких десятилетий или одного столетия в тесные рамки и рассуждаешь так, словно это замкнутый период. Но ведь не собираемся же мы, и ты и я, описывать только сегодняшний день и чуточку вчерашнего, ведь мы же стремимся установить смысл событий, мы хотим уяснить себе ведущую линию происходящего и, как истые божьи разведчики, указать ее будущим поколениям. И вот, к сожалению, выясняется, что ваши крестовые походы не были неудачными. Конечно, те земли, что вы завоевали за это последнее столетие, не стоили таких жертв. Но зато вы в избытке приобрели хозяйственный опыт, ты знаешь это не хуже меня, а также бесценные политические и научные знания. Мы охотно, с самодовольством водили вас по своим мануфактурам, мы показывали вам, как мы воспитываем свою молодежь, как управляем городами, как творим суд. Вы были прилежны-

ми учениками и переняли у нас то, что у нас есть хорошего. Вы поняли, что в наш век важнее не рыцари, а ученые и сведущие люди, зодчие, и оружейники, и строители, и мастера, искусные в разных ремеслах, и опытные сельские хозяева. Вы молоды, вы растете, скоро вы догоните и перегоните нас. Вы потеряли пятьсот тысяч рыцарей, и все же побежденные — не вы.

Его слабый голос зазвучал громче. Кроткими, умными, чуть насмешливыми глазами смотрел он на друга. Тот молчал, не без удовлетворения признавая себя побитым.

Не раз вели они такие же разговоры, разговоры и споры, во время которых Родриго, к собственному удивлению, доказывал, что победили неверные, а Муса сомневался в конечной победе мусульман.

Однако чем дольше раздумывал Родриго над доводами друга, тем убедительнее казались они ему, тем большую внушали уверенность в своих силах. Он чувствовал себя молодым и обновленным. Его уже не мучили слова апостола Павла в Послании к коринфянам, в которых апостол противопоставляет немудрое божее премудрости мудрых. Вместо того в нем радостно звучали другие слова апостола: «Старое прошло, все обновилось». Вместо слепой веры, разрешавшейся блаженным экстазом, теперь в нем жила смутная уверенность, день ото дня крепнувшее ощущение: что бы там ни было, но происходящее в мире полно смысла. Он еще не мог облечь это ощущение в логически последовательные фразы. Да он и не стремился к ясности. Ему было достаточно знать о смысле истории столько, сколько святой Августин знал о смысле событий: «Когда ты меня не спрашиваешь, я знаю; когда ты меня спрашиваешь, я не знаю».

Меж тем слова Мусы все глубже проникали в сознание дона Родриго, и все горячее ощущал он желание стать разведчиком божим и нащупать разумные пути в происходящем.

И все же он не решался снова взяться за свою летопись. Его удерживало новое сомнение.

— Я боюсь,— заявил он другу,— что влечет меня к моему труду не столько желание служить господу, сколько писательское тщеславие.

Муса лукаво посмотрел на него. Он притащил фолиант — «Житие блаженного Августина» и прочитал канонику, что написал о последних днях жизни святого его ученик Посидий. Августин был в ту пору архиепископом в осажденном вандалами городе Гиппоне. Из окон его дворца было видно, как пылает карфагенская земля. Августину было семьдесят шесть лет, он был очень хил и знал, что скоро умрет. Его заботила судьба осажденного города и всей захваченной врагом провинции. Но все же

он перечитывал еще раз свои многочисленные писания, исправлял и изменял, желая, чтобы в библиотеке Гиппоны остался свободный от ошибок экземпляр каждого из его творений. Кроме того, он стремился закончить еще одну книгу, назначение которой было опровергнуть писания Юлиана Отступника. «Августин, праведнейший из всех епископов,—повествует Посидий,—умер в пятый день сентября месяца, на смертном одре он прилагал все усилия к тому, чтобы были отбиты натиски вандалов, и работал над своим великим полемическим трудом, направленным против Юлиана Отступника».

Муса поднял глаза от книги и лукаво спросил:

— Не хочешь же ты быть более святым, чем святой Августин, мой достойный друг? Прислушайся к голосу собственного сердца и подумай,—может быть, твои сомнения только благочестивое высокомерие?

Вечером того же дня Родриго приготовил большую стопу драгоценной белой бумаги и медленно, с наслаждением написал: «Начинается -История Испании. Incipit chronicon regum Hispanarum».

Муса же, улыбаясь, заметил:

— Ни один порок не пускает столь глубоких корней, как порок сочинительства.

Мир, который привез дон Эфраим, был лучше, чем можно было ожидать. Но Эфраим не добился,—да, верно, и не очень добивался,—чтобы перемирие было установлено меньше чем на двенадцать лет.

Выслушав его подробный отчет, дон Альфонсо сказал:

— Я понимаю, что должен быть тебе благодарен. Я и благодарен. Я созову своих грандов, чтобы ты при них возвратил мне перчатку—знак возложенного на тебя поручения.

— Такая пышность совсем не пристала мне,—чуть не с испугом возразил дон Эфраим.—Да и альхаме от этого прибавится не друзей, а завистников.

Прищурившись, Альфонсо спросил, в самом ли деле Эфраим считает, что для восстановления хозяйства потребуется целых двенадцать лет.

Эфраим возмущился в душе. В свое время он настойчиво убеждал этого человека смириться и подготовиться к длительному миру. Только на таком условии он, Эфраим, и согласился взять на себя столь тяжкое поручение, а дон Альфонсо, едва успев заключить договор, уже помышляет, как бы его нарушить.

— Королевство твое, государь, находится в таком состоянии, что тебе, пожалуй, придется потерпеть даже больше, нежели двенадцать лет,—сухо ответил он.—Я не

доживу до нового твоего похода, да и ты к тому времени будешь уже немолод.

И так как дон Альфонсо в досаде молчал, Эфраим утешил его:

— Примиришься с этим, государь. Дон Иегуда хорошо потрудились тебе на благо. Он завязал деловые отношения, которые сохранились даже и после постигшего страну бедствия. Он всему миру доказал, какие богатства таятся в Кастилии, он упрочил твой кредит. Но чтобы извлечь пользу из его стараний, ты должен следовать намеченному им плану, он же трудился ради мира. В ближайшие годы не думай о своих рыцарях и баронах, которые только разоряют страну, думай о своих ремесленниках и хлебопашцах, думай о своих городах. И льготы давай им, давай им фуэрос, чтобы они могли противостоять твоим грандам.

Дон Альфонсо слушал с внутренним протестом, но со вниманием. Что поделаешь — ему раз и навсегда ближе мир рыцарства. У короля своя правда, а у старого еврея-банкира — своя. Философия его, Альфонсо, изложена в песнях Бертрана. Однако этот Эфраим, надо полагать, прав, и если он, Альфонсо, хочет через двенадцать лет начать победоносную войну, ему надо пока что ублажить низших. Надо дать горожанину и землепашцу, словом виллану, место у себя в совете и взыскивать с рыцаря всякий раз, как тот избыт своего крестьянина или силой отберет у горожанина мошну. Какой это будет затхлый, скучный мирок, над какой жалкой Кастилией придется ему царствовать.

Тем временем дон Эфраим перешел к плачевному хозяйственному положению страны. Разработка копей в полном упадке, суконные мануфактуры, процветавшие стараниями дона Иегуды, разрушены или приведены в негодность, стада угнаны, овцеводство, бывшее до войны одним из важнейших источников дохода, совершенно запущено. Кастильский мараведи обесценен; за один арагонский мараведи требуют шесть кастильских. Чтобы спасти земледелие и ремесла от окончательной разрухи, нужно ослабить поборы и даровать много новых льгот. Эфраим пустился в подробности. Точно указал, какие налоги и пошлины надо снизить, а какие и вовсе упразднить. Приводил цифры, бесконечные цифры.

Когда дон Иегуда начинал подобные разговоры, ему удавалось хоть на короткий срок увлечь Альфонсо; но затем в короле закипала досада против этой скучной канители, недостойной его сана, и случалось, он грубо прерывал беседу. Теперь же, хотя Эфраим отнюдь не обладал блестящим красноречием Иегуды, дон Альфонсо все внимательнее вникал в нескончаемые цифры, вытекав-

шие одна из другой,—уж очень четко и убедительно умел считать этот старый еврей. Альфонсо не хотел признаться самому себе, что ему это даже нравится. Раз уж наступают такие безотрадные времена, не к чему закрывать на них глаза, а лучше как-нибудь приспособиться к ним. И до него такой же удел выпадал другим, великим и могучим монархам, например, королю Генриху, а ему, Альфонсо, уже и так дорого обошлась его слепота.

— Счастье еще, что ты, государь, в свое время разрешил Иегуде поселить в твоём королевстве шесть тысяч франкских беженцев,—рассуждал Эфраим,—среди них найдутся толковые люди, которыми ты сможешь заменить многих мастеров своего дела, павших в бою или сгинувших иным путем. Надо отдать должное дону Иегуде—да будет благословенна память праведника,—он-то...

Тут король прервал Эфраима.

— Я уже однажды предлагал тебе ведать моей казней,—начал он.—Ты отказался. Должно быть, ты поступил разумно; в ту пору там и ведать-то было почти нечем и со мной моим советникам приходилось несладко. Казны теперь, пожалуй, еще меньше, зато я успел поумнеть, что ты, надо полагать, заметил. Второй раз прошу тебя: будь моим альхакимом или—еще лучше—альхакимом майор.

Эфраим ожидал и боялся этого приглашения и вставал против него всей душой. Государственные должности всегда отпугивали его, а теперь он был стар, ему хотелось провести остаток дней у домашнего очага, на попечении близких и спокойно уйти из жизни. В нем поднялась вся его обида и ненависть к дону Альфонсо. Из бессмысленной рыцарской удали этот человек погнался на смерть те три тысячи воинов, которых предоставила ему альхама. У своего верного слуги Ибн Эзры он отнял и дочь и сына и самого его не выручил из беды. А теперь этот человек хочет впрячь в свой воз его, Эфраима, чтобы он помог ему осилить лежащий впереди крутой и тяжкий путь.

— Ты оказываешь мне высокую честь,—ответил он.—Но переговоры в Севилье были очень утомительны. А теперь меня ждут дела альхамы. Я очень стар, уволь меня от этого, государь.

По-мальчишески капризно Альфонсо возразил:

— А я хочу, чтобы у меня альхакимом был еврей.

Это было сказано нескладно и даже нелепо, но в этом прозвучала сердечность прежнего Альфонсо. Эфраим как бы заглянул ему в душу. Он понял, что этот человек хочет искупить свою вину перед покойным эскривано и, переломив себя, пойти намеченным Иегудой путем. Но он немного робеет и ищет, на кого бы вновь опереться. Если Эфраим примет эту должность и будет продолжать то, что начал Иегуда, он заведомо сократит себе жизнь. Но

он увидел перед собой блестящие, настойчивые, насмешливые глаза Иегуды, услышал его гибкий, благозвучный голос, вспомнил их последнюю встречу. Кто-то ведь должен взять протянутую этим христианским королем жесткую, неопрятную руку и с тяжким трудом тащить его дальше по узкой и суровой тропе мира.

Эфраима знобило, несмотря на теплые одежды, и он в самом деле казался очень дряхлым и хилым. С усилием выдавливая из себя каждое слово, он сказал:

— Раз ты приказываешь, государь, я попытаюсь наладить хозяйство твоей страны.

— Благодарю тебя,—ответил Альфонсо и добавил, запинаясь:—Мне бы хотелось еще кое-что обсудить с тобой, дон Эфраим бар Абба. Я не всегда выказывал моему покойному эскривано такую благодарность, как следовало бы и какой награждал мой дед своего Ибн Эзру. Меня мучает, что и похоронили-то усопших наскоро, точно бедняков. Я не раз подумывал устроить им погребение на свой лад, сообразно их высокому званию. Но по зрелом размышлении я решил, что лучше будет *вам*, по вашим обычаям и с вашими почестями, похоронить моего покойного эскривано, а также донью Ракель, его дочь, которая была мне очень близка. Душой оба они оставались с вами, с вами до самого конца, и я буду тебе признателен, если ты устроишь им такое погребение, какое бы они сами пожелали себе.

— Ты предвосхитил мою просьбу, государь,—ответил дон Эфраим,—я позабочусь обо всем. Но окажи мне милость, позволь подождать с погребением, пока о нем не будут оповещены все те, кому захочется воздать последние почести дону Иегуде Ибн Эзру.

Вскоре после заключения мира донья Беренгела родила мальчика. Этот будущий король Арагона и Кастилии получил при крещении имя Фернан. Крестины были отпразднованы с большой пышностью. Для участия в празднестве в Сарагосу съехались все пять христианских монархов полуострова.

За пиршественным столом Альфонсо и Леонор сидели рядом, на возвышении. Донья Леонор была по-прежнему хороша собой, благосклонна и надменна, как подобает знатной даме, и, следуя куртуазным правилам, они с супругом обменялись множеством учтивых слов.

В этот день Альфонсо с полным правом мог чувствовать себя владыкой из владык, да он и был преисполнен сознанием своих заслуг и своего достоинства. Всего год назад страна была завоевана врагом, а сам он осажден в своей столице. Как жестоко страдал он в ту пору от

стыда, вспоминая Ричарда Английского. Тот на деле показал себя miles christianus, грозой мусульман, Мелек Риком. Он штурмом взял неприступную твердыню Акку и в открытом бою одержал блистательную победу над войском султана Саладина. И как же все переменялось сейчас! Огромные потери крестового воинства оказались почти что напрасными, после заключения незавидного перемирия святой град остался в руках неверных, а сам Ричард рассорился со своими союзниками, был заточен в австрийскую темницу и, беспомощный, томился там. Он же, Альфонсо, восседает здесь и снова, как прежде, считается могущественнейшим королем на полуострове. А его внук, которого сегодня приняли от купели, этот крепенький малыш Фернан, почти наверняка объединит Арагон и Кастилию и, быть может, по примеру своего прадеда Альфонсо Седьмого, возложит на себя императорский венец.

Но посреди этого блеска и процветания Альфонсо только сильнее ощущал, как все выжжено у него в душе. Он смотрел на донью Леонор и видел ее внутреннее опустошение. Он смотрел на свою дочь Беренгелу и в ее глазах, материнских больших зеленых глазах, видел необузданную гордыню, жажду все большей власти и почета. Он не сомневался, что она укоряет своего мужа в слабости за то, что после поражения Альфонсо тот не присвоил себе главенство на полуострове. Он не сомневался, что вся ее жизнь, все помыслы отныне отданы сыну, будущему императору Фернану, а что к нему, к отцу, у нее в сердце нет ничего, кроме неприязни и пренебрежительного равнодушия. Он стоит поперек дороги ее сыну и ее властолюбию, он ради утех сладострастия забыл свой королевский долг, он уже однажды чуть не погубил государство, принадлежащее ей и ее сыну, и, может быть, окончательно загубит его, прежде чем ее сыночек Фернан успеет возложить на себя императорский венец.

Пажи, подносявшие королю кушанья, вина, утиральник, растерянно стояли и ждали. Он не замечал их. Ему вдруг стало ясно, как он обездолен посреди своих пяти миллионов кастильцев со всем их поклонением. Бесконечно одинокий, смотрел он невидящим взором в пустынный мир.

Дон Родриго с грустью заметил, что за своей благоклонно-царственной маской Альфонсо застыл в глубоком и гордом раздумии. Каноник был исполнен горячей жалости и вместе с тем одержим фанатической любознательностью летописца и с рвением ученого наблюдал за Альфонсо. Верно, что дон Альфонсо *memoria tenax intellectu saraх, vultu vivax*. Он прочно хранит в памяти все события, он схватывает их своим острым умом,

запоминает их, и они отражаются у него на лице. Да, на челе дона Альфонсо запечатлелось все им пережитое — буйные страсти, трудные, стремительные победы, горькие поражения, борьба с собой и познание. Глубоко залегли на лбу морщины, и складки прорезали щеки. Лицо стало летописью его жизни. Уже сейчас сквозь облик сорокалетнего мужчины проглядывают черты старца, каким он будет со временем.

На севере королевства, близ наваррской границы, во владениях баронов де Аро жил отшельник, налагавший на себя тягчайшие епитимии. Жил он в пещере, высоко на обрывистой круче Сиерры-де-Нейла. Только чудом мог он существовать там. Ибо он был слеп и не иначе как милость провидения хранила его, не давала ему оступиться над пропастями и оберегала от диких зверей. Молва гласила, что волки ползали перед ним и лизали ему руки.

Кающиеся грешники взбирались к нему наверх с приношениями, могущими удовлетворить его скудные потребности. Они просили, чтобы он наложил на них руки; ибо от рук его исходила благодать. По одному прикосновению к челу грешника мог он сказать, полностью ли отмолил тот свои грехи или нет. Слава об отшельнике и творимых им чудесах распространилась по всему полуострову.

А был этот пустынный тем самым Дьего, которого Альфонсо перед первой своей победоносной битвой при Аларкосе велел ослепить за то, что он заснул на часах.

Сеньоры же Дьего, бароны де Аро, были строптивыми вассалами, непокорными королю. Они объявили, что вследствие беспутства и нечестия последних лет город Толедо погряз в грехах, а потому нужно, чтобы Дьего отправился туда — посещение праведника пробудит совесть толедцев. Про себя де Аро надеялись, что пребывание Дьего в столице причинит неприятности королю.

Жители Толедо толпами сбегались взглянуть на божьего человека и поклониться ему и все громче подымали голос, требуя, чтобы и король извлек для себя пользу из присутствия чудотворца.

Раньше, когда сияющий дон Альфонсо ехал рядом с носилками, где сидела Фермоза, они радовались его недозволенной радостью, от которой теплее становилось на сердце, и приветствовали его, и тот день, когда они встречались с ним, бывал для них праздничным днем.

Теперь же они испытывали благоговейную жалость, робость и затаенный ужас при виде человека, которого

отметило и покарало провидение. Они желали ему полностью очиститься от греха и считали, что праведник сумеет помочь ему в этом.

Родриго видел в суете, поднятой вокруг Дьего, одно только непотребство и суеверие и чуял злой умысел баронов де Аро, а потому посоветовал королю не обращать внимания на Дьего.

Да и самому Альфонсо отшельник был в тягость. Его жег запоздалый стыд, когда он думал, с каким самохвальством рассказывал Ракели об ослеплении нерадивого часового и о сочиненном им, Альфонсо, по этому случаю изречении. Он вспоминал, каким замкнутым сделалось вдруг лицо Ракели, и знал теперь почему.

Но он заметил, что люди с ужасом смотрят на него, и понимал их, понимал, для чего они хотят его встречи с чудотворцем. И, кроме того, его разбирало любопытство поглядеть, каким стал этот пресловутый Дьего. Неужто он, Альфонсо, невольно превратил его в святого?

Когда он увидел слепца, ему ясно представился прежний Дьего. То был грубоватый мальй, напористый, самодовольный, немного похожий на Гутьере де Кастро; неужели же перед ним действительно тот Дьего, которого он приказал ослепить? Дону Альфонсо было не по себе, он пожалел, что позвал слепца, и не знал, что ему сказать. Тот молчал тоже.

Наконец король, сам не вполне сознавая, что говорит, неуклюже пошутил:

— Как видно, истина, которую я в тебя вколотил так крепко, пошла на пользу.

— Кто это — я? — спросил Дьего.

Досадливое изумление короля все возрастало. Неужто слепцу не сказали, к кому его ведут? А он даже и не спросил?

— Я — король, — ответил Альфонсо.

— Я не узнал твоего голоса, — не удивившись и не смущаясь, ответил слепец, — и не чую ничего такого, что мог бы в тебе узнать.

— Я поступил с тобой несправедливо, Дьего? — спросил король.

— Бог повелел тебе сделать то, что ты сделал, — спокойно сказал слепец. — Но и сон, одолевший меня тогда, был ниспослан богом. Аларкос послужил местом сурового испытания для тебя не менее, чем для меня. Тогдашняя победа под Аларкосом ввела в соблазн дерзновенно отважиться на второе сражение. Для меня горе обернулось благословением. Я обрел мир. — И без видимой связи с предыдущим добавил: — Я слышал, Аларкос больше не существует.

Альфонсо подумал было сперва, что слепец, прикрываясь своей святостью, хочет посмеяться над ним, но слова эти были сказаны удивительно бесстрастно, словно их произнес кто-то третий, взиравший на обоих с недосыгаемой высоты, они не имели целью уязвить Альфонсо.

— Я молил бога,—сказал Дьего,—чтобы и тебе, государь, несчастье оказалось во благо. Дай посмотреть на тебя,—потребовал он и протянул руки. Альфонсо понял, чего он хочет, подошел ближе, и слепец ощупал его лицо. Королю было неприятно чувствовать костлявые пальцы у себя на лбу и на щеках. Все в этом человеке отталкивало его: наружность, речь, запах. Он поистине добровольно подвергал себя испытанию. А что, если это попросту фигляр, ярмарочный фокусник?

— Утешься,—сказал Дьего.—Господь даровал тебе силу смиренно ждать. *Quien no cae, se no levanta* — кто не падает, тот не может подняться. Сколько бы тебе ни пришлось ждать, у тебя на это достанет сил.

Альфонсо проводил слепца до порога и сдал на руки тем, кто его привел.

Наконец настал день, когда единоверцы вырыли тела Иегуды Ибн Эзра и его дочери, чтобы перевезти на кладбище в иудеи.

Это был теплый и пасмурный день ранней осени; скалу, на которой расположен Толедо, окутывала густая, зеленовато-серая мгла.

Иегуду и Ракель обернули в белые саваны. Положили, как предписывал обычай, в простые дощатые гробы, а внутрь насыпали горстку тучной, черной, рыхлой земли, земли Сиона. На Сионской земле покоилась теперь голова Иегуды, радевшего о возвеличении своего народа, и голова Ракели, мечтавшей о мессии.

Еврейские общины со всей Испании прислали своих представителей, многие прибыли из Прованса и из Франции, а некоторые даже из Германии.

Восемь почтеннейших мужей толедской альхамы подняли гробы на плечи и между деревьями и цветами, по усыпанном гравием дорожкам Галианы понесли к воротам. Там, где входящих приветствовала надпись «алафия», ждали другие, чтобы сменить их. А эти, пронеся гробы короткое расстояние, передали их стоящим наготове; ибо не было числа тем, кто домогался чести донести усопших до могилы.

Так, с плеча на плечо, подвигались гробы по знойной дороге к Альконтаре, к мосту, переброшенному через Тахо.

И молодой дон Вениамин нес короткое расстояние один из гробов, второй, гроб доньи Ракель. Ноша была легкая, но молодой человек еле волочил ноги — тяжким, гнетущим бременем придавило его горе.

Он пытался думами облегчить гнет. Думал о том, что те шесть тысяч беглецов из Франции, которых Иегуда, наперекор неистовому сопротивлению, впустил в страну, из докучливых пришельцев превратились в желанных сограждан. Все вышло не так, как ожидал он, Вениамин, а гораздо лучше. Не веря своим глазам, смотрел он, как отправился посланцем в Севилью его дядя Эфраим, как добился мира, а теперь всячески старался закрепить этот мир. Дело Иегуды не погибло, оно идет дальше. И король не только терпит это, он этому способствует. Но сколько смертей и горя потребовалось для того, чтобы вразумить строптивого рыцаря. И надолго ли?

Нельзя, чтобы личная неприязнь к королю толкала его на несправедливое суждение. Король *и в самом деле* изменился. Ракель добила своего. Все 'вышло так, как в ее любимой сказке. Волшебник вдохнул жизнь в ком глины, но заплатил за это собственной жизнью.

Медленно шагал дон Вениамин с легкой ношей, с телом Ракели на плече, и, углубившись в свои думы, сбивался с шага, мешая и другим нести гроб.

Шесть тысяч поселенцев могут теперь жить полезной жизнью. Это ничтожно по сравнению с бесполезной смертью тысяч и тысяч, погибших в войнах за последние десятилетия. И все достигнутое ничтожно: крупица мира, привезенная Эфраимом, крупица разума, зародившаяся в короле. Это лишь крошечная искорка света в непроглядном мраке. Но эта искорка нового света светит, и если на него, на Вениамина, нападет страх, искорка своим светом разгонит страх. Тут ему и тем, кто шел вместе с ним, пришло время передать гроб другим, ожидавшим своей очереди. Теперь, когда он освободился от ноши и не должен был равнять шаг по другим, ноги его совсем отяжелели. Но он собрался с силами, выпрямился, продолжал думать. Горькую, упорную, неотвязную думу: нам дано двигать дело, но завершить его нам не дано.

Погребальное шествие достигло границы города — моста через Тахо. Широко распахнулись огромные ворота, дабы впустить усопших.

Дон Альфонсо приказал, чтобы его министру, которого так плохо отблагодарил Толедо, были оказаны самые высокие почести. Жители Толедо охотно повиновались приказу. На всех домах висели черные полотнища. Тесными и темными рядами стоял народ вдоль обычно столь

пестрых улиц; вместо громкого гомона — приглушенный скорбный гул. По всему пути были выстроены королевские солдаты, и знамена с кастильским гербом склонялись, когда мимо проносили гробы. Люди обнажали головы, многие падали на колени, женщины и девушки громко оплакивали судьбу Фермозы.

Гробы несли крутыми улицами вверх, к внутреннему городу, и путь выбрали не самый короткий, шествие завернуло и на Базарную площадь, на Сокодовер, дабы как можно больше народу могло поклониться усопшим.

У самого верхнего окна королевского замка, чтобы дольше следить за погребальным шествием, стоял Альфонсо, совсем один.

Он думал:

«Я даже не горюю. Я успокоился. Мне теперь чужды бурные страсти. Я стал лучшим королем. Мне бы надо радоваться этому. Но я не радуюсь.

Надо полагать, я доживу до своего победоносного похода и совершу его во главе объединенной Испании. Но и в тот миг, когда победа будет в моих руках, вместо горячей радости я почувствую только, что наконец-то исполнил свой долг, в крайнем случае я испытаю облегчение, но не счастье. Все счастье, какое было мне отмерено, осталось позади. Я обладал им, держал его в своих объятиях, оно лнуло ко мне, такое нежное, упоительно сладостное, но я по легкомыслию ушел от него прочь. А теперь они там внизу проносят мимо все то счастье, какое было мне суждено.

Двенадцать лет должен я ждать своего похода. Я никогда не умел ждать; жизнь для меня неслась вскачь, как резвый конь. А теперь она ползет, как улитка. Тянется год, тянется день. А я терплю, я даже не выхожу из себя. Хуже всего, что я научился ждать.

И в походе своем я постараюсь быть рассудительным. Ничего в нем не будет от прежней буйной, блаженной отваги. Кругом будут кричать: «A lor, a lor!» — а я не подхвачу этот крик».

Он постарался думать о том, ради кого пойдет воевать, о маленьком Фернанде; но образ внука был расплывчат, и от него не веяло теплом. Все вокруг Альфонсо было теперь удивительно смутно, туманно, нереально.

Он думал:

«Мне сорок лет, но вся моя жизнь уже позади. По-настоящему живо для меня только прошедшее. А настоящее заволочено чадом и пылью, точно поле в разгар битвы. И если когда-нибудь я одержу победу, ничего от этого не останется, кроме чада и тоски. Вот если бы я мог побеждать для моего сына, для моего Санчо, для моего

милого бастарда! Но кто знает, где в то время будет мой Санчо? Должно быть, среди тех, кому мир важнее даже, чем победа».

Тем временем погребальное шествие достигло своей цели.

У толедских евреев было три кладбища—два за пределами городских стен, одно в самой иудерии. На этом маленьком древнем кладбище находились усыпальницы самых знатных семей, и в том числе Ибн Эзров. Среди умерших Ибн Эзров здесь покоились такие, что вели свой род от потомка царя Давида, пришедшего на Иберийский полуостров вместе с Адонирамом, сборщиком податей у царя Соломона, о чем свидетельствовали надписи на их надгробных камнях. Еще покоились здесь среди умерших Ибн Эзров такие, что были купцами во времена римлян, банкирами, сборщиками податей, и еще такие, что жили в Толедо при готских королях и подвергались преследованиям и гонениям, и такие, что были при мусульманах визирями, знаменитыми врачами и поэтами. Покоился здесь и тот Ибн Эзра, который некогда построил кастильо, носивший их имя, и тот, который отстоял для императора Альфонсо Калатраву,—дядя Иегуды.

На это именно кладбище и принесли тела усопших.

Тесной скорбной толпой стояли провожающие, такой тесной, говорит летописец, что по их плечам можно было бы пробежать, как по земле.

На месте погребения Ибн Эзров были вырыты две новые могилы. В эти могилы положили Иегуду Ибн Эзра и дочь его Ракель, чтобы они упокоились рядом со своими предками.

Потом омыли себе руки и произнесли слова благословения.

И дон Хосе Ибн Эзра, как ближайший родственник, прочитал заупокойную молитву, которая начинается так: «Да будет провозглашаемо могущество и святость великого имени его...» А кончается: «Кто действует миротворно в высотах своих, тот да учинит мир нам и всему Израилю. Скажите: аминь!»

И тридцать дней во всех еврейских общинах на полуострове, а также в Провансе и во Франции творили эту молитву в память донна Иегуды Ибн Эзра, нашего господина и учителя, и доньи Ракель.

А по всей Кастилии, где бы ни собирались люди, на базарах и в харчевнях, жонглеры и бродячие певцы пели баллады о короле Альфонсо и его пылкой роковой любви к еврейке Фермозе. Глубоко в народную гущу проникали эти песни, и, будь то в праздник или в будний день, за едой или за работой и даже сквозь сон, каждый в Кастилии пел и напевал:

Так любовь, что ослепляет,
Сбила с толку дон Альфонсо,
И влюбился он в еврейку
По прозванию Фермоза,
Да, звалась она Прекрасной,
И недаром. И вот с ней-то
Позабыл король Альфонсо
Королеву.

у

Сам же дон Альфонсо больше ни разу не вступал в пределы Уэрта-дель-Рей.

Медленно дичали сады и разрушалась Галиана. Искрошилась и белая стена, окружавшая обширное владение. Долше всего держались главные ворота, в которые вломились Гутьере де Кастро с приспешниками, чтобы убить Ракель и ее отца.

Я сам стоял перед этими воротами и читал полустертую арабскую надпись, которой Галиана приветствовала гостя: «Алафия — мир входящему!»

КОММЕНТАРИИ

-

ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА

Третий исторический роман Л. Фейхтвангера «Иудейская война» был завершен в 1932 г. и тогда же опубликован в Берлине в издательстве «Propyläen-Verlag». На русском языке роман впервые появился в 1937 г. Настоящий перевод печатается по изданию: Фейхтвангер Л. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 7. М., ИХЛ, 1965.

С самого начала «Иудейская война» задумана как первая часть трилогии. Писатель тогда же приступает к работе и над второй частью — романом «Сыновья» (1935). Последняя, заключительная, часть была создана в эмиграции и впервые издана в Нью-Йорке под названием «Иосиф и император»; на немецком языке этот роман увидел свет в 1945 г. в Стокгольме под названием «Настанет день», и лишь в 1952 г. во Франкфурте-на-Майне вышло полное издание трилогии (где третий роман был назван «Земля обетованная»). При этом «Иудейская война» бесспорно остается лучшим из трех романов и сохраняет свое самостоятельное значение.

Широко известны высказывания Фейхтвангера о том, что в свои исторические романы, как и в произведения на темы современности, он стремится вкладывать одинаково актуальное содержание. Писателя волнуют проблемы его времени, история обретает для него глубокое значение лишь в соприкосновении с процессами, происходящими на его глазах, и помогает ему их осмыслить. Он проницательный историк, но история волнует его не как тема, а как проблема, давая богатейший материал для сопоставления и познания.

В трилогии об Иосифе Флавии сплавлены две эпохи: время действия романа и время его создания. Сами принципы изображения Древнего Рима I в. н. э. во многом продиктованы событиями в Германии накануне второй мировой войны. Зарево костров, на которых нацисты сжигали книги, в том числе произведения самого Фейхтвангера, бросило отсвет и на давно прошедшие времена. При этом неизбежно встает вопрос о достоверности или условности изображенных автором событий. Фейхтвангер-историк здесь добросовестен и точен и в главном, и в мелочах, он прекрасно знает источники, повествование насыще-

но множеством фактов и деталей из жизни Древнего Рима. Он вникает в суть происходящих там процессов и создает широкое историческое полотно с многоплановым действием, большим количеством персонажей и сюжетных линий, сходящихся к одной, центральной,—истории жизни Иосифа Флавия. Но в художественную ткань романа, в соответствии со своими задачами, он нарочито вводит и немало анахронизмов, как бы подчеркивая условность своей исторической параллели. В романе неожиданно появляются слова и термины, незнакомые римлянам, реалии XX в. В своей книге о литературе «Дом Дездемоны» Фейхтвангер объясняет появление подобных неточностей: «В отличие от ученого автор исторического романа имеет право предпочесть ложь, усиливающую художественный эффект, правде, разрушающей его».

Какие же события привлекли Фейхтвангера к истории ранней Римской империи, к эпохе правления Флавиев? Укрепление императорской власти вызывает в I в. принципиальные изменения и в экономике страны, и в социально-политической структуре общества. Единовластие с самого начала способствует усилению экономической мощи империи: наблюдался подъем хозяйства северных районов, быстрое развитие земледельческой Средней Италии. Повсюду вырастают новые города и благоустраиваются старые, отстраивается столица, даже последствия пожара 64 г., уничтожившего большую часть городских кварталов Рима, удалось быстро ликвидировать.

Единоличная власть императора постоянно наталкивалась на оппозицию родовой знати времен Республики. Уже Нерон предпринимает шаги, направленные на то, чтобы лишить сенат права ограничивать действия императора, и стремится превратить государство в диктатуру восточного типа. Единовластие ищет поддержки в средних слоях населения: все большую роль в жизни общества начинают играть ремесленники, торговцы, предприниматели. Рушится кастовость римского общества. Оборотистые вольноотпущенники и провинциалы заседают в сенате. Столпом и опорой единоличной власти становится армия, которая не раз будет скидывать и ставить угодного ей императора, борясь за собственные привилегии. Все больше внимания привлекает вопрос о положении рабов. Младший современник Иосифа Тацит так начинает повествование об эпохе Флавиев: «Приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах диких и неистовых даже в мирную пору».

В I в. идет сложный процесс превращения Рима в центр обширной средиземноморской державы. Лишь постепенно Рим отказывается от политики нещадной эксплуатации «покоренных земель», из которых он выжимает все соки. Рим все более нуждается в полусвободных провинциях—они дают ему деньги, солдат, предприимчивых людей, пополняют ряды философов и писателей. Постепенно провинциалы получают права граждан-

ства, но вместе с тем Рим стремится провинции стандартизовать и обезличить. При этом сам он испытывает их влияние. Сближаются религии, на римский Палатин проникают все новые «восточные божества», некоторые культы обретают широкую популярность во всей империи (культ древнеегипетской богини Исиды). Процесс консолидации непомерно разросшейся империи идет медленно и постоянно наталкивается на сопротивление в провинциях — как местной знати, теряющей свои былые привилегии, так и подвергающихся насилию и эксплуатации народных масс.

В общий клубок «больных вопросов» вплетаются национальные и религиозные противоречия между Римом и покоренными им народами. Восстание в Иудее на территории Палестины, так называемая Иудейская война, о которой повествует Фейхтвангер, хотя и выдающееся по размаху, было не первым и не последним в ряду подобных освободительных движений. Так, в 69 г. вспыхнуло восстание батавов, к которому вскоре примкнули галльские и германские племена. Вслед за ними начались выступления даков, британская война, долгие годы изматывавшая императорский Рим.

Иудейское восстание вспыхнуло в 66 г. и продолжалось несколько лет. Исторический Иосиф Флавий первым назвал это освободительное движение «иудейской войной». Правителем Иудеи при Нероне был назначен Цестий Галл, чье неуемное корыстолюбие и послужило поводом для восстания. Причины же — экономические, политические, религиозные — лежали в самой природе отношений между победителями и побежденными. Иудея была одной из самых богатых римских провинций с развитой экономикой и сельским хозяйством: Но население страны страдало и от поборов в пользу Рима, и от притеснений местных правителей — тетрархов. Не меньшим поводом для недовольства было политическое бесправие: власть римских наместников была практически неограниченной. Даже решения Синедриона — высшего правящего и судебного органа в Иерусалиме — должны были утверждаться наместником. Еще в 19 г. сенат запретил отправление египетских и иудейских религиозных обрядов. Отношение к иудеям и их религии было особенно враждебным. Причиной этого была непостижимость религиозных обрядов иудеев, их абстрактно-схоластического законоучения, не подкрепленного внешними формами и аксессуарами.

Освободительное движение в Иудее не было однородным. К началу восстания существовало несколько политических группировок (основными были партии саддукеев, фарисеев и zelотов), объединявших разные слои населения и имевших собственную программу, куда входили и политические, и религиозные требования. В момент, когда вспыхнуло восстание, интересы враждующих группировок объединились в общей ненависти к римлянам. Одним из руководителей восстания, наряду с Иоанном из

Гисхалы, был Иосиф бен Маттафий, будущий официальный историк Рима Иосиф Флавий. Вначале восставшие одержали победу, но вскоре удача им изменила. После 49 дней осады (Иосиф говорит о 47) пала крепость Иотапата, вслед за этим последовал еще ряд поражений. Уцелевшие отряды отошли к Иерусалиму и укрылись здесь. Военные неудачи обострили разногласия в среде восставших, что стало одной из причин их краха. В 70 г. сын Веспасиана Тит осадил Иерусалим. Город оборонялся несколько месяцев, союзником римлян стал голод. Взяв Иерусалим, римляне устроили в нем беспощадную резню. Сиявший великолепием Иерусалимский храм был разрушен.

Восстание продолжалось еще три года, пока не пала крепость Масада. Это был один из самых трагических эпизодов войны: осажденные в крепости — в их числе не только воины, но и все жители города — во главе с первосвященником Элеазаром покончили с собой. Ущерб, нанесенный войной, был огромен. Только число убитых, по свидетельствам древних авторов, достигало 600 тысяч человек, множество людей умерло от голода или было продано в рабство. Хозяйство Иудеи было подорвано, земли были поделены на участки и проданы новым хозяевам. Подать, прежде вносившуюся в пользу Иерусалимского храма, население провинции отныне обязано было платить храму Юпитера Капитолийского.

Борьба иудеев против римского владычества на этом не закончилась. Спустя полвека вновь поднялось освободительное движение, во главе которого встал Симон бар Кохба. Поражение этого восстания в 135 г. окончательно утвердило над Палестиной власть Рима.

Такова историческая канва событий, на основе которых писатель решает для себя наболевший вопрос. «Тема «Иосифа» — национализм и «мировое гражданство», — писал сам он в послесловии к «Сыновьям». Ответ для писателя заключен в образе его главного героя — Иосифа Флавия. Здесь важнее уже не совпадение образа с его историческим прототипом, а отступления от него, так как вопрос об ответственности человека перед своим временем и своим народом исторический Иосиф Флавий и герой Фейхтвангера решают по-разному.

Исторический Иосиф бен Маттафий родился в Иудее в 37 или 38 г., происходил из священнического рода, свое происхождение по материнской линии он вел от династии Маккавеев. Он получил блестящее богословское образование и ученую степень доктора. Достоверно и упоминание Фейхтвангера о том, что Иосиф прошел школу послушничества у отшельника в пустыне.

Действие романа начинается в 64 г., когда двадцатилетний Иосиф прибывает в Рим, чтобы ходатайствовать об освобождении трех проявивших строптивость членов иерусалимского Великого совета. Для себя Иосиф намерен постичь здесь

«технику и логику Запада». Интеллектуальный снобизм не мешает ему здраво оценить пользу от слияния римской логики и силы с восточной духовностью; в том, чтобы способствовать этому слиянию, он видит свое предназначение.

Вернувшись домой, Иосиф вновь попадает в обстановку ожесточенных межпартийных споров. Первоначально он на стороне миролюбивой партии, сознавая бесплодность борьбы с Римом, однако, избранный иерусалимцами, Иосиф становится военачальником в Галилее и на этом посту ведет активную подготовку к освободительной войне: укрепляет Иотапату, Тивериаду и ряд других крепостей. Военные действия были отчасти спровоцированы самим Иосифом. Позже другой историк, Юст из Тивериады, вечный антагонист Иосифа (также историческое лицо, сочинения которого до нас не дошли), в своей книге упрекает Иосифа в том, что его действия на посту начальника Галилеи послужили причиной войны. Ответом ему стало «Жизнеописание» Иосифа Флавия, где автор, защищаясь от обвинений, приукрашивает свою деятельность и утверждает, что он оказался игрушкой в руках обстоятельств.

Падение Иотапаты послужило переломным моментом в жизни исторического Иосифа и героя романа. Мучаясь от нестерпимой жажды в подземной пещере, он решает сдать римлянам. Только ценой обмана и смерти своих последних товарищей он обретает жизнь и рабские цепи. Историк Флавий объясняет свое предательство пророческими снами, открывшими ему будущее: возвышение Веспасиана, бессмысленность борьбы с Римом и неминуемую гибель Иудеи.

Дальше, по собственному свидетельству Иосифа Флавия, жизнь его протекала во внутреннем согласии с политикой Рима и полном благополучии при дворе императоров. В «Жизнеописании» Иосиф неоднократно подчеркивает, как милостивы были к нему Веспасиан (даровавший ему звание римского гражданина, поместья в Иудее и право жить в императорском доме), Тит и Домициан (последний, по словам историка, даже казнил иудеев, обвинивших Иосифа в предательстве).

Фейхтвангер не щадит своего героя и не приукрашивает его поступков. Космополитизм Иосифа первоначально не выходит за рамки интеллектуального конформизма. Затем Иосиф принимает участие в восстании и предает его. Далее он как бы внутренне перерождается, переходит в «римскую веру», сознательно становится «гражданином мира», но при этом делает то небольшое, что было в его силах, чтобы предотвратить кровопролитие, спасти свой народ и его духовную культуру. Отказавшись от узкопровинциального национализма, Иосиф Флавий теряет родину, но становится проповедником духовной культуры своего народа. Не лишенная тщеславия попытка стать посредником между Востоком и Западом, между Римом и Иудеей, изолирует его и от одного и от другого полюса. Таким мы видим Иосифа Флавия на последних страницах романа «Иудейская война».

Как мы знаем, история Иосифа у Фейхтвангера на этом не заканчивается. Во втором и третьем романах толкование исторических событий и биографии героя становится все более аллегоричным. Время правления Домициана в романе «Настанет день», изображенное как жестокая диктатура психически неуравновешенного императора, безжалостно уничтожающего своих политических противников и расправляющегося со всякой, даже мнимой, оппозицией, все более напоминает атмосферу в гитлеровском «третьем рейхе». В таком контексте автор, по сути, не мог не сделать своего героя горячим патриотом, каким, конечно же, не был исторический Иосиф Флавий. «Когда-то он искал целого мира, но обрел лишь свою страну, ибо слишком рано он искал целого мира»,—этими словами завершается трилогия.

Но не этот конечный вывод более всего важен для Фейхтвангера. В Иосифе писателю дороги страстные поиски верного пути. Его горячая заинтересованность, жажда постичь свое время и активно воздействовать на своих современников, при всех ошибках и отступлениях этого героя, ближе писателю, чем уважаемая им трезвая рассудочность и холодная объективность Юста из Тивериады.

Стр. 9. *Иерусалимский Великий совет*—Синедрион (Великий синедрион). Возглавлялся первосвященником и состоял из 71 или 72 членов. После покорения Иудеи Римом наместник императора утверждал все решения Синедриона; со времени разрушения Иерусалимского храма Синедрион утратил свои функции, сохранившись лишь в качестве духовного учебного заведения.

Агриппова община.—Фейхтвангер наделяет одну из еврейских общин, существовавших в Риме в I в., именем иудейского царя Агриппы.

...антиримская партия «Мстителей Израиля»...—Во времена римского владычества в Палестине существовало несколько политических группировок: саддукеи (в романе «Неизменно справедливые») — высшее жречество, земледельческая и торговая знать, стремившаяся к мирному соглашению с Римом; фарисеи («Подлинно правоверные») — богословы невысокого ранга, мелкие ремесленники, противопоставлявшие эллинистической культуре приверженность традиции и религиозную замкнутость, и zeloty («Мстители Израиля»), призывавшие к восстанию против римского владычества и местной иудейской знати.

Стр. 10. *Ученая степень доктора.*—В Иудее высокий сан законоучителя и судьи.

Каменный зал (иначе Зал каменных плит)—помещение в Иерусалимском храме, где проходили заседания Синедриона.

Стр. 11. *Прославленный комик Деметрий Либаний.*—В

«Жизнеописании» (гл. 13—16) Иосиф Флавий рассказывает, что в деле об освобождении трех осужденных ему помогал известный мим Алитир, пользовавшийся расположением императрицы. Флавий—единственный из древних авторов, упоминающий этого актера.

Стр. 13. *Священник первой череды.*—В иудейских храмах жертвоприношения и богослужения выполнялись священниками по очереди. Всего было двадцать четыре череды священников.

...здания заболевали проказой?—Обряд очищения зданий от «проказы» (зеленоватых или красных пятен—вероятно, селитряной ржавчины или растительных пятен) существовал в действительности и точно описан Фейхтвангером.

Стр. 14. *...сенаторскую пурпурную полосу на одежде.*—Знаками отличия senatorского сословия в Древнем Риме служили пурпурная полоса на тунике и высокие башмаки с полумесяцем из слоновой кости или серебра.

Стр. 15. *«Рота» означает силу.*—Rhóme—сила (греч.).

Стр. 16. *Всесожжение*—обряд жертвоприношения, при котором жертвенное животное сжигалось целиком. По обряду в храмах ежедневно совершались два всесожжения от имени всех верующих—утром и вечером.

Всадники—второе по значению (после сенаторов) привилегированное сословие в Древнем Риме. Имущественный ценз для всадников был установлен Августом в 400 тысяч сестерциев. Знаками отличия всадников были пурпурная полоса на тунике (более узкая, чем у сенаторов) и золотое кольцо.

Стр. 17. *Эшкол*—долина на юге Палестины, район виноградарства и виноделия.

Стр. 20. *...на праздник пасхи... принес в храм своего жертвенного агнца.*—Праздник пасхи был установлен в честь избавления иудеев от рабства египетского. В качестве жертвоприношения глава семейства должен был заколоть однолетнего ягненка. Позже заклание животных стало исключительно функцией священников. В Иерусалимский храм стекались для этого верующие со всей Палестины, а иногда и из других стран. Священник убивал животное и кропил кровью жертвенник во дворе храма.

Стр. 25. *«Египтяне с жестокостью...»*—См. Исход (I, 11—14). Цитата не точна.

Сенека Луций Анней (4 г. до н. э.—65 г. н. э.)—философ и писатель Древнего Рима, был воспитателем Нерона, позже его советником. Ложно обвиненный в участии в заговоре, покончил жизнь самоубийством по приказу своего ученика. Цитата—начало письма 47 из «Писем к Луцилию».

Колумелла Луций Юний Модерат (I в.)—автор сочинения «О сельском хозяйстве».

Стр. 26. *Буква «Е».*—По объяснению самого Фейхтвангера, это клеймо рабов, приговоренных к принудительным работам.

Происходит, вероятно, от *ergastulum* — каторжная тюрьма (лат.).

Стр. 27. *Молитвенные ремешки*. — Длинные ремешки с кожаными футлярчиками на концах, куда клали пергамент с цитатами из Библии. Один из ремешков привязывают к левой руке, второй обвязывают вокруг головы. Обряд возник из буквального толкования слов заповеди: «И навяжи их (заповеди божии) в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» (Второзаконие, VI, 8).

Стр. 28. *...великие древние слова заповеди*. — Речь идет о библейской заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Левит, XIX, 18).

Стр. 29. *Весталки* — жрицы римской богини Весты, хранительницы домашнего очага. Должны были соблюдать безбрачие.

Стр. 33. *Куци* — древний еврейский праздник жатвы, позже был переосмыслен как день памяти о сорокалетнем странствовании евреев по пустыне после исхода из Египта. Во время праздника поселялись в куцах (шалашах из древесных ветвей).

День очищения (йом-киппур) — десятый день седьмого месяца (тирши), за пять дней до праздника кущей. Это день покаяния и отпущения грехов. Только один раз в год, в день очищения, первосвященник имеет право входить в обитель невидимого бога, чтобы молиться о прощении грехов всего народа. Белая одежда первосвященника символизирует его духовную чистоту.

...называет Ягве его настоящим именем... — Согласно ветхозаветному преданию бог называет Моисею свое имя «Я есмь Сущий» в знак особого данного ему откровения. В иудаизме запрещается произносить имя господа всуе. Имя Ягве, обозначаемое в еврейской письменности как JHWH (Тетраграмматон — «четырёхбуквенник»), произносилось первосвященником раз в году, и тайна звучания имени передавалась устно по старшей линии первосвященнического рода. Запрет на произнесение этого имени был наложен уже с III в. до н. э., вместо него стало употребляться имя Адонай (Господь). Позже гласные звуки имени Адонай были включены в священный тетраграмматон, откуда возникло традиционное произношение этого имени как Иегова.

Стр. 37. *«Пусть право течет...»* — Книга Пророка Амоса (V, 24).

Стр. 38. *Яники* — мой питомец, мой выкормыш (древнеевр.).

Стóла — римская женская верхняя одежда.

Стр. 40. *Говорите по-арамейски*. — Арамейский (или халдейский) — разговорный язык Палестины в I в., в отличие от литературного еврейского языка Библии.

Стр. 44. *Йильди* — дитя мое (арамейск.).

Стр. 47. *Скрибоний Ларг* — римский врач и писатель I в., автор труда «О составлении лекарств».

Стр. 48. *Фельдмаршал Корбулон* — полководец Гней Доминий Корбулон. При императоре Клавдии успешно воевал в Германии, при Нероне закончил войну с парфянами. Усмирил смуту в Армении, заставив нового правителя Тиридата признать верховную власть Нерона. В 67 г. был вызван в Грецию, где и покончил с собой, не дожидаясь приказа со стороны завидовавшего его славе императора. Оставил мемуары.

Стр. 49. *Последний царь, правивший в Иерусалиме* — Агриппа I, правивший с 37 по 44 г., отец Агриппы II.

«Наблион», — сказал Талассий, а еврей поправил... — Латинское слово *pablium* (финикийская арфа) Талассий произнес на греческий лад. Греческая форма слова — *pabla*, еврейская — *nebel*.

Стр. 51. *...в царствование Ирода был основан этот город...* — Кесария — город, построенный Иродом Великим на берегу Средиземного моря на месте древней Стратоновой башни и названный так в честь кесаря Августа. После падения Иерусалима Кесария стала столицей Палестины.

Стр. 56. *Мезуза* (дверной косяк, древнеевр.) — свиток пергамента со стихами из Библии, который заключали в особый футляр и прикрепляли к правому косяку двери. Обычай основан на буквальном понимании слов Библии «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Второзаконие, VI, 9).

Стр. 57. *«На реках вавилонских...»* — псалом 136.

...требуют, чтобы он поклонялся их богам... Тельцу, Овну и Соколу. — Телец (бык) — египетский бог плодородия Апис, изображавшийся в облике быка, близкий к Осирису; центр его культа — Мемфис. В эллинистический период культ Осириса сливается с культом Аписа, и новый облик быка получает имя Сераписа. Овен (баран) — священное животное египетского бога солнца Амона. В виде сокола изображался Гор, сын Исиды, бог света.

...как некогда Давид плясал перед ковчегом. — Имеется в виду ковчег Завета — ящик с каменными скрижалями, хранящими слова завета, данного богом Моисею. Согласно Библии царь Давид приказал перенести ковчег в Иерусалим, где над ним был поставлен постоянный шатер. В Библии сказано, что в конце пути «Давид скакал из всей силы пред Господом» (Вторая Книга Царств, VI, 14).

Левиты — особый класс священнослужителей в древнееврейском культе; согласно Библии потомки третьего сына Иакова Левия, колено которого, как давшее еврейскому народу Моисея, получило исключительное право на священнослужение.

Стр. 58. *Кассий Лонгин Гай* — видный римский юрист, основатель школы гражданского права в юриспруденции. Занимал выдающееся положение в сенате. При Нероне изгнан в ссылку в Сардинию (причиной послужило то, что он хранил у себя маску Гая Кассия — убийцы Цезаря), там ослеп. Умер в Риме, возвращенный Веспасианом.

Стр. 60. *Тора* («учение», «закон», евр.).— Так называется закон, якобы полученный Моисеем от бога, и Пятикнижие, содержащее изложение этого закона. Так же называются и пергаментные свитки, написанные с особой тщательностью и содержащие в себе Пятикнижие Моисеево.

Великое отлучение (так наз. «херем») — лишение гражданских прав за нарушение религиозного закона, сопровождавшееся конфискацией имущества. К отлученному никто не мог приближаться, ему возбранялось есть и пить с другими, присутствовать на собраниях. В храм он допускался только через особый вход. После смерти на его могилу клали камень (как бы в знак упоминаемого в Библии «побиения камнями»).

Стр. 61. *Освободительная борьба Маккавеев против греков.*— С начала II в. до н. э. сирийские цари Селевкиды, завоевавшие Палестину, начинают ее насильственную эллинизацию. После того как Антиох V Епифан запретил евреям соблюдать их обычаи и отправлять религиозные обряды, в 168 г. до н. э., началось их восстание, возглавленное священником Маттафием Хасмонидом и пятью его сыновьями. Маттафий умер в 166 г., во главе восстания встал его сын Иуда, получивший прозвание Иуды Маккавея (makabi — молот), что стало позднее фамильным именем Хасмонеев и собирательным названием всех защитников иудейской веры. Иуда Маккавей, освободивший Иерусалим, погиб в 160 г. Его младший брат Ионатан добился признания его сирийским наместником и получил сан первосвященника, но обманом был завлечен сирийцами в ловушку и убит. Симон Маккавей, успешно продолжавший борьбу, стал основателем династии, правившей до середины I в. до н. э. Приписываемая Иосифу Флавию «Четвертая книга Маккавеев» рассказывает не об «освободительной борьбе», а о мученической смерти старца Элеазара и семи братьев с их матерью Соломонией, погибших в пытках за отказ вкушать мяса жертвенного животного язычников.

Стр. 64. *Труд Юста «Об идее иудаизма»* — вымысел Фейхтвангера.

Стр. 65. *Император... запер храм Януса...*— Янус в римской мифологии — бог входов и выходов (отсюда его эпитеты «отпирающий» и «запирающий») и всякого начала. Изображался с ключами, с 365-ю пальцами, по числу дней в году, и двумя лицами, смотрящими в разные стороны (отсюда эпитет «двуликий»). В Риме был построен его храм с двойными дверьми, которые должны были отпираться во время войны и запирались в мирное время.

По всему Востоку распространялись легенды о трех восточных царях... — Так Фейхтвангер пытается объяснить возникновение евангельской легенды о трех волхвах, пришедших с дарами для новорожденного Иисуса.

Стр. 66. *...разбил знаменитого римского генерала Красса...* — Марк Лициний Красс (ок. 115 г. до н. э. — 53 г. до н. э.) в

71 г. разгромил восстание Спартака. Его поход против парфян (53 г. до н. э.) закончился полным поражением римлян и гибелью самого Красса.

«Есть люди, которые знают...» — прозаическое переложение стиха из комедии Плавта «Три монеты» (208).

Стр. 67. *Тит Ливий* (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — знаменитый древнеримский историк.

Леонид — спартанский царь (с 488 или 487 г. до н. э.). Летом 480 г. во время наступления персов защищал с 300 спартамцами проход на Фермопилы, открывавший путь в Среднюю Грецию. Сдерживал наступление персов до тех пор, пока весь отряд и он сам не полегли на поле битвы.

Стр. 70. ...им приписывали происхождение от египетских прокаженных. — Древняя антисемитская трактовка исхода из Египта, согласно которой египтяне собрали по всей стране прокаженных и прогнали их в пустыню.

Стр. 71. *Агитатор Нахум* (Менахем). — Впоследствии стал одним из руководителей восстания, захватил крепость Масаду. Видимо, был убит политическими противниками.

Пинхас (в русском варианте Финеес). — Согласно Библии (Числа, 25), Пинхас пронзил копьем своего соплеменника Зимри и его наложницу медианитянку Хазву за нарушение запрета вступать в связи с иноплеменниками.

Стр. 72. *Принцесса Береника* — дочь иудейского царя Ирода Агриппы I. Вначале вышла замуж за своего дядю Ирода Халкидского, потом за понтийского царя Птолемея; оставив его, жила у своего брата Ирода Агриппы II.

Стр. 73. *Шестьсот тринадцать заветов Моисея*. — Считается, что Пятикнижие содержит 248 повелений (по числу членов и органов человеческого тела) и 365 запретов (по числу дней в году). Согласно богословию вечность божьего закона подтверждается неизменностью этих чисел.

Стр. 77. ...город колена Завулонова... — Завулон — один из сынов Израилевых, потомки которого согласно Библии населяли часть Галилеи.

Стр. 78. *Генерал Иошуа* — библейский Иисус Навин, преемник Моисея; после исхода из Египта в ряде сражений победил ханаанских царьков и завоевал почти всю Палестину. О том, как Иисус Навин, воззвав к богу, остановил солнце, чтобы продлить сражение, см. Книгу Иисуса Навина (X, 13).

Стр. 79. *Галлель*. — В Талмуде так называются псалмы 113—118, прославляющие бога за избавление от опасностей, грозивших народу («галлель» — «хвала», древнеевр.). Отсюда происходит слово «аллилуйя», что значит «хвалите господа».

Стр. 80. *Ликторы* — в Древнем Риме служители, охранявшие или сопровождавшие высших должностных лиц (магистратов). Как символ власти магистратов, носили при себе связку прутьев, а вне Рима еще и воткнутый в них топор. Ликторы расчищали

магистрату путь в толпе, следили за тем, чтобы ему оказывались надлежащие почести, в их обязанности входило и приведение в исполнение определенных магистратами наказаний.

Стр. 81. ...к алтарю, которого железо никогда не касалось...— В Библии содержится требование сооружать жертвенники из земли или цельных, неотесанных камней (Исход, XX, 25). Камни алтаря в Иерусалимском храме были скреплены цементом, а щели залиты свинцом.

Стр. 82. *Новый город*— торговый и ремесленный район Иерусалима, вошедший в состав города незадолго до восстания.

Стр. 83. *Масличная (Елеонская) гора*— самая высокая из трех гор в окрестностях Иерусалима; на склоне ее находится Гефсиманский сад, где, по преданию, был схвачен Христос.

...авиловяне разрушили храм...— Речь идет о храме Ягве, построенном в Иерусалиме царем Соломоном и разрушенном в 586 г. до н. э. войсками вавилонского царя Навуходоносора.

Череда Авиш.— Авия— родоначальник восьмой череды священников, ведущих свой род согласно Библии от первосвященника Аарона.

Стр. 86. *Бел*— река в Северной Палестине. Песок, добывавшийся в ее устье, служил для изготовления знаменитого стекла.

Стр. 90. *Сестерций*— серебряная монета, наиболее употребительная в Римской империи.

Стр. 95. *Тивериада*— город в Галилее на берегу Галилейского озера (называется также Генисаретским или Тивериадским озером), названный в честь императора Тиберия. Резиденция царя Агриппы II, дарованная ему Нероном.

Стр. 96. *Есть мясо с молоком строжайше запрещено*...— Один из запретов Моисея— «Не вари козленка в молоке матери его» (Исход, XXIV, 36), распространившийся позже на всякое смешение молочной и мясной пищи. Этот запрет существует во многих религиях и верованиях, и ученые выводят его из первоначального взаимоотчуждения двух типов хозяйства— земледельческого и скотоводческого.

Стр. 97. *Теуда*— лжемессия, обезглавленный (а не распятый) римлянами. Одновременно были уничтожены все его приверженцы.

...как написано у Иезекииля...— См. Книга Пророка Иезекииля, XXXVIII.

Таргум Ионатана.— Таргум— название арамейских переводов Библии, часто вольных, носивших характер пересказа. Ионатан бен Узиил (конец I в. до н. э.) был, по преданию, автором таргума к книгам пророков.

Стр. 98. *Гиллель* (I в. до н. э.)— знаменитый еврейский богослов родом из Вавилонии, основатель фарисейства. Вносил в толкование Писания дух терпимости и милосердия, чем способ-

ствовал распространению еврейского законоучения; пользовался широкой популярностью.

Хизкия—царь Иудеи (VIII в. до н. э.). Первым предпринял реформу, целью которой было установление единобожия и ликвидация остатков политеизма.

Восемнадцать молений (Восемнадцать славословий)—молитва, содержащая, кроме тринадцати молений, восхваления и благодарности богу; повторять ее следовало не менее трех раз в день.

Стр. 101. *Слова Исаяи*—Книга Пророка Исаяи (V, 8).

Стр. 105. *Он процитировал пророка...*—Вольное переложение цитаты из Книги Пророка Осии (VIII, 4—7).

Стр. 106. *...в конце своей жизни он скрылся в дупле кедра...*—По преданию, пророк Исаяя, скрывавшийся от преследований царя Манассии, спрятался в дупле кедра, который по приказу царя был распилен пилой.

Стр. 111. *Эдом* («красный», древнеевр.)—прозвание Исава, брата библейского Иакова. По его имени была названа и страна к югу от Палестины, название которой впоследствии исчезло. В Талмуде «Эдомом» называют Рим.

Шаммай—богослов и законоучитель, главный противник Гиллеля (см. коммент. к с. 98). Настаивал на формальном истолковании законоучения, был сторонником суровости и ригоризма.

Стр. 112. *«Кто дерзнет сказать слово от имени моего...»*—неточная библейская цитата (Второзаконие, XVIII, 20).

Стр. 115. *Хлебы предложения*—двенадцать пшеничных неквашенных хлебов, предлагавшихся в храме в числе других жертвоприношений богу. Каждую субботу хлебы заменялись свежими.

Пока не появился великий царь по имени Ирод...—Ирод I, прозванный Великим (40—4 г. до н. э.)—основатель иудейской династии на иудейском престоле. Обладал незаурядными военными и политическими дарованиями, еще в молодости получил управление Галилеей. Народ ненавидел Ирода за его жестокость и не мог простить ему иноземное происхождение. Чтобы примирить народ, стал с необычайной пышностью перестраивать храм Соломона, женился на внучке первосвященника Гиркана Мариамне. Все эти меры не сделали его популярным в народе—партия фарисеев отказалась принести ему присягу верности. Это вызвало жестокие ответные меры: по приказу Ирода были истреблены почти все представители дома Хасмонеев, наследники законной династии. Имя его стало нарицательным для обозначения кровавого деспота, а день смерти Ирода считается в иудейской религии праздничным. С его именем христианская легенда связывает «избиение младенцев» в Вифлееме.

Стр. 116. *Коринфский пожар*.—В 146 г. до н. э. Коринф,

входивший в союз греческих государств, был взят приступом, разграблен и сожжен римскими войсками.

Скала Шетия (букв.: «скала основания») — камень, на котором в Соломоновом храме стоял ковчег Завета. Талмуд считает его краеугольным камнем, на котором покоится мир.

Стр. 120. *Кошерное* — от «кошер» — чистый, евр. Пища, приготовленная в соответствии с многочисленными религиозными требованиями.

Стр. 123. ...человек, уже однажды павший и снова возвысившийся... — Речь идет о полководце Муциане, который был в немилости во времена правления Клавдия. При Веспасиане в 67—69 гг. был наместником в Сирии.

Стр. 127. ...получил... высшую почетную должность в государстве. — В 51 г. Веспасиан стал консулом.

Сабин — во времена Нерона наместник одной из римских провинций, позже был назначен городским префектом Рима (Фейхтвангер называет его «начальником полиции»). Убит во время борьбы с Вителлием, который одновременно с Веспасианом боролся за власть.

Антония (39 г. до н. э. — 38 г. н. э.) — мать императора Клавдия.

Стр. 131—132. *Рота, гвардия*. — Фейхтвангер употребляет современные обозначения для военных частей римлян. Ротой у него называется центурия (отряд в 60—150 человек). *Гвардия полководца* — преторианская когорта (преторий — место в лагере для палатки полководца, отсюда название), собственно, личная охрана полководца. Когорта насчитывала около тысячи отборных воинов. Когорты были той реальной силой, на которую опиралась императорская власть в Риме. Описание римских военных подразделений у Фейхтвангера неточно.

Стр. 136. *Молитвенные кисти* — кисти из шерстяных белых или бело-голубых нитей по углам молитвенных облачений.

Стр. 138. ...вспоминал слова Откровения... — Третья Книга Царств (XIX, 11—12).

Стр. 139. *Вокруг стояло десять человек*. — Присутствие минимум десяти мужчин необходимо для иудаистского богослужения — произнесения молитв и совершения обрядов.

Стр. 147. *«Ливан попадет в руки могущественного»*. — Книга Пророка Исайи (X, 34).

Стр. 154. *«Живой пес лучше мертвого льва»*. — Екклесиаст (IX, 4).

Стр. 156. *Виндекс* — Гай Юлий Виндекс, при Нероне наместник Северной Галлии. Поднял галлов на борьбу против Нерона, желая завоевать римский престол для наместника Испании Гальбы. Нерон послал для усмирения мятежа Луция Виргиния Руфа, которого Виндексу удалось склонить к измене, однако по недоразумению римляне начали битву и разбили галлов. Виндекс покончил с собой.

Стр. 158. ...ездил на... содомские поля, искал следы небесно-

го огня...—В Библии (Бытие, 18 и 19) рассказывается о гибели города Содома, «серой и огнем» уничтоженного богом за грехи жителей.

Стр. 163. ...царь Давид клал себе в постель горячих молодых девушек.—См. Третья Книга Царств (I, 1—4).

Стр. 166. Ирина—наложница египетского царя Птолемея VII Эвергета (146—117 до н. э.). Убедила царя не предпринимать жестоких репрессий против евреев в Александрии.

Гинном—долина к югу от Иерусалима, где в древности приносили человеческие жертвы Молоху. Позже, согласно легенде, сюда свозили нечистоты и трупы павших животных. Мрачность долины и связанные с ней предания послужили причиной того, что ее имя стало употребляться для обозначения ада (геенна).

Стр. 167. Праздник водочерпания.—Один из дней праздника кущей, когда совершался обряд «возлияния воды»: из источника под Храмовой горой священник брал воду и выливал ее в чашу на алтаре. Обряд сопровождался хороводами, пением и плясками. Очевидно, это трансформация более древнего обряда—моления о дожде.

...как смеялась над... Давидом... жена его Мелхола!—Увидев Давида, пляшущего перед ковчегом Завета (см. коммент. к с. 57), жена стала насмехаться над ним, за что была наказана бесплодием (Вторая Книга Царств, VI, 20—23).

Стр. 169. Я происхожу от Хасмонеев...—Из царского рода Хасмонеев, или Маккавеев, происходила мать Иосифа.

«Виноградная лоза не должна...»—Книга Пророка Иеремии (II, 21) и Книга Пророка Иезекииля (XVII, 1—10).

Стр. 170. «Проклят скотоложствующий»—один из Моисеевых запретов.

Стр. 171. «Запертый сад—сестра моя...», «Пусть придет возлюбленный мой...»—Цитаты из Песни Песней (IV, 12, 16).

Стр. 173. ...внучка Ирода и Хасмонеев.—Ирод Великий был прадедом Береники, а прабабкой была Мариамна, внучка первосвященника Гиркана II, одного из последних Хасмонеев.

Стр. 184. Саул—первый еврейский царь (XI в. до н. э.). Согласно легенде был помазан на царство пророком Самуилом. Обещал во всем действовать по совету Самуила, но, все более исполняясь гордыни, стал тяготиться его влиянием. Тогда пророк тайно помазал на царство юношу Давида.

Стр. 187. Британник (41—55 г. до н. э.)—сын императора Клавдия и Мессалины. До казни матери в 48 г. был официальным наследником престола, но Агриппина, четвертая жена Клавдия, уговорила его усыновить ее сына Люция Домиция. Клавдий был убит, и сын Агриппины взошел на престол под именем Нерона. Законный наследник был отравлен Нероном на пиру.

Стр. 189. ...*Мариам*... за такую игру поплатилась головой. — Мариам (Мариамна) — жена Ирода Великого, была оклеветана и казнена по приказу мужа, безумно ее ревновавшего (об этом см. у Флавия, «Иудейская война», 22).

Стр. 200. *Могу я отныне носить родовое имя императора?* — Родовое имя бывшего господина обычно носил вольноотпущенник.

Стр. 201—202. *Александрия* Египетская. — Город был основан Александром Великим в 331 г. до н. э.; после его смерти стал столицей и резиденцией Птолемеев. С 30 г. до н. э. столица римской провинции. Там, на Акрополе, в святилище *Сераписа*, помещалась знаменитая библиотека с 400 тысячами свитков. В *музее* (храме Муз) жили ученые, следившие за ее сохранностью и пополнением. На острове *Фарос* был сооружен маяк в 180 метров высотой, воздвигнутый в III в. до н. э. и считавшийся одним из чудес света.

Яффа (Иоппа) — порт в Палестине, *Паретоний* — город и порт в Северной Африке.

Стр. 202. *Елисейские поля Гомера* (Острова Блаженных) — место вечной жизни любимцев Зевса («Одиссея», IV, 563 и сл.).

Стр. 203. *Псамметих* — один из двенадцати египетских царей, с 670 г. до н. э. совместно правивших страной. При помощи греческих и каирских солдат победил своих соправителей и стал править единолично (656 г.). Участие иудеев в войске Псамметиха — факт недостоверный.

Стр. 204. ...*в Леонтополе собственный храм*... — Храм, подобный Иерусалимскому, был построен в середине II в. до н. э. Онией, сыном убитого сирийцами первосвященника. Ония бежал в Египет, где собрал левитов и священников, чтобы служить богослужения, как в Иерусалимском храме. Он ненадолго пережил царя Птолемея Филометора, который ему покровительствовал. Его деяние — сооружение второго храма — многие иудеи считали тяжким преступлением против завета. Храм в Леонтополе был разрушен вскоре после взятия Иерусалима.

Стр. 205. *Апион* (I в.) — греческий грамматик; широко известны были его лекции о Гомере. Его сочинение «Египетская история», содержащая выпады против иудеев, известна лишь по опровержению Флавия «Против Апиона». *Аполлоний Молон* (I в. до н. э.) — греческий ритор, учитель Цицерона и Юлия Цезаря; Флавий называет его предшественником Апиона, но его антисемитское сочинение до нас не дошло. *Лисимах* — историк из Александрии, живший до Апиона; ему принадлежало описание исхода из Египта, выдержанное во враждебных по отношению к евреям тонах. *Манефон* (III в. до н. э.) — писатель, автор не дошедшей до нас «Истории Египта», выдержки из которой приводит Флавий в сочинении «Против Апиона».

Стр. 206. *Не унес ли это с собой один из ваших почтенных*

предков, когда его выгнали из Египта?—Согласно библейскому преданию сыны Израилевы просили у египтян на время «вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд», которые потом унесли с собой (Исход, XII, 35—36).

Стр. 210. *Бастет* (Баст)—египетская богиня радости и веселья, изображалась в виде женщины с головой кошки.

Стр. 211. *...Иосиф написал псалом...*—Псалмы Иосифа в романе—вымысел Фейхтвангера.

Стр. 212. *«И явился ему...»*—Бытие (18, 1).

Стр. 215. *«Твой брат да не будет посрамлен...»*—Неточная цитата из Второзакония (XXV, 3).

...оба стиха из Писания, относящихся к бичеванию...—См. Второзаконие (XXV, 2—3).

Стр. 216. *«Из бездны взываю...»*—Начало 129-го псалма.

Стр. 218. *Литра*—римская мера веса (327, 43 грамма). *Зуз*—еврейская монета и мера веса (одна сотая литры).

...согласно числовому смыслу еврейского слова «гет»...—В еврейском алфавите буквы имеют числовое значение, поэтому числа пишутся и читаются как слова.

Кислев—месяц в еврейском религиозном календаре, примерно соответствующий декабрю.

Стр. 231. *Кемет* (букв.: «Черная страна»)—так называли египтяне свою страну (по цвету нильского ила).

Стр. 234. *...долгой свинец!*—Имеются в виду свинцовые пластинки, которые бегуны привязывали к подошвам во время тренировок.

Стр. 240. *Иеремия*—второй из четырех пророков Ветхого завета, предсказавший гибель Иерусалима от рук вавилонян, а затем оплакавший разрушенный Иерусалим (Книга Пророка Иеремии). В конце жизни был уведен в Египет и там побит камнями своими же единоверцами за то, что постоянно обличал их в пороках и призывал к праведной жизни.

Стр. 241. *...повелел читать отрывок из Писания...*—Когда в 604 г. до н. э. к власти пришел Навуходоносор, Иеремия произнес речь, где царь был представлен как орудие мести погрязшему в грехах Израилю. Отрывок из этой речи был прочитан в храме его учеником Барухом.

Стр. 243. *«Египтяне заставляли нас строить для них города...»*—Согласно библейскому сказанию рабы-евреи построили в Египте два «города для запасов» Пифом и Раамсес. Из боязни, что еврейское население возрастет и станет сильным, фараон приказал повивальным бабкам убивать новорожденных мальчиков, но они не решились на такое преступление, и тогда всем египтянам было велено бросать младенцев в реку. Согласно библейской легенде мать Моисея скрывала сына три месяца, потом, испугавшись за его судьбу, положила его в корзину и оставила в тростнике на берегу Нила. Там его нашла дочь фараона, которая вырастила мальчика и дала ему имя.

Стр. 244. Она дала себя купить, согласно... еврейскому праву...—Согласно старинному обряду обручения жених в присутствии свидетелей вручал невесте монету, впоследствии—кольцо.

Стр. 245. Антоний... изблудился с египтянкой и впал в ничтожество...—Любовь триумвира Марка Антония к египетской царице Клеопатре стала для него роковой. Он полностью ей покорился, осыпал дарами, в том числе дарил ей и ее детям римские провинции. В его жизни наступила полоса неудач: крах похода против парфян, развод с Октавией, лишение его всех должностей, презрение римлян и, наконец, в 31 г. до н. э. постыдное поражение при Акции, где он нашел смерть вместе с Клеопатрой.

Стр. 251. «Руководство для политического деятеля» императора Августа.—Вымысел Фейхтвангера.

Стр. 253. Пелузий—город на Ниле, Никополь—город недалеко от Александрии.

Стр. 254. «Твое назначение, римлянин...»—Свободный пересказ стиха из «Энеиды» Вергилия (VI, 852—854).

Лациум—так, по названию реки, назывались и земли латинов, где возник город Рим. Рим стал крупнейшим городом в Лациуме к концу V в. до н. э.

Стр. 257. ...мужчины старше тринадцати лет...—В тринадцать лет мальчик становился полноправным членом еврейской религиозной общины.

Стр. 258. ...Ягве спас евреев от руки египтян.—То есть вывел из Египта—в память об этом и справляется праздник пасхи.

Стр. 261. ...к празднику «октябрьского коня»...—В Риме в октябрьские иды устраивались бега на Марсовом поле, после чего богу Марсу при скоплении народа приносилась в жертву лошадь из победившей упряжки.

Стр. 264. Башня Псефина—самая высокая башня городской стены Иерусалима, Флавий пишет, что она открывала «дальний вид на Аравию и на дальние пределы еврейской земли до самого моря».

Стр. 265. Форт Фасаила—одна из трех самых мощных башен иерусалимской стены, названная Иродом Великим по имени своего погибшего брата.

Стр. 271. ...разве вы не посылаете козла в пустыню...—В день очищения (см. коммент. к с. 33) торжественно приносились в жертву два козла. По жребию один («для господ») сжигался на алтаре, над вторым («для Азазела» — демона пустыни) читалась молитва об отпущении грехов всего народа, затем козла отводили в пустынное место и выпускали на волю (отсюда—«козел отпущения»).

Стр. 278. Мина, талант—крупные греческие денежные единицы. Талант равнялся 60 минам.

Стр. 281. *«Имение, которое он глотал...»*—Книга Иова (XX, 15; цитата неточна).

...день смерти лучше дня рождения...—Ср. Екклезиаст (VII, 1).

Стр. 282. *«Гробу скажу...»*—Книга Иова (XVII, 14).

Кармания—область Древней Греции, лежащая на берегу Персидского залива.

Стр. 283. *Галаад, Васан*—области за Иорданом.

Пятидесятница—один из трех главных древнееврейских праздников, справлялся на пятидесятый день после пасхи. Первоначально был праздником жатвы, позже переосмыслен как праздник в честь дарования народу закона у горы Синай.

Стр. 284. *...исполнилось слово Писания...*—Книга Пророка Иеремии (VII, 20).

Стр. 287. *Как это место у Иеремии?*—Книга Пророка Иеремии (VII, 21—22).

Стр. 289. *У нас нет ни чечевицы, ни яиц... но десять кубков скорби мы выпьем, и ложа мы опрокинем.*—Речь идет о поминальных обычаях: во время пира скорби близкие покойного должны были выпить «чашу утешения»; близкие также приносили скорбящим кушания из чечевицы и яиц, а в доме покойного переворачивали все кровати и так спали в течение траурной недели.

Стр. 292. *Большие врата*—вели в святилище Иерусалимского храма. Облицованные массивными золотыми листами, они были настолько тяжелы, что их с трудом открывали двадцать священников. Шум открывавшихся ворот служил сигналом для утреннего жертвоприношения.

Стр. 305. *...есть даже река такая—«Субботняя»...*—О сказочной реке Самбатион (Саббатсион), которая фигурирует в Талмуде, впервые упоминают Плиний Старший и Иосиф Флавий. Последний говорит, будто Самбатион течет один день в неделю, а на шесть дней высыхает, и утверждает, что эта река находится в Сирии, где ее якобы видел император Тит.

Стр. 316. *Двадцать четыре книги*—библейский канон. Существуют различные версии о времени сложения канона, но очевидно, что это произошло много раньше описываемых в романе событий. Споры о правомерности включения в канон некоторых книг (Песнь Песней, Екклезиаст, Эсфирь) продолжались до II в.

...четыренадцать, почитаемые многими за святые...—Речь идет об апокрифах, то есть книгах, не вошедших в библейский канон (например «Книги Маккавеев», «Книга Юдифь», «Книга Товита», «Книга Иисуса Сираха», «Книга Премудрости Соломона» и др.). Большинство из них дошли только в греческих и латинских переводах.

Стр. 317. *...армия обычно провозглашала своего полководца*

императором.—В Древнем Риме императором первоначально называли главнокомандующего и высшего судью, то есть того, кто обладал верховной властью—*imperium*. Это был почетный титул, но не официальное звание. Стало принято также давать это звание полководцу после крупной победы. Со времени императора Октавиана этот титул стал исключительной принадлежностью государя.

Стр. 325. *«Пришельца не притесняй и не угнетай его...»*—Исход (XXII, 21).

Стр. 334. *Изреельская равнина*—на северо-западе Палестины, недалеко от Кесарии.

Кармил (Кармел)—горный хребет, тянувшийся от Изреельской равнины до Средиземного моря. Называется иногда «горой пророка Или».

Стр. 338. *Великое проклятие из Пятой Книги Моисея.*—Второзаконие (XXVIII, 16—68; в тексте—часть стиха 67).

Стр. 345. *Сегест*—вождь германского племени херусков, враг Арминия (см. коммент. к с. 354), который увез его дочь Туснельду, и друг римлян. Накануне знаменитой битвы в Тевтобургском лесу, предчувствуя, что римские войска попадут в ловушку, подстроенную Арминием, тщетно предупреждал римского наместника Вара о грозящей им опасности. После поражения римлян продолжал борьбу с Арминием.

Стр. 349. *...бараныи рога... для новогоднего праздника, серебряные трубы...*—Начало нового года отмечалось у евреев в первый день седьмого месяца тишри. По обычаю, в этот день тридцать раз трубили в бараний рог. Согласно Библии, каждый пятидесятый год объявлялся юбилейным (от слова «юбел»—рог), и наступление его по всей стране отмечалось трубными звуками в день очищения. В этот день все рабы объявлялись свободными, а земельные участки, которые были проданы или заложены, возвращались прежним владельцам. Этот обычай—очевидно, пережиток родового строя—перестал существовать еще до Вавилонского пленения.

Стр. 350. *Верцингеторикс*—вождь восстания галлов (52 г. до н. э.). После нескольких крупных сражений был осажден Юлием Цезарем, осознал бесполезность дальнейшего сопротивления и сдался. Был отвезен в Рим, где семь лет, до триумфа Цезаря, содержался в тюрьме, потом был задушен. *Югурта*—царь Нумидии (Сев. Африка). На протяжении нескольких лет (111—105 гг. до н. э.) успешно воевал против римлян, был обманом захвачен римлянами, и Гай Марий привез его в Рим, где заставил в царском облачении пройти в триумфальном шествии, а затем казнил.

Стр. 354. *Варвар Герман* (Арминий; 17 г. до н. э.—19 г. н. э.)—вождь херусков. Служил в римских легионах, получил римское гражданство и звание всадника, но, вернувшись на родину, встал во главе освободительного движения германских племен. В 9 г. н. э. заманил легионы Вара в Тевтобургский

лес и разбил его. В числе его военных трофеев были и римские знамена (орлы), позже отбитые и возвращенные в Рим.

Мамертинская тюрьма — самая древняя тюрьма в Риме, неподалеку от Капитолия. Единственным входом в камеры осужденных была дыра в потолке, поэтому в тюремный подвал герои Фейхтвангера войти не могли. «Холодной баней» эту тюрьму назвал Югурта, который, когда его бросили в подземелье, якобы сказал: «О, Геракл, какая холодная у вас баня!»

Стр. 356. *«Вероятно, многие авторы...»* — Фейхтвангер вольно пересказывает начало пролога к «Иудейской войне» Флавия.

ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА

Роман «Испанская баллада» написан в 1954 г. Вышел в Гамбурге в 1955 г. под названием «Испанская баллада», а в 1956 г. в ГДР под названием «Еврейка из Толедо». На русском языке впервые появился в 1958 г. Настоящий перевод печатается по изданию: Фейхтвангер Л. Лже-Нерон. Испанская баллада. М., Художественная литература, 1969.

Для своего предпоследнего романа Фейхтвангер избирает известный литературный сюжет. Непосредственным историческим источником для писателя послужила хроника конца XIII в., принадлежащая Альфонсо Мудрому, где рассказывается история любви кастильского короля Альфонсо VIII к еврейской девушке, прозванной за красоту «Фермозой» («Прекрасной» — от исп. «эрмоса»). Фейхтвангер был знаком и с драмами Лопе де Веги и Грильпарцера на этот сюжет, но ни одно из этих произведений нельзя считать прямым предшественником романа «Испанская баллада». Возможно, наиболее близок фейхтвангеровскому толкованию темы мифологический источник — библейская легенда об Эсфири и персидском царе Артаксерксе, воплотившая идею самопожертвования во имя мира.

В «Испанской балладе» Фейхтвангер внешне особенно бережно обращается с историческим материалом: герои его романа — дети своей страны и эпохи, события прошлого излагаются почти без отступлений от фактов, точен и ярок язык, оживающий на страницах книги. Любовная интрига, лежащая в основе сюжета, потребовала особых изобразительных средств: на смену тяжело-весной эпичности «Иудейской войны» приходит новая художественная структура, где действие концентрируется вокруг одной линии, персонажи немногочисленны. «Испанская баллада», очевидно, самый поэтичный роман во всем творчестве писателя, недаром в нем присутствуют стихи, стилизация под испанские народные романсы (см. ниже коммент. к с. 553). Как всегда у Фейхтвангера, основной сюжетной линией содержание отнюдь не исчерпывается. Писатель остается верен главной теме своего творчества: истории человечества в моменты крутых ее поворотов. Его сюжет не ограничен конкретным временем, он ценен своей аллегоричностью, «протяженностью» от прошлого к современности.

Обратимся к историческим фактам, положенным в основу романа. Действие его происходит в Испании в эпоху раннего средневековья. Пиренейский полуостров стал тогда ареной борьбы между христианами и мусульманами, ареной крестовых походов. С конца V в. до 711 г., когда в Испанию вторглись арабы под предводительством Тарик-Бен-Сеида, эта территория почти целиком находилась под властью вестготов. Установление арабского господства над христианскими королевствами облегчалось тем обстоятельством, что местное население было ожесточено против прежних властителей и ворота многих городов сами открывались навстречу новым завоевателям. В 713 г., после нескольких крупных побед над вестготами, в Толедо была официально провозглашена власть арабского халифата. В 758 г. арабы создали на территории Испании Кордовский эмират, позже преобразованный в халифат, имевший статус независимого исламского государства. Власть халифата распространялась практически на все области Пиренейского полуострова, за исключением небольших христианских государств в Астурии и Стране басков, а также созданной Карлом Великим Испанской марки.

Первые века арабского владычества над Пиренейским полуостровом отмечены быстрым экономическим и культурным ростом покоренных государств под влиянием высокоразвитой культуры завоевателей-арабов. Кордовский халифат проявлял политическую дальновидность, выражавшуюся в расовой и религиозной терпимости к завоеванным народам. Это было на руку новым хозяевам, взимавшим налоги со всего немусульманского населения (перешедшие в мусульманство от этого налога освобождались). Областям, где жило преимущественно христианское и еврейское население, была предоставлена относительная самостоятельность. Прежде, во времена вестготов, положение евреев было крайне тяжелым: они были лишены всех прав, подвергались постоянным преследованиям и насильственной христианизации. Так, в 694 г. Толедский собор обвинил их в подготовке мятежа против власти вестготов и подверг гонениям великое множество еврейских общин. В мусульманской Испании еврейское население между тем начало играть существенную роль в экономической и культурной жизни. На страницах романа читатель встретит имена знаменитых еврейских ученых и поэтов раннего средневековья: Моисея Маймонида, Соломона Габироля, Иегуды Галеви.

Эпоха Кордовского халифата — время наивысшего расцвета страны под властью арабов. В 1034 г. халифат этот распался на ряд независимых королевств, которые были объединены в 1090—1103 гг. альморавидами (выходцы из Северной Африки, фанатичные последователи ислама), затем альмохадами (также арабами из Северной Африки), против которых и выступает Альфонсо VIII — герой романа Фейхтвангера. Распад Кордовского халифата положил начало *реконките* — обратному завоеванию страны у арабов.

Время правления Альфонсо VIII — короля Кастилии в 1158—1214 гг. — было отмечено беспрестанными междоусобными войнами. Альфонсо вступил на престол трехлетним ребенком и долгое время служил лишь ширмой для фактических правителей страны — враждовавших между собой родов де Кастро и де Лара. Впоследствии ему пришлось силой взять принадлежавшую ему законную власть, и он начал вести войны за расширение своих владений с королями Наварры и Леона. Союз с Леоном был закреплен браком его дочери Беренгелы с леонским королем Альфонсо IX. Следующим этапом было присоединение наваррских земель на северо-востоке страны. Расширение территории королевства и укрепление его могущества было необходимым этапом для его последующей борьбы против арабов (мавров), мысль о которой его не покидала с юношеских лет. Ведь подвластная ему страна лежала на самой границе с арабскими владениями. Борьба Альфонсо VIII против мавров была поначалу не слишком успешной, в 1195 г. он потерпел сокрушительное поражение. Только в 1212 г., встав во главе объединенных сил испанских королевств, в битве при Лос-Навас-де-Толосе он одержал победу над мавританским войском. Многолетняя борьба кастильского короля была существенным моментом в движении реконкисты, а Кастилия за время его правления сделалась самым сильным из испанских королевств.

Несмотря на первостепенную важность освободительной борьбы испанцев, Фейхтвангер концентрирует свое внимание на ином факторе политической жизни того времени — на «священной войне» христиан против «неверных», на крестовых походах. События романа охватывают одно десятилетие — 80-е годы XII в., когда и состоялся третий крестовый поход. Фейхтвангер выступает здесь против рыцарства как милитаристской и антигуманной идеологии.

По Фейхтвангеру, эпоха войн за спасение «гроба господня» была первым в истории массовым и откровенно захватническим движением, создавшим себе пышное и внешне благородное идеологическое обоснование. Время, породившее «священные войны», овеяно романтическим флером рыцарских идеалов: войны как истинного призвания дворянина, служения прекрасной даме и т. д. Эти идеалы вдохновили прекрасные образцы рыцарской литературы. Но одновременно они призваны были прикрыть истинно экспансионистскую, грабительскую сущность крестовых походов.

Воинственной идеологии рыцарства Фейхтвангер противопоставляет гуманистические идеалы образованности, человеколюбия, миролюбия, расовой и религиозной терпимости. События жизни и правления Альфонсо VIII, легенда о любви короля к «прекрасной еврейке» и произошедшие в нем перемены дали возможность писателю воплотить эти столь дорогие ему идеалы. Королева Кастилии прекрасная донья Леонор, в значительной степени сам Альфонсо VIII и певец «священных войн» трувер

Бертран де Борн представляют, по мысли Фейхтвангера, лагерь воинствующего рыцарства. Им в романе противостоит Иегуда Ибн Эзра, представитель нового времени, намного опередивший его наступление. Неслучайно писатель столь подробно рассказывает о хозяйственных начинаниях Иегуды: деловитый и умный, ловкий и изворотливый, тот неустанно печется о процветании страны. Он же всеми доступными ему средствами стремится сохранить мир сколь возможно долго. Даже смерть Иегуды и его дочери в конце романа — это, в сущности, последняя жертва, принесенная героем во имя мира и более гуманного миропорядка, и эта жертва, по мысли Фейхтвангера, не была напрасной.

Стр. 359. *Альфонсо Мудрый* — Альфонсо X (1221—1284), король Леона и Кастилии. В годы своего правления вел непрерывную и малоуспешную борьбу с маврами. В результате внутренних усобиц его сын в 1271 г. отнял у него престол. Был образованнейшим правителем своего времени, известны его поэтические произведения, философские и научные труды, ему же приписывается составление или редакция испанской летописи — «Всеобщей хроники». При Альфонсо X была переведена на испанский язык Библия.

Прошло восемьдесят лет после смерти пророка Магомета... — Магомет умер в 632 г., арабы высадились на Пиренейском полуострове в 711 г.

Стр. 360. *...об их тайном оружии весь христианский мир говорил с опаской.* — Имеется в виду модфа — огнестрельное оружие, появившееся у арабов в XII в.

Для своих христиан они перевели на арабский язык Евангелие. — В XI в. Иоанном Гиспалензисом были переведены на арабский язык Ветхий и Новый завет.

Стр. 360—361. *...они... переводили Аристотеля и сочетали его учение с учением их собственной Великой Книги...* — Труды Аристотеля были переведены на арабский язык в IX в. Еврейские ученые, в частности, Моисей Маймонид в своем главном труде «Путеводитель заблудшихся» (1190), стремились сочетать философию Аристотеля с положениями иудейской религии. Книга Маймонида вызвала резкие нападки и оказала большое влияние на развитие последующей религиозной мысли.

Стр. 361. *...создали свободную, смелую критику Библии...* — Уже в VIII—XI вв. предпринимаются попытки критического пересмотра ряда положений Библии. Критика Библии содержится в трудах еврейских ученых Маймонида, Авраама Ибн Эзры и др.

Стр. 362. *Мусульманское Севильское королевство.* — Севилья была захвачена арабами в 712 г. В XI в., после крушения Кордовского халифата, возник Севильский эмират.

Стр. 363. *...когда... король Альфонсо, шестой этого имени, отнял город у мусульман...* — Толедо был захвачен арабами в

712 г. В 1085 г. его отвоевал король Кастилии Альфонсо VI, и с 1087 г. город стал столицей Кастилии.

...когда король изгнал баронов де Кастро из Толедо...— Бароны де Кастро были фактическими правителями при малолетнем короле, и лишь в 1166 г. сторонники короля изгнали Фернана де Кастро из Толедо.

Стр. 365. *Сант-Яго*—святой Иаков, покровитель Испании.

Стр. 366. *Адонай*.—См. коммент к с. 33.

Альфонсо VII—король Леона и Кастилии (1126—1157).

Калатрава—кастильская крепость. С 1158 г. за успешное участие в военных действиях против мавров крепость и обширные земельные владения король передал монахам, так был образован в 1164 г. духовно-рыцарский орден Калатравы. Для целей реконкисты были образованы и другие духовно-рыцарские ордена.

Стр. 367. *Аларкос*—крепость и город на юге Италии, имевшая важное стратегическое значение; неоднократно переходила от христиан к арабам. В 1195 г. Альфонсо VIII потерпел поражение при Аларкосе, крепость была разрушена.

Стр. 368. *Генрих Английский*—Генрих II Плантагенет, английский король (1154—1189).

Стр. 369. *Мараведи*—испанская монета (сначала серебряная, потом золотая), появившаяся в период арабского владычества.

Стр. 370. *Альхаким*—судья, правитель (ар.).

Стр. 372. *Рикос-омбрес* (букв.: «богатые люди») — название высшей знати в Испании XII—XIII вв.

Стр. 377. *Пárнас*—глава еврейской общины.

Стр. 378. ...веру сынов Агари...—Имеется в виду мусульманство. По библейскому преданию, египтянка Агарь, рабыня-наложница Авраама, родила сына Измаила и удалилась с ним в Аравию, где он стал родоначальником нового племени.

...вернуть в лоно Авраамово...—то есть в иудейскую веру.

Стр. 379. *Сефард*—еврейское название Испании.

Стр. 380. ...еще раньше, чем тебе исполнилось тринадцать лет.—См. коммент к с. 257.

Стр. 383. *Хатиб*—знаток Корана в мусульманстве.

Стр. 389. *Фуэрос*—права и привилегии, предоставлявшиеся королем своим подданным.

Стр. 394. *Куфические письма*—знаки раннеарабского письма, которым написан Коран.

Стр. 395. *Толейтола*.—Так евреи и арабы называли Толедо.

Стр. 396. *Святой Мартин*—Мартин, архиепископ Турский (336—401). Известен борьбой против язычества. Праздник святого Мартина приходится на конец осени и является трансформацией древнеязыческого осеннего праздника урожая.

Святой Ильдефонсо — архиепископ Толедо (607—667). Предания приписывают ему много чудесных деяний.

Стр. 400. *Десятая заповедь*.— Последняя из десяти заповедей, якобы данная богом Моисею: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исход, XX, 17).

Исав.— См. коммент. к с. 111.

...отразил нападение тонзурованных.— Речь идет о католических монахах, носивших на голове тонзуру.

Стр. 402. *Иудерия*—еврейский квартал в испанских городах.

Стр. 403. *Соломон Ибн Габироль*—еврейский поэт и философ в Испании XI в., сторонник философии Аристотеля. *Иегуда Галеви*—известный еврейский поэт, родился между 1080 и 1086 гг. в Толедо. Оказал влияние на развитие испанской поэзии. Был противником Аристотеля; утверждал преимущество веры перед знанием.

Стр. 406. ...держал в руке первую золотую монету христианской Испании...—Первые золотые монеты в Испании, действительно, появились в XII в., но на монете, выпущенной при дворе Альфонсо VIII, не было изображения короля.

Стр. 409. ...когда Иероним переводил Библию...—Богослов Иероним (330—419) перевел Библию на латинский язык по поручению папы, за что был причислен к лику святых.

Стр. 410. ...тривиум и квадривиум...—Тривиум—распространенное в средние века название трех первых из «семи свободных искусств», в него входили грамматика, диалектика, которая «учит истине», и риторика, которая «улучшает речь». Квадривиум—более высокая ступень светского образования, включавшая арифметику, геометрию, астрономию и музыку.

Стр. 411. *Кадар*—способность, возможность (ар.). Отсюда произошло название религиозно-философского учения кадаритов (VII—VIII вв.), утверждавшее свободу воли человека и его ответственность перед высшим разумом.

Стр. 412. *Гален Клавдий* (131—ок. 200 г.)—знаменитый врач древности.

Стр. 413. *Сид Кампеадор* (ок. 1050—1099)—герой испанского эпоса, настоящее имя которого—Дон Руи Диас де Бивар. Прославился своими подвигами во время борьбы против арабов, они дали ему прозвище *síd*—«господин», испанцы его называли *campeador*—«победитель». Народная «Поэма о Сиде» появилась в середине XII в., подвиги Сида прославлялись также в «Рифмованной хронике» XIII в. и в хронике Альфонсо Мудрого. В основе этих сюжетов лежат народные романсы о Сиде.

Стр. 415. *Каиафа*—иудейский первосвященник I в. Легенда

называет его одним из главных преследователей Иисуса и апостолов.

Примас—высшая духовная власть в государстве.

Святой Евгений—Евгений III, архиепископ Толедо в VII в., причислен церковью к лику святых. После его смерти архиепископом в Толедо стал Ильдефонсо, также причисленный к лику святых. Он оставил свидетельство о жизни своего предшественника.

Постановление Латеранского собора.—Латеран—папский дворец в Риме. Постановления Латеранских соборов считались обязательными для всех монархов Европы; в основном обсуждали вопросы, касающиеся борьбы с «неверными».

Стр. 417. *Бальй*—в средневековой Франции чиновник при короле, ведавший финансами и осуществлявший административную власть.

Стр. 419. *Бургос*—столица старой Кастилии, родина Сиды Кампеадора.

Фернан Гонсалес—кастильский граф X в., успешно воевавший с маврами.

Стр. 422. *Раньше Кастилия и Арагон были объединены...*—В действительности Кастилия с 1037 г. объединилась с Леоном, позже вышла из состава Леонского королевства, а в XII в. вновь примкнула к нему. В XII в. Арагон был объединен с Каталонией.

Желание обручить инфанту с наследником арагонского престола...—На самом деле принцесса Беренгела была обручена с леонским королем Альфонсо IX.

Стр. 431. *...убить архиепископа Кентерберийского...*—С 1162 г. архиепископом Кентерберийским был Томас Бекет. Когда в 1164 г. Генрих II ограничил церковную юрисдикцию в пользу светской, Бекет выступил против короля, был обвинен в измене и бежал во Францию. В 1170 г. был помилован и вернулся, но продолжал борьбу против вмешательства короля в церковные дела. Был убит в Кентерберийском соборе, поводом для чего послужил вопрос Генриха, найдется ли кто-нибудь, кто сможет отомстить Бекету. Вопрос был понят как приказ.

Стр. 433. *Христианское «Иерусалимское королевство»*—королевство, основанное участниками первого крестового похода (1096—1099) на территории Палестины и Сирии. Главой этого государства стал герой первого крестового похода Готфрид Бульонский.

Стр. 434. *...Юсуф, названный Саладином...*—Салах-ад-Дин (1138—1193), египетский султан с 1171 г., в 1174 г. выступил против крестоносцев во главе объединенных сил Сирии и Египта. Разбил войска крестоносцев у Хиттина (или Аль-Хиттина) и 2 окт. 1187 г. взял Иерусалим.

Стр. 435. *Treuga dei*—латинское выражение, означает перемирие по воле бога, то есть временное перемирие. Это понятие

принято католической церковью в XI в. для прекращения междоусобиц под угрозой отлучения от церкви.

...прекратил... распрю с властителем Германии, с римским императором Фридрихом.—Германский император Фридрих I Барбаросса был титулован как император Священной Римской империи (1152—1190).

Халиф Якуб Альмансур—глава Альмохадского халифата в 1184—1199 гг., мусульманского государства на территории Испании. В 1195 г. разбил Альфонсо VIII при Аларкосе.

Стр. 436. *Декреталии Грациана* (ок. 1140 г.)—авторитетнейшее собрание корпуса канонического права, свода законов католической церкви. Создан на основе постановлений римского папы Грациана.

Стр. 438. *Ибн Сина* (Авиценна; 980—1037)—знаменитый арабский философ, ученый и врач родом из Бухары. Его труды отмечены влиянием неоплатонизма и, в особенности, Аристотеля. Его «Канон» в средние века считался главным источником медицинских знаний.

Стр. 452. *Сант-Яго-де-Компостелла*—город в Испании, где, по преданию, погребен апостол Иаков (Сант-Яго), патрон Испании. На месте захоронения построен собор в его честь.

Стр. 455. *«Кровь его на нас и детях наших»...*—См. Евангелие от Матфея (XXVII, 25). С этими словами толпа требовала смерти Иисуса во время суда над ним.

Стр. 456. *Еще фараон сказал...*—Ср. Исход (I, 10).

Стр. 457. *Patrimonio real* (исп.)—королевское имущество и все, что находится в ведении короля.

Стр. 464. *Инфант был... наречен Фернаном Энрике.*—Фейхтвангер объединил в этом имени обоих сыновей Альфонсо VIII: старшего, Фернана, умершего в детстве, и младшего, Энрике, который наследовал в 1214 г. отцовский трон, но царствовал всего три года.

Стр. 465. *Сыны Измаила.*—См. коммент. к с. 378.

Ияр, сиван—второй и третий месяцы еврейского религиозного календаря.

Стр. 466. *...испытание, которому во время оно бог подверг праотца нашего Авраама.*—Имеется в виду библейская легенда о том, как бог, испытывая веру Авраама, велел ему принести в жертву сына Исаака. Авраам повиновался, и лишь в последнюю минуту ангел остановил его руку.

Таммуз—четвертый месяц еврейского религиозного календаря.

Генрих IV—король (с 1056), германский император (1084—1106). Правление его отмечено непрестанной борьбой с князьями и церковью за укрепление императорской власти, в том числе за право императора распоряжаться делами церкви. Был отлучен от церкви папой Григорием VII в 1077 г., под давлением князей должен был пойти на покаяние к папе в Каноссу.

Стр. 467. *Герцог Вратислав Богемский*—правитель Богемии (Чехии); с 1061 г. герцог, с 1086 по 1092 г. король.

Людовик VII—король Франции с 1137 по 1180 гг. из династии Капетингов. *Алиенора Аквитанская* была его женой, позже развелась с ним и вышла замуж за Генриха II Плантагенета, короля Англии.

*Король Филипп-Август*³—король Франции с 1180 по 1223 г. Известен тем, что многократно изгонял евреев из своих владений, а потом, чтобы поправить экономическое положение страны, впускал их обратно.

...как их праотцы ограбили египтян...—См. коммент. к с. 206.

Стр. 476. *Патио*—внутренний дворик.

Стр. 488. *...подумал о праотце Иакове...*—Библейская легенда рассказывает, что Иаков работал семь лет у Лавана, чтобы получить в жены Рахиль, но ему обманом отдали старшую сестру Лию; чтобы жениться на Рахили, он работал еще семь лет.

Стр. 492. *...девяносто девяти имен Аллаха...*—В мусульманской мифологии существует девяносто девять имен божества, что должно отражать неисчерпаемость его сущностей.

Тонна—старинная мера объема, равнявшаяся емкости бочки.

Стр. 496. «*Рука Фатимы*»—у мусульман символ-оберег, способный якобы защищать человека от злых сил. Фатима—дочь Магомета, с именем которой связаны легенды о творимых ею чудесах и ее святости.

Стр. 500. *Мирадор*—высокая галерея или балкон здания.

Стр. 504. *...погряз в... третьем по счету смертном грехе!*—Смертными грехами считаются в религиозной традиции идолопоклонство, прелюбодеяние и убийство. Здесь имеется в виду прелюбодеяние.

Стр. 505. *Дионисий Малый*—церковный писатель и хронолог VI в., настоятель монастыря близ Рима, основоположник принятого ныне летосчисления от легендарной даты «рождения Христова», которое было введено в 532 г.

Стр. 506. *...преклонял колена перед изображениями трех богов?*—Имеется в виду христианская троица.

Стр. 508. *...блаженной памяти прадедушки...*—Речь идет о короле Леона и Кастилии Фернандо I Великом (1037—1065), первым выступившем на борьбу против мавров в Испании.

Стр. 509. *...Геркулес и Антоний... Самсон со своей Далилой.*—Мифологических героев и исторического Антония объединяет одна общая черта—в какой-то момент своей жизни они пренебрегают своим предназначением ради женской любви. Геркулес много лет провел у царицы Омфалы, служа ей, даже сидел в женской одежде за прялкой. Антоний—см. коммент. к с. 245. Библейский Самсон—герой ветхозаветного мифа, известный своей силой, которая заключалась у него в волосах.

Его возлюбленная Далила, по наущению филистимлян, усыпила героя, остригла «семь кос головы его» и передала его врагам.

Стр. 511. ...короли, которые не были еще обращены в веру Христову?—Речь идет о вестготах, которые приняли христианство в IV в. Альфонсо считает себя их потомком.

Стр. 514. *Долина Иосафата*—долина близ Иерусалима, где, по преданию, находится гробница иудейского царя Иосафата. Согласно библейской легенде эта долина должна стать местом Страшного суда.

Стр. 515. ...вывести их в Германию, откуда пришли их предки.—В Германии в первые века н. э. расселились наиболее многочисленные и процветающие еврейские общины. С началом крестовых походов там вспыхнули гонения на евреев, и они вынуждены были бежать в другие страны, на Восток.

Стр. 518. *Праздник кущей*.—См. коммент. к с. 33.

«Если клятву даешь...»—Второзаконие (XXIII, 21—23). Цитата неточна.

Стр. 523. *Маркграф Роланд из Бретани*—участник похода Карла Великого в Испанию в 778 г. Погиб в битве с басками в Ронсевальском ущелье, прикрывая отступление франков. Стал героем «Песни о Роланде»—героического французского эпоса.

Стр. 527. *Абеляр* (1079—1142)—французский философ, поэт, богослов. Ведущую роль в познании отводил разуму, а не вере. В сочинении «Да и нет» приводит большое количество противоречий в библейских текстах. Был обвинен церковью в ереси, его книги были приговорены к сожжению.

Стр. 528. *Джихад* (газават)—«священная война» с целью распространения ислама силой оружия. Участие в такой войне считается для мусульман святым делом.

Стр. 529. ...*благословением, которое возвестил Исайя*.—В Книге Пророка Исайи содержится предсказание будущего торжества праведников на земле.

Стр. 530. *Мессия явился уже давно*...—Согласно библейскому предсказанию мессия должен был происходить из дома Давида и его появление будет означать начало новой эры. Христианское богословие, приспособивая это предсказание к своим догмам, утверждает, что мессия явился в образе Христа.

...самое слово вам непонятно!—В древнееврейском слове «шалом» (мир) содержится и значение «благодать», «блаженство», которого нет в латинском *пакс* и греческом *εἰρήνη*—мир.

Царь Давид—второй царь иудейского царства (XI в. до н. э.). О его деяниях и военных подвигах рассказывается в Книгах Царств, ему приписывается также сочинение псалмов. Давид сделал столицей Иерусалим и перенес туда ковчег Завета, но построить храм ему не удалось.

Стр. 531. *Августин Блаженный* (354—430) — христианский теолог и философ. Родоначальник христианской философии истории, которая согласно его взглядам есть история божественных и сатанинских сил. Противопоставлял «земному граду» — государству — мистический «божий град» — церковь («О граде божьем»). Его взгляды господствовали в западноевропейской философии и католической теологии вплоть до XIII в.

Стр. 533. ...*продал... за чечевичную похлебку...* — Иегуда вспоминает библейскую легенду о том, как Исаа, вернувшийся голодным с охоты, продал право первородства за чечевичную похлебку своему младшему брату Иакову.

Семь дней просидел на земле в разодранных одеждах. — По древнему еврейскому обычаю траур продолжался семь дней, в течение которых скорбящий сидел на земле, разрывая на себе одежду и посыпая голову пеплом.

Стр. 541. *Тишири* — первый месяц гражданского и седьмой месяц еврейского религиозного календаря.

Стр. 545. *В самый разгар священной войны был подписан хитроумный договор с наместниками султана Саладина...* — Речь идет о договоре, который в 1192 г. заключил Ричард Львиное Сердце с египетским султаном Саладином. По этому договору Саладин получил часть территории Иерусалимского королевства, а крестоносцы удержали Антиохийское королевство и Триполи.

Стр. 546. ...*он держит ее в заточении.* — В действительности Алиенора Аквитанская находилась в заключении за то, что она поддерживала борьбу сыновей Ричарда и Генриха против отца, а отнюдь не за ревность, для которой, впрочем, у нее были все основания.

Стр. 547. *Труверы* — эпические и лирические поэты средневековой Франции XI—XIV вв.

...*Ланселот или Тристан жертвовали честью и жизнью.* — Речь идет о легендарных рыцарях «Круглого стола», героях средневековых рыцарских романов.

Стр. 551. ...*Самсон и Гедеон, Давид и Иуда Маккавей.* — Самсон — см. коммент. к с. 509. Гедеон — легендарный еврейский полководец; народ хотел избрать его царем за победы над врагами, но он отказался и прожил жизнь в кругу своей многочисленной семьи. Давид — см. коммент. к с. 57. Иуда Маккавей — см. коммент. к с. 61.

Стр. 553. ...*распевали... романсы про взаимную любовь ее и короля.* — В испанской народной поэзии романс как стихотворный жанр появился не раньше XV в. Известны два романа на этот сюжет; один из них, написанный Сепульведой в XVI в., приводится в романе.

Стр. 557. *Курия* — собрание крупных феодалов, созывавшееся королем.

Стр. 559. *Ви́ра* — штраф за убийство.

Стр. 561. ...*горевать о котлах с мясом в земле Египет-*

ской.—Библия рассказывает, что еврейские племена, выведенные Моисеем из Египта, возроптали на Моисея, вспоминая сытную пищу в оставленной ими земле Египетской.

Стр. 564. *Рассеяние* (диáспора)—расселение евреев по разным странам Европы, Азии и Африки, которое, как считается, началось еще в VI в. до н. э., после разрушения еврейского царства вавилонским царем Навуходоносором.

Стр. 566. *...шел год четыре тысячи девятьсот пятидесятый...*—Начало еврейского летосчисления ведется от легендарной даты сотворения мира (3760 г. до н. э.), следовательно, имеется в виду 1190 г.

Стр. 576. *...повторил... стих в подлиннике...*—Дон Мартин повторяет греческий текст, с которого был сделан перевод на латинский язык. Подлинный текст был написан древнееврейски.

Стр. 577. *...умертил сына фараонова...*—Имеется в виду библейская легенда о том, как бог поразил всех первенцев в земле египетской, в том числе и сына фараона, за то, что фараон отказался выпустить евреев из Египта.

Стр. 578. *...Вергилий, благочестивейший из язычников...*—В средние века, когда античное языческое искусство находилось под запретом церкви, произведения Вергилия, особенно его поэма «Энеида», высоко ценились за их «благочестие».

Стр. 579. *...царя Соломона... совратили в язычество.*—Согласно преданию царь Соломон взял себе множество жен-язычниц, разрешил им поклоняться своим богам и даже стал сам склоняться к языческой вере. Из-за этого царство его было разделено после его смерти.

Стр. 581. *Сиониды*—еврейские лирические песни, создававшиеся во времена рассеяния (см. коммент. к с. 564). Основная тема—плач о Сионе, стране предков. Первоначально это были народные, позже—авторские песни. В этом жанре написаны, в частности, многие произведения Иегуды Галеви и Соломона Габироля.

Стр. 587. *Молох*—древнее финикийское божество, которому приносились человеческие жертвы. Культ Молоха некоторое время существовал и в Палестине.

Стр. 590. *...соблазнительнице Лилит, первой жене Адама...*—По апокрифическому преданию, Лилит—первая жена Адама, ставшая матерью демонов. Особенно опасно ее колдовство для роженицы и младенца, поэтому в доме, где должен был родиться ребенок, развешивали амулеты со всеми именами Лилит.

Стр. 591. *...потомок царя Давида...*—Иудеи считают, что грядущий мессия будет из рода царя Давида.

Стр. 592. *...называла именем мессии—Иммануил.*—В Библии именем Иммануил называют грядущего мессию (по-еврейски это имя означает «с нами бог»).

Стр. 594. *Замок Шинон* — замок во Франции, принадлежавший Генриху II, где он умер.

Ричард, сын и наследник Генриха... — Имеется в виду Ричард I, прозванный «Львиное Сердце», будущий король Англии (1189—1199). Участвовал в третьем крестовом походе, на обратном пути из которого попал в плен. Вместе с братьями неоднократно выступал против отца. С 1194 г. вел непрерывную войну с французским королем, во время которой был убит.

Стр. 598. *...начертал... свои законы... обратил в прах Содом и Гоморру, повелел земле поглотить всех людей Кореевых, потопил фараона с воинами, конями и колесницами.* — Перечисляются библейские предания, которые должны подтвердить могущество бога.

Стр. 600. *Наемники-брабантцы.* — Во французской и английской армиях в средние века было много наемных солдат из герцогства Брабант (современная Бельгия).

Стр. 601. *Розамунда* — Розамунда Клиффорд, возлюбленная английского короля Генриха II. Согласно народной балладе была отравлена Алиенорой Аквитанской.

Стр. 603. *Левант* — общее название стран восточного побережья Средиземного моря, Ближнего Востока. Испанцы называли Левантом также и испанское побережье Средиземного моря.

Стр. 605. *...эта Дебора, эта Иаиль...* — Дебора — легендарная библейская пророчица и судья израильского царства, поднявшая народ на борьбу против ханаанского вождя Сисары. Потерпевший поражение Сисара спрятался в шатре у мужа Иаиль, которая убила его спящего. Дебора сложила песню, прославляющую победу и Иаиль.

Стр. 607. *Наследник Филиппа-Августа.* — Сын Филиппа-Августа Людовик VIII, король Франции (1223—1226).

Стр. 608. *...упорно добивалась объединения Кастилии и Арагона.* — В то время Арагон был вассалом Кастилии и наиболее отсталой областью Испании. Кастильские короли искали союза не с Арагоном, а с Леоном, с которым были издавна связаны кровными узами (дед Альфонсо VIII Альфонсо VI в свое время разделил Кастильско-Леонское королевство между своими сыновьями).

Стр. 611. *Толедская ночь* — в переносном значении: коварная ловушка, неприятная неожиданность. Выражение обязано своим происхождением историческим событиям IX в., когда жители Толедо подняли мятеж против арабского эмира. Тот сделал вид, что согласен на уступки, заманил знатных граждан в крепость и перебил их там.

Стр. 618. *Клирик Годфруа де Ланьи* — французский поэт XII в., ученик Кретьена де Труа (см. ниже).

Кретьен де Труа — один из известнейших представителей французской куртуазной литературы XII в.

Стр. 620. *Бертран де Борн* (ок. 1140—1215 гг.)— провансальский трубадур из знатной, но обедневшей семьи. К числу наиболее известных его произведений относится «Плач», посвященный смерти Генриха—сына Генриха Плантагенета (ниже в романе приводятся строки из этого стихотворения). Основная тема его песен, так называемых сирвент,—воспевание войны как единственно достойного рыцаря занятия.

Стр. 622. ...*Давид оплакивал Ионафана*.—По библейской легенде, Давид оплакал в «Плачевной песне» смерть своего друга Ионафана, сына царя Саула, павшего в бою с филистимлянами (Вторая Книга Царств, I, 19—27).

Стр. 626. ...*предстали евангелисту Иоанну всадники в откровении Страшного суда*.—В Апокалипсисе (Откровении Иоанна, VI, 2—8) описано видение четырех всадников, символизирующих победу (конь белый), войну (конь рыжий), правосудие (конь вороной) и смерть (конь бледный). В Апокалипсисе даются пророчества о конце света, Страшном суде и наступлении «тысячелетнего царства Христова».

Стр. 627. *Северное наречье*—язык северных областей Франции, на основе которого складывался современный французский язык, в отличие от южнофранцузского—провансальского.

Стр. 629. ...*превращая беспристрастное определение вилла на как городского и сельского жителя в кличку проходимца и бездельника*.—В куртуазной литературе слово «villain», обозначавшее сначала крестьянина, горожанина, представителя низших слоев общества, стало обозначать впоследствии грубияна, невежу и т. п. Такое значение позже закрепилось в языке.

Стр. 649. *Секта монтанистов*—популярная в среде неимущих христиан секта, названная по имени ее основателя Монтана; возникла во II в. Монтанисты проповедовали аскетизм и выступали против церковной иерархии.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160—после 222 гг.)—христианский богослов и писатель. Утверждал идею бессилия разума перед верой. В конце жизни сблизился с монтанистами.

Император Константин (ок. 285—337 гг.)—римский император с 306 по 337 г. По Миланскому эдикту официально признал христианство, хотя поддерживал и языческие верования. В конце жизни сам принял христианскую веру. В 324—330 гг. на месте Византии построил новую столицу Константинополь, где и был похоронен.

Арльский собор.—Во французском городе Арле (Прованс) состоялось несколько церковных соборов; в правление императора Константина прошел только один—в 314 г.

Стр. 655. ...*непокорные племена Триполитании*...—Триполитания—часть Северной Африки, входившая в состав арабского халифата. В X—XII вв. здесь постоянно вспыхи-

вали восстания местного населения против арабского владычества.

Стр. 656. *В девятнадцатую неделю 591 года после бегства пророка...*—Началом мусульманского летосчисления считается год переезда пророка Магомета из Мекки в Медину—622 г. Этот год (а по нему вся мусульманская эра) называется хиджрой (бегством). 591 г. хиджры соответствует 1213 г. по григорианскому календарю.

Фец—древняя столица Мавритании в Северной Африке.

...из воды вздымалась исполинская колонна.—Имеются в виду Геркулесовы столпы (скалы по берегам Гибралтарского пролива). Миф рассказывает, что царь Эврисфей приказал Гераклу доставить в Микены коров Гериона с острова Эрифия. Достигнув «края света», Геракл поставил здесь в память этого события по берегам пролива два каменных столпа.

Стр. 664. *Tedeum*—название (по первым словам) католического гимна «Тебя, бога, хвалим».

...неземными пилигримами.—Имеются в виду ангелы.

Стр. 667. *Битва при Аль-Хиттине.*—См. коммент. к с. 434.

Стр. 670. *Битва при Салаке*—сражение в 1096 г. между арабами и христианами, в котором эмир Юсуф разбил войско Альфонсо VI.

Стр. 677. *...при мысли о черной бездне, которая ожидает его.*—В иудейской религии нет понятия загробной жизни.

Стр. 709. *Ильдефонсо*—см. коммент. к с. 415.

...вообразил себя вторым пророком Иезекиилем...—Библейский пророк Иезекииль изрек, по велению бога, в поле, усеянном костями, пророчество о воскрешении мертвых (Книга Пророка Иезекииля, XXXVII, 6).

Стр. 715. *...он принадлежал одной греческой поэтессе...*—Имеется в виду стихотворение греческой поэтессы Сафо (VII в. до н. э.).

Стр. 716. *Альгацали* (1058—1111)—арабский философ, в своих сочинениях подчеркивал преимущества веры перед разумом.

Стр. 717. *...действовали в духе наместника Христова.*—Наместником Христовым, то есть наместником бога на земле, считали римского папу.

Стр. 727. *...тебе придется уехать в Сигуэнцу...*—Родриго Хименес де Рада, один из крупнейших испанских авторов хроник, в самом деле стал архиепископом Толедским в 1208 г. До этого он был назначен епископом не в Сигуэнцу, а в Осуну.

Архиепископский паллий—шерстяной белый воротник, который архиепископ надевает во время торжественных богослужений.

Стр. 729. *Альхорезм* (Мухаммед бен Муса Альхорезми)—выдающийся узбекский математик и астроном IX в. родом из Хивы.

Стр. 731. *...опровергнуть писания Юлиана Отступника.*—

Флавий Клавдий Юлиан, римский император в 361—363 гг., стремился возродить языческий культ, за что христианские писатели называли его «отступником». Религиозно-философские воззрения Юлиана были основаны на неоплатонизме. Намерение Юлиана вызвало ожесточенное сопротивление христианской церкви.

Стр. 734. *Этот будущий король...*—Здесь Фейхтвангер отступает от исторических фактов: в действительности сын Беренгелы—будущий король Кастилии и Леона Фернандо III «Святой» (1230—1252), отец Альфонсо Мудрого.

Стр. 735. Акка (Акра)—крепость на берегу Средиземного моря, имевшая важное торговое и стратегическое значение. Была взята крестоносцами в 1104 г.

Стр. 738. *Алькантара*—мост через реку Тахо, построенный арабами в IX в. и названный по имени находящегося неподалеку города Алькантара.

Н. Новикова

СОДЕРЖАНИЕ

ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА

Перевод В. Станевич

Книга первая. Рим	7
Книга вторая. Галилея	70
Книга третья. Кесария	150
Книга четвертая. Александрия	201
Книга пятая. Иерусалим	257

ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА

Перевод Н. Касаткиной и И. Татариновой

Часть первая	359
Часть вторая	489
Часть третья	599
Комментарии Н. Новиковой	745

Фейхтвангер Л.

Ф 36 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 4. Иудейская война; Испанская баллада: Романы: Пер. с нем./Редкол.: А. Дмитриев, Д. Затонский, Н. Литвинец и др.; Коммент. Н. Новиковой.— М.: Худож. лит., 1989.—782 с.

ISBN 5-280-00812-5 (Т. 4)

ISBN 5-280-00307-7

В 4-й том Собрания сочинений Лиона Фейхтвангера входят его известные исторические романы «Иудейская война» (1932) и «Испанская баллада» (1955).

Ф 4703010100-160
028(01)-89 — подписное

ББК 84.4Г

